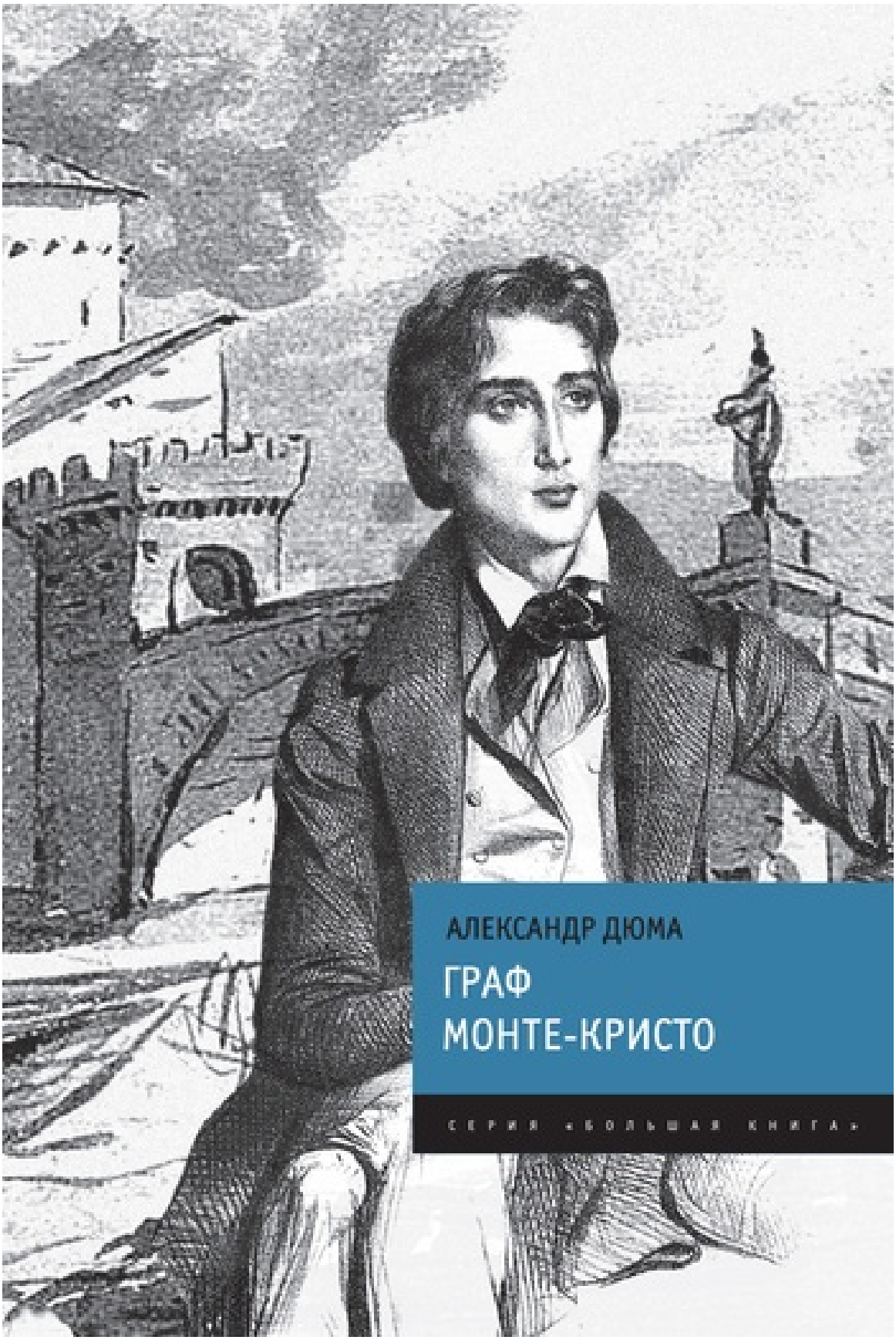


АЛЕКСАНДР ДЮМА

# ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

СЕРИЯ «БОЛЬШАЯ КНИГА»



АЛЕКСАНДР ДЮМА

# ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО

СЕРИЯ «БОЛЬШАЯ КНИГА»

# Александр Дюма
# Граф Монте-Кристо

# Часть первая

# I. Марсель. Прибытие

Двадцать седьмого февраля 1815 года дозорный Нотр-Дам де-ла-Гард дал знать о приближении трехмачтового корабля «Фараон», идущего из Смирны, Триеста и Неаполя.

Как всегда, портовый лоцман тотчас же отбыл из гавани, миновал замок Иф и пристал к кораблю между мысом Моржион и островом Рион.

Тотчас же, по обыкновению, площадка форта Св. Иоанна наполнилась любопытными, ибо в Марселе прибытие корабля всегда большое событие, особенно если этот корабль, как «Фараон», выстроен, оснащен, гружен на верфях древней Фокеи и принадлежит местному арматору.

Между тем корабль приближался; он благополучно прошел пролив, который вулканическое сотрясение некогда образовало между островами Каласарень и Жарос, обогнул Помег и приближался под тремя марселями, кливером и контрбизанью, но так медленно и скорбно, что любопытные, невольно почуяв несчастье, спрашивали себя, что бы такое могло с ним случиться. Однако знатоки дела видели ясно, что если что и случилось, то не с самим кораблем, ибо он шел, как полагается хорошо управляемому судну: якорь был готов к отдаче, ватербакштаги отданы, а рядом с лоцманом, который готовился ввести «Фараон» узким входом в марсельскую гавань, стоял молодой человек, проворный и зоркий, наблюдавший за каждым движением корабля и повторявший каждую команду лоцмана.

Безотчетная тревога, витавшая над толпою, с особой силой охватила одного из зрителей, так что он не стал дожидаться, пока корабль войдет в порт; он бросился в лодку и приказал грести навстречу «Фараону», с которым и поравнялся напротив бухты Резерв.

Завидев этого человека, молодой моряк отошел от лоцмана и, сняв шляпу, стал у борта.

Это был юноша лет восемнадцати – двадцати, высокий, стройный, с красивыми черными глазами и черными, как смоль, волосами; весь его

облик дышал тем спокойствием и решимостью, какие свойственны людям, с детства привыкшим бороться с опасностью.

– А! Это вы, Дантес! – крикнул человек в лодке. – Что случилось? Почему все так уныло у вас на корабле?

– Большое несчастье, господин Моррель, – отвечал юноша, – большое несчастье, особенно для меня: у Чивита-Веккии мы лишились нашего славного капитана Леклера.

– А груз? – живо спросил арматор.

– Прибыл в целости, господин Моррель, и, я думаю, в этом отношении вы будете довольны... Но бедный капитан Леклер...

– Что же с ним случилось? – спросил арматор с видом явного облегчения. – Что случилось с нашим славным капитаном?

– Он скончался.

– Упал за борт?

– Нет, умер от нервной горячки, в страшных мучениях, – сказал Дантес. Затем, обернувшись к экипажу, он крикнул: – Эй! По местам стоять! На якорь становиться!

Экипаж повиновался. Тотчас же восемь или десять матросов, из которых он состоял, бросились кто к шкотам, кто к брасам, кто к фалам, кто к кливер-ниралам, кто к гитовам.

Молодой моряк окинул их беглым взглядом и, видя, что команда выполняется, опять повернулся к своему собеседнику.

– А как же случилось это несчастье? – спросил арматор, возобновляя прерванный разговор.

– Да самым неожиданным образом. После продолжительного разговора с комендантом порта капитан Леклер в сильном возбуждении покинул Неаполь; через сутки у него началась горячка; через три дня он был мертв... Мы похоронили его, как полагается, и теперь он покоится, завернутый в холст с ядром в ногах и ядром в головах, у острова Дель-Джильо. Мы привезли вдове его крест и шпагу. Стоило, – прибавил юноша с печальной улыбкой, – стоило десять лет воевать с англичанами, чтобы умереть, как все, в постели!

– Что поделаешь, Эдмон! – сказал арматор, который, по-видимому, все более и более успокаивался. – Все мы смертны, и надо, чтобы старые уступали место молодым, – иначе все бы остановилось. И так как вы говорите, что груз...

– В полной сохранности, господин Моррель, я вам ручаюсь. И я думаю, что вы продешевите, если удовольствуетесь барышом в двадцать пять тысяч франков.

И видя, что «Фараон» уже миновал круглую башню, он крикнул:

– На марса-гитовы! Кливер-нирал! На бизань-шкот! Якорь к отдаче изготовить!

Приказание было исполнено почти с такой же быстротой, как на военном судне.

– Шкоты отдать! Паруса на гитовы!

При последней команде все паруса упали, и корабль продолжал скользить еле заметно, двигаясь только по инерции.

– А теперь не угодно ли вам подняться, господин Моррель, – сказал Дантес, видя нетерпение арматора. – Вот и господин Данглар, ваш бухгалтер, выходит из каюты. Он сообщит вам все сведения, какие вы только пожелаете. А мне надобно стать на якорь и позаботиться о знаках траура.

Вторичного приглашения не понадобилось. Арматор схватился за канат, брошенный Дантесом, и с ловкостью, которая сделала бы честь любому моряку, взобрался по скобам, вбитым в выпуклый борт корабля, а Дантес вернулся на свое прежнее место, уступая разговор тому, кого он назвал Дангларом, который, выйдя из каюты, действительно шел навстречу Моррелю.

Это был человек лет двадцати пяти, довольно мрачного вида, угодливый с начальниками, нетерпимый с подчиненными. За это, еще более чем за титул бухгалтера, всегда ненавистный матросам, экипаж настолько же его недолюбливал, насколько любил Дантеса.

– Итак, господин Моррель, – сказал Данглар, – вы уже знаете о нашем несчастье?

– Да! Да! Бедный капитан Леклер! Это был славный и честный человек!

– А главное – превосходный моряк, состарившийся между небом и водой, каким и должен быть человек, которому доверены интересы такой крупной фирмы, как «Моррель и Сын», – отвечал Данглар.

– Мне кажется, – сказал арматор, следя глазами за Дантесом, который выбирал место для стоянки, – что вовсе не нужно быть таким старым моряком, как вы говорите, чтобы знать свое дело. Вот наш друг Эдмон так хорошо справляется, что ему, по-моему, не требуется ничьих советов.

– Да, – отвечал Данглар, бросив на Дантеса косой взгляд, в котором блеснула ненависть, – да, молодость и самонадеянность. Не успел умереть капитан, как он принял команду, не посоветовавшись ни с кем, и заставил нас потерять полтора дня у острова Эльба, вместо того чтобы идти прямо на Марсель.

– Приняв команду, – сказал арматор, – он исполнил свой долг как помощник капитана, но терять полтора дня у острова Эльба было неправильно, если только корабль не нуждался в починке.

– Корабль был цел и невредим, господин Моррель, а эти полтора дня потеряны из чистого каприза, ради удовольствия сойти на берег, только и всего.

– Дантес! – сказал арматор, обращаясь к юноше. – Подите-ка сюда.

– Простите, сударь, – отвечал Дантес, – через минуту я к вашим услугам.

Потом, обращаясь к экипажу, скомандовал:

– Отдать якорь!

Тотчас же якорь отдали, и цепь с грохотом побежала. Дантес оставался на своем посту, несмотря на присутствие лоцмана, до тех пор, пока не был выполнен и этот последний маневр.

Потом он крикнул:

– Вымпел приспустить до половины, флаг завязать узлом, реи скрестить!

– Вот видите, – сказал Данглар, – он уже воображает себя капитаном, даю вам слово.

– Да он и есть капитан, – отвечал арматор.

– Да, только не утвержден еще ни вами, ни вашим компаньоном, господин Моррель.

– Отчего же нам не оставить его капитаном? – сказал арматор. – Правда, он молод, но, кажется, предан делу и очень опытен.

Лицо Данглара омрачилось.

– Извините, господин Моррель, – сказал Дантес, подходя, – якорь отдан, и я к вашим услугам. Вы, кажется, звали меня?

Данглар отступил на шаг.

– Я хотел вас спросить, зачем вы заходили на остров Эльба?

– Сам не знаю. Я исполнял последнее распоряжение капитана Леклера. Умирая, он велел мне доставить пакет маршалу Бертрану.

– Так вы его видели, Эдмон?

– Кого?

– Маршала.

– Да.

Моррель оглянулся и отвел Дантеса в сторону.

– А что император? – спросил он с живостью.

– Здоров, насколько я мог судить.

– Так вы и самого императора видели?

– Он вошел к маршалу, когда я у него был.

– И вы говорили с ним?

– То есть он со мной говорил, – отвечал Дантес с улыбкой.

– Что же он вам сказал?

– Спрашивал о корабле, о времени отбытия в Марсель, о нашем курсе, о грузе. Думаю, что, если бы корабль был пустой и принадлежал мне, он готов был бы купить его; но я сказал ему, что я только заступаю место капитана и что корабль принадлежит торговому дому «Моррель и Сын». «А, знаю, – сказал он, – Моррели – арматоры из рода в род, и один Моррель служил в нашем полку, когда я стоял в Валансе».

– Верно! – вскричал радостно арматор. – Это был Поликар Моррель, мой дядя, который дослужился до капитана. Дантес, вы скажете моему дяде, что император вспомнил о нем, и вы увидите, как старый ворчун заплачет. Ну, ну, – продолжал арматор, дружески хлопая молодого моряка по плечу, – вы хорошо сделали, Дантес, что исполнили приказ капитана Леклера и остановились у Эльбы; хотя, если узнают, что вы доставили пакет маршалу и говорили с императором, то это может вам повредить.

– Чем же это может мне повредить? – отвечал Дантес. – Я даже не знаю, что было в пакете, а император задавал мне вопросы, какие задал бы первому встречному. Но разрешите: вот едут карантинные и таможенные чиновники.

– Ступайте, ступайте, дорогой мой.

Молодой человек удалился, и в ту же минуту подошел Данглар.

– Ну что? – спросил он. – Он, по-видимому, объяснил вам, зачем он заходил в Порто-Феррайо?

– Вполне, дорогой Данглар.

– А! Тем лучше, – отвечал тот. – Тяжело видеть, когда товарищ не исполняет своего долга.

– Дантес свой долг исполнил, и тут ничего не скажешь, – возразил арматор. – Это капитан Леклер приказал ему остановиться у Эльбы.

– Кстати, о капитане Леклере; он отдал вам его письмо?

– Кто?

– Дантес.

– Мне? Нет. Разве у него было письмо?

– Мне казалось, что, кроме пакета, капитан дал ему еще и письмо.

– О каком пакете вы говорите, Данглар?

– О том, который Дантес отвез в Порто-Феррайо.

– А откуда вы знаете, что Дантес отвозил пакет в Порто-Феррайо?

Данглар покраснел.

– Я проходил мимо каюты капитана и видел, как он отдавал Дантесу пакет и письмо.

– Он мне ничего не говорил, но если у него есть письмо, то он мне его передаст.

Данглар задумался.

– Если так, господин Моррель, то прошу вас, не говорите об этом Дантесу. Я, верно, ошибся.

В эту минуту молодой моряк возвратился. Данглар опять отошел.

– Ну что, дорогой Дантес, вы свободны? – спросил арматор.

– Да, господин Моррель.

– Как вы скоро покончили!

– Да, я вручил таможенникам списки наших товаров, а из порта прислали с лоцманом человека, которому я и передал наши бумаги.

– Так вам здесь нечего больше делать?

Дантес быстро осмотрелся.

– Нечего, все в порядке, – сказал он.

– Так поедем обедать к нам.

– Прошу прощения, господин Моррель, но прежде всего я должен повидаться с отцом. Благодарю вас за честь...

– Правильно, Дантес, правильно. Я знаю, что вы хороший сын.

– А мой отец, – спросил Дантес нерешительно, – он здоров, вы не знаете?

– Думаю, что здоров, дорогой Эдмон, хотя я его не видал.

– Да, он все сидит в своей комнатушке.

– Это доказывает по крайней мере, что он без вас не нуждался ни в чем.

Дантес улыбнулся.

– Отец мой горд, и если бы он даже нуждался во всем, то ни у кого на свете, кроме бога, не попросил бы помощи.

– Итак, навестив отца, вы, надеюсь, придете к нам?

– Еще раз извините, господин Моррель, но у меня есть другой долг, который для меня так же драгоценен.

– Да! Я и забыл, что в Каталанах кто-то ждет вас с таким же нетерпением, как и ваш отец, – прекрасная Мерседес.

Дантес улыбнулся.

– Вот оно что! – продолжал арматор. – Теперь я понимаю, почему она три раза приходила справляться, скоро ли прибудет «Фараон». Черт возьми, Эдмон, вы счастливец, подружка хоть куда!

– Она мне не подружка, – серьезно сказал моряк, – она моя невеста.

– Иногда это одно и то же, – засмеялся арматор.

– Не для нас, – отвечал Дантес.

– Хорошо, Эдмон, я вас не удерживаю. Вы так хорошо устроили мои дела, что я должен дать вам время на устройство ваших. Не нужно ли вам денег?

– Нет, не нужно. У меня осталось все жалованье, полученное за время плавания, то есть почти за три месяца.

– Вы аккуратный человек, Эдмон.

– Не забудьте, господин Моррель, что мой отец беден.

– Да, да, я знаю, что вы хороший сын. Ступайте к отцу. У меня тоже есть сын, и я бы очень рассердился на того, кто после трехмесячной разлуки помешал бы ему повидаться со мной.

– Так вы разрешите? – сказал молодой человек, кланяясь.

– Идите, если вам больше нечего мне сказать.

– Больше нечего.

– Капитан Леклер, умирая, не давал вам письма ко мне?

– Он не мог писать; но ваш вопрос напомнил мне, что я должен буду попроситься у вас в двухнедельный отпуск.

– Для свадьбы?

– И для свадьбы, и для поездки в Париж.

– Пожалуйста. Мы будем разгружаться недель шесть и выйдем в море не раньше как месяца через три. Но через три месяца вы должны быть здесь, – продолжал арматор, хлопая молодого моряка по плечу. – «Фараон» не может идти в плавание без своего капитана.

– Без своего капитана! – вскричал Дантес, и глаза его радостно заблестели. – Говорите осторожнее, господин Моррель, потому что вы сейчас ответили на самые тайные надежды моей души. Вы хотите назначить меня капитаном «Фараона»?

– Будь я один, дорогой мой, я бы протянул вам руку и сказал: «Готово дело!» Но у меня есть компаньон, а вы знаете итальянскую пословицу: «Chi ha compagno ha padrone».[1] Но половина дела сделана, потому что из двух голосов один уже принадлежит вам. А добыть для вас второй – предоставьте мне.

– О господин Моррель! – вскричал юноша со слезами на глазах, сжимая ему руки. – Благодарю вас от имени отца и Мерседес.

– Ладно, ладно, Эдмон, есть же для честных людей бог на небе, черт возьми! Повидайтесь с отцом, повидайтесь с Мерседес, а потом приходите ко мне.

– Вы не хотите, чтобы я отвез вас на берег?

– Нет, благодарю. Я останусь здесь и просмотрю счета с Данглaром. Вы были довольны им во время плавания?

– И доволен, и нет. Как товарищем – нет. Мне кажется, он меня невзлюбил с тех пор, как однажды, повздорив с ним, я имел глупость предложить ему остановиться минут на десять у острова Монте-Кристо, чтобы разрешить наш спор; конечно, мне не следовало этого говорить, и он очень умно сделал, что отказался. Как о бухгалтере о нем ничего нельзя сказать дурного, и вы, вероятно, будете довольны им.

– Но скажите, Дантес, – спросил арматор, – если бы вы были капитаном «Фараона», вы бы по собственной воле оставили у себя Данглара?

– Буду ли я капитаном или помощником, господин Моррель, я всегда буду относиться с полным уважением к тем лицам, которые пользуются доверием моих хозяев.

– Правильно, Дантес. Вы во всех отношениях славный малый. А теперь ступайте; я вижу, вы как на иголках.

– Так я в отпуску?

– Ступайте, говорят вам.

– Вы мне позволите взять вашу лодку?

– Возьмите.

– До свидания, господин Моррель. Тысячу раз благодарю вас.

– До свидания, Эдмон. Желаю удачи!

Молодой моряк спрыгнул в лодку, сел у руля и велел грести к улице Каннебьер. Два матроса налегли на весла, и лодка понеслась так быстро, как только позволяло множество других лодок, которые загромождали узкий проход, ведущий между двумя рядами кораблей от входа в порт к Орлеанской набережной.

Арматор с улыбкой следил за ним до самого берега, видел, как он выпрыгнул на мостовую и исчез в пестрой толпе, наполняющей с пяти часов утра до девяти часов вечера знаменитую улицу Каннебьер, которой современные фокейцы так гордятся, что говорят самым серьезным образом, с своим характерным акцентом: «Будь в Париже улица Каннебьер, Париж был бы маленьким Марселем».

Оглянувшись, арматор увидел за своей спиной Данглара, который, казалось, ожидал его приказаний, а на самом деле, как и он, провожал взглядом молодого моряка. Но была огромная разница в выражении этих двух взглядов, следивших за одним и тем же человеком.

# II. Отец и сын

Пока Данглар, вдохновляемый ненавистью, старается очернить своего товарища в глазах арматора, последуем за Дантесом, который, пройдя всю улицу Каннебьер, миновал улицу Ноайль, вошел в небольшой дом по левой стороне Мельянских аллей, быстро поднялся по темной лестнице на пятый этаж и, держась одной рукой за перила, а другую прижимая к сильно бьющемуся сердцу, остановился перед полуотворенной дверью, через которую можно было видеть всю каморку. В этой каморке жил его отец.

Известие о прибытии «Фараона» не дошло еще до старика, который, взобравшись на стул, дрожащей рукой поправлял настурции и ломоносы, обвивавшие его окошко. Вдруг кто-то обхватил его сзади, и он услышал знакомый голос:

– Отец!

Старик вскрикнул и обернулся. Увидев сына, он бросился в его объятия, весь бледный и дрожащий.

– Что с вами, отец? – спросил юноша с беспокойством. – Вы больны?

– Нет, нет, милый Эдмон, сын мой, дитя мое, нет! Но я не ждал тебя... Ты застал меня врасплох... это от радости. Боже мой! Мне кажется, что я умру!

– Успокойтесь, отец, это же я. Все говорят, что радость не может повредить, вот почему я так прямо и вошел к вам. Улыбнитесь, не смотрите на меня безумными глазами. Я вернулся домой, и все будет хорошо.

– Тем лучше, дитя мое, – отвечал старик, – но как же все будет хорошо? Разве мы больше не расстанемся? Расскажи же мне о твоем счастье!

– Да простит мне господь, что я радуюсь счастью, построенному на горе целой семьи, но, видит бог, я не желал этого счастья. Оно пришло само собой, и у меня нет сил печалиться. Капитан Леклер скончался, и весьма вероятно, что благодаря покровительству Морреля я получу его

место. Понимаете, отец? В двадцать лет я буду капитаном! Сто луидоров жалованья и доля в прибылях! Разве мог я, бедный матрос, ожидать этого?

– Да, сын мой, ты прав, – сказал старик, – это большое счастье.

– И я хочу, чтобы на первые же деньги вы завели себе домик с садом для ваших ломоносов, настурций и жимолости... Но что с вами, отец? Вам дурно?

– Ничего, ничего... сейчас пройдет!

Силы изменили старику, и он откинулся назад.

– Сейчас, отец! Выпейте стакан вина, это вас подкрепит. Где у вас вино?

– Нет, спасибо, не ищи, не надо, – сказал старик, стараясь удержать сына.

– Как не надо!.. Скажите, где вино?

Он начал шарить в шкафу.

– Не ищи... – сказал старик. – Вина нет...

– Как нет? – вскричал Дантес. Он с испугом глядел то на впалые бледные щеки старика, то на пустые полки. – Как нет вина? Вам не хватило денег, отец?

– У меня всего вдоволь, раз ты со мною, – отвечал старик.

– Однако же, – прошептал Дантес, отирая пот с лица, – я вам оставил двести франков назад тому три месяца, когда уезжал.

– Да, да, Эдмон, но ты, уезжая, забыл вернуть должок соседу Кадруссу; он мне об этом напомнил и сказал, что если я не заплачу за тебя, то он пойдет к господину Моррелю. Я боялся, что это повредит тебе...

– И что же?

– Я и заплатил.

– Но ведь я был должен Кадруссу сто сорок франков! – вскричал Дантес.

– Да, – пролепетал старик.

– И вы их заплатили из двухсот франков, которые я вам оставил?

Старик кивнул головой.

– И жили целых три месяца на шестьдесят франков?

– Много ли мне надо, – отвечал старик.

– Господи! – простонал Эдмон, бросаясь на колени перед отцом.

– Что с тобой?

– Никогда себе этого не прощу.

– Брось, – сказал старик с улыбкой, – ты вернулся, и все забыто. Ведь теперь все хорошо.

– Да, я вернулся, – сказал юноша, – вернулся с наилучшими надеждами и с кое-какими деньгами... Вот, отец, берите, берите и сейчас же пошлите купить что-нибудь.

И он высыпал на стол дюжину золотых, пять или шесть пятифранковых монет и мелочь.

Лицо старого Дантеса просияло.

– Чье это? – спросил он.

– Да мое... ваше... наше! Берите, накупите провизии, не жалейте денег, завтра я еще принесу.

– Постой, постой, – сказал старик улыбаясь. – С твоего позволения я буду тратить деньги потихоньку; если я сразу много накуплю, то еще, пожалуй, люди подумают, что мне пришлось для этого ждать твоего возвращения.

– Делайте, как вам угодно, но прежде всего наймите служанку. Я не хочу, чтобы вы жили один. У меня в трюме припрятаны контрабандный кофе и чудесный табак; завтра же вы их получите. Тише! Кто-то идет.

– Это, должно быть, Кадрусс. Узнал о твоем приезде и идет поздравить тебя со счастливым возвращением.

– Вот еще уста, которые говорят одно, между тем как сердце думает другое, – прошептал Эдмон. – Но все равно, он наш сосед и оказал нам когда-то услугу! Примем его ласково.

Не успел Эдмон договорить, как в дверях показалась черная бородатая голова Кадрусса. Это был человек лет двадцати пяти – двадцати шести; в руках он держал кусок сукна, который он согласно своему ремеслу портного намеревался превратить в одежду.

– А! Приехал, Эдмон! – сказал он с сильным марсельским акцентом, широко улыбаясь, так что видны были все его зубы, белые, как слоновая

кость.

– Как видите, сосед Кадрусс, я к вашим услугам, если вам угодно, – отвечал Дантес, с трудом скрывая холодность под любезным тоном.

– Покорно благодарю. К счастью, мне ничего не нужно, и даже иной раз другие во мне нуждаются. (Дантес вздрогнул.) Я не про тебя говорю, Эдмон. Я дал тебе денег взаймы, ты мне их отдал; так водится между добрыми соседями, и мы в расчете.

– Никогда не бываешь в расчете с теми, кто нам помог, – сказал Дантес. – Когда денежный долг возвращен, остается долг благодарности.

– К чему говорить об этом? Что было, то прошло. Поговорим лучше о твоем счастливом возвращении. Я пошел в порт поискать коричневого сукна и встретил своего приятеля Данглара.

«Как, ты в Марселе?» – говорю ему.

«Да, как видишь».

«А я думал, ты в Смирне».

«Мог бы быть и там, потому что прямо оттуда».

«А где же наш Эдмон?»

«Да, верно, у отца», – отвечал мне Данглар. Вот я и пришел, – продолжал Кадрусс, – чтобы приветствовать друга.

– Славный Кадрусс, как он нас любит! – сказал старик.

– Разумеется, люблю и притом еще уважаю, потому что честные люди редки... Но ты никак разбогател, приятель? – продолжал портной, искоса взглянув на кучку золота и серебра, выложенную на стол Дантесом.

Юноша заметил искру жадности, блеснувшую в черных глазах соседа.

– Это не мои деньги, – отвечал он небрежно. – Я сказал отцу, что боялся найти его в нужде, а он, чтобы успокоить меня, высыпал на стол все, что было у него в кошельке. Спрячьте деньги, отец, если только соседу они не нужны.

– Нет, друг мой, – сказал Кадрусс, – мне ничего не нужно; слава богу, ремесло мастера кормит. Береги денежки, лишних никогда не бывает. При всем том я тебе благодарен за твое предложение не меньше, чем если бы я им воспользовался.

– Я предложил от сердца, – сказал Дантес.

– Не сомневаюсь. Итак, ты в большой дружбе с Моррелем, хитрец ты этакий?

– Господин Моррель всегда был очень добр ко мне, – отвечал Дантес.

– В таком случае ты напрасно отказался от обеда.

– Как отказался от обеда? – спросил старый Дантес. – Разве он звал тебя обедать?

– Да, отец, – отвечал Дантес и улыбнулся, заметив, как поразила старика необычайная честь, оказанная его сыну.

– А почему же ты отказался, сын? – спросил старик.

– Чтобы пораньше прийти к вам, отец, – ответил молодой человек. – Мне не терпелось увидеться с вами.

– Моррель, должно быть, обиделся, – продолжал Кадрусс, – а когда метишь в капитаны, не следует перечить арматору.

– Я объяснил ему причину отказа, и он понял меня, надеюсь.

– Чтобы стать капитаном, надобно немножко подольститься к хозяевам.

– Я надеюсь быть капитаном и без этого, – отвечал Дантес.

– Тем лучше, тем лучше! Это порадует всех старых твоих друзей. А там, за фортом Святого Николая, я знаю кое-кого, кто будет особенно доволен.

– Мерседес? – спросил старик.

– Да, отец, – сказал Дантес. – И теперь, когда я вас повидал, когда я знаю, что вы здоровы и что у вас есть все, что вам нужно, я попрошу у вас позволения отправиться в Каталаны.

– Ступай, дитя мое, ступай, – отвечал старый Дантес, – и да благословит тебя господь женой, как благословил меня сыном.

– Женой! – сказал Кадрусс. – Как вы, однако, спешите; она еще не жена ему как будто!

– Нет еще, но, по всем вероятиям, скоро будет, – отвечал Эдмон.

– Как бы то ни было, – сказал Кадрусс, – ты хорошо сделал, что поспешил с приездом.

– Почему?

– Потому что Мерседес – красавица, а у красавиц нет недостатка в поклонниках; у этой – особенно: они дюжинами ходят за ней.

– В самом деле? – сказал Дантес с улыбкой, в которой заметна была легкая тень беспокойства.

– Да, да, – продолжал Кадрусс, – и притом завидные женихи; но, сам понимаешь, ты скоро будешь капитаном, и тебе едва ли откажут.

– Это значит, – подхватил Дантес с улыбкой, которая едва прикрывала его беспокойство, – это значит, что если бы я не стал капитаном...

– Гм! Гм! – пробормотал Кадрусс.

– Ну, – сказал молодой человек, – я лучшего мнения, чем вы, о женщинах вообще и о Мерседес в особенности, и я убежден, что, буду я капитаном или нет, она останется мне верна.

– Тем лучше, – сказал Кадрусс, – тем лучше! Когда женишься, нужно уметь верить; но все равно, приятель, я тебе говорю; не теряй времени, ступай объяви ей о своем приезде и поделись своими надеждами.

– Иду, – отвечал Эдмон.

Он поцеловал отца, кивнул Кадруссу и вышел.

Кадрусс посидел у старика еще немного, потом, простившись с ним, тоже вышел и вернулся к Данглару, который ждал его на углу улицы Сенак.

– Ну что? – спросил Данглар. – Ты его видел?

– Видел, – ответил Кадрусс.

– И он говорил тебе о своих надеждах на капитанство?

– Он говорит об этом так, как будто он уже капитан.

– Вот как! – сказал Данглар. – Уж больно он торопится!

– Но Моррель ему, как видно, обещал...

– Так он очень весел?

– Даже до дерзости; он уже предлагал мне свои услуги, как какая-нибудь важная особа; предлагал мне денег, как банкир.

– И ты отказался?

– Отказался. А мог бы взять у него взаймы, потому что не кто другой, как я, одолжил ему первые деньги, которые он видел в своей жизни. Но

теперь господин Дантес ни в ком не нуждается: он скоро будет капитаном!

– Ну, он еще не капитан!

– Правду сказать, хорошо было бы, если бы он им и не стал, – продолжал Кадрусс, – а то с ним и говорить нельзя будет.

– Если мы захотим, – сказал Данглар, – он будет тем же, что и теперь, а может быть, и того меньше.

– Что ты говоришь?

– Ничего, я говорю сам с собою. И он все еще влюблен в прекрасную каталанку?

– До безумия; уже побежал туда. Но или я очень ошибаюсь, или с этой стороны его ждут неприятности.

– Скажи яснее.

– Зачем?

– Это гораздо важнее, чем ты думаешь. Ведь ты не любишь Дантеса?

– Я не люблю гордецов.

– Так скажи мне все, что знаешь о каталанке.

– Я не знаю ничего наверное, но видел такие вещи, что думаю, как бы у будущего капитана не вышло неприятностей на дороге у Старой Больницы.

– Что же ты видел? Ну, говори.

– Я видел, что каждый раз, как Мерседес приходит в город, ее провожает рослый детина, каталанец, с черными глазами, краснолицый, черноволосый, сердитый. Она называет его двоюродным братом.

– В самом деле!.. И ты думаешь, что этот братец за нею волочится?

– Предполагаю – как же может быть иначе между двадцатилетним детиной и семнадцатилетней красавицей?

– И ты говоришь, что Дантес пошел в Каталаны?

– Пошел при мне.

– Если мы пойдем туда же, мы можем остановиться в «Резерве» и за стаканом мальгского вина подождать новостей.

– А кто нам их сообщит?

– Мы будем на его пути и по лицу Дантеса увидим, что произошло.

– Идем, – сказал Кадрусс, – но только платишь ты.

– Разумеется, – отвечал Данглар.

И оба быстрым шагом направились к назначенному месту. Придя в трактир, они велели подать бутылку вина и два стакана.

От старика Памфила они узнали, что минут десять тому назад Дантес прошел мимо трактира.

Удостоверившись, что Дантес в Каталанах, они сели под молодой листвой платанов и сикомор, в ветвях которых веселая стая птиц воспевала один из первых ясных дней весны.

# III. Каталанцы

В ста шагах от того места, где оба друга, насторожив уши и поглядывая на дорогу, прихлебывали искрометное мальгское вино, за лысым пригорком, обглоданным солнцем и мистралями, лежало селение Каталаны.

Однажды из Испании выехали какие-то таинственные переселенцы и пристали к тому клочку земли, на котором они живут и поныне. Они явились неведомо откуда и говорили на незнакомом языке. Один из начальников, понимавший провансальский язык, попросил у города Марселя позволения завладеть пустынным мысом, на который они, по примеру древних мореходов, вытащили свои суда. Просьбу уважили, и три месяца спустя вокруг десятка судов, привезших этих морских цыган, выросло небольшое селение. В этом своеобразном и живописном селении, полумавританском, полуиспанском, и поныне живут потомки этих людей, говорящие на языке своих дедов. В продолжение трех или четырех веков они остались верны своему мысу, на который опустились, как стая морских птиц; они нимало не смешались с марсельскими жителями, женятся только между собой и сохраняют нравы и одежду своей родины так же, как сохранили ее язык.

Мы приглашаем читателя последовать за нами по единственной улице селения и зайти в один из домиков; солнце снаружи окрасило его стены в цвет опавших листьев, одинаковый для всех старинных построек этого края, а внутри кисть маляра сообщила им белизну, составляющую единственное украшение испанских posadas.[2]

Красивая молодая девушка, с черными, как смоль, волосами, с бархатными, как у газели, глазами, стояла, прислонившись к перегородке, и в тонких, словно выточенных античным ваятелем пальцах мяла ни в чем не повинную ветку вереска; оборванные цветы и листья уже усеяли пол; руки ее, обнаженные до локтя, покрытые загаром, но словно скопированные с рук Венеры Арльской, дрожали от волнения, а легкой ножкой с высоким подъемом она нетерпеливо постукивала по

полу, так что можно было видеть ее стройные, изящные икры, обтянутые красным чулком с серыми и синими стрелками. В трех шагах от нее, покачиваясь на стуле и опершись локтем на старый комод, статный молодец лет двадцати – двадцати двух смотрел на нее с беспокойством и досадой; в его глазах был вопрос, но твердый и упорный взгляд девушки укрощал собеседника.

– Послушай, Мерседес, – говорил молодой человек, – скоро пасха, самое время сыграть свадьбу... Ответь же мне!

– Я тебе уже сто раз отвечала, Фернан, и ты сам себе враг, если опять спрашиваешь меня.

– Ну так повтори еще, умоляю тебя, повтори еще, чтобы я мог поверить. Скажи мне в сотый раз, что отвергаешь мою любовь, которую благословила твоя мать; заставь меня понять, что ты играешь моим счастьем, что моя жизнь или смерть для тебя – ничто! Боже мой! Десять лет мечтать о том, чтобы стать твоим мужем, Мерседес, и потерять эту надежду, которая была единственной целью моей жизни!

– По крайней мере не я поддерживала в тебе эту надежду, – отвечала Мерседес, – ты не можешь меня упрекнуть, что я когда-нибудь завлекала тебя. Я всегда говорила тебе: я люблю тебя, как брата, но никогда не требуй от меня ничего, кроме этой братской дружбы, потому что сердце мое отдано другому. Разве я не говорила тебе этого, Фернан?

– Знаю, знаю, Мерседес, – прервал молодой человек. – Да, ты всегда была со мной до жестокости прямодушна, но ты забываешь, что для каталанцев брак только между своими – священный закон.

– Ты ошибаешься, Фернан, это не закон, а просто обычай, только и всего, – и верь мне, тебе не стоит ссылаться на этот обычай. Ты вытянул жребий, Фернан. Если ты еще на свободе, то это просто поблажка; не сегодня так завтра тебя могут призвать на службу. А когда ты поступишь в солдаты, что ты станешь делать с бедной сиротой, горемычной, без денег, у которой нет ничего, кроме развалившейся хижины, где висят старые сети – жалкое наследство, оставленное моим отцом матери, а матерью – мне? Вот год, как она умерла, и подумай, Фернан, ведь я живу почти милостыней! Иногда ты притворяешься, будто я тебе помогаю, и

это для того, чтобы иметь право разделить со мной улов; и я принимаю это, Фернан, потому что твой отец был братом моего отца, потому что мы выросли вместе и особенно потому, что отказ мой слишком огорчил бы тебя. Но я чувствую, что деньги, которые я выручаю за твою рыбу и на которые я покупаю себе лен для пряжи, – просто милостыня.

– Не все ли мне равно, Мерседес! Бедная и одинокая, ты мне дороже, чем дочь самого гордого арматора или самого богатого банкира в Марселе! Что надобно нам, беднякам? Честную жену и хорошую хозяйку. Где я найду лучше тебя?

– Фернан, – отвечала Мерседес, покачав головой, – можно стать дурной хозяйкой, и нельзя ручаться, что будешь честной женой, если любишь не мужа, а другого. Будь доволен моей дружбой, потому что, повторяю, это все, что я могу тебе обещать, а я обещаю только то, что могу исполнить наверное.

– Понимаю, – сказал Фернан, – ты терпеливо сносишь свою нищету, но боишься моей. Так знай же, Мерседес, если ты меня полюбишь, я попытаю счастья. Ты принесешь мне удачу, и я разбогатею. Я не останусь рыбаком; я могу наняться конторщиком, могу и сам завести торговлю.

– Ничего этого ты не можешь, Фернан; ты солдат, и если ты сейчас в Каталанах, то только потому, что нет войны. Оставайся рыбаком, не строй воздушных замков, после которых действительность покажется тебе еще тягостней, и удовольствуйся моей дружбой. Ничего другого я тебе дать не могу.

– Да, ты права, Мерседес, я буду моряком; надену вместо дедовской одежды, которую ты презираешь, лакированную шляпу, полосатую фуфайку и синюю куртку с якорями на пуговицах. Ведь так должен быть одет человек, который сможет тебе понравиться?

– Что ты хочешь сказать? – спросила Мерседес, с гордым вызовом взглянув на него. – Что ты хочешь сказать? Я не понимаю тебя.

– Я хочу сказать, Мерседес, ты так сурова и жестока со мной только потому, что ждешь человека, который одет, как я описал. А вдруг тот, кого ты ждешь, непостоянен, а если не он, непостоянно море?

– Фернан, – вскричала Мерседес, – я думала, что ты добрый, но я ошиблась. Ты злой, если на помощь своей ревности призываешь божий гнев! Да, я не скрываю: я жду и люблю того, о ком ты говоришь, и если он не вернется, я не стану упрекать его в непостоянстве, а скажу, что он умер, любя меня.

Каталанец яростно сжал кулаки.

– Я тебя поняла, Фернан: ты хочешь отомстить ему за то, что я не люблю тебя. Ты хочешь скрестить свой каталанский нож с его кинжалом! И что же? Ты лишишься моей дружбы, если будешь побежден; а если победишь ты, то моя дружба обернется ненавистью. Поверь мне, искать ссоры с человеком – плохое средство понравиться женщине, которая этого человека любит. Нет, Фернан, ты не поддашься дурным мыслям. Раз я не могу быть твоей женой, ты привыкнешь смотреть на меня, как на друга, как на свою сестру. Притом же, – прибавила она с влажными от слез глазами, – не спеши, Фернан: ты сам сейчас сказал – море коварно, и вот уже четыре месяца как он уехал, а за четыре месяца я насчитала много бурь!

Фернан остался холоден; он не старался отереть слезы, бежавшие по щекам Мерседес; а между тем за каждую ее слезу он отдал бы стакан своей крови. Но эти слезы лились из-за другого!

Он встал, прошелся по хижине и остановился перед Мерседес; глаза его сверкали, кулаки были сжаты.

– Послушай, Мерседес, – сказал он, – отвечай еще раз: это решено?

– Я люблю Эдмона Дантеса, – спокойно ответила девушка, – и, кроме Эдмона, никто не будет моим мужем.

– И ты будешь всегда любить его?

– До самой смерти.

Фернан со стоном опустил голову, как человек, потерявший последнюю надежду; потом вдруг поднял голову и, стиснув зубы, спросил:

– А если он умер?

– Так и я умру.

– А если он тебя забыл?

– Мерседес! – раздался веселый голос за дверью. – Мерседес!

– Ах!.. – вскричала девушка, не помня себя от счастья и любви. – Вот видишь, он не забыл меня, он здесь!

Она бросилась к двери и отворила ее, крича:

– Сюда, Эдмон! Я здесь!

Фернан, бледный и дрожащий, попятился, как путник, внезапно увидевший змею, и, наткнувшись на свой стул, бессильно опустился на него.

Эдмон и Мерседес бросились друг другу в объятия. Палящее марсельское солнце, врываясь в раскрытую дверь, обливало их потоками света. Сначала они не видели ничего кругом. Неизмеримое счастье отделяло их от мира; они говорили несвязными словами, которые передают порывы такой острой радости, что становятся похожи на выражение боли.

Вдруг Эдмон заметил мрачное лицо Фернана, которое выступало из полумрака, бледное и угрожающее; бессознательно молодой каталанец держал руку на ноже, висевшем у него на поясе.

– Простите, – сказал Дантес, хмуря брови, – я и не заметил, что нас здесь трое. – Затем, обращаясь к Мерседес, он спросил: – Кто этот господин?

– Этот господин будет вашим лучшим другом, Дантес, потому что это мой друг, мой брат, Фернан, тот человек, которого после вас, Эдмон, я люблю больше всех на свете. Разве вы не узнали его?

– Да, узнал, – отвечал Эдмон, и, не выпуская руки Мерседес, он сердечно протянул другую руку каталанцу.

Но Фернан, не отвечая на это дружеское движение, оставался нем и недвижим, как статуя.

Тогда Эдмон испытующе посмотрел на дрожавшую Мерседес и на мрачного и грозного Фернана.

Один взгляд объяснил ему все. Он вспыхнул от гнева:

– Я не знал, когда спешил к тебе, Мерседес, что найду здесь врага.

– Врага! – вскричала Мерседес, гневно взглянув на двоюродного брата. – Найти врага у меня, в моем доме! Если бы я так думала, я взяла

бы тебя под руку и ушла в Марсель, покинув этот дом навсегда.

Глаза Фернана сверкнули.

– И если бы с тобой приключилась беда, мой Эдмон, – продолжала она с неумолимым спокойствием, которое показывало Фернану, что Мерседес проникла в самую глубину его мрачных мыслей, – я взошла бы на мыс Моржион и бросилась со скалы вниз головой.

Фернан побледнел, как смерть.

– Но ты ошибся, Эдмон, – прибавила она, – здесь у тебя нет врагов; здесь только мой брат Фернан, и он сейчас пожмет тебе руку, как преданному другу.

И девушка устремила повелительный взгляд на каталанца, который, как завороженный, медленно подошел к Эдмону и протянул ему руку.

Ненависть его, подобно волне, бешеной, но бессильной, разбилась о неодолимую власть, которую эта девушка имела над ним.

Но едва он дотронулся до руки Эдмона, как почувствовал, что сделал все, что мог, и бросился вон из дому.

– Горе мне! – стонал он, в отчаянии ломая руки. – Кто избавит меня от этого человека! Горе мне!

– Эй, каталанец! Эй, Фернан! Куда ты? – окликнул его чей-то голос.

Фернан круто остановился, озираясь по сторонам, и увидал Кадрусса, сидевшего с Данглaром за столом под деревьями.

– Что же ты не идешь к нам? – сказал Кадрусс. – Или ты так спешишь, что тебе некогда поздороваться с друзьями?

– Особенно когда перед ними еще почти полная бутылка! – прибавил Данглар.

Фернан бессмысленно посмотрел на них и не ответил ни слова.

– Он совсем ошалел, – сказал Данглар, толкая Кадрусса ногой. – Что, если мы ошиблись и вопреки нашим ожиданиям Дантес торжествует победу?

– Сейчас узнаем, – отвечал Кадрусс и, повернувшись к молодому человеку, сказал: – Ну что же, каталанец, решаешься или нет?

Фернан отер пот с лица и вошел в беседку; ее тень как будто немного успокоила его волнение, а прохлада освежила истомленное тело.

– Здравствуйте, – сказал он, – вы, кажется, звали меня? – И он без сил опустился на один из стульев, стоявших вокруг стола.

– Я позвал тебя потому, что ты бежал, как сумасшедший, и я боялся, что ты, чего доброго, бросишься в море, – сказал, смеясь, Кадрусс. – Черт возьми! Друзей не только угощают вином; иной раз им еще мешают наглотаться воды.

Фернан не то вздохнул, не то всхлипнул и уронил голову на руки.

– Знаешь, что я тебе скажу, Фернан, – продолжал Кадрусс, начиная разговор с грубой откровенностью простых людей, которые от любопытства забывают все приличия. – Знаешь, ты похож на отставленного воздыхателя! – И он громко захохотал.

– Нет, – отвечал Данглар, – такой молодец не для того создан, чтобы быть несчастным в любви. Ты шутишь, Кадрусс.

– Вовсе не шучу, ты лучше послушай, как он вздыхает. Ну-ка, Фернан, подними нос да отвечай нам. Невежливо не отвечать друзьям, когда они спрашивают о здоровье.

– Я здоров, – сказал Фернан, сжимая кулаки, но не поднимая головы.

– А! Видишь ли, Данглар, – сказал Кадрусс, мигнув своему приятелю, – дело вот в чем: Фернан, которого ты здесь видишь, добрый и честный каталанец, один из лучших марсельских рыбаков, влюблен в красавицу по имени Мерседес, но, к несчастью, красавица, со своей стороны, по-видимому, влюблена в помощника капитана «Фараона», а так как «Фараон» сегодня воротился в порт, то... понимаешь?

– Нет, не понимаю, – отвечал Данглар.

– Бедняга Фернан получил отставку, – продолжал Кадрусс.

– Ну так что ж? – сказал Фернан, подняв голову и поглядывая на Кадрусса как человек, ищущий, на ком бы выместить досаду. – Мерседес ни от кого не зависит, не так ли? И вольна любить, кого ей угодно.

– Если ты так на это смотришь, тогда другое дело! – сказал Кадрусс. – Я-то думал, что ты каталанец; а мне рассказывали, что каталанцы не из тех людей, у которых можно отбивать возлюбленных; при этом даже прибавляли, что Фернан особенно страшен в своей мести.

Фернан презрительно улыбнулся.

– Влюбленный никогда не страшен, – сказал он.

– Бедняга! – подхватил Данглар, притворяясь, что жалеет его от всего сердца. – Что ж делать? Он не ожидал, что Дантес воротится так скоро. Он думал, что Дантес, быть может, умер, изменил, – как знать? Такие удары тем более тяжелы, что приходят всегда неожиданно.

– Как бы там ни было, – сказал Кадрусс, который все время пил и на которого хмельное мальгское вино начинало действовать, – как бы там ни было, благополучное возвращение Дантеса досаждает не одному Фернану, верно, Данглар?

– Верно, и я готов поручиться, что это кончится для него плохо.

– Тем не менее, – продолжал Кадрусс, наливая Фернану и наполняя в восьмой или десятый раз свой собственный стакан, между тем как Данглар едва пригубил свое вино, – тем не менее он женится на красавице Мерседес; по крайней мере он для этого воротился.

Все это время Данглар проницательным взором смотрел на Фернана и видел, что слова Кадрусса падают ему на сердце, как расплавленный свинец.

– А когда свадьба? – спросил Данглар.

– О! До свадьбы еще дело не дошло! – прошептал Фернан.

– Да, но дойдет, – сказал Кадрусс. – Это так же верно, как то, что Дантес будет капитаном «Фараона». Не правда ли, Данглар?

Данглар вздрогнул при этом неожиданном выпаде, повернулся к Кадруссу и пристально посмотрел на него, чтобы узнать, с умыслом ли были сказаны эти слова, но он не прочел ничего, кроме зависти, на этом лице, уже поглупевшем от опьянения.

– Итак, – сказал он, наполняя стаканы, – выпьем за капитана Эдмона Дантеса, супруга прелестной каталанки!

Кадрусс отяжелевшею рукою поднес стакан к губам и одним духом осушил его. Фернан схватил свой стакан и разбил вдребезги.

– Стойте! – сказал Кадрусс. – Что там такое на пригорке, по дороге из Каталан? Взгляни-ка, Фернан, у тебя глаза получше. У меня уже двоится в глазах. Ты знаешь, вино – предатель. Точно двое влюбленных идут

рядышком рука об руку. Ах, боже ты мой! Они не подозревают, что мы их видим, и целуются!

Данглар следил за каждым движением Фернана, лицо которого приметно искажалось.

– Знаете вы их, Фернан? – спросил он.

– Да, – отвечал он глухим голосом, – это Эдмон и Мерседес.

– А! Вот оно что! – сказал Кадрусс. – А я и не узнал их. Эй, Дантес! Эй, красавица! Подите-ка сюда и скажите нам, скоро ли свадьба. Фернан такой упрямец, не хочет нам сказать.

– Да замолчишь ли ты? – прервал его Данглар, делая вид, будто останавливает Кадрусса, который с упрямством пьяницы высовывался из беседки. – Держись крепче на ногах и оставь влюбленных в покое. Бери пример с Фернана: он по крайней мере благоразумен.

Быть может, Фернан, выведенный из себя, подстрекаемый Дангларом, как бык на арене, не удержался бы, ибо он уже встал и, казалось, вот-вот кинется на соперника, но Мерседес, веселая и непринужденная, подняла прелестную головку и окинула всех светлым взором. Он вспомнил ее угрозу – умереть, если умрет Эдмон, – и бессильно опустился на стул.

Данглар посмотрел на своих собеседников – на отупевшего от вина и на сраженного любовью.

– От этих дураков я ничего не добьюсь, – прошептал он, – боюсь, что я имею дело с пьяницей и с трусом. Вот завистник, который наливается вином, между тем как ему следовало бы упиваться желчью; вот болван, у которого из-под носа похищают возлюбленную и который только и знает, что плачет и жалуется, как ребенок. А между тем у него пылающие глаза, как у испанцев, сицилийцев и калабрийцев, которые так искусно мстят за себя; у него такие кулаки, что размозжат голову быку вернее всякого обуха. Положительно, счастье улыбается Эдмону; он женится на красавице, будет капитаном и посмеется над нами, разве только... – мрачная улыбка искривила губы Данглара, – разве только я тут вмешаюсь.

– Эй! – продолжал кричать Кадрусс, привстав и опершись кулаком о стол. – Эй, Эдмон! Не видишь ты, что ли, друзей или уж так загордился,

что не хочешь и говорить с ними?

– Нет, дорогой Кадрусс, – отвечал Дантес, – я совсем не горд, я счастлив, а счастье, очевидно, ослепляет еще больше, чем гордость.

– Дело! – сказал Кадрусс. – Вот это объяснение! Здравствуйте, госпожа Дантес!

Мерседес чинно поклонилась.

– Меня так еще не зовут, – сказала она. – У нас считается, что можно накликать беду, если называть девушку по имени ее жениха, когда этот жених еще не стал ей мужем; поэтому называйте меня Мерседес, прошу вас.

– Сосед Кадрусс не так уж виноват, – сказал Дантес, – он ненамного ошибся!

– Так, значит, свадьба будет скоро? – спросил Данглар, раскланиваясь с молодой парой.

– Как можно скорее. Сегодня сговор у моего отца, а завтра или послезавтра, никак не позже, обед в честь помолвки здесь, в «Резерве». Надеюсь, будут все друзья: это значит, что вы приглашены, господин Данглар; это значит, что и тебя ждут, Кадрусс.

– А Фернан? – спросил Кадрусс, смеясь пьяным смехом. – Фернан тоже будет?

– Брат моей жены – мой брат, – сказал Эдмон, – и мы, Мерседес и я, были бы глубоко огорчены, если бы его не было с нами в такую минуту.

Фернан хотел ответить, но голос замер у него в горле, и он не мог выговорить ни слова.

– Сегодня помолвка... завтра или послезавтра обручение... черт возьми, вы очень спешите, капитан!

– Данглар, – отвечал Эдмон с улыбкой, – я вам скажу то же, что Мерседес сказала сейчас Кадруссу: не наделяйте меня званием, которого я еще не удостоен; это накличет на меня беду.

– Прошу прощения, – отвечал Данглар. – Я только сказал, что вы очень спешите. Ведь времени у нас довольно: «Фараон» выйдет в море не раньше как через три месяца.

– Всегда спешишь быть счастливым, господин Данглар, – кто долго страдал, тот с трудом верит своему счастью. Но это не только себялюбие, – я должен ехать в Париж.

– Вот как! В Париж! И вы едете туда в первый раз?

– Да.

– У вас там есть дело?

– Не мое: надо исполнить последнее поручение бедного нашего капитана Леклера. Вы понимаете, Данглар, это дело святое. Впрочем, будьте спокойны, я только съезжу и вернусь.

– Да, да, понимаю, – вслух сказал Данглар.

Потом прибавил про себя:

«В Париж, доставить по назначению письмо, которое ему дал маршал. Черт возьми! Это письмо подает мне мысль. А, Дантес, друг мой! Ты еще не значишься в реестре „Фараона“ под номером первым!»

И он крикнул вслед удалявшемуся Эдмону:

– Счастливого пути!

– Благодарю, – отвечал Эдмон, оглядываясь через плечо и дружески кивая головой.

И влюбленные продолжали путь, спокойные и счастливые, как два избранника небес...

# IV. Заговор

Данглар следил глазами за Эдмоном и Мерседес, пока они не скрылись за фортом Св. Николая; потом он снова повернулся к своим собутыльникам. Фернан, бледный и дрожащий, сидел неподвижно, а Кадрусс бормотал слова какой-то застольной песни.

– Мне кажется, – сказал Данглар Фернану, – эта свадьба не всем сулит счастье.

– Меня она приводит в отчаяние, – отвечал Фернан.

– Вы любите Мерседес?

– Я обожаю ее.

– Давно ли?

– С тех пор как мы знаем друг друга; я всю жизнь любил ее.

– И вы сидите тут и рвете на себе волосы, вместо того чтобы искать средства помочь горю! Черт возьми! Я думал, что не так водится между каталанцами.

– Что же, по-вашему, мне делать? – спросил Фернан.

– Откуда я знаю? Разве это мое дело? Ведь, кажется, не я влюблен в мадемуазель Мерседес, а вы ищите и обрящете, как сказано в Евангелии.

– Я уж нашел было.

– Что именно?

– Я хотел ударить его кинжалом, но она сказала, что, если с ним что-нибудь случится, она убьет себя.

– Бросьте! Такие вещи говорятся, да не делаются.

– Вы не знаете Мерседес. Если она пригрозила, так уж исполнит.

– Болван! – прошептал Данглар. – Пусть она убивает себя, мне какое дело, лишь бы Дантес не был капитаном.

– А прежде чем умрет Мерседес, – продолжал Фернан с твердой решимостью, – я умру.

– Вот любовь-то! – закричал Кадрусс пьяным голосом. – Вот это любовь так любовь, или я ничего в этом не понимаю!

– Послушайте, – сказал Данглар, – вы, сдается мне, славный малый, и я бы хотел, черт меня побери, помочь вашему горю, но...

– Да, – подхватил Кадрусс, – говори.

– Любезный, – прервал его Данглар, – ты уже почти пьян; допей бутылку, и ты будешь совсем готов. Пей и не мешайся в наши дела. Для наших дел надобно иметь свежую голову.

– Я пьян? – вскричал Кадрусс. – Вот тоже! Я могу выпить еще четыре такие бутылки: это же пузырьки из-под одеколона! Папаша Памфил, вина!

И Кадрусс стукнул стаканом по столу.

– Так вы говорите... – сказал Фернан Данглару, с жадностью ожидая окончания прерванной фразы.

– Я уж не помню, что говорил. Этот пьяница спутал все мои мысли.

– Ну и пусть пьяница; тем хуже для тех, кто боится вина; у них, верно, дурные мысли, и они боятся, как бы вино не вывело их наружу.

И Кадрусс затянул песенку, бывшую в то время в большой моде:

Все злодеи – водопийцы,
Что доказано потопом.

– Вы говорили, – продолжал Фернан, – что хотели бы помочь моему горю, но, прибавили вы...

– Да. Но чтобы помочь вашему горю, надо помешать Дантесу жениться на той, которую вы любите, свадьба, по-моему, легко может не состояться и без смерти Дантеса.

– Только смерть может разлучить их, – сказал Фернан.

– Вы рассуждаете, как устрица, друг мой, – прервал его Кадрусс, – а Данглар у нас умник, хитрец, ученый, он докажет вам, что вы ошибаетесь. Докажи, Данглар. Я поручился за тебя. Докажи, что Дантесу не нужно умирать; притом жалко будет, если Дантес умрет. Он добрый малый, я люблю Дантеса. За твое здоровье, Дантес!

Фернан, досадливо махнув рукой, встал из-за стола.

– Пусть его, – сказал Данглар, удерживая каталанца, – он хоть пьян, а не так далек от истины. Разлука разделяет не хуже смерти; представьте себе, что между Дантесом и Мерседес выросла тюремная стена; она разлучит их точно так же, как могильный камень.

– Да, но из тюрьмы выходят, – сказал Кадрусс, который, напрягая остатки соображения, цеплялся за разговор, – а когда человек выходит из тюрьмы и когда он зовется Эдмон Дантес, то он мстит.

– Пусть! – прошептал Фернан.

– Притом же, – заметил Кадрусс, – за что сажать Дантеса в тюрьму? Он не украл, не убил, не зарезал...

– Замолчи! – прервал его Данглар.

– Не желаю молчать! – сказал Кадрусс. – Я желаю, чтобы мне сказали, за что сажать Дантеса в тюрьму. Я люблю Дантеса. За твое здоровье, Дантес! – И он осушил еще стакан вина.

Данглар посмотрел в окончательно посоловевшие глаза портного и, повернувшись к Фернану, сказал:

– Теперь вы понимаете, что нет нужды убивать его?

– Разумеется, не нужно, если только, как вы говорите, есть средство засадить Дантеса в тюрьму. Но где это средство?

– Если хорошенько поискать, так найдется, – сказал Данглар. – А впрочем, – продолжал он, – чего ради я путаюсь в это дело? Ведь меня оно не касается.

– Не знаю, касается ли оно вас, – вскричал Фернан, хватая его за руку, – но знаю, что у вас есть причины ненавидеть Дантеса. Кто сам ненавидит, тот не ошибается и в чужом чувстве.

– У меня причины ненавидеть Дантеса? Никаких, даю вам слово. Я видел, что вы несчастны, и ваше горе возбудило во мне участие, вот и все. Но если вы думаете, что я стараюсь для себя, тогда прощайте, любезный друг, выпутывайтесь из беды как знаете.

Данглар сделал вид, что хочет встать.

– Нет, останьтесь! – сказал Фернан, удерживая его. – Не все ли мне равно в конце концов, ненавидите вы Дантеса или нет. Я его ненавижу и

не скрываю этого. Найдите средство, и я все исполню; только не смерть, потому что Мерседес сказала, что она умрет, если убьют Дантеса.

Кадрусс, опустивший голову на стол, поднял ее и посмотрел тяжелым и бессмысленным взглядом на Фернана и Данглара.

– Убьют Дантеса! – сказал он. – Кто собирается убить Дантеса? Не желаю, чтобы его убивали. Он мне друг, еще сегодня утром он предлагал поделиться со мной деньгами, как поделился с ним я. Не желаю, чтобы убивали Дантеса!

– Да кто тебе говорит, что его хотят убить, дурак! – прервал Данглар – Мы просто шутим. Выпей за его здоровье, – продолжал он, наполняя стакан Кадрусса, – и оставь нас в покое.

– Да, да, за здоровье Дантеса! – сказал Кадрусс, выпивая вино. – За его здоровье!.. За его здоровье!.. Вот!..

– Но... средство?.. средство? – спрашивал Фернан.

– Так вы еще не нашли его?

– Нет, ведь вы взялись сами...

– Это правда, – сказал Данглар. – У французов перед испанцами то преимущество, что испанцы обдумывают, а французы придумывают.

– Ну так придумайте! – нетерпеливо крикнул Фернан.

– Человек! – крикнул Данглар. – Перо, чернил и бумаги!

– Перо, чернил и бумаги? – пробормотал Фернан.

– Да, я бухгалтер: перо, чернила и бумага – мои орудия, без них я ничего не могу сделать.

– Перо, чернил и бумаги! – крикнул, в свою очередь, Фернан.

– На том столе, – сказал трактирный слуга, указывая рукой.

– Так подайте сюда.

Слуга взял перо, чернила и бумагу и принес их в беседку.

– Как подумаешь, – сказал Кадрусс, ударяя рукой по бумаге, – что вот этим вернее можно убить человека, чем подкараулив его на опушке леса! Недаром я пера, чернил и бумаги всегда боялся больше, чем шпаги или пистолета.

– Этот шут не так еще пьян, как кажется, – заметил Данглар. – Подлейте ему, Фернан.

Фернан наполнил стакан Кадрусса, и тот, как истый пьяница, отнял руку от бумаги и протянул ее к стакану.

Каталанец подождал, пока Кадрусс, почти сраженный этим новым залпом, не поставил или, вернее, не уронил стакан на стол.

– Итак? – сказал каталанец, видя, что последние остатки рассудка Кадрусса утонули в этом стакане.

– Итак, – продолжал Данглар, – если бы, например, после такого плавания, какое совершил Дантес, заходивший в Неаполь и на остров Эльба, кто-нибудь донес на него королевскому прокурору, что он бонапартистский агент...

– Я донесу! – живо вскричал каталанец.

– Да, но вам придется подписать донос, вас поставят на очную ставку с тем, на кого вы донесли. Я, разумеется, снабжу вас всем необходимым, чтобы поддерживать обвинение, но Дантес не вечно будет в тюрьме. Когда-нибудь он выйдет оттуда, и тогда горе тому, кто его засадил!

– Мне только и нужно, чтобы он затеял со мною ссору.

– А Мерседес? Мерседес, которая возненавидит вас, если вы хоть пальцем тронете ее возлюбленного Эдмона!

– Это верно, – сказал Фернан.

– Нет, нет, – продолжал Данглар, – если уж решаться на такой поступок, то лучше всего просто взять перо, вот так, обмакнуть его в чернила и написать левой рукой, чтобы не узнали почерка, маленький доносец следующего содержания.

И Данглар, дополняя наставление примером, написал левой рукой косыми буквами, которые не имели ничего общего с его обычным почерком, следующий документ, который и передал Фернану.

Фернан прочел вполголоса:

– «Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле „Фараон“, прибывшем сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже.

Если он будет задержан, уличающее его письмо будет найдено при нем, или у его отца, или в его каюте на «Фараоне».

– Ну вот, – сказал Данглар, – это похоже на дело, потому что такой донос никак не мог бы обернуться против вас самих, и все пошло бы само собой. Оставалось бы только сложить письмо вот так и надписать: «Господину королевскому прокурору». И все было бы кончено. – И Данглар, посмеиваясь, написал адрес.

– Да, все было бы кончено, – закричал Кадрусс, который, собрав последние остатки рассудка, следил за чтением письма и инстинктивно чувствовал, какие страшные последствия мог иметь подобный донос, – да, все было бы кончено, но это было бы подло! – И он протянул руку, чтобы взять письмо.

– Именно потому, – отвечал Данглар, отодвигая от него письмо, – все, что я говорю, и все, что я делаю, это только шутка, и я первый был бы весьма огорчен, если бы что-нибудь случилось с нашим славным Дантесом. Посмотри!

Он взял письмо, скомкал его и бросил в угол беседки.

– Вот это дело! – сказал Кадрусс. – Дантес – мой друг, и я не хочу, чтобы ему вредили.

– Да кто же думает ему вредить! Уж верно, не я и не Фернан! – сказал Данглар, вставая и посматривая на каталанца, который искоса поглядывал на бумагу, брошенную в угол.

– В таком случае, – продолжал Кадрусс, – еще вина! Я хочу выпить за здоровье Эдмона и прекрасной Мерседес.

– Ты и так уж слишком много пил, бражник, – сказал Данглар, – и если еще выпьешь, то тебе придется заночевать здесь, потому что ты не сможешь держаться на ногах.

– Я? – с пьяным хвастовством сказал Кадрусс, поднимаясь. – Я не могу держаться на ногах? Бьюсь об заклад, что взберусь на Аккульскую колокольню и даже не покачнусь.

– Хорошо, – прервал Данглар, – побьемся об заклад, но только завтра. А сегодня пора домой. Дай мне руку и пойдем.

– Пойдем, – отвечал Кадрусс, – но мне не требуется твоей руки. А ты идешь, Фернан? Идешь с нами в Марсель?

– Нет, – сказал Фернан, – я пойду домой, в Каталаны.

– Напрасно; пойдем с нами в Марсель, пойдем.

– Мне незачем в Марсель, я не хочу туда.

– Как ты сказал? Не хочешь?.. Ну ладно, как хочешь! Вольному воля... Пойдем, Данглар, а этот господин пусть идет в Каталаны, если ему угодно.

Данглар воспользовался уступчивостью Кадрусса и повел его по марсельской дороге. Но только, чтобы оставить Фернану более короткий и удобный путь, он пошел не вдоль набережной Рив-Нев, а к воротам Сен-Виктор. Кадрусс, шатаясь, следовал за ним, повиснув у него на руке.

Пройдя шагов двадцать, Данглар обернулся и увидел, как Фернан бросился к измятому письму, схватил его и, выскочив из беседки, побежал к городу.

– Что же он делает? – сказал Кадрусс. – Он соврал: сказал, что пойдет в Каталаны, а сам идет в город. Эй, Фернан! Ты не туда идешь, приятель!

– Это у тебя в глазах мутится, – прервал Данглар, – он идет прямо к Старой Больнице.

– Правда? – сказал Кадрусс. – А я бы поклялся, что он свернул направо... Верно говорят, что вино – предатель.

– Дело как будто на мази, – прошептал Данглар, – теперь уж оно пойдет само собой.

# V. Обручение

На следующий день утро выдалось теплое и ясное. Солнце встало яркое и сверкающее, и его первые пурпурные лучи расцветили рубинами пенистые гребни волн.

Пир был приготовлен во втором этаже того самого «Резерва», с беседкой которого мы уже знакомы. Это была большая зала, в шесть окон, и над каждым окном (бог весть почему) было начертано имя одного из крупнейших французских городов.

Вдоль этих окон шла галерея, деревянная, как и все здание.

Хотя обед назначен был только в полдень, однако уже с одиннадцати часов по галерее прогуливались нетерпеливые гости. То были моряки с «Фараона» и несколько солдат, приятелей Дантеса. Все они из уважения к жениху и невесте нарядились в парадное платье.

Среди гостей пронесся слух, что свадебный пир почтят своим присутствием хозяева «Фараона», но это была такая честь для Дантеса, что никто не решался этому поверить.

Однако Данглар, придя вместе с Кадруссом, в свою очередь, подтвердил это известие. Утром он сам видел г-на Морреля, и г-н Моррель сказал ему, что будет обедать в «Резерве».

И в самом деле через несколько минут в залу вошел Моррель. Матросы приветствовали его дружными рукоплесканиями. Присутствие арматора служило для них подтверждением уже распространившегося слуха, что Дантес будет назначен капитаном. Они очень любили Дантеса и выражали благодарность своему хозяину за то, что хоть раз его выбор совпал с их желаниями. Едва г-н Моррель вошел, как, по единодушному требованию, Данглара и Кадрусса послали к жениху с поручением известить его о прибытии арматора, появление которого возбудило всеобщую радость, и сказать ему, чтобы он поторопился.

Данглар и Кадрусс пустились бегом, но не пробежали и ста шагов, как встретили жениха и невесту.

Четыре каталанки, подруги Мерседес, провожали невесту; Эдмон вел ее под руку. Рядом с невестой шел старик Дантес, а сзади Фернан. Злобная улыбка кривила его губы.

Ни Мерседес, ни Эдмон не замечали этой улыбки. Они были так счастливы, что видели только себя и безоблачное небо, которое, казалось, благословляло их.

Данглар и Кадрусс исполнили возложенное на них поручение; потом, крепко и дружески пожав руку Эдмону, заняли свои места – Данглар рядом с Фернаном, а Кадрусс рядом со стариком Дантесом, предметом всеобщего внимания.

Старик надел свой шелковый кафтан с граненными стальными пуговицами. Его худые, но мускулистые ноги красовались в великолепных бумажных чулках с мушками, которые за версту отдавали английской контрабандой. На треугольной шляпе висел пук белых и голубых лент. Он опирался на витую палку, загнутую наверху, как античный посох. Словом, он ничем не отличался от щеголей 1796 года, прохаживавшихся во вновь открытых садах Люксембургского и Тюильрийского дворцов.

К нему, как мы уже сказали, присоединился Кадрусс, Кадрусс, которого надежда на хороший обед окончательно примирила с Дантесами, Кадрусс, у которого в уме осталось смутное воспоминание о том, что происходило накануне, как бывает, когда, проснувшись утром, сохраняешь в памяти тень сна, виденного ночью.

Данглар, подойдя к Фернану, пристально взглянул на обиженного поклонника. Фернан, шагая за будущими супругами, совершенно забытый Мерседес, которая в упоении юной любви, ничего не видела, кроме своего Эдмона, – то бледнел, то краснел. Время от времени он посматривал в сторону Марселя и при этом всякий раз невольно вздрагивал. Казалось, Фернан ожидал или по крайней мере предвидел какое-то важное событие.

Дантес был одет просто. Служа в торговом флоте, он носил форму, среднюю между военным мундиром и штатским платьем, и его открытое лицо, просветленное радостью, было очень красиво.

Мерседес была хороша, как кипрская или хиосская гречанка, с черными глазами и коралловыми губками. Она шла шагом вольным и свободным, как ходят арлезианки и андалузки. Городская девушка попыталась бы, может быть, скрыть свою радость под вуалью или по крайней мере под бархатом ресниц, но Мерседес улыбалась и смотрела на всех окружавших, и ее улыбка и взгляд говорили так же откровенно, как могли бы сказать уста: «Если вы друзья мне, то радуйтесь со мною, потому что я поистине очень счастлива!»

Когда жених, невеста и провожатые подошли к «Резерву», г-н Моррель пошел к ним навстречу, окруженный матросами и солдатами, которым он повторил обещание, данное Дантесу, что он будет назначен капитаном на место покойного Леклера. Увидев его, Дантес выпустил руку Мерседес и уступил место г-ну Моррелю. Арматор и невеста, подавая пример гостям, взошли по лестнице в столовую, и еще добрых пять минут деревянные ступени скрипели под тяжелыми шагами гостей.

– Батюшка, – сказала Мерседес, остановившись у середины стола, – садитесь по правую руку от меня, прошу вас, а по левую я посажу того, кто заменил мне брата, – прибавила она с лаской в голосе, которая кинжалом ударила Фернана в самое сердце. Губы его посинели, и видно было, как под загорелой кожей вся кровь, приливая к сердцу, отхлынула от лица.

Дантес возле себя посадил г-на Морреля и Данглара: первого по правую, второго по левую сторону; потом сделал знак рукой, приглашая остальных рассаживаться, как им угодно.

Уже путешествовали вокруг стола румяные и пахучие аральские колбасы, лангусты в ослепительных латах, венерки с розоватой раковиной, морские ежи, напоминающие каштаны с их колючей оболочкой, кловиссы, с успехом заменяющие южным гастрономам северные устрицы; словом, все те изысканные лакомства, которые волна выносит на песчаный берег и которые благодарные рыбаки называют общим именем «морские плоды».

– Какая тишина! – сказал старик Дантес, прихлебывая желтое, как топаз, вино, принесенное и поставленное перед Мерседес самим

хозяином. – Кто бы сказал, что здесь тридцать человек, которые только и ждут, чтобы побалагурить?

– Жених не всегда бывает весел, – заметил Кадрусс.

– Да, – подхватил Эдмон, – я слишком счастлив, чтобы быть веселым. Если вы это хотели сказать, сосед, то вы совершенно правы. Радость производит иногда странное действие, она гнетет, как печаль.

Данглар взглянул на Фернана, на лице которого отражалось каждое движение его души.

– Полноте! Или вы боитесь чего-нибудь? – спросил он. – Мне, напротив, кажется, что все ваши желания исполняются.

– Это-то и пугает меня, – отвечал Дантес. – Мне кажется, что человек не создан для такого легкого счастья! Счастье похоже на сказочные дворцы, двери которых стерегут драконы. Надобно бороться, чтобы овладеть ими, а я, право, не знаю, чем я заслужил счастье быть мужем Мерседес.

– Мужем!.. – сказал Кадрусс со смехом. – Нет еще, капитан; попробуй-ка разыгрывать мужа, так увидишь, как тебя примут.

Мерседес покраснела.

Фернан ерзал на стуле, вздрагивал при малейшем шуме и то и дело отирал пот, который выступал на его лбу, словно первые капли грозового дождя.

– Не стоит спорить из-за мелочей, сосед, – отвечал Эдмон Кадруссу, – Мерседес еще не жена мне, это верно...

Он посмотрел на часы.

– Но через полтора часа она ею будет!

Все вскрикнули от удивления, кроме старика Дантеса, который широко осклабился, показывая еще крепкие зубы. Мерседес улыбнулась, но уже не покраснела. Фернан судорожно схватился за ручку своего ножа.

– Через полтора часа! – сказал Данглар, тоже побледнев. – Как так?

– Да, друзья мои, – отвечал Дантес, – благодаря содействию господина Морреля, которому, после моего отца, я обязан больше всех на свете, все препятствия устранены. Мы сделали денежный взнос, чтобы обойтись без оглашения, и в половине третьего марсельский мэр ждет

нас в ратуше. А так как уже пробило четверть второго, то едва ли я очень ошибусь, если скажу, что через час и тридцать минут Мерседес будет называться госпожою Дантес.

Фернан закрыл глаза: огненный туман обжег ему веки; он облокотился на стол, чтобы не упасть, и, несмотря на все свои усилия, не мог удержать стона, который потонул в хохоте и шумных возгласах гостей.

– Вот это дело, как вы находите? – сказал старик Дантес. – Это называется не терять времени! Вчера утром приехал. Сегодня в три часа женат! Только моряки так умеют!

– Но разные формальности, – нерешительно вставил Данглар, – контракт, бумаги?..

– Контракт! – сказал Дантес смеясь. – Контракт готов. У Мерседес ничего нет, у меня тоже! Все у нас общее... Это недолго было написать, да и стоит недорого.

Эта шутка вызвала новый взрыв хохота и рукоплесканий.

– Значит, мы присутствуем не на обручении, – сказал Данглар, – а попросту на свадьбе.

– Нет, – возразил Эдмон, – вы ничего не потеряете, будьте спокойны. Завтра утром я еду в Париж. Четыре дня туда, четыре дня обратно, один день на выполнение данного мне поручения, и девятого марта я буду здесь, а десятого числа будет настоящий свадебный пир.

Надежда на новое пиршество удвоила общую веселость, так что старик Дантес, который в начале обеда жаловался на тишину, теперь среди общего шума тщетно пытался предложить тост за счастье будущих супругов.

Дантес угадал мысль отца и отвечал ему улыбкой, полной любви. Мерседес посмотрела на стенные часы и кивнула Эдмону.

За столом царило то шумное и непринужденное веселье, которое всегда сопровождает конец обеда у простых людей. Недовольные своими местами встали из-за стола и подсели к другим, более приятным собеседникам. Все говорили зараз, никто не отвечал на вопросы, каждый был занят только своими собственными мыслями.

Данглар был почти так же бледен, как Фернан; что же касается последнего, то он еле дышал и казался грешником, погруженным в огненное озеро. Он встал одним из первых и прохаживался по зале, напрягая слух среди гула голосов и стука стаканов.

Кадрусс подошел к Фернану, и тотчас же к ним присоединился Данглар, которого Фернан, казалось, избегал.

– Что верно, то верно, – сказал Кадрусс, в котором радушие Эдмона и доброе вино старика Памфила окончательно заглушили зависть, зародившуюся в его душе при виде неожиданного счастья Дантеса. – Дантес – славный малый; гляжу я на него, как он сидит со своей невестой, и думаю: нехорошо было бы сыграть с ним ту скверную штуку, которую вы вчера задумали.

– Да ведь ты видел, что мы не дали ей ходу, – сказал Данглар. – Бедный Фернан был в таком отчаянии, что сначала мне стало жаль его; но раз он примирился со своим горем, даже согласился быть шафером у своего соперника, так и говорить больше нечего.

Кадрусс взглянул на Фернана. Тот был мертвенно-бледен.

– Жертва тем более велика, что невеста в самом деле красавица, – продолжал Данглар. – Черт возьми! Мой будущий капитан – счастливчик! Хотел бы я зваться Дантесом хоть один денек.

– Идем? – раздался нежный голос Мерседес. – Вот уже бьет два часа, а нас ждут в четверть третьего.

– Да, да, идем, – сказал Дантес, быстро вставая.

– Идем! – хором подхватили гости.

В ту же минуту Данглар, который пристально следил за Фернаном, сидевшим на подоконнике, увидел, что тот дико вытаращил глаза, привскочил и снова сел на подоконник. Снаружи донесся неясный шум; стук тяжелых шагов, невнятные голоса и бряцание оружия заглушили веселый говор гостей, который сразу сменился тревожным молчанием.

Шум приближался; в дверь три раза ударили. Гости с изумлением переглянулись.

– Именем закона! – раздался громкий голос; никто не ответил.

Тотчас дверь отворилась, и полицейский комиссар, опоясанный шарфом, вошел в залу в сопровождении четырех вооруженных солдат и капрала.

Тревога сменилась ужасом.

– В чем дело? – спросил арматор, подходя к комиссару, с которым был знаком. – Это, наверное, недоразумение.

– Если это недоразумение, господин Моррель, – отвечал комиссар, – то можете быть уверены, что оно быстро разъяснится, а пока у меня есть приказ об аресте, и хоть я с сожалением исполняю этот долг, я все же должен его исполнить. Кто из вас, господа, Эдмон Дантес?

Все взгляды обратились на Эдмона, который в сильном волнении, но сохраняя достоинство, выступил вперед и сказал:

– Я. Что вам угодно?

– Эдмон Дантес, – сказал комиссар, – именем закона я вас арестую!

– Арестуете? – переспросил Эдмон, слегка побледнев. – За что вы меня арестуете?

– Не знаю, но на первом допросе вы все узнаете.

Моррель понял, что делать нечего: комиссар, опоясанный шарфом, – не человек; это статуя, воплощающая закон, холодная, глухая, безмолвная.

Но старик Дантес бросился к комиссару; есть вещи, которые сердце отца или матери понять не может. Он просил, умолял. Слезы и мольбы были напрасны. Но отчаяние его было так велико, что комиссар почувствовал сострадание.

– Успокойтесь, сударь! – сказал он. – Может быть, ваш сын не исполнил каких-нибудь карантинных или таможенных предписаний, и, когда он даст нужные разъяснения, его, вероятно, тотчас же освободят.

– Что это значит? – спросил, нахмурив брови, Кадрусс у Данглара, который притворялся удивленным.

– Я почем знаю! – отвечал Данглар. – Я, как и ты, вижу, что делается, ничего не понимаю и дивлюсь.

Кадрусс искал глазами Фернана, но тот исчез. Тогда вся вчерашняя сцена представилась ему с ужасающей ясностью: разыгравшаяся

трагедия словно сдернула покров, который вчерашнее опьянение набросило на его память.

– Уж не последствия ли это шутки, о которой вы говорили вчера? – сказал он хрипло. – В таком случае горе тому, кто ее затеял, – в ней веселого мало.

– Да нет же! – воскликнул Данглар. – Ведь ты знаешь, что я разорвал записку.

– Ты не разорвал ее, – сказал Кадрусс, – а бросил в угол, только и всего.

– Молчи, ты ничего не видел, ты был пьян.

– Где Фернан? – спросил Кадрусс.

– Почем я знаю? – отвечал Данглар. – Верно, ушел по своим делам. Но чем заниматься пустяками, пойдем лучше поможем несчастному старику.

Дантес уже успел с улыбкой подать руки всем своим друзьям и отдался в руки солдат.

– Будьте спокойны, ошибка объяснится, и, вероятно, я даже не дойду до тюрьмы, – сказал он.

– О, разумеется, я готов поручиться! – подхватил подошедший Данглар.

Дантес спустился с лестницы. Впереди него шел комиссар, по бокам – солдаты. Карета с раскрытой дверцей ждала у порога. Дантес сел, с ним сели комиссар и два солдата. Дверца захлопнулась, и карета покатила в Марсель.

– Прощай, Дантес! Прощай, Эдмон! – закричала Мерседес, выбегая на галерею.

Узник услышал этот последний крик, вырвавшийся словно рыдание, из растерзанного сердца его невесты, выглянул в окно кареты, крикнул: «До свидания, Мерседес!» – и исчез за углом форта Св. Николая.

– Подождите меня здесь, – сказал арматор, – я сяду в первую карету, какая мне встретится, съезжу в Марсель и вернусь к вам с известиями.

– Поезжайте, – закричали все в один голос, – поезжайте и возвращайтесь поскорее!

После этого двойного отъезда среди оставшихся несколько минут царило мрачное уныние.

Отец Эдмона и Мерседес долго стояли врозь, погруженные каждый в свою скорбь; наконец, глаза их встретились. Оба почувствовали, что они две жертвы, пораженные одним и тем же ударом, и бросились друг другу в объятия.

В это время в залу воротился Фернан, налил себе стакан воды, выпил и сел на стул.

Случайно на соседний стул опустилась Мерседес.

Фернан невольно отодвинул свой стул.

– Это он! – сказал Данглару Кадрусс, не спускавший глаз с каталанца.

– Не думаю, – отвечал Данглар, – он слишком глуп; во всяком случае, грех на том, кто это сделал.

– Ты забываешь о том, кто ему посоветовал, – сказал Кадрусс.

– Ну, знаешь! – ответил Данглар. – Если бы пришлось отвечать за все то, что говоришь на ветер!

– Должен отвечать, когда то, что говоришь на ветер, падает другому на голову!

Между тем гости на все лады истолковывали арест Дантеса.

– А вы, Данглар, – спросил чей-то голос, – что думаете об этом?

– Я думаю, – отвечал Данглар, – не провез ли он каких-нибудь запрещенных товаров.

– Но вы, Данглар, как бухгалтер, должны были бы знать об этом.

– Да, конечно, но бухгалтер знает только то, что ему предъявляют. Я знаю, что мы привезли хлопчатую бумагу, вот и все; что мы взяли груз в Александрии у Пастре и в Смирне у Паскаля; больше у меня ничего не спрашивайте.

– О! Теперь я вспоминаю, – прошептал несчастный отец, цепляясь за последнюю надежду. – Он говорил мне вчера, что привез для меня ящик кофе и ящик табаку.

– Вот видите, – сказал Данглар, – так и есть! В наше отсутствие таможенники обыскали «Фараон» и нашли контрабанду.

Мерседес этому не верила. Долго сдерживаемое горе вдруг вырвалось наружу, и она разразилась рыданиями.

– Полно, полно, будем надеяться, – сказал старик, сам не зная, что говорит.

– Будем надеяться! – повторил Данглар.

«Будем надеяться!» – хотел сказать Фернан, но слова застряли у него в горле, только губы беззвучно шевелились.

– Господа! – закричал один из гостей, сторживший на галерее. – Господа, карета! Моррель! Он, наверное, везет нам добрые вести!

Мерседес и старик отец бросились навстречу арматору. Они столкнулись в дверях. Моррель был очень бледен.

– Ну что? – спросили они в один голос.

– Друзья мои! – отвечал арматор, качая головой. – Дело оказалось гораздо серьезнее, чем мы думали.

– О, господин Моррель! – вскричала Мерседес. – Он невиновен!

– Я в этом убежден, – отвечал Моррель, – но его обвиняют...

– В чем же? – спросил старик Дантес.

– В том, что он бонапартистский агент.

Те из читателей, которые жили в эпоху, к которой относится мой рассказ, помнят, какое это было страшное обвинение.

Мерседес вскрикнула; старик упал на стул.

– Все-таки, – прошептал Кадрусс, – вы меня обманули, Данглар, и шутка сыграна; но я не хочу, чтобы бедный старик и невеста умерли с горя, я сейчас же расскажу им все.

– Молчи, несчастный! – крикнул Данглар, хватая его за руку. – Молчи, если тебе дорога жизнь. Кто тебе сказал, что Дантес не виновен? Корабль заходил на остров Эльба, Дантес сходил на берег, пробыл целый день в Порто-Феррайо. Что, если при нем найдут какое-нибудь уличающее письмо? Тогда всех, кто за него заступится, обвинят в сообщничестве.

Кадрусс, с присущим эгоизму чутьем, сразу понял всю вескость этих доводов; он посмотрел на Данглара растерянным взглядом и, вместо того чтобы сделать шаг вперед, отскочил на два шага назад.

– Если так, подождем, – прошептал он.

– Да, подождем, – сказал Данглар. – Если он невиновен, его освободят; если виновен, то не стоит подвергать себя опасности ради заговорщика.

– Тогда уйдем, я больше не в силах оставаться здесь.

– Пожалуй, пойдем, – сказал Данглар, обрадовавшись, что ему есть с кем уйти. – Пойдем, и пусть они делают как знают...

Все разошлись. Фернан, оставшись опять единственной опорой Мерседес, взял ее за руку и отвел в Каталаны. Друзья Дантеса, со своей стороны, отвели домой, на Мельянские аллеи, обессилевшего старика.

Вскоре слух об аресте Дантеса как бонапартистского агента разнесся по всему городу.

– Кто бы мог подумать, Данглар? – сказал Моррель, нагнав своего бухгалтера и Кадрусса. Он спешил в город за новостями о Дантесе, надеясь на свое знакомство с помощником королевского прокурора, г-ном де Вильфором. – Кто бы мог подумать?

– Что вы хотите, сударь, – отвечал Данглар. – Я же говорил вам, что Дантес без всякой причины останавливался у острова Эльба; эта остановка показалась мне подозрительной.

– А вы рассказывали о ваших подозрениях кому-нибудь, кроме меня?

– Как можно, – прибавил Данглар вполголоса. – Вы сами знаете, что из-за вашего дядюшки, господина Поликара Морреля, который служил при *том* и не скрывает своих мыслей, и вас подозревают, что вы жалеете о Наполеоне... Я побоялся бы повредить Эдмону, а также и вам. Есть вещи, которые подчиненный обязан сообщать своему хозяину и строго хранить в тайне от всех других.

– Правильно, Данглар, правильно, вы честный малый! Зато я уже позаботился о вас на случай, если бы этот бедный Дантес занял место капитана на «Фараоне».

– Как так?

– Да, я заранее спросил Дантеса, что он думает о вас и согласен ли оставить вас на прежнем месте; не знаю почему, но мне казалось, что между вами холодок.

– И что же он вам ответил?

– Что был такой случай – он не сказал, какой именно, – когда он действительно в чем-то провинился перед вами, но что он всегда готов доверять тому, кому доверяет его арматор.

– Притворщик! – прошептал Данглар.

– Бедный Дантес! – сказал Кадрусс. – Он был такой славный!

– Да, но пока что «Фараон» без капитана, – сказал Моррель.

– Раз мы выйдем в море не раньше чем через три месяца, – сказал Данглар, – то можно надеяться, что за это время Эдмона освободят.

– Конечно, но до тех пор?

– А до тех пор, господин Моррель, я к вашим услугам, – сказал Данглар. – Вы знаете, что я умею управлять кораблем не хуже любого капитана дальнего плавания; вам даже выгодно будет взять меня, потому что, когда Эдмон выйдет из тюрьмы, вам некого будет и благодарить. Он займет свое место, а я – свое, только и всего.

– Благодарю вас, Данглар, – сказал арматор, – это действительно выход. Итак, примите командование, я вас уполномочиваю, и наблюдайте за разгрузкой, дело не должно страдать, какое бы несчастье ни постигало отдельных людей.

– Будьте спокойны, господин Моррель; но нельзя ли будет хоть навестить бедного Эдмона?

– Я это сейчас узнаю; я попытаюсь увидеться с господином де Вильфором и замолвить ему словечко за арестованного. Знаю, что он отъявленный роялист, но хоть он роялист и королевский прокурор, однако ж все-таки человек, и притом, кажется, не злой.

– Нет, не злой, но я слышал, что он честолюбив, а это почти одно и то же.

– Словом, увидим, – сказал Моррель со вздохом. – Ступайте на борт, я скоро буду. – И он направился к зданию суда.

– Видишь, какой оборот принимает дело? – сказал Данглар Кадруссу. – Тебе все еще охота заступаться за Дантеса?

– Разумеется, нет, но все-таки ужасно, что шутка могла иметь такие последствия.

– Кто шутил? Не ты и не я, а Фернан. Ты же знаешь, что я бросил записку; кажется, даже разорвал ее.

– Нет, нет! – вскричал Кадрусс. – Я как сейчас вижу ее в углу беседки, измятую, скомканную, и очень желал бы, чтобы она была там, где я ее вижу!

– Что ж делать? Верно, Фернан поднял ее, переписал или велел переписать, а то, может быть, даже и не взял на себя этого труда... Боже мой! Что, если он послал мою же записку! Хорошо, что я изменил почерк.

– Так ты знал, что Дантес – заговорщик?

– Я ровно ничего не знал. Я тебе уже говорил, что хотел пошутить, и только. По-видимому, я, как арлекин, шутя, сказал правду.

– Все равно, – продолжал Кадрусс, – я дорого бы дал, чтобы всего этого не было или по крайней мере чтобы я не был в это дело замешан. Ты увидишь, оно принесет нам несчастье, Данглар.

– Если оно должно принести кому-нибудь несчастье, так только настоящему виновнику, а настоящий виновник – Фернан, а не мы. Какое несчастье может случиться с нами? Нам нужно только сидеть спокойно, ни слова не говорить, и гроза пройдет без грома.

– Аминь, – сказал Кадрусс, кивнув Данглару, и направился к Мельянским аллеям, качая головой и бормоча себе под нос, как делают сильно озабоченные люди.

«Так, – подумал Данглар, – дело принимает оборот, какой я предвидел; вот я капитан, пока на время, а если этот дурак Кадрусс сумеет молчать, то и навсегда. Остается только тот случай, если правосудие выпустит Дантеса из своих когтей... Но правосудие есть правосудие, – улыбнулся он, – я вполне на него могу положиться».

Он прыгнул в лодку и велел грести к «Фараону», где арматор, как мы помним, назначил ему свидание.

# VI. Помощник королевского прокурора

В тот же самый день, в тот же самый час на улице Гран-Кур, против фонтана Медуз, в одном из старых аристократических домов, выстроенных архитектором Пюже, тоже праздновали обручение.

Но герои этого празднества были не простые люди, не матросы и солдаты, они принадлежали к высшему марсельскому обществу. Это были старые сановники, вышедшие в отставку при узурпаторе; военные, бежавшие из французской армии в армию Конде; молодые люди, которых родители – все еще не уверенные в их безопасности, хотя уже поставили за них по четыре или по пять рекрутов, – воспитали в ненависти к тому, кого пять лет изгнания должны были превратить в мученика, а пятнадцать лет Реставрации – в бога.

Все сидели за столом, и разговор кипел всеми страстями того времени, страстями особенно неистовыми и ожесточенными, потому что на юге Франции уже пятьсот лет политическая вражда усугубляется враждой религиозной.

Император, ставший королем острова Эльба, после того как он был властителем целого материка, и правящий населением в пять-шесть тысяч душ, после того как сто двадцать миллионов подданных на десяти языках кричали ему: «Да здравствует Наполеон!» – казался всем участникам пира человеком, навсегда потерянным для Франции и престола. Сановники вспоминали его политические ошибки, военные рассуждали о Москве и Лейпциге, женщины – о разводе с Жозефиной. Этому роялистскому сборищу, которое радовалось – не падению человека, а уничтожению принципа, – казалось, что для него начинается новая жизнь, что оно очнулось от мучительного кошмара.

Осанистый старик, с орденом св. Людовика на груди, встал и предложил своим гостям выпить за короля Людовика XVIII. То был маркиз де Сен-Меран.

Этот тост в честь гартвельского изгнанника и короля – умиротворителя Франции был встречен громкими кликами; по английскому обычаю, все

подняли бокалы; женщины откололи свои букеты и усеяли ими скатерть. В этом едином порыве была почти поэзия.

– Они признали бы, – сказала маркиза де Сен-Меран, женщина с сухим взглядом, тонкими губами, аристократическими манерами, еще изящная, несмотря на свои пятьдесят лет, – они признали бы, будь они здесь, все эти революционеры, которые нас выгнали и которым мы даем спокойно злоумышлять против нас в наших старинных замках, купленных ими за кусок хлеба во времена Террора, – они признали бы, что истинное самоотвержение было на нашей стороне, потому что мы остались верны рушившейся монархии, а они, напротив, приветствовали восходившее солнце и наживали состояния, в то время как мы разорялись. Они признали бы, что наш король поистине был Людовик Возлюбленный, а их узурпатор всегда оставался Наполеоном Проклятым; правда, де Вильфор?

– Что прикажете, маркиза?.. Простите, я не слушал.

– Оставьте детей, маркиза, – сказал старик, предложивший тост. – Сегодня их помолвка, и им, конечно, не до политики.

– Простите, мама, – сказала молодая и красивая девушка, белокурая, с бархатными глазами, подернутыми влагой, – это я завладела господином де Вильфором. Господин де Вильфор, мама хочет говорить с вами.

– Я готов отвечать маркизе, если ей будет угодно повторить вопрос, которого я не расслышал, – сказал г-н де Вильфор.

– Я прощаю тебе, Рене, – сказала маркиза с нежной улыбкой, которую странно было видеть на этом холодном лице; но сердце женщины так уж создано, что, как бы ни было оно иссушено предрассудками и требованиями этикета, в нем всегда остается плодоносный и живой уголок, – тот, в который бог заключил материнскую любовь. – Я говорила, Вильфор, что у бонапартистов нет ни нашей веры, ни нашей преданности, ни нашего самоотвержения.

– Сударыня, у них есть одно качество, заменяющее все наши, – это фанатизм. Наполеон – Магомет Запада; для всех этих людей низкого

происхождения, но необыкновенно честолюбивых он не только законодатель и владыка, но еще символ – символ равенства.

– Равенства! – воскликнула маркиза. – Наполеон – символ равенства? А что же тогда господин де Робеспьер? Мне кажется, вы похищаете его место и отдаете корсиканцу; казалось бы, довольно и одной узурпации.

– Нет, сударыня, – возразил Вильфор, – я оставляю каждого на его пьедестале: Робеспьера – на площади Людовика Пятнадцатого, на эшафоте; Наполеона – на Вандомской площади, на его колонне. Но только один вводил равенство, которое принижает, а другой – равенство, которое возвышает; один низвел королей до уровня гильотины, другой возвысил народ до уровня трона. Это не мешает тому, – прибавил Вильфор, смеясь, – что оба они – гнусные революционеры и что девятое термидора и четвертое апреля тысяча восемьсот четырнадцатого года – два счастливых дня для Франции, которые одинаково должны праздновать друзья порядка и монархии; но этим объясняется также, почему Наполеон, даже поверженный – и, надеюсь, навсегда, – сохранил ревностных сторонников. Что вы хотите, маркиза? Кромвель был только половиной Наполеона, а и то имел их!

– Знаете, Вильфор, все это за версту отдает революцией. Но я вам прощаю – ведь нельзя же быть сыном жирондиста и не сохранить революционный душок.

Краска выступила на лице Вильфора.

– Мой отец был жирондист, это правда; но мой отец не голосовал за смерть короля; он подвергался гонениям в дни Террора, как и вы, и чуть не сложил голову на том самом эшафоте, на котором скатилась голова вашего отца.

– Да, – отвечала маркиза, на лице которой ничем не отразилось это кровавое воспоминание, – только они взошли бы на эшафот ради диаметрально противоположных принципов, и вот вам доказательство: все наше семейство сохранило верность изгнанным Бурбонам, а ваш отец тотчас же примкнул к новому правительству; гражданин Нуартье был жирондистом, а граф Нуартье стал сенатором.

– Мама, – сказала Рене, – вы помните наше условие: никогда не возвращаться к этим мрачным воспоминаниям.

– Сударыня, – сказал Вильфор, – я присоединяюсь к мадемуазель де Сен-Меран и вместе с нею покорнейше прошу вас забыть о прошлом. К чему осуждать то, перед чем даже божья воля бессильна? Бог властен преобразить будущее; в прошлом он ничего не может изменить. Мы можем если не отречься от прошлого, то хотя бы набросить на него покров. Я, например, отказался не только от убеждений моего отца, но даже от его имени. Отец мой был или, может статься, и теперь еще бонапартист и зовется Нуартье; я – роялист и зовусь де Вильфор. Пусть высыхают на старом дубе революционные соки; вы смотрите только на ветвь, которая отделилась от него и не может, да, пожалуй, и не хочет оторваться от него совсем.

– Браво, Вильфор! – вскричал маркиз. – Браво! Хорошо сказано! Я тоже всегда убеждал маркизу забыть о прошлом, но без успеха; вы будете счастливее, надеюсь.

– Хорошо, – сказала маркиза, – забудем о прошлом, я сама этого хочу; но зато Вильфор должен быть непреклонен в будущем. Не забудьте, Вильфор, что мы поручились за вас перед его величеством, что его величество согласился забыть, по нашему ручательству, – она протянула ему руку, – как и я забываю, по вашей просьбе. Но если вам попадет в руки какой-нибудь заговорщик, помните: за вами тем строже следят, что вы принадлежите к семье, которая, быть может, сама находится в сношениях с заговорщиками.

– Увы, сударыня, – отвечал Вильфор, – моя должность и особенно время, в которое мы живем, обязывают меня быть строгим. И я буду строг. Мне уже несколько раз случалось поддерживать обвинение по политическим делам, и в этом отношении я хорошо себя зарекомендовал. К сожалению, это еще не конец.

– Вы думаете? – спросила маркиза.

– Я этого опасаюсь. Остров Эльба – слишком близок к Франции. Присутствие Наполеона почти в виду наших берегов поддерживает надежду в его сторонниках. Марсель кишит военными, состоящими на

половинном жалованье; они беспрестанно ищут повода для ссоры с роялистами. Отсюда – дуэли между светскими людьми, а среди простонародья – поножовщина.

– Да, – сказал граф де Сальвьё, старый друг маркиза де Сен-Мерана и камергер графа д'Артуа. – Но вы разве не знаете, что Священный Союз хочет переселить его?

– Да, об этом шла речь, когда мы уезжали из Парижа, – отвечал маркиз. – Но куда же его пошлют?

– На Святую Елену.

– На Святую Елену! Что это такое? – спросила маркиза.

– Остров, в двух тысячах миль отсюда, по ту сторону экватора, – отвечал граф.

– В добрый час! Вильфор прав, безумие оставлять такого человека между Корсикой, где он родился, Неаполем, где еще царствует его зять, и Италией, из которой он хотел сделать королевство для своего сына.

– К сожалению, – сказал Вильфор, – имеются договоры тысяча восемьсот четырнадцатого года, и нельзя тронуть Наполеона, не нарушив этих договоров.

– Так их нарушат! – сказал граф де Сальвьё. – Он не был особенно щепетилен, когда приказал расстрелять несчастного герцога Энгиенского.

– Отлично, – сказала маркиза, – решено: Священный Союз избавит Европу от Наполеона, а Вильфор избавит Марсель от его сторонников. Либо король царствует, либо нет; если он царствует, его правительство должно быть сильно и его исполнители – непоколебимы; только таким образом можно предотвратить зло.

– К сожалению, сударыня, – сказал Вильфор с улыбкой, – помощник королевского прокурора всегда видит зло, когда оно уже совершилось.

– Так он должен его исправить.

– Я мог бы сказать, сударыня, что мы не исправляем зло, а мстим за него, и только.

– Ах, господин де Вильфор, – сказала молоденькая и хорошенькая девица, дочь графа де Сальвьё, подруга мадемуазель де Сен-Меран, –

постарайтесь устроить какой-нибудь интересный процесс, пока мы еще в Марселе. Я никогда не видала суда присяжных, а это, говорят, очень любопытно.

– Да, в самом деле очень любопытно, – отвечал помощник королевского прокурора. – Это уже не искусственная трагедия, а подлинная драма; не притворные страдания, а страдания настоящие. Человек, которого вы видите, по окончании спектакля идет не домой, ужинать со своим семейством и спокойно лечь спать, чтобы завтра начать сначала, а в тюрьму, где его ждет палач. Так что для нервных особ, ищущих сильных ощущений, не может быть лучшего зрелища. Будьте спокойны – если случай представится, я не премину воспользоваться им.

– От его слов нас бросает в дрожь... а он смеется! – сказала Рене, побледнев.

– Что прикажете?.. Это поединок... Я уже пять или шесть раз требовал смертной казни для подсудимых, политических и других... Кто знает, сколько сейчас во тьме точится кинжалов или сколько их уже обращено на меня!

– Боже мой! – вскричала Рене. – Неужели вы говорите серьезно, господин де Вильфор?

– Совершенно серьезно, – отвечал Вильфор с улыбкой. – И от этих занимательных процессов, которых графиня жаждет из любопытства, а я из честолюбия, опасность для меня только усилится. Разве эти наполеоновские солдаты, привыкшие слепо идти на врага, рассуждают, когда надо выпустить пулю или ударить штыком? Неужели у них дрогнет рука убить человека, которого они считают своим личным врагом, когда они, не задумываясь, убивают русского, австрийца или венгерца, которого они и в глаза не видали? К тому же опасность необходима; иначе наше ремесло не имело бы оправдания. Я сам воспламеняюсь, когда вижу в глазах обвиняемого вспышку ярости: это придает мне силы. Тут уже не тяжба, а битва; я борюсь с ним, он защищается, я наношу новый удар, и битва кончается, как всякая битва, победой или поражением. Вот что значит выступать в суде! Опасность порождает

красноречие. Если бы обвиняемый улыбнулся мне после моей речи, то я решил бы, что говорил плохо, что слова мои были бледны, слабы, невыразительны. Представьте себе, какая гордость наполняет душу прокурора, убежденного в виновности подсудимого, когда он видит, что преступник бледнеет и склоняет голову под тяжестью улик и под разящими ударами его красноречия! Голова преступника склоняется и падает!

Рене тихо вскрикнула.

– Как говорит! – заметил один из гостей.

– Вот такие люди и нужны в наше время, – сказал другой.

– В последнем процессе, – подхватил третий, – вы были великолепны, Вильфор. Помните – негодяй, который зарезал своего отца? Вы буквально убили его, прежде чем до него дотронулся палач.

– О, отцеубийцы – этих мне не жаль. Для таких людей нет достаточно тяжкого наказания, – сказала Рене. – Но несчастные политические преступники...

– Они еще хуже, Рене, потому что король – отец народа и хотеть свергнуть или убить короля – значит хотеть убить отца тридцати двух миллионов людей.

– Все равно, господин де Вильфор, – сказала Рене. – Обещайте мне, что будете снисходительны к тем, за кого я буду просить вас...

– Будьте спокойны, – отвечал Вильфор с очаровательной улыбкой, – мы будем вместе писать обвинительные акты.

– Дорогая моя, – сказала маркиза, – занимайтесь своими колибри, собачками и тряпками и предоставьте вашему будущему мужу делать свое дело. Теперь оружие отдыхает и тога в почете; об этом есть прекрасное латинское изречение.

– Cedant arma togae,[3] – сказал Вильфор.

– Я не решилась сказать по-латыни, – отвечала маркиза.

– Мне кажется, что мне было бы приятнее видеть вас врачом, – продолжала Рене. – Карающий ангел, хоть он и ангел, всегда страшил меня.

– Добрая моя Рене! – прошептал Вильфор, бросив на молодую девушку взгляд, полный любви.

– Господин де Вильфор, – сказал маркиз, – будет нравственным и политическим врачом нашей провинции; поверь мне, дочка, это почетная роль.

– И это поможет забыть роль, которую играл его отец, – вставила неисправимая маркиза.

– Сударыня, – отвечал Вильфор с грустной улыбкой, – я уже имел честь докладывать вам, что отец мой, как я по крайней мере надеюсь, отрекся от своих былых заблуждений, что он стал ревностным другом религии и порядка, лучшим роялистом, чем я, ибо он роялист по раскаянию, а я – только по страсти.

И Вильфор окинул взглядом присутствующих, как он это делал в суде после какой-нибудь великолепной тирады, проверяя действие своего красноречия на публику.

– Правильно, Вильфор, – сказал граф де Сальвьё, – эти же слова я сказал третьего дня в Тюильри министру двора, который выразил удивление по поводу брака между сыном жирондиста и дочерью офицера, служившего в армии Конде, и министр отлично понял меня. Сам король покровительствует этому способу объединения. Мы и не подозревали, что он слушает нас, а он вдруг вмешался в разговор и говорит: «Вильфор (заметьте, король не сказал Нуартье, а подчеркнул имя Вильфор), Вильфор, – сказал король, – пойдет далеко; это молодой человек уже вполне сложившийся и принадлежит к моему миру. Я с удовольствием узнал, что маркиз и маркиза де Сен-Меран выдают за него свою дочь, и я сам посоветовал бы им этот брак, если бы они не явились первые ко мне просить позволения».

– Король это сказал, граф? – воскликнул восхищенный Вильфор.

– Передаю вам собственные его слова; и если маркиз захочет быть откровенным, то сознается, что эти же слова король сказал ему самому, когда он полгода назад сообщил королю о своем намерении выдать за вас свою дочь.

– Это верно, – подтвердил маркиз.

– Так, значит, я всем обязан королю! Чего я не сделаю, чтобы послужить ему!

– Таким вы мне нравитесь, – сказала маркиза. – Пусть теперь явится заговорщик, – добро пожаловать!

– А я, мама, – сказала Рене, – молю бога, чтобы он вас не услышал и чтобы он посылал господину де Вильфору только мелких воришек, беспомощных банкротов и робких жуликов; тогда я буду спать спокойно.

– Это все равно что желать врачу одних мигреней, веснушек, осиных укусов и тому подобное, – сказал Вильфор со смехом. – Если вы хотите видеть меня королевским прокурором, пожелайте мне, напротив, страшных болезней, исцеление которых делает честь врачу.

В эту минуту, словно судьба только и ждала пожелания Вильфора, вошел лакей и сказал ему несколько слов на ухо.

Вильфор, извинившись, вышел из-за стола и воротился через несколько минут с довольной улыбкой на губах.

Рене посмотрела на своего жениха с восхищением: его голубые глаза сверкали на бледном лице, окаймленном черными бакенбардами; в эту минуту он и в самом деле был очень красив. Рене с нетерпением ждала, чтобы он объяснил причину своего внезапного исчезновения.

– Вы только что выразили желание иметь мужем доктора, – сказал Вильфор, – так вот у меня с учениками Эскулапа (так еще говорили в тысяча восемьсот пятнадцатом году) есть некоторое сходство: я не могу располагать своим временем. Меня нашли даже здесь, подле вас, в день нашего обручения.

– А почему вас вызвали? – спросила молодая девушка с легким беспокойством.

– Увы, из-за больного, который, если верить тому, что мне сообщили, очень плох. Случай весьма серьезный, и болезнь грозит эшафотом.

– Боже! – вскричала Рене, побледнев.

– Что вы говорите! – воскликнули гости в один голос.

– По-видимому, речь идет не более и не менее как о бонапартистском заговоре.

– Неужели! – вскричала маркиза.

– Вот что сказано в доносе.

И Вильфор прочел:

– «Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора о том, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле „Фараон“, прибывшем сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже.

Если он будет задержан, уличающее его письмо будет найдено при нем, или у его отца, или в его каюте на «Фараоне».

– Позвольте, – сказала Рене, – это письмо не подписано и адресовано не вам, а королевскому прокурору.

– Да, но королевский прокурор в отлучке; письмо подали его секретарю, которому поручено распечатывать почту; он вскрыл это письмо, послал за мной и, не застав меня дома, сам отдал приказ об аресте.

– Так виновный арестован? – спросила маркиза.

– То есть обвиняемый, – поправила Рене.

– Да, арестован, – отвечал Вильфор, – и, как я уже говорил мадемуазель Рене, если у него найдут письмо, то мой пациент опасно болен.

– А где этот несчастный? – спросила Рене.

– Ждет у меня.

– Ступайте, друг мой, – сказал маркиз, – не пренебрегайте вашими обязанностями. Королевская служба требует вашего личного присутствия; ступайте же, куда вас призывает королевская служба.

– Ах, господин де Вильфор! – воскликнула Рене, умоляюще сложив руки. – Будьте снисходительны, сегодня день нашего обручения.

Вильфор обошел вокруг стола и, облокотившись на спинку стула, на котором сидела его невеста, сказал:

– Ради вашего спокойствия обещаю вам сделать все, что можно. Но если улики бесспорны, если обвинение справедливо, придется скосить эту бонапартистскую сорную траву.

Рене вздрогнула при слове «скосить», ибо у этой сорной травы, как выразился Вильфор, была голова.

– Не слушайте ее, Вильфор, – сказала маркиза, – это ребячество; она привыкнет.

И маркиза протянула Вильфору свою сухую руку, которую он поцеловал, глядя на Рене; глаза его говорили: «Я целую вашу руку или по крайней мере хотел бы поцеловать».

– Печальное предзнаменование! – прошептала Рене.

– Перестань, Рене, – сказала маркиза. – Ты выводишь меня из терпения своими детскими выходками. Желала бы я знать, что важнее – судьба государства или твои чувствительные фантазии?

– Ах, мама, – вздохнула Рене.

– Маркиза, простите нашу плохую роялистку, – сказал де Вильфор, – обещаю вам, что исполню долг помощника королевского прокурора со всем усердием, то есть буду беспощаден.

Но в то время как помощник прокурора говорил эти слова маркизе, жених украдкой посылал взгляд невесте, и взгляд этот говорил: «Будьте спокойны, Рене; ради вас я буду снисходителен».

Рене отвечала ему нежной улыбкой, и Вильфор удалился, преисполненный блаженства.

# VII. Допрос

Выйдя из столовой, Вильфор тотчас же сбросил с себя маску веселости и принял торжественный вид, подобающий человеку, на которого возложен высший долг – решать участь своего ближнего. Однако, несмотря на подвижность своего лица, которой он часто, как искусный актер, учился перед зеркалом, на этот раз ему трудно было нахмурить брови и омрачить чело. И в самом деле, если не считать политического прошлого его отца, которое могло повредить его карьере, если от него не отмежеваться решительно, Жерар де Вильфор был в эту минуту так счастлив, как только может быть счастлив человек: располагая солидным состоянием, он занимал в двадцать семь лет видное место в судебном мире; он был женихом молодой и красивой девушки, которую любил не страстно, но разумно, как может любить помощник королевского прокурора. Мадемуазель де Сен-Меран была не только красива, но вдобавок принадлежала к семейству, бывшему в большой милости при дворе. Кроме связей своих родителей, которые, не имея других детей, могли целиком воспользоваться ими в интересах своего зятя, невеста приносила ему пятьдесят тысяч экю приданого, к коему, ввиду надежд (ужасное слово, выдуманное свахами), могло со временем прибавиться полумиллионное наследство. Все это вместе взятое составляло итог блаженства до того ослепительный, что Вильфор находил пятна даже на солнце, если перед тем долго смотрел в свою душу внутренним взором.

У дверей его ждал полицейский комиссар. Вид этой мрачной фигуры заставил его спуститься с высоты седьмого неба на бренную землю, по которой мы ходим; он придал своему лицу подобающее выражение и подошел к полицейскому.

– Я готов! – сказал он. – Я прочел письмо, вы хорошо сделали, что арестовали этого человека; теперь сообщите мне о нем и о заговоре все сведения, какие вы успели собрать.

– О заговоре мы еще ничего не знаем; все бумаги, найденные при нем, запечатаны в одну связку и лежат на вашем столе. Что же касается

самого обвиняемого, то его зовут, как вы изволили видеть из самого доноса, Эдмон Дантес, он служит помощником капитана на трехмачтовом корабле «Фараон», который возит хлопок из Александрии и Смирны и принадлежит марсельскому торговому дому «Моррель и Сын».

– До поступления на торговое судно он служил во флоте?

– О нет! Это совсем молодой человек.

– Каких лет?

– Лет девятнадцати – двадцати, не больше.

Когда Вильфор, пройдя Гран-рю, уже подходил к своему дому, к нему приблизился человек, по-видимому его поджидавший. То был г-н Моррель.

– Господин де Вильфор! – вскричал он. – Как хорошо, что я застал вас! Подумайте, произошла страшная ошибка, арестовали моего помощника капитана, Эдмона Дантеса.

– Знаю, – отвечал Вильфор, – я как раз иду допрашивать его.

– Господин де Вильфор, – продолжал Моррель с жаром, – вы не знаете обвиняемого, а я его знаю. Представьте себе человека, самого тихого, честного и, я готов сказать, самого лучшего знатока своего дела во всем торговом флоте... Господин де Вильфор! Прошу вас за него от всей души.

Вильфор, как мы уже видели, принадлежал к аристократическому лагерю, а Моррель – к плебейскому; первый был крайний роялист, второго подозревали в тайном бонапартизме. Вильфор свысока посмотрел на Морреля и холодно ответил:

– Вы знаете, сударь, что можно быть тихим в домашнем кругу, честным в торговых сношениях и знатоком своего дела и тем не менее быть преступником в политическом смысле. Вы это знаете, правда, сударь?

Вильфор сделал ударение на последних словах, как бы намекая на самого Морреля; испытующий взгляд его старался проникнуть в самое сердце этого человека, который дерзал просить за другого, хотя он не мог не знать, что сам нуждается в снисхождении.

Моррель покраснел, потому что совесть его была не совсем чиста в отношении политических убеждений, притом же тайна, доверенная ему Дантесом о свидании с маршалом и о словах, которые ему сказал император, смущала его ум. Однако он сказал с искренним участием:

– Умоляю вас, господин де Вильфор, будьте справедливы, как вы должны быть, и добры, как вы всегда бываете, и поскорее верните нам бедного Дантеса!

В этом «верните нам» уху помощника королевского прокурора почудилась революционная нотка.

«Да! – подумал он. – „Верните нам“... Уж не принадлежит ли этот Дантес к какой-нибудь секте карбонариев, раз его покровитель так неосторожно говорит во множественном числе? Помнится, комиссар сказал, что его взяли в кабаке, и притом в многолюдной компании, – это какая-нибудь тайная ложа».

Он продолжал вслух:

– Вы можете быть совершенно спокойны, сударь, и вы не напрасно просите справедливости, если обвиняемый не виновен; если же, напротив, он виновен, мы живем в трудное время, и безнаказанность может послужить пагубным примером. Поэтому я буду вынужден исполнить свой долг.

Он поклонился с ледяной учтивостью и величественно вошел в свой дом, примыкающий к зданию суда, а бедный арматор, как окаменелый, остался стоять на улице.

Передняя была полна жандармов и полицейских; среди них, окруженный пылающими ненавистью взглядами, спокойно и неподвижно стоял арестант.

Вильфор, пересекая переднюю, искоса взглянул на Дантеса и, взяв из рук полицейского пачку бумаг, исчез за дверью, бросив на ходу:

– Введите арестанта.

Как ни был мимолетен взгляд, брошенный Вильфором на арестанта, он все же успел составить себе мнение о человеке, которого ему предстояло допросить. Он прочел ум на его широком и открытом челе, мужество в его упорном взоре и нахмуренных бровях и прямодушие в

его полных полуоткрытых губах, за которыми блестели два ряда зубов, белых, как слоновая кость.

Первое впечатление было благоприятно для Дантеса; но Вильфору часто говорили, что политическая мудрость повелевает не поддаваться первому порыву, потому что это всегда голос сердца; и он приложил это правило к первому впечатлению, забыв о разнице между впечатлением и порывом.

Он задушил добрые чувства, которые пытались ворваться к нему в сердце, чтобы оттуда завладеть его умом, принял перед зеркалом торжественный вид и сел, мрачный и грозный, за свой письменный стол.

Через минуту вошел Дантес.

Он был все так же бледен, но спокоен и приветлив; он с непринужденной учтивостью поклонился своему судье, потом поискал глазами стул, словно находился в гостиной арматора Морреля.

Тут только встретил он тусклый взгляд Вильфора – взгляд, свойственный блюстителям правосудия, которые не хотят, чтобы кто-нибудь читал их мысли, и потому превращают свои глаза в матовое стекло. Этот взгляд дал почувствовать Дантесу, что он стоит перед судом.

– Кто вы и как ваше имя? – спросил Вильфор, перебирая бумаги, поданные ему в передней; за какой-нибудь час дело уже успело вырасти в довольно объемистую тетрадь: так быстро язва шпионства разъедает несчастное тело, именуемое обвиняемым.

– Меня зовут Эдмон Дантес, – ровным и звучным голосом отвечал юноша, – я помощник капитана на корабле «Фараон», принадлежащем фирме «Моррель и Сын».

– Сколько вам лет? – продолжал Вильфор.

– Девятнадцать, – отвечал Дантес.

– Что вы делали, когда вас арестовали?

– Я обедал с друзьями по случаю моего обручения, – отвечал Дантес слегка дрогнувшим голосом, настолько мучителен был контраст между радостным празднеством и мрачной церемонией, которая совершалась в эту минуту, между хмурым лицом Вильфора и лучезарным личиком Мерседес.

– По случаю вашего обручения? – повторил помощник прокурора, невольно вздрогнув.

– Да, я женюсь на девушке, которую люблю уже три года.

Вильфор вопреки своему обычному бесстрастию был все же поражен таким совпадением, и взволнованный голос юноши пробудил сочувственный отзвук в его душе. Он тоже любил свою невесту, тоже был счастлив, и вот его радости помешали, для того чтобы он разрушил счастье человека, который, подобно ему, был так близок к блаженству.

«Такое философическое сопоставление, – подумал он, – будет иметь большой успех в гостиной маркиза де Сен-Мерана»; и, пока Дантес ожидал дальнейших вопросов, он начал подбирать в уме антитезы, из которых ораторы строят блестящие фразы, рассчитанные на аплодисменты и подчас принимаемые за истинное красноречие.

Сочинив в уме изящный спич, Вильфор улыбнулся и сказал, обращаясь к Дантесу:

– Продолжайте.

– Что же мне продолжать?

– Осведомите правосудие.

– Пусть правосудие скажет мне, о чем оно желает быть осведомлено, и я ему скажу все, что знаю. Только, – прибавил он с улыбкою, – предупреждаю, что я знаю мало.

– Вы служили при узурпаторе?

– Меня должны были зачислить в военный флот, когда он пал.

– Говорят, вы весьма крайних политических убеждений, – сказал Вильфор, которому об этом никто ничего не говорил, но он решил на всякий случай предложить этот вопрос в виде обвинения.

– Мои политические убеждения!.. Увы, мне стыдно признаться, но у меня никогда не было того, что называется убеждениями, мне только девятнадцать лет, как я уже имел честь доложить вам; я ничего не знаю, никакого видного положения я занять не могу; всем, что я есть и чем я стану, если мне дадут то место, о котором я мечтаю, я буду обязан одному господину Моррелю. Поэтому все мои убеждения, и то не политические, а частные, сводятся к трем чувствам: я люблю моего отца,

уважаю господина Морреля и обожаю Мерседес. Вот, милостивый государь, все, что я могу сообщить правосудию; как видите, все это для него мало интересно.

Пока Дантес говорил, Вильфор смотрел на его честное, открытое лицо и невольно вспомнил слова Рене, которая, не зная обвиняемого, просила о снисхождении к нему. Привыкнув иметь дело с преступлением и преступниками, помощник прокурора в каждом слове Дантеса видел новое доказательство его невиновности. В самом деле, этот юноша, почти мальчик, простодушный, откровенный, красноречивый тем красноречием сердца, которое никогда не дается, когда его ищешь, полный любви ко всем, потому что был счастлив, а счастье и самых злых превращает в добрых, – изливал даже на своего судью нежность и доброту, переполнявшие его душу. Вильфор был с ним суров и строг, а у Эдмона во взоре, в голосе, в движениях не было ничего, кроме приязни и доброжелательности к тому, кто его допрашивал.

«Честное слово, – подумал Вильфор, – вот славный малый, и, надеюсь, мне нетрудно будет угодить Рене, исполнив первую ее просьбу; этим я заслужу сердечное рукопожатие при всех, а в уголке, тайком, нежный поцелуй».

От этой сладостной надежды лицо Вильфора прояснилось, и когда, оторвавшись от своих мыслей, он перевел взгляд на Дантеса, Дантес, следивший за всеми переменами его лица, тоже улыбнулся.

– У вас есть враги? – спросил Вильфор.

– Враги? – сказал Дантес. – Я, по счастью, еще так мало значу, что не успел нажить их. Может быть, я немного вспыльчив, но я всегда старался укрощать себя в отношениях с подчиненными. У меня под началом человек десять – двенадцать матросов. Спросите их, милостивый государь, и они вам скажут, что любят и уважают меня не как отца, – я еще слишком молод для этого, – а как старшего брата.

– Если у вас нет врагов, то, может быть, есть завистники. Вам только девятнадцать лет, а вас назначают капитаном, это высокая должность в вашем звании; вы женитесь на красивой девушке, которая вас любит, а

это редкое счастье во всех званиях мира. Вот две веские причины, чтобы иметь завистников.

– Да, вы правы. Вы, верно, лучше меня знаете людей, а может быть, это и так. Но если эти завистники из числа моих друзей, то я предпочитаю не знать, кто они, чтобы мне не пришлось их ненавидеть.

– Это неверно. Всегда надо, насколько можно, ясно видеть окружающее. И, сказать по правде, вы кажетесь мне таким достойным молодым человеком, что для вас я решаюсь отступить от обычных правил правосудия и помочь вам раскрыть истину… Вот донос, который возводит на вас обвинение. Узнаете почерк?

Вильфор вынул из кармана письмо и протянул его Дантесу. Дантес посмотрел, прочел, нахмурил лоб и сказал:

– Нет, я не знаю этой руки; почерк искажен, но довольно тверд. Во всяком случае, это писала искусная рука. Я очень счастлив, – прибавил он, глядя на Вильфора с благодарностью, – что имею дело с таким человеком, как вы, потому что действительно этот завистник – настоящий враг!

По молнии, блеснувшей в глазах юноши при этих словах, Вильфор понял, сколько душевной силы скрывается под его наружной кротостью.

– А теперь, – сказал Вильфор, – отвечайте мне откровенно не как обвиняемый судье, а как человек, попавший в беду, отвечает человеку, который принимает в нем участие: есть ли правда в этом безыменном доносе?

И Вильфор с отвращением бросил на стол письмо, которое вернул ему Дантес.

– Все правда, и в то же время ни слова правды; а вот чистая правда, клянусь честью моряка, клянусь моей любовью к Мерседес, клянусь жизнью моего отца!

– Говорите, – сказал Вильфор.

И прибавил про себя:

«Если бы Рене могла меня видеть, надеюсь, она была бы довольна мною и не называла бы меня палачом».

– Так вот: когда мы вышли из Неаполя, капитан Леклер заболел нервной горячкой; на корабле не было врача, а он не хотел приставать к берегу, потому что очень спешил на остров Эльба, и потому состояние его так ухудшилось, что на третий день, почувствовав приближение смерти, он позвал меня к себе.

«Дантес, – сказал он, – поклянитесь мне честью, что исполните поручение, которое я вам дам; дело чрезвычайно важное».

«Клянусь, капитан», – отвечал я.

«Так как после моей смерти командование переходит к вам, как помощнику капитана, вы примете командование, возьмете курс на остров Эльба, остановитесь в Порто-Феррайо, пойдете к маршалу и отдадите ему это письмо; может быть, там дадут вам другое письмо или еще какое-нибудь поручение. Это поручение должен был получить я; вы, Дантес, исполните его вместо меня, и вся заслуга будет ваша».

«Исполню, капитан, но, может быть, не так-то легко добраться до маршала?»

«Вот кольцо, которое вы попросите ему передать, – сказал капитан, – это устранит все препятствия».

И с этими словами он дал мне перстень. Через два часа он впал в беспамятство, а на другой день скончался.

– И что же вы сделали?

– То, что я должен был сделать, то, что всякий другой сделал бы на моем месте. Просьба умирающего всегда священна; но у нас, моряков, просьба начальника – это приказание, которое нельзя не исполнить. Итак, я взял курс на Эльбу и прибыл туда на другой день; я всех оставил на борту и один сошел на берег. Как я и думал, меня не хотели допустить к маршалу; но я послал ему перстень, который должен был служить условным знаком; и все двери раскрылись передо мной. Он принял меня, расспросил о смерти бедного Леклера и, как тот и предвидел, дал мне письмо, приказав лично доставить его в Париж. Я обещал, потому что это входило в исполнение последней воли моего капитана. Прибыв сюда, я устроил все дела на корабле и побежал к моей невесте, которая показалась мне еще прекрасней и милей прежнего. Благодаря господину

Моррелю мы уладили все церковные формальности; и вот, как я уже говорил вам, я сидел за обедом, готовился через час вступить в брак и думал завтра же ехать в Париж, как вдруг по этому доносу, который вы, по-видимому, теперь так же презираете, как и я, меня арестовали.

– Да, да, – проговорил Вильфор, – все это кажется мне правдой, и если вы в чем виновны, так только в неосторожности; да и неосторожность ваша оправдывается приказаниями капитана. Отдайте нам письмо, взятое вами на острове Эльба, дайте честное слово, что явитесь по первому требованию, и возвращайтесь к вашим друзьям.

– Так я свободен! – вскричал Дантес вне себя от радости.

– Да, только отдайте мне письмо.

– Оно должно быть у вас, его взяли у меня вместе с другими моими бумагами, и я узнаю некоторые из них в этой связке.

– Постойте, – сказал Вильфор Дантесу, который взялся уже было за шляпу и перчатки, – постойте! Кому адресовано письмо?

– Господину Нуартье, улица Кок-Эрон, в Париже.

Если бы гром обрушился на Вильфора, он не поразил бы его таким быстрым и внезапным ударом; он упал в кресло, с которого привстал, чтобы взять связку с бумагами, захваченными у Дантеса, и, лихорадочно порывшись в них, вынул роковое письмо, устремив на него взгляд, полный невыразимого ужаса.

– Господину Нуартье, улица Кок-Эрон, номер тринадцать, – прошептал он, побледнев еще сильнее.

– Точно так, – сказал изумленный Дантес. – Разве вы его знаете?

– Нет, – быстро ответил Вильфор, – верный слуга короля не знается с заговорщиками.

– Стало быть, речь идет о заговоре? – спросил Дантес, который, после того как уже считал себя свободным, почувствовал, что дело принимает другой оборот. – Во всяком случае, я уже сказал вам, что ничего не знал о содержании этого письма.

– Да, – сказал Вильфор глухим голосом, – но вы знаете имя того, кому оно адресовано!

– Чтобы отдать письмо лично ему, я должен был знать его имя.

– И вы никому его не показывали? – спросил Вильфор, читая письмо и все более и более бледнея.

– Никому, клянусь честью!

– Никто не знает, что вы везли письмо с острова Эльба к господину Нуартье?

– Никто, кроме того, кто вручил мне его.

– И это еще много, слишком много! – прошептал Вильфор.

Лицо его становилось все мрачнее, по мере того как он читал; его бледные губы, дрожащие руки, пылающие глаза внушали Дантесу самые дурные предчувствия.

Прочитав письмо, Вильфор схватился за голову и замер.

– Что с вами, сударь? – робко спросил Дантес.

Вильфор не отвечал, потом поднял бледное, искаженное лицо и еще раз перечел письмо.

– И вы уверяете, что ничего не знаете о содержании этого письма? – сказал Вильфор.

– Повторяю и клянусь честью, что не знаю ничего. Но что с вами? Вам дурно? Хотите, я позвоню? Позову кого-нибудь?

– Нет, – сказал Вильфор, быстро вставая, – стойте на месте и молчите; здесь я приказываю, а не вы.

– Простите, – обиженно сказал Дантес, – я только хотел помочь вам.

– Мне ничего не нужно. Минутная слабость – только и всего. Думайте о себе, а не обо мне. Отвечайте.

Дантес ждал вопроса, но тщетно; Вильфор опустился в кресло, нетвердой рукой отер пот с лица и в третий раз принялся перечитывать письмо.

– Если он знает, что тут написано, – прошептал он, – и если он когда-нибудь узнает, что Нуартье – отец Вильфора, то я погиб, погиб безвозвратно!

И он время от времени взглядывал на Эдмона, как будто его взгляды могли проникнуть сквозь невидимую стену, ограждающую в сердце тайну, о которой молчат уста.

– Нечего сомневаться! – воскликнул он вдруг.

– Ради самого неба, – сказал несчастный юноша, – если вы сомневаетесь во мне, если вы подозреваете меня, допрашивайте. Я готов отвечать вам.

Вильфор сделал над собой усилие и голосом, которому он старался придать уверенность, сказал:

– Вследствие ваших показаний на вас ложатся самые тяжкие обвинения; поэтому я не властен тотчас же отпустить вас, как надеялся. Прежде чем решиться на такой шаг, я должен снестись со следователем. А пока вы видели, как я отнесся к вам.

– О да, и я благодарю вас! – вскричал Дантес. – Вы обошлись со мною не как судья, а как друг.

– Ну так вот, я задержу вас еще на некоторое время, надеюсь, ненадолго, главная улика против вас – это письмо, и вы видите...

Вильфор подошел к камину, бросил письмо в огонь и подождал, пока оно сгорело.

– Вы видите, – продолжал он, – я уничтожил его.

– Вы больше, чем правосудие, – вскричал Дантес, – вы само милосердие!

– Но выслушайте меня, – продолжал Вильфор. – После такого поступка вы, конечно, понимаете, что можете довериться мне.

– Приказывайте, я исполню ваши приказания.

– Нет, – сказал Вильфор, подходя к Дантесу, – нет, я не собираюсь вам приказывать; я хочу только дать вам совет, понимаете?

– Говорите, я исполню ваш совет, как приказание.

– Я оставлю вас здесь, в здании суда, до вечера. Может быть, кто-нибудь другой будет вас допрашивать. Говорите все, что вы мне рассказывали, но ни полслова о письме!

– Обещаю, сударь.

Теперь Вильфор, казалось, умолял, а обвиняемый успокаивал судью.

– Вы понимаете, – продолжал Вильфор, посматривая на пепел, сохранявший еще форму письма, – теперь письмо уничтожено. Только вы да я знаем, что оно существовало; его вам не предъявят; если вам станут говорить о нем, отрицайте, отрицайте смело, и вы спасены.

– Я буду отрицать, не беспокойтесь, – сказал Дантес.

– Хорошо, – сказал Вильфор и взялся за звонок; потом помедлил немного и спросил: – У вас было только это письмо?

– Только это.

– Поклянитесь!

Дантес поднял руку.

– Клянусь! – сказал он.

Вильфор позвонил.

Вошел полицейский комиссар.

Вильфор сказал ему на ухо несколько слов; комиссар отвечал кивком головы.

– Ступайте за комиссаром, – сказал Вильфор Дантесу.

Дантес поклонился, еще раз бросил на Вильфора благодарный взгляд и вышел.

Едва дверь затворилась, как силы изменили Вильфору, и он упал в кресло почти без чувств.

Через минуту он прошептал:

– Боже мой! От чего иногда зависит жизнь и счастье!.. Если бы королевский прокурор был в Марселе, если бы вместо меня вызвали следователя, я бы погиб... И это письмо, это проклятое письмо ввергло бы меня в пропасть!.. Ах, отец, отец! Неужели ты всегда будешь мешать моему счастью на земле? Неужели я должен вечно бороться с твоим прошлым?

Но вдруг его словно осенило: на искривленных губах появилась улыбка; его блуждающий взгляд, казалось, остановился на какой-то мысли.

– Да, да, – вскричал он, – это письмо, которое должно было погубить меня, может стать источником моего счастья... Ну, Вильфор, за дело!

И, удостоверившись, что обвиняемого уже нет в передней, помощник королевского прокурора тоже вышел и быстрыми шагами направился к дому своей невесты.

# VIII. Замок Иф

Полицейский комиссар, выйдя в переднюю, сделал знак двум жандармам. Один стал по правую сторону Дантеса, другой по левую. Отворилась дверь, которая выходила в здание суда, и арестованного повели по одному из тех длинных и мрачных коридоров, где трепет охватывает даже тех, у кого нет никаких причин трепетать.

Как квартира Вильфора примыкала к зданию суда, так здание суда примыкало к тюрьме, угрюмому сооружению, на которое с любопытством смотрит всеми своими зияющими отверстиями возвышающаяся перед ним Аккульская колокольня.

Сделав несколько поворотов по коридору, Дантес увидел дверь с решетчатым окошком. Комиссар ударил три раза железным молотком, и Дантесу показалось, что молоток бьет по его сердцу. Дверь отворилась, жандармы слегка подтолкнули арестанта, который все еще стоял в растерянности. Дантес переступил через порог, и дверь с шумом захлопнулась за ним. Он дышал уже другим воздухом, спертым и тяжелым; он был в тюрьме.

Его отвели в камеру, довольно опрятную, но с тяжелыми засовами и решетками на окнах. Вид нового жилища не вселил в него особого страха; притом же слова, сказанные помощником королевского прокурора с таким явным участием, раздавались у него в ушах как обнадеживающее утешение.

Было четыре часа пополудни, когда Дантеса привели в камеру. Все это происходило, как мы уже сказали, 28 февраля; арестант скоро очутился в темноте.

Тотчас же слух его обострился вдвое. При малейшем шуме, доносившемся до него, он вскакивал и бросался к двери, думая, что за ним идут, чтобы возвратить ему свободу; но шум исчезал в другом направлении, и Дантес снова опускался на скамью.

Наконец, часов в десять вечера, когда Дантес начинал терять надежду, послышался новый шум, который на этот раз несомненно приближался к

его камере. Потом в коридоре раздались шаги и остановились у двери; ключ повернулся в замке, засовы заскрипели, и плотная дубовая дверь отворилась, впустив в темную камеру ослепительный свет двух факелов.

При свете их Дантес увидел, как блеснули ружья и палаши четырех жандармов.

Он бросился было вперед, но тут же остановился при виде этой усиленной охраны.

– Вы за мной? – спросил Дантес.

– Да, – отвечал один из жандармов.

– По приказу помощника королевского прокурора?

– Разумеется.

– Хорошо, – сказал Дантес, – я готов следовать за вами.

Уверенность, что за ним пришли от имени де Вильфора, рассеяла все опасения бедного юноши; спокойно и непринужденно он вышел и сам занял место посреди жандармов.

У дверей тюрьмы стояла карета; на козлах сидел кучер, рядом с кучером – пристав.

– Эта карета для меня? – спросил Дантес.

– Для вас, – ответил один из жандармов, – садитесь.

Дантес хотел возразить, но дверца отворилась, и его втолкнули в карету. Он не мог, да и не хотел сопротивляться; в одно мгновение он очутился на заднем сиденье между двумя жандармами; двое других сели напротив, и тяжелый экипаж покатил со зловещим грохотом.

Узник посмотрел на окна; они были забраны железной решеткой. Он только переменил тюрьму; новая тюрьма была на колесах и катилась к неизвестной цели. Сквозь частые прутья, между которыми едва можно было просунуть руку, Дантес все же разглядел, что его провезли по улице Кессари, а затем по улицам Сен-Лоран и Тарамис спустились к набережной.

Немного погодя сквозь решетку окна и сквозь ограду памятника, мимо которого они ехали, он увидел огни портового Управления.

Карета остановилась, пристав сошел с козел и подошел к кордегардии; оттуда вышли с десяток солдат и стали в две шеренги. Ружья их блестели

в свете фонарей, горевших на набережной.

«Неужели все это ради меня?» – подумал Эдмон.

Отперев дверцу ключом, пристав молчаливо ответил на этот вопрос, ибо Дантес увидел между двумя рядами солдат оставленный для него узкий проход от кареты до набережной.

Два жандарма, сидевшие на переднем сиденье, вышли из кареты первыми, за ними вышел он, а за ним и остальные два, сидевшие по бокам его. Все направились к лодке, которую таможенный служитель удерживал у берега за цепь. Солдаты смотрели на Дантеса с тупым любопытством. Его тотчас же посадили к рулю, между четырьмя жандармами, а пристав сел на носу. Сильный толчок отделил лодку от берега; четыре гребца принялись быстро грести по направлению к Пилону. По окрику с лодки цепь, заграждающая порт, опустилась, и Дантес очутился в так называемом Фриуле, то есть вне порта.

Первое ощущение арестанта, когда он выехал на свежий воздух, было ощущение радости. Воздух – почти свобода. Он полной грудью вдыхал живительный ветер, несущий на своих крыльях таинственные запахи ночи и моря. Скоро, однако, он горестно вздохнул: он плыл мимо «Резерва», где был так счастлив еще утром, за минуту до ареста; сквозь ярко освещенные окна до него доносились веселые звуки танцев.

Дантес сложил руки, поднял глаза к небу и стал молиться.

Лодка продолжала свой путь; она миновала Мертвую Голову, поравнялась с бухтой Фаро и начала огибать батарею; Дантес ничего не понимал.

– Куда же меня везут? – спросил он одного из жандармов.

– Сейчас узнаете.

– Однако…

– Нам запрещено говорить с вами.

Дантес был наполовину солдат; расспрашивать жандармов, которым запрещено отвечать, показалось ему нелепым, и он замолчал.

Тогда самые странные мысли закружились в его голове; в утлой лодке нельзя было далеко уехать, кругом не было ни одного корабля на якоре; он подумал, что его довезут до отдаленного места на побережье и там

объявят, что он свободен. Его не связывали, не пытались надевать наручники; все это казалось ему добрым предзнаменованием; при этом разве не сказал ему помощник прокурора, такой добрый и ласковый, что если только он не произнесет рокового имени Нуартье, то ему нечего бояться? Ведь на его глазах Вильфор сжег опасное письмо, единственную улику, которая имелась против него.

В молчании ждал он, чем все это кончится, глазом моряка, привыкшим в темноте измерять пространство, стараясь рассмотреть окрестность.

Остров Ратонно, на котором горел маяк, остался справа, и лодка, держась близко к берегу, подошла к Каталанской бухте. Взгляд арестанта стал еще зорче: здесь была Мерседес, и ему ежеминутно казалось, что на темном берегу вырисовывается неясный силуэт женщины.

Как предчувствие не шепнуло Мерседес, что ее возлюбленный в трехстах шагах от нее?

Во всех Каталанах только в одном окне горел огонь. Приглядевшись, Дантес убедился, что это комната его невесты. Только одна Мерседес не спала во всем селении. Если бы он громко закричал, голос его долетел бы до ее слуха. Ложный стыд удержал его. Что сказали бы жандармы, если бы он начал кричать, как исступленный? Поэтому он не раскрыл рта и проехал мимо, не отрывая глаз от огонька.

Между тем лодка продвигалась вперед; но арестант не думал о лодке, он думал о Мерседес. Наконец освещенное окошко скрылось за выступом скалы. Дантес обернулся и увидел, что лодка удаляется от берега.

Пока он был поглощен своими мыслями, весла заменили парусами, и лодка шла по ветру.

Хотя Дантесу не хотелось снова расспрашивать жандарма, однако же он придвинулся к нему и, взяв его за руку, сказал:

– Товарищи! Именем совести вашей и вашим званием солдата заклинаю: сжальтесь и ответьте мне. Я капитан Дантес, добрый и честный француз, хоть меня и обвиняют в какой-то измене. Куда вы меня везете? Скажите, я даю вам честное слово моряка, что я исполню свой долг и покорюсь судьбе.

Жандарм почесал затылок и посмотрел на своего товарища. Тот сделал движение, которое должно было означать: «Теперь уж, кажется, можно сказать», – и жандарм повернулся к Дантесу:

– Вы уроженец Марселя и моряк и еще спрашиваете, куда мы едем?

– Да, честью уверяю, что не знаю.

– Вы не догадываетесь?

– Нет.

– Не может быть.

– Клянусь всем священным в мире! Скажите, ради бога!

– А приказ?

– Приказ не запрещает вам сказать мне то, что я все равно узнаю через десять минут, через полчаса или, быть может, через час. Вы только избавите меня от целой вечности сомнений. Я прошу вас, как друга. Смотрите, я не собираюсь ни сопротивляться, ни бежать. Да это и невозможно. Куда мы едем?

– Либо вы ослепли, либо вы никогда не выходили из марсельского порта; иначе вы не можете не угадать, куда вас везут.

– Не могу.

– Так гляньте вокруг.

Дантес встал, посмотрел в ту сторону, куда направлялась лодка, и увидел в ста саженях перед собой черную отвесную скалу, на которой высился мрачный замок Иф.

Этот причудливый облик, эта тюрьма, которая вызывает такой беспредельный ужас, эта крепость, которая уже триста лет питает Марсель своими жуткими преданиями, возникнув внезапно перед Дантесом, и не помышлявшим о ней, произвела на него такое же действие, какое производит эшафот на приговоренного к смерти.

– Боже мой! – вскричал он. – Замок Иф? Зачем мы туда едем?

Жандарм улыбнулся.

– Но меня же не могут заключить туда! – продолжал Дантес. – Замок Иф – государственная тюрьма, предназначенная только для важных политических преступников. Я никакого преступления не совершил. Разве в замке Иф есть какие-нибудь следователи, какие-нибудь судьи?

– Насколько я знаю, – сказал жандарм, – там имеются только комендант, тюремщики, гарнизон да крепкие стены. Полно, полно, приятель, не представляйтесь удивленным, не то я, право, подумаю, что вы платите мне насмешкой за мою доброту.

Дантес сжал руку жандарма так, что чуть не сломал ее.

– Так вы говорите, что меня везут в замок Иф и там оставят?

– Вероятно, – сказал жандарм, – но, во всяком случае, незачем жать мне руку так крепко.

– Без всякого следствия? Без всяких формальностей?

– Все формальности выполнены, следствие закончено.

– И невзирая на обещание господина де Вильфора?

– Я не знаю, что вам обещал господин де Вильфор, – сказал жандарм, – знаю только, что мы едем в замок Иф. Эге! Да что вы делаете? Ко мне, товарищи! Держите!

Движением быстрым, как молния, и все же не ускользнувшим от опытного глаза жандарма, Дантес хотел броситься в море, но четыре сильные руки схватили его в ту самую минуту, когда ноги его отделились от днища.

Он упал в лодку, рыча от ярости.

– Эге, брат! – сказал жандарм, упираясь ему коленом в грудь. – Так-то ты держишь честное слово моряка! Вот и полагайся на тихонь! Ну, теперь, любезный, только шевельнись, и я влеплю тебе пулю в лоб! Я ослушался первого пункта приказа, но не беспокойся, второй будет выполнен в точности.

И он действительно приставил дуло своего ружья к виску Дантеса. В первое мгновение Дантес хотел сделать роковое движение и покончить с нежданным бедствием, которое обрушилось на него и схватило в свои ястребиные когти. Но именно потому, что это бедствие было столь неожиданным, Дантес подумал, что оно не может быть продолжительным; потом он вспомнил обещание Вильфора; к тому же надо признаться, смерть на дне лодки от руки жандарма показалась ему гадкой и жалкой.

Он опустился на доски и в бессильном бешенстве впился зубами в свою руку.

Лодка покачнулась от сильного толчка. Один из гребцов прыгнул на утес, о который легкое суденышко ударилось носом, заскрипела веревка, разматываясь вокруг ворота, и Дантес понял, что они причаливают.

Жандармы, державшие его за руки и за шиворот, заставили его подняться, сойти на берег и потащили его к ступенькам, ведшим к крепостным воротам; сзади шел пристав, вооруженный ружьем с примкнутым штыком.

Впрочем, Дантес и не помышлял о бесполезном сопротивлении. Его медлительность происходила не от противодействия, а от апатии. У него кружилась голова, и он шатался, как пьяный. Он опять увидел два ряда солдат, выстроившихся на крутом откосе, почувствовал, что ступеньки принуждают его поднимать ноги, заметил, что вошел в ворота и что эти ворота закрылись за ним, но все это бессознательно, точно сквозь туман, не будучи в силах ничего различить. Он даже не видел моря, источника мучений для заключенных, которые смотрят на его простор и с ужасом сознают, что бессильны преодолеть его.

Во время минутной остановки Дантес немного пришел в себя и огляделся. Он стоял на четырехугольном дворе, между четырьмя высокими стенами; слышался размеренный шаг часовых, и всякий раз, когда они проходили мимо двух-трех освещенных окон, ружья их поблескивали.

Они простояли минут десять. Зная, что Дантесу уже не убежать, жандармы выпустили его. Видимо, ждали приказаний; наконец раздался чей-то голос:

– Где арестант?

– Здесь, – отвечали жандармы.

– Пусть идет за мной, я проведу его в камеру.

– Ступайте, – сказали жандармы, подталкивая Дантеса.

Он пошел за проводником, который действительно привел его в полуподземную камеру; из голых и мокрых стен, казалось, сочились слезы. Поставленная на табурет плошка, фитиль которой плавал в каком-

то вонючем жире, осветила лоснящиеся стены этого страшного жилища и проводника; это был человек плохо одетый, с грубым лицом – по всей вероятности, из низших служителей тюрьмы.

– Вот вам камера на нынешнюю ночь, – сказал он. – Теперь уже поздно, и господин комендант лег спать. Завтра, когда он встанет и прочтет распоряжения, присланные на ваш счет, может быть, он назначит вам другую. А пока вот вам хлеб; тут, в этой кружке, вода; там, в углу, солома. Это все, чего может пожелать арестант. Спокойной ночи.

И прежде чем Дантес успел ответить ему, прежде чем он заметил, куда тюремщик положил хлеб, прежде чем он взглянул, где стоит кружка с водой, прежде чем он повернулся к углу, где лежала солома – его будущая постель, – тюремщик взял плошку и, закрыв дверь, лишил арестанта и того тусклого света, который показал ему, словно при вспышке зарницы, мокрые стены его тюрьмы.

Он остался один, среди тишины и мрака, немой, угрюмый, как своды подземелья, мертвящий холод которых он чувствовал на своем пылающем челе.

Когда первые лучи солнца едва осветили этот вертеп, тюремщик возвратился с приказом оставить арестанта здесь. Дантес стоял на том же месте. Казалось, железная рука пригвоздила его там, где он остановился накануне; только глаза его опухли от невыплаканных слез. Он не шевелился и смотрел в землю.

Он провел всю ночь стоя и ни на минуту не забылся сном.

Тюремщик подошел к нему, обошел вокруг него, но Дантес, казалось, его не видел.

Он тронул его за плечо. Дантес вздрогнул и покачал головой.

– Вы не спали? – спросил тюремщик.

– Не знаю, – отвечал Дантес.

Тюремщик посмотрел на него с удивлением.

– Вы не голодны? – продолжал он.

– Не знаю, – повторил Дантес.

– Вам ничего не нужно?

– Я хочу видеть коменданта.

Тюремщик пожал плечами и вышел.

Дантес проводил его взглядом, протянул руки к полурастворенной двери, но дверь захлопнулась.

Тогда громкое рыдание вырвалось из его груди. Накопившиеся слезы хлынули в два ручья. Он бросился на колени, прижал голову к полу и долго молился, припоминая в уме всю свою жизнь и спрашивая себя, какое преступление совершил он в своей столь еще юной жизни, чтобы заслужить такую жестокую кару.

Так прошел день. Дантес едва проглотил несколько крошек хлеба и выпил несколько глотков воды. Он то сидел, погруженный в думы, то кружил вдоль стен, как дикий зверь в железной клетке.

Одна мысль с особенной силой приводила его в неистовство: во время переезда, когда он, не зная, куда его везут, сидел так спокойно и беспечно, он мог бы десять раз броситься в воду и, мастерски умея плавать, умея нырять, как едва ли кто другой в Марселе, мог бы скрыться под водой, обмануть охрану, добраться до берега, бежать, спрятаться в какой-нибудь пустынной бухте, дождаться генуэзского или каталанского корабля, перебраться в Италию или Испанию и оттуда написать Мерседес, чтобы она приехала к нему. О своем пропитании он не беспокоился: в какую бы страну ни бросила его судьба – хорошие моряки везде редкость; он говорил по-итальянски, как тосканец, по-испански, как истый сын Кастилии. Он жил бы свободным и счастливым, с Мерседис, с отцом, потому что выписал бы и отца. А вместо этого он арестант, запертый в замке Иф, в этой тюрьме, откуда нет возврата, и не знает, что сталось с отцом, что сталось с Мерседес; и все это из-за того, что он поверил слову Вильфора. Было отчего сойти с ума, и Дантес в бешенстве катался по свежей соломе, которую принес тюремщик.

На другой день в тот же час явился тюремщик.

– Ну что, – спросил он, – поумнели немного?

Дантес не отвечал.

– Да бросьте унывать! Скажите, чего бы вам хотелось. Ну, говорите!

– Я хочу видеть коменданта.

– Я уже сказал, что это невозможно, – отвечал тюремщик с досадой.

– Почему невозможно?

– Потому что тюремным уставом арестантам запрещено к нему обращаться.

– А что же здесь позволено? – спросил Дантес.

– Пища получше – за деньги, прогулка, иногда книги.

– Книг мне не нужно; гулять я не хочу, а пищей я доволен. Я хочу только одного – видеть коменданта.

– Если вы будете приставать ко мне с этим, я перестану носить вам еду.

– Ну что ж, – отвечал Дантес, – если ты перестанешь носить мне еду, я умру с голоду, вот и все!

Выражение, с которым Дантес произнес эти слова, показало тюремщику, что его узник был бы рад умереть; а так как всякий арестант приносит тюремщику круглым числом десять су дохода в день, то тюремщик Дантеса тотчас высчитал убыток, могущий произойти от его смерти, и сказал уже более ласково:

– Послушайте: то, о чем вы просите, невозможно; стало быть, и не просите больше; не было примера, чтобы комендант по просьбе арестанта являлся к нему в камеру; поэтому ведите себя смирно, вам разрешат гулять, а на прогулке, может статься, вы как-нибудь встретите коменданта. Тогда и обратитесь к нему, и если ему угодно будет ответить вам, так это уж его дело.

– А сколько мне придется ждать этой встречи?

– Кто знает? – сказал тюремщик. – Месяц, три месяца, полгода, может быть год.

– Это слишком долго, – прервал Дантес, – я хочу видеть его сейчас же!

– Не упорствуйте в одном невыполнимом желании или через две недели вы сойдете с ума.

– Ты думаешь? – сказал Дантес.

– Да, сойдете с ума; сумасшествие всегда так начинается. У нас уже есть такой случай; здесь до вас жил аббат, который беспрестанно

предлагал коменданту миллион за свое освобождение и на этом сошел с ума.

– А давно он здесь не живет?

– Два года.

– Его выпустили на свободу?

– Нет, посадили в карцер.

– Послушай, – сказал Дантес, – я не аббат и не сумасшедший; может быть, я и сойду с ума, но пока, к сожалению, я в полном рассудке; я предложу тебе другое.

– Что же?

– Я не стану предлагать тебе миллиона, потому что у меня его нет, но предложу тебе сто экю, если ты согласишься, когда поедешь в Марсель, заглянуть в Каталаны и передать письмо девушке, которую зовут Мерседес… даже не письмо, а только две строчки.

– Если я передам эти две строчки и меня поймают, я потеряю место, на котором получаю тысячу ливров в год, не считая дохода и стола; вы видите, я был бы дураком, если бы вздумал рисковать тысячей ливров, чтобы получить триста.

– Хорошо! – сказал Дантес. – Так слушай и запомни хорошенько: если ты не отнесешь записки Мерседес или по крайней мере не дашь ей знать, что я здесь, то когда-нибудь я подкараулю тебя за дверью и, когда ты войдешь, размозжу тебе голову табуретом!

– Ага, угрозы! – закричал тюремщик, отступая на шаг и приготовляясь к защите. – Положительно у вас голова не в порядке; аббат начал, как вы, и через три дня вы будете буйствовать, как он; хорошо, что в замке Иф есть карцеры.

Дантес поднял табурет и повертел им над головой.

– Ладно, ладно, – сказал тюремщик, – если уж вы непременно хотите, я уведомлю коменданта.

– Давно бы так, – отвечал Дантес, ставя табурет на пол и садясь на него, с опущенной головой и блуждающим взглядом, словно он действительно начинал сходить с ума.

Тюремщик вышел и через несколько минут вернулся с четырьмя солдатами и капралом.

– По приказу коменданта, – сказал он, – переведите арестанта этажом ниже.

– В темную, значит, – сказал капрал.

– В темную; сумасшедших надо сажать с сумасшедшими.

Четверо солдат схватили Дантеса, который впал в какое-то забытье и последовал за ними без всякого сопротивления.

Они спустились вниз на пятнадцать ступеней; отворилась дверь темной камеры, в которую он вошел, бормоча:

– Он прав, сумасшедших надо сажать с сумасшедшими.

Дверь затворилась, и Дантес пошел вперед, вытянув руки, пока не дошел до стены; тогда он сел в угол и долго не двигался с места, между тем как глаза его, привыкнув мало-помалу к темноте, начали различать предметы. Тюремщик не ошибся: Дантес был на волосок от безумия.

# IX. Вечер дня обручения

Вильфор, как мы уже сказали, отправился опять на улицу Гран-Кур и, войдя в дом г-жи де Сен-Меран, застал гостей уже не в столовой, а в гостиной, за чашками кофе.

Рене ждала его с нетерпением, которое разделяли и прочие гости. Поэтому его встретили радостными восклицаниями.

– Ну, головорез, оплот государства, роялистский Брут! – крикнул один из гостей. – Что случилось? Говорите!

– Уж не готовится ли новый Террор? – спросил другой.

– Уж не вылез ли из своего логова корсиканский людоед? – спросил третий.

– Маркиза, – сказал Вильфор, подходя к своей будущей теще, – простите меня, но я принужден просить у вас разрешения удалиться... Маркиз, разрешите сказать вам два слова наедине?

– Значит, это и вправду серьезное дело? – сказала маркиза, заметив нахмуренное лицо Вильфора.

– Очень серьезное, и я должен на несколько дней покинуть вас. Вы можете по этому судить, – прибавил Вильфор, обращаясь к Рене, – насколько это важно.

– Вы уезжаете? – вскричала Рене, не умея скрыть своего огорчения.

– Увы! – отвечал Вильфор. – Это необходимо.

– А куда? – спросила маркиза.

– Это – судебная тайна. Однако если у кого-нибудь есть поручения в Париж, то один мой приятель едет туда сегодня, и он охотно примет их на себя.

Все переглянулись.

– Вы хотели поговорить со мною? – спросил маркиз.

– Да, если позволите, пройдемте к вам в кабинет.

Маркиз взял Вильфора под руку, и они вместе вышли.

– Что случилось? – сказал маркиз, входя в кабинет. – Говорите.

– Нечто весьма важное, требующее моего немедленного отъезда в Париж. Теперь, маркиз, простите мне нескромный и бестактный вопрос: у вас есть государственные облигации?

– В них все мое состояние; на шестьсот или семьсот тысяч франков.

– Так продайте, маркиз, продайте, или вы разорены.

– Как я могу продать их отсюда?

– У вас есть маклер в Париже?

– Есть.

– Дайте мне письмо к нему: пусть продает, не теряя ни минуты, ни секунды; может быть, даже я приеду слишком поздно.

– Черт возьми! – сказал маркиз. – Не будем терять времени!

Он сел к столу и написал своему агенту распоряжение о продаже всех облигаций по любой цене.

– Одно письмо есть, – сказал Вильфор, бережно пряча его в бумажник, – теперь мне нужно еще другое.

– К кому?

– К королю.

– К королю?

– Да.

– Но не могу же я так прямо писать его величеству.

– Да я и не прошу письма от вас, а только хочу, чтобы вы попросили его у графа де Сальвьё. Чтобы не терять драгоценного времени, мне нужно такое письмо, с которым я мог бы явиться прямо к королю, не подвергаясь всяким формальностям, связанным с получением аудиенции.

– А министр юстиции? Он же имеет право входа в Тюильри, и через него вы в любое время можете получить доступ к королю.

– Разумеется. Но зачем мне делиться с другими той важной новостью, которую я везу. Вы понимаете? Министр юстиции, естественно, отодвинет меня на второй план и похитит у меня всю заслугу. Скажу вам одно, маркиз: если я первый явлюсь в Тюильри, карьера моя обеспечена, потому что я окажу королю услугу, которой он никогда не забудет.

– Если так, друг мой, ступайте, собирайтесь в дорогу; я вызову Сальвьё, и он напишет письмо, которое вам послужит пропуском.

– Хорошо, но не теряйте времени; через четверть часа я должен быть в почтовой карете.

– Велите остановиться у нашего дома.

– Вы, конечно, извинитесь за меня перед маркизой и мадемуазель де Сен-Меран, с которой я расстаюсь в такой день с глубочайшим сожалением.

– Они будут ждать вас в моем кабинете, и вы проститесь с ними.

– Тысячу благодарностей. Так приготовьте письмо.

Маркиз позвонил.

Вошел лакей.

– Попросите сюда графа де Сальвьё... А вы идите, – сказал маркиз, обращаясь к Вильфору.

– Я сейчас же буду обратно.

И Вильфор торопливо вышел; но в дверях он решил, что вид помощника королевского прокурора, куда-то стремительно шагающего, может возмутить спокойствие целого города; поэтому он пошел своей обычной внушительной походкой.

Дойдя до своего дома, он заметил в темноте какой-то белый призрак, который ждал его, не шевелясь.

То была Мерседес, которая, не получая вестей об Эдмоне, решила сама разузнать, почему арестовали ее жениха.

Завидев Вильфора, она отделилась от стены и загородила ему дорогу. Дантес говорил Вильфору о своей невесте, и Мерседес незачем было называть себя; Вильфор и без того узнал ее. Его поразили красота и благородная осанка девушки, и когда она спросила его о своем женихе, то ему показалось, что обвиняемый – это он, а она – судья.

– Тот, о ком вы говорите, тяжкий преступник, – отвечал Вильфор, – и я ничего не могу сделать для него.

Мерседес зарыдала; Вильфор хотел пройти мимо, но она остановила его.

– Скажите по крайней мере, где он, – проговорила она, – чтобы я могла узнать, жив он или умер?

– Не знаю. Он больше не в моем распоряжении, – отвечал Вильфор.

Ее проницательный взгляд и умоляющий жест тяготили его; он оттолкнул Мерседес, вошел в дом и быстро захлопнул за собою дверь, как бы желая отгородиться от горя этой девушки.

Но горе не так легко отогнать. Раненный им уносит его с собою, как смертельную стрелу, о которой говорит Вергилий. Вильфор запер дверь, поднялся в гостиную, но тут ноги его подкосились; из его груди вырвался вздох, похожий на рыдание, и он упал в кресло.

Тогда-то в этой больной душе обнаружились первые зачатки смертельного недуга. Тот, кого он принес в жертву своему честолюбию, ни в чем не повинный юноша, который пострадал за вину его отца, предстал перед ним, бледный и грозный, под руку со своей невестой, такой же бледной, неся ему угрызения совести, – не те угрызения, от которых больной вскакивает, словно гонимый древним роком, а то глухое, мучительное постукивание, которое время от времени терзает сердце воспоминанием содеянного и до гробовой доски все глубже и глубже разъедает совесть.

Вильфор пережил еще одну – последнюю – минуту колебания. Уже не раз, не испытывая ничего, кроме волнения борьбы, он требовал смертной казни для подсудимых; и эти казни, совершившиеся благодаря его громовому красноречию, увлекшему присяжных или судей, ни единым облачком не омрачали его чела, ибо эти подсудимые были виновны, или по крайней мере Вильфор считал их таковыми.

Но на этот раз было совсем другое: к пожизненному заключению он приговорил невинного – невинного, которому предстояло счастье: он отнял у него не только свободу, но и счастье; на этот раз он был уже не судья, а палач.

И, думая об этом, он почувствовал те глухие мучительные удары, которых он до той поры не знал; они отдавались в его груди и наполняли сердце безотчетным страхом. Так нестерпимая боль предостерегает

раненого, и он никогда без содрогания не коснется пальцем открытой и кровоточащей раны, пока она не зажила.

Но рана Вильфора была из тех, которые не заживают или заживают только затем, чтобы снова открыться, причиняя еще большие муки, чем прежде.

Если бы в эту минуту раздался нежный голос Рене, моля его о пощаде, если бы прелестная Мерседес вошла и сказала ему: «Именем бога, который нас видит и судит, заклинаю вас, отдайте мне моего жениха», – Вильфор, уже почти побежденный неизбежностью, покорился бы ей окончательно и оледенелой рукой, невзирая на все, чем это ему грозило, наверное, подписал бы приказ об освобождении Дантеса; но ничей голос не прозвучал в тишине, и дверь отворилась только для камердинера, который пришел доложить Вильфору, что почтовые лошади запряжены в дорожную коляску.

Вильфор встал или, вернее, вскочил, как человек, вышедший победителем из внутренней борьбы, подбежал к бюро, сунул в карман все золото, какое хранилось в одном из ящиков, покружил еще по комнате, растерянно потирая рукою лоб и бормоча бессвязные слова; наконец, почувствовав, что камердинер набросил ему на плечи плащ, он вышел, вскочил в карету и отрывисто приказал заехать на улицу Гран-Кур, к маркизу де Сен-Мерану.

Несчастный Дантес был осужден безвозвратно.

Как обещал маркиз де Сен-Меран, Вильфор застал у него в кабинете его жену и дочь. При виде Рене молодой человек вздрогнул: он боялся, что она опять станет просить за Дантеса. Но, увы! Надо сознаться, в укор нашему эгоизму, что молодая девушка была занята только одним: отъездом своего жениха.

Она любила Вильфора; Вильфор уезжал накануне их свадьбы; Вильфор сам точно не знал, когда вернется, и Рене, вместо того чтобы жалеть Дантеса, проклинала человека, преступление которого разлучало ее с женихом.

Каково же было Мерседес!

На углу улицы де-ла-Лож ее ждал Фернан, который вышел за ней следом; она вернулась в Каталаны и, полумертвая, в отчаянии, бросилась на постель. Перед этой постелью Фернан стал на колени и, взяв холодную руку, которой Мерседес не отнимала, покрывал ее жаркими поцелуями, но Мерседес даже не чувствовала их.

Так прошла ночь. Когда все масло выгорело, ночник погас, но она не заметила темноты, как не замечала света; и когда забрезжило утро, она и этого не заметила.

Горе пеленой застлало ей глаза, и она видела одного Эдмона.

– Ты здесь! – сказала она наконец, оборачиваясь к Фернану.

– Со вчерашнего дня я не отходил от тебя, – отвечал Фернан с горестным вздохом.

Моррель не считал себя побежденным. Он знал, что после допроса Дантеса отвели в тюрьму; тогда он обегал всех своих друзей, перебывал у всех, кто мог иметь влияние, но повсюду уже распространился слух, что Дантес арестован как бонапартистский агент, и так как в то время даже смельчаки считали безумием любую попытку Наполеона вернуть себе престол, то Моррель встречал только холодность, боязнь или отказ. Он воротился домой в отчаянии, сознавая в душе, что дело очень плохо и что помочь никто не в силах.

Со своей стороны Кадрусс тоже был в большом беспокойстве. Вместо того чтобы бегать по всему городу, как Моррель, и пытаться чем-нибудь помочь Дантесу, что, впрочем, ни к чему бы не привело, он засел дома с двумя бутылками наливки и старался утопить свою тревогу в вине. Но, для того чтобы одурманить его смятенный ум, двух бутылок было мало. Поэтому он остался сидеть, облокотясь на хромоногий стол, между двумя пустыми бутылками, не имея сил ни выйти из дому за вином, ни забыть о случившемся, и смотрел, как при свете коптящей свечи перед ним кружились и плясали все призраки, которые Гофман черной фантастической пылью рассеял по своим влажным от пунша страницам.

Один Данглар не беспокоился и не терзался. Данглар даже радовался; он отомстил врагу и обеспечил себе на «Фараоне» должность, которой боялся лишиться. Данглар был одним из тех расчетливых людей,

которые родятся с пером за ухом и с чернильницей вместо сердца; все, что есть в мире, сводилось для него к вычитанию или к умножению, и цифра значила для него гораздо больше, чем человек, если эта цифра увеличивала итог, который мог быть уменьшен этим человеком.

Поэтому Данглар лег спать в обычный час и спал спокойно.

Вильфор, получив от графа де Сальвьё рекомендательное письмо, поцеловал Рене в обе щеки, прильнул губами к руке маркизы де Сен-Меран, пожал руку маркизу и помчался на почтовых по дороге в Экс.

Старик Дантес, убитый горем, томился в смертельной тревоге.

Что же касается Эдмона, то мы знаем, что с ним сталось.

# X. Малый покой в Тюильри

Оставим Вильфора на парижской дороге, где, платя тройные прогоны, он мчался во весь опор, и заглянем, миновав две-три гостиные, в малый тюильрийский покой, с полуциркульным окном, знаменитый тем, что это был любимый кабинет Наполеона и Людовика XVIII, а затем Луи-Филиппа.

В этом кабинете, сидя за столом орехового дерева, который он вывез из Гартвеля и который, в силу одной из причуд, свойственных выдающимся личностям, он особенно любил, король Людовик XVIII рассеянно слушал человека лет пятидесяти, с седыми волосами, с аристократическим лицом, изысканно одетого. В то же время он делал пометки на полях Горация, издания Грифиуса, издания довольно неточного, хоть и почитаемого и дававшего его величеству обильную пищу для хитроумных филологических наблюдений.

– Так вы говорите, сударь... – сказал король.

– Что я чрезвычайно обеспокоен, ваше величество.

– В самом деле? Уж не приснились ли вам семь коров тучных и семь тощих?

– Нет, ваше величество. Это означало бы только, что нас ждут семь годов обильных и семь голодных; а при таком предусмотрительном государе, как ваше величество, голода нечего бояться.

– Так что же вас беспокоит, милейший Блакас?

– Ваше величество, мне кажется, есть основания думать, что на юге собирается гроза.

– В таком случае, дорогой герцог, – отвечал Людовик XVIII, – мне кажется, вы плохо осведомлены. Я, напротив, знаю наверняка, что там прекрасная погода.

Людовик XVIII, хоть и был человеком просвещенного ума, любил нехитрую шутку.

– Сир, – сказал де Блакас, – хотя бы для того, чтобы успокоить верного слугу, соблаговолите послать в Лангедок, в Прованс и в Дофине

надежных людей, которые доставили бы точные сведения о состоянии умов в этих трех провинциях.

– Canimus surdis,[4] – отвечал король, продолжая делать пометки на полях Горация.

– Ваше величество, – продолжал царедворец, усмехнувшись, чтобы показать, будто он понял полустишие венузинского поэта, – ваше величество, быть может, совершенно правы, надеясь на преданность Франции; но, думается мне, что я не так уж не прав, опасаясь какой-нибудь отчаянной попытки...

– С чьей стороны?

– Со стороны Бонапарта или хотя бы его партии.

– Дорогой Блакас, – сказал король, – ваш страх не дает мне работать.

– А ваше спокойствие, сир, мешает мне спать.

– Постойте, дорогой мой, погодите: мне пришло на ум пресчастливое замечание о Pastor quum traheret;[5] погодите, потом скажете.

Наступило молчание, и король написал мельчайшим почерком несколько строк на полях Горация.

– Продолжайте, дорогой герцог, – сказал он, самодовольно подымая голову, как человек, считающий, что сам набрел на мысль, когда истолковал мысль другого. – Продолжайте, я вас слушаю.

– Ваше величество, – начал Блакас, который сначала надеялся один воспользоваться вестями Вильфора, – я должен сообщить вам, что не пустые слухи и не голословные предостережения беспокоят меня. Человек благомыслящий, заслуживающий моего полного доверия и имевший от меня поручение наблюдать за югом Франции, – герцог слегка замялся, произнося эти слова, – прискакал ко мне на почтовых, чтобы сказать: страшная опасность угрожает королю. Вот почему я и поспешил к вашему величеству.

– Mala ducis avi domum,[6] – продолжал король, делая пометки.

– Может быть, вашему величеству угодно, чтобы я оставил этот предмет?

– Нет, нет, дорогой герцог, но протяните руку...

– Которую?

– Какую угодно; вот там, налево…

– Здесь, ваше величество?

– Я говорю налево, а вы ищете направо; я хочу сказать – налево от меня; да, тут; тут должно быть донесение министра полиции от вчерашнего числа… Да вот и сам Дандре… Ведь вы сказали: господин Дандре? – продолжал король, обращаясь к камердинеру, который вошел доложить о приезде министра полиции.

– Да, сир, барон Дандре, – отвечал камердинер.

– Да, барон, – сказал Людовик XVIII с едва заметной улыбкой, – войдите, барон, и расскажите герцогу все последние новости о господине Бонапарте. Не скрывайте ничего, как бы серьезно ни было положение. Правда ли, что остров Эльба – вулкан и он извергает войну, ощетинившуюся и огненную: bella, horrida bella?[7]

Дандре, изящно опираясь обеими руками на спинку стула, сказал:

– Вашему величеству угодно было удостоить взглядом мое вчерашнее донесение?

– Читал, читал; но расскажите сами герцогу, который никак не может его найти, что там написано; расскажите ему подробно, чем занимается узурпатор на своем острове.

– Все верные слуги его величества, – обратился барон к герцогу, – должны радоваться последним новостям, полученным с острова Эльба. Бонапарт…

Дандре посмотрел на Людовика XVIII, который, увлекшись каким-то примечанием, не поднял даже головы.

– Бонапарт, – продолжал барон, – смертельно скучает; по целым дням он созерцает работы минеров в Порто-Лангоне.

– И почесывается для развлечения, – прибавил король.

– Почесывается? – сказал герцог. – Что вы хотите сказать, ваше величество?

– Разве вы забыли, что этот великий человек, этот герой, этот полубог страдает накожной болезнью?

– Мало того, герцог, – продолжал министр полиции, – мы почти уверены, что в ближайшее время узурпатор сойдет с ума.

– Сойдет с ума?

– Несомненно; ум его мутится, он то плачет горькими слезами, то хохочет во все горло; иной раз сидит целыми часами на берегу и бросает камешки в воду, и если камень сделает пять или шесть рикошетов, то он радуется, точно снова выиграл битву при Маренго или Аустерлице. Согласитесь сами, это явные признаки сумасшествия.

– Или мудрости, господин барон, – смеясь, сказал Людовик XVIII, – великие полководцы древности в часы досуга забавлялись тем, что бросали камешки в воду; разверните Плутарха и загляните в жизнь Сципиона Африканского.

Де Блакас задумался, видя такую беспечность и в министре, и в короле. Вильфор не выдал ему всей своей тайны, чтобы другой не воспользовался ею, но все же сказал достаточно, чтобы поселить в нем немалые опасения.

– Продолжайте, Дандре, – сказал король, – Блакас еще не убежден; расскажите, как узурпатор обратился на путь истинный.

Министр полиции поклонился.

– На путь истинный, – прошептал герцог, глядя на короля и на Дандре, которые говорили поочередно, как вергилиевские пастухи. – Узурпатор обратился на путь истинный?

– Безусловно, любезный герцог.

– На какой же?

– На путь добра. Объясните, барон.

– Дело в том, герцог, – вполне серьезно начал министр, – что недавно Наполеон принимал смотр; двое или трое из его старых ворчунов, как он их называет, изъявили желание возвратиться во Францию; он их отпустил, настойчиво советуя им послужить их доброму королю; это его собственные слова, герцог, могу вас уверить.

– Ну, как, Блакас? Что вы на это скажете? – спросил король с торжествующим видом, отрываясь от огромной книги, раскрытой перед ним.

– Я скажу, ваше величество, что один из нас ошибается, или господин министр полиции, или я; но так как невозможно, чтобы ошибался

господин министр полиции, ибо он охраняет благополучие и честь вашего величества, то, вероятно, ошибаюсь я. Однако на месте вашего величества я все же расспросил бы то лицо, о котором я имел честь докладывать; я даже настаиваю, чтобы ваше величество удостоили его этой чести.

– Извольте, герцог; по вашему указанию я приму кого хотите, но я хочу принять его с оружием в руках. Господин министр, нет ли у вас донесения посвежее? На этом проставлено двадцатое февраля, а ведь сегодня уже третье марта.

– Нет, ваше величество, но я жду нового донесения с минуты на минуту. Я выехал из дому с утра, и может быть, оно получено без меня.

– Поезжайте в префектуру, и если оно еще не получено, то... – Людовик засмеялся, – то сочините сами; ведь так это делается?

– Хвала богу, сир, нам не нужно ничего выдумывать, – отвечал министр, – нас ежедневно заваливают самыми подробными доносами; их пишут всякие горемыки в надежде получить что-нибудь за услуги, которых они не оказывают, но хотели бы оказать. Они рассчитывают на счастливый случай и надеются, что какое-нибудь нежданное событие оправдает их предсказания.

– Хорошо, ступайте, – сказал король, – и не забудьте, что я вас жду.

– Ваше величество, через десять минут я здесь...

– А я, ваше величество, – сказал де Блакас, – пойду приведу моего вестника.

– Постойте, постойте, – сказал король. – Знаете, Блакас, мне придется изменить ваш герб; я дам вам орла с распущенными крыльями, держащего в когтях добычу, которая тщетно силится вырваться, и с девизом: Tenax.[8]

– Я вас слушаю, ваше величество, – отвечал герцог, кусая ногти от нетерпения.

– Я хотел посоветоваться с вами об этом стихе: Molli fugiens anhelitu...[9] Полноте, дело идет об олене, которого преследует волк. Ведь вы же охотник и обер-егермейстер; как вам нравится это Molli anhelitu?

– Превосходно, ваше величество. Но мой вестник похож на того оленя, о котором вы говорите, ибо он проехал двести двадцать лье на почтовых, и притом меньше чем в три дня.

– Это лишний труд и беспокойство, когда у нас есть телеграф, который сделал бы то же самое в три или четыре часа, и притом без всякой одышки.

– Ваше величество, вы плохо вознаграждаете рвение бедного молодого человека, который примчался издалека, чтобы предостеречь ваше величество. Хотя бы ради графа Сальвьё, который мне его рекомендует, примите его милостиво, прошу вас.

– Граф Сальвьё? Камергер моего брата?

– Он самый.

– Да, да, ведь он в Марселе.

– Он оттуда мне и пишет.

– Так и он сообщает об этом заговоре?

– Нет, но рекомендует господина де Вильфора и поручает мне представить его вашему величеству.

– Вильфор! – вскричал король. – Так его зовут Вильфор?

– Да, сир.

– Это он и приехал из Марселя?

– Он самый.

– Что же вы сразу не назвали его имени? – сказал король, и на лице его показалась легкая тень беспокойства.

– Сир, я думал, что его имя неизвестно вашему величеству.

– Нет, нет, Блакас; это человек дельный, благородного образа мыслей, главное – честолюбивый. Да вы же знаете его отца, хотя бы по имени...

– Его отца?

– Ну да, Нуартье.

– Жирондист? Сенатор?

– Вот именно.

– И ваше величество доверили государственную должность сыну такого человека?

– Блакас, мой друг, вы ничего не понимаете; я вам сказал, что Вильфор честолюбив; чтобы выслужиться, Вильфор пожертвует всем, даже родным отцом.

– Так прикажете привести его?

– Сию же минуту; где он?

– Ждет внизу, в моей карете.

– Ступайте за ним.

– Бегу.

И герцог побежал с живостью молодого человека; его искренний роялистский пыл придавал ему силы двадцатилетнего юноши.

Людовик XVIII, оставшись один, снова устремил взгляд на раскрытого Горация и прошептал: Justum et tenacem propositi virum…».[10]

Де Блакас возвратился так же поспешно, как вышел, но в приемной ему пришлось сослаться на волю короля: пыльное платье Вильфора, его наряд, отнюдь не отвечающий придворному этикету, возбудили неудовольствие маркиза де Брезе, который изумился дерзости молодого человека, решившегося в таком виде явиться к королю. Но герцог одним словом: «По велению его величества» – устранил все препятствия, и, несмотря на возражения, которые порядка ради продолжал бормотать церемониймейстер, Вильфор вошел в кабинет.

Король сидел на том же месте, где его оставил герцог. Отворив дверь, Вильфор очутился прямо против него; молодой человек невольно остановился.

– Войдите, господин де Вильфор, – сказал король, – войдите!

Вильфор поклонился и сделал несколько шагов в ожидании вопроса короля.

– Господин де Вильфор, – начал Людовик XVIII, – герцог Блакас говорит, что вы имеете сообщить нам нечто важное.

– Сир, герцог говорит правду, и я надеюсь, что и вашему величеству угодно будет согласиться с ним.

– Прежде всего так ли велика опасность, как меня хотят уверить?

– Ваше величество, я считаю ее серьезной; но благодаря моей поспешности она, надеюсь, предотвратима.

– Говорите подробно, не стесняйтесь, – сказал король, начиная и сам заражаться волнением, которое отражалось на лице герцога и в голосе Вильфора, – говорите, но начните сначала, я во всем и везде люблю порядок.

– Я представлю вашему величеству подробный отчет; но прошу извинить, если мое смущение несколько затемнит смысл моих слов.

Взгляд, брошенный на короля после этого вкрадчивого вступления, сказал Вильфору, что августейший собеседник внимает ему с благосклонностью, и он продолжал:

– Ваше величество, я приехал со всей поспешностью в Париж, чтобы уведомить ваше величество о том, что по долгу службы я открыл не какое-нибудь обыденное и пустое сообщничество, какие каждый день затеваются в низших слоях населения и войска, но подлинный заговор, который угрожает трону вашего величества. Сир, узурпатор снаряжает три корабля; он замышляет какое-то дело, может быть безумное, но тем не менее и грозное, несмотря на все его безумие. В настоящую минуту он уже, должно быть, покинул остров Эльба и направился – куда? – не знаю. Без сомнений, он попытается высадиться либо в Неаполе, либо на берегах Тосканы, а может быть, даже и во Франции. Вашему величеству небезызвестно, что властитель острова Эльба сохранил сношения и с Италией, и с Францией.

– Да, – отвечал король в сильном волнении, – совсем недавно мы узнали, что бонапартисты собираются на улице Сен-Жак; но продолжайте, прошу вас; как вы получили все эти сведения?

– Ваше величество, я почерпнул их из допроса, который я учинил одному марсельскому моряку. Я давно начал следить за ним и в самый день моего отъезда отдал приказ о его аресте. Этот человек, несомненный бонапартист, тайно ездил на остров Эльба; там он виделся с маршалом, и тот дал ему устное поручение к одному парижскому бонапартисту, имени которого я от него так и не добился; но поручение состояло в том, чтобы подготовить умы к возвращению (прошу помнить, ваше величество, что я передаю слова подсудимого), к возвращению, которое должно последовать в самое ближайшее время.

– А где этот человек? – спросил король.

– В тюрьме, ваше величество.

– И дело показалось вам серьезным?

– Настолько серьезным, что, узнав о нем на семейном торжестве, в самый день моего обручения, я тотчас все бросил, и невесту и друзей, все отложил до другого времени и явился повергнуть к стопам вашего величества и мои опасения, и заверения в моей преданности.

– Да, – сказал Людовик, – ведь вы должны были жениться на мадемуазель де Сен-Меран.

– На дочери одного из преданнейших ваших слуг.

– Да, да; но вернемся к этому сообщничеству, господин де Вильфор.

– Ваше величество, боюсь, что это нечто большее, чем сообщничество, боюсь, что это заговор.

– В наше время, – отвечал Людовик с улыбкой, – легко затеять заговор, но трудно привести в исполнение уже потому, что мы, недавно возвратясь на престол наших предков, обращаем взгляд одновременно на прошлое, на настоящее и на будущее. Вот уже десять месяцев как мои министры зорко следят за тем, чтобы берега Средиземного моря бдительно охранялись. Если Бонапарт высадится в Неаполе, то вся коалиция подымется против него, прежде чем он успеет дойти до Пьомбино; если он высадится в Тоскане, то ступит на вражескую землю; если он высадится во Франции, то лишь с горсточкой людей, и мы справимся с ним без труда, потому что население ненавидит его. Поэтому успокойтесь, но будьте все же уверены в нашей королевской признательности.

– А! Вот и господин Дандре, – воскликнул герцог Блакас.

На пороге кабинета стоял министр полиции, бледный, трепещущий; взгляд его блуждал, словно сознание покидало его. Вильфор хотел удалиться, но де Блакас удержал его за руку.

# XI. Корсиканский людоед

Людовик XVIII, увидев отчаянное лицо министра полиции, с силой оттолкнул стол, за которым сидел.

– Что с вами, барон? – воскликнул он. – Почему вы в таком смятении? Неужели из-за догадок герцога Блакаса, которые подтверждает господин де Вильфор?

Герцог тоже быстро подошел к барону, но страх придворного пересилил злорадство государственного деятеля: в самом деле, положение было таково, что несравненно лучше было самому оказаться посрамленным, чем видеть посрамленным министра полиции.

– Ваше величество... – пролепетал барон.

– Говорите! – сказал король.

Тогда министр полиции, уступая чувству отчаяния, бросился на колени перед Людовиком XVIII, который отступил назад и нахмурил брови.

– Заговорите вы или нет? – спросил он.

– Ах, ваше величество! Какое несчастье! Что мне делать? Я безутешен!

– Милостивый государь, – сказал Людовик XVIII, – я вам приказываю говорить.

– Ваше величество, узурпатор покинул остров Эльба двадцать восьмого февраля и пристал к берегу первого марта.

– Где? – быстро спросил король.

– Во Франции, ваше величество, в маленькой гавани близ Антиба, в заливе Жуан.

– Первого марта узурпатор высадился во Франции близ Антиба, в заливе Жуан, в двухстах пятидесяти лье от Парижа, а вы узнали об этом только нынче, третьего марта!.. Нет, милостивый государь, этого не может быть; либо вас обманули, либо вы сошли с ума.

– Увы, ваше величество, это совершенная правда!

Людовик XVIII задрожал от гнева и страха и порывисто вскочил, словно неожиданный удар поразил его вдруг в самое сердце.

– Во Франции! – закричал он. – Узурпатор во Франции! Стало быть, за этим человеком не следили? Или, почем знать, были с ним заодно?

– Сир, – воскликнул герцог Блакас, – такого человека, как барон Дандре, нельзя обвинять в измене! Ваше величество, все мы были слепы, и министр полиции поддался общему ослеплению, вот и все!

– Однако… – начал Вильфор, но вдруг осекся, – простите великодушно, ваше величество, – сказал он с поклоном. – Мое усердие увлекло меня; прошу ваше величество простить меня.

– Говорите, сударь, говорите смело, – сказал король. – Вы один предуведомили нас о несчастье; помогите нам найти средство отразить его.

– Ваше величество, узурпатора на юге ненавидят; полагаю, что если он решится идти через юг, то легко будет поднять против него Прованс и Лангедок.

– Верно, – сказал министр, – но он идет через Гап и Систерон.

– Идет! – прервал король. – Стало быть, он идет на Париж?

Министр полиции не ответил ничего, что было равносильно признанию.

– А Дофине? – спросил король, обращаясь к Вильфору. – Можно ли, по-вашему, и эту провинцию поднять, как Прованс?

– Мне горько говорить вашему величеству жестокую правду, но настроение в Дофине много хуже, чем в Провансе и в Лангедоке. Горцы – бонапартисты, ваше величество.

– Он был хорошо осведомлен, – прошептал король. – А сколько у него войска?

– Не знаю, ваше величество, – отвечал министр полиции.

– Как не знаете? Вы забыли справиться об этом? Правда, это не столь важно, – прибавил король с убийственной улыбкой.

– Ваше величество, я не мог об этом справиться; депеша сообщает только о высадке узурпатора и о пути, по которому он идет.

– А как вы получили депешу? – спросил король.

Министр опустил голову и покраснел, как рак.

– По телеграфу, ваше величество.

Людовик XVIII сделал шаг вперед и скрестил руки на груди, как Наполеон.

– Итак, – сказал он, побледнев от гнева, – семь союзных армий ниспровергли этого человека; чудом возвратился я на престол моих предков после двадцатипятилетнего изгнания; все эти двадцать пять лет я изучал, обдумывал, узнавал людей и дела той Франции, которая была мне обещана, – и для чего? Для того чтобы в ту минуту, когда я достиг цели моих желаний, сила, которую я держал в руках, разразилась громом и разбила меня!

– Ваше величество, это рок, – пробормотал министр, чувствуя, что такое бремя, невесомое для судьбы, достаточно, чтобы раздавить человека.

– Стало быть, то, что говорили про нас наши враги, справедливо: мы ничему не научились, ничего не забыли! Если бы меня предали, как его, я мог бы еще утешиться. Но быть среди людей, которых я осыпал почестями, которые должны бы беречь меня больше, чем самих себя, ибо мое счастье – их счастье: до меня они были ничем, после меня опять будут ничем, – и погибнуть из-за их беспомощности, их глупости! Да, милостивый государь, вы правы, это – рок!

Министр, не смея поднять голову, слушал эту грозную отповедь. Блакас отирал пот с лица; Вильфор внутренне улыбался, чувствуя, что значение его возрастает.

– Пасть, – продолжал Людовик XVIII, который с первого взгляда измерил глубину пропасти, разверзшейся перед монархией, – пасть и узнать о своем падении по телеграфу! Мне было бы легче взойти на эшафот, как мой брат, Людовик XVI, чем спускаться по тюильрийской лестнице под бичом насмешек... Вы не знаете, милостивый государь, что значит во Франции стать посмешищем, а между тем вам следовало это знать.

– Ваше величество, – бормотал министр, – пощадите!..

– Подойдите, господин де Вильфор, – продолжал король, обращаясь к молодому человеку, который неподвижно стоял поодаль, следя за

разговором, который касался судьбы целого государства, – подойдите и скажите ему, что можно было знать наперед все то, чего он не знал.

– Ваше величество, физически невозможно было предугадать замыслы, которые узурпатор скрывал решительно от всех.

– Физически невозможно! Какой веский довод! К сожалению, веские доводы то же, что и люди с весом, я узнаю им цену. Министру, имеющему в своем распоряжении целое управление, департаменты, агентов, сыщиков, шпионов и секретный фонд в полтора миллиона франков, невозможно знать, что делается в шестидесяти милях от берегов Франции? Вот молодой человек, у которого не было ни одного из этих средств, и он, простой судейский чиновник, знал больше, чем вы со всей вашей полицией, и он спас бы мою корону, если бы имел право, как вы, распоряжаться телеграфом.

Взгляд министра полиции с выражением глубочайшей досады обратился на Вильфора, который склонил голову со скромностью победителя.

– Про вас я не говорю, Блакас, – продолжал король, – если вы ничего и не открыли, то по крайней мере были настолько умны, что упорствовали в своих подозрениях; другой, может быть, отнесся бы к сообщению господина де Вильфора, как к пустякам, или подумал бы, что оно внушено корыстным честолюбием.

Это был намек на те слова, которые министр полиции с такой уверенностью произнес час тому назад.

Вильфор понял игру короля. Другой, может быть, упоенный успехом, дал бы увлечь себя похвалами; но он боялся нажить смертельного врага в министре полиции, хотя и чувствовал, что тот погиб безвозвратно. Однако министр, не умевший, в полноте власти, предугадать замыслы Наполеона, мог, в судорогах своей агонии, проникнуть в тайну Вильфора: для этого ему стоило только допросить Дантеса. Поэтому, вместо того чтобы добить министра, он пришел ему на помощь.

– Ваше величество, – сказал Вильфор, – стремительность событий доказывает, что только бог, послав бурю, мог остановить их. То, что вашему величеству угодно приписывать моей проницательности, всего-

навсего дело случая; я только воспользовался этим случаем как преданный слуга. Не цените меня выше, чем я заслуживаю, сир, чтобы потом не разочароваться в вашем первом впечатлении.

Министр полиции поблагодарил Вильфора красноречивым взглядом, а Вильфор понял, что успел в своем намерении и, не утратив благодарности короля, приобрел друга, на которого в случае нужды мог надеяться.

– Пусть будет так, – сказал король. – А теперь, господа, – продолжал он, обращаясь к де Блакасу и министру полиции, – вы мне более не нужны, можете идти... То, что теперь остается делать, относится к ведению военного министра.

– К счастью, – сказал герцог, – мы можем надеяться на армию: вашему величеству известно, что все донесения свидетельствуют о ее преданности вашей короне.

– Не говорите мне о донесениях; теперь я знаю, как им можно верить. Да, кстати о донесениях, барон: какие новости об улице Сен-Жак?

– Об улице Сен-Жак! – невольно воскликнул Вильфор, но тотчас спохватился: – Простите, сир, преданность вашему величеству то и дело заставляет меня забывать не о моем уважении, оно слишком глубоко запечатлено в моем сердце, но о правилах этикета.

– Прошу вас, – отвечал король, – сегодня вы приобрели право спрашивать.

– Сир, – начал министр полиции, – я как раз хотел доложить сегодня вашему величеству о новых сведениях, собранных по этому делу, но внимание вашего величества было отвлечено грозным событием в заливе Жуан; теперь эти сведения уже не могут представлять для вашего величества никакого интереса.

– Напротив, – отвечал король, – это дело имеет, мне кажется, прямую связь с тем, которое теперь занимает нас, и смерть генерала Кенеля, может быть, наведет нас на след большого внутреннего заговора.

Услышав имя Кенеля, Вильфор вздрогнул.

– Действительно, ваше величество, – продолжал министр полиции, – судя по всему, это не самоубийство, как полагали сначала, а убийство.

Генерал Кенель, по-видимому, исчез по выходе из бонапартистского клуба. Какой-то неизвестный приходил к нему в то утро и назначил ему свидание на улице Сен-Жак. К сожалению, камердинер, который причесывал генерала, когда незнакомца ввели в кабинет, и слышал, как он назначил свидание на улице Сен-Жак, не запомнил номера дома.

Пока министр полиции сообщал королю эти сведения, Вильфор, ловивший каждое слово, то краснел, то бледнел.

Король повернулся к нему:

– Не думаете ли вы, господин де Вильфор, что генерал Кенель, которого почитали приверженцем узурпатора, между тем как на самом деле он был всецело предан мне, мог погибнуть от руки бонапартистов?

– Это возможно, ваше величество; но неужели больше ничего не известно?

– Уже напали на след человека, назначившего свидание.

– Напали на след? – повторил Вильфор.

– Да, камердинер сообщил его приметы: это человек лет пятидесяти или пятидесяти двух, черноволосый, глаза черные, брови густые, с усами, носит синий сюртук, застегнутый доверху; в петлице – ленточка Почетного легиона. Вчера выследили человека, который в точности отвечает приметам, но он скрылся на углу улиц ла-Жюсьен и Кок-Эрон.

Вильфор с первых слов министра оперся на спинку кресла, ноги у него подкашивались, но когда он услышал, что незнакомец ушел от полиции, он облегченно вздохнул.

– Найдите этого человека, – сказал король министру полиции, – потому что, если генерал Кенель, который был бы нам сейчас так нужен, пал от руки убийц, будь то бонапартисты или кто иной, я хочу, чтобы его убийцы были жестоко наказаны.

Вильфору понадобилось все его хладнокровие, чтобы не выдать ужаса, в который повергли его последние слова короля.

– Странное дело! – продолжал король с досадой. – Полиция считает, что все сказано, когда она говорит: совершено убийство, и что все сделано, когда она прибавляет: напали на след виновных.

– В этом случае, я надеюсь, ваше величество останетесь довольны.

– Хорошо, увидим; не задерживаю вас, барон. Господин де Вильфор, вы устали после долгого пути, ступайте отдохните. Вы, верно, остановились у вашего отца?

У Вильфора потемнело в глазах.

– Нет, ваше величество, я остановился на улице Турнон, в гостинице «Мадрид».

– Но вы его видели?

– Ваше величество, я прямо поехал к герцогу Блакасу.

– Но вы его увидите?

– Не думаю, ваше величество!

– Да, правда, – сказал король, и по его улыбке видно было, что все эти вопросы заданы не без умысла. – Я забыл, что вы не в дружбе с господином Нуартье и что это также жертва, принесенная моему трону, за которую я должен вас вознаградить.

– Милость ко мне вашего величества – награда, настолько превышающая все мои желания, что мне нечего больше просить у короля.

– Все равно, мы вас не забудем, будьте спокойны; а пока, – король снял с груди крест Почетного легиона, который всегда носил на своем синем фраке, возле креста св. Людовика, над звездой Кармильской богоматери и св. Лазаря, и подал Вильфору, – пока возьмите этот крест.

– Ваше величество ошибаетесь, – сказал Вильфор, – этот крест офицерский.

– Не важно, возьмите его; у меня нет времени потребовать другой. Блакас, позаботьтесь о том, чтобы господину де Вильфору была выдана грамота.

На глазах Вильфора блеснули слезы горделивой радости; он принял крест и поцеловал его.

– Какие еще приказания угодно вашему величеству дать мне? – спросил Вильфор.

– Отдохните, а потом не забывайте, что если в Париже вы не в силах служить мне, то в Марселе вы можете оказать мне большие услуги.

– Ваше величество, – отвечал Вильфор, кланяясь, – через час я покину Париж.

– Ступайте, – сказал король, – и если бы я вас забыл (у королей короткая память), то не бойтесь напомнить о себе... Барон, прикажите позвать ко мне военного министра. Блакас, останьтесь.

– Да, сударь, – сказал министр полиции Вильфору, выходя из Тюильри. – Вы не ошиблись дверью, и карьера ваша обеспечена.

– Надолго ли? – прошептал Вильфор, раскланиваясь с министром, карьера которого была кончена, и стал искать глазами карету.

По набережной проезжал фиакр, Вильфор подозвал его, фиакр подъехал; Вильфор сказал адрес, бросился в карету и предался честолюбивым мечтам. Через десять минут он уже был у себя, велел подать лошадей через два часа и спросил завтрак.

Он уже садился за стол, когда чья-то уверенная и сильная рука дернула звонок. Слуга пошел отворять, и Вильфор услышал голос, называвший его имя.

«Кто может знать, что я в Париже?» – подумал помощник королевского прокурора. Слуга воротился.

– Что там такое? – спросил Вильфор. – Кто звонил? Кто меня спрашивает?

– Незнакомый господин и не хочет сказать своего имени.

– Как? Не хочет сказать своего имени? А что ему нужно от меня?

– Он хочет переговорить с вами.

– Со мной?

– Да.

– Он назвал меня по имени?

– Да.

– А каков он собой?

– Да человек лет пятидесяти.

– Маленький? Высокий?

– С вас ростом.

– Брюнет или блондин?

– Брюнет, темный брюнет; черные волосы, черные глаза, черные брови.

– А одет? – с живостью спросил Вильфор. – Как он одет?

– В синем сюртуке, застегнутом доверху, с лентой Почетного легиона.

– Это он! – прошептал Вильфор бледнея.

– Черт возьми! – сказал, появляясь в дверях, человек, приметы которого мы описывали уже дважды. – Сколько церемоний! Или в Марселе сыновья имеют обыкновение заставлять отцов дожидаться в передней?

– Отец! – вскричал Вильфор. – Так я не ошибся... Я так и думал, что это вы...

– А если ты думал, что это я, – продолжал гость, ставя в угол палку и кладя шляпу на стул, – то позволь тебе сказать, милый Жерар, что с твоей стороны не очень-то любезно заставлять меня дожидаться.

– Идите, Жермен, – сказал Вильфор.

Слуга удалился с выражением явного удивления.

# XII. Отец и сын

Господин Нуартье – ибо это действительно был он – следил глазами за слугою, пока дверь не закрылась за ним; потом, опасаясь, вероятно, чтобы слуга не стал подслушивать из передней, он снова приотворил дверь: предосторожность оказалась не лишней, и проворство, с которым Жермен ретировался, не оставляло сомнений, что и он не чужд пороку, погубившему наших праотцев. Тогда г-н Нуартье собственноручно затворил дверь из передней, потом запер на задвижку дверь в спальню и, наконец, подал руку Вильфору, глядевшему на него с изумлением.

– Знаешь, Жерар, – сказал он сыну с улыбкой, истинный смысл которой трудно было определить, – нельзя сказать, чтобы ты был в восторге от встречи со мной.

– Что вы, отец, я чрезвычайно рад; но я, признаться, так мало рассчитывал на ваше посещение, что оно меня несколько озадачило.

– Но, мой друг, – продолжал г-н Нуартье, садясь в кресло, – я мог бы сказать вам то же самое. Как? Вы мне пишете, что ваша помолвка назначена в Марселе на двадцать восьмое февраля, а третьего марта вы в Париже?

– Да, я здесь, – сказал Жерар, придвигаясь к г-ну Нуартье, – но вы на меня не сетуйте; я приехал сюда ради вас, и мой приезд спасет вас, быть может.

– Вот как! – отвечал г-н Нуартье, небрежно развалившись в кресле. – Расскажите же мне, господин прокурор, в чем дело; это очень любопытно.

– Вы слыхали о некоем бонапартистском клубе на улице Сен-Жак?

– В номере пятьдесят третьем? Да; я его вице-президент.

– Отец, ваше хладнокровие меня ужасает.

– Что ты хочешь, милый? Человек, который был приговорен к смерти монтаньярами, бежал из Парижа в возе сена, прятался в бордоских равнинах от ищеек Робеспьера, успел привыкнуть ко многому. Итак, продолжай. Что же случилось в этом клубе на улице Сен-Жак?

– Случилось то, что туда пригласили генерала Кенеля и что генерал Кенель, выйдя из дому в девять часов вечера, через двое суток был найден в Сене.

– И кто вам рассказал об этом занятном случае?

– Сам король.

– Ну, а я, – сказал Нуартье, – в ответ на ваш рассказ сообщу вам новость.

– Мне кажется, что я уже знаю ее.

– Так вы знаете о высадке его величества императора?

– Молчите, отец, умоляю вас; во-первых, ради вас самих, а потом и ради меня. Да, я знал эту новость, и знал даже раньше, чем вы, потому что я три дня скакал из Марселя в Париж и рвал на себе волосы, что не могу перебросить через двести лье ту мысль, которая жжет мне мозг.

– Три дня? Вы с ума сошли? Три дня тому назад император еще не высаживался.

– Да, но я уже знал о его намерении.

– Каким это образом?

– Из письма с острова Эльба, адресованного вам.

– Мне?

– Да, вам; и я его перехватил у гонца. Если бы это письмо попало в руки другого, быть может, вы были бы уже расстреляны.

Отец Вильфора рассмеялся.

– По-видимому, – сказал он, – Бурбоны научились у императора действовать без проволочек... Расстрелян! Друг мой, как вы спешите! А где это письмо? Зная вас, я уверен, что вы его тщательно припрятали.

– Я сжег его до последнего клочка, ибо это письмо – ваш смертный приговор.

– И конец вашей карьеры, – холодно отвечал Нуартье. – Да, вы правы, но мне нечего бояться, раз вы мне покровительствуете.

– Мало того: я вас спасаю.

– Вот как? Это становится интересно! Объяснитесь.

– Вернемся к клубу на улице Сен-Жак.

– Видно, этот клуб не на шутку волнует господ полицейских. Что же они так плохо ищут его? Давно бы нашли!

– Они его не нашли, но напали на след.

– Это сакраментальные слова, я знаю; когда полиция бессильна, она говорит, что напала на след, и правительство спокойно ждет, пока она не явится с виноватым видом и не доложит, что след утерян.

– Да, но найден труп; генерал Кенель мертв, а во всех странах мира это называется убийством.

– Убийством? Но нет никаких доказательств, что генерал стал жертвою убийства. В Сене каждый день находят людей, которые бросились в воду с отчаяния или утонули, потому что не умели плавать.

– Вы очень хорошо знаете, что генерал не утопился с отчаяния и что в январе месяце в Сене не купаются. Нет, нет, не обольщайтесь: эту смерть называют убийством.

– А кто ее так называет?

– Сам король.

– Король? Я думал, он философ и понимает, что в политике нет убийств. В политике, мой милый, – вам это известно, как и мне, – нет людей, а есть идеи; нет чувств, а есть интересы. В политике не убивают человека, а устраняют препятствие, только и всего. Хотите знать, как все это произошло? Я вам расскажу. Мы думали, что на генерала Кенеля можно положиться, нам рекомендовали его с острова Эльба. Один из нас отправился к нему и пригласил его на собрание на улицу Сен-Жак; он приходит, ему открывают весь план, отъезд с острова Эльба и высадку на французский берег; потом, все выслушав, все узнав, он заявляет, что он роялист; все переглядываются; с него берут клятву, он ее дает, но с такой неохотой, что поистине уж лучше бы он не искушал господа бога; и все же генералу дали спокойно уйти. Он не вернулся домой. Что ж вы хотите? Он, верно, сбился с дороги, когда вышел от нас, только и всего. Убийство! Вы меня удивляете, Вильфор; помощник королевского прокурора хочет построить обвинение на таких шатких уликах. Разве мне когда-нибудь придет в голову сказать вам, когда вы как преданный роялист отправляете на тот свет одного из наших: «Сын мой, вы

совершили убийство!» Нет, я скажу: «Отлично, милостивый государь, вы победили; очередь за нами».

– Берегитесь, отец; когда придет наша очередь, мы будем безжалостны.

– Я вас не понимаю.

– Вы рассчитываете на возвращение узурпатора?

– Не скрою.

– Вы ошибаетесь, он не сделает и десяти лье в глубь Франции; его выследят, догонят и затравят, как дикого зверя.

– Дорогой друг, император сейчас на пути в Гренобль; десятого или двенадцатого он будет в Лионе, а двадцатого или двадцать пятого в Париже.

– Население подымется...

– Чтобы приветствовать его.

– У него горсточка людей, а против него вышлют целые армии.

– Которые с кликами проводят его до столицы; поверьте мне, Жерар, вы еще ребенок; вам кажется, что вы все знаете, когда телеграф через три дня после высадки сообщает вам: «Узурпатор высадился в Каннах с горстью людей, за ним выслана погоня». Но где он? Что он делает? Вы ничего не знаете. Вы только знаете, что выслана погоня. И так за ним будут гнаться до самого Парижа без единого выстрела.

– Гренобль и Лион – роялистские города, они воздвигнут перед ним непреодолимую преграду.

– Гренобль с радостью распахнет перед ним ворота; весь Лион выйдет ему навстречу. Поверьте мне, мы осведомлены не хуже вас, и наша полиция стоит вашей. Угодно вам доказательство: вы хотели скрыть от меня свой приезд, а я узнал о нем через полчаса после того, как вы миновали заставу. Вы дали свой адрес только кучеру почтовой кареты, а мне он известен, как явствует из того, что я явился к вам в ту самую минуту, когда вы садились за стол. Поэтому позвоните и спросите еще прибор; мы пообедаем вместе.

– В самом деле, – отвечал Вильфор, глядя на отца с удивлением, – вы располагаете самыми точными сведениями.

– Да это очень просто; вы, стоящие у власти, владеете только теми средствами, которые можно купить за деньги; а мы, ожидающие власти, располагаем всеми средствами, которые дает нам в руки преданность, которые нам дарит самоотвержение.

– Преданность? – повторил Вильфор с улыбкой.

– Да, преданность; так для приличия называют честолюбие, питающее надежды на будущее.

И отец Вильфора, видя, что тот не зовет слугу, сам протянул руку к звонку.

Вильфор удержал его.

– Подождите, отец, еще одно слово.

– Говорите.

– Как наша полиция ни плоха, она знает одну страшную тайну.

– Какую?

– Приметы того человека, который приходил за генералом Кенелем в тот день, когда он исчез.

– Вот как! Она их знает? Да неужели? И какие же это приметы?

– Смуглая кожа, волосы, бакенбарды и глаза черные, синий сюртук, застегнутый доверху, ленточка Почетного легиона в петлице, широкополая шляпа и камышовая трость.

– Ага! Полиция это знает? – сказал Нуартье. – Почему же в таком случае она не задержала этого человека?

– Потому что он ускользнул от нее вчера или третьего дня на углу улицы Кок-Эрон.

– Недаром я вам говорил, что ваша полиция – дура.

– Да, но она в любую минуту может найти его.

– Разумеется, – сказал Нуартье, беспечно поглядывая кругом. – Если этот человек не будет предупрежден, но его предупредили. Поэтому, – прибавил он с улыбкой, – он изменит лицо и платье.

При этих словах он встал, снял сюртук и галстук, подошел к столу, на котором лежали вещи из дорожного несессера Вильфора, взял бритву, намылил себе щеки и твердой рукой сбрил уличающие его бакенбарды, имевшие столь важное значение для полиции.

Вильфор смотрел на него с ужасом, не лишенным восхищения.

Сбрив бакенбарды, Нуартье изменил прическу; вместо черного галстука повязал цветной, взяв его из раскрытого чемодана; снял свой синий двубортный сюртук и надел коричневый однобортный сюртук Вильфора; примерил перед зеркалом его шляпу с загнутыми полями и, видимо, остался ею доволен; свою палку он оставил в углу за камином, а вместо нее в руке его засвистала легкая бамбуковая тросточка, сообщавшая походке изящного помощника королевского прокурора ту непринужденность, которая являлась его главным достоинством.

– Ну что? – сказал он, оборачиваясь к ошеломленному Вильфору. – Как ты думаешь, опознает меня теперь полиция?

– Нет, отец, – пробормотал Вильфор, – по крайней мере надеюсь.

– А что касается этих вещей, которые я оставляю на твое попечение, то я полагаюсь на твою осмотрительность. Ты сумеешь припрятать их.

– Будьте покойны! – сказал Вильфор.

– И скажу тебе, что ты, пожалуй, прав; может быть, ты и в самом деле спас мне жизнь, но не беспокойся, мы скоро поквитаемся.

Вильфор покачал головой.

– Не веришь?

– По крайней мере надеюсь, что вы ошибаетесь.

– Ты еще увидишь короля?

– Может быть.

– Хочешь прослыть у него пророком?

– Пророков, предсказывающих несчастье, плохо принимают при дворе.

– Да, но рано или поздно им отдают должное; допустим, что будет вторичная реставрация; тогда ты прослывешь великим человеком.

– Что же я должен сказать королю?

– Скажи ему вот что: «Ваше величество, вас обманывают относительно состояния Франции, настроения городов, духа армии; тот, кого в Париже вы называете корсиканским людоедом, кого еще зовут узурпатором в Невере, именуется уже Бонапартом в Лионе и императором в Гренобле. Вы считаете, что его преследуют, гонят, что он бежит; а он летит, как

орел, которого он нам возвращает. Вы считаете, что его войско умирает с голоду, истощено походом, готово разбежаться; оно растет, как снежный ком. Ваше величество, уезжайте, оставьте Францию ее истинному владыке, тому, кто не купил ее, а завоевал; уезжайте, не потому, чтобы вам грозила опасность: ваш противник достаточно силен, чтобы проявить милость, а потому, что потомку Людовика Святого унизительно быть обязанным жизнью победителю Арколи, Маренго и Аустерлица». Скажи все это королю, Жерар, или, лучше, не говори ему ничего, скрой от всех, что ты был в Париже, не говори, зачем сюда ездил и что здесь делал: найми лошадей, и если сюда ты скакал, то обратно лети; вернись в Марсель ночью; войди в свой дом с заднего крыльца и сиди там тихо, скромно, никуда не показываясь, а главное – сиди смирно, потому что на этот раз, клянусь тебе, мы будем действовать, как люди сильные, знающие своих врагов. Уезжайте, сын мой, уезжайте, и в награду за послушание отцовскому велению, или, если вам угодно, за уважение к советам друга, мы сохраним за вами ваше место. Это позволит вам, – добавил Нуартье с улыбкой, – спасти меня в другой раз, если когда-нибудь на политических качелях вы окажетесь наверху, а я внизу. Прощайте, Жерар; в следующий приезд остановитесь у меня.

И Нуартье вышел с тем спокойствием, которое ни на минуту не покидало его во все продолжение этого нелегкого разговора.

Вильфор, бледный и встревоженный, подбежал к окну и, раздвинув занавески, увидел, как отец его невозмутимо прошел мимо двух-трех подозрительных личностей, стоявших на улице, вероятно, для того, чтобы задержать человека с черными бакенбардами, в синем сюртуке и в широкополой шляпе.

Вильфор, весь дрожа, не отходил от окна, пока отец его не исчез за углом. Потом он схватил оставленные отцом вещи, засунул на самое дно чемодана черный галстук и синий сюртук, скомкал шляпу и бросил ее в нижний ящик шкафа, изломал трость и кинул ее в камин, надел дорожный картуз, позвал слугу, взглядом пресек все вопросы, расплатился, вскочил в ожидавшую его карету, узнал в Лионе, что Бонапарт уже вступил в Гренобль, и среди возбуждения, царившего по

всей дороге, приехал в Марсель, терзаемый всеми муками, какие проникают в сердце человека вместе с честолюбием и первыми успехами.

# XIII. Сто дней

Нуартье оказался хорошим пророком, и все совершилось так, как он предсказывал. Всем известно возвращение с острова Эльба, возвращение странное, чудесное, без примера в прошлом и, вероятно, без повторения в будущем.

Людовик XVIII сделал лишь слабую попытку отразить жестокий удар; не доверяя людям, он не доверял и событиям. Только что восстановленная им королевская или, вернее, монархическая власть зашаталась в своих еще не окрепших устоях, и по первому мановению императора рухнуло все здание – нестройная смесь старых предрассудков и новых идей. Поэтому награда, которую Вильфор получил от своего короля, была не только бесполезна, но и опасна, и он никому не показал своего ордена Почетного легиона, хотя герцог Блакас, во исполнение воли короля, и озаботился выслать ему грамоту.

Наполеон непременно отставил бы Вильфора, если бы не покровительство Нуартье, ставшего всемогущим при императорском дворе в награду за мытарства, им перенесенные, и за услуги, им оказанные. Жирондист 1793-го и сенатор 1806 года сдержал свое слово и помог тому, кто подал ему помощь накануне.

Всю свою власть во время восстановления Империи, чье вторичное падение, впрочем, легко было предвидеть, Вильфор употребил на сокрытие тайны, которую чуть было не разгласил Дантес.

Королевский же прокурор был отставлен по подозрению в недостаточной преданности бонапартизму.

Едва императорская власть была восстановлена, то есть едва Наполеон поселился в Тюильрийском дворце, только что покинутом Людовиком XVIII, и стал рассылать свои многочисленные и разнообразные приказы из того самого кабинета, куда мы вслед за Вильфором ввели наших читателей и где на столе из орехового дерева император нашел еще раскрытую и почти полную табакерку Людовика XVIII, – как в Марселе вопреки усилиям местного начальства начала

разгораться междоусобная распря, всегда тлеющая на юге; дело грозило не ограничиться криками, которыми осаждали отсиживающихся дома роялистов, и публичными оскорблениями тех, кто решался выйти на улицу.

Вследствие изменившихся обстоятельств почтенный арматор, принадлежавший к плебейскому лагерю, если и не стал всемогущ, – ибо г-н Моррель был человек осторожный и несколько робкий, как все те, кто прошел медленную и трудную коммерческую карьеру, – то все же, хоть его и опережали рьяные бонапартисты, укорявшие его за умеренность, приобрел достаточный вес, чтобы возвысить голос и заявить жалобу. Жалоба эта, как легко догадаться, касалась Дантеса.

Вильфор устоял, несмотря на падение своего начальника. Свадьба его хоть и не расстроилась, но была отложена до более благоприятных времен. Если бы император удержался на престоле, то Жерару следовало бы искать другую партию, и Нуартье нашел бы ему невесту; если бы Людовик XVIII вторично возвратился, то влияние маркиза де Сен-Мерана удвоилось бы, как и влияние самого Вильфора, – и этот брак стал бы особенно подходящим.

Таким образом, помощник королевского прокурора занимал первое место в марсельском судебном мире, когда однажды утром ему доложили о приходе г-на Морреля.

Другой поспешил бы навстречу арматору и тем показал бы свою слабость; но Вильфор был человек умный и обладал если не опытом, то превосходным чутьем. Он заставил Морреля дожидаться в передней, как сделал бы при Реставрации, не потому, что был занят, а просто потому, что принято, чтобы помощник прокурора заставлял ждать в передней. Через четверть часа, просмотрев несколько газет различных направлений, он велел позвать г-на Морреля.

Моррель думал, что увидит Вильфора удрученным, а нашел его точно таким, каким он был полтора месяца тому назад, то есть спокойным, твердым и полным холодной учтивости, а она является самой неодолимой из всех преград, отделяющих человека с положением от человека простого. Он шел в кабинет Вильфора в убеждении, что тот

задрожит, увидев его, а вместо того сам смутился и задрожал при виде помощника прокурора, который ждал его, сидя за письменным столом.

Моррель остановился в дверях. Вильфор посмотрел на него, словно не узнавая. Наконец, после некоторого молчания, во время которого почтенный арматор вертел в руках шляпу, он проговорил:

– Господин Моррель, если не ошибаюсь?

– Да, сударь, это я, – отвечал арматор.

– Пожалуйста, войдите, – сказал Вильфор с покровительственным жестом, – и скажите, чему я обязан, что вы удостоили меня вашим посещением?

– Разве вы не догадываетесь? – спросил Моррель.

– Нет, нисколько не догадываюсь; но тем не менее я готов быть вам полезным, если это в моей власти.

– Это всецело в вашей власти, – сказал Моррель.

– Так объясните, в чем дело.

– Сударь, – начал Моррель, понемногу успокаиваясь, черпая твердость в справедливости своей просьбы и в ясности своего положения, – вы помните, что за несколько дней до того, как стало известно о возвращении его величества императора, я приходил к вам просить о снисхождении к одному молодому человеку, моряку, помощнику капитана на моем судне; его обвиняли, если вы помните, в сношениях с островом Эльба; подобные сношения, считавшиеся тогда преступлением, ныне дают право на награду. Тогда вы служили Людовику Восемнадцатому и не пощадили обвиняемого; это был ваш долг. Теперь вы служите Наполеону и обязаны защитить невинного; это тоже наш долг. Поэтому я пришел спросить у вас, что с ним сталось?

Вильфор сделал над собой громадное усилие.

– Как его имя? – спросил он. – Будьте добры, назовите его имя.

– Эдмон Дантес.

Надо думать, Вильфору было бы приятнее подставить лоб под пистолет противника на дуэли на расстоянии двадцати пяти шагов, чем услышать это имя, брошенное ему в лицо; однако он и глазом не моргнул.

«Никто не может обвинить меня в том, что я арестовал этого молодого человека по личным соображениям», – подумал Вильфор.

– Дантес? – повторил он. – Вы говорите Эдмон Дантес?

– Да, сударь.

Вильфор открыл огромный реестр, помещавшийся в стоявшей рядом конторке, потом пошел к другому столу, от стола перешел к полкам с папками дел и, обернувшись к арматору, спросил самым естественным голосом:

– А вы не ошибаетесь, милостивый государь?

Если бы Моррель был подогадливее или лучше осведомлен об обстоятельствах этого дела, то он нашел бы странным, что помощник прокурора удостаивает его ответом по делу, вовсе его не касающемуся; он задал бы себе вопрос: почему Вильфор не отсылает его к арестантским спискам, к начальникам тюрем, к префекту департамента? Но Моррель, тщетно искавший признаков страха, усмотрел в его поведении одну благосклонность: Вильфор рассчитал верно.

– Нет, – отвечал Моррель, – я не ошибаюсь; я знаю беднягу десять лет, а служил он у меня четыре года. Полтора месяца тому назад – помните? – я просил вас быть великодушным, как теперь прошу быть справедливым; вы еще приняли меня довольно немилостиво и отвечали с неудовольствием. В то время роялисты были неласковы к бонапартистам!

– Милостивый государь, – отвечал Вильфор, парируя удар со свойственным ему хладнокровием и проворством, – я был роялистом, когда думал, что Бурбоны не только законные наследники престола, но и избранники народа; но чудесное возвращение, которого мы были свидетелями, доказало мне, что я ошибался. Гений Наполеона победил: только любимый монарх – монарх законный.

– В добрый час, – воскликнул Моррель с грубоватой откровенностью. – Приятно слушать, когда вы так говорите, и я вижу в этом хороший знак для бедного Эдмона.

– Погодите, – сказал Вильфор, перелистывая новый реестр, – я припоминаю: моряк, так, кажется? Он еще собирался жениться на

каталанке? Да, да, теперь я вспоминаю; это было очень серьезное дело.

– Разве?

– Вы ведь знаете, что от меня его повели прямо в тюрьму при здании суда.

– Да, а потом?

– Потом я послал донесение в Париж и приложил бумаги, которые были найдены при нем. Я был обязан это сделать... Через неделю арестанта увезли.

– Увезли? – вскричал Моррель. – Но что же сделали с бедным малым?

– Не пугайтесь! Его, вероятно, отправили в Фенестрель, в Пиньероль или на острова Святой Маргариты, что называется – сослали; и в одно прекрасное утро он к вам вернется и примет командование на своем корабле.

– Пусть возвращается когда угодно: место за ним. Но как же он до сих пор не возвратился? Казалось бы, наполеоновская юстиция первым делом должна освободить тех, кого засадила в тюрьму юстиция роялистская.

– Не спешите обвинять, господин Моррель, – отвечал Вильфор, – во всяком деле требуется законность. Предписание о заключении в тюрьму было получено от высшего начальства; надо от высшего же начальства получить приказ об освобождении. Наполеон возвратился всего две недели тому назад; предписания об освобождении заключенных только еще пишут.

– Но разве нельзя, – спросил Моррель, – ускорить все эти формальности? Ведь мы победили. У меня есть друзья, есть связи; я могу добиться отмены приговора.

– Приговора не было.

– Так постановления об аресте.

– В политических делах нет арестантских списков; иногда правительство заинтересовано в том, чтобы человек исчез бесследно; списки могли бы помочь розыскам.

– Так, может статься, было при Бурбонах, но теперь...

– Так бывает во все времена, дорогой господин Моррель; правительства сменяют друг друга и похожи друг на друга; карательная машина, заведенная при Людовике Четырнадцатом, действует по сей день; нет только Бастилии. Император в соблюдении тюремного устава всегда был строже, чем даже Людовик Четырнадцатый, и количество арестантов, не внесенных в списки, неисчислимо.

Такая благосклонная откровенность обезоружила бы любую уверенность, а у Морреля не было даже подозрений.

– Но скажите, господин де Вильфор, что вы мне посоветуете сделать, чтобы ускорить возвращение бедного Дантеса?

– Могу посоветовать одно: подайте прошение министру юстиции.

– Ах, господин де Вильфор! Мы же знаем, что значат прошения: министр получает их по двести в день и не прочитывает и четырех.

– Да, – сказал Вильфор, – но он прочтет прошение, посланное мною, снабженное моей припиской и исходящее непосредственно от меня.

– И вы возьметесь препроводить ему это прошение?

– С величайшим удовольствием. Дантес раньше мог быть виновен, но теперь он не виновен; и я обязан возвратить ему свободу, так же как был обязан заключить его в тюрьму.

Вильфор предотвращал таким образом опасное для него следствие, маловероятное, но все-таки возможное, – следствие, которое погубило бы его безвозвратно.

– А как нужно писать министру?

– Садитесь сюда, господин Моррель, – сказал Вильфор, уступая ему свое место. – Я вам продиктую.

– Вы будете так добры?

– Помилуйте! Но не будем терять времени, и так уж довольно потеряно.

– Да, да! Вспомним, что бедняга ждет, страдает, может быть, отчаивается.

Вильфор вздрогнул при мысли об узнике, проклинающем его в безмолвии и мраке; но он зашел слишком далеко и отступать уже нельзя было: Дантес должен был быть раздавлен жерновами его честолюбия.

– Я готов, – сказал Моррель, сев в кресло Вильфора и взявшись за перо.

И Вильфор продиктовал прошение, в котором, несомненно, с наилучшими намерениями преувеличивал патриотизм Дантеса и услуги, оказанные им делу бонапартистов. В этом прошении Дантес представал как один из главных пособников возвращения Наполеона. Очевидно, что министр, прочитав такую бумагу, должен был тотчас же восстановить справедливость, если это еще не было сделано.

Когда прошение было написано, Вильфор прочел его вслух.

– Хорошо, – сказал он, – теперь положитесь на меня.

– А когда вы отправите его?

– Сегодня же.

– С вашей припиской?

– Лучшей припиской будет, если я удостоверю, что все сказанное в прошении совершенная правда.

Вильфор сел в кресло и сделал нужную надпись в углу бумаги.

– Что же мне дальше делать? – спросил Моррель.

– Ждать, – ответил Вильфор. – Я все беру на себя.

Такая уверенность вернула Моррелю надежду; он ушел в восторге от помощника королевского прокурора и пошел известить старика Дантеса, что тот скоро увидит своего сына.

Между тем Вильфор, вместо того чтобы послать прошение в Париж, бережно сохранил его у себя; спасительное для Дантеса в настоящую минуту, оно могло стать для него гибельным впоследствии, если бы случилось то, чего можно было уже ожидать по положению в Европе и обороту, какой принимали события, – то есть вторичная реставрация.

Итак, Дантес остался узником; забытый и затерянный во мраке своего подземелья, он не слышал громоподобного падения Людовика XVIII и еще более страшного грохота, с которым рухнула Империя.

Но Вильфор зорко следил за всем, внимательно прислушивался ко всему. Два раза, за время короткого возвращения Наполеона, которое называется Сто дней, Моррель возобновлял атаку, настаивая на освобождении Дантеса, и оба раза Вильфор успокаивал его обещаниями

и надеждами. Наконец наступило Ватерлоо. Моррель уже больше не являлся к Вильфору: он сделал для своего юного друга все, что было в человеческих силах; новые попытки, при вторичной реставрации, могли только понапрасну его скомпрометировать.

Людовик XVIII вернулся на престол. Вильфор, для которого Марсель был полон воспоминаний, терзавших его совесть, добился должности королевского прокурора в Тулузе; через две недели после переезда в этот город он женился на маркизе Рене де Сен-Меран, отец которой был теперь в особой милости при дворе.

Вот почему Дантес во время Ста дней и после Ватерлоо оставался в тюрьме, забытый если не людьми, то во всяком случае богом.

Данглар понял, какой удар он нанес Дантесу, когда узнал о возвращении Наполеона во Францию; донос его попал в цель, и, как все люди, обладающие известною одаренностью к преступлению и умеренными способностями в обыденной жизни, он назвал это странное совпадение «волею провидения».

Но когда Наполеон вступил в Париж и снова раздался его повелительный и мощный голос, Данглар испугался. С минуты на минуту он ждал, что явится Дантес, Дантес, знающий все, Дантес, угрожающий и готовый на любое мщение. Тогда он сообщил г-ну Моррелю о своем желании оставить морскую службу и просил рекомендовать его одному испанскому негоцианту, к которому и поступил конторщиком в конце марта, то есть через десять или двенадцать дней после возвращения Наполеона в Тюильри; он уехал в Мадрид, и больше о нем не слышали.

Фернан – тот ничего не понял. Дантеса не было, – это все, что ему было нужно. Что сталось с Дантесом? Он даже не старался узнать об этом. Все его усилия были направлены на то, чтобы обманывать Мерседес вымышленными причинами невозвращения ее жениха или же на обдумывание плана, как бы уехать и увезти ее; иногда он садился на вершине мыса Фаро, откуда видны и Марсель, и Каталаны, и мрачно, неподвижным взглядом хищной птицы смотрел на обе дороги, не покажется ли вдали красавец моряк, который должен принести с собой суровое мщение. Фернан твердо решил застрелить Дантеса, а потом

убить и себя, чтобы оправдать убийство. Но он обманывался; он никогда не наложил бы на себя руки, ибо все еще надеялся.

Между тем среди всех этих горестных треволнений император громовым голосом призвал под ружье последний разряд рекрутов, и все, кто мог носить оружие, выступили за пределы Франции.

Вместе со всеми отправился в поход и Фернан, покинув свою хижину и Мерседес и терзаясь мыслью, что в его отсутствие, быть может, возвратится соперник и женится на той, кого он любит.

Если бы Фернан был способен на самоубийство, он застрелился бы в минуту разлуки с Мерседес.

Его участие к Мерседес, притворное сочувствие ее горю, усердие, с которым он предупреждал малейшее ее желание, произвели действие, какое всегда производит преданность на великодушные сердца; Мерседес всегда любила Фернана как друга; эта дружба усугубилась чувством благодарности.

– Брат мой, – сказала она, привязывая ранец к плечам каталанца, – единственный друг мой, береги себя, не оставляй меня одну на этом свете, где я проливаю слезы и где у меня нет никого, кроме тебя.

Эти слова, сказанные в минуту расставания, оживили надежды Фернана. Если Дантес не вернется, быть может, наступит день, когда Мерседес станет его женой.

Мерседес осталась одна, на голой скале, которая никогда еще не казалась ей такой бесплодной, перед безграничной далью моря. Вся в слезах, как та безумная, чью печальную повесть рассказывают в этом краю, она беспрестанно бродила вокруг Каталан; иногда останавливалась под жгучим южным солнцем, неподвижная, немая, как статуя, и смотрела на Марсель; иногда сидела на берегу и слушала стенание волн, вечное, как ее горе, и спрашивала себя: не лучше ли наклониться вперед, упасть, низринуться в морскую пучину, чем выносить жестокую муку безнадежного ожидания? Не страх удержал Мерседес от самоубийства – она нашла утешение в религии, и это спасло ее.

Кадрусса тоже, как и Фернана, призвали в армию, но он был восемью годами старше каталанца и притом женат, и потому его оставили в третьем разряде, для охраны побережья.

Старик Дантес, который жил только надеждой, с падением императора потерял последние проблески ее.

Ровно через пять месяцев после разлуки с сыном, почти в тот же час, когда Эдмон был арестован, он умер на руках Мерседес.

Моррель взял на себя похороны и заплатил мелкие долги, сделанные стариком за время болезни.

Это был не только человеколюбивый, это был смелый поступок. Весь юг пылал пожаром междоусобиц, и помочь, даже на смертном одре, отцу такого опасного бонапартиста, как Дантес, было преступлением.

# XIV. Арестант помешанный и арестант неистовый

Приблизительно через год после возвращения Людовика XVIII главный инспектор тюрем производил ревизию.

Дантес в своей подземной камере слышал стук и скрип, весьма громкие наверху, но внизу различимые только для уха заключенного, привыкшего подслушивать в ночной тишине паука, прядущего свою паутину, да мерное падение водяной капли, которой нужно целый час, чтобы скопиться на потолке подземелья.

Он понял, что у живых что-то происходит; он так долго жил в могиле, что имел право считать себя мертвецом.

Инспектор посещал поочередно комнаты, камеры, казематы. Некоторые заключенные удостоились расспросов: они принадлежали к числу тех, которые, по скромности или по тупости, заслужили благосклонность начальства. Инспектор спрашивал у них, хорошо ли их кормят и нет ли у них каких-либо просьб. Все отвечали в один голос, что кормят их отвратительно и что они просят свободы. Тогда инспектор спросил, не скажут ли они еще чего-нибудь. Они покачали головой. Чего могут просить узники, кроме свободы?

Инспектор, улыбаясь, оборотился к коменданту и сказал:

– Не понимаю, кому нужны эти бесполезные ревизии? Кто видел одну тюрьму, видел сто; кто выслушал одного заключенного, выслушал тысячу; везде одно и то же: их плохо кормят и они невинны. Других у вас нет?

– Есть еще опасные или сумасшедшие, которых мы держим в подземельях.

– Что ж, – сказал инспектор с видом глубокой усталости, – исполним наш долг до конца – спустимся в подземелья.

– Позвольте, – сказал комендант, – надо взять с собой хотя бы двух солдат; иногда заключенные решаются на отчаянные поступки, хотя бы уже потому, что чувствуют отвращение к жизни и хотят, чтобы их приговорили к смерти. Вы можете стать жертвой покушения.

– Так примите меры предосторожности, – сказал инспектор.

Явились двое солдат, и все начали спускаться по такой вонючей, грязной и сырой лестнице, что уже один спуск по ней был тягостен для всех пяти чувств.

– Черт возьми! – сказал инспектор, останавливаясь. – Кто же здесь может жить?

– Чрезвычайно опасный заговорщик; нас предупредили, что это человек, способный на все.

– Он один?

– Разумеется.

– Давно он здесь?

– Около года.

– И его сразу посадили в подземелье?

– Нет, после того как он пытался убить сторожа, который носил ему пищу.

– Он хотел убить сторожа?

– Да, того самого, который нам сейчас светит. Верно, Антуан? – спросил комендант.

– Точно так, он хотел меня убить, – отвечал сторож.

– Да это сумасшедший!

– Хуже, – отвечал сторож, – это просто дьявол!

– Если хотите, можно на него пожаловаться, – сказал инспектор коменданту.

– Не стоит; он и так достаточно наказан; притом же он близок к сумасшествию, и мы знаем по опыту, что не пройдет и года, как он совсем сойдет с ума.

– Тем лучше для него, – сказал инспектор, – когда он сойдет с ума, он меньше будет страдать.

Как видите, инспектор был человеколюбив и вполне достоин своей филантропической должности.

– Вы совершенно правы, – отвечал комендант, – и ваши слова доказывают, что вы хорошо знаете заключенных. У нас здесь, тоже в подземной камере, куда ведет другая лестница, сидит старик аббат, бывший глава какой-то партии в Италии; он здесь с тысяча восемьсот

одиннадцатого года и помешался в конце тысяча восемьсот тринадцатого года; с тех пор его узнать нельзя; прежде он все плакал, а теперь смеется; прежде худел, теперь толстеет. Не угодно ли вам посмотреть его вместо этого? Сумасшествие его веселое и никак не опечалит вас.

– Я посмотрю и того и другого, – отвечал инспектор, – надо исполнять долг службы добросовестно.

Инспектор еще в первый раз осматривал тюрьмы и хотел, чтобы начальство осталось довольно им.

– Пойдем прежде к этому, – добавил он.

– Извольте, – отвечал комендант и сделал знак сторожу.

Сторож отпер дверь.

Услышав лязг тяжелых засовов и скрежет заржавелых петель, поворачивающихся на крюках, Дантес, который сидел в углу и с неизъяснимым наслаждением ловил тоненький луч света, проникавший в узкую решетчатую щель, приподнял голову.

При виде незнакомого человека, двух сторожей с факелами, двух солдат и коменданта со шляпой в руках Дантес понял, в чем дело, и видя наконец случай воззвать к высшему начальству, бросился вперед, умоляюще сложив руки.

Солдаты тотчас скрестили штыки, вообразив, что заключенный бросился к инспектору с дурным умыслом.

Инспектор невольно отступил на шаг.

Дантес понял, что его выдали за опасного человека.

Тогда он придал своему взору столько кротости, сколько может вместить сердце человеческое, и смиренной мольбой, удивившей присутствующих, попытался тронуть сердце своего высокого посетителя.

Инспектор выслушал Дантеса до конца; потом повернулся к коменданту.

– Он кончит благочестием, – сказал он вполголоса, – он уже и сейчас склоняется к кротости и умиротворению. Видите, ему знаком страх; он отступил, увидев штыки, а ведь сумасшедший ни перед чем не отступает. Я по этому вопросу сделал очень любопытные наблюдения в Шарантоне.

Потом он обратился к заключенному:

– Короче говоря, о чем вы просите?

– Я прошу сказать мне, в чем мое преступление: прошу суда, прошу следствия, прошу, наконец, чтобы меня расстреляли, если я виновен, и чтобы меня выпустили на свободу, если я невиновен.

– Хорошо ли вас кормят? – спросил инспектор.

– Да. Вероятно. Не знаю. Но это не важно. Важно, и не только для меня, несчастного узника, но и для властей, творящих правосудие, и для короля, который нами правит, чтобы невиновный не стал жертвой подлого доноса и не умирал под замком, проклиная своих палачей.

– Вы сегодня очень смиренны, – сказал комендант, – вы не всегда были таким. Вы говорили совсем иначе, когда хотели убить сторожа.

– Это правда, – сказал Дантес, – и я от души прошу прощения у этого человека, который очень добр ко мне... Но что вы хотите? Я тогда был сумасшедший, бешеный.

– А теперь нет?

– Нет, тюрьма меня сломила, уничтожила. Я здесь уже так давно!

– Так давно?.. Когда же вас арестовали? – спросил инспектор.

– Двадцать восьмого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года, в два часа пополудни.

Инспектор принялся считать.

– Сегодня у нас тридцатое июля тысяча восемьсот шестнадцатого года. Что же вы говорите? Вы сидите в тюрьме всего семнадцать месяцев.

– Только семнадцать месяцев! – повторил Дантес. – Вы не знаете, что такое семнадцать месяцев тюрьмы, – это семнадцать лет, семнадцать веков! Особенно для того, кто, как я, был так близок к счастью, готовился жениться на любимой девушке, видел перед собою почетное поприще – и лишился всего; для кого лучезарный день сменился непроглядной ночью, кто видит, что будущность его погибла, кто не знает, любит ли его та, которую он любил, не ведает, жив ли его старик отец! Семнадцать месяцев тюрьмы для того, кто привык к морскому воздуху, к вольному простору, к необозримости, к бесконечности! Семнадцать месяцев тюрьмы! Это слишком много даже за те преступления, которые язык

человеческий называет самыми гнусными именами. Так сжальтесь надо мною и испросите для меня – не снисхождения, а строгости, не милости, а суда; судей, судей прошу я; в судьях нельзя отказать обвиняемому.

– Хорошо, – сказал инспектор, – увидим.

Затем, обращаясь к коменданту, он сказал:

– В самом деле мне жаль этого беднягу. Когда вернемся наверх, вы покажете мне его дело.

– Разумеется, – отвечал комендант, – но боюсь, что вы там найдете самые неблагоприятные сведения о нем.

– Я знаю, – продолжал Дантес, – я знаю, что вы не можете освободить меня своей властью; но вы можете передать мою просьбу высшему начальству, вы можете произвести следствие, вы можете, наконец, предать меня суду. Суд! Вот все, чего я прошу; пусть мне скажут, какое я совершил преступление и к какому я присужден наказанию. Ведь неизвестность хуже всех казней в мире!

– Я наведу справки, – сказал инспектор.

– Я по голосу вашему слышу, что вы тронуты! – воскликнул Дантес. – Скажите мне, что я могу надеяться!

– Я не могу вам этого сказать, – отвечал инспектор, – я могу только обещать вам, что рассмотрю ваше дело.

– В таком случае я свободен, я спасен!

– Кто приказал арестовать вас? – спросил инспектор.

– Господин де Вильфор, – отвечал Дантес. – Снеситесь с ним.

– Господина де Вильфора уже нет в Марселе; вот уже год, как он в Тулузе.

– Тогда нечему удивляться! – прошептал Дантес. – Моего единственного покровителя здесь нет!

– Не имел ли господин де Вильфор каких-либо причин ненавидеть вас? – спросил инспектор.

– Никаких; он, напротив, был ко мне очень милостив.

– Так я могу доверять тем сведениям, которые он дал о вас или которые он мне сообщит?

– Вполне.

– Хорошо. Ждите.

Дантес упал на колени, поднял руки к небу и стал шептать молитву, в которой молил бога за этого человека, спустившегося к нему в темницу, подобно Спасителю, пришедшему вывести души из ада.

Дверь за инспектором затворилась, но надежда, которую он принес, осталась в камере Дантеса.

– Угодно вам сейчас просмотреть арестантские списки? – спросил комендант. – Или вы желаете зайти в подземелье к аббату?

– Прежде кончим осмотр, – отвечал инспектор. – Если я подымусь наверх, то у меня, быть может, не хватит духу еще раз спуститься.

– О, аббат не похож на этого, его сумасшествие веселое, не то что разум его соседа.

– А на чем он помешался?

– На очень странной мысли: он вообразил себя владельцем несметных сокровищ. В первый год он предложил правительству миллион, если его выпустят, на второй – два миллиона, на третий – три и так далее. Теперь уж он пять лет в тюрьме; он попросит позволения переговорить с вами наедине и предложит вам пять миллионов.

– Это в самом деле любопытно, – сказал инспектор. – А как зовут этого миллионера?

– Аббат Фариа.

– Номер двадцать седьмой! – сказал инспектор.

– Да, он здесь. Отоприте, Антуан.

Сторож повиновался, и инспектор с любопытством заглянул в подземелье «сумасшедшего аббата», как все называли этого заключенного. Посреди камеры, в кругу, нацарапанном куском известки, отбитой от стены, лежал человек, почти нагой, – платье его превратилось в лохмотья. Он чертил в этом кругу отчетливые геометрические линии и был так же поглощен решением задачи, как Архимед в ту минуту, когда его убил солдат Марцелла. Поэтому он даже не пошевелился при скрипе двери и очнулся только тогда, когда пламя факелов осветило необычным светом влажный пол, на котором он работал. Тут он обернулся и с

изумлением посмотрел на многочисленных гостей, спустившихся в его подземелье.

Он быстро вскочил, схватил одеяло, лежавшее в ногах его жалкой постели, и поспешно накинул его на себя, чтобы явиться в более пристойном виде перед посетителями.

– О чем вы просите? – спросил инспектор, не изменяя своей обычной формулы.

– О чем я прошу? – переспросил аббат с удивлением. – Я ни о чем не прошу.

– Вы не понимаете меня, – продолжал инспектор, – я прислан правительством для осмотра тюрем и принимаю жалобы заключенных.

– А! Это другое дело, – живо воскликнул аббат, – и я надеюсь, мы поймем друг друга.

– Вот видите, – сказал комендант, – начинается так, как я вам говорил.

– Милостивый государь, – продолжал заключенный, – я аббат Фариа, родился в Риме, двадцать лет был секретарем кардинала Роспильози; меня арестовали, сам не знаю за что, в начале тысяча восемьсот одиннадцатого года, и с тех пор я тщетно требую освобождения от итальянского и французского правительств.

– Почему от французского? – спросил комендант.

– Потому, что меня схватили в Пьомбино, и я полагаю, что Пьомбино, подобно Милану и Флоренции, стал главным городом какого-нибудь французского департамента.

Инспектор и комендант с улыбкой переглянулись.

– Ну, дорогой мой, – заметил инспектор, – ваши сведения об Италии не отличаются свежестью.

– Они относятся к тому дню, когда меня арестовали, – отвечал аббат Фариа, – а так как в то время его величество император создал Римское королевство для дарованного ему небом сына, то я полагал, что, продолжая пожинать лавры победы, он претворил мечту Макиавелли и Цезаря Борджиа, объединив всю Италию в единое и неделимое государство.

– К счастью, – возразил инспектор, – провидение несколько изменило этот грандиозный план, который, видимо, встречает ваше живое сочувствие.

– Это единственный способ превратить Италию в сильное, независимое и счастливое государство, – сказал аббат.

– Может быть, – отвечал инспектор, – но я пришел сюда не затем, чтобы рассматривать с вами курс итальянской политики, а для того, чтобы спросить у вас, что я и сделал, довольны ли вы помещением и пищей.

– Пища здесь такая же, как и во всех тюрьмах, то есть очень плохая, – отвечал аббат, – а помещение, как видите, сырое и нездоровое, но, в общем, довольно приличное для подземной тюрьмы. Дело не в этом, а в чрезвычайно важной тайне, которую я имею сообщить правительству.

– Начинается, – сказал комендант на ухо инспектору.

– Вот почему я очень рад вас видеть, – продолжал аббат, – хоть вы и помешали мне в очень важном вычислении, которое, если окажется успешным, быть может, изменит всю систему Ньютона. Могу я попросить у вас разрешения поговорить с вами наедине?

– Что я вам говорил? – шепнул комендант инспектору.

– Вы хорошо знаете своих постояльцев, – отвечал инспектор улыбаясь, затем обратился к аббату: – Я не могу исполнить вашу просьбу.

– Однако, если бы речь шла о том, чтобы доставить правительству возможность получить огромную сумму, пять миллионов, например?

– Удивительно, – сказал инспектор, обращаясь к коменданту, – вы предсказали даже сумму.

– Хорошо, – продолжал аббат, видя, что инспектор хочет уйти, – мы можем говорить и не наедине; господин комендант может присутствовать при нашей беседе.

– Дорогой мой, – перебил его комендант, – к сожалению, мы знаем наперед и наизусть все, что вы нам скажете. Речь идет о ваших сокровищах, да?

Фариа взглянул на насмешника глазами, в которых непредубежденный наблюдатель несомненно увидел бы трезвый ум и чистосердечие.

– Разумеется, – сказал аббат, – о чем же другом могу я говорить?

– Господин инспектор, – продолжал комендант, – я могу рассказать вам эту историю не хуже аббата; вот уже пять лет как я беспрестанно ее слышу.

– Это доказывает, господин комендант, – проговорил аббат, – что вы принадлежите к тем людям, о которых в Писании сказано, что они имеют глаза и не видят, имеют уши и не слышат.

– Милостивый государь, – сказал инспектор, – государство богато и, слава богу, не нуждается в ваших деньгах; приберегите их до того времени, когда вас выпустят из тюрьмы.

Глаза аббата расширились; он схватил инспектора за руку.

– А если я не выйду из тюрьмы, – сказал он, – если меня вопреки справедливости оставят в этом подземелье, если я здесь умру, не завещав никому моей тайны, – значит, эти сокровища пропадут даром? Не лучше ли, чтобы ими воспользовалось правительство и я вместе с ним? Я согласен на шесть миллионов; да, я уступлю шесть миллионов и удовольствуюсь остальным, если меня выпустят на свободу.

– Честное слово, – сказал инспектор вполголоса, – если не знать, что это сумасшедший, можно подумать, что все это правда: с таким убеждением он говорит.

– Я не сумасшедший и говорю сущую правду, – отвечал Фариа, который, по тонкости слуха, свойственной узникам, слышал все, что сказал инспектор. – Клад, о котором я говорю, действительно существует, и я предлагаю вам заключить со мной договор, в силу которого вы поведете меня на место, назначенное мною, при нас произведут раскопки, и если я солгал, если ничего не найдут, если я сумасшедший, как вы говорите, тогда отведите меня опять сюда, в это подземелье, и я останусь здесь навсегда и здесь умру, не утруждая ни вас, ни кого бы то ни было моими просьбами.

Комендант засмеялся.

– А далеко отсюда ваш клад? – спросил он.

– Милях в ста отсюда, – сказал Фариа.

– Недурно придумано, – сказал комендант. – Если бы все заключенные вздумали занимать тюремщиков прогулкою за сто миль и если бы тюремщики на это согласились, то для заключенных не было бы ничего легче, как бежать при первом удобном случае. А во время такой долгой прогулки случай, наверное, представился бы.

– Это способ известный, – сказал инспектор, – и господин аббат не может даже похвалиться, что он его изобрел.

Затем, обращаясь к аббату, он сказал:

– Я спрашивал вас, хорошо ли вас кормят?

– Милостивый государь, – отвечал Фариа, – поклянитесь Иисусом Христом, что вы меня освободите, если я сказал вам правду, и я укажу вам место, где зарыт клад.

– Хорошо ли вас кормят? – повторил инспектор.

– При таком условии вы ничем не рискуете: и вы видите, что я не ищу случая бежать; я останусь в тюрьме, пока будут отыскивать клад.

– Вы не отвечаете на мой вопрос, – прервал инспектор с нетерпением.

– А вы на мою просьбу! – воскликнул аббат. – Будьте же прокляты, как и все те безумцы, которые не хотели мне верить! Вы не хотите моего золота – оно останется при мне; не хотите дать свободу – господь пошлет мне ее. Идите, мне больше нечего вам сказать.

И аббат, сбросив с плеч одеяло, поднял кусок известки, сел опять в круг и принялся за свои чертежи и вычисления.

– Что это он делает? – спросил инспектор, уходя.

– Считает свои сокровища, – отвечал комендант.

Фариа отвечал на эту насмешку взглядом, исполненным высшего презрения.

Они вышли. Сторож запер за ними дверь.

– Может быть, у него в самом деле были какие-нибудь сокровища, – сказал инспектор, поднимаясь по лестнице.

– Или он видел их во сне, – подхватил комендант, – и наутро проснулся сумасшедшим.

– Правда, – сказал инспектор с простодушием взяточника, – если бы он действительно был богат, то не попал бы в тюрьму.

Этим кончилось дело для аббата Фариа. Он остался в тюрьме, и после этого посещения слава о его забавном сумасшествии еще более упрочилась.

Калигула или Нерон, великие искатели кладов, мечтавшие о несбыточном, прислушались бы к словам этого несчастного человека и даровали бы ему воздух, о котором он просил, простор, которым он так дорожил, и свободу, за которую он предлагал столь высокую плату. Но владыки наших дней, ограниченные пределами вероятного, утратили волю к дерзаниям, они боятся уха, которое выслушивает их приказания, глаза, который следит за их действиями; они уже не чувствуют превосходства своей божественной природы, они – коронованные люди, и только. Некогда они считали или по крайней мере называли себя сынами Юпитера и кое в чем походили на своего бессмертного отца; не так легко проверить, что творится за облаками; ныне земные владыки досягаемы. Но так как деспотическое правительство всегда остерегается показывать при свете дня последствия тюрьмы и пыток, так как редки примеры, чтобы жертва любой инквизиции могла явить миру свои переломанные кости и кровоточащие раны, то и безумие, эта язва, порожденная в тюремной клоаке душевными муками, всегда заботливо прячется там, где оно возникло, а если оно и выходит оттуда, то его хоронят в какой-нибудь мрачной больнице, где врачи тщетно ищут человеческий облик и человеческую мысль в тех изуродованных останках, которые передают им тюремщики.

Аббат Фариа, потеряв рассудок в тюрьме, самым своим безумием был приговорен к пожизненному заключению.

Что же касается Дантеса, то инспектор сдержал данное ему слово. Возвратясь в кабинет коменданта, он потребовал арестантские списки. Заметка о Дантесе была следующего содержания:

## *Эдмон Дантес*

*Отъявленный бонапартист; принимал деятельное участие в возвращении узурпатора с острова Эльба.*

*Соблюдать строжайшую тайну, держать под неослабным надзором.*

Заметка была написана не тем почерком и не теми чернилами, что остальной список; это доказывало, что ее прибавили после заключения Дантеса в тюрьму.

Обвинение было так категорично, что нельзя было спорить против него; поэтому инспектор приписал:

*«Ничего нельзя сделать».*

Посещение инспектора оживило Дантеса. С минуты заключения в тюрьму он забыл счет дням, но инспектор сказал ему число и месяц, и Дантес не забыл его. Куском известки, упавшим с потолка, он написал на стене: 30 июля 1816, и с тех пор каждый день делал отметку, чтобы не потерять счет времени.

Проходили дни, недели, месяцы. Дантес все ждал; сначала он назначил себе двухнедельный срок. Если бы даже инспектор проявил к его делу лишь половину того участия, которое он, по-видимому, выказал, то и в таком случае двух недель было достаточно. Когда эти две недели прошли, Дантес сказал себе, что нелепо было думать, будто инспектор займется его судьбой раньше, чем возвратится в Париж; а возвратится он в Париж только по окончании порученной ему ревизии, а ревизия эта может продлиться месяц или два. Поэтому он назначил новый срок – три месяца вместо двух недель. Когда эти три месяца истекли, ему пришли на помощь новые соображения, и он дал себе полгода сроку; а по прошествии этого полугода оказалось, если подсчитать дни, что он ждал уже девять с половиной месяцев.

За эти месяцы не произошло никакой перемены в его положении; он не получил ни одной утешительной вести; тюремщик по-прежнему был нем. Дантес перестал доверять своим чувствам, начал думать, что принял игру воображения за свидетельство памяти и что ангел-утешитель, явившийся в его тюрьму, слетел к нему на крыльях сновидения.

Через год коменданта сменили; ему поручили форт Гам; он увез с собой кое-кого из подчиненных и в числе их тюремщика Дантеса.

Приехал новый комендант; ему показалось скучно запоминать арестантов по именам; он велел представить себе только их номера. Эта страшная гостиница состояла из пятидесяти комнат; постояльцев начали обозначать номерами, и несчастный юноша лишился имени Эдмон и фамилии Дантес – он стал номером тридцать четвертым.

# XV. Номер 34 и номер 27

Дантес прошел через все муки, какие только переживают узники, забытые в тюрьме.

Он начал с гордости, которую порождают надежда и сознание своей невиновности; потом он стал сомневаться в своей невиновности, что до известной степени подтверждало теорию коменданта о сумасшествии; наконец, он упал с высоты своей гордыни, он стал умолять – еще не бога, но людей; бог – последнее прибежище. Человек в горе должен бы прежде всего обращаться к богу, но он делает это, только утратив все иные надежды.

Дантес просил, чтобы его перевели в другое подземелье, пусть еще более темное и сырое. Перемена, даже к худшему, все-таки была бы переменой и на несколько дней развлекла бы его. Он просил, чтобы ему разрешили прогулку, он просил воздуха, книг, инструментов. Ему не дали ничего, но он продолжал просить. Он приучился говорить со своим тюремщиком, хотя новый был, если это возможно, еще немее старого; но поговорить с человеком, даже с немым, было все же отрадой. Дантес говорил, чтобы слышать собственный голос; он пробовал говорить в одиночестве, но тогда ему становилось страшно.

Часто в дни свободы воображение Дантеса рисовало ему страшные тюремные камеры, где бродяги, разбойники и убийцы в гнусном веселье празднуют страшную дружбу и справляют дикие оргии. Теперь он был бы рад попасть в один из таких вертепов, чтобы видеть хоть чьи-нибудь лица, кроме бесстрастного, безмолвного лица тюремщика, он жалел, что он не каторжник в позорном платье, с цепью на ногах и клеймом на плече. Каторжники – те хоть живут в обществе себе подобных, дышат воздухом, видят небо, – каторжники счастливцы.

Он стал молить тюремщика, чтобы ему дали товарища, кто бы он ни был, хотя бы того сумасшедшего аббата, о котором он слышал. Под внешней суровостью тюремщика, даже самой грубой, всегда скрывается остаток человечности. Тюремщик Дантеса, хоть и не показывал вида,

часто в душе жалел бедного юношу, так тяжело переносившего свое заточение; он передал коменданту просьбу номера 34; но комендант с осторожностью, достойной политического деятеля, вообразив, что Дантес хочет возмутить заключенных или заручиться товарищем для побега, отказал.

Дантес истощил все человеческие средства. Поэтому он обратился к богу.

Тогда все благочестивые мысли, которыми живут несчастные, придавленные судьбою, оживили его душу; он вспомнил молитвы, которым его учила мать, и нашел в них смысл, дотоле ему неведомый; ибо для счастливых молитва остается однообразным и пустым набором слов, пока горе не вложит глубочайший смысл в проникновенные слова, которыми несчастные говорят с богом. Он молился не с усердием, а с неистовством. Молясь вслух, он уже не пугался своего голоса; он впадал в какое-то исступление при каждом слове, им произносимом, он видел бога; все события своей смиренной и загубленной жизни он приписывал воле могущественного бога, извлекал из них уроки, налагал на себя обеты и все молитвы заканчивал корыстными словами, с которыми человек гораздо чаще обращается к людям, чем к богу: и отпусти нам долги наши, как и мы отпускаем должникам нашим.

Несмотря на жаркие молитвы, Дантес остался в тюрьме.

Тогда дух его омрачился, и словно туман застлал ему глаза. Дантес был человек простой, необразованный; наука не приподняла для него завесу, которая скрывает прошлое. Он не мог в уединении тюрьмы и в пустыне мысли воссоздать былые века, воскресить отжившие народы, возродить древние города, которые воображение наделяет величием и поэзией и которые проходят перед внутренним взором, озаренные небесным огнем, как вавилонские картины Мартина.[11] У Дантеса было только короткое прошлое, мрачное настоящее и неведомое будущее; девятнадцать светлых лет, о которых ему предстояло размышлять в бескрайней, быть может, ночи! Поэтому он ничем не мог развлечься – его предприимчивый ум, который с такой радостью устремил бы свой полет сквозь века, был заключен в тесные пределы, как орел в клетку. И

тогда он хватался за одну мысль, за мысль о своем счастье, разрушенном без причины, по роковому стечению обстоятельств; над этой мыслью он бился, выворачивал ее на все лады и, если можно так выразиться, впивался в нее зубами, как в дантовском аду безжалостный Уголино грызет череп архиепископа Руджиери. Дантес имел лишь мимолетную веру, основанную на мысли о всемогуществе; он скоро потерял ее, как другие теряют ее, дождавшись успеха. Но только он успеха не дождался.

Благочестие сменилось исступлением. Он изрыгал богохульства, от которых тюремщик пятился в ужасе; он колотился головой о тюремные стены от малейшего беспокойства, причиненного ему какой-нибудь пылинкой, соломинкой, струей воздуха. Донос, который он видел, который Вильфор ему показывал, который он держал в своих руках, беспрестанно вспоминался ему; каждая строка пылала огненными буквами на стене, как «Мене, Текел, Фарес»[12] Валтасара. Он говорил себе, что ненависть людей, а не божия кара ввергла его в пропасть; он предавал этих неизвестных ему людей всем казням, какие только могло изобрести его пламенное воображение, и находил их слишком милостивыми и, главное, недостаточно продолжительными: ибо после казни наступает смерть, а в смерти – если не покой, то по крайней мере бесчувствие, похожее на покой.

Беспрерывно, при мысли о своих врагах, повторяя себе, что смерть – это покой и что для жестокой кары должно казнить не смертью, он впал в угрюмое оцепенение, приходящее с мыслями о самоубийстве. Горе тому, кто на скорбном пути задержится на этих мрачных мыслях! Это – мертвое море, похожее на лазурь прозрачных вод, но в нем пловец чувствует, как ноги его вязнут в смолистой тине, которая притягивает его, засасывает и хоронит. Если небо не подаст ему помощи, все кончено, и каждое усилие к спасению только еще глубже погружает его в смерть.

И все же эта нравственная агония не так страшна, как муки, ей предшествующие, и как наказание, которое, быть может, последует за нею; в ней есть опьяняющее утешение, она показывает зияющую пропасть, но на дне пропасти – небытие. Эдмон нашел утешение в этой мысли; все его горести, все его страдания, вся вереница призраков,

которую они влачили за собой, казалось, отлетели из того угла тюрьмы, куда ангел смерти готовился ступить своей легкой стопой. Дантес взглянул на свою прошлую жизнь спокойно, на будущую – с ужасом и выбрал то, что казалось ему прибежищем.

– Во время дальних плаваний, – говорил он себе, – когда я еще был человеком и когда этот человек, свободный и могущественный, отдавал другим людям приказания, которые тотчас же исполнялись, мне случалось видеть, как небо заволакивается тучами, волны вздымаются и бушуют, на краю неба возникает буря и, словно исполинский орел, машет крыльями над горизонтом, тогда я чувствовал, что мой корабль – утлое пристанище, ибо он трепетал и колыхался, словно перышко на ладони великана; под грозный грохот валов я смотрел на острые скалы, предвещавшие мне смерть, и смерть страшила меня, и я всеми силами старался отразить ее, и, собрав всю мощь человека и все умение моряка, я вступал в единоборство с богом!.. Но тогда я был счастлив; тогда возвратиться к жизни значило возвратиться к счастью; та смерть была неведомой смертью, и я не выбирал ее; я не хотел уснуть навеки на ложе водорослей и камней и с негодованием думал о том, что я, сотворенный по образу и подобию божию, послужу пищей ястребам и чайкам. Иное дело теперь: я лишился всего, что привязывало меня к жизни; теперь смерть улыбается мне, как кормилица, убаюкивающая младенца; теперь я умираю добровольно, засыпаю усталый и разбитый, как засыпал после приступов отчаяния и бешенства, когда делал по три тысячи кругов в этом подземелье – тридцать тысяч шагов, около десяти лье!

Когда эта мысль запала в душу Дантеса, он стал кротче, веселее; легче мирился с жесткой постелью и черным хлебом; ел мало, не спал вовсе и находил сносной эту жизнь, которую в любую минуту мог с себя сбросить, как сбрасывают изношенное платье.

Было два способа умереть; один был весьма прост: привязать носовой платок к решетке окна и повеситься; другой состоял в том, чтобы только делать вид, что ешь, и умереть с голоду. К первому способу Дантес чувствовал отвращение; он был воспитан в ненависти к пиратам, которых вешают на мачте; поэтому петля казалась ему позорной казнью,

и он отверг ее. Он решился на второе средство и в тот же день начал приводить его в исполнение.

Пока Дантес проходил через все эти мытарства, протекло около четырех лет. К концу второго года Дантес перестал делать отметки на стене и опять, как до посещения инспектора, потерял счет дням.

Он сказал себе: «Я хочу умереть», – и сам избрал род смерти, тогда он тщательно все обдумал и, чтобы не отказаться от своего намерения, дал себе клятву умереть с голоду. «Когда мне будут приносить обед или ужин, – решил он, – я стану бросать пищу за окно; будут думать, что я все съел».

Так он и делал. Два раза в день в решетчатое отверстие, через которое он видел только клочок неба, он выбрасывал приносимую ему пищу, сначала весело, потом с раздумьем, наконец с сожалением; только воспоминание о клятве давало ему силу для страшного замысла. Эту самую пищу, которая прежде внушала ему отвращение, острозубый голод рисовал ему заманчивой на вид и восхитительно пахнущей; иногда он битый час держал в руках тарелку и жадными глазами смотрел на гнилую говядину или на вонючую рыбу и кусок черного заплесневелого хлеба. И последние проблески жизни инстинктивно сопротивлялись в нем и иногда брали верх над его решимостью. Тогда тюрьма казалась ему не столь уже мрачной, судьба его – не столь отчаянной; он еще молод, ему, вероятно, не больше двадцати пяти, двадцати шести лет, ему осталось еще жить лет пятьдесят, а значит, вдвое больше того, что он прожил. За этот бесконечный срок любые события могли сорвать тюремные двери, проломить стены замка Иф и возвратить ему свободу. Тогда он подносил ко рту пищу, в которой, добровольный Тантал, он себе отказывал; но тотчас вспоминал данную клятву и, боясь пасть в собственных глазах, собирал все свое мужество и крепился. Непреклонно и безжалостно гасил он в себе искры жизни, и настал день, когда у него не хватило сил встать и бросить ужин в окно.

На другой день он ничего не видел, едва слышал. Тюремщик решил, что он тяжело болен; Эдмон надеялся на скорую смерть.

Так прошел день. Эдмон чувствовал, что им овладевает какое-то смутное оцепенение, впрочем, довольно приятное. Резь в желудке почти прошла; жажда перестала мучить; когда он закрывал глаза, перед ним кружился рой блестящих точек, похожих на огоньки, блуждающие по ночам над болотами, – это была заря той неведомой страны, которую называют смертью.

Вдруг вечером, часу в девятом, он услышал глухой шум за стеной, у которой стояла его койка.

Столько омерзительных тварей возилось в этой тюрьме, что мало-помалу Эдмон привык спать, не смущаясь такими пустяками; но на этот раз, потому ли, что его чувства были обострены голодом, или потому, что шум был громче обычного, или, наконец, потому, что в последние мгновения жизни все приобретает значимость, Эдмон поднял голову и прислушался.

То было равномерное поскребывание по камню, производимое либо огромным когтем, либо могучим зубом, либо каким-нибудь орудием.

Мысль, никогда не покидающая заключенных, – свобода! – мгновенно пронзила затуманенный мозг Дантеса.

Этот звук донесся до него в ту самую минуту, когда все звуки должны были навсегда умолкнуть для него, и он невольно подумал, что бог наконец сжалился над его страданиями и посылает ему этот шум, чтобы остановить его у края могилы, в которой он уже стоял одной ногой. Как знать, может быть, кто-нибудь из его друзей, кто-нибудь из тех дорогих его сердцу, о которых он думал до изнеможения, сейчас печется о нем и пытается уменьшить разделяющее их расстояние?

Не может быть, вероятно, ему просто почудилось, и это только сон, реющий на пороге смерти.

Но Эдмон все же продолжал прислушиваться. Поскребывание длилось часа три. Потом Эдмон услышал, как что-то посыпалось, после чего все стихло.

Через несколько часов звук послышался громче и ближе. Эдмон мысленно принимал участие в этой работе и уже не чувствовал себя столь одиноким; и вдруг вошел тюремщик.

Прошла неделя с тех пор, как Дантес решил умереть, уже четыре дня он ничего не ел; за это время он ни разу не заговаривал с тюремщиком, не отвечал, когда тот спрашивал, чем он болен, и отворачивался к стене, когда тот смотрел на него слишком пристально. Но теперь все изменилось: тюремщик мог услышать глухой шум, насторожиться, прекратить его и разрушить последний проблеск смутной надежды, одна мысль о которой оживила умирающего Дантеса.

Тюремщик принес завтрак.

Дантес приподнялся на постели и, возвысив голос, начал говорить о чем попало – о дурной пище, о сырости; он роптал и бранился, чтобы иметь предлог кричать во все горло, к великой досаде тюремщика, который только что выпросил для больного тарелку бульона и свежий хлеб. К счастью, он решил, что Дантес бредит, поставил, как всегда, завтрак на хромоногий стол и вышел. Эдмон вздохнул свободно и с радостью принялся слушать.

Шум стал настолько отчетлив, что он уже слышал его, не напрягая слуха.

– Нет сомнения, – сказал он себе, – раз этот шум продолжается и днем, то это, верно, какой-нибудь несчастный заключенный вроде меня трудится ради своего освобождения. Если бы я был подле него, как бы я помогал ему!

Потом внезапная догадка черной тучей затмила зарю надежды; ум, привыкший к несчастью, лишь с трудом давал веру человеческой радости. Он почти не сомневался, что это стучат рабочие, присланные комендантом для какой-нибудь починки в соседней камере.

Удостовериться в этом было не трудно, но как решиться задать вопрос? Конечно, проще всего было бы подождать тюремщика, указать ему на шум и посмотреть, с каким выражением он будет его слушать; но не значило ли это ради мимолетного удовлетворения рисковать, быть может, спасением?.. Голова Эдмона шла кругом; он так ослабел, что мысли его растекались, точно туман, и он не мог сосредоточить их на одном предмете. Эдмон видел только одно средство возвратить ясность своему уму: он обратил глаза на еще не остывший завтрак, оставленный

тюремщиком на столе, встал, шатаясь, добрался до него, взял чашку, поднес к губам и выпил бульон с чувством неизъяснимого блаженства.

У него хватило твердости удовольствоваться этим; он слышал, что, когда моряки, подобранные в море после кораблекрушения, с жадностью набрасывались на пищу, они умирали от этого. Эдмон положил на стол хлеб, который поднес было ко рту, и снова лег. Он уже не хотел умирать.

Вскоре он почувствовал, что ум его проясняется, мысли его, смутные, почти безотчетные, снова начали выстраиваться в положенном порядке на той волшебной шахматной доске, где одно лишнее поле, быть может, предопределяет превосходство человека над животными. Он мог уже мыслить и подкреплять свою мысль логикой.

Итак, он сказал себе:

– Надо попытаться узнать, никого не выдав. Если тот, кто там скребется, просто рабочий, то мне стоит только постучать в стену, и он тотчас же прекратит работу и начнет гадать, кто стучит и зачем. Но так как работа его не только дозволенная, но и предписанная, то он опять примется за нее. Если же, напротив, это заключенный, то мой стук испугает его; он побоится, что его поймают за работой, бросит долбить и примется за дело не раньше вечера, когда, по его мнению, все лягут спать.

Эдмон тотчас же встал с койки. Ноги уже не подкашивались, в глазах не рябило. Он пошел в угол камеры, вынул из стены камень, подточенный сыростью, и ударил им в стену, по тому самому месту, где стук слышался всего отчетливее.

При первом же ударе стук прекратился, словно по волшебству.

Эдмон весь превратился в слух. Прошел час, прошло два часа – ни звука. Удар Эдмона породил за стеной мертвое молчание.

Окрыленный надеждой, Эдмон поел немного хлеба, выпил глоток воды и благодаря могучему здоровью, которым наградила его природа, почти восстановил силы.

День прошел, молчание не прерывалось.

Пришла ночь, но стук не возобновлялся.

«Это заключенный», – подумал Эдмон с невыразимой радостью. Он уже не чувствовал апатии; жизнь пробудилась в нем с новой силой – она стала деятельной.

Ночь прошла в полной тишине.

Всю эту ночь Эдмон не смыкал глаз.

Настало утро; тюремщик принес завтрак. Дантес уже съел остатки вчерашнего обеда и с жадностью принялся за еду. Он напряженно прислушивался, не возобновится ли стук, трепетал при мысли, что, быть может, он прекратился навсегда, делал по десять, по двенадцать лье в своей темнице, по целым часам тряс железную решетку окна, старался давно забытыми упражнениями возвратить упругость и силу своим мышцам, чтобы быть во всеоружии для смертельной схватки с судьбой; так борец, выходя на арену, натирает тело маслом и разминает руки. Иногда он останавливался и слушал, не раздастся ли стук, досадуя на осторожность узника, который не догадывался, что его работа была прервана другим таким же узником, столь же пламенно жаждавшим освобождения.

Прошло три дня, семьдесят два смертельных часа, отсчитанных минута за минутой!

Наконец однажды вечером, после ухода тюремщика, когда Дантес в сотый раз прикладывал ухо к стене, ему показалось, будто едва приметное содрогание глухо отдается в его голове, прильнувшей к безмолвным камням.

Дантес отодвинулся, чтобы вернуть равновесие своему потрясенному мозгу, обошел несколько раз вокруг камеры и опять приложил ухо к прежнему месту.

Сомнения не было: за стеною что-то происходило; по-видимому, узник понял, что прежний способ опасен, и избрал другой; чтобы спокойнее продолжать работу, он, вероятно, заменил долото рычагом.

Ободренный своим открытием, Эдмон решил помочь неутомимому труженику. Он отодвинул свою койку, потому что именно за ней, как ему казалось, совершалось дело освобождения, и стал искать глазами, чем бы расковырять стену, отбить сырую известку и вынуть камень.

Но у него ничего не было, ни ножа, ни острого орудия; были железные прутья решетки; но он так часто убеждался в ее крепости, что не стоило и пытаться расшатать ее.

Вся обстановка его камеры состояла из кровати, стула, стола, ведра и кувшина.

У кровати были железные скобы, но они были привинчены к дереву винтами. Требовалась отвертка, чтобы удалить винты и снять скобы.

У стола и стула – ничего, у ведра прежде была ручка, но и ту сняли.

Дантесу оставалось одно: разбить кувшин и работать его остроконечными черепками.

Он бросил кувшин на пол: кувшин разлетелся вдребезги.

Дантес выбрал два-три острых черепка, спрятал их в тюфяк, а прочие оставил на полу. Разбитый кувшин – дело обыкновенное, он не мог навести на подозрения.

Эдмон мог бы работать всю ночь; но в темноте дело шло плохо; действовать приходилось ощупью и вскоре он заметил, что его жалкий инструмент тупится о твердый камень. Он опять придвинул кровать к стене и решил дождаться дня. Вместе с надеждой к нему вернулось и терпение.

Всю ночь он прислушивался к подземной работе, которая шла за стеной, не прекращаясь до самого утра.

Настало утро; когда явился тюремщик, Дантес сказал ему, что он вечером захотел напиться и кувшин выпал у него из рук и разбился. Тюремщик, ворча, пошел за новым кувшином, не подобрав даже черепков.

Вскоре он воротился, посоветовал быть поосторожнее и вышел.

С невыразимой радостью Дантес услышал лязг замка; а прежде при этом звуке у него каждый раз сжималось сердце. Едва затихли шаги тюремщика, как он бросился к кровати, отодвинул ее и при свете бледного луча солнца, проникавшего в его подземелье, увидел, что напрасно трудился полночи, – он долбил камень, тогда как следовало скрести вокруг него.

Сырость размягчила известку.

Сердце у Дантеса радостно забилось, когда он увидел, что штукатурка поддается; правда, она отваливалась кусками не больше песчинки, но все же за четверть часа Дантес отбил целую горсть. Математик мог бы сказать ему, что, работая таким образом года два, можно, если не наткнуться на скалу, прорыть ход в два квадратных фута длиною в двадцать футов.

И Дантес горько пожалел, что не употребил на эту работу минувшие бесконечные часы, которые были потрачены даром на пустые надежды, молитвы и отчаяния.

За шесть лет, что он сидел в этом подземелье, какую работу, даже самую кропотливую, не успел бы он кончить!

Эта мысль удвоила его рвение.

В три дня, работая с неимоверными предосторожностями, он сумел отбить всю штукатурку и обнажить камень. Стена была сложена из бутового камня, среди которого местами, для большей крепости, были вставлены каменные плиты. Одну такую плиту он и обнажил, и теперь ее надо было расшатать.

Дантес попробовал пустить в дело ногти, но оказалось, что это бесполезно.

Когда он вставлял в щели черепки и пытался действовать ими как рычагом, они ломались.

Напрасно промучившись целый час, Дантес в отчаянии бросил работу.

Неужели ему придется отказаться от всех попыток и ждать в бездействии, пока сосед сам закончит работу?

Вдруг ему пришла в голову новая мысль; он встал и улыбнулся, вытирая вспотевший лоб.

Каждый день тюремщик приносил ему суп в жестяной кастрюле. В этой кастрюле, по-видимому, носили суп и другому арестанту: Дантес заметил, что она бывала либо полна, либо наполовину пуста, смотря по тому, начинал тюремщик раздачу пищи с него или с его соседа.

У кастрюли была железная ручка; эта-то железная ручка и нужна была Дантесу, и он с радостью отдал бы за нее десять лет жизни.

Тюремщик, как всегда, вылил содержимое кастрюли в тарелку Дантеса. Эту тарелку, выхлебав суп деревянной ложкой, Дантес сам вымывал каждый день.

Вечером Дантес поставил тарелку на пол, на полпути от двери к столу; тюремщик, войдя в камеру, наступил на нее, и тарелка разбилась.

На этот раз Дантеса ни в чем нельзя было упрекнуть; он напрасно оставил тарелку на полу, это правда, но и тюремщик был виноват, потому что не смотрел себе под ноги.

Тюремщик только проворчал; потом поискал глазами, куда бы вылить суп, но вся посуда Дантеса состояла из одной этой тарелки.

– Оставьте кастрюлю, – сказал Дантес, – возьмете ее завтра, когда принесете мне завтрак.

Такой совет понравился тюремщику; это избавляло его от необходимости подняться наверх, спуститься и снова подняться.

Он оставил кастрюлю.

Дантес затрепетал от радости.

Он быстро съел суп и говядину, которую, по тюремному обычаю, клали прямо в суп. Потом, выждав целый час, чтобы убедиться, что тюремщик не передумал, он отодвинул кровать, взял кастрюлю, всунул конец железной ручки в щель, пробитую им в штукатурке, между плитой и соседними камнями, и начал действовать ею как рычагом. Легкое сотрясение стены показало Дантесу, что дело идет на лад.

И действительно, через час камень был вынут; в стене осталась выемка фута в полтора в диаметре.

Дантес старательно собрал куски известки, перенес их в угол, черепком кувшина наскоблил сероватой земли и прикрыл ею известку.

Потом, чтобы не потерять ни минуты этой ночи, во время которой благодаря случаю или, вернее, своей изобретательности он мог пользоваться драгоценным инструментом, он с остервенением продолжал работу.

Как только рассвело, он вложил камень обратно в отверстие, придвинул кровать к стене и лег спать.

Завтрак состоял из куска хлеба. Тюремщик вошел и положил кусок хлеба на стол.

– Вы не принесли мне другой тарелки? – спросил Дантес.

– Нет, не принес, – отвечал тюремщик, – вы все бьете; вы разбили кувшин; по вашей вине я разбил вашу тарелку; если бы все заключенные столько ломали, правительство не могло бы их содержать. Вам оставят кастрюлю и будут наливать в нее суп; может быть, тогда вы перестанете бить посуду.

Дантес поднял глаза к небу и молитвенно сложил руки под одеялом.

Этот кусок железа, который очутился в его руках, пробудил в его сердце такой порыв благодарности, какого он никогда еще не чувствовал, даже в минуты величайшего счастья.

Только одно огорчало его. Он заметил, что с тех пор как он начал работать, того, другого, не стало слышно.

Но из этого отнюдь не следовало, что он должен отказаться от своего намерения; если сосед не идет к нему, он сам придет к соседу.

Весь день он работал без передышки; к вечеру благодаря новому инструменту он извлек из стены десять с лишним горстей щебня и известки.

Когда настал час обеда, он выпрямил, как мог, искривленную ручку и поставил на место кастрюлю. Тюремщик влил в нее обычную порцию супа с говядиной или, вернее, с рыбой, потому что день был постный, а заключенных три раза в неделю заставляли поститься. Это тоже могло бы служить Дантесу календарем, если бы он давно не бросил считать дни.

Тюремщик налил суп и вышел.

На этот раз Дантес решил удостовериться, точно ли его сосед перестал работать.

Он принялся слушать.

Все было тихо, как в те три дня, когда работа была приостановлена.

Дантес вздохнул; очевидно, сосед опасался его. Однако он не пал духом и продолжал работать; но, потрудившись часа три, наткнулся на препятствие.

Железная ручка не забирала больше, а скользила по гладкой поверхности.

Дантес ощупал стену руками и понял, что уперся в балку.

Она загораживала все отверстие, сделанное им. Теперь надо было рыть выше или ниже балки. Несчастный юноша и не подумал о возможности такого препятствия.

– Боже мой, боже мой! – вскричал он. – Я так молил тебя, я надеялся, что ты услышишь мои мольбы! Боже, ты отнял у меня приволье жизни, отнял покой смерти, воззвал меня к существованию, так сжалься надо мной, боже, не дай мне умереть в отчаянии!

– Кто в таком порыве говорит о боге и об отчаянии? – произнес голос, доносившийся словно из-под земли; заглушенный толщею стен, он прозвучал в ушах узника, как зов из могилы.

Эдмон почувствовал, что у него волосы становятся дыбом; не вставая с колен, он попятился от стены.

– Я слышу человеческий голос! – прошептал он.

В продолжение четырех-пяти лет Эдмон слышал только голос тюремщика, а для узника тюремщик – не человек; это живая дверь вдобавок к дубовой двери, это живой прут вдобавок к железным прутьям.

– Ради бога, – вскричал Дантес, – говорите, говорите еще, хоть голос ваш и устрашил меня. Кто вы?

– А вы кто? – спросил голос.

– Несчастный узник, – не задумываясь, отвечал Дантес.

– Какой нации?

– Француз.

– Ваше имя?

– Эдмон Дантес.

– Ваше звание?

– Моряк.

– Как давно вы здесь?

– С двадцать восьмого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года.

– За что?

– Я невиновен.

– Но в чем вас обвиняют?

– В участии в заговоре с целью возвращения императора.

– Как! Возвращение императора? Разве император больше не на престоле?

– Он отрекся в Фонтенбло в тысяча восемьсот четырнадцатом году и был отправлен на остров Эльба. Но вы сами – как давно вы здесь, что вы этого не знаете?

– С тысяча восемьсот одиннадцатого года.

Дантес вздрогнул. Этот человек находился в тюрьме четырьмя годами дольше, чем он.

– Хорошо, бросьте рыть, – торопливо заговорил голос. – Но скажите мне только, на какой высоте отверстие, которое вы вырыли?

– Вровень с землей.

– Чем оно скрыто?

– Моей кроватью.

– Двигали вашу кровать за то время, что вы в тюрьме?

– Ни разу.

– Куда выходит ваша комната?

– В коридор.

– А коридор?

– Ведет во двор.

– Какое несчастье! – произнес голос.

– Боже мой! Что такое? – спросил Дантес.

– Я ошибся; несовершенство моего плана ввело меня в заблуждение; отсутствие циркуля меня погубило; ошибка в одну линию на плане составила пятнадцать футов в действительности; я принял вашу стену за наружную стену крепости!

– Но ведь вы дорылись бы до моря?

– Я этого и хотел.

– И если бы вам удалось...

– Я бросился бы вплавь, доплыл до одного из островов, окружающих замок Иф, до острова Дом, или до Тибулена, или до берега и был бы

спасен.

– Разве вы могли бы переплыть такое пространство?

– Господь дал бы мне силу. А теперь все погибло.

– Все?

– Все. Заделайте отверстие как можно осторожнее, не ройте больше, ничего не делайте и ждите известий от меня.

– Да кто вы?.. Скажите мне по крайней мере, кто вы?

– Я... я – номер двадцать седьмой.

– Вы мне не доверяете? – спросил Дантес.

Горький смех долетел до его ушей.

– Я добрый христианин! – вскричал он, инстинктивно почувствовав, что неведомый собеседник хочет покинуть его. – И я клянусь богом, что я скорее дам себя убить, чем открою хоть тень правды вашим и моим палачам. Но ради самого неба не лишайте меня вашего присутствия, вашего голоса; или, клянусь вам, я размозжу себе голову о стену, ибо силы мои приходят к концу, и смерть моя ляжет на вашу совесть.

– Сколько вам лет? Судя по голосу, вы молоды.

– Я не знаю, сколько мне лет, потому что я потерял здесь счет времени. Знаю только, что, когда меня арестовали, двадцать восьмого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года, мне было неполных девятнадцать.

– Так вам нет еще двадцати шести лет, – сказал голос. – В эти годы еще нельзя быть предателем.

– Нет! Нет! Клянусь вам! – повторил Дантес. – Я уже сказал вам и еще раз скажу, что скорее меня изрежут на куски, чем я вас выдам.

– Вы хорошо сделали, что поговорили со мной, хорошо сделали, что попросили меня, а то я уже собирался составить другой план и хотел отдалиться от вас. Но ваш возраст меня успокаивает, я приду к вам, ждите меня.

– Когда?

– Это надо высчитать; я подам вам знак.

– Но вы меня не покинете, вы не оставите меня одного, вы придете ко мне или позволите мне прийти к вам? Мы убежим вместе, а если нельзя

бежать, будем говорить – вы о тех, кого любите, я – о тех, кого я люблю. Вы же любите кого-нибудь?

– Я один на свете.

– Так вы полюбите меня: если вы молоды, я буду вашим товарищем; если вы старик, я буду вашим сыном. У меня есть отец, которому теперь семьдесят лет, если он жив; я любил только его и девушку, которую звали Мерседес. Отец не забыл меня, в этом я уверен; но она... как знать, вспоминает ли она обо мне! Я буду любить вас, как любил отца.

– Хорошо, – сказал узник, – до завтра.

Эти слова прозвучали так, что Дантес сразу поверил им; больше ему ничего не было нужно; он встал, спрятал, как всегда, извлеченный из стены мусор и придвинул кровать к стене.

Потом он безраздельно отдался своему счастью. Теперь уж он, наверное, не будет один; а может быть, удастся и бежать. Если он даже останется в тюрьме, у него все же будет товарищ; разделенная тюрьма – это уже только наполовину тюрьма. Жалобы, произносимые сообща, – почти молитвы; молитвы, воссылаемые вдвоем, – почти благодать.

Весь день Дантес прошагал взад и вперед по своему подземелью. Радость душила его. Иногда он садился на постель, прижимая руку к груди. При малейшем шуме в коридоре он подбегал к двери. То и дело его охватывал страх, как бы его не разлучили с этим человеком, которого он не знал, но уже любил, как друга. И он решил: если тюремщик отодвинет кровать и наклонится, чтобы рассмотреть отверстие, он размозжит ему голову камнем, на котором стоит кувшин с водой.

Его приговорят к смерти, он это знал; но разве он не умирал от тоски и отчаяния в ту минуту, когда услыхал этот волшебный стук, возвративший его к жизни?

Вечером пришел тюремщик. Дантес лежал на кровати; ему казалось, что так он лучше охраняет недоделанное отверстие. Вероятно, он странными глазами посмотрел на докучливого посетителя, потому что тот сказал ему:

– Что? Опять с ума сходите?

Дантес не отвечал. Он боялся, что его дрожащий голос выдаст его. Тюремщик вышел, покачивая головой.

Когда наступила ночь, Дантес надеялся, что сосед его воспользуется тишиной и мраком для продолжения начатого разговора; но он ошибся: ночь прошла, ни единым звуком не успокоив его лихорадочного ожидания. Но наутро, после посещения тюремщика, отодвинув кровать от стены, он услышал три мерных удара; он бросился на колени.

– Это вы? – спросил он. – Я здесь.

– Ушел тюремщик? – спросил голос.

– Ушел, – отвечал Дантес, – и придет только вечером; в нашем распоряжении двенадцать часов.

– Так можно действовать? – спросил голос.

– Да, да, скорее, сию минуту, умоляю вас!

Тотчас же земля, на которую Дантес опирался обеими руками, подалась под ним; он отпрянул, и в тот же миг груда земли и камней посыпалась в яму, открывшуюся под вырытым им отверстием. Тогда из темной ямы, глубину которой он не мог измерить глазом, показалась голова, плечи и, наконец, весь человек, который не без ловкости выбрался из пролома.

# XVI. Итальянский ученый

Дантес сжал в своих объятиях этого нового друга, так давно и с таким нетерпением ожидаемого, и подвел его к окну, чтобы слабый свет, проникавший в подземелье, мог осветить его всего.

Это был человек невысокого роста, с волосами, поседевшими не столько от старости, сколько от горя, с проницательными глазами, скрытыми под густыми седеющими бровями, и с черной еще бородой, доходившей до середины груди; худоба его лица, изрытого глубокими морщинами, смелые и выразительные черты изобличали в нем человека, более привыкшего упражнять свои духовные силы, нежели физические. По лбу его струился пот. Что касается его одежды, то не было никакой возможности угадать ее первоначальный покрой; от нее остались одни лохмотья.

На вид ему казалось не менее шестидесяти пяти лет, движения его были еще достаточно энергичны, чтобы предположить, что причина его дряхлости не возраст, что, быть может, он еще не так стар и лишь изнурен долгим заточением.

Ему была, видимо, приятна восторженная радость молодого человека; казалось, его оледенелая душа на миг согрелась и оттаяла, соприкоснувшись с пламенной душой Дантеса. Он тепло поблагодарил его за радушный прием, хоть и велико было его разочарование, когда он нашел только другую темницу там, где думал найти свободу.

– Прежде всего, – сказал он, – посмотрим, нельзя ли скрыть от наших сторожей следы моего подкопа. Все будущее наше спокойствие зависит от этого.

Он нагнулся к отверстию, поднял камень и без особого труда, несмотря на его тяжесть, вставил на прежнее место.

– Вы вынули этот камень довольно небрежно, – сказал он, покачав головой. – Разве у вас нет инструментов?

– А у вас есть? – спросил Дантес с удивлением.

– Я себе кое-какие смастерил. Кроме напильника, у меня есть все, что нужно: долото, клещи, рычаг.

– Как я хотел бы взглянуть на эти плоды вашего терпения и искусства, – сказал Дантес.

– Извольте – вот долото.

И он показал железную полоску, крепкую и отточенную, с буковой рукояткой.

– Из чего вы это сделали? – спросил Дантес.

– Из скобы моей кровати. Этим орудием я и прорыл себе дорогу, по которой пришел сюда, почти пятьдесят футов.

– Пятьдесят футов! – вскричал Дантес с ужасом.

– Говорите тише, молодой человек, говорите тише; у дверей заключенных часто подслушивают.

– Да ведь знают, что я один.

– Все равно.

– И вы говорите, что прорыли дорогу в пятьдесят футов?

– Да, приблизительно такое расстояние отделяет мою камеру от вашей; только я неверно вычислил кривую, потому что у меня не было геометрических приборов, чтобы установить масштаб; вместо сорока футов по эллипсу оказалось пятьдесят. Я думал, как уже говорил вам, добраться до наружной стены, пробить ее и броситься в море. Я рыл вровень с коридором, куда выходит ваша камера, вместо того чтобы пройти под ним; все мои труды пропали даром, потому что коридор ведет во двор, полный стражи.

– Это правда, – сказал Дантес, – но коридор идет только вдоль одной стороны моей камеры, а ведь у нее четыре стороны.

– Разумеется; но вот эту стену образует утес; десять рудокопов, со всеми необходимыми орудиями, едва ли пробьют этот утес в десять лет; та стена упирается в фундамент помещения коменданта; через нее мы попадем в подвал, без сомнения, запираемый на ключ, и нас поймают; а эта стена выходит... Постойте!.. Куда же выходит эта стена?

В этой стене была пробита бойница, через которую проникал свет; бойница эта, суживаясь, шла сквозь толщу стены: в нее не протискался

бы и ребенок; тем не менее ее защищали три ряда железных прутьев, так что самый подозрительный тюремщик мог не опасаться побега. Гость, задав вопрос, подвинул стол к окну.

– Становитесь на стол, – сказал он Дантесу.

Дантес повиновался, взобрался на стол и, угадав намерение товарища, уперся спиной в стену и подставил обе ладони.

Тогда старик, который назвал себя номером своей камеры и настоящего имени которого Дантес еще не знал, проворнее, чем от него можно было ожидать, с легкостью кошки или ящерицы взобрался сначала на стол, потом со стола на ладони Дантеса, а оттуда на его плечи; согнувшись, потому что низкий свод мешал ему выпрямиться, он просунул голову между прутьями и посмотрел вниз.

Через минуту он быстро высвободил голову.

– Ого! – сказал он. – Я так и думал.

И он спустился с плеч Дантеса на стол, а со стола соскочил на пол.

– Что такое? – спросил Дантес с беспокойством, спрыгнув со стола вслед за ним.

Старик задумался.

– Да, – сказал он. – Так и есть; четвертая стена вашей камеры выходит на наружную галерею, нечто вроде круговой дорожки, где ходят патрули и стоят часовые.

– Вы в этом уверены?

– Я видел кивер солдата и кончик его ружья; я потому и отдернул голову, чтобы он меня не заметил.

– Так что же? – сказал Дантес.

– Вы сами видите, через вашу камеру бежать невозможно.

– Что ж тогда? – продолжал Дантес.

– Тогда, – сказал старик, – да будет воля божия!

И выражение глубокой покорности легло на его лицо.

Дантес с восхищением посмотрел на человека, так спокойно отказывавшегося от надежды, которую он лелеял столько лет.

– Теперь скажите мне, кто вы? – спросил Дантес.

– Что ж, пожалуй, если вы все еще хотите этого теперь, когда я ничем не могу быть вам полезен.

– Вы можете меня утешить и поддержать, потому что вы кажетесь мне сильнейшим из сильных.

Узник горько улыбнулся.

– Я аббат Фариа, – сказал он, – и сижу в замке Иф, как вы знаете, с тысяча восемьсот одиннадцатого года; но перед тем я просидел три года в Фенестрельской крепости. В тысяча восемьсот одиннадцатом году меня перевели из Пьемонта во Францию. Тут я узнал, что судьба, тогда, казалось, покорная Наполеону, послала ему сына и что этот сын в колыбели наречен римским королем. Тогда я не предвидел того, что узнал от вас; не воображал, что через четыре года исполин будет свергнут. Кто же теперь царствует во Франции? Наполеон Второй?

– Нет, Людовик Восемнадцатый.

– Людовик Восемнадцатый, брат Людовика Шестнадцатого! Пути провидения неисповедимы. С какой целью унизило оно того, кто был им вознесен, и вознесло того, кто был им унижен?

Дантес не сводил глаз с этого человека, который, забывая о собственной участи, размышлял об участи мира.

– Да, да, – продолжал тот, – как в Англии: после Карла Первого – Кромвель; после Кромвеля – Карл Второй и, быть может, после Якова Второго – какой-нибудь шурин или другой родич, какой-нибудь принц Оранский; бывший штатгальтер станет королем, и тогда опять – уступки народу, конституция, свобода! Вы это еще увидите, молодой человек, – сказал он, поворачиваясь к Дантесу и глядя на него вдохновенным взором горящих глаз, какие, должно быть, бывали у пророков. – Вы еще молоды, вы это увидите!

– Да, если выйду отсюда.

– Правда, – отвечал аббат Фариа. – Мы в заточении, бывают минуты, когда я об этом забываю и думаю, что свободен, потому что глаза мои проникают сквозь стены тюрьмы.

– Но за что же вас заточили?

– Меня? За то, что я в тысяча восемьсот седьмом году мечтал о том, что Наполеон хотел осуществить в тысяча восемьсот одиннадцатом; за то, что я, как Макиавелли, вместо мелких княжеств, гнездящихся в Италии и управляемых слабыми деспотами, хотел видеть единую, великую державу, целостную и мощную; за то, что мне показалось, будто я нашел своего Цезаря Борджиа в коронованном глупце, который притворялся, что согласен со мной, чтобы легче предать меня. Это был замысел Александра Шестого и Климента Седьмого; он обречен на неудачу, они тщетно брались за его осуществление, и даже Наполеон не сумел завершить его; поистине над Италией тяготеет проклятие!

Старик опустил голову на грудь.

Дантесу было непонятно, как может человек рисковать жизнью из таких побуждений; правда, если он знал Наполеона, потому что видел его и говорил с ним, то о Клименте Седьмом и Александре Шестом он не имел ни малейшего представления.

– Не вы ли, – спросил Дантес, начиная разделять всеобщее мнение в замке Иф, – не вы ли тот священник, которого считают... больным?

– Сумасшедшим, хотите вы сказать?

– Я не осмелился, – сказал Дантес с улыбкой.

– Да, – промолвил Фариа с горьким смехом, – да, меня считают сумасшедшим; я уже давно служу посмешищем для жителей этого замка и потешал бы детей, если бы в этой обители безысходного горя были дети.

Дантес стоял неподвижно и молчал.

– Так вы отказываетесь от побега? – спросил он.

– Я убедился, что бежать невозможно, предпринимать невозможное – значит восставать против бога.

– Зачем отчаиваться? Желать немедленной удачи – это тоже значит требовать от провидения слишком многого. Разве нельзя начать подкоп в другом направлении?

– Да знаете ли вы, чего мне стоил этот подкоп? Знаете ли вы, что я четыре года потратил на одни инструменты? Знаете ли вы, что я два года рыл землю, твердую, как гранит? Знаете ли вы, что я вытаскивал камни,

которые прежде не мог бы сдвинуть с места; что я целые дни проводил в этой титанической работе; что иной раз, вечером, я считал себя счастливым, если мне удавалось отбить квадратный дюйм затвердевшей, как камень, известки? Знаете ли вы, что, для того чтобы прятать землю и камни, которые я выкапывал, мне пришлось пробить стену и сбрасывать все это под лестницу и что теперь там все полно доверху, так что мне некуда было бы девать горсть пыли? Знаете ли вы, что я уже думал, что достиг цели моих трудов, чувствовал, что моих сил хватит только на то, чтобы кончить работу, и вдруг бог не только отодвигает эту цель, но и переносит ее неведомо куда? Нет! Я вам сказал и повторю еще раз: отныне я и пальцем не шевельну, ибо господу угодно, чтобы я был навеки лишен свободы!

Эдмон опустил голову, чтобы не показать старику, что радость иметь его своим товарищем мешает ему в должной мере сочувствовать горю узника, которому не удалось бежать.

Аббат Фариа опустился на постель.

Эдмон никогда не думал о побеге. Иные предприятия кажутся столь несбыточными, что даже не приходит в голову браться за них; какой-то инстинкт заставляет избегать их. Прорыть пятьдесят футов под землей, посвятить этому труду три года, чтобы дорыться, в случае удачи, до отвесного обрыва над морем; броситься с высоты в пятьдесят, шестьдесят, а то и сто футов, чтобы размозжить себе голову об утесы, если раньше не убьет пуля часового, а если удастся избежать всех этих опасностей, проплыть целую милю, – этого было больше чем достаточно, чтобы покориться неизбежности, и мы убедились, что эта покорность привела Дантеса на порог смерти.

Но, увидев старика, который цеплялся за жизнь с такой энергией и подавал пример отчаянной решимости, Дантес стал размышлять и измерять свое мужество. Другой попытался сделать то, о чем он даже не мечтал; другой, менее молодой, менее сильный, менее ловкий, чем он, трудом и терпением добыл себе все инструменты, необходимые для этой гигантской затеи, которая не удалась только из-за ошибки в расчете; другой сделал все это, стало быть, и для него нет ничего невозможного.

Фариа прорыл пятьдесят футов, он пророет сто: пятидесятилетний Фариа трудился три года, он вдвое моложе Фариа и проработает шесть лет; Фариа, аббат, ученый, священнослужитель, решился проплыть от замка Иф до острова Дом, Ратонно или Лемер; а он, Дантес, моряк, смелый водолаз, так часто нырявший на дно за коралловой ветвью, неужели не проплывет одной мили? Сколько надобно времени, чтобы проплыть милю? Час? Так разве ему не случалось по целым часам качаться на волнах, не выходя на берег? Нет, нет, ему нужен был только ободряющий пример. Все, что сделал или мог бы сделать другой, сделает и Дантес.

Он задумался, потом сказал:

– Я нашел то, что вы искали.

Фариа вздрогнул.

– Вы? – спросил он, подняв голову, и видно было, что если Дантес сказал правду, то отчаяние его сотоварища продлится недолго. – Что же вы нашли?

– Коридор, который вы пересекли, тянется в том же направлении, что и наружная галерея?

– Да.

– Между ними должно быть шагов пятнадцать.

– Самое большее.

– Так вот: от середины коридора мы проложим путь под прямым углом. На этот раз вы сделаете расчет более тщательно. Мы выберемся на наружную галерею, убьем часового и убежим. Для этого нужно только мужество, оно у вас есть, и сила, – у меня ее довольно. Не говорю о терпении, – вы уже доказали свое на деле, а я постараюсь доказать свое.

– Постойте, – сказал аббат, – вы не знаете, какого рода мое мужество и на что я намерен употребить свою силу. Терпения у меня, по-видимому, довольно: я каждое утро возобновлял ночную работу и каждую ночь – дневные труды. Но тогда мне казалось – вслушайтесь в мои слова, молодой человек, – тогда мне казалось, что я служу богу, пытаясь освободить одно из его созданий, которое, будучи невиновным, не могло быть осуждено.

– А разве теперь не то? – спросил Дантес. – Или вы признали себя виновным, с тех пор как мы встретились?

– Нет, но я не хочу стать им. До сих пор я имел дело только с вещами, а вы предлагаете мне иметь дело с людьми. Я мог пробить стену и уничтожить лестницу, но я не стану пробивать грудь и уничтожать чью-нибудь жизнь.

Дантес с удивлением посмотрел на него.

– Как? – сказал он. – Если бы вы могли спастись, такие соображения удержали бы вас?

– А вы сами, – сказал Фариа, – почему вы не убили тюремщика ножкой от стола, не надели его платья и не попытались бежать?

– Потому, что мне это не пришло в голову, – отвечал Дантес.

– Потому что в вас природой заложено отвращение к убийству: такое отвращение, что вы об этом даже не подумали, – продолжал старик, – в делах простых и дозволенных наши естественные побуждения ведут нас по прямому пути. Тигру, который рожден для пролития крови, – это его дело, его назначение, – нужно только одно: чтобы обоняние дало ему знать о близости добычи. Он тотчас же бросается на нее и разрывает на куски. Это его инстинкт, и он ему повинуется. Но человеку, напротив, кровь претит; не законы общества запрещают нам убийство, а законы природы.

Дантес смутился. Слова аббата объяснили ему то, что бессознательно происходило в его уме или, лучше сказать в его душе, потому что иные мысли родятся в мозгу, а иные в сердце.

– Кроме того, – продолжал Фариа, – сидя в тюрьме двенадцать лет, я перебрал в уме все знаменитые побеги. Я увидел, что они удавались редко. Счастливые побеги, увенчанные полным успехом, это те, над которыми долго думали, которые медленно подготовлялись. Так герцог Бофор бежал из Венсенского замка, аббат Дюбюкуа из Фор-Левека, а Латюд из Бастилии. Есть еще побеги случайные; это – самые лучшие, поверьте мне, подождем благоприятного случая и, если он представится, воспользуемся им.

– Вы-то могли ждать, – прервал Дантес со вздохом, – ваш долгий труд занимал вас ежеминутно, а когда вас не развлекал труд, вас утешала надежда.

– Я занимался не только этим, – сказал аббат.

– Что же вы делали?

– Писал или занимался.

– Так вам дают бумагу, перья, чернила?

– Нет, – сказал аббат, – но я их делаю сам.

– Вы делаете бумагу, перья и чернила? – воскликнул Дантес.

– Да.

Дантес посмотрел на старого аббата с восхищением; но он еще плохо верил его словам. Фариа заметил, что он сомневается.

– Когда вы придете ко мне, – сказал он, – я покажу вам целое сочинение, плод мыслей, изысканий и размышлений всей моей жизни, которое я обдумывал в тени Колизея в Риме, у подножия колонны святого Марка в Венеции, на берегах Арно во Флоренции, не подозревая, что мои тюремщики дадут мне досуг написать его в стенах замка Иф. Это «Трактат о возможности всеединой монархии в Италии». Он составит толстый том in-quarto.

– И вы написали его?

– На двух рубашках. Я изобрел вещество, которое делает холст гладким и плотным, как пергамент.

– Так вы химик?

– Отчасти. Я знавал Лавуазье и был дружен с Кабанисом.

– Но для такого труда вы нуждались в исторических материалах. У вас были книги?

– В Риме у меня была библиотека в пять тысяч книг. Читая и перечитывая их, я убедился, что сто пятьдесят хорошо подобранных сочинений могут дать если не полный итог человеческих знаний, то, во всяком случае, все, что полезно знать человеку. Я посвятил три года жизни на изучение этих ста пятидесяти томов и знал их почти наизусть, когда меня арестовали. В тюрьме, при небольшом усилии памяти, я все их припомнил. Я мог бы вам прочесть наизусть Фукидида, Ксенофонта,

Плутарха, Тита Ливия, Тацита, Страду, Иорнанда, Данте, Монтеня, Шекспира, Спинозу, Макиавелли и Боссюэ. Я вам называю только первостепенных.

– Вы знаете несколько языков?

– Я говорю на пяти живых языках: по-немецки, по-французски, по-итальянски, по-английски и по-испански; с помощью древнегреческого понимаю нынешний греческий язык; правда, я еще плохо говорю на нем, но я изучаю его.

– Вы изучаете греческий язык? – спросил Дантес.

– Да, я составил лексикон слов, мне известных; я их расположил всеми возможными способами так, чтобы их было достаточно для выражения моих мыслей. Я знаю около тысячи слов, больше мне и не нужно, хотя в словарях их содержится чуть ли не сто тысяч. Красноречивым я не буду, но понимать меня будут вполне, а этого мне довольно.

Все более и более изумляясь, Эдмон начинал находить способности этого странного человека почти сверхъестественными. Он хотел поймать его на чем-нибудь и продолжал:

– Но если вам не давали перьев, то чем же вы написали такую толстую книгу?

– Я сделал себе прекрасные перья – их предпочли бы гусиным, если бы узнали о них, – из головных хрящей тех огромных мерланов, которые нам иногда подают в постные дни. И я очень люблю среду, пятницу и субботу, потому что эти дни приумножают запас моих перьев, а исторические труды мои, признаюсь, мое любимое занятие. Погружаясь в прошлое, я не думаю о настоящем; свободно и независимо прогуливаясь по истории, я забываю, что я в тюрьме.

– А чернила? – спросил Дантес. – Из чего вы сделали чернила?

– В моей камере прежде был камин, – отвечал Фариа. – Трубу его заложили, по-видимому, незадолго до того, как я там поселился, но в течение долгих лет его топили, и все его стенки обросли сажей. Я растворяю эту сажу в вине, которое мне дают по воскресеньям, и таким

образом добываю превосходные чернила. Для некоторых заметок, которые должны бросаться в глаза, я накалываю палец и пишу кровью.

– А когда мне можно увидеть все это? – спросил Дантес.

– Когда вам угодно, – сказал Фариа.

– Сейчас же!

– Так ступайте за мною, – сказал аббат.

Он спустился в подземный ход и исчез в нем; Дантес последовал за ним.

# XVII. Камера аббата

Пройдя довольно легко, хоть и согнувшись, подземным ходом, Дантес достиг конца коридора, прорытого аббатом. Тут проход суживался, и в него едва можно было пролезть ползком. Пол в камере аббата был вымощен плитами; подняв одну из них, в самом темном углу, он и начал трудную работу, окончание которой видел Дантес.

Проникнув в камеру и став на ноги, Эдмон с любопытством стал оглядываться по сторонам. С первого взгляда в этой камере не было ничего необыкновенного.

– Так, – сказал аббат, – теперь только четверть первого, и у нас остается еще несколько часов.

Дантес посмотрел кругом, ища глазами часы, по которым аббат определял время с такой точностью.

– Посмотрите, – сказал аббат, – на солнечный луч, проникающий в мое окно, и на эти линии, вычерченные мною на стене. По этим линиям я определяю время вернее, чем если бы у меня были часы, потому что часы могут испортиться, а солнце и земля всегда работают исправно.

Дантес ничего не понял из этого объяснения; видя, как солнце встает из-за гор и опускается в Средиземное море, он всегда думал, что движется солнце, а не земля. Незаметное для него двойное движение земного шара, на котором он жил, казалось ему неправдоподобным; в каждом слове его собеседника ему чудились тайны науки, столь же волшебные, как те золотые и алмазные копи, которые он видел еще мальчиком во время путешествия в Гузерат и Голконду.

– Мне не терпится, – сказал он аббату, – увидеть ваши богатства.

Аббат подошел к очагу и с помощью долота, которое он не выпускал из рук, вынул камень, некогда служивший подом и прикрывавший довольно просторное углубление; в этом углублении и хранились все те вещи, о которых он говорил Дантесу.

– Что же вам показать для начала? – спросил он.

– Покажите ваше сочинение о монархии в Италии.

Фариа вытащил из тайника четыре свитка, скатанные, как листы папируса. Свитки состояли из холщовых полос шириной в четыре дюйма и длиной дюймов в восемнадцать. Полосы были пронумерованы, и Дантес без труда прочел несколько строк. Сочинение было написано на родном языке аббата, то есть по-итальянски, а Дантес, уроженец Прованса, отлично понимал этот язык.

– Видите, тут все; неделю тому назад я написал «конец» на шестьдесят восьмой полосе. Две рубашки и все мои носовые платки ушли на это; если я когда-нибудь выйду на свободу, если в Италии найдется типограф, который отважится напечатать мою книгу, я прославлюсь.

– Да, – отвечал Дантес, – вижу. А теперь, прошу вас, покажите мне перья, которыми написана эта книга.

– Вот, смотрите, – сказал Фариа.

И он показал Дантесу палочку шести дюймов в длину, толщиною в полдюйма; к ней при помощи нитки был привязан рыбий хрящик, запачканный чернилами; он был заострен и расщеплен, как обыкновенное перо.

Дантес рассмотрел перо и стал искать глазами инструмент, которым оно было так хорошо очинено.

– Вы ищете перочинный ножик? – сказал Фариа. – Это моя гордость. Я сделал и его, и этот большой нож из старого железного подсвечника.

Ножик резал, как бритва, а нож имел еще то преимущество, что мог служить и ножом, и кинжалом.

Дантес рассматривал все эти вещи с таким же любопытством, с каким, бывало, в марсельских лавках редкостей разглядывал орудия, сделанные дикарями и привезенные с южных островов капитанами дальнего плавания.

– Что же касается чернил, – сказал Фариа, – то вы знаете, из чего я их делаю; я изготовляю их по мере надобности.

– Теперь я удивляюсь только одному, – сказал Дантес, – как вам хватило дней на всю эту работу.

– Я работал и по ночам, – сказал Фариа.

– По ночам? Что же вы, как кошка, видите ночью?

– Нет; но бог дал человеку ум, который возмещает несовершенство чувств; я создал себе освещение.

– Каким образом?

– От говядины, которую мне дают, я срезаю жир, растапливаю его и извлекаю чистое сало; вот мой светильник.

И аббат показал Дантесу плошку, вроде тех, которыми освещают улицы в торжественные дни.

– А огонь?

– Вот два кремня и трут, сделанный из лоскута рубашки.

– А спички?

– Я притворился, что у меня накожная болезнь, и попросил серы; мне ее дали.

Дантес положил все вещи на стол и опустил голову, потрясенный упорством и силою этого ума.

– Это еще не все, – сказал Фариа, – ибо не следует прятать все свои сокровища в одно место. Закроем этот тайник.

Они вдвинули камень на прежнее место; аббат посыпал его пылью и растер ее ногою, чтобы не было заметно, что камень вынимали; потом подошел к кровати и отодвинул ее.

За изголовьем было отверстие, почти герметически закрытое камнем; в этом отверстии лежала веревочная лестница футов тридцати длиною. Дантес испробовал ее; она могла выдержать любую тяжесть.

– Где вы достали веревку для этой превосходной лестницы? – спросил Дантес.

– Во-первых, из моих рубашек, а потом из простынь, которые я раздергивал в продолжение трех лет, пока сидел в Фенестреле. Когда меня перевели сюда, я ухитрился захватить с собою заготовленный материал; здесь я продолжал работу.

– И никто не замечал, что ваши простыни не подрублены?

– Я их зашивал.

– Чем?

– Вот этой иглой.

И аббат достал из-под лохмотьев своего платья длинную и острую рыбью кость с продетой в нее ниткой.

– Дело в том, – продолжал Фариа, – что я сначала хотел выпилить решетку и бежать через окно, оно немного шире вашего, как вы видите; я бы его еще расширил перед самым побегом; но я заметил, что оно выходит во внутренний двор, и отказался от этого намерения. Однако я сохранил лестницу на тот случай, если бы, как я вам уже говорил, представилась возможность непредвиденного побега.

Но Дантес, рассматривая лестницу, думал совсем о другом. В голове его мелькнула новая мысль. Быть может, этот человек, такой умный, изобретательный, ученый, разберется в его несчастье, которое для него самого всегда было окутано тьмою.

– О чем вы думаете? – спросил аббат с улыбкой, принимая задумчивость Дантеса за высшую степень восхищения.

– Во-первых, о том, какую огромную силу ума вы потратили, чтобы дойти до цели. Что совершили бы вы на свободе!

– Может быть, ничего. Я растратил бы свой ум на мелочи. Только несчастье раскрывает тайные богатства человеческого ума; для того чтобы порох дал взрыв, его надо сжать. Тюрьма сосредоточила все мои способности, рассеянные в разных направлениях; они столкнулись на узком пространстве, – а вы знаете, из столкновения туч рождается электричество, из электричества молния, из молнии – свет.

– Нет, я ничего не знаю, – отвечал Дантес, подавленный своим невежеством. – Некоторые ваши слова лишены для меня всякого смысла. Какое счастье быть таким ученым, как вы!

Аббат улыбнулся.

– Но вы еще о чем-то думали?

– Да.

– Об одном вы мне сказали, а второе?

– Второе вот что: вы мне рассказали свою жизнь, а моей не знаете.

– Ваша жизнь так еще коротка, что не может заключать в себе важных событий.

– Она заключает огромное несчастье, – сказал Дантес, – несчастье, которого я ничем не заслужил. И я бы желал, чтобы никогда больше не богохульствовать, убедиться в том, что в моем несчастье виноваты люди.

– Так вы считаете себя невиновным в том преступлении, которое вам приписывают?

– Я невинен, клянусь жизнью тех, кто мне дороже всего на свете: жизнью моего отца и Мерседес.

– Хорошо, – сказал аббат, закрывая тайник и подвигая кровать на прежнее место. – Расскажите мне вашу историю.

И Дантес рассказал то, что аббат назвал его историей; она ограничивалась путешествием в Индию и двумя-тремя поездками на Восток; рассказал про свой последний рейс, про смерть капитана Леклера, поручение к маршалу, свидание с ним, его письмо к г-ну Нуартье; рассказал про возвращение в Марсель, свидание с отцом, про свою любовь к Мерседес, про обручение, арест, допрос, временное заключение в здании суда и, наконец, окончательное заточение в замке Иф. Больше он ничего не знал; не знал даже, сколько времени находится в тюрьме.

Выслушав его рассказ, аббат глубоко задумался.

– В науке права, – сказал он, помолчав, – есть мудрая аксиома, о которой я вам уже говорил; кроме тех случаев, когда дурные мысли порождены испорченной натурой, человек сторонится преступления. Но цивилизация сообщила нам искусственные потребности, пороки и желания, которые иногда заглушают в нас доброе начало и приводят ко злу. Отсюда положение: если хочешь найти преступника, ищи того, кому совершенное преступление могло принести пользу. Кому могло принести пользу ваше исчезновение?

– Да никому. Я так мало значил.

– Не отвечайте опрометчиво; в вашем ответе нет ни логики, ни философии. На свете все относительно, дорогой друг, начиная с короля, который мешает своему преемнику, до канцеляриста, который мешает сверхштатному писцу. Когда умирает король, его преемник наследует корону; когда умирает канцелярист, писец наследует тысячу двести

ливров жалованья. Эти тысяча двести ливров – его цивильный лист; они ему так же необходимы, как королю двенадцать миллионов. Каждый человек сверху донизу общественной лестницы образует вокруг себя мирок интересов, где есть свои вихри и свои крючковатые атомы, как в мирах Декарта. Чем ближе к верхней ступени, тем эти миры больше. Это опрокинутая спираль, которая держится на острие, благодаря эквилибристике вокруг точки равновесия. Итак, вернемся к вашему миру. Вас хотели назначить капитаном «Фараона»?

– Да.

– Вы хотели жениться на красивой девушке?

– Да.

– Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначили капитаном «Фараона»? Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились на Мерседес? Отвечайте сначала на первый вопрос: последовательность – ключ ко всем загадкам. Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вас не назначили капитаном «Фараона»?

– Никому; меня очень любили на корабле. Если бы матросам разрешили выбрать начальника, то они, я уверен, выбрали бы меня. Только один человек имел причину не жаловать меня: я поссорился с ним, предлагал ему дуэль, но он отказался.

– Ага! Как его звали?

– Данглар.

– Кем он был на корабле?

– Бухгалтером.

– Заняв место капитана, вы бы оставили его в прежней должности?

– Нет, если бы это от меня зависело; я заметил в его счетах кое-какие неточности.

– Хорошо. Присутствовал ли кто-нибудь при вашем последнем разговоре с капитаном Леклером?

– Нет; мы были одни.

– Мог ли кто-нибудь слышать ваш разговор?

– Да, дверь была отворена… и даже… постойте… да-да, Данглар проходил мимо в ту самую минуту, когда капитан Леклер передавал мне

пакет для маршала.

– Отлично, мы напали на след. Брали вы кого-нибудь с собой, когда сошли на острове Эльба?

– Никого.

– Там вам вручили письмо?

– Да, маршал вручил.

– Что вы с ним сделали?

– Положил в бумажник.

– Так при вас был бумажник? Каким образом бумажник с официальным письмом мог поместиться в кармане моряка?

– Вы правы, бумажник оставался у меня в каюте.

– Так, стало быть, вы только в своей каюте положили письмо в бумажник?

– Да.

– От Порто-Феррайо до корабля где было письмо?

– У меня в руках.

– Когда вы поднимались на «Фараон», любой мог видеть, что у вас в руках письмо?

– Да.

– И Данглар мог видеть?

– Да, и Данглар мог видеть.

– Теперь слушайте внимательно и напрягите свою память; помните ли вы, как был написан донос?

– О да; я прочел его три раза, и каждое слово врезалось в мою память.

– Повторите его мне.

Дантес задумался.

– Вот он, слово в слово: «Приверженец престола и веры уведомляет господина королевского прокурора, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле „Фараон“, прибывшем сегодня из Смирны с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже. В случае его ареста письмо будет найдено при нем, или у его отца, или в его каюте на „Фараоне“.

Аббат пожал плечами.

– Ясно как день, – сказал он, – и велико же ваше простодушие, что вы сразу не догадались.

– Так вы думаете?.. – вскричал Дантес. – Какая подлость!

– Какой был почерк у Данглара?

– Очень красивый и четкий, с наклоном вправо.

– А каким почерком был написан донос?

– С наклоном влево.

Аббат улыбнулся.

– Измененным!

– Почерк настолько твердый, что едва ли он был изменен.

– Постойте, – сказал аббат.

Он взял перо или, вернее, то, что называл пером, обмакнул в чернила и написал левой рукой, на холсте, заменяющем бумагу, первые строки доноса.

Дантес отпрянул и со страхом взглянул на аббата.

– Невероятно! – воскликнул он. – Как этот почерк похож на тот!

– Донос написан левой рукой. А я сделал любопытное наблюдение, – продолжал аббат.

– Какое?

– Все почерки правой руки разные, а почерки левой все похожи друг на друга.

– Все-то вы изучили!.. Все знаете!

– Будем продолжать.

– Да, да.

– Перейдем ко второму вопросу.

– Я слушаю вас.

– Нужно ли было кому-нибудь, чтобы вы не женились на Мерседес?

– Да, одному молодому человеку, который любил ее.

– Его имя?

– Фернан.

– Имя испанское.

– Он каталанец.

– Считаете ли вы, что он мог написать донос?

– Нет, он ударил бы меня ножом, только и всего.

– Да, это в испанском духе: убийство, но не подлость.

– Да он и не знал подробностей, описанных в доносе.

– Вы никому их не рассказывали?

– Никому.

– Даже невесте?

– Даже ей.

– Так это Данглар.

– Теперь я в этом уверен.

– Постойте… Знал ли Данглар Фернана?

– Нет… Да… Вспомнил!

– Что?

– За день до моей свадьбы они сидели за одним столом в кабачке старика Памфила. Данглар был дружелюбен и весел, а Фернан бледен и смущен.

– Их было только двое?

– Нет, с ними сидел третий, мой хороший знакомый: он-то, верно, и познакомил их… портной Кадрусс. Но он был уже пьян… Постойте… постойте… Как я не вспомнил этого раньше! На столе, где они пили, стояла чернильница, лежали бумага, перья. – Дантес провел рукою по лбу. – О! Подлецы, подлецы!

– Хотите знать еще что-нибудь? – спросил аббат с улыбкой.

– Да, да, вы так все разбираете, так ясно все видите. Я хочу знать, почему меня допрашивали только один раз, почему меня обвинили без суда?

– Это уже посложнее, – сказал аббат. – Пути правосудия темны и загадочны, в них трудно разобраться. Проследить поведение обоих ваших врагов – это было просто детской игрой, а теперь вам придется дать мне самые точные показания.

– Извольте, спрашивайте. Вы поистине лучше знаете мою жизнь, чем я сам.

– Кто вас допрашивал? Королевский прокурор, или его помощник, или следователь?

– Помощник.

– Молодой, старый?

– Молодой, лет двадцати семи.

– Так, еще не испорченный, но уже честолюбивый, – сказал аббат. – Как он с вами обращался?

– Скорее ласково, нежели строго.

– Вы все ему рассказали?

– Все.

– Обращение его менялось во время допроса?

– На одно мгновение, когда он прочел письмо, служившее уликой против меня, он, казалось, был потрясен моим несчастьем.

– Вашим несчастьем?

– Да.

– И вы уверены, что он скорбел именно о вашем несчастье?

– Во всяком случае, он дал мне явное доказательство своего участия.

– Какое именно?

– Он сжег единственную улику, которая могла мне повредить.

– Которую? Донос?

– Нет, письмо.

– Вы уверены в этом?

– Это произошло на моих глазах.

– Тут что-то не то. Сдается мне, что этот помощник прокурора более низкий негодяй, чем можно предположить.

– Честное слово, меня бросает в дрожь, – сказал Дантес, – неужели мир населен только тиграми и крокодилами?

– Да, но только двуногие тигры и крокодилы куда опаснее всех других.

– Пожалуйста, будем продолжать!

– Извольте. Вы говорите, он сжег письмо?

– Да, и прибавил: «Видите, против вас имеется только эта улика, и я уничтожаю ее».

– Такой поступок слишком благороден и потому неестествен.

– Вы думаете?

– Я уверен. К кому было письмо?

– К господину Нуартье, в Париже, улица Кок-Эрон, номер тринадцать.

– Не думаете ли вы, что помощник прокурора мог быть заинтересован в том, чтобы это письмо исчезло?

– Может быть; он несколько раз заставил меня обещать – будто бы для моей же пользы, – не говорить никому об этом письме и взял с меня клятву, что я никогда не произнесу имени, написанного на конверте.

– Нуартье! – повторил аббат. – Нуартье! Я знал одного Нуартье при дворе бывшей королевы Этрурии; знал Нуартье – жирондиста во время революции. А как звали вашего помощника прокурора?

– Де Вильфор.

Аббат расхохотался.

Дантес посмотрел на него с изумлением.

– Что с вами? – сказал он.

– Видите этот солнечный луч? – спросил аббат.

– Вижу.

– Ну так вот: теперь ваше дело для меня яснее этого луча. Бедный мальчик! И он был ласков с вами?

– Да.

– Этот достойный человек сжег, уничтожил письмо?

– Да.

– Благородный поставщик палача взял с вас клятву, что вы никогда не произнесете имени Нуартье?

– Да.

– А этот Нуартье, несчастный вы слепец, да знаете ли вы, кто такой этот Нуартье? Этот Нуартье – его отец!

Если бы молния ударила у ног Дантеса и разверзла перед ним пропасть, на дне которой он увидел бы ад, она не поразила бы его так внезапно и так ошеломляюще, как слова аббата. Он вскочил и схватился руками за голову.

– Его отец! Его отец! – вскричал он.

– Да, его отец, которого зовут Нуартье де Вильфор, – отвечал аббат.

И тогда ослепительный свет озарил мысли Дантеса; все, что прежде казалось ему темным, внезапно засияло в ярких лучах. Изменчивое поведение Вильфора во время допроса, уничтожение письма, требование клятвы, просительный голос судьи, который не грозил, а, казалось, умолял, – все пришло ему на память. Он закричал, зашатался, как пьяный; потом бросился к подкопу, который вел из камеры аббата в его темницу.

– Мне надо побыть одному! – воскликнул он. – Я должен обдумать все это!

И, добравшись до своей камеры, он бросился на постель. Вечером, когда пришел тюремщик, Дантес сидел на койке с остановившимся взглядом и искаженным лицом, неподвижный и безмолвный, как статуя.

В эти долгие часы размышления, пролетевшие, как секунды, он принял грозное решение и поклялся страшной клятвой.

Дантеса пробудил от задумчивости человеческий голос, голос аббата Фариа, который после ухода тюремщика пришел пригласить Эдмона отужинать с ним. Звание сумасшедшего, и притом забавного сумасшедшего, давало старому узнику некоторые привилегии, а именно: право на хлеб побелее и на графинчик вина по воскресеньям. Было как раз воскресенье, и аббат пришел звать своего молодого товарища разделить с ним хлеб и вино.

Дантес последовал за ним. Лицо его прояснилось и приняло прежнее выражение, но в глазах были жестокость и твердость, свидетельствовавшие о том, что в юноше созрело какое-то решение. Аббат посмотрел на него пристально.

– Я сожалею о том, что помог вам в ваших поисках правды, и сожалею о словах, сказанных мною.

– Почему? – спросил Дантес.

– Потому что я поселил в вашей душе чувство, которого там не было, – жажду мщения.

Дантес улыбнулся.

– Поговорим о другом, – сказал он.

Аббат еще раз взглянул на него и печально покачал головой. Но, уступая просьбе Дантеса, заговорил о другом. Беседа с аббатом, как с любым собеседником, много перенесшим, много страдавшим, была поучительна и неизменно занимательна, но в ней не было эгоизма, этот страдалец никогда не говорил о своих страданиях.

Дантес с восторгом ловил каждое его слово; иные слова аббата отвечали мыслям, ему уже знакомым, и его знаниям моряка; другие касались предметов, ему неведомых, и, как северное сияние, которое светит мореплавателям в полуночных широтах, открывали ему новые просторы, освещенные фантастическими отблесками. Он понял, какое счастье для просвещенного человека сопутствовать этому возвышенному уму на высотах нравственных, философских и социальных идей, где он привык парить.

– Научите меня чему-нибудь из того, что вы знаете, – сказал Дантес, – хотя бы для того, чтобы не соскучиться со мной. Боюсь, что вы предпочитаете уединение обществу такого необразованного и ничтожного товарища, как я. Если вы согласитесь на мою просьбу, я обещаю вам не говорить больше о побеге.

Аббат улыбнулся.

– Увы, дитя мое, – сказал он, – знание человеческое весьма ограниченно, и когда я научу вас математике, физике, истории и трем-четырем живым языкам, на которых я говорю, вы будете знать то, что я сам знаю; и все эти знания я передам вам в какие-нибудь два года.

– Два года! Вы думаете, что я могу изучить все эти науки в два года?

– В их приложении – нет; в их основах – да. Выучиться не значит знать; есть знающие и есть ученые – одних создает память, других – философия.

– А разве нельзя научиться философии?

– Философии не научаются; философия есть сочетание приобретенных знаний и высокого ума, применяющего их; философия – это сверкающее облако, на которое ступил Христос, возносясь на небо.

– Чему же вы станете учить меня сначала? – спросил Дантес. – Мне хочется поскорее начать, я жажду знания.

– Всему! – отвечал аббат.

В тот же вечер узники составили план обучения и на другой день начали приводить его в исполнение. Дантес обладал удивительной памятью и необыкновенной понятливостью; математический склад его ума помогал ему усваивать все путем исчисления, а романтизм моряка смягчал чрезмерную прозаичность доказательств, сводящихся к сухим цифрам и прямым линиям; кроме того, он уже знал итальянский язык и отчасти новогреческий, которому научился во время своих путешествий на Восток. При помощи этих двух языков он скоро понял строй остальных и через полгода начал уже говорить по-испански, по-английски и по-немецки.

Потому ли, что наука доставляла ему развлечение, заменявшее свободу, потому ли, что он, как мы убедились, умел держать данное слово, во всяком случае, он, как обещал аббату, не заговаривал больше о побеге, и дни текли для него быстро и содержательно. Через год это был другой человек.

Что же касается аббата Фариа, то, несмотря на развлечение, доставляемое ему обществом Дантеса, старик с каждым днем становился мрачнее. Казалось, какая-то неотступная мысль занимала его ум, он то впадал в глубокую задумчивость, тяжело вздыхал, то вдруг вскакивал и, скрестив руки на груди, часами шагал по камере.

Как-то раз он внезапно остановился и воскликнул:

– Если бы не часовой!

– Будет часовой или нет, это зависит от вас, – сказал Дантес, читавший мысли аббата, словно его череп был из стекла.

– Я уже сказал вам, что убийство претит мне.

– Но это убийство, если оно совершится, будет совершено по инстинкту самосохранения, для самозащиты.

– Все равно, я не могу.

– Однако вы думаете об этом?

– Неустанно, – прошептал аббат.

– И вы нашли способ? – живо спросил Дантес.

– Нашел, если бы на галерею поставили часового, который был бы слеп и глух.

– Он будет и слеп, и глух, – отвечал Эдмон с твердостью, испугавшей аббата.

– Нет, нет, – крикнул он, – это невозможно!

Дантес хотел продолжать этот разговор, но аббат покачал головой и не стал отвечать.

Прошло три месяца.

– Вы сильный? – спросил однажды Дантеса аббат.

Дантес вместо ответа взял долото, согнул его подковой и снова выпрямил.

– Дадите честное слово, что убьете часового только в случае крайней необходимости?

– Даю честное слово.

– Тогда мы можем исполнить наше намерение, – сказал аббат.

– А сколько потребуется времени на то, чтобы его исполнить?

– Не меньше года.

– И можно приняться за работу?

– Хоть сейчас.

– Вот видите, мы потеряли целый год! – вскричал Дантес.

– По-вашему, потеряли?

– Простите меня, ради бога! – воскликнул Эдмон, покраснев.

– Полно! – сказал аббат. – Человек всегда только человек, а вы еще один из лучших, каких я знавал. Так слушайте, вот мой план.

И аббат показал Дантесу сделанный им чертеж; то был план его камеры, камеры Дантеса и прохода, соединявшего их. Посредине этого прохода ответвлялся боковой ход, вроде тех, какие прокладывают в рудниках. Этот боковой ход кончался под галереей, где шагал часовой; тут предполагалось сделать широкую выемку, подрывая и расшатывая одну из плит, образующих пол галереи: в нужную минуту плита осядет под тяжестью солдата, и он провалится в выемку; оглушенный падением, он не в силах будет защищаться, и в этот миг Дантес кинется на него,

свяжет, заткнет ему рот, и оба узника, выбравшись через окно галереи, спустятся по наружной стене при помощи веревочной лестницы и убегут.

Дантес захлопал в ладоши, и глаза его заблистали радостью; план был так прост, что непременно должен был удаться.

В тот же день наши землекопы принялись за работу; они трудились тем более усердно, что этот труд следовал за долгим отдыхом и, по-видимому, отвечал заветному желанию каждого из них.

Они рыли без устали, бросая работу только в те часы, когда принуждены были возвращаться к себе и ждать посещения тюремщика. Впрочем, они научились уже издали различать его шаги, и ни одного из них ни разу не застали врасплох. Чтобы земля, вынутая из нового подкопа, не завалила старый, они выкидывали ее понемногу и с невероятными предосторожностями в окно камеры Дантеса или Фариа; ее тщательно измельчали в порошок, и ночной ветер уносил ее.

Более года ушло на эту работу, выполненную долотом, ножом и деревянным рычагом; весь этот год аббат продолжал учить Дантеса, говорил с ним то на одном, то на другом языке, рассказывал ему историю народов и тех великих людей, которые время от времени оставляют за собою блистательный след, называемый славою. К тому же аббат, как человек светский, принадлежавший к высшему обществу, в обращении своем сохранял какую-то грустную величавость; Дантес благодаря врожденной переимчивости сумел усвоить изящную учтивость, которой ему недоставало, и аристократические манеры, приобретаемые обычно только в общении с высшими классами или в обществе просвещенных людей.

Через пятнадцать месяцев проход был вырыт; под галереей была сделана выемка; можно было слышать шаги часового, расхаживавшего взад и вперед; и узники, вынужденные для успешности побега ждать темной и безлунной ночи, боялись одного: что земля не выдержит и сама прежде времени осыплется под ногами солдата. Чтобы предотвратить эту опасность, узники подставили подпорку, которую нашли в фундаменте.

Дантес как раз был занят этим, когда вдруг услышал, что аббат Фариа, остававшийся в его камере, где он обтачивал гвоздь, предназначенный для укрепления веревочной лестницы, зовет его испуганным голосом. Дантес поспешил к нему и увидел, что аббат стоит посреди камеры, бледный, в поту, с судорожно стиснутыми руками.

– Боже мой! – вскрикнул Дантес. – Что такое? Что с вами?

– Скорей, скорей! – сказал аббат. – Слушайте!

Дантес посмотрел на посеревшее лицо аббата, на его глаза, окруженные синевой, на белые губы, на взъерошенные волосы и в страхе выронил из рук долото.

– Что случилось? – воскликнул он.

– Я погиб! – сказал аббат. – Слушайте. Мною овладевает страшная, быть может, смертельная болезнь; припадок начинается, я чувствую; я уже испытал это за год до тюрьмы. Есть только одно средство против этой болезни, я назову вам его; бегите ко мне, поднимите ножку кровати, она полая, в ней вы найдете пузырек с красным настоем. Принесите его сюда... или, нет, нет, постойте! Меня могут застать здесь; помогите мне дотащиться к себе, пока у меня есть еще силы. Кто знает, что может случиться и сколько времени продолжится припадок.

Дантес не потерял присутствия духа, несмотря на страшное несчастье, обрушившееся на него; он спустился в подкоп, таща за собой бедного аббата; с неимоверными усилиями он довел больного до его камеры и уложил в постель.

– Благодарю, – сказал аббат, дрожа всем телом, как будто он только что вышел из холодной воды. – Припадок сейчас начнется, я буду в каталепсии; может быть, буду лежать без движения, не издавая ни единого стона, а может быть, на губах выступит пена, я буду корчиться и кричать. Сделайте так, чтобы не было слышно моих криков; это самое важное; иначе меня, чего доброго, переведут в другую камеру, и нас разлучат навеки. Когда вы увидите, что я застыл, окостенел, словом, все равно что мертвец, тогда – только тогда, слышите? – разожмите мне зубы ножом и влейте в рот десять капель настоя; и, может быть, я очнусь.

– Может быть? – скорбно воскликнул Дантес.

– Помогите! Помогите! – закричал аббат. – Я... я ум...

Припадок начался с такой быстротой и силой, что несчастный узник не успел даже кончить начатого слова. Тень мелькнула на его челе, быстрая и мрачная, как морская буря; глаза раскрылись, рот искривился, щеки побагровели; он бился, рычал, на губах выступила пена. Исполняя его приказание, Дантес зажал ему рот одеялом. Так продолжалось два часа. Наконец, бесчувственный, как камень, холодный и бледный, как мрамор, беспомощный, как растоптанная былинка, он забился в последних судорогах, потом вытянулся на постели и остался недвижим.

Эдмон ждал, пока эта мнимая смерть завладеет всем телом и оледенит самое сердце. Тогда он взял нож, просунул его между зубами, с величайшими усилиями разжал стиснутые челюсти, влил одну за другой десять капель красного настоя и стал ждать.

Прошел час, старик не шевелился. Дантес испугался, что ждал слишком долго, и смотрел на него с ужасом, схватившись за голову. Наконец, легкая краска показалась на щеках; в глазах, все время остававшихся открытыми и пустыми, мелькнуло сознание; легкий вздох вылетел из уст; старик пошевелился.

– Спасен! Спасен! – закричал Дантес.

Больной еще не мог говорить, но с явной тревогой протянул руку к двери. Дантес насторожился и услышал шаги тюремщика. Было уже семь часов, а Дантесу было не до того, чтобы следить за временем.

Эдмон бросился в подкоп, заложил за собою камень и очутился в своей камере.

Через несколько мгновений дверь отворилась, и тюремщик, как и всегда, увидел узника сидящим на постели.

Едва успел он выйти, едва затих шум его шагов, как Дантес, терзаемый беспокойством, забыв про обед, поспешил обратно и, подняв камень, воротился в камеру аббата.

Аббат пришел в чувство, но еще лежал пластом, совершенно обессиленный.

– Я уж думал, что больше не увижу вас, – сказал он Эдмону.

– Почему? – спросил тот. – Разве вы боялись умереть?

– Нет; но все готово к побегу, и я думал, что вы убежите.

Краска негодования залила щеки Дантеса.

– Без вас! – вскричал он. – Неужели вы в самом деле думали, что я на это способен?

– Теперь вижу, что ошибался, – сказал больной. – Ах, как я слаб, разбит, уничтожен!

– Не падайте духом, силы восстановятся, – сказал Дантес, садясь возле постели аббата и беря его за руки.

Аббат покачал головой.

– Последний раз, – сказал он, – припадок продолжался полчаса, после чего мне захотелось есть, и я встал без посторонней помощи, а сегодня я не могу пошевелить ни правой ногой, ни правой рукой; голова у меня тяжелая, что указывает на кровоизлияние в мозг. При третьем припадке меня разобьет паралич или я сразу умру.

– Нет, нет, успокойтесь, вы не умрете; третий припадок, если и будет, застанет вас на свободе. Тогда мы вас вылечим, как и в этот раз, и даже лучше; ведь у нас будет все необходимое.

– Друг мой, – отвечал старик, – не обманывайте себя; этот припадок осудил меня на вечное заточение: для побега надо уметь ходить...

– Так что ж? Мы подождем неделю, месяц, два месяца, если нужно; тем временем силы воротятся к вам; все готово к нашему побегу; мы можем сами выбрать день и час. Как только вы почувствуете, что можете плавать, мы тотчас же бежим.

– Мне уже больше не плавать, – отвечал Фариа, – эта рука парализована, и не на один день, а навсегда. Поднимите ее, и вы увидите, как она тяжела.

Дантес поднял руку больного; она упала, как камень. Он вздохнул.

– Теперь вы убедились, Эдмон? – сказал Фариа. – Верьте мне, я знаю, что говорю. С первого приступа моей болезни я не переставал думать о ней. Я ждал ее, потому что она у меня наследственная – мой отец умер при третьем припадке, дед тоже. Врач, который дал мне рецепт настоя, а это не кто иной, как знаменитый Кабанис, предсказал мне такую же участь.

– Врач ошибается, – воскликнул Дантес, – а паралич ваш не помешает нам: я возьму вас на плечи и поплыву вместе с вами.

– Дитя, – сказал аббат, – вы моряк, вы опытный пловец, стало быть, вы должны знать, что человек с такой ношей недалеко уплывет в море. Бросьте обольщать себя пустыми надеждами, которым не верит даже ваше доброе сердце. Я останусь здесь, пока не пробьет час моего освобождения, час смерти. А вы спасайтесь, бегите! Вы молоды, ловки и сильны; не считайтесь со мной, я возвращаю вам ваше честное слово.

– Хорошо, – сказал Дантес. – В таком случае и я остаюсь.

Он встал и торжественно простер руку над стариком:

– Клянусь кровью Христовой, что не оставлю вас до вашей смерти.

Фариа посмотрел на юношу, такого благородного, великодушного и безыскусственного, и на лице его, одушевленном самой чистой преданностью, прочел искренность его любви и чистосердечие его клятвы.

– Хорошо, – сказал больной, – я принимаю вашу жертву. Спасибо. – И он протянул Эдмону руку. – Быть может, ваша бескорыстная преданность будет вознаграждена, – сказал он, – но так как я не могу, а вы не хотите уйти отсюда, то нам надо заложить ход под галереей. Часовой может обратить внимание на гулкое место и позвать надзирателя; тогда все откроется, и нас разлучат. Ступайте, займитесь этим делом, в котором, к сожалению, я уже не могу вам помочь. Употребите на это всю ночь, если нужно, и возвращайтесь завтра утром после обхода. Мне нужно сказать вам нечто очень важное.

Дантес пожал руку аббату, который успокоил его улыбкой, и послушно и почтительно вышел от своего старого друга.

# XVIII. Сокровища аббата Фариа

Наутро, войдя в камеру своего товарища по заключению, Дантес застал аббата сидящим на постели. Лицо его было спокойно; луч солнца, проникавший через узкое окно, падал на клочок бумаги, который он держал в левой руке, – правой, как читатель помнит, он не владел; листок долго хранился в виде туго свернутой трубки и, вероятно, поэтому плохо раскручивался.

Аббат молча указал Дантесу на бумагу.

– Что это такое? – спросил Дантес.

– Посмотрите хорошенько, – отвечал аббат с улыбкой.

– Я смотрю во все глаза, – отвечал Дантес, – и вижу только обгоревшую бумажку, на которой какими-то странными чернилами написаны готические буквы.

– Эта бумага, друг мой, – сказал Фариа, – теперь я вам все могу открыть, ибо я испытал вас, – эта бумага – мое сокровище, половина которого, начиная с этой минуты, принадлежит вам.

Холодный пот выступил на лбу Дантеса. До сего дня он старался не говорить с аббатом об этом сокровище, из-за которого несчастный старик прослыл сумасшедшим; в силу врожденного такта Эдмон не хотел касаться этого больного места, сам Фариа тоже молчал; это молчание Эдмон принимал за возвращение рассудка. И вот теперь эти слова, вырвавшиеся у старика после тяжелого припадка, казалось, свидетельствовали о новом приступе душевного недуга.

– Ваше сокровище? – прошептал Дантес.

Фариа улыбнулся.

– Да, – отвечал он, – у вас благородная душа, Эдмон, и я понимаю по вашей бледности, по вашему трепету, что происходит в вас. Успокойтесь, я не сумасшедший. Это сокровище существует, Дантес, и если мне не дано было им владеть, то вы – вы будете владеть им. Никто не хотел ни слушать меня, ни верить мне, потому что все считали меня

сумасшедшим; но вы-то знаете, что я в полном разуме; так выслушайте меня, а потом верьте или не верьте, как хотите.

«Увы! – подумал Дантес. – Он опять сошел с ума; недоставало только этого несчастья!»

Потом прибавил вслух:

– Друг мой, припадок изнурил вас; не лучше ли вам отдохнуть? Завтра, если угодно, я выслушаю ваш рассказ, а сегодня мне хочется просто поухаживать за вами; к тому же, – прибавил он улыбаясь, – не такое уж для нас с вами спешное дело это сокровище!

– Очень спешное, Эдмон! – отвечал старик. – Кто знает, может быть, завтра или послезавтра случится третий припадок. Ведь тогда все будет кончено! Правда, я часто с горькой радостью думал об этих богатствах, которые могли бы составить счастье десяти семейств; они потеряны для тех, кто меня преследовал. Мысль эта была моим мщением, и я упивался ею во мраке тюрьмы. Но теперь, когда я простил миру ради любви к вам, теперь, когда я вижу в вас молодость и будущее, когда я думаю, какое счастье вам может принести моя тайна, я боюсь опоздать, боюсь лишить такого достойного владельца, как вы, обладания этим зарытым богатством.

Эдмон со вздохом отвернулся.

– Вы все еще не верите, Эдмон, – продолжал Фариа, – слова мои не убедили вас. Я вижу, вам нужны доказательства. Извольте. Прочтите эти строчки, которых я никогда никому не показывал.

– Завтра, друг мой, – отвечал Эдмон, не в силах потворствовать безумию старика. – Ведь мы условились поговорить об этом завтра.

– Говорить мы будем завтра, а записку прочтите сегодня.

«Не надо сердить его», – подумал Дантес. Он взял полусгоревший клочок бумаги и прочитал:

*в этих пещерах: клад зарыт в самом даль*
*каковой клад завещаю ему и отдаю в по*
*единственному моему наследнику.*

*25 апреля 149*

*Чез*

– Ну что? – спросил Фариа, когда Дантес кончил.

– Да тут только начала строчек, – отвечал Дантес, – слова без связи: половина сгорела, и смысл непонятен.

– Для вас, потому что вы читаете в первый раз, но не для меня, который просидел над этим клочком много ночей, воссоздал каждую фразу, каждую мысль.

– И вы полагаете, что восстановили утраченный смысл?

– Я в этом уверен; судите сами; но прежде выслушайте историю этого документа.

– Тише! – вскричал Дантес. – Шаги!.. Я ухожу!.. Прощайте!

Дантес, радуясь, что может уклониться от рассказа и от объяснения, которые только подтвердили бы ему сумасшествие его друга, скользнул, как змея, в подземный ход, а Фариа, собрав последние силы, толкнул ногою плиту и прикрыл ее рогожей, чтобы не заметили щелей, которых он не успел присыпать землей.

Вошел комендант; узнав от сторожа о болезни аббата, он пожелал сам взглянуть на него.

Фариа принял его сидя, избегая всякого неловкого движения, так что ему удалось скрыть от коменданта, что правая сторона его тела парализована. Он боялся, что комендант из сострадания к нему велит перевести его в другую, лучшую камеру и таким образом разлучит с его молодым товарищем. Но, к счастью, этого не случилось, и комендант удалился в полном убеждении, что у бедного безумца, к которому он в глубине души питал некоторую привязанность, просто легкое недомогание.

Тем временем Дантес, сидя на постели и опустив голову на руки, старался собраться с мыслями. За время своего знакомства с аббатом он видел столько доказательств ясного ума, глубочайшей рассудительности и логической последовательности, что не мог понять, каким образом

высочайшая мудрость может проявляться во всем и только относительно одного предмета уступать место помешательству. Кто заблуждается: Фариа, говоря о своем сокровище, или все, считая Фариа сумасшедшим?

Дантес просидел у себя весь день, не решаясь вернуться к своему другу. Он старался отдалить ту страшную минуту, когда он убедится, что Фариа – сумасшедший.

Вечером, после обычного обхода, не дождавшись Эдмона, Фариа сам попытался преодолеть разделявшее их расстояние. Эдмон услышал шорох и содрогнулся, представив себе мучительные усилия, с которыми полз разбитый параличом старик. Эдмон принужден был втащить его к себе, потому что старик никак не мог пролезть в узкое отверстие, ведшее в камеру Дантеса.

– Видите, с каким ожесточением я вас преследую, – сказал Фариа, ласково улыбаясь, – вы думали уклониться от моей щедрости, но это вам не удастся. Итак, слушайте.

Эдмон, видя, что иного выхода нет, посадил старика на свою кровать, а сам примостился возле него на табурете.

– Вам известно, – сказал аббат, – что я был секретарем, доверенным другом кардинала Спада, последнего представителя древнего рода. Этому достойному вельможе я обязан всем счастьем, которое я знал в жизни. Он не был богат, хотя богатства его рода стали притчей во языцех, и мне часто приходилось слышать выражение: «Богат, как Спада». И он, и молва жили за счет этих пресловутых богатств. Его дворец был раем для меня. Я учил его племянников, которые потом скончались, и когда он остался один на свете, то я отплатил ему беззаветной преданностью за все, что он для меня сделал в продолжение десяти лет.

В доме кардинала от меня не было тайн; не раз видел я, как он усердно перелистывает старинные книги и жадно роется в пыли фамильных рукописей. Когда я как-то упрекнул его за бесполезные бессонные ночи, после которых он впадал в болезненное уныние, он взглянул на меня с горькой улыбкой и раскрыл передо мною историю города Рима. В этой книге, в двадцатой главе жизнеописания папы

Александра Шестого, я прочел следующие строки, навсегда оставшиеся в моей памяти.

Походы в Романье закончились; Цезарь Борджиа, завершив свои завоевания, нуждался в деньгах, чтобы купить всю Италию. Папа тоже нуждался в деньгах, чтобы покончить с французским королем Людовиком Двенадцатым, все еще грозным, несмотря на понесенные им поражения. Необходимо было задумать выгодное дело, что становилось затруднительным в разоренной Италии.

Его святейшеству пришла счастливая мысль. Он решил назначить двух новых кардиналов.

Выбор двух римских вельмож, притом непременно богатых, давал святому отцу следующие выгоды: во-первых, он мог продать доходные места и высокие должности, занимаемые обоими будущими кардиналами; во-вторых, он мог надеяться на щедрую плату за две кардинальские шапки.

Оставалась еще третья сторона дела, о которой мы скоро узнаем.

Папа и Цезарь Борджиа наметили двух кардиналов: Джованни Роспильози, занимавшего четыре важнейшие должности при святейшем престоле, и Чезаре Спада, одного из благороднейших и богатейших вельмож Рима. Оба дорого ценили папскую милость. Оба были честолюбивы. Затем Цезарь Борджиа нашел покупателей на их должности.

Таким образом Роспильози и Спада заплатили за кардинальство, а еще восемь человек заплатили за должности, прежде занимаемые двумя новыми кардиналами. Сундуки ловких дельцов пополнились восемьюстами тысячами скудо.

Перейдем к третьей части сделки. Обласкав Роспильози и Спада, возложив на них знаки кардинальского звания и зная, что для уплаты весьма ощутимого долга благодарности и для переезда на жительство в Рим они должны обратить свои состояния в наличные деньги, папа, вкупе с Цезарем Борджиа, пригласил обоих кардиналов на обед.

По этому поводу между отцом и сыном завязался спор. Цезарь считал, что достаточно применить одно из тех средств, которые он всегда

держал наготове для своих ближайших друзей, а именно: пресловутый ключ, которым то одного, то другого просили отпереть некий шкаф. На ключе был крохотный железный шип – недосмотр слесаря. Каждый, кто трудился над тугим замком, накалывал себе палец и на другой день умирал. Был еще перстень с львиной головой, который Цезарь надевал, когда хотел пожать руку той или иной особе. Лев впивался в кожу этих избранных рук, и через сутки наступала смерть.

Поэтому Цезарь предложил отцу либо послать обоих кардиналов отпереть шкаф, либо дружески пожать руку обоим. Но Александр Шестой отвечал ему:

«Не поскупимся на обед ради достойнейших кардиналов Спада и Роспильози. Сдается мне, что мы вернем расходы. Притом ты забываешь, Цезарь, что несварение желудка сказывается тотчас же, а укол или укус действует только через день-два».

Цезарь согласился с таким рассуждением. Вот почему обоих кардиналов позвали обедать.

Стол накрыли в папских виноградниках возле Сан-Пьетро-ин-Винколи, в прелестном уголке, понаслышке знакомом кардиналам.

Роспильози, в восторге от своего нового звания и предвкушая пир, явился с самым веселым лицом. Спада, человек осторожный и очень любивший своего племянника, молодого офицера, подававшего блистательные надежды, взял лист бумаги, перо и написал свое завещание. Потом он послал сказать племяннику, чтобы тот ждал его у виноградников; но посланный, по-видимому, не застал того дома.

Спада знал, что значит приглашение на обед. С тех пор как христианство – глубоко цивилизующая сила – восторжествовало в Риме, уже не центурион являлся объявить от имени тирана: «Цезарь желает, чтобы ты умер», – а любезный легат с улыбкой говорил от имени папы: «Его святейшество желает, чтобы вы с ним отобедали».

В два часа дня Спада отправился на виноградники Сан-Пьетро-ин-Винколи; папа уже ждал его. Первый, кого он там увидел, был его племянник, разодетый и веселый; Цезарь Борджиа осыпал его ласками.

Спада побледнел, а Цезарь бросил на него насмешливый взгляд, давая понять, что он все предвидел и подстроил ловушку.

Сели обедать. Спада успел только спросить племянника: «Видел ты моего посланного?» Племянник отвечал, что нет, отлично понимая значение вопроса. Но было уже поздно; он успел выпить стакан превосходного вина, особо налитый ему папским чашником. В ту же минуту подали еще бутылку, из которой щедро угостили кардинала Спада. Через час врач объявил, что оба они отравились сморчками. Спада умер у входа в виноградник, а племянник скончался у ворот своего дома, пытаясь что-то сообщить своей жене, но она не поняла его.

Тотчас же Цезарь и папа захватили наследство под тем предлогом, что следует рассмотреть бумаги покойных. Но все наследство состояло из листа бумаги, на котором Спада написал: «Завещаю возлюбленному моему племяннику мои сундуки и книги, между коими мой молитвенник с золотыми углами, дабы он хранил его на память о любящем дяде».

Наследники все обыскали, полюбовались молитвенником, наложили руку на мебель, дивясь, что богач Спада оказался на поверку беднейшим из дядей. Сокровищ – ни следа, если не считать сокровищ знания, заключенных в библиотеке и лабораториях.

Больше не нашлось ничего. Цезарь и его отец искали, рылись, выведывали, но наскребли самую малость: золотых и серебряных вещей на какую-нибудь тысячу скудо и столько же наличных денег; но племянник успел сказать жене, возвратясь домой: «Ищите в бумагах дяди, там должно быть подлинное завещание».

Родня покойного принялась искать с еще большим усердием, быть может, чем державные наследники. Тщетно: ей достались два дворца да виноградники за Палатином. В те времена недвижимость ценилась дешево – оба дворца и виноградник остались во владении семейства покойного, как слишком ничтожные для алчности папы и его сына.

Прошли месяцы, годы. Александр Шестой, как известно, умер от яда благодаря ошибке; Цезарь, отравившийся вместе с ним, отделался тем, что, как змея, сбросил кожу и облекся в новую, на которой яд оставил

пятна, похожие на тигровые; наконец, вынужденный покинуть Рим, он бесславно погиб в какой-то ночной стычке, почти забытый историей.

После смерти папы, после изгнания его сына все ожидали, что фамилия Спада опять заживет по-княжески, как жила во времена кардинала Спада. Ничуть не бывало. Спада жили в сомнительном довольстве, вечная тайна тяготела над этим темным делом. Молва решила, что Цезарь, бывший похитрее отца, похитил у него наследство обоих кардиналов; говорю обоих, потому что кардинал Роспильози, не принявший никаких мер предосторожности, был ограблен до нитки.

– До сих пор, – сказал Фариа с улыбкой, прерывая свой рассказ, – вы не услышали ничего особенно безрассудного, правда?

– Напротив, – отвечал Дантес, – мне кажется, что я читаю занимательнейшую летопись. Продолжайте, прошу вас.

– Продолжаю.

Спада привыкли к безвестности. Прошли годы. Среди их потомков были военные, дипломаты; иные приняли духовный сан, иные стали банкирами; одни разбогатели, другие совсем разорились. Дохожу до последнего в роде, до того графа Спада, у которого и служил секретарем.

Он часто жаловался на несоответствие своего состояния с его положением; я посоветовал ему обратить все оставшееся у него небольшое имущество в пожизненную ренту; он последовал моему совету и удвоил свои доходы.

Знаменитый молитвенник остался в семье и теперь принадлежал графу Спада; он переходил от отца к сыну, превратившись, благодаря загадочной статье единственного обнаруженного завещания, в своего рода святыню, хранившуюся с суеверным благоговением. Это была книга с превосходными готическими миниатюрами и до такой степени отягченная золотом, что в торжественные дни ее нес перед кардиналом слуга.

Увидав всякого рода документы, акты, договоры, пергаменты, оставшиеся после отравленного кардинала и сохраняемые в семейном архиве, я тоже начал разбирать эти огромные связки бумаг, как их

разбирали до меня двадцать служителей, двадцать управляющих, двадцать секретарей. Несмотря на терпеливые и ревностные розыски, я ровно ничего не нашел. А между тем я много читал, я даже написал подробную, чуть ли не подневную историю фамилии Борджиа, только для того, чтобы узнать, не умножились ли их богатства со смертью моего Чезаре Спада, и нашел, что они пополнились только имуществом кардинала Роспильози, его товарища по несчастью.

Я был почти убежден, что наследство Спада не досталось ни его семье, ни Борджиа, а пребывает без владельца, как клады арабских сказок, лежащие в земле под охраной духа. Я изучал, подсчитывал, проверял тысячу раз приходы и расходы фамилии Спада за триста лет; все было напрасно: я оставался в неведении, а граф Спада в нищете.

Мой покровитель умер. Обращая имущество в пожизненную ренту, он оставил себе только семейный архив, библиотеку в пять тысяч томов и знаменитый молитвенник. Все это он завещал мне и еще тысячу римских скудо наличными, с условием, чтобы я каждый год служил заупокойную мессу по нему и составил родословное древо и историю его фамилии, что я и исполнил в точности...

Терпение, дорогой Эдмон, мы приближаемся к концу. В тысяча восемьсот седьмом году, за месяц до моего ареста и через две недели после смерти графа, двадцать пятого декабря (вы сейчас поймете, почему это число осталось в моей памяти), я в тысячный раз перечитывал бумаги, которые приводил в порядок. Дворец был продан, и я собирался переселиться из Рима во Флоренцию со всем моим имуществом, состоявшим из двенадцати тысяч ливров, библиотеки и знаменитого молитвенника. Утомленный усердной работой и чувствуя некоторую вялость после чрезмерно сытного обеда, я опустил голову на руки и заснул. Было три часа пополудни.

Когда я проснулся, часы били шесть.

Я поднял голову; кругом было совсем темно. Я позвонил, чтобы спросить огня, но никто не пришел. Тогда я решил помочь делу сам. К тому же мне следовало привыкать к образу жизни философа. Одной рукой я взял спичку, а другой, так как спичек в коробке не оказалось,

стал искать какую-нибудь бумажку, чтобы зажечь ее в камине, где еще плясал огонек; я боялся взять в темноте какой-нибудь ценный документ вместо бесполезного клочка бумаги, как вдруг вспомнил, что в знаменитом молитвеннике, который был тут же на столе, вместо закладки лежит пожелтевший листок, так благоговейно сохраненный наследниками. Я нащупал эту ненужную бумажку, скомкал ее и поднес к огню.

И вдруг, словно по волшебству, по мере того как разгорался огонь, на белой бумаге начали проступать желтоватые буквы; мне стало страшно: я сжал бумагу ладонями, погасил огонь, зажег свечку прямо в камине, с неизъяснимым волнением расправил смятый листок и убедился, что эти буквы написаны симпатическими чернилами, выступающими только при сильном нагревании. Огонь уничтожил более трети записки; это та самая, которую вы читали сегодня утром. Перечтите еще раз, Дантес, и, когда перечтете, я восполню пробелы и в словах, и в смысле.

И Фариа с торжеством подал листок Дантесу, который на этот раз с жадностью прочел следующие слова, написанные рыжими, похожими на ржавчину чернилами:

*Сего 25 апреля 1498 года, бу*
*Александром VI и опасаясь, что он, не*
*пожелает стать моим наследником и го*
*и Бентивольо, умерших от яда,*
*единственному моему наследнику, что я зар*
*ибо он посещал его со мною, а именно в*
*ка Монте-Кристо, все мои зол*
*ни, алмазы и драгоценности; что один я*
*ценностью до двух мил*
*найдет его под двадцатой ска*
*малого восточного залива по прямой линии. Два отв*
*в этих пещерах; клад зарыт в самом даль*
*каковой клад завещаю ему и отдаю в по*
*единственному моему наследнику.*

*25 апреля 149*

*Чез*

– А теперь, – сказал аббат, – прочтите вот это. И он протянул Дантесу другой листок. Дантес взял его и прочел:

*дучи приглашен к обеду его святейшеством*
*довольствуясь платою за кардинальскую шапку,*
*товит мне участь кардиналов Каприра*
*объявляю племяннику моему Гвидо Спада,*
*ыл в месте, ему известном,*
*пещерах остров-*
*отые слитки, монеты, кам-*
*знаю о существовании этого клада,*
*лионов римских скудо, и что он*
*лой, если идти от*
*ерстия вырыты*
*нем углу второго отверстия;*
*лную собственность, как*

*8 года*

*аре Спада».*

Фариа следил за ним пылающим взглядом.

– Теперь, – сказал он, видя, что Дантес дошел до последней строки, – сложите оба куска и судите сами.

Дантес повиновался; из соединенных кусков получилось следующее:

*«Сего 25 апреля 1498 года, бу…дучи приглашен к обеду его святейшеством Александром VI и опасаясь, что он, не… довольствуясь платою за кардинальскую шапку, пожелает стать моим наследником и го…товит мне участь кардиналов Каприра и Бентивольо, умерших от яда… объявляю племяннику моему Гвидо*

*Спада, единственному моему наследнику, что я зар…ыл в месте, ему известном, ибо он посещал его со мною, а именно в… пещерах островка Монте-Кристо, все мои зол…отые слитки, монеты, камни, алмазы и драгоценности, что один я… знаю о существовании этого клада, ценностью до двух мил…лионов римских скудо, и что он найдет его под двадцатой ска…лой, если идти от малого восточного залива по прямой линии. Два отв…ерстия вырыты в этих пещерах: клад зарыт в самом даль…нем углу второго отверстия; каковой клад завещаю ему и отдаю в по…лную собственность, как единственному моему наследнику.*

*25 апреля 149…8 года.*

*Чез…аре Спада».*

– Понимаете теперь? – спросил Фариа.

– Это заявление кардинала Спада и завещание, которое так долго искали? – отвечал Эдмон, все еще не вполне убежденный.

– Да, тысячу раз да.

– Кто же восстановил его?

– Я. По уцелевшему отрывку я разгадал остальное, соразмеряя длину строк с шириной бумаги, проникая в скрытый смысл по смыслу видимому, как отыскиваешь путь в подземелье по слабому свету, падающему сверху.

– И что же вы сделали, когда у вас не осталось сомнений?

– Я тотчас же отправился в путь, захватив с собою начатое мною большое сочинение о едином итальянском королевстве; но императорская полиция уже давно следила за мной; в то время Наполеон стремился к разобщению провинций, в противоположность тому, чего он пожелал впоследствии, когда у него родился сын. Спешный отъезд мой, причину которого никто не знал, возбудил подозрение, и в ту минуту, как я садился на корабль в Пьомбино, меня арестовали.

– Теперь, – продолжал Фариа, взглянув на Дантеса с почти отеческой нежностью, – теперь, друг мой, вы знаете столько же, сколько я. Если мы

когда-нибудь бежим вместе, то половина моего сокровища принадлежит вам; если я умру здесь и вы спасетесь один, оно принадлежит вам целиком.

– Однако, – возразил Дантес нерешительно, – нет ли у этого клада более законного владельца, чем мы?

– Нет, нет, будьте спокойны, вся семья вымерла; притом последний граф Спада назначил меня своим наследником; завещав мне этот знаменательный молитвенник, он тем самым завещал мне все, что в нем содержалось. Если это богатство достанется нам, мы можем пользоваться им со спокойной совестью.

– И вы говорите, что этот клад оценивается в...

– Два миллиона римских скудо, около тринадцати миллионов на наши деньги.

– Не может быть! – вскричал Дантес, устрашенный огромностью суммы.

– Почему же не может быть? – сказал старик – Род Спада был один из древнейших и могущественнейших в пятнадцатом веке. Притом же в те времена, когда не было ни крупных денежных сделок, ни промышленности, такие накопления золота и драгоценностей не были редкостью; и теперь еще в Риме есть семьи, которые умирают с голоду, обладая миллионом в алмазах и драгоценных камнях, составляющих наследственный майорат, к которому они не смеют прикоснуться.

Эдмону казалось, что он видит сон; он колебался между неверием и радостью.

– Я долго хранил от вас эту тайну, – продолжал Фариа, – потому, во-первых, что хотел вас испытать, а во-вторых, потому, что хотел изумить вас. Если бы мы бежали до моего припадка, я бы вас повез на Монте-Кристо. Теперь, – прибавил он со вздохом, – вы повезете меня. Что же, Дантес, вы меня не благодарите?

– Это сокровище принадлежит вам, друг мой, – сказал Дантес, – оно принадлежит вам одному, я не имею на него никакого права; я не ваш родственник.

– Вы мой сын, Дантес! – воскликнул старик. – Вы дитя моей неволи! Мой сан обрек меня на безбрачие; бог послал мне вас, чтобы утешить человека, который не мог стать отцом, и узника, который не мог стать свободным.

И Фариа протянул Эдмону здоровую руку; тот со слезами обнял старика.

# XIX. Третий припадок

Теперь, когда это сокровище, бывшее столь долгое время предметом размышлений аббата Фариа, могло осчастливить того, кого он полюбил, как родного сына, оно стало вдвое дороже его сердцу; ежедневно он говорил об этом несметном богатстве, рисовал Дантесу, сколько добра в современном мире можно сделать своим друзьям, обладая состоянием в тринадцать-четырнадцать миллионов; тогда лицо Дантеса омрачалось; он вспоминал о страшной клятве, которой он поклялся самому себе, и думал, сколько в современном мире, имея тринадцать или четырнадцать миллионов, можно сделать зла своим врагам.

Аббат не знал острова Монте-Кристо, но Дантес знал его; он часто проходил мимо этого острова, лежащего в двадцати пяти милях от Пианозы, между Корсикой и Эльбой, и как-то раз даже останавливался там. Остров Монте-Кристо всегда был, да и теперь еще остается пустынным и необитаемым; это утес почти конической формы, по-видимому, поднятый из морских глубин на поверхность вулканическим потрясением. Дантес чертил аббату план острова, а Фариа давал Дантесу советы, каким способом отыскать клад.

Но Дантес далеко не был так увлечен, как старый аббат, а главное, не разделял его уверенности. Конечно, теперь он знал, что Фариа отнюдь не сумасшедший, и находчивость, благодаря которой аббат сделал открытие, создавшее ему славу помешанного, только увеличивала восхищение Дантеса; но в то же время ему не верилось, чтобы этот клад, пусть он даже когда-нибудь и был, существовал еще и теперь; если он не считал его вымышленным, то, во всяком случае, считал его исчезнувшим.

Между тем словно судьба хотела лишить узников последней надежды и дать им понять, что они осуждены на вечное заключение, их постигло новое несчастье: наружную галерею, давно угрожавшую обвалом, перестроили; починили фундамент и заложили огромными камнями отверстие, уже наполовину заваленное Дантесом. Не прими он этой предосторожности, которую, как мы помним, ему посоветовал аббат, их

постигла бы еще большая беда: их приготовления к побегу были бы обнаружены и их, несомненно, разлучили бы. Итак, за ними захлопнулась новая дверь, еще более прочная и неумолимая, чем все прежние.

– Вот видите, – с тихой грустью говорил Дантес аббату, – богу угодно, чтобы даже в моей преданности вам не было моей заслуги. Я обещал вам навсегда остаться с вами и теперь поневоле должен сдержать свое слово. Клад не достанется ни мне, ни вам, и мы никогда отсюда не выйдем. Впрочем, истинный клад, дорогой друг, это не тот, который ждал меня под темными скалами Монте-Кристо; это – ваше присутствие, это наше общение по пять, по шесть часов в день, вопреки нашим тюремщикам, это те лучи знания, которыми вы озарили мой ум, это чужие наречия, которые вы насадили в моей памяти и которые разрастаются в ней всеми своими филологическими разветвлениями; это науки, ставшие для меня такими доступными благодаря глубине ваших познаний и ясности принципов, к которым вы их свели. Вот мое сокровище, дорогой друг, вот чем вы дали мне и богатство, и счастье. Поверьте мне и утешьтесь, это больше на благо мне, нежели бочки с золотом и сундуки с алмазами, даже если бы они не были призрачны, как те облака, которые ранним утром носятся над поверхностью моря и кажутся твердою землею, но испаряются и исчезают по мере приближения к ним. Быть подле вас как можно долее, слушать ваш проникновенный голос, просвещать свой ум, закалять душу, готовить себя к свершению великих и грозных деяний, – если мне суждено когда-нибудь вырваться на свободу, навсегда покончить с отчаянием, которому я предавался до знакомства с вами, – вот мое богатство; оно не призрачно; этим подлинным богатством я обязан вам, и все властители мира, будь они цезарями Борджиа, не отнимут его у меня.

Итак, время потекло для двух несчастных узников если не счастливо, то по крайней мере довольно быстро. Фариа, столько лет молчавший о своем сокровище, теперь не переставал говорить о нем. Как он и предвидел, его правая рука и нога остались парализованными, и он почти потерял надежду самому воспользоваться кладом; но он по-

прежнему мечтал, что его младший товарищ будет выпущен из тюрьмы или сумеет бежать, и радовался за него. Опасаясь, как бы записка как-нибудь не затерялась или не пропала, он заставил Дантеса выучить ее наизусть, и Дантес знал ее на память от первого слова до последнего. Тогда он уничтожил вторую половину записки, будучи уверен, что если бы даже нашли первую половину, то смысла ее не разберут. Иногда Фариа по целым часам давал Дантесу наставления, которые могли быть ему полезны впоследствии в случае освобождения; с первого же дня, с первого часа, с первого мгновения свободы Дантесом должна была владеть одна-единственная мысль – во что бы то ни стало добраться до Монте-Кристо, не возбуждая подозрений, остаться там одному под каким-нибудь предлогом, постараться отыскать волшебные пещеры и начать рыть в указанном месте. Указанным местом, как мы помним, был самый отдаленный угол второго отверстия.

Между тем время проходило не то чтобы незаметно, но во всяком случае сносно. Фариа, как мы уже говорили, хоть и был разбит параличом, снова обрел прежнюю ясность ума и мало-помалу научил своего молодого товарища, кроме отвлеченных наук, о которых уже шла речь, тому терпеливому и высокому искусству узника, которое состоит в том, чтобы делать что-нибудь из ничего. Они постоянно были чем-нибудь заняты, Фариа – страшась старости, Дантес – чтобы не вспоминать о своем прошлом, почти угасшем и мерцавшем в глубине его памяти лишь как далекий огонек, затерянный в ночи. И жизнь их походила на жизнь людей, устоявших перед несчастьем, которая течет спокойно и размеренно под оком провидения.

Но под этим наружным спокойствием в сердце юноши, а быть может, и в сердце старика таились насильно сдерживаемые душевные порывы; быть может, подавленный стон вырывался у них из груди, когда Фариа оставался один и Эдмон возвращался в свою камеру.

Однажды ночью Эдмон внезапно проснулся; ему почудилось, что кто-то зовет его. Напрягая зрение, он пытался проникнуть в ночной мрак.

Он услышал свое имя или, вернее, жалобный голос, силившийся произнести его.

Он приподнялся на кровати и, похолодев от страха, начал прислушиваться. Сомнения не было: стон доносился из подземелья аббата.

– Великий боже! – прошептал Дантес. – Неужели?..

Он отодвинул кровать, вынул камень, бросился в подкоп и дополз до противоположного конца: плита была поднята.

При тусклом свете самодельной плошки, о которой мы уже говорили, Эдмон увидел старика: он был мертвенно-бледен и едва стоял на ногах, держась за кровать. Черты его лица были обезображены теми зловещими признаками, которые были уже знакомы Эдмону и которые так испугали его, когда он увидел их в первый раз.

– Вы понимаете, друг мой, – коротко произнес Фариа. – Мне не нужно объяснять вам.

Эдмон застонал и, обезумев от горя, бросился к двери с криком:

– Помогите! Помогите!

У Фариа хватило сил удержать его за руку.

– Молчите! – сказал он. – Не то вы погибли. Будем думать только о вас, мой друг, о том, как бы сделать сносным ваше заключение или возможным ваш побег. Вам потребовались бы годы, чтобы сделать заново все то, что я здесь сделал и что тотчас же будет уничтожено, если наши тюремщики узнают о нашем общении. Притом же не тревожьтесь, друг мой; камера, которую я покидаю, не останется долго пустой; другой несчастный узник заступит мое место. Этому другому вы явитесь, как ангел-избавитель. Он, может быть, будет молод, силен и терпелив, как вы, он сумеет помочь вам бежать, между тем как я только мешал вам. Вы уже не будете прикованы к полутрупу, парализующему все ваши движения. Положительно, бог наконец вспомнил о вас; он дает вам больше, чем отнимает, и мне давно пора умереть.

В ответ Эдмон только сложил руки и воскликнул:

– Друг мой, замолчите, умоляю вас!

Потом, оправившись от внезапного удара и вернув себе твердость духа, которой слова старика лишили его, он воскликнул:

– Я спас вас однажды, спасу и в другой раз!

Он приподнял ножку кровати и достал оттуда склянку, еще на одну треть наполненную красным настоем.

– Смотрите, – сказал он, – вот он – спасительный напиток! Скорей, скорей скажите мне, что надо делать. Дайте мне указания! Говорите, мой друг, я слушаю.

– Надежды нет, – отвечал Фариа, качая головой, – но все равно: богу угодно, чтобы человек, которого он создал и в сердце которого он вложил столь сильную любовь к жизни, делал все возможное для сохранения этого существования, порой столь тягостного, но неизменно столь драгоценного.

– Да, да, – воскликнул Дантес, – я вас спасу!

– Пусть так! Я уже холодею; я чувствую, что кровь приливает к голове; эта дрожь, от которой у меня стучат зубы и ноют кости, охватывает меня всего: через пять минут начнется припадок, через четверть часа я стану трупом.

– Боже! – вскричал Дантес в душевной муке.

– Поступите, как в первый раз, только не ждите так долго. Все мои жизненные силы уже истощены, и смерти, – продолжал он, показывая на свою руку и ногу, разбитые параличом, – остается только половина работы. Влейте мне в рот двенадцать капель этой жидкости вместо десяти и, если вы увидите, что я не прихожу в себя, влейте все остальное. Теперь помогите мне лечь, я больше не могу держаться на ногах.

Эдмон взял старика на руки и уложил на кровать.

– Друг мой, – сказал Фариа, – вы единственная отрада моей загубленной жизни, отрада, которую небо послало мне, хоть и поздно, но все же послало, – я благодарю его за этот неоценимый дар и, расставаясь с вами навеки, желаю вам всего того счастья и благополучия, которых вы достойны. Сын мой, благословляю тебя!

Дантес упал на колени и приник головой к постели старика.

– Но прежде всего выслушайте внимательно, что я вам скажу в эти последние минуты: сокровище кардинала Спада существует. По милости божьей для меня нет больше ни расстояний, ни препятствий. Я вижу его

отсюда в глубине второй пещеры; взоры мои проникают в недра земли и видят ослепительные богатства. Если вам удастся бежать, то помните, что бедный аббат, которого все считали сумасшедшим, был вовсе не безумец. Спешите на Монте-Кристо, овладейте нашим богатством, насладитесь им, вы довольно страдали.

Судорога оборвала речь старика. Дантес поднял голову и увидел, что глаза аббата наливаются кровью. Казалось, кровавая волна хлынула от груди к голове.

– Прощайте! Прощайте! – прошептал старик, схватив Эдмона за руку. – Прощайте!

– Нет! Нет! – воскликнул тот. – Не оставь нас, господи боже мой, спаси его!.. Помогите!.. Помогите!..

– Тише, тише! – пролепетал умирающий. – Молчите, а то нас разлучат, если вы меня спасете!

– Вы правы. Будьте спокойны, я спасу вас! Хоть вы очень страдаете, но, мне кажется, меньше, чем в первый раз.

– Вы ошибаетесь: я меньше страдаю потому, что во мне осталось меньше сил для страдания. В ваши лета верят в жизнь, верить и надеяться – привилегия молодости. Но старость яснее видит смерть. Вот она!.. Подходит!.. Кончено!.. В глазах темнеет!.. Рассудок мутится!.. Вашу руку, Дантес!.. Прощайте!.. Прощайте!.. – И, собрав остаток своих сил, он приподнялся в последний раз. – Монте-Кристо! – произнес он. – Помните – Монте-Кристо! – И упал на кровать.

Припадок был ужасен: сведенные судорогой члены, вздувшиеся веки, кровавая пена, бесчувственное тело – вот что осталось на этом ложе страданий от разумного существа, лежавшего на нем за минуту перед тем.

Дантес взял плошку и поставил ее у изголовья постели на выступавший из стены камень; мерцающий свет бросал причудливый отблеск на искаженное лицо и бездыханное, оцепеневшее тело.

Устремив на него неподвижный взор, Дантес бестрепетно ждал той минуты, когда надо будет применить спасительное средство.

Наконец он взял нож, разжал зубы, которые поддались легче, чем в прошлый раз, отсчитал двенадцать капель и стал ждать; в склянке оставалось еще почти вдвое против того, что он вылил.

Он прождал десять минут, четверть часа, полчаса, – Фариа не шевелился. Дрожа всем телом, чувствуя, что волосы у него встали дыбом и лоб покрылся испариной, Дантес считал секунды по биению своего сердца.

Тогда он решил, что настало время испытать последнее средство; он поднес склянку к посиневшим губам аббата и влил в раскрытый рот весь остаток жидкости.

Снадобье произвело гальваническое действие: страшная дрожь потрясла члены старика, глаза его дико раскрылись, он испустил вздох, похожий на крик, потом мало-помалу трепещущее тело снова стало неподвижным.

Только глаза остались открытыми.

Прошло полчаса, час, полтора часа. В продолжение этих мучительных полутора часов Эдмон, склонившись над своим другом и приложив руку к его сердцу, чувствовал, как тело аббата холодеет и биение сердца замирает, становясь все глуше и невнятнее.

Наконец все кончилось; сердце дрогнуло в последний раз, лицо посинело; глаза остались открытыми, но взгляд потускнел.

Было шесть часов утра, заря занималась, и бледные лучи солнца, проникая в камеру, боролись с тусклым пламенем плошки. Отблески света скользили по лицу мертвеца и порой казалось, что оно живое. Пока продолжалась эта борьба света с мраком, Дантес мог еще сомневаться, но когда победил свет, он понял, что перед ним лежит труп.

Тогда неодолимый ужас овладел им; он не смел пожать эту руку, свесившуюся с постели, не смел взглянуть в эти белые и неподвижные глаза, которые он тщетно пытался закрыть. Он погасил плошку, тщательно спрятал ее и бросился прочь, задвинув как можно лучше плиту над своей головой.

К тому же медлить было нельзя; скоро должен был явиться тюремщик.

На этот раз он начал обход с Дантеса; от него он намеревался идти к аббату, которому нес завтрак и белье.

Впрочем, ничто не указывало, чтобы он знал о случившемся. Он вышел.

Тогда Дантес почувствовал непреодолимое желание узнать, что произойдет в камере его бедного друга; он снова вошел в подземный ход и услышал возгласы тюремщика, звавшего на помощь.

Вскоре пришли другие тюремщики; потом послышались тяжелые и мерные шаги, какими ходят солдаты, даже когда они не в строю. Вслед за солдатами вошел комендант.

Эдмон слышал скрип кровати, на которой переворачивали тело. Он слышал, как комендант велел спрыснуть водой лицо мертвеца и, видя, что узник не приходит в себя, послал за врачом.

Комендант вышел, и до Эдмона донеслись слова сожаления вместе с насмешками и хохотом.

– Ну вот, – говорил один, – сумасшедший отправился к своим сокровищам; счастливого пути!

– Ему не на что будет при всех своих миллионах купить саван, – говорил другой.

– Саваны в замке Иф стоят недорого, – возразил третий.

– Может быть, ради него пойдут на кое-какие издержки – все-таки духовное лицо.

– В таком случае его удостоят мешка.

Эдмон слушал, не пропуская ни слова, но понял из всего этого немного. Вскоре голоса умолкли, и ему показалось, что все вышли из камеры.

Однако он не осмелился войти – там могли оставить тюремщика караулить мертвое тело.

Поэтому он остался на месте и продолжал слушать, не шевелясь и затаив дыхание.

Через час снова послышался шум.

В камеру возвратился комендант в сопровождении врача и нескольких офицеров.

На минуту все смолкло. Очевидно, врач подошел к постели и осматривал труп.

Потом начались расспросы.

Врач, освидетельствовав узника, объявил, что он мертв.

В вопросах и ответах звучала небрежность, возмутившая Дантеса. Ему казалось, что все должны чувствовать к бедному аббату хоть долю той сердечной привязанности, которую он сам питал к нему.

– Я очень огорчен, – сказал комендант в ответ на заявление врача, что старик умер, – это был кроткий и безобидный арестант, который всех забавлял своим сумасшествием, а главное, за ним легко было присматривать.

– За ним и вовсе не нужно было смотреть, – вставил тюремщик. – Он просидел бы здесь пятьдесят лет и, ручаюсь вам, ни разу не попытался бы бежать.

– Однако, – сказал комендант, – мне кажется, что, несмотря на ваше заверение, – не потому, чтобы я сомневался в ваших познаниях, но для того, чтобы не быть в ответе, – нужно удостовериться, что арестант в самом деле умер.

Наступила полная тишина; Дантес, прислушиваясь, решил, что врач еще раз осматривает и ощупывает тело.

– Вы можете быть спокойны, – сказал наконец доктор, – он умер, ручаюсь вам за это.

– Но вы знаете, – возразил комендант, – что в подобных случаях мы не довольствуемся одним осмотром; поэтому, несмотря на видимые признаки, благоволите исполнить формальности, предписанные законом.

– Ну что же, раскалите железо, – сказал врач, – но, право же, это излишняя предосторожность.

При этих словах о раскаленном железе Дантес вздрогнул.

Послышались торопливые шаги, скрип двери, снова шаги, и через несколько минут тюремщик сказал:

– Вот жаровня и железо.

Снова наступила тишина; потом послышался треск прижигаемого тела, и тяжелый, отвратительный запах проник даже сквозь стену, за которой

притаился Дантес. Почувствовав запах горелого человеческого мяса, Эдмон весь покрылся холодным потом, и ему показалось, что он сейчас потеряет сознание.

– Теперь вы видите, что он мертв, – сказал врач. – Прижигание пятки – самое убедительное доказательство. Бедный сумасшедший излечился от помешательства и вышел из темницы.

– Его звали Фариа? – спросил один из офицеров, сопровождавших коменданта.

– Да, и он уверял, что это старинный род. Впрочем, это был человек весьма ученый и довольно разумный во всем, что не касалось его сокровища. Но в этом пункте, надо сознаться, он был несносен.

– Это болезнь, которую мы называем мономанией, – сказал врач.

– Вам никогда не приходилось жаловаться на него? – спросил комендант у тюремщика, который носил аббату пищу.

– Никогда, господин комендант, – отвечал тюремщик, – решительно никогда; напротив того, сначала он очень веселил меня, рассказывал разные истории; а когда жена моя заболела, он даже прописал ей лекарство и вылечил ее.

– Вот как! – сказал врач. – Я и не знал, что имею дело с коллегой. Надеюсь, господин комендант, – прибавил он смеясь, – что вы обойдетесь с ним поучтивее.

– Да, да, будьте спокойны, он будет честь честью зашит в самый новый мешок, какой только найдется. Вы удовлетворены?

– Прикажете сделать это при вас, господин комендант? – спросил тюремщик.

– Разумеется. Но только поскорее, не торчать же мне целый день в этой камере.

Снова началась ходьба взад и вперед; вскоре Дантес услышал шуршание холстины, кровать заскрипела, послышались грузные шаги человека, поднимающего тяжесть, потом кровать опять затрещала.

– До вечера, – сказал комендант.

– Отпевание будет? – спросил один из офицеров.

– Это невозможно, – отвечал комендант. – Тюремный священник отпросился у меня вчера на неделю в Гьер. Я на это время поручился ему за своих арестантов. Если бы бедный аббат не так спешил, то его отпели бы как следует.

– Не беда, – сказал врач со свойственным людям его звания вольнодумством, – он особа духовная; господь бог уважит его сан и не доставит аду удовольствие заполучить священника.

Громкий хохот последовал за этой пошлой шуткой.

Тем временем тело укладывали в мешок.

– До вечера! – повторил комендант, когда все кончилось.

– В котором часу? – спросил тюремщик.

– Часов в десять, в одиннадцать.

– Оставить караульного у тела?

– Зачем? Заприте его, как живого, вот и все.

Затем шаги удалились, голоса стали глуше, послышались резкий скрип замыкаемой двери и скрежет засовов; угрюмая тишина, тишина уже не одиночества, а смерти объяла все, вплоть до оледеневшей души Эдмона.

Тогда он медленно приподнял плиту головой и бросил в камеру испытующий взгляд.

Она была пуста. Дантес вышел из подземного хода.

# XX. Кладбище замка Иф

На кровати, в тусклом свете туманного утра, проникавшем в окошко тюрьмы, лежал мешок из грубой холстины, под складками которого смутно угадывались очертания длинного, неподвижного тела: это и был саван аббата, который, по словам тюремщиков, так дешево стоил.

Итак, все было кончено. Дантес физически был уже разлучен со своим старым другом. Он уже не мог ни видеть его глаза, оставшиеся открытыми, словно для того, чтобы глядеть по ту сторону смерти, ни пожать его неутомимую руку, которая приподняла перед ним завесу, скрывавшую тайны мира. Фариа, отзывчивый, опытный товарищ, к которому он так сильно привязался, существовал только в его воспоминаниях. Тогда он сел у изголовья страшного ложа и предался горькой, безутешной скорби.

Один! Снова один! Снова окружен безмолвием, снова лицом к лицу с небытием!

Один! Уже не видеть, не слышать единственного человека, который привязывал его к жизни! Не лучше ли, подобно Фариа, спросить у бога разгадку жизни, хотя бы для этого пришлось пройти через страшную дверь страданий?

Мысль о самоубийстве, изгнанная другом, отстраняемая его присутствием, снова возникла, точно призрак, у тела Фариа.

– Если бы я мог умереть, – сказал он, – я последовал бы за ним и, конечно, увидел бы его. Но как умереть? Ничего нет легче, – продолжал он усмехнувшись. – Я останусь здесь, брошусь на первого, кто войдет, задушу его, и меня казнят.

Но в сильных горестях, как и при сильных бурях, пропасть лежит между двумя гребнями волн; Дантес ужаснулся позорной смерти и вдруг перешел от отчаяния к неутолимой жажде жизни и свободы.

– Умереть? Нет! – воскликнул он. – Не стоило столько жить, столько страдать, чтобы теперь умереть! Умереть! Я мог бы это сделать прежде, много лет тому назад, когда я решился; но теперь я не желаю играть на

руку моей злосчастной судьбе. Нет, я хочу жить; хочу бороться до конца; хочу отвоевать счастье, которое у меня отняли! Прежде чем умереть, я должен наказать моих палачей и, может быть, – кто знает? – наградить немногих друзей. Но меня забыли здесь, в моей тюрьме, и я выйду только так, как Фариа.

При этих словах он замер, глядя прямо перед собой, как человек, которого осенила внезапная мысль, но мысль страшная. Он вскочил, прижал руку ко лбу, словно у него закружилась голова, прошелся по камере и снова остановился у кровати.

– Кто внушил мне эту мысль? – прошептал он. – Не ты ли, господи? Если только мертвецы выходят отсюда, займем место мертвеца.

И, стараясь не думать, торопливо, чтобы размышление не успело помешать безрассудству отчаяния, он наклонился, распорол страшный мешок ножом аббата, вытащил труп из мешка, перенес его в свою камеру, положил на свою кровать, обернул ему голову тряпкой, которой имел обыкновение повязываться, накрыл его своим одеялом, поцеловал последний раз холодное чело, попытался закрыть упрямые глаза, которые по-прежнему глядели страшным, бездумным взглядом, повернул мертвеца лицом к стене, чтобы тюремщик, когда принесет ужин, подумал, что узник лег спать: потом спустился в подземный ход, придвинул кровать к стене, вернулся в камеру аббата, достал из тайника иголку с ниткой, снял с себя свое рубище, чтобы под холстиною чувствовалось голое тело, влез в распоротый мешок, принял в нем то же положение, в каком находился труп, и заделал шов изнутри.

Если бы на беду в эту минуту кто-нибудь вошел, стук сердца выдал бы Дантеса.

Он мог бы подождать и сделать все это после вечернего обхода. Но он боялся, как бы комендант не передумал и не велел вынести труп раньше назначенного часа. Тогда рухнула бы его последняя надежда.

Так или иначе – решение было принято.

План его был таков.

Если по пути на кладбище могильщики догадаются, что они несут живого человека, Дантес, не давая им опомниться, сильным ударом ножа

распорет мешок сверху донизу, воспользуется их смятением и убежит. Если они захотят схватить его, он пустит в дело нож.

Если они отнесут его на кладбище и опустят в могилу, то он даст засыпать себя землей; так как это будет происходить ночью, то, едва могильщики уйдут, он разгребет рыхлую землю и убежит. Он надеялся, что тяжесть земли будет не настолько велика, чтобы он не мог поднять ее. Если же окажется, что он ошибся, если земля будет слишком тяжела, то он задохнется и тем лучше: все будет кончено.

Дантес не ел со вчерашнего дня, но утром он не чувствовал голода, да и теперь не думал о нем. Положение его было так опасно, что он не имел времени сосредоточиться ни на чем другом.

Первая опасность, которая грозила Дантесу, заключалась в том, что тюремщик, войдя с ужином в семь часов вечера, заметит подмену. К счастью, уже много раз то от тоски, то от усталости Дантес дожидался ужина лежа; в таких случаях тюремщик обыкновенно ставил суп и хлеб на стол и уходил, не говоря ни слова.

Но на этот раз тюремщик мог изменить своей привычке, заговорить с Дантесом и, видя, что Дантес не отвечает, подойти к постели и обнаружить обман.

Чем ближе к семи часам, тем сильнее становился страх Дантеса. Прижав руку к сердцу, он старался умерить его биение, а другой рукой вытирал пот, ручьями струившийся по лицу. Иногда дрожь пробегала по его телу, и сердце сжималось, как в ледяных тисках. Ему казалось, что он умирает. Но время шло, в замке было тихо, и Дантес понял, что первая опасность миновала. Это было хорошим предзнаменованием. Наконец, в назначенный комендантом час на лестнице послышались шаги. Эдмон понял, что долгожданный миг настал; он собрал все свое мужество и затаил дыхание; он горько сожалел, что не может, подобно дыханию, удержать стремительное биение своего сердца.

Шаги остановились у дверей. Дантес различил двойной топот ног и понял, что за ним пришли два могильщика. Эта догадка превратилась в уверенность, когда он услышал стук поставленных на пол носилок.

Дверь отворилась, сквозь покрывавшую его холстину Дантес различил две тени, подошедшие к его кровати. Третья остановилась у дверей, держа в руках фонарь. Могильщики взялись за мешок, каждый за свой конец.

– Такой худой старичишка, а не легонький, – сказал один из них, поднимая Дантеса за голову.

– Говорят, что каждый год в костях прибавляется полфунта весу, – сказал другой, беря его за ноги.

– Узел приготовил? – спросил первый.

– Зачем нам тащить лишнюю тяжесть? – отвечал второй. – Там сделаю.

– И то правда; ну, идем.

«Что это за узел?» – подумал Дантес.

Мнимого мертвеца сняли с кровати и понесли к носилкам. Эдмон напрягал мышцы, чтобы больше походить на окоченевшее тело. Его положили на носилки, и шествие, освещаемое сторожем с фонарем, двинулось по лестнице.

Вдруг свежий и терпкий ночной воздух обдал Дантеса; он узнал мистраль. Это внезапное ощущение было исполнено наслаждения и мучительной тревоги.

Носильщики прошли шагов двадцать, потом остановились и поставили носилки на землю.

Один из них отошел в сторону, и Дантес услышал стук его башмаков по плитам.

«Где я?» – подумал он.

– А знаешь, он что-то больно тяжел, – сказал могильщик, оставшийся подле Дантеса, садясь на край носилок.

Первой мыслью Дантеса было высвободиться из мешка, но, к счастью, он удержался.

– Да посвети же мне, болван, – сказал носильщик, отошедший в сторону, – иначе я никогда не найду, что мне нужно.

Человек с фонарем повиновался, хотя приказание было выражено довольно грубо.

«Что это он ищет? – подумал Дантес. – Заступ, должно быть».

Радостное восклицание возвестило, что могильщик нашел то, что искал.

– Наконец, – сказал второй, – насилу-то.

– Что ж, – отвечал первый, – ему спешить некуда.

При этих словах он подошел к Эдмону и положил подле него какой-то тяжелый и гулкий предмет. В ту же минуту ему больно стянули ноги веревкой.

– Ну что, привязал? – спросил второй могильщик.

– В лучшем виде! – отвечал другой. – Без ошибки.

– Ну так – марш!

И, подняв носилки, они двинулись дальше. Прошли шагов пятьдесят, потом остановились, отперли какие-то ворота и опять пошли дальше. Шум волн, разбивающихся о скалы, на которых высился замок, все отчетливее долетал до слуха Дантеса, по мере того как носильщики подвигались вперед.

– А погода плохая! – сказал один из носильщиков. – Худо быть в море в такую ночь!

– Да! Как бы аббат не подмок, – сказал другой.

И оба громко захохотали.

Дантес не понял шутки, но волосы у него встали дыбом.

– Вот и пришли, – сказал первый.

– Дальше, дальше, – возразил другой, – забыл, как в прошлый раз он не долетел до места и разбился о камни, и еще комендант назвал нас на другой день лодырями.

Они прошли еще пять или шесть шагов, поднимаясь все выше; потом Дантес почувствовал, что его берут за голову, за ноги и раскачивают.

– Раз! – сказал могильщик.

– Два!

– Три!

В ту же секунду Дантес почувствовал, что его бросают в неизмеримую пустоту, что он рассекает воздух, как раненая птица, и падает, падает в леденящем сердце ужасе… Хотя что-то тяжелое влекло его книзу,

ускоряя быстроту его полета, ему казалось, что он падает целую вечность. Наконец, с оглушительным шумом он вонзился, как стрела в ледяную воду и испустил было крик, но тотчас же захлебнулся.

Дантес был брошен в море, и тридцатишестифунтовое ядро, привязанное к ногам, тянуло его на дно.

Море – кладбище замка Иф.

# XXI. Остров Тибулен

Дантес, оглушенный, почти задохшийся, все же догадался сдержать дыхание; и так как он в правой руке держал нож наготове, то он быстро вспорол мешок, высунул руку, потом голову; но, несмотря на все его усилия приподнять ядро, оно продолжало тянуть его ко дну; тогда он согнулся, нащупал веревку, которой были связаны его ноги, и, сделав последнее усилие, перерезал ее в тот самый миг, когда начинал уже задыхаться; оттолкнувшись ногами, он вынырнул на поверхность, между тем как ядро увлекало в морскую пучину грубый холст, едва не ставший его саваном.

Дантес только один раз перевел дыхание и снова нырнул, ибо больше всего боялся, как бы его не заметили.

Когда он вторично вынырнул, он был уже по меньшей мере в пятидесяти шагах от места падения; он увидел над головой черное грозовое небо, по которому быстро неслись облака, открывая иногда небольшой уголок лазури с мерцающей звездой; перед ним расстилалась мрачная и бурная ширь, на которой, предвещая грозу, начинали закипать волны, а позади, чернее моря, чернее неба, подобно грозному призраку, высилась гранитная громада, и ее темный шпиль казался рукой, протянутой за ускользнувшей добычей; на самом высоком утесе мигал свет фонаря, освещая две тени.

Дантесу казалось, что обе тени с беспокойством наклоняются к морю. Эти своеобразные могильщики, вероятно, слышали его крик при падении. Поэтому Дантес снова нырнул и поплыл под водой. Этот прием был ему некогда хорошо знаком и собирал вокруг него, в бухте Фаро, многочисленных поклонников, не раз провозглашавших его самым искусным пловцом в Марселе.

Когда он вынырнул на поверхность, фонарь исчез. Он начал осматриваться. Из островов, окружающих замок Иф, Ратонно и Помег – ближайшие; но Ратонно и Помег населены, населен и маленький остров

Дом, а потому самыми надежными были острова Тибулен и Лемер; оба они расположены в миле от замка Иф.

Дантес тем не менее решил доплыть до одного из этих островов. Но как найти их во мраке ночи, который с каждым мгновением становится все непрогляднее?

В эту минуту он увидел сиявший, подобно звезде, маяк Планье.

Держа прямо на маяк, он оставлял остров Тибулен немного влево. Следовательно, взяв немного левее, он должен был встретить этот остров на своем пути.

Но мы уже сказали, что от замка Иф до этого острова по крайней мере целая миля.

Не раз в тюрьме Фариа говорил Эдмону, видя, что он предается унынию и лени: «Дантес, опасайтесь бездействия, вы утонете, пытаясь спастись, если не будете упражнять свои силы».

Теперь, чувствуя на себе смертоносную тяжесть воды, Дантес вспомнил совет старика; он поспешил вынырнуть и начал рассекать волны, чтобы проверить, не утратил ли он былую силу; он с радостью убедился, что вынужденное бездействие нисколько не убавило его выносливости и ловкости, и почувствовал, что по-прежнему владеет стихией, к которой привык с младенчества.

К тому же страх, этот неотступный гонитель, удваивал силы Дантеса. Рассекая волну, он прислушивался, не раздастся ли подозрительный шум. Всякий раз, как его поднимало на гребень, он быстрым взглядом окидывал горизонт, пытаясь проникнуть в густой мрак. Каждая волна, вздымавшаяся выше других, казалась ему лодкой, высланной в погоню за ним, и тогда он плыл быстрее, что, конечно, сокращало его путь, но вместе с тем истощало его силы.

Но он плыл и плыл, и грозный замок мало-помалу сливался с ночным туманом. Он уже не различал его, но все еще чувствовал.

Так прошел целый час, в продолжение которого Дантес, воодушевленный живительным чувством свободы, продолжал рассекать волны в принятом им направлении.

«Скоро час, как я плыву, – говорил он себе, – но ветер противный, и я, должно быть, потерял четверть моей скорости. Все же, если я не сбился с пути, то, вероятно, я уже недалеко от Тибулена. Но что, если я сбился!»

Дрожь пробежала по телу пловца. Он хотел для отдыха лечь на спину; но море становилось все более бурным, и он скоро понял, что передышка, на которую он надеялся, невозможна.

– Ну что ж, – сказал он, – буду плыть, пока можно, пока руки не устанут, пока меня не сведет судорога, а там пойду ко дну!

И он поплыл дальше с силою и упорством отчаяния. Вдруг ему показалось, что небо, и без того уже черное, еще более темнеет, что густая, тяжелая, плотная туча нависает над ним; в ту же минуту он почувствовал сильную боль в колене. Воображение мгновенно подсказало ему, что это удар пули и что он сейчас услышит звук выстрела; но выстрела не было. Дантес протянул руку и нащупал что-то твердое. Он подогнул ноги и коснулся земли. Тогда он понял, что он принял за тучу.

В двадцати шагах от него возвышалась груда причудливых утесов, похожая на огромный костер, окаменевший внезапно, в минуту самого яркого горения. То был остров Тибулен. Дантес встал, сделал несколько шагов и, возблагодарив бога, растянулся на гранитных скалах, показавшихся ему в эту минуту мягче самой мягкой постели.

Потом, невзирая на ветер, на бурю, на начавшийся дождь, он заснул сладостным сном человека, у которого тело цепенеет, но душа бодрствует в сознании нежданного счастья.

Через час оглушительный раскат грома разбудил Эдмона. Буря разбушевалась и в своем стремительном полете била крыльями по морю и по небу. Молния сверкала, как огненная змея, освещая волны и тучи, которые катились, перегоняя друг друга, словно валы беспредельного хаоса.

Опытный глаз моряка не ошибся. Дантес пристал к первому из двух островов – это и был остров Тибулен. Дантес знал, что это голый утес, открытый со всех сторон, не представляющий ни малейшего убежища. Но он предполагал, когда буря утихнет, опять броситься в море и

достигнуть вплавь острова Лемер, такого же дикого, но более пространного и, следовательно, более гостеприимного.

Нависшая скала доставила Дантесу временный приют; он спрятался под нее, и почти в ту же минуту буря разразилась во всем неистовстве.

Эдмон чувствовал, как сотрясается скала, под которой он укрылся. Брызги волн, разбивавшихся о подножие этой огромной глыбы, долетали до него. Хоть он и был в безопасности, но от страшного гула, от ослепительных вспышек у него закружилась голова; ему казалось, что остров дрожит под ним и вот-вот, словно корабль, сорвется с якоря и унесет его в этот чудовищный водоворот.

Тут он вспомнил, что уже сутки не ел; его мучил голод, томила жажда. Дантес вытянул руки и голову и напился дождевой воды из выемки в скале.

В ту минуту как он поднимал голову, молния, которая, казалось, расколола небо до самого подножия божьего престола, озарила пространство; в блеске этой молнии между островом Лемер и мысом Круавиль, в четверти мили от Дантеса, словно призрак, возникло маленькое рыболовное судно, уносимое ветром и волнами. Через секунду этот призрак, приближаясь со страшной быстротой, появился на гребне другой волны. Дантес хотел крикнуть, хотел найти какой-нибудь лоскут, чтобы подать им сигнал, что они идут навстречу гибели, но они сами это знали; при блеске новой молнии Эдмон увидел четырех человек, ухватившихся за мачты и штаги, пятый стоял у разбитого руля. Эти люди, вероятно, тоже увидели его, потому что отчаянные крики, заглушаемые свистом ветра, долетели до его ушей. Над мачтою, гнувшейся, как тростник, хлопал изодранный в клочья парус; вдруг снасти, на которых он еще держался, лопнули, ветер подхватил его, и он исчез в темных глубинах неба, подобно огромной белой птице, мелькнувшей в черных облаках.

В тот же миг раздался оглушительный треск; Дантес услышал крики тонущих. Прижавшись, подобно сфинксу, к своему утесу, Дантес смотрел в морскую бездну и при новой вспышке молнии увидел разбитое

суденышко и между обломками отчаянные лица и руки, простертые к небу.

Потом все исчезло во мраке ночи; страшное видение продолжалось не дольше вспышки молнии.

Дантес бросился вниз по скользким скалам, ежеминутно рискуя свалиться в море. Он смотрел, прислушивался, но ничего не было ни слышно, ни видно; ни криков, ни людей; одна только буря продолжала реветь вместе с ветром и пениться вместе с волнами.

Мало-помалу ветер улегся; по небу гнало к западу большие серые тучи, словно полинявшие от грозы; снова проступила лазурь с еще более яркими звездами. Вскоре на востоке широкая красноватая полоса прочертила черно-синий горизонт; волны, вздымаясь, вспыхнули внезапным светом, их пенистые гребни превратились в золотые гривы.

Занялся день.

Дантес неподвижно и безмолвно глядел на это величественное зрелище, словно видел его впервые; и в самом деле, за то время, что он пробыл в замке Иф, он успел забыть, как восходит солнце. Он оборотился к крепости и долгим взглядом окинул землю и море.

Мрачное здание – страж и властелин – вставало из волн в грозном величии.

Было часов пять утра; море постепенно утихало. «Через два-три часа, – сказал себе Эдмон, – тюремщик войдет в мою камеру, обнаружит труп моего бедного друга, опознает его, будет тщетно меня искать и поднимет тревогу; тогда найдут отверстие, подземный ход; спросят людей, которые бросили меня в море и, наверное, слышали мой крик. Тотчас же лодки с вооруженными солдатами пустятся в погоню за несчастным беглецом, который, очевидно, не мог уйти далеко. Пушечные выстрелы возвестят всему побережью, что нельзя давать убежище голодному и раздетому бродяге. Марсельская полиция будет уведомлена и оцепит берег, между тем как комендант замка Иф начнет обшаривать море. Что тогда? Окруженный на воде, затравленный на суше, куда я денусь? Я голоден, озяб, я даже бросил спасительный нож, потому что он мешал мне плыть; я во власти первого встречного, который захочет

заработать двадцать франков, выдав меня. У меня нет больше ни сил, ни мыслей, ни решимости! Боже! Боже! Ты видишь мои страдания, помоги мне, ибо сам я не в силах помочь себе!»

В ту минуту, как Эдмон в полубреду от истощения, потеряв способность мыслить, шептал эту пламенную молитву, со страхом оглядываясь на замок Иф, он увидел близ оконечности острова Помег маленькое судно, подобно чайке летящее над самой водой; только глаз моряка мог распознать в этом судне на еще полутемной полосе моря генуэзскую тартану. Она шла из марсельского порта в открытое море, и сверкающая пена расступалась перед узким носом, давая дорогу ее округлым бокам.

– Через полчаса, – вскричал Эдмон, – я мог бы настигнуть это судно, если бы не опасался, что меня начнут расспрашивать, догадаются, кто я, и доставят обратно в Марсель! Что делать? Что им сказать? Какую басню выдумать, чтобы обмануть их? Эти люди – контрабандисты, полупираты. Под видом торговли они занимаются разбоем и скорее продадут меня, чем решатся на бескорыстное, доброе дело.

Подождем...

Но ждать невозможно; я умираю с голоду, через несколько часов последние силы покинут меня; к тому же близится час обхода; тревоги еще не подняли, быть может, меня и не заподозрят; я могу выдать себя за матроса с этого суденышка, разбившегося ночью; это будет правдоподобно, опровергнуть меня некому, они все утонули. Итак, вперед!..

Дантес поглядел в ту сторону, где разбилось маленькое судно, и вздрогнул. На утесе, зацепившись за выступ, висел фригийский колпак одного из утонувших матросов, а поблизости плавали обломки, тяжелые бревна, которые качались на волнах, ударяясь о подножие острова, словно бессильные тараны.

Дантес отбросил последние сомнения; он вплавь добрался до колпака, надел его на голову, схватил одно из бревен и поплыл наперерез тартане.

– Теперь я спасен, – прошептал он.

Эта уверенность возвратила ему силы.

Вскоре он увидел тартану, которая, идя почти против ветра, лавировала между замком Иф и башней Кланье. Одно время Дантес опасался, что, вместо того чтобы держаться берега, тартана уйдет в открытое море, как она должна бы сделать, держи она курс на Корсику или Сардинию; но вскоре по ее ходу он убедился, что она готовится пройти, как то обыкновенно делают суда, идущие в Италию, между островами Жарос и Каласарень.

Между тем тартана и пловец неприметно приближались друг к другу; при одном своем галсе она даже очутилась в какой-нибудь четверти мили от Дантеса. Он приподнялся и замахал колпаком, подавая сигнал бедствия; но никто не приметил его; тартана переложила руль и легла на ровный галс. Дантес хотел крикнуть, но, измерив глазом расстояние, понял, что голос его, относимый ветром и заглушаемый шумом волн, не долетит до тартаны.

Тогда он понял, какое для него счастье, что он прихватил бревно. Он был так истощен, что едва ли продержался бы на воде без него до встречи с тартаной, а если бы тартана, что весьма легко могло случиться, прошла мимо, не заметив его, то он уж наверняка не добрался бы до берега.

Хотя Дантес был почти уверен в направлении, которого держалась тартана, он все же не без тревоги следил за нею, пока не увидел, что она опять поворотила и идет к нему.

Он поплыл к ней навстречу, но, прежде чем они сошлись, тартана начала ложиться на другой галс.

Тогда Дантес, собрав все свои силы, поднялся над водой почти во весь рост и, махая колпаком, закричал тем жалобным криком утопающих, который звучит словно вопль морского духа.

На этот раз его увидели и услышали. Тартана переменила курс и повернула в его сторону; в то же время он увидел, что готовятся спустить шлюпку. Минуту спустя шлюпка с двумя гребцами направилась к нему. Тогда Дантес выпустил бревно из рук, полагая, что в нем больше нет надобности, и быстро поплыл навстречу гребцам, чтобы сократить им

путь. Но пловец не рассчитал своих истощенных сил; он горько пожалел, что расстался с куском дерева, который уже лениво качался на волнах в ста шагах от него. Руки его немели, ноги потеряли гибкость, движения стали угловаты и порывисты, дыхание спирало в груди.

Он закричал во второй раз; гребцы удвоили усилия, и один из них крикнул ему по-итальянски:

– Держись!

Это слово долетело до него в тот самый миг, когда волна, на которую он уже не имел сил подняться, захлестнула его и покрыла пеной. Он еще раз вынырнул, барахтаясь в воде бессильно и отчаянно, в третий раз вскрикнул и почувствовал, что погружается в море, словно к его ногам все еще привязано тяжелое ядро.

Вода покрыла его, и сквозь нее он увидел бледное небо с черными пятнами.

Он сделал еще одно нечеловеческое усилие и еще раз всплыл на поверхность. Ему показалось, что его хватают за волосы; потом он ничего уже не видел, ничего не слышал; сознание покинуло его.

Очнувшись и открыв глаза, Дантес увидел себя на палубе тартаны, продолжавшей путь. Первым движением его было взглянуть, по какому направлению она идет; она удалялась от замка Иф.

Дантес был так слаб, что его радостный возглас прозвучал как стон.

Итак, Дантес лежал на палубе; один из матросов растирал его шерстяным одеялом; другой, в котором он узнал того, кто крикнул: «Держись!» – совал ему в рот горлышко фляги; третий, старый моряк, бывший в одно и то же время и шкипером, и судохозяином, смотрел на него с эгоистическим сочувствием, обыкновенно испытываемым людьми при виде несчастья, которое вчера миновало их, но может постигнуть завтра.

Несколько капель рому из фляги подкрепили Дантеса, а растирание, которое усердно совершал стоявший возле него на коленях матрос, вернуло гибкость его онемевшим членам.

– Кто вы такой? – спросил на ломаном французском языке хозяин тартаны.

– Я мальтийский матрос, – отвечал Дантес на ломаном итальянском, – мы шли из Сиракуз с грузом вина и полотна. Вчерашняя буря застигла нас у мыса Моржион, и мы разбились вон о те утесы.

– Откуда вы приплыли?

– Мне удалось ухватиться за утес, а наш бедный капитан разбил себе голову. Остальные трое утонули. Должно быть, я один остался в живых; я увидел вашу тартану и, боясь долго оставаться на этом пустом и необитаемом острове, решил доплыть до вас на обломке нашего судна. Благодарю вас, – продолжал Дантес, – вы спасли мне жизнь; я уже тонул, когда один из ваших матросов схватил меня за волосы.

– Это я, – сказал матрос с открытым и приветливым лицом, обрамленным черными бакенбардами, – и пора было: вы шли ко дну.

– Да, – сказал Дантес, протягивая ему руку, – да, друг мой, еще раз благодарю вас.

– Признаюсь, меня было взяло сомнение, – продолжал матрос, – вы так обросли волосами, что я принял вас за разбойника.

Дантес вспомнил, что за все время своего заточения в замке Иф он ни разу не стриг волос и не брил бороды.

– Да, – сказал он, – в минуту опасности я дал обет божией матери дель Пье де ла Гротта десять лет не стричь волос и не брить бороды. Сегодня истекает срок моему обету, и я чуть не утонул в самую годовщину.

– А теперь что нам с вами делать? – спросил хозяин.

– Увы! – сказал Дантес. – Что вам будет угодно; фелука, на которой я плавал, погибла, капитан утонул. Как видите, я уцелел, но остался в чем мать родила. К счастью, я неплохой моряк; высадите меня в первом порту, куда вы зайдете, и я найду работу на любом торговом корабле.

– Вы знаете Средиземное море?

– Я плаваю здесь с детства.

– Вы знаете хорошие стоянки?

– Не много найдется портов, даже самых трудных, где я не мог бы войти и выйти с закрытыми глазами.

– Ну что ж, хозяин, – сказал матрос, крикнувший Дантесу «Держись!», – если товарищ говорит правду, отчего бы ему не остаться с нами?

– Да, если он говорит правду, – отвечал хозяин с оттенком недоверия. – Но в таком положении, как этот бедняга, обещаешь много, а исполняешь, что можешь.

– Я исполню больше, чем обещал, – сказал Дантес.

– Ого! – сказал хозяин, смеясь. – Посмотрим.

– Когда вам будет угодно, – отвечал Дантес, вставая. – Вы куда идете?

– В Ливорно.

– В таком случае, вместо того чтобы лавировать и терять драгоценное время, почему бы вам просто не пойти по ветру?

– Потому что тогда мы упремся в Рион.

– Нет, вы оставите его метрах в сорока.

– Ну-тко, возьмитесь за руль, – сказал хозяин, – посмотрим, как вы справитесь.

Эдмон сел у румпеля, легким нажимом проверил, хорошо ли судно слушается руля, и, видя, что, не будучи особенно чутким, оно все же повинуется, скомандовал:

– На брасы и булиня!

Четверо матросов, составлявших экипаж, бросились по местам, между тем как хозяин следил за ними.

– Выбирай брасы втугую! Булиня прихватить! – продолжал Дантес.

Матросы исполнили команду довольно проворно.

– А теперь завернуть!

Эта команда была выполнена, как и обе предыдущие, и тартана, уже не лавируя больше, двинулась к острову Рион, мимо которого и прошла, как предсказывал Дантес, оставив его справа метрах в сорока.

– Браво! – сказал хозяин.

– Браво! – повторили матросы.

И все с удивлением смотрели на этого человека, в чьем взгляде пробудился ум, а в теле – сила, которых они в нем и не подозревали.

– Вот видите, – сказал Дантес, оставляя руль, – я вам пригожусь хотя бы на время рейса. Если в Ливорно я вам больше не потребуюсь, оставьте меня там, а я из первого жалованья заплачу вам за пищу и платье, которое вы мне дадите.

– Хорошо, – сказал хозяин. – Мы уж как-нибудь поладим, если вы не запросите лишнего.

– Один матрос стоит другого, – сказал Дантес. – Что вы платите товарищам, то заплатите и мне.

– Это несправедливо, – сказал матрос, вытащивший Дантеса из воды, – вы знаете больше нас.

– А тебе какое дело, Джакопо? – сказал хозяин. – Каждый волен наниматься за такую плату, за какую ему угодно.

– И то правда, – сказал Джакопо, – я просто так сказал.

– Ты бы лучше ссудил его штанами и курткой, если только у тебя найдутся лишние.

– Лишней куртки у меня нет, – отвечал Джакопо, – но есть рубашка и штаны.

– Это все, что мне надо, – сказал Дантес. – Спасибо, друг.

Джакопо спустился в люк и через минуту возвратился, неся одежду, которую Дантес натянул на себя с неизъяснимым блаженством.

– Не нужно ли вам чего-нибудь еще? – спросил хозяин.

– Кусок хлеба и еще глоток вашего чудесного рома, который я уже пробовал; я давно ничего не ел.

В самом деле он не ел почти двое суток. Дантесу принесли ломоть хлеба, а Джакопо подал ему флягу.

– Лево руля! – крикнул капитан рулевому.

Дантес поднес было флягу к губам, но его рука остановилась на полдороге.

– Смотрите, – сказал хозяин, – что такое творится в замке Иф?

Над зубцами южного бастиона замка Иф появилось белое облачко.

Секунду спустя до тартаны долетел звук отдаленного пушечного выстрела.

Матросы подняли головы, переглядываясь.

– Что это значит? – спросил хозяин.

– Верно, какой-нибудь арестант бежал этой ночью, – сказал Дантес, – вот и подняли тревогу.

Хозяин пристально взглянул на молодого человека, который, произнеся эти слова, поднес флягу к губам. Но Дантес потягивал ром с таким невозмутимым спокойствием, что если хозяин и заподозрил что-нибудь, то это подозрение только мелькнуло в его уме и тотчас же исчезло.

– Ну и забористый же ром! – сказал Дантес, вытирая рукавом рубашки пот, выступивший у него на лбу.

– Если даже это он, – проворчал хозяин, поглядывая на него, – тем лучше: мне достался лихой малый.

Дантес попросил позволения сесть у руля. Рулевой, обрадовавшись смене, взглянул на хозяина, который сделал ему знак, что он может передать руль своему новому товарищу.

Сидя у руля, Дантес мог, не возбуждая подозрений, глядеть в сторону Марселя.

– Какое у нас сегодня число? – спросил Дантес у подсевшего к нему Джакопо, когда замок Иф исчез из виду.

– Двадцать восьмое февраля, – отвечал матрос.

– Которого года? – спросил Дантес.

– Как которого года! Вы спрашиваете, которого года?

– Да, – отвечал Дантес, – я спрашиваю, которого года.

– Вы забыли, в котором году мы живем?

– Что поделаешь! – сказал Дантес, смеясь. – Я так перепугался сегодня ночью, что чуть не лишился рассудка, и у меня совсем отшибло память; а потому я и спрашиваю: которого года у нас сегодня двадцать восьмое февраля?

– Тысяча восемьсот двадцать девятого года, – сказал Джакопо.

Прошло ровно четырнадцать лет со дня заточения Дантеса. Он переступил порог замка Иф девятнадцати лет от роду, а вышел оттуда тридцати трех.

Горестная улыбка мелькнула на его устах; он спрашивал себя, что сталось за это время с Мерседес, которая, вероятно, считала его умершим.

Потом пламя ненависти вспыхнуло в его глазах – он вспомнил о трех негодяях, которым был обязан долгим мучительным заточением.

И он снова, как некогда в тюрьме, поклялся страшной клятвой – беспощадно отомстить Данглару, Фернану и Вильфору.

И теперь эта клятва была не пустой угрозой, ибо самый быстроходный парусник Средиземного моря уже не догнал бы маленькой тартаны, которая на всех парусах неслась к Ливорно.

# Часть вторая

# I. Контрабандисты

Дантес еще и дня не пробыл на тартане, как уже понял, с кем имеет дело. Хотя достойный хозяин «Юной Амелии» (так называлась генуэзская тартана) и не учился у аббата Фариа, однако он владел чуть ли не всеми языками, на которых говорят по берегам обширного озера, именуемого Средиземным морем, – начиная от арабского и кончая провансальским. Это избавляло его от переводчиков, людей всегда докучных, а подчас и нескромных, и облегчало ему сношения со встречными кораблями, с мелкими прибрежными судами и, наконец, с теми людьми без имени, без родины, без определенной профессии, которые всегда шатаются в морских портах и существуют на какие-то загадочные средства, посылаемые им, вероятно, самим провидением, потому что каких-либо источников пропитания, различимых невооруженным глазом, у них не имеется. Читатель догадывается, что Дантес попал к контрабандистам.

Не мудрено, что хозяин взял Дантеса на борт с некоторой опаской; он был весьма известен береговой таможенной страже, а так как и он, и эти господа пускались на всевозможные хитрости, чтобы обмануть друг друга, то он сначала подумал, что Дантес просто таможенный досмотрщик, воспользовавшийся этим остроумным способом, чтобы проникнуть в таинства его ремесла. Но когда Дантес, взяв круто к ветру, блестяще вышел из испытания, он совершенно успокоился. Потом, когда он увидел облачко дыма, взвившееся, как султан, над бастионом замка Иф, и услышал отдаленный звук выстрела, у него мелькнула мысль, не подобрал ли он одного из тех людей, которых, как короля при входе и выходе, чествуют пушечными выстрелами; по правде сказать, это тревожило его меньше, чем если бы его гость оказался таможенным досмотрщиком; но и это второе подозрение скоро рассеялось, подобно первому, при виде невозмутимого спокойствия Дантеса.

Итак, Эдмон имел то преимущество, что знал, кто его хозяин, между тем как хозяину неизвестно было, кто его новый матрос. Как ни осаждали его старый моряк и товарищи, Дантес не поддавался и не

признавался ни в чем; он подробно рассказывал о Неаполе и Мальте, которые знал, как Марсель, и повторял свою первоначальную басню с твердостью, делавшей честь его памяти. Таким образом, генуэзец, при всей своей хитрости, спасовал перед Эдмоном, на стороне которого были кротость, опыт моряка, а главное – умение не выдавать себя.

Притом же генуэзец, быть может, как благоразумный человек, предпочитал знать только то, что ему должно знать, и верить только тому, чему выгодно верить.

Так обстояли дела, когда они прибыли в Ливорно.

Тут Эдмону предстояло подвергнуться новому испытанию: проверить, узнает ли он самого себя после четырнадцатилетнего заключения. Он помнил довольно ясно, каков он был в молодости; теперь он увидит, каким он стал в зрелые годы. В глазах его товарищей его обет был выполнен. Он уже раз двадцать бывал в Ливорно и знал там одного цирюльника, на улице Сан-Фернандо; он отправился к нему и велел остричь волосы и сбрить бороду.

Цирюльник с удивлением посмотрел на этого длинноволосого человека с густой черной бородой, похожего на тициановский портрет. В то время еще не носили длинных волос и бороды; ныне цирюльник удивился бы только, что человек, одаренный от природы таким превосходным украшением, отказывается от него.

Ливорнский цирюльник без лишних слов принялся за работу.

Когда она была окончена и Эдмон почувствовал, что подбородок его гладко выбрит, а волосы острижены до обычной длины, он попросил зеркало.

Как мы уже сказали, ему было теперь тридцать три года; четырнадцатилетнее тюремное заключение произвело большую перемену в выражении его лица.

Дантес вошел в замок Иф с круглым, веселым и цветущим лицом счастливого юноши, которому первые шаги в жизни дались легко и который надеется на будущее, как на естественный вывод из прошлого. От всего этого не осталось и следа.

Овал лица удлинился, улыбающийся рот принял твердое и решительное выражение; брови изогнулись; чело пересекла суровая, прямая морщинка; в глазах притаилась глубокая грусть, и временами они сверкали мрачным огнем ненависти; кожа лица его, так долго лишенная дневного света и солнечных лучей, приняла матовый оттенок, который придает аристократичность лицам северян, если они обрамлены черными волосами; к тому же приобретенные им знания наложили на его черты отпечаток ума и уверенности; хотя от природы он был довольно высокого роста, в его фигуре появилась кряжистость – следствие постоянного накапливания сил.

Изящество нервного и хрупкого сложения сменилось крепостью округлых и мускулистых форм. Что же касается его голоса, то мольбы, рыдания и проклятия совершенно изменили его, и он звучал то необычайно нежно, то резко и даже хрипло.

Кроме того, находясь все время либо в полутьме, либо в полном мраке, его глаза приобрели странную способность различать предметы ночью, подобно глазам гиены или волка.

Эдмон улыбнулся, увидев себя; лучший друг, если только у него еще остались друзья на свете, не узнал бы его; он сам себя не узнавал.

Хозяину «Юной Амелии» весьма хотелось оставить у себя такого матроса, как Эдмон, а потому он предложил ему немного денег в счет его доли в будущих барышах, и Эдмон согласился. Выйдя от цирюльника, произведшего в нем первое превращение, он прежде всего пошел в магазин и купил себе полный костюм матроса. Костюм этот, как известно, очень прост и состоит из белых панталон, полосатой фуфайки и фригийского колпака.

В этом наряде, возвратив Джакопо рубашку и штаны, которыми тот его ссудил, Эдмон явился к капитану «Юной Амелии» и принужден был повторить ему свою историю. Капитан не узнавал в этом красивом и щегольски одетом матросе человека с густой бородой, с волосами, полными водорослей, вымокшего в морской воде, которого он принял голым и умирающим на борт своей тартаны.

Плененный его приятной наружностью, он повторил Дантесу предложение поступить к нему на службу; но Дантес, у которого были другие намерения, согласился наняться к нему не больше чем на три месяца.

Экипаж «Юной Амелии» состоял из людей деятельных, и командовал им капитан, не привыкший терять времени. Не прошло и недели, как просторный трюм тартаны наполнился цветным муслином, запрещенными к ввозу бумажными тканями, английским порохом и картузами табаку, к которым акцизное управление забыло приложить свою печать. Все это требовалось вывезти из Ливорно и выгрузить на берегах Корсики, откуда некие дельцы брались доставить груз во Францию.

Итак, тартана отправилась в путь. Эдмон снова рассекал лазурное море, колыбель его юности, которое так часто снилось ему в его темнице. Он оставил Горгону справа, Пианозу – слева и держал курс на отечество Паоли и Наполеона.

На другой день капитан, выйдя на палубу по своему обыкновению рано утром, застал Дантеса, облокотившегося о борт и глядевшего со странным выражением на груду гранитных утесов, розовевших в лучах восходящего солнца: это был остров Монте-Кристо.

«Юная Амелия» оставила его справа в трех четвертях мили и продолжала свой путь к Корсике.

Идя мимо острова, имя которого так много для него значило, Дантес думал о том, что ему стоит только кинуться в море и через полчаса он будет на обетованной земле. Но что он может сделать, не имея ни инструментов для откапывания клада, ни оружия для его защиты? И что скажут матросы? Что подумает капитан? Приходилось ждать.

К счастью, Дантес умел ждать; он ждал свободы четырнадцать лет; теперь, когда он был на свободе, ему нетрудно было подождать богатства полгода или год.

Разве он не принял бы свободы без богатства, если бы ему предложили ее?

Да и не химера ли это богатство? Родившись в больной голове бедного аббата Фариа, не исчезло ли оно вместе с ним?

Правда, письмо кардинала Спада было удивительно точно.

И Дантес мысленно повторял это письмо, которое он помнил от слова до слова.

Наступил вечер. Эдмон видел, как остров постепенно терялся в сгущающихся сумерках, и скоро он для всех исчез во мраке; но Эдмон, привыкнув к темноте своей камеры, вероятно, все еще видел его, потому что оставался на палубе позже всех.

Утро застало их в виду Алерии. Весь день они лавировали, а вечером на берегу засветились огни; расположение этих огней, по-видимому, указывало, что можно выгружать товары, потому что на гафеле подняли сигнальный огонь вместо флага и подошли на ружейный выстрел к берегу.

Дантес заметил, что капитан, вероятно по случаю этих торжественных обстоятельств, поставил на палубе «Юной Амелии» две маленькие кулеврины, которые без особого шума могли выпустить на тысячу шагов хорошенькую четырехфунтовую пулю.

Но на этот раз такая предосторожность оказалась излишней; все обошлось тихо и благопристойно. Четыре шлюпки без шума подошли к «Амелии», которая, вероятно из учтивости, спустила и свою шлюпку; эти пять шлюпок работали весьма проворно, и к двум часам утра весь груз с «Юной Амелии» был перевезен на сушу.

Капитан «Юной Амелии» так любил порядок, что в ту же ночь разделил прибыль между экипажем: каждый матрос получил по сто тосканских ливров, то есть около восьмидесяти франков.

Но на этом экспедиция не закончилась: взяли курс на Сардинию. Надо было снова нагрузить разгруженное судно.

Вторая операция сошла так же удачно, как и первая: «Юной Амелии», видимо, везло.

Новый груз предназначался для герцогства Луккского. Он почти весь состоял из гаванских сигар, хереса и малаги.

Тут случилось недоразумение с таможней, этим извечным врагом капитана «Юной Амелии». Один стражник остался на месте, двое матросов было ранено. Одним из этих двух матросов был Дантес. Пуля, не задев кости, пробила ему левое плечо.

Дантес был доволен этой стычкой и почти рад полученной ране; этот суровый урок показал ему, как он умеет смотреть в лицо опасности и переносить страдания. Опасность он встретил с улыбкой, а получив рану, сказал, подобно греческому философу: «Боль, ты не зло».

Притом же он видел смертельно раненного стражника, и оттого ли, что он разгорячился во время стычки, или оттого, что чувства его притупились, но это зрелище не смутило его. Дантес уже ступил на тот путь, по которому намеревался идти, и шел прямо к намеченной цели – сердце его превращалось в камень.

Увидев, что Дантес упал замертво, Джакопо бросился к нему, поднял его и потом заботливо ухаживал за ним.

Итак, если свет не так добр, как думал доктор Панглос, то и не так зол, как казалось Дантесу, раз этот матрос, который ничего не мог ожидать от товарища, кроме доли прибыли в случае его смерти, так огорчался, полагая, что он умер.

К счастью, как мы уже сказали, Эдмон был только ранен. С помощью целебных трав, которые сардинские старухи собирали в таинственные, им одним ведомые дни и часы, а потом продавали контрабандистам, рана скоро зажила. Тогда Эдмон решил испытать Джакопо. Он предложил ему в благодарность за его усердие свою долю прибыли; но Джакопо отверг ее с негодованием.

Уважение и преданность, которыми Джакопо с первого же взгляда проникся к Эдмону, привели к тому, что и Эдмон почувствовал к Джакопо некоторую привязанность. Но Джакопо большего и не требовал; он инстинктивно чувствовал, что Эдмон создан для более высокого положения, чем то, которое он занимает, хотя Эдмон старался ничем не выдавать своего превосходства. И добрый малый вполне довольствовался тем, что Эдмон снисходил к нему.

В долгие часы плавания, когда «Амелия» спокойно шла по лазурному морю и благодаря попутному ветру, надувавшему ее паруса, не нуждалась ни в ком, кроме рулевого, Эдмон с морскою картою в руках становился наставником Джакопо, подобно тому как бедный аббат Фариа был его собственным наставником. Он показывал ему положение берегов, объяснял склонения компаса, учил его читать великую книгу, раскрытую над нашими головами и называемую небом, в которой бог пишет по лазури алмазными буквами.

И когда Джакопо его спрашивал:

– Стоит ли учить всему этому бедного матроса?

Эдмон отвечал:

– Как знать? Быть может, ты когда-нибудь станешь капитаном корабля; твой земляк Бонапарт стал же императором!

Мы забыли сказать, что Джакопо был корсиканец.

Прошло уже два с половиной месяца беспрерывного плавания. Эдмон стал теперь столь же искусным береговым промышленником, сколь был прежде смелым моряком; он завязал знакомство со всеми прибрежными контрабандистами; изучил все масонские знаки, посредством которых эти полупираты узнают друг друга.

Двадцать раз проходил он мимо своего острова Монте-Кристо, но ни разу не имел случая побывать на нем.

Поэтому вот что он решил сделать.

Как только кончится срок его службы на «Юной Амелии», он наймет небольшую лодку за свой собственный счет (Дантес мог это сделать, потому что за время плавания скопил сотню пиастров) и под каким-нибудь предлогом отправится на Монте-Кристо.

Там на свободе он начнет поиски.

Конечно, не совсем на свободе, – ибо за ним, вероятно, будут следить те, кто его туда доставит.

Но в жизни иногда приходится рисковать.

Тюрьма научила Эдмона осторожности, и он предпочел бы обойтись без риска.

Но сколько он ни рылся в своем богатом воображении, он не находил иного способа попасть на желанный остров.

Дантес еще колебался, когда однажды вечером его капитан, питавший к нему большое доверие и очень желавший оставить его у себя на службе, взял его под руку и повел с собой в таверну на виа дель-Олью, где по обыкновению собирался цвет ливорнских контрабандистов. Там-то обычно и заключались торговые сделки. Дантес уже два-три раза побывал на этой морской бирже; и, глядя на лихих удальцов, собравшихся с побережья в две тысячи лье, он думал о том, каким могуществом располагал бы человек, которому удалось бы подчинить своей воле все эти соединенные или разрозненные нити.

На этот раз речь шла о крупном деле: нужно было в безопасном месте выгрузить корабль с турецкими коврами, восточными тканями и кашемиром, а потом перекинуть эти товары на французский берег.

В случае успеха обещано было огромное вознаграждение – по пятидесяти пиастров на человека.

Хозяин «Юной Амелии» предложил выбрать местом выгрузки остров Монте-Кристо, который, будучи необитаем и лишен охраны солдат и таможенных чиновников, словно нарочно во времена языческого Олимпа поставлен среди моря Меркурием, богом торговцев и воров, двух сословий, которые мы ныне разделяем, если и не всегда различаем, но которые древние, по-видимому, относили к одной категории.

При слове «Монте-Кристо» Дантес вздрогнул от радости; чтобы скрыть свое волнение, он встал и прошелся по дымной таверне, где все наречия мира растворялись во франкском языке.

Когда он снова подошел к собеседникам, то было уже решено, что причалят к Монте-Кристо, а в путь отправятся назавтра в ночь.

Когда спросили мнение Эдмона, он ответил, что остров вполне безопасное место и что большие начинания должны приводиться в исполнение безотлагательно.

Итак, план остался без изменений. Условились сняться с якоря вечером следующего дня и ввиду благоприятной погоды и попутного ветра постараться сутки спустя пристать к необитаемому острову.

# II. Остров Монте-Кристо

Наконец-то Дантес благодаря неожиданной удаче, иной раз выпадающей на долю тех, кого долгое время угнетала жестокая судьба, мог достигнуть своей цели простым и естественным образом и ступить на остров, не внушая подозрений.

Одна только ночь отделяла его от долгожданного путешествия.

Эта ночь была одной из самых беспокойных, которые когда-либо проводил Дантес. В продолжение этой ночи ему попеременно мерещились все удачи и неудачи, с которыми он мог столкнуться: когда он закрывал глаза, он видел письмо кардинала Спада, начертанное огненными буквами на стене; когда он на минуту забывался сном, самые безумные видения вихрем кружились в его мозгу; ему чудилось, что он входит в пещеру с изумрудным полом, рубиновыми стенами, алмазными сталактитами. Жемчужины падали капля за каплей, как просачиваются подземные воды.

Восхищенный, очарованный, Эдмон наполнял карманы драгоценными камнями; потом он выходил на свет, и драгоценные камни превращались в обыкновенные голыши. Тогда он пытался вернуться в волшебные пещеры, виденные только мельком; но дорога вдруг начинала извиваться бесконечными спиралями, и он не находил входа. Тщетно искал он в своей утомленной памяти магическое слово, отворявшее арабскому рыбаку великолепные пещеры Али-Бабы. Все было напрасно; исчезнувшее сокровище снова стало достоянием духов земли, у которых Дантес одно мгновение надеялся похитить его.

Забрезжило утро, почти столь же лихорадочное, как и ночь; но на помощь воображению пришла логика, и Дантес разработал план, до тех пор смутно и неясно витавший в его мозгу.

Наступил вечер, а вместе с ним и приготовления к отплытию. Это дало Дантесу возможность скрыть свое возбуждение. Мало-помалу он сумел приобрести власть над своими товарищами и командовал ими, как капитан. А так как приказания его всегда были ясны, точны и легко

исполнимы, то товарищи повиновались ему не только с поспешностью, но и с охотой.

Старый моряк не мешал ему; он также признал превосходство Дантеса над остальными матросами и над самим собой; он смотрел на молодого моряка как на своего естественного преемника и жалел, что у него нет дочери, чтобы такой блестящей партией еще крепче привязать к себе Эдмона.

В семь часов вечера все было готово; в десять минут восьмого судно уже огибало маяк, в ту самую минуту, когда на нем вспыхнул свет.

Море было спокойно, дул свежий юго-восточный ветер. Они плыли под лазоревым небом, где бог тоже зажигал свои маяки, из которых каждый – целый мир. Дантес объявил, что все могут идти спать и что он останется на руле.

Когда мальтиец (так называли Дантеса) делал такое заявление, никто не спорил, и все спокойно уходили спать.

Это случалось неоднократно. Дантес, из одиночества внезапно возвращенный в мир, чувствовал по временам непреодолимое желание остаться одному. А где одиночество может быть так беспредельно и поэтично, как не на корабле, который несется по морской пустыне, во мраке ночи, в безмолвии бесконечности, под оком вседержителя?

Но в ту ночь одиночество было переполнено мыслями Дантеса, тьма озарена его мечтами, безмолвие оживлено его надеждами.

Когда капитан проснулся, «Амелия» шла под всеми парусами. Не было ни одного клочка холста, который бы не надувался ветром. Корабль делал более двух с половиной миль в час.

Остров Монте-Кристо вставал на горизонте.

Эдмон сдал вахту капитану и пошел, в свою очередь, прилечь на койку. Но, несмотря на бессонную ночь, он ни на минуту не сомкнул глаз.

Два часа спустя он снова вышел на палубу. «Амелия» огибала остров Эльба и находилась против Маречаны, в виду плоского зеленого острова Пианоза; в лазурное небо подымалась пламенеющая вершина Монте-Кристо.

Дантес велел рулевому взять право руля, чтобы оставить Пианозу справа. Он рассчитал, что этот маневр сократит путь на два-три узла.

В пятом часу вечера весь остров был уже виден как на ладони. В прозрачном вечернем воздухе, пронизанном лучами заходящего солнца, можно было различить малейшие подробности.

Эдмон пожирал глазами скалистую громаду, переливавшуюся всеми закатными красками, от ярко-розового до темно-синего. По временам кровь приливала к его лицу, лоб покрывался краской, и багровое облако застилало глаза.

Ни один игрок, поставивший на карту все свое состояние, не испытывал такого волнения, как Эдмон в пароксизме исступленных надежд.

Настала ночь. В десять часов вечера пристали к берегу. «Юная Амелия» первая пришла на условленное место.

Дантес, несмотря на свое обычное самообладание, не мог удержаться и первый соскочил на берег. Если бы он посмел, то, подобно Бруту, поцеловал бы землю.

Ночь была темная. Но в одиннадцать часов луна взошла над морем и посеребрила его трепещущую поверхность; по мере того как она всходила, ее лучи заливали потоками белого света нагромождения утесов этого второго Пелиона.

Остров Монте-Кристо был знаком экипажу «Юной Амелии»; это была одна из обычных его стоянок. Дантес видел его издали каждый раз, когда ходил на восток, но никогда не приставал к нему.

Он обратился к Джакопо:

– Где мы проведем ночь?

– Да на тартане, – отвечал матрос.

– А не лучше ли нам будет в пещерах?

– В каких пещерах?

– В пещерах на острове.

– Я не знаю там никаких пещер, – отвечал Джакопо.

Холодный пот выступил на лбу Дантеса.

– Разве на Монте-Кристо нет пещер? – спросил он.

– Нет.

Ответ Джакопо, как громом, поразил Дантеса; потом он подумал, что эти пещеры могли быть засыпаны случайным обвалом, а то и нарочно заделаны из предосторожности самим кардиналом Спада.

В таком случае дело сводилось к тому, чтобы отыскать исчезнувшее отверстие. Бесполезно было бы искать его ночью; а потому Дантес отложил поиски до следующего дня. К тому же сигнал с моря, поднятый в полумиле от берега и на который «Юная Амелия» тотчас же ответила таким же сигналом, возвестил о том, что пора приниматься за работу.

Запоздавшее судно, успокоенное сигналом, означавшим, что путь свободен, вскоре приблизилось, белое и безмолвное, словно призрак, и бросило якорь в кабельтове от берега.

Тотчас же началась перегрузка.

Дантес, работая, думал о тех радостных возгласах, которые единым словом он мог бы вызвать среди этих людей, если бы он высказал вслух неотвязную мысль, неотступно стучавшую у него в голове; но он не только не открыл своей тайны – он, напротив, опасался, что уже и так слишком много сказал и мог возбудить подозрения своим поведением, своими расспросами, высматриванием, своей озабоченностью. К счастью для него, по крайней мере в этом случае, тяжелое прошлое наложило на его лицо неизгладимую печать грусти, и редкие проблески веселости казались вспышками молнии, озаряющими грозовую тучу.

Итак, никто не заметил в нем ничего необычного, и когда наутро Дантес взял ружье, пороху и дроби и объявил, что хочет пострелять диких коз, которые во множестве прыгали по утесам, то в этом увидели всего лишь страсть к охоте или любовь к уединению. Один только Джакопо пожелал сопутствовать ему; Дантес не спорил, боясь возбудить в нем подозрение. Но едва они прошли несколько шагов, как Дантес подстрелил козленка и попросил Джакопо вернуться к товарищам, зажарить добычу, а когда обед поспеет, подать ему сигнал ружейным выстрелом, чтобы он пришел за своей долей; сушеные фрукты и бутыль монтепульчанского вина дополнят пиршество.

Дантес продолжал путь, время от времени оглядываясь назад. Взобравшись на вершину скалы, он увидел в тысяче футов под собою своих товарищей, к которым присоединился Джакопо, усердно занятых приготовлением трапезы.

Он с минуту глядел на них с кроткой и печальной улыбкой человека, сознающего свое превосходство.

– Через два часа, – сказал он себе, – эти люди с пятьюдесятью пиастрами в кармане отправятся дальше, чтобы с опасностью для жизни заработать еще по пятидесяти; потом, сколотив по шестьсот ливров, они промотают их в каком-нибудь городе, горделивые, как султаны, и беспечные, как набобы. Сегодня я живу надеждой и презираю их богатство, которое кажется мне глубочайшей нищетой; завтра, быть может, меня постигнет разочарование, и я буду считать эту нищету величайшим счастьем.

– Нет, – воскликнул Эдмон, – этого не будет; мудрый, непогрешимый Фариа не мог ошибаться! Да и лучше умереть, чем влачить такую жалкую, беспросветную жизнь!

Итак, Дантес, который три месяца тому назад жаждал только свободы, уже не довольствовался свободой и жаждал богатства. Повинен в этом был не Дантес, а бог, который, ограничив могущество человека, наделил его беспредельными желаниями. Подвигаясь между двумя стенами утесов, по вырытой потоком тропинке, которую, вероятно, никогда еще не попирала человеческая нога, Дантес приблизился к тому месту, где, по его предположению, должны были находиться пещеры. Следуя вдоль берега и с глубоким вниманием вглядываясь в мельчайшие предметы, он заметил на некоторых скалах зарубки, сделанные, по-видимому, рукою человека.

Время, облекающее все вещественное, покровом мха, подобно тому, как оно набрасывает на все духовное покров забвения, казалось, пощадило эти знаки, намечающие некое направление и, вероятно, предназначенные для того, чтобы указать дорогу. Иногда, впрочем, эти отметки пропадали, скрытые цветущим миртовым кустом или лишайником. Тогда Эдмон раздвигал ветви или приподнимал мох, чтобы

найти путеводные знаки, которые, окрыляя его надеждой, вели по этому новому лабиринту. Кто знает, не сам ли кардинал, не предвидевший полноты несчастья, поразившего семью Спада, начертал их, чтобы они послужили вехами его племяннику? Это уединенное место как раз подходило для того, чтобы здесь зарыть клад. Но только не привлекли ли уже эти нескромные знаки другие взоры, не те, для которых они предназначались, и свято ли сохранил этот остров, полный мрачных чудес, свою дивную тайну?

Шагах в шестидесяти от гавани Эдмон, все еще скрытый скалами от глаз товарищей, убедился, что зарубки прекратились; но они не привели к пещере. Перед Эдмоном была большая круглая скала, покоившаяся на мощном основании. Он подумал, что, может быть, пришел не к концу, а, напротив того, к началу отметок; поэтому он повернул и пошел обратно по той же дороге.

Тем временем товарищи его занимались приготовлением обеда: ходили за водой к ручью, переносили хлеб и фрукты на берег и жарили козленка. В ту самую минуту, когда они снимали жаркое с самодельного вертела, они увидели Эдмона, который с проворством и смелостью серны прыгал с утеса на утес; они выстрелили из ружья, чтобы подать ему сигнал. Он тотчас же повернулся и со всех ног поспешил к ним. Они следили за его отважными прыжками, укоряя его за безрассудство, и вдруг, как бы для того, чтобы оправдать их опасения, Эдмон оступился на вершине утеса; он зашатался, вскрикнул и скрылся из глаз.

Все разом вскочили, потому что все любили Эдмона, несмотря на то что чувствовали его превосходство над ними. Однако первым подбежал к нему Джакопо.

Эдмон лежал окровавленный и почти без чувств. Он, по-видимому, упал с высоты двенадцати, пятнадцати футов. Ему влили в рот несколько капель рому, и это лекарство, которое уже однажды так ему помогло, и на сей раз оказало такое же благодетельное действие.

Эдмон открыл глаза и пожаловался на сильную боль в колене, на тяжесть в голове и нестерпимую боль в пояснице. Его хотели перенести

на берег. Но когда его стали поднимать, хотя этим распоряжался Джакопо, он застонал и заявил, что не в силах вытерпеть переноску.

Разумеется, Дантесу было не до козленка: но он потребовал, чтобы остальные, которые не имели, подобно ему, причин поститься, возвратились на берег. Сам же он, по его словам, нуждался только в отдыхе и обнадежил их, что, когда они вернутся, ему будет уже лучше.

Матросы не заставили себя долго упрашивать; они были голодны, до них долетал запах козлятины, а морские волки не церемонятся между собой.

Час спустя они возвратились. Все, что Эдмон был в состоянии сделать тем временем, – это проползти несколько шагов и прислониться к мшистому утесу.

Но боль его не только не утихла, а, по-видимому, еще усилилась. Старик капитан, которому необходимо было отплыть в то же утро, чтобы выгрузить товары на границе Пьемонта и Франции, между Ниццей и Фрежюсом, настаивал, чтобы Дантес попытался встать. С нечеловеческими усилиями Дантес исполнил его желание, но при каждой попытке он снова падал, бледный и измученный.

– У него сломаны ребра, – сказал шепотом капитан. – Все равно, он славный товарищ, и нельзя его покидать; постараемся перенести его на тартану.

Но Дантес объявил, что он лучше умрет на месте, чем согласится терпеть муки, которые причиняло ему малейшее движение.

– Ну что ж, – сказал капитан. – Будь, что будет. Пусть не говорят, что мы бросили без помощи такого славного малого, как вы. Мы поднимем якорь не раньше вечера.

Это предложение очень удивило матросов, хотя ни один из них не перечил, – напротив. Капитана знали как человека строгого и точного, и не было случая, чтобы он отказывался от своего намерения или хотя бы откладывал его исполнение. Поэтому Дантес не согласился, чтобы ради него произошло такое неслыханное нарушение заведенного на борту порядка.

– Нет, – сказал он капитану, – я сам виноват и должен быть наказан за свою неловкость: оставьте мне небольшой запас сухарей, ружье, пороху и пуль – чтобы стрелять коз, а может быть, и для самозащиты, и кирку, чтобы я мог построить себе жилище на тот случай, если вы задержитесь.

– Но ты умрешь с голоду, – сказал капитан.

– Я предпочитаю умереть, – отвечал Эдмон, – чем терпеть невыносимые страдания.

Капитан взглянул в сторону маленькой гавани, где «Амелия» покачивалась на волнах, готовясь выйти в море.

– Что же нам делать с тобой, мальтиец? – сказал он. – Мы не можем бросить тебя, но и оставаться нам нельзя.

– Уезжайте! – сказал Дантес.

– Мы пробудем в отлучке не меньше недели, – отвечал капитан, – и нам еще придется свернуть с пути, чтобы зайти за тобой.

– Послушайте, – сказал Дантес, – если через два-три дня вы встретите рыбачью или какую-нибудь другую лодку, идущую в эту сторону, то скажите, чтобы она зашла за мной, я заплачу двадцать пять пиастров за переезд в Ливорно. Если никого не встретите, вернитесь сами.

Капитан покачал головой.

– Послушайте, капитан Бальди, есть способ все уладить, – сказал Джакопо, – уезжайте, а я останусь с раненым и буду ходить за ним.

– И ты отказался бы от своей доли в дележе, – спросил Эдмон, – чтобы остаться со мной?

– Да, – отвечал Джакопо, – и без сожаления.

– Ты славный малый, Джакопо, – сказал Дантес, – и бог наградит тебя за твое доброе намерение; спасибо тебе, но я ни в ком не нуждаюсь. Отдохнув день-другой, я поправлюсь, а среди этих утесов я надеюсь найти кое-какие травы – превосходное средство от ушибов.

И загадочная улыбка мелькнула на губах Дантеса; он крепко пожал руку Джакопо, но был непреклонен в своем решении остаться на острове, и притом одному.

Контрабандисты оставили Эдмону все, что он просил, и удалились, часто оглядываясь назад и дружески прощаясь с ним, на что Эдмон отвечал, поднимая одну только руку, словно он и пошевелиться не мог.

Когда они совсем скрылись из виду, Дантес засмеялся.

– Странно, – прошептал он, – что именно среди таких людей находишь преданность и дружбу!

Потом он осторожно вполз на вершину скалы, закрывавшей от него море, и оттуда увидел тартану, которая закончила свои приготовления, подняла якорь, легко качнулась, словно чайка, расправляющая крылья, и тронулась.

Час спустя она исчезла, – во всяком случае с того места, где лежал раненый, ее не было видно.

Тогда Дантес вскочил на ноги, проворнее и легче дикой серны, прыгающей по этим пустынным утесам среди миртовых и мастиковых деревьев, схватил одною рукою ружье, другою кирку и побежал к той скале, у которой кончались зарубки, замеченные им на утесах.

– А теперь, – вскричал он, вспомнив сказку про арабского рыбака, которую рассказывал ему Фариа, – теперь, Сезам, откройся!

# III. Волшебный блеск

Солнце прошло уже почти треть своего пути, и его майские лучи, жаркие и живительные, падали на утесы, которые, казалось, чувствовали их тепло; тысячи кузнечиков, скрытых в вереске, оглашали воздух однообразным и непрерывным стрекотанием; листья миртов и олив трепетали, издавая почти металлический звук; каждый шаг Эдмона по нагретому солнцем граниту спугивал зеленых, как изумруд, ящериц; вдали, на горных склонах, виднелись резвые серны, так привлекающие охотников; словом, остров казался обитаемым, полным жизни, и, несмотря на это, Эдмон чувствовал, что он один, под десницей бога.

Его охватило странное чувство, похожее на страх; причиной тому был яркий дневной свет, при котором даже в пустыне нам чудится, что чьи-то пытливые взоры следят за нами.

Это чувство было так сильно, что, раньше чем приняться за дело, он отложил кирку, снова взял в руки ружье, еще раз вскарабкался на самую высокую вершину и внимательным глазом окинул окрестность.

Но нужно признаться, что внимание его не было привлечено ни поэтической Корсикой, на которой он различал даже дома, ни почти неведомой ему Сардинией, ни Эльбой, воскрешающей в памяти великие события, ни едва приметной чертой, тянувшейся на горизонте, которая для опытного глаза моряка означала великолепную Геную и торговый Ливорно; нет, взгляд его искал бригантину, отплывшую на рассвете, и тартану, только что вышедшую в море.

Первая уже исчезла в Бонифациевом проливе; вторая, следуя по противоположному пути, шла вдоль берегов Корсики, готовясь обогнуть ее.

Это успокоило Эдмона.

Тогда он обратил свои взоры на близлежащие предметы. Он увидел, что стоит на самой возвышенной точке остроконечного острова, подобно хрупкой статуе на огромном пьедестале; под ним – ни души; вокруг – ни

единой лодки; ничего, кроме лазурного моря, бьющегося о подножие утесов и оставляющего серебристую кайму на прибрежном граните.

Тогда он поспешно, но в то же время осторожно начал спускаться; он очень опасался, как бы его на самом деле не постиг несчастный случай, который он так искусно и удачно разыграл.

Дантес, как мы уже сказали, пошел обратно по зарубкам, сделанным на утесах, и увидел, что следы ведут к маленькой бухточке, укромной, как купальня античной нимфы. Вход в эту бухту был довольно широк, и она была достаточно глубока, чтобы небольшое суденышко вроде сперонары могло войти в нее и там укрыться. Тогда, следуя той нити, которая в руках аббата Фариа так превосходно вела разум по лабиринту вероятностей, он решил, что кардинал Спада, желая остаться незамеченным, вошел в эту бухточку, укрыл там свое маленькое судно, пошел по направлению, обозначенному зарубками, и там, где они кончаются, зарыл свой клад. Это предположение и привело Дантеса снова к круглому камню.

Только одно соображение беспокоило Эдмона и переворачивало все его представления о динамике: каким образом можно было без непосильного труда водрузить этот камень, весивший, вероятно, пять или шесть тысяч фунтов, на то подобие пьедестала, на котором он покоился?

Вдруг внезапная мысль осенила Дантеса.

– Может быть, его вовсе не поднимали, – сказал он самому себе, – а просто скатили сверху вниз.

И он поспешно взобрался выше камня, чтобы отыскать его первоначальное местоположение.

Он в самом деле увидел, что на горе имелась небольшая покатость, по которой камень мог сползти. Другой обломок скалы, поменьше, послужил ему подпоркой и остановил его. Кругом него были навалены мелкие камни и булыжники, и вся эта кладка засыпана плодоносной землей, которая поросла травами, покрылась мхом, вскормила миртовые и мастиковые побеги, и теперь огромный камень был неотделим от скалы.

Дантес бережно разрыл землю и разгадал или решил, что разгадал, весь этот хитроумный маневр.

Тогда он начал разбивать киркой эту промежуточную стену, укрепленную временем.

После десяти минут работы стена подалась, и в ней появилось отверстие, в которое можно было просунуть руку.

Дантес повалил самое толстое оливковое дерево, какое только мог найти, обрубил ветви, просунул его в отверстие и стал действовать им, как рычагом.

Но камень был так тяжел и так прочно подперт нижним камнем, что ни один человек, обладай он даже геркулесовой силой, не мог бы сдвинуть его с места.

Тогда Дантес решил, что прежде всего нужно удалить подпорку.

Но как?

В замешательстве он рассеянно поглядел по сторонам, и вдруг его взор упал на бараний рог с порохом, оставленный ему Джакопо.

Он улыбнулся: адское изобретение выручит его.

С помощью кирки Дантес вырыл между верхним камнем и нижним ход для мины, как делают землекопы, когда хотят избежать долгой и тяжелой работы; наполнил этот ход порохом, разорвал свой платок и с помощью селитры сделал из него фитиль.

Потом он запалил фитиль и отошел в сторону.

Взрыв не заставил себя ждать. Верхний камень был мгновенно приподнят неизмеримой силой пороха, нижний разлетелся на куски. Из маленького отверстия, проделанного Дантесом, хлынули целые полчища трепещущих насекомых, и огромный уж, страж этого таинственного прохода, развернул свои голубоватые кольца и исчез.

Дантес приблизился; верхний камень, оставшись без опоры, висел над пропастью. Неустрашимый искатель обошел его кругом, выбрал самое шаткое место и, подобно Сизифу, изо всех сил налег на рычаг.

Камень, уже поколебленный сотрясением, качнулся; Дантес удвоил усилия; он походил на титана, вырывающего утес, чтобы сразиться с

повелителем богов. Наконец камень подался, покатился, подпрыгнул, устремился вниз и исчез в морской пучине.

Под ним оказалась круглая площадка, посредине которой виднелось железное кольцо, укрепленное в квадратной плите.

Дантес вскрикнул от радости и изумления – каким успехом увенчалась его первая попытка!

Он хотел продолжать поиски, но ноги его так дрожали, сердце билось так сильно, глаза застилал такой горячий туман, что он принужден был остановиться.

Однако эта задержка длилась единый миг. Эдмон продел рычаг в кольцо, с силою двинул им, и плита поднялась; под ней открылось нечто вроде лестницы, круто, спускавшейся во все сгущавшийся мрак темной пещеры.

Другой на его месте бросился бы туда, закричал бы от радости. Дантес побледнел и остановился в раздумье.

– Стой! – сказал он самому себе. – Надо быть мужчиной. Я привык к несчастьям, и разочарование не сломит меня; разве страдания ничему меня не научили? Сердце разбивается, когда, чрезмерно расширившись под теплым дуновением надежды, оно вдруг сжимается от холода действительности! Фариа бредил: кардинал Спада ничего не зарывал в этой пещере, может быть, даже никогда и не был здесь; а если и был, то Цезарь Борджиа, неустрашимый авантюрист, неутомимый и мрачный разбойник, пришел вслед за ним, нашел его след, направился по тем же зарубкам, что и я, как я, поднял этот камень и, спустившись прежде меня, ничего мне не оставил.

Он простоял с минуту неподвижно, устремив глаза на мрачное и глубокое отверстие.

– Да, да, такому приключению нашлось бы место в жизни этого царственного разбойника, где перемешаны свет и тени, в сплетении необычайных событий, составляющих пеструю ткань его судьбы. Это сказочное похождение было необходимым звеном в цепи его подвигов; да, Борджиа некогда побывал здесь с факелом в одной руке и мечом в другой, а в двадцати шагах, быть может у этой самой скалы, стояли два

стража, мрачные и зловещие, зорко оглядывавшие землю, воздух и море, в то время как их властелин входил в пещеру, как собираюсь это сделать я, рассекая мрак своей грозной пламенеющей рукой.

«Так; но что сделал Борджиа с этими стражами, которым он доверил свою тайну?» – спросил себя Дантес.

«То, что сделали с могильщиками Алариха, которых закопали вместе с погребенным», – отвечал он себе, улыбаясь.

«Но, если бы Борджиа здесь побывал, – продолжал Дантес, – он бы нашел сокровище и унес его; Борджиа – человек, сравнивавший Италию с артишоком и общипывавший ее листик за листиком, – Борджиа хорошо знал цену времени и не стал бы тратить его даром, водружая камень на прежнее место.

Итак, спустимся в пещеру».

И он вступил на лестницу, с недоверчивой улыбкой на устах, шепча последнее слово человеческой мудрости: «Быть может!..»

Но вместо мрака, который он ожидал здесь найти, вместо удушливого, спертого воздуха Дантес увидел мягкий, голубоватый сумрак; воздух и свет проникали не только в сделанное им отверстие, но и в незаметные извне расщелины утесов, и сквозь них видно было синее небо, зеленый узор дубовой листвы и колючие волокна ползучего терновника.

Пробыв несколько секунд в пещере, где воздух – не сырой и не затхлый, а скорее теплый и благовонный, – был настолько же мягче наружного воздуха, насколько голубоватый сумрак был мягче яркого солнца, Дантес, обладавший способностью видеть в потемках, уже успел осмотреть самые отдаленные углы; стены пещеры были из гранита, и его мелкие блестки сверкали, как алмазы.

– Увы! – сказал Эдмон улыбаясь. – Вот, вероятно, и все сокровища, оставленные кардиналом, а добрый аббат, видя во сне сверкающие стены, преисполнился великих надежд.

Но Дантес вспомнил слова завещания, которое он знал наизусть. «В самом отдаленном углу второго отверстия», – гласили они.

Он проник только в первую пещеру; надо было найти вход во вторую.

Дантес оглянулся кругом. Вторая пещера могла только уходить в глубь острова. Он осмотрел каменные плиты и начал стучать в ту стену пещеры, в которой, по его мнению, должно было находиться отверстие, очевидно, заделанное для большей предосторожности.

Несколько минут слышались гулкие удары кирки о гранит, настолько твердый, что лоб Дантеса покрылся испариной; наконец неутомимому рудокопу показалось, что в одном месте гранитная стена отвечает более глухим и низким звуком на его призывы; он вгляделся горящим взглядом в стену и чутьем узника понял то, чего не понял бы, может быть, никто другой: в этом месте должно быть отверстие.

Однако, чтобы не трудиться напрасно, Дантес, который не меньше Цезаря Борджиа дорожил временем, испытал киркой остальные стены пещеры, постучал в землю прикладом ружья, разрыл песок в подозрительных местах и, не обнаружив ничего, возвратился к стене, издававшей утешительный звук.

Он ударил снова, и с большей силой.

И вдруг, к своему удивлению, он заметил, что под ударами кирки от стены отделяется как бы штукатурка, вроде той, которую наносят под фрески, и отваливается кусками, открывая беловатый и мягкий камень, подобный обыкновенному строительному камню. Отверстие в скале было заложено этим камнем, камень покрыт штукатуркой, а штукатурке приданы цвет и зерно гранита.

Тогда Дантес ударил острым концом кирки, и она на дюйм вошла в стену.

Вот где надо было искать.

По странному свойству человеческой природы, чем больше доказательств находил Дантес, что Фариа не ошибся, тем сильнее его терзали сомнения, тем ближе он был к отчаянию. Это новое открытие, которое, казалось, должно было придать ему мужества, напротив того, отняло у него последние силы. Кирка скользнула по стене, едва не выпав из его рук, он положил ее на землю, вытер лоб и вышел из пещеры, говоря самому себе, что хочет взглянуть, не подсматривает ли кто-

нибудь за ним, а на самом деле для того, чтобы подышать свежим воздухом; он чувствовал, что вот-вот упадет в обморок.

Остров был безлюден, и высоко стоящее солнце заливало его своими палящими лучами. Вдали рыбачьи лодки раскинули свои крылья над сапфирно-синим морем.

Дантес с утра ничего не ел, но ему было не до еды; он подкрепился глотком рома и вернулся в пещеру.

Кирка, казавшаяся ему такой тяжелой, стала снова легкой; он поднял ее, как перышко, и бодро принялся за работу.

После нескольких ударов он заметил, что камни ничем не скреплены между собой, а просто положены один на другой и покрыты штукатуркой, о которой мы уже говорили. Воткнув в одну из расщелин конец кирки, Эдмон налег на рукоятку – и камень упал к его ногам!

После этого Дантесу осталось только выворачивать камни концом кирки, и все они один за другим упали рядом с первым.

Дантес давно уже мог бы войти в пробитое им отверстие, но он все еще медлил, чтобы отдалить уверенность и сохранить надежду.

Наконец, преодолев минутное колебание, Дантес перешел из первой пещеры во вторую.

Вторая пещера была ниже, темнее и мрачнее первой; воздух, проникавший туда через только что пробитое отверстие, был затхлый и промозглый, чего, к удивлению Дантеса, не было в первой пещере.

Дантес подождал, пока наружный воздух несколько освежил эту мертвую атмосферу, и вошел.

Налево от входного отверстия был глубокий и темный угол.

Но мы уже говорили, что для Дантеса не существовало темноты.

Он осмотрел пещеру. Она была пуста, как и первая. Клад, если только он существовал, был зарыт в этом темном углу.

Мучительная минута наступила. Фута два земли – вот все, что отделяло Дантеса от величайшего счастья или глубочайшего отчаяния.

Он подошел к углу и, как бы охваченный внезапной решимостью, смело начал раскапывать землю.

При пятом или шестом ударе кирка ударилась о железо.

Никогда похоронный звон, никогда тревожный набат не производили такого впечатления на того, кто их слышал.

Если бы Дантес ничего не нашел, он не побледнел бы так страшно.

Он ударил киркой в другом месте, рядом, и встретил то же сопротивление, но звук был другой.

– Это деревянный сундук, окованный железом, – сказал он себе.

В эту минуту, заслоняя свет, мелькнула чья-то быстрая тень.

Дантес выпустил из рук кирку, схватил ружье и выбежал из пещеры.

Дикая коза проскочила мимо входа в пещеру и щипала траву в нескольких шагах от него.

Это был удобный случай обеспечить себе обед; но Дантес боялся, что ружейный выстрел привлечет кого-нибудь.

Он подумал, потом срубил смолистое дерево, зажег его от курившегося еще костра контрабандистов, на котором жарился козленок, и возвратился с этим факелом в пещеру.

Он не хотел упустить ни одной мелочи из того, что ему предстояло увидеть. Он поднес факел к выкопанному им бесформенному углублению и понял, что не ошибся: кирка в самом деле била попеременно то в железо, то в дерево.

Он воткнул свой факел в землю и снова принялся за работу.

В несколько минут Дантес расчистил пространство в три фута длиной и в два шириной и увидел сундук из дубового дерева, окованный чеканным железом. На крышке блестела не потускневшая под землей серебряная бляха с гербом рода Спада, – отвесно поставленный меч в овальном итальянском щите, увенчанном кардинальской шапкой.

Дантес легко узнал этот герб, – сколько раз аббат Фариа его рисовал!

Теперь уже не оставалось сомнений. Клад был здесь; никто не стал бы с такой тщательностью прятать пустой сундук.

В одну минуту Дантес расчистил землю вокруг сундука. Сначала показался верхний затвор, потом два висячих замка, потом ручки на боковых стенках. Все это было выточено с мастерством, отличавшим эпоху, когда искусство облагораживало грубый металл.

Дантес схватил сундук за ручки и попытался приподнять его – тщетно.

Тогда он решил открыть сундук, но и затвор, и висячие замки были крепко заперты. Эти верные стражи, казалось, не хотели отдавать порученного им сокровища.

Дантес вдвинул острый конец кирки между стенкой сундука и крышкой, налег на рукоятку, и крышка, завизжав, треснула; широкий пролом ослабил железные полосы, они, в свою очередь, слетели, все еще сжимая своими цепкими когтями поврежденные доски, – и сундук открылся.

Лихорадочная дрожь охватила Дантеса. Он поднял ружье, взвел курок и положил его подле себя. Сначала он закрыл глаза, как это делают дети, чтобы увидеть в сверкающей ночи своего воображения больше звезд, чем они могут насчитать в еще светлом небе, потом открыл их и замер, ослепленный.

В сундуке было три отделения.

В первом блистали красноватым отблеском золотые червонцы.

Во втором – уложенные в порядке слитки, не обделанные, обладавшие только весом и ценностью золота.

Наконец, в третьем отделении, наполненном до половины, Эдмон погрузил руки в груду алмазов, жемчугов, рубинов, которые, падая друг на друга сверкающим водопадом, стучали, подобно граду, бьющему в стекла.

Насытившись этим зрелищем и несколько раз погрузив дрожащие руки в золото и драгоценные камни, Эдмон вскочил и в исступлении бросился вон из пещеры, как человек, близкий к безумию. Он взбежал на утес, с которого видно было море, и не увидел никого. Он был один, совершенно один, с этим неисчислимым, неслыханным, баснословным богатством, которое принадлежало ему. Но сон это или явь? Пригрезилось ему мимолетное видение, или он сжимает в руках подлинную действительность?

Его тянуло снова увидеть свое золото, а между тем он чувствовал, что в эту минуту он бы не вынес этого зрелища. Он схватился обеими руками за голову, точно желая удержать рассудок, готовый покинуть его, потом бросился бежать по острову, не только не выбирая дороги, потому что на

острове Монте-Кристо дорог нет, но даже без определенного направления, пугая диких коз и морских птиц своими криками и неистовыми движениями. Потом кружным путем он возвратился назад и, все еще не доверяя самому себе, бросился в первую пещеру, оттуда во вторую и опять увидел перед собой этот золотой и алмазный рудник...

На этот раз он упал на колени, судорожно прижимая руки к трепещущему сердцу и шепча молитву, внятную одному богу.

Немного погодя он стал спокойнее и вместе с тем счастливее; только теперь он начинал верить своему счастью. И он начал считать свое богатство. В сундуке оказалась тысяча золотых слитков, каждый весом от двух до трех фунтов; потом он насчитал двадцать пять тысяч золотых червонцев, стоимостью каждый около восьмидесяти франков на нынешние деньги, все с изображением папы Александра VI и его предшественников, и при этом убедился, что только наполовину опустошил отделение; наконец, он обеими руками намерил десять пригоршней жемчуга, алмазов и других драгоценных камней, из которых многие, оправленные лучшими мастерами того времени, представляли художественную ценность, немалую даже по сравнению с их денежной стоимостью.

День уже склонялся к вечеру. Дантес заметил, что близятся сумерки. Он боялся быть застигнутым в пещере и вышел с ружьем в руках. Кусок сухаря и несколько глотков вина заменили ему ужин. Потом он положил плиту на прежнее место, лег на нее и проспал несколько часов, закрывая своим телом вход в пещеру.

Эта ночь была одной из тех сладостных и страшных ночей, которые уже два-три раза выпадали на долю этого обуреваемого страстями человека.

# IV. Незнакомец

Наступило утро. Дантес давно уже ожидал его с открытыми глазами. С первым лучом солнца он встал и взобрался, как накануне, на самый высокий утес острова, чтобы осмотреть окрестности. Все было безлюдно, как и тогда. Эдмон спустился, подошел к пещере и, отодвинув камень, вошел; он наполнил карманы драгоценными камнями, закрыл как можно плотнее крышку сундука, утоптал землю, посыпал ее песком, чтобы скрыть разрытое место, вышел из пещеры, заложил вход плитой, навалил на нее камни, промежутки между ними засыпал землей, посадил там миртовые деревца и вереск и полил их водой, чтобы они принялись и казались давно растущими здесь, затер следы своих ног и с нетерпением стал ожидать возвращения товарищей. Теперь уже незачем было тратить время на созерцание золота и алмазов и сидеть на острове, подобно дракону, стерегущему бесполезные сокровища. Теперь нужно было возвратиться в жизнь, к людям, и добиться положения, влияния и власти, которые даются в свете богатством, первою и величайшею силою, какою может располагать человек.

Контрабандисты возвратились на шестой день. Дантес еще издали по виду и ходу узнал «Юную Амелию»; он дотащился до пристани, подобно раненому Филоктету, и, когда его товарищи сошли на берег, объявил им, все еще жалуясь на боль, что ему гораздо лучше. Потом, в свою очередь, выслушал рассказы об их приключениях. Успех сопутствовал им; но едва они кончили выгрузку, как узнали, что сторожевой бриг вышел из Тулона и направился в их сторону. Тогда они поспешили уйти, жалея, что с ними нет Дантеса, который так искусно умел ускорять ход «Амелии». Вскоре они увидели бриг, который гнался за ними; но, пользуясь темнотою, они успели обогнуть мыс Коре и благополучно уйти.

В общем, плавание было удачным, и все они, в особенности Джакопо, жалели, что Дантес не участвовал в нем и не получил своей доли прибыли – причитающихся каждому пятидесяти пиастров.

Эдмон остался невозмутим; он даже не улыбнулся при исчислении выгод, которые он получил бы, если бы мог покинуть остров; а так как «Юная Амелия» пришла на Монте-Кристо только за ним, то он в тот же вечер перебрался на борт и последовал за капитаном в Ливорно.

Прибыв в Ливорно, он отправился к еврею-меняле и продал ему четыре из своих самых мелких камней по пяти тысяч франков каждый. Еврей мог бы спросить, откуда у матроса такие драгоценности, но промолчал, ибо на каждом камне он взял тысячу франков барыша.

На следующий день Дантес купил новую рыбачью лодку и подарил ее Джакопо, прибавив к этому подарку сто пиастров для найма матросов, с одним лишь условием, чтобы Джакопо отправился в Марсель и привез ему вести о старике по имени Луи Дантес, живущем в Мельянских аллеях, и молодой женщине по имени Мерседес, живущей в селении Каталаны.

Тут уже Джакопо решил, что видит сон; но Эдмон сказал ему, что он пошел в матросы из озорства, потому что его родные не давали ему денег, но что, прибыв в Ливорно, он получил наследство после дяди, который все свое состояние завещал ему. Высокая просвещенность Дантеса придавала убедительность этому рассказу, так что Джакопо ни минуты не сомневался, что недавний его товарищ сказал ему правду.

Затем, так как срок его службы на «Юной Амелии» истек, Дантес простился с капитаном, который хотел было удержать его, но, узнав про наследство, отказался от надежды уговорить своего бывшего матроса остаться на судне.

На другой день Джакопо отплыл в Марсель. Он условился с Дантесом встретиться на острове Монте-Кристо.

В тот же день уехал и Дантес, не сказав никому, куда он едет, щедро наградив на прощание экипаж «Юной Амелии» и обещав капитану когда-нибудь подать весточку о себе. Дантес поехал в Геную.

Здесь, в гавани, как раз испытывали маленькую яхту, заказанную одним англичанином, который, услышав, что генуэзцы лучшие кораблестроители на Средиземном море, пожелал иметь яхту генуэзской работы. Англичанин заказал ее за сорок тысяч франков; Дантес

предложил за нее шестьдесят тысяч, с тем чтобы она была ему сдана в тот же день. В ожидании своей яхты англичанин отправился путешествовать по Швейцарии. Его ждали не раньше чем через месяц; строитель решил, что успеет тем временем приготовить другую. Дантес повел строителя в лавку к еврею, прошел с ним в заднюю комнату, и еврей отсчитал строителю шестьдесят тысяч франков.

Строитель предложил Дантесу свои услуги для найма экипажа. Но Дантес поблагодарил его, сказав, что имеет привычку плавать один, и просил его только сделать в каюте, у изголовья кровати, шкаф с секретным замком, разгороженный на три отделения, тоже с секретными замками. Он указал размеры этих отделений, и все было исполнено на следующий же день.

Два часа спустя Дантес выходил из генуэзского порта, провожаемый взорами любопытных, собравшихся посмотреть на испанского вельможу, который имел привычку плавать один.

Дантес справился превосходно: с помощью одного только руля он заставлял яхту исполнять все необходимые маневры, так что она казалась разумным существом, готовым повиноваться малейшему понуждению, и Дантес в душе согласился, что генуэзцы по справедливости заслужили звание первых кораблестроителей в мире.

Толпа провожала глазами яхту, пока не потеряла ее из виду, и тогда начались толки о том, куда она идет: одни говорили – на Корсику, другие – на Эльбу; иные бились об заклад, что она идет в Испанию; иные утверждали, что в Африку; но никому не пришло в голову назвать остров Монте-Кристо.

А между тем Дантес шел именно туда.

Он пристал к острову в конце второго дня. Яхта оказалась очень легка на ходу и сделала рейс в тридцать пять часов. Дантес отлично изучил очертания берегов и, не заходя в гавань, бросил якорь в маленькой бухточке.

Остров был пуст; по-видимому, никто не высаживался на нем с тех пор, как Дантес его покинул. Он вошел в пещеру и нашел клад в том же положении, в каком оставил его.

На следующий день несметные сокровища Дантеса были перенесены на яхту и заперты в трех отделениях потайного шкафа.

Дантес прождал еще неделю. Всю эту неделю он лавировал на яхте вокруг острова, объезжая ее, как берейтор объезжает лошадь. За эти дни он узнал все ее достоинства и все недостатки. Дантес решил усугубить первые и исправить последние.

На восьмой день Дантес увидел лодку, шедшую к острову на всех парусах, и узнал лодку Джакопо; он подал сигнал, на который Джакопо ответил, и два часа спустя лодка подошла к яхте.

Эдмона ждал печальный ответ на оба его вопроса.

Старик Дантес умер. Мерседес исчезла.

Эдмон спокойно выслушал эти вести; но тотчас же сошел на берег, запретив следовать за собой.

Через два часа он возвратился; два матроса с лодки Джакопо перешли на его яхту, чтобы управлять парусами; он велел взять курс на Марсель. Смерть отца он предвидел; но что сталось с Мерседес?

Эдмон не мог бы дать ни одному агенту исчерпывающих указаний, не открыв своей тайны; кроме того, он хотел получить еще некоторые другие сведения, а это мог сделать только он один. В Ливорно зеркало парикмахера показало ему, что ему нечего опасаться быть узнанным. К тому же в его распоряжении были теперь все средства изменить свой облик. И вот однажды утром парусная яхта Дантеса в сопровождении рыбачьей лодки смело вошла в марсельский порт и остановилась против того самого места, где когда-то, в роковой вечер, Эдмона посадили в шлюпку, чтобы отвезти в замок Иф.

Дантес не без трепета увидел подъезжавшего к нему в карантинной шлюпке жандарма. Но он с приобретенной им спокойной уверенностью подал ему английский паспорт, купленный в Ливорно, и с помощью этого иностранного пропуска, уважаемого во Франции гораздо более французских паспортов, беспрепятственно сошел на берег.

Первый, кого встретил Дантес на улице Каннебьер, был матрос с «Фараона». Этот человек некогда служил под его началом и, как нарочно, находился тут, чтобы Дантес мог убедиться в происшедшей в

нем перемене. Дантес прямо подошел к матросу и задал ему несколько вопросов, на которые тот отвечал так, как говорят с человеком, которого видят первый раз в жизни.

Дантес дал матросу монету в благодарность за сообщенные им сведения; минуту спустя он услышал, что добрый малый бежит за ним вслед.

Дантес обернулся.

– Прошу прощения, сударь, – сказал матрос, – но вы, должно быть, ошиблись; вы, верно, хотели дать мне двухфранковую монету, а вместо того дали двойной наполеондор.

– Ты прав, друг мой, я ошибся, – сказал Дантес, – но твоя честность заслуживает награды, и я прошу тебя принять от меня еще второй и выпить с товарищами за мое здоровье.

Матрос был так изумлен, что даже не поблагодарил Эдмона, он посмотрел ему вслед и сказал:

– Какой-нибудь набоб из Индии.

Дантес продолжал путь; с каждым шагом сердце его замирало все сильнее; воспоминания детства, неизгладимые, никогда не покидающие наши мысли, возникали перед ним на каждом углу, на каждом перекрестке. Дойдя до конца улицы Ноайль и увидев Мельянские аллеи, он почувствовал, что ноги у него подкашиваются, и едва не попал под колеса проезжавшего экипажа. Наконец он подошел к дому, где когда-то жил его отец. Ломоносы и настурции исчезли с окна мансарды, где, бывало, старик так старательно ухаживал за ними.

Дантес прислонился к дереву и задумчиво смотрел на верхние этажи старого дома; наконец он подошел к двери, переступил порог, спросил, нет ли свободной квартиры и, хотя комнаты в пятом этаже оказались заняты, выразил такое настойчивое желание осмотреть их, что привратник поднялся наверх и попросил у жильцов позволения показать иностранцу помещение. Эту квартирку, состоявшую из двух комнат, занимали молодожены, всего только неделю как повенчанные. При виде счастливой молодой четы Дантес тяжело вздохнул.

Впрочем, ничто не напоминало Дантесу отцовского жилища; обои были другие; все старые вещи, друзья его детства, вставшие в его памяти во всех подробностях, исчезли. Одни только стены были те же.

Дантес взглянул на кровать; она стояла на том же самом месте, что и кровать его отца. Глаза Эдмона невольно наполнились слезами: здесь старик испустил последний вздох, призывая сына.

Молодые супруги с удивлением смотрели на этого сурового человека, по неподвижному лицу которого катились крупные слезы. Но всякое горе священно, и они не задавали незнакомцу никаких вопросов. Они только отошли, чтобы не мешать ему, а когда он стал прощаться, проводили его, говоря, что он может приходить, когда ему угодно, и что они всегда рады будут видеть его в своей скромной квартирке.

Спустившись этажом ниже, Эдмон остановился перед другой дверью и спросил, тут ли еще живет портной Кадрусс. Но привратник ответил ему, что человек, о котором он спрашивает, разорился и держит теперь трактир на дороге из Бельгарда в Бокер.

Дантес вышел, спросил адрес хозяина дома, отправился к нему, велел доложить о себе под именем лорда Уилмора (так он был назван в паспорте) и купил у него весь дом за двадцать пять тысяч франков. Он переплатил по меньшей мере десять тысяч. Но если бы хозяин потребовал с Дантеса полмиллиона, он заплатил бы, не торгуясь.

В тот же день молодые супруги, жившие в пятом этаже, были уведомлены нотариусом, совершившим купчую на дом, что новый хозяин предоставляет им на выбор любую квартиру в доме за ту же плату, если они уступят ему снятые ими две комнаты.

Это странное происшествие занимало в продолжение целой недели всех обитателей Мельянских аллей и породило тысячу догадок, из которых ни одна не соответствовала истине.

Но еще более смутило все умы и сбило с толку то обстоятельство, что тот самый иностранец, который днем побывал в доме на Мельянских аллеях, вечером прогуливался по каталанской деревне и заходил в бедную рыбачью хижину, где пробыл более часа, расспрашивая о

разных людях, которые умерли или исчезли уже лет пятнадцать тому назад.

На другой день рыбаки, к которым он заходил для расспросов, получили в подарок новую лодку, снабженную двумя неводами и ахатом.

Рыбакам очень хотелось поблагодарить великодушного посетителя, но они узнали, что накануне, поговорив с каким-то матросом, он сел на лошадь и выехал из Марселя через Эксские ворота.

# V. Трактир «Гарский мост»

Кто, как я, путешествовал пешком по Южной Франции, вероятно, видел между Бельгардом и Бокером, приблизительно на полпути между селением и городом, но все же ближе к Бокеру, чем к Бельгарду, небольшой трактир, где на висячей жестяной вывеске, скрипящей при малейшем дуновении ветра, презабавно изображен Гарский мост. Этот трактир, если идти по течению Роны, стоит по левую сторону от большой дороги, задней стеной к реке. При нем имеется то, что в Лангедоке называют садом, то есть огороженный участок земли на задворках, где чахнет несколько малорослых оливковых деревьев и диких смоковниц с посеребренной пылью листвой; между этими деревьями произрастают овощи, преимущественно чеснок, красный стручковый перец и лук; наконец, в углу, словно забытый часовой, высокая пиния одиноко возносит к небу свою вершину, потрескивающую на тридцатиградусном солнце.

Все эти деревья, большие и малые, искривлены от природы и кренятся в ту сторону, в которую дует мистраль – один из трех бичей Прованса; двумя другими, как известно, или как, может быть, неизвестно, считались Дюранса[13] и парламент.

Кругом, на равнине, похожей на большое озеро пыли, произрастают там и сям редкие пшеничные колосья, которые местные садоводы, вероятно, выращивают из любопытства и которые служат насестом для цикад, преследующих своим пронзительным и однообразным треском путешественников, забредших в эту пустыню.

Уже лет семь этот трактир принадлежал супружеской паре, вся прислуга которой состояла из работницы по имени Тринетта и конюха, прозывавшегося Пако; впрочем, двух слуг было вполне достаточно, ибо с тех пор как между Бокером и Эг-Мортом провели канал, барки победоносно заменили почтовых лошадей, а перевозное судно – дилижанс.

Этот канал, к вящей досаде бедного трактирщика, проходил между питающей его Роной и поглощаемой им дорогой в каких-нибудь ста шагах от трактира, который мы кратко, но верно только что описали.

Хозяин этого убогого трактирчика был человек лет сорока пяти, истый южанин – высокий, сухощавый и жилистый, с блестящими, глубоко сидящими глазами, орлиным носом и белыми, как у хищника, зубами. Волосы его, видимо не желавшие седеть, несмотря на первые предостережения старости, были, как и его круглая борода, густые и курчавые и только кое-где тронуты сединой. Лицо его, от природы смуглое, стало почти черным вследствие привычки бедного малого торчать с утра до вечера на пороге и высматривать, не покажется ли – пеший или конный – какой-нибудь постоялец; ждал он обычно понапрасну, и ничто не защищало его лица от палящего зноя, кроме красного платка, повязанного вокруг головы, как у испанских погонщиков. Это был наш старый знакомый, Гаспар Кадрусс.

Жена его, звавшаяся в девицах Мадлена Радель, была женщина бледная, худая и хворая; она родилась в окрестностях Арля и сохранила следы былой красоты, которою славятся женщины того края; но лицо ее рано поблекло от приступов скрытой лихорадки, столь распространенной среди людей, живущих близ эг-мортских прудов и камаргских болот. Поэтому она почти никогда не выходила из комнаты во втором этаже и проводила целые дни, дрожа от лихорадки, полулежа в кресле или полусидя на кровати, между тем как муж ее по обыкновению стоял на часах у порога, весьма неохотно покидая свой пост, ибо каждый раз, когда он возвращался к своей сварливой половине, она донимала его вечными жалобами на судьбу, на что муж обычно отвечал философски:

– Молчи, Карконта! Видно, так богу угодно.

Прозвище Карконта произошло оттого, что Мадлена Радель родилась в деревне Карконте, между Салоном и Ламбеском; а так как в тех местах людей почти всегда называют не по имени, а по прозвищу, то и муж ее заменил этим прозвищем имя Мадлена, быть может, слишком нежное и благозвучное для его грубой речи.

Однако, несмотря на такую мнимую покорность воле провидения, не следует думать, будто наш трактирщик не сетовал на бедственное положение, в которое ввергнул его проклятый Бокерский канал, и равнодушно переносил беспрестанные причитания жены. Подобно всем южанам, он был человек весьма воздержанный и неприхотливый, но тщеславный во всем, что касалось внешности; во времена своего благоденствия он не пропускал ни одной феррады, ни одного шествия с тарасконом[14] и торжественно появлялся со своей Карконтой: он – в живописном костюме южанина, представляющем нечто среднее между каталонским и андалузским, она – в прелестном наряде арлезианок, словно заимствованном у греков и арабов. Но мало-помалу часовые цепочки, ожерелья, разноцветные пояса, вышитые корсажи, бархатные куртки, шелковые чулки с изящными стрелками, пестрые гетры, башмаки с серебряными пряжками исчезли, а Гаспар Кадрусс, лишенный возможности показываться в своем былом великолепии, отказался вместе с женой от участия в празднествах, чьи веселые отклики, терзая его сердце, долетали до убогого трактира, который он продолжал держать не столько ради доходов, сколько для того, чтобы иметь какое-нибудь занятие.

Кадрусс по обыкновению простоял уже пол-утра перед дверью трактира, переводя грустный взгляд от небольшого лужка, по которому бродили куры, к двум крайним точкам пустынной дороги, одним концом уходящей на юг, а другим – на север, – как вдруг пронзительный голос его жены заставил его покинуть свой пост. Он ворча вошел в трактир и поднялся во второй этаж, оставив, однако, дверь отворенной настежь, как бы приглашая проезжих завернуть к нему.

В ту минуту, когда Кадрусс входил в трактир, большая дорога, о которой мы говорили и на которую были устремлены его взоры, была пуста и безлюдна, как пустыня в полдень. Она тянулась бесконечной белой лентой меж двух рядов тощих деревьев, и ясно было, что ни один путник по своей воле не пустится в такой час по этой убийственной Сахаре.

Между тем вопреки всякой вероятности, если бы Кадрусс остался на месте, он увидел бы, что со стороны Бельгарда приближается всадник тем благопристойным и спокойным аллюром, который указывает на наилучшие отношения между конем и седоком; всадник был священник, в черной сутане и треугольной шляпе, несмотря на палящий зной полуденного солнца; конь – мерин-иноходец – шел легкой рысцой.

У дверей трактира священник остановился; трудно сказать, лошадь ли остановила ездока, или же ездок остановил лошадь; но как бы то ни было священник спешился и, взяв лошадь за поводья, привязал ее к задвижке ветхого ставня, державшегося на одной петле; потом, подойдя к двери и вытирая красным бумажным платком пот, градом катившийся по его лицу, он три раза постучал о порог кованым концом трости, которую держал в руке.

Тотчас же большая черная собака встала и сделала несколько шагов, заливаясь лаем и скаля свои белые острые зубы, – вдвойне враждебное поведение, доказывавшее, как мало она привыкла видеть посторонних.

Деревянная лестница, примыкавшая к стене, тотчас же затрещала под тяжелыми шагами хозяина убогого жилища; весь согнувшись, он задом спускался к стоявшему в дверях священнику.

– Иду, иду, – говорил весьма удивленный Кадрусс. – Да замолчишь ли ты, Марго! Не бойтесь, сударь, она хоть и лает, но не укусит. Вы желаете винца, не правда ли? Ведь жара-то канальская... Ах, простите, – продолжал Кадрусс, увидев, с какого рода проезжим имеет дело. – Простите, я не рассмотрел, кого имею честь принимать у себя. Что вам угодно? Чем могу служить, господин аббат?

Аббат несколько секунд очень пристально смотрел на Кадрусса; казалось, он даже старался и сам обратить на себя его внимание. Но так как лицо трактирщика не выражало ничего, кроме удивления, что посетитель не отвечает, он счел нужным положить конец этой сцене и сказал с сильным итальянским акцентом:

– Не вы ли будете господин Кадрусс?

– Да, сударь, – отвечал хозяин, быть может, еще более удивленный вопросом, нежели молчанием, – я самый; Гаспар Кадрусс, ваш слуга.

– Гаспар Кадрусс?.. Да... Кажется, так и есть. Вы жили когда-то в Мельянских аллеях, на четвертом этаже?

– Точно так.

– И занимались ремеслом портного?

– Да; но дело не пошло. В этом проклятом Марселе так жарко, что я думаю, там скоро вовсе перестанут одеваться. Кстати, о жаре; не угодно ли вам будет немного освежиться, господин аббат?

– Пожалуй. Принесите бутылку вашего самого лучшего вина, и мы продолжим наш разговор.

– Как прикажете, господин аббат, – сказал Кадрусс.

И чтобы не упустить случая продать одну из своих последних бутылок кагора, Кадрусс поспешил поднять люк, устроенный в полу комнаты, служившей одновременно и залой, и кухней.

Когда пять минут спустя он снова появился, аббат уже сидел на табурете, опершись локтем на стол, между тем как Марго, которая, видимо, сменила гнев на милость, услышав, что странный путешественник спросил вина, положила ему на колени свою худую шею и смотрела на него умильными глазами.

– Вы один здесь живете? – спросил аббат у хозяина, когда тот ставил перед ним бутылку и стакан.

– Да, один, или почти один, господин аббат, так как жена мне не в помощь; она вечно хворает, моя бедная Карконта.

– Так вы женаты! – сказал аббат с оттенком участия, бросив вокруг себя взгляд, которым он словно оценивал скудное имущество бедной четы.

– Вы находите, что я небогат, не правда ли, господин аббат? – сказал, вздыхая, Кадрусс. – Но что поделаешь; мало быть честным человеком, чтобы благоденствовать на этом свете.

Аббат устремил на него проницательный взгляд.

– Да, честным человеком; этим я могу похвалиться, господин аббат, – сказал хозяин, смотря аббату прямо в глаза и прижав руку к груди, – а в наше время не всякий может это сказать.

– Тем лучше, если то, чем вы хвалитесь, правда, – сказал аббат. – Я твердо верю, что рано или поздно честный человек будет вознагражден, а злой наказан.

– Вам по сану положено так говорить, господин аббат, – возразил Кадрусс с горечью, – а каждый волен верить или не верить вашим словам.

– Напрасно вы так говорите, сударь, – сказал аббат, – может быть, я сам докажу вам справедливость моих слов.

– Как это так? – удивленно спросил Кадрусс.

– А вот как: прежде всего мне нужно удостовериться, точно ли вы тот человек, в ком я имею надобность.

– Какие же доказательства вам надо?

– Знавали вы в тысяча восемьсот четырнадцатом или в тысяча восемьсот пятнадцатом году моряка по имени Дантес?

– Дантес!.. Знавал ли я беднягу Эдмона! Еще бы, да это был мой лучший друг! – воскликнул Кадрусс, густо покраснев, между тем как ясные и спокойные глаза аббата словно расширялись, чтобы единым взглядом охватить собеседника.

– Да, кажется, его звали Эдмоном.

– Конечно, его звали Эдмон! Еще бы! Это так же верно, как то, что меня зовут Гаспар Кадрусс. А что с ним сталось, господин аббат, с бедным Эдмоном? – продолжал трактирщик. – Вы его знали? Жив ли он еще? Свободен ли? Счастлив ли?

– Он умер в тюрьме в более отчаянном и несчастном положении, чем каторжники, которые волочат ядро на тулонской каторге.

Смертельная бледность сменила разлившийся было по лицу Кадрусса румянец. Он отвернулся, и аббат увидел, что он вытирает слезы уголком красного платка, которым была повязана его голова.

– Бедняга! – пробормотал Кадрусс. – Вот вам еще доказательство в подтверждение моих слов, господин аббат, что бог милостив только к дурным людям. Да, – продолжал Кадрусс, – свет становится день ото дня хуже. Пусть бы небеса послали на землю сначала серный дождь, потом огненный – и дело с концом!

– Видимо, вы от души любили этого молодого человека, – сказал аббат.

– Да, я его очень любил, – сказал Кадрусс, – хотя должен покаяться, что однажды позавидовал его счастью; но после, клянусь вам честью, я горько жалел о его несчастной участи.

На минуту воцарилось молчание, в продолжение которого аббат не отводил пристального взора от выразительного лица трактирщика.

– И вы знали беднягу? – спросил Кадрусс.

– Я был призван к его смертному одру и подал ему последние утешения веры, – отвечал аббат.

– А отчего он умер? – спросил Кадрусс сдавленным голосом.

– Отчего умирают в тюрьме на тридцатом году жизни, как не от самой тюрьмы?

Кадрусс отер пот, струившийся по его лицу.

– Всего удивительнее, – продолжал аббат, – что Дантес на смертном одре клялся мне перед распятием, которое он лобызал, что ему не известна истинная причина его заточения.

– Верно, верно, – прошептал Кадрусс, – он не мог ее знать. Да, господин аббат, бедный мальчик сказал правду.

– Потому-то он и поручил мне доискаться до причины его несчастья и восстановить честь его имени, если оно было чем-либо запятнано.

И взгляд аббата, становившийся все пристальнее, впился в омрачившееся лицо Кадрусса.

– Один богатый англичанин, – продолжал аббат, – его товарищ по несчастью, выпущенный из тюрьмы при второй реставрации, обладал алмазом большой ценности. При выходе из тюрьмы он подарил этот алмаз Дантесу в благодарность за то, что во время его болезни тот ухаживал за ним, как за родным братом. Дантес, вместо того чтобы подкупить тюремщиков, которые, впрочем, могли бы взять награду, а потом выдать его, бережно хранил камень при себе на случай своего освобождения; если бы он вышел из тюрьмы, он сразу стал бы богачом, продав этот алмаз.

– Так вы говорите, – спросил Кадрусс, глаза которого разгорелись, – что это был алмаз большой ценности?

– Все в мире относительно, – отвечал аббат. – Для Эдмона это было богатство; его оценивали в пятьдесят тысяч франков.

– Пятьдесят тысяч франков! – вскричал Кадрусс. – Так он был с грецкий орех, что ли?

– Нет, поменьше, – отвечал аббат, – но вы сами можете об этом судить, потому что он со мною.

Глаза Кадрусса, казалось, шарили под платьем аббата, разыскивая камень.

Аббат вынул из кармана коробочку, обтянутую черной шагреневой кожей, раскрыл ее и показал изумленному Кадруссу сверкающий алмаз, вправленный в перстень чудесной работы.

– И это стоит пятьдесят тысяч франков?

– Без оправы, которая сама по себе довольно дорога, – отвечал аббат.

Он закрыл футляр и положил в карман алмаз, продолжавший сверкать в воображении Кадрусса.

– Но каким образом этот камень находится в ваших руках, господин аббат? – спросил Кадрусс. – Разве Эдмон назначил вас своим наследником?

– Не наследником, а душеприказчиком. «У меня было трое добрых друзей и невеста, – сказал он мне, – я уверен, что все четверо горько жалеют обо мне; один из этих друзей звался Кадрусс».

Кадрусс вздрогнул.

– «Другого, – продолжал аббат, делая вид, что не замечает волнения Кадрусса, – звали Данглар, третий, прибавил он, хоть и был мой соперник, но тоже любил меня».

Дьявольская улыбка появилась на губах Кадрусса; он хотел прервать аббата.

– Постойте, – сказал аббат, – дайте мне кончить, и, если вы имеете что сказать мне, вы скажете потом. «Третий, хоть и был мой соперник, но тоже любил меня, и звали его Фернан; а мою невесту звали...» Я забыл имя невесты, – сказал аббат.

– Мерседес, – сказал Кадрусс.

– Да, да, совершенно верно, – с подавленным вздохом подтвердил аббат, – Мерседес.

– Ну и что же дальше? – спросил Кадрусс.

– Дайте мне графин с водой, – сказал аббат.

Кадрусс поспешил исполнить его желание.

Аббат налил воды в стакан и отпил несколько глотков.

– На чем мы остановились? – спросил он, поставив стакан на стол.

– Невесту звали Мерседес.

– Да, да. «Вы поедете в Марсель...» Это все Дантес говорил, вы понимаете?

– Понимаю.

– «Вы продадите этот алмаз и разделите вырученные за него деньги между моими пятью друзьями, единственными людьми, любившими меня на земле».

– Как так пятью? – сказал Кадрусс. – Вы назвали мне только четверых.

– Потому что пятый умер, как мне сказали... Пятый был отец Дантеса.

– Увы, это верно, – сказал Кадрусс, раздираемый противоречивыми чувствами, – бедный старик умер.

– Я узнал об этом в Марселе, – отвечал аббат, стараясь казаться равнодушным, – но смерть его произошла так давно, что я не мог узнать никаких подробностей... Может быть, вы что-нибудь знаете о смерти старика?

– Кому и знать, как не мне? – сказал Кадрусс. – Я был его соседом... О господи! Не прошло и года после исчезновения его сына, как бедный старик умер!

– А отчего он умер?

– Доктора называли его болезнь... кажется, воспалением желудка; люди, знавшие его, говорили, что он умер с горя... а я, который видел, как он умирал, я говорю, что он умер...

Кадрусс запнулся.

– Отчего? – с тревогой спросил аббат.

– С голоду он умер!

– С голоду? – вскричал аббат, вскакивая на ноги. – С голоду! Последняя тварь не умирает с голоду. Пес, блуждающий по улицам, находит милосердную руку, которая бросает кусок хлеба, а человек, христианин, умирает с голоду среди других людей, также называющих себя христианами! Невозможно! Это невозможно!

– Я вам говорю правду, – сказал Кадрусс.

– И напрасно, – послышался голос с лестницы. – Чего ты суешься не в свое дело?

Собеседники обернулись и увидели сквозь перила лестницы бледное лицо Карконты; она притащилась сюда из своей каморки и подслушивала их разговор, сидя на верхней ступеньке и опершись головой на руки.

– А ты сама чего суешься не в свое дело, жена? – сказал Кадрусс. – Господин аббат просит у меня сведений; учтивость требует, чтобы я их сообщил ему.

– А благоразумие требует, чтобы ты молчал. Почем ты знаешь, с какими намерениями тебя расспрашивают, дуралей?

– С наилучшими, сударыня, – сказал аббат, – ручаюсь вам. Вашему супругу нечего опасаться, лишь бы он говорил чистосердечно.

– Знаем мы это... Начинают со всяких обещаний, потом довольствуются тем, что просят не опасаться, потом уезжают, не исполнив обещанного, а в одно прекрасное утро неведомо откуда на тебя сваливается беда.

– Будьте спокойны, – отвечал аббат, – уверяю вас, что из-за меня вам не будет никакой беды.

Карконта проворчала еще что-то, чего нельзя было разобрать, снова опустила голову на руки, и трясясь в лихорадке, предоставила мужу продолжать разговор, впрочем, стараясь не пропустить ни слова.

Между тем аббат выпил немного воды и успокоился.

– Неужели, – снова начал он, – этот бедный старик был так всеми покинут, что умер голодной смертью?

– О нет, – отвечал Кадрусс, – каталанка Мерседес и господин Моррель не покинули его; но бедный старик вдруг возненавидел

Фернана, того самого, – прибавил Кадрусс с насмешливой улыбкой, – которого Дантес назвал вам своим другом.

– А разве он не был ему другом? – спросил аббат.

– Гаспар! Гаспар! – сказала больная со ступеньки лестницы. – Подумай, раньше чем говорить!

Кадрусс с досадой махнул рукой и не удостоил жену ответом.

– Можно ли быть другом человека, у которого хочешь отбить женщину? – ответил он аббату. – Дантес по доброте сердечной называл всех этих людей друзьями... Бедный Эдмон! Впрочем, лучше, что он ничего не узнал; ему трудно было бы простить им на смертном одре... И что бы там ни говорили, – продолжал Кадрусс, речь которого была не чужда своего рода грубоватой поэзии, – а я все же больше боюсь проклятия мертвых, чем ненависти живых.

– Болван! – сказала Карконта.

– А вам известно, – продолжал аббат, – что этот Фернан сделал?

– Известно ли? Разумеется, известно!

– Так говорите.

– Твоя воля, Гаспар, – сказала жена, – делай как знаешь, но только лучше бы тебе помолчать.

– На этот раз ты, пожалуй, права, – сказал Кадрусс.

– Итак, вы не хотите говорить? – продолжал аббат.

– К чему? – отвечал Кадрусс. – Если бы бедняга Эдмон был жив и пришел ко мне узнать раз навсегда, кто ему друг, а кто враг, тогда другое дело; но вы говорите, что он в могиле; он уже не может ненавидеть, не может мстить, а потому бросим все это.

– Так вы хотите, – сказал аббат, – чтобы этим людям, которых вы считаете вероломными и ложными друзьями, досталась награда за верную дружбу?

– Вы правы, – сказал Кадрусс. – Притом же, что значило бы для них наследство бедного Эдмона? Капля в море!

– Не говоря уже о том, что эти люди могут раздавить тебя одним пальцем, – сказала жена.

– Вот как? Разве эти люди могущественны и богаты?

– Так вы ничего про них не знаете?

– Нет. Расскажите мне.

Кадрусс задумался.

– Нет, знаете, это было бы слишком длинно.

– Как хотите, друг мой, можете ничего не говорить, – сказал аббат с видом полнейшего равнодушия, – я уважаю ваши колебания. Вы поступаете, как должен поступать добрый человек; не будем больше об этом говорить. Что мне было поручено? Исполнить последнюю волю умирающего. Итак, я продам этот алмаз.

И он снова вынул футляр из кармана, открыл его, и снова камень засверкал перед восхищенными глазами Кадрусса.

– Поди-ка сюда, жена, погляди, – проговорил он хриплым голосом.

– Алмаз? – спросила Карконта, вставая. Довольно твердыми шагами она спустилась с лестницы. – Что это за алмаз?

– Разве ты не слышала? – сказал Кадрусс. – Этот алмаз Эдмон завещал нам: во-первых, своему отцу, потом трем друзьям: Фернану, Данглару и мне, и своей невесте Мерседес. Алмаз стоит пятьдесят тысяч франков.

– Ах, какой чудесный камень! – сказала она.

– Так, значит, пятая часть этой суммы принадлежит нам? – спросил Кадрусс.

– Да, – отвечал аббат, – с прибавкой за счет доли отца Дантеса, которую я считаю себя вправе разделить между вами четырьмя.

– А почему же между четырьмя? – спросила Карконта.

– Потому что вас четверо – друзей Эдмона.

– Предатели – не друзья! – глухо проворчала Карконта.

– Это самое и я говорил, – сказал Кадрусс. – Награждать предательство, а то и преступление – это грех, это даже кощунство.

– Вы сами этого хотите, – спокойно отвечал аббат, снова пряча алмаз в карман своей сутаны. – Теперь дайте мне адреса друзей Эдмона, чтобы я мог исполнить его последнюю волю.

Пот градом катился по лицу Кадрусса. Аббат встал, подошел к двери, чтобы взглянуть на лошадь, и снова вернулся на свое место. Кадрусс и

его жена смотрели друг на друга с неизъяснимым выражением.

– Алмаз мог бы достаться нам одним, – сказал Кадрусс.

– Ты думаешь? – сказала жена.

– Духовная особа не станет нас обманывать.

– Делай как хочешь, – сказала Карконта, – мое дело – сторона.

И она опять пошла на лестницу, дрожа от лихорадки. Зубы ее стучали, несмотря на жару.

На последней ступеньке она задержалась.

– Подумай хорошенько, Гаспар, – сказала она.

– Я решился, – отвечал Кадрусс.

Карконта со вздохом скрылась в своей комнате; слышно было, как пол заскрипел под ее ногами и как затрещало кресло, в которое она упала.

– На что это вы решились? – спросил аббат.

– Рассказать вам все, – отвечал Кадрусс.

– По правде сказать, мне кажется, это лучшее, что вы можете сделать, – сказал священник. – Не потому, чтобы мне хотелось узнать то, что вы предпочли бы скрыть от меня, а потому, что будет лучше, если вы мне поможете разделить наследство согласно с волей завещателя.

– Надеюсь, что так, – отвечал Кадрусс, щеки которого пылали от надежды и алчности.

– Я вас слушаю, – произнес аббат.

– Постойте, – сказал Кадрусс, – нас могут некстати прервать, и это будет неприятно. Притом же другим незачем знать, что вы были здесь.

Он подошел к двери, запер ее и для большей верности наложил ночной засов. Между тем аббат выбрал себе удобное местечко; он уселся в уголок, чтобы оставаться в тени, в то время как свет будет падать на лицо собеседника. Опустив голову и сложив, или, вернее, стиснув руки, он весь превратился в слух.

Кадрусс придвинул табурет и сел против него.

– Помни, что не я тебя заставила! – послышался дрожащий голос Карконты, словно она видела сквозь половицы, что происходит внизу.

– Ладно, ладно, – сказал Кадрусс, – довольно; я все беру на себя.

И он начал.

# VI. Рассказ Кадрусса

– Прежде всего, – сказал Кадрусс, – я должен просить вас, господин аббат, дать мне одно обещание.

– Какое? – спросил аббат.

– Если вы когда-нибудь воспользуетесь сведениями, которые я сообщу, то никто не должен знать, что вы получили их от меня; люди, о которых я буду говорить, богаты и могущественны, и если они дотронутся до меня хоть пальцем, то раздавят меня, как стекло.

– Будьте спокойны, друг мой, – сказал аббат, – я священник, и тайны умирают в моей груди; помните, что у нас нет другой цели, как только достойным образом исполнить последнюю волю нашего друга. Говорите, не щадя никого, но и без ненависти; говорите правду, только правду. Я не знаю и, вероятно, никогда не узнаю тех людей, о которых вы мне расскажете. К тому же я итальянец, а не француз, принадлежу богу, а не людям; я возвращаюсь в свой монастырь, из которого вышел единственно, чтобы исполнить последнюю волю умершего.

Эти убедительные доводы, по-видимому, вселили в Кадрусса немного уверенности.

– В таком случае я хочу, я должен разуверить вас в этой дружбе, которую бедный Эдмон считал такой искренней и верной.

– Прошу вас, начните с его отца, – сказал аббат. – Эдмон много говорил мне о старике, он питал к нему горячую любовь.

– Это печальная история, – сказал Кадрусс, качая головой, – начало вы, верно, знаете.

– Да, – отвечал аббат. – Эдмон рассказал мне все, что было до той минуты, когда его арестовали в маленьком трактире в окрестностях Марселя.

– В «Резерве»! Я как сейчас все это вижу.

– Ведь это был чуть ли не день обручения?

– Да, и обед, весело начавшийся, кончился печально; вошел полицейский комиссар с четырьмя солдатами и арестовал Дантеса.

– На этом и кончаются мои сведения, – сказал священник. – Дантес знал только то, что относилось лично к нему, потому что он никогда уже больше не видел никого из тех, кого я вам назвал, и ничего о них не слышал.

– Так вот. Когда Дантеса арестовали, господин Моррель поспешил в Марсель, чтобы узнать, в чем дело, и получил очень грустные сведения. Старик отец возвратился домой один, рыдая, снял с себя парадное платье, целый день ходил взад и вперед по комнате и так и не ложился спать. Я жил тогда под ним и слышал, как он всю ночь ходил по комнате; признаться, я и сам не спал: горе несчастного отца очень меня мучило, и каждый его шаг разрывал мне сердце, словно он и в самом деле наступал мне на грудь.

На другой день Мерседес пришла в Марсель просить господина де Вильфора о заступничестве; она ничего не добилась, но заодно зашла проведать старика; увидев его таким мрачным и унылым и узнав, что он не спал всю ночь и ничего не ел со вчерашнего дня, она хотела увести его с собой, чтобы позаботиться о нем. Но старик ни за что не соглашался.

«Нет, – говорил он, – я не покину своего дома. Мой бедный сын любит меня больше всех на свете, и, если его выпустят из тюрьмы, он прибежит первым делом ко мне. Что он скажет, если не найдет меня дома?»

Я слышал все это, стоя на площадке лестницы, потому что очень хотел, чтобы Мерседес уговорила старика пойти с нею. Его беспокойные шаги, весь день раздававшиеся над моей головой, не давали мне ни минуты покоя.

– А разве вы сами не заходили к старику, чтобы его утешить? – спросил священник.

– Ах, господин аббат! – отвечал Кадрусс. – Можно утешать того, кто ищет утешения; а он его не искал. Притом же, право, не знаю почему, но мне казалось, что он не хочет меня видеть. Впрочем, однажды ночью, услышав его рыдания, я не выдержал и поднялся наверх; но, когда я подошел к двери, он уже не плакал, а молился. Каких он только не находил красноречивых слов и жалобных выражений, я вам и сказать не

могу, господин аббат; это было больше, чем молитва, больше, чем скорбь; и так как я не святоша и не люблю иезуитов, то я сказал себе: «Счастье мое, что я один и что бог не дал мне детей; если бы я был отцом и чувствовал такую скорбь, как этот несчастный старик, то, не находя в памяти и в сердце всего того, что он говорит господу богу, я бы прямехонько пошел и бросился в море, чтобы уйти от страданий».

– Бедный отец! – прошептал священник.

– С каждым днем он все больше уединялся; часто господин Моррель и Мерседес приходили навестить его, но дверь его была заперта; я знал, что он дома, но он не отвечал им. Однажды, когда он, против своего обыкновения, принял Мерседес и бедная девушка, сама в полном отчаянии, пыталась ободрить его, он сказал:

«Поверь мне, дочь моя, он умер; не нам его ждать, а он нас ждет; мне хорошо, потому что я много старше тебя и, конечно, первый с ним встречусь».

Как бы человек ни был добр, он перестает навещать людей, на которых тяжело смотреть. Кончилось тем, что старик Дантес остался в полном одиночестве. Я больше не видел, чтобы кто-нибудь подымался к нему, кроме каких-то неизвестных людей, которые время от времени заходили к нему и затем потихоньку спускались с узлами. Я скоро догадался, что было в этих узлах: он продавал мало-помалу все, что имел, для насущного хлеба. Наконец, бедняга дошел до своего последнего скарба. Он задолжал за квартиру; хозяин грозился выгнать его; он попросил подождать еще неделю, и тот согласился; я знаю это от самого хозяина, он зашел ко мне, выходя от старика.

После этого я еще три дня слышал, как он по-прежнему расхаживает по комнате, но на четвертый день я уже ничего не слышал. Я решил зайти к нему; дверь была заперта. В замочную скважину я увидел его бледным и изнуренным и подумал, что он захворал; я уведомил господина Морреля и побежал за Мерседес. Оба тотчас же пришли. Господин Моррель привел с собой доктора; доктор нашел у больного желудочно-кишечное воспаление и предписал ему диету. Я был при этом, господин аббат, и никогда не забуду улыбки старика, когда он

услышал это предписание. С тех пор он уже не запирал двери: у него было законное основание не есть; доктор предписал ему диету.

У аббата вырвался подавленный стон.

– Мой рассказ вас занимает, господин аббат? – спросил Кадрусс.

– Да, – отвечал аббат, – он очень трогателен.

– Мерседес пришла во второй раз; она нашла в нем такую перемену, что, как и в первый раз, хотела взять его к себе. Господин Моррель был того же мнения и хотел перевезти его силой. Но старик так страшно кричал, что они испугались. Мерседес осталась у его постели, а господин Моррель ушел, сделав ей знак, что оставляет кошелек с деньгами на камине. Но старик, вооруженный докторским предписанием, ничего не хотел есть. Наконец, после девятидневного поста он умер, проклиная тех, кто был причиной его несчастья. Он говорил Мерседес:

«Если вы когда-нибудь увидите Эдмона, скажите ему, что я умер, благословляя его».

Аббат встал, прошелся два раза по комнате, прижимая дрожащую руку к пересохшему горлу.

– И вы полагаете, что он умер...

– С голоду, господин аббат, с голоду! – отвечал Кадрусс. – Я в этом так же уверен, как в том, что мы с вами христиане.

Аббат судорожно схватил наполовину полный стакан с водой, выпил его залпом и с покрасневшими глазами и бледным лицом снова сел на свое место.

– Согласитесь, что это большое несчастье, – сказал он глухим голосом.

– Тем более что не бог, а люди ему причиной.

– Перейдемте же к этим людям, – сказал аббат. – Но помните, – добавил он почти угрожающим голосом, – что вы обязались сказать мне все. Так кто же эти люди, которые умертвили сына отчаянием, а отца голодом?

– Двое его завистников: один – из-за любви, другой – из честолюбия: Фернан и Данглар.

– До чего довела их зависть? Говорите!

– Они донесли на Эдмона, что он бонапартистский агент.

– Но кто из них донес на него? Кто подлинный виновник?

– Оба, господин аббат; один написал письмо, другой отнес его на почту.

– А где было написано это письмо?

– В самом «Резерве», накануне свадьбы.

– Так и есть! – прошептал аббат. – О Фариа, Фариа! Как ты знал людей и их дела!

– Что вы говорите? – спросил Кадрусс.

– Ничего, – отвечал аббат, – продолжайте.

– Данглар написал донос левой рукой, чтобы не узнали его почерка, а Фернан отнес на почту.

– Но и вы были при этом! – воскликнул вдруг аббат.

– Я? – отвечал удивленный Кадрусс. – Кто вам сказал, что я был при этом?

Аббат увидел, что зашел слишком далеко.

– Никто не говорил, – сказал он, – но, чтобы знать такие подробности, нужно было быть при этом.

– Вы правы, – сказал Кадрусс глухим голосом, – я был при этом.

– И вы не воспротивились этой гнусности? – сказал аббат. – Тогда вы их сообщник.

– Господин аббат, – отвечал Кадрусс, – они напоили меня до того, что я почти совсем лишился рассудка. Я видел все, как в тумане. Я говорил им все, что может сказать человек в таком состоянии, но они отвечали мне, что это только шутка с их стороны и что эта шутка не будет иметь никаких последствий.

– Но на следующий день, сударь, на следующий день вы увидели, что она все же имела последствия. Однако вы промолчали, хотя были при том, как арестовали Дантеса.

– Да, господин аббат, я был при этом и хотел говорить; я хотел все рассказать, но Данглар удержал меня.

«А если окажется, – сказал он мне, – что он виновен, что он в самом деле был на Эльбе и ему поручили передать письмо бонапартистскому

комитету в Париже, если это письмо при нем найдут, то ведь на его заступников будут смотреть, как на его сообщников».

Я побоялся в такие времена быть замешанным в политическое дело и промолчал; сознаюсь, это была подлая трусость с моей стороны, но не преступление.

– Понимаю; вы умыли руки, вот и все.

– Да, господин аббат, – отвечал Кадрусс, – и совесть мучит меня за это день и ночь. Клянусь вам, я часто молю бога, чтобы он простил мне, тем более что это прегрешение, единственное за всю мою жизнь, в котором я серьезно виню себя, – несомненно причина всех моих бед. Я расплачиваюсь за минуту слабости; поэтому-то я всегда говорю Карконте, когда она жалуется на судьбу: «Молчи, жена, видно, так богу угодно».

И Кадрусс с искренним раскаянием опустил голову.

– Ваше чистосердечие заслуживает похвалы, – сказал аббат, – кто так кается, тот достоин прощения.

– К несчастью, – прервал Кадрусс, – Эдмон умер, не простив меня.

– Он ничего не знал... – сказал аббат.

– Но теперь он, может быть, знает, – возразил Кадрусс, – говорят, мертвые знают все.

Наступило молчание. Аббат встал и в задумчивости прохаживался по комнате, потом возвратился на свое место и снова сел.

– Вы мне уже несколько раз называли какого-то господина Морреля, – сказал он. – Кто это такой?

– Это владелец «Фараона», хозяин Дантеса.

– А какую роль играл этот человек во всем этом печальном деле? – спросил аббат.

– Роль честного человека, мужественного и отзывчивого. Он раз двадцать ходатайствовал за Дантеса. Когда возвратился император, он писал, умолял, грозил, так что при второй реставрации его самого сильно преследовали за бонапартизм. Десять раз, как я вам уже говорил, он приходил к отцу Дантеса с намерением взять его к себе, а накануне или за два дня до его смерти, как я тоже вам уже говорил, он оставил на

камине кошелек с деньгами; из этих денег заплатили долги старика и на них же его похоронили, так что бедняга мог по крайней мере умереть так же, как жил, не будучи никому в тягость. У меня и по сей день хранится этот кошелек, большой красный кошелек, вязаный.

– Этот господин Моррель жив? – спросил аббат.

– Жив, – сказал Кадрусс.

– И, верно, небо благословило его – он богат, счастлив?..

Кадрусс горько усмехнулся.

– Счастлив, вроде меня, – сказал он.

– Как, господин Моррель несчастлив? – воскликнул аббат.

– Он на краю нищеты, господин аббат, и, что еще хуже, ему грозит бесчестие.

– Почему?

– Дело в том, – начал Кадрусс, – что после двадцатипятилетних трудов, заняв самое почетное место среди марсельских купцов, господин Моррель разорен дотла. Он потерял в два года пять кораблей, стал жертвой трех банкротств, и теперь вся его надежда на этот самый «Фараон», которым командовал бедный Дантес; он скоро должен возвратиться из Индии с грузом кошенили и индиго. Если этот корабль потонет, как и другие, господин Моррель погиб.

– А есть ли у этого несчастного жена, дети?

– Да, у него есть жена, которая все переносит, как святая; у него есть дочь, которая хотела выйти замуж за любимого человека, но теперь родители не позволяют ему жениться на обедневшей девушке. Кроме того, у него есть сын, офицер; но вы понимаете, что все это только усугубляет горе несчастного, а не утешает его. Если бы он был один, он пустил бы себе пулю в лоб, и кончено.

– Это ужасно! – прошептал аббат.

– Вот как господь награждает добродетель, господин аббат, – сказал Кадрусс. – Посмотрите на меня; я не сделал ни одного худого дела, кроме того, в чем я вам повинился, и я дошел до нищеты. Мне суждено увидеть, как моя бедная жена умрет от лихорадки, и я ничем не смогу ей

помочь, а сам я умру с голоду, как умер старик Дантес, между тем как Фернан и Данглар купаются в золоте.

– Как так?

– Потому что им повезло, а честным людям никогда не везет.

– Что же сталось с Дангларом, с главным виновником? Ведь он подстрекатель, правда?

– Что с ним сталось? Он уехал из Марселя и, по рекомендации господина Морреля, который ничего не знал о его преступлении, нанялся к одному испанскому банкиру. Во время испанской войны он занимался поставками на французскую армию и разбогател; потом он стал играть на бирже и таким образом утроил свой капитал, а потеряв жену, дочь своего банкира, женился на вдове, госпоже де Наргони, дочери камергера нынешнего короля, господина де Сервьё, который сейчас в большой милости. Он стал миллионером, его сделали бароном, так что он теперь барон Данглар; у него особняк на улице Монблан, десять лошадей на конюшне, шесть лакеев в передней и не знаю уж сколько миллионов в сундуках.

– Вот оно что! – сказал аббат со странной интонацией. – И что же, он счастлив?

– Счастлив? Кто может это знать? Счастье или несчастье, про это знают стены; у стен есть уши, но нет языка. Если богатство составляет счастье, так Данглар счастлив.

– А Фернан?

– О, Фернану, тому еще пуще повезло.

– Но каким образом мог разбогатеть и выйти в люди бедный каталанский рыбак, без всяких средств, без образования? Признаюсь, это меня удивляет.

– Это и всех удивляет; вероятно, в его жизни есть какая-то тайна, которой никто не знает.

– Но какими видимыми путями дошел он до большого богатства или до высокого положения?

– Он дошел и до того и до другого, господин аббат, и до богатства и до высокого положения.

– Так только в сказках бывает!

– Правда, это похоже на сказку, но послушайте, и вы все поймете.

За несколько дней до возвращения императора Фернан попал в рекруты. Бурбоны не трогали его. Но вернулся Наполеон, был издан указ о чрезвычайном наборе, и Фернану пришлось идти в армию. Я тоже пошел; но так как я был старше Фернана и только что женился на моей несчастной жене, меня назначили охранять побережье. Фернан, тот попал в действующую армию, пошел с полком на границу и участвовал в сражении при Линьи.

В ночь после сражения он состоял ординарцем при одном генерале, имевшем тайные сношения с неприятелем. В ту самую ночь генерал должен был перебежать к англичанам; он предложил Фернану сопровождать его. Фернан согласился, ушел с поста и последовал за генералом.

Поступок, за который Фернана предали бы военному суду, если бы Наполеон остался на троне, был вменен ему в заслугу при Бурбонах. Он возвратился во Францию с эполетами подпоручика, и так как этот генерал, который был в большой милости у короля, не оставлял его своим покровительством, то его произвели в капитаны в тысяча восемьсот двадцать третьем году, во время испанской войны, то есть в то самое время, когда Данглар пустился в свои первые коммерческие спекуляции. Фернан был родом испанец, а потому он был послан в Мадрид, чтобы узнать, каково настроение умов. Там он встретился с Дангларом, столковался с ним, обещал своему генералу содействие роялистов в столице и в провинции, заручился от него обещаниями, взял на себя, со своей стороны, некоторые обязательства, провел свой полк по одному ему известным ущельям, охраняемым роялистами, – одним словом, оказал в этом кратковременном походе такие услуги, что после взятия Трокадеро его произвели в полковники и наградили офицерским крестом Почетного легиона и титулом графа.

– О судьба, судьба! – прошептал аббат.

– Да, но послушайте, это еще не все. Испанская война кончилась, длительный мир, который обещал воцариться в Европе, мог повредить

карьере Фернана. Одна только Греция восстала против Турции и начала войну за независимость; общее внимание устремлено было на Афины. Тогда было в моде жалеть и поддерживать греков. Французское правительство, не покровительствуя им открыто, позволяло, как вам известно, оказывать им частную помощь. Фернан испросил разрешения отправиться в Грецию, продолжая в то же время числиться в армии.

Через некоторое время узнали, что граф де Морсер – он носил это имя – поступил на службу к Али-паше в чине генерал-инструктора. Али-паша, как вам известно, был убит; но перед смертью он щедро наградил Фернана; Фернан возвратился во Францию и был утвержден в чине генерал-лейтенанта.

– Так что теперь?.. – спросил аббат.

– Так что теперь, – продолжал Кадрусс, – он живет в великолепном особняке в Париже, по улице Эльдер, номер двадцать семь.

Аббат хотел что-то сказать, но остановился в нерешимости; наконец, сделав над собою усилие, он спросил:

– А Мерседес? Я слышал, что она скрылась?

– Скрылась! – отвечал Кадрусс. – Да, как скрывается солнце, чтобы утром вновь появиться в еще большем блеске.

– Уж не улыбнулось ли счастье и ей? – спросил аббат, иронически усмехаясь.

– Мерседес одна из первых дам парижского света, – сказал Кадрусс.

– Продолжайте, – сказал аббат, – я словно слушаю рассказ о каком-то сновидении. Но я сам видел столько необыкновенного, что ваш рассказ не очень меня удивляет.

– Мерседес сначала была в отчаянии от внезапного удара, разлучившего ее с Эдмоном. Я уже говорил вам о том, как она умоляла господина де Вильфора и как преданно заботилась об отце Дантеса. Отчаяние ее усугубилось новою горестью: отъездом Фернана в полк; она не знала об его преступлении и любила его как брата.

Фернан уехал, Мерседес осталась одна.

Три месяца провела она в слезах; никаких вестей ни об Эдмоне, ни о Фернане; никого, кроме умирающего от горя старика.

Однажды, просидев целый день, по своему обыкновению, на распутье двух дорог, ведущих из Марселя в Каталаны, она вернулась домой вечером, еще более убитая, чем когда-либо; ни ее возлюбленный, ни ее друг не вернулись к ней ни по одной из этих дорог, и она не получала вестей ни о том, ни о другом.

Вдруг ей послышались знакомые шаги. Она с волнением оглянулась, дверь отворилась, и она увидела перед собой Фернана в мундире подпоручика.

Хоть она тосковала и плакала не о нем, но ей показалось, что часть ее прежней жизни вернулась к ней. Мерседес схватила Фернана за руки с такой радостью, что он принял ее за любовь; но это была только радость от мысли, что она не одна на свете и что наконец после долгих дней одиночества видит перед собой друга. И притом надобно сказать, что Фернан никогда не внушал ей отвращения; он не внушал ей любви, только и всего. Сердце Мерседес принадлежало другому, этот другой был далеко… исчез… умер, быть может. При этой мысли Мерседес рыдала и в отчаянии ломала руки. Но эта мысль, которую она прежде отвергала, когда кто-нибудь другой высказывал ее, теперь сама собой приходила ей в голову. И старый Дантес не переставал твердить ей: «Наш Эдмон умер, если бы он был жив, то возвратился бы к нам».

Старик умер, как я вам уже сказал. Если бы он остался жив, то, может быть, Мерседес никогда не вышла бы за другого. Старик стал бы упрекать ее в неверности. Фернан понимал это. Узнав о смерти старика, он возвратился. На этот раз он явился в чине поручика. В первое свое возвращение он не сказал Мерседес ни слова о любви; во второе он напомнил ей, что любит ее. Мерседес попросила у него еще полгода срока на то, чтобы ждать и оплакивать Эдмона.

– Правда, – сказал аббат с горькой улыбкой, – ведь это составляло целых полтора года! Чего еще может требовать самый страстно любимый человек? – И он тихо прибавил про себя слова английского поэта: «Frailty, thy name is woman!».[15]

– Через полгода, – продолжал Кадрусс, – они обвенчались в Аккульской церкви.

– Это та самая церковь, где она должна была венчаться с Эдмоном, – прошептал аббат, – она переменила жениха, только и всего.

– Итак, Мерседес вышла замуж, – продолжал Кадрусс. – Хоть она и казалась спокойной, она все же упала в обморок, проходя мимо «Резерва», где полтора года тому назад праздновали ее обручение с тем, кого она все еще любила в глубине своего сердца.

Фернан обрел счастье, но не покой; я видел его в эту пору, он все время боялся возвращения Эдмона. Поэтому он поспешил увезти жену подальше и уехать самому. В Каталанах было слишком много опасностей и слишком много воспоминаний.

Через неделю после свадьбы они уехали.

– А после вы когда-нибудь встречали Мерседес? – спросил священник.

– Да, я видел ее во время испанской войны, в Перпиньяне, где Фернан ее оставил; она тогда была занята воспитанием сына.

Аббат вздрогнул.

– Сына? – спросил он.

– Да, – отвечал Кадрусс, – маленького Альбера.

– Но если она учила сына, – продолжал аббат, – так, стало быть, она сама получила образование? Мне помнится, Эдмон говорил мне, что это была дочь простого рыбака, красавица, но необразованная.

– Неужели он так плохо знал свою невесту? – сказал Кадрусс. – Мерседес могла бы стать королевой, господин аббат, если бы корона всегда венчала самые прекрасные и самые умные головы. Судьба вознесла ее высоко, и она сама становилась все выше и выше. Она училась рисованию, училась всему. Впрочем, между нами будь сказано, по-моему, она занималась всем этим, только чтобы отвлечь свои мысли, чтобы забыться. Она забивала свою голову, чтобы не слышать того, чем было полно ее сердце. Но теперь со всем этим, должно быть, покончено, – продолжал Кадрусс, – богатство и почет, наверное, утешили ее. Она богата, знатна, а между тем...

Кадрусс остановился.

– Что? – спросил аббат.

– Между тем я уверен, что она несчастлива, – сказал Кадрусс.

– Почему вы так думаете?

– А вот почему: когда я очутился в бедственном положении, я подумал, не помогут ли мне чем-нибудь мои прежние друзья. Я пошел к Данглару, но он даже не принял меня. Потом я был у Фернана: он выслал мне через лакея сто франков.

– Так что вы ни того, ни другого не видели?

– Нет; но графиня де Морсер меня видела.

– Каким образом?

– Когда я выходил, к моим ногам упал кошелек; в нем было двадцать пять луидоров. Я быстро поднял голову и увидел Мерседес: она затворяла окошко.

– А господин де Вильфор? – спросил аббат.

– Этот никогда не был моим другом, а я и не знал его вовсе и ни о чем не мог его просить.

– А не знаете ли вы, что с ним сталось и в чем заключалось его участие в беде, постигшей Эдмона?

– Нет; знаю только, что спустя некоторое время, после того как он арестовал Эдмона, он женился на мадемуазель де Сен-Меран и вскоре уехал из Марселя. Наверное, счастье улыбнулось ему так же, как и остальным; наверное, он богат, как Данглар, и занимает такое же высокое положение, как Фернан; вы видите, один только я остался в нищете, в ничтожестве, позабытый богом.

– Вы ошибаетесь, мой друг, – сказал аббат. – Нам кажется, что бог забыл про нас, когда его правосудие медлит; но рано или поздно он вспоминает о нас, и вот тому доказательство.

При этих словах аббат вынул алмаз из кармана и протянул его Кадруссу.

– Вот, мой друг, – сказал он, – возьмите этот алмаз, он принадлежит вам.

– Как! Мне одному? – вскричал Кадрусс. – Что вы, господин аббат! Вы смеетесь надо мной?

– Этот алмаз требовалось разделить между друзьями Эдмона. У Эдмона был один только друг, значит, дележа быть не может. Возьмите этот алмаз и продайте его; как я вам уже сказал, он стоит пятьдесят тысяч франков, и эти деньги, я надеюсь, спасут вас от нищеты.

– Господин аббат, – сказал Кадрусс, робко протягивая руку, а другою отирая пот, градом катившийся по его лицу, – господин аббат, не шутите счастьем и отчаянием человека!

– Мне знакомо и счастье и отчаяние, и я никогда не стал бы шутить этими чувствами. Берите же, но взамен...

Кадрусс, уже прикоснувшийся к алмазу, отдернул руку.

Аббат улыбнулся.

– ...взамен, – продолжал он, – отдайте мне кошелек, который господин Моррель оставил на камине у старика Дантеса; вы сказали, что он все еще у вас.

Кадрусс, все более удивляясь, подошел к большому дубовому шкафу, открыл его и подал аббату длинный кошелек из выцветшего красного шелка, стянутый двумя когда-то позолоченными медными кольцами.

Аббат взял кошелек и отдал Кадруссу алмаз.

– Вы поистине святой человек, господин аббат! – воскликнул Кадрусс. – Ведь никто не знал, что Эдмон отдал вам этот алмаз, и вы могли бы оставить его у себя.

«Ага! – сказал про себя аббат. – Сам-то ты, видно, так бы и поступил!»

Аббат встал, взял шляпу и перчатки.

– Послушайте! – сказал он. – Все, что вы мне рассказали, сущая правда? Я могу верить вам вполне?

– Вот, господин аббат, – сказал Кадрусс, – здесь в углу висит святое распятие; там, на комоде, лежит Евангелие моей жены. Откройте эту книгу, и я поклянусь вам на ней, перед лицом распятия, поклянусь вам спасением моей души, моей верой в Спасителя, что я сказал вам все, как было, в точности так, как ангел-хранитель скажет об этом на ухо господу богу в день Страшного суда!

– Хорошо, – сказал аббат, которого искренность, звучавшая в голосе Кадрусса, убедила в том, что тот говорит правду, – хорошо; желаю,

чтобы эти деньги пошли вам на пользу! Прощайте. Я снова удаляюсь от людей, которые причиняют друг другу так много зла.

И аббат, с трудом отделавшись от восторженных излияний Кадрусса, сам снял засов с двери, вышел, сел на лошадь, поклонился еще раз трактирщику, расточавшему многословные прощальные приветствия, и ускакал по той же дороге, по которой приехал.

Обернувшись, Кадрусс увидел стоявшую позади него Карконту, еще более бледную и дрожащую, чем всегда.

– Верно я слышала? – сказала она.

– Что? Что он отдал алмаз нам одним? – сказал Кадрусс, почти обезумевший от радости.

– Да.

– Истинная правда, алмаз у меня.

Жена посмотрела на него, потом сказала глухим голосом:

– А если он фальшивый?

Кадрусс побледнел и зашатался.

– Фальшивый! – прошептал он. – Фальшивый... А чего ради он стал бы давать фальшивый алмаз?

– Чтобы даром выманить у тебя твои тайны, болван!

Кадрусс, сраженный таким предположением, окаменел на месте. Минуту спустя он схватил шляпу и надел ее поверх красного платка, повязанного вокруг головы.

– Мы это сейчас узнаем, – сказал он.

– Как?

– В Бокере ярмарка; там есть приезжие ювелиры из Парижа; я пойду покажу им алмаз. Ты, жена, стереги дом; через два часа я вернусь.

И Кадрусс выскочил на дорогу и побежал в сторону, противоположную той, куда направился незнакомец.

– Пятьдесят тысяч франков! – проворчала Карконта, оставшись одна. – Это деньги... но не богатство.

# VII. Тюремные списки

На другой день после того, как на дороге между Бельгардом и Бокером происходила описанная нами беседа, человек, лет тридцати, в василькового цвета фраке, нанковых панталонах и белом жилете, по осанке и выговору чистокровный англичанин, явился к марсельскому мэру.

– Милостивый государь, – сказал он, – я старший агент римского банкирского дома Томсон и Френч; мы уже десять лет состоим в сношениях с марсельским торговым домом «Моррель и Сын». У нас с этой фирмой в оборотах до ста тысяч франков, и вот, услышав, что ей грозит банкротство, мы обеспокоены. А потому я нарочно приехал из Рима, чтобы попросить у вас сведений об этом торговом доме.

– Милостивый государь, – отвечал мэр, – мне действительно известно, что за последние годы господина Морреля словно преследует несчастье: он потерял один за другим четыре или пять кораблей и понес убытки от нескольких банкротств. Но хотя он мне самому должен около десяти тысяч франков, я все же не считаю возможным давать вам какие-либо сведения о его финансовом положении. Если вы спросите меня как мэра, какого я мнения о господине Морреле, я вам отвечу, что это человек самой строгой честности, выполнявший до сих пор все свои обязательства с величайшей точностью. Вот все, что я могу вам сказать о нем. Если вам этого недостаточно, обратитесь к господину де Бовилю, инспектору тюрем, улица Ноайль, дом номер пятнадцать. Он поместил в эту фирму, если не ошибаюсь, двести тысяч франков, и если и вправду имеется повод для каких-нибудь опасений, то, поскольку эта сумма гораздо значительнее моей, вы, вероятно, получите от него по этому вопросу более обстоятельные сведения.

Англичанин, по-видимому, оценил деликатность мэра, поклонился, вышел и походкой истого британца направился на указанную ему улицу.

Господин де Бовиль сидел у себя в кабинете. Англичанин, увидев его, сделал удивленное движение, словно не в первый раз встречался с

инспектором. Но господин де Бовиль был в таком отчаянии, что все его умственные способности явно поглощала одна-единственная мысль, не позволявшая ни его памяти, ни его воображению блуждать в прошлом. Англичанин с обычной для его нации флегматичностью задал ему почти слово в слово тот же вопрос, что и марсельскому мэру.

– Ах, сударь! – воскликнул г-н де Бовиль. – К несчастью, ваши опасения вполне основательны, и вы видите перед собой человека, доведенного до отчаяния. У господина Морреля находилось в обороте двести тысяч франков моих денег; эти двести тысяч составляли приданое моей дочери, которую я намерен был выдать замуж через две недели. Эти двести тысяч он обязан был уплатить мне в два срока: пятнадцатого числа этого месяца и пятнадцатого числа следующего. Я уведомил господина Морреля, что желаю непременно получить эти деньги в назначенный срок, и, представьте, не далее как полчаса тому назад он приходил ко мне, чтобы сказать, что если его корабль «Фараон» не придет к пятнадцатому числу, то он будет лишен возможности уплатить мне деньги.

– Это весьма похоже на отсрочку платежа, – сказал англичанин.

– Скажите лучше, что это похоже на банкротство! – воскликнул г-н Бовиль, хватаясь за голову.

Англичанин подумал, потом сказал:

– Так что, эти долговые обязательства внушают вам некоторые опасения?

– Я попросту считаю их безнадежными.

– Я покупаю их у вас.

– Вы?

– Да, я.

– Но, вероятно, с огромной скидкой?

– Нет, за двести тысяч франков; наш торговый дом, – прибавил англичанин смеясь, – не занимается подобными сделками.

– И вы заплатите мне...

– Наличными деньгами.

И англичанин вынул из кармана пачку ассигнаций, представляющих, должно быть, сумму вдвое больше той, которую г-н де Бовиль боялся потерять.

Радость озарила лицо г-на де Бовиля; однако он взял себя в руки и сказал:

– Милостивый государь, я должен вас предупредить, что, по всей вероятности, вы не получите и шести процентов с этой суммы.

– Это меня не касается, – отвечал англичанин, – это дело банкирского дома Томсон и Френч, от имени которого я действую. Может быть, в его интересах ускорить разорение конкурирующей фирмы. Как бы то ни было, я готов отсчитать вам сейчас же эту сумму под вашу передаточную надпись; но только я желал бы получить с вас куртаж.

– Да, разумеется! Это более чем справедливое желание! – воскликнул г-н де Бовиль. – Куртаж составляет обыкновенно полтора процента; хотите два? три? пять? хотите больше? Говорите!

– Милостивый государь, – возразил, смеясь, англичанин, – я – как моя фирма; я не занимаюсь такого рода делами; я желал бы получить куртаж совсем другого рода.

– Говорите, я вас слушаю.

– Вы инспектор тюрем?

– Уже пятнадцатый год.

– У вас ведутся тюремные списки?

– Разумеется.

– В этих списках, вероятно, есть отметки, касающиеся заключенных?

– О каждом заключенном имеется особое дело.

– Так вот, милостивый государь, в Риме у меня был воспитатель, некий аббат, который вдруг исчез. Впоследствии я узнал, что он содержался в замке Иф, и я желал бы получить некоторые сведения о его смерти.

– Как его звали?

– Аббат Фариа.

– О, я отлично помню его, – воскликнул г-н де Бовиль, – он был сумасшедший.

– Да, так я слышал.

– Он несомненно был сумасшедший.

– Возможно; а в чем выражалось его сумасшествие?

– Он утверждал, что знает про какой-то клад, про несметные сокровища, и предлагал правительству огромные суммы за свою свободу.

– Бедняга! И он умер?

– Да, с полгода тому назад, в феврале.

– У вас превосходная память.

– Я помню это потому, что смерть аббата сопровождалась весьма странными обстоятельствами.

– Могу ли я узнать, что это за обстоятельства? – спросил англичанин с выражением любопытства, которое вдумчивый наблюдатель с удивлением заметил бы на его бесстрастном лице.

– Пожалуйста; камера аббата находилась футах в пятидесяти от другой, в которой содержался бывший бонапартистский агент, один из тех, кто наиболее способствовал возвращению узурпатора в тысяча восемьсот пятнадцатом году, человек чрезвычайно решительный и чрезвычайно опасный.

– В самом деле? – сказал англичанин.

– Да, – отвечал г-н де Бовиль, – я имел случай лично видеть этого человека в тысяча восемьсот шестнадцатом или в тысяча восемьсот семнадцатом году; к нему в камеру спускались не иначе, как со взводом солдат; этот человек произвел на меня сильное впечатление; я никогда не забуду его лица.

На губах англичанина мелькнула улыбка.

– И вы говорите, – сказал он, – что эти две камеры...

– Были отделены одна от другой пространством в пятьдесят футов. Но, по-видимому, этот Эдмон Дантес...

– Этого опасного человека звали...

– Эдмон Дантес. Да, сударь, по-видимому, этот Эдмон Дантес раздобыл инструменты или сам сделал их, потому что был обнаружен проход, посредством которого заключенные общались друг с другом.

– Этот проход был вырыт, вероятно, для того чтобы бежать?

– Разумеется; но на их беду с аббатом Фариа случился каталептический припадок, и он умер.

– Понимаю; и это сделало побег невозможным.

– Для мертвого – да, – отвечал г-н де Бовиль, – но не для живого. Напротив, Дантес увидел в этом средство ускорить свой побег. Он, должно быть, думал, что заключенных, умирающих в замке Иф, хоронят на обыкновенном кладбище; он перенес покойника в свою камеру, влез вместо него в мешок, в который того зашили, и стал ждать минуты погребения.

– Это было смелое предприятие, доказывающее известную храбрость, – заметил англичанин.

– Я уже сказал вам, что это был очень опасный человек; к счастью, он сам избавил правительство от беспокойства на его счет.

– Каким образом?

– Неужели вы не понимаете?

– Нет.

– В замке Иф нет кладбища; умерших просто бросают в море, привязав к их ногам тридцатишестифунтовое ядро.

– Ну и что же?.. – с туповатым видом сказал англичанин.

– Вот и ему привязали к ногам тридцатишестифунтовое ядро и бросили в море.

– Да что вы! – воскликнул англичанин.

– Да, сударь, – продолжал инспектор. – Можете себе представить, каково было удивление беглеца, когда он почувствовал, что его бросают со скалы. Желал бы я видеть его лицо в ту минуту.

– Это было бы трудно.

– Все равно, – сказал г-н де Бовиль, которого уверенность, что он вернет свои двести тысяч франков, привела в отличное расположение духа, – все равно, я представляю его себе! – И он громко захохотал.

– И я также, – сказал англичанин.

И он тоже начал смеяться одними кончиками губ, как смеются англичане.

– Итак, – продолжал англичанин, первый вернувший себе хладнокровие, – итак, беглец пошел ко дну.

– Как ключ.

– И комендант замка Иф разом избавился и от сумасшедшего и от бешеного?

– Вот именно.

– Но об этом происшествии, по всей вероятности, составлен акт? – спросил англичанин.

– Да, да, свидетельство о смерти. Вы понимаете, родственники Дантеса, если у него таковые имеются, могут быть заинтересованы в том, чтобы удостовериться, жив он или умер.

– Так что теперь они могут быть спокойны, если ждут после него наследства. Он погиб безвозвратно?

– Еще бы! И им выдадут свидетельство, как только они пожелают.

– Мир праху его, – сказал англичанин, – но вернемся к спискам.

– Вы правы. Мой рассказ вас отвлек. Прошу прощения.

– За что же? За рассказ? Помилуйте, он показался мне весьма любопытным.

– Он и в самом деле любопытен. Итак, вы желаете видеть все, что касается вашего бедного аббата; он-то был сама кротость.

– Вы очень меня обяжете.

– Пройдемте в мою контору, и я вам все покажу.

И они отправились в контору де Бовиля.

Инспектор сказал правду: все было в образцовом порядке; каждая ведомость имела свой номер; каждое дело лежало на своем месте. Инспектор усадил англичанина в свое кресло и подал ему папку, относящуюся к замку Иф, предоставив ему свободно рыться в ней, а сам уселся в угол и занялся чтением газеты.

Англичанин без труда отыскал бумаги, касающиеся аббата Фариа; но, по-видимому, случай, рассказанный ему де Бовилем, живо заинтересовал его; ибо, пробежав глазами эти бумаги, он продолжал перелистывать дело, пока не дошел до документов об Эдмоне Дантесе. Тут он нашел все на своем месте: донос, протокол допроса, прошение

Морреля с пометкой де Вильфора. Он украдкой сложил донос, спрятал его в карман, прочитал протокол допроса и увидел, что имя Нуартье там не упоминалось; пробежал прошение от 10 апреля 1815 года, в котором Моррель, по совету помощника королевского прокурора, с наилучшими намерениями – ибо в то время на престоле был Наполеон, – преувеличивал услуги, оказанные Дантесом делу Империи, что подтверждалось подписью Вильфора. Тогда он понял все. Это прошение на имя Наполеона, сохраненное Вильфором, при второй реставрации стало грозным оружием в руках королевского прокурора. Поэтому он не удивился, увидев в ведомости нижеследующее примечание:

***Эдмон Дантес***

*Отъявленный бонапартист; принимал деятельное участие в возвращении узурпатора с острова Эльба.*

*Соблюдать строжайшую тайну, держать под неослабным надзором.*

Под этими строками было приписано другой рукой:

*«Ничего нельзя сделать».*

Сравнив почерк примечания с почерком пометки на прошении Морреля, он убедился, что примечание писано той же самой рукой, что и пометка, то есть рукой Вильфора.

Что же касается приписки, сопровождавшей примечание, то англичанин понял, что она сделана тюремным инспектором, который принял мимолетное участие в судьбе Дантеса, но ввиду указанного примечания был лишен возможности чем-либо проявить это участие.

Господин де Бовиль, как мы уже сказали, из учтивости и чтобы не мешать воспитаннику аббата Фариа в его розысках, сидел в углу и читал «Белое знамя».

Поэтому он и не видел, как англичанин сложил и спрятал в карман донос, написанный Дангларом в беседке «Резерва» и снабженный штемпелем марсельской почты, удостоверяющим, что он вынут из ящика 27 февраля в 6 часов вечера.

Впрочем, если бы он и заметил, то не показал бы виду, ибо придавал слишком мало значения этой бумажке и слишком много значения своим двумстам тысячам франков, чтобы помешать англичанину, хотя его поступок и нарушал все правила.

– Благодарю вас, – сказал англичанин, с шумом захлопывая папку. – Я нашел все, что мне нужно. Теперь моя очередь исполнить свое обещание; сделайте просто передаточную надпись, удостоверьте в ней, что получили сумму сполна, и я тотчас же ее вам отсчитаю.

И он уступил свое место за письменным столом де Бовилю, который сел, не чинясь, и поспешно сделал требуемую надпись, между тем как англичанин на краю стола отсчитывал кредитные билеты.

# VIII. Торговый дом Моррель

Если бы кто-нибудь из знавших торговый дом Моррель на несколько лет уехал из Марселя и возвратился в описываемое нами время, то он нашел бы большую перемену.

Вместо оживления, довольства и счастья, которые, так сказать, излучает благоденствующий торговый дом; вместо веселых лиц, мелькающих за оконными занавесками; вместо хлопотливых конторщиков, бегающих по коридорам, заложив за ухо перо; вместо двора, заваленного всевозможными тюками и оглашаемого хохотом и криком носильщиков, – он застал бы атмосферу заброшенности и безлюдья. Из множества служащих, когда-то населявших контору, в пустынных коридорах и на опустелом дворе осталось только двое: молодой человек, лет двадцати трех, по имени Эмманюель Эрбо, влюбленный в дочь г-на Морреля и вопреки настояниям родителей не покинувший фирму, и бывший помощник казначея, кривой на один глаз и прозванный Коклесом;[16] это прозвище ему дала молодежь, некогда наполнявшая этот огромный, шумный улей, теперь почти необитаемый, причем оно столь прочно заменило его настоящее имя, что он, вероятно, даже не оглянулся бы, если бы кто-нибудь окликнул его по имени.

Коклес остался на службе у г-на Морреля, и в положении этого честного малого произошла своеобразная перемена; он в одно и то же время возвысился до чина казначея и опустился до звания слуги.

Но, несмотря ни на что, он остался все тем же Коклесом – добрым, усердным, преданным, но непреклонным во всем, что касалось арифметики, единственного вопроса, в котором он готов был восстать против целого света, даже против самого г-на Морреля; он верил только таблице умножения, которую знал назубок, как бы ее ни выворачивали и как бы ни старались его сбить.

Среди всеобщего уныния, в которое погрузился дом Морреля, один только Коклес остался невозмутим. Но не нужно думать, что эта невозмутимость проистекала от недостатка привязанности; напротив

того, она была следствием непоколебимого доверия. Как крысы заранее бегут с обреченного корабля, пока он еще не снялся с якоря, так и весь сонм служащих и конторщиков, земное благополучие которых зависело от фирмы арматора, мало-помалу, как мы уже говорили, покинул контору и склады; но Коклес, видя всеобщее бегство, даже не задумался над тем, чем оно вызвано; для него все сводилось к цифрам, а так как за свою двадцатилетнюю службу в торговом доме Моррель он привык видеть, что платежи производятся с неизменной точностью, то он не допускал мысли, что этому может настать конец и что эти платежи могут прекратиться, подобно тому как мельник, чья мельница приводится в движение силой течения большой реки, не может себе представить, чтобы эта река могла вдруг остановиться. И в самом деле до сих пор ничто еще не поколебало уверенности Коклеса. Последний месячный платеж совершился с непогрешимой точностью. Коклес нашел ошибку в семьдесят сантимов, сделанную г-ном Моррелем себе в убыток, и в тот же день представил ему эти переплаченные четырнадцать су. Г-н Моррель с грустной улыбкой взял их и положил в почти пустой ящик кассы.

– Хорошо, Коклес; вы самый исправный казначей на свете.

И Коклес удалился, как нельзя более довольный, ибо похвала г-на Морреля, самого честного человека в Марселе, была для него приятнее награды в пятьдесят экю.

Но после этого последнего платежа, столь благополучно произведенного, для г-на Морреля настали тяжелые дни; чтобы рассчитаться с кредиторами, он собрал все свои средства и, опасаясь, как бы в Марселе не распространился слух о его разорении, если бы увидели, что он прибегает к таким крайностям, он лично съездил на Бокерскую ярмарку, где продал кое-какие драгоценности, принадлежавшие жене и дочери, и часть своего столового серебра. С помощью этой жертвы на этот раз все обошлось благополучно для торгового дома Моррель; но зато касса совершенно опустела. Кредит, напуганный молвой, отвернулся от него с обычным своим эгоизмом; и, чтобы уплатить г-ну де Бовилю пятнадцатого числа текущего месяца сто

тысяч франков, а пятнадцатого числа будущего месяца еще сто тысяч, г-н Моррель мог рассчитывать только на возвращение «Фараона», о выходе которого в море его уведомило судно, одновременно с ним снявшееся с якоря и уже благополучно прибывшее в марсельский порт.

Но это судно, вышедшее, как и «Фараон», из Калькутты, прибыло уже две недели тому назад, между тем как о «Фараоне» не было никаких вестей.

Таково было положение дел, когда поверенный римского банкирского дома Томсон и Френч на другой день после своего посещения г-на де Бовиля явился к г-ну Моррелю.

Его принял Эмманюель. Молодой человек, которого пугало всякое новое лицо, ибо оно означало нового кредитора, обеспокоенного слухами и пришедшего к главе фирмы за справками, хотел избавить своего патрона от неприятной беседы; он начал расспрашивать посетителя; но тот заявил, что ничего не имеет сказать г-ну Эмманюелю и желает говорить лично с г-ном Моррелем.

Эмманюель со вздохом позвал Коклеса. Коклес явился, и молодой человек велел ему провести незнакомца к г-ну Моррелю.

Коклес пошел вперед; незнакомец следовал за ним. На лестнице они встретили прелестную молодую девушку лет шестнадцати – семнадцати, с беспокойством взглянувшую на незнакомца.

Коклес не заметил этого выражения ее лица, но от незнакомца оно, по-видимому, не ускользнуло.

– Господин Моррель у себя в кабинете, мадемуазель Жюли? – спросил казначей.

– Да, вероятно, – отвечала неуверенно молодая девушка. – Загляните туда, Коклес, и, если отец там, доложите ему о посетителе.

– Докладывать обо мне было бы бесполезно, – сказал англичанин. – Господин Моррель не знает моего имени; достаточно сказать, что я старший агент фирмы Томсон и Френч, с которой торговый дом вашего батюшки состоит в сношениях.

Молодая девушка побледнела и стала спускаться с лестницы, между тем как Коклес и незнакомец поднялись наверх.

Жюли вошла в контору, где занимался Эмманюель; а Коклес с помощью имевшегося у него ключа, что свидетельствовало о его свободном доступе к хозяину, отворил дверь в углу площадки третьего этажа, впустил незнакомца в переднюю, отворил затем другую дверь, прикрыл ее за собой, оставив посланца фирмы Томсон и Френч на минуту одного, и вскоре снова появился, делая ему знак, что он может войти.

Англичанин вошел; г-н Моррель сидел за письменным столом и, бледный от волнения, с ужасом смотрел на столбцы своего пассива.

Увидев незнакомца, г-н Моррель закрыл счетную книгу, встал, подал ему стул; потом, когда незнакомец сел, опустился в свое кресло.

За эти четырнадцать лет достойный негоциант сильно переменился; в начале нашего рассказа ему было тридцать шесть лет, а теперь он приближался к пятидесяти. Волосы его поседели; заботы избороздили морщинами лоб; самый его взгляд, прежде столь твердый и решительный, стал тусклым и неуверенным, словно боялся остановиться на какой-нибудь мысли или на чьем-нибудь лице.

Англичанин смотрел на него с любопытством, явно смешанным с участием.

– Милостивый государь, – сказал г-н Моррель, смущение которого увеличивалось от этого пристального взгляда, – вы желали говорить со мной?

– Да, сударь. Вам известно, от чьего имени я явился?

– От имени банкирского дома Томсон и Френч; так по крайней мере сказал мне мой казначей.

– Совершенно верно. Банкирский дом Томсон и Френч в течение ближайших двух месяцев должен уплатить во Франции от трехсот до четырехсот тысяч франков; зная вашу строгую точность в платежах, он собрал все какие мог обязательства за вашей подписью и поручил мне, по мере истечения сроков этих обязательств, получать по ним с вас причитающиеся суммы и расходовать их.

Моррель, тяжело вздохнув, провел рукой по влажному лбу.

– Итак, – спросил Моррель, – у вас имеются векселя за моей подписью?

– Да, и притом на довольно значительную сумму.

– А на какую именно? – спросил Моррель, стараясь говорить ровным голосом.

– Во-первых, – сказал англичанин, вынимая из кармана сверток бумаг, – вот передаточная надпись на двести тысяч франков, сделанная на вашу фирму господином де Бовилем, инспектором тюрем. Вы признаете этот долг господину де Бовилю?

– Да, он поместил у меня эту сумму из четырех с половиной процентов пять лет тому назад.

– И вы должны возвратить их ему...

– Одну половину пятнадцатого числа этого месяца, а другую – пятнадцатого числа будущего.

– Совершенно верно. Затем вот еще векселя на тридцать две тысячи пятьсот франков, которым срок в конце этого месяца. Они подписаны вами и переданы нам предъявителями.

– Я признаю их, – сказал Моррель, краснея от стыда при мысли, что, быть может, он первый раз в жизни будет не в состоянии уплатить по своим обязательствам. – Это все?

– Нет, сударь; у меня есть еще векселя, срок которым истекает в конце будущего месяца, переданные нам торговым домом Паскаль и торговым домом Уайлд и Тэрнер, на сумму около пятидесяти пяти тысяч франков; всего двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков.

Несчастный Моррель в продолжение этого исчисления терпел все муки ада.

– Двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков, – повторил он машинально.

– Да, сударь, – отвечал англичанин. – Однако, – продолжал он после некоторого молчания, – я не скрою от вас, господин Моррель, что при всем уважении к вашей честности, до сих пор не подвергавшейся ни малейшему упреку, в Марселе носится слух, что вы скоро окажетесь несостоятельным.

При таком почти грубом заявлении Моррель страшно побледнел.

– Милостивый государь, – сказал он, – до сих пор – а уже прошло больше двадцати четырех лет с того дня, как мой отец передал мне нашу фирму, которую он сам возглавлял в продолжение тридцати пяти лет, – до сих пор ни одно представленное в мою кассу обязательство за подписью «Моррель и Сын» не осталось неоплаченным.

– Да, я это знаю, – отвечал англичанин, – но будем говорить откровенно, как подобает честным людям. Скажите: можете вы заплатить и по этим обязательствам с такой же точностью?

Моррель вздрогнул, но с твердостью посмотрел в лицо собеседнику.

– На такой откровенный вопрос должно и отвечать откровенно, – сказал он. – Да, сударь, я заплачу по ним, если, как я надеюсь, мой корабль благополучно прибудет, потому что его прибытие вернет мне кредит, которого меня лишили постигшие меня неудачи; но если «Фараон», моя последняя надежда, потерпит крушение...

Глаза несчастного арматора наполнились слезами.

– Итак, – сказал англичанин, – если эта последняя надежда вас обманет?..

– Тогда, – продолжал Моррель, – как ни тяжело это выговорить... но, привыкнув к несчастью, я должен привыкнуть и к стыду... тогда, вероятно, я буду вынужден прекратить платежи.

– Разве у вас нет друзей, которые могли бы вам помочь?

Моррель печально улыбнулся:

– В делах, сударь, не бывает друзей, вы это знаете; есть только корреспонденты.

– Это правда, – прошептал англичанин. – Итак, у вас остается только одна надежда?

– Только одна.

– Последняя?

– Последняя.

– И если эта надежда вас обманет...

– Я погиб, безвозвратно погиб.

– Когда я шел к вам, то какой-то корабль входил в порт.

– Знаю, сударь; один из моих служащих, оставшийся мне верным в моем несчастье, проводит целые дни в бельведере, на крыше дома, в надежде, что первый принесет мне радостную весть. Он уведомил меня о прибытии корабля.

– И это не ваш корабль?

– Нет, это «Жиронда», корабль из Бордо. Он также пришел из Индии; но это не мой.

– Может быть, он знает, где «Фараон», и привез вам какое-нибудь известие о нем?

– Признаться вам? Я почти столь же страшусь вестей о моем корабле, как неизвестности. Неизвестность – все-таки надежда. – Помолчав, г-н Моррель прибавил глухим голосом: – Такое опоздание непонятно; «Фараон» вышел из Калькутты пятого февраля; уже больше месяца, как ему пора быть здесь.

– Что это, – вдруг сказал англичанин, прислушиваясь, – что это за шум?

– Боже мой! Боже мой! – побледнев, как смерть, воскликнул Моррель. – Что еще случилось?

С лестницы в самом деле доносился громкий шум; люди бегали взад и вперед; раздался даже чей-то жалобный вопль.

Моррель встал было, чтобы отворить дверь, но силы изменили ему, и он снова опустился в кресло.

Они остались сидеть друг против друга, Моррель – дрожа всем телом, незнакомец – глядя на него с выражением глубокого сострадания. Шум прекратился, но Моррель, видимо, ждал чего-то: этот шум имел свою причину, которая должна была открыться.

Незнакомцу показалось, что кто-то тихо поднимается по лестнице и что на площадке остановилось несколько человек.

Потом он услышал, как в замок первой двери вставили ключ и как она заскрипела на петлях.

– Только у двоих есть ключ от этой двери, – прошептал Моррель, – у Коклеса и Жюли.

В ту же минуту отворилась вторая дверь, и на пороге показалась Жюли, бледная и в слезах.

Моррель встал, дрожа всем телом, и оперся на ручку кресла, чтобы не упасть. Он хотел заговорить, но голос изменил ему.

– Отец, – сказала девушка, умоляюще сложив руки, – простите вашей дочери, что она приносит вам дурную весть!

Моррель страшно побледнел; Жюли бросилась в его объятия.

– Отец, отец! – сказала она. – Не теряйте мужества!

– «Фараон» погиб? – спросил Моррель сдавленным голосом.

Жюли ничего не ответила, но утвердительно кивнула головой, склоненной на грудь отца.

– А экипаж? – спросил Моррель.

– Спасен, – сказала Жюли, – спасен бордоским кораблем, который только что вошел в порт.

Моррель поднял руки к небу с непередаваемым выражением смирения и благодарности.

– Благодарю тебя, боже! – сказал он. – Ты поразил одного меня!

Как ни хладнокровен был англичанин, у него на глаза навернулись слезы.

– Войдите, – сказал Моррель, – войдите; я догадываюсь, что вы все за дверью.

Едва он произнес эти слова, как, рыдая, вошла госпожа Моррель; за нею следовал Эмманюель. В глубине, в передней, видны были суровые лица семи-восьми матросов, истерзанных и полунагих. При виде этих людей англичанин вздрогнул. Он, казалось, хотел подойти к ним, но сдержался и, напротив, отошел в самый темный и отдаленный угол кабинета.

Госпожа Моррель села в кресло и взяла руку мужа в свои, а Жюли по-прежнему стояла, склонив голову на грудь отца. Эмманюель остался посреди комнаты, служа как бы звеном между семейством Моррель и матросами, столпившимися в дверях.

– Как это случилось? – спросил Моррель.

– Подойдите, Пенелон, – сказал Эмманюель, – и расскажите.

Старый матрос, загоревший до черноты под тропическим солнцем, подошел, вертя в руках обрывки шляпы.

– Здравствуйте, господин Моррель, – сказал он, как будто бы только вчера покинул Марсель и возвратился из поездки в Экс или Тулон.

– Здравствуйте, друг мой, – сказал хозяин, невольно улыбнувшись сквозь слезы, – но где же капитан?

– Что до капитана, господин Моррель, то он захворал и остался в Пальме; но, с божьей помощью, он скоро поправится, и через несколько дней он будет здоров, как мы с вами.

– Хорошо... Теперь рассказывайте, Пенелон, – сказал г-н Моррель.

Пенелон передвинул жвачку справа налево, прикрыл рот рукой, отвернулся, выпустил в переднюю длинную струю черноватой слюны, выставил ногу вперед, и, покачиваясь, начал:

– Так вот, господин Моррель, шли мы этак между мысом Бланко и мысом Боядор и под юго-западным ветром, после того как целую неделю проштилевали; и вдруг капитан Гомар подходит ко мне (а я, надобно сказать, был на руле) и говорит мне:

«Дядя Пенелон, что вы думаете об этих облаках, которые поднимаются там на горизонте?»

А я уж и сам глядел на них.

«Что я о них думаю, капитан? Думаю, что они подымаются чуточку быстрее, чем полагается, и что они больно уж черны для облаков, не замышляющих ничего дурного».

«Я такого же мнения, – сказал капитан, – и на всякий случай приму меры предосторожности. Мы слишком много несем парусов для такого ветра, какой сейчас подует... Эй, вы! Бом-брамсель и бом-кливер долой!»

И пора было: не успели исполнить команду, как ветер налетел, и корабль начало кренить.

«Все еще много парусов, – сказал капитан. – Грот на гитовы!»

Через пять минут грот был взят на гитовы, и мы шли под фоком, марселями и брамселями.

«Ну что, дядя Пенелон, – сказал мне капитан, – что вы качаете головой?»

«А то, что на вашем месте я велел бы убрать еще».

«Ты, пожалуй, прав, старик, – сказал он, – будет свежий ветер».

«Ну, знаете, капитан, – отвечаю я ему, – про свежий ветер забудьте, это шторм, и здоровый шторм, если я в этом что-нибудь смыслю!»

Надо вам сказать, что ветер летел на нас, как пыль на большой дороге. К счастью, наш капитан знает свое дело.

«Взять два рифа у марселей! – крикнул капитан. – Трави булиня, брасопить к ветру, марселя долой, подтянуть тали на реях!»

– Этого недостаточно под теми широтами, – внезапно сказал англичанин. – Я взял бы четыре рифа и убрал бы фок.

Услышав этот твердый и звучный голос, все вздрогнули. Пенелон заслонил рукой глаза и посмотрел на того, кто так смело критиковал распоряжения его капитана.

– Мы сделали еще больше, сударь, – сказал старый моряк с некоторым почтением, – мы взяли на гитовы контрбизань и повернули через фордевинд, чтобы идти вместе с бурей. Десять минут спустя мы взяли на гитовы марселя и пошли под одними снастями.

– Корабль был слишком старый, чтобы так рисковать, – сказал англичанин.

– Вот то-то! Это нас и погубило. После двенадцатичасовой трепки, от которой чертям бы тошно стало, открылась течь.

«Пенелон, – говорит капитан, – сдается мне, мы идем ко дну; дай мне руль, старина, и ступай в трюм».

Я отдал ему руль, схожу вниз; там было уже три фута воды; я на палубу, кричу: «Выкачивай!» Какое там! Уже было поздно. Принялись за работу; но чем больше мы выкачивали, тем больше ее прибывало.

«Нет, знаете, – говорю я, промаявшись четыре часа, – тонуть так тонуть, двум смертям не бывать, одной не миновать!»

«Так-то ты подаешь пример, дядя Пенелон? – сказал капитан. – Ну, погоди же!»

И он пошел в свою каюту и принес пару пистолетов.

«Первому, кто бросит помпу, – сказал он, – я раздроблю череп!»

– Правильно, – сказал англичанин.

– Ничто так не придает храбрости, как дельное слово, – продолжал моряк, – тем более что погода успела проясниться и ветер стих; но вода прибывала – не слишком сильно, каких-нибудь дюйма на два в час, но все же прибывала. Два дюйма в час – оно как будто и пустяки, но за двенадцать часов это составит по меньшей мере двадцать четыре дюйма, а двадцать четыре дюйма составляют два фута. Два фута да три, которые мы уже раньше имели, составят пять. А когда у корабля пять футов воды в брюхе, то можно сказать, что у него водянка.

«Ну, – сказал капитан, – теперь довольно, и господин Моррель не может упрекнуть нас ни в чем: мы сделали все, что могли, для спасения корабля; теперь надо спасать людей. Спускай шлюпку, ребята, и поторапливайтесь!»

– Послушайте, господин Моррель, – продолжал Пенелон, – мы очень любили «Фараона», но как бы моряк ни любил свой корабль, он еще больше любит свою шкуру; а потому мы и не заставили просить себя дважды; к тому же корабль так жалобно скрипел и, казалось, говорил нам: «Да убирайтесь поскорее!» И бедный «Фараон» говорил правду. Мы чувствовали, как он погружается у нас под ногами. Словом, в один миг шлюпка была спущена, и мы, все восемь, уже сидели в ней.

Капитан сошел последний, или, вернее сказать, он не сошел, потому что не хотел оставить корабль; это я схватил его в охапку и бросил товарищам, после чего и сам соскочил. И в самое время. Едва успел я соскочить, как палуба треснула с таким шумом, как будто дали залп с сорокавосьмипушечного корабля.

Через десять минут он клюнул носом, потом кормой, потом начал вертеться на месте, как собака, которая ловит свой хвост. А потом, будьте здоровы! Фью! Кончено дело, и нет «Фараона»!

А что до нас, то мы три дня не пили и не ели, так что уже поговаривали о том, не кинуть ли жребий, кому из нас кормить остальных, как вдруг увидели «Жиронду»; подали ей сигналы; она нас заметила, поворотила к нам, выслала шлюпку и подобрала нас. Вот как было дело, господин Моррель, верьте слову моряка! Так, товарищи?

Ропот одобрения показал, что рассказчик заслужил всеобщую похвалу правдивым изложением сути дела и картинным описанием подробностей.

– Хорошо, друзья мои, – сказал г-н Моррель, – вы славные ребята, и я заранее знал, что в постигшем меня несчастье виновата только моя злая судьба. Здесь воля божия, а не вина людей. Покоримся же воле божией. Теперь скажите мне, сколько вам следует жалованья.

– Полноте, господин Моррель, об этом не будем говорить!

– Напротив, поговорим об этом, – сказал арматор с печальной улыбкой.

– Нам, стало быть, следует за три месяца... – сказал Пенелон.

– Коклес, выдайте им по двести франков. В другое время, – продолжал г-н Моррель, – я сказал бы: дайте им по двести франков наградных; но сейчас плохие времена, друзья мои, и те крохи, которые у меня остались, принадлежат не мне. Поэтому простите меня и не осуждайте.

Пенелон скорчил жалостливую гримасу, обернулся к товарищам, о чем-то с ними посовещался и снова обратился к хозяину.

– Значит, это самое, господин Моррель, – сказал он, перекладывая жвачку за другую щеку и выпуская в переднюю новую струю слюны под стать первой, – это самое, которое...

– Что?

– Деньги...

– Ну и что же?

– Так товарищи говорят, господин Моррель, что им пока хватит по пятидесяти франков и что с остальным они подождут.

– Благодарю вас, друзья мои, благодарю! – сказал г-н Моррель, тронутый до глубины души. – Вы все славные люди; но все-таки возьмите деньги. И если найдете другую службу, то нанимайтесь. Вы свободны.

Эти последние слова произвели на честных моряков ошеломляющее впечатление. Они испуганно переглянулись. У Пенелона захватило дух, и

он едва не проглотил свою жвачку; к счастью, он вовремя схватился рукой за горло.

– Как, господин Моррель? – сказал он сдавленным голосом. – Вы нас увольняете? Мы вам не угодили?

– Нет, друзья мои, – отвечал арматор, – нет, наоборот, я очень доволен вами. Я не увольняю вас. Но что же делать? Кораблей у меня больше нет, и матросов мне не нужно.

– Как нет больше кораблей? – сказал Пенелон. – Ну так велите выстроить новые; мы подождем. Слава богу, мы привыкли штилевать.

– У меня нет больше денег на постройку кораблей, Пенелон, – сказал арматор с печальной улыбкой, – и я не могу принять вашего предложения, как оно ни лестно для меня.

– А если у вас нет денег, тогда не нужно нам платить. Мы сделаем, как наш бедный «Фараон», и пойдем под одними снастями, вот и все!

– Довольно, довольно, друзья мои! – сказал Моррель, задыхаясь от волнения. – Идите, прошу вас. Увидимся в лучшие времена. Эмманюель, – прибавил он, – ступайте с ними и присмотрите за тем, чтобы мое распоряжение было в точности исполнено.

– Но только мы не прощаемся, господин Моррель, мы скажем «до свидания», ладно? – сказал Пенелон.

– Да, друзья мои, надеюсь, что так. Ступайте.

Он сделал знак Коклесу, и тот пошел вперед; моряки последовали за казначеем, а Эмманюель вышел после всех.

– Теперь, – сказал арматор своей жене и дочери, – оставьте меня на минуту; мне нужно поговорить с этим господином.

И он указал глазами на поверенного дома Томсон и Френч, который в продолжение всей сцены стоял неподвижно в углу и участвовал в ней только несколькими вышеприведенными словами. Обе женщины взглянули на незнакомца, про которого они совершенно забыли, и удалились. Но Жюли, обернувшись в дверях, бросила на него трогательно умоляющий взгляд, и тот отвечал на него улыбкой, которую странно было видеть на этом ледяном лице. Мужчины остались одни.

– Ну вот, – сказал Моррель, опускаясь в кресло, – вы всё видели, всё слышали, мне нечего добавить.

– Я видел, – сказал англичанин, – что вас постигло новое несчастье, столь же незаслуженное, как и прежние, и это еще более утвердило меня в моем желании быть вам полезным.

– Ах, сударь! – сказал Моррель.

– Послушайте, – продолжал незнакомец. – Ведь я один из главных ваших кредиторов, не правда ли?

– Во всяком случае, в ваших руках обязательства, сроки которых истекают раньше всех.

– Вы желали бы получить отсрочку?

– Отсрочка могла бы спасти мою честь, а следовательно, и жизнь.

– Сколько вам нужно времени?

Моррель задумался.

– Два месяца, – сказал он.

– Хорошо, – сказал незнакомец, – я даю вам три.

– Но уверены ли вы, что фирма Томсон и Френч...

– Будьте спокойны, я беру все на свою ответственность. У нас сегодня пятое июня?

– Да.

– Так вот, перепишите мне все эти векселя на пятое сентября, и пятого сентября в одиннадцать часов утра (стрелки стенных часов показывали ровно одиннадцать) я явлюсь к вам.

– Я буду вас ожидать, – сказал Моррель, – и вы получите деньги, или меня не будет в живых.

Последние слова были сказаны так тихо, что незнакомец не расслышал их.

Векселя были переписаны, старые разорваны, и бедный арматор получил по крайней мере три месяца передышки, чтобы собрать свои последние средства.

Англичанин принял изъявления его благодарности с флегматичностью, свойственной его нации, и простился с Моррелем, который проводил его до дверей, осыпая благословениями.

На лестнице он встретил Жюли.

Она притворилась, что спускается по лестнице, но на самом деле она поджидала его.

– Ах, сударь! – сказала она, умоляюще сложив руки.

– Мадемуазель, – сказал незнакомец, – вы вскоре получите письмо, подписанное... Синдбад-мореход... Исполните в точности все, что будет сказано в этом письме, каким бы странным оно вам ни показалось.

– Хорошо, – ответила Жюли.

– Обещаете вы мне это сделать?

– Клянусь вам!

– Хорошо. Прощайте, мадемуазель. Будьте всегда такой же доброй и любящей дочерью, и я надеюсь, что бог наградит вас, дав вам Эмманюеля в мужья.

Жюли тихо вскрикнула, покраснела, как вишня, и схватилась за перила, чтобы не упасть. Незнакомец продолжал свой путь, сделав ей рукою прощальный знак.

Во дворе он встретил Пенелона, державшего в каждой руке по свертку в сто франков и словно не решавшегося унести их.

– Пойдемте, друг мой, – сказал ему англичанин, – мне нужно поговорить с вами.

# IX. Пятое сентября

Отсрочка, данная Моррелю поверенным банкирского дома Томсон и Френч в ту минуту, когда он меньше всего ее ожидал, показалась несчастному арматору одним из тех возвратов счастья, которые возвещают человеку, что судьба наконец устала преследовать его. В тот же день он все рассказал своей дочери, жене и Эмманюелю, и некоторая надежда, если и не успокоение, вернулась в дом. Но, к сожалению, Моррель имел дело не только с фирмой Томсон и Френч, проявившей по отношению к нему такую предупредительность. В торговых делах, как он сказал, есть корреспонденты, но нет друзей. В глубине души он недоумевал, думая о великодушном поступке фирмы Томсон и Френч; он объяснял его только разумно эгоистическим рассуждением: лучше поддержать человека, который нам должен около трехсот тысяч франков, и получить эти деньги через три месяца, нежели ускорить его разорение и получить шесть или восемь процентов.

К сожалению, по злобе или по безрассудству все остальные кредиторы Морреля размышляли не так, а иные даже наоборот. А потому векселя, подписанные Моррелем, были представлены в его кассу в установленный срок и благодаря отсрочке, данной англичанином, были немедленно оплачены Коклесом. Таким образом, Коклес пребывал по-прежнему в своем безмятежном спокойствии. Один только г-н Моррель с ужасом видел, что если бы ему пришлось заплатить пятнадцатого числа сто тысяч франков де Бовилю, а тридцатого числа тридцать две тысячи пятьсот франков по другим, тоже отсроченным векселям, то он бы погиб уже в этом месяце.

Все марсельские негоцианты были того мнения, что Моррель не выдержит свалившихся на него неудач. А потому велико было всеобщее удивление, когда он с обычной точностью произвел июньскую оплату векселей. Однако несмотря на это, к нему продолжали относиться недоверчиво и единодушно отложили банкротство несчастного арматора до конца следующего месяца.

Весь июль Моррель прилагал нечеловеческие усилия, чтобы собрать нужную сумму. Бывало, его обязательства на какой бы то ни было срок принимались с полным доверием и были даже в большом спросе. Моррель попытался выдать трехмесячные векселя, но ни один банк их не принял. К счастью, сам Моррель рассчитывал на кое-какие поступления; эти поступления состоялись; таким образом, к концу месяца Моррель опять удовлетворил кредиторов.

Поверенного фирмы Томсон и Френч в Марселе больше не видели; он исчез на другой или на третий день после своего посещения г-на Морреля; а так как в Марселе он имел дело только с мэром, инспектором тюрем и арматором, то его мимолетное пребывание в этом городе не оставило иных следов, кроме тех несходных воспоминаний, которые сохранили о нем эти трое. Что касается матросов с «Фараона», то они, по-видимому, нанялись на другую службу, потому что тоже исчезли.

Капитан Гомар, поправившись после болезни, задержавшей его в Пальме, возвратился в Марсель. Он не решался явиться к г-ну Моррелю; но тот, узнав о его приезде, сам отправился к нему. Честному арматору было уже известно со слов Пенелона о мужественном поведении капитана во время кораблекрушения, и он сам старался утешить его. Он принес ему полностью его жалованье, за которым капитан Гомар не решился бы прийти.

Выходя от него, г-н Моррель столкнулся на лестнице с Пенелоном, который, по-видимому, хорошо распорядился полученными деньгами, ибо был одет во все новое. Увидев арматора, честный рулевой пришел в большое замешательство. Он забился в самый дальний угол площадки, переложил свою жвачку сначала справа налево, потом слева направо, испуганно вытаращил глаза и ответил только робким пожатием на дружелюбное, как всегда, рукопожатие г-на Морреля. Г-н Моррель приписал замешательство Пенелона его щегольскому наряду; вероятно, старый матрос не за свой счет пустился на такую роскошь; очевидно, он уже нанялся на какой-нибудь другой корабль и стыдился того, что так скоро, если можно так выразиться, снял траур по «Фараону». Быть может

даже, он явился к капитану Гомару поделиться с ним своей удачей и передать ему предложение от имени своего нового хозяина.

– Славные люди! – сказал, удаляясь, Моррель. – Дай бог, чтобы ваш новый хозяин любил вас так же, как я, и оказался счастливее меня.

Август месяц протек в беспрестанных попытках Морреля восстановить свой прежний кредит или же открыть себе новый. Двадцатого августа в Марселе стало известно, что он купил себе место в почтовой карете, и все тотчас же решили, что Моррель объявит себя несостоятельным в конце месяца и нарочно уезжает, чтобы не присутствовать при этом печальном обряде, который он, вероятно, препоручил своему старшему приказчику Эмманюелю и казначею Коклесу. Но, вопреки всем ожиданиям, когда наступило 31 августа, касса открылась, как всегда. Коклес сидел за решеткой невозмутимо, как «праведный муж» Горация, рассматривал с обычным вниманием предъявляемые ему векселя и с обычной своей точностью оплатил их от первого до последнего. Пришлось даже, как предвидел г-н Моррель, погасить два чужих обязательства, и по ним Коклес уплатил с той же аккуратностью, как и по личным векселям арматора. Никто ничего не понимал, и всякий с упрямством, свойственным предсказателям печальных событий, откладывал объявление несостоятельности до конца сентября.

Первого сентября Моррель вернулся. Все семейство с большой тревогой ожидало его; от этого путешествия в Париж зависела последняя возможность спасения. Моррель вспомнил о Дангларе, ставшем миллионером и когда-то обязанном ему, потому что именно по его рекомендации Данглар поступил на службу к испанскому банкиру, с которой и началось его быстрое обогащение. По слухам, Данглар владел шестью или восемью миллионами и неограниченным кредитом. Данглар, не вынимая ни одного червонца из кармана, мог выручить Морреля. Ему стоило только поручиться за него, и Моррель был бы спасен. Моррель давно уже думал о Дангларе; но из-за какого-то безотчетного отвращения Моррель до последней минуты медлил и не прибегал к этому крайнему средству. И он оказался прав, ибо возвратился домой, подавленный унизительным отказом.

Но, переступив порог своего дома, Моррель не обмолвился ни словом жалобы или упрека; он со слезами обнял жену и дочь, дружески протянул руку Эмманюелю, потом заперся в своем кабинете, в третьем этаже, и потребовал к себе Коклеса.

– На этот раз, – сказали обе женщины Эмманюелю, – мы пропали.

После короткого совещания они решили, что Жюли напишет брату, стоявшему с полком в Ниме, чтобы он немедленно приехал.

Бедные женщины инстинктивно чувствовали, что им нужно собрать все силы, чтобы выдержать грозящий им удар.

К тому же Максимилиан Моррель, хотя ему было только двадцать два года, имел большое влияние на отца.

Это был молодой человек прямого и твердого нрава. Когда ему пришлось избирать род деятельности, отец не захотел принуждать его и предоставил молодому человеку свободный выбор согласно его вкусам и склонностям. Тот заявил, что намерен поступить на военную службу. Порешив на этом, он прилежно занялся науками, выдержал конкурсный экзамен в Политехническую школу и был назначен подпоручиком в 53-й пехотный полк. Он уже около года служил в этом чине и рассчитывал на производство в поручики. В полку Максимилиан Моррель считался строгим исполнителем не только солдатского, но и человеческого долга, и его прозвали «стоиком». Разумеется, многие из тех, кто награждал его этим прозвищем, повторяли его за другими, даже не зная, что оно означает.

Этого-то молодого офицера мать и сестра и призвали на помощь, чтобы он поддержал их в тяжкую минуту, наступление которой они предчувствовали.

Они не ошибались в серьезности положения, ибо через несколько минут после того как г-н Моррель прошел в свой кабинет вместе с Коклесом, Жюли увидела, как казначей выходит оттуда весь бледный и дрожащий, с помутившимся взглядом.

Она хотела остановить его, когда он проходил мимо, и расспросить, но бедный малый, спускаясь с несвойственной ему поспешностью по лестнице, ограничился тем, что, воздев руки к небу, воскликнул:

– Ах, мадемуазель Жюли! Какое горе! И кто бы мог подумать!

Спустя несколько минут он вернулся, неся несколько толстых счетных книг, бумажник и мешок с деньгами.

Моррель просмотрел счетные книги, раскрыл бумажник и пересчитал деньги.

Весь его наличный капитал равнялся восьми тысячам франков; можно было ожидать к пятому сентября поступления еще четырех-пяти тысяч, что составляло в наилучшем случае актив в четырнадцать тысяч франков, в то время как ему нужно было уплатить по долговым обязательствам двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков. Не было никакой возможности предложить такую сумму даже в зачет.

Однако, когда Моррель вышел к обеду, он казался довольно спокойным. Это спокойствие испугало обеих женщин больше, чем самое глубокое уныние.

После обеда Моррель имел обыкновение выходить из дому; он отправлялся в «Клуб фокейцев» выпить чашку кофе за чтением «Семафора»; но на этот раз он не вышел из дому и вернулся к себе в кабинет.

Коклес, тот, по-видимому, совсем растерялся. Большую часть дня он просидел на камне во дворе, с непокрытой головой, при тридцатиградусной жаре.

Эмманюель пытался ободрить г-жу Моррель и Жюли; но дар красноречия изменил ему. Он слишком хорошо знал дела фирмы, чтобы не предвидеть, что семье Моррель грозит страшная катастрофа.

Наступила ночь. Ни г-жа Моррель, ни Жюли не ложились спать, надеясь, что Моррель, выйдя из кабинета, зайдет к ним. Но они слышали, как он, крадучись, чтобы его не окликнули, прошел мимо их двери.

Они прислушались, но он вошел в свою спальню и запер за собой дверь.

Госпожа Моррель велела дочери лечь спать; потом, через полчаса после того как Жюли ушла, она встала, сняла башмаки и тихо вышла в коридор, чтобы подсмотреть в замочную скважину, что делает муж.

В коридоре она заметила удаляющуюся тень. Это была Жюли, которая, также снедаемая беспокойством, опередила свою мать.

Молодая девушка подошла к г-же Моррель.

– Он пишет, – сказала она.

Обе женщины без слов поняли друг друга.

Госпожа Моррель наклонилась к замочной скважине. Моррель писал; но госпожа Моррель заметила то, чего не заметила ее дочь: муж писал на гербовой бумаге.

Тогда она поняла, что он пишет завещание; она задрожала всем телом, но все же нашла в себе силы ничего не сказать Жюли.

На другой день г-н Моррель казался совершенно спокойным. Он, как всегда, занимался в конторе, как всегда, вышел к завтраку. Только после обеда он посадил свою дочь возле себя, взял обеими руками ее голову и крепко прижал к груди.

Вечером Жюли сказала матери, что хотя отец ее казался спокойным, но сердце у него сильно стучало.

Два следующих дня прошли в такой же тревоге. Четвертого сентября вечером Моррель потребовал, чтобы дочь вернула ему ключ от кабинета.

Жюли вздрогнула – это требование показалось ей зловещим. Зачем отец отнимал у нее ключ, который всегда был у нее и который у нее в детстве отбирали только в наказание?

Она просительно взглянула на г-на Морреля.

– Чем я провинилась, отец, – сказала она, – что вы отбираете у меня этот ключ?

– Ничем, дитя мое, – отвечал несчастный Моррель, у которого этот простодушный вопрос вызвал слезы на глазах, – ничем, просто он мне нужен.

Жюли притворилась, что ищет ключ.

– Я, должно быть, оставила его у себя в комнате, – сказала она.

Она вышла из комнаты, но вместо того чтобы идти к себе, она побежала советоваться с Эмманюелем.

– Не отдавайте ключа, – сказал он ей, – и завтра утром по возможности не оставляйте отца одного.

Она пыталась расспросить Эмманюеля, но он ничего не знал или ничего не хотел говорить.

Всю ночь с четвертого на пятое сентября г-жа Моррель прислушивалась к движениям мужа за стеной. До трех часов утра она слышала, как он взволнованно шагал взад и вперед по комнате.

Только в три часа он бросился на кровать.

Мать и дочь провели ночь вместе. Еще с вечера они ждали Максимилиана.

В восемь часов утра г-н Моррель пришел к ним в комнату. Он был спокоен, но следы бессонной ночи запечатлелись на его бледном, осунувшемся лице.

Они не решились спросить его, хорошо ли он спал.

Моррель был ласковее и нежнее с женой и дочерью, чем когда бы то ни было; он не мог наглядеться на Жюли и долго целовал ее.

Жюли вспомнила совет Эмманюеля и хотела проводить отца, но он ласково остановил ее и сказал:

– Останься с матерью.

Жюли настаивала.

– Я требую этого! – сказал Моррель.

В первый раз Моррель говорил дочери: «Я требую»; но он сказал это голосом, полным такой отеческой нежности, что Жюли не посмела двинуться с места.

Она осталась стоять молча и не шевелясь. Вскоре дверь снова открылась, чьи-то руки обняли ее и чьи-то губы прильнули к ее лбу.

Она подняла глаза и вскрикнула от радости.

– Максимилиан! Брат! – воскликнула она.

На этот возглас прибежала г-жа Моррель и бросилась в объятия сына.

– Матушка! – сказал Максимилиан, переводя глаза с матери на сестру. – Что случилось? Ваше письмо испугало меня, и я поспешил приехать.

– Жюли, – сказала г-жа Моррель, – скажи отцу, что приехал Максимилиан.

Жюли выбежала из комнаты, но на первой ступеньке встретила человека с письмом в руке.

– Вы мадемуазель Жюли Моррель? – спросил посланец с сильным итальянским акцентом.

– Да, сударь, это я, – пролепетала Жюли. – Но что вам от меня угодно? Я вас не знаю.

– Прочтите это письмо, – сказал итальянец, подавая записку.

Жюли была в нерешительности.

– Дело идет о спасении вашего отца, – сказал посланный.

Жюли выхватила у него из рук письмо.

Быстро распечатав его, она прочла:

«Ступайте немедленно в Мельянские аллеи, войдите в дом № 15, спросите у привратника ключ от комнаты в пятом этаже, войдите в эту комнату, возьмите на камине красный шелковый кошелек и отнесите этот кошелек вашему отцу.

Необходимо, чтобы он его получил до одиннадцати часов утра.

Вы обещали слепо повиноваться мне; напоминаю вам о вашем обещании.

*Синдбад-мореход».*

Молодая девушка радостно вскрикнула, подняла глаза и стала искать человека, принесшего ей записку, чтобы расспросить его; но он исчез.

Она принялась перечитывать письмо и заметила приписку. Она прочла:

«Необходимо, чтобы вы исполнили это поручение лично и одни; если вы придете с кем-нибудь или если кто-нибудь придет вместо вас, привратник ответит, что он не понимает, о чем идет речь».

Эта приписка сразу охладила радость молодой девушки. Не угрожает ли ей беда? Нет ли тут ловушки? Она была так невинна, что не знала, какой именно опасности может подвергнуться девушка ее лет; но не нужно знать опасности, чтобы бояться ее; напротив, именно неведомая опасность внушает наибольший страх.

Жюли колебалась; она решила спросить совета.

И по какому-то необъяснимому побуждению пошла искать помощи не к матери и не к брату, а к Эмманюелю.

Она спустилась вниз, рассказала ему, что случилось в тот день, когда к отцу ее явился посланный банкирского дома Томсон и Френч, рассказала про сцену на лестнице, про данное ею обещание и показала письмо.

– Вы должны идти, – сказал Эмманюель.

– Идти туда? – прошептала Жюли.

– Да, я вас провожу.

– Но ведь вы читали, что я должна быть одна?

– Вы и будете одна, – отвечал Эмманюель, – я подожду вас на углу Музейной улицы; если вы задержитесь слишком долго, я пойду следом за вами – и горе тому, на кого вы мне пожалуетесь!

– Так вы думаете, Эмманюель, – нерешительно сказала девушка, – что я должна последовать этому приглашению?

– Да. Ведь сказал же вам посланный, что дело идет о спасении вашего отца?

– Спасение от чего, Эмманюель? Что ему грозит? – спросила Жюли.

Эмманюель колебался, но желание укрепить решимость Жюли одержало верх.

– Сегодня пятое сентября, – сказал он.

– Да.

– Сегодня в одиннадцать часов ваш отец должен заплатить около трехсот тысяч франков.

– Да, мы это знаем.

– А в кассе у него нет и пятнадцати тысяч, – сказал Эмманюель.

– Что же будет?

– Если сегодня в одиннадцать часов ваш отец не найдет никого, кто пришел бы ему на помощь, то в полдень он должен объявить себя банкротом.

– Идемте, идемте скорей! – взволнованно воскликнула Жюли, увлекая за собой Эмманюеля.

Тем временем г-жа Моррель все рассказала сыну.

Максимилиан знал, что вследствие несчастий, одно за другим постигших его отца, в образе жизни его семьи произошли значительные перемены, но не знал, что дела дошли до такого отчаянного положения.

Неожиданный удар, казалось, сразил его.

Потом он вдруг бросился из комнаты, взбежал по лестнице, надеясь найти отца в кабинете, и стал стучать в дверь.

В эту минуту открылась дверь внизу; он обернулся и увидел отца. Вместо того чтобы прямо подняться в кабинет, г-н Моррель прошел сначала в свою комнату и только теперь из нее выходил.

Господин Моррель, увидев сына, вскрикнул от удивления; он не знал о его приезде. Он застыл на месте, прижимая левым локтем какой-то предмет, спрятанный под сюртуком.

Максимилиан быстро спустился по лестнице и бросился отцу на шею; но вдруг отступил, упираясь правой рукой в грудь отца.

– Отец, – сказал он, побледнев, как смерть, – зачем у вас под сюртуком пистолеты?

– Вот этого я и боялся... – прошептал Моррель.

– Отец! Ради бога! – воскликнул Максимилиан. – Что значит это оружие?

– Максимилиан, – отвечал Моррель, пристально глядя на сына, – ты мужчина и человек чести; идем ко мне, я тебе все объясню.

И Моррель твердым шагом поднялся в свой кабинет. Максимилиан, шатаясь, шел за ним следом.

Моррель отпер дверь, пропустил сына вперед и запер дверь за ним; потом прошел переднюю, подошел к письменному столу, положил на край пистолеты и указал сыну на раскрытый реестр.

Реестр давал точную картину положения дел.

Через полчаса Моррель должен был заплатить двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков.

В кассе было всего пятнадцать тысяч двести пятьдесят семь франков.

– Читай! – сказал Моррель.

Максимилиан прочел. Он стоял, словно пораженный громом.

Отец не говорил ни слова, – что мог он прибавить к неумолимому приговору цифр?

– И вы сделали все возможное, отец, – спросил наконец Максимилиан, – чтобы предотвратить катастрофу?

– Все, – отвечал Моррель.

– Вы не ждете никаких поступлений?

– Никаких.

– Все средства истощены?

– Все.

– И через полчаса... – мрачно прошептал Максимилиан, – наше имя будет обесчещено!

– Кровь смывает бесчестие, – сказал Моррель.

– Вы правы, отец, я вас понимаю.

Он протянул руку к пистолетам.

– Один для вас, другой для меня, – сказал он. – Благодарю.

Моррель остановил его руку.

– А мать?.. А сестра?.. Кто будет кормить их?

Максимилиан вздрогнул.

– Отец! – сказал он. – Неужели вы хотите, чтобы я жил?

– Да, хочу, – отвечал Моррель, – ибо это твой долг. Максимилиан, у тебя нрав твердый и сильный, ты человек недюжинного ума; я тебя не неволю, не приказываю тебе. Я только говорю: «Обдумай положение, как если бы ты был человек посторонний, и суди сам».

Максимилиан задумался; потом в глазах его сверкнула благородная решимость, но при этом он медленно и с грустью снял с себя эполеты.

– Хорошо, – сказал он, подавая руку Моррелю, – уходите с миром, отец. Я буду жить.

Моррель хотел броситься к ногам сына, но Максимилиан обнял его, и два благородных сердца забились вместе.

– Ты ведь знаешь, что я не виноват? – сказал Моррель.

Максимилиан улыбнулся.

– Я знаю, отец, что вы – честнейший из людей.

– Хорошо, между нами все сказано; теперь ступай к матери и сестре.

– Отец, – сказал молодой человек, опускаясь на колени, – благословите меня.

Моррель взял сына обеими руками за голову, поцеловал его и сказал:

– Благословляю тебя моим именем и именем трех поколений безупречных людей; слушай же, что они говорят тебе моими устами: провидение может снова воздвигнуть здание, разрушенное несчастьем. Видя, какою смертью я погиб, самые черствые люди тебя пожалеют; тебе, может быть, дадут отсрочку, в которой мне отказали бы; тогда сделай все, чтобы позорное слово не было произнесено; возьмись за дело, работай, борись мужественно и пылко; живите как можно скромнее, чтобы день за днем достояние тех, кому я должен, росло и множилось в твоих руках. Помни, какой это будет прекрасный день, великий, торжественный день, когда моя честь будет восстановлена, когда в этой самой конторе ты сможешь сказать: «Мой отец умер, потому что был не в состоянии сделать то, что сегодня сделал я; но он умер спокойно, ибо знал, что я это сделаю».

– Ах, отец, отец, – воскликнул Максимилиан, – если бы вы могли остаться с нами!

– Если я останусь, все будет иначе; если я останусь, участие обратится в недоверие, жалость – в гонение; если я останусь, я буду человеком, нарушившим свое слово, не исполнившим своих обязательств, короче, я буду попросту несостоятельным должником. Если же я умру, Максимилиан, подумай об этом, тело мое будет телом несчастного, но честного человека. Я жив, и лучшие друзья будут избегать моего дома; я мертв, и весь Марсель со слезами провожает меня до последнего приюта. Я жив, и ты стыдишься моего имени; я мертв, и ты гордо поднимаешь голову и говоришь: «Я сын того, кто убил себя, потому что первый раз в жизни был вынужден нарушить свое слово».

Максимилиан горестно застонал, но, по-видимому, покорился судьбе. И на этот раз если не сердцем, то умом он согласился с доводами отца.

– А теперь, – сказал Моррель, – оставь меня одного и постарайся удалить отсюда мать и сестру.

– Вы не хотите еще раз увидеть Жюли? – спросил Максимилиан.

Последняя смутная надежда таилась для него в этом свидании, но Моррель покачал головой.

– Я видел ее утром, – сказал он, – и простился с нею.

– Нет ли у вас еще поручений, отец? – спросил Максимилиан глухим голосом.

– Да, сын мой, есть одно, священное.

– Говорите, отец.

– Банкирский дом Томсон и Френч – единственный, который из человеколюбия или, быть может, из эгоизма, – не мне читать в людских сердцах, – сжалился надо мною. Его поверенный, который через десять минут придет сюда получать деньги по векселю в двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков, не предоставил, а сам предложил мне три месяца отсрочки. Пусть эта фирма первой получит то, что ей следует, сын мой, пусть этот человек будет для тебя священен.

– Да, отец, – сказал Максимилиан.

– А теперь, еще раз прости, – сказал Моррель. – Ступай, ступай, мне нужно побыть одному; мое завещание ты найдешь в ящике стола в моей спальне.

Максимилиан стоял неподвижно; он хотел уйти, но не мог.

– Иди, Максимилиан, – сказал отец, – предположи, что я солдат, как и ты, что я получил приказ занять редут, и ты знаешь, что я буду убит; неужели ты не сказал бы мне, как сказал сейчас: «Идите, отец, иначе вас ждет бесчестье, лучше смерть, чем позор!»

– Да, – сказал Максимилиан, – да.

Он судорожно сжал старика в объятиях.

– Идите, отец, – сказал он.

И выбежал из кабинета.

Моррель, оставшись один, некоторое время стоял неподвижно, глядя на закрывшуюся за сыном дверь; потом протянул руку, нашел шнурок от звонка и позвонил.

Вошел Коклес. За эти три дня он стал неузнаваем. Мысль, что фирма Моррель прекратит платежи, состарила его на двадцать лет.

– Коклес, друг мой, – сказал Моррель, – ты побудешь в передней. Когда придет этот господин, который был здесь три месяца тому назад, – ты знаешь, поверенный фирмы Томсон и Френч, – ты доложишь о нем.

Коклес, ничего не ответив, кивнул головой, вышел в переднюю и сел на стул.

Моррель упал в кресло. Он взглянул на стенные часы: оставалось семь минут. Стрелка бежала с неимоверной быстротой; ему казалось, что он видит, как она подвигается.

Что происходило в эти последние минуты в душе несчастного, который, повинуясь убеждению, быть может, ложному, но казавшемуся ему правильным, готовился во цвете лет к вечной разлуке со всем, что он любил, и расставался с жизнью, дарившей ему все радости семейного счастья, – этого не выразить словами. Чтобы понять это, надо было бы видеть его чело, покрытое каплями пота, но выражавшее покорность судьбе, его глаза, полные слез, но поднятые к небу.

Стрелка часов бежала; пистолеты были заряжены; он протянул руку, взял один из них и прошептал имя дочери.

Потом опять положил смертоносное оружие, взял перо и написал несколько слов. Ему казалось, что он недостаточно нежно простился со своей любимицей.

Потом он опять повернулся к часам; теперь он считал уж не минуты, а секунды.

Он снова взял в руки оружие, полуоткрыл рот и вперил глаза в часовую стрелку; он взвел курок и невольно вздрогнул, услышав щелканье затвора.

В этот миг пот ручьями заструился по его лицу, смертная тоска сжала ему сердце: внизу лестницы скрипнула дверь.

Потом отворилась дверь кабинета.

Стрелка часов приближалась к одиннадцати.

Моррель не обернулся; он ждал, что Коклес сейчас доложит ему: «Поверенный фирмы Томсон и Френч». И он поднес пистолет ко рту…

За его спиной раздался громкий крик; то был голос его дочери. Он обернулся и увидел Жюли; пистолет выпал у него из рук.

– Отец! – закричала она, едва дыша от усталости и счастья. – Вы спасены! Спасены!

И она бросилась в его объятия, подымая в руке красный шелковый кошелек.

– Спасен, дитя мое? – воскликнул Моррель. – Кем или чем?

– Да, спасены! Вот, смотрите, смотрите! – кричала Жюли.

Моррель взял кошелек и вздрогнул: он смутно припомнил, что этот кошелек когда-то принадлежал ему.

В одном из его углов лежал вексель на двести восемьдесят семь тысяч пятьсот франков.

Вексель был погашен.

В другом – алмаз величиною с орех со следующей надписью, сделанной на клочке пергамента:

*Приданое Жюли.*

Моррель провел рукой по лбу: ему казалось, что он грезит.

Часы начали бить одиннадцать.

Каждый удар отзывался в нем так, как если бы стальной молоточек стучал по его собственному сердцу.

– Постой, дитя мое, – сказал он, – объясни мне, что произошло. Где ты нашла этот кошелек?

– В доме номер пятнадцать, в Мельянских аллеях, на камине, в убогой каморке на пятом этаже.

– Но этот кошелек принадлежит не тебе! – воскликнул Моррель.

Жюли подала отцу письмо, полученное ею утром.

– И ты ходила туда одна? – спросил Моррель, прочитав письмо.

– Меня провожал Эмманюель. Он обещал подождать меня на углу Музейной улицы; но странно, когда я вышла, его уже не было.

– Господин Моррель! – раздалось на лестнице. – Господин Моррель!

– Это он! – сказала Жюли.

В ту же минуту вбежал Эмманюель, не помня себя от радости и волнения.

– «Фараон»! – крикнул он. – «Фараон»!

– Как «Фараон»? Вы не в своем уме, Эмманюель? Вы же знаете, что он погиб.

– «Фараон», господин Моррель! Отдан сигнал, «Фараон» входит в порт.

Моррель упал в кресло; силы изменили ему; ум отказывался воспринять эти невероятные, неслыханные, баснословные вести.

Но дверь отворилась, и в комнату вошел Максимилиан.

– Отец, – сказал он, – как же вы говорили, что «Фараон» затонул? Со сторожевой башни дан сигнал, что он входит в порт.

– Друзья мои, – сказал Моррель, – если это так, то это божье чудо! Но это невозможно, невозможно!

Однако то, что он держал в руках, было не менее невероятно: кошелек с погашенным векселем и сверкающим алмазом.

– Господин Моррель, – сказал явившийся в свою очередь Коклес, – что это значит? «Фараон»!

– Пойдем, друзья мои, – сказал Моррель, вставая, – пойдем посмотрим; и да сжалится над нами бог, если это ложная весть.

Они вышли и на лестнице встретили г-жу Моррель. Несчастная женщина не смела подняться наверх.

Через несколько минут они уже были на улице Каннебьер.

На пристани толпился народ.

Толпа расступилась перед Моррелем.

– «Фараон»! «Фараон»! – кричали все.

В самом деле, на глазах у толпы совершалось неслыханное чудо: против башни Св. Иоанна корабль, на корме которого белыми буквами было написано «Фараон» («Моррель и Сын», Марсель), в точности такой же, как прежний «Фараон», и так же груженный кошенилью и индиго, бросал якорь и убирал паруса. На палубе распоряжался капитан Гомар, а Пенелон делал знаки г-ну Моррелю. Сомнений больше не было: Моррель, его семья, его служащие видели это своими глазами, и то же видели глаза десяти тысяч человек.

Когда Моррель и его сын обнялись тут же на молу, под радостные клики всего города, незаметный свидетель этого чуда, с лицом, до половины закрытым черной бородой, умиленно смотревший из-за караульной будки на эту сцену, прошептал:

– Будь счастлив, благородный человек; будь благословен за все то добро, которое ты сделал и которое еще сделаешь; и пусть моя благодарность останется в тайне, как и твои благодеяния.

Со счастливой, растроганной улыбкой на устах он покинул свое убежище и, не привлекая ничьего внимания, ибо все были поглощены событием дня, спустился по одной из лесенок причала и три раза крикнул:

– Джакопо! Джакопо! Джакопо!

К нему подошла шлюпка, взяла его на борт и подвезла к богато оснащенной яхте, на которую он взобрался с легкостью моряка; отсюда он еще раз взглянул на Морреля, который со слезами радости дружески пожимал протянутые со всех сторон руки и затуманенным взором благодарил невидимого благодетеля, которого словно искал на небесах.

– А теперь, – сказал незнакомец, – прощай человеколюбие, благодарность... Прощайте все чувства, утешающие сердце!.. Я заменил провидение, вознаграждая добрых... Теперь пусть бог мщения уступит мне место, чтобы я покарал злых!

С этими словами он подал знак, и яхта, которая, видимо, только этого и дожидалась, тотчас же вышла в море.

# X. Италия. Синдбад-мореход

В начале 1838 года во Флоренции жили двое молодых людей, принадлежавших к лучшему парижскому обществу: виконт Альбер де Морсер и барон Франц д'Эпине. Они условились провести карнавал в Риме, где Франц, живший в Италии уже четвертый год, должен был служить Альберу в качестве чичероне.

Провести карнавал в Риме дело нешуточное, особенно если не хочешь ночевать под открытым небом на Пьяцца-дель-Пополо или на Кампо-Ваччино, а потому они написали маэстро Пастрини, хозяину гостиницы «Лондон» на Пьяцца-ди-Спанья, чтобы он оставил для них хороший номер.

Маэстро Пастрини ответил, что может предоставить им только две спальни и приемную al secondo piano,[17] каковые и предлагает за умеренную мзду, по луидору в день. Молодые люди выразили согласие; Альбер, чтобы не терять времени, оставшегося до карнавала, отправился в Неаполь, а Франц остался во Флоренции.

Насладившись жизнью города прославленных Медичи, нагулявшись в раю, который зовут Кашина, узнав гостеприимство могущественных вельмож, хозяев Флоренции, он, уже зная Корсику, колыбель Бонапарта, задумал посетить перепутье Наполеона – остров Эльба.

И вот однажды вечером он велел отвязать парусную лодку от железного кольца, приковывавшего ее к ливорнской пристани, лег на дно, закутавшись в плащ, и сказал матросам только три слова: «На остров Эльба». Лодка, словно морская птица, вылетающая из гнезда, вынеслась в открытое море и на другой день высадила Франца в Порто-Феррайо.

Франц пересек остров императора, идя по следам, запечатленным поступью гиганта, и в Марчане снова пустился в море.

Два часа спустя он опять сошел на берег на острове Пианоза, где, как ему обещали, его ждали тучи красных куропаток. Охота оказалась неудачной. Франц с трудом настрелял несколько тощих птиц и, как

всякий охотник, даром потративший время и силы, сел в лодку в довольно дурном расположении духа.

– Если бы ваша милость пожелала, – сказал хозяин лодки, – то можно бы неплохо поохотиться.

– Где же это?

– Видите этот остров? – продолжал хозяин, указывая на юг, на коническую громаду, встающую из темно-синего моря.

– Что это за остров? – спросил Франц.

– Остров Монте-Кристо, – отвечал хозяин.

– Но у меня нет разрешения охотиться на этом острове.

– Разрешения не требуется, остров необитаем.

– Вот так штука! – сказал Франц. – Необитаемый остров в Средиземном море! Это любопытно.

– Ничего удивительного, ваша милость. Весь остров сплошной камень, и клочка плодородной земли не сыщешь.

– А кому он принадлежит?

– Тоскане.

– Какая же там дичь?

– Пропасть диких коз.

– Которые питаются тем, что лижут камни, – сказал Франц с недоверчивой улыбкой.

– Нет, они обгладывают вереск, миртовые и мастиковые деревца, растущие в расщелинах.

– А где же я буду спать?

– В пещерах на острове или в лодке, закутавшись в плащ. Впрочем, если ваша милость пожелает, мы можем отчалить сразу после охоты; как изволите знать, мы ходим под парусом и ночью, и днем, а в случае чего можем идти и на веслах.

Так как у Франца было еще достаточно времени до назначенной встречи со своим приятелем, а пристанище в Риме было приготовлено, он принял предложение и решил вознаградить себя за неудачную охоту.

Когда он выразил согласие, матросы начали шептаться между собой.

– О чем это вы? – спросил он. – Есть препятствия?

– Никаких, – отвечал хозяин, – но мы должны предупредить вашу милость, что остров под надзором.

– Что это значит?

– А то, что Монте-Кристо необитаем и там случается укрываться контрабандистам и пиратам с Корсики, Сардинии и из Африки, и если узнают, что мы там побывали, нас в Ливорно шесть дней выдержат в карантине.

– Черт возьми! Это меняет дело. Шесть дней! Ровно столько, сколько понадобилось господу богу, чтобы сотворить мир. Это многовато, друзья мои.

– Да кто же скажет, что ваша милость были на Монте-Кристо?

– Уж, во всяком случае, не я, – воскликнул Франц.

– И не мы, – сказали матросы.

– Ну, так едем на Монте-Кристо!

Хозяин отдал команду. Взяв курс на Монте-Кристо, лодка понеслась стремглав.

Франц подождал, пока сделали поворот, и, когда уже пошли по новому направлению, когда ветер надул парус и все четыре матроса заняли свои места – трое на баке и один на руле, – он возобновил разговор.

– Любезный Гаэтано, – обратился он к хозяину барки, – вы как будто сказали мне, что остров Монте-Кристо служит убежищем для пиратов, а это дичь совсем другого сорта, чем дикие козы.

– Да, ваша милость, так оно и есть.

– Я знал, что существуют контрабандисты, но думал, что со времени взятия Алжира и падения берберийского Регентства пираты бывают только в романах Купера и капитана Марриэта.

– Ваша милость ошибается; с пиратами то же, что с разбойниками, которых папа Лев XII якобы истребил и которые тем не менее ежедневно грабят путешественников у самых застав Рима. Разве вы не слыхали, что полгода тому назад французского поверенного в делах при святейшем престоле ограбили в пятистах шагах от Веллетри?

– Я слышал об этом.

– Если бы ваша милость жили, как мы, в Ливорно, то часто слышали бы, что какое-нибудь судно с товарами или нарядная английская яхта, которую ждали в Бастии, в Порто-Феррайо или в Чивита-Веккии, пропала без вести и что она, по всей вероятности, разбилась об утес. А утес-то – просто низенькая, узкая барка, с шестью или восемью людьми, которые захватили и ограбили ее в темную бурную ночь у какого-нибудь пустынного островка, точь-в-точь как разбойники останавливают и грабят почтовую карету у лесной опушки.

– Однако, – сказал Франц, кутаясь в свой плащ, – почему ограбленные не жалуются? Почему они не призывают на этих пиратов мщения французского, или сардинского, или тосканского правительства?

– Почему? – с улыбкой спросил Гаэтано.

– Да, почему?

– А потому что прежде всего с судна или с яхты все добро переносят на барку; потом экипажу связывают руки и ноги, на шею каждому привязывают двадцатичетырехфунтовое ядро, в киле захваченного судна пробивают дыру величиной с бочонок, возвращаются на палубу, закрывают все люки и переходят на барку. Через десять минут судно начинает всхлипывать, стонать и мало-помалу погружается в воду, сначала одним боком, потом другим. Оно поднимается, потом снова опускается и все глубже и глубже погружается в воду. Вдруг раздается как бы пушечный выстрел – это воздух разбивает палубу. Судно бьется, как утопающий, слабея с каждым движением. Вскорости вода, не находящая себе выхода в переборках судна, вырывается из отверстий, словно какой-нибудь гигантский кашалот пускает из ноздрей водяной фонтан. Наконец, судно испускает предсмертный хрип, еще раз переворачивается и окончательно погружается в пучину, образуя огромную воронку; вначале еще видны круги, потом поверхность выравнивается, и все исчезает; минут пять спустя только божие око может найти на дне моря исчезнувшее судно.

– Теперь вы понимаете, – прибавил хозяин с улыбкой, – почему судно не возвращается в порт и почему экипаж не подает жалобы.

Если бы Гаэтано рассказал все это прежде, чем предложить поохотиться на Монте-Кристо, Франц, вероятно, еще подумал бы, стоит ли пускаться на такую прогулку; но они уже были в пути, и он решил, что идти на попятный значило бы проявить трусость. Это был один из тех людей, которые сами не ищут опасности, но если столкнутся с нею, то смотрят ей в глаза с невозмутимым хладнокровием; это был один из тех людей с твердой волей, для которых опасность не что иное, как противник на дуэли: они предугадывают его движения, измеряют его силы, медлят ровно столько, сколько нужно, чтобы отдышаться и вместе с тем не показаться трусом, и, умея одним взглядом оценить все свои преимущества, убивают с одного удара.

– Я проехал всю Сицилию и Калабрию, – сказал он, – дважды плавал по архипелагу и ни разу не встречал даже тени разбойника или пирата.

– Да я не затем рассказал все это вашей милости, – отвечал Гаэтано, – чтобы вас отговорить, вы изволили спросить меня, и я ответил, только и всего.

– Верно, милейший Гаэтано, и разговор с вами меня очень занимает; мне хочется еще послушать вас, а потому едем на Монте-Кристо.

Между тем они быстро подвигались к цели своего путешествия; ветер был свежий, и лодка шла со скоростью шести или семи миль в час. По мере того как она приближалась к острову, он, казалось, вырастал из моря; в сиянии заката четко вырисовывались, словно ядра в арсенале, нагроможденные друг на друга камни, а в расщелинах утесов краснел вереск и зеленели деревья. Матросы, хотя и не выказывали тревоги, явно были настороже и зорко присматривались к зеркальной глади, по которой они скользили, и озирали горизонт, где мелькали лишь белые паруса рыбачьих лодок, похожие на чаек, качающихся на гребнях волн.

До Монте-Кристо оставалось не больше пятнадцати миль, когда солнце начало спускаться за Корсику, горы которой высились справа, вздымая к небу свои мрачные зубцы; эта каменная громада, подобная гиганту Адамастору, угрожающе вырастала перед лодкой, постепенно заслоняя солнце; мало-помалу сумерки подымались над морем, гоня перед собой прозрачный свет угасающего дня; последние лучи,

достигнув вершины скалистого конуса, задержались на мгновение и вспыхнули, как огненный плюмаж вулкана. Наконец тьма, поднимаясь все выше, поглотила вершину, как прежде поглотила подножие, и остров обратился в быстро чернеющую серую глыбу. Полчаса спустя наступила непроглядная тьма.

К счастью, гребцам этот путь был знаком, они вдоль и поперек знали тосканский архипелаг; иначе Франц не без тревоги взирал бы на глубокий мрак, обволакивающий лодку. Корсика исчезла; даже остров Монте-Кристо стал незрим, но матросы видели в темноте, как рыси, и кормчий, сидевший у руля, вел лодку уверенно и твердо.

Прошло около часа после захода солнца, как вдруг Франц заметил налево, на расстоянии четверти мили, какую-то темную груду; но очертания ее были так неясны, что он побоялся насмешить матросов, приняв облако за твердую землю, и предпочел хранить молчание. Вдруг на берегу показался яркий свет; земля могла походить на облако, но огонь несомненно не был метеором.

– Что это за огонь? – спросил Франц.

– Тише! – прошептал хозяин лодки. – Это костер.

– А вы говорили, что остров необитаем!

– Я говорил, что на нем нет постоянных жителей, но я вам сказал, что он служит убежищем для контрабандистов.

– И для пиратов!

– И для пиратов, – повторил Гаэтано, – поэтому я и велел проехать мимо: как видите, костер позади нас.

– Но мне кажется, – сказал Франц, – что костер скорее должен успокоить нас, чем вселить тревогу; если бы люди боялись, что их увидят, то они не развели бы костер.

– Это ничего не значит, – сказал Гаэтано. – Вы в темноте не можете разглядеть положение острова, а то бы вы заметили, что костер нельзя увидеть ни с берега, ни с Пианозы, а только с открытого моря.

– Так, по-вашему, этот костер предвещает нам дурное общество?

– А вот мы узнаем, – отвечал Гаэтано, не спуская глаз с этого земного светила.

– А как вы это узнаете?

– Сейчас увидите.

Гаэтано начал шептаться со своими товарищами, и после пятиминутного совещания лодка бесшумно легла на другой галс и снова пошла в обратном направлении; спустя несколько секунд огонь исчез, скрытый какой-то возвышенностью.

Тогда кормчий повернул руль, и маленькое суденышко заметно приблизилось к острову; вскоре оно очутилось от него в каких-нибудь пятидесяти шагах.

Гаэтано спустил парус, и лодка остановилась. Все это было проделано в полном молчании; впрочем, с той минуты, как лодка повернула, никто не проронил ни слова.

Гаэтано, предложивший эту прогулку, взял всю ответственность на себя. Четверо матросов не сводили с него глаз, держа наготове весла, чтобы в случае чего приналечь и скрыться, воспользовавшись темнотой.

Что касается Франца, то он с известным нам уже хладнокровием осматривал свое оружие; у него были два двуствольных ружья и карабин; он зарядил их, проверил курки и стал ждать.

Тем временем Гаэтано скинул бушлат и рубашку, стянул потуже шаровары, а так как он был босиком, то разуваться ему не пришлось. В таком наряде, или, вернее, без оного, он бросился в воду, предварительно приложив палец к губам, и поплыл к берегу так осторожно, что не было слышно ни малейшего всплеска. Только по светящейся полосе, остававшейся за ним на воде, можно было следить за ним. Скоро и полоса исчезла. Очевидно, Гаэтано доплыл до берега.

Целых полчаса никто на лодке не шевелился; потом от берега протянулась та же светящаяся полоса и стала приближаться. Через минуту, плывя саженками, Гаэтано достиг лодки.

– Ну что? – спросили в один голос Франц и матросы.

– А то, что это испанские контрабандисты; с ними только двое корсиканских разбойников.

– А как эти корсиканские разбойники очутились с испанскими контрабандистами?

– Эх, ваша милость, – сказал Гаэтано тоном истинно христианского милосердия, – надо же помогать друг другу! Разбойникам иногда плохо приходится на суше от жандармов и карабинеров; ну, они и находят на берегу лодку, а в лодке – добрых людей вроде нас. Они просят приюта в наших плавучих домах. Можно ли отказать в помощи бедняге, которого преследуют? Мы его принимаем и для пущей верности выходим в море. Это нам ничего не стоит, а ближнему сохраняет жизнь или, во всяком случае, свободу; когда-нибудь он отплатит нам за услугу, укажет укромное местечко, где можно выгрузить товары в сторонке от любопытных глаз.

– Вот как, друг Гаэтано! – сказал Франц. – Так и вы занимаетесь контрабандой?

– Что поделаешь, ваша милость? – сказал Гаэтано с не поддающейся описанию улыбкой. – Занимаешься всем понемножку; надо же чем-нибудь жить.

– Так эти люди на Монте-Кристо для вас не чужие?

– Пожалуй, что так; мы, моряки, что масоны, – узнаем друг друга по знакам.

– И вы думаете, что мы можем спокойно сойти на берег?

– Уверен; контрабандисты не воры.

– А корсиканские разбойники? – спросил Франц, заранее предусматривая все возможные опасности.

– Не по своей вине они стали разбойниками, – сказал Гаэтано, – в этом виноваты власти.

– Почему?

– А то как же? Их ловят за какое-нибудь мокрое дело, только и всего; как будто корсиканец может не мстить.

– Что вы разумеете под мокрым делом? Убить человека? – спросил Франц.

– Уничтожить врага, – отвечал хозяин, – это совсем другое дело.

– Ну что же, – сказал Франц. – Пойдем просить гостеприимства у контрабандистов и разбойников. А примут они нас?

– Разумеется.

– Сколько их?

– Четверо, ваша милость, и два разбойника; всего шестеро.

– И нас столько же. Если бы эти господа оказались плохо настроены, то силы у нас равные, и, значит, мы можем с ними справиться. Итак, вопрос решен, едем на Монте-Кристо.

– Хорошо, ваша милость, но вы разрешите нам принять еще кое-какие меры предосторожности?

– Разумеется, дорогой мой! Будьте мудры, как Нестор, и хитроумны, как Улисс. Я не только разрешаю вам, я вас об этом очень прошу.

– Хорошо. В таком случае молчание! – сказал Гаэтано.

Все смолкли.

Для человека, как Франц, всегда трезво смотрящего на вещи, положение представлялось если и не опасным, то, во всяком случае, довольно рискованным. Он находился в открытом море, в полной тьме, с незнакомыми моряками, которые не имели никаких причин быть ему преданными, отлично знали, что у него в поясе несколько тысяч франков, и раз десять, если не с завистью, то с любопытством, принимались разглядывать его превосходное оружие. Мало того: в сопровождении этих людей он причаливал к острову, который обладал весьма благочестивым названием, но ввиду присутствия контрабандистов и разбойников не обещал ему иного гостеприимства, чем то, которое ждало Христа на Голгофе; к тому же рассказ о потопленных судах, днем показавшийся ему преувеличенным, теперь, ночью, казался более правдоподобным. Находясь, таким образом, в двойной опасности, быть может и воображаемой, он пристально следил за матросами и не выпускал ружья из рук.

Между тем моряки снова поставили паруса и пошли по пути, уже дважды ими проделанному. Франц, успевший несколько привыкнуть к темноте, различал во мраке гранитную громаду, вдоль которой неслышно шла лодка; наконец, когда лодка обогнула угол какого-то утеса, он увидел костер, горевший еще ярче, чем раньше, и нескольких человек, сидевших вокруг него.

Отблеск огня стлался шагов на сто по морю. Гаэтано прошел мимо освещенного пространства, стараясь все же, чтобы лодка не попала в полосу света; потом, когда она очутилась как раз напротив костра, он повернул ее прямо на огонь и смело вошел в освещенный круг, затянув рыбачью песню, припев которой хором подхватили матросы.

При первом звуке песни люди, сидевшие у костра, встали, подошли к причалу и начали всматриваться в лодку, по-видимому, стараясь распознать ее размеры и угадать ее намерения. Вскоре они, очевидно, удовлетворились осмотром, и все, за исключением одного, оставшегося на берегу, вернулись к костру, на котором жарился целый козленок.

Когда лодка подошла к берегу на расстояние двадцати шагов, человек, стоявший на берегу, вскинул ружье, как часовой при встрече с патрулем, и крикнул на сардском наречии:

– Кто идет?

Франц хладнокровно взвел оба курка.

Гаэтано обменялся с человеком несколькими словами, из которых Франц ничего не понял, хотя речь, по-видимому, шла о нем.

– Вашей милости угодно назвать себя или вы желаете скрыть свое имя? – спросил Гаэтано.

– Мое имя никому ничего не скажет, – отвечал Франц. – Объясните им просто, что я француз и путешествую для своего удовольствия.

Когда Гаэтано передал его ответ, часовой отдал какое-то приказание одному из сидевших у костра, и тот немедленно встал и исчез между утесами.

Все молчали. Каждый, по-видимому, интересовался только своим делом; Франц – высадкой на остров, матросы – парусами, контрабандисты – козленком; но при этой наружной беспечности все исподтишка наблюдали друг за другом.

Ушедший вернулся, но со стороны, противоположной той, в которую он ушел; он кивнул часовому, тот обернулся к лодке и произнес одно слово:

– S’accomodi.

Итальянское s’accomodi непереводимо. Оно означает в одно и то же время: «Пожалуйте, войдите, милости просим, будьте, как дома, вы здесь хозяин». Это похоже на турецкую фразу Мольера, которая так сильно удивляла мещанина во дворянстве множеством содержащихся в ней понятий.

Матросы не заставили просить себя дважды; в четыре взмаха весел лодка коснулась берега. Гаэтано соскочил на землю, обменялся вполголоса еще несколькими словами с часовым; матросы сошли один за другим; наконец, пришел черед Франца.

Одно свое ружье он повесил через плечо, другое было у Гаэтано; матрос нес карабин. Одет он был с изысканностью щеголя, смешанной с небрежностью художника, что не возбудило в хозяевах никаких подозрений, а стало быть и опасений.

Лодку привязали к берегу и пошли на поиски удобного бивака; но, по-видимому, взятое ими направление не понравилось контрабандисту, наблюдавшему за высадкой, потому что он крикнул Гаэтано:

– Нет, не туда!

Гаэтано пробормотал извинение и, не споря, пошел в противоположную сторону; между тем два матроса зажгли факелы от пламени костра.

Пройдя шагов тридцать, они остановились на площадке, вокруг которой в скалах было вырублено нечто вроде сидений, напоминающих будочки, где можно было караулить сидя. Кругом на узких полосах плодородной земли росли карликовые дубы и густые заросли миртов. Франц опустил факел и, увидев кучки золы, понял, что не он первый оценил удобство этого места и что оно, по-видимому, служило обычным пристанищем для кочующих посетителей острова Монте-Кристо.

Каких-либо необычайных событий он уже не ожидал; как только он ступил на берег и убедился если не в дружеском, то, во всяком случае, равнодушном настроении своих хозяев, его беспокойство рассеялось, и запах козленка, жарившегося на костре, напомнил ему о том, что он голоден.

Он сказал об этом Гаэтано, и тот ответил, что ужин – это самое простое дело, ибо в лодке у них есть хлеб, вино, шесть куропаток, а огонь под рукою.

– Впрочем, – прибавил он, – если вашей милости так понравился запах козленка, то я могу предложить нашим соседям двух куропаток в обмен на кусок жаркого.

– Отлично, Гаэтано, отлично, – сказал Франц, – у вас поистине природный талант вести переговоры.

Тем временем матросы нарвали вереска, наломали зеленых миртовых и дубовых веток и развели довольно внушительный костер.

Франц, впивая запах козленка, с нетерпением ждал возвращения Гаэтано, но тот подошел к нему с весьма озабоченным видом.

– Какие вести? – спросил он. – Они не согласны?

– Напротив, – отвечал Гаэтано. – Атаман, узнав, что вы француз, приглашает вас отужинать с ним.

– Он весьма любезен, – сказал Франц, – и я не вижу причин отказываться, тем более что я вношу свою долю ужина.

– Не в том дело: у него есть чем поужинать, и даже больше чем достаточно, но он может принять вас у себя только при одном очень странном условии.

– Принять у себя? – повторил молодой человек. – Так он выстроил себе дом?

– Нет, но у него есть очень удобное жилье, по крайней мере так уверяют.

– Так вы знаете этого атамана?

– Слыхал о нем.

– Хорошее или дурное?

– И то и се.

– Черт возьми! А какое условие?

– Дать себе завязать глаза и снять повязку, только когда он сам скажет.

Франц старался прочесть по глазам Гаэтано, что кроется за этим предложением.

– Да, да, – отвечал тот, угадывая мысли Франца, – я и сам понимаю, что тут надо поразмыслить.

– А вы как поступили бы на моем месте?

– Мне-то нечего терять; я бы пошел.

– Вы приняли бы приглашение?

– Да, хотя бы только из любопытства.

– У него можно увидеть что-нибудь любопытное?

– Послушайте, – сказал Гаэтано, понижая голос, – не знаю только, правду ли говорят...

Он посмотрел по сторонам, не подслушивает ли кто.

– А что говорят?

– Говорят, что он живет в подземелье, рядом с которым дворец Питти ничего не стоит.

– Вы грезите? – сказал Франц, садясь.

– Нет, не грежу, – настаивал Гаэтано, – это сущая правда. Кама, рулевой «Святого Фердинанда», был там однажды и вышел оттуда совсем оторопелый; он говорит, что такие сокровища бывают только в сказках.

– Вот как! Да знаете ли вы, что такими словами вы заставите меня спуститься в пещеру Али-Бабы?

– Я повторяю вашей милости только то, что сам слышал.

– Так вы советуете мне согласиться?

– Этого я не говорю. Как вашей милости будет угодно. Не смею советовать в подобном случае.

Франц подумал немного, рассудил, что такой богач не станет гнаться за его несколькими тысячами франков, и, видя за всем этим только превосходный ужин, решил идти. Гаэтано пошел передать его ответ.

Но, как мы уже сказали, Франц был предусмотрителен, а потому хотел узнать как можно больше подробностей о своем странном и таинственном хозяине. Он обернулся к матросу, который во время его разговора с Гаэтано ощипывал куропаток с важным видом человека, гордящегося своими обязанностями, и спросил его, на чем прибыли эти люди, когда нигде не видно ни лодки, не сперонары, ни тартаны.

– Это меня не смущает, – отвечал матрос. – Я знаю их судно.

– И хорошее судно?

– Желаю такого же вашей милости, чтобы объехать кругом света.

– А оно большое?

– Да тонн на сто. Впрочем, это судно на любителя, яхта, как говорят англичане, но такая прочная, что выдержит любую непогоду.

– А где оно построено?

– Не знаю; должно быть, в Генуе.

– Каким же образом, – продолжал Франц, – атаман контрабандистов не боится заказывать себе яхту в генуэзском порту?

– Я не говорил, что хозяин яхты контрабандист, – отвечал матрос.

– Но Гаэтано как будто говорил.

– Гаэтано видел экипаж издали и ни с кем из них не разговаривал.

– Но если этот человек не атаман контрабандистов, то кто же он?

– Богатый вельможа и путешествует для своего удовольствия.

«Личность, по-видимому, весьма таинственная, – подумал Франц, – раз суждения о ней столь разноречивы».

– А как его зовут?

– Когда его об этом спрашивают, он отвечает, что его зовут Синдбад-мореход. Но мне сомнительно, чтобы это было его настоящее имя.

– Синдбад-мореход?

– Да.

– А где живет этот вельможа?

– На море.

– Откуда он?

– Не знаю.

– Видали вы его когда-нибудь?

– Случалось.

– Каков он собой?

– Ваша милость, сами увидите.

– А где он меня примет?

– Надо думать, в том самом подземном дворце, о котором говорил вам Гаэтано.

– И вы никогда не пытались проникнуть в этот заколдованный замок?

– Еще бы, ваша милость, – отвечал матрос, – и даже не раз; но все было напрасно; мы обыскали всю пещеру и нигде не нашли даже самого узенького хода. К тому же, говорят, дверь отпирается не ключом, а волшебным словом.

– Положительно, – прошептал Франц, – я попал в сказку из «Тысячи и одной ночи».

– Его милость ждет вас, – произнес за его спиной голос, в котором он узнал голос часового.

Его сопровождали два матроса из экипажа яхты.

Франц вместо ответа вынул из кармана носовой платок и подал его часовому.

Ему молча завязали глаза и весьма тщательно – они явно опасались какого-нибудь обмана с его стороны; после этого ему предложили поклясться, что он ни в коем случае не будет пытаться снять повязку.

Франц поклялся.

Тогда матросы взяли его под руки и повели, а часовой пошел вперед.

Шагов через тридцать, по соблазнительному запаху козленка, он догадался, что его ведут мимо бивака, потом его провели еще шагов пятьдесят, по-видимому, в том направлении, в котором Гаэтано запретили идти; теперь этот запрет стал ему понятен. Вскоре, по изменившемуся воздуху, Франц понял, что вошел в подземелье. После нескольких секунд ходьбы он услышал легкий треск, и на него повеяло благоухающим теплом; наконец, он почувствовал, что ноги его ступают по пышному мягкому ковру; проводники выпустили его руки. Настала тишина, и чей-то голос произнес на безукоризненном французском языке, хоть и с иностранным выговором:

– Милости прошу, теперь вы можете снять повязку.

Разумеется, Франц не заставил просить себя дважды; он снял платок и увидел перед собой человека лет сорока, в тунисском костюме, то есть в красной шапочке с голубой шелковой кисточкой, в черной суконной, сплошь расшитой золотом куртке, в широких ярко-красных шароварах, такого же цвета гетрах, расшитых, как и куртка, золотом, и в желтых

туфлях; поясом ему служила богатая кашемировая шаль, за которую был заткнут маленький кривой кинжал.

Несмотря на мертвенную бледность, лицо его поражало красотой; глаза были живые и пронзительные; прямая линия носа, почти сливающаяся со лбом, напоминала о чистоте греческого типа; а зубы, белые, как жемчуг, в обрамлении черных, как смоль, усов, ослепительно сверкали.

Но бледность этого лица была неестественна; словно этот человек долгие годы провел в могиле, и краски жизни уже не могли вернуться к нему.

Он был не очень высок ростом, но хорошо сложен, и, как у всех южан, руки и ноги у него были маленькие.

Но что больше всего поразило Франца, принявшего рассказ Гаэтано за басню, так это роскошь обстановки.

Вся комната была обтянута алым турецким шелком, затканным золотыми цветами. В углублении стоял широкий диван, над которым было развешано арабское оружие в золотых ножнах, с рукоятями, усыпанными драгоценными камнями: с потолка спускалась изящная лампа венецианского стекла, а ноги утопали по щиколотку в турецком ковре; дверь, через которую вошел Франц, закрывали занавеси, так же как и вторую дверь, которая вела в соседнюю комнату, по-видимому, ярко освещенную.

Хозяин не мешал Францу дивиться, но сам отвечал осмотром на осмотр и не спускал с него глаз.

– Милостивый государь, – сказал он наконец, – прошу простить меня за предосторожности, с которыми вас ввели ко мне; но этот остров по большей части безлюден, и, если бы кто-нибудь проник в тайну моего обиталища, я, по всей вероятности, при возвращении нашел бы мое жилье в довольно плачевном состоянии, а это было бы мне чрезвычайно досадно не потому, что я горевал бы о понесенном уроне, а потому, что лишился бы возможности по своему желанию предаваться уединению. А теперь я постараюсь загладить эту маленькую неприятность, предложив

вам то, что вы едва ли рассчитывали здесь найти, – сносный ужин и удобную постель.

– Помилуйте, – сказал Франц, – к чему извинения? Всем известно, что людям, переступающим порог волшебных замков, завязывают глаза; вспомните Рауля в «Гугенотах»; и, право, я не могу пожаловаться: все, что вы мне показываете, поистине стоит чудес «Тысячи и одной ночи».

– Увы! Я скажу вам, как Лукулл: если бы я знал, что вы сделаете мне честь посетить меня, я приготовился бы к этому. Но как ни скромен мой приют, он в вашем распоряжении; как ни плох мой ужин, я вас прошу его отведать. Али, кушать подано?

В тот же миг занавеси на дверях раздвинулись, и нубиец, черный, как эбеновое дерево, одетый в строгую белую тунику, знаком пригласил хозяина в столовую.

– Не знаю, согласитесь ли вы со мной, – сказал незнакомец Францу, – но для меня нет ничего несноснее, как часами сидеть за столом друг против друга и не знать, как величать своего собеседника. Прошу заметить, что, уважая права гостеприимства, я не спрашиваю вас ни о вашем имени, ни о звании, я только хотел бы знать, как вам угодно, чтобы я к вам обращался. Чтобы со своей стороны не стеснять вас, я вам скажу, что меня обыкновенно называют Синдбад-мореход.

– А мне, – отвечал Франц, – чтобы быть в положении Аладдина, не хватает только его знаменитой лампы, и потому я не вижу никаких препятствий к тому, чтобы называться сегодня Аладдином. Таким образом мы останемся в царстве Востока, куда, по-видимому, меня перенесли чары какого-то доброго духа.

– Итак, любезный Аладдин, – сказал таинственный хозяин, – вы слышали, что ужин подан. Поэтому прошу вас пройти в столовую; ваш покорнейший слуга пойдет вперед, чтобы показать вам дорогу.

И Синдбад, приподняв занавес, пошел впереди своего гостя.

Восхищение Франца все росло: ужин был сервирован с изысканной роскошью. Убедившись в этом важном обстоятельстве, он начал осматриваться. Столовая была не менее великолепна, чем гостиная, которую он только что покинул; она была вся из мрамора, с ценнейшими

античными барельефами; в обоих концах продолговатой залы стояли прекрасные статуи с корзинами на головах. В корзинах пирамидами лежали самые редкостные плоды: сицилийские ананасы, малагские гранаты, балеарские апельсины, французские персики и тунисские финики.

Ужин состоял из жареного фазана, окруженного корсиканскими дроздами, заливного кабаньего окорока, жареного козленка под соусом тартар, великолепного тюрбо и гигантского лангуста. Между большими блюдами стояли тарелки с закусками. Блюда были серебряные, тарелки из японского фарфора.

Франц протирал глаза – ему казалось, что все это сон. Али прислуживал один и отлично справлялся со своими обязанностями. Гость с похвалой отозвался о нем.

– Да, – отвечал хозяин, со светской непринужденностью угощая Франца, – бедняга мне очень предан и очень старателен. Он помнит, что я спас ему жизнь, а так как он, по-видимому, дорожил своей головой, то он благодарен мне за то, что я ее сохранил ему.

Али подошел к своему хозяину, взял его руку и поцеловал.

– Не будет ли нескромностью с моей стороны, – сказал Франц, – если я спрошу, при каких обстоятельствах вы совершили это доброе дело?

– Это очень просто, – отвечал хозяин. – По-видимому, этот плут прогуливался около сераля тунисского бея ближе, чем это позволительно чернокожему; ввиду чего бей приказал отрезать ему язык, руку и голову: в первый день – язык, во второй – руку, а в третий – голову. Мне всегда хотелось иметь немого слугу; я подождал, пока ему отрезали язык, и предложил бею променять его на чудесное двуствольное ружье, которое накануне, как мне показалось, очень понравилось его высочеству. Он колебался: так хотелось ему покончить с этим несчастным. Но я прибавил к ружью английский охотничий нож, которым я перерубил ятаган его высочества; тогда бей согласился оставить бедняге руку и голову, но с тем условием, чтобы его ноги больше не было в Тунисе. Напутствие было излишне. Чуть только этот басурман издали увидит берега Африки, как он тотчас же забирается в самую глубину трюма, и

его не выманить оттуда до тех пор, пока третья часть света не скроется из виду.

Франц задумался, не зная, как истолковать жестокое добродушие, с которым хозяин рассказал ему это происшествие.

– Значит, подобно благородному моряку, имя которого вы носите, – сказал он, чтобы переменить разговор, – вы проводите жизнь в путешествиях?

– Да. Это обет, который я дал в те времена, когда отнюдь не думал, что буду когда-нибудь иметь возможность выполнить его, – отвечал, улыбаясь, незнакомец. – Я дал еще несколько обетов и надеюсь в свое время выполнить их тоже.

Хотя Синдбад произнес эти слова с величайшим хладнокровием, в его глазах мелькнуло выражение жестокой ненависти.

– Вы, должно быть, много страдали? – спросил Франц.

Синдбад вздрогнул и пристально посмотрел на него.

– Что вас навело на такую мысль? – спросил он.

– Все, – отвечал Франц, – ваш голос, взгляд, ваша бледность, самая жизнь, которую вы ведете.

– Я? Я веду самую счастливую жизнь, какая только может быть на земле, – жизнь паши. Я владыка мира; если мне понравится какое-нибудь место, я там остаюсь; если соскучусь, уезжаю; я свободен, как птица; у меня крылья, как у нее; люди, которые меня окружают, повинуются мне по первому знаку. Иногда я развлекаюсь тем, что издеваюсь над людским правосудием, похищая у него разбойника, которого оно ищет, или преступника, которого оно преследует. А кроме того, у меня есть собственное правосудие, всех инстанций, без отсрочек и апелляций, которое осуждает и оправдывает и в которое никто не вмешивается. Если бы вы вкусили моей жизни, то не захотели бы иной и никогда не возвратились бы в мир, разве только ради какого-нибудь сокровенного замысла.

– Мщения, например! – сказал Франц.

Незнакомец бросил на Франца один из тех взглядов, которые проникают до самого дна ума и сердца.

– Почему именно мщения? – спросил он.

– Потому что, – возразил Франц, – вы кажетесь мне человеком, который подвергается гонению общества и готовится свести с ним какие-то страшные счеты.

– Ошибаетесь, – сказал Синдбад и рассмеялся своим странным смехом, обнажавшим острые белые зубы, – я своего рода филантроп и, может быть, когда-нибудь отправлюсь в Париж и вступлю в соперничество с господином Аппером и с Человеком в синем плаще.[18]

– И это будет ваше первое путешествие в Париж?

– Увы, да! Я не слишком любопытен, не правда ли? Но уверяю вас, не я тому виной; время для этого еще придет.

– И скоро вы думаете быть в Париже?

– Сам не знаю, все зависит от стечения обстоятельств.

– Я хотел бы там быть в одно время с вами и постараться, насколько это будет в моих силах, отплатить вам за гостеприимство, которое вы так широко оказываете мне на Монте-Кристо.

– Я с величайшим удовольствием принял бы ваше приглашение, – отвечал хозяин, – но, к сожалению, если я поеду в Париж, то, вероятно, инкогнито.

Между тем ужин продолжался; впрочем, он, казалось, был подан только для Франца, ибо незнакомец едва притронулся к роскошному пиршеству, которое он устроил для нежданного гостя и которому тот усердно отдавал должное.

Наконец Али принес десерт, или, вернее, снял корзины со статуй и поставил на стол.

Между корзинами он поставил небольшую золоченую чашу с крышкой.

Почтение, с которым Али принес эту чашу, возбудило во Франце любопытство. Он поднял крышку и увидел зеленоватое тесто, по виду напоминавшее шербет, но совершенно ему неизвестное.

Он в недоумении снова закрыл чашу и, взглянув на хозяина, увидел, что тот насмешливо улыбается.

– Вы не можете догадаться, что в этой чаше, и вас разбирает любопытство?

– Да, признаюсь.

– Этот зеленый шербет – не что иное, как амброзия, которую Геба подавала на стол Юпитеру.

– Но эта амброзия, – сказал Франц, – побывав в руках людей, вероятно, променяла свое небесное название на земное? Как называется это снадобье, к которому, впрочем, я не чувствую особенного влечения, на человеческом языке?

– Вот неопровержимое доказательство нашего материализма! – воскликнул Синдбад. – Как часто проходим мы мимо нашего счастья, не замечая его, не взглянув на него; а если и взглянем, то не узнаем его. Если вы человек положительный и ваш кумир – золото, вкусите этого шербета, и перед вами откроются россыпи Перу, Гузерата и Голконды; если вы человек воображения, поэт, – вкусите его, и границы возможного исчезнут: беспредельные дали откроются перед вами, вы будете блуждать, свободный сердцем, свободный душою, в бесконечных просторах мечты. Если вы честолюбивы, гонитесь за земным величием – вкусите его, и через час вы будете властелином – не маленькой страны в уголке Европы, как Англия, Франция или Испания, а властелином земли, властелином мира, властелином Вселенной. Трон ваш будет стоять на той горе, на которую сатана возвел Иисуса и, не поклоняясь ему, не лобызая его когтей, вы будете верховным повелителем всех земных царств. Согласитесь, что это соблазнительно, тем более что для этого достаточно… Посмотрите.

С этими словами он поднял крышку маленькой золоченой чаши, взял кофейной ложечкой кусочек волшебного шербета, поднес его ко рту и медленно проглотил, полузакрыв глаза и закинув голову.

Франц не мешал своему хозяину наслаждаться любимым лакомством; когда тот немного пришел в себя, он спросил:

– Но что же это за волшебное кушанье?

– Слыхали вы о Горном Старце,[19] – спросил хозяин, – о том самом, который хотел убить Филиппа Августа?

– Разумеется.

– Вам известно, что он владел роскошной долиной у подножия горы, которой он обязан своим поэтическим прозвищем. В этой долине раскинулись великолепные сады, насажденные Хасаном-ибн-Сабба, а в садах были уединенные беседки. В эти беседки он приглашал избранных и угощал их, по словам Марко Поло, некоей травой, которая переносила их в эдем, где их ждали вечно цветущие растения, вечно спелые плоды, вечно юные девы. То, что эти счастливые юноши принимали за действительность, была мечта, но мечта такая сладостная, такая упоительная, такая страстная, что они продавали за нее душу и тело тому, кто ее дарил им, повиновались ему, как богу, шли на край света убивать указанную им жертву и безропотно умирали мучительной смертью в надежде, что это лишь переход к той блаженной жизни, которую им сулила священная трава.

– Так это гашиш! – воскликнул Франц. – Я слыхал о нем.

– Вот именно, любезный Аладдин, это гашиш, самый лучший, самый чистый александрийский гашиш, от Абугора, несравненного мастера, великого человека, которому следовало бы выстроить дворец с надписью: «Продавцу счастья – благодарное человечество».

– А знаете, – сказал Франц, – мне хочется самому убедиться в справедливости ваших похвал.

– Судите сами, дорогой гость, судите сами; но не останавливайтесь на первом опыте. Чувства надо приучать ко всякому новому впечатлению, нежному или острому, печальному или радостному. Природа борется против этой божественной травы, ибо она не создана для радости и цепляется за страдания. Нужно, чтобы побежденная природа пала в этой борьбе, нужно, чтобы действительность последовала за мечтой: и тогда мечта берет верх, мечта становится жизнью, а жизнь – мечтою. Но сколь различны эти превращения! Сравнив горести подлинной жизни с наслаждениями жизни воображаемой, вы отвернетесь от жизни и предадитесь вечной мечте. Когда вы покинете ваш собственный мир для мира других, вам покажется, что вы сменили неаполитанскую весну на лапландскую зиму. Вам покажется, что вы спустились из рая на землю, с неба в ад. Отведайте гашиша, дорогой гость, отведайте.

Вместо ответа Франц взял ложку, набрал чудесного шербета столько же, сколько взял сам хозяин, и поднес ко рту.

– Черт возьми! – сказал он, проглотив божественное снадобье. – Не знаю, насколько приятны будут последствия, но это вовсе не так вкусно, как вы уверяете.

– Потому что ваше нёбо еще не приноровилось к необыкновенному вкусу этого вещества. Скажите, разве вам с первого раза понравились устрицы, чай, портер, трюфели, все то, к чему вы после пристрастились? Разве вы понимаете римлян, которые приправляли фазанов ассой-фетидой, и китайцев, которые едят ласточкины гнезда? Разумеется, нет. То же и с гашишем. Потерпите неделю, и ничто другое в мире не сравнится для вас с ним, каким бы безвкусным и пресным он ни казался вам сегодня. Впрочем, перейдем в другую комнату, в вашу. Али подаст нам трубки и кофе.

Они встали, и пока тот, кто назвал себя Синдбадом и кого мы тоже время от времени наделяли этим именем, чтобы как-нибудь называть его, отдавал распоряжения слуге, Франц вошел в соседнюю комнату.

Убранство ее было проще, но не менее богато. Она была совершенно круглая, и ее всю опоясывал огромный диван. Но диван, стены, потолок и пол были покрыты драгоценными мехами, мягкими и нежными, как самый пушистый ковер; то были шкуры африканских львов с величественными гривами, полосатых бенгальских тигров, шкуры капских пантер, в ярких пятнах, подобно той, которую увидел Данте, шкуры сибирских медведей и норвежских лисиц – они были положены одна на другую, так что казалось, будто ступаешь по густой траве или покоишься на пуховой постели.

Гость и хозяин легли на диван; чубуки жасминового дерева с янтарными мундштуками были у них под рукой, уже набитые табаком, чтобы не набивать два раза один и тот же. Они взяли по трубке. Али подал огня и ушел за кофе.

Наступило молчание; Синдбад погрузился в думы, которые, казалось, не покидали его даже во время беседы, а Франц предался молчаливым грезам, что всегда посещают курильщика хорошего табака, вместе с

дымом которого отлетают все скорбные мысли и душа населяется волшебными снами.

Али принес кофе.

– Как вы предпочитаете, – спросил незнакомец, – по-французски или по-турецки, крепкий или слабый, с сахаром или без сахара, настоявшийся или кипяченый? Выбирайте: имеется любой.

– Я буду пить по-турецки, – отвечал Франц.

– И вы совершенно правы, – сказал хозяин, – это показывает, что у вас есть склонность к восточной жизни. Ах! Только на Востоке умеют жить. Что касается меня, – прибавил он со странной улыбкой, которая не укрылась от Франца, – когда я покончу со своими делами в Париже, я поеду доживать свой век на Восток; и если вам угодно будет навестить меня, то вам придется искать меня в Каире, в Багдаде или в Исфагане.

– Это будет совсем нетрудно, – сказал Франц, – потому что мне кажется, будто у меня растут орлиные крылья и на них я облечу весь мир в одни сутки.

– Ага! Это действует гашиш! Так расправьте же свои крылья и уноситесь в надземные пространства: не бойтесь, вас охраняют, и если ваши крылья, как крылья Икара, растают от жгучего солнца, мы примем вас в наши объятия.

Он сказал Али несколько слов по-арабски, тот поклонился и вышел.

Франц чувствовал, что с ним происходит странное превращение. Вся усталость, накопившаяся за день, вся тревога, вызванная событиями вечера, улетучивались, как в ту первую минуту отдыха, когда еще настолько бодрствуешь, что чувствуешь приближение сна. Его тело приобрело бесплотную легкость, мысли невыразимо просветлели, чувства вдвойне обострились. Горизонт его все расширялся, но не тот мрачный горизонт, который он видел наяву и в котором чувствовал какую-то смутную угрозу, а голубой, прозрачный необозримый, в лазури моря, в блеске солнца, в благоухании ветра. Потом, под звуки песен своих матросов, звуки столь чистые и прозрачные, что они составили бы божественную мелодию, если бы удалось их записать, он увидел, как перед ним встает остров Монте-Кристо, но не грозным утесом на волнах,

а оазисом в пустыне; чем ближе подходила лодка, тем шире разливалось пение, ибо с острова к небесам неслась таинственная и волшебная мелодия, словно некая Лорелея хотела завлечь рыбака или чародей Амфион – воздвигнуть там город.

Наконец лодка коснулась берега, но без усилий, без толчка, как губы прикасаются к губам, и он вошел в пещеру, а чарующая музыка все не умолкала. Он спустился, или, вернее, ему показалось, что он спускается по ступеням, вдыхая свежий благовонный воздух, подобный тому, который веял вокруг грота Цирцеи, напоенный таким благоуханием, что от него душа растворяется в мечтаниях, насыщенный таким огнем, что от него распаляются чувства; и он увидел все, что с ним было наяву, начиная с Синдбада, своего фантастического хозяина, до Али, немого прислужника; потом все смешалось и исчезло, как последние тени в гаснущем волшебном фонаре, и он очутился в зале со статуями, освещенной одним из тех тусклых светильников, которые у древних охраняли по ночам сон или наслаждение.

То были те же статуи, с пышными формами, сладострастные и в то же время полные поэзии, с магнетическим взглядом, с соблазнительной улыбкой, с пышными кудрями. То были Фрина, Клеопатра, Мессалина, три великие куртизанки; и среди этих бесстыдных видений, подобно чистому лучу, подобно ангелу на языческом Олимпе, возникло целомудренное создание, светлый призрак, стыдливо прячущий от мраморных распутниц свое девственное чело.

И вот все три статуи объединились в страстном вожделении к одному возлюбленному, и этот возлюбленный был он; они приблизились к его ложу в длинных, ниспадающих до ног белых туниках, с обнаженными персями, в волнах распущенных кос; они принимают позы, которые соблазняли богов, но перед которыми устояли святые, они взирают на него тем неумолимым и пламенным взором, каким глядит на птицу змея, и он не имеет сил противиться этим взорам, мучительным, как объятие, и сладостным, как лобзание.

Франц закрывает глаза и, бросая вокруг себя последний взгляд, смутно видит стыдливую статую, закутанную в свое покрывало; и вот его

глаза сомкнулись для действительности, а чувства раскрылись для немыслимых ощущений.

Тогда настало нескончаемое наслаждение, неустанная страсть, которую пророк обещал своим избранникам. Мраморные уста ожили, перси потеплели, и для Франца, впервые отдавшегося во власть гашиша, страсть стала мукой, наслаждение – пыткой; он чувствовал, как к его лихорадочным губам прижимаются мраморные губы, упругие и холодные, как кольца змеи; но в то время как руки его пытались оттолкнуть эту чудовищную страсть, чувства его покорялись обаянию таинственного сна, и наконец после борьбы, за которую не жаль отдать душу, он упал навзничь, задыхаясь, обессиленный, изнемогая от наслаждения, отдаваясь поцелуям мраморных любовниц и чародейству исступленного сна.

# XI. Пробуждение

Когда Франц очнулся, окружающие его предметы показались ему продолжением сна; ему мерещилось, что он в могильном склепе, куда, словно сострадательный взгляд, едва проникает луч солнца; он протянул руку и нащупал голый камень; он приподнялся и увидел, что лежит в своем плаще на ложе из сухого вереска, очень мягком и пахучем.

Видения исчезли, и статуи, словно это были призраки, вышедшие из могил, пока он спал, скрылись при его пробуждении.

Он сделал несколько шагов по направлению к лучу света; бурное сновидение сменилось спокойной действительностью. Он понял, что он в пещере, подошел к полукруглому выходу и увидел голубое небо и лазурное море. Лучи утреннего солнца пронизывали волны и воздух; на берегу сидели матросы, они разговаривали и смеялись; шагах в десяти от берега лодка плавно покачивалась на якоре.

Несколько минут он наслаждался прохладным ветром, овевавшим его лоб; слушал слабый плеск волн, разбивавшихся о берег и оставлявших на утесах кружево пены, белой, как серебро; безотчетно, бездумно отдался он божественной прелести утра, которую особенно живо чувствуешь после фантастического сновидения; мало-помалу, глядя на открывшуюся его взорам жизнь природы, такую спокойную, чистую, величавую, он ощутил неправдоподобие своих снов, и память вернула его к действительности.

Он вспомнил свое прибытие на остров, посещение атамана контрабандистов, подземный дворец, полный роскоши, превосходный ужин и ложку гашиша.

Но в ясном дневном свете ему показалось, что прошел по крайней мере год со времени всех этих приключений, настолько живо было в его уме сновидение и настолько оно поглощало его мысли. Временами ему чудились – то среди матросов, то мелькающими по скалам, то качающимися в лодке – те призраки, которые услаждали его ночь своими ласками. Впрочем, голова у него была свежая, тело отлично

отдохнуло; ни малейшей тяжести, напротив, он чувствовал себя превосходно и с особенной радостью вдыхал свежий воздух и подставлял лицо под теплые лучи солнца.

Он бодрым шагом направился к матросам.

Завидев его, они встали, а хозяин лодки подошел к нему.

– Его милость Синдбад-мореход, – сказал он, – велел кланяться вашей милости и передать вам, что он крайне сожалеет, что не мог проститься с вами; он надеется, что вы его извините, когда узнаете, что он был вынужден по очень спешному делу отправиться в Малагу.

– Так неужели все это правда, друг Гаэтано? – сказал Франц. – Неужели существует человек, который по-царски принимал меня на этом острове и уехал, пока я спал?

– Существует, и вот его яхта, которая уходит на всех парусах: и если вы взглянете в вашу подзорную трубу, то, по всей вероятности, найдете среди экипажа вашего хозяина.

И Гаэтано указал рукой на маленькое судно, державшее курс на южную оконечность Корсики.

Франц достал свою подзорную трубу, наставил ее и посмотрел в указанном направлении.

Гаэтано не ошибся. На палубе, обернувшись лицом к острову, стоял таинственный незнакомец и так же, как Франц, держал в руке подзорную трубу; он был в том же наряде, в каком накануне предстал перед своим гостем, и махал платком в знак прощания.

Франц вынул платок и в ответ тоже помахал.

Через секунду на яхте показалось легкое облако дыма, красиво отделилось от кормы и медленно поднялось к небу; Франц услышал слабый выстрел.

– Слышите? – спросил Гаэтано. – Это он прощается с вами.

Франц взял карабин и выстрелил в воздух, не надеясь, впрочем, чтобы звук выстрела мог пробежать пространство, отделявшее его от яхты.

– Что теперь прикажете, ваша милость? – спросил Гаэтано.

– Прежде всего зажгите факел.

– А, понимаю, – сказал хозяин, – вы хотите отыскать вход в волшебный дворец. Желаю вам успеха, ваша милость, если это может вас позабавить; факел я вам сейчас достану. Мне тоже не давала покоя эта мысль, и я раза три-четыре пробовал искать, но наконец бросил. Джованни, – прибавил он, – зажги факел и подай его милости.

Джованни исполнил приказание, Франц взял факел и вошел в подземелье; за ним следовал Гаэтано.

Он узнал место, где проснулся на ложе из вереска; но тщетно освещал он стены пещеры: он видел только по дымным следам, что и до него многие принимались за те же розыски.

И все же он оглядел каждую пядь гранитной стены, непроницаемой, как будущее; в малейшую щель он втыкал свой охотничий нож; на каждый выступ он нажимал в надежде, что он подастся; но все было тщетно, и он без всякой пользы потерял два часа.

Наконец он отказался от своего намерения; Гаэтано торжествовал.

Когда Франц возвратился на берег, яхта казалась уже только белой точкой на горизонте. Он прибег к помощи своей подзорной трубы, но даже и в нее невозможно было что-нибудь различить.

Гаэтано напомнил ему, что он приехал сюда охотиться на диких коз; Франц совершенно забыл об этом. Он взял ружье и пошел бродить по острову с видом человека, скорее исполняющего обязанность, чем забавляющегося, и в четверть часа убил козу и двух козлят. Но эти козы, столь же дикие и ловкие, как серны, были так похожи на наших домашних коз, что Франц не считал их дичью.

Кроме того, его занимали совсем другие мысли. Со вчерашнего вечера он стал героем сказки из «Тысячи и одной ночи», и его думы непрестанно возвращались к пещере.

Несмотря на неудачу первых поисков, он возобновил их, приказав тем временем Гаэтано изжарить одного козленка. Эти вторичные поиски продолжались так долго, что, когда Франц возвратился, козленок был уже изжарен и завтрак готов.

Франц сел на то самое место, где накануне к нему явились с приглашением отужинать у таинственного хозяина, и снова увидел,

словно чайку на гребне волны, маленькую яхту, продолжавшую двигаться по направлению к Корсике.

– Как же это? – обратился он к Гаэтано. – Ведь вы сказали мне, что господин Синдбад отплыл в Малагу, а по-моему, он держит путь прямо на Порто-Веккио.

– Разве вы забыли, – возразил хозяин лодки, – что среди его экипажа сейчас два корсиканских разбойника?

– Верно! Он хочет высадить их на берег? – сказал Франц.

– Вот именно. Этот человек, говорят, ни бога, ни черта не боится и готов дать пятьдесят миль крюку, чтобы оказать услугу бедному малому!

– Но такие услуги могут поссорить его с властями той страны, где он занимается такого рода благотворительностью, – заметил Франц.

– Ну так что же! – ответил, смеясь, Гаэтано. – Какое ему дело до властей? Ни в грош он их не ставит! Пусть попробуют погнаться за ним! Во-первых, его яхта не корабль, а птица, и любому фрегату даст вперед три узла на двенадцать; а во-вторых, стоит ему только сойти на берег, он повсюду найдет друзей.

Из всего этого было ясно, что Синдбад, радушный хозяин Франца, имел честь состоять в сношениях с контрабандистами и разбойниками всего побережья Средиземного моря, что рисовало его с несколько странной стороны.

Франца ничто уже не удерживало на Монте-Кристо; он потерял всякую надежду открыть тайну пещеры и поэтому поспешил заняться завтраком, приказав матросам приготовить лодку.

Через полчаса он был уже в лодке.

Он бросил последний взгляд на яхту; она скрывалась из глаз в заливе Порто-Веккио.

Франц подал знак к отплытию.

Яхта исчезла в ту самую минуту, когда лодка тронулась в путь.

Вместе с яхтой исчез последний след минувшей ночи: ужин, Синдбад, гашиш и статуи – все потонуло для Франца в едином сновидении.

Лодка шла весь день и всю ночь, и на следующее утро, когда взошло солнце, исчез и остров Монте-Кристо.

Как только Франц сошел на берег, он на время по крайней мере забыл о своих похождениях и поспешил покончить с последними светскими обязанностями во Флоренции, чтобы отправиться в Рим, где его ждал Альбер де Морсер.

Затем он пустился в путь и в субботу вечером прибыл в почтовой карете на площадь Таможни.

Комнаты, как мы уже сказали, были для них приготовлены; оставалось только добраться до гостиницы маэстро Пастрини, но это было не так-то просто, потому что на улицах теснилась толпа и Рим уже был охвачен глухим и тревожным волнением – предвестником великих событий. А в Риме ежегодно бывает четыре великих события: карнавал, страстная неделя, праздник тела господня и праздник св. Петра.

В остальное время года город погружается в спячку и пребывает в состоянии, промежуточном между жизнью и смертью, что делает его похожим на привал между этим и тем светом – привал поразительно прекрасный, полный поэзии и своеобразия, который Франц посещал уже раз шесть и который он с каждым разом находил все более волшебным и пленительным.

Наконец он пробрался сквозь все возраставшую и все более волновавшуюся толпу и достиг гостиницы. На первый его вопрос ему ответили с грубостью, присущей занятым извозчикам и содержателям переполненных гостиниц, что в гостинице «Лондон» для него помещения нет. Тогда он послал свою визитную карточку маэстро Пастрини и сослался на Альбера де Морсера. Это подействовало. Маэстро Пастрини сам выбежал к нему, извинился, что заставил его милость дожидаться, разбранил слуг, выхватил подсвечник из рук чичероне, успевшего завладеть приезжим, и собирался уже проводить его к Альберу, но тот сам вышел к нему навстречу.

Заказанный номер состоял из двух небольших спален и приемной. Спальни выходили окнами на улицу – обстоятельство, отмеченное маэстро Пастрини как неоценимое преимущество. Все остальные комнаты в этом этаже снял какой-то богач, не то сицилианец, не то мальтиец, – хозяин точно не знал.

– Все это очень хорошо, маэстро Пастрини, – сказал Франц, – но нам желательно сейчас же поужинать, а на завтра и на следующие дни нам нужна коляска.

– Что касается ужина, – отвечал хозяин гостиницы, – то вам его подадут немедля, но коляску...

– Но? – воскликнул Альбер. – Стойте, стойте, маэстро Пастрини, что это за шутки? Нам нужна коляска.

– Ваша милость, – сказал хозяин гостиницы, – будет сделано все возможное, чтобы вам ее доставить. Это все, что я могу вам обещать.

– А когда мы получим ответ? – спросил Франц.

– Завтра утром, – отвечал хозяин.

– Да что там! – сказал Альбер. – Заплатим подороже, вот и все. Дело известное: у Дрэка и Арона берут двадцать пять франков в обыкновенные дни и тридцать или тридцать пять по воскресеньям и праздникам; прибавьте пять франков куртажа, выйдет сорок – есть о чем разговаривать.

– Я сомневаюсь, чтобы ваша милость даже за двойную цену могли что-нибудь достать.

– Так пусть запрягут лошадей в мою дорожную коляску. Она немного поистрепалась в дороге, но это не беда.

– Лошадей не найти.

Альбер посмотрел на Франца, как человек, не понимающий, что ему говорят.

– Как вам это нравится, Франц? Нет лошадей, – сказал он, – но разве нельзя достать хотя бы почтовых?

– Они все уже разобраны недели две тому назад и теперь остались те, которые необходимы для почты.

– Что вы на это скажете? – спросил Франц.

– Скажу, что, когда что-нибудь выше моего понимания, я имею обыкновение не останавливаться на этом предмете и перехожу к другому. Как обстоит дело с ужином, маэстро Пастрини?

– Ужин готов, ваша милость.

– Так начнем с того, что поужинаем.

– А коляска и лошади? – спросил Франц.

– Не беспокойтесь, друг мой. Они найдутся; не надо только скупиться.

И Морсер с удивительной философией человека, который все считает возможным, пока у него тугой кошелек или набитый бумажник, поужинал, лег в постель, спал, как сурок, и видел во сне, что катается на карнавале в коляске шестерней.

# XII. Римские разбойники

На другой день Франц проснулся первый и тотчас же позвонил.

Колокольчик еще не успел умолкнуть, как вошел сам маэстро Пастрини.

– Вот видите, – торжествующе сказал хозяин, не ожидая даже вопроса Франца, – я вчера угадал, ваша милость, когда не решился ничего обещать вам; вы слишком поздно спохватились, и во всем Риме нет ни одной коляски, то есть на последние три дня, разумеется.

– Ну, конечно! – отвечал Франц. – Именно на те дни, когда она больше всего нужна.

– О чем это? – спросил Альбер, входя. – Нет коляски?

– Вы угадали, мой друг, – отвечал Франц.

– Нечего сказать, хорош городишко, ваш вечный город!

– Я хочу сказать, ваша милость, – возразил маэстро Пастрини, желая поддержать достоинство столицы христианского мира в глазах приезжих, – я хочу сказать, что нет коляски с воскресенья утром до вторника вечером; но до воскресенья вы, если пожелаете, найдете хоть пятьдесят.

– Это уже лучше! – сказал Альбер. – Сегодня у нас четверг – кто знает, что может случиться до воскресенья?

– Случится только то, что понаедет еще тысяч десять – двенадцать народу, – отвечал Франц, – и положение станет еще более затруднительным.

– Любезный друг, – отвечал Морсер, – давайте наслаждаться настоящим и не думать мрачно о будущем.

– По крайней мере окно у нас будет? – спросил Франц.

– Окно? Куда?

– На Корсо, разумеется!

– Вы шутите! Окно! – воскликнул маэстро Пастрини. – Невозможно! Совершенно невозможно! Было одно незанятое, в шестом этаже палаццо Дориа, да и то отдали русскому князю за двадцать цехинов в день.

Молодые люди с изумлением переглянулись.

– Знаете, дорогой друг, – сказал Франц Альберу, – что нам остается делать? Проведем карнавал в Венеции; там если нет колясок, то по крайней мере есть гондолы.

– Ни в коем случае! – воскликнул Альбер. – Я решил увидеть римский карнавал и увижу его хоть на ходулях.

– Превосходная мысль, – подхватил Франц, – особенно чтобы гасить мокколетти;[20] мы нарядимся полишинелями, вампирами или обитателями Ландов и будем иметь головокружительный успех.

– Ваши милости все-таки желают получить экипаж хотя бы до воскресенья?

– Разумеется! – сказал Альбер. – Неужели вы думаете, что мы будем ходить по улицам Рима пешком, как какие-нибудь писари?

– Приказание ваших милостей будет исполнено, – сказал маэстро Пастрини. – Только предупреждаю, что экипаж будет вам стоить шесть пиастров в день.

– А я, любезный синьор Пастрини, – подхватил Франц, – не будучи нашим соседом миллионером, предупреждаю вас, что я четвертый раз в Риме и знаю цену экипажам в будни, в праздники и по воскресеньям; мы вам дадим двенадцать пиастров за три дня, сегодняшний, завтрашний и послезавтрашний, и вы еще недурно на этом наживетесь.

– Позвольте, ваша милость!.. – попытался возражать маэстро Пастрини.

– Как хотите, дорогой хозяин, как хотите, – сказал Франц, – или я сам сторгуюсь с вашим abettatore,[21] которого я хорошо знаю, это мой старый приятель, он уже немало поживился от меня, и в надежде и впредь поживиться он возьмет с меня меньше, чем я вам предлагаю; вы потеряете разницу по своей собственной вине.

– Зачем вам беспокоиться, ваша милость? – сказал маэстро Пастрини с улыбкой итальянского обиралы, признающего себя побежденным. – Постараюсь услужить вам и надеюсь, что вы будете довольны.

– Вот и чудесно! Давно бы так.

– Когда вам угодно коляску?

– Через час.

– Через час она будет у ворот.

И действительно, через час экипаж ждал молодых людей; то была обыкновенная извозчичья пролетка, ввиду торжественного случая возведенная в чин коляски. Но, несмотря на ее более чем скромный вид, молодые люди почли бы за счастье иметь ее в своем распоряжении на последние три дня карнавала.

– Ваша светлость! – крикнул чичероне высунувшемуся в окно Францу. – Подать карету ко дворцу?

Хотя Франц и привык к напыщенным выражениям итальянцев, он все же бросил взгляд вокруг себя; но слова чичероне явно относились к нему.

Его светлостью был он сам, под каретой подразумевалась пролетка, а дворцом именовалась гостиница «Лондон».

Вся удивительная склонность итальянцев к преувеличению сказалась в этой фразе.

Франц и Альбер сошли вниз. Карета подкатила ко дворцу. Их светлости развалились в экипаже, а чичероне вскочил на запятки.

– Куда угодно ехать вашим светлостям?

– Сначала к храму Святого Петра, а потом к Колизею, – как истый парижанин сказал Альбер.

Но Альбер не знал, что требуется целый день на осмотр Св. Петра и целый месяц на его изучение. Весь день прошел только в осмотре храма Св. Петра.

Вдруг друзья заметили, что день склоняется к вечеру.

Франц посмотрел на часы: было уже половина пятого.

Пришлось отправиться домой. Выходя из экипажа, Франц велел кучеру быть у подъезда в восемь часов. Он хотел показать Альберу Колизей при лунном свете, как показал ему храм Св. Петра при лучах солнца. Когда показываешь приятелю город, в котором сам уже бывал, то вкладываешь в это столько же кокетства, как когда знакомишь его с женщиной, любовником которой когда-то был.

Поэтому Франц сам указал кучеру маршрут. Он должен был миновать ворота дель-Пополо, ехать вдоль наружной стелы и въехать в ворота Сан-Джованни. Таким образом, Колизей сразу вырастет перед ними и величие его не будет умалено ни Капитолием, ни Форумом, ни аркою Септимия Севера, ни храмом Антонина и Фаустины на виа Сакра, которые они могли бы увидеть на пути к нему.

Сели обедать. Маэстро Пастрини обещал им превосходный обед; обед оказался сносным, придраться было не к чему.

К концу обеда явился хозяин; Франц подумал, что он пришел выслушать одобрение, и готовился польстить ему, но Пастрини с первых же слов прервал его.

– Ваша милость, – сказал он, – я весьма польщен вашими похвалами; но я пришел не за этим.

– Может быть, вы пришли сказать, что нашли для нас экипаж? – спросил Альбер, закуривая сигару.

– Еще того менее; и я советую вашей милости бросить думать об этом и примириться с положением. В Риме вещи возможны или невозможны. Когда вам говорят, что невозможно, то дело кончено.

– В Париже много удобнее: когда вам говорят, что это невозможно, вы платите вдвое и тотчас же получаете то, что вам нужно.

– Так говорят все французы, – отвечал задетый за живое маэстро Пастрини, – и я, право, не понимаю, зачем они путешествуют?

– Поэтому, – сказал Альбер, флегматически пуская дым в потолок и раскачиваясь в кресле, – поэтому путешествуют только такие безумцы и дураки, как мы; умные люди предпочитают свой особняк на улице Эльдер, Гантский бульвар и Кафе-де-Пари.

Не приходится объяснять, что Альбер жил на названной улице, каждый день прогуливался по фешенебельному бульвару и обедал в том единственном кафе, где подают обед, и то лишь при условии хороших отношений с официантами.

Маэстро Пастрини ничего не ответил, очевидно, обдумывая ответ Альбера, показавшийся ему не вполне ясным.

– Однако, – сказал Франц, прерывая географические размышления хозяина, – вы все же пришли к нам с какой-нибудь целью. С какой именно?

– Вы совершенно правы; речь идет вот о чем: вы велели подать коляску к восьми часам?

– Да.

– Вы хотите взглянуть на Колоссео?

– Вы хотите сказать: на Колизей?

– Это одно и то же.

– Пожалуй.

– Вы велели кучеру выехать в ворота дель-Пополо, проехать вдоль наружной стены и воротиться через ворота Сан-Джованни?

– Совершенно верно.

– Такой путь невозможен.

– Невозможен?

– Или, во всяком случае, очень опасен.

– Опасен? Почему?

– Из-за знаменитого Луиджи Вампа.

– Позвольте, любезный хозяин, – сказал Альбер, – прежде всего кто такой ваш знаменитый Луиджи Вампа? Он, может быть, очень знаменит в Риме, но, уверяю вас, совершенно неизвестен в Париже.

– Как! Вы его не знаете?

– Не имею этой чести.

– Вы никогда не слышали его имени?

– Никогда.

– Так знайте, что это разбойник, перед которым Дечезарис и Гаспароне – просто мальчики из церковного хора.

– Внимание, Альбер! – воскликнул Франц. – Наконец-то на сцене появляется разбойник.

– Любезный хозяин, предупреждаю вас, я не поверю ни слову. А засим можете говорить сколько вам угодно; я вас слушаю. «Жил да был...» Ну, что же, начинайте!

Маэстро Пастрини повернулся к Францу, который казался ему наиболее благоразумным из приятелей. Надобно отдать справедливость честному малому. За его жизнь в его гостинице перебывало немало французов, но некоторые свойства их ума остались для него загадкой.

– Ваша милость, – сказал он очень серьезно, обращаясь, как мы уже сказали, к Францу, – если вы считаете меня лгуном, бесполезно говорить вам то, что я намеревался вам сообщить; однако смею уверить, что я имел в виду вашу же пользу.

– Альбер не сказал, что вы лгун, дорогой синьор Пастрини, – прервал Франц, – он сказал, что не поверит вам, только и всего. Но я вам поверю, будьте спокойны; говорите же.

– Однако, ваша милость, вы понимаете, что, если моя правдивость под сомнением…

– Дорогой мой, – прервал Франц, – вы обидчивее Кассандры; но ведь она была пророчица, и ее никто не слушал, а вам обеспечено внимание половины вашей аудитории. Садитесь и расскажите нам, кто такой господин Вампа.

– Я уже сказал вашей милости, что это разбойник, какого мы не видывали со времен знаменитого Мастрильи.

– Но что общего между этим разбойником и моим приказанием кучеру выехать в ворота дель-Пополо и вернуться через ворота Сан-Джованни?

– А то, – отвечал маэстро Пастрини, – что вы можете спокойно выехать в одни ворота, но я сомневаюсь, чтобы вам удалось вернуться в другие.

– Почему? – спросил Франц.

– Потому, что с наступлением темноты даже в пятидесяти шагах за воротами небезопасно.

– Будто? – спросил Альбер.

– Господин виконт, – отвечал маэстро Пастрини, все еще до глубины души обиженный недоверием Альбера, – я это говорю не для вас, а для вашего спутника; он бывал в Риме и знает, что такими вещами не шутят.

– Друг мой, – сказал Альбер Францу, – чудеснейшее приключение само плывет нам в руки. Мы набиваем коляску пистолетами, мушкетонами и двустволками. Луиджи Вампа является, но не он задерживает нас, а мы его; мы доставляем его в Рим, преподносим знаменитого разбойника его святейшеству папе, тот спрашивает, чем он может вознаградить нас за такую услугу. Мы без церемонии просим у него карету и двух лошадей из папских конюшен и смотрим карнавал из экипажа; не говоря уже о том, что благодарный римский народ, по всей вероятности, увенчает нас лаврами на Капитолии и провозгласит, как Курция и Горация Коклеса, спасителями отечества.

Лицо маэстро Пастрини во время этой тирады Альбера было достойно кисти художника.

– Во-первых, – возразил Франц, – где вы возьмете пистолеты, мушкетоны и двустволки, которыми вы собираетесь начинить нашу коляску?

– Уж, конечно, не в моем арсенале, ибо у меня в Террачине отобрали даже кинжал; а у вас?

– Со мною поступили точно так же в Аква-Пенденте.

– Знаете ли, любезный хозяин, – сказал Альбер, закуривая вторую сигару от окурка первой, – что такая мера весьма удобна для грабителей и, мне кажется, введена нарочно, по сговору с ними?

Вероятно, такая шутка показалась хозяину рискованной, потому что он пробормотал в ответ что-то невнятное, обращаясь только к Францу как к единственному благоразумному человеку, с которым можно было столковаться.

– Вашей милости, конечно, известно, что, когда на вас нападают разбойники, не принято защищаться.

– Как! – воскликнул Альбер, храбрость которого восставала при мысли, что можно молча дать себя ограбить. – Как так «не принято»!

– Да так. Всякое сопротивление было бы бесполезно. Что вы сделаете против десятка бандитов, которые выскакивают из канавы, из какой-нибудь лачуги или из акведука и все разом целятся в вас?

– Черт возьми! Пусть меня лучше убьют! – воскликнул Альбер.

Маэстро Пастрини посмотрел на Франца глазами, в которых ясно читалось: «Положительно, ваша милость, ваш приятель сумасшедший».

– Дорогой Альбер, – возразил Франц, – ваш ответ великолепен и стоит корнелевского «qu'il mourût»;[22] но только там дело шло о спасении Рима, и Рим этого стоил. Что же касается нас, то речь идет всего лишь об удовлетворении пустой прихоти, а жертвовать жизнью из-за прихоти смешно.

– Per Bacco![23] – воскликнул маэстро Пастрини. – Вот это золотые слова!

Альбер налил себе стакан лакрима-кристи и начал пить маленькими глотками, бормоча что-то нечленораздельное.

– Ну-с, маэстро Пастрини, – продолжал Франц, – теперь, когда приятель мой успокоился и вы убедились в моих миролюбивых наклонностях, расскажите нам, кто такой этот синьор Луиджи Вампа. Кто он, пастух или вельможа? Молод или стар? Маленький или высокий? Опишите нам его, чтобы мы могли по крайней мере его узнать, если случайно встретим в обществе, как Сбогара или Лару.

– Лучше меня никто вам не расскажет о нем, ваша милость, потому что я знал Луиджи Вампа еще ребенком; и однажды, когда я сам попал в его руки по дороге из Ферентино в Алатри, он вспомнил, к величайшему моему счастью, о нашем старинном знакомстве; он отпустил меня и не только не взял выкупа, но даже подарил мне прекрасные часы и рассказал мне свою историю.

– Покажите часы, – сказал Альбер.

Пастрини вынул из жилетного кармана великолепный брегет с именем мастера и графской короной.

– Вот они.

– Черт возьми! – сказал Альбер. – Поздравляю вас! У меня почти такие же, – он вынул свои часы из жилетного кармана, – и они стоили мне три тысячи франков.

– Расскажите историю, – сказал Франц, придвигая кресло и приглашая маэстро Пастрини сесть.

– Вы разрешите? – спросил хозяин.

– Помилуйте, дорогой мой, – отвечал Альбер, – ведь вы не проповедник, чтобы говорить стоя.

Хозяин сел, предварительно отвесив каждому из своих слушателей по почтительному поклону, что должно было подтвердить его готовность сообщить им все сведения о Луиджи Вампа.

– Постойте, – сказал Франц, – останавливая маэстро Пастрини, уже было открывшего рот. – Вы сказали, что знали Вампа ребенком. Стало быть, он еще совсем молод?

– Молод ли он? Еще бы! Ему едва исполнилось двадцать два года. О, этот мальчишка далеко пойдет, будьте спокойны.

– Что вы на это скажете, Альбер? Прославиться в двадцать два года! Это не шутка! – сказал Франц.

– Да, и в этом возрасте Александр, Цезарь и Наполеон, хотя впоследствии о них и заговорили, успели меньше.

– Итак, – продолжал Франц, обращаясь к хозяину, – герою вашей истории всего только двадцать два года?

– Едва исполнилось, как я уже имел честь докладывать.

– Какого он роста, большого или маленького?

– Среднего, приблизительно такого, как его милость, – отвечал хозяин, указывая на Альбера.

– Благодарю за сравнение, – с поклоном сказал Альбер.

– Рассказывайте, маэстро Пастрини, – сказал Франц, улыбнувшись обидчивости своего друга. – А к какому классу общества он принадлежал?

– Он был простым пастухом в поместье графа Сан-Феличе, между Палестриной и озером Габри. Он родился в Пампинаре и с пятилетнего возраста служил у графа. Отец его, сам пастух, имел в Анании собственное маленькое стадо и жил торговлей бараньей шерстью и овечьим сыром в Риме.

Маленький Вампа еще в раннем детстве отличался странным характером. Однажды, когда ему было только семь лет, он явился к палестринскому священнику и просил научить его читать. Это было нелегко, потому что маленький пастух не мог отлучаться от стада; но

добрый священник ежедневно ходил служить обедню в маленькое местечко, слишком бедное, чтобы содержать священника, и даже не имевшее названия, так что его обычно называли просто «Борго».[24] Он предложил Луиджи поджидать его на дороге и тут же, на обочине, брать урок, но предупредил, что уроки будут очень короткие и ученику придется быть очень старательным.

Мальчик с радостью согласился.

Луиджи ежедневно водил стадо на дорогу из Палестрины в Борго. Ежедневно в девять часов утра здесь проходил священник; он садился с мальчиком на край канавы, и маленький пастушок учился грамоте по требнику.

В три месяца он научился читать.

Но этого было мало: он хотел научиться писать.

Священник заказал учителю чистописания в Риме три прописи: одну большими буквами, другую средними, а третью мелкими, и показал мальчику, как переписывать их на аспиде заостренной железкой.

В тот же вечер, загнав стадо, Вампа побежал к палестринскому слесарю, взял большой гвоздь, накалил его, выковал, закруглил и сделал из него нечто вроде античного стилоса.

На другой день он набрал аспидных пластинок и принялся за дело.

В три месяца он научился писать.

Священник, удивленный его сметливостью и тронутый его прилежанием, подарил ему несколько тетрадей, пучок перьев и перочинный ножик.

Мальчику предстояла новая наука, но уже легкая в сравнении с прежней. Через неделю он владел пером так же хорошо, как и своим стилосом.

Священник рассказал про него графу Сан-Феличе; тот пожелал видеть пастушка, заставил его при себе читать и писать, велел управляющему кормить его вместе со слугами и назначил ему жалованье – два пиастра в месяц.

На эти деньги Луиджи покупал книги и карандаши. Владея необыкновенным даром подражания, он, как юный Джотто, рисовал на

аспидных досках своих овец, дома и деревья.

Потом при помощи перочинного ножа он стал обтачивать дерево и придавать ему различные формы. Так начал свое поприще и Пинелли, знаменитый скульптор.

Девочка лет шести, стало быть, немного моложе Луиджи, тоже стерегла стадо вблизи Палестрины; она была сирота, родилась в Вальмонтоне и звалась Терезой.

Дети встречались, садились друг подле друга, и, пока их стада, смешавшись, паслись вместе, они болтали, смеялись и играли; вечером они отделяли стадо графа Сан-Феличе от стада барона Черветри и расходились в разные стороны, условившись снова встретиться на следующее утро. Они никогда не нарушали этого условия и, таким образом, росли вместе.

Луиджи исполнилось двенадцать лет, а Терезе – одиннадцать.

Между тем с годами их природные наклонности развивались.

Луиджи по-прежнему занимался искусствами, насколько это было возможно в одиночестве, нрав у него был неровный: он то бывал беспричинно печален, то порывист, вспыльчив и упрям и всегда насмешлив. Ни один из мальчиков Пампинары, Палестрины и Вальмонтоне не только не имел на него влияния, но даже не мог стать его товарищем. Его своеволие, требовательность, нежелание ни в чем уступать отстраняли от него всякое проявление дружелюбия или хотя бы симпатии. Одна Тереза единым взглядом, словом, жестом укрощала его строптивый нрав. Он покорялся мановению женской руки, а мужская рука, чья бы она ни была, могла только сломать его, но не согнуть.

Тереза, напротив, была девочка живая, резвая и веселая, но чрезвычайно тщеславная; два пиастра, выдаваемые Луиджи управляющим графа Сан-Феличе, все деньги, выручаемые им за разные безделушки, которые он продавал римским торговцам игрушек, уходили на сережки из поддельного жемчуга, стеклянные бусы и золотые булавки. Благодаря щедрости своего юного друга Тереза была самой красивой и нарядной крестьяночкой в окрестностях Рима.

Дети росли, проводя целые дни вместе и беспечно предаваясь влечениям своих неискушенных натур. В их разговорах, желаниях и мечтах Вампа всегда воображал себя капитаном корабля, предводителем войска или губернатором какой-нибудь провинции, а Тереза видела себя богатой, в пышном наряде, в сопровождении ливрейных лакеев. Проведя весь день в дерзновенных мечтах о своем будущем блеске, они расставались, чтобы загнать своих баранов в хлев, и спускались с высоты мечтаний к горькой и убогой действительности.

Однажды молодой пастух сказал графскому управляющему, что он видел, как волк вышел из Сабинских гор и рыскал вокруг его стада. Управляющий дал ему ружье, а Вампа только этого и хотел.

Ружье оказалось от превосходного мастера из Брешиа и било не хуже английского карабина; но граф, приканчивая однажды раненую лисицу, сломал приклад, и ружье было отложено.

Для такого искусного резчика, как Вампа, это не представляло затруднений. Он измерил старое ложе, высчитал, что надо изменить, чтобы ружье пришлось ему по плечу, и смастерил новый приклад с такой чудесной резьбой, что если бы он захотел продать в городе одно только дерево, то получил бы за него верных пятнадцать – двадцать пиастров.

Но он отнюдь не собирался этого делать: иметь ружье было его заветной мечтой. Во всех странах, где независимость заменяет свободу, первая потребность всякого смелого человека, всякого мощного содружества иметь оружие, которое может служить для нападения и защиты и, наделяя грозной силой своего обладателя, заставляет других считаться с ним.

С этой минуты все свое свободное время Вампа посвящал упражнению в стрельбе; он купил пороху и пуль, и все для него стало мишенью: жалкий серенький ствол оливы, растущей на склонах Сабинских гор; лисица, под вечер выходящая из норы в поисках добычи; орел, парящий в воздухе. Скоро он так изощрился, что Тереза превозмогла страх, который она вначале чувствовала при каждом выстреле, и любовалась, как ее юный товарищ всаживал пулю, куда хотел, так же метко, как если бы вкладывал ее рукой.

Однажды вечером волк и в самом деле выбежал из рощи, возле которой они обыкновенно сидели. Волк не пробежал и десяти шагов, как упал мертвым.

Вампа, гордый своей удачей, взвалил его на плечи и принес в поместье.

Все это создало Луиджи Вампа некоторую известность; человек, стоящий выше других, где бы он ни был, всегда находит почитателей. Во всей округе о молодом пастухе говорили как о самом ловком, сильном и неустрашимом парне на десять лье кругом; и хотя Тереза слыла чуть ли не первой красавицей между сабинскими девушками, никто не решался заговаривать с ней о любви, потому что все знали, что ее любит Вампа.

А между тем Луиджи и Тереза ни разу не говорили между собой о любви. Они выросли друг подле друга, как два дерева, которые переплелись под землей корнями, над землей – ветвями и ароматами – в воздухе; у них было только одно желание: всегда быть вместе; это желание стало потребностью, и они скорее согласились бы умереть, чем разлучиться хотя бы на один день.

Терезе минуло шестнадцать лет, а Луиджи – семнадцать.

В это время начали поговаривать о разбойничьей шайке, собравшейся в Лепинских горах. Разбой никогда не удавалось искоренить в окрестностях Рима. Иной раз недостает атамана; но стоит только явиться ему, как около него тотчас же собирается шайка.

Знаменитый Кукуметто, выслеженный в Абруццких горах и изгнанный из неаполитанских владений, где он вел настоящую войну, перевалил, как Манфред, через Гарильяно и нашел убежище между Соннино и Пиперно, на берегах Амазено.

Теперь он набирал шайку, идя по стопам Дечезариса и Гаспароне и надеясь вскоре превзойти их. Из Палестрины, Фраскати и Пампинары исчезло несколько юношей. Сначала о них беспокоились, потом узнали, что они вступили в шайку Кукуметто.

Вскоре Кукуметто стал предметом всеобщего внимания. Рассказывали про его необыкновенную храбрость и возмутительное жестокосердие.

Однажды он похитил девушку, дочь землемера в Фрозиноне. Разбойничий закон непреложен: девушка принадлежит сначала похитителю, потом остальные бросают жребий, и несчастная служит забавой для всей шайки, пока она им не наскучит или не умрет.

Когда родители достаточно богаты, чтобы заплатить выкуп, к ним отправляют гонца; пленница отвечает головой за безопасность посланного. Если выкупа не дают, то участь пленницы решена.

У похищенной девушки в шайке Кукуметто был возлюбленный, его звали Карлини.

Увидев его, она протянула к нему руки и считала себя спасенною, но бедный Карлини, узнав ее, почувствовал, что сердце его разрывается: он не сомневался в том, какая ей готовится участь.

Однако, так как он был любимцем Кукуметто, три года делил с ним все опасности и даже однажды спас ему жизнь, застрелив карабинера, который уже занес саблю над его головой, то он надеялся, что Кукуметто сжалится над ним.

Он отвел атамана в сторону, в то время как девушка, сидя под высокой сосной, посреди лесной прогалины, закрывала лицо яркой косынкой, какие носят римские крестьянки, чтобы спрятать его от похотливых взглядов разбойников.

Карлини все рассказал атаману: их любовь, клятвы верности и как они каждую ночь, с тех пор как шайка расположилась в этих местах, встречаются среди развалин.

Как раз в этот вечер Карлини был послан в соседнее село и не мог явиться на свидание; но Кукуметто якобы случайно очутился там и похитил девушку.

Карлини умолял атамана сделать ради него исключение и пощадить Риту, уверяя, что отец ее богат и даст хороший выкуп.

Кукуметто притворился, что склоняется на мольбы своего друга, и поручил ему найти пастуха, которого можно было бы послать к отцу Риты, в Фрозиноне.

Карлини радостно подбежал к девушке, сказал ей, что она спасена, и попросил ее написать отцу письмо, чтобы сообщить о том, что с ней

случилось, и уведомить его, что за нее требуют триста пиастров выкупа.

Отцу давали сроку двенадцать часов, до девяти часов следующего утра.

Взяв письмо, Карлини бросился в долину разыскивать гонца.

Он нашел молодого пастуха, загонявшего в ограду свое стадо. Пастухи, обитающие между городом и горами, на границе между дикой и цивилизованной жизнью, – обычно посланцы разбойников.

Пастух немедленно пустился в путь, обещая через час быть в Фрозиноне.

Карлини, радостный, вернулся к возлюбленной, чтобы передать ей это утешительное известие.

Он застал шайку на прогалине, за веселым ужином; она поглощала припасы, взимаемые с поселян в виде дани; но он тщетно искал между пирующими Кукуметто и Риту.

Он спросил, где они; бандиты отвечали громким хохотом. Холодный пот выступил на лбу Карлини, волосы на голове встали дыбом.

Он повторил свой вопрос. Один из сотрапезников налил в стакан орвиетского вина и протянул его Карлини.

«За здоровье храброго Кукуметто и красавицы Риты!»

В ту же минуту Карлини услышал женский крик. Он понял все. Он схватил стакан, пустил им в лицо угощавшего и бросился на крик.

Пробежав шагов сто, он за кустом увидел Кукуметто, державшего в объятиях бесчувственную Риту.

Увидев Карлини, Кукуметто встал и навел на него два пистолета.

Разбойники взглянули друг на друга: один – с похотливой улыбкой на губах, другой – смертельно бледный.

Можно было думать, что между этими людьми сейчас произойдет жестокая схватка. Но мало-помалу черты Карлини разгладились, его рука, схватившаяся было за один из пистолетов, заткнутых у него за поясом, повисла в воздухе.

Рита лежала на земле между ними.

Лунный свет озарял эту сцену.

«Ну что? – сказал Кукуметто. – Исполнил ты мое поручение?»

«Да, атаман, – отвечал Карлини, – и завтра, к девяти часам, отец Риты будет здесь с деньгами».

«Очень хорошо. А пока мы проведем веселую ночку. Эта девушка восхитительна, у тебя неплохой вкус, Карлини. А так как я не себялюбец, то мы сейчас вернемся к товарищам и будем тянуть жребий, кому она теперь достанется».

«Стало быть, вы решили поступить с ней, как обычно?» – спросил Карлини.

«А почему бы делать для нее исключение?»

«Я думал, что во внимание к моей просьбе...»

«Чем ты лучше других?»

«Вы правы».

«Но ты не беспокойся, – продолжал, смеясь, Кукуметто, – рано или поздно придет и твой черед».

Карлини так стиснул зубы, что они хрустнули.

«Ну что же, идем?» – сказал Кукуметто, делая шаг в сторону товарищей.

«Я иду за вами».

Кукуметто удалился, оглядываясь на Карлини, так как, должно быть, опасался, что тот нападет на него сзади. Но ничто в молодом разбойнике не указывало на враждебные намерения.

Он продолжал стоять, скрестив руки, над все еще бесчувственной Ритой.

У Кукуметто мелькнула мысль, что Карлини хочет схватить ее на руки и бежать с нею. Но это его не беспокоило, потому что он уже получил от Риты все, что хотел; а что касается денег, то триста пиастров, разделенных между всей шайкой, были такой ничтожной суммой, что они его мало интересовали.

И он продолжал идти к прогалине; к его удивлению, Карлини появился там почти одновременно с ним.

«Жребий! Жребий!» – закричали разбойники, увидев атамана.

И глаза всех этих людей загорелись вожделением, в красноватом отблеске костра они были похожи на демонов.

Требование их было справедливо; поэтому атаман в знак согласия кивнул головой. Записки с именами, в том числе и с именем Карлини, положили в шляпу, и самый младший из шайки вытащил из этой самодельной урны одну из записок.

На этой записке значилось имя Дьяволаччо.

Это был тот самый, который предложил Карлини выпить за здоровье атамана и которому Карлини в ответ на это швырнул стакан в лицо.

Из широкой раны, рассекшей ему лицо от виска до подбородка, струей текла кровь.

Когда прочли его имя, он громко захохотал.

«Атаман, – сказал он, – Карлини сейчас отказался выпить за ваше здоровье; предложите ему выпить за мое; может быть, он скорее снизойдет к вашей просьбе, чем к моей».

Все ожидали какой-нибудь вспышки со стороны Карлини; но, к общему изумлению, он взял одной рукой стакан, другой – флягу и налил себе вина.

«За твое здоровье, Дьяволаччо», – сказал он спокойным голосом.

И он осушил стакан, причем рука его даже не задрожала. Потом, присаживаясь к огню, он сказал:

«Дайте мне мою долю ужина! Я проголодался после долгой ходьбы».

«Да здравствует Карлини!» – закричали разбойники.

«Так и надо! Вот это называется поступать по-товарищески».

И все снова уселись в кружок у костра; Дьяволаччо удалился.

Карлини ел и пил, как будто ничего не произошло.

Разбойники удивленно поглядывали на него, озадаченные его безучастием, как вдруг услышали позади себя тяжелые шаги...

Они обернулись: к костру подходил Дьяволаччо с молодой пленницей на руках.

Голова ее была запрокинута, длинные волосы касались земли.

Чем ближе он подходил к светлому кругу костра, тем заметней становилась бледность девушки и бледность разбойника.

Так зловеще и торжественно было это появление, что все встали, кроме Карлини, который спокойно остался сидеть, продолжая есть и

пить как ни в чем не бывало.

Дьяволаччо подходил все ближе среди всеобщего молчания и, наконец, положил Риту к ногам атамана.

Тогда все поняли, почему так бледен разбойник и так бледна девушка: под ее левою грудью торчала рукоять ножа.

Все глаза обратились к Карлини: у него на поясе висели пустые ножны.

«Так, – сказал атаман, – теперь я понимаю, для чего Карлини отстал».

Дикие натуры умеют ценить мужественный поступок; хотя, быть может, ни один из разбойников не сделал бы того, что сделал Карлини, все его поняли.

Карлини тоже встал с места и подошел к телу, положив руку на рукоять пистолета.

«А теперь, – сказал он, – будет кто-нибудь оспаривать у меня эту женщину?»

«Никто, – отвечал атаман, – она твоя!»

Карлини поднял ее на руки и вынес из освещенного круга, который отбрасывало пламя костра.

Кукуметто, как обычно, расставил часовых, и разбойники, завернувшись в плащи, легли спать около огня.

В полночь часовые подняли тревогу: атаман и разбойники в тот же миг были на ногах.

Это оказался отец Риты, принесший выкуп за дочь.

«Бери, – сказал он атаману, подавая мешок с серебром. – Вот триста пиастров. Отдай мне мою дочь».

Но атаман, не взяв денег, сделал ему знак следовать за собой. Старик повиновался; они пошли за деревья, сквозь ветви которых просвечивал месяц. Наконец Кукуметто остановился, протянул руку и указал старику на две фигуры под деревом.

«Вот, – сказал он, – требуй свою дочь у Карлини, он даст тебе отчет во всем».

И вернулся к товарищам.

Старик замер на месте. Он чувствовал, что какая-то неведомая беда, огромная, непоправимая, нависла над его головой. Наконец он сделал

несколько шагов, стараясь различить, что происходит под деревом.

Заслышав шаги, Карлини поднял голову, и глазам старика более отчетливо представились очертания двух людей.

На земле лежала женщина; голова ее покоилась на коленях мужчины, наклонившегося над ней, приподняв голову, он открыл лицо женщины, которое он прижимал к груди.

Старик узнал свою дочь, а Карлини узнал старика.

«Я ждал тебя», – сказал разбойник отцу Риты.

«Негодяй! – воскликнул старик. – Что ты сделал?»

И он с ужасом глядел на Риту, неподвижную, окровавленную, с ножом в груди. Лунный луч падал на нее, озаряя ее тусклым светом.

«Кукуметто обесчестил твою дочь, – сказал Карлини, – я любил ее и потому убил; после него она стала бы игрушкой для всей шайки».

Старик не сказал ни слова, но побледнел, как привидение.

«Если я виноват, – продолжал Карлини, – отомсти за нее».

Он вырвал нож из груди молодой девушки и одной рукой подал его старику, а другой – обнажил свою грудь.

«Ты хорошо сделал, – сказал старик глухим голосом, – обними меня, сын мой!»

Карлини, рыдая, упал в объятия отца своей возлюбленной. То были первые слезы в жизни этого запятнанного кровью человека.

«А теперь, – сказал старик, – помоги мне похоронить мою дочь».

Карлини принес два заступа, и отец вместе с возлюбленным принялись рыть могилу под густыми ветвями столетнего дуба.

Когда могила была вырыта, отец первый поцеловал убитую, после него – возлюбленный; потом один взял ее за ноги, другой за плечи и опустили в могилу.

Оба встали на колени по краям могилы и прочитали молитвы по усопшей.

Потом они опять взялись за заступы и засыпали могилу.

Старик протянул Карлини руку.

«Благодарю тебя, сын мой, – сказал он, – теперь оставь меня одного».

«Но как же так...» – сказал тот.

«Оставь меня, я так хочу».

Карлини повиновался, подошел к товарищам, завернулся в плащ и скоро заснул, по-видимому, так же крепко, как они.

Еще накануне было решено переменить стоянку. За час до рассвета Кукуметто поднял свою шайку и приказал отправляться в путь.

Но Карлини не хотел уйти из леса, не узнав, что сталось с отцом Риты.

Он пошел к тому месту, где расстался с ним.

Старик висел на ветви дуба, осенявшего могилу его дочери.

Над телом отца и над могилой дочери Карлини поклялся отомстить за обоих.

Но он не успел сдержать своей клятвы; два дня спустя он был убит в стычке с римскими карабинерами.

Все удивлялись, что, хотя он стоял лицом к неприятелю, пуля попала ему в спину.

Но когда один из разбойников припомнил, что Кукуметто был в десяти шагах позади Карлини в ту минуту, когда тот упал, – удивляться перестали.

В то утро, когда шайка покидала Фрозинонский лес, Кукуметто в темноте последовал за Карлини, слышал его клятву и, как человек осмотрительный, опередил его.

Об этом страшном атамане рассказывали еще много других не менее удивительных историй.

Поэтому от Фонди до Перуджи все дрожали при одном имени Кукуметто.

Эти рассказы часто служили предметом беседы между Луиджи и Терезой.

Тереза дрожала от страха, но Вампа с улыбкой успокаивал ее, похлопывая рукой по своему доброму ружью, так метко попадающему в цель; а если она не успокаивалась, он указывал ей на ворона, сидевшего от них в ста шагах на сухой ветке, прицеливался, спускал курок – птица падала мертвой.

Между тем время бежало; молодые люди решили обвенчаться, когда Луиджи минет двадцать лет, а Терезе – девятнадцать.

Оба они были сироты, и просить разрешения на брак им нужно было только у своих хозяев; они обратились к ним с просьбой и получили согласие.

Однажды, мечтая о будущем, они вдруг услышали выстрелы; потом из рощи, возле которой они, как обычно, пасли свои стада, выскочил человек и бросился в их сторону.

Подбежав ближе, он крикнул:

«За мною гонятся! Спрячьте меня!»

Молодые люди сразу догадались, что это разбойник, но между римским крестьянином и римским разбойником существует врожденная приязнь – первый всегда готов оказать услугу второму.

Вампа, не говоря ни слова, подбежал к камню, закрывавшему вход в их пещеру, отвалил его, указал беглецу на это никому не ведомое убежище, закрыл за ним вход и сел на свое прежнее место подле Терезы.

Почти тотчас же четыре конных карабинера показались у опушки рощи; трое, по-видимому, искали беглеца, а четвертый волочил за шею пойманного разбойника.

Карабинеры быстрым взглядом окинули местность, увидели молодых людей, галопом подскакали к ним и начали расспрашивать.

Те никого не видели.

«Досадно, – сказал начальник патруля, – тот, кого мы ищем, атаман».

«Кукуметто?» – невольно воскликнули в один голос Луиджи и Тереза.

«Да, – отвечал начальник, – а так как за его голову назначена награда в тысячу римских скудо, то пятьсот из них достались бы вам, если бы вы помогли нам изловить его».

Молодые люди переглянулись. У карабинера мелькнула надежда. Пятьсот римских скудо составляют три тысячи франков, а три тысячи франков – это целое состояние для двух сирот, собирающихся обвенчаться.

«Да, досадно, – отвечал Вампа, – но мы его не видали».

Карабинеры поскакали в разные стороны, но никого не нашли.

Потом, один за другим, они скрылись.

Тогда Вампа отвалил камень, и Кукуметто вышел из пещеры.

Он видел в щель гранитной двери, как молодые люди разговаривали с карабинерами; он догадался, о чем они толковали; он прочел на лице Луиджи и Терезы твердую решимость не выдавать его. Вынув из кармана кошелек, набитый золотом, он протянул им его.

Вампа горделиво поднял голову, но у Терезы разгорелись глаза, когда она подумала, сколько можно купить драгоценностей и нарядов на это золото.

Кукуметто был сущий дьявол, змей, принявший образ разбойника; он перехватил этот взгляд, угадал в Терезе достойную дочь Евы и, прежде чем скрыться в роще, несколько раз оглянулся, как бы прощаясь со своими спасителями.

Прошло несколько дней. Кукуметто больше не показывался, и о нем ничего не было слышно.

Приближалось время карнавала. Граф Сан-Феличе решил дать большой костюмированный бал, на который было приглашено самое блестящее римское общество.

Терезе очень хотелось посмотреть празднество. Луиджи упросил управляющего позволить ему присутствовать на балу вместе с Терезой, замешавшись в толпу слуг.

Граф затеял празднество, чтобы повеселить свою дочь Кармелу, в которой души не чаял.

Кармела была сверстницей Терезы и одного с нею роста, а Тереза красотой не уступала графской дочери.

В вечер празднества Тереза надела свой лучший наряд, вколола в прическу самые дорогие булавки, повесила на шею самые сверкающие бусы. Она была в костюме крестьянки из Фраскати.

Луиджи надел живописный праздничный костюм тосканских поселян.

Оба они, как было условлено, затерялись в толпе слуг и крестьян.

Празднество отличалось необыкновенной пышностью. Не только графский дом горел сотнями огней, но на всех деревьях парка висели пестрые фонарики. Поэтому многочисленные гости вскоре хлынули из богатых покоев на террасы, а с террас в аллеи парка.

На каждом перекрестке играл оркестр, стояли столы со сластями и винами; гуляющие останавливались, составляли кадрили и танцевали, где вздумается.

Кармела была в костюме поселянки Сонино. Чепчик ее был расшит жемчугом, золотые булавки сверкали алмазами, пояс из турецкого шелка, затканный крупными цветами, охватывал ее талию, рубашка и юбка были из кашемира, фартучек – из индийского муслина, пуговицами для корсажа служили драгоценные камни.

Две ее подруги были одеты – одна поселянкой из Неттуно, другая из Риччиа.

Четверо молодых людей из самых богатых и знатных семейств в Риме сопровождали их с той чисто итальянской свободой обращения, равной которой нет ни в одной другой стране; они тоже были наряжены поселянами – Альбано, Веллетри, Чивита-Кастеллана и Сора.

Нечего и говорить, что мужские костюмы, так же как и женские, искрились золотом и каменьями.

Кармела пожелала составить кадриль из однородных костюмов, но не хватало четвертой дамы.

Кармела оглядела толпу – ни одна гостья не была в подходящем наряде.

Граф Сан-Феличе указал ей на Терезу, стоявшую поодаль среди крестьян, опираясь на руку Луиджи.

«Вы позволите, отец?» – спросила Кармела.

«Конечно, – отвечал граф, – ведь теперь карнавал!»

Кармела наклонилась к своему кавалеру и тихо сказала ему несколько слов, указывая на молодую девушку. Молодой человек проследил за направлением хорошенькой ручки, поклонился в знак повиновения и отправился приглашать Терезу на кадриль, составленную дочерью графа.

Румянец залил лицо Терезы. Она вопросительно взглянула на Луиджи; отказаться не было возможности. Луиджи медленно выпустил ее руку, и она, дрожа всем телом, дала себя увести своему изящному кавалеру и заняла место в господской кадрили.

Конечно, глазу художника точный и строгий костюм Терезы понравился бы больше, чем платья Кармелы и ее подруг; но Тереза была девушка легкомысленная и тщеславная; вышитая индийская кисея, затканный турецким узором пояс, пышный кашемир – все это ослепляло ее, а блеск сапфиров и алмазов сводил с ума.

Но и в Луиджи зародилось новое, неведомое чувство: это была щемящая боль, которая началась в сердце, а потом разлилась по жилам и охватила все его тело. Он следил глазами за малейшими движениями Терезы и ее кавалера; когда они брались за руки, у него кружилась голова, кровь стучала в жилах, а в ушах раздавался словно колокольный звон. Когда они разговаривали и Тереза, скромно потупив глаза, слушала речи своего кавалера, Луиджи читал в пламенных взорах красивого юноши, что речи его – восхваления; тогда ему казалось, что земля уходит у него из-под ног и все голоса ада нашептывают ему о смерти и убийстве. Боясь поддаться безумию, он одной рукой хватался за зеленую изгородь, возле которой стоял, а другой судорожно сжимал резную рукоятку кинжала, заткнутого за пояс, сам не замечая, что то и дело почти вынимает его из ножен.

Луиджи ревновал! Он чувствовал, что может потерять тщеславную и самолюбивую Терезу.

А между тем Тереза, вначале робкая и испуганная, скоро оправилась от смущения. Мы уже сказали, что она была красавица. Этого мало, – она была полна грации, той дикой грации, которая в тысячу раз пленительней нашей жеманной и деланной грациозности.

Она стала царицей кадрили, и если она завидовала дочери графа Сан-Феличе, то мы не смеем утверждать, что Кармела смотрела на нее без ревности.

Когда кадриль кончилась, изящный кавалер, рассыпаясь в комплиментах, отвел ее на прежнее место, где ее ждал Луиджи.

Несколько раз во время кадрили Тереза взглядывала на него и видела его бледное, страдальческое лицо. Раз даже перед ее глазами зловещей молнией блеснуло лезвие кинжала.

Почти с трепетом взяла она под руку своего возлюбленного.

Кадриль имела большой успех, все гости просили повторить ее; одна Кармела отказывалась; но граф Сан-Феличе так настойчиво просил ее, что она в конце концов дала свое согласие.

Тотчас же один из кавалеров бросился приглашать Терезу, без которой нельзя было составить кадриль; но она уже исчезла.

Луиджи, чувствуя, что не вынесет вторичного испытания, наполовину уговорил, наполовину заставил Терезу перейти в другую часть сада. Тереза нехотя повиновалась; но она видела по искаженному лицу Луиджи, по его молчанию и судорожно вздрагивающей руке, что в нем происходит. Сама она тоже была взволнована; и хоть она не сделала ничего дурного, но понимала, что Луиджи вправе упрекнуть ее, – за что? – она не знала, но чувствовала тем не менее, что этот упрек был бы заслужен.

Однако, к немалому удивлению Терезы, Луиджи молчал и за весь вечер не произнес ни слова. Только когда вечерняя прохлада заставила гостей покинуть сад и они перенесли танцы в комнаты, Луиджи, проводив Терезу до дому, сказал:

«Тереза, о чем ты думала, когда танцевала против молодой графини?»

«Я думала, – откровенно отвечала девушка, – что отдала бы полжизни за такой наряд, как у нее».

«А что говорил тебе твой кавалер?»

«Он говорил мне, что от меня зависит иметь такой наряд и что для этого мне стоит только сказать слово».

«Он был совершенно прав, – сказал Луиджи. – Так ты хочешь иметь такой наряд?»

«Да».

«Ты его получишь!»

Тереза удивленно подняла голову и хотела задать вопрос; но его лицо было так мрачно и страшно, что слова замерли у нее на губах.

После этого Луиджи тотчас же ушел.

Тереза поглядела ему вслед. Когда он скрылся в темноте, она со вздохом вошла в дом.

В ту же ночь приключилась беда: вероятно, по неосторожности слуг, забывших погасить огни, вспыхнул пожар на вилле Сан-Феличе, во флигеле, где помещались комнаты прелестной Кармелы. Проснувшись среди ночи, она увидела пламя, вскочила с постели и, накинув на себя халат, бросилась к двери; но коридор, который ей надо было пробежать, был уже охвачен огнем. Тогда она вернулась в свою комнату, громко зовя на помощь. Вдруг ее окно, находившееся на высоте двадцати футов от земли, распахнулось; в комнату прыгнул крестьянский парень, схватил ее на руки и с нечеловеческой силой и ловкостью вынес на лужайку; Кармела потеряла сознание. Когда она пришла в себя, подле нее был ее отец. Кругом толпились слуги, наперерыв стараясь оказать ей помощь. Весь флигель виллы сгорел; но кто думал об этом, раз Кармела была жива и здорова?

Ее спасителя искали всюду; но он не показывался. Спрашивали всех и вся, но никто не видел его. Сама же Кармела была так взволнована, что не успела разглядеть его лицо.

Граф был сказочно богат, и, если не считать опасности, которой подвергалась Кармела, пожар не причинил ему сколько-нибудь чувствительного урона, тем более что чудесное спасение дочери казалось ему новой милостью провидения.

На другой день в обычный час Тереза и Луиджи встретились у опушки леса. Луиджи пришел первый и радостно приветствовал Терезу; он, казалось, совсем забыл о вчерашнем. Тереза была задумчива; но, видя Луиджи ласковым и беззаботным, она тоже стала беспечно весела; впрочем, такой она бывала всегда, если только какое-нибудь страстное желание не лишало ее покоя.

Луиджи взял ее под руку, привел к пещере и остановился. Девушка, понимая, что происходит что-то необыкновенное, пристально посмотрела на него.

«Тереза, – сказал Луиджи, – вчера ты мне сказала, что отдала бы все на свете, чтобы иметь такой наряд, как у дочери графа?»

«Да, – отвечала удивленная Тереза, – но это желание было легкомысленно».

«А я тебе ответил: “Хорошо, ты его получишь”».

«Да, – сказала молодая девушка, удивление которой возрастало с каждым словом Луиджи. – Но ты, наверное, так ответил, чтобы сделать мне удовольствие».

«Я никогда ничего не обещал тебе напрасно, Тереза, – сказал Луиджи с гордостью. – Войди в пещеру и оденься».

С этими словами он отодвинул камень и показал Терезе пещеру, освещенную двумя свечами, зажженными по бокам великолепного зеркала; на грубом столе, сделанном руками Луиджи, лежали жемчужное ожерелье и бриллиантовые булавки; рядом, на стуле, лежал весь остальной наряд.

Тереза вскрикнула от радости и, даже не спросив, откуда взялся наряд, даже не поблагодарив Луиджи, бросилась в пещеру.

Луиджи тотчас же завалил вход камнем, потому что на гребне невысокого холма, заслонявшего ему вид на Палестрину, он заметил всадника, который остановился, как бы выбирая дорогу. Всадник так отчетливо вырисовывался на голубом небе, как только в южных далях вырисовываются предметы.

Увидев Луиджи, всадник поднял лошадь в галоп и подскакал к нему.

Луиджи не ошибся: всадник, ехавший из Палестрины в Тиволи, сбился с дороги.

Луиджи указал ему направление; но так как впереди дорога снова разветвлялась, то всадник, чтобы опять не заблудиться, попросил Луиджи проводить его.

Луиджи снял плащ, положил его на землю, перекинул свой карабин через плечо и пошел подле всадника тем быстрым шагом горца, который соперничает с шагом лошади.

Через десять минут Луиджи и всадник добрались до перекрестка.

Тут юноша царственным движением протянул руку и указал на ту из трех дорог, по которой всаднику следовало ехать.

«Вот ваша дорога, – сказал он. – Ваша милость теперь не заблудится».

«А вот твоя награда», – сказал всадник, протягивая молодому пастуху несколько мелких монет.

«Благодарю, – сказал Луиджи, отдергивая руку, – я оказываю услуги, но не продаю их».

«Если ты отказываешься от платы, – сказал всадник, по-видимому, знающий разницу между угодливостью городских жителей и гордостью поселян, – то, может быть, ты примешь подарок?»

«Это другое дело!»

«Так возьми эти два венецианских цехина и дай сделать из них серьги для твоей невесты».

«А вы возьмите этот кинжал, – отвечал молодой пастух. – От Альбано до Чивита-Кастеллана вам не найти рукоятки с лучшей резьбой».

«Я принимаю твой подарок, – сказал всадник. – Но теперь я у тебя в долгу: ведь этот кинжал стоит дороже двух цехинов».

«Если его купить; но я сам его делал, и мне он стоит не больше пиастра».

«Как тебя зовут?» – спросил всадник.

«Луиджи Вампа, – отвечал пастух с таким видом, словно сказал: Александр Македонский. – А вас как?»

«Меня зовут Синдбад-мореход», – отвечал всадник.

Франц д'Эпине удивленно вскрикнул.

– Синдбад-мореход? – переспросил он.

– Да, – отвечал рассказчик, – так он назвал себя.

– А что? Чем вам не нравится это имя? – вмешался Альбер. – Очень красивое имя, и, признаюсь, приключения настоящего Синдбада меня когда-то очень занимали.

Франц промолчал. Имя Синдбад-мореход, по очень понятным причинам, пробудило в нем целый рой воспоминаний.

– Продолжайте, – сказал он хозяину.

– Вампа небрежно сунул в карман два цехина и медленно повернул обратно. Когда он был всего в трехстах шагах от пещеры, ему послышались крики.

Он замер, прислушиваясь.

Через секунду он ясно расслышал свое имя.

Крики доносились со стороны пещеры.

Он ринулся вперед, как серна, на бегу заряжая ружье, и в два прыжка достиг вершины холма.

Здесь крики долетали еще явственнее.

Он посмотрел вниз: какой-то мужчина похищал Терезу, как кентавр Несс похитил Деяниру.

Похититель бежал к лесу и уже прошел три четверти пути, отделявшего лес от пещеры.

Вампа глазом измерил расстояние; между ним и похитителем было по меньшей мере двести шагов; Вампа понял, что тот скроется с Терезой в лесу раньше, чем он успеет догнать его.

Молодой пастух словно прирос к месту. Он вскинул ружье, медленно навел дуло, прицелился и спустил курок.

Похититель вдруг остановился; колени его подогнулись, и он упал, увлекая вместе с собой Терезу.

Но Тереза сейчас же вскочила на ноги; похититель остался лежать; он бился в предсмертных судорогах.

Вампа бросился к Терезе; отбежав шагов десять от умирающего, она упала на колени; у Луиджи мелькнула ужасная мысль, что пуля, поразившая насмерть его врага, задела и его невесту.

К счастью, этого не случилось; только пережитый испуг отнял силы у Терезы. Удостоверившись, что она невредима, Вампа подошел к раненому.

Тот уже испустил дух; кулаки его были судорожно сжаты, рот искривлен, волосы всклокочены и влажны от предсмертного пота.

Глаза его были открыты и все еще грозны. Вампа узнал в убитом Кукуметто.

С того дня, как молодые люди спасли разбойника, он влюбился в Терезу и поклялся, что девушка будет принадлежать ему. Он неустанно подстерегал ее; воспользовавшись тем, что Луиджи оставил ее одну, чтобы указать дорогу всаднику, он похитил девушку и уже считал ее своей, как вдруг пуля, пущенная меткой рукой Вампы, пробила ему сердце.

Вампа смотрел на него, и ни малейшее волнение не отражалось на его лице, тогда как Тереза, все еще трепещущая, едва осмеливалась подойти к трупу и боязливо глядела на него через плечо своего возлюбленного. Вампа обернулся к ней.

«Я вижу, ты уже одета, – сказал он. – Теперь моя очередь заняться туалетом».

Тереза и в самом деле с ног до головы была одета в наряд дочери графа Сан-Феличе.

Вампа поднял труп Кукуметто и отнес его в пещеру, но на этот раз Тереза уже не вошла.

Если бы в эту минуту проехал еще всадник, то он увидел бы странное зрелище: девушку, пасущую стадо в кашемировом платье, в серьгах и жемчужном ожерелье, с бриллиантовыми булавками в волосах и рубиновыми пуговицами на корсаже.

Он, несомненно, решил бы, что перенесся во времена Флориана и, воротясь в Париж, стал бы уверять, что видел Альпийскую Пастушку у подножия Сабинских гор.

Через четверть часа Вампа вышел из пещеры. Он был одет с не меньшим щегольством, чем Тереза.

На нем был камзол из гранатового бархата, с чеканными золотыми пуговицами, шелковый вышитый жилет, римский шейный платок, зеленый с красным шелковый пояс, затканный золотом, бархатные голубые штаны до колен с бриллиантовыми пряжками, замшевые гетры с пестрым узором и шляпа, на которой развевались ленты всех цветов. У пояса висели двое часов, а за пояс был заткнут великолепный кинжал.

Тереза вскрикнула от восхищения. Вампа в костюме Кукуметто напоминал картину Леопольда Робера или Шнеца.

Заметив, какое впечатление он произвел на свою невесту, он гордо улыбнулся.

«Готова ли ты разделить мою судьбу, какая бы она ни была?» – спросил он ее.

«Да!» – воскликнула Тереза.

«И ты всюду пойдешь за мной?»

«Хоть на край света!»

«Тогда давай руку и пойдем: нельзя терять времени».

Девушка подала руку своему возлюбленному, не спрашивая даже, куда он ее ведет. В эту минуту он казался ей прекрасным, гордым и всесильным, как божество.

Они направились к лесу и через несколько минут скрылись за деревьями.

Нечего и говорить о том, что Вампа знал все тропинки в горах; он все дальше углублялся в лес, не колеблясь ни одной секунды, хотя там не было ни одной протоптанной тропинки, и он распознавал дорогу по кустам и деревьям; так шли они часа полтора.

Наконец они забрались в самую чащу леса. Высохшее русло вело в темное ущелье. Вампа пошел по этой нехоженой дороге, вившейся глубоко между двумя берегами и затененной густыми ветвями сосен; если бы не отлогий спуск, ее можно было принять за тропу в Аверн, о которой говорит Вергилий.

Тереза, снова оробевшая в этом диком и пустынном месте, молча жалась к своему проводнику; но так как она видела, что он идет ровным шагом и лицо его спокойно, она нашла в себе силу скрыть свою тревогу.

Вдруг в десяти шагах от них из-за дерева вышел человек и навел на Луиджи ружье.

«Ни шагу дальше, – крикнул он, – не то убью!»

«Брось! – сказал Вампа, пренебрежительно подняв руку, между тем как Тереза, не скрывая больше своего страха, вся дрожа, прижималась к нему. – Разве волки грызутся между собой?»

«Кто ты такой?» – спросил часовой.

«Я – Луиджи Вампа, пастух из поместья Сан-Феличе».

«Что тебе нужно?»

«Мне нужно поговорить с твоими товарищами на прогалине Рокка-Бианка».

«Так ступай за мной, – отвечал часовой, – или лучше ступай вперед, коли знаешь куда».

Вампа презрительно улыбнулся, вышел вперед вместе с Терезой и продолжал свой путь тем же твердым и спокойным шагом, каким шел до сих пор.

Через пять минут разбойник велел им остановиться.

Они повиновались.

Разбойник три раза прокаркал по-вороньи.

В ответ раздалось такое же карканье.

«Так, – сказал разбойник. – Теперь можешь идти дальше».

Луиджи и Тереза пошли дальше.

Но по мере того как они подвигались вперед, Тереза все крепче прижималась к своему возлюбленному: в самом деле между деревьями замелькали ружейные стволы.

Прогалина Рокка-Бианка находилась на вершине небольшой горы, которая, вероятно, некогда была вулканом, потухшим еще прежде, чем Ромул и Рем покинули Альбу и построили Рим.

Тереза и Луиджи взобрались на вершину и очутились лицом к лицу с двумя десятками разбойников.

«Этот парень вас ищет, он хочет поговорить с вами», – сказал часовой.

«Что же он хочет нам сказать?» – спросил разбойник, заменявший атамана во время его отлучки.

«Хочу сказать, что мне надоело быть пастухом», – сказал Вампа.

«А, понимаю, – сказал помощник атамана, – и ты пришел проситься к нам?»

«Милости просим!» – закричали разбойники из Феррузино, Пампинары и Ананьи, узнавшие Луиджи.

«Да, только я хочу быть не просто вашим товарищем».

«А чего же ты хочешь?» – спросили с удивлением разбойники.

«Я хочу быть вашим атаманом», – отвечал Луиджи Вампа.

Разбойники разразились смехом.

«А что ты сделал, чтобы заслужить такую честь?» – спросил помощник атамана.

«Я убил Кукуметто, вот на мне его наряд, и я поджег виллу Сан-Феличе, чтобы подарить подвенечное платье моей невесте».

Через час Луиджи Вампа выбрали атаманом вместо Кукуметто.

– Милый Альбер, – сказал Франц, обращаясь к своему другу, – какого вы теперь мнения о синьоре Луиджи Вампа?

– По-моему, это миф, – отвечал Альбер, – он никогда не существовал.

– А что такое миф? – спросил Пастрини.

– Слишком долго объяснять, любезный хозяин, – отвечал Франц. – Так вы говорите, что синьор Вампа промышляет теперь в окрестностях Рима?

– И с такой дерзостью, какой еще не проявлял ни один разбойник.

– И полиция тщетно пытается его изловить?

– Что поделаешь! Он дружит и с пастухами в долине, и с тибрскими рыбаками, и с береговыми контрабандистами. Его ищут в горах, а он на реке; его преследуют на реке, а он выходит в открытое море; а потом вдруг, когда думают, что он бежал на остров Джильо, Джаннутри или Монте-Кристо, он снова появляется в Альбано, в Тиволи или в Риччии.

– А каково его обращение с путешественниками?

– Очень простое. Смотря по дальности расстояния от города, он дает им либо восемь, либо двенадцать часов, либо сутки сроку, чтобы внести выкуп. Потом по истечении срока дает еще час отсрочки. В шестидесятую минуту этого часа, если деньги не выплачены, он пускает пленнику пулю в лоб или всаживает ему кинжал в грудь, вот вам и весь сказ!

– Ну как, Альбер, – спросил Франц, – вам все еще хочется ехать в Колизей по наружным бульварам?

– Разумеется, – отвечал Альбер, – если эта дорога живописнее.

В эту минуту пробило девять часов. Дверь отворилась, и вошел кучер.

– Экипаж подан, ваша милость, – сказал он.

– В таком случае едем в Колизей, – сказал Франц.

– Через ворота дель-Пополо, ваша милость, или улицами?

– Улицами, черт возьми, улицами! – воскликнул Франц.

– Друг мой! – сказал Альбер, вставая и закуривая третью сигару. – Признаюсь, я считал вас храбрее.

Молодые люди спустились с лестницы и сели в экипаж.

# XIII. Видение

Франц все же нашел способ подвезти Альбера к Колизею, не проезжая мимо памятников древности и ничем не умаляя впечатления от гигантских размеров колосса. Для этого надо было ехать по виа Систина, свернуть под прямым углом перед Санта-Мариа-Маджоре и подъехать по виа Урбана и Сан-Пьетро-ин-Винколи к виа дель-Колосо.

Эта дорога имела еще одно преимущество: она ничем не отвлекала мыслей Франца от рассказа маэстро Пастрини, в котором упоминался его таинственный хозяин с острова Монте-Кристо. Он откинулся в угол экипажа и снова углубился в бесконечные вопросы, которые он сам себе задавал и ни на один из которых он не умел найти удовлетворительного ответа.

Кстати сказать, еще одно обстоятельство в этом рассказе напомнило ему о Синдбаде-мореходе; а именно, таинственные сношения между разбойниками и моряками. Когда маэстро Пастрини говорил о том, что Вампа находит убежище на рыбачьих лодках и у контрабандистов, Франц вспомнил корсиканских бандитов, ужинавших вместе с экипажем маленькой яхты, которая отклонилась от своего курса и зашла в Порто-Веккио только для того, чтобы высадить их на берег. Имя, которым назвал себя его хозяин на острове Монте-Кристо и которое упомянул хозяин гостиницы «Лондон», доказывало ему, что этот человек выступал в роли благодетеля на берегах Пьомбино, Чивита-Веккии, Остии и Гаэты точно так же, как и на корсиканском, тосканском и испанском берегах; а так как он сам, как помнилось Францу, говорил о Тунисе и о Палермо, то у него, по-видимому, был довольно обширный круг знакомств.

Но как ни занимали все эти размышления ум Франца, они сразу исчезли, когда перед ним вырос мрачный исполинский силуэт Колизея, сквозь отверстия которого месяц бросал длинные бледные лучи, подобные лучам, струящимся из глаз привидений. Экипаж остановился в нескольких шагах от Meta Sudans.[25] Кучер отворил дверцу; молодые

люди вышли из экипажа и очутились лицом к лицу с чичероне, который словно вырос из-под земли.

Так как их уже сопровождал чичероне из гостиницы, то таковых оказалось двое.

Впрочем, в Риме невозможно избегнуть изобилия проводников: кроме главного чичероне, который овладевает вами с той минуты, как вы переступили порог гостиницы, и расстается с вами, только когда вы уезжаете из города, имеются еще особые чичероне, состоящие при каждом памятнике и, я бы даже сказал, при каждой части памятника. По этому можно судить, есть ли недостаток в проводниках по Колизею, этому памятнику среди памятников, о котором Марциал сказал:

«Да не похваляется перед нами Мемфис варварским чудом своих пирамид, да не воспевают чудес Вавилона; все должно склониться перед безмерным сооружением амфитеатра цезарей, и все хвалебные голоса должны слиться воедино, чтобы воспеть славу этому памятнику».

Франц и Альбер даже не пытались избавиться от тирании римских чичероне, которые к тому же одни имеют право ходить по Колизею с факелами. Поэтому они не противились и отдались в полную власть своих проводников.

Франц уже был знаком с этой прогулкой, потому что успел совершить ее раз десять. Но его спутник, менее искушенный, впервые вступал в это здание, воздвигнутое Флавием Веспасианом, и надо сказать к его чести, что, несмотря на невежественную болтовню гидов, впечатление, произведенное на него Колизеем, было огромно. В самом деле, нельзя, не увидав это зрелище своими глазами, составить себе понятие о величии древних руин, особенно когда они кажутся еще более гигантскими от таинственного света южной луны, который может поспорить с вечерним светом запада.

Задумчиво пройдя шагов сто под внутренними портиками, Франц предоставил Альбера проводникам, настаивавшим на своем неотъемлемом праве показать ему во всех подробностях львиный ров, помещение для гладиаторов и подиум цезарей; он поднялся по полуразрушенной лестнице и, пока те проделывали свой раз навсегда

установленный путь, попросту сел в тени колонны, против отверстия, в которое можно было видеть гранитного великана во всем его величии.

Франц просидел с четверть часа в тени колонны, следя глазами за Альбером и его факелоносцами, которые, выйдя из вомитория, помещающегося на противоположном конце Колизея, спускались, словно тени за блуждающим огоньком, со ступеньки на ступеньку к местам, отведенным для весталок. Вдруг ему послышалось, что в глубь Колизея скатился камень, отделившийся от лестницы, расположенной рядом с той, по которой он поднялся. Камень, сорвавшийся под ногою времени и скатившийся в пропасть, конечно, не редкость; но на этот раз Францу показалось, что камень покатился из-под ноги человека; ему даже послышался неясный шум шагов; было очевидно, что кто-то идет по лестнице, стараясь ступать как можно тише.

И в самом деле через минуту показалась человеческая фигура, выходящая из тени, по мере того как она поднималась; верхняя ступень лестницы была освещена луной, тогда как остальные, чем дальше уходили вниз, тем больше погружались в темноту.

То мог быть такой же путешественник, как и он, предпочитающий уединенное созерцание глупой болтовне чичероне, и потому в его появлении не было ничего удивительного; но по тому, с какою нерешительностью он всходил на последние ступени, по тому, как он, прислушиваясь, остановился на площадке, Франц понял, что он пришел сюда с какой-то целью и кого-то поджидает.

Инстинктивно Франц спрятался за колонну.

На высоте десяти футов от земли был круглый пролом, в котором виднелось усеянное звездами небо.

Вокруг этого отверстия, через которое, быть может, уже несколько столетий лился лунный свет, рос мелкий кустарник, чьи нежные зеленые листья четко вырисовывались на бледной лазури небосвода; с верхнего выступа свешивались большие лианы и могучие побеги плюща, похожие на развевающиеся на ветру снасти.

Посетитель, таинственное появление которого привлекло внимание Франца, стоял в полутьме, скрывавшей его черты, но все же можно было

рассмотреть его костюм; он был завернут в широкий темный плащ; одна пола, перекинутая через левое плечо, закрывала нижнюю часть его лица; лоб и глаза были скрыты широкополой шляпой. В свете косых лучей, проникавших в пролом, видны были черные панталоны, изящно падавшие на лакированные башмаки.

Этот человек, несомненно, принадлежал если не к аристократическому, то, во всяком случае, к высшему обществу.

Он простоял еще несколько минут и уже начал довольно заметно проявлять нетерпение, как вдруг на верхнем выступе послышался слабый шум.

В тот же миг какая-то тень заслонила свет луны, над проломом показался человек, пристально вгляделся в темноту и, по-видимому, заметил незнакомца в плаще; тогда он схватился за свисающие лианы, спустился по ним и, очутившись футах в трех от земли, легко спрыгнул вниз. Он был одет в полный костюм транстеверинца.[26]

– Прошу извинить меня, ваша милость, что я заставил вас ждать, – сказал он на римском диалекте. – Но я опоздал только на несколько минут. Сейчас пробило десять на башне Сан-Джованни-ин-Латерано.

– Вы не опоздали, это я пришел раньше, – отвечал незнакомец на чистейшем тосканском наречии. – Поэтому не смущайтесь; если бы вы и опоздали, это было бы не по вашей вине, я знаю.

– И ваша милость не ошиблись, я сейчас из замка Святого Ангела, мне с большим трудом удалось поговорить с Беппо.

– Кто это Беппо?

– Это надзиратель тюрьмы; я плачу ему небольшое жалованье, и он извещает меня обо всем, что творится в замке его святейшества.

– Я вижу, вы человек предусмотрительный!

– А как же иначе, ваша милость! Почем знать, что может случиться? Может быть, и меня когда-нибудь поймают, как бедного Пеппино, и мне нужна будет крыса, чтобы перегрызть веревки.

– Короче говоря, что вы узнали?

– Две казни назначены на вторник, в два часа, как принято в Риме перед большими праздниками; один будет mazzolato;[27] это негодяй,

убивший священника, который его воспитал, – он не стоит внимания; другой будет decapitato;[28] это и есть наш бедный Пеппино.

– Что делать, дорогой мой? Вы нагнали такой страх не только на папское правительство, но и на соседние государства, что власти хотят во что бы то ни стало примерно наказать его.

– Но ведь Пеппино даже не был в моей шайке; это – бедный пастух, он виноват только в том, что приносил нам припасы.

– Это сделало его вашим сообщником. Но вы видите, что ему оказали снисхождение. Если когда-нибудь поймают вас, вам размозжат голову, а его только гильотинируют. К тому же это внесет некоторое разнообразие в столь развлекательное зрелище и удовлетворит все вкусы.

– Но зрелище, которое я уготовил публике и которого она совсем не ожидает, будет еще занимательнее, – возразил транстеверинец.

– Любезный друг, – отвечал человек в плаще, – разрешите сказать вам, что вы как будто затеваете какую-то глупость.

– Я готов на все, чтобы спасти Пеппино, который попал в беду за то, что служил мне; клянусь мадонной, я счел бы себя трусом, если бы ничего не сделал для этого честного малого.

– И что же вы задумали?

– Я поставлю человек двадцать около эшафота, и, когда поведут Пеппино, я подам знак, мы бросимся на конвой с кинжалами и похитим его.

– Это очень рискованный способ, и мне думается, что мой план лучше вашего.

– А какой план у вашей милости?

– Я дам две тысячи пиастров одному человеку, и он выхлопочет, чтобы казнь Пеппино отложили до будущего года; а в течение этого года я дам еще тысячу пиастров другому лицу, и он поможет Пеппино бежать из тюрьмы.

– И вы уверены в успехе?

– Pardieu,[29] – сказал человек в плаще.

– Что вы сказали? – переспросил транстеверинец.

– Я говорю, друг мой, что я один, при помощи моего золота, сделаю больше, чем вы и все ваши люди, вооруженные кинжалами, пистолетами, карабинами и мушкетами. Поэтому предоставьте это дело мне.

– Извольте; но если у вас ничего не выйдет, мы все-таки будем наготове.

– Будьте наготове, если вам так хочется; но можете не сомневаться, что я добьюсь помилования.

– Не забудьте, что вторник – это послезавтра; вам остается только один день.

– Так что же? День состоит из двадцати четырех часов, час из шестидесяти минут, минута из шестидесяти секунд; в восемьдесят шесть тысяч четыреста секунд можно многое сделать.

– Если вашей милости все удастся, то как мы об этом узнаем?

– Очень просто. Я занял три крайних окна в кафе Росполи; если я выхлопочу помилование, то два боковых окна будут затянуты желтой камкой, а среднее – белой с красным крестом.

– Отлично. А как вы передадите бумагу о помиловании?

– Пришлите ко мне одного из ваших людей в одежде пилигрима. Благодаря своему наряду он проберется к эшафоту и передаст буллу главе братства, который и вручит ее палачу. Тем временем дайте знать Пеппино, а то он еще умрет от страха или сойдет с ума, и выйдет, что мы даром на него потратились.

– Послушайте, ваша милость, я предан вам всей душой, вы это знаете.

– Надеюсь, что так.

– Так вот, если вы спасете Пеппино, то это будет уже не преданность, а повиновение.

– Не говори необдуманно, друг мой. Быть может, я тебе когда-нибудь напомню о твоих словах, потому что и ты можешь мне когда-нибудь понадобиться.

– Я являюсь в нужный час, ваша милость, как вы пришли сюда сегодня; будь вы хоть на краю света, вам стоит только написать мне: «Сделай то-то» – и я это сделаю так же верно, как меня зовут...

– Шш! – прошептал человек в плаще. – Я слышу шаги...

– Это путешественники с факелами осматривают Колизей.

– Не нужно, чтобы они видели нас вместе. Все эти чичероне – сыщики, они могут узнать вас. И, как ни лестна мне ваша дружба, дорогой мой, но если узнают, что мы с вами так хорошо знакомы, я сильно опасаюсь, как бы мой престиж не пострадал.

– Итак, если вы добьетесь отсрочки казни…

– Среднее окно будет затянуто белой камкой с красным крестом.

– А если не добьетесь?

– Все три окна будут желтые.

– И тогда…

– Тогда, любезный друг, пускайте в ход ваши кинжалы, я даже сам приду полюбоваться на вас.

– До свидания, ваша милость. Я рассчитываю на вас, и вы рассчитывайте на меня.

С этими словами транстеверинец исчез на лестнице, а человек в плаще, еще ниже надвинув шляпу на лоб, прошел в двух шагах от Франца и спокойно спустился на арену.

Через секунду из темноты прозвучало имя Франца: его звал Альбер.

Франц повременил с ответом, пока оба незнакомца не отошли подальше, не желая открывать им, что они беседовали при свидетеле, который, правда, не видел их лиц, но зато не пропустил ни слова.

Десять минут спустя Франц уже сидел в экипаже; по дороге в гостиницу он, позабыв всякую учтивость, еле слушал ученую диссертацию Альбера, который, опираясь на Плиния и Кальпурния, рассуждал о сетках с железными остриями, препятствовавших диким зверям бросаться на зрителей.

Франц не противоречил приятелю. Ему хотелось поскорее остаться одному и, ничем не отвлекаясь, поразмыслить о том, что он только что слышал.

Из двух виденных им людей один был ему совершенно незнаком, но с другим дело обстояло иначе; хотя Франц не рассмотрел его лица, либо остававшегося в тени, либо закрытого плащом, но звук этого голоса так поразил его в тот раз, когда он внимал ему впервые, что он не мог не

узнать его тотчас же. Особенно в насмешливых интонациях этого голоса было что-то резкое и металлическое, что заставило содрогнуться Франца в Колизее, как он содрогался в пещере Монте-Кристо.

Франц ни минуты не сомневался, что этот человек не кто иной, как Синдбад-мореход.

При любых других обстоятельствах он открыл бы свое присутствие этому человеку, пробудившему в нем сильнейшее любопытство; но слышанная им беседа была слишком интимного свойства, и он справедливо опасался, что не доставит своим появлением никакого удовольствия. Поэтому он дал Синдбаду удалиться, не остановив его, но твердо решил при следующей встрече не упускать случая.

Франц был так поглощен своими мыслями, что не мог заснуть. Всю ночь он перебирал в уме разные обстоятельства, касавшиеся хозяина пещеры и незнакомца в Колизее и доказывавшие, что эти два человека одно и то же лицо; и чем больше Франц думал, тем больше утверждался в своем мнении.

Он заснул под утро и потому проснулся поздно. Альбер, как истый парижанин, уже успел позаботиться о вечере и послал за ложей в театр Арджентина.

Францу надо было написать письма в Париж, и потому он на весь день предоставил экипаж Альберу.

В пять часов Альбер вернулся; он развез рекомендательные письма, получил приглашения на все вечера и осмотрел достопримечательности Рима. На все это Альберу хватило одного дня. Он даже успел узнать, какую дают пьесу и какие актеры играют.

Давали «Паризину»; играли Козелли, Мориани и г-жа Шпех.

Молодым людям повезло; их ждало представление одной из лучших опер автора «Лючии Ламмермурской» в исполнении трех лучших артистов Италии.

Альбер, имевший свое кресло в Буффе и место в ложе бенуара в Опере, никак не мог примириться с итальянскими театрами, где не принято сидеть в оркестре и нет ни балконов, ни открытых лож.

Однако это не мешало ему облачаться в ослепительный наряд всякий раз, когда он ездил с Францем в театр; но все было тщетно; к стыду одного из достойнейших представителей парижской светской молодежи, надо сознаться, что за четыре месяца скитаний по Италии Альбер не завязал ни одной интриги.

Альбер иной раз пробовал шутить на этот счет; но в душе он был чрезвычайно раздосадован: как это он, Альбер де Морсер, один из самых блестящих молодых людей, все еще пребывает в ожидании. Неудача была тем чувствительнее, что по скромности, присущей нашим милейшим соотечественникам, Альбер не сомневался, что будет иметь в Италии огромный успех и по возвращении в Париж пленит весь Гантский бульвар рассказами о своих победах.

Увы! Он жестоко ошибся: прелестные генуэзские, флорентийские и римские графини стойко хранили верность если не своим мужьям, то своим любовникам, и Альбер вынес горькое убеждение, что итальянки – и в этом преимущество их перед француженками – верны своей неверности.

Разумеется, трудно утверждать, что в Италии, как и повсюду, нет исключений.

А между тем Альбер был юноша не только в высшей степени элегантный, но и весьма остроумный; притом он был виконт; правда, виконт новоиспеченный; но в наши дни, когда не требуется доказывать свою доблесть, не все ли равно считать свой род с 1399 или с 1815 года? Вдобавок он имел пятьдесят тысяч ливров годового дохода. Таким образом, он в избытке обладал всем, что нужно, чтобы стать баловнем парижского света. И ему было немного стыдно сознавать, что ни в одном из городов, где он побывал, на него не обратили должного внимания.

Впрочем, он рассчитывал вознаградить себя в Риме, ибо карнавал во всех странах света, сохранивших этот похвальный обычай, есть пора свободы, когда люди самых строгих правил разрешают себе безумства. А так как карнавал начинался на следующий день, то Альберу надлежало заранее показать себя во всем блеске. С этой целью Альбер занял одну из самых заметных лож в первом ярусе и оделся с особенной

тщательностью. Кстати сказать, первый ярус считается столь же аристократическим, как бенуар и бельэтаж.

Впрочем, эта ложа, в которой свободно могли поместиться двенадцать человек, стоила друзьям дешевле, чем ложа на четверых в театре Амбигю.

Альбер питал еще другую надежду: если ему удастся завладеть сердцем прелестной римлянки, то ему, по всей вероятности, будет предложено место в карете, и, следовательно, он увидит карнавал из аристократического экипажа или с княжеского балкона.

Благодаря всем этим соображениям Альбер был особенно оживлен в этот вечер. Он сидел спиной к сцене, высовывался до половины из ложи и смотрел на всех хорошеньких женщин в шестидюймовый бинокль.

Но, как ни усердствовал Альбер, ни одна красавица не наградила его взглядом хотя бы из любопытства.

Зрители разговаривали о делах, о своих любовных похождениях, о званых обедах, о завтрашнем карнавале, не обращая внимания ни на певцов, ни на спектакль, кроме отдельных мест, когда все оборачивались лицом к сцене, чтобы послушать речитатив Козелли, или похлопать Мориани, или крикнуть «браво» певице Шпех, после чего снова возвращались к прерванной беседе.

В конце первого акта дверь пустовавшей до тех пор ложи отворилась и вошла дама, в которой Франц узнал свою знакомую; он имел честь быть ей представленным в Париже и думал, что она еще во Франции. Альбер заметил невольное движение своего приятеля и, обернувшись к нему, спросил:

– Вы знакомы с этой женщиной?

– Да; она вам нравится?

– Она очаровательна, дорогой мой, и к тому же блондинка. Какие дивные волосы! Она француженка?

– Нет, венецианка.

– А как ее зовут?

– Графиня Г.

– Я знаю ее по имени, – сказал Альбер, – говорят, она не только красива, но и умна. Подумать только, что я мог познакомиться с ней на последнем балу у госпожи де Вильфор и не сделал этого! Какого же я дурака свалял!

– Хотите, я исправлю эту ошибку? – спросил Франц.

– Вы с ней так коротки, что можете привести меня к ней в ложу?

– Я имел честь раза три беседовать с ней. Вы знаете, что этого вполне достаточно, чтобы такой визит не показался наглостью.

В эту минуту графиня заметила Франца и приветливо помахала ему рукой; он ответил почтительным поклоном.

– Я вижу, вы с ней в наилучших отношениях, – сказал Альбер.

– Вот вы и ошиблись. Французы потому и делают тысячу глупостей за границей, что все подводят под свою парижскую мерку; когда вы находитесь в Испании или особенно в Италии, не судите никогда о короткости людей по свободе обращения. Мы с графиней просто чувствуем влечение друг к другу.

– Влечение сердца? – спросил, смеясь, Альбер.

– Нет, ума, только и всего, – серьезно ответил Франц.

– И как это обнаружилось?

– Во время прогулки по Колизею, вроде той, которую мы совершили вместе с вами.

– При лунном свете?

– Да.

– Вдвоем?

– Почти.

– И вы говорили о...

– О мертвых.

– Это, разумеется, очень занимательно, – сказал Альбер. – Но если я буду иметь счастье оказаться кавалером прекрасной графини во время такой прогулки, то, смею вас уверить, я буду говорить с ней только о живых!

– И, может быть, прогадаете.

– А пока вы меня представите ей, как обещали?

– Как только упадет занавес.

– Когда же этот проклятый первый акт кончится?

– Послушайте финал, он чудесный, и Козелли превосходно поет его.

– Да, но какая фигура!

– Шпех прямо за душу хватает…

– Вы понимаете, после того как слышал Зонтаг и Мадибран…

– Разве вы не находите, что у Мориани прекрасная школа?

– Я не люблю, когда брюнеты поют, как блондины.

– Знаете, дорогой мой, – сказал Франц, отворачиваясь от Альбера, который не отводил бинокля от ложи графини, – на вас не угодишь!

Наконец, к величайшему удовольствию виконта де Морсера, занавес упал; Альбер взял шляпу, поправил волосы, галстук и манжеты и объявил Францу, что ждет его.

Так как на вопросительный взгляд Франца графиня ответила знаком, что ожидает его, то он не замедлил удовлетворить нетерпеливое желание Альбера; вместе со своим приятелем, который на ходу расправлял складки на сорочке и лацканах фрака, он обогнул амфитеатр и постучал в ложу № 4, занятую графиней.

Тотчас же молодой человек, сидевший возле графини в аванложе, встал и, по итальянскому обычаю, уступил свое место новому гостю, который, в свою очередь, должен был уступить его, если бы явился другой посетитель.

Франц отрекомендовал Альбера как одного из самых блестящих по своему общественному положению и по уму молодых людей; что, впрочем, было вполне справедливо, ибо в Париже, в том обществе, где Альбер вращался, он слыл светским львом. Франц прибавил, что Альбер в отчаянии оттого, что упустил случай быть представленным ей в Париже, умолил его исправить это упущение и что он просит графиню простить ему его смелость.

В ответ графиня любезно поклонилась Альберу и пожала Францу руку, Альбер, по ее приглашению, сел на свободное место рядом с ней, а Франц поместился во втором ряду, позади графини.

Альбер нашел прекрасную тему для беседы: он заговорил о Париже и общих знакомых. Франц понял, что друг его на верном пути и, взяв у него из рук гигантский бинокль, начал, в свою очередь, изучать зрительный зал.

У барьера одной из лож первого яруса сидела женщина необыкновенной красоты, одетая в восточный костюм, который она носила с такой непринужденностью, с какой носят только привычную одежду.

Позади нее, в полумраке, виднелся человек, лица которого нельзя было разглядеть.

Франц прервал разговор Альбера с графиней и спросил у нее, не знает ли она эту очаровательную албанку, которая достойна привлечь внимание не только мужчин, но даже женщин.

– Нет, – сказала она, – знаю только, что она в Риме с начала сезона; на открытии театра я видела ее в этой же ложе, и за весь месяц она не пропустила ни одного спектакля; иногда ее сопровождает тот человек, который сейчас с нею, а иногда только слуга-негр.

– Как она вам нравится, графиня?

– Очень хороша. Медора, должно быть, была похожа на нее.

Франц и графиня обменялись улыбками; потом графиня возобновила разговор с Альбером, а Франц принялся разглядывать в бинокль красавицу албанку.

Начался балет, превосходный итальянский балет, поставленный знаменитым Анри, который снискал в Италии огромную славу, погибшую в плавучем театре; один из тех балетов, в которых все, от первого танцовщика до последнего статиста, принимают такое деятельное участие, что полтораста человек делают одновременно один и тот же жест и все вместе поднимают ту же руку или ту же ногу. Балет назывался «Полиска».

Франц был слишком занят прекрасной незнакомкой, чтобы обращать внимание на балет, пусть даже превосходный. Что касается ее, то она с явным удовольствием смотрела на сцену, чего нельзя было сказать о ее спутнике, который за все время, пока длилось это чудо

хореографического искусства, ни разу не пошевелился и, невзирая на адский шум, производимый трубами, цимбалами и турецкими колокольчиками, казалось, вкушал неземную сладость безмятежного сна.

Наконец балет кончился, и занавес упал под бешеные рукоплескания восторженного партера.

Благодаря похвальной привычке вставлять в оперу балет, антракты в Италии очень непродолжительны: певцы успевают отдохнуть и переодеться, пока танцовщики выделывают свои пируэты и антраша.

Началась увертюра второго акта. При первых взмахах смычка сонливый кавалер албанки медленно приподнялся и придвинулся к ней; она обернулась, сказала ему несколько слов и опять облокотилась на барьер ложи.

Лицо ее собеседника по-прежнему оставалось в тени, и Франц не мог рассмотреть его черт.

Поднялся занавес, внимание Франца невольно обратилось на актеров, и взгляд его на минуту оторвался от ложи незнакомки и перенесся на сцену.

Второй акт начинается, как известно, дуэтом: Паризина во сне проговаривается Аццо о своей любви к Уго; обманутый муж проходит все степени ревности и, наконец, убежденный в измене жены, будит ее и объявляет ей о предстоящей мести.

Это один из самых красивых, самых выразительных и самых драматических дуэтов, написанных плодовитым пером Доницетти. Франц слышал его уже в третий раз, и хоть он и не был заядлым меломаном, все же дуэт произвел на него глубокое впечатление. Поэтому он уже намеревался присоединить свои аплодисменты к тем, которыми разразилась публика, как вдруг его поднятые руки остановились и готовое сорваться «браво» замерло на губах.

Человек в ложе встал во весь рост, лицо его очутилось в полосе света, и Франц увидел таинственного обитателя острова Монте-Кристо, чью фигуру и голос он, как ему казалось, узнал накануне среди развалин Колизея.

Сомнений не было: странный путешественник живет в Риме.

Вероятно, лицо Франца полностью отразило то смущение, в которое его поверг вид незнакомца, потому что графиня, взглянув на него, рассмеялась и спросила, что с ним.

– Графиня, – отвечал Франц, – я только что спросил вас, знаете ли вы эту албанку. Теперь я хочу спросить вас, знаете ли вы ее мужа.

– Не больше, чем ее, – отвечала графиня.

– Вы не обратили на него внимания?

– Вот истинно французский вопрос! Вы же знаете, что для нас, итальянок, существует только тот, кого мы любим.

– Это верно, – ответил Франц.

– Во всяком случае, – продолжала графиня, наводя бинокль Альбера на ложу напротив, – его, по-видимому, только что выкопали из могилы; это какой-то мертвец, с дозволения могильщика вышедший из гроба. Посмотрите, какой он бледный.

– Он всегда такой, – отвечал Франц.

– Так вы его знаете? – сказала графиня. – Тогда я вас спрошу, кто он такой.

– Мне кажется, я его уже где-то видел.

– Я понимаю, – сказала графиня, словно от холода передернув прелестными плечами, – что если раз увидишь этого человека, то его уже не забыть никогда.

Франц подумал, что, по-видимому, не только на него таинственный незнакомец производит жуткое впечатление.

– Что вы скажете? – спросил Франц, после того как графиня решилась еще раз навести на него бинокль.

– По-моему, это сам лорд Рутвен во плоти.

Это новое напоминание о Байроне поразило Франца; если кто-нибудь мог заставить его поверить в существование вампиров, так именно этот человек.

– Я должен узнать, кто он, – сказал Франц, вставая.

– Нет, нет! – воскликнула графиня. – Не уходите, я рассчитываю на то, что вы меня проводите, и не отпущу вас.

Франц наклонился к ее уху:

– Неужели вы в самом деле боитесь?

– Послушайте! – отвечала она. – Байрон клялся мне, что верит в вампиров; уверял, что сам видел их; он описывал мне их лица… Они точь-в-точь такие же: черные волосы, горящие большие глаза, мертвенная бледность; и заметьте: его дама не такая, как все… это какая-нибудь гречанка или… наверное, такая же колдунья, как и он… Умоляю вас, не ходите туда. Завтра принимайтесь за розыски, если вам угодно, но сегодня я вас решительно не пущу.

Франц продолжал настаивать.

– Нет, нет, – сказала она, вставая, – я уезжаю; мне нельзя оставаться до конца спектакля, у меня гости; неужели вы будете настолько невежливы, что откажете мне в вашем обществе?

Францу ничего не оставалось, как взять шляпу, отворить дверь ложи и подать графине руку, что он и сделал. Графиня в самом деле была очень взволнованна, да Франц и сам не мог избавиться от суеверного трепета, тем более что графиня только поддалась безотчетному страху, а его впечатление подкреплялось воспоминаниями. Подсаживая ее в карету, он почувствовал, что она вся дрожит.

Он проводил графиню до дому; у нее не было никаких гостей, никто ее не ждал; он упрекнул ее в обмане.

– Мне в самом деле нехорошо, – сказала она, – и я хочу побыть одна; встреча с этим человеком совсем расстроила меня.

Франц сделал попытку засмеяться.

– Не смейтесь, – сказала графиня, – притом же вам вовсе не смешно. И обещайте мне…

– Что?

– Прежде дайте слово.

– Я обещаю исполнить все, что угодно, только не отказаться от попытки узнать, кто этот человек. По некоторым причинам, о которых я не могу говорить, я должен узнать, кто он, откуда и куда направляется.

– Откуда он, я не знаю; но куда направляется, я могу вам сказать: прямой дорогой в ад.

– Вернемся к обещанию, которое вы хотели потребовать от меня, графиня, – сказал Франц.

– Ах да; поезжайте прямо в гостиницу и сегодня не ищите встречи с этим человеком. Есть какая-то связь между теми, с кем расстаешься, и теми, с кем встречаешься. Не будьте посредником между мною и этим человеком. Завтра гоняйтесь за ним сколько хотите; но никогда не представляйте его мне, если не хотите, чтобы я умерла со страху. Теперь прощайте, постарайтесь заснуть; а я знаю, что глаз не сомкну.

На этом графиня рассталась с Францем, который так и не понял, подшутила она над ним или в самом деле была испугана.

Вернувшись в гостиницу, Франц застал Альбера в халате, в домашних панталонах, удобно развалившимся в кресле, с сигарой во рту.

– А, это вы, – сказал он, – я не думал, что увижу вас раньше завтрашнего утра.

– Послушайте, Альбер, – отвечал Франц, – я рад случаю доказать вам раз навсегда, что вы имеете самое ложное представление об итальянках; а между тем мне кажется, что ваши любовные неудачи должны были вразумить вас.

– Что прикажете? Черт ли разберет этих женщин! Берут вас за руку, жмут ее; шепчутся с вами, заставляют вас провожать их: десятой доли таких заигрываний хватило бы, чтобы парижанка потеряла свое доброе имя!

– В том-то и дело. Им нечего скрывать; они живут в своей прекрасной стране, где звучит «si», как говорит Данте, не прячась, под ярким солнцем. Поэтому они не знают жеманства. Притом вы же видели, графиня в самом деле испугалась.

– Кого? Того почтенного господина, который сидел против нас с красивой гречанкой? Мне хотелось самому узнать, кто они, и я нарочно столкнулся с ними в коридоре. Понять не могу, откуда вы взяли всю эту чертовщину! Это красивый мужчина, превосходно одет, по-видимому, на него шьет наш Блен или Юмани. Он несколько бледен, это правда; но вы знаете, что бледность – признак аристократичности.

Франц улыбнулся: Альбер воображал, что у него очень бледный цвет лица.

– Я и сам убежден, – сказал ему Франц, – что страх графини перед этим человеком просто фантазия. Он что-нибудь говорил?

– Говорил, но только по-новогречески. Я догадался об этом по нескольким исковерканным греческим словам. Надо вам сказать, дорогой мой, что в коллеже я был очень силен в греческом.

– Так он говорил по-новогречески?

– По-видимому.

– Сомнений нет, – прошептал Франц, – это он.

– Что вы говорите?

– Ничего. Что вы тут делали?

– Готовил вам сюрприз.

– Какой?

– Вы знаете, что коляску достать невозможно.

– Еще бы. Мы сделали все, что в человеческих силах, и ничего не достали.

– Меня осенила блестящая идея.

Франц недоверчиво взглянул на Альбера.

– Дорогой мой, – сказал Альбер, – вы удостоили меня таким взглядом, что мне хочется потребовать у вас удовлетворения.

– Я готов вам его дать, если ваша идея действительно так хороша, как вы утверждаете.

– Слушайте.

– Слушаю.

– Коляску достать нельзя?

– Нельзя.

– И лошадей тоже?

– Тоже.

– Но можно достать телегу?

– Может быть.

– И пару волов?

– Вероятно.

– Ну так вот, дорогой мой! Это нам и нужно. Я велю разукрасить телегу, мы оденемся неаполитанскими жнецами и изобразим в натуре знаменитую картину Леопольда Робера. Если, для большего сходства, графиня согласится надеть костюм крестьянки из Поццуоли или Сорренто, маскарад будет еще удачнее; она так хороша собой, что ее непременно примут за оригинал «Женщины с младенцем».

– Ей-богу, – воскликнул Франц, – на этот раз вы правы, и это действительно счастливая мысль.

– И самая патриотическая, она воскрешает времена наших королей-лодырей! А, господа римляне, вы думали, что мы будем рыскать по вашим улицам пешком, как лаццарони, только потому, что у вас не хватает колясок и лошадей! Ну, так мы их изобретем!

– И вы уже поделились с кем-нибудь этим гениальным изобретением?

– С нашим хозяином. Вернувшись из театра, я позвал его сюда и изложил ему свои желания. Он уверяет, что нет ничего легче; я хотел, чтобы волам позолотили рога, но он говорит, что на это нужно три дня: нам придется отказаться от этой роскоши.

– А где он?

– Кто?

– Хозяин.

– Отправился за телегой. Завтра, может быть, уже будет поздно.

– Так он даст нам ответ еще сегодня?

– Я его жду.

В эту минуту дверь приоткрылась, и показалась голова маэстро Пастрини.

– Permesso?[30] – спросил он.

– Разумеется, можно! – воскликнул Франц.

– Ну что? – спросил Альбер. – Нашли вы нам телегу и волов?

– Я нашел кое-что получше, – отвечал хозяин, по всей видимости, весьма довольный собой.

– Остерегитесь, дорогой хозяин, – сказал Альбер, – от добра добра не ищут.

– Ваша милость может положиться на меня, – самоуверенно отвечал маэстро Пастрини.

– Но в чем же все-таки дело? – спросил Франц.

– Вы знаете, что граф Монте-Кристо живет на одной площадке с вами?

– Еще бы нам этого не знать, – сказал Альбер, – по его милости мы теснимся здесь, как два студента из Латинского квартала.

– Он узнал о вашей неудаче и предлагает вам два места в своей коляске и два места в окнах, снятых им в палаццо Росполи.

Альбер и Франц переглянулись.

– Но можем ли мы принять предложение человека, которого мы совсем не знаем? – сказал Альбер.

– Кто он такой, этот граф Монте-Кристо? – спросил Франц.

– Сицилийский или мальтийский вельможа, точно не знаю, но знатен, как Боргезе, и богат, как золотая жила.

– Мне кажется, – сказал Франц Альберу, – что, если верить маэстро Пастрини, такой человек, как этот граф, мог бы пригласить нас иначе, чем...

В эту минуту в дверь постучали.

– Войдите, – сказал Франц.

Лакей в щегольской ливрее остановился на пороге.

– От графа Монте-Кристо барону Францу д'Эпине и виконту Альберу де Морсеру, – сказал он.

И он протянул хозяину две визитные карточки, а тот передал их молодым людям.

– Граф Монте-Кристо, – продолжал лакей, – просит вас позволить ему как соседу посетить вас завтра утром; он хотел бы осведомиться у молодых господ, в котором часу им будет угодно принять его.

– Ничего не скажешь, – шепнул Альбер Францу, – все сделано как подобает.

– Передайте графу, – отвечал Франц, – что мы сами будем иметь честь нанести ему первый визит.

Лакей вышел.

– Состязание на учтивость, – сказал Альбер, – вы правы, маэстро Пастрини, ваш граф Монте-Кристо очень воспитанный человек.

– Так вы принимаете его предложение? – спросил Пастрини.

– Разумеется, – отвечал Альбер, – но, признаюсь, мне жаль нашей телеги; и если бы окно в палаццо Росполи не вознаградило нас за эту потерю, то я, пожалуй, остался бы при своей первоначальной мысли. Как вы думаете, Франц?

– Признаюсь, и меня соблазнило только окно в палаццо Росполи, – ответил Франц.

Предложение двух мест у окна в палаццо Росполи напомнило Францу подслушанный им в Колизее разговор между незнакомцем и транстеверинцем. Если человек в плаще, как предполагал Франц, был тем же самым лицом, чье появление в театре Арджентина так заинтриговало его, то он, несомненно, его увидит, и тогда ничто не помешает ему удовлетворить свое любопытство.

Франц заснул поздно. Мысли о незнакомце и ожидание утра волновали его. В самом деле, утром все должно было разъясниться; на этот раз таинственный хозяин с острова Монте-Кристо уже не мог ускользнуть от него, если только он не обладал перстнем Гигеса и благодаря этому перстню способностью становиться невидимым.

Когда Франц проснулся, еще не было восьми часов.

Альбер, не имевший причин с нетерпением ждать утра, крепко спал.

Франц послал за хозяином. Тот явился к нему и раскланялся с обычным подобострастием.

– Маэстро Пастрини, – сказал Франц, – если не ошибаюсь, на сегодня назначена чья-то казнь?

– Да, ваша милость, но если хотите, чтобы я достал вам окно, то теперь уже поздно.

– Нет, – возразил Франц, – впрочем, если бы я очень хотел увидеть это зрелище, я, вероятно, нашел бы место на Монте-Пинчо.

– О, я думаю, что ваша милость не пожелали бы смешиваться с чернью, которая всегда переполняет Монте-Пинчо.

– Всего вернее, что я не пойду, – сказал Франц, – но мне хотелось бы иметь некоторые сведения.

– Какие?

– О числе осужденных, об их именах и о роде казни.

– Ничего нет легче, ваша милость. Мне как раз принесли tavolette.

– Что такое tavolette?

– Это деревянные дощечки, которые развешиваются на углах улиц накануне казни: на них наклеены имена преступников, их преступления и способ казни. Это своего рода просьба к верующим помолиться богу о ниспослании виновным искреннего раскаяния.

– И вам приносят эти tavolette, чтобы вы присоединили ваши молитвы к молитвам верующих? – спросил Франц с оттенком недоверия.

– Нет, ваша милость; я условился с наклейщиком афиш, и он приносит их мне так же, как приносит театральные афиши, чтобы мои гости были осведомлены на случай, если бы кто-нибудь из них пожелал присутствовать при казни.

– Вы очень предупредительны! – сказал Франц.

– Могу сказать, – проговорил с улыбкой маэстро Пастрини, – я делаю все, что в моих силах, для удобства благородных иностранцев, которые удостаивают меня своим доверием.

– Вижу, дорогой хозяин, и всем буду рассказывать об этом, будьте спокойны. А теперь мне бы хотелось прочесть одну из ваших tavolette.

– Сию минуту, – сказал хозяин, открывая дверь, – я распорядился, чтобы одну из них повесили на площадке лестницы.

Он вышел из комнаты, снял с гвоздя «таволетту» и принес ее Францу.

Вот дословный перевод этой афиши смерти: «Сим доводится до всеобщего сведения, что во вторник, 22 февраля, в первый день карнавала, по приговору верховного трибунала, на Пьяцца-дель-Пополо будут казнены: Андреа Рондоло, осужденный за убийство высокоуважаемого и достопочтенного дона Чезаре Торлини, каноника церкви Св. Иоанна Латеранского, и Пеппино, прозванный Рокка Приори, уличенный в сообщничестве с презренным разбойником Луиджи Вампа и членами его шайки.

Первый будет mazzolato.

Второй будет decapitato.

Благочестивые души приглашаются молить господа о даровании чистосердечного раскаяния сим двум злополучным преступникам».

Это было именно то, что Франц слышал два дня тому назад среди развалин Колизея; в программе не произошло никаких изменений: имена осужденных, их преступления, способ казни были точь-в-точь те же.

Таким образом, транстеверинец был, вероятно, не кто иной, как Луиджи Вампа, а человек в плаще – Синдбад-мореход, продолжавший и в Риме, как в Порто-Веккио и Тунисе, свою филантропическую деятельность.

Между тем пробило девять часов, и Франц хотел уже разбудить Альбера, как вдруг, к его величайшему изумлению, тот вышел из спальни и даже в полном туалете. Мысли о карнавале не давали ему покоя и подняли с постели раньше, чем Франц ожидал.

– Как вы думаете, синьор Пастрини, – обратился Франц к хозяину, – раз мы оба готовы, не явиться ли нам к графу Монте-Кристо?

– Разумеется, – отвечал тот, – граф Монте-Кристо имеет привычку вставать очень рано; и я уверен, что он уже часа два как не спит.

– И вы считаете, что мы не обеспокоим его?

– Совершенно уверен.

– В таком случае, Альбер, если вы готовы...

– Я совершенно готов, – сказал Альбер.

– Так идем и выразим нашему соседу благодарность за его любезное внимание.

– Идем!

Францу и Альберу надо было только перейти площадку; хозяин опередил их и позвонил; лакей отпер дверь.

– I signori francesi,[31] – сказал Пастрини.

Лакей поклонился и пригласил их войти.

Они прошли через две комнаты, обставленные с роскошью, какой они не ожидали найти в гостинице маэстро Пастрини, и вошли наконец в

безупречно убранную гостиную. На полу был разостлан турецкий ковер, и удобные кресла словно приглашали посетителей отдохнуть на их упругих подушках и выгнутых спинках. Стены были увешаны картинами известных мастеров вперемежку с роскошным оружием, а на дверях колыхались пышные портьеры.

– Если вашим милостям угодно будет сесть, – сказал лакей, – я пойду доложить графу.

И он вышел в другую дверь.

Когда эта дверь открылась, из-за нее донеслись звуки лютни, но тотчас же смолкли. До молодых людей, ожидавших в гостиной, долетело только мимолетное дуновение музыки.

Франц и Альбер обменялись взглядом и снова принялись рассматривать мебель, картины и оружие. Чем дольше они смотрели на всю эту роскошь, тем великолепнее она им казалась.

– Ну-с, – обратился Франц к своему приятелю, – что вы на это скажете?

– Скажу, дорогой мой, что наш сосед либо биржевой маклер, сыгравший на понижение испанских фондов, либо князь, путешествующий инкогнито.

– Тише! – сказал Франц. – Мы это сейчас узнаем: вот и он.

Послышался скрип отворяемой двери, портьеры раздвинулись, и на пороге показался обладатель всех этих богатств. Альбер двинулся ему навстречу, но Франц остался стоять, как пригвожденный к месту.

Вошедший был не кто иной, как человек в плаще, незнакомец в ложе, таинственный хозяин с острова Монте-Кристо.

# XIV. Mazzolato

– Господа, – сказал граф Монте-Кристо, – примите мои извинения, что я не пришел первым; но я боялся обеспокоить вас, если бы явился к вам в более ранний час. К тому же вы уведомили меня, что сами пожалуете ко мне, и я сообразовался с вашим желанием.

– Мы приносим вам тысячу благодарностей, граф, – сказал Альбер, – вы поистине выручили нас из беды. Мы уже изобретали самые фантастические колымаги, когда нам передали ваше любезное приглашение.

– Во всем виноват этот болван Пастрини, – отвечал граф, приглашая молодых людей сесть на диван. – Он ни слова не сказал мне о ваших затруднениях. А я, находясь здесь в полном одиночестве, только искал случая познакомиться с моими соседями. Как только я узнал, что могу быть вам чем-нибудь полезен, я, как видите, немедленно воспользовался случаем представиться вам.

Молодые люди ответили глубоким поклоном. Франц не проронил еще ни слова; он был в нерешительности: так как ничто не указывало на желание графа узнать его или быть узнанным, то он не знал, намекнуть ли ему на их первую встречу, или дождаться новых доказательств. К тому же если он был вполне уверен, что накануне в ложе видел именно этого человека, то он не мог бы утверждать столь же положительно, что это тот, кто за день перед тем был в Колизее; поэтому он решил не забегать вперед и ничего графу не говорить. Вдобавок у Франца было то преимущество перед Монте-Кристо, что он владел его тайной, тогда как тот не имел никакой власти над Францем, которому нечего было скрывать.

Все же он решил навести разговор на предмет, который мог бы разрешить некоторые его сомнения.

– Вы предоставили нам места в вашей коляске и в окнах палаццо Росполи, – сказал он, – так не научите ли вы нас, как нам получить какой-нибудь «пост», как говорят в Италии, на Пьяцца-дель-Пополо?

– Ах да, – ответил граф небрежным тоном, пристально вглядываясь в Морсера, – сегодня на Пьяцца-дель-Пополо, кажется, что-то вроде казни?

– Да, – сказал Франц, обрадованный тем, что граф сам затрагивает желательную ему тему.

– Позвольте, я вчера как будто велел моему управляющему заняться этим делом; может быть, я и тут смогу оказать вам маленькую услугу.

Он протянул руку к шнурку и позвонил три раза.

– Вы когда-нибудь задумывались над правильным распределением своего времени и над возможностью упростить вашим слугам хождение взад и вперед? – сказал он Францу. – Я изучил этот вопрос: теперь я звоню камердинеру один раз, дворецкому – два раза и управляющему – три раза. Таким образом, я не трачу ни одной лишней минуты и ни одного лишнего слова. А вот и мой управляющий.

В комнату вошел человек лет сорока пяти, похожий как две капли воды на того контрабандиста, который вводил Франца в пещеру Синдбада, но тот не подал виду, что узнает его. Франц понял, что таково было приказание графа.

– Господин Бертуччо, – сказал граф, – вы помните, что я вчера поручил вам достать окно на Пьяцца-дель-Пополо?

– Да, ваше сиятельство, – отвечал управляющий, – но так как было уже слишком поздно...

– Как! – воскликнул граф, нахмурив брови. – Я же сказал вам, что мне нужно окно?

– Ваше сиятельство и получит его, но так как оно было сдано князю Лобаньеву, то мне пришлось заплатить за него сто...

– Хорошо, хорошо, господин Бертуччо: избавьте моих гостей от хозяйственных подробностей; вы достали окно – это все, что требуется. Скажите адрес кучеру и ждите нас на лестнице, чтобы проводить нас; можете идти.

Управляющий отвесил поклон и повернулся к двери.

– Да, вот еще что, – продолжал граф, – будьте так любезны и узнайте у Пастрини, получил ли он «таволетту» и нельзя ли прислать мне

программу казни.

– Не беспокойтесь, – заявил Франц, вынимая из кармана записную книжку, – я сам видел эту табличку и списал с нее – вот, взгляните.

– Прекрасно. В таком случае, господин Бертуччо, можете идти, вы мне больше не нужны. Распорядитесь только, чтобы нам доложили, когда подадут завтрак. Надеюсь, вы окажете мне честь позавтракать со мною? – прибавил он, обращаясь к гостям.

– Но, право, граф, – сказал Альбер, – мы не можем так злоупотреблять вашим гостеприимством.

– Нет, нет, напротив, вы доставите мне большое удовольствие; когда-нибудь один из вас, а может быть и оба, отплатит мне тем же в Париже. Господин Бертуччо, распорядитесь, чтобы поставили три прибора.

Он взял из рук Франца записную книжку.

– Так, так, – продолжал он небрежным тоном, как будто читал театральную афишу, – «...22 февраля... будут казнены: Андреа Рондоло, осужденный за убийство высокоуважаемого и достопочтенного дона Чезаре Торлини, каноника церкви Св. Иоанна Латеранского, и Пеппино, прозванный Рокка Приори, уличенный в сообщничестве с презренным разбойником Луиджи Вампа и членами его шайки...» Гм!.. «Первый будет mazzolato. Второй будет decapitato». Да, – прибавил граф, – по-видимому, так все и должно было совершиться, но вчера, кажется, произошло изменение в порядке и ходе этой церемонии.

– Вот как? – сказал Франц.

– Да, я слышал вчера у кардинала Роспильози, где я провел вечер, что казнь одного из преступников отложена.

– Которого? Андреа Рондоло? – спросил Франц.

– Нет, – отвечал граф, – другого... – он заглянул в записную книжку, словно не мог вспомнить имени, – Пеппино, прозванного Рокка Приори. Это лишает вас гильотины; но у вас остается mazzolata, а это очень любопытная казнь, когда видишь ее впервые и даже во второй раз; тогда как гильотина, которая вам, впрочем, вероятно, знакома, слишком проста, слишком однообразна, в ней не бывает ничего неожиданного. Нож не срывается, не дрожит, не бьет мимо, не принимается за дело

тридцать раз, как тот солдат, который отсекал голову графу де Шале, хотя, конечно, возможно, что Ришелье поручил этого клиента особому вниманию палача. Нет, – продолжал граф презрительным тоном, – не говорите мне о европейцах, когда речь идет о пытках; они в них ничего не понимают, это совершенные младенцы или, вернее, дряхлые старики во всем, что касается жестокости.

– Можно подумать, граф, – сказал Франц, – что вы занимались сравнительным изучением казней у различных народов земного шара.

– Во всяком случае, мало найдется таких, которых бы я не видел, – хладнокровно ответил граф.

– Неужели вы находили удовольствие в таких ужасных зрелищах?

– Моим первым чувством было отвращение, потом равнодушие, под конец любопытство.

– Любопытство? Какое страшное слово!

– Почему? В жизни самое важное – смерть. Так разве не любопытно узнать, каким образом душа может расставаться с телом и как, сообразно со своим характером, темпераментом и даже местными нравами, люди переносят этот последний переход от бытия к небытию? Смею вас уверить: чем больше видишь умирающих, тем легче умирать; а потому я убежден, что смерть может быть казнью, но не искуплением.

– Я вас не вполне понимаю, – отвечал Франц. – Поясните вашу мысль, вы не можете себе представить, до какой степени то, что вы говорите, меня занимает.

– Послушайте, – сказал граф, и лицо его налилось желчью, как у других оно наливается кровью. – Если бы кто-нибудь заставил умереть в неслыханных пытках, в бесконечных мучениях вашего отца, или мать, или возлюбленную, словом кого-нибудь из тех близких людей, которые, будучи вырваны из нашего сердца, оставляют в нем вечную пустоту и вечно кровоточащую рану, неужели вы бы считали, что общество дало вам достаточное удовлетворение, потому что нож гильотины прошел между основанием затылочной кости и трапециевидными мышцами убийцы и тот, по чьей вине вы пережили долгие годы душевных мук, в течение нескольких секунд испытал физические страдания?

– Да, я знаю, – отвечал Франц, – человеческое правосудие – плохой утешитель; оно может пролить кровь за кровь и только; не следует требовать от него большего, чем оно может дать.

– И я еще говорю о таком случае, – продолжал граф, – когда общество, потрясенное в самых основах убийством одного из своих членов, воздает смертью за смерть. Но существуют миллионы мук, разрывающих сердце человека, которыми общество пренебрегает и за которые оно не мстит даже тем неудовлетворительным способом, о котором мы только что говорили. Разве нет преступлений, достойных более страшных пыток, чем кол, на который сажают у турок, чем вытягивание жил, принятое у ирокезов, а между тем равнодушное общество оставляет их безнаказанными?.. Скажите, разве нет таких преступлений?

– Есть, – отвечал Франц, – и ради них-то и терпят дуэль.

– Дуэль! – воскликнул граф. – Нечего сказать, славное средство достигнуть цели, когда эта цель – мщение! Человек похитил у вас возлюбленную, обольстил вашу жену, обесчестил вашу дочь; всю вашу жизнь, имевшую право ожидать от бога той доли счастья, которую он обещал каждому своему созданию, этот человек превратил в страдание, муку и позор! И вы будете чувствовать себя отомщенным, если этому человеку, который вверг ваш мозг в безумие, а сердце в отчаяние, вы проткнете шпагой грудь или всадите пулю в лоб? Полноте! Не говоря уже о том, что он нередко выходит из борьбы победителем, оправданным в глазах света и как бы прощенным богом. Нет, нет, – продолжал граф, – если мне суждено когда-нибудь мстить, то я буду мстить не так.

– Итак, вы отрицаете дуэль? Вы отказались бы драться? – спросил в свою очередь Альбер, удивленный странной теорией графа.

– Нет, почему же? – возразил граф. – Поймите меня: я буду драться за безделицу, за оскорбление, за попытку уличить меня во лжи, за пощечину и сделаю это тем более с легким сердцем, что благодаря приобретенному мною искусству во всем, что касается физических упражнений, и долголетней привычке к опасности я мог бы не сомневаться, что убью своего противника. Разумеется, за все это я стал

бы драться; но за глубокое, долгое, беспредельное, вечное страдание я отплатил бы точно такими же муками – око за око, зуб за зуб, как говорят люди Востока, наши извечные учители, эти избранники, сумевшие превратить жизнь в сон, а явь в земной рай.

– Но мне кажется, – возразил Франц, – поскольку вы одновременно становитесь и судьей, и палачом в вашем собственном деле, трудно удержаться на границе закона и самому не подпасть под его власть. Ненависть слепа, гнев безрассуден, и кто упивается мщением, рискует испить из горькой чаши.

– Да – если он беден и глуп; нет – если он обладает миллионами и умен. Впрочем, в самом худшем случае ему грозит только та казнь, о которой мы сейчас говорили и которой человеколюбивая французская революция заменила четвертование и колесование. А что для него казнь, если он отомщен? Право, мне почти жаль, что этот несчастный Пеппино, по-видимому, не будет «decapitato», как они выражаются; вы увидели бы, сколько это берет времени и стоит ли об этом говорить. Но, право же, господа, какой странный разговор для первого дня карнавала! С чего он начался? Ах да, помню! Вы изъявили желание иметь место в моем окне; ну что ж, пожалуйста; но прежде всего сядем за стол, потому что, кажется, завтрак готов.

В самом деле, одна из четырех дверей гостиной отворилась, и вошедший лакей произнес сакраментальные слова:

– Al suo commodo.[32]

Молодые люди поднялись и перешли в столовую. Во время завтрака, превосходного и изысканно сервированного, Франц старался поймать взгляд Альбера и прочесть в нем впечатление, которое, как он не сомневался, слова их хозяина должны были произвести на него; но потому ли, что тот, по свойственной ему беспечности, не обратил на них особого внимания, потому ли, что уступка, сделанная графом Монте-Кристо в вопросе о дуэли, примирила с ним Альбера, потому ли, наконец, что предшествовавшие обстоятельства, известные только Францу, только для него усугубляли значение высказанных графом взглядов, – но он не заметил, чтобы его приятель был чем-нибудь

озабочен; напротив того, он усердно оказывал честь завтраку, как человек, в продолжение почти пяти месяцев вынужденный довольствоваться итальянской кухней, как известно, одной из худших в мире. Что касается графа, то тот едва прикасался к кушаньям; казалось, что, садясь за стол со своими гостями, он исполнял только долг учтивости и ждал их ухода, чтобы велеть подать себе какое-нибудь странное или особенное блюдо.

Это невольно напомнило Францу тот ужас, который граф внушил графине Г., и ее уверенность, что граф, то есть человек, сидевший в ложе напротив, – вампир.

После завтрака Франц посмотрел на часы.

– Что вы? – спросил его граф.

– Извините нас, граф, – ответил Франц, – но у нас еще тысяча дел.

– Каких?

– У нас еще нет костюмов, а сегодня костюм обязателен.

– Об этом не беспокойтесь. На Пьяцца-дель-Пополо у нас, по-видимому, отдельная комната; я велю принести туда какие вам угодно костюмы, и мы переоденемся там же на месте.

– После казни? – воскликнул Франц.

– Разумеется, после, до или во время казни, как вам будет угодно.

– В виду эшафота?

– Эшафот входит в программу праздника.

– Знаете, граф, я раздумал, – сказал Франц, – я очень благодарен за вашу предупредительность, но я удовольствуюсь местом в вашей коляске и у окна палаццо Росполи и попрошу вас располагать моим местом на Пьяцца-дель-Пополо.

– Но должен вас предупредить, что вы лишаете себя очень любопытного зрелища, – отвечал граф.

– Вы мне о нем расскажете, – возразил Франц, – и я уверен, что в ваших устах рассказ произведет на меня не меньшее впечатление, чем произвело бы само зрелище. Впрочем, я уже несколько раз хотел посмотреть на смертную казнь и никогда не мог решиться; а вы, Альбер?

– Я видел казнь Кастена, – отвечал виконт, – но, кажется, я был навеселе; это было в день окончания коллежа, и мы провели ночь в каком-то кабаке.

– Если вы чего-либо не делали в Париже, то это еще не причина не делать этого в чужих краях, – сказал граф. – Путешествуешь, чтобы приобрести знания; меняешь места, чтобы увидеть новое. Подумайте, как вам будет стыдно, когда у вас спросят: «Как казнят в Риме?», а вы ответите: «Не знаю». Притом же осужденный, говорят, отъявленный мерзавец, негодяй, убивший каминным таганом почтенного каноника, который воспитал его, как сына. Черт возьми, когда убиваешь духовное лицо, нужно выбирать более приличное орудие, чем таган, особенно если это духовное лицо, быть может, твой отец. Если бы вы путешествовали по Испании, вы бы пошли взглянуть на бой быков, правда? Так предположите, что мы едем смотреть бой быков; вспомните о цирке древних римлян, об охотах, где убивали триста львов и сотню людей. Вспомните о восьмидесяти тысячах зрителей, хлопавших в ладоши, о почтенных матронах, приводивших с собою своих дочерей-невест, о прелестных белокурых весталках, подававших прелестным пальчиком знак, говоривший: «Ну, не ленитесь, добивайте скорей этого человека, он и так уже почти мертв».

– Вы поедете, Альбер? – спросил Франц.

– Пожалуй; я, как и вы, колебался, но красноречие графа меня убедило.

– Так поедемте, если вам угодно, – сказал Франц, – но по дороге на Пьяцца-дель-Пополо я бы хотел побывать на Корсо; возможно это?

– Пешком – да, в экипаже – нет.

– Так я пойду пешком.

– А вам необходимо попасть на Корсо?

– Да, мне там нужно кое-что посмотреть.

– Хорошо, пойдем пешком на Корсо, а экипаж поедет по виа дель-Бабуино и будет ждать нас на Пьяцца-дель-Пополо; я и сам ничего не имею против того, чтобы пройтись по Корсо и посмотреть, исполнены ли кое-какие мои распоряжения.

– Ваше сиятельство, – доложил, открывая дверь, лакей, – какой-то человек в одежде паломника просит позволения поговорить с вами.

– Да, знаю, – сказал граф. – Господа, не угодно ли вам пройти в гостиную? Там на столе вы найдете превосходные гаванские сигары... Через минуту я вернусь к вам.

Молодые люди встали и вышли в одну из дверей, между тем как граф, еще раз извинившись перед ними, вышел в другую. Альбер, большой любитель хороших сигар, считавший, что он приносит тяжелую жертву, обходясь без сигар Кафе-де-Пари, подошел к столу и вскрикнул от радости, увидав настоящие «пурос».

– Ну, – спросил его Франц, – что вы думаете о графе Монте-Кристо?

– Что я о нем думаю? – отвечал Альбер, явно удивленный таким вопросом со стороны своего приятеля. – Я думаю, что это премилый человек, радушный хозяин, который много видел, много изучал, много думал и принадлежит, как Брут, к школе стоиков, а в довершение всего, – прибавил он, любовно выпуская изо рта дым, спирально поднимающийся к потолку, – у него превосходные сигары.

Таково было мнение Альбера о графе. А так как Альбер всегда хвалился, что, только хорошенько поразмыслив, составляет себе мнение о ком бы то ни было и о чем бы то ни было, то Франц и не пытался ему противоречить.

– Но вы обратили внимание на одно очень странное обстоятельство? – сказал он.

– Какое?

– Вы заметили, как пристально он на вас смотрел?

– На меня?

– Да, на вас.

Альбер задумался.

– Увы, – сказал он со вздохом, – в этом нет ничего удивительного. Я уже год, как уехал из Парижа, и, вероятно, одет, как чучело. Граф, должно быть, принял меня за провинциала; разуверьте его, дорогой, и при первом случае скажите ему, что это совсем не так.

Франц улыбнулся. Минуту спустя вернулся граф.

– Вот и я, господа, и весь к вашим услугам, – сказал он. – Распоряжения отданы; экипаж направляется своей дорогой на Пьяцца-дель-Пополо, а мы пойдем туда же по Корсо, если вам угодно. Возьмите немного сигар, господин де Морсер.

– Охотно, граф, благодарю вас, – отвечал Альбер, – итальянские сигары еще хуже французских. Когда вы приедете в Париж, я расквитаюсь с вами.

– Не отказываюсь; я надеюсь когда-нибудь быть в Париже и, с вашего позволения, явлюсь к вам. Ну, господа, время не ждет, уже половина первого. Идем!

Все трое спустились вниз. Кучер выслушал последние распоряжения своего господина и поехал по виа дель-Бабуино, а граф с молодыми людьми направились к Пьяцца-ди-Спанья по виа Фраттина, которая вывела их на Корсо между палаццо Фиано и палаццо Росполи.

Франц во все глаза смотрел на окна этого дворца; он не забыл о сигнале, условленном в Колизее между транстеверинцем и человеком в плаще.

– Которые из этих окон ваши? – спросил он графа насколько мог естественным тоном.

– Три последних, – отвечал тот с непритворной беспечностью, не угадывая подлинного значения вопроса.

Франц быстро окинул взглядом окна. Боковые были затянуты желтой камкой, а среднее – белой с красным крестом.

Человек в плаще сдержал свое обещание, и сомнений больше не было: человек в плаще и был граф Монте-Кристо.

Все три окна были еще пусты.

Повсюду уже готовились к карнавалу, расставляя стулья, строили подмостки, затягивали окна. Маски не смели показываться, а экипажи – разъезжать, пока не ударит колокол; но маски угадывались за всеми окнами, а экипажи за всеми воротами.

Франц, Альбер и граф продолжали идти по Корсо. По мере того как они приближались к Пьяцца-дель-Пополо, толпа становилась все гуще. Над толпой в середине площади высился обелиск с венчающим его

крестом, а на скрещении трех улиц – Бабуино, Корсо и Рипетта – два столба эшафота, между которыми блестел полукруглый нож гильотины.

На углу они увидели графского управляющего, который ждал своего господина.

Окно, нанятое, по-видимому, за такую непомерную цену, что граф не хотел, чтобы гости знали об этом, находилось в третьем этаже большого дворца между виа дель-Бабуино и Монте-Пинчо. Комната представляла собой нечто вроде будуара, смежного со спальней; закрыв дверь спальни, занявшие будуар оказывались как бы у себя дома. На стульях были разложены весьма изящные костюмы паяцев из голубого и белого атласа.

– Так как вы разрешили мне самому выбрать костюмы, – сказал граф обоим друзьям, – то я распорядился, чтобы вам приготовили вот эти. Во-первых, в нынешнем году это самые модные, а во-вторых, они очень удобны для конфетти, потому что на них мука незаметна.

Франц почти не слышал слов графа и, может быть, даже недостаточно оценил его любезность; все его внимание было сосредоточено на том зрелище, которое представляла Пьяцца-дель-Пополо, и на страшном орудии, составлявшем в этот час ее главное украшение.

Первый раз в жизни Франц видел гильотину; мы говорим гильотину, потому что римская mandaia очень похожа на французское орудие смерти. Такой же нож, в виде полумесяца, режущий выпуклой стороной, но падающий с меньшей высоты, – вот и вся разница.

Два человека, сидя на откидной доске, на которую кладут осужденного, в ожидании казни закусывали – насколько мог рассмотреть Франц – хлебом и колбасой. Один из них приподнял доску, достал из-под нее флягу с вином, отпил глоток и передал ее товарищу; это были помощники палача.

Глядя на них, Франц чувствовал, что у корней его волос проступает пот.

Осужденные накануне были переведены из Новой тюрьмы в маленькую церковь Санта-Мария-дель-Пополо и провели там всю ночь, каждый с двумя священниками, приготовлявшими их к смерти, в

освещенной множеством свечей часовне, перед которой шагали взад и вперед ежечасно сменявшиеся часовые.

Двойной ряд карабинеров выстроился от дверей церкви до эшафота и окружал его кольцом, оставляя свободным проход футов в десять шириною, а вокруг гильотины – пространство шагов в сто в окружности. Вся остальная площадь была заполнена толпой. Многие женщины держали детей на плечах, откуда этим юным зрителям отлично был виден эшафот.

Монте Пинчо казался обширным амфитеатром, все уступы которого были усеяны народом; балконы обеих церквей, на углах виа дель-Бабуино и виа ди-Рипетта, были переполнены привилегированной публикой; ступени папертей напоминали морские волны, подгоняемые к портику непрерывным приливом; каждый выступ стены, достаточно широкий, чтобы на нем мог поместиться человек, служил пьедесталом для живой статуи.

Слова графа оправдывались: очевидно, в жизни нет более интересного зрелища, чем смерть.

А между тем вместо тишины, которая, казалось, приличествовала торжественности предстоящей церемонии, от толпы исходил громкий шум, слагавшийся из хохота, гиканья и радостных возгласов; по-видимому, и в этом граф оказался прав: казнь была для толпы не чем иным, как началом карнавала.

Вдруг, как по мановению волшебного жезла, шум затих; церковные двери распахнулись.

Впереди выступало братство кающихся пилигримов, одетых в серые мешки с вырезами для глаз, держа в руках зажженные свечи; первым шествовал глава братства.

За пилигримами шел мужчина огромного роста. Он был обнажен, если не считать коротких холщовых штанов; на левом боку у него висел большой нож, вложенный в ножны; на правом плече он нес тяжелую железную палицу. Это был палач.

На ногах у него были сандалии, привязанные у щиколоток бечевками.

Вслед за палачом, в том порядке, в каком они должны были быть казнены, шли Пеппино и Андреа.

Каждого из них сопровождали два священника.

Ни у того, ни у другого глаза не были завязаны.

Пеппино шел довольно твердым шагом; по-видимому, ему успели дать знать о том, что его ожидает.

Андреа священники вели под руки.

Осужденные время от времени целовали распятие, которое им прикладывали к губам.

При одном их виде Франц почувствовал, что у него подкашиваются ноги; он взглянул на Альбера. Тот, бледнее своей манишки, безотчетным движением отшвырнул сигару, хотя выкурил ее только до половины.

Один лишь граф был невозмутим. Мало того, легкий румянец проступил на его мертвенно-бледном лице.

Ноздри его раздувались, как у хищного зверя, чующего кровь, а полураскрытые губы обнажали ряд зубов, белых и острых, как у шакала.

И при всем том на лице его лежало выражение мягкой приветливости, какого Франц еще никогда у него не замечал; особенно удивительны были его ласковые бархатные глаза.

Между тем осужденные приблизились к эшафоту, и уже можно было разглядеть их лица. Пеппино был красивый смуглолицый малый лет двадцати пяти с вольным и диким взором. Он высоко держал голову, словно высматривая, с какой стороны придет спасение..

Андреа был толст и приземист; по его гнусному, жестокому лицу трудно было определить возраст; ему можно было дать лет тридцать. В тюрьме он отпустил бороду. Голова его свешивалась на плечо, ноги подкашивались; казалось, все его существо двигается покорно и механически, без участия воли.

– Вы говорили, кажется, что будут казнить только одного, – сказал Франц графу.

– И я не солгал вам, – холодно ответил тот.

– А между тем осужденных двое.

– Да; но один из них близок к смерти, а другой проживет еще много лет.

– На мой взгляд, если его должны помиловать, то сейчас самое время.

– Так оно и есть; взгляните, – сказал граф.

И в самом деле, в ту минуту, когда Пеппино подходил к подножию эшафота, пилигрим, по-видимому замешкавшийся, никем не остановленный, пробрался сквозь цепь солдат, подошел к главе братства и передал ему вчетверо сложенную бумагу.

От пламенного взгляда Пеппино не ускользнула ни одна подробность этой сцены; глава братства развернул бумагу, прочел ее и поднял руку.

– Да будет благословен господь, и хвала его святейшеству папе! – произнес он громко и отчетливо. – Один из осужденных помилован.

– Помилован! – вскрикнула толпа, как один человек. – Один помилован!

Услышав слова «помилован», Андреа встрепенулся и поднял голову.

– Кто помилован? – крикнул он.

Пеппино молча, тяжело дыша, застыл на месте.

– Помилован Пеппино, прозванный Рокка Приори, – сказал глава братства.

И он передал бумагу начальнику карабинеров; тот прочел ее и возвратил.

– Пеппино помилован! – закричал Андреа, сразу стряхнув с себя оцепенение. – Почему помиловали его, а не меня? Мы должны были оба умереть; мне обещали, что он умрет раньше меня; вы не имеете права убивать меня одного, я не хочу умирать один, не хочу!

Он вырывался из рук священников, извивался, вопил, рычал, как одержимый, и пытался разорвать веревки, связывавшие его руки.

Палач сделал знак своим помощникам, они соскочили с эшафота и схватили осужденного.

– Что там происходит? – спросил Франц, обращаясь к графу.

Так как все говорили на римском диалекте, то он плохо понимал, в чем дело.

– Что там происходит? – повторил граф. – Разве вы не догадываетесь? Этот человек, который сейчас умрет, буйствует оттого, что другой человек не умрет вместе с ним; если бы ему позволили, он разорвал бы его ногтями и зубами, лишь бы не оставить ему жизни, которой сам лишается. О люди, люди! Порождение крокодилов, как сказал Карл Моор! – воскликнул граф, потрясая кулаками над толпой. – Я узнаю вас, во все времена вы достойны самих себя!

Андреа и помощники палача катались по пыльной земле, и осужденный продолжал кричать:

– Он должен умереть! Я хочу, чтобы он умер! Вы не имеете права убивать меня одного!

– Смотрите, – сказал граф, схватив молодых людей за руки, – смотрите, ибо, клянусь вам, на это стоит посмотреть: вот человек, который покорился судьбе, который шел на плаху, который готов был умереть, как трус, правда, но без сопротивления и жалоб. Знаете, что придавало ему силы? Что утешало его? Знаете, почему он покорно ждал казни? Потому, что другой также терзался; потому, что другой также должен был умереть; потому, что другой должен был умереть раньше него! Поведите закалывать двух баранов, поведите двух быков на убой и дайте понять одному из них, что его товарищ не умрет; баран заблеет от радости, бык замычит от счастья, а человек, созданный по образу и подобию божию, человек, которому бог заповедал, как первейший, единственный, высший закон – любовь к ближнему, человек, которому бог дал язык, чтобы выражать свои мысли, – каков будет его первый крик, когда он узнает, что его товарищ спасен? Проклятие. Хвала человеку, венцу природы, царю творения!

И граф засмеялся, но таким страшным смехом, каким может смеяться только тот, кто много выстрадал.

Между тем борьба возле гильотины продолжалась; смотреть на это было невмоготу. Помощники палача тащили Андреа на эшафот; он восстановил против себя всю толпу, и двадцать тысяч голосов кричали: «Казнить! Казнить его!»

Франц отшатнулся; но граф снова схватил его за руку и держал у окна.

– Что с вами? – спросил он его. – Вам жаль его? Нечего сказать, уместная жалость! Если бы вы узнали, что под вашим окном бегает бешеная собака, вы схватили бы ружье, выскочили на улицу и без всякого сожаления застрелили бы в упор бедное животное, которое, в сущности, только тем и виновато, что его укусила другая бешеная собака, и оно платит тем же, а тут вы жалеете человека, которого никто не кусал и который тем не менее убил своего благодетеля и теперь, когда он не может убивать, потому что у него связаны руки, исступленно требует смерти своего товарища по заключению, своего товарища по несчастью! Нет, смотрите, смотрите!

Требование графа было почти излишне: Франц не мог оторвать глаз от страшного зрелища. Помощники палача втащили осужденного на эшафот и, несмотря на его пинки, укусы и крики, принудили его стать на колени. Палач стал сбоку от него, держа палицу наготове; по его знаку помощники отошли. Осужденный хотел приподняться, но не успел: палица с глухим стуком ударила его по левому виску; Андреа повалился ничком, как бык, потом перевернулся на спину. Тогда палач бросил палицу, вытащил нож, одним ударом перерезал ему горло, стал ему на живот и начал топтать его ногами. При каждом нажиме ноги струя крови била из шеи казненного.

Франц не мог дольше выдержать; он бросился в глубь комнаты и почти без чувств упал в кресло.

Альбер, зажмурив глаза, вцепился в портьеру окна.

Граф стоял, высоко подняв голову, словно торжествующий гений зла.

# XV. Карнавал в Риме

Когда Франц пришел в себя, он увидел, что Альбер, бледный как смерть, пьет воду, а граф уже облачается в костюм паяца. Франц невольно взглянул на площадь: гильотина, палачи, казненный – все исчезло; оставалась только толпа, шумная, возбужденная, веселая. Колокол Монте-Читорио, который возвещает только смерть папы и открытие карнавала, громко гудел.

– Что происходит? – спросил он графа.

– Ничего, ровно ничего, как видите, – отвечал тот. – Только карнавал открылся. Одевайтесь скорее.

– Удивительно, – сказал Франц, – этот ужас рассеялся, как сон.

– Да это и был только сон – кошмар, который вам привиделся.

– Мне – да; а казненному?

– И ему тоже; только он уснул навсегда, а вы проснулись; и кто скажет, который из вас счастливее?

– А где же Пеппино? – спросил Франц. – Что с ним сталось?

– Пеппино – малый рассудительный, без излишнего самолюбия; вместо того чтобы обидеться, что о нем позабыли, он воспользовался этим и нырнул в толпу, не поблагодарив даже почтенных священников, которые сопровождали его до эшафота. Поистине человек – животное неблагодарное и эгоистичное… Но одевайтесь, сударь, смотрите, ваш друг подает вам пример.

В самом деле Альбер уже натянул атласные штаны поверх черных панталон и лакированных башмаков.

– Ну как, Альбер, – спросил Франц, – расположены вы дурачиться? Только говорите правду.

– Нет, не расположен, – отвечал Альбер, – но, в сущности, я рад, что видел это. Я согласен с графом: если однажды хватило сил перенести такое зрелище, то в конце концов оно оказывается единственным, которое еще способно доставить сильные ощущения.

– Не говоря уже о том, что только в такие минуты можно изучать людей, – сказал граф. – На первой ступени эшафота смерть срывает маску, которую человек носил всю жизнь, и тогда показывается его истинное лицо. Надо сознаться, лицо Андреа было не из привлекательных... Какой мерзавец!.. Одевайтесь, господа, одевайтесь!

Со стороны Франца было бы смешно разыгрывать институтку и не последовать примеру своих спутников. Он надел костюм и маску, которая была нисколько не бледнее его лица.

Окончив туалет, они сошли вниз. У дверей их ждала коляска, полная конфетти и букетов.

Они заняли свое место в веренице экипажей.

Трудно было себе представить более резкую перемену. Вместо мрачного и безмолвного зрелища смерти Пьяцца-дель-Пополо являла картину веселой и шумной оргии. Маски толпами стекались отовсюду, выскакивали из дверей, вылезали из окон; из всех улиц выезжали экипажи, нагруженные пьерро, арлекинами, домино, маркизами, транстеверинцами, клоунами, рыцарями, поселянами; все это кричало, махало руками, швыряло яйца, начиненные мукой, конфетти, букеты, осыпало шутками и метательными снарядами своих и чужих, знакомых и незнакомых, и никто не имел права обижаться, – на все отвечали смехом.

Франц и Альбер походили на людей, которых привели в кабак, чтобы рассеять их тоску, и которые, по мере того как пьянеют, чувствуют, что прошлое заволакивается туманом. Они еще были во власти только что виденного; но мало-помалу они заразились общим весельем, им казалось, что их рассудок готов помутиться, их тянуло с головой окунуться в этот шум, в эту сутолоку, в этот неистовый вихрь. Горсть конфетти, брошенная из соседнего экипажа в Морсера, осыпала Альбера и его спутников, он почувствовал уколы на шее и на не защищенной маской части лица, словно в него бросили сотней булавок; это заставило его принять участие в общей битве, к которой уже присоединились все встречавшиеся им маски. Он тоже, как все, встал в экипаже и со всей

доступной ему силой и ловкостью принялся, в свою очередь, осыпать соседей яйцами и драже.

Ожесточенный бой начался. Воспоминание о виденном полчаса тому назад бесследно изгладилось из мыслей обоих друзей. Пестрая, изменчивая, головокружительная картина, бывшая у них перед глазами, поглощала их целиком. Что касается графа Монте-Кристо, то он, как мы уже говорили, во все время казни ни на минуту не терял спокойствия.

Вообразите длинную, красивую улицу Корсо, от края до края окаймленную нарядными дворцами, все балконы которых увешаны коврами и все окна задрапированы; на балконах и в окнах триста тысяч зрителей – римлян, итальянцев, чужестранцев, прибывших со всех концов света; смесь всех аристократий – аристократий крови, денег и таланта; прелестные женщины, увлеченные живописным зрелищем, наклоняются с балконов, высовываются из окон, осыпают проезжающих дождем конфетти, на который им отвечают букетами; воздух насыщен падающими вниз драже и летящими вверх цветами, а на тротуарах – сплошная беспечная толпа в самых нелепых костюмах: гуляющие исполинские кочны капусты, бычьи головы, мычащие, на человеческих туловищах, собаки, шагающие на задних лапах; и вдруг, во всей этой сумятице, под приподнятой маской, как в искушении св. Антония, пригрезившемся Калло, мелькает очаровательное лицо какой-нибудь Астарты, за которой бросаешься следом, но путь преграждают какие-то вертлявые бесы, вроде тех, что снятся по ночам, – вообразите все это, и вы получите слабое представление о том, что такое карнавал в Риме.

После того как они два раза проехали по Корсо, граф воспользовался остановкой в движении экипажей и попросил у своих спутников разрешения покинуть их, оставив коляску в их распоряжении. Франц поднял глаза и увидел фасад палаццо Росполи. В среднем окне, затянутом белой камкой с красным крестом, виднелось голубое домино, под которым воображение Франца тотчас нарисовало прелестную незнакомку, виденную им в театре Арджентина.

– Господа, – сказал граф, выходя из экипажа, – когда вам наскучит быть актерами и захочется превратиться в зрителей, не забудьте, что вас

ждут места у моих окон; а до тех пор располагайте моим кучером, экипажем и слугами.

Мы забыли сказать, что кучер графа был наряжен черным медведем, точь-в-точь как Одри в «Медведе и Паше», а лакеи, стоявшие на запятках, были одеты зелеными обезьянами; маски их были снабжены пружиной, при помощи которой они строили гримасы прохожим.

Франц поблагодарил графа за его любезное предложение; что касается Альбера, то он был занят тем, что засыпал цветами коляску, в которой сидели весьма кокетливо одетые поселянки.

К несчастью, поток экипажей снова пришел в движение, и в то время как его уносило к Пьяцца-дель-Пополо, экипаж, привлекший внимание Альбера, направился к Венецианскому дворцу.

– Вы видели? – сказал он Францу.

– Что? – спросил Франц.

– Вон ту коляску с поселянками?

– Нет.

– Жаль! Я уверен, что это очаровательные женщины.

– Какое несчастье, что вы в маске, – сказал Франц, – ведь это самый подходящий случай вознаградить себя за ваши любовные неудачи!

– Я очень надеюсь, что карнавал чем-нибудь да вознаградит меня, – отвечал Альбер полушутя, полусерьезно.

Вопреки надеждам Альбера день прошел без особенных приключений, если не считать нескольких встреч с той же коляской. Во время одной из этих встреч, случайно ли, нет ли, маска Альбера отвязалась.

Тогда он схватил в охапку весь оставшийся у него запас цветов и бросил его в коляску.

Вероятно, одна из очаровательных женщин, которых Альбер угадывал под нарядными костюмами поселянок, была тронута его вниманием; когда коляска снова поравнялась с экипажем молодых людей, она бросила им букет фиалок. Альбер подхватил его. Так как Франц не имел никаких оснований полагать, что фиалки предназначаются ему, то он не

препятствовал Альберу завладеть ими. Альбер победоносно вдел букет в петлицу, и экипаж торжественно проследовал дальше.

– Вот и начало любовного похождения! – сказал Франц.

– Смейтесь сколько угодно, – отвечал Альбер, – но я думаю, что это в самом деле так, и с этим букетом я уже не расстанусь.

– Еще бы! – продолжал, смеясь, Франц. – Как же иначе узнать друг друга?

Впрочем, шутка стала вскоре походить на правду, потому что, когда Франц и Альбер снова встретились с той же коляской, маска, бросившая Альберу букет, увидав, что он вдел его в петлицу, захлопала в ладоши.

– Браво, браво, – сказал Франц, – все идет как по маслу! Может быть, вы хотите, чтобы я оставил вас одного?

– Нет, нет, не будем торопиться! Я не хочу, чтобы она думала, что меня стоит только поманить. Если прелестной поселянке угодно продолжать игру, то мы найдем ее завтра, вернее, она сама нас найдет; она даст о себе знать, и тогда я решу, что делать.

– Браво, Альбер, вы мудры, как Нестор, и благоразумны, как Улисс; и если вашей Цирцее удастся превратить вас в какое-нибудь животное, то она или очень искусна, или очень могущественна.

Альбер был прав: прекрасная незнакомка, по-видимому, решила в этот день не продолжать заигрывания; молодые люди сделали еще несколько кругов, но больше не видели коляску с поселянками; она, вероятно, свернула в одну из боковых улиц.

Тогда они возвратились в палаццо Росполи, но там уже не было ни графа, ни голубого домино; у затянутых желтой камкой окон еще стояли зрители, вероятно, приглашенные графом.

В эту минуту тот же колокол, который возвестил начало карнавала, возвестил его окончание. Цепь экипажей на Корсо тотчас же распалась, и экипажи мгновенно скрылись в поперечных улицах.

Франц и Альбер находились как раз против виа-делле-Маратте.

Кучер, не говоря ни слова, свернул за угол и, миновав палаццо Росполи, выехал на Пьяцца-ди-Спанья и подкатил к гостинице.

Маэстро Пастрини вышел на порог встречать своих гостей.

Первой заботой Франца было осведомиться о графе и выразить сожаление, что они вовремя за ним не заехали; но Пастрини успокоил его, сказав, что граф Монте-Кристо заказал для себя второй экипаж, который и заехал за ним в палаццо Росполи. Кроме того, граф поручил ему передать молодым людям ключ от его ложи в театре Арджентина.

Франц спросил Альбера о его планах на вечер, но Альбер больше думал о том, как осуществить некий замысел, чем о театре; вместо того чтобы ответить Францу, он обратился к маэстро Пастрини с вопросом, не может ли тот достать ему портного.

– Портного? – спросил хозяин. – Зачем?

– Чтобы сшить нам к завтрашнему дню костюмы поселян, – сказал Альбер.

Маэстро Пастрини покачал головой.

– Сшить вам к завтрашнему дню два костюма! – воскликнул он. – Вот уж, право, не в обиду будь сказано, ваша милость, чисто французское желание. Два костюма! Да вы всю неделю карнавала не найдете ни одного портного, который согласился бы пришить полдюжины пуговиц к жилету, хотя бы вы заплатили ему по целому скудо за штуку!

– Значит, невозможно достать такие костюмы?

– Отчего же? Можно достать готовые. Поручите это дело мне, и завтра утром, проснувшись, вы найдете целую груду шляп, курток и штанов. Не беспокойтесь, останетесь довольны.

– Друг мой, – сказал Франц Альберу, – положимся на нашего хозяина; он уже доказал нам, что он человек находчивый; давайте пообедаем, а потом поедем слушать «Итальянку в Алжире».

– Так и быть, поедем слушать «Итальянку в Алжире», – сказал Альбер. – Но только помните, маэстро Пастрини, что для меня и для моего друга, – продолжал он, указав на Франца, – чрезвычайно важно завтра же иметь костюмы, о которых я вас просил.

Хозяин еще раз подтвердил, что их милостям не о чем беспокоиться и что все будет сделано согласно их пожеланиям, после чего Франц и Альбер отправились к себе, чтобы снять маскарадные костюмы паяцев.

Альбер бережно спрятал букетик фиалок; это была та примета, по которой прекрасная поселянка могла его узнать.

Друзья сели за стол; Альбер не преминул обратить внимание на существенную разницу между кухней маэстро Пастрини и кухней графа Монте-Кристо. И Франц, хотя и относился к графу с некоторым предубеждением, должен был по совести признать, что это сравнение было далеко не в пользу повара гостиницы.

Когда им подали десерт, лакей осведомился, в котором часу молодым людям нужен экипаж. Альбер и Франц в нерешительности переглянулись. Лакей угадал их мысль.

– Его сиятельство граф Монте-Кристо, – сказал он, – приказал, чтобы экипаж весь день был в распоряжении ваших милостей. Ваши милости могут располагать им без всякого стеснения.

Молодые люди решили воспользоваться любезным вниманием графа; они велели запрягать, а сами пошли переодеваться, ибо их костюмы несколько поизмялись во время многочисленных боев, в которых они принимали участие.

Переодевшись, они поехали в театр и расположились в ложе графа.

Во время первого действия в свою ложу вошла графиня Г. Она первым делом взглянула туда, где накануне сидел граф, и увидела Франца и Альбера в ложе того человека, о котором она не далее как накануне высказала Францу такое странное мнение.

Ее бинокль был так настойчиво направлен на Франца, что тот почувствовал, что было бы жестоко не удовлетворить тотчас же ее любопытство; поэтому, воспользовавшись привилегией итальянских театралов, которым разрешается превращать зрительный зал в собственную гостиную, приятели вышли из ложи и отправились засвидетельствовать свое почтение графине.

Не успели они войти, как графиня указала Францу на почетное место рядом с собою. Альбер сел сзади.

– Итак, – сказала она Францу, едва дав ему время сесть, – вы, по-видимому, не теряя времени, поспешили познакомиться с новоявленным лордом Рутвеном и даже подружились с ним?

– Не так коротко, как вы предполагаете, графиня, – отвечал Франц, – но не смею отрицать, что мы сегодня весь день пользовались его любезностью.

– Весь день?

– Да, именно весь день; утром мы у него завтракали, днем катались по Корсо в его экипаже, а теперь, вечером, сидим в его ложе.

– Так вы с ним знакомы?

– И да и нет.

– Как так?

– Это длинная история.

– Вы мне ее расскажете?

– Она напугает вас.

– Вот и хорошо.

– Подождите по крайней мере до развязки.

– Хорошо, я люблю законченные рассказы. Но все-таки расскажите, как вы встретились? Кто вас познакомил?

– Никто. Он сам познакомился с нами.

– Когда?

– Вчера вечером, после того как мы расстались.

– Каким образом?

– Через весьма прозаическое посредство хозяина нашей гостиницы.

– Так он тоже живет в гостинице «Лондон»?

– Да, и даже на одной площадке с нами.

– Как его зовут? Вы должны знать его имя.

– Разумеется. Граф Монте-Кристо.

– Что это такое? Это не родовое имя.

– Нет, это имя острова, который он купил.

– И он граф?

– Тосканский граф.

– Ну что ж, проглотим и этого, – сказала графиня, принадлежавшая к одной из древнейших венецианских фамилий. – Что он за человек?

– Спросите у виконта де Морсера.

– Слышите, виконт, – сказала графиня, – меня отсылают к вам.

– Мы были бы чересчур придирчивы, графиня, если бы не считали его очаровательным, – отвечал Альбер. – Человек, с которым мы были бы дружны десять лет, не сделал бы для нас того, что он сделал. И притом с такой любезностью, чуткостью и вниманием! Не приходится сомневаться, что это вполне светский человек.

– Вот увидите, – сказала графиня, смеясь, – что мой вампир какой-нибудь парвеню, который хочет, чтобы ему простили его миллионы, и поэтому старается казаться Ларой, чтобы его не спутали с господином Ротшильдом. А ее вы видели?

– Кого ее? – спросил Франц улыбнувшись.

– Вчерашнюю красавицу гречанку?

– Нет. Мы как будто слышали звуки ее лютни, но она осталась незримой.

– Не напускайте таинственности, дорогой Франц, – сказал Альбер. – Кто, по-вашему, был в голубом домино у окна, затянутого белой камкой?

– А где было это окно? – спросила графиня.

– В палаццо Росполи.

– Так у графа было окно в палаццо Росполи?

– Да. Вы были на Корсо?

– Конечно, была.

– Так вы, может быть, заметили два окна, затянутые желтой камкой, и одно, затянутое белой с красным крестом? Эти три окна принадлежат графу.

– Так это настоящий набоб! Вы знаете, сколько стоят три таких окна во время карнавала, да еще в палаццо Росполи, в лучшем месте Корсо?

– Двести или триста римских скудо.

– Скажите лучше – две или три тысячи.

– Ах, черт возьми!

– Это его остров приносит ему такие доходы?

– Его остров? Он не приносит ему ни гроша.

– Так зачем же он его купил?

– Из прихоти.

– Так он оригинал?

– Должен сознаться, – сказал Альбер, – что он мне показался несколько эксцентричным. Если бы он жил в Париже и появлялся в свете, то я сказал бы, что он либо шут, ломающий комедию, либо прощелыга, которого погубила литература; он сегодня произносил монологи, достойные Дидье или Антони.[33]

В ложу вошел новый гость, и Франц согласно этикету уступил ему свое место. Разговор, естественно, принял другое направление.

Час спустя друзья вернулись в гостиницу. Маэстро Пастрини уже позаботился об их костюмах и уверял, что они будут довольны его распорядительностью.

В самом деле, на следующий день в десять часов утра он вошел в комнату Франца в сопровождении портного, нагруженного костюмами римских поселян. Друзья выбрали себе два одинаковых, более или менее по росту, и велели нашить на каждую из шляп метров по двадцать лент, а также достать им два шелковых шарфа с поперечными пестрыми полосами, которыми крестьяне подпоясываются в праздничные дни.

Альберу не терпелось посмотреть, идет ли ему его новый костюм; он состоял из куртки и штанов голубого бархата, чулок со стрелками, башмаков с пряжками и шелкового жилета. Наружность Альбера могла только выиграть в этом живописном костюме, и, когда он стянул поясом свою стройную талию и заломил набекрень шляпу, на которой развевались ленты, Францу пришло на ум, что физическое превосходство, которое мы приписываем некоторым народам, нередко зависит от костюма. Например, турки, некогда столь живописные в своих длинных халатах ярких цветов, разве не отвратительны теперь в синих, наглухо застегнутых сюртуках и греческих фесках, делающих их похожими на винные бутылки, запечатанные красным сургучом?

Франц сказал несколько лестных слов Альберу, который, стоя перед зеркалом, взирал на себя с улыбкой, в значении которой было бы трудно усомниться.

Вошедший граф Монте-Кристо застал их за этим занятием.

– Господа, – сказал он, – как ни приятно делить с кем-нибудь веселье, но свобода еще приятнее, а потому я пришел сказать вам, что на сегодня

и на все остальные дни предоставляю в полное ваше распоряжение экипаж, в котором вы вчера катались. Наш хозяин, вероятно, сказал вам, что я держу у него три или четыре экипажа, так что вы меня не стесните; пользуйтесь им совершенно свободно и для развлечений, и для дел. Если вам нужно будет повидаться со мной, вы всегда найдете меня в палаццо Росполи.

Молодые люди начали было отнекиваться, но, в сущности, у них не было никаких веских причин отказываться от предложения, для них весьма приятного, и они кончили тем, что приняли его.

Граф Монте-Кристо просидел у них с четверть часа, с полной непринужденностью разговаривая о том о сем. Как мы уже заметили, он был знаком с литературой всех народов. Один взгляд на стены его гостиной показал Альберу и Францу, что он любитель картин. Несколько беглых, оброненных при случае замечаний доказали им, что он не чужд наукам; его, по-видимому, особенно занимала химия.

Молодые люди не притязали на то, чтобы отплатить графу радушием за радушие; с их стороны было бы нелепо в ответ на его изысканный завтрак предложить ему отведать весьма посредственной стряпни маэстро Пастрини. Они откровенно высказали ему это, и он вполне оценил их такт.

Альбер восхищался манерами графа и признал бы его за истинного джентльмена, если бы тот не был так учен. Больше всего его радовала возможность свободно располагать коляской. Он имел виды на своих прелестных поселянок, а так как накануне они катались в весьма элегантном экипаже, то ему очень хотелось не уступать им в этом отношении. В половине второго молодые люди вышли на крыльцо; кучер и лакеи придумали надеть ливреи поверх своих звериных шкур, отчего стали еще смешнее вчерашнего и заслужили похвалы Альбера и Франца.

Увядший букетик фиалок трогательно поник в петличке Альбера.

С первым ударом колокола они пустились в путь по виа Виттория и устремились на Корсо.

На втором круге в их коляску упал букетик свежих фиалок, брошенный из экипажа, в котором сидели женщины, одетые паяцами. Альбер понял,

что по их примеру вчерашние поселянки переменили костюмы и что, быть может, случайно, а возможно, из тех же галантных намерений «контадинки» нарядились паяцами.

Альбер заменил увядший букетик свежим, но продолжал держать его в руке, и когда снова поравнялся с коляской, то нежно поднес его к губам, что, по-видимому, доставило большое удовольствие не только бросившей букетик даме, но и ее веселым подругам.

Оживление на Корсо было не меньше, чем накануне; очень вероятно, что тонкий наблюдатель подметил бы даже возрастание шума и веселья. Граф на минуту показался в своем окне, но когда экипаж второй раз проезжал мимо, его уже не было.

Заигрывание между Альбером и дамой с фиалками продолжалось, разумеется, весь день.

Вечером, вернувшись домой, Франц нашел письмо из посольства; ему сообщали, что завтра его святейшество окажет ему честь принять его. Каждый раз, когда он бывал в Риме, он испрашивал эту милость; и, как всегда, движимый не только благочестием, но и благодарностью, он не хотел покинуть столицу христианского мира, не повергнув свое почтительное поклонение к стопам наместника св. Петра, являвшего собой редкий образец всех добродетелей.

Поэтому для него не могло быть и речи, чтобы на следующий день принять участие в карнавале. Ибо, невзирая на сердечную доброту, которая сопутствует его величию, никто без благоговейного трепета не готовится преклонить колени перед благородным старцем, именуемым Григорием XVI.

Выйдя из Ватикана, Франц прямым путем вернулся в гостиницу, избегая даже мимоходом пройти по Корсо. Он был полон благочестивых мыслей и боялся осквернить их безумствами карнавала.

В десять минут шестого вернулся Альбер. Он был в полном восторге; его дама появилась снова в костюме поселянки и, встретясь с коляской Альбера, подняла маску. Она была очаровательна.

Франц искренно поздравил Альбера; тот принял его поздравления как должное. Он уверял, что по некоторым признакам прекрасная

незнакомка, несомненно, принадлежит к высшей аристократии. Он твердо решил на следующий день написать ей. Франц, выслушав это признание, догадался, что Альбер хочет о чем-то попросить его, но стесняется. Он стал допытываться, уверяя своего друга, что ради его счастья готов на любые жертвы. Альбер заставил себя просить ровно столько, сколько требовала учтивость, а затем признался Францу, что тот окажет ему большую услугу, если согласится на другой день уступить коляску ему одному.

Альбер считал, что прекрасная поселянка приподняла маску только потому, что он был один.

Разумеется, Франц не был таким эгоистом, чтобы мешать Альберу в самом разгаре приключения, обещавшего быть столь приятным и лестным. Он хорошо знал беззастенчивую болтливость своего легкомысленного друга и не сомневался, что тот расскажет ему о своем романе со всеми подробностями, а так как, исколесив всю Италию вдоль и поперек, он сам за три года ни разу не имел случая даже завязать какую-нибудь интрижку, то он не прочь был узнать, как это делается.

Он обещал Альберу удовольствоваться ролью зрителя и сказал, что будет любоваться карнавалом из окон палаццо Росполи.

Франц сдержал слово и на другой день, стоя у окна, смотрел, как Альбер катается взад и вперед по Корсо. В руках он держал огромный букет, в который, вероятно, была засунута любовная записка. Это предположение превратилось в уверенность, когда Франц увидел этот букет в руках очаровательной женщины, одетой в розовый костюм паяца.

Альбер вернулся домой уже не в восторге, а в экстазе. Он не сомневался, что прекрасная незнакомка ответит ему тем же способом. Франц пошел навстречу его желаниям, заявив, что он устал от всей этой сутолоки и решил весь следующий день посвятить своему альбому и своим заметкам.

Альбер не ошибся в своих прорицаниях: на другой день, вечером, он влетел в комнату Франца, держа за уголок сложенную вчетверо бумажку и победно размахивая ею.

– Ну что? – воскликнул он. – Что я говорил?

– Она ответила! – воскликнул Франц.

– Читайте.

Тон, которым это было сказано, не поддается описанию. Франц взял записку и прочел:

«Во вторник вечером, в семь часов, выйдите из коляски против виа деи-Понтефичи и последуйте за поселянкой, которая вырвет у вас мокколетто. Когда вы взойдете на первую ступеньку церкви Сан-Джакомо, не забудьте привязать к рукаву вашего костюма паяца розовый бант.

До вторника вы меня не увидите.

Верность и тайна».

– Ну-с, дорогой друг, – сказал Альбер, когда Франц прочел письмо, – что вы на это скажете?

– Скажу, – отвечал Франц, – что дело принимает весьма приятный оборот.

– И я так думаю, – сказал Альбер, – и очень боюсь, что вам придется ехать одному на бал к герцогу Браччано.

Франц и Альбер утром получили приглашение на бал к знаменитому римскому банкиру.

– Берегитесь, дорогой Альбер, – сказал Франц, – у герцога соберется вся знать; и если ваша прекрасная незнакомка в самом деле аристократка, то она должна будет там появиться.

– Появится она там или нет, я не изменю своего мнения о ней, – сказал Альбер. – Вы прочли записку?

– Да.

– Вы знаете, какое образование получают в Италии женщины mezzo cito?[34]

– Да, – ответил Франц.

– Так перечтите записку, обратите внимание на почерк и найдите хоть одну стилистическую или орфографическую ошибку.

В самом деле почерк был прекрасный, орфография безукоризненна.

– Вам везет! – сказал Франц, возвращая записку Альберу.

– Смейтесь сколько вам угодно, шутите сколько хотите, – возразил Альбер, – а я влюблен.

– Боже мой, вы меня пугаете, – сказал Франц, – я вижу, что мне придется не только ехать без вас на бал к герцогу Браччано, но даже того и гляди одному вернуться во Флоренцию.

– Во всяком случае, если моя незнакомка так же любезна, как хороша собой, то я решительно заявляю, что остаюсь в Риме по меньшей мере на шесть недель. Я обожаю Рим и к тому же всегда имел склонность к археологии.

– Еще два-три таких приключения, и я начну надеяться, что увижу вас членом Академии надписей и изящной словесности.

Вероятно, Альбер принялся бы серьезно обсуждать свои права на академическое кресло, но слуга доложил, что обед подан. Альбер никогда не терял аппетита из-за любви. Поэтому он поспешил сесть за стол вместе с приятелем, готовясь возобновить этот разговор после обеда.

Но после обеда доложили о приходе графа Монте-Кристо. Молодые люди уже два дня не видели его. От маэстро Пастрини они узнали, что он уехал по делам в Чивита-Веккию. Уехал он накануне вечером и только час как вернулся.

Граф был чрезвычайно мил. Либо он сдерживался, либо на сей раз не нашлось повода для высказывания язвительных и горьких мыслей, но только в этот вечер он был такой, как все. Францу он казался неразрешимой загадкой. Граф, конечно, отлично знал, что его гость на острове Монте-Кристо узнал его; между тем он со времени их второй встречи ни словом не обмолвился о том, что уже однажды видел его. А Франц, как ему ни хотелось намекнуть на их первую встречу, боялся досадить человеку, показавшему себя таким предупредительным по отношению к нему и к его другу; поэтому он продолжал ту же игру, что и граф.

Монте-Кристо, узнав, что Франц и Альбер хотели купить ложу в театре Арджентина и что все ложи оказались заняты, принес им ключ от своей ложи, – так по крайней мере он объяснил свое посещение.

Франц и Альбер стали было отказываться, говоря, что не хотят лишать его удовольствия; но граф возразил, что собирается в театр Палли и его ложа в театре Арджентина будет пустовать, если они ею не воспользуются.

После этого молодые люди согласились.

Франц мало-помалу привык к бледности графа, так сильно поразившей его в первый раз. Он не мог не отдать должного строгой красоте его лица, главным недостатком или, быть может, главным достоинством которого была бледность. Граф был настоящий байроновский герой, и Францу стоило не только увидеть его, но хотя бы подумать о нем, чтобы тотчас же представить себе его мрачную голову на плечах Манфреда или под шляпой Лары. Его лоб был изборожден морщинами, говорящими о неотступных горьких думах; пламенный взор проникал до самой глубины души; насмешливые и гордые губы придавали всему, что он говорил, особенный оттенок, благодаря которому его слова неизгладимо врезывались в память слушателей.

Графу было, вероятно, уже лет сорок, но никто бы не усомнился, что он одержал бы верх над любым более молодым соперником. В довершение сходства с фантастическими героями английского поэта он обладал огромным обаянием.

Альбер не переставал твердить о счастливой случайности, благодаря которой они познакомились с таким неоценимым человеком. Франц был более сдержан, но и он поддавался тому влиянию, которое всегда оказывает на окружающих незаурядный человек.

Он вспомнил о том, что граф уже несколько раз выражал намерение посетить Париж, и не сомневался, что при своей эксцентричности, характерной наружности и несметном богатстве граф произведет там сенсацию.

А между тем он не чувствовал никакого желания очутиться в Париже одновременно с ним.

Вечер прошел так, как обычно проходят вечера в итальянских театрах: зрители, вместо того чтобы слушать певцов, ходили друг к другу в гости. Графиня Г. хотела навести разговор на графа, но Франц сказал ей, что у

него есть гораздо более занимательная новость и, невзирая на лицемерные протесты Альбера, сообщил ей о великом событии, уже три дня занимавшем мысли обоих друзей.

Такие приключения, если верить путешественникам, в Италии не редкость – поэтому графиня не выразила никакого удивления и поздравила Альбера с началом любовного похождения, обещавшего так приятно завершиться.

Молодые люди откланялись, условившись встретиться с графиней на балу у герцога Браччано, куда был приглашен весь Рим. Дама с фиалками сдержала слово: ни на следующий, ни на третий день она не давала о себе знать.

Наконец наступил вторник – последний, самый шумный день карнавала. В этот вторник театры открываются с утра, в десять часов, потому что в восемь часов вечера начинается пост. Во вторник все, кто по недостатку денег, времени или охоты не принимал участия в празднике, присоединяются к вакханалии и вносят свою долю в общее движение и шум.

С двух часов до пяти Франц и Альбер кружили в цепи экипажей и перебрасывались пригоршнями конфетти со встречными колясками и пешеходами, которые протискивались между ногами лошадей и колесами экипажей так ловко, что, несмотря на невообразимую давку, не произошло ни одного несчастного случая, ни одной ссоры, ни одной потасовки. Итальянцы в этом отношении удивительный народ. Для них праздник – поистине праздник. Автор этой повести, проживший в Италии около шести лет, не помнит, чтобы какое-нибудь торжество было нарушено одним из тех происшествий, которые неизменно сопутствуют нашим празднествам.

Альбер красовался в своем костюме паяца; на плече развевался розовый бант, концы которого свисали до колен. Чтобы не произошло путаницы, Франц надел костюм поселянина.

Чем ближе время подходило к вечеру, тем громче становился шум. На мостовой, в экипажах, у окна не было рта, который бы безмолвствовал, не было руки, которая бы бездействовала; это был поистине

человеческий ураган, слагавшийся из грома криков и града конфетти, драже, яиц с мукой, апельсинов и цветов.

В три часа звуки выстрелов, с трудом покрывая этот дикий шум, одновременно раздались на Пьяцца-дель-Пополо и у Венецианского дворца и возвестили начало скачек.

Скачки, так же как и мокколи, составляют непременную принадлежность последнего дня карнавала. По звуку выстрелов экипажи тотчас вышли из цепи и рассыпались по ближайшим боковым улицам.

Все эти маневры совершаются, кстати сказать, с удивительной ловкостью и быстротой, хотя полиция нисколько не заботится о том, чтобы указывать места или направлять движение.

Пешеходы стали вплотную к дворцам, послышались топот копыт и стук сабель.

Отряд карабинеров, по пятнадцати в ряд, развернувшись во всю ширину улицы, промчался галопом по Корсо, очищая его для скачек. Когда отряд доскакал до Венецианского дворца, новые выстрелы возвестили, что улица свободна.

В ту же минуту под неистовый оглушительный рев, словно тени, пронеслись восемь лошадей, подстрекаемые криками трехсот тысяч зрителей и железными колючками, которые прыгали у них на спинах. Немного погодя с замка Св. Ангела раздалось три пушечных выстрела – это означало, что выиграл третий номер.

Тотчас же, без всякого другого сигнала, экипажи снова хлынули на Корсо из всех соседних улиц, словно на миг задержанные ручьи разом устремились в питаемое ими русло, и огромная река понеслась быстрее прежнего между гранитными берегами.

Но теперь к чудовищному водовороту прибавился еще новый источник шума и сутолоки: на сцену выступили продавцы мокколи.

Мокколи, или мокколетти, – это восковые свечи разной толщины, начиная от пасхальной свечи и кончая самой тоненькой свечкой; для действующих лиц последнего акта карнавала в Риме они являются предметом двух противоположных забот:

1) не давать гасить свой мокколетто;

2) гасить чужие мокколетти.

В этом смысле мокколетто похож на жизнь: человек нашел только один способ передавать ее, да и тот получил от бога.

Но он нашел тысячу способов губить ее; правда, в этом случае ему несколько помогал дьявол.

Чтобы зажечь мокколетто, достаточно поднести его к огню.

Но как описать тысячи способов, изобретенных для тушения мокколетти: исполинские мехи, чудовищные гасильники, гигантские веера?

Мокколетти раскупали нарасхват. Франц и Альбер последовали примеру других.

Вечер быстро наступал, и под пронзительный крик тысяч продавцов: «Мокколи!» – над толпой зажглись первые звезды. Это послужило сигналом. Не прошло и десяти минут, как от Венецианского дворца до Пьяцца-дель-Пополо засверкало пятьдесят тысяч огоньков.

Это был словно праздник блуждающих огней.

Трудно представить себе это зрелище.

Вообразите, что все звезды спустились с неба и закружились на земле в неистовой пляске. А в воздухе стоит такой крик, какого никогда не слышало человеческое ухо на всем остальном земном шаре.

К этому времени окончательно исчезают все сословные различия. Факкино преследует князя, князь – транстеверинца, транстеверинец – купца; и все это дует, гасит, снова зажигает. Если бы в этот миг появился древний Эол, он был бы провозглашен королем мокколи, а Аквилон – наследным принцем.

Этот яростный огненный бой длился около двух часов; на Корсо было светло, как днем; можно было разглядеть лица зрителей в окнах четвертого и пятого этажей.

Каждые пять минут Альбер смотрел на часы; наконец, они показали семь.

Друзья проезжали как раз мимо виа деи-Понтефичи. Альбер выскочил из коляски, держа в руке мокколетто.

Несколько масок окружило его, дуя на его свечу; но, будучи ловким боксером, он отшвырнул их от себя шагов на десять и побежал к церкви Сан-Джакомо.

Паперть кишела любопытными и масками, которые наперерыв старались выхватить или потушить друг у друга свечу. Франц следил глазами за Альбером и видел, как тот взошел на первую ступеньку; почти тотчас же маска, одетая в столь хорошо знакомый костюм поселянки, протянула руку, и на этот раз Альбер без сопротивления отдал мокколетто.

Франц был слишком далеко, чтобы слышать слова, которыми они обменялись; но, по-видимому, разговор был мирный, ибо Альбер и поселянка удалились рука об руку. Франц еще с минуту смотрел им вслед, но скоро потерял их из виду.

Внезапно раздались звуки колокола, возвещавшего конец карнавала, и в ту же секунду, как по мановению волшебного жезла, все мокколетти разом погасли, словно могучий ветер единым дыханием задул их.

Франц очутился в полной темноте. Вместе с огнями исчез и шум, словно тот же порыв ветра унес с собой и крики. Слышен был только стук экипажей, развозивших маски по домам; видны были только редкие огоньки, светившиеся в окнах.

Карнавал кончился.

# XVI. Катакомбы Сан-Себастьяно

Быть может, никогда в жизни Франц не испытывал такого резкого перехода от веселья к унынию; словно некий дух ночи одним мановением превратил весь Рим в огромную могилу. Тьма усугублялась тем, что ущербная луна еще не появлялась на небе; поэтому улицы, по которым проезжал Франц, были погружены в непроницаемый мрак. Впрочем, путь был не длинный; минут через десять его коляска, или, вернее, коляска графа, остановилась у дверей гостиницы.

Обед ждал его. Так как Альбер предупредил, что не рассчитывает рано вернуться, то Франц сел за стол один.

Маэстро Пастрини, привыкший видеть их всегда вместе, осведомился, почему Альбер не обедает. Франц отвечал, что Альбер приглашен в гости. Внезапное исчезновение огней, тьма, сменившая яркий свет, тишина, поглотившая шум, – все это вызвало в душе Франца безотчетную грусть, не лишенную смутной тревоги. Обед прошел молчаливо, несмотря на угодливую заботливость хозяина, то и дело заходившего узнать, всем ли доволен его постоялец. Франц решил ждать Альбера до последней минуты. Поэтому он велел подать экипаж только к одиннадцати часам и попросил маэстро Пастрини немедленно дать ему знать, если Альбер явится в гостиницу. К одиннадцати часам Альбер не вернулся. Франц оделся и уехал, предупредив хозяина, что проведет ночь на балу у герцога Браччано.

Дом герцога Браччано – один из приятнейших в Риме; супруга его, принадлежащая к старинному роду Колона, – очаровательная хозяйка, и их приемы получили европейскую известность. Франц и Альбер оба приехали в Рим с рекомендательными письмами к герцогу; поэтому первый вопрос, заданный им Францу, касался его спутника. Франц отвечал, что они расстались в ту минуту, когда гасили мокколетти, и что он потерял его из виду близ виа Мачелло.

– Так он до сих пор не вернулся домой? – спросил герцог.

– Я ждал его до одиннадцати часов, – ответил Франц.

– А вы знаете, куда он пошел?

– Точно не знаю; кажется, чуть ли не на свидание.

– Черт возьми! – сказал герцог. – Сегодня плохой день или, лучше сказать, плохая ночь для поздних прогулок; не правда ли, графиня?

Последние слова относились к графине Г., которая только что появилась под руку с г-ном Торлониа, братом герцога.

– Я нахожу, напротив, что это чудесная ночь, – отвечала графиня, – и те, кто здесь собрался, будут жалеть лишь о том, что она пролетела слишком быстро.

– Я и не говорю о тех, кто здесь собрался, – возразил, улыбаясь, герцог. – Единственная опасность, которая им грозит, это влюбиться в вас, если это мужчина, а если это женщина, то заболеть от зависти к вашей красоте; я говорю о тех, кто бродит по улицам Рима.

– Да кто же в этот час бродит по улицам, если только он не отправляется на бал? – спросила графиня.

– Наш друг Альбер де Морсер, с которым я расстался в семь часов, – сказал Франц. – Он преследовал свою незнакомку, и я его с тех пор не видел.

– Как? И вы не знаете, где он?

– Не имею ни малейшего понятия.

– У него есть оружие?

– Он в костюме паяца.

– Вам не следовало его пускать, – сказал герцог, – ведь вы знаете Рим лучше его.

– Как бы не так! Легче было бы остановить третий номер, который выиграл сегодня скачку, – отвечал Франц. – И потом, что же может с ним случиться?

– Кто знает? Ночь очень темная, а от виа Мачелло до Тибра рукой подать.

У Франца мороз пробежал по коже, когда он увидел, что герцог и графиня разделяют его собственную тревогу.

– Я предупредил в гостинице, что еду к вам, – сказал Франц, – и мне должны сообщить, как только он вернется.

– Да вот, – сказал герцог, – вас, кажется, ищет мой лакей.

Герцог не ошибся, увидев Франца, лакей подошел к нему.

– Ваша милость, – сказал он, – хозяин гостиницы «Лондон» прислал сказать вам, что вас дожидается какой-то человек с письмом от виконта де Морсера.

– С письмом от виконта! – вскричал Франц.

– Точно так.

– А что за человек?

– Не знаю.

– Почему он сам не принес сюда письмо?

– Посланный не дал мне никаких объяснений.

– А где посланный?

– Он ушел, когда увидел, что я отправился в залу доложить вам.

– Боже мой! – сказала графиня Францу. – Ступайте скорее. Бедняга! С ним, может быть, случилось несчастье.

– Бегу, – сказал Франц.

– Вы вернетесь сюда и все расскажете? – спросила графиня.

– Да, если ничего серьезного не произошло; в противном случае я ни за что не могу поручиться.

– Во всяком случае, будьте осторожны, – сказала графиня.

– О, не беспокойтесь.

Франц взял шляпу и поспешно вышел. Приехав на бал, он отослал экипаж и велел кучеру вернуться в два часа ночи; но, к счастью, дворец герцога, выходящий одной стороной на Корсо, а другой на площадь Св. Апостолов, находился не более как в десяти минутах ходьбы от гостиницы «Лондон». Подойдя к дверям, Франц увидел человека, стоявшего посреди улицы; он ни минуты не сомневался, что это посланный Альбера. Человек был закутан в широкий плащ. Франц направился к нему, но, к немалому его удивлению, тот первый заговорил с ним.

– Что угодно от меня вашей милости? – спросил он, отступая на шаг.

– Это вы принесли мне письмо от виконта де Морсера? – спросил Франц.

– Ваша милость живет в гостинице Пастрини?

– Да.

– Ваша милость путешествует вместе с виконтом?

– Да.

– Как зовут вашу милость?

– Барон Франц д'Эпине.

– Значит, письмо адресовано именно вашей милости.

– Нужен ответ? – спросил Франц, беря у него из рук письмо.

– Да, по крайней мере ваш друг надеется на ответ.

– Так поднимитесь ко мне.

– Нет, я лучше подожду здесь, – усмехнувшись, сказал посланный.

– Почему?

– Ваша милость поймет, когда прочтет письмо.

– Так я найду вас здесь?

– Непременно.

Франц вошел в гостиницу; на лестнице он встретился с маэстро Пастрини.

– Ну что? – спросил его тот.

– Что именно? – сказал Франц.

– Вы видели человека, который пришел к вам по поручению вашего друга? – спросил хозяин.

– Да, видел, – отвечал Франц, – он передал мне письмо. Велите, пожалуйста, подать огня.

Хозяин приказал слуге принести свечу. Францу показалось, что у маэстро Пастрини весьма растерянный вид, и это еще усилило его желание поскорее прочесть письмо Альбера; как только слуга зажег свечу, он поспешно развернул листок бумаги. Письмо было написано рукой Альбера, под ним стояло его имя. Франц прочел его дважды – настолько неожиданно было его содержание. Вот оно от слова до слова:

*«Дорогой друг, тотчас же по получении этого письма возьмите из моего бумажника, который вы найдете в ящике письменного стола, мой аккредитив, присоедините к нему и свой, если моего будет*

*недостаточно... Бегите к Торлониа, возьмите у него четыре тысячи пиастров и вручите их подателю сего. Необходимо, чтобы эта сумма была мне доставлена без промедления.*

*Ограничиваюсь этим, ибо полагаюсь на вас так же, как вы могли бы положиться на меня.*

*Ваш друг*

*P.S. I believe now in Italian bandits.*[35]

*Альбер де Морсер».*

Под этими строками другим почерком было написано по-итальянски:

*«Se alle sei della mattina le quattro mila piastre non sono nelle mie mani, alle sette il conte Alberto avra cessato di vivere.*

*Luigi Vampa».*[36]

Вторая подпись все объяснила Францу, и он понял нежелание посланного подняться к нему в комнату: он считал более безопасным для себя оставаться на улице. Альбер попал в руки того самого знаменитого разбойника, в существование которого упорно не хотел верить.

Нельзя было терять ни минуты. Франц бросился к письменному столу, отпер его, нашел в ящике бумажник, а в бумажнике аккредитив; аккредитив был на шесть тысяч пиастров, но из них Альбер уже издержал три тысячи. Что касается Франца, то у него вовсе не было аккредитива; так как он жил во Флоренции и приехал в Рим всего лишь на неделю, то он взял с собой только сотню луидоров, и из этой сотни у него оставалось не более половины. Таким образом, не хватало семи или восьми сотен пиастров до необходимой Альберу суммы. Правда, в таких необычайных обстоятельствах Франц мог надеяться на любезность г-на Торлониа.

Он хотел уже, не медля ни минуты, возвратиться во дворец Браччано, как вдруг его осенила блестящая мысль. Он вспомнил о графе Монте-

Кристо. Франц протянул руку к звонку, чтобы послать за маэстро Пастрини, как вдруг дверь отворилась, и он сам появился на пороге.

– Синьор Пастрини, – быстро спросил он, – как вы думаете, граф у себя?

– Да, ваша милость, он только что вернулся.

– Он не успел еще лечь?

– Не думаю.

– Так зайдите к нему, пожалуйста, и попросите для меня разрешения явиться к нему.

Маэстро Пастрини поспешил исполнить поручение; через пять минут он вернулся.

– Граф ждет вашу милость, – сказал он.

Франц пересек площадку, и лакей ввел его к графу. Тот находился в небольшом кабинете, которого Франц еще не видел и вдоль стен которого стояли диваны. Граф встал ему навстречу.

– Какой счастливый случай привел вас ко мне? – сказал он. – Может быть, вы поужинаете со мной? Это было бы, право, очень мило с вашей стороны.

– Нет, я пришел по важному делу.

– По делу? – сказал граф, взглянув на Франца своим проницательным взглядом. – По какому же?

– Мы здесь одни?

Граф подошел к двери и вернулся.

– Совершенно одни.

Франц протянул ему письмо Альбера.

– Прочтите, – сказал он.

Граф прочел письмо.

– Д-да! – сказал он.

– Прочли вы приписку?

– Да, – сказал он, – вижу:

*«Se alle sei della mattina le quattro mila piastre non sono nelle mie mani, alle sette il conte Alberto avra cessato di vivere.*

*Luigi Vampa».*

– Что вы на это скажете? – спросил Франц.

– Вы располагаете этой суммой?

– Да, не хватает только восьмисот пиастров.

Граф подошел к секретеру, отпер и выдвинул ящик, полный золота.

– Надеюсь, – сказал он Францу, – вы не обидите меня и не обратитесь ни к кому другому?

– Вы видите, напротив, что я пришел прямо к вам, – отвечал Франц.

– И я благодарю вас за это. Берите.

И он указал Францу на ящик.

– А разве необходимо посылать Луиджи Вампа эту сумму? – спросил Франц, в свою очередь, пристально глядя на графа.

– Еще бы! – сказал тот. – Судите сами, приписка достаточно ясна.

– Мне кажется, что, если бы вы захотели, вы нашли бы более простой способ, – сказал Франц.

– Какой? – удивленно спросил граф.

– Например, если бы мы вместе поехали к Луиджи Вампа, я уверен, что он не отказал бы вам и освободил Альбера.

– Мне? А какое влияние могу я иметь на этого разбойника?

– Разве вы не оказали ему одну из тех услуг, которые никогда не забываются?

– Какую?

– Разве вы не спасли жизнь Пеппино?

– А-а! – произнес граф. – Кто вам сказал?

– Не все ли равно? Я это знаю.

Граф помолчал, нахмурив брови.

– А если я поеду к Луиджи, вы поедете со мной?

– Если мое общество не будет вам неприятно.

– Что же, пусть будет так; погода прекрасная, прогулка в окрестностях Рима доставит нам только удовольствие.

– Оружие надо захватить?

– Зачем?

– Деньги?

– Не нужно. Где человек, который принес письмо?

– На улице.

– Он ждет ответа?

– Да.

– Надо все-таки узнать, куда мы едем; я позову его.

– Бесполезно: он не захотел войти.

– К вам, может быть, но ко мне он придет.

Граф подошел к окну кабинета, выходившему на улицу, и особенным образом свистнул. Человек в плаще отделился от стены и вышел на середину улицы.

– Salite![37] – сказал граф тоном, каким отдают приказание слуге.

Посланный немедленно, не колеблясь, даже торопливо повиновался и, поднявшись на крыльцо, вошел в гостиницу. Пять секунд спустя он стоял у дверей кабинета.

– А, это ты, Пеппино? – сказал граф.

Вместо ответа Пеппино бросился на колени, схватил руку графа и несколько раз поцеловал ее.

– Вот как, – сказал граф, – ты еще не забыл, что я спас тебе жизнь? Странно, ведь прошла уже целая неделя.

– Нет, ваша светлость, я никогда не забуду, – отвечал Пеппино голосом, в котором звучала глубокая благодарность.

– Никогда? Это очень долго! Но хорошо уже то, что ты так думаешь. Встань и отвечай.

Пеппино с беспокойством взглянул на Франца.

– Ты можешь говорить при его милости, – сказал граф, – это мой друг. Вы мне разрешите называть вас этим именем? – прибавил граф по-французски, обращаясь к Францу. – Это необходимо, чтобы внушить ему доверие.

– Можете говорить при мне, – сказал Франц, – я друг графа.

– Хорошо, – отвечал Пеппино, обращаясь к графу, – пусть ваша светлость спрашивает, я буду отвечать.

– Каким образом виконт Альбер попал в руки Луиджи?

– Ваша светлость, коляска француза несколько раз встречалась с той, в которой сидела Тереза.

– Подруга атамана?

– Да. Француз начал любезничать; Тереза в шутку отвечала ему; француз бросал ей букеты, она тоже бросала ему цветы; разумеется, с дозволения атамана, который сидел в той же коляске.

– Как? – воскликнул Франц. – Луиджи Вампа сидел в коляске поселянок?

– Он был наряжен кучером и правил, – отвечал Пеппино.

– Дальше? – сказал граф.

– А дальше француз снял маску; Тереза с дозволения атамана тоже открыла лицо; француз попросил свидания, Тереза назначила время и место; только вместо Терезы на паперти церкви Сан-Джакомо ждал Беппо.

– Как? – прервал опять Франц. – Эта поселянка, которая вырвала у него мокколетто?..

– Это был пятнадцатилетний мальчик, – отвечал Пеппино. – Но вашему другу нечего стыдиться, что он попался. Он не первый, кого надул Беппо.

– И Беппо увел его из города? – спросил граф.

– Да. В конце виа Мачелло ждала карета; Беппо сел и пригласил француза с собой; тот не заставил просить себя. Он любезно уступил Беппо правую сторону и сел рядом. Тут Беппо сказал ему, что повезет его на виллу в миле от Рима. Француз отвечал, что готов ехать хоть на край света. Кучер поехал на виа ди-Рипетта, миновал ворота Святого Павла, но когда они очутились в поле, француз стал уже слишком вольничать, и Беппо приставил ему к груди пару пистолетов. Кучер остановил лошадей, обернулся и сделал то же самое. В то же время четверо наших, прятавшихся на берегу Альмо, подбежали к карете. Француз вздумал было защищаться, даже, кажется, немножко придушил Беппо; но что можно сделать против пятерых вооруженных людей? Оставалось только сдаться. Его вытащили из кареты, довели до берега

речонки и проводили к Терезе и Луиджи, которые ждали его в катакомбах Сан-Себастьяно.

– Ну что же, – сказал граф Францу, – по-моему, эта история стоит всякой другой. Что вы скажете? Вы ведь знаток в этом деле?

– Скажу, что посмеялся бы от души, – отвечал Франц, – если бы она случилась с кем-нибудь другим, а не с бедным Альбером.

– Да, если бы вы меня не застали, то это любовное похождение обошлось бы вашему другу довольно дорого; но успокойтесь, он отделается страхом.

– Так поедем за ним? – спросил Франц.

– Непременно! Тем более что он находится в очень живописном месте. Знаете вы катакомбы Сан-Себастьяно?

– Нет, я никогда не спускался туда, но давно собираюсь это сделать.

– Вот как раз подходящий случай, лучшего и желать нельзя. Ваш экипаж внизу?

– Нет.

– Это не важно; у меня всегда экипаж наготове, и днем и ночью.

– И лошади запряжены?

– Да. Надо вам сказать, я человек непоседливый; иногда, встав из-за стола или посреди ночи, я вдруг решаю ехать куда-нибудь на край света, и еду.

Граф позвонил один раз; в комнату вошел камердинер.

– Велите вывезти экипаж из сарая, – сказал он, – и выньте пистолеты оттуда; кучера не будите: нас повезет Али.

Через минуту послышался стук экипажа, поданного к крыльцу. Граф поглядел на часы.

– Половина первого, – сказал он. – Мы могли бы выехать в пять часов утра и все-таки поспели бы вовремя; но, может быть, наше промедление доставило бы вашему приятелю беспокойную ночь, поэтому лучше будет поскорее вырвать его из рук неверных. Вы все еще склонны ехать со мной?

– Больше, чем когда-либо.

– Так едем.

Франц и граф вышли из комнаты. Пеппино последовал за ними.

У крыльца стоял экипаж. На козлах сидел Али. Франц узнал немого раба из пещеры Монте-Кристо.

Франц и граф сели в экипаж, оказавшийся двухместной каретой, Пеппино поместился рядом с Али, и лошади помчались галопом.

Али, по-видимому, заранее получил распоряжения, потому что он поехал по Корсо, пересек Кампо-Ваччино, поднялся по Страда-Сан-Грегорио и остановился у ворот Сан-Себастьяно. Сторож не хотел пропускать их, но граф показал разрешение, выданное губернатором Рима на беспрепятственный въезд и выезд из города в любое время дня и ночи; решетку тотчас подняли, сторож получил за труды золотой, и карета покатила дальше.

Они ехали по древней Аппиевой дороге, между двумя рядами гробниц. Францу временами казалось, что в неверном свете восходящей луны от развалин отделяется фигура часового, но, по знаку Пеппино, фигура тотчас же снова исчезала в темноте.

Немного не доезжая цирка Каракаллы карета остановилась. Пеппино отворил дверцу, граф и Франц вышли.

– Через десять минут мы будем на месте, – сказал граф своему спутнику.

Потом он отозвал в сторону Пеппино, шепотом отдал ему какое-то приказание, и Пеппино, вынув из ящика кареты факел, удалился.

Прошло еще пять минут, Франц видел, как Пеппино пробирается по узенькой тропке, вьющейся по холмистой римской равнине; потом он исчез в высокой красноватой траве, напоминающей всклокоченную гриву гигантского льва.

– Последуем за ним, – сказал граф.

Они двинулись по той же тропинке; пройдя шагов сто по отлогому склону, они очутились в маленькой долине. Вскоре они заметили двух человек, переговаривавшихся в темноте.

– Идти дальше, – спросил Франц, – или, может быть, надо подождать?

– Идем, идем; Пеппино, вероятно, предупредил часового.

И в самом деле, один из разговаривавших оказался Пеппино, другой – разбойник, стоявший на страже.

Граф и Франц подошли к ним, разбойник поклонился.

– Ваша светлость, – сказал Пеппино, – угодно вам идти за мной? Вход в катакомбы в двух шагах отсюда.

– Хорошо, – сказал граф, – ступай вперед.

Вскоре за кустами, среди камней, показалось отверстие, в которое с трудом мог пролезть человек.

Пеппино первый полез в расщелину; уже через несколько шагов подземный ход стал расширяться. Тогда он остановился, зажег факел и обернулся.

Граф первый проник в это подобие отдушины, Франц последовал за ним.

Дорога спускалась под гору и постепенно расширялась; однако Франц и граф все еще были вынуждены идти согнувшись и только с трудом могли бы двигаться рядом. Так они прошли еще шагов полтораста, после чего были остановлены окликом: «Кто идет?»

И при свете факела они увидели, как в темноте блеснуло дуло карабина.

– Друг, – отвечал Пеппино.

Он прошел вперед и сказал несколько слов часовому, который, подобно первому, поклонился и сделал ночным посетителям знак, что они могут продолжать путь.

Часовой стоял вверху лестницы ступеней в двадцать; Франц и граф спустились по ней и очутились в каком-то подобии склепа. Отсюда лучами расходились пять углублений; в каменных стенах ярусами были вырублены ниши в форме гробов. Они поняли, что наконец вступили в катакомбы.

В одно из этих углублений, длину которого невозможно было угадать, днем проникали отблески света.

Граф положил руку на плечо Франца.

– Хотите видеть разбойничий лагерь на отдыхе? – спросил он.

– Очень даже, – отвечал Франц.

– Так идите за мной... Пеппино, потуши факел.

Пеппино исполнил приказание, и Франц с графом очутились в непроницаемой тьме; только впереди, шагах в пятидесяти от них, по стенам плясали красноватые блики, ставшие еще более явственными, когда Пеппино погасил факел.

Они молча пошли вперед, причем граф уверенно вел Франца, словно он обладал способностью видеть в темноте. Впрочем, и Франц все лучше различал дорогу, по мере того как они приближались к пляшущим бликам, служившим им путеводными огнями.

Перед ними показались три арки, средняя из которых служила дверью. Эти арки отделяли проход, где находились граф и Франц, от большой квадратной комнаты, окруженной нишами, подобными тем, о которых мы уже говорили. В середине комнаты возвышались четыре камня, некогда служившие алтарем, на что указывал крест, все еще венчавший их.

Одинокая лампа, поставленная на цоколь колонны, освещала слабым, колеблющимся светом странную картину, представившуюся глазам скрытых во тьме посетителей.

Облокотившись на цоколь, спиной к аркам сидел человек и читал.

Это был атаман шайки Луиджи Вампа.

Вокруг него, расположившись кто как хотел, лежали, завернувшись в плащи, или сидели, прислонясь к подобию каменной скамьи, тянувшейся вдоль стен этого склепа, человек двадцать разбойников. У каждого был под рукой карабин.

В глубине, безмолвный и едва различимый, словно тень, часовой шагал взад и вперед перед каким-то углублением в стене, которое угадывалось только потому, что в этом месте мрак казался еще гуще.

Граф дал Францу вволю налюбоваться этой живописной картиной. Потом приложил палец к губам, и, поднявшись по трем ступенькам, которые вели в склеп, вошел через среднюю арку и приблизился к Луиджи, который был так погружен в чтение, что даже не слышал его шагов.

– Кто идет? – крикнул часовой, увидев в свете лампы какую-то тень, выраставшую за спиной атамана.

При этом возгласе Вампа вскочил, выхватывая из-за пояса пистолет. В один миг все разбойники были на ногах, и двадцать карабинов прицелились в графа.

– Однако, – сказал тот спокойным голосом, причем ни один мускул на его лице не дрогнул, – дорогой Вампа, не слишком ли много церемоний, чтобы встретить друга?

– Долой оружие! – скомандовал атаман, властным движением поднимая одну руку, а другой почтительно снимая шляпу.

Потом, обращаясь к графу, который, казалось, повелевал всеми действующими лицами этой сцены, он сказал:

– Простите, граф, но я никак не ожидал, что вы удостоите меня своим посещением, и поэтому не узнал вас.

– По-видимому, у вас вообще короткая память, Вампа, и вы не только не помните лица людей, но забываете и условия, заключенные с ними.

– Какие же условия я забыл, граф? – спросил разбойник тоном человека, готового немедленно загладить свою вину.

– Разве мы не условились, – сказал граф, – что не только я, но и все мои друзья будут для вас неприкосновенны?

– Чем же я нарушил условие, ваша милость?

– Вы сегодня похитили и доставили сюда виконта Альбера де Морсера; а этот молодой человек, – продолжал граф таким тоном, что Франц невольно содрогнулся, – из числа моих друзей; он живет в одной гостинице со мной, он целую неделю катался по Корсо в моей коляске, а между тем, повторяю, вы его похитили, доставили сюда и, – прибавил граф, вынимая письмо из кармана, – потребовали с него выкуп, точно это первый встречный!

– Почему мне не сказали об этом? – проговорил атаман, обращаясь к своим людям, попятившимся перед его взглядом. – Почему вы заставили меня нарушить слово, данное такому человеку, как граф, который держит в своих руках жизнь каждого из нас? Клянусь кровью Христовой!

Если бы я думал, что кто-нибудь из вас знал о том, что этот молодой человек друг его милости, я собственной рукой застрелил бы его!

– Вот видите, – сказал граф, обращаясь в ту сторону, где стоял Франц, – я же вам говорил, что это недоразумение.

– Разве вы не один? – спросил с тревогой Вампа.

– Со мною тот, кому было адресовано это письмо. Я хотел доказать ему, что Луиджи Вампа никогда не изменяет своему слову. Подойдите, барон, – сказал он Францу, – Луиджи сам скажет вам, что он в отчаянии от своей ошибки.

Франц приблизился; атаман сделал несколько шагов ему навстречу.

– Прошу вас быть моим гостем, ваша милость, – сказал он. – Вы слышите, что сказал граф и что я ему ответил; я могу только добавить, что я охотно отдал бы четыре тысячи пиастров, цену выкупа, чтобы этого не случилось.

– Но где же пленник? – спросил Франц, осматриваясь с беспокойством. – Я не вижу его.

– С ним, надеюсь, ничего не случилось? – спросил граф, нахмурив брови.

– Пленник там, – отвечал Вампа, указывая на углубление, у которого шагал часовой, – и я сам пойду объявить ему, что он свободен.

Атаман направился к темнице Альбера. Франц и граф последовали за ним.

– Что делает пленник? – спросил Вампа часового.

– Право, не знаю, начальник, – отвечал ему тот, – уже больше часу, как он не шелохнулся.

– Пожалуйте, ваша милость, – сказал Вампа.

Граф и Франц, предшествуемые атаманом, поднялись по ступенькам. Вампа отодвинул засов и отпер дверь.

Тогда, при свете лампы, похожей на ту, которая освещала склеп, они увидели Альбера. Завернувшись в плащ, уступленный ему одним из разбойников, он спал безмятежным сном.

– Однако! – сказал граф с улыбкой, свойственной ему одному. – Недурно для человека, которого должны были расстрелять в семь часов

утра.

Вампа не без восхищения смотрел на спящего Альбера; было видно, что мужество молодого человека произвело на него впечатление.

– Вы сказали правду, граф, – проговорил он, – этот человек, без сомнения, ваш друг.

Потом, подойдя к Альберу, он тронул его за плечо.

– Ваша милость! – сказал он. – Не угодно ли вам проснуться?

Альбер потянулся, протер глаза и открыл их.

– А, это вы, атаман? – сказал он. – Черт подери, зачем вы разбудили меня; я видел чудесный сон; мне снилось, что я танцую галоп у Торлониа с графиней Г.

Он вынул из кармана часы, которые оставил при себе, чтобы самому следить за ходом времени.

– Половина второго, – сказал он. – Чего ради вы будите меня в такой час?

– Чтобы сказать вашей милости, что вы свободны.

– Дорогой мой, – возразил Альбер с невозмутимым хладнокровием, – на будущее время запомните изречение Наполеона Великого: «Будите меня только в случае дурных вестей». Если бы вы меня не разбудили, я дотанцевал бы галоп и всю жизнь был бы вам благодарен... Так за меня уже внесли выкуп?

– Нет, ваша милость.

– Так как же я свободен?

– Человек, которому я ни в чем не могу отказать, приехал за вами.

– Сюда?

– Сюда.

– Честное слово, это весьма любезный человек!

Альбер посмотрел кругом и увидел Франца.

– Как! – обратился он к нему. – Это вы, милый Франц, проявили такую преданность?

– Не я, а наш сосед, граф Монте-Кристо, – отвечал Франц.

– Ах, граф, – весело сказал Альбер, поправляя галстук и манжеты. – Вы поистине неоценимый человек, и я навеки остаюсь вашим

должником, во-первых, за ваш экипаж, а во-вторых, за мое освобождение! – И он протянул руку графу.

Тот вздрогнул, но все же подал ему свою. Луиджи Вампа с изумлением смотрел на эту сцену; он привык видеть пленников, дрожащих перед ним: и вот нашелся один, чье шутливое настроение духа ничуть не изменилось; что касается Франца, то он был в восторге: Альбер, даже будучи в руках разбойников, не уронил национальной чести.

– Дорогой Альбер, – сказал он, – если вы поторопитесь, то мы еще успеем закончить вечер у Торлониа; вы продолжите прерванный галоп и простите синьора Луиджи, который, право же, во всем этом деле вел себя как нельзя благороднее.

– Вы правы, – отвечал Альбер, – мы поспеем туда к двум часам. Синьор Луиджи, – продолжал он, – какие еще формальности я должен исполнить, прежде чем проститься с вашей милостью?

– Никаких, – отвечал разбойник, – вы свободны, как ветер.

– В таком случае желаю вам счастливой и веселой жизни; идемте, господа!

И Альбер, сопутствуемый Францем и графом, пересек большую квадратную комнату; все разбойники стояли с непокрытой головой.

– Пеппино! – сказал атаман. – Подай мне факел.

– Что вы хотите сделать? – спросил граф.

– Хочу проводить вас, – отвечал атаман. – Это наименьшая почесть, какую я могу оказать вашей милости.

И, взяв зажженный факел из рук Пеппино, он пошел впереди своих гостей не как слуга, исполняющий обязанность, но как король, за которым следуют послы. Дойдя до выхода, он поклонился.

– Граф, – сказал он, – я еще раз приношу вам свои извинения; надеюсь, вы больше не сетуете на меня за то, что произошло.

– Нет, дорогой Вампа, – сказал граф, – вы умеете так любезно исправлять свои ошибки, что хочется поблагодарить вас за то, что вы их совершили.

– Господа, – продолжал разбойник, обращаясь к молодым людям, – может быть, мое приглашение покажется вам мало соблазнительным, но

если вам когда-нибудь вздумается еще раз навестить меня, то, где бы я ни был, я буду рад вас видеть.

Франц и Альбер поклонились. Граф вышел первый. За ним Альбер; Франц медлил.

– Вашей милости угодно меня о чем-нибудь спросить? – сказал, улыбаясь, Вампа.

– Признаюсь, что да, – отвечал Франц. – Мне хотелось бы знать, какую книгу вы читали с таким вниманием, когда мы вошли?

– «Записки Цезаря», – сказал разбойник, – это моя любимая книга.

– Что же вы, Франц? – спросил Альбер.

– Иду, иду, – ответил Франц.

И он, в свою очередь, вылез из расщелины.

Они прошли несколько шагов.

– Простите, – сказал Альбер, возвращаясь обратно, – вы позволите?

И он закурил свою сигару от факела Луиджи.

– А теперь, граф, – сказал он, – не будем терять времени. Мне очень хочется провести остаток ночи у герцога Браччано.

Экипаж ждал их на том же месте, где его оставили. Граф что-то сказал Али по-арабски, и лошади понеслись во весь опор.

Ровно в два часа друзья входили в танцевальную залу.

Их появление вызвало сенсацию; но так как они были вдвоем, то тревога за Альбера сразу исчезла.

– Графиня, – сказал виконт де Морсер, подходя к графине Г., – вчера вы были так добры, что обещали мне галоп; я немного поздно напоминаю о вашем милом обещании, но мой друг, правдивость которого вам известна, подтвердит вам, что это не моя вина.

И так как в эту минуту заиграла музыка, то Альбер, обхватив талию графини, закружился с нею среди танцующих пар.

Между тем Франц размышлял о том, как странно вздрогнул граф Монте-Кристо, когда ему волей-неволей пришлось подать руку Альберу.

# XVII. Уговор

На другой день, встав с постели, Альбер первым делом предложил Францу нанести визит графу; он уже благодарил его накануне, но понимал, что услуга, оказанная ему графом, требует двойного изъявления благодарности.

Франц, который чувствовал к графу влечение, смешанное со страхом, отправился вместе с другом, их ввели в гостиную; минут через пять появился граф.

– Сударь, – сказал Альбер, подходя к нему, – разрешите мне повторить сегодня то, что я недостаточно внятно высказал вчера; я никогда не забуду, при каких обстоятельствах вы пришли мне на помощь, и всегда буду помнить, что обязан вам жизнью или почти жизнью.

– Дорогой мой сосед, – смеясь, отвечал граф, – вы преувеличиваете мою услугу; я вам сберег тысяч двадцать франков, только и всего; вы видите, что об этом не стоит говорить. Но позвольте и мне выразить вам свое восхищение: вы держались с очаровательной непринужденностью.

– Что мне оставалось делать, граф? – сказал Альбер. – Я вообразил, что у меня вышла ссора, которая привела к дуэли, и мне хотелось показать этим разбойникам, что хотя во всех странах мира дерутся на дуэли, но только одни французы дерутся смеясь. Однако это ничуть не умаляет моей признательности к вам, и я пришел спросить вас, не могу ли я сам или через моих друзей, благодаря моим связям, быть вам чем-нибудь полезен. Отец мой, граф де Морсер, родом испанец, пользуется большим влиянием и во Франции, и в Испании; вы можете быть уверены, что я и все, кто меня любит, в полном вашем распоряжении.

– Должен признаться, господин де Морсер, – отвечал граф, – что я ждал от вас такого предложения и принимаю его от всего сердца. Я уже и сам хотел просить вас о большом одолжении.

– О каком?

– Я никогда не бывал в Париже; я совсем не знаю Парижа…

– Неужели? – воскликнул Альбер. – Как вы могли жить, не видав Парижа? Это невероятно!

– А между тем это так; но, как и вы, я считаю, что мне пора познакомиться со столицей просвещенного мира. Я вам скажу больше: может быть, я уже давно предпринял бы это путешествие, если бы знал кого-нибудь, кто мог бы ввести меня в парижский свет, где у меня нет никаких связей.

– Такой человек, как вы! – воскликнул Альбер.

– Вы очень любезны; но так как я не знаю за собой других достоинств, кроме возможности соперничать в количестве миллионов с господином Агуадо или с господином Ротшильдом, и еду в Париж не для того, чтобы играть на бирже, то именно это обстоятельство меня и удерживало. Но ваше предложение меняет дело. Возьмете ли вы на себя, дорогой господин де Морсер (при этих словах странная улыбка промелькнула на губах графа), если я приеду во Францию, открыть мне двери общества, которому я буду столь же чужд, как гурон или кохинхинец?

– О, что до этого, граф, то с величайшей радостью и от всего сердца! – отвечал Альбер. – И тем охотнее (мой милый Франц, прошу вас не подымать меня на смех), что меня вызывают в Париж письмом, полученным мною не далее как сегодня утром, где говорится об очень хорошей для меня партии в прекрасной семье, имеющей наилучшие связи в парижском обществе.

– Так вы женитесь? – спросил, улыбаясь, Франц.

– По-видимому. Так что, когда вы вернетесь в Париж, то найдете меня женатым и, быть может, отцом семейства. При моей врожденной солидности мне это будет очень к лицу. Во всяком случае, граф, повторяю вам: я и все мои близкие готовы служить вам и телом и душой.

– Я согласен, – сказал граф, – и смею вас уверить, что мне недоставало только этого случая, чтобы привести в исполнение кое-какие планы, которые я давно уже обдумываю.

Франц не сомневался ни минуты, что это те самые планы, на которые граф намекал в пещере Монте-Кристо, и он внимательно взглянул на графа, пытаясь прочесть на его лице хоть что-нибудь относительно этих

планов, побуждавших его ехать в Париж; но нелегко было проникнуть в мысли этого человека, особенно когда он скрывал их за учтивой улыбкой.

– Но, может быть, граф, – сказал Альбер, восхищенный тем, что ему предстоит ввести в парижское общество такого оригинала, как Монте-Кристо, – может быть, ваше намерение вроде тех, которые приходят в голову, когда путешествуешь, и – построенные на песке – уносятся первым порывом ветра?

– Нет, уверяю вас, это не так, – сказал граф, – я в самом деле хочу побывать в Париже, мне даже необходимо это сделать.

– И когда же?

– Когда вы сами там будете?

– Я? – сказал Альбер. – Да недели через две, через три, самое большее, – сколько потребуется на дорогу.

– Ну что ж, – сказал граф, – даю вам три месяца сроку; вы видите, я не скуплюсь.

– И через три месяца вы будете у меня? – радостно воскликнул Альбер.

– Хотите, назначим точно день и час свидания? – сказал граф. – Предупреждаю вас, что я пунктуален до тошноты.

– День и час! – сказал Альбер. – Великолепно!

– Сейчас посмотрим.

Граф протянул руку к календарю, висевшему около зеркала.

– Сегодня у нас двадцать первое февраля, – сказал он и посмотрел на часы, – теперь половина одиннадцатого. Согласны ли вы ждать меня двадцать первого мая в половине одиннадцатого утра?

– Отлично! – воскликнул Альбер. – Завтрак будет на столе.

– А где вы живете?

– Улица Эльдер, двадцать семь.

– Вы живете один, на холостую ногу? Я вас не стесню?

– Я живу в доме моего отца, но в отдельном флигеле, во дворе.

– Прекрасно.

Граф взял памятную книжку и записал: «Улица Эльдер, 27, 21 мая, в половине одиннадцатого утра».

– А теперь, – сказал он, пряча книжку в карман, – не беспокойтесь, я буду точен, как стрелки ваших часов.

– Я вас увижу еще до моего отъезда? – спросил Альбер.

– Это зависит от того, когда вы уезжаете.

– Я еду завтра, в пять часов вечера.

– В таком случае я с вами прощусь. Мне необходимо побывать в Неаполе, и я вернусь не раньше субботы вечером или воскресенья утром. А вы, – обратился он к Францу, – вы тоже едете, барон?

– Да.

– Во Францию?

– Нет, в Венецию. Я останусь в Италии еще год или два.

– Так мы не увидимся в Париже?

– Боюсь, что буду лишен этой чести.

– Ну, господа, в таком случае счастливого пути, – сказал граф, протягивая обе руки Францу и Альберу.

В первый раз дотрагивался Франц до руки этого человека; он невольно вздрогнул; она была холодна, как рука мертвеца.

– Значит, решено, – сказал Альбер, – вы дали слово. Улица Эльдер, двадцать семь, двадцать первого мая, в половине одиннадцатого утра.

– Двадцать первого мая, в половине одиннадцатого утра, улица Эльдер, двадцать семь, – повторил граф.

Вслед за тем молодые люди поклонились и вышли.

– Что с вами? – спросил Альбер Франца, возвратившись в свою комнату. – У вас такой озабоченный вид.

– Да, – сказал Франц, – должен сознаться, что граф – престранный человек, и меня беспокоит это свидание, которое он вам назначил в Париже.

– Беспокоит вас?.. Это свидание?.. Да вы с ума сошли! – воскликнул Альбер.

– Что поделаешь? – сказал Франц. – Может быть, я сошел с ума, но это так.

– Послушайте, – продолжал Альбер, – я рад, что мне представился случай высказать вам свое мнение; я давно замечаю в вас какую-то неприязнь к графу, а он, напротив, всегда был с нами необыкновенно любезен. Вы что-нибудь имеете против него?

– Может быть.

– Вы встречались с ним раньше?

– Вот именно.

– Где?

– Вы обещаете мне никому ни слова не говорить о том, что я вам расскажу?

– Обещаю.

– Честное слово?

– Честное слово.

– Хорошо. Так слушайте.

И Франц рассказал Альберу о своей поездке на остров Монте-Кристо и о том, как он встретил там шайку контрабандистов и среди них двух корсиканских разбойников. Он подробно рассказал, какое сказочное гостеприимство оказал ему граф в своей пещере из «Тысячи и одной ночи»; рассказал об ужине, о гашише, о статуях, о том, что было во сне и наяву, и как наутро от всего этого осталась только маленькая яхта на горизонте, уходившая к Порто-Веккио. Потом он перешел к Риму, к ночи в Колизее, к подслушанному им разговору между графом и Луиджи, во время которого граф обещал исхлопотать помилование Пеппино, что он и исполнил, как видели наши читатели.

Наконец, он дошел до приключения предыдущей ночи, рассказал, в каком затруднительном положении он очутился, когда увидел, что ему недостает до суммы выкупа восьмисот пиастров, и как ему пришло в голову обратиться к графу, что и привело к столь счастливой и эффектной развязке. Альбер слушал Франца, весь обратившись в слух.

– Ну и что же? – сказал он, когда тот кончил. – Что же вы во всем этом видите предосудительного? Граф любит путешествовать, он богат и хочет иметь собственную яхту. Поезжайте в Портсмут или Саутгемптон и вы увидите, что гавань забита яхтами, принадлежащими богатым

англичанам, разрешающим себе такую же роскошь. Чтобы всегда иметь пристанище, чтобы не питаться этой отвратительной снедью, которой мы отравляемся, я – вот уже четыре месяца, а вы – четыре года, чтобы не спать в мерзких постелях, где невозможно заснуть, он обставляет для себя квартиру на Монте-Кристо; обставив ее, он начинает опасаться, что тосканское правительство ее отнимет и его затраты пропадут даром; тогда он покупает остров и присваивает себе его имя. Дорогой мой, поройтесь в вашей памяти и скажите мне, разве мало ваших знакомых называют себя по имени местностей, которыми они никогда не владели?

– А корсиканские разбойники, принадлежащие к его свите? – сказал Франц.

– Что же тут удивительного? Вы отлично знаете, что корсиканские разбойники не грабители, а просто беглецы, которых родовая месть изгнала из родного города или родной деревни; в их обществе можно находиться без ущерба для своей чести. Что касается меня, то я заявляю, что если мне когда-нибудь придется побывать на Корсике, то раньше, чем представиться губернатору и префекту, я попрошу познакомить меня с разбойниками Коломбы, если только удастся разыскать их; я нахожу, что они обворожительны.

– А Вампа и его шайка? – возразил Франц. – Это уже настоящие разбойники, которые просто грабят; против этого, надеюсь, вы не станете спорить. Что вы скажете о влиянии графа на такого рода людей?

– Скажу, дорогой мой, что так как, по всей вероятности, этому влиянию я обязан жизнью, то мне не пристало быть слишком придирчивым. Поэтому я не намерен, подобно вам, вменять его графу в преступление, и вы уж разрешите мне простить нашего соседа за то, что он если и не спас мне жизнь – это, возможно, было бы преувеличением, – то, во всяком случае, сберег мне четыре тысячи пиастров; это на наши деньги составляет не более и не менее как двадцать четыре тысячи франков – в такую сумму меня во Франции едва ли бы оценили, что доказывает, – прибавил Альбер, смеясь, – что нет пророка в своем отечестве.

– Кстати, об отечестве: где отечество графа? Какой его родной язык? На какие средства он живет? Откуда взялись его несметные богатства? Какова была первая половина его таинственной, неведомой жизни, которая набросила на вторую половину мрачную тень мизантропии? Вот что на вашем месте я постарался бы узнать.

– Дорогой Франц, – отвечал Альбер, – когда вы получили мое письмо и увидели, что мы нуждаемся в графе, вы пошли и сказали ему: «Мой друг Альбер де Морсер в опасности; помогите мне выручить его». Так?

– Да.

– А спросил он у вас, кто такой Альбер де Морсер? Откуда он взял свое имя? Откуда взялось его состояние? На какие средства он живет? Где его отечество? Где он родился? Скажите, спрашивал он вас об этом?

– Нет; признаюсь, не спрашивал.

– Он просто взял и поехал. Он вырвал меня из рук синьора Луиджи, где, несмотря на мой, как вы говорите, чрезвычайно непринужденный вид, я чувствовал себя, по правде сказать, отвратительно. И вот когда за подобную услугу он просит меня сделать то, что делаешь изо дня в день для любого русского или итальянского князя, приезжающего в Париж, то есть просит меня познакомить его с парижским обществом, то вы хотели бы, чтобы я ему отказал в этом! Полноте, Франц, вы сошли с ума!

Нельзя не сознаться, что на этот раз против обыкновения логика была на стороне Альбера.

– Словом, делайте как хотите, дорогой виконт, – отвечал со вздохом Франц. – Все, что вы говорите, очень убедительно; и все же граф Монте-Кристо – странный человек.

– Граф Монте-Кристо – филантроп. Он не сказал вам, зачем он едет в Париж; так вот: для того чтобы стать соискателем Монтионовской премии; и если, чтобы получить ее, ему нужен мой голос и содействие того плюгавого человечка, от которого зависит ее присуждение, то первое я ему даю, а за второе ручаюсь. На этом, друг мой, мы закончим наш разговор и сядем за стол, а потом поедем в последний раз взглянуть на собор Святого Петра.

Программа Альбера была выполнена, а на следующий день, в пять часов пополудни, друзья расстались. Альбер де Морсер возвратился в Париж, а Франц д'Эпине уехал на две недели в Венецию.

Но Альбер так боялся, чтобы его гость не забыл о назначенном свидании, что, садясь в экипаж, вручил слуге для передачи графу Монте-Кристо визитную карточку, на которой под словами «Виконт Альбер де Морсер» приписал карандашом:

*21 мая, в половине одиннадцатого утра,*
*улица Эльдер, 27.*

# Часть третья

# I. Гости Альбера

В доме на улице Эльдер, где виконт де Морсер, еще в Риме, назначил свидание графу Монте-Кристо, утром 21 мая шли приготовления к тому, чтобы достойно принять гостей.

Альбер жил в отдельном флигеле в углу большого двора, напротив здания, где помещались службы. Только два окна флигеля выходили на улицу; три других были обращены во двор, а остальные два – в сад.

Между двором и садом возвышалось просторное и пышное обиталище графа и графини де Морсер, выстроенное в дурном вкусе наполеоновских времен.

Во всю ширину владения, вдоль улицы, тянулась ограда, увенчанная вазами с цветами и прорезанная посредине большими воротами из золоченых копий, служившими для парадных выездов; маленькая калитка, рядом с помещением привратника, предназначалась для служащих, а также для хозяев, когда они выходили из дому или возвращались домой пешком.

В выборе флигеля, отведенного Альберу, угадывалась нежная предусмотрительность матери, не желающей разлучаться с сыном, но понимающей, однако, что молодой человек его возраста нуждается в полной свободе. С другой стороны, здесь сказывался и трезвый эгоизм виконта, любившего ту вольную праздную жизнь, которую ведут сыновья богатых родителей и которую ему золотили, как птице клетку.

Из окон, выходивших на улицу, Альбер мог наблюдать за внешним миром; ведь молодым людям необходимо, чтобы на их горизонте всегда мелькали хорошенькие женщины, хотя бы этот горизонт был всего только улицей. Затем, если предмет требовал более глубокого исследования, Альбер де Морсер мог выйти через дверь, которая соответствовала калитке рядом с помещением привратника и заслуживает особого упоминания.

Казалось, эту дверь забыли с того дня, как был выстроен дом, забросили навсегда: так она была незаметна и запылена; но ее замок и

петли, заботливо смазанные, указывали на то, что ею часто и таинственно пользовались. Эта скрытая дверь соперничала с двумя остальными входами и посмеивалась над привратником, ускользая от его бдительного ока и отворяясь, как пещера из «Тысячи и одной ночи», как волшебный «сезам» Али-Бабы, с помощью двух-трех каббалистических слов, произнесенных нежнейшим голоском, или условного стука, производимого самыми тоненькими пальчиками на свете.

В конце просторного и тихого коридора, куда вела эта дверь, и служившего как бы прихожей, находились: справа – столовая Альбера, окнами во двор, а слева – его маленькая гостиная, окнами в сад. Заросли кустов и ползучих растений, расположенные веером перед окнами, скрывали от нескромных взоров внутренность этих двух комнат, единственных, куда можно было бы заглянуть со двора и из сада, потому что они находились в нижнем этаже.

Во втором этаже были точно такие же две комнаты и еще третья, расположенная над коридором. Тут помещались гостиная, спальня и будуар.

Гостиная в нижнем этаже представляла собой нечто вроде алжирской диванной и предназначалась для курильщиков.

Будуар второго этажа сообщался со спальней, и потайная дверь вела из него прямо на лестницу. Словом, все меры предосторожности были приняты.

Весь третий этаж занимала обширная студия – капище не то художника, не то денди. Там сваливались в кучу и нагромождались одна на другую разнообразнейшие причуды Альбера: охотничьи рога, контрабасы, флейты, целый оркестр, ибо Альбер одно время чувствовал если не влечение, то некоторую охоту к музыке; мольберты, палитры, сухие краски, ибо любитель музыки вскоре возомнил себя художником; наконец, рапиры, перчатки для бокса, эспадроны и всевозможные палицы, ибо, следуя традициям светской молодежи той эпохи, о которой мы повествуем, Альбер де Морсер с несравненно большим упорством, нежели музыкой и живописью, занимался тремя искусствами,

завершающими воспитание светского льва, а именно – фехтованием, боксом и владением палицей, и по очереди принимал в этой студии, предназначенной для всякого рода физических упражнений, Гризье, Кукса и Шарля Лебуше.

Остальную часть обстановки этой комнаты составляли старинные шкафы времен Франциска I, уставленные китайским фарфором, японскими вазами, фаянсами Лукка делла Роббиа и тарелками Бернара де Палисси; кресла, в которых, быть может, сиживал Генрих IV или Сюлли, Людовик XIII или Ришелье, ибо два из этих кресел, украшенные резным гербом, где на лазоревом поле сияли три французские лилии, увенчанные королевской короной, несомненно, вышли из кладовых Лувра или, во всяком случае, какого-нибудь другого королевского дворца. На этих строгих и темных креслах были беспорядочно разбросаны богатые ткани ярких цветов, напоенные солнцем Персии или расцветшие под руками калькуттских или чандернагорских женщин. Для чего здесь лежали эти ткани, никто бы не мог сказать: услаждая взоры, они дожидались назначения, неведомого даже их обладателю, а тем временем озаряли комнату своим золотом и шелковистым блеском.

На самом видном месте стоял рояль розового дерева, работы Роллера и Бланше, подходящий по размерам к нашим лилипутовым гостиным, но все же вмещающий в своих тесных и звучных недрах целый оркестр и стонущий под бременем шедевров Бетховена, Вебера, Моцарта, Гайдна, Гретри и Порпоры.

И везде по стенам, над дверьми, на потолке – шпаги, кинжалы, ножи, палицы, топоры, доспехи, золоченые, вороненые, с насечкой; гербарии, глыбы минералов, чучела птиц, распластавшие в недвижном полете свои огнецветные крылья и раз навсегда разинувшие клювы.

Нечего и говорить, что это была любимая комната Альбера.

Однако в день, назначенный для свидания, Альбер в утреннем наряде расположился в маленькой гостиной нижнего этажа. На столе перед широким мягким диваном были выставлены в голландских фаянсовых горшочках все известные сорта табака, от желтого петербургского до черного синайского; здесь был и мэриленд, и порторико, и латакие.

Рядом с ними, в ящиках из благовонного дерева, были разложены, по длине и достоинству, пуросы, регалии, гаваны и манилы. Наконец, в открытом шкафу коллекция немецких трубок, чубуков с янтарными мундштуками и коралловой отделкой и кальянов с золотой насечкой, с длинными сафьяновыми шейками, свернувшимися, как змеи, ожидала прихоти или склонности курильщиков. Альбер лично распоряжался устройством этого симметричного беспорядка, который современные гости, после хорошего завтрака и чашки кофе, любят созерцать сквозь дым, причудливыми спиралями поднимающийся к потолку.

Без четверти десять вошел камердинер. Это был, если не считать пятнадцатилетнего грума Джона, говорившего только по-английски, единственный слуга Морсера. Само собой разумеется, что в обыкновенные дни в распоряжении Альбера был повар его родителей, а в торжественных случаях также и лакей отца.

Камердинера звали Жермен. Он пользовался полным доверием своего молодого господина. Войдя, он положил на стол кипу газет и подал Альберу пачку писем.

Альбер бросил на них рассеянный взгляд, выбрал два надушенных конверта, надписанных изящным почерком, распечатал их и довольно внимательно прочитал.

– Как получены эти письма? – спросил он.

– Одно по почте, а другое принес камердинер госпожи Данглар.

– Велите передать госпоже Данглар, что я принимаю приглашение в ее ложу... Постойте... Потом вы пойдете к Розе; скажете ей, что после оперы я заеду к ней, и отнесете ей шесть бутылок лучшего вина, кипрского, хереса и малаги, и бочонок остендских устриц... Устрицы возьмите у Бореля и не забудьте сказать, что это для меня.

– В котором часу прикажете подавать завтрак?

– А который теперь час?

– Без четверти десять.

– Подайте ровно в половине одиннадцатого. Дебрэ, может быть, будет спешить в министерство... И, кроме того (Альбер заглянул в записную книжку), я так и назначил графу: двадцать первого мая, в половине

одиннадцатого, и хоть я не слишком полагаюсь на его обещание, я хочу быть пунктуальным. Кстати, вы не знаете, графиня встала?

– Если господину виконту угодно, я пойду узнаю.

– Хорошо... попросите у нее погребец с ликерами, мой не полон. Скажите, что я буду у нее в три часа и прошу разрешения представить ей одного господина.

Когда камердинер вышел, Альбер бросился на диван, развернул газеты, заглянул в репертуар театров, поморщился, увидев, что дают оперу, а не балет, тщетно поискал среди объявлений новое средство для зубов, о котором ему говорили, отбросил одну за другой все три самые распространенные парижские газеты и, протяжно зевнув, пробормотал:

– Право, газеты становятся день ото дня скучнее.

В это время у ворот остановился легкий экипаж, и через минуту камердинер доложил о Люсьене Дебрэ. В комнату молча, без улыбки, с полуофициальным видом вошел высокий молодой человек, белокурый, бледный, с самоуверенным взглядом серых глаз, с надменно сжатыми тонкими губами, в синем фраке с чеканными золотыми пуговицами, в белом галстуке, с висящим на тончайшем шелковом шнурке черепаховым моноклем, который ему, при содействии бровного и зигоматического мускула, время от времени удавалось вставлять в правый глаз.

– Здравствуйте, Люсьен! – сказал Альбер. – Вы просто ужасаете меня своей сверхпунктуальностью! Я ожидал вас последним, а вы являетесь без пяти минут десять, тогда как завтрак назначен только в половине одиннадцатого! Чудеса! Уж не пал ли кабинет?

– Нет, дорогой, – отвечал молодой человек, опускаясь на диван, – можете быть спокойны, мы вечно шатаемся, но никогда не падаем, и я начинаю думать, что мы попросту становимся несменяемы, не говоря уже о том, что дела на полуострове окончательно упрочат наше положение.

– Ах да, ведь вы изгоняете дон Карлоса из Испании.

– Ничего подобного, не путайте. Мы переправляем его по эту сторону границы и предлагаем ему королевское гостеприимство в Бурже.

– В Бурже?

– Да. Ему не на что жаловаться, черт возьми! Бурж – столица Карла Седьмого. Как! Вы этого не знали? Со вчерашнего дня это известно всему Парижу, а третьего дня этот слух уже проник на биржу. Данглар (не понимаю, каким образом этот человек узнает все новости одновременно с нами) сыграл на повышение и заработал миллион.

– А вы, по-видимому, новую ленточку? На вашей пряжке голубая полоска, которой прежде не было.

– Да, мне прислали звезду Карла Третьего, – небрежно сказал Дебрэ.

– Не притворяйтесь равнодушным, сознайтесь, что вам приятно ее получить.

– Не скрою, очень приятно. Как дополнение к туалету, звезда отлично идет к застегнутому фраку – это изящно.

– И становишься похож на принца Уэльского или на герцога Рейхштадтского, – сказал, улыбаясь, Морсер.

– Вот почему я и явился к вам в такой ранний час, дорогой мой.

– То есть потому, что вы получили звезду Карла Третьего и вам хотелось сообщить мне эту приятную новость?

– Нет, не потому. Я провел всю ночь за отправкой писем: двадцать пять дипломатических депеш. Вернулся домой на рассвете и хотел уснуть, но у меня разболелась голова; тогда я встал и решил проехаться верхом. В Булонском лесу я почувствовал скуку и голод. Эти два ощущения враждебны друг другу и редко появляются вместе, но на сей раз они объединились против меня, образовав нечто вроде карлистско-республиканского союза. Тогда я вспомнил, что мы сегодня утром пируем у вас, и вот я здесь. Я голоден, накормите меня; мне скучно, развлеките меня.

– Это мой долг хозяина, дорогой друг, – сказал Альбер, звонком вызывая камердинера, между тем как Люсьен кончиком своей тросточки с золотым набалдашником, выложенным бирюзой, подкидывал развернутые газеты, – Жермен, рюмку хереса и бисквитов. А пока, дорогой Люсьен, вот сигары, контрабандные, разумеется; советую вам попробовать их и предложить вашему министру продавать нам такие же

вместо ореховых листьев, которые добрым гражданам приходится курить по его милости.

– Да, как бы не так! Как только они перестанут быть контрабандой, вы от них откажетесь и будете находить их отвратительными. Впрочем, это не касается министерства внутренних дел, это по части министерства финансов; обратитесь к господину Юману, департамент косвенных налогов, коридор А, номер двадцать шесть.

– Вы меня поражаете своей осведомленностью, – сказал Альбер. – Но возьмите же сигару!

Люсьен закурил манилу от розовой свечи в позолоченном подсвечнике и откинулся на диван.

– Какой вы счастливец, что вам нечего делать, – сказал он, – право, вы сами не сознаете своего счастья!

– А что бы вы делали, мой дорогой умиротворитель королевства, если бы вам нечего было делать? – с легкой иронией возразил Морсер. – Вы – личный секретарь министра, замешанный одновременно во все хитросплетения большой европейской политики и в мельчайшие парижские интриги. Вы защищаете королей и, что еще приятнее, королев, учреждаете партии, руководите выборами, у себя в кабинете, при помощи пера и телеграфа, достигаете большего, чем Наполеон на полях сражений своей шпагой и своими победами. Вы – обладатель двадцати пяти тысяч ливров годового дохода, не считая жалованья, владелец лошади, за которую Шато-Рено предлагал вам четыреста луидоров и которую вы ему не уступили. К вашим услугам портной, не испортивший вам ни одной пары панталон. Опера, Жокей-клуб и театр Варьете – и при всем том вам нечем развлечься? Ну что ж, так я сумею развлечь вас.

– Чем же это?

– Новым знакомством.

– С мужчиной или с женщиной?

– С мужчиной.

– Я и без того их знаю много.

– Но такого вы не знаете.

– Откуда же он? С конца света?

– Быть может, еще того дальше.

– Черт возьми! Надеюсь, не он должен привезти ваш завтрак?

– Нет, будьте спокойны; завтрак готовят здесь, в доме. Да вы, я вижу, голодны?

– Да, сознаюсь, как это ни унизительно. Но я вчера обедал у господина де Вильфора; а заметили вы, что у этих судейских всегда плохо кормят? Можно подумать, что их мучат угрызения совести.

– Браните, браните чужие обеды, а как едят у ваших министров?

– Да, но мы по крайней мере приглашаем порядочных людей, и если бы нам не нужно было угощать благомыслящих и голосующих за нас плебеев, то мы пуще смерти боялись бы обедать дома, смею вас уверить.

– В таком случае выпейте еще рюмку хереса и возьмите бисквит.

– С удовольствием, ваше испанское вино превосходно; вы видите, как мы были правы, водворяя мир в этой стране.

– Да, но как же дон Карлос?

– Ну что ж! Дон Карлос будет пить бордо, а через десять лет мы повенчаем его сына с маленькой королевой.

– За что вы получите Золотое Руно, если к тому времени еще будете служить.

– Я вижу, Альбер, вы сегодня решили кормить меня суетными разговорами.

– Что ж, согласитесь, это лучше всего забавляет желудок. Но я слышу голос Бошана; вы с ним поспорите, и это вас отвлечет.

– О чем же спорить?

– О том, что пишут в газетах.

– Да разве я читаю газеты? – презрительно произнес Люсьен.

– Тем больше оснований спорить.

– Господин Бошан! – доложил камердинер.

– Входите, входите, грозное перо! – сказал Альбер, вставая и идя навстречу новому гостю. – Вот Дебрэ говорит, что не терпит вас, хотя, по его словам, и не читает ваших статей.

– Он совершенно прав, – отвечал Бошан, – я тоже браню его, хоть и не знаю, что он делает. Здравствуйте, командор.

– А, вы уже знаете? – сказал личный секретарь министра, улыбаясь и пожимая журналисту руку.

– Еще бы!

– А что говорят об этом в свете?

– В каком свете? В лето от рождества Христова тысяча восемьсот тридцать восьмое их много.

– В свете критико-политическом, где вы – один из львов.

– Говорят, что это вполне заслуженно и что вы сеете достаточно красного, чтобы выросло немножко голубого.

– Недурно сказано, – заметил Люсьен. – Почему вы не наш, дорогой Бошан? С вашим умом вы в три-четыре года сделали бы карьеру.

– Я только одного и жду, чтобы последовать вашему совету: министерства, которое могло бы продержаться полгода. Теперь одно слово, Альбер, тем более что надо же дать передохнуть бедняге Люсьену. Мы будем завтракать или обедать? Ведь мне надо в Палату. Как видите, в нашем ремесле не одни только розы.

– Мы только завтракаем и ждем еще двоих; как только они приедут, мы сядем за стол.

– А кого именно вы ждете? – спросил Бошан.

– Одного аристократа и одного дипломата, – отвечал Альбер.

– Ну, так нам придется ждать аристократа часа два, а дипломата еще того дольше. Я вернусь к десерту. Оставьте мне клубники, кофе и сигар. Я перекушу в Палате.

– Бросьте, Бошан; даже если бы аристократа звали Монморанси, а дипломата – Меттерних, мы все равно сядем завтракать ровно в половине одиннадцатого; а пока последуйте примеру Дебрэ, возьмите хереса и бисквит.

– Хорошо, я остаюсь. Сегодня мне совершенно необходимо развлечься.

– Ну вот, и вы, как Дебрэ! А по-моему, когда министерство уныло, оппозиция должна быть весела.

– Да, но вы не знаете, что мне грозит! Сегодня днем, в Палате депутатов, я буду слушать речь Данглара, а вечером, у его жены, трагедию пэра Франции. Черт бы побрал конституционный строй! Ведь говорят, что мы могли выбирать; так как же мы выбрали Данглара?

– Я понимаю: вам надо запастись веселостью.

– Не пренебрегайте речами Данглара, – сказал Дебрэ. – Ведь он голосует за вас, он тоже в оппозиции.

– Вот в том-то и беда! И я жду не дождусь, чтобы вы отправили его разглагольствовать в Люксембургский дворец, тогда уж я посмеюсь вволю.

– Сразу видно, что в Испании дела налажены, – сказал Альбер Бошану. – Вы сегодня ужасно язвительны. Вспомните, что в парижском обществе поговаривают о моей свадьбе с мадемуазель Эжени Данглар. Не могу же я, по совести, позволить вам издеваться над красноречием человека, который когда-нибудь скажет мне: «Виконт, вам известно, что я даю за моей дочерью два миллиона».

– Этой свадьбе не бывать, – прервал его Бошан. – Король мог сделать его бароном, может возвести его в пэры, но аристократа он из него не сделает. А граф де Морсер слишком большой аристократ, чтобы за два жалких миллиона согласиться на мезальянс. Виконт де Морсер может жениться только на маркизе.

– Два миллиона! Это все-таки недурно, – возразил Морсер.

– Это акционерный капитал какого-нибудь театра на Бульварах или железнодорожной ветки от Ботанического сада до Рапэ.

– Не слушайте его, Морсер, – лениво заговорил Дебрэ, – женитесь. Ведь вы сочетаетесь браком с денежным мешком. Так не все ли вам равно! Пусть на нем будет одним гербом меньше и одним нулем больше; в вашем гербе семь мерлеток; три из них вы уделите жене, и вам еще останется четыре. Это все ж одной больше, чем у герцога Гиза, а он чуть не сделался французским королем, и его двоюродный брат был германским императором.

– Да, пожалуй, вы правы, – рассеянно отвечал Альбер.

– Еще бы! К тому же всякий миллионер родовит, как незаконнорожденный.

– Шш! Замолчите, Дебрэ, – сказал, смеясь, Бошан, – вот идет Шато-Рено, он пронзит вас шпагой своего предка Рено де Монтобана, чтобы излечить вас от пристрастия к парадоксам.

– Он этим унизит свое достоинство, – отвечал Люсьен, – ибо я происхождения весьма низкого.

– Ну вот! – воскликнул Бошан. – Министерство запело на мотив Беранже; господи, куда мы идем!

– Господин де Шато-Рено! Господин Максимилиан Моррель! – доложил камердинер.

– Значит, все налицо! – сказал Бошан. – И мы сядем завтракать; ведь, если я не ошибаюсь, вы ждали еще только двоих, Альбер?

– Моррель! – прошептал удивленно Альбер. – Кто это – Моррель?

Но не успел он договорить, как г-н де Шато-Рено, красивый молодой человек лет тридцати, аристократ с головы до ног, то есть с наружностью Гиша и умом Мортемара, взял его за руку.

– Разрешите мне, Альбер, – сказал он, – представить вам капитана спаги Максимилиана Морреля, моего друга и спасителя. Впрочем, такого человека нет надобности рекомендовать. Приветствуйте моего героя, виконт.

Он посторонился и дал место высокому и представительному молодому человеку, с широким лбом, проницательным взглядом и черными усами, которого наши читатели видели в Марселе при достаточно драматических обстоятельствах, чтобы его, быть может, не забыть. Прекрасно сидевший живописный мундир, полуфранцузский, полувосточный, обрисовывал его широкую грудь, украшенную крестом Почетного легиона, и его стройную талию. Молодой офицер поклонился с изящной учтивостью. Он был грациозен во всех своих движениях, потому что был силен.

– Господин Моррель, – радушно сказал Альбер, – барон Шато-Рено заранее знал, что доставит мне особенное удовольствие, познакомив меня с вами; вы его друг – надеюсь, вы станете и нашим другом.

– Отлично, – сказал Шато-Рено, – и пожелайте, дорогой виконт, чтобы в случае нужды он сделал для вас то же, что для меня.

– А что он сделал? – спросил Альбер.

– Барон преувеличивает, – сказал Моррель, – право, не стоит об этом говорить!

– Как не стоит говорить? – воскликнул Шато-Рено. – Жизнь не стоит того, чтобы о ней говорить?.. Право, вы слишком уж большой философ, дорогой Моррель... Вы можете так говорить, вы рискуете жизнью каждый день, но я, на чью долю это выпало совершенно случайно...

– Во всем этом, барон, для меня ясно только одно: что капитан Моррель спас вам жизнь.

– Да, только и всего, – сказал Шато-Рено.

– А как это случилось? – спросил Бошан.

– Бошан, друг мой, поймите, что я умираю с голоду! – воскликнул Дебрэ. – Не надо длинных рассказов.

– Да разве я вам мешаю сесть за стол?.. – сказал Бошан. – Шато-Рено все расскажет нам за завтраком.

– Господа, – сказал Морсер, – имейте в виду, что сейчас только четверть одиннадцатого и мы ждем последнего гостя.

– Ах да, дипломата, – сказал Дебрэ.

– Дипломата или что-нибудь еще, это мне неизвестно. Знаю только, что я возложил на него поручение, которое он выполнил так удачно, что, будь я королем, я сделал бы его кавалером всех моих орденов, если бы даже в моем распоряжении были сразу и Золотое Руно и Подвязка.

– В таком случае, раз мы еще не садимся за стол, – сказал Дебрэ, – налейте себе рюмку хереса, как сделали мы, и расскажите нам свою повесть, барон.

– Вы все знаете, что недавно мне вздумалось съездить в Африку.

– Это путь, который вам указали ваши предки, дорогой Шато-Рено, – любезно вставил Морсер.

– Да, но едва ли вы, подобно им, делали это ради освобождения гроба господня.

– Вы правы, Бошан, – сказал молодой аристократ, – я просто хотел по-любительски пострелять из пистолета. Как вам известно, я не выношу дуэли с тех пор, как два моих секунданта, выбранные мною для того, чтобы уладить дело, заставили меня раздробить руку одному из моих лучших друзей… бедному Францу д'Эпине, вы все его знаете.

– Ах да, верно, – сказал Дебрэ, – вы с ним когда-то дрались… А из-за чего?

– Хоть убейте, не помню, – отвечал Шато-Рено. – Но зато отлично помню, что, желая как-нибудь проявить свои таланты в этой области, я решил испытать на арабах новые пистолеты, которые мне только что подарили. Поэтому я отправился в Оран, из Орана доехал до Константины и прибыл как раз в то время, когда снимали осаду. Я начал отступать вместе со всеми. Двое суток я кое-как сносил днем дождь, а ночью снег; но на третье утро моя лошадь околела от холода: бедное животное привыкло к попонам, к теплой конюшне… Это был арабский конь, но он не узнал родины, встретившись в Аравии с десятиградусным морозом.

– Так вот почему вы хотите купить моего английского скакуна, – сказал Дебрэ. – Вы надеетесь, что он будет лучше вашего араба переносить холод.

– Вы ошибаетесь, я поклялся никогда больше не ездить в Африку.

– Вы так струхнули? – спросил Бошан.

– Да, признаюсь, – отвечал Шато-Рено, – и было отчего! Итак, лошадь моя околела; я шел пешком; на меня во весь опор налетели шесть арабов, чтобы отрубить мне голову; двоих я застрелил из ружья, двоих – в упор из пистолетов, но оставалось еще двое, а я был безоружен. Один схватил меня за волосы, – вот почему я теперь стригу их так коротко: как знать, что может случиться, – а другой приставил мне к шее свой ятаган, и я уже чувствовал жгучий холод стали, как вдруг вот этот господин, в свою очередь, налетел на них, убил выстрелом из пистолета того, который держал меня за волосы, и разрубил голову тому, который собирался перерезать мне горло ятаганом. Он считал своим долгом в этот день спасти чью-нибудь жизнь; случаю угодно было, чтобы это

оказалась моя; когда я буду богат, я закажу Клагману или Марокетти статую Случая.

– Это было пятого сентября, – сказал, улыбаясь, Моррель, – в годовщину того дня, когда чудом был спасен мой отец; и каждый год, по мере моих сил, я стараюсь ознаменовать этот день, сделав что-нибудь...

– Героическое, не правда ли? – прервал Шато-Рено. – Короче говоря, мне повезло, но это еще не все. После того как он спас меня от ножа, он спас меня от холода, отдав мне не половину своего плаща, как делал святой Мартин, а весь плащ целиком; а затем и от голода, разделив со мной... угадайте что?

– Паштет от Феликса? – спросил Бошан.

– Нет, свою лошадь, от которой каждый из нас с большим аппетитом съел по куску; это было нелегко!

– Съесть кусок лошади? – спросил, смеясь, Морсер.

– Нет, пойти на такую жертву, – отвечал Шато-Рено. – Спросите у Дебрэ, пожертвует ли он своим английским скакуном для незнакомца?

– Для незнакомца – нет, – сказал Дебрэ, – а для друга – может быть.

– Я предчувствовал, что вы станете моим другом, барон, – сказал Моррель. – Кроме того, как я уже имел честь вам сказать, называйте это героизмом или жертвой, но в тот день я должен был чем-нибудь отплатить судьбе за неожиданное счастье, когда-то посетившее нас.

– Эта история, на которую намекает Моррель, – продолжал Шато-Рено, – совершенно изумительна, и, когда вы с ним поближе познакомитесь, он вам ее как-нибудь расскажет; а пока что довольно воспоминаний, займемся нашими желудками. В котором часу вы завтракаете, Альбер?

– В половине одиннадцатого.

– Точно? – спросил Дебрэ, вынимая часы.

– Вы подарите мне еще пять минут льготных, – сказал Морсер, – ведь я тоже жду спасителя.

– Чьего?

– Моего собственного, черт возьми, – отвечал Морсер. – Или, по-вашему, меня нельзя от чего-нибудь спасти, как всякого другого, и

только одни арабы рубят головы? Наш завтрак – завтрак филантропический, и за нашим столом будут сидеть, я надеюсь, два благодетеля человечества.

– Как же быть? – сказал Дебрэ. – У нас ведь только одна Монтионовская премия?

– Что ж, ее отдадут тому, кто ничего не сделал, чтобы ее заслужить, – сказал Бошан. – Обычно Академия так и выходит из затруднения.

– А откуда явится ваш спаситель? – спросил Дебрэ. – Прошу прощения за свою настойчивость; я помню, вы уже раз мне ответили, но так туманно, что я позволил себе переспросить вас.

– По правде сказать, я и сам не знаю, – отвечал Альбер, – три месяца тому назад, когда я его приглашал, он был в Риме; но кто может сказать, где он успел побывать за это время?

– И вы думаете, он способен быть пунктуальным? – спросил Дебрэ.

– Я думаю, что он способен на все.

– Имейте в виду, что даже с пятью минутами льготы остается ждать только десять минут.

– Так я воспользуюсь ими и расскажу вам про моего гостя.

– Простите, – сказал Бошан, – а можно из вашего рассказа сделать фельетон?

– Даже очень, – отвечал Морсер, – и прелюбопытный.

– Так рассказывайте; надо же мне чем-нибудь вознаградить себя, раз я не попаду в Палату.

– Я был в Риме во время последнего карнавала.

– Это мы знаем, – прервал Бошан.

– Да, но вы не знаете, что я был похищен разбойниками.

– Разбойников нет, – заметил Дебрэ.

– Нет, есть, существуют, и еще какие страшные, я хочу сказать – восхитительные. Они показались мне до ужаса прекрасными.

– Послушайте, дорогой Альбер, – сказал Дебрэ, – сознайтесь, что ваш повар запоздал, что устрицы еще не привезены из Марени или Остенде и что вы по примеру госпожи де Ментенон хотите заменить еду сказкой.

Сознавайтесь же, мы настолько учтивы, что извиним вас и выслушаем вашу историю, как бы фантастична она ни была.

– А я вам говорю, что хоть она и фантастична, в ней все правда от начала до конца. Итак, разбойники взяли меня в плен и отвели в весьма неуютное место, называемое катакомбами Сан-Себастьяно.

– Я их знаю, – сказал Шато-Рено, – я там чуть было не схватил лихорадку.

– А я на самом деле схватил, – продолжал Альбер. – Мне заявили, что я пленник и что за меня требуется выкуп – пустяки, четыре тысячи римских пиастров, двадцать шесть тысяч турских ливров. К несчастью, у меня оставалось только полторы тысячи, путешествие мое подходило к концу и кредит истощился. Я написал Францу... Да, ведь Франц был при этом, и вы можете спросить у него, присочинил ли я хоть слово. Я написал ему, что если в шесть часов утра он не привезет четырех тысяч пиастров, то в десять минут седьмого я буду сопричислен к лику блаженных святых и славных мучеников. Поверьте, что Луиджи Вампа – так звали атамана разбойников – честно сдержал бы свое обещание.

– Но Франц привез четыре тысячи пиастров? – сказал Шато-Рено. – Еще бы! Достать четыре тысячи пиастров не хитрость, когда зовешься Францем д'Эпине или Альбером де Морсером.

– Нет, он просто приехал в сопровождении того гостя, о котором я говорю и которого я надеюсь вам представить.

– Так этот господин – Геркулес, убивающий Кака, или Персей, освобождающий Андромеду?

– Нет, он с меня ростом.

– Вооружен до зубов?

– С ним не было и вязальной спицы.

– Но он заплатил выкуп?

– Он сказал два слова на ухо атаману, и меня освободили.

– Перед ним даже извинились, что задержали тебя, – прибавил Бошан.

– Вот именно, – подтвердил Альбер.

– Уж не Ариосто ли он?

– Нет, просто граф Монте-Кристо.

– Такого имени нет, – сказал Дебрэ.

– По-моему, тоже, – прибавил Шато-Рено с уверенностью человека, знающего наизусть все родословные книги Европы, – кто слышал когда-нибудь о графах Монте-Кристо?

– Может быть, он родом из Святой земли, – сказал Бошан, – вероятно, кто-нибудь из его предков владел Голгофой, как Мортемары – Мертвым морем.

– Простите, господа, – сказал Максимилиан, – но мне кажется, что я могу вывести вас из затруднения. Монте-Кристо – островок, о котором часто говорили моряки, служившие у моего отца; песчинка в Средиземном море, атом в бесконечности.

– Вы совершенно правы, – сказал Альбер, – и человек, о котором я вам рассказываю, – господин и повелитель этой песчинки, этого атома. Он, по-видимому, купил себе графский титул где-нибудь в Тоскане.

– Так он богат, ваш граф?

– Думаю, что богат.

– Да ведь это должно быть видно?

– Ошибаетесь, Дебрэ.

– Я вас не понимаю.

– Читали вы «Тысячу и одну ночь»?

– Что за вопрос!

– А разве можно сказать, кто там перед вами – богачи или бедняки? Что у них: пшеничные зерна или рубины и алмазы? Вам кажется – это жалкие рыбаки, и вдруг они вводят вас в какую-нибудь таинственную пещеру, и перед вашими глазами сокровища, на которые можно купить всю Индию.

– Ну и что же?

– А то, что мой граф Монте-Кристо один из таких рыбаков; у него даже имя оттуда; его зовут Синдбад-мореход, и у него есть пещера, полная золота.

– А вы видели эту пещеру, Морсер? – спросил Бошан.

– Я – нет, а Франц видел. Но смотрите, ни слова об этом при нем! Франца ввели туда с завязанными глазами, ему прислуживали немые и женщины, перед которыми сама Клеопатра – просто девка. Впрочем, насчет женщин он не вполне уверен, потому что они появились только после того, как он отведал гашиша; так что он, может быть, принял за женщин какие-нибудь статуи.

Молодые люди смотрели на Морсера, и в их глазах ясно читалось: «С ума ты сошел или просто нас дурачишь?»

– В самом деле, – задумчиво сказал Моррель, – я слышал от одного старого моряка, по имени Пенелон, нечто похожее на то, о чем говорит господин де Морсер.

– Я очень рад, что господин Моррель меня поддерживает, – сказал Альбер. – Вам, верно, не нравится, что он бросает эту путеводную нить в мой лабиринт?

– Простите, дорогой друг, – сказал Дебрэ, – но вы рассказываете такие невероятные вещи...

– Невероятные для вас, потому что ваши посланники и консулы вам об этом не пишут; им некогда, они заняты тем, что притесняют своих путешествующих соотечественников.

– Вот вы и рассердились и нападаете на бедных наших представителей. Да как же они могут защищать ваши интересы? Палата все время урезывает им содержание; дошло до того, что на эти должности больше не находится желающих. Хотите быть послом, Альбер? Я устрою вам назначение в Константинополь.

– Вот еще! Чтобы султан, чуть только я заступлюсь за Магомета-Али, прислал мне шнурок и чтобы мои же секретари меня удушили!

– Ну вот видите, – сказал Дебрэ.

– Да, но, несмотря на все это, мой граф Монте-Кристо существует...

– Все на свете существуют! Нашли диковину!

– Все существуют, конечно, но не у всех есть чернокожие невольники, княжеские картинные галереи, музейное оружие, лошади ценою в шесть тысяч франков, наложницы-гречанки.

– А вы ее видели, наложницу-гречанку?

– Да, и видел и слышал; видел в театре Валле, а слышал однажды, когда завтракал у графа.

– Так он ест, ваш необыкновенный человек?

– По правде говоря, ест так мало, что об этом и говорить не стоит.

– Увидите, он окажется вампиром.

– Смейтесь, если хотите, но то же сказала графиня Г., которая, как вам известно, знавала лорда Рутвена.

– Поздравляю, Альбер, это блестяще для человека, не занимающегося журналистикой, – воскликнул Бошан. – Стоит пресловутой морской змеи в «Конституционалисте». Вампир – просто великолепно!

– Глаза красноватые с расширяющимися и суживающимися, по желанию, зрачками, – произнес Дебрэ, – орлиный нос, большой открытый лоб, в лице ни кровинки, черная бородка, зубы блестящие и острые и такие же манеры.

– Так оно и есть, Люсьен, – сказал Морсер, – все приметы совпадают в точности. Да, манеры острые и колкие. В обществе этого человека у меня часто пробегал мороз по коже; а один раз, когда мы вместе смотрели казнь, я думал, что упаду в обморок не столько от работы палача и от криков осужденного, как от вида графа и его хладнокровных рассказов о всевозможных способах казни.

– А не водил он вас в развалины Колизея, чтобы пососать вашу кровь, Морсер? – спросил Бошан.

– А когда отпустил, не заставил вас расписаться на каком-нибудь пергаменте огненного цвета, что вы отдаете ему свою душу, как Исав первородство?

– Смейтесь, смейтесь, сколько вам угодно, – сказал Морсер, слегка обиженный. – Когда я смотрю на вас, прекрасные парижане, завсегдатаи Гантского бульвара, посетители Булонского леса, и вспоминаю этого человека, то, право, мне кажется, что мы люди разной породы.

– И я этим горжусь! – сказал Бошан.

– Во всяком случае, – добавил Шато-Рено, – ваш граф Монте-Кристо в минуты досуга прекрасный человек, если, конечно, не считать его делишек с итальянскими разбойниками.

– Никаких итальянских разбойников нет! – сказал Дебрэ.

– И вампиров тоже нет! – поддержал Бошан.

– И графа Монте-Кристо тоже нет, – продолжал Дебрэ. – Слышите, Альбер: бьет половина одиннадцатого.

– Сознайтесь, что вам приснился страшный сон, и идемте завтракать, – сказал Бошан.

Но еще не замер гул стенных часов, как дверь распахнулась и Жермен доложил:

– Его сиятельство граф Монте-Кристо!

Все присутствующие невольно вздрогнули и этим показали, насколько проник им в души рассказ Морсера. Сам Альбер не мог подавить внезапного волнения.

Никто не слышал ни стука кареты, ни шагов в прихожей; даже дверь отворилась бесшумно.

На пороге появился граф; он был одет очень просто, но даже взыскательный глаз не нашел бы ни малейшего изъяна в его костюме. Все отвечало самому изысканному вкусу, все – платье, шляпа и белье – было сделано руками самых искусных поставщиков.

Ему было на вид не более тридцати пяти лет, и особенно поразило всех его сходство с портретом, который набросал Дебрэ.

Граф, улыбаясь, подошел прямо к Альберу, который встал навстречу и горячо пожал ему руку.

– Точность – вежливость королей, как утверждал, насколько мне известно, один из ваших монархов, – сказал Монте-Кристо, – но путешественники, при всем своем желании, не всегда могут соблюсти это правило. Все же я надеюсь, дорогой виконт, что, учитывая мое искреннее желание быть точным, вы простите мне те две или три секунды, на которые я, кажется, все-таки опоздал. Пятьсот лье не всегда можно проехать без препятствий, тем более во Франции, где, говорят, запрещено бить кучеров.

– Граф, – отвечал Альбер, – я как раз сообщал о вашем предстоящем приходе моим друзьям, которых я пригласил сюда по случаю вашего любезного обещания навестить меня. Позвольте вам их представить:

граф Шато-Рено, чье дворянство восходит к двенадцати пэрам и чьи предки сидели за Круглым столом; господин Люсьен Дебрэ – личный секретарь министра внутренних дел; господин Бошан – опасный журналист, гроза французского правительства; он широко известен у себя на родине, но вы в Италии, быть может, никогда не слышали о нем, потому что там его газета запрещена; наконец, господин Максимилиан Моррель – капитан спаги.

При этом имени граф, раскланивавшийся со всеми очень вежливо, но с чисто английским бесстрастием и холодностью, невольно сделал шаг вперед, и легкий румянец мелькнул, как молния, на его бледных щеках.

– Вы носите мундир французов-победителей, – сказал он Моррелю. – Это прекрасный мундир.

Трудно было сказать, какое чувство придало такую глубокую звучность голосу графа и вызвало, как бы помимо его воли, особый блеск в его глазах, таких прекрасных, спокойных и ясных, когда ничто их не затуманивало.

– Вы никогда не видали наших африканцев? – спросил Альбер.

– Никогда, – отвечал граф, снова вполне овладев собою.

– Под этим мундиром бьется одно из самых благородных и бесстрашных сердец нашей армии.

– О виконт! – прервал Моррель.

– Позвольте мне договорить, капитан... И мы сейчас узнали, – продолжал Альбер, – о таком геройском поступке господина Морреля, что, хотя я вижу его сегодня первый раз в жизни, я прошу у него разрешения представить его вам, граф, как моего друга.

И при этих словах странно неподвижный взор, мимолетный румянец и легкое дрожание век опять выдали волнение Монте-Кристо.

– Вот как! – сказал он. – Значит, капитан – благородный человек. Тем лучше!

Это восклицание, отвечавшее скорее на собственную мысль графа, чем на слова Альбера, всем показалось странным, особенно Моррелю, который удивленно посмотрел на Монте-Кристо. Но в то же время это

было сказано так мягко и даже нежно, что, несмотря на всю странность этого восклицания, не было возможности на него рассердиться.

– Какие у него могли быть основания в этом сомневаться? – спросил Бошан у Шато-Рено.

– В самом деле, – отвечал тот, своим наметанным и зорким глазом аристократа сразу определивший в Монте-Кристо все, что поддавалось определению, – Альбер нас не обманул, и этот граф – необыкновенный человек; как вам кажется, Моррель?

– По-моему, у него открытый взгляд и приятный голос, так что он мне нравится, несмотря на странное замечание на мой счет.

– Господа, – сказал Альбер, – Жермен докладывает, что завтрак подан. Дорогой граф, разрешите указать вам дорогу.

Все молча прошли в столовую и заняли свои места.

– Господа, – заговорил, усаживаясь, граф, – разрешите мне сделать вам признание, которое может послужить мне извинением за возможные мои оплошности: я здесь чужой, больше того, я первый раз в Париже. Поэтому с французской жизнью я совершенно незнаком; до сих пор я всегда вел восточный образ жизни, совершенно противоположный французским нравам и обычаям. И я заранее прошу извинить меня, если вы найдете во мне слишком много турецкого, неаполитанского или арабского. А засим приступим к завтраку.

– Как он говорит! – прошептал Бошан. – Положительно это вельможа!

– Чужеземный вельможа, – добавил Дебрэ.

– Вельможа всех стран света, господин Дебрэ, – заключил Шато-Рено.

# II. Завтрак

Как читатели, вероятно, помнят, граф был очень умерен в еде. Поэтому Альбер выразил опасение, что парижский образ жизни с самого начала произведет на него дурное впечатление своей наиболее материальной, хотя в то же время наиболее необходимой стороной.

– Дорогой граф, – сказал он, – я сильно опасаюсь, что кухня улицы Эльдер понравится вам меньше кухни Пьяцца-ди-Спанья. Мне следовало заранее осведомиться о ваших вкусах и заказать блюда, которые вы предпочитаете.

– Если бы вы знали меня ближе, – ответил, улыбаясь, граф, – вас не заботили бы такие пустяки. В моих путешествиях мне приходилось питаться макаронами в Неаполе, полентой в Милане, оллаподридой в Валенсии, пилавом в Константинополе, карриком в Индии и ласточкиными гнездами в Китае. Для такого космополита, как я, вопроса о кухне не существует. Где бы я ни был, я ем все, только ем понемногу; а как раз сегодня, когда вы сетуете на мою умеренность, у меня волчий аппетит, потому что со вчерашнего утра я ничего не ел.

– Как со вчерашнего утра? – воскликнули все. – Неужели вы ничего не ели целые сутки?

– Да, – отвечал Монте-Кристо. – Мне пришлось свернуть с дороги, чтобы собрать некоторые сведения в окрестностях Нима, это несколько задержало меня, и я не хотел нигде останавливаться.

– И вы пообедали в карете? – спросил Морсер.

– Нет, я спал; я всегда засыпаю, когда мне скучно и нет охоты развлекаться или когда я голоден и нет охоты есть.

– Так вы, значит, можете заставить себя заснуть? – спросил Моррель.

– Почти что так.

– И у вас есть для этого какое-нибудь средство?

– Самое верное.

– Вот что пригодилось бы нам, африканцам, – сказал Моррель, – у нас ведь не всегда бывает пища, а питье – и того реже.

– Несомненно, – сказал Монте-Кристо, – но, к сожалению, мое средство, чудесное для такого человека, как я, живущего совсем особой жизнью, было бы опасно применить в армии; она не проснулась бы в нужную минуту.

– А можно узнать, что это за средство? – спросил Дебрэ.

– Разумеется, – сказал Монте-Кристо, – я не делаю из него тайны: это смесь отличнейшего опиума, за которым я сам ездил в Кантон, чтобы быть уверенным в его качестве, и лучшего гашиша, собираемого между Тигром и Евфратом; их смешивают в равных долях и делают пилюли, которые вы и глотаете, когда нужно. Действие наступает через десять минут. Спросите у барона Франца д'Эпине; он, кажется, пробовал их однажды.

– Да, – сказал Альбер, – он говорил мне; он сохранил о них самое приятное воспоминание.

– Значит, – сказал Бошан, который, как полагается журналисту, был очень недоверчив, – это снадобье у вас всегда при себе?

– Всегда, – отвечал Монте-Кристо.

– Не будет ли с моей стороны нескромностью попросить вас показать нам эти драгоценные пилюли? – продолжал Бошан, надеясь захватить чужестранца врасплох.

– Извольте.

И граф вынул из кармана очаровательную бонбоньерку, выточенную из цельного изумруда, с золотой крышечкой, которая, отвинчиваясь, пропускала шарик зеленоватого цвета величиною с горошину. Этот шарик издавал острый, въедливый запах. В изумрудной бонбоньерке лежало четыре или пять шариков, но она могла вместить и дюжину.

Бонбоньерка обошла стол по кругу, но гости брали ее друг у друга скорее для того, чтобы взглянуть на великолепный изумруд, чем чтобы посмотреть или понюхать пилюли.

– И это угощение вам готовит ваш повар? – спросил Бошан.

– О нет, – сказал Монте-Кристо, – я не доверяю лучших моих наслаждений недостойным рукам. Я неплохой химик и сам приготовляю эти пилюли.

– Великолепный изумруд! – сказал Шато-Рено. – Такого крупного я никогда не видал, хотя у моей матери есть недурные фамильные драгоценности.

– У меня их было три таких, – пояснил Монте-Кристо, – один я подарил падишаху, который украсил им свою саблю; второй – его святейшеству папе, который велел вставить его в свою тиару, против почти равноценного ему, но все же не такого красивого изумруда, подаренного его предшественнику Пию Седьмому императором Наполеоном; третий я оставил себе и велел выдолбить. Это наполовину обесценило его, но так было удобнее для того употребления, которое я хотел из него сделать.

Все с изумлением смотрели на Монте-Кристо; он говорил так просто, что ясно было: его слова либо чистая правда, либо бред безумца; однако изумруд, который он все еще держал в руках, заставлял придерживаться первого из этих предположений.

– Что же дали вам эти два властителя взамен вашего великолепного подарка? – спросил Дебрэ.

– Падишах подарил свободу женщине, – отвечал граф, – святейший папа – жизнь мужчине. Таким образом, раз в жизни мне довелось быть столь же могущественным, как если бы я был рожден для трона.

– И тот, кого вы спасли, был Пеппино, не правда ли? – воскликнул Морсер. – Это к нему вы применили ваше право помилования?

– Все может быть, – ответил, улыбаясь, Монте-Кристо.

– Граф, вы не можете себе представить, как мне приятно слушать вас, – сказал Альбер. – Я уже рекомендовал вас моим друзьям как человека необыкновенного, чародея из «Тысячи и одной ночи», средневекового колдуна; но парижане так склонны к парадоксам, что принимают за плод воображения самые бесспорные истины, когда эти истины не укладываются в рамки их повседневного существования. Вот, например, Бошан ежедневно печатает, а Дебрэ читает, что на бульваре остановили и ограбили запоздавшего члена Жокей-клуба; что на улице Сен-Дени или в Сен-Жерменском предместье убили четырех человек; что поймали десять, пятнадцать, двадцать воров в кафе на бульваре

Тампль или в Термах Юлиана; а между тем они отрицают существование разбойников в Мареммах, в римской Кампанье или Понтийских болотах. Пожалуйста, граф, скажите им сами, что я был взят в плен этими разбойниками и что, если бы не ваше великодушное вмешательство, я, по всей вероятности, в настоящую минуту ждал бы в катакомбах Сан-Себастьяно воскресения мертвых, вместо того чтобы угощать их в моем жалком домишке на улице Эльдер.

– Полноте, – сказал Монте-Кристо, – вы обещали мне никогда не вспоминать об этой безделице.

– Я не обещал, – воскликнул Морсер. – Вы смешиваете меня с кем-нибудь другим, кому оказали такую же услугу. Наоборот, прошу вас, поговорим об этом. Может быть, вы не только повторите кое-что из того, что мне известно, но и расскажете многое, чего я не знаю.

– Но, мне кажется, – сказал с улыбкой граф, – вы играли во всей этой истории достаточно важную роль, чтобы знать не хуже меня все, что произошло.

– А если я скажу то, что знаю, вы обещаете рассказать все, чего я не знаю? – спросил Морсер.

– Это будет справедливо, – ответил Монте-Кристо.

– Ну, так вот, – продолжал Морсер, – расскажу, хотя все это очень нелестно для моего самолюбия. Я воображал в течение трех дней, что со мной заигрывает некая маска, которую я принимал за аристократку, происходящую по прямой линии от Туллии или Поппеи, между тем как меня просто-напросто интриговала сельская красотка, чтобы не сказать крестьянка. Скажу больше, я оказался совсем уже простофилей и принял за крестьянку молодого бандита, стройного и безбородого мальчишку лет пятнадцати. Когда я настолько осмелел, что попытался запечатлеть на его невинном плече поцелуй, он приставил к моей груди пистолет и с помощью семи или восьми товарищей повел или, вернее, поволок меня в катакомбы Сан-Себастьяно. Там я увидел их атамана, чрезвычайно ученого человека. Он был занят тем, что читал «Записки Цезаря», и соблаговолил прервать чтение, чтобы заявить мне, что если на следующий день, к шести часам утра, я не внесу в его кассу четырех

тысяч пиастров, то в четверть седьмого меня не будет в живых. У Франца есть мое письмо с припиской маэстро Луиджи Вампа. Если вы сомневаетесь, я напишу Францу, чтобы он дал засвидетельствовать подписи. Вот и все, что я знаю; но я не знаю, каким образом вам, граф, удалось снискать столь глубокое уважение римских разбойников, которые мало что уважают. Сознаюсь, мы с Францем были восхищены.

– Все это очень просто. Я знаю знаменитого Луиджи Вампа уже более десяти лет. Как-то, когда он был мальчишкой-пастухом, я дал ему золотую монету за то, что он указал мне дорогу, а он, чтобы не остаться у меня в долгу, отдарил меня кинжалом с резной рукояткой собственной работы; этот кинжал вы, вероятно, видели в моей коллекции оружия. Впоследствии он не то забыл этот обмен подарками – залог дружбы между нами, – не то не узнал меня и пытался взять в плен; но вышло наоборот: я захватил его и еще десяток разбойников. Я мог отдать его в руки римского правосудия, которое всегда действует проворно, а для него особенно постаралось бы, но я не сделал этого: я отпустил их всех с миром.

– С условием, чтобы они больше не грешили, – засмеялся журналист. – И я с удовольствием вижу, что они честно сдержали слово.

– Нет, – возразил Монте-Кристо, – только с тем условием, чтобы они никогда не трогали ни меня, ни моих друзей. Может быть, мои слова покажутся вам странными, господа социалисты, прогрессисты, гуманисты, но я никогда не забочусь о ближних, никогда не пытаюсь защищать общество, которое меня не защищает и вообще занимается мною только тогда, когда может повредить мне. Если я отказываю и обществу и ближнему в уважении и только сохраняю нейтралитет, они все-таки еще остаются у меня в неоплатном долгу.

– Слава богу! – воскликнул Шато-Рено. – Наконец-то я слышу храброго человека, который честно и неприкрыто проповедует эгоизм. Прекрасно, браво, граф!

– По крайней мере откровенно, – сказал Моррель, – но я уверен, что граф не раскаивался, однажды изменив своим принципам, которые он сейчас так решительно высказал.

– В чем же я изменил им? – спросил Монте-Кристо, который время от времени так внимательно взглядывал на Морреля, что бесстрашный молодой воин уже несколько раз опускал глаза под светлым и ясным взором графа.

– Но мне кажется, – возразил Моррель, – что, спасая господина де Морсера, вам совершенно незнакомого, вы служили и ближнему и обществу.

– Коего он является лучшим украшением, – торжественно заявил Бошан, залпом осушая бокал шампанского.

– Вы противоречите себе, граф, – воскликнул Альбер, – вы, самый логичный человек, какого я знаю; и сейчас вам докажу, что вы далеко не эгоист, а, напротив того, филантроп. Вы называете себя сыном Востока, говорите, что вы левантинец, малаец, индус, китаец, дикарь; ваше имя – Синдбад-мореход, граф Монте-Кристо; и вот, едва вы попали в Париж, в вас сказывается основное достоинство или основной недостаток, присущий нам, эксцентричным парижанам: вы приписываете себе не свойственные вам пороки и скрываете свои добродетели.

– Дорогой виконт, – возразил Монте-Кристо, – в моих словах или поступках я не вижу ничего достойного такой похвалы. Вы были не чужой для меня: я был знаком с вами, я уступил вам две комнаты, угощал вас завтраком, предоставил вам один из моих экипажей, мы вместе любовались масками на Корсо и вместе смотрели из окна на Пьяцца-дель-Пополо на казнь, так сильно взволновавшую вас, что вам едва не сделалось дурно. И вот, я спрашиваю вас всех, мог ли я оставить моего гостя в руках этих ужасных разбойников, как вы их называете? Кроме того, как вам известно, когда я спасал вас, у меня была задняя мысль, что вы окажете мне услугу и, когда я приеду во Францию, введете меня в парижский свет. Прежде вы могли думать, что это просто мимолетное предположение, но теперь вы видите, что это чистейшая реальность, и вам придется покориться, чтобы не нарушить вашего слова.

– И я сдержу его, – сказал Морсер, – но боюсь, дорогой граф, что вы будете крайне разочарованы, – ведь вы привыкли к живописным местностям, необычайным приключениям, к фантастическим горизонтам.

У нас нет ничего похожего на то, к чему вас приучила ваша богатая событиями жизнь. Монмартр – наш Чимборазо, Монвалериен – наши Гималаи; Гренельская равнина – наша Великая Пустыня, да и тут роют артезианский колодец для караванов. У нас есть воры, и даже много, хоть и не так много, как говорят; но эти воры боятся самого мелкого сыщика куда больше, чем самого знатного вельможи; словом, Франция – страна столь прозаическая, а Париж – город столь цивилизованный, что во всех наших восьмидесяти пяти департаментах (разумеется, я исключаю Корсику из числа французских провинций), – во всех наших департаментах вы не найдете даже небольшой горы, на которой не было бы телеграфа и сколько-нибудь темной пещеры, в которую полицейский комиссар не провел бы газ. Так что я могу оказать вам лишь одну услугу, дорогой граф, и тут я весь в вашем распоряжении: ввести вас всюду, или лично, или через друзей. Впрочем, вам для этого никто не нужен: с вашим именем, с вашим богатством и вашим умом (Монте-Кристо поклонился с легкой иронической улыбкой) человек не нуждается в том, чтобы его представляли, и будет везде хорошо принят. В сущности, я могу быть вам полезен только в одном. Если вам может пригодиться мое знакомство с парижской жизнью, кое-какой опыт в вопросах комфорта и знание магазинов, то я всецело в вашем распоряжении, чтобы помочь вам прилично устроиться. Не смею предложить вам разделить со мной эту квартиру, как вы в Риме разделили со мной свою (хоть я и не проповедую эгоизма, я все же эгоист до мозга костей): здесь, кроме меня самого, не поместилась бы и тень, разве что женская.

– Эта оговорка наводит на мысль о супружестве, – сказал граф. – В самом деле, в Риме вы мне намекали на некие брачные планы; должен ли я поздравить вас с наступающим счастьем?

– Это все еще только планы.

– И весьма неопределенные, – вставил Дебрэ.

– Нисколько, – сказал Морсер, – мой отец очень желает этого, и я надеюсь скоро познакомить вас если не с моей женой, то с невестой: мадемуазель Эжени Данглар.

– Эжени Данглар! – подхватил Монте-Кристо. – Позвольте, ее отец – барон Данглар?

– Да, – отвечал Морсер, – но барон новейшей формации.

– Не все ли равно, – возразил Монте-Кристо, – если он оказал такие услуги государству, что заслужил это отличие.

– Огромные, – сказал Бошан. – Хоть он и был в душе либерал, но в тысяча восемьсот двадцать девятом году провел для Карла Десятого заем в шесть миллионов; за это король сделал его бароном и кавалером Почетного легиона, так что он носит свою награду не в жилетном кармане, как можно было бы думать, но честь честью, в петличке фрака.

– Ах, Бошан, Бошан, – засмеялся Морсер, – приберегите это для «Корсара» и «Шаривари», но при мне пощадите моего будущего тестя.

Потом он обратился к Монте-Кристо:

– Вы сейчас произнесли его имя так, как будто вы знакомы с бароном.

– Я с ним не знаком, – небрежно сказал Монте-Кристо, – но, вероятно, скоро познакомлюсь, потому что мне в его банке открыт кредит банкирскими домами Ричард и Блаунт в Лондоне, Арштейн и Эскелес в Вене и Томсон и Френч в Риме.

Произнося два последних имени, граф искоса взглянул на Морреля.

Если чужестранец думал произвести на Максимилиана Морреля впечатление, то он не ошибся. Максимилиан вздрогнул, как от электрического разряда.

– Томсон и Френч? – сказал он. – Вы знаете этот банкирский дом, граф?

– Это мои банкиры в столице христианского мира, – спокойно ответил граф. – Я могу быть вам чем-нибудь полезен у них?

– Быть может, граф, вы могли бы помочь нам в розысках, оставшихся до сих пор бесплодными. Этот банкирский дом некогда оказал нашей фирме огромную услугу, но почему-то всегда отрицал это.

– Я в вашем распоряжении, – ответил с поклоном Монте-Кристо.

– Однако, – заметил Морсер, – заговорив о господине Дангларе, мы слишком отвлеклись. Речь шла о том, чтобы подыскать графу Монте-

Кристо приличное помещение. Давайте подумаем, где поселиться новому гостю великого Парижа?

– В Сен-Жерменском предместье граф может найти недурной особняк с садом, – сказал Шато-Рено.

– Вы только и знаете что свое несносное Сен-Жерменское предместье, Шато-Рено, – сказал Дебрэ. – Не слушайте его, граф, и устройтесь на Шоссе д'Антен: это подлинный Париж.

– Бульвар Оперы, – заявил Бошан, – второй этаж, дом с балконом. Граф велит там положить подушки из серебряной парчи и, дымя чубуком или глотая свои пилюли, будет любоваться дефилирующей перед ним столицей.

– А вам разве ничего не приходит в голову, Моррель, что вы ничего не предлагаете? – спросил Шато-Рено.

– Нет, напротив, – сказал, улыбаясь, молодой человек, – у меня есть одна мысль, но я ждал, не соблазнится ли граф каким-нибудь из ваших блестящих предложений. А теперь я возьму на себя смелость предложить ему небольшую квартирку в прелестном помпадуровском особняке, который вот уже год снимает на улице Меле моя сестра.

– У вас есть сестра? – спросил граф.

– Да, граф, и прекрасная сестра.

– Замужем?

– Уже девятый год.

– И счастлива? – снова спросил граф.

– Так счастлива, как только вообще возможно, – отвечал Максимилиан, – она вышла замуж за человека, которого любила, за того, кто не покинул нас в нашем несчастье – за Эмманюеля Эрбо.

Монте-Кристо чуть заметно улыбнулся.

– Я живу у нее, когда нахожусь в отпуску, – продолжал Максимилиан, – и готов служить вам, граф, вместе с моим зятем, если вам что-либо понадобится.

– Одну минуту! – прервал Альбер, раньше чем Монте-Кристо успел ответить. – Подумайте, что вы делаете, Моррель. Вы хотите заточить

путешественника, Синдбада-морехода в семейную обстановку. Человека, который приехал смотреть Париж, вы хотите превратить в патриарха.

– Вовсе нет, – улыбнулся Моррель, – моей сестре двадцать пять лет, зятю – тридцать; они молоды, веселы и счастливы. К тому же граф будет жить отдельно и встречаться с ними, только когда сам пожелает.

– Благодарю вас, благодарю, – сказал Монте-Кристо, – я буду рад познакомиться с вашей сестрой и зятем, если вам угодно оказать мне эту честь, но я не приму ни одного из всех ваших предложений просто потому, что помещение для меня уже готово.

– Как! – воскликнул Морсер. – Неужели вы будете жить в гостинице? Вам будет слишком неуютно!

– Разве я так плохо жил в Риме? – спросил Монте-Кристо.

– Еще бы, в Риме вы истратили на обстановку ваших комнат пятьдесят тысяч пиастров; но не намерены же вы каждый раз идти на такие расходы.

– Меня не это остановило, – отвечал Монте-Кристо, – но я хочу иметь в Париже дом, свой собственный. Я послал вперед своего камердинера, и он, наверное, уже купил дом и велел обставить.

– Так, значит, у вас есть камердинер, который знает Париж? – воскликнул Бошан.

– Он, как и я, в первый раз во Франции; он чернокожий и к тому же немой, – отвечал Монте-Кристо.

– Так это Али? – воскликнул Альбер среди всеобщего удивления.

– Вот именно, Али, мой немой нубиец, которого вы, кажется, видели в Риме.

– Ну, конечно, – отвечал Морсер, – я прекрасно его помню. Но как же вы поручили нубийцу купить дом в Париже и немому – его обставить? Несчастный, наверное, все напутал.

– Напрасно вы так думаете; напротив, я уверен, что он все устроил по моему вкусу; а у меня, как вам известно, вкус довольно необычный. Он уже с неделю как приехал; должно быть, он обегал весь город, проявляя чутье хорошей собаки, которая охотится одна; он знает мои прихоти, мои вкусы, мои потребности; он, наверное, все уже устроил как надо. Он

знал, что я приеду сегодня в десять часов утра, и ждал меня с девяти у заставы Фонтенбло. Он передал мне эту бумажку; это мой новый адрес; вот, прочтите.

И Монте-Кристо протянул Альберу листок.

– «Елисейские поля, номер тридцать», – прочел Морсер.

– Вот это оригинально! – вырвалось у Бошара.

– И чисто по-княжески! – прибавил Шато-Рено.

– Как, вы еще не знаете вашего дома? – спросил Дебрэ.

– Нет, – ответил Монте-Кристо, – я уже говорил, что не хотел опаздывать к назначенному часу. Я оделся в карете и вышел из нее у дверей виконта.

Молодые люди переглянулись: они не могли понять, не разыгрывает ли Монте-Кристо комедию, но все слова этого человека, несмотря на их необычайность, дышали такой простотой, что нельзя было предполагать в них лжи, да и зачем ему было лгать?

– Стало быть, – сказал Бошан, – придется нам довольствоваться теми маленькими услугами, которые мы можем оказать графу. Я как журналист открою ему доступ во все театры Парижа.

– Благодарю вас, – сказал, улыбаясь, Монте-Кристо, – я уже велел моему управляющему абонировать в каждом театре по ложе.

– А ваш управляющий тоже нубиец и немой? – спросил Дебрэ.

– Нет, он просто ваш соотечественник, если только корсиканец может считаться чьим-либо соотечественником; вы его знаете, господин де Морсер.

– Наверное, это достойный синьор Бертуччо, который так мастерски нанимает окна?

– Вот именно; и вы видели его, когда оказали мне честь позавтракать у меня. Это славный малый, который был и солдатом и контрабандистом – словом, всем понемногу. Я даже не поручусь, что у него не было когда-нибудь неладов с полицией из-за какого-нибудь пустяка, вроде удара ножом.

– И этого честного гражданина мира вы взяли к себе в управляющие, граф? – спросил Дебрэ. – Сколько он крадет у вас в год?

– Право же, не больше всякого другого, я в этом уверен; но он мне подходит, не признает невозможного, и я держу его.

– Таким образом, – сказал Шато-Рено, – у вас налажено все хозяйство: у вас есть дом на Елисейских полях, прислуга, управляющий, и вам недостает только любовницы.

Альбер улыбнулся: он вспомнил о прекрасной не то албанке, не то гречанке, которую видел в ложе графа в театре Валле и в театре Арджентина.

– У меня есть нечто получше: у меня есть невольница, – сказал Монте-Кристо. – Вы нанимаете ваших любовниц в Опере, в Водевиле, в Варьете, а я купил свою в Константинополе; мне это обошлось дороже, но зато мне больше не о чем беспокоиться.

– Но вы забываете, – заметил, смеясь, Дебрэ, – что мы вольные франки и что ваша невольница, ступив на французскую землю, стала свободна.

– А кто ей это скажет? – спросил Монте-Кристо.

– Да первый встречный.

– Она говорит только по-новогречески.

– Ну, тогда другое дело!

– Но мы, надеюсь, увидим ее? – сказал Бошан. – Или вы, помимо немого, держите и евнухов?

– Нет, – сказал Монте-Кристо, – я еще не дошел до этого в своем ориентализме: все, кто меня окружает, вольны в любую минуту покинуть меня и, сделав это, уже не будут нуждаться ни во мне, ни в ком-либо другом; вот поэтому, может быть, они меня и не покидают.

Собеседники уже давно перешли к десерту и к сигарам.

– Дорогой мой, – сказал, вставая, Дебрэ, – уже половина третьего; ваш гость очарователен, но нет такого приятного общества, с которым не надо было бы расставаться, иногда его приходится даже менять на неприятное; мне пора в министерство. Я поговорю о графе с министром, надо же нам узнать, кто он такой.

– Берегитесь, – отвечал Морсер, – самые проницательные люди отступили перед этой загадкой.

– Нам отпускают три миллиона на полицию; правда, они почти всегда оказываются израсходованными заранее, но на это дело пятьдесят тысяч франков, во всяком случае, наберется.

– А когда вы узнаете, кто он, вы мне скажете?

– Непременно. До свидания, Альбер; господа, имею честь кланяться.

И, выйдя в прихожую, Дебрэ громко крикнул:

– Велите подавать!

– Очевидно, – сказал Бошан Альберу, – я так и не попаду в Палату, но моим читателям я преподнесу кое-что получше речи господина Данглара.

– Ради бога, Бошан, – отвечал Морсер, – ни слова, умоляю вас, не лишайте меня привилегии показать его. Не правда ли, занятный человек?

– Больше того, – откликнулся Шато-Рено, – это поистине один из необыкновеннейших людей, каких я когда-либо встречал. Вы идете, Моррель?

– Сейчас, я только передам мою карточку графу, он так любезен, что обещает заехать к нам, на улицу Меле, четырнадцать.

– Могу вас заверить, что не премину это сделать, – с поклоном отвечал граф.

И Максимилиан Моррель вышел с бароном Шато-Рено, оставив Монте-Кристо вдвоем с Морсером.

# III. Первая встреча

Оставшись наедине с Монте-Кристо, Альбер сказал:

– Граф, разрешите мне приступить к моим обязанностям чичероне и показать вам образчик квартиры холостяка. Вам, привыкшему к итальянским дворцам, будет интересно высчитать, на пространстве скольких квадратных футов может поместиться молодой парижанин, который, по здешним понятиям, живет не так уж плохо. Переходя из комнаты в комнату, мы будем отворять окна, чтобы вы не задохнулись.

Монте-Кристо уже видел столовую и нижнюю гостиную. Альбер прежде всего повел его в свою студию; как читатель помнит, это была его любимая комната.

Монте-Кристо был достойный ценитель всего того, что в ней собрал Альбер: старинные лари, японский фарфор, восточные ткани, венецианское стекло, оружие всех стран; все это было ему знакомо, и он с первого же взгляда определял век, страну и происхождение вещи. Морсер думал, что ему придется давать объяснения, а вышло так, что он сам, под руководством графа, проходил курс археологии, минералогии и естественной истории. Они спустились во второй этаж. Альбер ввел своего гостя в гостиную. Стены здесь были увешаны произведениями современных художников. Тут были пейзажи Дюпре: высокие камыши, стройные деревья, ревущие коровы и чудесные небеса; были арабские всадники Делакруа в длинных белых бурнусах, с блестящими поясами, с вороненым оружием; кони бешено грызлись, а люди бились железными палицами; были акварели Буланже – «Собор Парижской богоматери», изображенный с той силой, которая равняет живописца с поэтом; были холсты Диаса, цветы которого прекраснее живых цветов и солнце ослепительнее солнца в небе; были тут и рисунки Декана, столь же яркие, как и у Сальватора Розы, но поэтичнее; были пастели Жиро и Мюллера, изображавшие детей с ангельскими головками и женщин с девственными лицами; были страницы, вырванные из восточного альбома Доза, – карандашные наброски, сделанные им в несколько

секунд, верхом на верблюде или под куполом мечети, – словом, все, что современное искусство может дать взамен погибшего и отлетевшего искусства прошлых веков.

Альбер надеялся хоть теперь чем-нибудь поразить странного чужеземца, но, к немалому его удивлению, граф, не читая подписей, к тому же иногда представленных только инициалами, сразу же называл автора каждой вещи, и видно было, что он не только знал каждое из этих имен, но успел оценить и изучить талант каждого мастера.

Из гостиной перешли в спальню; это был образец изящества и вместе с тем строгого вкуса: здесь сиял в матово-золотой раме всего лишь один портрет, но он был подписан Леопольдом Робером.

Портрет тотчас же привлек внимание графа Монте-Кристо; он поспешно подошел и остановился перед ним.

Это был портрет женщины лет двадцати пяти, смуглой, с огненным взглядом из-под полуопущенных век; она была в живописном костюме каталанской рыбачки, в красном с черным корсаже и с золотыми булавками в волосах; взор ее обращен был к морю, и ее стройный силуэт четко выделялся на лазурном фоне неба и волн.

В комнате было темно, иначе Альбер заметил бы, какая смертельная бледность покрыла лицо графа и как нервная дрожь пробежала по его плечам и груди.

Прошла минута молчания, Монте-Кристо не отрывал взгляда от картины.

– Ваша возлюбленная прелестна, виконт, – сказал он наконец совершенно спокойным голосом, – и этот костюм, очевидно маскарадный, ей очень идет.

– Я не простил бы вам этой ошибки, – сказал Альбер, – если бы возле этого портрета висел какой-нибудь другой. Вы не знаете моей матери, граф; это ее портрет, он сделан по ее желанию, лет шесть или восемь тому назад. Костюм, по-видимому, придуман, но сходство изумительное, – я как будто вижу свою мать такой, какой она была в тысяча восемьсот тридцатом году. Графиня заказала этот портрет в отсутствие моего отца. Она, вероятно, думала сделать ему приятный

сюрприз, но отцу портрет почему-то не понравился; и даже мастерство живописца не могло победить его антипатий, – а ведь это, как вы сами видите, одно из лучших произведений Леопольда Робера. Правда, между нами говоря, господин де Морсер – один из самых ревностных пэров, заседающих в Люксембургском дворце, известный знаток военного дела, но весьма посредственный ценитель искусств. Зато моя мать понимает живопись и сама прекрасно рисует; она слишком ценила это мастерское произведение, чтобы расстаться с ним совсем, и подарила его мне, чтобы оно реже попадалось на глаза отцу. Его портрет, кисти Гро, я вам тоже покажу. Простите, что я передаю вам эти домашние мелочи; но так как я буду иметь честь представить вас графу, я говорю вам все это, чтобы вы невзначай не похвалили при нем портрет матери. К тому же он пагубно действует на мою мать: когда она приходит ко мне, она не может смотреть на него без слез. Впрочем, недоразумение, возникшее из-за этого портрета между графом и графиней, было единственным между ними; они женаты уже больше двадцати лет, но привязаны друг к другу, как в первый день.

Монте-Кристо кинул быстрый взгляд на Альбера, как бы желая отыскать тайный смысл в его словах, но видно было, что молодой человек произнес их без всякого умысла.

– Теперь, граф, – сказал Альбер, – вы видели все мои сокровища; разрешите предложить их вам, сколь они ни ничтожны; прошу вас, будьте здесь как дома. Чтобы вы еще лучше освоились, я провожу вас к господину де Морсеру. Я еще из Рима написал ему о том, что вы для меня сделали, и о вашем обещании меня посетить; мои родители с нетерпением ждут возможности поблагодарить вас. Я знаю, граф, вы человек пресыщенный, и семейные сцены не слишком трогают Синдбада-морехода; вы столько видели. Но примите мое предложение и смотрите на него как на вступление в парижскую жизнь: она вся состоит из обмена любезностями, визитов и представлений.

Монте-Кристо молча поклонился; он, по-видимому, принимал это предложение без радости и без неудовольствия, как одну из светских условностей, исполнять которые надлежит всякому воспитанному

человеку. Альбер позвал своего камердинера и велел доложить графу и графине де Морсер о том, что к ним желает явиться граф Монте-Кристо.

Альбер и граф последовали за ним.

Войдя в прихожую графа, вы прежде всего замечали над дверью в гостиную гербовый щит, который своей богатой оправой и полным соответствием с отделкой всей комнаты свидетельствовал о том значении, какое владелец дома придавал этому гербу.

Монте-Кристо остановился перед щитом и внимательно осмотрел его.

– По лазоревому полю семь золотых мерлеток, расположенных снопом. Это, конечно, ваш фамильный герб, виконт? – спросил он. – Если не считать того, что я знаком с геральдическими фигурами и поэтому кое-как разбираюсь в гербах, я плохой знаток геральдики; ведь я граф случайный, сфабрикованный в Тоскане за учреждение командорства святого Стефана, и, пожалуй, не принял бы титула, если бы мне не твердили, что, когда много путешествуешь, это совершенно необходимо. Надо же иметь что-нибудь на дверцах кареты, хотя бы для того, чтобы таможенные чиновники вас не осматривали. Поэтому извините, что я предлагаю вам такой вопрос.

– В нем нет ничего нескромного, – отвечал Морсер с простотой полнейшей убежденности. – Вы угадали: это наш герб, то есть родовой герб моего отца; но он, как видите, соединен с другим гербом – серебряная башня в червленом поле; это родовой герб моей матери. По женской линии я испанец, но род Морсеров – французский и, как мне приходилось слышать, один из древнейших на юге Франции.

– Да, – сказал Монте-Кристо, – это и показывают мерлетки. Почти все вооруженные пилигримы, отправлявшиеся на завоевание Святой земли, избрали своим гербом или крест – знак их миссии, или перелетных птиц – знак дальнего пути, который им предстоял и который они надеялись совершить на крыльях веры. Кто-нибудь из ваших предков с отцовской стороны, вероятно, участвовал в одном из крестовых походов; если даже это был поход Людовика Святого, то и тогда мы придем к тринадцатому веку, что вовсе не плохо.

– Очень возможно, – сказал Морсер, – у моего отца в кабинете есть наше родословное древо, которое нам все это объяснит. Я когда-то составил к нему комментарии, в которых даже д'Озье и Жокур нашли бы для себя немало поучительного. Теперь я к этому остыл, но должен вам сказать, как чичероне, что у нас, при нашем демократическом правительстве, начинают сильно интересоваться этими вещами.

– В таком случае ваше правительство должно было выбрать в своем прошлом что-нибудь получше тех двух вывесок, которые я видел на ваших памятниках и которые лишены всякого геральдического смысла. Что же касается вас, виконт, вы счастливее вашего правительства, потому что ваш герб прекрасен и волнует воображение. Да, вы и провансалец и испанец; этим и объясняется, – если портрет, который вы мне показывали, похож, – чудесный смуглый цвет лица благородной каталанки, который так восхитил меня.

Надо было быть Эдипом или даже самим сфинксом, чтобы разгадать иронию, которую граф вложил в эти слова, казалось бы, проникнутые самой изысканной учтивостью; так что Морсер поблагодарил его улыбкой и, пройдя вперед, чтобы указать ему дорогу, распахнул дверь, находившуюся под гербом и ведшую, как мы уже сказали, в гостиную.

На самом видном месте в этой гостиной висел портрет мужчины лет тридцати пяти – восьми, в генеральском мундире, с эполетами жгутом – знак высокого чина, с крестом Почетного легиона на шее, что указывало на командорский ранг, и со звездами на груди: справа – ордена Спасителя, а слева – Карла III, из чего можно было заключить, что изображенная на этом портрете особа сражалась в Греции и Испании или, что в смысле знаков отличия равносильно, исполняла в этих странах какую-либо дипломатическую миссию.

Монте-Кристо был занят тем, что так же подробно, как и первый, рассматривал этот портрет, как вдруг отворилась боковая дверь, и появился сам граф де Морсер.

Это был мужчина лет сорока пяти, но на вид ему казалось по меньшей мере пятьдесят; его черные усы и брови выглядели странно в контрасте с почти совсем белыми волосами, остриженными по-военному; он был в

штатском, и полосатая ленточка в его петлице напоминала о разнообразных пожалованных ему орденах. Осанка его была довольно благородна, и вошел он с очень радушным видом. Монте-Кристо не сделал ни шагу ему навстречу; казалось, ноги его приросли к полу, а глаза впились в лицо графа де Морсера.

– Отец, – сказал Альбер, – имею честь представить вам графа Монте-Кристо, великодушного друга, которого, как вы знаете, я имел счастье встретить в трудную минуту.

– Граф у нас желанный гость, – сказал граф де Морсер, с улыбкой приветствуя Монте-Кристо. – Он сохранил нашей семье ее единственного наследника, и мы ему безгранично благодарны.

С этими словами граф де Морсер указал Монте-Кристо на кресло и сел против окна.

Монте-Кристо, усаживаясь в предложенное ему кресло, постарался остаться в тени широких бархатных занавесей, чтобы незаметно читать на усталом и озабоченном лице графа повесть тайных страданий, запечатлевшихся в каждой из его преждевременных морщин.

– Графиня одевалась, когда виконт прислал ей сказать, что она будет иметь удовольствие познакомиться с вами, – сказал Морсер. – Через десять минут она будет здесь.

– Для меня большая честь, – сказал Монте-Кристо, – в первый же день моего приезда в Париж встретиться с человеком, заслуги которого равны его славе и к которому судьба, в виде исключения, была справедлива; но, быть может, на равнинах Митиджи или в горах Атласа она готовит вам еще и маршальский жезл?

– О нет, – возразил, слегка краснея, Морсер, – я оставил службу, граф. Возведенный во время Реставрации в звание пэра, я участвовал в первых походах и служил под началом маршала де Бурмона; я мог, следовательно, рассчитывать на высшую командную должность, и кто знает, что произошло бы, оставайся на троне старшая ветвь! Но, как видно, Июльская революция была столь блестяща, что могла позволить себе быть неблагодарной по отношению ко всем заслугам, не восходившим к императорскому периоду. Поэтому мне пришлось подать

в отставку; кто, как я, добыл эполеты на поле брани, тот не умеет маневрировать на скользком паркете гостиных. Я бросил военную службу, занялся политикой, промышленностью, изучал прикладные искусства. Я всегда интересовался этими вещами, но за двадцать лет службы не имел времени всем этим заниматься.

– Вот откуда превосходство вашего народа над другими, граф, – отвечал Монте-Кристо. – Вы, потомок знатного рода, обладатель крупного состояния, пошли добывать первые чины, служа простым солдатом; это случается редко; и, став генералом, пэром Франции, командором Почетного легиона, вы начинаете учиться чему-то новому не ради наград, но только для того, чтобы принести пользу своим ближним... Да, это прекрасно; скажу больше, поразительно.

Альбер смотрел и слушал с удивлением: такой энтузиазм в Монте-Кристо был для него неожиданностью.

– К сожалению, мы, в Италии, не таковы, – продолжал чужестранец, как бы желая рассеять чуть заметную тень, которую вызвали его слова на лице Морсера, – мы растем так, как свойственно нашей породе, и всю жизнь сохраняем ту же листву, тот же облик и нередко ту же бесполезность.

– Но для такого человека, как вы, Италия – неподходящее отечество, – возразил граф де Морсер. – Франция раскрывает вам свои объятия; ответьте на ее призыв. Она не всегда неблагодарна; она дурно обходится со своими детьми, но по большей части радушно встречает иноземцев.

– Видно, что вы не знаете графа Монте-Кристо, отец, – прервал его с улыбкой Альбер. – То, что может его удовлетворить, находится за пределами нашего мира; он не гонится за почестями и берет от них только то, что умещается в паспорте.

– Вот самое верное суждение обо мне, которое я когда-либо слышал, – заметил Монте-Кристо.

– Граф имел возможность устроить свою жизнь, как хотел, – сказал граф де Морсер со вздохом, – и выбрал дорогу, усеянную цветами.

– Вот именно, – ответил Монте-Кристо с улыбкой, которой не передал бы ни один живописец и не объяснил бы ни один физиономист.

– Если бы я не боялся вас утомить, – сказал генерал, явно очарованный обращением гостя, – я повел бы вас в Палату; сегодняшнее заседание любопытно для всякого, кто не знаком с нашими современными сенаторами.

– Я буду вам очень признателен, если вы мне это предложите в другой раз, но сегодня я надеюсь быть представленным графине, и я подожду.

– А вот и матушка! – воскликнул виконт.

И Монте-Кристо, быстро обернувшись, увидел на пороге гостиной г-жу де Морсер; она стояла в дверях, противоположных тем, в которые вошел ее муж, неподвижная и бледная; когда Монте-Кристо повернулся к ней, она опустила руку, которою почему-то опиралась на золоченый наличник двери. Она стояла там уже несколько секунд и слышала последние слова гостя.

Тот встал и низко поклонился графине, которая молча, церемонно ответила на его поклон.

– Что с вами, графиня? – спросил граф де Морсер. – Вы нездоровы? Может быть, здесь слишком жарко?

– Матушка, вам дурно? – воскликнул виконт, бросаясь к Мерседес.

Она поблагодарила их улыбкой.

– Нет, – сказала она, – просто меня взволновала встреча с графом. Ведь если бы не он, мы были бы теперь погружены в печаль и траур. Граф, – продолжала она, подходя к нему с величием королевы, – я обязана вам жизнью моего сына, и за это благодеяние я от всего сердца благословляю вас. Я счастлива, что могу наконец высказать вам свою благодарность.

Граф снова поклонился, еще ниже, чем в первый раз, и был еще бледнее, чем Мерседес.

– Вы слишком великодушны, графиня, – сказал он необычайно мягко и почтительно. – Я ничего необыкновенного не сделал. Спасти человека, избавить отца от мучений, а женщину от слез – вовсе не доброе дело, это человеческий долг.

– Как счастлив мой сын, что у него такой друг, как вы, граф, – с глубоким чувством ответила г-жа де Морсер. – Я благодарю бога, что он так судил.

И Мерседес подняла к небу свои прекрасные глаза с выражением бесконечной благодарности; графу даже показалось, будто в них блеснули слезы.

Г-н де Морсер подошел к ней.

– Я уже просил у графа прощения, что должен оставить его, – сказал он. – Надеюсь, вы также попросите его извинить меня. Заседание открывается в два часа, теперь три, а я должен выступать.

– Поезжайте, я постараюсь, чтобы наш гость не скучал в ваше отсутствие, – сказала графиня все еще взволнованным голосом. – Граф, – продолжала она, обращаясь к Монте-Кристо, – не окажете ли вы нам честь провести у нас весь день?

– Я очень благодарен вам, графиня, поверьте мне. Но я вышел у ваших дверей из дорожной кареты. Я еще не знаю, как меня устроили в Париже, даже едва знаю где. Это, конечно, пустяки, но все-таки я немного беспокоюсь.

– Но вы обещаете по крайней мере доставить нам это удовольствие в другой раз? – спросила графиня.

Монте-Кристо поклонился молча, и его поклон можно было принять за знак согласия.

– В таком случае я вас не удерживаю, – сказала графиня, – я не хочу, чтобы моя благодарность обращалась в неделикатность или назойливость.

– Дорогой граф, – сказал Альбер, – если вы разрешите, я постараюсь отплатить вам в Париже за вашу любезность в Риме и предоставлю в ваше распоряжение мою карету, пока вы еще не обзавелись выездом.

– Весьма благодарен, виконт, – сказал Монте-Кристо, – но я надеюсь, что Бертуччо провел не без пользы четыре с половиной часа, которыми он располагал, и что у ваших дверей меня ждет какой-нибудь экипаж.

Альбер привык к повадкам графа, знал, что тот, как Нерон, всегда гонится за невозможным, и потому уже ничему не удивлялся; он только

хотел лично удостовериться в том, как исполнены приказания графа, и проводил его до дверей.

Монте-Кристо не ошибся: как только он вышел в прихожую графа де Морсера, лакей, тот самый, который в Риме приносил Альберу и Францу визитную карточку графа, бросился вон, и когда знатный путешественник показался на крыльце, его уже в самом деле ждал экипаж. Это была двухместная карета работы Келлера и в нее была запряжена та самая пара, которую Дрэй накануне, как то было известно всем парижским щеголям, отказался уступить за восемнадцать тысяч франков.

– Виконт, – сказал граф Альберу, – я не приглашаю вас сейчас к себе, потому что там пока все сделано наскоро, а, как вы знаете, я дорожу репутацией человека, умеющего устроиться с удобством даже во временном жилище. Дайте мне день сроку и затем позвольте пригласить вас. Тогда я буду вполне уверен, что не нарушу законов гостеприимства.

– Если вы просите один день, граф, то я могу быть уверен, что вы покажете мне не дом, а дворец. Положительно вам служит какой-нибудь добрый гений.

– Что ж, пусть думают так, – отвечал Монте-Кристо, ставя ногу на обитую бархатом подножку своей великолепной кареты, – это обеспечит мне некоторый успех у дам.

Граф сел в карету, дверца захлопнулась, и лошади понеслись галопом, но все же он успел заметить, как чуть заметно дрогнули занавески в окне гостиной, где он оставил г-жу де Морсер.

Когда Альбер вернулся к матери, то застал ее в будуаре, в глубоком бархатном кресле; комната была погружена в полумрак, только кое-где мерцали блики на вазах и по углам золоченых рам.

Альбер не мог рассмотреть лицо графини, терявшееся в дымке газа, который она накинула на голову; но ему показалось, что голос ее дрожит; к благоуханию роз и гелиотропов, наполнявших жардиньерку, примешивался острый и едкий запах нюхательной соли; и в самом деле Альбер с беспокойством заметил, что флакон графини вынут из шагреневого футляра и лежит в одной из плоских ваз, стоящих на камине.

– Вы больны? – воскликнул он, подходя к матери. – Вам стало дурно, пока я уходил?

– Нисколько, Альбер; но все эти розы, туберозы и померанцевые цветы так сильно пахнут теперь, когда настали жаркие дни...

– В таком случае надо их вынести, – сказал Морсер, дергая шнур звонка. – Вам в самом деле нездоровится; уже когда вы вошли в гостиную, вы были очень бледны.

– Очень бледна?

– Это вам к лицу, но мы с отцом испугались.

– Отец сказал тебе об этом? – быстро спросила Мерседес.

– Нет, но он сказал вам самой, помните?

– Не помню, – сказала графиня.

Вошел лакей; он явился на звонок Альбера.

– Вынесите цветы в переднюю, – сказал виконт, – они беспокоят графиню.

Лакей повиновался.

Пока он переносил цветы, длилось молчание.

– Что это за имя – Монте-Кристо? – спросила графиня, когда лакей унес последнюю вазу. – Фамилия или название поместья, или просто титул?

– Мне кажется, это только титул. Граф купил остров в Тосканском архипелаге и, судя по тому, что он говорил сегодня утром, учредил командорство. Вы ведь знаете, что это принято относительно ордена Святого Стефана во Флоренции, Святого Георгия в Парме и даже для Мальтийского креста. Впрочем, он и не чванится своим дворянством, называет себя случайным графом, хотя в Риме все убеждены, что он очень знатный вельможа.

– У него прекрасные манеры, – сказала графиня, – по крайней мере так мне показалось в те несколько минут, что я его видела.

– О, его манеры безукоризненны, они превосходят все, что я видел наиболее аристократического среди представителей трех самых гордых дворянств Европы: английского, испанского и немецкого.

Графиня задумалась, но после короткого колебания продолжала:

– Ведь ты видел, дорогой... я спрашиваю, как мать, ты понимаешь... ты видел графа Монте-Кристо у него в доме; ты проницателен, знаешь свет, у тебя больше такта, чем обычно бывает в твоем возрасте; считаешь ли ты графа тем, чем он кажется?

– А чем он кажется?

– Ты сам сейчас сказал: знатным вельможей.

– Так о нем думают.

– А что думаешь ты?

– Я, признаться, не составил себе о нем определенного мнения; думаю, что он мальтиец.

– Я спрашиваю не о его происхождении, а о нем самом как о человеке.

– А, это другое дело; мне с его стороны пришлось видеть столько странного, что я склонен рассматривать его как байроновского героя, которого несчастье отметило роковой печатью, как какого-нибудь Манфреда, или Лару, или Вернера, – словом, как обломок какого-нибудь древнего рода, лишенный наследия своих отцов и вновь обретший богатство силою своего предприимчивого гения, вознесшего его выше законов общества.

– Ты хочешь сказать...

– Я хочу сказать, что Монте-Кристо – остров в Средиземном море, без жителей, без гарнизона, убежище контрабандистов всех наций и пиратов со всего света. Как знать, может быть, эти достойные дельцы платят своему хозяину за гостеприимство?

– Это возможно, – сказала графиня в раздумье.

– Но контрабандист он или нет, – продолжал Альбер, – во всяком случае, граф Монте-Кристо – человек замечательный. Я уверен, вы согласитесь с этим, потому что сами его видели. Он будет иметь огромный успех в парижских гостиных. Не далее как сегодня утром у меня он начал свое вступление в свет тем, что поразил всех, даже самого Шато-Рено.

– А сколько ему может быть лет? – спросила Мерседес, видимо, придавая этому вопросу большое значение.

– Лет тридцать пять – тридцать шесть.

– Так молод! Не может быть! – сказала Мерседес, отвечая одновременно и на слова Альбера, и на свою собственную мысль.

– А между тем это так. Несколько раз он говорил мне, и, конечно, непреднамеренно: «Тогда мне было пять лет, тогда-то десять, а тогда-то двенадцать». Я из любопытства сравнивал числа, и они всегда совпадали. Очевидно, этому странному человеку, возраст которого не поддается определению, в самом деле тридцать пять лет. К тому же припомните, какие у него живые глаза, какие черные волосы; он бледен, но на лбу его нет ни одной морщины; это не только сильный человек, но и молодой еще.

Графиня опустила голову, словно поникшую от тяжести горьких дум.

– И этот человек дружески относится к тебе, Альбер? – с волнением спросила она.

– Мне кажется, да.

– А ты... ты тоже любишь его?

– Он мне нравится, что бы ни говорил Франц д'Эпине, который хотел уверить меня, что это выходец с того света.

Графиня вздрогнула.

– Альбер, – сказала она изменившимся голосом, – я всегда предостерегала тебя от новых знакомств. Теперь ты уже взрослый и сам мог бы давать мне советы; однако я повторяю: будь осторожен.

– И все-таки, для того чтобы ваш совет мог принести мне пользу, дорогая, мне следовало бы заранее знать, чего остерегаться. Граф не играет в карты, пьет только воду, подкрашенную каплей испанского вина; он, по всей видимости, так богат, что, если бы он попросил у меня взаймы, мне оставалось бы только расхохотаться ему в лицо; чего же мне опасаться с его стороны?

– Ты прав, – отвечала графиня, – мои опасения вздорны, тем более что дело идет о человеке, который спас тебе жизнь. Кстати, Альбер, хорошо ли отец его принял? Нам надо быть исключительно внимательными к графу. Твой отец часто занят, озабочен делами и, может быть, невольно...

– Он был безукоризнен, – прервал Альбер. – Скажу больше: ему, по-видимому, очень польстили чрезвычайно удачные комплименты, которые граф сказал ему так кстати, как будто знает его лет тридцать. Все эти лестные замечания, несомненно, были приятны отцу, – прибавил Альбер, смеясь, – так что они расстались наилучшими друзьями, и отец даже хотел повезти графа в Палату, чтобы тот послушал его речь.

Графиня ничего не ответила; она так глубоко задумалась, что даже закрыла глаза. Альбер, стоя перед нею, смотрел на нее с той сыновней любовью, которая бывает особенно нежна и проникновенна, когда мать еще молода и красива; увидев, что она закрыла глаза, и прислушавшись к ее ровному дыханию, он решил, что она заснула, на цыпочках вышел и осторожно прикрыл за собой дверь.

– Это не человек, а дьявол, – прошептал он, качая головой, – я еще в Риме предсказывал, что его появление произведет сенсацию в обществе; теперь меру его влияния показывает непогрешимый термометр: если моя мать обратила на него внимание, значит – он, бесспорно, замечательный человек.

И он отправился в свою конюшню не без тайной досады на то, что граф Монте-Кристо, не пошевельнув пальцем, получил запряжку, перед которой в глазах знатоков его собственные гнедые отодвигались на второе место.

– Положительно, – сказал он, – равенства людей не существует; надо будет попросить отца развить эту мысль в Верхней палате.

# IV. Господин Бертуччо

Между тем граф прибыл к себе; на дорогу ушло шесть минут. Этих шести минут было достаточно, чтобы на него обратили внимание десятка два молодых людей, знавших цену этой запряжки, которую им было не под силу приобрести самим. Они пустили в галоп своих лошадей, чтобы хоть мельком взглянуть на великолепного вельможу, позволяющего себе покупать лошадей по десять тысяч франков каждая.

Дом, выбранный Али для городской квартиры Монте-Кристо, находился на правой стороне Елисейских полей, если ехать в гору, и был расположен между двором и садом. Густая группа деревьев, возвышавшаяся посреди двора, закрывала часть фасада; по правую и по левую сторону этой группы простирались, подобно двум рукам, две аллеи, служившие для проезда экипажей от ворот к двойному крыльцу, на каждой ступени которого по углам стояли фарфоровые вазы, полные цветов. Дом одиноко стоял посреди большого открытого пространства; кроме парадного крыльца, был еще и другой выход, на улицу Понтье.

Прежде чем кучер успел кликнуть привратника, тяжелые ворота распахнулись; графа увидели издали, а в Париже, так же как и в Риме, да и вообще всюду, ему прислуживали с молниеносной быстротой. Так что кучер, не умеряя бега лошадей, въехал во двор и описал полукруг, ворота за ним захлопнулись раньше, чем замер скрип колес на песке аллеи.

Карета остановилась с левой стороны крыльца, и у ее дверцы очутились два человека: один из них был Али, с самой искренней радостью улыбавшийся своему господину и вознагражденный всего только взглядом Монте-Кристо; второй почтительно поклонился и протянул руку, как бы желая помочь графу выйти из кареты.

– Благодарю вас, Бертуччо, – сказал граф, легко соскакивая с трех ступенек подножки. – А нотариус?

– Ждет в маленькой гостиной, ваше сиятельство, – отвечал Бертуччо.

– А визитные карточки, которые вы должны были заказать, как только узнаете номер дома?

– Ваше сиятельство, они уже готовы; я был у лучшего гравера в Пале-Рояле, и он сделал их при мне; первая изготовленная карточка была немедленно же, как вы приказали, отнесена к господину барону Данглару, депутату, улица Шоссе д'Антен, номер семь, остальные лежат в спальне вашего сиятельства на камине.

– Хорошо. Который час?

– Четыре часа.

Монте-Кристо отдал перчатки, шляпу и трость тому лакею-французу, который кинулся из передней графа де Морсера позвать экипаж, затем он прошел в маленькую гостиную следом за Бертуччо, который указывал ему дорогу.

– Какие жалкие статуи в этой передней, – сказал Монте-Кристо. – Я надеюсь, что их уберут отсюда.

Бертуччо молча поклонился.

Как и сказал управляющий, нотариус ожидал в маленькой гостиной.

Это был человек с достойной внешностью столичного конторщика, возвысившегося до блестящего положения пригородного нотариуса.

– Вам поручено вести переговоры о продаже загородного дома, который я собираюсь купить? – спросил Монте-Кристо.

– Да, господин граф, – ответил нотариус.

– Купчая готова?

– Да, господин граф.

– Она у вас с собой?

– Вот она.

– Превосходно. А где этот дом, который я покупаю? – небрежно спросил Монте-Кристо, обращаясь не то к Бертуччо, не то к нотариусу.

Управляющий жестом показал, что не знает.

Нотариус с изумлением взглянул на Монте-Кристо.

– Как? – сказал он. – Господин граф не знает, где находится тот дом, который он покупает?

– Признаться, не знаю, – отвечал граф.

– Граф не видал его?

– Как я мог его видеть? Я только сегодня утром приехал из Кадикса, никогда раньше не бывал в Париже, и даже во Франции я в первый раз.

– Это другое дело, – сказал нотариус. – Дом, который граф собирается купить, находится в Отейле.

Бертуччо побледнел, услышав эти слова.

– А где это Отейль? – спросил граф.

– В двух шагах отсюда, граф, – отвечал нотариус. – Сейчас же за Пасси; прелестное место, посреди Булонского леса.

– Так близко? – сказал Монте-Кристо. – Какой же это загородный дом? Какого же вы черта, Бертуччо, выбрали мне дом у самой заставы?

– Я! – воскликнул Бертуччо с необычной поспешностью. – Помилуйте! Ваше сиятельство никогда не поручали мне выбирать вам загородный дом; может быть, ваше сиятельство соизволит вспомнить.

– Да, правда, – сказал Монте-Кристо, – теперь припоминаю; я прочел в газете объявление, и меня соблазнили обманчивые слова: «загородный дом».

– Еще не поздно, – живо заговорил Бертуччо, – и, если вашему сиятельству будет угодно поручить мне поискать в другом месте, я найду что-нибудь лучшее, либо в Ангеле, либо в Фонтенэ-Роз, либо в Бельвю.

– В общем, это не важно, – небрежно возразил Монте-Кристо, – раз уж есть этот дом, пусть он и остается.

– И ваше сиятельство совершенно правы, – подхватил нотариус, боявшийся лишиться вознаграждения, – это прелестная усадьба: проточная вода, густые рощи, уютный дом, хоть и давно заброшенный, не говоря уж об обстановке; она хоть и не новая, но представляет довольно большую ценность, особенно в наше время, когда старинные вещи в моде. Прошу меня извинить, но мне кажется, что ваше сиятельство тоже разделяет современный вкус.

– Продолжайте, не стесняйтесь, – сказал Монте-Кристо. – Так это приличный дом?

– Граф, он не только приличен, он прямо-таки великолепен.

– Что ж, не следует упускать такой случай, – сказал Монте-Кристо. – Давайте сюда купчую, господин нотариус.

И он быстро подписал бумагу, бросив только взгляд на тот пункт, где были указаны местонахождение дома и имена владельцев.

– Бертуччо, – сказал он, – принесите господину нотариусу пятьдесят тысяч франков.

Управляющий нетвердым шагом вышел и возвратился с пачкой банковых билетов; нотариус пересчитал их с тщательностью человека, знающего, что в эту сумму включен его гонорар.

– Теперь, – спросил граф, – мы покончили со всеми формальностями?

– Со всеми, господин граф.

– Ключи у вас?

– Они у привратника, который стережет дом; но вот приказ, по которому он введет вас во владение.

– Очень хорошо.

И Монте-Кристо кивнул нотариусу головой, что означало: «Вы мне больше не нужны, можете идти».

– Но мне кажется, – решился сказать честный нотариус, – господин граф ошибся; мне, со всеми издержками, следует только пятьдесят тысяч.

– А ваше вознаграждение?

– Входит в эту сумму, господин граф.

– Но вы приехали сюда из Отейля?

– Да, конечно.

– Так надо же заплатить вам за беспокойство, – сказал граф.

И движением руки он отпустил его.

Нотариус вышел, пятясь задом и кланяясь до земли; в первый раз, с тех пор как он был внесен в списки нотариусов, встречал он такого клиента.

– Проводите господина нотариуса, – сказал граф управляющему.

Бертуччо вышел.

Оставшись один, граф тотчас же вынул из кармана запирающийся на замок бумажник и отпер его ключиком, который он носил на шее и с которым никогда не расставался.

Порывшись в бумажнике, он остановился на листке бумаги, на котором были сделаны кое-какие заметки, и сличил их с лежавшей на столе купчей, словно проверяя свою память.

– Отейль, улица Фонтен, номер двадцать восемь; так и есть, – сказал он. – Теперь вопрос: насколько можно верить признанию, сделанному под влиянием религиозного страха или страха физического? Впрочем, через час я все узнаю.

– Бертуччо! – крикнул он, ударяя чем-то вроде маленького молоточка со складной ручкой по звонку, который издал резкий, протяжный звук, похожий на звук тамтама. – Бертуччо!

На пороге появился управляющий.

– Господин Бертуччо, – сказал граф, – вы мне когда-то говорили, что вы бывали во Франции?

– Да, ваше сиятельство, в некоторых местах бывал.

– Вы, вероятно, знакомы с окрестностями Парижа?

– Нет, ваше сиятельство, нет, – ответил управляющий с нервной дрожью, которую Монте-Кристо, отлично разбиравшийся в таких вещах, правильно приписал сильному волнению.

– Досадно, что вы не бывали в окрестностях Парижа, – сказал он, – потому что я хочу сегодня же вечером осмотреть свое новое владение, и, сопровождая меня, вы, наверное, могли бы дать мне ценные указания.

– В Отейль! – воскликнул Бертуччо, смуглое лицо которого стало мертвенно-бледным. – Мне ехать в Отейль!

– Да что же удивительного в том, что вы поедете в Отейль, скажите на милость? Когда я буду жить в Отейле, вам придется бывать там, раз вы состоите при мне.

Под властным взглядом своего господина Бертуччо опустил голову и стоял неподвижно и безмолвно.

– Что это значит? Что с вами? Прикажете звонить два раза, чтобы мне подали карету? – сказал Монте-Кристо тем тоном, которым Людовик XIV произнес свое знаменитое: «Мне чуть было не пришлось дожидаться».

Бертуччо метнулся из гостиной в переднюю и глухим голосом крикнул:

– Карету его сиятельства!

Монте-Кристо написал несколько писем; когда он запечатывал последнее, управляющий показался в дверях.

– Карета его сиятельства подана, – сказал он.

– Хорошо! Возьмите шляпу и перчатки, – сказал Монте-Кристо.

– Так я еду с вашим сиятельством? – воскликнул Бертуччо.

– Разумеется, ведь вам необходимо кое-чем распорядиться, раз я собираюсь там жить.

Не было примера, чтобы графу возражали, и управляющий беспрекословно последовал за ним; тот сел в карету и знаком предложил Бертуччо сделать то же.

Управляющий почтительно уселся на переднем сиденье.

# V. Дом в отейле

Монте-Кристо заметил, что Бертуччо, спускаясь с крыльца, перекрестился по-корсикански, то есть провел большим пальцем крест в воздухе, а садясь в экипаж, прошептал коротенькую молитву. Всякий другой, нелюбопытный человек сжалился бы над странным отвращением, которое почтенный управляющий проявлял к задуманной графом загородной прогулке, но, по-видимому, Монте-Кристо был слишком любопытен, чтобы освободить Бертуччо от этой поездки.

Через двадцать минут они были уже в Отейле. Волнение управляющего все возрастало. Когда въехали в селение, Бертуччо, забившийся в угол кареты, начал с лихорадочным волнением вглядываться в каждый дом, мимо которого они проезжали.

– Велите остановиться на улице Фонтен, у номера двадцать восемь, – приказал граф, неумолимо глядя на управляющего.

Пот выступил на лице Бертуччо, однако он повиновался, высунулся из экипажа и крикнул кучеру:

– Улица Фонтен, номер двадцать восемь.

Этот дом находился в самом конце селения. Пока они ехали, совершенно стемнело – вернее, все небо заволокла черная туча, насыщенная электричеством и придававшая этим преждевременным сумеркам торжественность драматической сцены.

Экипаж остановился, и лакей бросился открывать дверцу.

– Ну что же, Бертуччо, – сказал граф, – вы не выходите? Или вы собираетесь оставаться в карете? Да что с вами сегодня?

Бертуччо выскочил из кареты и подставил графу плечо, на которое тот оперся, медленно спускаясь по трем ступенькам подножки.

– Постучите, – сказал граф, – и скажите, что я приехал.

Бертуччо постучал, дверь отворилась, и появился привратник.

– Что нужно? – спросил он.

– Приехал ваш новый хозяин, – сказал лакей.

И он протянул привратнику выданное нотариусом удостоверение.

– Так дом продан? – спросил привратник. – И этот господин будет здесь жить?

– Да, друг мой, – отвечал граф, – и я постараюсь, чтобы вы не пожалели о прежнем хозяине.

– Признаться, сударь, – сказал привратник, – мне не приходится о нем жалеть, потому что мы его почти никогда не видали. Вот уже пять лет, как он у нас не был, и он хорошо сделал, что продал дом, не приносивший ему никакого дохода.

– А как звали вашего прежнего хозяина? – спросил Монте-Кристо.

– Маркиз де Сен-Меран. Я уверен, что ему не пришлось взять за дом то, что он ему стоил.

– Маркиз де Сен-Меран, – повторил Монте-Кристо. – Мне это имя как будто знакомо; маркиз де Сен-Меран... – И он сделал вид, что старается вспомнить.

– Старый дворянин, – продолжал привратник, – верный слуга Бурбонов. У него была единственная дочь, он выдал ее за господина де Вильфора, который служил королевским прокурором сначала в Ниме, потом в Версале.

Монте-Кристо взглянул на Бертуччо: тот был белее стены, к которой прислонился, чтобы не упасть.

– И дочь его умерла? – спросил граф. – Я припоминаю, что слышал про это.

– Да, сударь, тому уже двадцать один год, и с тех пор мы и трех раз не видели бедного маркиза.

– Так, благодарю вас, – сказал Монте-Кристо, рассудив при взгляде на изнемогающего Бертуччо, что не следует больше натягивать струну, чтобы она не лопнула, – благодарю вас. А теперь дайте нам огня.

– Прикажете проводить вас?

– Нет, не нужно. Бертуччо мне посветит.

И Монте-Кристо присоединил к этим словам две золотые монеты, вызвавшие взрыв благословений и вздохов.

– Сударь, – сказал привратник, тщетно пошарив на выступе камина и на полках, – у меня здесь нет ни одной свечи.

– Возьмите с экипажа фонарь, Бертуччо, и пойдем посмотрим комнаты, – сказал граф.

Управляющий молча повиновался, но по дрожанию фонаря в его руке было видно, чего это ему стоило.

Они обошли довольно обширный нижний этаж, затем второй этаж, состоявший из гостиной, ванной и двух спален. Одна из этих спален сообщалась с винтовой лестницей, выходившей в сад.

– Посмотрите, вот отдельный выход, – сказал граф, – это довольно удобно. Посветите мне, Бертуччо. Идите вперед, и посмотрим, куда ведет эта лестница.

– В сад, ваше сиятельство, – сказал Бертуччо.

– А откуда вы это знаете, скажите на милость?

– Я хочу сказать, что она должна вести в сад.

– Ну что ж, проверим.

Бертуччо тяжко вздохнул и пошел вперед. Лестница точно вела в сад.

У наружной двери управляющий остановился.

– Ну что же вы? – сказал граф.

Но тот, к кому он обращался, не двигался с места, ошеломленный, остолбенелый, подавленный. Его блуждающие глаза как бы искали в окружающем следы ужасного прошлого, а его судорожно сжатые руки, казалось, отталкивали какие-то страшные воспоминания.

– Ну? – повторил граф.

– Нет, нет, – воскликнул Бертуччо, опуская фонарь и прислоняясь к стене, – нет, ваше сиятельство, я дальше не пойду, это невозможно!

– Что это значит? – произнес непреклонным голосом Монте-Кристо.

– Да вы же видите, ваше сиятельство, – воскликнул управляющий, – что тут какая-то чертовщина; собираясь купить в Париже дом, вы покупаете его именно в Отейле, и в Отейле попадаете как раз на номер двадцать восемь по улице Фонтен. Ах, почему я еще дома не сказал вам все! Вы, конечно, не потребовали бы, чтобы я ехал с вами. Но я надеялся, что вы все-таки купили не этот дом. Как будто нет в Отейле других домов, кроме того, где совершилось убийство!

– Что за мерзости вы говорите! – сказал Монте-Кристо, внезапно останавливаясь. – Ну и человек! Настоящий корсиканец. Вечно какие-нибудь тайны и суеверия! Берите фонарь и осмотрим сад: со мной вам не будет страшно, надеюсь.

Бертуччо поднял фонарь и повиновался. Дверь распахнулась, открывая тусклое небо, где луна тщетно боролась с целым морем облаков, которые застилали ее своими темными, на миг озаряемыми волнами и затем исчезали, еще более темные, в глубинах бесконечности.

Управляющий хотел повернуть налево.

– Нет, нет, – сказал Монте-Кристо, – зачем нам идти по аллеям? Вот отличная лужайка; пойдем прямо.

Бертуччо отер пот, струившийся по его лицу, но повиновался; однако он все-таки подвигался влево.

Монте-Кристо, напротив, шел вправо; подойдя к группе деревьев, он остановился.

Управляющий не мог больше сдерживаться.

– Уйдите отсюда, ваше сиятельство, – воскликнул он, – уйдите отсюда, умоляю вас, ведь вы как раз стоите на том самом месте!

– На каком месте?

– На том месте, где он свалился.

– Дорогой Бертуччо, – сказал граф смеясь, – придите в себя, прошу вас; ведь мы здесь не в Сартене или Корте. Здесь не лесная трущоба, а английский сад, очень запущенный, правда, но все-таки не к чему за это клеветать на него.

– Не стойте тут, сударь, не стойте тут, умоляю вас!

– Мне кажется, вы сходите с ума, маэстро Бертуччо, – холодно отвечал граф. – Если так, скажите, и я отправлю вас в лечебницу, пока не случилось несчастья.

– Ах, ваше сиятельство, – сказал Бертуччо, тряся головой и всплескивая руками с таким потерянным видом, что, наверное, рассмешил бы графа, если бы того в эту минуту не занимали более важные мысли, – несчастье уже произошло...

– Бертуччо, – сказал граф, – я считаю долгом предупредить вас, что, размахивая руками, вы их вдобавок отчаянно ломаете и вращаете белками как одержимый, в которого вселился бес; а я давно уже заметил, что самый упрямый из бесов – это тайна. Я знал, что вы корсиканец, я всегда знал вас мрачным и погруженным в размышления о какой-то вендетте, но в Италии я не обращал на это внимания, потому что в Италии такого рода вещи приняты; но во Франции убийство обычно считают поступком весьма дурного тона; здесь имеются жандармы, которые им интересуются, судьи, которые за него судят, и эшафот, который за него мстит.

Бертуччо с мольбой сложил руки, а так как он все еще держал фонарь, то свет упал на его искаженное страхом лицо.

Монте-Кристо посмотрел на него тем взглядом, каким он в Риме созерцал казнь Андреа; потом произнес шепотом, от которого бедного управляющего снова бросило в дрожь:

– Так, значит, аббат Бузони мне солгал, когда, после своего путешествия во Францию в тысяча восемьсот двадцать девятом году, прислал вас ко мне с рекомендательным письмом, в котором так превозносил вас? Что ж, я напишу аббату; он должен отвечать за свою рекомендацию, и я, вероятно, узнаю, о каком убийстве идет речь. Только предупреждаю вас, Бертуччо, что, когда я живу в какой-нибудь стране, я имею обыкновение уважать ее законы и отнюдь не желаю из-за вас ссориться с французским правосудием.

– Не делайте этого, ваше сиятельство! – в отчаянии воскликнул Бертуччо. – Разве я не служил вам верой и правдой? Я всегда был честным человеком и старался, насколько мог, делать людям добро.

– Против этого я не спорю, – отвечал граф, – но тогда почему же вы, черт возьми, так взволнованны? Это плохой знак; если совесть чиста, человек не бледнеет так и руки его так не трясутся...

– Но, ваше сиятельство, – нерешительно возразил Бертуччо, – ведь вы говорили мне, что аббат Бузони, которому я покаялся в нимской тюрьме, предупредил вас, направляя меня к вам, что на моей совести лежит тяжкое бремя?

– Да, конечно, но так как он мне рекомендовал вас как прекрасного управляющего, то я подумал, что дело идет о какой-нибудь краже, только и всего.

– Что вы, ваше сиятельство! – воскликнул Бертуччо с презрением.

– Или же что вы, по обычаю корсиканцев, не удержались и «сделали кожу»,[38] как выражаются в этой стране, когда ее с кого-нибудь снимают.

– Да, ваше сиятельство, да, в том-то и дело! – воскликнул Бертуччо, бросаясь к ногам графа. – Это была месть, клянусь вам, просто месть.

– Я это понимаю; не понимаю только, почему именно этот дом приводит вас в такое состояние.

– Но это естественно, ваше сиятельство, – отвечал Бертуччо, – ведь именно в этом доме все и произошло.

– Как, в моем доме?

– Ведь он тогда еще не был вашим, – наивно возразил Бертуччо.

– А чей он был? Привратник сказал, кажется, маркиза де Сен-Мерана? За что же вы, черт возьми, могли мстить маркизу де Сен-Мерану?

– Ваше сиятельство, я мстил не ему – другому.

– Какое странное совпадение, – сказал Монте-Кристо, по-видимому, просто размышляя вслух, – что вы вот так, случайно, очутились в том самом доме, где произошло событие, вызывающее у вас такое мучительное раскаяние.

– Ваше сиятельство, – сказал управляющий, – это судьба, я знаю. Начать с того, что вы покупаете дом именно в Отейле и он оказывается тем самым, где я совершил убийство; вы спускаетесь в сад именно по той лестнице, по которой спустился он; вы останавливаетесь на том самом месте, где я нанес удар; в двух шагах отсюда, под этим платаном, была яма, где он закопал младенца; нет, все это не случайно, потому что тогда случай был бы слишком похож на провидение.

– Хорошо, господин корсиканец, предположим, что это провидение; я всегда согласен предполагать все что угодно, тем более что надо же уступать людям с больным рассудком. А теперь соберитесь с мыслями и расскажите мне все.

– Я рассказывал это только раз в жизни, и то аббату Бузони. Такие вещи, – прибавил, качая головой, Бертуччо, – рассказывают только на исповеди.

– В таком случае, мой дорогой, – сказал граф, – я отошлю вас к вашему духовнику; вы можете стать, как он, картезианцем или бернардинцем и беседовать с ним о ваших тайнах. Что же касается меня, то я опасаюсь домоправителя, одержимого такими химерами; мне не нравится, если мои слуги боятся по вечерам гулять в моем саду. Кроме того, сознаюсь, я вовсе не хочу, чтобы меня навестил полицейский комиссар; ибо, имейте в виду, господин Бертуччо: в Италии правосудие получает деньги за бездействие, а во Франции, наоборот, – только когда оно деятельно. Я считал вас отчасти корсиканцем, отчасти контрабандистом, но чрезвычайно искусным управляющим, а теперь вижу, что вы гораздо более разносторонний человек, господин Бертуччо. Вы мне больше не нужны.

– Ваше сиятельство, ваше сиятельство! – воскликнул управляющий в ужасе от этой угрозы. – Если вы только поэтому хотите меня уволить, я все расскажу, во всем признаюсь; лучше мне взойти на эшафот, чем расстаться с вами.

– Это другое дело, – сказал Монте-Кристо, – но подумайте: если вы собираетесь лгать, лучше не рассказывайте ничего.

– Клянусь спасением моей души, я вам скажу все! Ведь даже аббат Бузони знал только часть моей тайны. Но прежде всего умоляю вас, отойдите от этого платана. Вот луна выходит из-за облака, а вы стоите здесь, завернувшись в плащ, он скрывает вашу фигуру, и он так похож на плащ господина де Вильфора…

– Как, – воскликнул Монте-Кристо, – так это Вильфор…

– Ваше сиятельство его знает?

– Он был королевским прокурором в Ниме?

– Да.

– И женился на дочери маркиза де Сен-Мерана?

– Да.

– И пользовался репутацией самого честного, самого строгого и самого нелицеприятного судьи?

– Так вот, ваше сиятельство, – воскликнул Бертуччо, – этот человек с безупречной репутацией…

– Да?

– …был негодяй.

– Это невозможно, – сказал Монте-Кристо.

– А все-таки это правда.

– Да неужели! – сказал Монте-Кристо. – И у вас есть доказательства?

– Во всяком случае, были.

– И вы, глупец, потеряли их?

– Да, но, если хорошенько поискать, их можно найти.

– Вот как! – сказал граф. – Расскажите-ка мне об этом, Бертуччо. Это в самом деле становится интересно.

И граф, напевая мелодию из «Лючии», направился к скамейке и сел; Бертуччо последовал за ним, стараясь разобраться в своих воспоминаниях.

Он остался стоять перед графом.

# VI. Вендетта

– С чего, ваше сиятельство, прикажете начать? – спросил Бертуччо.

– Да с чего хотите, – сказал Монте-Кристо, – ведь я вообще ничего не знаю.

– Мне, однако же, казалось, что аббат Бузони сказал вашему сиятельству...

– Да, кое-какие подробности; но прошло уже семь или восемь лет, и я все забыл.

– Так я могу, не боясь наскучить вашему сиятельству...

– Рассказывайте, Бертуччо, рассказывайте, вы мне замените вечернюю газету.

– Это началось в тысяча восемьсот пятнадцатом году.

– Вот как! – сказал Монте-Кристо. – Это старая история.

– Да, ваше сиятельство, а между тем все подробности так свежи в моей памяти, словно это случилось вчера. У меня был старший брат, он служил в императорской армии и дослужился до чина поручика в полку, который весь состоял из корсиканцев. Брат этот был моим единственным другом; мы остались сиротами, когда ему было восемнадцать лет, а мне – пять; он воспитывал меня как сына. В тысяча восемьсот четырнадцатом году, при Бурбонах, он женился. Император вернулся с острова Эльба, брат тотчас же вновь пошел в солдаты, был легко ранен при Ватерлоо и отступил с армией за Луару.

– Да вы мне рассказываете историю Ста дней, Бертуччо, – прервал граф, – а она, если не ошибаюсь, уже давно написана.

– Прошу прощения, ваше сиятельство, но эти подробности для начала необходимы, и вы обещали терпеливо выслушать меня.

– Ну-ну, рассказывайте. Я дал слово и сдержу его.

– Однажды мы получили письмо, – надо вам сказать, что мы жили в маленькой деревушке Рольяно, на самой оконечности мыса Корс, – письмо было от брата, он писал нам, что армия распущена, что он возвращается домой через Шатору, Клермон-Ферран, Пюи и Ним, и

просил, если у меня есть деньги, прислать их ему в Ним, знакомому трактирщику, с которым у меня были кое-какие дела.

– По контрабанде, – вставил Монте-Кристо.

– Ваше сиятельство, жить-то ведь надо.

– Разумеется, продолжайте.

– Я уже сказал, что горячо любил брата; я решил денег ему не посылать, а отвезти. У меня было около тысячи франков; пятьсот я оставил Ассунте, моей невестке, а с остальными отправился в Ним. Это было не трудно: у меня была лодка, мне предстояло принять в море груз – все складывалось благоприятно. Но когда я принял груз, ветер переменился, и четыре дня мы не могли войти в Рону. Наконец нам это удалось, и мы поднялись до Арля; лодку я оставил между Бельгардом и Бокером, а сам направился в Ним.

– Мы подходим к сути дела, не так ли?

– Да, ваше сиятельство; прошу прощения, но, как ваше сиятельство сами убедитесь, я рассказываю только самое необходимое. В то время на юге Франции происходила резня. Там были три разбойника, их звали Трестальон, Трюфеми и Граффан, – они убивали на улицах всех, кого подозревали в бонапартизме. Ваше сиятельство, верно, слышали об этих убийствах?

– Слышал кое-что; я был тогда далеко от Франции. Продолжайте.

– В Ниме приходилось буквально ступать по лужам крови; на каждом шагу валялись трупы; убийцы бродили шайками, резали, грабили и жгли.

При виде этой бойни я задрожал: не за себя, – мне, простому корсиканскому рыбаку, нечего было бояться, напротив, для нас, контрабандистов, это было золотое время, – но я боялся за брата: он, императорский солдат, возвращался из Луарской армии в мундире и с эполетами, и ему надо было всего опасаться.

Я побежал к нашему трактирщику. Предчувствие не обмануло меня. Брат мой накануне прибыл в Ним и был убит на пороге того самого дома, где думал найти приют.

Я всеми силами старался разузнать, кто были убийцы, но никто не смел назвать их, так все их боялись. Тогда я вспомнил о хваленом

французском правосудии, которое никого не боится, и пошел к королевскому прокурору.

– И королевского прокурора звали Вильфор? – спросил небрежно Монте-Кристо.

– Да, ваше сиятельство, он прибыл из Марселя, где он был помощником прокурора. Он получил повышение за усердную службу. Он один из первых, как говорили, сообщил Бурбонам о высадке Наполеона.

– Итак, вы пошли к нему, – прервал Монте-Кристо.

– «Господин прокурор, – сказал я ему, – моего брата вчера убили на улице Нима; кто убил – не знаю, но ваш долг отыскать убийцу. Вы здесь – глава правосудия, а оно должно мстить за тех, кого не сумело защитить».

«Кто был ваш брат?» – спросил королевский прокурор.

«Поручик корсиканского батальона».

«То есть солдат узурпатора?»

«Солдат французской армии».

«Ну что ж? – возразил он. – Он вынул меч и от меча погиб».

«Вы ошибаетесь, сударь; он погиб от кинжала».

«Чего же вы хотите от меня?» – спросил прокурор.

«Я уже сказал вам: чтобы вы за него отомстили».

«Кому?»

«Его убийцам».

«Да разве я их знаю?»

«Велите их разыскать».

«А для чего? Ваш брат, вероятно, поссорился с кем-нибудь и дрался на дуэли. Все эти старые вояки склонны к буйству; при императоре это сходило им с рук, но теперь – другое дело, а наши южане не любят ни вояк, ни буйства».

«Господин прокурор, – сказал я, – я прошу не за себя. Я буду горевать или мстить, – это мое дело. Но мой несчастный брат был женат. Если и со мной что-нибудь случится, бедная женщина умрет с голоду: она жила только трудами своего мужа. Назначьте ей хоть небольшую пенсию».

«Каждая революция влечет за собою жертвы, – отвечал Вильфор. – Ваш брат пал жертвой последнего переворота – это несчастье, но правительство не обязано за это платить вашему семейству. Если бы нам пришлось судить всех приверженцев узурпатора, которые мстили роялистам, когда были у власти, то, может быть, теперь ваш брат был бы приговорен к смерти. То, что произошло, вполне естественно – это закон возмездия».

«Что же это такое? – воскликнул я. – И так рассуждаете вы, представитель правосудия!..»

«Честное слово, все эти корсиканцы – сумасшедшие и воображают, что их соотечественник все еще император, – ответил Вильфор. – Вы упустили время, любезный; вам следовало так говорить со мною два месяца тому назад. Теперь слишком поздно. Убирайтесь отсюда, или я велю вас вывести».

Я смотрел на него, думая, не помогут ли новые просьбы.

Но это был не человек, а камень. Я подошел к нему.

«Ладно, – сказал я вполголоса, – если вы так хорошо знаете корсиканцев, вы должны знать, как они держат слово. По-вашему, убийцы правильно сделали, убив моего брата, потому что он был бонапартистом, а вы роялист. Хорошо же! Я тоже бонапартист, и я предупреждаю вас: я вас убью. С этой минуты я объявляю вам вендетту, поэтому берегитесь: в первый же день, когда мы встретимся с вами лицом к лицу, пробьет ваш последний час».

И, прежде чем он успел опомниться, я отворил дверь и убежал.

– Вот как, Бертуччо, – сказал Монте-Кристо. – Вы с вашей честной физиономией способны говорить такие вещи, да еще королевскому прокурору. Нехорошо! Знал ли он по крайней мере, что значит вендетта?

– Знал так хорошо, что с этой минуты никогда не выходил один и заперся дома, приказав искать меня повсюду. К счастью, у меня было такое хорошее убежище, что он не мог отыскать меня. Тогда ему стало страшно; он боялся оставаться в Ниме, просил, чтобы его перевели в другое место, а так как он был влиятельный человек, то его перевели в Версаль; но, как вам известно, для корсиканца, поклявшегося отомстить

врагу, расстояния не существует. Как он ни спешил, его карета ни разу не опередила меня больше чем на полдня пути, хоть я и шел пешком.

Важно было не просто убить его – сто раз я имел возможность это сделать, – его надо было так убить, чтобы меня не приметили и не задержали. Ведь я больше не принадлежал себе: я должен был кормить невестку. Целых три месяца я подстерегал Вильфора; за эти три месяца он не сделал ни шагу, чтобы мой взгляд не следил за ним. Наконец я узнал, что он тайком ездит в Отейль; я продолжал следить и увидел, что он посещает этот самый дом, где мы сейчас находимся; только он не входил в главные ворота, как все; он приезжал верхом или в карете, оставлял лошадь или экипаж в гостинице и входил вон через ту калитку, видите?

Монте-Кристо кивнул в знак того, что он в темноте видит вход, на который указывает Бертуччо.

– Мне больше нечего было делать в Версале, я переселился в Отейль и стал собирать сведения. Очевидно, если я хотел его поймать, именно здесь надо было подстроить ловушку.

Дом принадлежал, как вашему сиятельству сказал привратник, маркизу де Сен-Мерану, тестю Вильфора. Маркиз жил в Марселе, этот загородный дом ему был не нужен; маркиз, по слухам, сдал его молодой вдове, которую знали здесь только под именем баронессы.

Однажды вечером, заглянув через ограду, я увидел в саду женщину, она гуляла одна и часто взглядывала на калитку. Я понял, что в этот вечер она ждала Вильфора. Когда она подошла ко мне так близко, что я в темноте мог разглядеть черты ее лица, я увидел, что это молодая и красивая женщина лет восемнадцати, высокая и белокурая. На ней был простой капот, ничто не стягивало ее талии, и я заметил, что она беременна и что, по-видимому, роды уже близко.

Через несколько минут калитка отворилась, и вошел мужчина; молодая женщина поспешила, насколько могла, ему навстречу; они обнялись, нежно поцеловались и вместе вошли в дом.

Этот мужчина был Вильфор. Я рассчитывал, что, возвращаясь, особенно ночью, он должен будет пройти один через весь сад.

– А узнали вы потом имя этой женщины? – спросил граф.

– Нет, ваше сиятельство, – отвечал Бертуччо, – вы сейчас сами увидите, что у меня не было для этого времени.

– Продолжайте.

– В этот вечер я мог бы, вероятно, убить королевского прокурора, но я еще не изучил сада во всех подробностях. Я боялся, что не убью его наповал, и если на его крики кто-нибудь прибежит, то я не смогу скрыться. Я решил отложить это до следующего свидания и, чтобы лучше за всем следить, нанял комнатку, выходившую окнами на ту улицу, которая шла вдоль стены сада.

Три дня спустя, около семи часов вечера, я увидел, как из дома выехал верхом слуга и поскакал в сторону Севрской дороги; я догадался, что он поехал в Версаль, и не ошибся. Через три часа он воротился, весь в пыли, исполнив поручение. Прошло еще минут десять, и пешеход, закутанный в плащ, отпер калитку, вошел в сад и запер ее за собой.

Я бросился из дому. Я не видел лица Вильфора, но узнал его по биению моего сердца. Я перешел через улицу к тумбе, которая находилась возле угла садовой стены и при помощи которой я в первый раз заглядывал в сад.

На этот раз я не удовольствовался наблюдением, а вытащил из кармана нож, проверил, хорошо ли он отточен, и перескочил через ограду.

Прежде всего я подбежал к калитке; он оставил ключ в замке и только из предосторожности два раза повернул его.

Таким образом, ничто не мешало мне бежать этим путем. Я стал осматриваться. Посреди сада расстилалась ровная лужайка, по углам ее росли деревья с густой листвой и кусты осенних цветов. Чтобы пройти из дома к калитке или дойти от калитки до дома, Вильфор должен был миновать эти деревья.

Был конец сентября, дул сильный ветер; бледную луну все время закрывали несущиеся по небу черные тучи; она освещала только песок на аллеях, ведущих к дому, а под деревьями тень была такая густая, что там вполне мог спрятаться человек, не опасаясь, что его заметят.

Я спрятался там, где ближе всего должен был пройти Вильфор; едва я успел скрыться, как сквозь свист ветра, гнущего деревья, мне послышались стоны. Но вы знаете, ваше сиятельство, или лучше сказать, вы не знаете, что тому, кто готовится совершить убийство, всегда чудятся глухие крики. Прошло два часа, и за это время мне несколько раз слышались те же стоны. Пробило полночь.

Еще не замер унылый и гулкий отзвук последнего удара, как я увидел слабый свет в окнах той потайной лестницы, по которой мы с вами только что спустились.

Дверь отворилась, и снова появился человек в плаще.

Наступила страшная минута, но я так долго готовился к ней, что во мне ничто не дрогнуло; я вытащил нож, раскрыл его и стоял наготове.

Человек в плаще шел прямо на меня; пока он подходил по открытому пространству, мне показалось, что он держит в правой руке какое-то оружие; я испугался – не борьбы, а неудачи. Но когда он очутился всего в нескольких шагах от меня, я разглядел, что это не оружие, а просто заступ.

Не успел я еще сообразить, зачем ему заступ, как Вильфор остановился у самой опушки, огляделся по сторонам и принялся рыть яму. Только тут я увидел, что под плащом, который Вильфор положил на лужайку, чтобы он ему не мешал, что-то спрятано.

Тут, признаться, к моей ненависти примешалось любопытство: мне хотелось узнать, что он затеял. Я стоял, не шевелясь, затаив дыхание; я ждал.

Потом у меня мелькнула мысль; я еще больше утвердился в ней, когда увидел, что королевский прокурор вытащил из-под плаща маленький ящик в два фута длиной и дюймов в семь шириной.

Я дал ему опустить ящик в яму, которую он затем засыпал землей; потом он принялся утаптывать свежую землю ногами, чтобы скрыть все следы своей ночной работы. Тогда я бросился на него и вонзил ему в грудь нож. Я сказал:

«Я Джованни Бертуччо! За смерть моего брата ты платишь своей смертью, твой клад достанется его вдове; видишь, моя месть удалась

даже лучше, чем я надеялся».

– Не знаю, слышал ли он мои слова; не думаю; он упал, даже не вскрикнув. Я почувствовал, как его горячая кровь брызнула мне на руки и в лицо, но я опьянел, обезумел; эта кровь освежала меня, а не жгла. В одну минуту я заступом открыл ящик; потом, чтобы не заметили, что я его вынул, я снова засыпал яму, перебросил заступ через ограду, выскочил из калитки, запер ее снаружи, а ключ унес с собой.

– Вот как, – сказал Монте-Кристо, – я вижу, что это было всего лишь убийство, осложненное кражей.

– Нет, ваше сиятельство, – возразил Бертуччо, – это была вендетта с возвратом долга.

– По крайней мере сумма была значительная?

– Это были не деньги.

– Ах да, – сказал Монте-Кристо, – вы что-то говорили о ребенке.

– Вот именно, ваше сиятельство. Я побежал к реке, уселся на берегу и, торопясь увидеть, что лежит в ящике, взломал замок ножом.

Там, завернутый в пеленки из тончайшего батиста, лежал новорожденный младенец; лицо у него было багровое, руки посинели, – видно, он умер оттого, что пуповина обмоталась вокруг шеи и удушила его. Однако он еще не похолодел, и я не решался бросить его в реку, протекавшую у моих ног. Через минуту мне показалось, что сердце его тихонько бьется. Я освободил его шею от опутавшей ее пуповины, и так как я был когда-то санитаром в госпитале в Бастии, я сделал то, что сделал бы в этом случае врач: принялся вдувать ему в легкие воздух; и через четверть часа после неимоверных моих усилий ребенок начал дышать и вскрикнул. Я и сам вскрикнул, но от радости. «Значит, бог не проклял меня, – подумал я, – раз он позволяет мне возвратить жизнь его созданию, взамен той, которую я отнял у другого!»

– А что же вы сделали с ребенком? – спросил Монте-Кристо. – Такой багаж не совсем удобен для человека, которому необходимо бежать.

– Вот поэтому у меня ни минуты не было мысли оставить его у себя; но я знал, что в Париже есть Воспитательный дом, где принимают таких несчастных малюток. На заставе я объявил, что нашел ребенка на

дороге, и спросил, где Воспитательный дом. Ящик подтверждал мои слова; батистовые пеленки указывали, что ребенок принадлежит к богатому семейству; кровь, которой я был испачкан, могла с таким же успехом быть кровью ребенка, как и всякого другого. Мой рассказ не встретил никаких возражений; мне указали Воспитательный дом, помещавшийся в самом конце улицы Анфер. Я разрезал пеленку пополам, так что одна из двух букв, которыми она была помечена, осталась при ребенке, а другая у меня, потом положил мою ношу у порога, позвонил и убежал со всех ног. Через две недели я уже был в Рольяно и сказал Ассунте:

«Утешься, сестра; Израэле умер, но я отомстил за него».

Тогда она спросила у меня, что это значит, и я рассказал ей все!

«Джованни, – сказала мне Ассунта, – тебе следовало взять ребенка с собой; мы заменили бы ему родителей, которых он лишился; мы назвали бы его Бенедетто,[39] и за это доброе дело господь благословил бы нас».

Вместо ответа я подал ей половину пеленки, которую сохранил, чтобы вытребовать ребенка, когда мы станем побогаче.

– А какими буквами были помечены пеленки? – спросил Монте-Кристо.

– H и N, под баронской короной.

– Да вы, кажется, разбираетесь в геральдике, Бертуччо? Где это вы, черт возьми, обучались гербоведению?

– У вас на службе, ваше сиятельство, всему можно научиться.

– Продолжайте; мне хочется знать две вещи.

– Какие, ваше сиятельство?

– Что сталось с этим мальчиком? Вы, кажется, сказали, что это был мальчик.

– Нет, ваше сиятельство, я не помню, чтобы я это говорил.

– Значит, мне послышалось. Я ошибся.

– Нет, вы не ошиблись, это и был мальчик. Но ваше сиятельство желали узнать две вещи: какая же вторая?

– Я хотел еще знать, в каком преступлении вас обвиняли, когда вы попросили духовника и к вам в нимскую тюрьму пришел аббат Бузони.

– Это, пожалуй, будет очень длинный рассказ, ваше сиятельство.

– Так что же? Сейчас только десять часов; вы знаете, что я сплю мало, да и вам, думаю, теперь не до сна.

Бертуччо поклонился и продолжал свой рассказ:

– Отчасти чтобы заглушить преследовавшие меня воспоминания, отчасти для того, чтобы заработать бедной вдове на жизнь, я снова занялся контрабандой; это стало легче, потому что законы стали мягче, как всегда бывает после революции. Хуже всего охранялось южное побережье из-за непрерывных волнений то в Авиньоне, то в Ниме, то в Юзесе. Мы воспользовались этой передышкой, которую нам давало правительство, и завязали сношения с жителями всего побережья. С тех пор как моего брата убили в Ниме, я больше не хотел возвращаться в этот город. Поэтому трактирщик, с которым мы вели дела, видя, что мы его покинули, сам явился к нам и открыл отделение своего трактира (на дороге из Бельгарда в Бокер, под вывеской «Гарский мост»). Мы имели на дорогах в Эг-Морт, Мартиг и Бук с десяток складочных мест, где мы прятали товары, а в случае нужды находили убежище от таможенных досмотрщиков и жандармов. Ремесло контрабандиста очень выгодно, когда занимаешься им с умом и энергией. Я жил в горах – теперь я вдвойне остерегался жандармов и таможенных досмотрщиков, потому что если бы меня поймали, то началось бы следствие; всякое следствие интересуется прошлым, а в моем прошлом могли найти кое-что поважнее провезенных беспошлинно сигар или контрабандных бочонков спирта. Так что, тысячу раз предпочитая смерть аресту, я действовал смело и не раз убеждался в том, что преувеличенные заботы о собственной шкуре больше всего мешают успеху в предприятиях, требующих быстрого решения и отваги. И в самом деле, если решил не дорожить жизнью, то становишься не похож на других людей, или, лучше сказать, другие люди на тебя не похожи; кто принял такое решение, тот сразу же чувствует, как увеличиваются его силы и расширяется его горизонт.

– Вы философствуете, Бертуччо! – прервал его граф. – Вы, по-видимому, занимались в жизни всем понемножку.

– Прошу прощения, ваше сиятельство.

– Пожалуйста, пожалуйста, но только философствовать в половине одиннадцатого ночи поздновато. Впрочем, других возражений я не имею, потому что нахожу вашу философию совершенно справедливою, а это можно сказать не про всякую философскую систему.

– Мои поездки становились все более дальними и приносили мне все больше дохода. Ассунта была хорошая хозяйка, и наше маленькое состояние росло. Однажды, когда я собирался в путь, она сказала: «Поезжай, а к твоему возвращению я приготовлю тебе сюрприз».

Сколько я ее ни расспрашивал, она ничего не хотела говорить, и я уехал.

Я был в отсутствии больше полутора месяцев; мы взяли в Лукке масло, а в Ливорно – английские бумажные материи. Выгрузились мы очень удачно, продали все с большим барышом и, радостные, вернулись по домам.

Первое, что я, войдя в дом, увидел на самом видном месте в комнате Ассунты, был младенец месяцев восьми, в роскошной, по сравнению с остальной обстановкой, колыбели. Я вскрикнул от радости. С тех пор как я убил королевского прокурора, меня мучила только одна мысль – мысль о покинутом ребенке. Надо сказать, что о самом убийстве я ничуть не жалел.

Бедная Ассунта все угадала; она воспользовалась моим отсутствием и, захватив половину пеленки и записав для памяти точный день и час, когда ребенок был оставлен на пороге Воспитательного дома, явилась за ним в Париж. Ей без всяких возражений отдали ребенка.

Должен вам признаться, ваше сиятельство, что, когда я увидел это бедное создание спящим в колыбельке, я даже прослезился.

«Ассунта, – сказал я, – ты хорошая женщина, и бог благословит тебя».

– Вот это не так справедливо, как ваша философия, – заметил Монте-Кристо. – Правда, это уже вопрос веры.

– Вы правы, ваше сиятельство, – вздохнул Бертуччо. – Господь избрал этого ребенка орудием моей кары. Я не знаю примера, чтобы дурные наклонности проявлялись так рано, как у него, а между тем нельзя

сказать, чтобы его плохо воспитывали, потому что невестка моя заботилась о нем, как о княжеском сыне. Это был прехорошенький мальчик, с глазами светло-голубого цвета, какой бывает на китайском фарфоре и так гармонирует с молочной белизной кожи; только золотистые, слишком яркие волосы придавали его лицу несколько странный вид, особенно при его живом взгляде и лукавой улыбке. Существует пословица, что рыжие люди либо очень хороши, либо очень дурны; к несчастью, пословица эта вполне оправдалась на Бенедетто, и с самого своего детства он проявлял одни только дурные наклонности. Правда, что и кротость его приемной матери потворствовала этим задаткам; ребенок, ради которого моя бедная невестка нередко ходила на рынок за пять лье покупать первые фрукты и самые дорогие лакомства, предпочитал пальским апельсинам и генуэзским сушеным фруктам каштаны, украденные в саду у соседа, или сушеные яблоки с его чердака, хотя в его распоряжении были каштаны и яблоки нашего собственного сада.

Однажды, когда Бенедетто было не больше шести лет, наш сосед Василио пожаловался нам, что у него из кошелька исчез луидор. По нашему корсиканскому обычаю, Василио никогда не запирал ни своего кошелька, ни своих драгоценностей, потому что, как его сиятельству известно, на Корсике нет воров. Мы думали, что он плохо сосчитал деньги, но он утверждал, что не ошибся. В этот день Бенедетто с самого утра ушел из дому, и мы очень беспокоились о нем, как вдруг вечером он вернулся, таща за собой обезьяну; он сказал, что нашел ее привязанной на цепочке к дереву. Уже с месяц злой мальчик, вечно полный всяких причуд, непременно хотел иметь обезьяну. Должно быть, эту нелепую фантазию внушил ему фокусник, побывавший в Рольяно, – у него было несколько обезьян, выделывавших всевозможные штуки, и Бенедетто пришел в восторг от них.

«В наших лесах нет обезьян, – сказал я ему, – особенно цепных. Признавайся, как ты ее достал».

Бенедетто настаивал на своем и рассказал целую кучу подробностей, делавших больше чести его изобретательности, чем правдивости;

я вышел из себя, он рассмеялся; я пригрозил ему, он попятился от меня.

«Ты не смеешь меня бить, – сказал он, – не имеешь права: ты мне не отец».

Мы до сих пор не знаем, кто открыл ему эту роковую тайну, которую мы так тщательно скрывали от него. Как бы то ни было, этот ответ, в котором выразился весь характер ребенка, почти испугал меня, и рука у меня опустилась сама собой, не коснувшись его. Он торжествовал, и эта победа придала ему смелости. С этой минуты все деньги Ассунты, которая любила его тем сильнее, чем меньше он этого стоил, шли на удовлетворение его прихотей, которым она не умела противостоять, и вздорных желаний, в которых у нее не хватало духу ему отказывать. Когда я жил в Рольяно, было еще сносно, но стоило мне уехать, как Бенедетто делался главою дома, и все шло отвратительно. Ему едва исполнилось одиннадцать лет, а товарищей он выбирал себе среди восемнадцатилетних парней, самых отъявленных шалопаев Бастии и Корты; за некоторые проделки, заслуживающие более серьезного названия, мы уже несколько раз получали предостережение от властей.

Я начал тревожиться: всякое расследование могло иметь для меня самые тяжелые последствия. Мне как раз предстояла очень важная поездка. Я долго раздумывал и, предчувствуя, что избегну этим большой беды, решил взять Бенедетто с собой. Я надеялся, что суровая и деятельная жизнь контрабандистов, строгая судовая дисциплина благотворно подействуют на этот испорченный, если еще не до конца развращенный характер.

Я подозвал Бенедетто и предложил ему ехать со мной, сопровождая это предложение всякими обещаниями, какие могут соблазнить двенадцатилетнего мальчика.

Он выслушал меня и, когда я кончил, расхохотался.

«Да вы с ума сошли, дядя! – сказал он. (Так он называл меня, когда бывал в духе.) – Чтобы я стал менять свою жизнь, свое славное безделье на вашу ужасную работу! Ночью мерзнуть, днем жариться, вечно прятаться, чуть покажешься – попадать под пули, и все это, чтобы заработать немного денег! Денег у меня сколько угодно, Ассунта дает их

мне, как только я попрошу. Вы сами видите, что я был бы дурак, если бы поехал с вами».

Я был поражен такой дерзостью. Бенедетто вернулся к своим товарищам, и я издали видел, что он показывает им на меня и насмехается надо мной.

– Очаровательный ребенок! – прошептал Монте-Кристо.

– О, будь он мой, – продолжал Бертуччо, – будь он моим сыном или хотя бы племянником, я бы еще вернул его на правильный путь, потому что сознание права дает силу. Но мысль, что я буду бить сына человека, которого я убил, лишала меня всякой возможности его исправить. Я подавал добрые советы невестке, которая во время наших споров всегда защищала несчастного мальчишку; а так как она неоднократно признавалась мне, что у нее пропадают довольно значительные суммы денег, то я указал ей место, куда она могла прятать наше скромное достояние. Что же касается меня, мое решение было уже принято. Бенедетто хорошо читал, писал и считал, потому что если у него появлялась охота заниматься, то он в один день выучивался тому, на что другим требовалась неделя. Мое решение, как я уже сказал, было принято: я хотел устроить его письмоводителем на какое-нибудь судно дальнего плавания и, ни о чем не предупреждая, забрать его в одно прекрасное утро и доставить на корабль; я поручил бы его заботам капитана, и, таким образом, его будущность зависела бы всецело от него самого.

Приняв это решение, я уехал во Францию.

На этот раз все наши операции должны были совершиться в Лионском заливе; они стали теперь гораздо труднее и опаснее, так как шел уже тысяча восемьсот двадцать девятый год. Спокойствие было восстановлено вполне, и прибрежный надзор велся правильнее и строже, чем когда-либо. Надзор этот временно еще усилился благодаря тому, что в Бокере как раз открылась ярмарка.

Сначала все шло прекрасно. Лодку нашу, у которой было двойное дно, где мы прятали запрещенные товары, мы поставили посреди множества других лодок, причаленных у обоих берегов Роны, от Бокера до Арля.

Прибыв туда, мы начали по ночам выгружать нашу контрабанду и переправлять в город через людей, поддерживавших с нами связь, или трактирщиков, у которых мы имели склады. То ли успех заставил нас позабыть об осторожности, то ли нас предали, но однажды, около пяти часов вечера, когда мы собрались ужинать, к нам подбежал в тревоге наш маленький юнга и сообщил, что он видел целый отряд таможенных досмотрщиков, направлявшихся в нашу сторону. В сущности, нас испугал не самый отряд – по берегам Роны, особенно в то время, бродили целые роты, – а те предосторожности, которые, по словам мальчика, этот отряд принимал, чтобы не быть замеченным. Мы сразу повскакивали на ноги, но было уже поздно: наша лодка, несомненно, являвшаяся предметом розыска, была окружена со всех сторон. Среди таможенных досмотрщиков я заметил жандармов, их вид всегда пугал меня, в то время как просто солдат я обычно не страшился, а потому я быстро спустился в трюм и, проскользнув в грузовой люк, бросился в реку. Я плыл под водой, только изредка набирая воздух, так что, никем не замеченный, доплыл до недавно вырытого рва, соединявшего Рону с каналом, идущим из Бокера в Эг-Морт. Как только я добрался до этого места, я почувствовал себя спасенным, потому что мог плыть незамеченным вдоль рва. Таким образом, я без всяких злоключений добрался до канала. Я выбрал этот путь не случайно: я уже рассказывал вашему сиятельству об одном нимском трактирщике, державшем на дороге из Бельгарда в Бокер небольшую гостиницу.

– Прекрасно помню, – сказал Монте-Кристо. – Этот достойный человек, если не ошибаюсь, был даже вашим компаньоном.

– Вот-вот! Но лет за семь до этого он передал свое заведение одному бывшему портному из Марселя, который, разорившись на своем ремесле, решил попытать счастья в другом. Разумеется, те связи, которые у нас были с первым владельцем, продолжались и со следующим; вот у этого человека я и надеялся найти пристанище.

– А как его звали? – спросил граф, который, по-видимому, снова заинтересовался рассказом Бертуччо.

– Гаспар Кадрусс, он был женат на женщине из села Карконта, и мы все только под этим именем ее и знали; эта бледная женщина страдала болотной лихорадкой и медленно умирала от истощения. Сам же он был здоровый малый, лет сорока пяти, и уже не раз показал себя в трудные для нас минуты человеком находчивым и храбрым.

– И когда, вы говорите, это происходило? – спросил Монте-Кристо.

– В тысяча восемьсот двадцать девятом году, ваше сиятельство.

– В каком месяце?

– Июне.

– В начале или в конце?

– Это было вечером третьего июня.

– Так! – заметил Монте-Кристо. – Третьего июня тысяча восемьсот двадцать девятого года... Продолжайте.

– Так вот, у этого Кадрусса я и собирался попросить пристанища; но так как обычно, даже при спокойной обстановке, мы никогда не входили к нему через дверь, выходящую на дорогу, то я решил не изменять этому правилу; я перескочил через садовую изгородь, прополз под низенькими масличными деревцами и дикими смоковницами и, опасаясь, что в трактире у Кадрусса может находиться какой-нибудь путник, добрался до пристройки, в которой я уже не раз проводил ночь не хуже, чем в самой лучшей постели.

Эта пристройка отделялась от комнаты в нижнем этаже только дощатой перегородкой, в которой нарочно для нас были оставлены щели, чтобы мы могли улучить благоприятную минуту и дать знать, что мы находимся по соседству. Я рассчитывал, в случае если у Кадрусса никого не будет, уведомить его о моем прибытии, закончить у него ужин, прерванный появлением таможенных досмотрщиков, и, пользуясь надвигающейся грозой, вернуться на берег Роны и узнать, что сталось с лодкой и теми, кто был в ней. Итак, я тихонько пробрался в пристройку; это вышло очень кстати, потому что в ту самую минуту вернулся домой Кадрусс и привел с собой незнакомца.

Я притих и стал ждать не потому, что хотел подслушать тайны трактирщика, а просто потому, что не мог поступить иначе; к тому же так

бывало уже раз десять.

Человек, который пришел с Кадруссом, несомненно, не принадлежал к обитателям Южной Франции; это был один из тех негоциантов, которые приезжают на ярмарку в Бокер, чтобы торговать драгоценностями, и за месяц, пока длится эта ярмарка, привлекающая торговцев и покупателей со всех концов Европы, заключают иногда сделки на сто, а то и на полтораста тысяч франков.

Кадрусс вошел первым, быстрыми шагами. Затем, увидев, что нижняя комната пуста, как всегда, и что ее охраняет только пес, он позвал жену.

«Эй, Карконта, – крикнул он, – священник не обманул нас: алмаз настоящий».

Послышалось радостное восклицание, и ступеньки лестницы заскрипели под нетвердыми от слабости и болезни шагами.

«Что ты говоришь?» – спросила Карконта.

«Говорю, что алмаз настоящий, и вот этот господин, один из первых парижских ювелиров, готов дать нам за него пятьдесят тысяч франков. Но только он хочет окончательно убедиться в том, что камень действительно наш: так ты расскажи ему, как рассказал и я, каким чудесным образом он попал в наши руки. А пока, сударь, присядьте, пожалуйста: сейчас так душно, я принесу вам чего-нибудь освежиться».

Ювелир внимательно разглядывал внутренность трактира и бросающуюся в глаза бедность людей, которые предлагали ему купить алмаз, достойный княжеской шкатулки.

«Рассказывайте, сударыня», – сказал он, желая, по-видимому, воспользоваться отсутствием мужа, чтобы тот не мог как-нибудь повлиять на жену и чтобы посмотреть, насколько оба рассказа совпадут.

«Ах, господи, – затараторила женщина, – это божье благословение, мы ничего такого не ожидали. Представьте себе, дорогой господин, что мой муж дружил в тысяча восемьсот четырнадцатом или тысяча восемьсот пятнадцатом году с одним моряком, которого звали Эдмон Дантес; этот бедный малый, которого Кадрусс совершенно забыл, помнил о нем, и, умирая, оставил ему тот алмаз, который вы видели».

«А каким же образом оказался у него этот алмаз? – спросил ювелир. – Или он был у Дантеса до того, как он попал в тюрьму?»

«Нет, сударь, – отвечала женщина, – но в тюрьме он познакомился с очень богатым англичанином; тот заболел, и Дантес ухаживал за ним, как за родным братом; за это англичанин, выходя на свободу, оставил ему вот этот алмаз. Бедному Дантесу не посчастливилось, он так в тюрьме и умер, а алмаз перед смертью завещал нам и поручил почтенному аббату, который был у нас сегодня утром, передать его нам».

«Она говорит то же самое, – прошептал ювелир. – В конце концов, может быть, все это так и было, хотя на первый взгляд и кажется неправдоподобным. В таком случае, – сказал он громко, – дело только в цене, о которой мы все еще не сговорились».

«Как не сговорились! – воскликнул вошедший Кадрусс. – Я был уверен, что вы согласны на мою цену».

«То есть, – возразил ювелир, – я вам предложил за него сорок тысяч франков».

«Сорок тысяч! – возмутилась Карконта. – Уж, конечно, мы его не отдадим за эту цену. Аббат сказал нам, что он стоит пятьдесят тысяч, не считая оправы».

«А как звали этого аббата?»

«Аббат Бузони».

«Так он иностранец?»

«Он итальянец, из окрестностей Мантуи, кажется».

«Покажите мне алмаз, – продолжал ювелир, – я хочу его еще раз посмотреть; иной раз с первого взгляда ошибаешься в камнях».

Кадрусс вынул из кармана маленький черный футляр из шагреневой кожи, открыл его и передал ювелиру. При виде алмаза, который был величиною с небольшой орешек (я как сейчас это вижу), глаза Карконты загорелись алчностью.

– А что вы думали обо всем этом, господин подслушиватель? – спросил Монте-Кристо. – Вы поверили этой сказке?

– Да, ваше сиятельство; я считал Кадрусса неплохим человеком и думал, что он не способен совершить преступление или украсть.

– Это делает больше чести вашему доброму сердцу, чем житейской опытности, господин Бертуччо. А знавали вы этого Эдмона Дантеса, о котором шла речь?

– Нет, ваше сиятельство, я никогда ничего о нем не слышал ни раньше, ни после; только еще один раз от самого аббата Бузони, когда он был у меня в нимской тюрьме.

– Хорошо, продолжайте.

– Ювелир взял из рук Кадрусса перстень и достал из кармана маленькие стальные щипчики и крошечные медные весы; потом, отогнув золотые крючки, державшие камень, он вынул алмаз из оправы и осторожно положил его на весы.

«Я дам сорок пять тысяч франков, – сказал он, – и ни гроша больше: это красная цена алмазу, я взял с собой только эту сумму».

«Это не важно, – сказал Кадрусс, – я вернусь вместе с вами в Бокер за остальными пятью тысячами».

«Нет, – отвечал ювелир, отдавая Кадруссу оправу и алмаз, – нет, это крайняя цена, и я даже жалею, что предложил вам эту сумму, потому что в камне есть изъян, который я вначале не заметил; но делать нечего, я не беру назад своего слова; я сказал сорок пять тысяч франков и не отказываюсь от этой цифры».

«По крайней мере вставьте камень обратно», – сердито сказала Карконта.

«Вы правы», – сказал ювелир.

И он вставил камень в оправу.

«Не беда, – проворчал Кадрусс, пряча футляр в карман, – продадим кому-нибудь другому».

«Конечно, – отвечал ювелир, – только другой не будет так сговорчив, как я; другой не удовлетворится теми сведениями, которые вы сообщили мне; это совершенно неестественно, чтобы человек в вашем положении обладал перстнем в пятьдесят тысяч франков; он сообщит властям, придется разыскивать аббата Бузони, а разыскивать аббатов, раздающих алмазы ценою в две тысячи луидоров, не легкое дело; правосудие для начала наложит на него руку, вас засадят в тюрьму, а если обнаружится,

что вы ни в чем не виновны, и вас через три или четыре месяца освободят, то окажется, что перстень затерялся в какой-нибудь канцелярии, или вам всучат фальшивый камень, франка в три ценою, вместо алмаза, стоящего пятьдесят, может быть, даже пятьдесят пять тысяч франков, но покупка которого, согласитесь, сопряжена с некоторым риском».

Кадрусс и его жена переглянулись.

«Нет, – заявил Кадрусс, – мы не настолько богаты, чтобы терять пять тысяч франков».

«Как вам угодно, любезный друг, – сказал ювелир, – а между тем я, как видите, принес с собой деньги наличными».

И он вытащил из одного кармана горсть золотых монет, засверкавших перед восхищенными глазами трактирщика, а из другого – пачку ассигнаций.

В душе Кадрусса явно происходила тяжелая борьба: было ясно, что маленький футляр шагреневой кожи, который он вертел в руке, казался ему не соответствующим по своей ценности огромной сумме денег, прельщавшей его взоры.

Он повернулся к жене.

«Что ты скажешь?» – тихо спросил он ее.

«Отдавай, отдавай, – сказала она, – если он вернется в Бокер без алмаза, он донесет на нас; и он верно говорит: кто знает, удастся ли нам когда-нибудь разыскать аббата Бузони».

«Ну что ж, так и быть! – сказал Кадрусс. – Берите камень за сорок пять тысяч франков; но моей жене хочется иметь золотую цепочку, а мне пару серебряных пряжек».

Ювелир вытащил из кармана длинную плоскую коробку, в которой находилось несколько образцов названных предметов.

«Берите, – сказал он, – в делах я не мелочен, выбирайте».

Жена выбрала золотую цепочку, стоившую, вероятно, луидоров пять, а муж пару пряжек, цена которым была франков пятнадцать.

«Надеюсь, теперь вы довольны?» – сказал ювелир.

«Аббат говорил, что ему цена пятьдесят тысяч франков», – пробормотал Кадрусс.

«Ну, ну, ладно! Вот несносный человек, – продолжал ювелир, беря у него из рук перстень, – я даю ему сорок пять тысяч франков, две с половиной тысячи ливров годового дохода, то есть капитал, от которого я сам не отказался бы, а он еще недоволен!»

«А сорок пять тысяч франков? – спросил Кадрусс хриплым голосом. – Где они у вас?»

«Вот, извольте», – сказал ювелир.

И он отсчитал на столе пятнадцать тысяч франков золотом и тридцать тысяч ассигнациями.

«Подождите, я зажгу лампу, – сказала Карконта, – уже темно, легко ошибиться».

В самом деле, пока они спорили, настала ночь, а с нею пришла и гроза, уже с полчаса как надвигавшаяся. В отдалении глухо грохотал гром; но ни ювелир, ни Кадрусс, ни Карконта не обращали на него никакого внимания, всецело поглощенные бесом наживы.

Я и сам испытывал странное очарование при виде всего этого золота и бумажных денег. Мне казалось, что я вижу все это во сне, и, как во сне, я чувствовал себя прикованным к месту.

Кадрусс сосчитал и пересчитал деньги и банковые билеты, потом передал их жене, которая, в свою очередь, сосчитала и пересчитала их.

Тем временем ювелир вертел перстень при свете лампы, и алмаз метал такие молнии, что он не замечал тех, которые уже полыхали в окнах, предвещая грозу.

«Ну что же? Счет верен?» – спросил ювелир.

«Да, – сказал Кадрусс, – принеси кошелек, Карконта, и отыщи какой-нибудь мешок».

Карконта подошла к шкафу и вернулась со старым кожаным бумажником; из него вынули несколько старых засаленных писем и на их место положили ассигнации: она принесла и мешок, где лежало два или три экю по шесть ливров – по-видимому, все состояние жалкой четы.

«Ну вот, – сказал Кадрусс, – хоть вы нас и ограбили, может быть, тысяч на десять франков, но не отужинаете ли вы с нами? Я предлагаю от души».

«Благодарю вас, – отвечал ювелир, – но, должно быть, уже поздно, и мне пора в Бокер, а то жена начнет беспокоиться. – Он посмотрел на часы. – Черт возьми! – воскликнул он. – Уже скоро девять, я раньше полуночи не попаду домой. Прощайте, друзья; если к вам еще когда-нибудь забредет такой аббат Бузони, вспомните обо мне».

«Через неделю вас уже не будет в Бокере, – сказал Кадрусс, – ведь ярмарка закрывается на будущей неделе».

«Да, но это ничего не значит, напишите мне в Париж: господину Жоаннесу, Пале-Рояль, галерея Пьер, номер сорок пять; я нарочно приеду, если надо будет».

Раздался удар грома, и молния сверкнула так ярко, что почти затмила свет лампы.

«Ого, – сказал Кадрусс, – как же вы пойдете в такую погоду?»

«Я не боюсь грозы», – сказал ювелир.

«А грабителей? – спросила Карконта. – Во время ярмарки на дорогах всегда пошаливают».

«Что касается грабителей, – сказал Жоаннес, – то у меня для них кое-что припасено».

И он вытащил из кармана пару маленьких пистолетов, заряженных до самой мушки.

«Вот, – сказал он, – собачки, которые и лают и кусают; это для первых двух, которые польстились бы на ваш алмаз, дядюшка Кадрусс».

Кадрусс с женой обменялись мрачным взглядом. Казалось, у них у обоих одновременно мелькнула какая-то ужасная мысль.

«В таком случае счастливого пути!» – сказал Кадрусс.

«Благодарю!» – отвечал ювелир.

Он взял свою трость, прислоненную к старому ларю, и вышел. В то время как он открывал дверь, в комнату ворвался такой сильный порыв ветра, что лампа едва не погасла.

«Ну и погодка, – сказал он, – а ведь мне идти два лье пешком!»

«Оставайтесь, – сказал Кадрусс, – переночуете здесь».

«Да, оставайтесь, – дрожащим голосом сказала Карконта, – мы позаботимся, чтобы вам было удобно».

«Никак нельзя. Мне необходимо вернуться к ночи в Бокер. Прощайте!»

Кадрусс медленно подошел к порогу.

«Ни зги не видно, – проговорил ювелир уже за дверью. – Куда мне повернуть, направо или налево?»

«Направо, – сказал Кадрусс, – с пути не собьетесь, дорога с обеих сторон обсажена деревьями».

«Вижу, вижу», – донесся издали слабый голос.

«Да закрой же дверь! – сказала Карконта. – Я не выношу открытых дверей, когда гремит гром».

«И когда в доме имеются деньги, верно?» – отвечал Кадрусс, дважды поворачивая ключ в замке.

Он подошел к шкафу, вновь достал мешок и бумажки, и оба принялись в третий раз пересчитывать свое золото и ассигнации.

Я никогда не видел такой алчности, какую выражали эти два лица, освещенные тусклой лампой. Особенно отвратительна была женщина; лихорадочная дрожь, которая всегда ее трясла, еще усилилась, и без того бледное лицо сделалось мертвенным, ввалившиеся глаза пылали.

«Для чего ты ему предлагал переночевать здесь?» – спросила она глухим голосом.

«Да... для того, чтобы избавить его от тяжелого пути в Бокер», – вздрогнув, ответил Кадрусс.

«Ах, вот что, – сказала женщина с непередаваемым выражением, – а я-то вообразила, что не для этого».

«Жена, жена! – воскликнул Кадрусс. – Откуда у тебя такие мысли, и почему ты не держишь их про себя?»

«Что ни говори, – сказала Карконта, помолчав, – а ты не мужчина».

«Это почему?» – спросил Кадрусс.

«Если бы ты был мужчина, он бы не ушел отсюда».

«Жена!»

«Или не дошел бы до Бокера».

«Жена!»

«Дорога заворачивает, и он не знает другой дороги, а вдоль канала есть тропинка, которая срезает путь».

«Жена, ты гневишь бога. Вот, слышишь?»

Всю комнату озарила голубоватая молния, одновременно раздался ужасающий удар грома, и медленно замирающие раскаты, казалось, неохотно удалялись от проклятого дома.

«Господи!» – сказала, крестясь, Карконта.

В ту же минуту, посреди жуткой тишины, которая обычно следует за ударом грома, послышался стук в дверь.

Кадрусс с женой вздрогнули и в ужасе переглянулись.

«Кто там?» – крикнул Кадрусс, вставая с места, и, сгребя в кучу золото и бумажки, разбросанные по столу, прикрыл их обеими руками.

«Это я!» – ответил чей-то голос.

«Кто вы?»

«Да я же! Ювелир Жоаннес!»

«Ну вот! А еще говорил, что я гневлю господа!.. – заявила с гнусной улыбкой Карконта. – Сам господь вернул его к нам».

Кадрусс, бледный и дрожащий, упал на стул.

Карконта, напротив, встала и твердыми шагами пошла отворять.

«Входите, дорогой господин Жоаннес», – сказала она.

«Право, – сказал ювелир, весь мокрый от дождя, – можно подумать, что сам черт мешает мне вернуться сегодня в Бокер. Из двух зол надо выбирать меньшее, господин Кадрусс: вы предложили мне гостеприимство, я принимаю его и возвращаюсь к вам ночевать».

Кадрусс пробормотал что-то, отирая пот со лба.

Карконта, впустив ювелира, дважды повернула ключ в замке.

# VII. Кровавый дождь

Ювелир, войдя, окинул комнату испытующим взглядом, но там не было ничего, что могло бы вызвать в нем подозрения или же укрепить их.

Кадрусс все еще прикрывал обеими руками бумажки и золото. Карконта улыбалась гостю насколько могла приветливее.

«Ага, – сказал ювелир, – вы, по-видимому, все еще боялись, не просчитались ли, если после моего ухода опять стали пересчитывать свое богатство?»

«Да нет, – сказал Кадрусс, – но самый случай, который дал нам его, настолько неожиданный, что мы никак не можем поверить нашему счастью, и если у нас перед глазами не лежит вещественное доказательство, то нам все еще кажется, что это сон».

Ювелир улыбнулся.

«Ночует у вас тут кто-нибудь?» – спросил он.

«Нет, – отвечал Кадрусс, – это у нас не заведено; до города недалеко, и на ночь у нас никто не остается».

«Значит, я вас очень стесню?»

«Да что вы, сударь! – любезно сказала Карконта. – Нисколько не стесните, уверяю вас».

«Где же вы меня поместите?»

«В комнате наверху».

«Но ведь это ваша комната?»

«Это не важно; у нас есть вторая кровать в комнате рядом с этой».

Кадрусс удивленно взглянул на жену.

Ювелир стал напевать какую-то песенку, греясь у камина, куда Карконта подбросила охапку хвороста, чтобы гость мог обсушиться.

Тем временем она расстелила на краю стола салфетку и поставила на него остатки скудного обеда и яичницу.

Кадрусс снова спрятал ассигнации в бумажник, золото в мешок, а все вместе – в шкаф. Он в мрачном раздумье ходил взад и вперед по комнате, время от времени поглядывая на ювелира, который в облаке

пара стоял у камина и, пообсохнув с одного бока, поворачивался к огню другим.

«Вот! – сказала Карконта, ставя на стол бутылку вина. – Если угодно, можете приниматься за ужин».

«А вы?» – спросил Жоаннес.

«Я ужинать не буду», – отвечал Кадрусс.

«Мы очень поздно обедали», – поспешила добавить Карконта.

«Так мне придется ужинать одному?» – спросил ювелир.

«Мы будем вам прислуживать», – ответила Карконта с готовностью, какой она никогда не проявляла даже по отношению к платным посетителям.

Время от времени Кадрусс бросал на нее быстрый, как молния, взгляд.

Гроза все еще продолжалась.

«Слышите, слышите? – сказала Карконта. – Право, хорошо сделали, что вернулись».

«Но если, пока я ужинаю, буря утихнет, я все-таки пойду», – сказал ювелир.

«Это мистраль, – сказал, покачивая головой, Кадрусс, – это протянется до завтра».

И он тяжело вздохнул.

«Ну, что делать, – сказал ювелир, садясь к столу, – тем хуже для тех, кто сейчас в пути».

«Да, – отвечала Карконта, – они проведут плохую ночь».

Ювелир принялся за ужин, а Карконта продолжала оказывать ему всяческие услуги, как подобает внимательной хозяйке; она, всегда такая сварливая и своенравная, была образцом предупредительности и учтивости. Если бы ювелир знал ее раньше, такая разительная перемена, конечно, удивила бы его и не могла бы не возбудить в нем подозрений. Что касается Кадрусса, то он продолжал молча шагать по комнате и, казалось, избегал даже смотреть на гостя.

Когда тот поужинал, Кадрусс пошел открыть дверь.

«Гроза как будто проходит», – сказал он.

Но в эту минуту, словно чтобы показать, что он ошибается, оглушительный раскат грома потряс весь дом; порыв ветра вместе с дождем ворвался в дверь и потушил лампу. Кадрусс снова запер дверь; его жена угольком из догоравшего камина зажгла свечу.

«Вы, должно быть, устали, – сказала она ювелиру, – я постлала чистые простыни, идите наверх и спите спокойно».

Жоаннес подождал еще немного, чтобы посмотреть, не утихает ли буря, и, убедившись, что гроза и дождь только усиливаются, пожелал хозяевам спокойной ночи и ушел наверх.

Он шел по лестнице над моей головой, и я слышал, как ступеньки скрипели под его ногами.

Карконта проводила его алчным взглядом, тогда как Кадрусс, напротив, стоял к нему спиной и даже не смотрел в его сторону.

Все эти подробности, о которых я вспомнил позже, ничуть меня не поразили, пока все это происходило у меня перед глазами; в общем, все, что случилось, было вполне естественно, и, если не считать истории с алмазом, которая показалась мне довольно неправдоподобной, все вытекало одно из другого.

Я смертельно устал, но собирался воспользоваться первой минутой, когда уймется дождь и уляжется буря, а потому решил поспать несколько часов и убраться отсюда среди ночи.

Я слышал, как наверху ювелир поудобнее устраивался на ночь. Вскоре под ним заскрипела кровать; он улегся.

Я чувствовал, что мои глаза слипаются, а так как у меня не возникало ни малейшего подозрения, то я и не пытался бороться со сном; в последний раз я заглянул в соседнюю комнату. Кадрусс сидел у стола, на деревянной скамейке, которая в деревенских трактирах заменяет стулья; он сидел ко мне спиной, так что я не мог видеть его лица, да и сиди он иначе, я все равно не мог бы его разглядеть, потому что голову он склонил на руки.

Карконта некоторое время молча наблюдала за ним, потом пожала плечами и села напротив него.

В эту минуту потухающее пламя охватило еще не тронутый сухой сук; в темной комнате стало немного светлее. Карконта не сводила глаз с мужа, а так как он сидел все в той же позе, она протянула свои скрюченные пальцы и дотронулась до его лба.

Кадрусс вздрогнул. Мне показалось, что губы Карконты шевелились; но или она говорила слишком тихо, или сон уже притупил мои чувства, только звук ее голоса не долетал до меня. Глаза мои тоже заволакивались туманом, и я уже не отдавал себе отчета, наяву я все это вижу или во сне. Наконец веки мои сомкнулись, и я перестал сознавать окружающее.

Я спал глубоким сном, как вдруг меня разбудил выстрел и за ним ужасный крик. Наверху раздались нетвердые шаги, и что-то грузно рухнуло на лестнице, как раз над моей головой.

Я еще не совсем пришел в себя. Мне слышались стоны, потом заглушенные крики, как будто где-то происходила борьба.

Последний крик, протяжнее, чем остальные, сменившийся затем стонами, окончательно вывел меня из оцепенения.

Я приподнялся на локте, открыл глаза, но не мог в темноте ничего разглядеть и дотронулся до своего лба, на который, как мне показалось, падали сквозь доски лестницы частые капли теплого дождя.

За разбудившим меня шумом наступила полная тишина. Я слышал над своей головой мужские шаги; заскрипела лестница. Мужчина спустился в нижнюю комнату, подошел к камину и зажег свечу.

Это был Кадрусс; он был очень бледен, и его рубашка была вся в крови.

Затеплив свечу, он быстро поднялся по лестнице, и я вновь услышал его быстрые, тревожные шаги.

Через минуту он снова сошел вниз. В руке он держал футляр; удостоверившись, что алмаз лежит внутри, он начал совать его то в один, то в другой карман; затем, решив, вероятно, что карман недостаточно надежное место, закатал его в свой красный платок и обернул им шею.

Потом он бросился к шкафу, вытащил оттуда золото и ассигнации, рассовал их в карманы штанов и в карманы куртки, захватил две-три

рубашки и выскочил за дверь. Тогда мне все стало ясно; я упрекал себя за случившееся, как будто сам был в этом виноват. Мне показалось, что я слышу стоны; быть может, несчастный ювелир был еще жив; быть может, оказав ему помощь, я мог отчасти загладить зло, которое я не то чтобы совершил, но которому дал совершиться. Я налег спиной на плохо скрепленные доски, отделявшие от нижней комнаты подобие пристройки, где я лежал; доски подались, и я проник в дом.

Я схватил свечу и бросился вверх по лестнице; поперек нее лежало чье-то тело; это был труп Карконты.

Слышанный мною выстрел был сделан по ней; пуля пробила ей шею навылет, кровь текла из двойной раны и струей била изо рта.

Она была мертва.

Я перешагнул через труп и побежал дальше.

Спальня была в ужасном беспорядке. Часть мебели была опрокинута; простыни, за которые судорожно хватался несчастный ювелир, были разбросаны по комнате; сам он лежал на полу, головой к стене, в луже крови, вытекшей из трех больших ран на груди.

Из четвертой торчала рукоятка огромного кухонного ножа.

Мне под ноги попался второй пистолет, неразряженный, вероятно, потому, что порох отсырел.

Я подошел к ювелиру, он был еще жив; от шума моих шагов, а главное от сотрясения пола, он открыл мутные глаза, остановил их на мне, пошевелил губами, словно желая что-то сказать, и испустил дух.

От этого страшного зрелища я почти обезумел; раз я никому уже не мог помочь, мне хотелось только одного: бежать. Я схватился за голову и с криком ужаса выскочил на лестницу.

В нижней комнате оказалось человек шесть таможенных досмотрщиков и два-три жандарма – целый вооруженный отряд.

Меня схватили; я даже не пытался сопротивляться, я больше не владел собой. Я пытался говорить, но издавал только нечленораздельные звуки.

Я увидел, что таможенники и жандармы показывают на меня пальцами; я оглядел себя – я был весь в крови. Тот теплый дождь, который капал на меня сквозь доски лестницы, был кровью Карконты.

Я указал пальцем на то место, где я прятался.

«Что он хочет сказать?» – спросил один из жандармов.

Один из таможенников заглянул туда.

«Он хочет сказать, что прошел оттуда», – ответил он.

И он указал на пролом, через который я в самом деле прошел.

Тогда я понял, что меня принимают за убийцу. Ко мне вернулся голос, ко мне вернулись силы; я вырвался из рук державших меня людей и крикнул:

«Это не я! Не я!»

Два жандарма навели на меня свои карабины.

«Если ты пошевелишься, – сказали они, – тебе конец».

«Но я же вам говорю, – воскликнул я, – что это не я!»

«Все это ты можешь рассказывать судьям в Ниме, – отвечали они. – А пока иди за нами; и наш тебе совет – не сопротивляйся».

Да я и не думал сопротивляться; я был охвачен ужасом, подавлен. На меня надели наручники, привязали к лошадиному хвосту и отвели в Ним.

Оказывается, меня выследил один из таможенников; поблизости от трактира он потерял меня из виду, предположил, что я там проведу ночь, и отправился предупредить своих товарищей; они явились сюда как раз, когда грянул выстрел, и захватили меня при таких явных уликах, что я сразу понял, как трудно мне будет доказать свою невиновность.

Тогда все мои усилия свелись к одному: прежде всего я попросил следователя, чтобы он велел разыскать некоего аббата Бузони, заезжавшего в этот самый день в трактир «Гарский мост». Если Кадрусс все выдумал, если этого аббата не существовало – значит, я пропал, разве что поймали бы самого Кадрусса и он бы во всем сознался.

Прошло два месяца, во время которых, должен это сказать к чести моего следователя, были приняты все меры для разыскания аббата. Я уже потерял всякую надежду. Кадрусса не нашли. Меня должны были судить в ближайшую сессию, как вдруг восьмого сентября, то есть через три месяца и пять дней после убийства, в тюрьму явился аббат Бузони, которого я уже и не ждал, и сказал, что слышал, будто один из

заключенных хочет поговорить с ним. Он, по его словам, узнал об этом в Марселе и поспешил явиться на мой зов.

Вы можете себе представить, с какой радостью я его принял; я рассказал ему все, что видел и слышал; волнуясь, приступил я к истории с алмазом; против всякого моего ожидания она оказалась чистой правдой; и, опять-таки против всякого моего ожидания, он вполне поверил всему, что я рассказал.

Я был пленен его кротким милосердием, видел, что ему хорошо известны нравы моей родины, – и тогда в надежде, что, быть может, из этих милосердных уст я получу прощение за единственное свое преступление, я рассказал ему на исповеди, во всех подробностях, что произошло в Отейле. То, что я сделал по сердечному влечению, имело такое же последствие, как если бы я сделал это из расчета: мое сознание в этом первом убийстве, к которому меня ничто не принуждало, убедило его, что я не совершил второго, и он, уходя, велел мне надеяться и обещал сделать все от него зависящее, чтобы убедить судей в моей невиновности.

Я понял, что он занялся мною, когда увидел, что для меня постепенно смягчается тюремный режим, и узнал, что мое дело отложено до следующей сессии.

В этот промежуток времени провидению угодно было, чтобы за границей схватили Кадрусса и доставили во Францию. Он во всем сознался, свалив на свою жену весь умысел преступления и подстрекательство к нему. Его приговорили к пожизненной каторге, а меня освободили.

– И тогда, – сказал Монте-Кристо, – вы явились ко мне с рекомендательным письмом от аббата Бузони.

– Да, ваше сиятельство, он принял во мне живое участие.

«Ваше ремесло контрабандиста погубит вас, – сказал он мне. – Если вы выйдете отсюда, бросьте это».

«Но, отец мой, – спросил я, – как же мне жить и содержать мою несчастную невестку?»

«Один из моих духовных сыновей, – ответил он, – относится ко мне с большим уважением и поручил мне отыскать ему человека, которому он мог бы доверять. Хотите быть этим человеком? Я ему вас рекомендую».

«Отец мой! – воскликнул я. – Как вы добры!»

«Но вы обещаете мне, что я никогда в этом не раскаюсь?»

Я поднял руку, чтобы дать клятву.

«Этого не нужно, – сказал он, – я знаю и люблю корсиканцев; вот вам рекомендация».

И он написал несколько строк, которые я вам передал и на основании которых ваше сиятельство взяли меня к себе на службу. Теперь я могу с гордостью спросить, имели ли когда-нибудь ваше сиятельство причины быть мною недовольным?

– Нет, – отвечал граф, – я с удовольствием признаю, что вы хороший слуга, Бертуччо, хоть вы и недостаточно доверяете мне.

– Я, ваше сиятельство?

– Да, вы. Как это могло случиться, что у вас есть невестка и приемный сын, а вы мне никогда о них не говорили?

– Увы, ваше сиятельство, мне остается поведать вам самую грустную часть моей жизни. Я уехал на Корсику. Вы сами понимаете, что я торопился повидать и утешить мою бедную невестку; но в Рольяно меня ждало несчастье; в моем доме произошло нечто такое ужасное, что об этом и до сих пор еще помнят соседи. Следуя моим советам, моя бедная невестка отказывала Бенедетто, который постоянно требовал денег. Однажды утром он пригрозил ей и исчез на целый день. Бедная Ассунта, любившая этого негодяя, как родного сына, горько плакала. Пришел вечер; она ждала его и не ложилась спать. В одиннадцать часов вечера он вернулся в сопровождении двух приятелей – обычных сотоварищей его проделок; она хотела обнять его, но они схватили ее, и один из них, – боюсь, что это и был этот проклятый мальчишка, – воскликнул:

«Мы сыграем в пытку, и ей придется сказать, где у нее спрятаны деньги».

Наш сосед Василио уехал в Бастию, и дома оставалась только его жена. Кроме нее, никто не мог ни увидеть, ни услышать того, что

происходило в доме невестки. Двое крепко держали Ассунту, которая не представляла себе возможности такого преступления и ласково улыбалась своим будущим палачам; третий наглухо забаррикадировал двери и окна, потом вернулся к остальным, и все трое, стараясь заглушить крики ужаса, вырывавшиеся у Ассунты при виде этих грозных приготовлений, поднесли ее ногами к пылающему очагу. Они ждали, что это заставит ее указать, где спрятаны наши деньги; но, пока она боролась с ними, вспыхнула ее одежда; тогда они бросили несчастную, боясь, чтобы огонь не перекинулся на них. Вся охваченная пламенем, она бросилась к выходу, но дверь была заперта. Она кинулась к окну; но окно было забито.

И вот соседка услышала ужасные крики: это Ассунта звала на помощь. Потом ее голос стал глуше; крики перешли в стоны. На следующий день, после целой ночи ужаса и тревоги, жена Василио наконец решилась выйти из дома, и судебные власти, которым она дала знать, взломали дверь нашего дома. Ассунту нашли полуобгоревшей, но еще живой, шкафы оказались взломаны, деньги исчезли. Что до Бенедетто, то он навсегда исчез из Рольяно: с тех пор я его не видел и даже не слышал о нем.

– Узнав об этом печальном происшествии, – продолжал Бертуччо, – я и отправился к вашему сиятельству. Мне уже не к чему было рассказывать вам ни о Бенедетто, потому что он исчез, ни о моей невестке, потому что она умерла.

– И что вы думали об этом происшествии? – спросил Монте-Кристо.

– Что это была кара за мое преступление, – ответил Бертуччо. – О, эти Вильфоры, проклятый род!

– Я то же думаю, – мрачно прошептал граф.

– Теперь, – продолжал Бертуччо, – ваше сиятельство понимает, почему этот дом, где я с тех пор не был, этот сад, где я неожиданно очутился, это место, где я убил человека, могли вызвать во мне мучительное волнение, причину которого вам угодно было узнать; признаюсь, я не уверен, что здесь, у моих ног, в той самой могиле, которую он выкопал для своего ребенка, не лежит господин де Вильфор.

– Что ж, все возможно, – сказал Монте-Кристо, вставая, – даже и то, – добавил он чуть слышно, – что королевский прокурор еще жив. Аббат Бузони хорошо сделал, что прислал вас ко мне. И вы тоже хорошо сделали, что рассказали мне свою историю, потому что теперь я уже не буду дурно о вас думать. А что этот, так неудачно названный, Бенедетто? Вы так и не старались напасть на его след, не пытались узнать, что с ним сталось?

– Никогда. Если бы я даже знал, где он, я не старался бы увидеть его, а бежал бы от него, как от чудовища. Нет, к счастью, я никогда ни от кого ничего о нем не слышал; надеюсь, что его нет в живых.

– Не надейтесь, Бертуччо, – сказал граф. – Злодеи так не умирают: господь охраняет их, чтобы сделать орудием своего отмщения.

– Пусть так, – сказал Бертуччо. – Я только молю бога, чтобы мне не привелось с ним встретиться. Теперь, – продолжал, опуская голову, управляющий, – вы знаете все, ваше сиятельство; на земле вы мой судья, как господь – на небе; не скажете ли вы мне что-нибудь в утешение?

– Да, вы правы, и я могу повторить то, что сказал бы вам аббат Бузони; этот Вильфор, на которого вы подняли руку, заслуживал возмездия за свой поступок с вами, и, может быть, еще кое за что. Если Бенедетто жив, то он послужит, как я вам уже сказал, орудием божьей кары, а потом и сам понесет наказание. Вы же, собственно говоря, можете упрекнуть себя только в одном: спросите себя, почему, спасши этого ребенка от смерти, вы не возвратили его матери; вот в чем ваша вина, Бертуччо.

– Да, ваше сиятельство, в этом я виновен, я поступил малодушно. Когда я вернул ребенку жизнь, мне оставалось только, как вы говорите, отдать его матери. Но для этого мне нужно было собрать кое-какие сведения, обратить на себя внимание, может быть, выдать себя. Мне не хотелось умирать, меня привязывали к жизни моя невестка, мое врожденное самолюбие корсиканца, который хочет мстить победоносно и до конца, и, наконец, я просто любил жизнь. Я не так храбр, как мой несчастный брат!

Бертуччо закрыл лицо руками, а Монте-Кристо вперил в него долгий, загадочный взгляд.

Потом, после минутного молчания, которому время и место придавали еще больше торжественности, граф сказал с непривычной для него печалью в голосе:

– Чтобы достойно окончить нашу беседу, последнюю по поводу всех этих событий, Бертуччо, запомните мои слова, которые я часто слышал от аббата Бузони: «От всякой беды есть два лекарства – время и молчание». А теперь я хочу пройтись по саду. То, что тягостно для вас, участника ужасных событий, вызовет во мне скорее приятные ощущения и удвоит для меня ценность этого поместья. Видите ли, Бертуччо, деревья милы только тем, что дают тень, а самая тень мила лишь потому, что вызывает грезы и мечты. Вот я приобрел сад, считая, что покупаю лишь огороженное место, – а это огороженное место вдруг оказывается садом, в котором бродят привидения, не предусмотренные контрактом. А я любитель привидений, я никогда, не слышал, чтобы мертвецы за шесть тысяч лет наделали столько зла, сколько его делают живые за один день. Возвращайтесь домой, Бертуччо, и спите спокойно. Если в последний час ваш духовник будет к вам не так милосерден, как аббат Бузони, позовите меня, если я еще буду жив, и я найду слова, которые тихо убаюкают вашу душу, когда она будет готовиться в трудный путь, который зовется вечностью.

Бертуччо почтительно склонился перед графом и, тяжело вздохнув, удалился.

Монте-Кристо остался один; он сделал несколько шагов.

– Здесь, около этого платана, могила, куда был положен младенец, – прошептал он, – там – калитка, через которую входили в сад; в том углу – потайная лестница, ведущая в спальню. Не думаю, чтобы требовалось заносить все это в записную книжку, потому что у меня здесь перед глазами, под ногами вокруг – рельефный живой план.

И граф, еще раз обойдя сад, направился к карете Бертуччо, видя его задумчивость, молча сел рядом с кучером. Карета покатила в Париж.

В тот же вечер, вернувшись в свой дом на Елисейских полях, граф Монте-Кристо обошел все помещение, как мог бы это сделать человек, знакомый с ним уже многие годы; и хотя он шел впереди других, он ни

разу не ошибся дверью и не направился по такой лестнице или коридору, которые не привели бы его прямо туда, куда он хотел попасть. Али сопровождал его в этом ночном обходе. Граф отдал Бертуччо кое-какие распоряжения, касавшиеся украшения или назначения комнат, и, взглянув на часы, сказал внимательно слушавшему нубийцу:

– Уже половина двенадцатого. Гайде должна скоро приехать. Предупреждены ли французские служанки?

Али показал рукой на половину, предназначенную для прекрасной албанки; она была так тщательно скрыта, что, если завесить дверь ковром, можно было обойти весь дом и не догадаться, что там есть еще гостиная и две жилые комнаты; Али, как мы уже сказали, показал рукой на эту дверь, поднял три пальца левой руки и, положив голову на ладонь этой руки, закрыл глаза, изображая сон.

– Понимаю, – сказал Монте-Кристо, привыкший к такому способу разговора, – все три дожидаются ее в спальне, не так ли?

– Да, – кивнул Али.

– Госпожа будет утомлена сегодня, – продолжал Монте-Кристо, – и, должно быть, сразу захочет лечь; не надо ни о чем с ней разговаривать; служанки-француженки должны только приветствовать свою новую госпожу и удалиться; последи, чтобы служанка-гречанка не общалась с француженками.

Али поклонился.

Вскоре послышался голос, зовущий привратника; ворота распахнулись, в аллею въехал экипаж и остановился у крыльца.

Граф сошел вниз; дверца кареты была уже открыта; он подал руку молодой девушке, закутанной с головы до ног в шелковую зеленую накидку, сплошь расшитую золотом.

Девушка взяла протянутую ей руку, любовно и почтительно поцеловала ее и произнесла несколько ласковых слов, на которые граф отвечал с нежной серьезностью на том звучном языке, который старик Гомер вложил в уста своих богов.

Затем, предшествуемая Али, несшим розовую восковую свечу, девушка – та самая красавица албанка, что была спутницей Монте-

Кристо в Италии, – прошла на свою половину, после чего граф удалился к себе.

В половине первого в доме погасли все огни, и можно было подумать, что все мирно спят.

# VIII. Неограниченный кредит

На следующий день, около двух часов пополудни, экипаж, запряженный парой великолепных английских лошадей, остановился у ворот Монте-Кристо. Мужчина в синем фраке с шелковыми пуговицами того же цвета, в белом жилете, пересеченном огромной золотой цепью, и в панталонах орехового цвета, с волосами, настолько черными и так низко спускающимися на лоб, что легко было усомниться в их естественности, тем более что они мало соответствовали глубоким надбровным морщинам, которых они никак не могли скрыть, – словом, мужчина лет пятидесяти пяти, но желавший казаться сорокалетним, выглянул из окна кареты, на дверцах которой была изображена баронская корона, и послал грума спросить у привратника, дома ли граф Монте-Кристо.

В ожидании ответа этот человек с любопытством, граничившим с неделикатностью, рассматривал дом, доступную взорам часть сада и ливрею слуг, мелькавших за оградой. Глаза у него были живые, но скорее хитрые, чем умные. Губы были так тонки, что вместо того, чтобы выдаваться вперед, они западали внутрь; наконец, его широкие и сильно выдающиеся скулы – верный признак коварства, низкий лоб, выпуклый затылок, огромные, отнюдь не аристократические уши заставили бы всякого физиономиста назвать почти отталкивающим характер этого человека, производившего на непосвященных немалое впечатление своим великолепным выездом, огромным бриллиантом, вдетым вместо запонки в манишку, и красной орденской лентой, тянувшейся от одной петлицы до другой.

Грум постучал в окно привратника и спросил:

– Здесь живет граф Монте-Кристо?

– Да, его сиятельство живет здесь, – отвечал привратник, – но...

Он вопросительно взглянул на Али.

Али сделал отрицательный знак.

– Но?.. – спросил грум.

– Но его сиятельство не принимает, – отвечал привратник.

– В таком случае вот вам карточка моего господина, барона Данглара. Передайте ее графу Монте-Кристо и скажите ему, что по дороге в Палату мой господин заезжал сюда, чтобы иметь честь его видеть.

– Я не имею права разговаривать с его сиятельством, – сказал привратник, – ваше поручение исполнит камердинер.

Грум вернулся к экипажу.

– Ну что? – спросил Данглар.

Мальчик, пристыженный полученным уроком, передал ответ привратника своему господину.

– Ого, – сказал тот, – видно, важная птица этот приезжий, которого величают его сиятельством, раз с ним имеет право разговаривать только его камердинер; все равно, раз он аккредитован на мой банк, мне придется с ним встретиться, когда ему понадобятся деньги.

И Данглар откинулся в глубь кареты и так, чтобы было слышно через дорогу, крикнул кучеру:

– В Палату депутатов!

Сквозь жалюзи своего флигеля Монте-Кристо, вовремя предупрежденный, видел барона и успел разглядеть его в превосходный бинокль, причем проявил не меньше любопытства, чем сам Данглар, когда тот исследовал дом, сад и ливреи.

– Положительно, – сказал он с отвращением, ввинчивая обратно трубки бинокля в костяную оправу, – положительно этот человек гнусен; как можно увидеть его и не распознать в нем с первого же взгляда змею по плоскому лбу, коршуна по выпуклому черепу и сарыча по острому клюву!

– Али! – крикнул он, потом ударил один раз по медному гонгу. Вошел Али. – Позови Бертуччо, – сказал Монте-Кристо.

В ту же минуту вошел Бертуччо.

– Ваше сиятельство спрашивали меня? – сказал он.

– Да, – отвечал граф. – Видели вы лошадей, которые только что стояли у моих ворот?

– Разумеется, ваше сиятельство, и нахожу их превосходными.

– Каким же образом, – спросил Монте-Кристо нахмурясь, – когда я потребовал, чтобы вы приобрели мне лучшую пару в Париже, в Париже нашлась еще пара, равная моей, и эти лошади не стоят в моей конюшне?

Видя сдвинутые брови графа и слыша его строгий голос, Али опустил голову.

– Ты тут ни при чем, мой добрый Али, – сказал по-арабски граф с такой лаской в голосе и в выражении лица, которой от него трудно было ожидать, – ты ведь ничего не понимаешь в английских лошадях.

Лицо Али снова прояснилось.

– Ваше сиятельство, – сказал Бертуччо, – лошади, о которых вы говорите, не продавались.

Монте-Кристо пожал плечами.

– Знайте, господин управляющий, нет ничего, что не продавалось бы, когда умеешь предложить нужную цену.

– Господин Данглар заплатил за них шестнадцать тысяч франков, ваше сиятельство.

– Так надо было предложить ему тридцать две тысячи; он банкир, а банкир никогда не упустит случая удвоить свой капитал.

– Ваше сиятельство говорит серьезно? – спросил Бертуччо.

Монте-Кристо посмотрел на управляющего взглядом человека, который удивлен, что ему осмеливаются задавать вопросы.

– Сегодня вечером, – сказал он, – мне надо отдать визит: я хочу, чтобы эти лошади были заложены в мою карету и в новой упряжи.

Бертуччо поклонился и отошел; у двери он остановился.

– В котором часу ваше сиятельство поедет с визитом? – спросил он.

– В пять часов, – ответил Монте-Кристо.

– Я позволю себе заметить, ваше сиятельство, что сейчас уже два часа, – нерешительно сказал управляющий.

– Знаю, – коротко ответил Монте-Кристо.

Потом он повернулся к Али:

– Проведи всех лошадей перед госпожой, пусть она выберет ту запряжку, которая ей понравится; узнай, желает ли она обедать вместе

со мной: тогда пусть обед подадут у нее в комнатах. Ступай и пришли ко мне камердинера.

Едва Али успел уйти, как вошел камердинер.

– Батистен, – сказал граф, – вы служите у меня уже год; этот срок я обычно назначаю для испытания своих слуг; вы мне подходите.

Батистен поклонился.

– Остается только узнать, подхожу ли я вам.

– О, ваше сиятельство!

– Дослушайте до конца, – продолжал граф. – Вы получаете полторы тысячи франков в год, то есть содержание хорошего, храброго офицера, каждый день рискующего своей жизнью; вы получаете стол, которому позавидовали бы многие начальники канцелярий – несчастные служаки, бесконечно больше обремененные работой, чем вы. Вы слуга, но вы сами имеете слуг, которые заботятся о вашем белье и одежде. Помимо полутора тысяч франков жалованья, вы, делая покупки для моего туалета, обкрадываете меня еще примерно на полторы тысячи франков в год.

– О, ваше сиятельство!

– Я не жалуюсь, Батистен, это скромно; однако я желал бы, чтобы этой суммы вы не превышали. Следовательно, вы нигде не найдете места лучше того, на которое вам посчастливилось попасть. Я никогда не бью своих слуг, никогда не браню их, никогда не сержусь, всегда прощаю ошибку и никогда не прощаю небрежности или забывчивости. Мои распоряжения кратки, но ясны и точны; мне приятнее повторить их два и даже три раза, чем видеть их непонятыми. Я достаточно богат, чтобы знать все, что меня интересует, а я очень любопытен, предупреждаю вас. Поэтому, если я когда-нибудь узнаю, что вы обо мне говорили – все равно, хорошо или дурно, – обсуждали мои поступки, следили за моим поведением, вы в ту же минуту будете уволены. Я предупреждаю своих слуг только один раз; вы предупреждены, ступайте!

Батистен поклонился и сделал несколько шагов к двери.

– Кстати, – продолжал граф, – а забыл вам сказать, что ежегодно я кладу известную сумму на имя моих слуг. Те, кого я увольняю,

естественно, теряют эти деньги в пользу остальных, которые получат их после моей смерти. Вы служите у меня уже год; начало вашего состояния положено; от вас зависит увеличить его.

Эта речь, произнесенная при Али, который оставался невозмутим, ибо ни слова не понимал по-французски, произвела на Батистена впечатление, понятное всякому, кто знаком с психологией французского слуги.

– Я постараюсь согласоваться во всем с желаниями вашего сиятельства, – сказал он. – Притом же я буду руководствоваться примером господина Али.

– Ни в коем случае, – ледяным тоном возразил граф. – У Али, при всех его достоинствах, много недостатков; не берите с него примера, ибо Али – исключение; жалованья он не получает; это не слуга, это мой раб, моя собака: если он нарушит свой долг, я его не прогоню, я его убью.

Батистен вытаращил глаза.

– Вы не верите? – спросил Монте-Кристо. И он повторил Али то, что перед тем сказал по-французски Батистену.

Али выслушал его, улыбнулся, подошел к своему господину, стал на одно колено и почтительно поцеловал ему руку.

Этот наглядный урок окончательно убедил Батистена.

Граф сделал ему знак удалиться. Али последовал за своим господином. Они прошли в кабинет и долго там беседовали.

В пять часов граф три раза ударил по звонку. Одним звонком он вызывал Али, двумя Батистена, тремя Бертуччо.

Управляющий явился.

– Лошадей! – сказал Монте-Кристо.

– Лошади поданы, – отвечал Бертуччо. – Должен ли я сопровождать ваше сиятельство?

– Нет, только кучер, Батистен и Али.

Граф вышел на крыльцо и увидел свой экипаж, запряженный той самой парой, которой он любовался утром, когда на ней приезжал Данглар.

Проходя мимо лошадей, он окинул их взглядом.

– Они в самом деле великолепны, – сказал он, – вы хорошо сделали, что купили их; правда, это было сделано немного поздно.

– Ваше сиятельство, – сказал Бертуччо, – мне стоило большого труда добыть их, и они обошлись очень дорого.

Граф пожал плечами.

– Разве лошади стали хуже от этого?

– Если ваше сиятельство довольны, – сказал Бертуччо, – то все хорошо. Куда прикажете ехать?

– На улицу Шоссе д'Антен, к барону Данглару. Да, вот что, Бертуччо, – добавил граф. – Мне нужен участок на морском берегу, скажем в Нормандии, между Гавром и Булонью. Я, как видите, не стесняю вас в выборе. Необходимо, чтобы на том участке, который вы приобретете, были маленькая гавань, бухточка или залив, где бы мог стоять мой корвет; его осадка всего пятнадцать футов. Судно должно быть готово выйти в море в любое время дня и ночи. Вы наведете справки у всех нотариусов относительно участка, отвечающего этим условиям; когда вы соберете сведения, вы отправитесь посмотреть и, если одобрите, купите на свое имя. Корвет, вероятно, уже на пути в Фекан?

– В тот самый вечер, когда мы покидали Марсель, я видел, как он вышел в море.

– А яхта?

– Яхте отдан приказ стоять в Мартиге.

– Хорошо! Вы время от времени будете сноситься с обоими капитанами, чтобы они не засыпали.

– А как с пароходом?

– Который стоит в Шалоне?

– Да.

– Те же распоряжения, что и относительно обоих парусников.

– Слушаю.

– Как только вы купите участок, позаботьтесь, чтобы на северной дороге и на южной были приготовлены подставы через каждые десять лье.

– Ваше сиятельство может на меня положиться.

Граф кивнул, вскочил в карету, великолепные кони рванулись и остановились только у дома банкира.

Данглар председательствовал на заседании железнодорожной комиссии, когда ему доложили о визите графа Монте-Кристо. Впрочем, заседание уже подходило к концу.

При имени графа Данглар поднялся с места.

– Господа, – сказал он, обращаясь к своим коллегам, из которых иные были почтенные члены Верхней или Нижней палаты, – простите, что я принужден вас покинуть; но представьте, фирма Томсон и Френч в Риме направила ко мне некоего графа Монте-Кристо, открыв ему неограниченный кредит. Такой нелепой шутки еще никогда не позволяли себе мои корреспонденты. Разумеется, меня обуяло любопытство; сегодня утром я заезжал к этому квазиграфу. Будь он настоящим графом, вы сами понимаете, он не был бы так богат. Они не соизволили меня принять. Что вы на это скажете? Ведь только высочайшие особы или хорошенькие женщины обращаются с людьми так, как этот господин Монте-Кристо! Впрочем, дом его на Елисейских полях в самом деле принадлежит ему и, кажется, очень недурен. Но неограниченный кредит, – продолжал Данглар, улыбаясь своей гнусной улыбкой, – сильно повышает требования того банкира, у которого он открыт. Так что мне не терпится посмотреть на этого господина. По-видимому, меня мистифицируют. Но они там не знают, с кем имеют дело; еще посмотрим, кто посмеется последним.

Произнеся эти слова с такой выразительностью, что даже ноздри его раздулись, господин барон покинул своих гостей и перешел в белую с золотом гостиную, славившуюся на все Шоссе д’Антен. Туда-то он и приказал провести посетителя, чтобы сразу же поразить его.

Граф стоял, рассматривая копии с полотен Альбани и Фаторе, проданные банкиру за оригиналы, но, и будучи только копиями, они никак не подходили к аляповатым золотым завитушкам, украшавшим потолок.

Услышав шаги Данглара, граф обернулся.

Данглар слегка кивнул и жестом пригласил графа сесть в кресло золоченого дерева, обитое белым атласом, затканным золотом. Граф сел.

– Я имею честь разговаривать с господином де Монте-Кристо?

– А я, – отвечал граф, – с господином бароном Дангларом, кавалером Почетного легиона, членом Палаты депутатов?

Монте-Кристо повторял все титулы, которые он прочитал на визитной карточке барона.

Данглар понял насмешку и закусил губу.

– Прошу извинить меня, – сказал он, – если я не назвал вас сразу тем титулом, под каким мне доложили о вас; но, как вы знаете, мы живем при демократическом правительстве, и я являюсь представителем народных интересов.

– Так что, сохранив привычку называть себя бароном, – отвечал Монте-Кристо, – вы отвыкли именовать других графами.

– О, я и сам к этому равнодушен, – небрежно отвечал Данглар, – мне дали титул барона и сделали кавалером Почетного легиона во внимание к некоторым моим заслугам, но...

– Но вы отказались от своих титулов, как некогда Монморанси и Лафайет? Пример, достойный подражания.

– Не совсем, конечно, – возразил смущенный Данглар, – вы понимаете, из-за слуг...

– Да, ваши слуги называют вас «ваша милость»; для журналистов вы – милостивый государь, а для ваших избирателей – гражданин. Эти оттенки очень в ходу при конституционном строе. Я прекрасно вас понимаю.

Данглар поджал губы; он убедился, что на этой почве Монте-Кристо сильнее, и решил вернуться в более привычную область.

– Граф, – сказал он с поклоном, – я получил уведомление от банкирского дома Томсон и Френч.

– Очень приятно, барон. Разрешите мне титуловать вас так, как титулуют вас ваши слуги; это дурная привычка, усвоенная в странах, где еще существуют бароны именно потому, что там не делают новых. Итак, повторяю, мне это очень приятно – это меня избавляет от

необходимости представляться самому, что всегда довольно неудобно. Стало быть, вы получили уведомление?

– Да, – сказал Данглар, – но должен признаться, что я не вполне уяснил себе его смысл.

– Да что вы!

– И я даже имел честь заезжать к вам, чтобы попросить у вас некоторых разъяснений.

– Пожалуйста, я вас слушаю.

– Уведомление, – сказал Данглар, – кажется, при мне, – он пошарил в кармане, – да, вот оно; это уведомление открывает графу Монте-Кристо неограниченный кредит в моем банке.

– В чем же дело, барон? Что тут для вас неясно?

– Ничего; только слово «неограниченный»...

– Разве это неправильно выражено? Вы понимаете, это пишут англичане...

– Нет, нет, в отношении грамматики все правильно, но в отношении бухгалтерии дело не так просто.

– Разве банкирский дом Томсон и Френч, по вашему мнению, не совсем надежен, барон? – спросил насколько мог наивнее Монте-Кристо. – Черт возьми, это было бы весьма неприятно, у меня там лежат кое-какие деньги.

– Нет, он вполне надежен, – отвечал Данглар почти насмешливо, – но самый смысл слова «неограниченный», в приложении к финансам, настолько туманен...

– Что не имеет границ, да? – сказал Монте-Кристо.

– Я именно это и хотел сказать. Все неясное возбуждает сомнения, а в сомнении, говорит мудрец, воздержись.

– Из чего следует, – продолжал Монте-Кристо, – что если банкирский дом Томсон и Френч поступает легкомысленно, то фирма Данглар не склонна следовать его примеру.

– То есть?

– Да очень просто; господа Томсон и Френч не связаны размером суммы; а для господина Данглара существует предел; он человек

мудрый, как он только что сказал.

– Господин граф, – гордо отвечал банкир, – никто моей кассы еще не считал.

– В таком случае, – холодно возразил Монте-Кристо, – по-видимому, я буду первый, кому это предстоит сделать.

– Почему вы так думаете?

– Потому что разъяснения, которых вы от меня требуете, очень похожи на колебания.

Данглар нахмурился; уже второй раз этот человек побивал его, и теперь уже на такой почве, где он считал себя дома. Его насмешливая учтивость была деланной и граничила с полной своей противоположностью, то есть с дерзостью. Монте-Кристо, напротив, улыбался самым приветливым образом и по желанию принимал наивный вид, дававший ему немалые преимущества.

– Словом, сударь, – сказал Данглар, помолчав, – я хотел бы, чтобы вы меня поняли, и прошу вас назначить ту сумму, которую вы желали бы от меня получить.

– Но, сударь, – сказал Монте-Кристо, решивший в этом споре не уступать ни пяди, – если я просил о неограниченном кредите, то это именно потому, что я не могу знать заранее, какие суммы мне могут понадобиться.

Банкиру показалось, что наступила минута его торжества; с высокомерной улыбкой он откинулся в кресле.

– Говорите смело, – сказал он, – вы сможете убедиться, что наличность фирмы Данглар, хоть и ограниченная, способна удовлетворить самые высокие требования, и если бы даже вы спросили миллион...

– Простите? – сказал Монте-Кристо.

– Я говорю миллион, – повторил Данглар с глупейшим апломбом.

– А на что мне миллион? – сказал граф. – Боже милостивый! Если бы мне нужен был только миллион, то я из-за такого пустяка не стал бы и говорить о кредите. Миллион! Да у меня с собой всегда есть миллион в бумажнике или в дорожном несессере.

Монте-Кристо вынул из маленькой книжечки, где лежали его визитные карточки, две облигации казначейства на предъявителя, по пятьсот тысяч франков каждая.

Такого человека, как Данглар, надо было именно хватить обухом по голове, а не уколоть. Удар обухом возымел свое действие: банкир покачнулся и почувствовал головокружение; он уставился на Монте-Кристо бессмысленным взглядом, и зрачки его дико расширились.

– Послушайте, – сказал Монте-Кристо, – признайтесь, что вы просто не доверяете банкирскому дому Томсон и Френч. Ну что же, я предвидел это, и хоть и мало смыслю в делах, но все же принял некоторые меры предосторожности; вот тут еще два таких же уведомления, как то, которое адресовано вам; одно от венского банкирского дома Арштейн и Эсколес к барону Ротшильду, а другое от лондонского банкирского дома Беринг к господину Лаффиту. Вам стоит только сказать слово, и я избавлю вас от всяких забот, обратившись в один из этих банков.

Это решило исход: Данглар был побежден. Он с заметным трепетом развернул венское и лондонское уведомления, брезгливо протянутые ему графом, и проверил подлинность подписей с тщательностью, которая могла бы показаться Монте-Кристо оскорбительной, если бы он не отнес ее за счет растерянности банкира.

– Да, эти три подписи стоят многих миллионов, – сказал Данглар, вставая, словно желая почтить могущество золота, олицетворенное в сидящем перед ним человеке. – Три неограниченных кредита. Простите, граф, но, и перестав сомневаться, можно все-таки остаться изумленным.

– О, ваш банкирский дом ничем не удивишь, – сказал со всей возможной учтивостью Монте-Кристо. – Так, значит, вы могли бы прислать мне некоторую сумму денег?

– Назовите ее, граф, я к вашим услугам.

– Ну что ж, – проговорил Монте-Кристо, – раз мы пришли к соглашению, а ведь мы пришли к соглашению, верно?

Данглар кивнул.

– И вы уже не сомневаетесь? – продолжал Монте-Кристо.

– Что вы, граф, – воскликнул банкир. – Я никогда и не сомневался.

– Нет, вы только хотели получить доказательства, не более. Итак, – повторил граф, – раз мы пришли к соглашению, раз у вас больше нет никаких сомнений, назначим, если вам угодно, какую-нибудь общую сумму на первый год: скажем, шесть миллионов.

– Шесть миллионов? Отлично! – произнес, задыхаясь, Данглар.

– Если мне понадобится больше, – небрежно продолжал Монте-Кристо, – мы назначим больше; но я не намерен оставаться во Франции больше года и не думаю, чтобы за этот год я превысил эту цифру... ну, там видно будет... Для начала, пожалуйста, распорядитесь доставить мне завтра пятьсот тысяч франков, я буду дома до полудня; а, впрочем, если меня и не будет, то я оставлю своему управляющему расписку.

– Деньги будут у вас завтра в десять часов утра, граф, – отвечал Данглар. – Как вы желаете, золотом, бумажками или серебром?

– Пополам золотом и бумажками, пожалуйста.

И граф поднялся.

– Должен вам сознаться, граф, – сказал Данглар, – я считал, что точно осведомлен о всех крупных состояниях Европы, а между тем ваше состояние, по-видимому, очень значительное, было мне совершенно неизвестно; оно недавнего происхождения?

– Нет, сударь, – возразил Монте-Кристо, – напротив того, оно происхождения очень старого; это было нечто вроде семейного клада, который запрещено было трогать, так что накопившиеся проценты утроили капитал; назначенный завещателем срок истек всего лишь несколько лет тому назад, так что я пользуюсь им с недавнего времени; естественно, что вы ничего о нем не знаете; впрочем, скоро вы с ним познакомитесь ближе.

При этих словах граф улыбнулся той мертвенной улыбкой, что наводила такой ужас на Франца д'Эпине.

– С вашими вкусами и намерениями, – продолжал Данглар, – вы в нашей столице заведете такую роскошь, что затмите всех нас, жалких миллионеров; но так как вы, по-видимому, любитель искусств, – помнится, когда я вошел, вы рассматривали мои картины, – то все-таки

разрешите показать вам мою галерею: все старые картины знаменитых мастеров, с ручательством за подлинность; я не люблю новых.

– Вы совершенно правы, у них у всех один большой недостаток: они еще не успели сделаться старыми.

– Я вам покажу несколько скульптур Торвальдсена, Бартолони, Кановы – все иностранных скульпторов. Как видите, я не поклонник французских мастеров.

– Вы имеете право быть несправедливым к ним, ведь они ваши соотечественники.

– Но все это мы отложим до того времени, когда познакомимся ближе; сегодня я удовольствуюсь тем, что представлю вас, если позволите, баронессе Данглар; простите мою поспешность, граф, но такой клиент, как вы, становится почти членом семейства.

Монте-Кристо поклонился в знак того, что принимает лестное предложение финансиста.

Данглар позвонил; вошел лакей в пышной ливрее.

– Баронесса у себя? – спросил Данглар.

– Да, господин барон.

– Она одна?

– Нет, у баронессы гости.

– Надеюсь, граф, не будет нескромностью, если я представлю вас в присутствии друзей? Вы не собираетесь сохранять инкогнито?

– Нет, барон, – сказал с улыбкой Монте-Кристо, – я не чувствую за собой права на это.

– А кто у баронессы? Господин Дебрэ? – спросил простодушно Данглар, что заставило внутренне улыбнуться Монте-Кристо, уже осведомленного о прозрачных тайнах семейной жизни Данглара.

– Да, господин барон.

Данглар кивнул. Потом обратился к Монте-Кристо.

– Господин Люсьен Дебрэ, – сказал он, – это наш старый друг, личный секретарь министра внутренних дел; что касается моей жены, то она, выходя за меня, соглашалась на неравный брак, потому что она очень

старинного рода: урожденная де Сервьер, а по первому браку – вдова маркиза де Наргон.

– Я не имею чести быть знакомым с баронессой Данглар; но я уже встречался с господином Люсьеном Дебрэ.

– Вот как! – сказал Данглар. – Где же это?

– У господина де Морсера.

– Вы знакомы с виконтом?

– Мы встречались с ним в Риме во время карнавала.

– Ах да, – сказал Данглар, – я что-то слышал о каком-то необыкновенном приключении с разбойниками и грабителями в каких-то развалинах. Он каким-то чудесным образом спасся. Он как будто рассказывал об этом моей жене и дочери, когда вернулся из Италии.

– Баронесса просит вас пожаловать, – доложил лакей.

– Я пройду вперед, чтобы указать вам дорогу, – сказал с поклоном Данглар.

– Следую за вами, – ответил Монте-Кристо.

# IX. Серая в яблоках пара

Барон в сопровождении графа прошел длинный ряд комнат, отличавшихся тяжелой роскошью и пышной безвкусицей, и дошел до будуара г-жи Данглар, небольшой восьмиугольной комнаты, стены которой были обтянуты розовым атласом и задрапированы индийской кисеей. Здесь стояли старинные золоченые кресла, обитые старинной парчой; над дверьми были нарисованы пастушеские сцены в манере Буше; две прелестные пастели в форме медальона гармонировали с остальной обстановкой и придавали этой маленькой комнате, единственной во всем доме, некоторое своеобразие; правда, ей посчастливилось не попасть в общий план, выработанный Дангларом и его архитектором, одной из самых больших знаменитостей Империи, – ее убранством занимались сама баронесса и Люсьен Дебрэ. Поэтому Данглар, большой поклонник старины, как ее понимали во времена Директории, относился весьма пренебрежительно к этому кокетливому уголку, где его, впрочем, принимали только с тем условием, чтобы он оправдал свое присутствие, приведя кого-нибудь; так что на самом деле не Данглар представлял других, а, наоборот, его принимали лучше или хуже, смотря по тому, насколько наружность гостя была приятна или неприятна баронессе.

Госпожа Данглар, красота которой еще заслуживала того, чтобы о ней говорили, хотя ей было уже тридцать шесть лет, сидела за роялем маркетри, маленьким чудом искусства, между тем как Люсьен Дебрэ у рабочего столика перелистывал альбом.

Еще до прихода графа Люсьен успел достаточно рассказать о нем баронессе. Читатели уже знают, какое сильное впечатление произвел Монте-Кристо за завтраком у Альбера на его гостей; и несмотря на то, что Дебрэ трудно было чем-нибудь поразить, это впечатление у него еще не изгладилось, что и отразилось на сведениях, сообщенных им баронессе. Таким образом, любопытство г-жи Данглар, возбужденное прежними рассказами Морсера и новыми подробностями, услышанными

от Люсьена, было доведено до крайности. И рояль, и альбом были всего лишь светской уловкой, помогающей скрыть подлинное волнение. Вследствие всего этого баронесса встретила г-на Данглара улыбкой, что было у нее не в обычае. Графу, в ответ на его поклон, был сделан церемонный, но вместе с тем грациозный реверанс.

Со своей стороны, Люсьен приветствовал графа, как недавнего знакомого, а Данглара дружески.

– Баронесса, – сказал Данглар, – разрешите представить вам графа Монте-Кристо, которого усиленно рекомендуют мне мои римские корреспонденты; я лично могу добавить только одно, но это сразу же сделает его кумиром всех наших прекрасных дам: он приехал в Париж с намерением пробыть здесь год и за это время истратить шесть миллионов; это сулит нам целую серию балов, обедов и ужинов; причем, надеюсь, граф не забудет и нас, так же как и мы его не забудем в случае какого-нибудь маленького торжества в нашем доме.

Хотя это представление и отдавало грубой лестью, но так редко случается встретить человека, приехавшего в Париж с целью истратить в один год княжеское состояние, что г-жа Данглар окинула графа взглядом, не лишенным некоторого интереса.

– И вы приехали, граф... – спросила она.

– Вчера утром, баронесса.

– И приехали, согласно вашей привычке, о которой я уже слышала, с того края света?

– На этот раз всего-навсего из Кадикса.

– Но вы приехали в самое плохое время года. Летом Париж отвратителен: нет ни балов, ни раутов, ни праздников. Итальянская опера уехала в Лондон, Французская опера кочует бог знает где; а Французского театра, как вам известно, вообще больше нет. Для развлечения у нас остались только плохонькие скачки на Марсовом поле и в Сатори. Будут ли ваши лошади, граф, участвовать в скачках?

– Я буду делать все, что принято в Париже, – сказал Монте-Кристо, – если мне посчастливится встретить кого-нибудь, кто преподаст мне необходимые знания о французских обычаях.

– Вы любите лошадей?

– Я провел часть жизни на Востоке, баронесса, а восточные народы ценят только две вещи на свете: благородство лошадей и женскую красоту.

– Вам следовало бы, любезности ради, назвать женщин первыми.

– Вот видите, баронесса, как я был прав, когда выражал желание иметь наставника, который мог бы обучить меня французским обычаям.

В эту минуту вошла горничная баронессы Данглар и, подойдя к своей госпоже, шепнула ей на ухо несколько слов.

Госпожа Данглар побледнела.

– Не может быть! – сказала она.

– Это истинная правда, сударыня, – возразила горничная.

Госпожа Данглар обернулась к мужу:

– Неужели это правда?

– Что именно? – спросил видимо взволнованный Данглар.

– То, что мне сказала горничная...

– А что она вам сказала?

– Она говорит, что когда мой кучер пошел закладывать моих лошадей, их в конюшне не оказалось; что это значит, позвольте вас спросить?

– Сударыня, – сказал Данглар, – выслушайте меня.

– Да, я вас слушаю, сударь, потому что мне любопытно узнать, что вы мне скажете; пусть эти господа рассудят нас, а я начну с того, что расскажу им все по порядку. Господа, – продолжала баронесса, – у барона Данглара в конюшне стоят десять лошадей; из этих десяти лошадей две принадлежат мне, дивные лошади, лучшая пара в Париже; да вы их знаете, Дебрэ, мои серые в яблоках. И вот в тот самый день, как госпожа де Вильфор просит меня предоставить ей мой выезд, когда я уже обещала ей его на завтра для прогулки в Булонском лесу, эта пара исчезает! Господину Данглару, очевидно, представился случай нажить на них несколько тысяч франков, и он их продал. Боже, что за отвратительные люди эти торгаши!

– Сударыня, – отвечал Данглар, – лошади были слишком резвы, ведь это были четырехлетки, и я вечно дрожал за вас.

– Вы отлично знаете, – сказала баронесса, – что у меня уже месяц служит лучший кучер Парижа, если только вы его не продали вместе с лошадьми.

– Мой друг, я вам найду такую же пару, даже еще лучше, если это возможно; но лошадей смирных, спокойных, которые не будут внушать мне такого страха, как эти.

Баронесса с глубоким презрением пожала плечами.

Данглар сделал вид, что не заметил этого жеста, задевающего его супружескую честь, и обратился к Монте-Кристо.

– Право, граф, я сожалею, что не познакомился с вами раньше, – сказал он, – ведь вы сейчас устраиваетесь?

– Конечно, – сказал граф.

– Я бы вам их предложил. Представьте себе, что я продал их за бесценок; но, как я уже сказал, я рад был избавиться от них; такие лошади годятся только для молодого человека.

– Я вам очень благодарен, – возразил граф, – я приобрел сегодня довольно сносную пару, и недорого. Да вот, посмотрите, господин Дебрэ, вы, кажется, любитель?

В то время как Дебрэ направлялся к окну, Данглар подошел к жене.

– Понимаете, – сказал он ей шепотом, – мне предложили за эту пару сумасшедшую цену. Не знаю, кто этот решившийся разориться безумец, который послал ко мне сегодня своего управляющего, но я нажил на ней шестнадцать тысяч франков; не сердитесь, я дам вам из них четыре тысячи и две тысячи Эжени.

Госпожа Данглар кинула на мужа уничтожающий взгляд.

– Господи боже! – воскликнул Дебрэ.

– Что такое? – спросила баронесса.

– Нет, я не ошибаюсь, это ваша пара, ваши лошади запряжены в карету графа.

– Мои серые в яблоках! – воскликнула г-жа Данглар.

И она подбежала к окну.

– В самом деле это они, – сказала она.

Данглар разинул рот.

– Не может быть! – с деланным изумлением сказал Монте-Кристо.

– Невероятно! – пробормотал банкир.

Баронесса шепнула два слова Дебрэ, и тот подошел к Монте-Кристо.

– Баронесса просит вас сказать, сколько ее муж взял с вас за ее выезд?

– Право, не знаю, – сказал граф, – это мой управляющий сделал мне сюрприз, и... он, кажется, обошелся мне тысяч в тридцать.

Дебрэ пошел передать этот ответ баронессе.

Данглар был так бледен и расстроен, что граф сделал вид, что жалеет его.

– Вот видите, – сказал он ему, – до чего женщины неблагодарны: ваша предупредительность нисколько не тронула баронессу; неблагодарны – не то слово, следовало бы сказать – безумны. Но что поделаешь! Все, что опасно, привлекает; поверьте, любезный барон, проще всего – предоставить им поступать, как им вздумается; если они разобьют себе голову, им по крайней мере придется пенять только на себя.

Данглар ничего не ответил; он предчувствовал, что в недалеком будущем его ждет жестокая сцена: брови баронессы уже сдвинулись и, подобно челу Юпитера Громовержца, предвещали грозу. Дебрэ, чувствуя, что она надвигается, сослался на дела и ушел. Монте-Кристо, не желая повредить положению, которое он рассчитывал занять, решил не оставаться дольше, откланялся г-же Данглар и удалился, предоставив барона гневу его жены.

«Отлично! – думал, уходя, Монте-Кристо. – Произошло именно то, чего я хотел; теперь в моей власти восстановить семейный мир и овладеть зараз сердцем мужа и сердцем жены. Какая удача! Однако, – прибавил он про себя, – я не был представлен мадемуазель Эжени Данглар, с которой мне очень хотелось бы познакомиться. Ничего, – продолжал он со своей обычной улыбкой, – мы в Париже, и время терпит... Это от нас не уйдет!..»

С этими мыслями граф сел в экипаж и поехал домой.

Два часа спустя г-жа Данглар получила от графа Монте-Кристо очаровательное письмо: он писал, что, не желая начинать свою парижскую жизнь с того, чтобы огорчать красивую женщину, он умоляет баронессу принять от него обратно лошадей.

Они были в той же упряжи, в какой она их видела днем, только в каждую из розеток, надетых им на уши, граф велел вставить по алмазу.

Данглар тоже получил письмо. Граф просил его позволить баронессе исполнить этот каприз миллионера и простить ему восточную манеру, с которой он возвращает лошадей.

Вечером Монте-Кристо уехал в Отейль в сопровождении Али.

На следующий день, около трех часов дня, вызванный звонком, Али вошел в кабинет графа.

– Али, – сказал ему граф, – ты мне часто говорил, что ловко бросаешь лассо.

Али кивнул головой и горделиво выпрямился.

– Отлично!.. Так что при помощи лассо ты сумел бы остановить быка?

Али снова кивнул.

– И тигра?

Али кивнул.

– И льва?

Али сделал жест человека, кидающего лассо, и изобразил сдавленное рычание.

– Да, я понимаю, – сказал Монте-Кристо, – ты охотился на львов.

Али гордо кивнул головой.

– А сумеешь ты остановить взбесившихся лошадей?

Али улыбнулся.

– Так слушай, – сказал Монте-Кристо. – Скоро мимо нас промчится экипаж с двумя взбесившимися лошадьми, серыми в яблоках, теми самыми, которые у меня были вчера. Пусть тебя раздавит, но ты должен остановить экипаж у моих ворот.

Али вышел на улицу и провел у ворот черту поперек мостовой, потом вернулся в дом и показал черту графу, следившему за ним глазами.

Граф тихонько похлопал его по плечу; этим он обычно выражал Али свою благодарность. После этого нубиец снова вышел из дому, уселся на угловой тумбе и закурил трубку, между тем как Монте-Кристо ушел к себе, не заботясь больше ни о чем.

Однако к пяти часам, когда граф поджидал экипаж, в его поведении стали заметны легкие признаки нетерпения; он ходил взад и вперед по комнате, окна которой выходили на улицу, временами прислушиваясь и подходя к окну, из которого ему был виден Али, выпускавший клубы дыма с размеренностью, указывавшей, что нубиец всецело поглощен этим важным занятием.

Вдруг послышался отдаленный стук колес, он приближался с быстротой молнии; потом показалась коляска, кучер которой тщетно старался сдержать взмыленных лошадей, мчавшихся бешеным галопом.

В коляске сидели молодая женщина и ребенок лет семи; они тесно прижались друг к другу и от безмерного ужаса потеряли даже способность кричать; коляска трещала; наскочи колесо на камень или зацепись за дерево, она, несомненно, разбилась бы вдребезги. Она неслась посреди мостовой, и со всех сторон раздавались крики ужаса.

Тогда Али откладывает в сторону свой чубук, вынимает из кармана лассо, кидает его и тройным кольцом охватывает передние ноги левой лошади; она тащит его за собой еще несколько шагов, потом, опутанная лассо, падает, ломает дышло и мешает той лошади, что осталась на ногах, двинуться дальше. Кучер воспользовался этой задержкой и спрыгнул с козел; но Али уже зажал своими железными пальцами ноздри второй лошади, и она, заржав от боли, судорожно дергаясь, повалилась рядом с левой.

На все это потребовалось не больше времени, чем требуется пуле, чтобы попасть в цель.

Однако этого времени оказалось достаточно, чтобы из дома, перед которым все это произошло, успел выскочить мужчина в сопровождении нескольких слуг. Едва кучер распахнул дверцу, как он вынес из коляски даму, которая одной рукой еще цеплялась за подушку, а другой

прижимала к груди потерявшего сознание сына. Монте-Кристо понес обоих в гостиную и положил на диван.

– Вам больше нечего бояться, сударыня, – сказал он, – вы спасены.

Женщина пришла в себя и вместо ответа указала ему глазами на сына; взгляд ее умолял красноречивее всяких слов.

В самом деле, ребенок все еще был в обмороке.

– Понимаю, сударыня, – сказал граф, осматривая ребенка, – но не беспокойтесь, с ним ничего не случилось, это просто от страха.

– Ради бога, – воскликнула мать, – может быть, вы только успокаиваете меня? Смотрите, как он бледен! Мальчик мой! Эдуард! Откликнись! Скорее пошлите за доктором. Я все отдам, чтобы спасти моего сына!

Монте-Кристо сделал рукою знак, пытаясь ее успокоить, затем открыл какой-то ящичек, достал инкрустированный золотом флакон из богемского хрусталя, наполненный красной, как кровь, жидкостью, и дал упасть одной капле на губы ребенка.

Мальчик, все еще бледный, тотчас же открыл глаза.

Видя это, мать чуть не обезумела от радости.

– Да где же я? – воскликнула она. – И кому я обязана этим счастьем после такого ужаса?

– Вы находитесь в доме человека, который счастлив, что мог избавить вас от горя, – ответил Монте-Кристо.

– О, проклятое любопытство! – сказала дама. – Весь Париж говорил о великолепных лошадях госпожи Данглар, и я была так безумна, что захотела покататься на них.

– Как? – воскликнул граф с виртуозно разыгранным изумлением. – Разве это лошади баронессы?

– Да, сударь; вы знакомы с ней?

– С госпожой Данглар?.. Я имею честь быть с ней знакомым, и я вдвойне рад, что вы избежали опасности, которой вы подвергались из-за этих лошадей, потому что вы могли бы винить в несчастье меня; этих лошадей я вчера купил у барона, но баронесса была так огорчена, что я вчера же отослал их обратно, прося принять их от меня.

– Так, значит, вы граф Монте-Кристо, о котором так много говорила Эрмина?

– Да, сударыня, – ответил граф.

– А меня зовут Элоиза де Вильфор.

Граф поклонился с видом человека, которому называют совершенно незнакомое имя.

– Как благодарен вам будет господин де Вильфор! – продолжала Элоиза. – Ведь вы спасли нам обоим жизнь; вы вернули ему жену и сына. Если бы не ваш храбрый слуга, мы бы оба погибли.

– Сударыня, мне страшно подумать, какой опасности вы подвергались.

– Но, я надеюсь, вы разрешите мне вознаградить достойным образом самоотверженность этого человека?

– Нет, прошу вас, – отвечал Монте-Кристо, – не портите мне Али ни похвалами, ни наградами; я не хочу приучать его к этому. Али – мой раб; спасая вам жизнь, он тем самым служит мне, а служить мне – его долг.

– Но он рисковал жизнью! – возразила г-жа де Вильфор, подавленная повелительным тоном.

– Эту жизнь я ему спас, – отвечал Монте-Кристо, – следовательно, она принадлежит мне.

Госпожа де Вильфор замолчала; быть может, она задумалась о том, почему этот человек с первого же взгляда производил такое сильное впечатление на окружающих.

Тем временем граф рассматривал ребенка, которого мать покрывала поцелуями. Он был маленький и хрупкий, с белой кожей, какая бывает у рыжеволосых детей; а между тем его выпуклый лоб закрывали густые черные волосы, не поддающиеся завивке, и, обрамляя его лицо, спускались до плеч, оттеняя живость взгляда, в котором светились затаенная озороватость и капризность; у него был большой рот с тонкими губами, которые только слегка порозовели. Этому восьмилетнему ребенку можно было по выражению его лица дать по крайней мере двенадцать лет. Едва придя в себя, он резким движением вырвался из объятий матери и побежал открыть ящичек, из которого граф достал эликсир; затем, ни у кого не спросясь, как ребенок,

привыкший исполнять все свои прихоти, он начал откупоривать флаконы.

– Не трогай этого, дружок, – поспешно сказал граф, – некоторые из этих жидкостей опасно не только пить, но даже и нюхать.

Госпожа де Вильфор побледнела и отвела руку сына, притянув его к себе; но, успокоившись, она все же кинула на ящичек быстрый, но выразительный взгляд, на лету перехваченный графом.

В эту минуту вошел Али.

Госпожа де Вильфор ласково взглянула на него и еще крепче прижала к себе ребенка.

– Эдуард, – сказала она, – посмотри на этого достойного слугу; он очень храбрый, он рисковал своей жизнью, чтобы остановить наших взбесившихся лошадей и готовую разбиться коляску. Поблагодари его: если бы не он, нас обоих, вероятно, сейчас уже не было бы в живых.

Мальчик надул губы и презрительно отвернулся.

– Какой урод! – сказал он.

Граф улыбнулся, как будто ребенок поступил именно так, как он того ожидал; г-жа де Вильфор пожурила сына, но так мягко, что это вряд ли пришлось бы по вкусу Жан-Жаку Руссо, если бы маленького Эдуарда звали Эмилем.

– Видишь, – сказал граф по-арабски Али, – эта дама просит сына поблагодарить тебя за то, что ты спас им жизнь, а ребенок говорит, что ты слишком уродлив.

Али повернул свое умное лицо и посмотрел на ребенка, не меняя выражения; но по дрожанию его ноздрей Монте-Кристо понял, что араб обижен до глубины души.

– Граф, – сказала г-жа де Вильфор, вставая и собираясь идти, – вы всегда живете в этом доме?

– Нет, сударыня, – отвечал граф, – сюда я наезжаю только по временам; я живу на Елисейских полях, номер тридцать. Но я вижу, что вы совершенно оправились и собираетесь идти. Я уже распорядился, чтобы этих самых лошадей запрягли в мою карету, и Али, этот урод, – сказал он, улыбаясь мальчику, – отвезет вас домой, а ваш кучер

останется здесь, чтобы присмотреть за починкой коляски. Как только это будет сделано, одна из моих запряжек доставит ее прямо к госпоже Данглар.

– Но я ни за что не решусь ехать на этих лошадях, – сказала г-жа де Вильфор.

– Вы увидите, – отвечал Монте-Кристо, – что в руках Али они станут кроткими, как овечки.

Между тем Али подошел к лошадям, которых с большим трудом подняли на ноги. В руках он держал маленькую губку, пропитанную ароматическим уксусом; он потер ею ноздри и виски покрытых пеной и потом лошадей; они тотчас же стали громко фыркать и несколько секунд дрожали всем телом.

Потом, на глазах у собравшейся перед домом густой толпы, привлеченной зрелищем разбитой коляски и слухами о случившемся, Али велел впрячь лошадей в карету графа, взял в руки вожжи и взобрался на козлы. К великому изумлению всех, кто видел, как эти лошади только что неслись вихрем, ему пришлось усиленно стегать их кнутом, чтобы заставить тронуться с места, и то от этих хваленых серых, совершенно остолбеневших, окаменевших, помертвелых лошадей ему удалось добиться только самой неуверенной и вялой рыси; г-же де Вильфор потребовалось около двух часов, чтобы добраться до предместья Сент-Оноре, где она жила.

Как только она вернулась домой и первое волнение в семье утихло, она написала г-же Данглар следующее письмо:

*«Дорогая Эрмина!*

*Меня и моего сына только что чудесным образом спас от смерти тот самый граф Монте-Кристо, о котором мы столько говорили вчера вечером и которого я никак не ожидала встретить сегодня. Вчера вы говорили мне о нем с восхищением, над которым я смеялась со всем доступным мне остроумием, но сегодня я нахожу, что ваше восхищение еще слишком мало для оценки человека, внушившего его вам. В Ранелаге ваши лошади понесли, и мы, несомненно, разбились*

*бы насмерть о первое встречное дерево или первую тумбу в деревне, если бы вдруг какой-то араб, негр, нубиец – словом, какой-то чернокожий, слуга графа, кажется, по его приказу, не остановил мчавшихся лошадей, рискуя собственной жизнью; и поистине чудо, что он уцелел. Тут подоспел граф, отнес нас к себе и вернул моего Эдуарда к жизни. Домой нас доставили в собственной карете графа; вашу коляску вернут вам завтра. Ваши лошади очень ослабели после этого несчастного случая, они точно одурели; можно подумать, будто они не могут себе простить, что дали человеку усмирить их. Граф поручил мне передать вам, что если они проведут спокойно два дня в конюшне, питаясь только ячменем, то они снова будут в таком же цветущем, то есть устрашающем состоянии, как вчера.*

*До свидания! Я не благодарю вас за прогулку; но все-таки с моей стороны было бы неблагодарностью сердиться на вас за капризы вашей пары, потому что такому капризу я обязана знакомством с графом Монте-Христо, а этот знатный иностранец представляется мне, даже если забыть о его миллионах, столь любопытной загадкой, что я постараюсь разгадать ее, даже если бы мне для этого пришлось снова прокатиться по Булонскому лесу на ваших лошадях.*

*Эдуард перенес все случившееся с поразительным мужеством. Он, правда, потерял сознание, но до этого ни разу не вскрикнул, а после не пролил ни слезинки. Вы мне снова скажете, что меня ослепляет материнская любовь, но в этом хрупком и нежном теле живет железный дух.*

*Валентина шлет сердечный привет вашей милой Эжени, а я от всего сердца целую вас.*

*Элоиза де Вильфор.*

*P.S. Дайте мне возможность каким-нибудь образом встретиться у вас с этим графом Монте-Христо, я непременно хочу его снова*

*увидеть. Между прочим, мне удалось убедить г-на де Вильфора отдать ему визит; я надеюсь, что он сделает это».*

Вечером отейльское происшествие было у всех на устах; Альбер рассказывал о нем своей матери, Шато-Рено – в Жокей-клубе, Дебрэ – в салоне министра; даже Бошан оказал графу внимание, посвятив ему в своей газете двадцать строчек в отделе происшествий, что сделало благородного чужестранца героем в глазах всех женщин высшего света. Очень многие оставляли свои карточки у г-жи де Вильфор, чтобы иметь возможность при случае повторить свой визит и услышать из ее уст подлинный рассказ об этом необычайном событии.

Что касается г-на де Вильфора, то, как писала Элоиза, он надел черный фрак, белые перчатки, нарядил лакеев в самые лучшие ливреи и, сев в свой парадный экипаж, в тот же вечер отправился в дом № 30 на Елисейских полях.

# X. Философия

Если бы граф Монте-Кристо дольше вращался в парижском свете, он по достоинству оценил бы поступок г-на де Вильфора. Хорошо принятый при дворе – безразлично, был ли на троне король из старшей линии или из младшей, был ли первый министр доктринером, либералом или консерватором, – почитаемый всеми за человека искусного, как то обычно бывает с людьми, никогда не терпевшими политических неудач, ненавидимый многими, но горячо защищаемый некоторыми, хоть и не любимый никем, – Вильфор занимал высокое положение в судебном ведомстве и держался на этой высоте, как какой-нибудь Арлэ или Моле. [40] Его салон, хоть и оживленный присутствием молодой жены и восемнадцатилетней дочери от первого брака, был одним из тех строгих парижских салонов, где царят культ традиций и религия этикета. Холодная учтивость, абсолютная верность принципам правительства, глубокое презрение к теориям и теоретикам, глубокая ненависть ко всяким философствованиям – вот что составляло видимую сущность частной и общественной жизни г-на де Вильфора. Вильфор был не только судебным деятелем, но почти дипломатом. Его отношения к прежнему двору, о которых он всегда упоминал почтительно и с достоинством, заставляли и нынешний относиться к нему с уважением, и он столько знал, что с ним не только всегда считались, но даже иногда прибегали к его советам. Может быть, все было бы иначе, если бы нашлась возможность избавиться от Вильфора; но он, подобно непокорным своему сюзерену феодальным властителям, заперся в неприступной крепости. Этой крепостью было его положение королевского прокурора, преимуществами которого он отлично умел пользоваться и с которым он расстался бы лишь для депутатского кресла, что позволило бы ему сменить нейтралитет на оппозицию.

Обычно Вильфор мало кому делал или отдавал визиты. Это делала за него его жена; в свете уже привыкли к этому и приписывали многочисленным и важным занятиям судьи то, что в действительности

делалось из расчетливого высокомерия, из подчеркнутого аристократизма, применительно к аксиоме: «Показывай, что уважаешь себя, – и тебя будут уважать»; эта аксиома куда более полезна в нашем мире, чем греческое: «Познай самого себя», – ныне замененное гораздо менее трудным и более выгодным искусством познавать других. Для своих друзей Вильфор был могущественным покровителем; для недругов – тайным, но непримиримым противником; для равнодушных – скорее изваянием, изображающим закон, чем живым человеком; высокомерный вид, бесстрастное лицо, бесцветный, тусклый или дерзко пронизывающий и испытующий взор – таков был этот человек, чей пьедестал сначала соорудили, а затем укрепили четыре удачно нагроможденные друг на друга революции.

Вильфор пользовался репутацией наименее любопытного и наименее банального человека во Франции: он ежегодно давал бал, где появлялся только на четверть часа, то есть на сорок пять минут меньше, чем король на придворных балах; его никогда не видели ни в театрах, ни в концертах – словом, ни в одном общественном месте; изредка он играл партию в вист, и в этом случае ему старались подобрать достойных партнеров: какого-нибудь посланника, архиепископа, князя, какого-нибудь президента или, наконец, вдовствующую герцогиню.

Вот каков был человек, экипаж которого остановился у дверей графа Монте-Кристо.

Камердинер доложил о г-не де Вильфоре в ту минуту, когда граф, наклонившись над большим столом, изучал на карте путь из Санкт-Петербурга в Китай.

Королевский прокурор вошел в комнату тем же степенным, размеренным шагом, каким входил в залу суда; это был тот же человек, или, вернее, продолжение того самого человека, которого мы некогда знали в Марселе как помощника прокурора. Природа, всегда последовательная, ничего не изменила и для него в своем течении. Из тонкого он стал тощим, из бледного – желтым; его глубоко сидящие глаза ввалились, так что его очки в золотой оправе, сливаясь с глазными впадинами, казались частью его лица; за исключением белого галстука

весь его костюм был черный, и этот траурный цвет нарушала лишь едва заметная красная ленточка в петлице, напоминавшая нанесенный кистью кровяной мазок.

Как ни владел собою Монте-Кристо, все же, отвечая на поклон, он с явным любопытством взглянул на прокурора. Вильфор, со своей стороны, недоверчивый по привычке и не имевший обыкновения слепо восхищаться чудесами светской жизни, был более склонен смотреть на благородного чужестранца – так уже прозвали Монте-Кристо, – как на авантюриста, избравшего новую арену деятельности, или как на сбежавшего преступника, чем как на князя папского престола или султана из «Тысячи и одной ночи».

– Милостивый государь, – сказал Вильфор тем визгливым голосом, к которому прибегают прокуроры в своих ораторских выступлениях и от которого они не могут или не хотят отрешиться и в разговорной речи, – милостивый государь, исключительная услуга, оказанная вами вчера моей жене и моему сыну, налагает на меня в отношении вас долг, который я и явился исполнить. Позвольте выразить вам мою признательность.

И при этих словах суровый взгляд Вильфора был полон всегдашнего высокомерия. Он произнес их обычным своим тоном главного прокурора, с той окоченелостью шеи и плеч, которая заставляла его льстецов утверждать, что он живая статуя закона.

– Милостивый государь, – отвечал с такой же ледяной холодностью граф, – я счастлив, что мог сохранить матери ее ребенка, потому что материнская любовь, как говорят, самое святое из чувств; и это счастье, выпавшее на мою долю, избавляло вас от необходимости выполнять то, что вы называете долгом и что для меня является честью, которою я, разумеется, очень дорожу, так как знаю, что господин де Вильфор редко кого ею удостаивает, но которая, сколь высоко я ее ни ставлю, менее ценна в моих глазах, чем внутреннее удовлетворение.

Вильфор, изумленный этим неожиданным для него выпадом, вздрогнул, как воин, чувствующий сквозь броню нанесенный ему удар, и около его губ появилась презрительная складка, указывающая, что он

никогда и не причислял графа Монте-Кристо к отменно учтивым людям. Он окинул взглядом комнату, ища другой темы, чтобы возобновить разговор, казалось, безнадежно погибший. Он увидел карту, которую Монте-Кристо изучал в ту минуту, когда он вошел, и заметил:

– Вы интересуетесь географией? Это обширная область, особенно для вас, который, как уверяют, посетил столько стран, сколько их изображено в этом атласе.

– Да, – отвечал граф, – я задался целью произвести на человечестве в целом то, что вы ежедневно проделываете на исключениях, – то есть психологическое исследование. Я считал, что впоследствии мне будет легче перейти от целого к части, чем от части к целому. Алгебраическая аксиома требует, чтобы из известного выводили неизвестное, а не из неизвестного известное... Но садитесь же, прошу вас.

И Монте-Кристо жестом указал королевскому прокурору на кресло, которое тот был вынужден собственноручно придвинуть к столу, а сам просто опустился в то, на которое опирался коленом, когда вошел Вильфор; таким образом, граф теперь сидел вполоборота к своему гостю, спиною к окну и опираясь локтями на географическую карту, о которой шла речь. Разговор принимал характер, совершенно аналогичный той беседе, которая велась у Морсера и у Данглара; разница была лишь в обстановке.

– Да вы философствуете, – начал Вильфор после паузы, во время которой он собирался с силами, как атлет, встретивший опасного противника. – Честное слово, если бы мне, как вам, нечего было делать, я выбрал бы себе менее унылое занятие.

– Вы правы, – ответил Монте-Кристо, – когда при солнечном свете изучаешь человеческую натуру, она выглядит довольно мерзко. Но вы, кажется, изволили сказать, что мне нечего делать? А скажите, кстати, вы-то сами, по-вашему, что-нибудь делаете? Проще говоря, считаете ли вы, что то, что вы делаете, достойно называться делом?

Изумление Вильфора удвоилось при этом новом резком выпаде странного противника; давно уже прокурор не слышал такого смелого парадокса, вернее, он слышал его в первый раз.

Королевский прокурор решил ответить.

– Вы иностранец, – сказал он, – и вы, кажется, сами говорили, что часть вашей жизни протекла на Востоке; вы, следовательно, не можете знать, насколько человеческое правосудие, стремительное в варварских странах, действует у нас осторожно и методически.

– Как же, как же: это pede claudo[41] древних. Я все это знаю, потому что в каждой стране я больше всего интересовался именно правосудием и сравнивал уголовное судопроизводство каждой нации с естественным правосудием; и я должен сказать, что закон первобытных народов, закон возмездия, по-моему, всего угоднее богу.

– Если бы этот закон был введен, – сказал королевский прокурор, – он бы весьма упростил наши уложения о наказаниях, и в этом случае нашим судьям, как вы сказали, действительно нечего было бы делать.

– К этому, может быть, мы еще придем, – отвечал Монте-Кристо. – Вы ведь знаете, что людские изобретения от сложного переходят к простому; а простое всегда совершенно.

– Но пока, – сказал прокурор, – существуют наши законы с их противоречивыми статьями, почерпнутыми из галльских обычаев, из римского права, из франкских традиций; и вы должны согласиться, что знание всех этих законов приобретается не так легко и требуется долгий труд, чтобы приобрести это знание, и немалые умственные способности, чтобы, изучив эту науку, не забыть ее.

– Я того же мнения, но все, что вы знаете о французских законах, я знаю о законах всех наций: законы английские, турецкие, японские, индусские мне так же хорошо известны, как и французские; поэтому я был прав, говоря, что по сравнению с тем, что я проделал, вы мало что делаете, и по сравнению с тем, что я изучил, вы знаете мало, вам еще многому надо поучиться.

– Но для чего вы изучали все это? – спросил удивленный Вильфор.

Монте-Кристо улыбнулся.

– Знаете, – сказал он, – я вижу, что, несмотря на вашу репутацию необыкновенного человека, вы смотрите на вещи с общественной точки зрения, материальной и обыденной, начинающейся и кончающейся

человеком, то есть с самой ограниченной и узкой точки зрения, возможной для человеческого разума.

– Что вы хотите этим сказать? – возразил, все более изумляясь, Вильфор. – Я вас… не совсем понимаю.

– Я хочу сказать, что взором, направленным на социальную организацию народов, вы видите лишь механизм машины, а не того совершенного мастера, который приводит ее в движение; вы замечаете вокруг себя только чиновников, назначенных на свои должности министрами или королем, а люди, которых бог поставил выше чиновников, министров и королей, поручив им выполнение миссии, а не исполнение должности, – эти люди ускользают от ваших близоруких взоров. Это свойство человеческого ничтожества с его несовершенными и слабыми органами. Товия принял ангела, явившегося возвратить ему зрение, за обыкновенного юношу. Народы считали Аттилу, явившегося уничтожить их, таким же завоевателем, как и все остальные. Им обоим пришлось открыть свое божественное назначение, чтобы быть узнанными; одному пришлось сказать: «Я ангел господень», а другому: «Я божий молот», чтобы их божественная сущность открылась.

– И вы, – сказал Вильфор, удивленный, думая, что он говорит с фанатиком или безумцем, – вы считаете себя одним из этих необыкновенных существ, о которых вы только что говорили?

– А почему бы нет? – холодно спросил Монте-Кристо.

– Прошу извинить меня, – возразил сбитый с толку Вильфор, – но, являясь к вам, я не знал, что знакомлюсь с человеком, чьи познания и ум настолько превышают обыкновенные познания и обычный разум человека. У нас, несчастных людей, испорченных цивилизацией, не принято, чтобы подобные вам знатные обладатели огромных состояний – так по крайней мере уверяют: вы видите, я ни о чем не спрашиваю, а только повторяю молву, – так вот, у нас не принято, чтобы эти баловни фортуны теряли время на социальные проблемы, на философские мечтания, созданные разве что для утешения тех, кому судьба отказала в земных благах.

– Скажите, – отвечал граф, – неужели вы достигли занимаемого вами высокого положения, ни разу не подумав и не увидев, что возможны исключения; и неужели вы своим взором, которому следовало бы быть таким верным и острым, никогда не пытались проникнуть в самую сущность человека, на которого он упал? Разве судья не должен быть не только лучшим применителем закона, не только самым хитроумным истолкователем темных статей, но стальным зондом, исследующим людские сердца, пробным камнем для того золота, из которого сделана всякая душа, с большей или меньшей примесью лигатуры?

– Вы, право, ставите меня в тупик, – сказал Вильфор, – я никогда не слышал, чтобы кто-нибудь говорил так, как вы.

– Это потому, что вы никогда не выходили из круга обычных жизненных условий и никогда не осмеливались вознестись в высшие сферы, которые бог населил невидимыми и исключительными созданиями.

– И вы допускаете, что эти сферы существуют, что исключительные и невидимые создания окружают нас?

– А почему бы нет? Разве вы видите воздух, которым дышите и без которого не могли бы существовать?

– Но в таком случае мы не видим тех, о которых вы говорите?

– Нет, вы их видите, когда богу угодно, чтобы они материализовались; вы их касаетесь, сталкиваетесь с ними, разговариваете с ними, и они вам отвечают.

– Признаюсь, – сказал, улыбаясь, Вильфор, – очень бы хотел, чтобы меня предупредили, когда одно из таких созданий столкнется со мной.

– Ваше желание исполнилось: вас уже предупредили, и я еще раз предупреждаю вас.

– Так что, вы сами...

– Да, я одно из этих исключительных созданий, и думаю, что до сих пор ни один человек в мире не был в таком положении, как я. Державы царей ограничены – либо горами, либо реками, либо чуждыми нравами и обычаями, либо иноязычием. Мое же царство необъятно, как мир, ибо я ни итальянец, ни француз, ни индус, ни американец, ни испанец – я

космополит. Ни одно государство не может считать себя моей родиной, и только богу известно, в какой стране я умру. Я принимаю все обычаи, я говорю на всех языках. Вам кажется, что я француз, не правда ли, потому что я говорю по-французски так же свободно и так же чисто, как вы? А вот Али, мой нубиец, принимает меня за араба; Бертуччо, мой управляющий, – за уроженца Рима; Гайде, моя невольница, считает меня греком. Я не принадлежу ни к одной стране, не ищу защиты ни у одного правительства, ни одного человека не считаю своим братом, и потому ни одно из тех сомнений, которые связывают могущественных, и ни одно из тех препятствий, которые останавливают слабых, меня не останавливает и не связывает. У меня только два противника, я не скажу – победителя, потому что своей настойчивостью я покоряю их, – это время и расстояние. Третий, и самый страшный, – это мое положение смертного. Смерть одна может остановить меня на своем пути, и раньше, чем я достигну намеченной цели; все остальное я рассчитал. То, что люди называют превратностями судьбы – разорение, перемены, случайности, – все это я предвидел; некоторые из них могут задеть меня, но ни одно не может меня свалить. Пока я не умру, я всегда останусь тем же, что теперь; вот почему я говорю вам такие вещи, которых вы никогда не слышали, даже из королевских уст, потому что короли в вас нуждаются, а остальные люди боятся вас. Ведь кто не говорит себе в нашем, так смешно устроенном обществе: «Может быть, и мне когда-нибудь придется иметь дело с королевским прокурором!»

– А разве к вам самим это не относится? Ведь раз вы живете во Франции, вы, естественно, подчинены французским законам.

– Я это знаю, – отвечал Монте-Кристо. – Но когда я собираюсь в какую-нибудь страну, я начинаю с того, что известными мне путями стараюсь изучить всех тех людей, которые могут быть мне чем-нибудь полезны или опасны, и в конце концов я знаю их так же хорошо, а может быть, даже и лучше, чем они сами себя знают. Это приводит к тому, что какой бы то ни было королевский прокурор, с которым мне придется иметь дело, несомненно, окажется в более затруднительном положении, чем я.

– Вы хотите сказать, – возразил с некоторым колебанием Вильфор, – что так как человеческая природа слаба, то всякий человек, по-вашему, совершал в жизни… ошибки?

– Ошибки… или преступления, – небрежно отвечал Монте-Кристо.

– И что вы единственный из всех людей, которых вы, по вашим же словам, не признаете братьями, – продолжал слегка изменившимся голосом Вильфор, – вы единственный совершенны?

– Не то чтобы совершенен, – отвечал граф, – непроницаем, только и всего. Но прекратим этот разговор, если он вам не по душе; мне не более угрожает ваше правосудие, чем вам моя прозорливость.

– Нет, нет, – с живостью сказал Вильфор, явно опасавшийся, что графу покажется, будто он желает оставить эту тему, – зачем же! Вашей блестящей и почти вдохновенной беседой вы вознесли меня над обычным уровнем; мы уже не разговариваем, мы рассуждаем. А богословы с сорбоннской кафедры или философы в своих спорах, вы сами знаете, иногда говорят друг другу жестокие истины; предположим, что мы занимаемся социальным богословием или богословской философией; и я вам скажу следующую истину, какой бы горькой она ни была: «Брат мой, вас обуяла гордыня; вы превыше других, но превыше вас бог».

– Превыше всех, – проговорил Монте-Кристо так проникновенно, что Вильфор невольно вздрогнул, – моя гордость – для людей, этих гадов, всегда готовых подняться против того, кто выше их и кто не попирает их ногами. Но я повергаю свою гордость перед богом, который вывел меня из ничтожества и сделал тем, что я теперь.

– В таком случае, граф, я восхищаюсь вами, – сказал Вильфор, впервые в продолжение этого странного разговора назвав своего собеседника этим титулом. – Да, если вы в самом деле обладаете силой, если вы высшее существо, если вы святой или непроницаемый человек, вы правы; это, в сущности, почти одно и то же, – тогда ваша гордость понятна: на этом зиждется власть. Однако есть же что-нибудь, чего вы домогаетесь?

– Да, было.

– Что именно?

– И я так же, как это случается раз в жизни со всяким человеком, был вознесен сатаною на самую высокую гору мира; оттуда он показал мне на мир и, как некогда Христу, сказал: «Скажи мне, сын человеческий, чего ты просишь, чтобы поклониться мне?» Тогда я впал в долгое раздумье, потому что уже длительное время душу мою снедала страшная мечта. Потом я ответил ему: «Послушай, я всегда слышал о провидении, а между тем я никогда не видел ни его, ни чего-либо похожего на него и стал думать, что его не существует; я хочу стать провидением, потому что не знаю в мире ничего выше, прекраснее и совершеннее, чем награждать и карать». Но сатана склонил голову и вздохнул. «Ты ошибаешься, – сказал он, – провидение существует, только ты не видишь его, ибо, дитя господне, оно так же невидимо, как и его отец. Ты не видел ничего похожего на него, ибо и оно движет тайными пружинами и шествует по темным путям; все, что я могу сделать для тебя, – это обратить тебя в одно из орудий провидения». Наш договор был заключен; быть может, я погубил свою душу. Но все равно, – продолжал Монте-Кристо, – если бы пришлось снова заключать договор, я заключил бы его снова.

Вильфор смотрел на Монте-Кристо, полный бесконечного изумления.

– Граф, – спросил он, – у вас есть родные?

– Нет, я один на свете.

– Тем хуже!

– Почему? – спросил Монте-Кристо.

– Потому что вам, может быть, пришлось бы стать свидетелем зрелища, которое разбило бы вашу гордость. Вы говорите, что вас страшит только смерть?

– Я не говорю, что она меня страшит; я говорю, что только она может мне помешать.

– А старость?

– Моя миссия будет закончена до того, как наступит моя старость.

– А сумасшествие?

– Я уже был на пороге безумия, а вы знаете правило: non bis idem;[42] это правило уголовного права и, следовательно, относится к вашей компетенции.

– Страшны не только смерть, старость или безумие, – сказал Вильфор, – существует, например, апоплексия – это громовой удар, он поражает вас, но не уничтожает, и, однако, после него все кончено. Это все еще вы и уже не вы; вы, который, словно Ариель, был почти ангелом, становитесь недвижной массой, которая, подобно Калибану, уже почти животное; на человеческом языке это называется, как я уже сказал, попросту апоплексией. Прошу вас заехать когда-нибудь ко мне, граф, чтобы продолжить эту беседу, если у вас явится желание встретиться с противником, способным вас понять и жаждущим вас опровергнуть, и я покажу вам моего отца, господина Нуартье де Вильфора, одного из самых ярых якобинцев времен первой революции, сочетание самой блестящей отваги с самым крепким телосложением; этот человек если и не видел, подобно вам, все государства мира, то участвовал в ниспровержении одного из самых могущественных; он, как и вы, считал себя одним из посланцев если не бога, то верховного существа, если не провидения, то судьбы; и что же – разрыв кровеносного сосуда в мозгу уничтожил все это, и не в день, не в час, а в одну секунду. Еще накануне Нуартье, якобинец, сенатор, карбонарий, которому нипочем ни гильотина, ни пушка, ни кинжал, Нуартье, играющий революциями, Нуартье, для которого Франция была лишь огромной шахматной доской, где должны были исчезнуть и пешки, и туры, и кони, и королева, лишь бы королю был сделан мат, – этот грозный Нуартье на следующий день обратился в «несчастного Нуартье», неподвижного старца, попавшего под власть самого слабого члена семьи, своей внучки Валентины, в немой и застывший труп, который живет без страданий, только чтобы дать время материи дойти понемногу до окончательного разложения.

– К сожалению, – сказал Монте-Кристо, – в этом зрелище не будет ничего нового ни для моих глаз, ни для моего ума; я немного врач, и я так же, как и мои собратья, не раз искал душу в живой материи или в материи мертвой; но, подобно провидению, она осталась невидимой для

моих глаз, хотя сердце ее и чувствовало. Сотни авторов вслед за Сократом, за Сенекой, за святым Августином или Галлем приводили в стихах и прозе то же сравнение, что и вы; но я понимаю, что страдания отца могут сильно изменить образ мыслей сына. Поскольку вы делаете мне честь, приглашая меня, я приеду к вам поучиться смирению на том тягостном зрелище, которое должно так печалить вашу семью.

– Это, несомненно, так бы и было, если бы господь не даровал мне щедрого возмещения. Рядом с этим старцем, который медленными шагами сходит в могилу, у порога жизни стоят двое детей: Валентина, моя дочь от первого брака с мадемуазель Рене де Сен-Меран, и Эдуард, мой сын, которого вы спасли от смерти.

– Какой же вы делаете вывод из этого возмещения? – спросил Монте-Кристо.

– Тот вывод, – отвечал Вильфор, – что мой отец, обуреваемый страстями, совершил одну из тех ошибок, которые ускользают от людского правосудия, но не уходят от божьего суда!.. И что бог, желая покарать только одного человека, поразил лишь его одного.

Монте-Кристо, продолжая улыбаться, издал в глубине сердца такое рычание, что, если бы Вильфор мог его слышать, он бежал бы без оглядки.

– До свидания, сударь, – продолжал королевский прокурор, уже несколько времени перед тем вставший с кресла и разговаривавший стоя, – я покидаю вас с чувством глубокого уважения, которое, надеюсь, будет вам приятно, когда вы поближе познакомитесь со мною, потому что я, во всяком случае, не банальный человек. К тому же в госпоже де Вильфор вы приобрели друга на всю жизнь.

Граф поклонился и проводил Вильфора только до двери кабинета; королевский прокурор спустился к своей карете, предшествуемый двумя лакеями, которые, по его знаку, поспешили распахнуть дверцу.

Когда королевский прокурор исчез из виду, Монте-Кристо с усилием перевел дыхание и улыбнулся.

– Нет, – сказал он, – нет, довольно яда; и раз мое сердце им переполнено, поищем противоядия.

Он ударил один раз в гулкий гонг.

– Я буду у госпожи, – сказал он вошедшему Али, – и через полчаса пусть подадут карету.

# XI. Гайде

Читатель помнит, кто были новые или, вернее, старые знакомые графа Монте-Кристо, жившие на улице Меле, – это были Максимилиан, Жюли и Эмманюель.

Ожидание этой милой встречи, этих нескольких счастливых минут, этого райского луча, озаряющего ад, куда он добровольно вверг себя, наложило, чуть только уехал Вильфор, чудесную ясность на лицо Монте-Кристо. Прибежавший на звонок Али, увидя это лицо, сияющее такой необычайной радостью, удалился на цыпочках и затаив дыхание, словно боясь спугнуть приятные мысли, которые, казалось ему, витали вокруг его господина.

Был уже полдень; граф оставил себе свободный час, чтобы провести его с Гайде; радость не сразу овладевала этой истерзанной душой, которой нужно было как бы подготовиться к сладостным ощущениям, подобно тому как другим душам необходимо подготовиться к ощущениям сильным.

Молодая гречанка, как мы уже сказали, занимала комнаты, совершенно отделенные от комнат графа. Все они были обставлены на восточный лад: паркет был устлан толстыми турецкими коврами, стены завешаны парчой, и в каждой комнате вдоль стен тянулся широкий диван с грудами в беспорядке раскиданных подушек.

У Гайде были три служанки-француженки и одна гречанка. Все три француженки находились в первой комнате, готовые прибежать по первому звуку золотого колокольчика и выполнить приказания невольницы-гречанки, достаточно хорошо владевшей французским языком, чтобы передавать желания своей госпожи ее трем камеристкам, которым Монте-Кристо предписал относиться к Гайде столь же почтительно, как к королеве.

Молодая девушка находилась в самой дальней из своих комнат, то есть в круглом будуаре, куда дневной свет проникал только сверху, сквозь розовые стекла. Она лежала на полу, на подушках из голубого

атласа, затканных серебром, легко прислонившись спиной к дивану; закинув за голову мягким изгибом правую руку, левой она подносила к губам коралловый мундштук с прикрепленной к нему гибкой трубкой кальяна, чтобы табачный дым попадал в ее рот только пропитанный бензоевой водой, через которую его заставляло проходить ее нежное дыхание.

Ее поза, вполне естественная для восточной женщины, показалась бы аффектированно-кокетливой, будь на ее месте француженка.

На ней был обычный костюм эпирских женщин: белые атласные затканные розовыми цветами шаровары, доходившие до крошечных детских ступней, которые показались бы изваянными из паросского мрамора, если бы они не подкидывали двух маленьких, вышитых золотом и жемчугом сандалий с загнутыми носками; рубашка с продольными белыми и голубыми полосами, с широкими откидными рукавами, оставлявшими руки свободными, с серебряными петлями и жемчужными пуговицами; и, наконец, нечто вроде корсажа, застегнутого на три бриллиантовые пуговицы, треугольный вырез которого позволял видеть шею и верхнюю часть груди. Ее талию охватывал яркий пояс с длинной шелковой бахромой – предмет мечтаний наших парижских модниц.

На ее голове была золотая, вышитая жемчугом шапочка, слегка сдвинутая набок, и в иссиня-черные волосы была воткнута чудесная живая пурпурная роза.

Что касается красоты этого лица, то это была греческая красота во всем ее совершенстве; большие черные бархатные глаза, прямой нос, коралловый рот и жемчужные зубы.

И все это очарование было озарено весною молодости, во всем ее блеске и благоухании: Гайде было не больше девятнадцати или двадцати лет.

Монте-Кристо вызвал прислужницу-гречанку и велел спросить у Гайде разрешения посетить ее.

Вместо ответа Гайде знаком велела служанке приподнять портьеру, закрывавшую дверь, и в ее четырехугольной раме, словно прелестная

картина, возникла лежащая молодая девушка.

Монте-Кристо вошел в комнату.

Гайде приподнялась на локте, не выпуская кальян, и с улыбкой протянула графу свободную руку.

– Почему, – сказала она на звучном языке женщин Спарты и Афин, – почему ты спрашиваешь у меня позволения войти ко мне? Разве ты больше не господин мой, разве я больше не раба твоя?

Монте-Кристо тоже улыбнулся.

– Гайде, – сказал он, – вы знаете...

– Почему ты не говоришь мне «ты», как всегда? – прервала его молодая гречанка. – Разве я чем-нибудь провинилась? В таком случае меня следует наказать, но не говорить мне «вы».

– Гайде, – продолжал граф, – ты знаешь, что мы находимся во Франции и что, следовательно, ты свободна.

– Свободна в чем? – спросила молодая девушка.

– Свободна покинуть меня.

– Покинуть тебя!.. А зачем мне покидать тебя?

– Как знать? Мы будем встречаться с людьми...

– Я никого не хочу видеть.

– А если среди тех красивых молодых людей, с которыми тебе придется встретиться, кто-нибудь понравится тебе, я не буду так жесток...

– Я никого не встречала красивее тебя и никого не любила, кроме моего отца и тебя.

– Бедное дитя, – сказал Монте-Кристо, – ведь ты никогда ни с кем и не говорила, кроме твоего отца и меня.

– Так что ж! Я больше ни с кем и не хочу говорить. Мой отец называл меня «моя радость», ты называешь меня «моя любовь», и оба вы зовете меня «мое дитя».

– Ты еще помнишь твоего отца, Гайде?

Девушка улыбнулась.

– Он тут и тут, – сказала она, прикладывая руку к глазам и к сердцу.

– А я где? – улыбаясь, спросил Монте-Кристо.

– Ты, – отвечала она, – ты везде.

Монте-Кристо взял руку Гайде и хотел поцеловать ее, но простодушное дитя отдернуло руку и подставило ему лоб.

– Теперь ты знаешь, Гайде, – сказал он, – что ты свободна, что ты госпожа, что ты царица; ты можешь по-прежнему носить свой костюм и можешь расстаться с ним; если хочешь – оставайся дома, если хочешь – выезжай; для тебя всегда будет готов экипаж; Али и Мирто будут сопровождать тебя всюду и исполнять твои приказания, но только я прошу тебя об одном...

– Я слушаю тебя.

– Храни тайну твоего рождения, не говори ни слова о твоем прошлом, ни в коем случае не произноси имени твоего прославленного отца и твоей несчастной матери.

– Я уже сказала тебе, господин, я ни с кем не буду встречаться.

– Послушай, Гайде, быть может, такое восточное затворничество станет в Париже невозможным; продолжай изучать нравы северных стран, как ты это делала в Риме, Флоренции, Милане и Мадриде; это послужит тебе на пользу, будешь ли ты жить здесь, или вернешься на Восток.

Молодая девушка подняла на графа свои большие влажные глаза и ответила:

– Или мы вернемся на Восток, хочешь ты сказать, господин мой?

– Да, дитя мое, – сказал Монте-Кристо, – ты же знаешь, я никогда не покину тебя. Не дерево расстается с цветком, а цветок расстается с деревом.

– Я никогда не покину тебя, господин, – сказала Гайде, – я знаю, что не смогу жить без тебя.

– Бедное дитя! Через десять лет я буду уже старик, а ты через десять лет все еще будешь молода.

– У моего отца была длинная седая борода. Это не мешало мне любить его; моему отцу было шестьдесят лет, и он казался мне прекраснее всех молодых людей, которых я встречала.

– Но скажи, как ты думаешь, привыкнешь ли ты к этой стране?

– Буду я видеть тебя?

– Каждый день.

– Так о чем же ты спрашиваешь меня, господин?

– Я боюсь, что ты соскучишься.

– Нет, господин, ведь по утрам я буду думать о том, что ты придешь, а по вечерам вспоминать, что ты приходил; и потом, когда я одна, я вспоминаю, я вижу огромные картины, широкие горизонты, с Пиндом и Олимпом вдали; а в сердце моем обитают три чувства, с которыми никогда не соскучишься: печаль, любовь и благодарность.

– Ты достойная дочь Эпира, Гайде, нежная и поэтичная, и видно, что ты происходишь от богинь, которых породила твоя земля. Будь же спокойна, дитя мое, я сделаю все, чтобы твоя молодость не прошла даром, потому что если ты любишь меня, как отца, то я люблю тебя, как свое дитя.

– Ты ошибаешься, господин; я любила отца не так, как тебя; моя любовь к тебе – не такая любовь; мой отец умер – и я осталась жива, а если ты умрешь – умру и я.

С улыбкой, полной глубокой нежности, граф протянул девушке руку; она, как обычно, поднесла ее к губам.

Граф, таким образом подготовясь к свиданию с семьей Моррель, удалился, шепча стихи Пиндара:

– «Юность – цветок, и любовь – его плод... Блажен виноградарь, для которого он медленно зрел!»

Карета, как он велел, ожидала его. Он сел, и лошади, как всегда, помчались во весь опор.

# XII. Семья Моррель

Через несколько минут граф прибыл на улицу Меле, № 7.

Дом был белый, веселый, и двор перед ним украшали небольшие цветочные клумбы.

В привратнике, открывшем ему ворота, граф узнал старого Коклеса. Но так как этот последний, как читатели помнят, был крив на один глаз, а здоровый глаз за эти девять лет сильно ослабел, то Коклес не узнал графа.

Для того чтобы подъехать к крыльцу, экипаж должен был обогнуть небольшой фонтан, бивший из бассейна, обложенного раковинами и камнями, – роскошь, которая возбудила среди соседей немалую зависть и послужила причиной тому, что этот дом прозвали «Маленьким Версалем». Нечего добавлять, что в бассейне сновало множество красных и желтых рыбок.

В самом доме, не считая нижнего этажа, занятого кухнями и погребами, были еще два этажа и чердачное помещение. Молодые люди приобрели его вместе с огромной мастерской и садом с двумя павильонами. Эмманюель сразу же понял, что из этого расположения построек можно будет извлечь небольшую выгоду. Он оставил себе дом и половину сада и отделил все это, то есть построил стену между своим владением и мастерской, которую и сдал в аренду вместе с павильонами и прилегающей частью сада; так что он устроился очень недорого и так же обособленно, как самый придирчивый обитатель Сен-Жерменского предместья.

Столовая была вся дубовая; гостиная – красного дерева и обита синим бархатом; спальня – лимонного дерева и обита зеленой камкой; кроме того, имелся рабочий кабинет Эмманюеля, не занимавшегося никакой работой, и музыкальная комната для Жюли, не игравшей ни на одном инструменте.

Весь третий этаж был в распоряжении Максимилиана; это было точное повторение квартиры его сестры, только столовая была обращена в

бильярдную, куда он приводил своих приятелей. Он следил за чисткой своей лошади и курил сигару, стоя у входа в сад, когда у ворот остановилась карета графа.

Коклес, как мы уже сказали, отворил ворота, а Батистен, соскочив с козел, спросил, может ли граф Монте-Кристо видеть господина и госпожу Эрбо и господина Максимилиана Морреля.

– Граф Монте-Кристо! – воскликнул Моррель, бросая сигару и спеша навстречу посетителю. – Еще бы мы были не рады его видеть. Благодарю вас, граф, тысячу раз благодарю, что вы не забыли о своем обещании.

И молодой офицер так сердечно пожал руку графа, что тот не мог усомниться в искренности приема и ясно увидел, что его ждали с нетерпением и встречают с радостью.

– Идемте, идемте, – сказал Максимилиан, – я сам познакомлю вас; о таком человеке, как вы, не должен докладывать слуга; сестра в саду, она срезает отцветшие розы; зять читает свои газеты, «Прессу» и «Дебаты», в шести шагах от нее, ибо, где бы ни находилась госпожа Эрбо, вы можете быть заранее уверены, что встретите в орбите не шире четырех метров и Эмманюеля, и обратно, как говорят в Политехнической школе.

Молодая женщина в шелковом капоте, тщательно обрывавшая увядшие лепестки с куста желтых роз, подняла голову, услышав их шаги.

Эта женщина была знакомая нам маленькая Жюли, превратившаяся, как ей и предсказывал уполномоченный фирмы Томсон и Френч, в госпожу Эмманюель Эрбо. Увидев постороннего, она вскрикнула. Максимилиан рассмеялся.

– Не пугайся, сестра, – сказал он, – хотя граф всего несколько дней в Париже, но он уже знает, что такое рантьерша из Марэ, а если еще не знает, то сейчас увидит.

– Ах, сударь, – сказала Жюли, – привести вас так – это предательство со стороны моего брата; он совершенно не заботится о том, какой вид у его бедной сестры... Пенелон!.. Пенелон!..

Старик, окапывавший бенгальские розы, всадил в землю свой заступ и, сняв фуражку, подошел к ним, жуя жвачку, которую он тотчас же

задвинул поглубже за щеку. В его еще густых волосах серебрилось несколько белых прядей, а коричневое лицо и смелый, острый взгляд изобличали в нем старого моряка, загоревшего под солнцем экватора и знакомого с бурями.

– Вы меня звали, мадемуазель Жюли? – спросил он. – Что вам угодно?

Пенелон по старой привычке звал дочь своего хозяина мадемуазель Жюли и никак не мог привыкнуть называть ее госпожой Эрбо.

– Пенелон, – сказала Жюли, – скажите господину Эмманюелю, что у нас дорогой гость, а Максимилиан проводит графа в гостиную. – Потом она обратилась к Монте-Кристо: – Вы, надеюсь, разрешите мне оставить вас на минуту?

И, не дожидаясь согласия графа, она обежала клумбу и бросилась к дому по боковой дорожке.

– Послушайте, дорогой господин Моррель, – сказал Монте-Кристо, – я с огорчением вижу, что нарушил покой вашей семьи.

– Взгляните, взгляните, – отвечал, смеясь, Максимилиан, – вот и муж побежал менять куртку на сюртук! Ведь вас знают на улице Меле, вас ждали, поверьте мне.

– У вас, мне кажется, счастливая семья, – сказал граф, как бы отвечая на собственные мысли.

– Несомненно, граф. Что ж, ведь у них есть все, что надо для счастья: они молоды, жизнерадостны, любят друг друга и, хоть им и приходилось видеть огромные состояния, они со своими двадцатью пятью тысячами франков дохода считают себя богатыми, как Ротшильд.

– А между тем двадцать пять тысяч франков дохода – это немного, – сказал Монте-Кристо, и в его голосе было столько нежности, что он отозвался в сердце Максимилиана, как голос любящего отца, – но ведь это не предел для нашей молодой четы, они, вероятно, тоже станут миллионерами. Ваш зять адвокат или доктор?..

– Он был негоциантом, граф, и продолжал дело моего покойного отца. Господин Моррель скончался, оставив после себя капитал в пятьсот тысяч франков; из них половина досталась мне и половина сестре, потому что нас было только двое. Ее муж, вступая с нею в брак, не

обладал ничем, кроме благородной честности, ясного ума и незапятнанной репутации. Он пожелал иметь столько же, сколько и его жена; он работал до тех пор, пока не собрал двухсот пятидесяти тысяч франков; для этого понадобилось шесть лет. Клянусь вам, граф, было трогательно смотреть на них – такие трудолюбивые, такие дружные, они, при их способностях, могли бы достигнуть значительного богатства, но не пожелали ничего менять в обычаях отцовской фирмы и употребили шесть лет на то, на что людям нового склада потребовалось бы года два или три; весь Марсель до сих пор восторгается их мужественной самоотверженностью. Наконец однажды Эмманюель подошел к своей жене, которая заканчивала выплату по обязательствам.

«Жюли, – обратился он к ней, – вот сверток с последней сотней франков, ее только что передал мне Коклес, и она дополняет те двести пятьдесят тысяч франков, которые мы назначили себе пределом. Удовольствуешься ли ты тем немногим, чем нам придется теперь ограничиваться? Наша фирма делает в год миллионный оборот и может давать сорок тысяч франков прибыли. Если мы захотим, мы можем через час продать за триста тысяч франков нашу клиентуру: вот письмо от господина Делоне, он предлагает нам эту сумму за нашу фирму, которую он хочет присоединить к своей. Решай, как поступить».

«Друг мой, – ответила моя сестра, – фирму Моррель может вести только Моррель. Разве не стоит отказаться от трехсот тысяч франков, чтобы раз навсегда оградить имя нашего отца от превратностей судьбы?»

«Я тоже так думал, – сказал Эмманюель, – но я хотел знать твое мнение».

«Ну, так вот оно. Мы получили все, что нам следовало, выплатили по всем нашим обязательствам; мы можем подвести итог и закрыть кассу; подведем же этот итог и закроем кассу».

И они немедленно это сделали. Это было в три часа; в четверть четвертого явился клиент, чтобы застраховать два судна, это составляло пятнадцать тысяч франков чистой прибыли.

«Будьте любезны, – сказал ему Эмманюель, – обратиться с этой страховкой к нашему коллеге господину Делоне. Что касается нас, мы ликвидировали наше дело». «Давно ли?» – спросил удивленный клиент. «Четверть часа тому назад».

– И вот каким образом случилось, – продолжал Максимилиан, улыбаясь, – что у моей сестры и зятя только двадцать пять тысяч годового дохода.

Максимилиан едва успел кончить свой рассказ, который все сильнее радовал сердце графа, как появился принарядившийся Эмманюель, в сюртуке и шляпе. Он поклонился с видом человека, высоко ценящего честь, оказанную ему гостем, потом, обойдя с графом свой цветущий сад, провел его в дом.

Гостиная благоухала цветами, наполнявшими огромную японскую вазу. На пороге, приветствуя графа, стояла Жюли, должным образом одетая и кокетливо причесанная (она ухитрилась потратить на это не более десяти минут!)

В вольере весело щебетали птицы; ветви ракитника и розовой акации с их цветущими гроздьями заглядывали в окно из-за синих бархатных драпировок, в этом очаровательном уголке все дышало миром – от песни птиц до улыбки хозяев.

Едва войдя в этот дом, граф почувствовал, что и его коснулось счастье этих людей; он оставался безмолвным и задумчивым, забывая, что ему надлежит вернуться к беседе, прервавшейся после первых приветствий.

Вдруг он заметил воцарившееся неловкое молчание и с усилием оторвался от своих грез.

– Сударыня, – сказал он наконец, – простите мне мое волнение. Оно, вероятно, показалось вам странным – вы привыкли к этому покою и счастью, но для меня так ново видеть довольное лицо, что я не могу оторвать глаз от вас и вашего супруга.

– Мы действительно очень счастливы, – сказала Жюли, – но нам пришлось очень долго страдать, и мало кто заплатил так дорого за свое счастье.

На лице графа отразилось любопытство.

– Это длинная семейная история, как вам уже говорил Шато-Рено, – сказал Максимилиан. – Вы, граф, привыкли видеть большие катастрофы и величественные радости, для вас мало интересна эта домашняя картина. Но Жюли права: мы перенесли немало страданий, хоть они и ограничивались узкой рамкой семьи...

– И бог, как всегда, послал вам утешение в страданиях? – спросил Монте-Кристо.

– Да, граф, – отвечала Жюли, – мы должны это признать, потому что он поступил с нами, как со своими избранниками: он послал нам своего ангела.

Краска залила лицо графа, и, чтобы скрыть свое волнение, он закашлялся и поднес к губам платок.

– Тот, кто родился в порфире и никогда ничего не желал, – сказал Эммануэль, – не знает счастья жизни, так же как не умеет ценить ясного неба тот, кто никогда не вверял свою жизнь четырем доскам, носящимся по разъяренному морю.

Монте-Кристо встал и, ничего не ответив, потому что дрожь в его голосе выдала бы охватившее его волнение, начал медленно ходить взад и вперед по гостиной.

– Вас, вероятно, смешит наша роскошь, граф, – сказал Максимилиан, следивший глазами за Монте-Кристо.

– Нет, нет, – отвечал Монте-Кристо, очень бледный, прижав руку к сильно бьющемуся сердцу, а другой рукой указывая на хрустальный колпак, под которым на черной бархатной подушке был бережно положен шелковый вязаный кошелек. – Я просто смотрю, что это за кошелек, в котором как будто с одной стороны лежит какая-то бумажка, а с другой – недурной алмаз.

Лицо Максимилиана стало серьезным, и он ответил:

– Здесь, граф, самое драгоценное из наших семейных сокровищ.

– В самом деле, алмаз довольно хорош, – сказал Монте-Кристо.

– Нет, мой брат говорит не о стоимости камня, хоть его и оценивают в сто тысяч франков, он хочет сказать, что вещи, находящиеся в этом

кошельке, дороги нам: их оставил тот добрый ангел, о котором мы вам говорили.

– Я не понимаю ваших слов, сударыня, а между тем не смею просить объяснения, – с поклоном ответил Монте-Кристо. – Простите, я не хотел быть неделикатным.

– Неделикатным, граф? Напротив, мы рады рассказать об этом! Если бы мы хотели сохранить в тайне благородный поступок, о котором напоминает этот кошелек, мы бы не выставляли его таким образом напоказ. Нет, мы хотели бы иметь возможность разгласить о нем всему свету, чтобы наш неведомый благодетель хотя бы трепетанием крыльев открыл себя.

– Вот как! – проговорил Монте-Кристо глухим голосом.

– Граф, – сказал Максимилиан, приподнимая хрустальный колпак и благоговейно прикасаясь губами к вязаному кошельку, – это держал в своих руках человек, который спас моего отца от смерти, нас от разорения, а наше имя от бесчестья, – человек, благодаря которому мы, несчастные дети, обреченные горю и нищете, теперь со всех сторон слышим, как люди восторгаются нашим счастьем. Это письмо, – и Максимилиан, вынув из кошелька записку, протянул ее графу, – это письмо было им написано в тот день, когда мой отец принял отчаянное решение, а этот алмаз великодушный незнакомец предназначил в приданое моей сестре.

Монте-Кристо развернул письмо и прочел его с чувством невыразимого счастья; это была записка, знакомая нашим читателям, адресованная Жюли и подписанная Синдбадом-мореходом.

– Незнакомец, говорите вы? Таким образом, человек, оказавший вам эту услугу, остался вам неизвестен?

– Да, нам так и не выпало счастья пожать ему руку, – отвечал Максимилиан, – и не потому, что мы не молили бога об этой милости. Но во всем этом событии было столько таинственности, что мы до сих пор не можем в нем разобраться: все направляла невидимая рука, могущественная, как рука чародея.

– Но я все еще не потеряла надежды поцеловать когда-нибудь эту руку, как я целую кошелек, которого она касалась, – сказала Жюли. – Четыре года тому назад Пенелон был в Триесте; Пенелон, граф, это тот старый моряк, которого вы видели с заступом в руках и который из боцмана превратился в садовника. В Триесте он видел на набережной англичанина, собиравшегося отплыть на яхте, и узнал в нем человека, посетившего моего отца пятого июня тысяча восемьсот двадцать девятого года и пославшего мне пятого сентября эту записку. Это был, несомненно, тот самый незнакомец, как утверждает Пенелон, но он не решился заговорить с ним.

– Англичанин! – произнес задумчиво Монте-Кристо, которого тревожил каждый взгляд Жюли. – Англичанин, говорите вы?

– Да, – сказал Максимилиан, – англичанин, явившийся к нам как уполномоченный римской фирмы Томсон и Френч. Вот почему я вздрогнул, когда вы сказали у Морсера, что Томсон и Френч ваши банкиры. Дело происходило, как мы вам уже сказали, в тысяча восемьсот двадцать девятом году; пожалуйста, граф, скажите, вы не знали этого англичанина?

– Но вы говорили, будто фирма Томсон и Френч неизменно отрицала, что она оказала вам эту услугу?

– Да.

– В таком случае, может быть, тот англичанин просто был благодарен вашему отцу за какой-нибудь добрый поступок, им самим позабытый, и воспользовался предлогом, чтобы оказать ему услугу?

– Тут можно предположить что угодно, даже чудо.

– Как его звали? – спросил Монте-Кристо.

– Он не назвал другого имени, – отвечала Жюли, внимательнее вглядываясь в графа, – только то, которым он подписал записку: Синдбад-мореход.

– Но ведь это, очевидно, не имя, а псевдоним.

Видя, что Жюли смотрит на него еще пристальнее и вслушивается в звук его голоса, граф добавил:

– Послушайте, не был ли он приблизительно одного роста со мной, может быть, чуть-чуть повыше, немного тоньше, в высоком воротничке, туго затянутом галстуке, в облегающем и наглухо застегнутом сюртуке и с неизменным карандашом в руках?

– Так вы его знаете? – воскликнула Жюли с заблестевшими от радости глазами.

– Нет, – сказал Монте-Кристо, – я только высказываю предположение. Я знавал некоего лорда Уилмора, который был щедр на такие благодеяния.

– Не открывая, кто он?

– Это был странный человек, не веривший в благодарность.

– Господи, – воскликнула Жюли, с непередаваемым выражением всплеснув руками, – во что же он верит, несчастный?

– Во всяком случае, он не верил в нее в то время, когда я с ним встречался, – сказал Монте-Кристо, бесконечно взволнованный этим возгласом, вырвавшимся из глубины души. – Может быть, с тех пор ему и пришлось самому убедиться, что благодарность существует.

– И вы знакомы с этим человеком, граф? – спросил Эмманюель.

– Если вы знакомы с ним, – воскликнула Жюли, – скажите, можете ли вы свести нас к нему, показать нам его, сказать нам, где он находится? Послушай, Максимилиан, послушай, Эмманюель, ведь если мы когда-нибудь встретимся с ним, он не сможет не поверить в память сердца!

Монте-Кристо почувствовал, что на глаза у него навернулись слезы; он снова прошелся по гостиной.

– Ради бога, граф, – сказал Максимилиан, – если вы что-нибудь знаете об этом человеке, скажите нам все, что вы знаете!

– Увы, – отвечал Монте-Кристо, стараясь скрыть волнение, звучащее в его голосе, – если ваш благодетель действительно лорд Уилмор, то я боюсь, что вам никогда не придется с ним встретиться. Я расстался с ним года три тому назад в Палермо, и он собирался в самые сказочные страны, так что я очень сомневаюсь, чтобы он когда-либо вернулся.

– Как жестоко то, что вы говорите! – воскликнула Жюли в полном отчаянии, и глаза ее наполнились слезами.

– Если бы лорд Уилмор видел то, что вижу я, – сказал проникновенно Монте-Кристо, глядя на прозрачные жемчужины, струившиеся по щекам Жюли, – он снова полюбил бы жизнь, потому что слезы, которые вы проливаете, примирили бы его с человечеством.

Он протянул ей руку; она подала ему свою, завороженная взглядом и голосом графа.

– Но ведь у этого лорда Уилмора, – сказала она, цепляясь за последнюю надежду, – были же родина, семья, родные, знал же его кто-нибудь? Разве мы не могли бы...

– Не стоит искать, – сказал граф, – не возводите сладких грез на словах, которые у меня вырвались. Едва ли лорд Уилмор – тот человек, которого вы разыскиваете; мы были с ним дружны, я знал все его тайны, он рассказал бы мне и эту.

– А он ничего не говорил вам? – воскликнула Жюли.

– Ничего.

– Никогда ни слова, из которого вы могли бы предположить?..

– Никогда.

– Однако вы сразу назвали его имя.

– Знаете... мало ли что приходит в голову.

– Сестра, – сказал Максимилиан, желая помочь графу, – наш гость прав. Вспомни, что нам так часто говорил отец: не англичанин принес нам это счастье.

Монте-Кристо вздрогнул.

– Ваш отец, господин Моррель, говорил вам?.. – с живостью воскликнул он.

– Мой отец смотрел на это происшествие как на чудо. Мой отец верил, что наш благодетель встал из гроба. Это была такая трогательная вера, что, сам не разделяя ее, я не хотел ее убивать в его благородном сердце! Как часто он задумывался, шепча имя дорогого погибшего друга! На пороге смерти, когда близость вечности придала его мыслям какое-то потустороннее озарение, это предположение перешло в уверенность, и последние слова, которые он произнес, умирая, были: «Максимилиан, это был Эдмон Дантес!»

Бледность, все сильнее покрывавшая лицо графа, при этих словах стала ужасной. Вся кровь хлынула ему к сердцу, он не мог произнести ни слова; он посмотрел на часы, словно вспомнив о времени, взял шляпу, как-то внезапно и смущенно простился с г-жой Эрбо и пожал руки Эмманюелю и Максимилиану.

– Сударыня, – сказал он, – разрешите мне иногда навещать вас. Мне хорошо в вашей семье, и я благодарен вам за прием, потому что у вас я в первый раз за много лет позабыл о времени.

И он вышел быстрыми шагами.

– Какой странный человек этот граф Монте-Кристо, – сказал Эмманюель.

– Да, – отвечал Максимилиан, – но мне кажется, у него золотое сердце, и я уверен, что мы ему симпатичны.

– Его голос проник мне в самое сердце, – сказала Жюли, – и мне даже показалось, будто я слышу его не в первый раз.

# XIII. Пирам и Фисба

Если пройти две трети предместья Сент-Оноре, то можно увидеть позади прекрасного особняка, заметного даже среди великолепных домов этого богатого квартала, обширный сад; его густые каштановые деревья возвышаются над огромными, почти крепостными стенами, роняя каждую весну свои белые и розовые цветы в две бороздчатые каменные вазы, стоящие на четырехугольных столбах, в которые вделана железная решетка времен Людовика XIII.

Хотя в этих вазах растут чудесные герани, колебля на ветру свои пурпурные цветы и крапчатые листья, этим величественным входом не пользуются с того уже давнего времени, когда владельцы особняка решили оставить за собой только самый дом, обсаженный деревьями, двор с выходом в предместье и сад, обнесенный решеткой, за которой в прежнее время находился прекрасный огород, принадлежавший этой же усадьбе. Но явился демон спекуляции, наметил рядом с огородом улицу, которая должна была соперничать с огромной артерией Парижа, называемой предместьем Сент-Оноре. И так как эта новая улица, благодаря железной дощечке еще до своего возникновения получившая название, должна была застраиваться, то огород продали.

Но когда дело касается спекуляции, то человек предполагает, а капитал располагает; уже окрещенная улица погибла в колыбели. Приобретателю огорода, заплатившему за него сполна, не удалось перепродать его за желаемую сумму, и в ожидании повышения цен, которое рано или поздно должно было с лихвой вознаградить его за потраченные деньги и лежащий втуне капитал, он ограничился тем, что сдал участок в аренду огородникам за пятьсот франков в год.

Таким образом, он получает за свои деньги только полпроцента, что очень скромно по теперешним временам, когда многие получают по пятидесяти процентов и еще находят, что деньги приносят нищенский доход.

Как бы то ни было, садовые ворота, некогда выходившие в огород, закрыты, и петли их ест ржавчина; мало того: чтобы презренные огородники не смели осквернить своими плебейскими взорами внутренность аристократического сада, ворота на шесть футов от земли заколотили досками. Правда, доски не настолько плотно пригнаны друг к другу, чтобы нельзя было бросить в щелку беглый взгляд, но этот дом – почтенный дом и не боится нескромных взоров.

В том огороде вместо капусты, моркови, редиски, горошка и дынь растет высокая люцерна – единственное свидетельство, что кто-то помнит еще об этом пустынном месте. Низенькая калитка, выходящая на намеченную улицу, служит входом в этот окруженный стенами участок, который арендаторы недавно совсем покинули из-за его неплодородности, так что вот уже неделя, как вместо прежнего полупроцента он не приносит ровно ничего.

Со стороны особняка над оградой склоняются уже упомянутые нами каштаны, что не мешает и другим цветущим и буйным деревьям протягивать между ними свои жаждущие воздуха ветви. В одном углу, где сквозь густую листву едва пробивается свет, широкая каменная скамья и несколько садовых стульев указывают на место встреч или на излюбленное убежище кого-нибудь из обитателей особняка, расположенного в ста шагах и едва различимого сквозь зеленую чащу. Словом, выбор этого уединенного местечка объясняется и его недоступностью для солнечных лучей, и неизменной, даже в самые знойные летние дни, прохладой, полной щебетания птиц, и одновременной удаленностью и от дома, и от улицы – то есть от деловых тревог и шума.

Под вечер одного из самых жарких дней, подаренных этою весною жителям Парижа, на этой каменной скамье лежали книга, зонтик, рабочая корзинка и батистовый платочек с начатой вышивкой; а неподалеку от скамьи, у заколоченных досками ворот, нагнувшись к щели, стояла молодая девушка и глядела в знакомый нам пустынный огород.

Почти в ту же минуту бесшумно открылась калитка огорода, и вошел высокий, мужественный молодой человек в блузе сурового полотна и бархатном картузе, причем этой простонародной одежде несколько противоречили холеные черные волосы, усы и борода; торопливо оглянувшись, чтобы удостовериться, что никто за ним не следит, он закрыл калитку и быстрыми шагами направился к воротам.

При виде того, кого она поджидала, но, по-видимому, не в таком костюме, девушка испуганно отшатнулась.

Однако пришедший быстрым взглядом влюбленного успел заметить сквозь щели ограды, как мелькнули белое платье и длинный голубой пояс. Он подбежал к воротам и приложил губы к щели.

– Не бойтесь, Валентина, – сказал он, – это я.

Девушка подошла ближе.

– Почему вы так поздно сегодня? – сказала она. – Вы ведь знаете, что скоро обед и что мне нужно много дипломатии и осторожности, чтобы освободиться от мачехи, которая следит за каждым моим шагом, от горничной, которая шпионит за мной, от брата, который мне надоедает, и прийти сюда с моей работой; боюсь, что я еще не скоро кончу эту работу. А когда вы мне объясните, почему вы задержались, вы мне скажете еще, что означает этот костюм; из-за него я сначала даже не узнала вас.

– Милая Валентина, – отвечал молодой человек, – вы так недосягаемы для моей любви, что я не смею говорить вам о ней, и все-таки, когда я вас вижу, я не могу удержаться и не сказать, что я обожаю вас. И эхо моих собственных слов утешает меня потом в разлуке с вами. А теперь спасибо вам за выговор; он очарователен, он доказывает, что вы, я не смею этого сказать, ждали меня, что вы думали обо мне. Вы хотите знать, почему я опоздал и почему я так одет? Я вам это сейчас скажу, и, надеюсь, тогда вы меня простите: я выбрал себе профессию.

– Профессию!.. Что вы хотите этим сказать, Максимилиан? Разве мы с вами так уже счастливы, чтобы шутить над тем, что нас так близко касается?

– Боже меня упаси шутить над тем, что для меня дороже жизни, – сказал молодой человек, – но я устал бродить по пустырям и перелезать через заборы, и меня всерьез пугала мысль, что ваш отец когда-нибудь отдаст меня под суд как вора, – это опозорило бы всю французскую армию! – и в то же время я опасаюсь, что постоянное присутствие капитана спаги в этих местах, где нет ни одной самой маленькой осажденной крепости и ни одного требующего защиты форта, может вызвать подозрения. Поэтому я сделался огородником и облекся в подобающий моему званию костюм.

– Что за безумие!

– Напротив, я считаю, что это самый разумный поступок за всю мою жизнь, потому что он обеспечивает нам безопасность.

– Да объясните же, в чем дело.

– Пожалуйста! Я был у владельца этого огорода; срок договора с предыдущим арендатором истек, и я снял его сам. Вся эта люцерна теперь моя; ничто не мешает мне построить среди этой травы шалаш и жить отныне в двух шагах от вас! Я счастлив, я не в силах сдержать свою радость! И подумайте, Валентина, что все это можно купить за деньги. Невероятно, правда? А между тем все это блаженство, счастье, радость, за которые я бы отдал десять лет моей жизни, стоят мне – угадайте, сколько?.. – пятьсот франков в год, с уплатой по третям! Так что, видите, мне нечего больше бояться. Я здесь у себя, я могу приставить к ограде лестницу и смотреть в ваш сад и, не опасаясь никаких патрулей, имею право говорить вам о своей любви, если только ваша гордость не возмутится тем, что это слово исходит из уст бедного поденщика в рабочей блузе и картузе.

От радостного удивления Валентина слегка вскрикнула; потом вдруг, как будто завистливая тучка неожиданно омрачила зажегшийся в ее сердце солнечный луч, она сказала печально:

– Теперь мы будем слишком свободны, Максимилиан. Я боюсь, что наше счастье – соблазн, и если мы злоупотребим нашей безопасностью, она погубит нас.

– Как вы можете говорить это! Ведь с тех пор как я вас знаю, я ежедневно доказываю вам, что подчинил свои мысли и самую свою жизнь вашей жизни и вашим мыслям. Что вам помогло довериться мне? Моя честь. Разве не так? Вы мне сказали, что вас тревожит необъяснимое предчувствие грозящей опасности, – и я предложил вам свою помощь и преданность, не требуя от вас никакой награды, кроме счастья служить вам. Разве с тех пор я хоть словом, хоть знаком дал вам повод раскаиваться в том, что вы отличили меня среди всех тех, кто был бы счастлив отдать за вас свою жизнь? Вы сказали мне, бедняжка, что вы обручены с господином д'Эпине, что этот брак решен вашим отцом и, следовательно, неминуем, ибо решения господина де Вильфора бесповоротны. И что же, я остался в тени, возложил все надежды не на свою волю, не на вашу, а на время, на провидение, на бога... а между тем вы любите меня, Валентина, вы жалеете меня, и вы мне это сказали; благодарю вас за эти бесценные слова и прошу только о том, чтобы хоть изредка вы их мне повторяли, это даст мне силу ни о чем другом не думать.

– Вот это и придало вам смелости, Максимилиан, это сделало мою жизнь и радостной, и несчастной. Я даже часто спрашиваю себя, что для меня лучше: горе, которое мне причиняет суровость мачехи и ее слепая любовь к сыну, или полное опасностей счастье, которое я испытываю в вашем присутствии?

– Опасность! – воскликнул Максимилиан. – Как вы можете произносить такое жестокое и несправедливое слово! Разве я не самый покорнейший из рабов? Вы позволили мне иногда говорить с вами, Валентина, но вы запретили мне искать встречи с вами; я покорился. С тех пор как я нашел способ пробираться в этот огород, говорить с вами через эти ворота – словом, быть так близко от вас, не видя вас, – скажите, просил ли я хоть раз позволения прикоснуться сквозь эту решетку к краю вашего платья? Пытался ли я хоть раз перебраться через эту ограду, смехотворное препятствие для молодого и сильного человека? Разве я когда-нибудь упрекал вас в суровости, говорил вам о

своих желаниях? Я был связан своим словом, как рыцарь былых времен. Признайте хоть это, чтобы я не считал вас несправедливой.

– Это правда, – сказала Валентина, просовывая в щель между двумя досками кончик пальца, к которому Максимилиан приник губами, – это правда, вы честный друг. Но ведь в конце концов вы поступали так в своих собственных интересах, мой дорогой Максимилиан: вы же отлично знали, что в тот день, когда раб станет требователен, он лишится всего. Вы обещали мне братскую дружбу, мне, у кого нет друзей, кого отец забыл, а мачеха преследует, мне, чье единственное утешение – недвижимый старик, немой, холодный, – он не может пошевелить рукой, чтобы пожать мою руку, он говорит со мной только глазами, и в его сердце, должно быть, сохранилось для меня немного нежности. Да, судьба горько посмеялась надо мной, она сделала меня врагом и жертвой всех, кто сильнее меня, и оставила мне другом и поддержкой – труп! Право, Максимилиан, я очень несчастлива, и вы хорошо делаете, что, любя меня, думаете обо мне, а не о себе!

– Валентина, – отвечал Максимилиан с глубоким волнением, – я не скажу вам, что только одну вас люблю на свете, – я люблю и свою сестру и зятя, но это любовь нежная, спокойная, совсем не похожая на мое чувство к вам. Когда я думаю о вас, вся моя кровь кипит, мне трудно дышать, сердце бьется, как безумное; все эти силы, весь пыл, всю сверхчеловеческую мощь я вкладываю в свою любовь к вам. Но в тот день, когда вы мне скажете, я отдам их для вашего счастья. Говорят, что Франц д'Эпине будет отсутствовать еще год; а за год сколько может представиться счастливых случаев, сколько благоприятных обстоятельств! Будем надеяться – надежда так хороша, так сладостна! Вы упрекаете меня в эгоизме, Валентина, а чем вы были для меня? Прекрасной и холодной статуей целомудренной Венеры. Что вы обещали мне взамен моей преданности, послушания, сдержанности? Ничего. Что вы дарили мне? Крохи. Вы говорите со мной о господине д'Эпине, вашем женихе, и вздыхаете при мысли, что будете когда-нибудь принадлежать ему. Послушайте, Валентина, неужели это все, что у вас есть в душе? Как! Я отдаю вам свою жизнь, свою душу, только для вас

одной бьется мое сердце, и вот, когда я всецело принадлежу вам, когда я мысленно говорю себе, что умру, если потеряю вас, – вас даже не ужасает мысль, что вы будете принадлежать другому! Нет, если бы я был на вашем месте, если бы я чувствовал, что меня любят так, как я вас люблю, я бы уже сто раз протянул руку сквозь прутья этой решетки и сжал руку несчастного Максимилиана со словами: «Я буду вашей, только вашей, Максимилиан, в этом мире и в том».

Валентина ничего не ответила, но Максимилиан услышал, что она вздыхает и плачет. Он сразу опомнился.

– Валентина, Валентина! – воскликнул он. – Забудьте мои слова, если я огорчил вас!

– Нет, – сказала она, – все это верно, но разве вы не видите, как я несчастна и одинока. Я живу почти в чужом доме, потому что мой отец почти чужой мне; вот уже десять лет мою волю каждый день, каждый час, каждую минуту подавляет железная воля моих властителей. Никто не видит моих страданий, и я сказала о них только вам. Кажется, будто все добры ко мне, все меня любят; на самом деле все враждебны мне. Люди говорят: господин де Вильфор слишком серьезный и слишком строгий человек, чтобы проявлять к дочери большую нежность, но зато она должна быть счастлива, что нашла в госпоже де Вильфор вторую мать. Так вот, люди ошибаются: отец совершенно равнодушен ко мне, а мачеха жестоко ненавидит меня, и эта ненависть тем ужаснее, что она прикрывается вечной улыбкой.

– Ненавидит вас, Валентина? Как можно вас ненавидеть?

– Друг мой, – сказала Валентина, – я должна сознаться, что ее ненависть ко мне объясняется очень просто. Она обожает своего сына – моего брата Эдуарда.

– Так что же?

– Право, мне как-то странно примешивать сюда денежные вопросы, но все-таки, мне кажется, ее ненависть вызывается именно этим. У нее самой нет никакого состояния, я же получила большое наследство после моей матери, и это богатство еще удвоится тем, что я когда-нибудь унаследую от господина и госпожи де Сен-Меран; ну вот, мне и кажется,

что она завидует. Боже мой, если бы я могла отдать ей половину своего состояния, лишь бы чувствовать себя родной дочерью в доме моего отца, я, конечно, сейчас же сделала бы это.

– Бедная моя Валентина!

– Да, я чувствую себя скованной и в то же время такой слабой, что мне кажется, будто мои оковы поддерживают меня, и я боюсь их сбросить. К тому же мой отец не из тех людей, которых можно безнаказанно ослушаться; он повелевает мной, он повелевал бы и вами и даже самим королем, потому что он силен своим незапятнанным прошлым и своим почти неприступным положением. Клянусь вам, Максимилиан, я не вступаю в борьбу, потому что боюсь этим погубить вас вместе с собой.

– И все же, Валентина, – возразил Максимилиан, – зачем отчаиваться и смотреть так мрачно на будущее?

– Друг мой, я сужу о нем по прошлому.

– Но послушайте, если с аристократической точки зрения я и не представляю блестящей партии, то я все же во многих отношениях принадлежу к тому обществу, среди которого вы живете. Прошло то время, когда во Франции существовали две Франции: знать времен монархии слилась со знатью Империи, аристократия меча сроднилась с аристократией пушки... А я принадлежу к этой последней: в армии меня ждет прекрасное будущее; у меня хоть и небольшое, но независимое состояние; наконец, в наших краях помнят и чтут моего отца как одного из самых благородных негоциантов, когда-либо существовавших. Я говорю: «в наших краях», Валентина, потому что вы тоже почти из Марселя.

– Не говорите мне о Марселе, Максимилиан, одно это слово напоминает мне мою мать, этого всеми оплакиваемого ангела, который недолгое время охранял свою дочь на земле и – я верю – продолжает охранять ее, взирая на нее из вечной обители! Ах, Максимилиан, будь жива моя бедная мать, мне нечего было бы опасаться; я сказала бы ей, что люблю вас, и она защитила бы нас.

– Будь она жива, – возразил Максимилиан, – я не знал бы вас, потому что вы сами сказали, вы были бы тогда счастливы, а счастливая

Валентина не снизошла бы ко мне.

– Друг мой, – воскликнула Валентина, – теперь вы несправедливы ко мне… Но скажите…

– Что вы хотите, чтобы я вам сказал? – спросил Максимилиан, заметив ее колебание.

– Скажите мне, – продолжала молодая девушка, – не было ли когда-нибудь в Марселе какого-нибудь недоразумения между вашим отцом и моим?

– Нет, я никогда не слыхал об этом, – ответил Максимилиан, – если не считать того, что ваш отец был более чем ревностным приверженцем Бурбонов, а мой отец был предан императору. Я полагаю, что в этом было единственное их разногласие. Но почему вы об этом спрашиваете?

– Сейчас объясню, – сказала молодая девушка, – вам следует все знать. Это произошло в тот день, когда в газетах напечатали о вашем производстве в кавалеры Почетного легиона. Мы все были у дедушки Нуартье, и там был еще Данглар, – знаете, этот банкир, его лошади третьего дня чуть не убили мою мачеху и брата. Я читала дедушке газету, а остальные обсуждали брак мадемуазель Данглар. Когда я дошла до места, которое относилось к вам и которое я уже знала, потому что еще накануне утром вы сообщили мне эту приятную новость, – так вот когда я дошла до этого места, я почувствовала себя очень счастливой… и я была очень взволнована, потому что надо было произнести ваше имя вслух, – я, конечно, пропустила бы его, если бы не боялась, что мое умолчание будет дурно истолковано, – так что я собрала все свое мужество и прочитала его.

– Милая Валентина!

– И вот, как только ваше имя было произнесено, мой отец обернулся. Я была настолько убеждена, что ваше имя сразит всех, как удар грома (видите, какая я сумасшедшая!), что мне показалось, будто мой отец вздрогнул, так же как и господин Данглар (это уж, я уверена, было просто мое воображение).

«Моррель, – сказал мой отец, – постойте, постойте! (Он нахмурил брови.) Не из тех ли он марсельских Моррелей, отъявленных

бонапартистов, с которыми нам пришлось столько возиться в тысяча восемьсот пятнадцатом году?»

«Да, – ответил Данглар, – мне даже кажется, что это сын арматора».

– Вот как! – проговорил Максимилиан. – А что же сказал ваш отец?

– Ужасную вещь, я даже не решаюсь вам повторить.

– Скажите все-таки, – с улыбкой попросил Максимилиан.

«Их император, – продолжал он, хмуря брови, – умел их ставить на место, всех этих фанатиков; он называл их пушечным мясом, и это было подходящее название. Я с радостью вижу, что новое правительство снова проводит этот спасительный принцип. Если бы оно только для этого сохранило Алжир, я приветствовал бы правительство, хоть Алжир и дороговато нам обходится».

– Это действительно довольно грубая политика, – сказал Максимилиан. – Но пусть вас не смущает то, что сказал господин де Вильфор: мой отец не уступал в этом смысле вашему и неизменно повторял: «Не могу понять, почему император, всегда так здраво поступающий, не наберет полка из судей и адвокатов, чтобы посылать их всякий раз на передовые позиции?» Как видите, дорогой друг, обе стороны не уступают друг другу в живописности своих выражений и мягкосердечии. А что ответил Данглар на выпад королевского прокурора?

– Он по обыкновению усмехнулся своей угрюмой усмешкой, которая мне кажется такой жестокой; а через минуту они встали и вышли. Только тогда я заметила, что дедушка очень взволнован. Надо вам сказать, Максимилиан, что только я одна замечаю, когда бедный паралитик волнуется. Впрочем, я догадывалась, что этот разговор должен был произвести на него тяжелое впечатление. Ведь на бедного дедушку никто уже не обращает внимания; осуждали его императора, а он, по-видимому, был фанатично ему предан.

– Его имя действительно было одно из самых известных во времена Империи, – сказал Максимилиан, – он был сенатором, и, как вы знаете, Валентина, а может быть, и не знаете, он участвовал почти во всех бонапартистских заговорах времен Реставрации.

– Да, я иногда слышу, как шепотом говорят об этом, и это мне кажется очень странным: дед бонапартист, отец роялист; странно, правда?.. Так вот, я обернулась к нему. Он взглядом указал мне на газету.

«Что с вами, дедушка? – спросила я. – Вы довольны?»

Он сделал мне глазами знак, что да.

«Тем, что сказал мой отец?» – спросила я.

Он сделал знак, что нет.

«Тем, что сказал господин Данглар?»

Он снова сделал знак, что нет.

«Так, значит, тем, что господин Моррель, – я не посмела сказать „Максимилиан“, – произведен в кавалеры Почетного легиона?»

Он сделал знак, что да.

– Подумайте, Максимилиан, он был доволен, что вы стали кавалером Почетного легиона, а ведь он незнаком с вами. Может быть, это у него признак безумия, потому что, говорят, он впадает в детство, но мне он доставил много радости этим «да».

– Как это странно, – сказал в раздумье Максимилиан. – Значит, ваш отец ненавидит меня, тогда как, напротив, ваш дедушка... Какая странная вещь эти политические симпатии и антипатии!

– Тише! – воскликнула вдруг Валентина. – Спрячьтесь, бегите, сюда идут!

Максимилиан схватил заступ и начал безжалостно окапывать люцерну.

– Мадемуазель! Мадемуазель! – кричал чей-то голос из-за деревьев: – Госпожа де Вильфор зовет вас; в гостиной сидит гость.

– Гость? – сказала взволнованная Валентина. – Кто бы это мог быть?

– Знатный гость! Говорят, вельможа, граф Монте-Кристо.

– Иду, иду, – громко сказала Валентина.

Стоявший по ту сторону ворот человек, для которого «иду, иду» Валентины служило прощанием после каждого свидания, вздрогнул, услышав это имя.

«Вот как! – подумал Максимилиан, задумчиво опираясь на заступ. – Откуда граф Монте-Кристо знаком с Вильфором?»

# XIV. Токсикология

Это был в самом деле граф Монте-Кристо, явившийся к г-же де Вильфор с намерением отдать визит королевскому прокурору, и вполне понятно, что, услышав это имя, весь дом пришел в волнение.

Госпожа де Вильфор, находившаяся в гостиной в ту минуту, когда ей доложили о посетителе, тотчас же послала за сыном, чтобы мальчик мог снова поблагодарить графа. Эдуард, за эти два дня наслышавшийся разговоров о знатной особе, сразу прибежал не из послушания матери, не для того, чтобы поблагодарить графа, а из любопытства и из желания что-нибудь схватить на лету и вставить какое-нибудь глупое словцо, всякий раз вызывавшее у матери восклицание: «Ах, какой несносный ребенок! Но я не могу на него сердиться, он так умен!»

После обмена обычными приветствиями граф осведомился о г-не де Вильфоре.

– Мой муж обедает у министра юстиции, – отвечала молодая женщина, – он только что уехал и, я уверена, будет очень жалеть, что не имел счастья вас видеть.

Два посетителя, которых граф застал в гостиной и которые не спускали с него глаз, встали и удалились, помедлив несколько минут не столько из приличия, сколько из любопытства.

– Кстати, что делает твоя сестра Валентина? – спросила Эдуарда г-жа Вильфор. – Пусть ее позовут, чтобы я могла представить ее графу.

– У вас есть дочь, сударыня? – спросил граф. – Но это еще, должно быть, совсем дитя?

– Это дочь господина де Вильфора от первого брака, взрослая красивая девушка.

– Но меланхоличная, – вставил маленький Эдуард, вырывая, чтобы сделать себе султан на шляпу, перья из хвоста великолепного ара, испускавшего от боли отчаянные крики на своем золоченом шесте.

Госпожа де Вильфор ограничилась замечанием:

– Замолчи, Эдуард! – Потом она добавила: – Этот маленький шалун недалек от истины, он повторяет то, что я не раз с грустью при нем говорила: у мадемуазель де Вильфор, несмотря на все наши старания развлечь ее, печальный и молчаливый характер, это отчасти нарушает очарование ее красоты. Но она что-то не идет; Эдуард, узнай, в чем дело.

– Это оттого, что ее ищут там, где ее нет.

– А где ее ищут?

– У дедушки Нуартье.

– А, по-твоему, ее там нет?

– Нет, нет, нет, нет, нет, ее там нет, – нараспев отвечал Эдуард.

– А где же она? Если знаешь, так скажи.

– Она у больших каштанов, – продолжал злой мальчишка, не обращая внимания на окрики матери и скармливая живых мух попугаю, по-видимому, большому любителю этой пищи.

Госпожа де Вильфор уже протянула руку к звонку, чтобы велеть горничной позвать Валентину, как вдруг в комнату вошла она сама.

Она действительно казалась очень грустной, и внимательный взгляд заметил бы, что она недавно плакала.

Валентина, которую мы в своем торопливом рассказе представили нашим читателям, не описав ее наружности, была высокая, стройная девушка девятнадцати лет, со светло-каштановыми волосами, с темно-синими глазами, с походкой томной и полной того несравненного изящества, которое так отличало ее мать; тонкие, белые руки, матовая, как жемчуг, шея, нежный румянец лица делали ее на первый взгляд похожей на тех прекрасных англичанок, которых так поэтично сравнивают с лебедями, глядящимися в зеркало вод.

Она вошла и, увидев рядом с мачехой иностранца, о котором она уже столько слышала, поклонилась ему без всякого девичьего жеманства и не опуская глаз, но с такой грацией, что граф еще внимательнее посмотрел на нее. Он встал.

– Мадемуазель де Вильфор, моя падчерица, – сказала г-жа де Вильфор, откидываясь на подушки дивана и указывая графу рукой на Валентину.

– И граф Монте-Кристо, король китайский, император кохинхинский, – сказал маленький сорванец, исподтишка разглядывая сестру.

На этот раз г-жа де Вильфор побледнела и готова была разгневаться на сына – этот семейный бич; но граф, напротив, улыбнулся и, казалось, ласково взглянул на ребенка, что наполнило сердце матери беспредельной радостью.

– Но, сударыня, – сказал граф, возобновляя беседу и по очереди вглядываясь в г-жу де Вильфор и Валентину, – я как будто уже имел честь где-то видеть вас и мадемуазель де Вильфор? У меня уже мелькала эта мысль, а когда вошла мадемуазель, ее вид, как луч света, прояснил мое смутное воспоминание, если я смею так выразиться.

– Едва ли это так; мадемуазель де Вильфор не любит общества, и мы редко выезжаем, – сказала молодая женщина.

– Я видел мадемуазель де Вильфор не в обществе, так же как и вас, сударыня, и этого очаровательного проказника. К тому же парижское общество мне совершенно незнакомо, потому что, как я, кажется, уже имел честь вам сказать, я нахожусь в Париже всего несколько дней. Нет, если вы разрешите мне постараться припомнить... позвольте...

Граф поднес руку ко лбу, как бы желая сосредоточиться на своих воспоминаниях.

– Нет, это было на свежем воздухе... это было... не знаю... мне почему-то в связи с этим вспоминается яркий солнечный день и что-то вроде церковного праздника... У мадемуазель де Вильфор были в руках цветы; мальчик гонялся по саду за красивым павлином, а мы сидели в беседке, обвитой виноградом... Помогите же мне, сударыня! Неужели то, что я сказал, ничего вам не напоминает?

– Нет, право, ничего, – отвечала г-жа де Вильфор, – а между тем, граф, я уверена, что, если бы я где-нибудь встретила вас, ваш образ не мог бы изгладиться из моей памяти.

– Может быть, граф видел нас в Италии? – робко сказала Валентина.

– В самом деле, в Италии... Возможно, – сказал Монте-Кристо. – Вы бывали в Италии, мадемуазель?

– Мы были там с госпожой де Вильфор два года тому назад. Врачи боялись за мои легкие и посоветовали мне пожить в Неаполе. Мы проездом были в Болонье, Перудже и Риме.

– Так и есть! – воскликнул Монте-Кристо, как будто это простое указание помогло ему разобраться в его воспоминаниях. – В Перудже, в день праздника тела господня, в саду Почтовой гостиницы, где случай свел всех нас – вас, сударыня, мадемуазель де Вильфор, вашего сына и меня, я и имел честь вас видеть.

– Я отлично помню Перуджу, и Почтовую гостиницу, и праздник, о котором вы говорите, граф, – сказала г-жа де Вильфор, – но сколько я ни роюсь в своих воспоминаниях и сколько ни стыжу себя за плохую память, я совершенно не помню, чтобы имела честь вас видеть.

– Это странно, и я тоже, – сказала Валентина, поднимая на Монте-Кристо свои прекрасные глаза.

– А я отлично помню, – заявил Эдуард.

– Я сейчас помогу вам, – продолжал граф. – День был очень жаркий; вы ждали лошадей, которых из-за праздника вам не торопились подавать. Мадемуазель удалилась в глубь сада, а ваш сын скрылся, гоняясь за павлином.

– Я поймал его, мама, помнишь, – сказал Эдуард, – и вырвал у него из хвоста три пера.

– Вы, сударыня, остались сидеть в виноградной беседке. Неужели вы не помните, что вы сидели на каменной скамье и, пока вашей дочери и сына, как я сказал, не было, довольно долго с кем-то разговаривали?

– Да, правда, – сказала г-жа де Вильфор, краснея, – я припоминаю, это был человек в длинном шерстяном плаще... доктор, кажется.

– Совершенно верно. Этот человек был я; я жил в этой гостинице уже недели две; я вылечил моего камердинера от лихорадки, а хозяина гостиницы от желтухи, так что меня принимали за знаменитого доктора. Мы довольно долго беседовали с вами на разные темы: о Перуджино, о Рафаэле, о нравах, о костюмах, о пресловутой аква-тофана, секретом которой, как вам говорили, еще владеет некто в Перудже.

– Да, да, – быстро и с некоторым беспокойством сказала г-жа Вильфор, – я припоминаю.

– Я уже подробно не помню ваших слов, – продолжал совершенно спокойно граф, – но я отлично помню, что, разделяя на мой счет всеобщее заблуждение, вы советовались со мной относительно здоровья мадемуазель де Вильфор.

– Но вы ведь действительно были врачом, раз вы вылечили нескольких больных, – сказала г-жа де Вильфор.

– Мольер и Бомарше ответили бы вам, что это именно потому, что я им не был, – не я вылечил своих больных, а просто они выздоровели; сам я могу только сказать вам, что я довольно основательно занимался химией и естественными науками, но лишь как любитель, вы понимаете...

В это время часы пробили шесть.

– Уже шесть часов, – сказала, по-видимому, очень взволнованная г-жа де Вильфор, – может быть, вы пойдете узнать, Валентина, не желает ли ваш дедушка обедать?

Валентина встала и, поклонившись графу, молча вышла из комнаты.

– Боже мой, сударыня, неужели это из-за меня вы отослали мадемуазель де Вильфор? – спросил граф, когда Валентина вышла.

– Нисколько, граф, – поспешно ответила молодая женщина, – но в это время мы кормим господина Нуартье тем скудным обедом, который поддерживает его жалкое существование. Вам известно, в каком плачевном состоянии находится отец моего мужа?

– Господин де Вильфор мне об этом говорил; он, кажется, разбит параличом?

– Да, к несчастью. Бедный старик не может сделать ни одного движения, только душа еще теплится в этом человеческом остове, слабая и дрожащая, как угасающий огонь в лампе. Но, простите, граф, что я посвящаю вас в наши семейные несчастья; я прервала вас в ту минуту, когда вы говорили мне, что вы искусный химик.

– Я этого не говорил, – ответил с улыбкой граф, – напротив, я изучал химию только потому, что, решив жить преимущественно на Востоке,

хотел последовать примеру царя Митридата.

– Mithridates, ex Ponticus, – сказал маленький проказник, вырезая силуэты из листов прекрасного альбома, – тот самый, который каждое утро выпивал чашку яда со сливками.

– Эдуард, противный мальчишка! – воскликнула г-жа де Вильфор, вырывая из рук сына изуродованную книгу. – Ты нестерпим, ты надоедаешь нам. Уходи отсюда, ступай к сестре, в комнату дедушки Нуартье.

– Альбом... – сказал Эдуард.

– Что альбом?

– Да, я хочу альбом...

– Почему ты изрезал картинки?

– Потому что мне так нравится.

– Ступай отсюда! Уходи!

– Не уйду, если не получу альбома, – заявил мальчик, усаживаясь в глубокое кресло, верный своей привычке ни в чем не уступать.

– Бери и оставь нас в покое, – сказала г-жа де Вильфор.

Она дала альбом Эдуарду и довела его до дверей.

Граф следил глазами за г-жой де Вильфор.

– Посмотрим, закроет ли она за ним дверь, – пробормотал он.

Госпожа де Вильфор тщательно закрыла за ребенком дверь; граф сделал вид, что не заметил этого.

Потом, еще раз оглянувшись по сторонам, молодая женщина снова уселась на козетку.

– Позвольте мне сказать вам, – заявил граф, с уже знакомым нам простодушным видом, – что вы слишком строги с этим очаровательным проказником.

– Иначе нельзя, – возразила г-жа де Вильфор с истинно материнским апломбом.

– Эдуард цитировал нам Корнелия Непота, когда говорил о царе Митридате, – сказал граф, – и вы прервали его на цитате, доказывающей, что его учитель не теряет времени даром и что ваш сын очень развит для своих лет.

– Вы правы, граф, – отвечала польщенная мать, – он очень способный ребенок и запоминает все, что захочет. У него только один недостаток: он слишком своеволен… но, возвращаясь к тому, что он сказал, граф, верите ли вы, что Митридат принимал эти меры предосторожности и что они оказывались действенными?

– Я настолько этому верю, что сам прибегал к этому способу, чтобы не быть отравленным в Неаполе, Палермо и Смирне, то есть в трех случаях, когда мне пришлось бы проститься с жизнью, не прими я этих мер.

– И это помогло?

– Вполне.

– Да, верно; я вспоминаю, что вы мне нечто подобное уже рассказывали в Перудже.

– В самом деле? – сказал граф, мастерски притворяясь удивленным. – Я вовсе не помню этого.

– Я вас спрашивала, действуют ли яды одинаково на северян и на южан, и вы мне даже ответили, что холодный и лимфатический темперамент северян меньше подвержен действию яда, чем пылкая и энергичная природа южан.

– Это верно, – сказал Монте-Кристо, – мне случалось видеть, как русские поглощали без всякого вреда для здоровья растительные вещества, которые неминуемо убили бы неаполитанца или араба.

– И вы считаете, что у нас в этом смысле можно еще вернее добиться результатов, чем на Востоке, и что человек легче привыкнет поглощать яды, живя среди туманов и дождей, чем в более жарком климате?

– Безусловно; но это предохранит его только от того яда, к которому он приучил свой организм.

– Да, я понимаю; а как, например, вы стали бы приучать себя или, вернее, как вы себя приучили?

– Это очень просто. Предположите, что вам заранее известно, какой яд вам собираются дать… предположите, что этим ядом будет… например, бруцин…

– Бруцин, кажется, добывается из лжеангустуровой коры,[43] – сказала г-жа де Вильфор.

– Совершенно верно, – отвечал Монте-Кристо, – но я вижу, мне нечему вас учить; позвольте мне вас поздравить: женщины редко обладают такими познаниями.

– Должна признаться, – сказала г-жа де Вильфор, – что я обожаю оккультные науки, которые волнуют воображение, как поэзия, и разрешаются цифрами, как алгебраическое уравнение; но, прошу вас, продолжайте: то, что вы говорите, меня очень интересует.

– Ну так вот! – продолжал Монте-Кристо. – Предположите, что этим ядом будет, например, бруцин и что вы в первый день примете миллиграмм, на второй день два миллиграмма; через десять дней вы, таким образом, дойдете до центиграмма; через двадцать дней, прибавляя в день еще по миллиграмму, вы дойдете до трех центиграммов, то есть будете поглощать без всяких дурных для себя последствий довольно большую дозу, которая была бы чрезвычайно опасна для всякого человека, не принявшего тех же предосторожностей; наконец, через месяц, выпив стакан отравленной воды из графина, которая убила бы человека, пившего ее одновременно с вами, сами вы только по легкому недомоганию чувствовали бы, что к этой воде было примешано ядовитое вещество.

– Вы не знаете другого противоядия?

– Нет, не знаю.

– Я не раз читала и перечитывала этот рассказ о Митридате, – сказала задумчиво г-жа де Вильфор, – но я считала его сказкой.

– Нет, вопреки обычаю историков это правда. Но, я вижу, тема нашего разговора для вас не случайный каприз; два года тому назад вы задавали мне подобные же вопросы и сами говорите, что рассказ о Митридате уже давно вас занимает.

– Это правда, граф; в юности я больше всего интересовалась ботаникой и минералогией; а когда я узнала, что изучение способов употребления лекарственных трав нередко дает ключ к пониманию всей истории восточных народов и всей жизни восточных людей, подобно тому как различные цветы служат выражением их понятий о любви, я

пожалела, что не родилась мужчиной, чтобы сделаться каким-нибудь Фламелем, Фонтаной или Кабанисом.

– Тем более, сударыня, – отвечал Монте-Кристо, – что на Востоке люди делают себе из яда не только броню, как Митридат, они делают из него также и кинжал; наука становится в их руках не только оборонительным оружием, но и наступательным; одним они защищаются от телесных страданий, другим борются со своими врагами; опиум, белладонна, лжеангустура, ужовая целибуха, лавровишневое дерево помогают им усыплять тех, кто хотел бы их разбудить. Нет ни одной египтянки, турчанки или гречанки из тех, кого вы здесь зовете добрыми старушками, которая своими познаниями в химии не повергла бы в изумление любого врача, а своими сведениями в области психологии не привела бы в ужас любого духовника.

– Вот как! – сказала г-жа де Вильфор, глаза которой горели странным огнем во время этого разговора.

– Да, – продолжал Монте-Кристо, – все тайные драмы Востока обретают завязку в любовном зелье и развязку – в смертоносной траве или в напитке, раскрывающем человеку небеса, и в питье, повергающем его в ад. Здесь столько же различных оттенков, сколько прихотей и странностей в физической и моральной природе человека; скажу больше, искусство этих химиков умеет прекрасно сочетать болезни и лекарства со своими любовными вожделениями и жаждой мщения.

– Но, граф, – возразила молодая женщина, – это восточное общество, среди которого вы провели часть вашей жизни, по-видимому, столь же фантастично, как и сказки этих чудесных стран. И там можно безнаказанно уничтожить человека? Так, значит, действительно существуют Багдад и Бассора, описанные Галланом?[44] Значит, те султаны и визири, которые управляют этим обществом и представляют то, что во Франции называется правительством, действительно Харун-аль-Рашиды и Джаффары: они не только прощают отравителя, но и делают его первым министром, если его преступление было хитро и искусно, и приказывают вырезать историю этого преступления золотыми буквами, чтобы забавляться ею в часы скуки?

– Нет, сударыня, время необычайного миновало даже на Востоке; и там, под другими названиями и в другой одежде, тоже существуют полицейские комиссары, следователи, королевские прокуроры и эксперты. Там превосходно умеют вешать, обезглавливать и сажать на кол преступников; но эти последние, ловкие обманщики, умеют уйти от людского правосудия и обеспечить успех своим хитроумным планам. У нас глупец, обуреваемый демоном ненависти или алчности, желая покончить с врагом или умертвить престарелого родственника, отправляется к аптекарю, называет себя вымышленным именем, по которому его еще легче находят, чем если бы он назвал настоящее имя, и, под тем предлогом, что крысы не дают ему спать, покупает пять-шесть граммов мышьяку; если он очень предусмотрителен, он заходит к пяти или шести аптекарям, что в пять или шесть раз облегчает возможность его найти. Достав нужное средство, он дает своему врагу или престарелому родственнику такую дозу мышьяку, которая уложила бы на месте мамонта или мастодонта и от которой жертва, без всякой видимой причины, начинает испускать такие вопли, что вся улица приходит в волнение. Тогда налетает туча полицейских и жандармов, посылают за врачом, который вскрывает покойника и ложками извлекает из его желудка и кишок мышьяк. На следующий день в ста газетах появляется рассказ о происшествии с именами жертвы и убийцы. Вечером аптекарь или аптекари являются сообщить: «Это он у меня купил мышьяк»; им ничего не стоит опознать убийцу среди двадцати своих покупателей; тут преступного глупца хватают, сажают в тюрьму, допрашивают, делают ему очные ставки, уличают, осуждают и гильотинируют или, если это оказывается достаточно знатная дама, приговаривают к пожизненному заключению. Вот как ваши северяне обращаются с химией. Впрочем, Дерю, надо признать, был умнее.

– Что вы хотите, граф, – сказала, смеясь, г-жа де Вильфор, – люди делают что могут. Не все владеют тайнами Медичи или Борджиа.

– Теперь, – продолжал граф, пожав плечами, – хотите, я вам скажу, отчего совершаются все эти нелепости? Оттого, что в ваших театрах, насколько я мог судить, читая пьесы, которые там ставятся, люди то и

дело залпом выпивают содержимое флакона или глотают заключенный в перстне яд и падают бездыханными; через пять минут занавес опускается, и зрители расходятся по домам. Последствия убийства остаются неизвестными: вы никогда не увидите ни полицейского комиссара, опоясанного шарфом, ни капрала с четырьмя солдатами, и поэтому неразумные люди верят, будто в жизни все так и происходит. Но выезжайте за пределы Франции, отправляйтесь в Алеппо, в Каир или хотя бы в Неаполь или Рим, и вы встретите на улице стройных людей со свежим, розовым цветом лица, про которых хромой бес, столкнись вы с ним невзначай, мог бы вам сказать: «Этот господин уже три недели как отравлен и через месяц будет хладным трупом».

– Так, значит, – сказала г-жа де Вильфор, – они нашли секрет знаменитой аква-тофана, про который мне в Перудже говорили, что он утрачен?

– Да разве в мире что-нибудь теряется? Искусства кочуют и обходят вокруг света; вещи получают другие наименования и только, а чернь не разбирается в этом, но результат всегда один и тот же: яды поражают тот или иной орган, – один действует на желудок, другой на мозг, третий на кишечник. И вот яд вызывает кашель, кашель переходит в воспаление легких или какую-либо другую болезнь, отмеченную в книге науки, что не мешает ей быть безусловно смертельной, а если бы она и не была смертельна, то неминуемо стала бы таковой благодаря лекарствам: наши немудрые врачи чаще всего посредственные химики, и борются ли их снадобья с болезнью, или помогают ей – это дело случая. И вот человека убивают по всем правилам искусства, а закон бессилен, как говорил один из моих друзей, добрейший аббат Адельмонте из Таормины, искуснейший химик в Сицилии, хорошо изучивший эти национальные явления.

– Это страшно, но чудесно, – сказала молодая женщина, застывшая в напряженном внимании. – Сознаюсь, я считала все эти истории выдумками средневековья.

– Да, несомненно, но в наши дни они еще усовершенствовались. Для чего же и существует течение времени, всякие меры поощрения, медали,

ордена, Монтионовские премии, как не для того, чтобы вести общество к наивысшему совершенству? А человек достигнет совершенства лишь тогда, когда сможет, подобно божеству, создавать и уничтожать по своему желанию; уничтожать он уже научился – значит, половина пути уже пройдена.

– Таким образом, – сказала г-жа де Вильфор, упорно возвращаясь к своей цели, – яды Борджиа, Медичи, Рене, Руджьери и, вероятно, позднее барона Тренка, которыми так злоупотребляли современная драма и роман...

– Были произведениями искусства, – отвечал граф. – Неужели вы думаете, что истинный ученый просто возьмется за нужного ему человека? Ни в коем случае. Наука любит рикошеты, фокусы, фантазию, если можно так выразиться. Так, например, милейший аббат Адельмонте, о котором я вам говорил, производил в этом отношении удивительные опыты.

– В самом деле?

– Да, и я вам приведу пример. У него был прекрасный сад, полный цветов, овощей и плодов; из этих овощей он выбирал какой-нибудь самый невинный – скажем, кочан капусты. В течение трех дней он поливал этот кочан раствором мышьяка; на третий день кочан заболевал и желтел, наступало время его срезать; в глазах всех он имел вид созревший и по-прежнему вполне невинный; только аббат Адельмонте знал, что он отравлен. Тогда он приносил этот кочан домой, брал кролика – у аббата Адельмонте была целая коллекция кроликов, кошек и морских свинок, ничуть не уступавшая его коллекции овощей, цветов и плодов, – итак, аббат Адельмонте брал кролика и давал ему съесть лист капусты; кролик околевал. Какой следователь нашел бы в этом что-либо предосудительное? Какому королевскому прокурору могло бы прийти в голову возбудить дело против Маженди или Флуранса[45] по поводу умерщвленных ими кроликов, кошек и морских свинок? Ни одному. Таким образом, кролик околевает, не возбуждая внимания правосудия. Затем аббат Адельмонте велит своей кухарке выпотрошить мертвого кролика и бросает внутренности в навозную кучу. По этой навозной куче

бродит курица; она клюет эти внутренности, тоже заболевает и на следующий день околевает. Пока она бьется в предсмертных судорогах, мимо пролетает ястреб (в стране аббата Адельмонте много ястребов), бросается на труп, уносит его на скалу и пожирает. Спустя три дня бедный ястреб, которому, с тех пор как он поел курицы, все время нездоровится, вдруг чувствует головокружение и прямо из-под облаков грузно падает в ваш садок; а щука, угорь и мурена, как вам известно, прожорливы, они набрасываются на ястреба. Ну так вот, представьте себе, что на следующий день к вашему столу подадут эту щуку, угря или мурену, отравленных в четвертом колене; ваш гость будет отравлен в пятом, – и дней через восемь или десять умрет от кишечных болей, от сердечных припадков, от нарыва в желудке. После вскрытия доктора скажут: «Смерть последовала от опухоли в печени или от тифа».

– Но, – сказала г-жа де Вильфор, – все это ваше сцепление обстоятельств может очень легко прерваться: ястреб может ведь не пролететь в нужный момент или упасть в ста шагах от садка.

– А вот в этом и заключается искусство. На Востоке, чтобы быть великим химиком, надо уметь управлять случайностями – и там это умеют.

Госпожа де Вильфор задумчиво слушала.

– Но, – сказала она, – следы мышьяка не исчезают: каким бы образом он ни попал в тело человека, он будет обнаружен, если его там достаточное количество, чтобы вызвать смерть.

– Вот, вот, – воскликнул Монте-Кристо, – именно это я и сказал добрейшему Адельмонте.

Он подумал, улыбнулся и ответил мне сицилианской пословицей, которая как будто имеется и во французском языке: «Сын мой, мир был создан не в один день, а в семь; приходите в воскресенье».

В воскресенье я снова пришел к нему; вместо того чтобы поливать кочан капусты мышьяком, он поливал его раствором соли, настоянным на стрихнине strychnos colubrina, как это называют в науке. На этот раз кочан капусты вовсе не казался больным, и у кролика не возникло никаких сомнений, а через пять минут кролик околел; курица поклевала

кролика и скончалась на следующий день. Тогда мы изобразили ястребов, унесли к себе курицу и вскрыли ее. На этот раз исчезли все особые симптомы и налицо были только общие. Ни в одном органе не оказалось никаких специфических признаков: только раздражение нервной системы и следы прилива крови к мозгу; курица околела не от отравления, а от апоплексии. С курами это случается редко, я знаю, но у людей это обычное явление.

Госпожа де Вильфор становилась все задумчивее.

– Какое счастье, – сказала она, – что подобные препараты могут быть изготовлены только химиками; иначе, право, одна половина человечества отравила бы другую.

– Химиками или людьми, которые интересуются химией, – небрежно ответил Монте-Кристо.

– И, кроме того, – сказала г-жа де Вильфор, с усилием отрываясь от своих мыслей, – как бы искусно ни было совершено преступление, оно всегда останется преступлением, и если его минует людское правосудие, ему не укрыться от божьего ока. У восточных народов не такая чуткая совесть, как у нас, и они благоразумно упразднили ад; в этом все дело.

– В такой чистой душе, как ваша, естественно, должны возникать подобные сомнения, но зрелое размышление заставит вас откинуть их. Темная сторона человеческой мысли целиком выражается в известном парадоксе Жан-Жака Руссо – вы знаете? – «Мандарин, которого убивают за пять тысяч миль, шевельнув кончиком пальца». Вся жизнь человека полна таких поступков, и его ум постоянно порождает такие мечты. Вы мало найдете людей, спокойно всаживающих нож в сердце своего ближнего или дающих ему, чтобы сжить его со свету, такую порцию мышьяку, как мы с вами говорили. Это действительно было бы эксцентрично или глупо. Для этого необходимо, чтобы кровь кипела, чтобы пульс неистово бился, чтобы вся душа перевернулась. Но, если, заменяя слово, как это делается в филологии, смягченным синонимом, вы производите простое устранение; если, вместо того чтобы совершить гнусное убийство, вы просто удаляете с вашего пути того, кто вам мешает, и делаете это тихо, без насилия, без того, чтобы это

сопровождалось страданиями, пытками, которые делают из жертвы мученика, а из вас – в полном смысле слова кровожадного зверя; если нет ни крови, ни стонов, ни судорог, ни, главное, этого ужасного и подозрительного мгновенного конца, то вы избегаете возмездия человеческих законов, говорящих вам: «Не нарушай общественного спокойствия!» Вот таким образом действуют и достигают своей цели на Востоке, где люди серьезны и флегматичны и не жалеют времени, когда дело касается сколько-нибудь важных обстоятельств.

– А совесть? – взволнованно спросила г-жа де Вильфор, подавляя вздох.

– Да, – отвечал Монте-Кристо, – да, к счастью, существует совесть, иначе мы были бы очень несчастны. После всякого энергического поступка нас спасает наша совесть; она находит нам тысячу извинений, судьями которых являемся мы сами; и хоть эти доводы и сохраняют нам спокойный сон, они, пожалуй, не охранили бы нашу жизнь от приговора уголовного суда. Вероятно, совесть чудесно успокоила Ричарда Третьего после убийства обоих сыновей Эдуарда Четвертого; в самом деле, он мог сказать себе: «Эти дети жестокого короля-гонителя унаследовали пороки своего отца, чего, кроме меня, никто не распознал в их юношеских наклонностях; эти дети мешали мне составить благоденствие английского народа, которому они неминуемо принесли бы несчастье». Так же утешала совесть и леди Макбет, желавшая, что бы там ни говорил Шекспир, посадить на трон своего сына, а вовсе не мужа. Да, материнская любовь – это такая великая добродетель, такая могущественная движущая сила, что она многое оправдывает; и после смерти Дункана леди Макбет была бы очень несчастна, если бы не ее совесть.

Госпожа де Вильфор жадно упивалась этими страшными выводами и циничными парадоксами, которые граф высказывал со свойственной ему простодушной иронией.

После минутного молчания она сказала:

– Знаете, граф, ваши аргументы ужасны и вы видите мир в довольно мрачном свете! Или вы так судите о человечестве потому, что смотрите

на него сквозь колбы и реторты? Ведь вы в самом деле выдающийся химик, и этот эликсир, который вы дали моему сыну и который так быстро вернул его к жизни…

– Не очень доверяйте ему, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – капли этого эликсира было достаточно, чтобы вернуть к жизни умиравшего ребенка, но три капли вызвали бы у него такой прилив крови к легким, что у него сделалось бы сердцебиение; шесть капель захватили бы ему дыхание и вызвали бы гораздо более серьезный обморок, чем тот, в котором он находился; наконец, десять капель убили бы его на месте. Вы помните, как я отстранил его от флаконов, когда он хотел их тронуть?

– Так это очень сильный яд?

– Вовсе нет! Прежде всего установим, что ядов самих по себе не существует: медицина пользуется самыми сильными ядами, но, если их умело применять, они превращаются в спасительные лекарства.

– Так что же это было?

– Это был препарат, изобретенный моим другом, добрейшим аббатом Адельмонте, который и научил меня его применять.

– Должно быть, это прекрасное средство против судорог! – сказала г-жа де Вильфор.

– Превосходное, вы могли убедиться в этом, – отвечал граф, – и я часто пользуюсь им; со всяческой осторожностью, разумеется, – прибавил он смеясь.

– Еще бы, – тем же тоном возразила г-жа Вильфор. – А вот мне, такой нервной и так склонной к обморокам, был бы очень нужен доктор вроде Адельмонте, который придумал бы что-нибудь, чтобы я могла свободно дышать и не боялась умереть от удушья. Но так как во Франции подобного доктора найти нелегко, а ваш аббат едва ли склонен ради меня совершить путешествие в Париж, я должна пока что довольствоваться лекарствами господина Планша; я обычно принимаю мятные и гофманские капли. Посмотрите, вот лепешки, которые для меня изготовляют по особому заказу: они содержат двойную дозу.

Монте-Кристо открыл черепаховую коробочку, которую протягивала ему молодая женщина, и с видом любителя, знающего толк в таких

препаратах, понюхал лепешки.

– Они превосходны, – сказал он, – но их необходимо глотать, что не всегда возможно, например, когда человек в обмороке. Я предпочитаю мое средство.

– Ну, разумеется, я тоже предпочла бы его, тем более что видела сама, как оно действует, но, вероятно, это секрет, и я не так нескромна, чтобы вас о нем расспрашивать.

– Но я настолько учтив, – сказал, вставая, Монте-Кристо, – что почту долгом вам его сообщить.

– Ах, граф!

– Но только помните: в маленькой дозе – это лекарство, в большой дозе – яд. Одна капля возвращает к жизни, как вы сами в этом убедились; пять или шесть неминуемо принесут смерть тем более внезапную, что, растворенные в рюмке вина, они совершенно не меняют его вкуса. Но я умолкаю, сударыня, можно подумать, что я вам даю советы.

Часы пробили половину седьмого; доложили о приезде приятельницы г-жи де Вильфор, которая должна была у нее обедать.

– Если бы я имела честь видеть вас уже третий или четвертый раз, граф, а не второй, – сказала г-жа де Вильфор, – если бы я имела честь быть вашим другом, а не только счастье быть вам обязанной, я бы настаивала на том, чтобы вы остались у меня обедать, и не приняла бы вашего отказа.

– Весьма признателен, – возразил Монте-Кристо, – но я связан обязательством, которого не могу не исполнить. Я обещал проводить в театр одну греческую княжну, мою знакомую, которая еще не видала Оперы и рассчитывает на меня, чтобы посетить ее.

– В таком случае до свидания, граф, но не забудьте о моем лекарстве.

– Ни в коем случае, сударыня; для этого нужно было бы забыть тот час, который я провел в беседе с вами, а это совершенно невозможно.

Монте-Кристо поклонился и вышел.

Госпожа де Вильфор задумалась.

– Вот странный человек, – сказала она себе, – и мне сдается, что его имя Адельмонте.

Что касается Монте-Кристо, то результат разговора превзошел все его ожидания. «Однако, – подумал он, уходя, – это благодатная почва; я убежден, что брошенное в нее семя не пропадет даром».

И на следующий день, верный своему слову, он послал обещанный рецепт.

# XV. Роберт-дьявол

Ссылка на Оперу была тем более основательной, что в этот вечер в королевской Музыкальной академии должно было состояться большое торжество. Левассер, впервые после долгой болезни, выступал в роли Бертрама, и произведение модного композитора, как всегда, привлекло самое блестящее парижское общество.

У Альбера, как у большинства богатых молодых людей, было кресло в оркестре; кроме того, для него всегда нашлось бы место в десятке лож близких знакомых, не считая того, на которое он имел неотъемлемое право в ложе светской золотой молодежи.

Соседнее кресло принадлежало Шато-Рено.

Бошан, как подобает журналисту, был королем всей залы и мог сидеть где хотел.

В этот вечер Люсьен Дебрэ располагал министерской ложей и предложил ее графу де Морсеру, который, ввиду отказа Мерседес, передал ее Данглару, уведомив его, что попозже он навестит баронессу с дочерью, если дамы соблаговолят принять ложу. Дамы, разумеется, не отказались. Никто так не падок на даровые ложи, как миллионеры.

Что касается Данглара, то он заявил, что его политические принципы и положение депутата оппозиции не позволяют ему сидеть в министерской ложе. Поэтому баронесса послала Люсьену записку, прося заехать за ней, – не могла же она ехать в Оперу вдвоем с Эжени.

В самом деле, если бы дамы сидели в ложе вдвоем, это, наверное, сочли бы предосудительным, но если мадемуазель Данглар поедет в театр с матерью и ее возлюбленным, то против этого никто не возразит, – приходится мириться с общественными предрассудками.

Занавес взвился, как всегда, при почти пустой зале. Это опять-таки обычай нашего высшего света – приезжать в театр после начала спектакля; таким образом, во время первого действия те, кто приехал вовремя, не могут смотреть и слушать пьесу: они лишь созерцают прибывающих зрителей и слышат только хлопанье дверей и разговоры.

– Вот как! – сказал Альбер, увидев, что отворяется дверь в одной из нижних боковых лож. – Вот как! Графиня Г.

– Кто такая графиня Г.? – спросил Шато-Рено.

– Однако, барон, что за непростительный вопрос? Вы не знаете, кто такая графиня Г.?..

– Ах да, – сказал Шато-Рено, – это, вероятно, та самая очаровательная венецианка?

– Вот именно.

В эту минуту графиня Г. заметила Альбера и с улыбкой кивнула, отвечая на его поклон.

– Вы знакомы с ней? – спросил Шато-Рено.

– Да, – отвечал Альбер, – Франц представил меня ей в Риме.

– Не окажете ли вы мне в Париже ту же услугу, которую вам в Риме оказал Франц?

– С удовольствием.

– Тише! – крикнули в публике.

Молодые люди продолжали разговор, ничуть не считаясь с желанием партера слушать музыку.

– Она была на скачках на Марсовом поле, – сказал Шато-Рено.

– Сегодня?

– Да.

– В самом деле, ведь сегодня были скачки. Вы играли?

– Пустяки, на пятьдесят луидоров.

– И кто выиграл?

– Наутилус. Я ставил на него.

– Но ведь было три заезда?

– Да. Был приз Жокей-клуба, золотой кубок. Произошел даже довольно странный случай.

– Какой?

– Тише же! – снова крикнули им.

– Какой? – повторил Альбер.

– Эту скачку выиграла совершенно неизвестная лошадь с неизвестным жокеем.

– Каким образом?

– Да вот так. Никто не обратил внимания на лошадь, записанную под именем Вампа, и на жокея, записанного под именем Иова, как вдруг увидали чудного гнедого скакуна и крохотного жокея; пришлось насовать ему в карманы фунтов двадцать свинца, что не помешало ему опередить на три корпуса Ариеля и Барбаро, шедших вместе с ним.

– И так и не узнали, чья это лошадь?

– Нет.

– Вы говорите, она была записана под именем...

– Вампа.

– В таком случае, – сказал Альбер, – я более осведомлен, чем вы; я знаю, кому она принадлежала.

– Да замолчите же наконец! – в третий раз крикнули из партера.

На этот раз возмущение было настолько велико, что молодые люди наконец поняли, что возгласы относятся к ним. Они обернулись, ища в толпе человека, ответственного за такую дерзость, но никто не повторил окрика, и они снова повернулись к сцене.

В это время отворилась дверь в ложу министра, и г-жа Данглар, ее дочь и Люсьен Дебрэ заняли свои места.

– А вот и ваши знакомые, виконт, – сказал Шато-Рено. – Что это вы смотрите направо? Вас ищут.

Альбер обернулся и действительно встретился глазами с баронессой Данглар, которая движением веера приветствовала его. Что касается мадемуазель Эжени, то она едва соблаговолила опустить свои большие черные глаза к креслам оркестра.

– Право, дорогой мой, – сказал Шато-Рено, – если не говорить о мезальянсе, – а я не думаю, чтобы это обстоятельство вас очень беспокоило, – я совершенно не понимаю, что вы можете иметь против мадемуазель Данглар: она очень красива.

– Очень красива, разумеется, – сказал Альбер, – но, признаюсь, в смысле красоты я предпочел бы что-нибудь более нежное, более мягкое, словом, более женственное.

– Вот нынешние молодые люди, – возразил Шато-Рено, который с высоты своих тридцати лет обращался с Альбером по-отечески, – они никогда ничем не бывают довольны. Помилуйте, дорогой мой, вам предлагают невесту, созданную по образу Дианы-охотницы, и вы еще жалуетесь!

– Вот именно, я предпочел бы что-нибудь вроде Венеры Милосской или Капуанской. Эта Диана-охотница, вечно окруженная своими нимфами, немного пугает меня; я боюсь, как бы меня не постигла участь Актеона.

В самом деле, взглянув на эту девушку, можно было, пожалуй, понять то чувство, в котором признавался Альбер. Мадемуазель Данглар была красива, но, как сказал Альбер, в красоте ее было что-то суровое; волосы ее были прекрасного черного цвета, вьющиеся от природы, но в их завитках чувствовалось как бы сопротивление желавшей покорить их руке; глаза ее, такие же черные, как волосы, под великолепными бровями, единственным недостатком которых было то, что они иногда хмурились, поражали выражением твердой воли, не свойственным женскому взгляду; нос ее был точно такой, каким ваятель снабдил бы Юнону; только рот был несколько велик, но зато прекрасны были зубы, еще более оттенявшие яркость губ, резко выделявшихся на ее бледном лице; наконец, черное родимое пятнышко в углу рта, более крупное, чем обычно бывают эти прихоти природы, еще сильнее подчеркивало решительный характер этого лица, несколько пугавший Альбера.

К тому же и фигура Эжени соответствовала лицу, которое мы попытались описать. Она, как сказал Шато-Рено, напоминала Диану-охотницу, но только в красоте ее было еще больше твердости и силы.

Если в полученном ею образовании можно было найти какой-либо недостаток, так это то, что, подобно некоторым чертам ее внешности, оно скорее подошло бы лицу другого пола. Она говорила на нескольких языках, мило рисовала, писала стихи и сочиняла музыку; этому искусству она предавалась с особенной страстью и изучала его с одной из своих школьных подруг, бедной девушкой, обладавшей, как уверяли, всеми необходимыми данными для того, чтобы стать превосходной певицей.

Некий знаменитый композитор относился к ней, по слухам, с почти отеческой заботливостью и занимался с нею в надежде, что когда-нибудь ее голос принесет ей богатство. Возможность, что Луиза д'Армильи – так звали эту молодую певицу – выступит впоследствии на сцене, мешала мадемуазель Данглар показываться вместе с нею в обществе, хоть она и принимала ее у себя. Но, и не пользуясь в доме банкира независимым положением подруги, Луиза все же была более чем простая преподавательница.

Через несколько секунд после появления г-жи Данглар в ложе занавес упал: можно было во время получасового антракта погулять в фойе или навестить в ложах знакомых, и кресла оркестра почти опустели.

Альбер и Шато-Рено одними из первых покинули свои места. Одну минуту г-жа Данглар думала, что эта поспешность Альбера вызвана желанием приветствовать ее, и она наклонилась к дочери, чтобы предупредить ее об этом, но та только покачала головой и улыбнулась; в эту самую минуту, как бы подкрепляя недоверие Эжени, Альбер появился в боковой ложе первого яруса. Это была ложа графини Г.

– А, вот и вы, господин путешественник! – сказала графиня, протягивая ему руку с приветливостью старой знакомой. – Очень мило с вашей стороны, что вы узнали меня, а главное, что предпочли навестить меня первую.

– Поверьте, графиня, – отвечал Альбер, – если бы я знал, что вы в Париже, и если бы мне был известен ваш адрес, я не стал бы ждать так долго. Но разрешите мне представить вам моего друга, барона Шато-Рено, одного из немногих сохранившихся во Франции аристократов; он только что сообщил мне, что вы присутствовали на скачках на Марсовом поле.

Шато-Рено поклонился.

– Вы были на скачках? – с интересом спросила его графиня.

– Да, сударыня.

– Тогда не можете ли вы мне сказать, – живо продолжала она, – кому принадлежала лошадь, выигравшая приз Жокей-клуба?

– Не знаю, – отвечал Шато-Рено, – я только что задал этот самый вопрос Альберу.

– Вам это очень важно, графиня? – спросил Альбер.

– Что?

– Узнать имя владельца лошади?

– Бесконечно. Представьте себе… Но, может быть, вы его знаете, виконт?

– Графиня, вы хотели что-то рассказать. «Представьте себе», – сказали вы.

– Да, представьте себе, этот чудесный гнедой скакун и этот очаровательный маленький жокей в розовом с первого же взгляда внушили мне такую симпатию, что я от всей души желала им удачи, как будто я поставила на них половину моего состояния, а когда я увидела, что они пришли первыми, опередив остальных на три корпуса, я так обрадовалась, что стала хлопать, как безумная. Вообразите мое изумление, когда, вернувшись домой, я встретила у себя на лестнице маленького розового жокея! Я подумала, что победитель, вероятно, живет в одном доме со мной, но когда я открыла дверь моей гостиной, мне сразу бросился в глаза золотой кубок, выигранный сегодня неизвестной лошадью и неизвестным жокеем. В кубке лежала записка: «Графине Г. лорд Рутвен».

– Так и есть, – сказал Альбер.

– То есть как это? Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что это тот самый лорд Рутвен.

– Какой лорд Рутвен?

– Да наш вампир, которого мы видели в театре Арджентина.

– Неужели? – воскликнула графиня. – Разве он здесь?

– Конечно.

– И вы видитесь с ним? Он у вас бывает? Вы посещаете его?

– Это мой близкий друг, и даже господин де Шато-Рено имеет честь быть с ним знакомым.

– Почему вы думаете, что это именно он взял приз?

– Его лошадь записана под именем Вампа.

– Что же из этого?

– А разве вы не помните, как звали знаменитого разбойника, который взял меня в плен?

– Да, правда.

– Из рук которого меня чудесным образом спас граф?

– Да, да.

– Его звали Вампа. Теперь вы сами видите, что это он.

– Но почему он прислал этот кубок мне?

– Во-первых, графиня, потому, что я, можете поверить, много рассказывал ему о вас, а во-вторых, вероятно, потому, что он был очень рад встретить соотечественницу и счастлив тем интересом, который она к нему проявила.

– Я надеюсь, что вы ничего не рассказывали ему о тех глупостях, которые мы болтали на его счет!

– Откровенно говоря, я за это не поручусь, а то, что он преподнес вам этот кубок от имени лорда Рутвена...

– Да ведь это ужасно! Он меня возненавидит!

– Разве его поступок свидетельствует о враждебности?

– Признаться, нет.

– Вот видите!

– Так, значит, он в Париже!

– Да.

– И какое он произвел впечатление?

– Что ж, – сказал Альбер, – о нем поговорили неделю, потом случилась коронация английской королевы и кража бриллиантов у мадемуазель Марс, и стали говорить об этом.

– Дорогой мой, – сказал Шато-Рено, – сразу видно, что граф ваш друг, вы к нему соответственно относитесь. Не верьте ему, графиня, в Париже только и говорят, что о графе Монте-Кристо. Он начал с того, что подарил госпоже Данглар пару лошадей, стоивших тридцать тысяч франков; потом спас жизнь госпоже де Вильфор; затем, по-видимому, взял приз Жокей-клуба. Что бы ни говорил Морсер, я, напротив, утверждаю, что и сейчас все заинтересованы графом и еще целый месяц

только о нем и будут говорить, если он будет продолжать оригинальничать; впрочем, по-видимому, это его обычное занятие.

– Может быть, – сказал Альбер. – Кстати, кто это занял бывшую ложу русского посла?

– Которая это? – спросила графиня.

– В первом ярусе между колонн; по-моему, ее совершенно заново отделали.

– В самом деле, – заметил Шато-Рено. – Был ли там кто-нибудь во время первого действия?

– Где?

– В этой ложе.

– Нет, – отвечала графиня, – я никого не заметила; так что, по-вашему, – продолжала она, возвращаясь к предыдущему разговору, – это ваш граф Монте-Кристо взял приз?

– Я в этом уверен.

– И это он послал мне кубок?

– Несомненно.

– Но я же с ним не знакома, – сказала графиня, – я бы очень хотела вернуть ему кубок.

– Не делайте этого: он пришлет вам другой, высеченный из цельного сапфира или вырезанный из рубина. Он всегда так делает, приходится с этим мириться.

В это время звонок возвестил начало второго действия. Альбер встал, чтобы вернуться на свое место.

– Я вас еще увижу? – спросила графиня.

– В антракте, если вы разрешите, я зайду осведомиться, не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен в Париже.

– Господа, – сказала графиня, – по субботам, вечером, я дома для своих друзей, улица Риволи, двадцать два. Навестите меня.

Молодые люди поклонились и вышли из ложи.

Войдя в партер, они увидели, что вся публика стоит, глядя в одну точку залы; они взглянули туда же, и глаза их остановились на бывшей ложе русского посла. В нее только что вошел одетый в черное господин лет

тридцати пяти – сорока в сопровождении молодой девушки в восточном костюме. Она была поразительно красива, а костюм ее до того роскошен, что, как мы уже сказали, все взоры немедленно обратились на нее.

– Да это Монте-Кристо со своей албанкой, – сказал Альбер.

Действительно, это были граф и Гайде.

Не прошло и нескольких минут, как Гайде привлекла к себе внимание не только партера, но и всей зрительной залы: дамы высовывались из своих лож, чтобы увидеть, как струится под огнями люстры искрящийся водопад алмазов.

Весь второй акт прошел под сдержанный гул, указывающий, что собравшаяся толпа поражена и взволнованна. Никто не помышлял о том, чтобы восстановить тишину. Эта девушка, такая юная, такая красивая, такая ослепительная, была удивительнейшим из зрелищ.

На этот раз поданный Альберу знак ясно показывал, что г-жа Данглар желает видеть его в своей ложе в следующем антракте.

Альбер был слишком хорошо воспитан, чтобы заставлять себя ждать, если ему ясно показывали, что его ждут. Поэтому едва действие кончилось, он поспешил подняться в литерную ложу.

Он поклонился обеим дамам и пожал руку Дебрэ.

Баронесса встретила его очаровательной улыбкой, а Эжени со своей обычной холодностью.

– Дорогой мой, – сказал ему Дебрэ, – вы видите перед собой человека, дошедшего до полного отчаяния и призывающего вас на помощь. Баронесса засыпает меня расспросами о графе и требует, чтобы я знал, кто он, откуда он, куда направляется. Честное слово, я не Калиостро, и, чтобы как-нибудь выпутаться, я сказал:

«Спросите об этом Морсера, он знает Монте-Кристо как свои пять пальцев». И вот вас призвали.

– Это невероятно, – сказала баронесса, – располагать полумиллионным секретным фондом и быть до такой степени неосведомленным!

– Поверьте, баронесса, – отвечал Люсьен, – что если бы я располагал полумиллионом, я употребил бы его на что-нибудь другое, а не на

собирание сведений о графе Монте-Кристо, который, на мой взгляд, обладает только тем достоинством, что богат, как два набоба; но я уступаю место моему другу Морсеру: обратитесь к нему, меня это больше не касается.

– Едва ли набоб прислал бы мне пару лошадей ценой в тридцать тысяч франков, с четырьмя бриллиантами в ушах, по пять тысяч каждый.

– Бриллианты – его страсть, – засмеялся Альбер. – Мне кажется, что у него, как у Потемкина, ими всегда набиты карманы, и он сыплет ими, как мальчик-с-пальчик камешками.

– Он нашел где-нибудь алмазные копи, – сказала госпожа Данглар. – Вы знаете, что в банке барона у него неограниченный кредит?

– Нет, я не знал, – отвечал Альбер, – но меня это не удивляет.

– Он заявил господину Данглару, что собирается пробыть в Париже год и израсходовать шесть миллионов.

– Надо думать, что это персидский шах, путешествующий инкогнито.

– А какая красавица эта женщина! – сказала Эжени. – Вы заметили, господин Люсьен?

– Право, вы единственная из всех женщин, кого я знаю, которая отдает должное другим женщинам.

Люсьен вставил в глаз монокль.

– Очаровательна, – заявил он.

– А знает ли господин де Морсер, кто эта женщина?

– Знаю лишь приблизительно, как и все, что касается таинственной личности, о которой мы говорим, – сказал Альбер, отвечая на этот настойчивый вопрос. – Эта женщина – албанка.

– Это видно по ее костюму, и то, что вы нам сообщаете, уже известно всей публике.

– Мне очень жаль, что я такой невежественный чичероне, – сказал Альбер, – но должен сознаться, что на этом мои сведения кончаются; знаю еще только, что она музыкантша: однажды, завтракая у графа, я слышал звуки лютни, на которой, кроме нее, некому было играть.

– Так он принимает у себя гостей, ваш граф? – спросила г-жа Данглар.

– И очень роскошно, смею вас уверить.

– Надо заставить Данглара дать ему обед или бал, чтобы он в ответ пригласил нас.

– Как, вы бы поехали к нему? – сказал, смеясь, Дебрэ.

– Почему бы нет? Вместе с мужем!

– Да ведь он холост, этот таинственный граф!

– Вы же видите, что нет, – в свою очередь, рассмеялась баронесса, указывая на красавицу албанку.

– Эта женщина – невольница; помните, Морсер, он сам нам об этом сказал у вас за завтраком.

– Согласитесь, дорогой Люсьен, – сказала баронесса, – что у нее скорее вид принцессы.

– Из «Тысячи и одной ночи», – вставил Альбер.

– Согласен, но что создает принцесс, дорогой мой? Бриллианты, а она ими осыпана.

– Их даже слишком много, – сказала Эжени, – без них она была бы еще красивее, потому что тогда были бы видны ее шея и руки, а они прелестны.

– Ах, эти художницы! – сказала г-жа Данглар. – Посмотрите, она уже загорелась.

– Я люблю все прекрасное, – ответила Эжени.

– В таком случае что вы скажете о графе? – спросил Дебрэ. – По-моему, он тоже недурен собою.

– Граф? – сказала Эжени, словно ей до сих пор не приходило в голову взглянуть на него. – Граф слишком бледен.

– Вот именно, – сказал Морсер, – как раз эта бледность и интересует нас. Знаете, графиня Г. утверждает, что он вампир.

– А разве графиня Г. вернулась? – спросила баронесса.

– Она сидит в боковой ложе, мама, – сказала Эжени, – почти против нас. Видите, вот женщина с чудесными золотистыми волосами – это она.

– Да, вижу, – сказала г-жа Данглар. – Знаете, что вам следовало бы сделать, Морсер?

– Приказывайте, баронесса.

– Вам следовало бы пойти навестить вашего графа Монте-Кристо и привести его к нам.

– Зачем это? – спросила Эжени.

– Да чтобы поговорить с ним; разве тебе не интересно видеть его?

– Нисколько.

– Странная девочка! – пробормотала баронесса.

– Он, вероятно, и сам придет, – сказал Альбер. – Вон он увидел вас, баронесса, и кланяется вам.

Баронесса, очаровательно улыбаясь, ответила графу на его поклон.

– Хорошо, – сказал Альбер, – я принесу себя в жертву: я покину вас и посмотрю, нельзя ли с ним поговорить.

– Пойдите к нему в ложу; нет ничего проще.

– Но я не был представлен.

– Кому?

– Красавице албанке.

– Но ведь вы говорите, что это невольница.

– Да, но вы утверждаете, что это принцесса... Но, может быть, увидав, что я иду, он выйдет тоже.

– Это возможно. Идите.

– Иду.

Альбер поклонился и вышел. Действительно, когда он проходил мимо ложи графа, дверь ее отворилась и вышел Монте-Кристо; он сказал несколько слов по-арабски Али, стоявшему в коридоре, и взял Альбера под руку. Али закрыл дверь и встал перед ней; вокруг нубийца в коридоре образовалось целое сборище.

– Право, – сказал Монте-Кристо, – ваш Париж очень странный город, и ваши парижане удивительные люди. Можно подумать, что они в первый раз видят негра. Посмотрите, как они столпились около бедного Али, который не понимает, в чем дело. Смею вас заверить, что, если парижанин приедет в Тунис, Константинополь, Багдад или Каир, вокруг него нигде не соберется толпа.

– Это потому, что на Востоке люди обладают здравым смыслом и смотрят только на то, на что стоит смотреть, – но, поверьте, Али

пользуется таким успехом только потому, что принадлежит вам, а вы сейчас самый модный человек в Париже.

– В самом деле? А чему я обязан этим счастьем?

– Да самому себе. Вы дарите запряжки в тысячу луидоров; вы спасаете жизнь женам королевских прокуроров; под именем майора Блэка вы посылаете на скачки кровных скакунов и жокеев ростом с обезьяну уистити; наконец, вы выигрываете золотые кубки и посылаете их хорошеньким женщинам.

– Кто это рассказал вам все эти басни?

– Первую – госпожа Данглар, которой до смерти хочется видеть вас в своей ложе, или, вернее, чтобы другие вас там видели; вторую – газета Бошана; а третью – моя собственная догадливость. Зачем вы называете свою лошадь Вампа, если хотите сохранить инкогнито?

– Да, действительно, – сказал граф, – это было неосторожно. Но скажите, разве граф де Морсер не бывает в Опере? Я внимательно смотрел, но нигде не видел его.

– Он будет сегодня.

– Где?

– Думаю, что в ложе баронессы.

– Эта очаровательная особа рядом с нею, вероятно, ее дочь?

– Да.

– Позвольте поздравить вас.

Альбер улыбнулся:

– Мы поговорим об этом подробнее в другой раз. Как вам нравится музыка?

– Какая музыка?

– Да та, которую мы сейчас слышали.

– Превосходная музыка, если принять во внимание, что ее сочинил человек и исполняют двуногие и бескрылые птицы, как говорил покойный Диоген.

– Вот как, дорогой граф? Можно подумать, что при желании вы можете услаждать ваш слух пением семи ангельских хоров?

– Почти что так, виконт. Когда мне хочется послушать восхитительную музыку, такую, которой никогда не слышало ухо смертного, я засыпаю.

– Ну, так вы попали как раз в надлежащее место; спите на здоровье, дорогой граф, опера для того и создана.

– Нет, говоря откровенно, ваш оркестр производит слишком много шуму. Чтобы спать тем сном, о котором я вам говорю, мне нужны покой и тишина и, кроме того, некоторая подготовка...

– Знаменитый гашиш?

– Вот именно. Виконт, когда вам захочется послушать музыку, приходите ко мне ужинать.

– Я уже слушал ее, когда завтракал у вас.

– В Риме?

– Да.

– А, это была лютня Гайде. Да, бедная изгнанница иногда развлекается тем, что играет мне песни своей родины.

Альбер не стал расспрашивать, замолчал и граф.

В эту минуту раздался звонок.

– Вы меня извините? – сказал граф, направляясь к своей ложе.

– Помилуйте.

– Прошу вас передать графине Г. привет от ее вампира.

– А баронессе?

– Передайте, что, если она разрешит, я в течение вечера буду иметь честь засвидетельствовать ей свое почтение.

Начался третий акт. Во время этого акта граф де Морсер, согласно своему обещанию, явился в ложу г-жи Данглар.

Граф был не из тех людей, которые приводят в смятение зрительную залу, так что никто, кроме тех, кто сидел в той же ложе, не заметил его появления.

Монте-Кристо все же заметил его, и легкая улыбка пробежала по его губам.

Что касается Гайде, то, чуть только поднимали занавес, она ничего уже не видела вокруг. Как все непосредственные натуры, ее увлекало все, что говорит слуху и зрению.

Третий акт прошел как всегда; балерины Нобле, Жюлиа и Леру проделали свои обычные антраша; Роберт-Марио бросил вызов принцу Гренадскому; наконец, величественный король, держа за руку дочь, прошелся по сцене, чтобы показать зрителям свою бархатную мантию; после чего занавес упал, и публика рассеялась по фойе и коридорам.

Граф вышел из своей ложи и через несколько секунд появился в ложе баронессы Данглар.

Баронесса не могла удержаться от возгласа радостного удивления.

– Ах, граф, как я рада вас видеть! – воскликнула она. – Мне так хотелось поскорее присоединить мою устную благодарность к той записке, которую я вам послала.

– Неужели вы еще помните об этой безделице, баронесса? Я уже совсем забыл о ней.

– Да, но нельзя забыть, что на следующий день вы спасли моего дорогого друга, госпожу де Вильфор, от опасности, которой она подвергалась из-за тех же самых лошадей.

– И за это я не заслуживаю вашей благодарности, сударыня; эту услугу имел счастье оказать госпоже де Вильфор мой нубиец Али.

– А моего сына от рук римских разбойников тоже спас Али? – спросил граф де Морсер.

– Нет, граф, – сказал Монте-Кристо, пожимая руку, которую ему протягивал генерал, – нет; на этот раз я принимаю благодарность, но ведь вы уже высказали мне ее, я ее выслушал, и, право, мне совестно, что вы еще вспоминаете об этом. Пожалуйста, окажите мне честь, баронесса, и представьте меня вашей дочери.

– Она уже знает вас, по крайней мере по имени, потому что вот уже несколько дней мы только о вас и говорим. Эжени, – продолжала баронесса, обращаясь к дочери, – это граф Монте-Кристо!

Граф поклонился; мадемуазель Данглар слегка кивнула головой.

– С вами в ложе сидит замечательная красавица, граф, – сказала она, – это ваша дочь?

– Нет, мадемуазель, – сказал Монте-Кристо, удивленный этой бесконечной наивностью или поразительным апломбом, – это

несчастная албанка; я ее опекун.

– И ее зовут?

– Гайде, – отвечал Монте-Кристо.

– Албанка! – пробормотал граф де Морсер.

– Да, граф, – сказала ему г-жа Данглар, – и скажите, видали вы когда-нибудь при дворе Али-Тебелина, которому вы так славно служили, такой чудесный костюм, как у нее?

– Так вы служили в Янине, граф? – спросил Монте-Кристо.

– Я был генерал-инспектором войск паши, – отвечал Морсер, – и не скрою, тем незначительным состоянием, которым я владею, я обязан щедротам знаменитого албанского владыки.

– Да взгляните же на нее, – настаивала г-жа Данглар.

– Где она? – пробормотал Морсер.

– Вот! – сказал Монте-Кристо.

И, положив руку графу на плечо, он наклонился с ним через барьер ложи.

В эту минуту Гайде, искавшая глазами графа, заметила его бледное лицо рядом с лицом Морсера, которого он держал, обняв за плечо. Это зрелище произвело на молодую девушку такое же впечатление, как если бы она увидела голову Медузы; она наклонилась немного вперед, словно впиваясь в них взглядом, потом сразу же откинулась назад, испустив слабый крик, все же услышанный ближайшими соседями и Али, который немедленно открыл дверь.

– Посмотрите, – сказала Эжени, – что случилось с вашей питомицей, граф? Ей, кажется, дурно.

– В самом деле, – отвечал граф, – но вы не пугайтесь. Гайде очень нервна и поэтому очень чувствительна ко всяким запахам: антипатичный ей запах уже вызывает у нее обморок, но, – продолжал граф, вынимая из кармана флакон, – у меня есть средство от этого.

И, поклонившись баронессе и ее дочери, он еще раз пожал руку графу и Дебрэ и вышел из ложи г-жи Данглар.

Вернувшись в свою ложу, он нашел Гайде еще очень бледной; не успел он войти, как она схватила его за руку.

Монте-Кристо заметил, что руки молодой девушки влажны и холодны как лед.

– С кем это ты разговаривал, господин? – спросила она.

– Да с графом де Морсером, – отвечал Монте-Кристо, – он служил у твоего доблестного отца и говорит, что обязан ему своим состоянием.

– Негодяй! – воскликнула Гайде. – Это он продал его туркам, и его состояние – цена измены. Неужели ты этого не знал, мой дорогой господин?

– Я что-то слышал об этом в Эпире, – сказал Монте-Кристо, – но не знаю всех подробностей этой истории. Пойдем, дитя мое, ты мне все расскажешь, это, должно быть, очень любопытно.

– Да, да, уйдем, мне кажется, я умру, если еще останусь вблизи этого человека.

Гайде быстро встала, завернулась в свой бурнус из белого кашемира, вышитый жемчугом и кораллами, и поспешно вышла из ложи в ту минуту, как подымался занавес.

– Посмотрите, – сказала графиня Г. Альберу, который снова вернулся к ней, – этот человек ничего не делает так, как все! Он благоговейно слушает третий акт «Роберта» и уходит как раз в ту минуту, когда начинается четвертый.

# XVI. Биржевая игра

Через несколько дней после этой встречи Альбер де Морсер посетил графа Монте-Кристо в его особняке на Елисейских полях, уже принявшем тот дворцовый облик, который граф благодаря своему огромному состоянию придавал даже временным своим жилищам. Он явился еще раз выразить ему от имени г-жи Данглар признательность, уже однажды высказанную ею в письме, подписанном баронессой Данглар, урожденной Эрмини де Сервьер.

Альбера сопровождал Люсьен Дебрэ, присовокупивший к словам своего друга несколько любезностей, не носивших, конечно, официального характера, но источник которых не мог укрыться от наблюдательного взора графа. Ему даже показалось, что Люсьен приехал к нему движимый двойным любопытством и что половина этого чувства исходит от обитателей улицы Шоссе д'Антен. В самом деле, он, не боясь ошибиться, легко мог предположить, что г-жа Данглар, лишенная возможности увидеть собственными глазами, как живет человек, который дарит лошадей в тридцать тысяч франков и ездит в театр с невольницей, увешанной бриллиантами, поручила глазам, которым она имела обыкновение доверять, собрать кое-какие сведения о его домашней жизни.

Но граф не подал вида, что ему понятна связь этого визита Люсьена с любопытством баронессы.

– Вы часто встречаетесь с бароном Дангларом? – спросил он Альбера.

– Конечно, граф; вы же помните, что я вам говорил.

– Значит, все по-прежнему?

– Более чем когда-либо, – сказал Люсьен, – это дело решенное.

И находя, по-видимому, что он принял уже достаточное участие в разговоре, Люсьен вставил в глаз черепаховый монокль и, покусывая золотой набалдашник трости, начал обходить комнату, рассматривая оружие и картины.

– Но, судя по вашим словам, мне казалось, что окончательное решение еще не так близко, – сказал Монте-Кристо Альберу.

– Что поделаешь? Дела идут так быстро, что и не замечаешь этого; не думаешь о них, а они думают о тебе; и когда оглянешься, остается только удивляться, как далеко они зашли. Мой отец и господин Данглар вместе служили в Испании, мой отец в войсках, а господин Данглар по провиантской части. Именно там мой отец, разоренный революцией, положил начало своей недурной политической и военной карьере, а господин Данглар, никогда не обладавший достатком, – своей изумительной политической и финансовой карьере.

– В самом деле, – сказал Монте-Кристо, – я припоминаю, что господин Данглар, когда я у него был, рассказывал мне об этом. – Он взглянул на Люсьена, перелистывавшего альбом, и прибавил: – А ведь она хорошенькая, мадемуазель Эжени! Помнится, ее зовут Эжени, не так ли?

– Очень хорошенькая, или, вернее, очень красивая, – отвечал Альбер, – но я не ценитель этого рода красоты. Я недостоин!

– Вы говорите об этом, словно она уже ваша жена!

– Ох, – вздохнул Альбер, посмотрев, в свою очередь, чем занят Люсьен.

– Мне кажется, – сказал Монте-Кристо, понижая голос, – что вы не очень восторженно относитесь к этому браку.

– Мадемуазель Данглар, на мой взгляд, слишком богата, это меня пугает.

– Вот так причина! – отвечал Монте-Кристо. – Разве вы сами не богаты?

– У моего отца что-то около пятидесяти тысяч ливров годового дохода, и, когда я женюсь, он, вероятно, выделит мне тысяч десять или двенадцать.

– Конечно, это довольно скромно, – сказал граф, – особенно для Парижа, но богатство еще не все – знатное имя и положение в обществе тоже что-нибудь да значат. У вас знаменитое имя, великолепное общественное положение; к тому же граф де Морсер – солдат, и приятно

видеть, когда неподкупность Байяра сочетается с бедностью Дюгесклена. Бескорыстие – тот солнечный луч, в котором ярче всего блещет благородный меч. Я, напротив, считаю этот брак как нельзя более подходящим; мадемуазель Данглар принесет вам богатство, а вы ей – благородное имя!

Альбер задумчиво покачал головой.

– Есть еще одно обстоятельство, – сказал он.

– Признаюсь, – продолжал граф, – мне трудно понять ваше отвращение к богатой и красивой девушке.

– Знаете, – сказал Морсер, – если это можно назвать отвращением, то я не один испытываю его.

– А кто же еще? Ведь вы говорили, что ваш отец желает этого брака.

– Моя мать, а у нее зоркий и верный глаз. И вот моей матери этот брак не нравится; у нее какое-то предубеждение против Дангларов.

– Ну, это понятно, – сказал граф, слегка натянутым тоном, – графиню де Морсер, олицетворение изысканности, аристократичности, душевной тонкости, немного пугает прикосновение тяжелой и грубой плебейской руки, это естественно.

– Право, не знаю, так ли это, – отвечал Альбер, – но я знаю, что, если этот брак состоится, она будет несчастна. Уже полтора месяца назад решено было собраться, чтобы обсудить деловую сторону вопроса, но у меня начались такие мигрени...

– Подлинные? – спросил, улыбаясь, граф.

– Самые настоящие – вероятно, от страха... из-за них совещание отложили на два месяца. Вы понимаете, дело не к спеху: мне еще нет двадцати одного года, и Эжени только семнадцать, но двухмесячная отсрочка истекает на будущей неделе. Придется выполнить обязательство. Вы не можете себе представить, дорогой граф, как это меня смущает... Ах, как вы счастливы, что вы свободный человек!

– Да кто же вам мешает быть тоже свободным?

– Для моего отца было бы слишком большим разочарованием, если бы я не женился на мадемуазель Данглар.

– Ну так женитесь на ней, – сказал граф, как-то особенно передернув плечами.

– Да, – возразил Альбер, – но для моей матери это будет уже не разочарованием, а горем.

– Тогда не женитесь, – сказал граф.

– Я подумаю, я попытаюсь; вы не откажете мне в советах, правда? Может быть, вы могли бы выручить меня? Знаете, чтобы не огорчать мою матушку, я, пожалуй, пойду на ссору с отцом.

Монте-Кристо отвернулся; он казался взволнованным.

– Чем это вы занимаетесь, – обратился он к Дебрэ, который сидел в глубоком кресле на другом конце гостиной, держа в правой руке карандаш, а в левой записную книжку, – срисовываете Пуссена?

– Срисовываю? Как бы не так! – спокойно отвечал тот. – Я для этого слишком люблю живопись! Нет, я делаю как раз обратное, я подсчитываю.

– Подсчитываете?

– Да, я произвожу расчеты; это косвенно касается и вас, виконт; я подсчитываю, что заработал банк Данглара на последнем повышении Гаити; в три дня акции поднялись с двухсот шести до четырехсот девяти, а предусмотрительный банкир купил большую партию по двести шесть. По моим расчетам, он должен был заработать тысяч триста.

– Это еще не самое удачное его дело, – сказал Альбер, – заработал же он в этом году миллион на испанских облигациях.

– Послушайте, дорогой мой, – заметил Люсьен, – граф Монте-Кристо мог бы вам ответить вместе с итальянцами:

Danaro e santita —
Metá della metá.[46]

И это еще слишком много. Так что, когда мне рассказывают что-нибудь в этом роде, я только пожимаю плечами.

– Но ведь вы сами рассказали о Гаити, – сказал Монте-Кристо.

– Гаити – другое дело; Гаити – это биржевое экарте. Можно любить бульот, увлекаться вистом, обожать бостон и все же наконец остыть к ним; но экарте никогда не теряет своей прелести – это приправа. Итак, Данглар продал вчера по четыреста шесть и положил в карман триста тысяч франков; подожди он до сегодня, бумаги снова упали бы до двухсот пяти, и вместо того чтобы выиграть триста тысяч франков, он потерял бы тысяч двадцать – двадцать пять.

– А почему они упали с четырехсот девяти до двухсот пяти? – спросил Монте-Кристо. – Прошу извинить меня, но я полный невежда во всех этих биржевых интригах.

– Потому, – смеясь, ответил Альбер, – что известия чередуются и не совпадают.

– Черт возьми! – воскликнул граф. – Так господин Данглар рискует в один день выиграть или проиграть триста тысяч франков? Значит, он несметно богат?

– Играет вовсе не он, а госпожа Данглар, – живо воскликнул Люсьен, – это удивительно смелая женщина.

– Но ведь вы благоразумный человек, Люсьен, и, находясь у самого первоисточника, отлично знаете цену известиям; вам следовало бы останавливать ее, – заметил с улыбкой Альбер.

– Как я могу, когда даже ее мужу это не удается? – спросил Люсьен. – Вы знаете характер баронессы: она не поддается ничьему влиянию и делает только то, что захочет.

– Ну, будь я на вашем месте... – сказал Альбер.

– Что тогда?

– Я бы излечил ее; это была бы большая услуга ее будущему зятю.

– Каким образом?

– Очень просто. Я дал бы ей урок.

– Урок?

– Да. Ваше положение личного секретаря министра делает вас авторитетом в отношении всякого рода новостей, вам стоит только открыть рот, как все ваши слова немедленно стенографируются

биржевиками; заставьте ее раз за разом проиграть тысяч сто франков, и она станет осторожнее.

– Я не понимаю вас, – пробормотал Люсьен.

– А между тем это очень ясно, – отвечал с неподдельным чистосердечием Альбер, – сообщите ей в одно прекрасное утро что-нибудь неслыханное, – телеграмму, содержание которой может быть известно только вам; ну, например, что накануне у Габриэль видели Генриха Четвертого, это вызовет повышение на бирже, она захочет воспользоваться этим и, несомненно, проиграет, когда на следующий день Бошан напечатает в своей газете:

«Утверждение осведомленных людей, будто бы короля Генриха Четвертого видели третьего дня у Габриэль, не соответствует действительности; этот факт никогда не имел места; король Генрих Четвертый не покидал Нового моста».

Люсьен кисло усмехнулся. Монте-Кристо, сидевший во время этого разговора с безучастным видом, не пропустил, однако, ни слова, и от его проницательного взора не укрылось тайное смущение личного секретаря.

Вследствие этого смущения, совершенно не замеченного Альбером, Люсьен сократил свой визит. Ему было явно не по себе. Провожая его, граф сказал ему, понизив голос, несколько слов, и тот ответил:

– Очень охотно, граф, я согласен.

Граф вернулся к молодому Морсеру.

– Не находите ли вы, по зрелом размышлении, – сказал он ему, – что при господине Дебрэ вам не следовало так говорить о вашей теще?

– Прошу вас, граф, – сказал Морсер, – не употребляйте раньше времени это слово.

– В самом деле, без преувеличения, графиня до такой степени настроена против этого брака?

– До такой степени, что баронесса очень редко бывает у нас, а моя мать, я думаю, и двух раз в жизни не была у госпожи Данглар.

– В таком случае, – сказал граф, – я решаюсь говорить с вами откровенно: господин Данглар – мой банкир, господин де Вильфор

осыпал меня любезностями в ответ на услугу, которую счастливый случай помог мне ему оказать. Поэтому я предвижу целую лавину званых обедов и раутов. А для того чтобы не казалось, будто я высокомерно всем этим пренебрегаю, и даже, если угодно, чтобы самому предупредить других, я приглашаю на мою виллу в Отейле господина и госпожу Данглар, господина и госпожу де Вильфор. Если я к этому обеду приглашу вас, так же как графа и графиню де Морсер, то не будет ли это похоже на какую-то встречу перед свадьбой? По крайней мере не покажется ли так графине де Морсер, особенно если барон Данглар окажет мне честь привезти с собой свою дочь? Графиня может тогда меня возненавидеть, а я ни в коем случае не желал бы этого; наоборот – и прошу вас при случае ее в этом заверить, – я очень дорожу ее хорошим мнением обо мне.

– Поверьте, граф, – отвечал Морсер, – я вам очень признателен за вашу откровенность и согласен не присутствовать на вашем обеде. Вы говорите, что дорожите мнением моей матери, – так ведь она прекрасно к вам относится.

– Вы так думаете? – с большим интересом спросил Монте-Кристо.

– Я в этом убежден. После того как вы у нас были, мы целый час о вас беседовали; но вернемся к нашему разговору. Так вот, если бы моя мать узнала о вашем внимании по отношению к ней – а я возьму на себя смелость ей об этом рассказать, – я уверен, она была бы вам чрезвычайно признательна. Правда, отец пришел бы в ярость.

Граф рассмеялся.

– Ну вот, – сказал он Альберу, – теперь вы знаете, как обстоит дело. Кстати, не только ваш отец будет взбешен: господин и госпожа Данглар будут смотреть на меня, как на крайне невоспитанного человека. Они знают, что мы видимся с вами запросто, что в Париже вы мой самый старый знакомый, и вдруг вас не будет у меня на обеде; они меня спросят, почему я вас не пригласил. Попытайтесь по крайней мере заручиться заранее сколько-нибудь правдоподобным приглашением и предупредите меня об этом запиской. Вы же знаете, для банкиров только письменные доказательства имеют значение.

– Я сделаю лучше, граф, – сказал Альбер. – Моя мать хочет поехать куда-нибудь подышать морским воздухом. На какой день назначен ваш обед?

– На субботу.

– Прекрасно. Сегодня у нас вторник. Мы уедем завтра вечером, а послезавтра будем в Трепоре. Знаете, граф, это страшно мило с вашей стороны, что вы позволяете людям не стесняться.

– Право, вы меня переоцениваете; мне просто хочется быть вам приятным.

– Когда вы разослали ваши приглашения?

– Сегодня.

– Отлично! Я сейчас же отправлюсь к Данглару и сообщу ему, что мы с матерью завтра покидаем Париж. Я с вами не виделся, следовательно, ничего не знаю о вашем обеде.

– Опомнитесь! А Дебрэ, который только что видел вас у меня!

– Да, правда.

– Напротив, я вас видел и здесь же, без всякой официальности, пригласил, а вы мне чистосердечно ответили, что не можете быть моим гостем, потому что уезжаете в Трепор.

– Ну вот, так и решим. Но, может быть, вы навестите мою мать до ее отъезда?

– До ее отъезда это довольно трудно сделать; кроме того, я помешаю вашим сборам.

– Ну так сделайте еще лучше! До сих пор вы были только очаровательным человеком, заслужите наше обожание.

– Что я должен сделать, чтобы достичь этого совершенства?

– Что вы должны сделать?

– Да, я хочу знать.

– Вы сегодня, кажется, свободны; поедем к нам обедать; мы будем совсем одни, вы, матушка и я. Вы видели графиню только мельком; теперь вы познакомитесь с ней ближе. Это удивительная женщина, и я жалею только о том, что на свете не существует второй такой же, но моложе лет на двадцать; клянусь, что очень скоро, кроме графини де

Морсер, появилась бы еще и виконтесса де Морсер. Моего отца вы не увидите; у него сегодня комиссия, и он обедает у референдария. Поедем поговорим о путешествиях. Вы видели весь мир – расскажите нам о своих приключениях, расскажите историю той красавицы албанки, которая была с вами в Опере и которую вы называете вашей невольницей, а обращаетесь с ней, как с принцессой. Мы будем говорить, по-итальянски, по-испански. Да соглашайтесь же! Графиня будет вам признательна.

– Я вам очень благодарен, – отвечал граф, – предложение ваше как нельзя более лестно для меня, и я очень сожалею, что не могу его принять. Вы напрасно думаете, что я свободен: у меня, напротив, чрезвычайно важное свидание.

– Берегитесь, вы только что научили меня, как можно избавиться от неприятного обеда. Мне нужны доказательства. Я, к счастью, не банкир, как Данглар, но предупреждаю вас: я так же недоверчив, как и он.

– Так я дам вам доказательства, – сказал граф.

И он позвонил.

– Однако вы уже второй раз отказываетесь пообедать у моей матери, граф, – сказал Морсер. – Видимо, у вас есть на то основания.

Монте-Кристо вздрогнул.

– Я надеюсь, что вы этого не думаете, – сказал он, – кстати, вот идет мое доказательство.

Вошел Батистен и остановился у двери.

– Ведь я не был предупрежден о вашем посещении, не так ли?

– Как сказать! Вы такой необыкновенный человек, что я не поручусь.

– Во всяком случае, я не мог предвидеть, что вы пригласите меня обедать.

– Ну, это, пожалуй, верно.

– Прекрасно. Послушайте, Батистен, что я вам сказал сегодня утром, когда позвал к себе в кабинет?

– Не принимать никого, кто приедет к вашему сиятельству после пяти часов.

– А затем?

– Но, граф... – начал Альбер.

– Нет, нет, я во что бы то ни стало хочу избавиться от той таинственной репутации, которую вы мне создали, дорогой виконт. Слишком тягостно всегда изображать Манфреда. Я хочу жить на виду у всех. Затем?.. Продолжайте, Батистен.

– Затем принять только господина майора Бартоломео Кавальканти с сыном.

– Вы слышите: майора Бартоломео Кавальканти, отпрыска одного из древнейших родов Италии, генеалогией которого соблаговолил заняться сам Данте... как вы помните, а может быть, и не помните, в десятой песне «Ада»; и, кроме того, его сына, очень милого молодого человека ваших лет, виконт, и носящего тот же титул; он вступает в парижское общество, опираясь на миллионы своего отца. Майор приведет ко мне сегодня своего сына – контино, как говорят у нас в Италии. Он мне его поручает. Я буду направлять его, если он того стоит. Вы поможете мне, хорошо?

– Разумеется! Так этот майор Кавальканти – ваш старый друг? – спросил Альбер.

– Ничуть; это очень достойный господин, очень вежливый, очень скромный, очень тактичный, таких в Италии великое множество, это потомки захиревших старинных родов. Я несколько раз встречался с ним и во Флоренции, и в Болонье, и в Лукке, и он известил меня о своем приезде сюда. Дорожные знакомые – очень требовательные люди: они повсюду ждут от вас того дружелюбного отношения, которое вы к ним однажды случайно проявили, как будто у культурного человека, который умеет со всяким провести приятный час, не бывает скрытых побуждений! Добрейший майор Кавальканти собирается снова взглянуть на Париж, который он видел только проездом, во времена Империи, отправляясь замерзать в Москву. Я угощу его хорошим обедом; он мне поручит своего сына, я пообещаю присмотреть за ним и предоставлю ему развлекаться, как ему вздумается; таким образом, мы будем квиты.

– Чудесно! – сказал Альбер. – Я вижу, вы неоценимый наставник. Итак, до свидания; мы вернемся в воскресенье. Кстати, я получил письмо от Франца.

– Вот как! – сказал Монте-Кристо. – Он по-прежнему доволен Италией?

– Мне кажется, да; но он жалеет о вашем отсутствии... Он говорит, что вы были солнцем Рима и что без вас там пасмурно. Я даже не поручусь, не утверждает ли он, что там идет дождь.

– Значит, ваш друг изменил свое мнение обо мне?

– Напротив, он продолжает утверждать, что вы прежде всего – существо фантастическое; поэтому он и жалеет о вашем отсутствии.

– Очень приятный человек! – сказал Монте-Кристо. – Я почувствовал к нему живейшую симпатию в первый же вечер нашего знакомства, когда он был занят поисками ужина и любезно согласился поужинать со мной. Если не ошибаюсь, он сын генерала д'Эпине?

– Совершенно верно.

– Того самого, которого так подло убили в тысяча восемьсот пятнадцатом году?

– Да, бонапартисты.

– Вот-вот! Право, он мне очень нравится. Не собираются ли женить и его?

– Да, он женится на мадемуазель де Вильфор.

– Это решено?

– Так же, как моя женитьба на мадемуазель Данглар, – смеясь, ответил Альбер.

– Вы смеетесь?..

– Да.

– Почему?

– Потому что мне кажется, что в этом браке столько же обоюдной симпатии, как в моем с мадемуазель Данглар. Но, право, граф, мы с вами болтаем о женщинах, совсем как женщины болтают о мужчинах; это непростительно!

Альбер встал.

– Вы уже уходите?

– Это мило! Уже два часа я вам надоедаю, и вы настолько любезны, что спрашиваете меня, ухожу ли я. Поистине, граф, вы самый вежливый

человек на свете! А как вышколены ваши слуги! Особенно Батистен. Я никогда не мог заполучить такого. У меня они всегда как будто подражают лакеям из Французского театра, которые именно потому, что им надо произнести одно только слово, всякий раз подходят для этого к самой рампе. Так что, если вы захотите расстаться с Батистеном, уступите его мне.

– Это решено, виконт.

– Подождите, это еще не все. Передайте, пожалуйста, мой привет вашему скромному приезжему из Лукки, синьору Кавальканти деи Кавальканти, и если бы оказалось, что он не прочь женить своего сына, постарайтесь найти ему жену, очень богатую, очень родовитую, хотя бы по женской линии, и баронессу по отцу. Я вам в этом помогу.

– Однако, – воскликнул Монте-Кристо, – неужели дело обстоит так?

– Да.

– Не зарекайтесь, мало ли что может случиться.

– Ах, граф, – воскликнул Морсер, – какую бы вы мне оказали услугу! Я на сто раз сильнее полюбил бы вас, если бы благодаря вам остался холостым, хотя бы еще десять лет!

– Все возможно, – серьезно ответил Монте-Кристо.

И, простившись с Альбером, он вернулся к себе и три раза позвонил.

Вошел Бертуччо.

– Бертуччо, – сказал он, – имейте в виду, что я в субботу принимаю гостей на моей вилле в Отейле.

Бертуччо слегка вздрогнул.

– Слушаю, ваше сиятельство, – сказал он.

– Вы мне необходимы, чтобы все как следует устроить, – продолжал граф. – Это прекрасный дом, или, во всяком случае, он может стать прекрасным.

– Для этого его надо целиком обновить, ваше сиятельство; обивка стен очень выцвела.

– Тогда перемените ее всюду, кроме спальни, обитой красным штофом; ее оставьте точно в таком же виде, как она есть.

Бертуччо поклонился.

– Точно так же ничего не трогайте в саду; зато со двором делайте все что хотите; мне было бы даже приятно, если бы он стал неузнаваем.

– Я сделаю все, что могу, чтобы угодить вашему сиятельству, но я был бы спокойнее, если бы ваше сиятельство соблаговолили дать мне указания относительно обеда.

– Право, дорогой Бертуччо, – сказал граф, – я нахожу, что с тех пор, как мы в Париже, вы не в своей тарелке, вы полны сомнений; разве вы разучились понимать меня?

– Но, может быть, ваше сиятельство, хотя бы сообщите мне, кого вы приглашаете?

– Я еще и сам не знаю, и вам тоже незачем знать. Лукулл обедает у Лукулла, вот и все.

Бертуччо поклонился и вышел.

# XVII. Майор Кавальканти

Ни граф, ни Батистен не лгали, сообщая Альберу о визите луккского майора, из-за которого Монте-Кристо отклонил приглашение на обед.

Только что пробило семь часов, и прошло уже два часа с тех пор, как Бертуччо, исполняя приказание графа, уехал в Отейль, когда у ворот остановился извозчик, и словно сконфуженный, немедленно отъехал, высадив человека лет пятидесяти двух, облаченного в один из тех зеленых сюртуков с черными шнурами, которые, по-видимому, никогда не переведутся в Европе. На приехавшем были также широкие синие суконные панталоны, высокие, еще довольно новые, хоть и несколько тусклые сапоги на слишком, пожалуй, толстой подошве, замшевые перчатки, шляпа, напоминающая головной убор жандарма, и черный воротник с белой выпушкой, который можно было бы принять за железный ошейник, если бы владелец не носил его по доброй воле. Личность в таком живописном костюме позвонила у калитки, осведомилась, живет ли в доме № 30 по авеню Елисейских полей граф Монте-Кристо, и, после утвердительного ответа привратника, вошла в калитку, закрыла ее за собой и направилась к крыльцу.

Батистен, заранее получивший подробное описание внешности посетителя и ожидавший его в вестибюле, узнал его по маленькой острой голове, седеющим волосам и густым белым усам, – и не успел тот назвать себя расторопному камердинеру, как уже о его прибытии было доложено Монте-Кристо.

Чужестранца ввели в самую скромную из гостиных. Граф уже ожидал его там и, улыбаясь, пошел ему навстречу.

– А, любезный майор, – сказал он, – добро пожаловать. Я вас ждал.

– Неужели? – спросил приезжий из Лукки. – Ваше сиятельство меня ждали?

– Да, я был предупрежден, что вы явитесь ко мне сегодня в семь часов.

– Что я к вам явлюсь? Предупреждены?

– Вот именно.

– Тем лучше; по правде говоря, я боялся, что забудут принять эту предосторожность.

– Какую?

– Предупредить вас.

– О нет!

– Но вы уверены, что не ошибаетесь?

– Уверен.

– Ваше сиятельство сегодня в семь часов ждали именно меня?

– Именно вас. Впрочем, мы можем проверить.

– Нет, если вы меня ждали, – сказал приезжий из Лукки, – тогда не стоит.

– Но почему же? – возразил Монте-Кристо.

Приезжий из Лукки, казалось, слегка встревожился.

– Послушайте, – сказал Монте-Кристо, – ведь вы маркиз Бартоломео Кавальканти?

– Бартоломео Кавальканти, – обрадованно повторил приезжий из Лукки, – совершенно верно.

– Отставной майор австрийской армии?

– Разве я был майором? – робко осведомился старый воин.

– Да, – сказал Монте-Кристо, – вы были майором. Так называют во Франции тот чин, который вы носили в Италии.

– Хорошо, – ответил приезжий из Лукки, – мне-то, вы понимаете, безразлично...

– Впрочем, вы приехали сюда не по собственному побуждению, – продолжал Монте-Кристо.

– Ну еще бы!

– Вас направили ко мне?

– Да.

– Добрейший аббат Бузони?

– Да, да, – радостно воскликнул майор.

– И вы привезли с собой письмо?

– Вот оно.

– Ну, вот видите! Давайте сюда!

И Монте-Кристо взял письмо, распечатал его и прочел. Майор смотрел на графа выпученными, удивленными глазами; взгляд его с любопытством окидывал комнату, но неизменно возвращался к ее владельцу.

– Так оно и есть... аббат пишет... «майор Кавальканти, знатный луккский патриций, потомок флорентийских Кавальканти, – продолжал, пробегая глазами письмо, Монте-Кристо, – обладающий годовым доходом в полмиллиона...»

Монте-Кристо поднял глаза от письма и отвесил поклон.

– Полмиллиона! – сказал он. – Черт возьми, дорогой господин Кавальканти!

– Разве там написано полмиллиона? – спросил приезжий из Лукки.

– Черным по белому: так оно, несомненно, и есть; аббат Бузони лучше, чем кто бы то ни было, осведомлен о всех крупных состояниях в Европе.

– Что ж, пусть будет полмиллиона, – сказал приезжий из Лукки, – но, честное слово, я не думал, что цифра будет так велика.

– Потому что ваш управляющий вас обкрадывает; что поделаешь, дорогой господин Кавальканти, это наш общий удел!

– Вы открыли мне глаза, – серьезно заметил приезжий из Лукки, – придется прогнать негодяя.

Монте-Кристо продолжал:

– «Для полного счастья ему недостает только одного».

– Боже мой, да! Только одного! – сказал со вздохом приезжий из Лукки.

– «Найти обожаемого сына».

– Обожаемого сына!

– «Похищенного в детстве врагом его благородной семьи или цыганами».

– В пятилетнем возрасте, сударь! – сказал с тяжким вздохом приезжий из Лукки, возводя глаза к небу.

– Несчастный отец! – сказал Монте-Кристо. Потом продолжал читать: – «Я вернул ему надежду, я вернул ему жизнь, граф, сообщив, что вы

можете помочь ему найти сына, которого он тщетно ищет вот уже пятнадцать лет».

Приезжий из Лукки взглянул на Монте-Кристо с каким-то смутным беспокойством.

– Я могу это сделать, – ответил Монте-Кристо.

Майор выпрямился.

– А, – сказал он, – значит, все в письме оказалось правдой?

– Неужели вы сомневались в этом, дорогой господин Бартоломео?

– Нет, нет, ни одной минуты! Что вы! Такой серьезный человек, в духовном сане, как аббат Бузони, не позволил бы себе подобной шутки, но вы еще не все прочли, ваше сиятельство.

– Ах да, – сказал Монте-Кристо, – имеется еще приписка.

– Да... – повторил приезжий из Лукки, – приписка...

– «Чтобы не затруднять майора Кавальканти переводом денег из одного банка в другой, я посылаю ему на путевые расходы чек на две тысячи франков и перевожу на него сумму в сорок восемь тысяч франков, которую вы оставались мне должны».

Майор с видимой тревогой следил за чтением этой приписки.

– Так, – сказал граф.

– Он сказал мне, – пробормотал приезжий из Лукки. – Так что... граф... – продолжал он.

– Так что? – спросил Монте-Кристо.

– Так что приписка...

– Что приписка?..

– Принята вами так же благосклонно, как и все письмо?

– Разумеется. У нас свои счеты с аббатом Бузони; я в точности не помню, должен ли я ему именно сорок восемь тысяч ливров, но несколько лишних ассигнаций в ту или другую сторону нас не обеспокоят. А что, вы придавали большое значение этой приписке, дорогой господин Кавальканти?

– Должен вам признаться, – отвечал приезжий из Лукки, – что, вполне доверяя подписи аббата Бузони, я не запасся другими деньгами; так что,

если бы мои надежды на эту сумму не оправдались, я оказался бы в Париже в очень затруднительном положении.

– Полно, разве такой человек, как вы, может где-либо попасть в затруднительное положение? – сказал Монте-Кристо.

– Но если никого не знаешь... – заметил приезжий из Лукки.

– Зато вас все знают.

– Да, меня знают, так что...

– Я вас слушаю, дорогой господин Кавальканти.

– Так что вы вручите мне эти сорок восемь тысяч ливров?

– По первому вашему требованию.

Майор вытаращил глаза от изумления.

– Да присядьте же, пожалуйста, – сказал Монте-Кристо, – право, я не знаю, что со мной... Я держу вас на ногах уже четверть часа.

– Помилуйте!

Майор придвинул кресло и сел.

– Разрешите что-нибудь предложить вам, – сказал граф, – рюмку хереса, портвейна, аликанте?

– Аликанте, если позволите; это мое любимое вино.

– У меня найдется отличное. И кусочек бисквита, не правда ли?

– И кусочек бисквита, раз уж вы настаиваете.

Монте-Кристо позвонил. Явился Батистен.

Граф подошел к нему.

– Ну что?.. – тихо спросил он.

– Молодой человек уже здесь, – ответил так же тихо камердинер.

– Отлично; куда вы его провели?

– В голубую гостиную, как велели ваше сиятельство.

– Превосходно. Подайте бутылку аликанте и бисквиты.

Батистен вышел.

– Право, сударь, – заметил приезжий из Лукки, – я очень смущен, что доставляю вам столько хлопот.

– Ну что вы! – сказал Монте-Кристо.

Батистен вернулся, неся вино, рюмки и бисквиты.

Граф наполнил одну рюмку, а в другую налил только несколько капель того жидкого рубина, который заключала в себе бутылка, вся покрытая паутиной и прочими признаками, красноречивее свидетельствующими о возрасте вина, чем морщины о годах человека.

Майор не ошибся в выборе: он взял полную рюмку и бисквит.

Граф приказал Батистену поставить поднос рядом с гостем, который сначала едва пригубил вино, потом сделал одобрительную гримасу и осторожно обмакнул в рюмку бисквит.

– Итак, сударь, – сказал Монте-Кристо, – вы жили в Лукке, были богатым человеком, благородного происхождения, пользовались всеобщим уважением, у вас было все, чтобы быть счастливым?

– Все, ваше сиятельство, – отвечал майор, поглощая бисквит, – решительно все.

– И для полного счастья вам недоставало только одного?

– Только одного, – ответил приезжий из Лукки.

– Найти вашего сына?

– Ах, – сказал почтенный майор, беря второй бисквит, – этого мне очень не хватало.

Он поднял глаза к небу и сделал попытку вздохнуть.

– Теперь скажите, дорогой господин Кавальканти, – сказал Монте-Кристо, – что это за сын, о котором вы так тоскуете? Ведь мне говорили, что вы холостяк.

– Все это думали, – отвечал майор, – и я сам...

– Да, – продолжал Монте-Кристо, – и вы сами не опровергали этого слуха. Грех юности, который вы хотели скрыть.

Приезжий из Лукки выпрямился в своем кресле, принял самый спокойный и почтенный вид и при этом скромно опустил глаза – не то для того, чтобы чувствовать себя увереннее, не то, чтобы помочь своему воображению; в то же время он исподлобья поглядывал на графа, чья застывшая на губах улыбка свидетельствовала все о том же доброжелательном любопытстве.

– Да, сударь, – сказал он, – я хотел скрыть эту ошибку.

– Не ради себя, – сказал Монте-Кристо, – мужчинам это не ставится в вину.

– Нет, разумеется, не ради себя, – сказал майор, с улыбкой качая головой.

– Но ради его матери, – сказал граф.

– Ради его матери! – воскликнул приезжий из Лукки, принимаясь за третий бисквит. – Ради его бедной матери!

– Да пейте же, пожалуйста, дорогой господин Кавальканти, – сказал Монте-Кристо, наливая гостю вторую рюмку аликанте. – Волнение душит вас.

– Ради его бедной матери! – прошептал приезжий из Лукки, пытаясь силой воли воздействовать на слезную железу, дабы увлажнить глаза притворной слезой.

– Она принадлежала, насколько я помню, к одному из знатнейших семейств в Италии?

– Патрицианка из Фьезоле, граф!

– И ее звали?..

– Вы желаете знать ее имя?

– Бог мой, – сказал Монте-Кристо, – можете не говорить; оно мне известно.

– Вашему сиятельству известно все, – сказал с поклоном приезжий из Лукки.

– Олива Корсинари, не правда ли?

– Олива Корсинари!

– Маркиза?

– Маркиза!

– И, несмотря на противодействие семьи, вам в конце концов удалось жениться на ней?

– В конце концов удалось.

– И вы привезли с собой все необходимые документы? – продолжал Монте-Кристо.

– Какие документы? – спросил приезжий из Лукки.

– Да ваше брачное свидетельство и метрику сына.

– Метрику сына?

– Метрику Андреа Кавальканти, вашего сына; разве его зовут не Андреа?

– Кажется, да, – сказал приезжий из Лукки.

– То есть как это кажется?

– Видите, я не смею этого утверждать, он так давно исчез.

– Вы правы, – сказал Монте-Кристо. – Но документы у вас с собой?

– Граф, я должен вам с прискорбием заявить, что, не будучи предупрежден о необходимости запастись этими документами, я не позаботился взять их с собою.

– Черт возьми! – сказал Монте-Кристо.

– Разве они так нужны?

– Необходимы!

Приезжий из Лукки почесал лоб.

– А, per Bacco! – сказал он. – Необходимы!

– Разумеется, а вдруг здесь возникнут какие-нибудь сомнения в том, действителен ли ваш брак, законно ли рождение вашего сына?

– Вы правы, могут возникнуть сомнения.

– Вашему сыну это было бы крайне неприятно.

– Это было бы для него роковым ударом.

– Из-за этого он может потерять великолепную невесту.

– O, peccato![47]

– Во Франции, понимаете ли, на это смотрят строго; здесь нельзя, как в Италии, пойти к священнику и заявить: «Мы любим друг друга, повенчайте нас». Во Франции установлен гражданский брак, а для совершения гражданского брака нужны документы, удостоверяющие личность.

– Вот беда, у меня нет этих документов.

– Хорошо, что они есть у меня, – сказал Монте-Кристо.

– У вас?

– Да.

– Они у вас есть?

– Есть.

– Вот уж действительно, – сказал приезжий из Лукки, который, видя, что отсутствие бумаг лишает его путешествие всякого смысла, испугался, как бы это упущение не вызвало затруднений в вопросе о сорока восьми тысячах, – вот уж действительно это большое счастье. Да, – продолжал он, – это большое счастье: ведь я об этом и не подумал.

– Еще бы, охотно вам верю; обо всем не подумаешь. Но на ваше счастье, аббат Бузони об этом подумал.

– Уж этот милый аббат!

– Предусмотрительный человек.

– Замечательный человек, – сказал приезжий из Лукки, – и он вам переслал их?

– Вот они.

Приезжий из Лукки в знак восхищения молитвенно сложил руки.

– Вы венчались с Оливой Корсинари в церкви Святого Павла в Монте-Каттини; вот удостоверение священника.

– Да, действительно, вот оно, – сказал майор, с удивлением разглядывая бумагу.

– А вот свидетельство о крещении Андреа Кавальканти, выданное священником в Саравецце.

– Все в порядке, – сказал майор.

– В таком случае возьмите эти бумаги, мне они не нужны; передайте их вашему сыну, у него они будут в сохранности.

– Еще бы!.. Если бы он их потерял...

– Да? Если бы он их потерял? – спросил Монте-Кристо.

– Ну, пришлось бы писать туда, – сказал приезжий из Лукки, – и очень долго доставать новые.

– Да, это было бы трудно, – сказал Монте-Кристо.

– Почти невозможно, – ответил приезжий из Лукки.

– Я очень рад, что вы понимаете ценность этих документов.

– Я считаю, что они просто неоценимы.

– Теперь, – сказал Монте-Кристо, – что касается матери молодого человека...

– Что касается матери молодого человека... – с беспокойством повторил майор.

– Что касается маркизы Корсинари...

– Боже мой! – сказал приезжий из Лукки, под ногами которого вырастали все новые препятствия, – неужели она может понадобиться?

– Нет, – сказал Монте-Кристо. – Впрочем, ведь она...

– Да, да... она...

– Отдала дань природе...

– Увы, да, – подхватил приезжий из Лукки.

– Я это знал, – продолжал Монте-Кристо, – уже десять лет, как она умерла.

– И я все еще оплакиваю ее смерть, – сказал приезжий из Лукки, вытаскивая из кармана клетчатый платок и вытирая сначала левый глаз, а затем правый.

– Что поделаешь, – сказал Монте-Кристо, – все мы смертны. Теперь вы понимаете, дорогой господин Кавальканти, что во Франции не к чему говорить о том, что вы были пятнадцать лет в разлуке с сыном. Все эти истории с цыганами, которые крадут детей, у нас не в моде. Он у вас воспитывался в провинциальном коллеже, а теперь вы желаете, чтобы он завершил свое образование в парижском свете. Поэтому вы и покинули Виа-Реджо, где вы жили после смерти вашей жены. Этого будет вполне достаточно.

– Вы так полагаете?

– Конечно.

– Тогда все прекрасно.

– Если бы откуда-нибудь возникли слухи об этой разлуке...

– Что же я тогда скажу?

– Что вероломный воспитатель, продавшийся врагам вашей семьи...

– То есть этим Корсинари?

– Конечно... похитил ребенка, чтобы ваш род угас.

– Правильно, ведь он единственный сын.

– А теперь, когда мы обо всем сговорились, когда вы освежили ваши воспоминания и они уже вас не подведут, вы, надеюсь, догадываетесь,

что я приготовил вам сюрприз?

– Приятный? – спросил приезжий из Лукки.

– Я вижу, – сказал Монте-Кристо, – что нельзя обмануть глаз и сердце отца.

– Гм! – пробормотал майор.

– Кто-нибудь уже проговорился вам или, вернее, вы догадались, что он здесь?

– Кто здесь?

– Ваше дитя, ваш сын, ваш Андреа.

– Я догадался, – ответил приезжий из Лукки с полным хладнокровием. – Так он здесь?

– Здесь, рядом, – сказал Монте-Кристо, – когда мой камердинер приходил сюда, он доложил мне о нем.

– Превосходно! Превосходно! – сказал майор, расправляя при каждом возгласе петлицы своей венгерки.

– Дорогой господин Кавальканти, – сказал Монте-Кристо, – ваше волнение мне понятно. Надо дать вам время прийти в себя; кроме того, я хотел бы приготовить к этой счастливой встрече и молодого человека, который, я полагаю, обуреваем таким же нетерпением, как и вы.

– Не сомневаюсь, – сказал Кавальканти.

– Ну так вот, через каких-нибудь четверть часа мы предстанем перед вами.

– Так вы приведете его ко мне? Вы так добры, что хотите сами мне его представить?

– Нет, я не хочу становиться между отцом и сыном; но не беспокойтесь: даже если бы голос крови безмолвствовал, вы не сможете ошибиться: он войдет в эту дверь. Это красивый молодой человек, белокурый, пожалуй, даже слишком белокурый, с приятными манерами; впрочем, вы сами увидите.

– Кстати, – сказал майор, – я, знаете ли, взял с собой только две тысячи франков, которые я получил через посредство добрейшего аббата Бузони. Часть из них я потратил на дорогу, и...

– И вам нужны деньги... это вполне естественно, дорогой господин Кавальканти. Вот вам для ровного счета восемь тысячефранковых билетов.

Глаза майора засверкали, как карбункулы.

– Значит, за мной еще сорок тысяч франков, – сказал Монте-Кристо.

– Может быть, ваше сиятельство желает получить расписку? – спросил майор, пряча деньги во внутренний карман своей венгерки.

– Зачем? – сказал граф.

– Да как оправдательный документ при ваших расчетах с аббатом Бузони.

– Вы дадите мне общую расписку, когда получите остальные сорок тысяч франков. Между честными людьми эти предосторожности излишни.

– Да, верно, между честными людьми, – сказал майор.

– Еще одно слово, маркиз.

– К вашим услугам.

– Вы разрешите мне дать вам небольшой совет?

– Еще бы! Прошу вас!

– Было бы неплохо, если бы вы расстались с этим сюртуком.

– В самом деле? – сказал майор, не без самодовольства оглядывая свое одеяние.

– Да, такие еще носят в Виа-Реджо, но в Париже, несмотря на всю свою элегантность, этот костюм уже давно вышел из моды.

– Это досадно, – сказал приезжий из Лукки.

– Ну, если он вам так нравится, вы его опять наденете при отъезде.

– Но что же я буду носить?

– То, что найдется у вас в чемоданах.

– Как в чемоданах? У меня с собой только дорожный мешок.

– При вас, разумеется. Какой смысл затруднять себя лишними вещами? К тому же старый воин любит ходить налегке.

– Вот потому-то...

– Но вы человек предусмотрительный и отправили свои вещи вперед. Они вчера прибыли в гостиницу Принцев, на улице Ришелье, где вы

заказали себе помещение.

– Значит, в чемоданах?..

– Я полагаю, вы распорядились, чтобы ваш камердинер уложил в них все необходимое: штатское платье, мундиры. В особо торжественных случаях надевайте мундир, это очень эффектно. Не забывайте ордена. Во Франции над ними посмеиваются, но все-таки носят.

– Прекрасно, прекрасно, прекрасно! – сказал майор, все более и более изумляясь.

– А теперь, – сказал Монте-Кристо, – когда ваше сердце закалено для глубоких волнений, приготовьтесь, господин Кавальканти, увидеть вашего сына Андреа.

И, с обворожительной улыбкой поклонившись восхищенному майору, Монте-Кристо исчез за портьерой.

# XVIII. Андреа Кавальканти

Граф Монте-Кристо вошел в гостиную, которую Батистен назвал голубой; там его уже ждал молодой человек, довольно изящно одетый, которого за полчаса до этого подвез к воротам особняка наемный кабриолет.

Батистен без труда узнал его: это был именно тот высокий молодой человек со светлыми волосами, рыжеватой бородкой и черными глазами, с ослепительно белой кожей, чью внешность Батистену описал его хозяин. В ту минуту, когда граф вошел в гостиную, молодой человек, небрежно развалясь на софе, рассеянно постукивал по башмаку тросточкой с золотым набалдашником.

Заметив входящего Монте-Кристо, он быстро поднялся.

– Граф Монте-Кристо? – спросил он.

– Да, – ответил тот, – и я, по-видимому, имею честь говорить с виконтом Андреа Кавальканти?

– С виконтом Андреа Кавальканти, – повторил молодой человек, непринужденно кланяясь.

– У вас должно быть адресованное мне письмо? – спросил Монте-Кристо.

– Я не упомянул о нем из-за подписи, она показалась мне довольно странной.

– Синдбад-мореход, не правда ли?

– Совершенно верно. А так как я никогда не слышал о другом Синдбаде-мореходе, кроме того, который описан в «Тысяче и одной ночи»...

– Так это один из его потомков, мой приятель, богатейший человек, англичанин, более чем оригинал, почти сумасшедший; его настоящее имя лорд Уилмор.

– А, теперь мне все понятно, – сказал Андреа. – Тогда все чудесно складывается. Это тот самый англичанин, с которым я познакомился... в... да, отлично... Граф, я к вашим услугам.

– Если то, что я имею честь слышать от вас, соответствует истине, – возразил с улыбкой граф, – то, надеюсь, вы не откажетесь сообщить мне некоторые подробности о себе и о своих родных.

– Охотно, граф, – отвечал молодой человек с легкостью, свидетельствовавшей о его хорошей памяти. – Я, как вы сами сказали, виконт Андреа Кавальканти, сын майора Бартоломео Кавальканти, потомок тех Кавальканти, что записаны в золотую книгу Флоренции. Наша семья до сих пор очень состоятельна, так как мой отец обладает полумиллионом годового дохода, но испытала много несчастий; я сам, когда мне было лет пять или шесть, был похищен предателем-гувернером и целых пятнадцать лет не видел своего родителя. С тех пор как я стал взрослым, с тех пор как я свободен и завишу только от себя, я разыскиваю его, но тщетно. И вот это письмо вашего друга Синдбада извещает меня, что он в Париже и разрешает мне обратиться к вам, чтобы узнать о нем.

– В самом деле, все, что вы рассказываете, чрезвычайно интересно, – сказал граф, глядя с мрачным удовольствием на развязного молодого человека, отмеченного какой-то сатанинской красотой. – Вы прекрасно сделали, что последовали совету моего друга Синдбада, потому что ваш отец здесь и разыскивает вас.

Граф, с той самой минуты как вошел в гостиную, не сводил глаз с молодого человека; он восхищался уверенностью его взгляда и твердостью его голоса, но при столь естественных словах, как: «Ваш отец здесь и разыскивает вас», Андреа подскочил и воскликнул:

– Мой отец! Мой отец здесь!

– Разумеется, – отвечал Монте-Кристо, – ваш отец майор Бартоломео Кавальканти.

Ужас, написанный на лице молодого человека, мгновенно исчез.

– Да, правда, – сказал он, – майор Бартоломео Кавальканти. Так вы говорите, граф, что мой дорогой отец здесь?

– Да, сударь. Мало того, я только что с ним разговаривал; все, что он мне рассказал о своем любимом сыне, давно потерянном, меня очень растрогало, поистине его страдания, его опасения, его надежды могли

бы составить трогательную поэму. И вот однажды его уведомили, что похитители его сына предлагают возвратить его или сообщить, где он находится, за довольно значительную сумму. Но ничто не могло остановить любящего отца; эта сумма была им отослана на пьемонтскую границу, и вместе с ней визированный паспорт для Италии. Вы, кажется, были в то время на юге Франции?

– Да, граф, – отвечал с несколько смущенным видом Андреа, – да, я был на юге Франции.

– Вас в Ницце должен был ожидать экипаж?

– Совершенно верно: он доставил меня из Ниццы в Геную; из Генуи в Турин, из Турина в Шамбери, из Шамбери в Пон-де-Бовуазен, из Пон-де-Бовуазена в Париж.

– Превосходно! Он все время надеялся встретить вас в пути, так как ехал той же дорогой, вот почему и для вас был намечен такой маршрут.

– Но, – заметил Андреа, – если бы мой дорогой отец меня и встретил, я сомневаюсь, чтобы он меня узнал; я несколько изменился, с тех пор как мы потеряли друг друга из виду.

– А голос крови! – сказал Монте-Кристо.

– Да, верно, – ответил молодой человек, – я не подумал о голосе крови!

– Одно только беспокоит маркиза Кавальканти, – продолжал Монте-Кристо, – а именно: что вы делали, пока были в разлуке с ним? как обращались с вами ваши угнетатели? относились ли к вам с тем уважением, которого требовало ваше происхождение? не потускнели ли вследствие ваших нравственных страданий, в сто раз более тяжелых, чем страдания физические, дарования, которыми так щедро наделила вас природа, и считаете ли вы себя в состоянии снова занять то высокое положение, на которое вы имеете право?

– Я надеюсь, сударь, – растерянно пробормотал молодой человек, – что никакое ложное донесение...

– Что вы! Я в первый раз услышал про вас от моего друга Уилмора, филантропа. Он мне сказал, что нашел вас в затруднительном положении, не знаю каком; я не стал спрашивать – я не любопытен. Раз

он проявил к вам сочувствие, значит, в вас было что-то, достойное участия. Он сказал, что хочет вернуть вам то положение в свете, которого вы лишились, что он будет разыскивать вашего отца и найдет его; он принялся его разыскивать и, очевидно, нашел, потому что отец ваш здесь: наконец, вчера он предупредил меня о вашем прибытии в дал мне кое-какие указания, касающиеся вашего имущества, – вот и все. Я знаю, что мой друг Уилмор большой оригинал, но так как в то же время он человек верный, богатый, как золотая россыпь, и, следовательно, имеет возможность оригинальничать, не опасаясь разорения, то я обещал следовать его указаниям. Теперь, сударь, я прошу вас, не обижайтесь на мой вопрос: так как я должен буду немного вам покровительствовать, я хотел бы знать, не сделали ли вас ваши несчастья – несчастья, в которых вы неповинны и которые ничуть не умаляют моего к вам уважения, – несколько чуждым тому обществу, в котором ваше состояние и ваше имя дают вам право занять такое видное положение?

– На этот счет будьте совершенно спокойны, сударь, – отвечал молодой человек, к которому, пока граф говорил, возвращался его апломб. – Похитители, по-видимому, намеревались, как они это и сделали, впоследствии продать меня ему; они рассчитали, что, для того чтобы извлечь из меня наибольшую пользу, им следует не умалять моей ценности, а, если возможно, даже увеличить ее. Поэтому я получил недурное образование, и эти похитители младенцев обращались со мной приблизительно так, как малоазийские рабовладельцы обращались с невольниками, делая из них ученых грамматиков, врачей и философов, чтобы подороже продать их.

Монте-Кристо удовлетворенно улыбнулся: по-видимому, он ожидал меньшего от Андреа Кавальканти.

– Впрочем, – продолжал Андреа, – если бы во мне и сказался некоторый недостаток воспитания, или, вернее, привычки к светскому обществу, я надеюсь, что ко мне будут снисходительны, принимая во внимание несчастья, сопровождавшие мое детство и юность.

– Ну что же, – небрежно сказал Монте-Кристо, – вы поступите, как вам будет угодно, виконт, – это ваше личное дело и только вас касается. Но поверьте, я бы не обмолвился на вашем месте ни словом обо всех этих приключениях; ваша жизнь похожа на роман, а свет, обожающий романы в желтой обложке, до странности недоверчиво относится к тем, которые жизнь переплетает в живую кожу, даже если она и позолоченная, как ваша. Вот на это затруднение я и позволю себе указать вам, виконт; не успеете вы рассказать кому-нибудь трогательную историю вашей жизни, как она уже обежит весь Париж в совершенно искаженном виде. Вам придется разыгрывать из себя Антони, а время таких Антони уже прошло. Быть может, вы вызовете любопытство, и это даст вам некоторый успех, но не всякому приятно быть мишенью для пересудов. Вам это может показаться утомительным.

– Я думаю, что вы правы, граф, – сказал Андреа, невольно бледнея под пристальным взглядом Монте-Кристо, – это серьезное неудобство.

– Ну, не следует и преувеличивать, – сказал Монте-Кристо, – желая избежать ошибки, можно сделать глупость. Нет, надо просто вести себя обдуманно, а для такого умного человека, как вы, это тем легче сделать, что совпадает с вашими интересами. Все темное, что может оказаться в вашем прошлом, надо опровергать доказательствами и свидетельством достойных друзей.

Андреа был, видимо, смущен.

– Я бы охотно был вашим поручителем, – продолжал Монте-Кристо, – но у меня привычка сомневаться в лучших друзьях и какая-то потребность возбуждать сомнения в других; так что я был бы не в своем амплуа, как говорят актеры, и рисковал бы быть освистанным, а это уже лишнее.

– Однако, граф, – решился возразить Андреа, – из уважения к лорду Уилмору, который вам меня рекомендовал...

– Да, разумеется, – сказал Монте-Кристо, – но лорд Уилмор не скрыл от меня, что вы провели несколько бурную молодость. Нет, нет, – заметил граф, уловив движение Андреа, – я от вас не требую исповеди; впрочем, для того и вызвали из Лукки вашего отца, чтобы вы ни в ком

другом не нуждались. Вы его сейчас увидите; он суховат, держится немного неестественно, но это из-за мундира, и когда узнают, что он уже восемнадцать лет служит в австрийских войсках, с него не станут взыскивать: мы вообще нетребовательны к австрийцам. В конечном счете как отец он вполне приличен, уверяю вас.

– Вы меня успокаиваете, граф; я так давно разлучен с ним, что совсем его не помню.

– А кроме того, знаете, крупное состояние заставляет на многое смотреть снисходительно.

– Так мой отец действительно богат?

– Он миллионер... пятьсот тысяч ливров годового дохода.

– Значит, – с надеждой спросил молодой человек, – мое положение будет довольно... приятное?

– Чрезвычайно приятное, мой дорогой, он назначил вам по пятьдесят тысяч ливров в год на все время, пока вы будете жить в Париже.

– В таком случае я буду здесь жить всегда.

– Гм! Кто может ручаться за будущее, дорогой виконт? Человек предполагает, а бог располагает.

Андреа вздохнул.

– Но во всяком случае, – сказал он, – пока я в Париже и... пока обстоятельства не вынудят меня уехать, эти деньги, о которых вы упомянули, мне обеспечены?

– Разумеется.

– Моим отцом? – с беспокойством осведомился Андреа.

– Да, но под ручательством лорда Уилмора, который, по просьбе вашего отца, открыл вам ежемесячный кредит в пять тысяч франков у господина Данглара, одного из самых солидных парижских банкиров.

– А мой отец собирается долго пробыть в Париже?

– Только несколько дней, – отвечал Монте-Кристо. – Он не может оставить свою службу дольше, чем на две-три недели.

– Ах, милый отец! – сказал Андреа, явно обрадованный этим скорым отъездом.

– Поэтому, – сказал Монте-Кристо, делая вид, что не понял тона этих слов, – я не хочу больше оттягивать ни на минуту ваше свидание. Готовы ли вы обнять почтенного господина Кавальканти?

– Надеюсь, вы не сомневаетесь в этом?

– Ну так пройдите в эту гостиную, мой друг: там вы найдете своего отца, он вас ждет.

Андреа поклонился графу и прошел в гостиную.

Граф проводил его глазами и, когда он вышел, надавил пружину, скрытую в одной из картин, которая, выдвинувшись из рамы, образовала щель, позволявшую видеть все, что происходит в гостиной.

Андреа закрыл за собой дверь и подошел к майору, который встал, как только заслышал шаги.

– О, мой дорогой отец, – громко сказал Андреа, так чтобы граф мог его услышать из-за закрытой двери, – неужели это вы?

– Здравствуйте, мой милый сын, – серьезно произнес майор.

– Какое счастье вновь увидеться с вами после стольких лет разлуки, – сказал Андреа, бросая взгляд на дверь.

– Действительно, разлука была долгая.

– Обнимемся? – предложил Андреа.

– Извольте, мой сын, – ответил майор.

И они поцеловались, как целуются во Французском театре: приложившись щека к щеке.

– Итак, мы снова вместе! – сказал Андреа.

– Мы снова вместе, – повторил майор.

– Чтобы никогда больше не расставаться?

– Напротив, дорогой сын: ведь для вас, я думаю, Франция стала теперь вторым отечеством?

– Должен признаться, – сказал молодой человек, – что я был бы в отчаянии, если бы мне пришлось покинуть Париж.

– А я не мог бы жить вдали от Лукки. Так что я возвращаюсь в Италию при первой возможности.

– Но раньше, чем уехать, дорогой отец, вы, конечно, передадите мне документы, на основании которых я мог бы доказать свое

происхождение?

– Само собой: ведь именно для этого я и приехал, и мне стоило таких трудов разыскать вас, чтобы передать их вам, что было бы немыслимо проделать это вторично. На это ушли бы последние дни моей жизни.

– И эти документы...

– Вот они.

Андреа жадно схватил брачное свидетельство своего отца и свою метрику и, развернув их с вполне естественным сыновним нетерпением, пробежал оба акта быстрым и привычным взглядом, свидетельствовавшим о немалой опытности, так же как о живейшем интересе.

Когда он кончил, лицо его засияло невыразимой радостью, и он со странной улыбкой взглянул на майора.

– Вот как! – сказал он на чистейшем тосканском наречии. – Что же, в Италии нет больше каторги?

Майор выпрямился.

– Это к чему? – сказал он.

– Да к тому, что там безнаказанно фабрикуют такие бумаги. За половину такой проделки, мой дорогой отец, вас во Франции отправили бы проветриться в Тулон лет на пять.

– Что вы сказали? – спросил майор, пытаясь принять величественный вид.

– Дорогой господин Кавальканти, – сказал Андреа, беря майора за локоть, – сколько вам платят за то, чтобы вы были моим отцом?

Майор хотел ответить.

– Шш, – сказал Андреа, понизив голос, – я подам вам пример доверия: мне дают пятьдесят тысяч франков в год, чтобы я изображал вашего сына; таким образом, вы понимаете, у меня нет никакой охоты отрицать, что вы мой отец.

Майор с беспокойством оглянулся.

– Не беспокойтесь, здесь никого нет, – сказал Андреа, – притом мы говорим по-итальянски.

– Ну, а мне, – сказал приезжий из Лукки, – дают единовременно пятьдесят тысяч франков.

– Господин Кавальканти, – спросил Андреа, – верите ли вы в волшебные сказки?

– Раньше не верил, но теперь приходится поверить.

– Так у вас появились доказательства?

Майор вытащил из кармана пригоршню луидоров.

– Осязаемые, как видите.

– Так, по-вашему, я могу доверять данным мне обещаниям?

– По-моему, да.

– И этот милейший граф их выполнит?

– В точности, но вы сами понимаете, чтобы достигнуть этого, мы должны хорошо играть свою роль.

– Ну еще бы!..

– Я – нежного отца...

– А я – почтительного сына, раз они желают, чтобы я был вашим сыном.

– Кто это – «они»?

– Ну, не знаю, – те, кто вам писал: ведь вы получили письмо?

– Получил.

– От кого?

– От какого-то аббата Бузони.

– Вы его не знаете?

– Никогда его не видел.

– Что ж было в этом письме?

– Вы меня не выдадите?

– Зачем мне это делать? Интересы у нас общие.

– Ну так читайте.

И майор подал молодому человеку письмо.

Андреа вполголоса прочел:

*– «Вы бедны, вас ожидает несчастная старость. Хотите сделаться если не богатым, то, во всяком случае, независимым*

*человеком?*

*Немедленно выезжайте в Париж и отправляйтесь к графу Монте-Кристо, авеню Елисейских полей, № 30. Вы его спросите о вашем сыне, рожденном от брака с маркизой Корсинари и похищенном у вас в пятилетнем возрасте.*

*Этого сына зовут Андреа Кавальканти.*

*Дабы у вас не возникло сомнений в том, что нижеподписавшийся желает вам добра, вы найдете приложенными к сему:*

*1. Чек на две тысячи четыреста тосканских ливров, выписанный на банк г. Гоцци во Флоренции.*

*2. Рекомендательное письмо к графу Монте-Кристо, который по моему поручению выплатит вам сорок восемь тысяч франков.*

*Явитесь к графу 26 мая, в 7 часов вечера.*

*Аббат Бузони».*

– Так и есть.

– Что значит «так и есть»? Что вы хотите этим сказать? – спросил майор.

– Что получил почти такое же письмо.

– Вы?

– Да, я.

– От аббата Бузони?

– Нет.

– А от кого же?

– От одного англичанина, некоего лорда Уилмора, который называет себя Синдбадом-мореходом.

– И которого вы знаете не больше, чем я – аббата Бузони.

– Нет, я больше осведомлен, чем вы.

– Вы его видали?

– Да, однажды.

– Где это?

– Вот этого я не могу сказать; вы тогда знали бы столько же, сколько и я, а это лишнее.

– И что же в этом письме?..

– Читайте.

– *«Вы бедны, и вам предстоит печальная будущность. Хотите получить знатное имя, быть свободным, быть богатым?»*

– Черт возьми, – сказал Андреа, раскачиваясь на каблуках, – как будто об этом надо спрашивать.

– *«Садитесь в почтовую карету, которая будет ждать вас при выезде из Ниццы, у Генуэзских ворот. Поезжайте через Турин, Шамбери и Пон-де-Бовуазен. Явитесь к графу Монте-Кристо, авеню Елисейских полей, № 30, двадцать шестого мая, в семь часов вечера, и спросите у него о вашем отце.*

*Вы сын маркиза Бартоломео Кавальканти и маркизы Оливы Корсинари, как это удостоверяют документы, которые вам передаст маркиз и которые позволят вам появиться под этим именем в парижском обществе.*

*Что касается вашего положения, то годовой доход в пятьдесят тысяч ливров позволит вам его достойно поддержать.*

*При сем прилагаю чек на пять тысяч ливров, выписанный на банк г. Ферреа в Ницце, и рекомендательное письмо к графу Монте-Кристо, которому я поручил заботиться о ваших нуждах.*

*Синдбад-мореход».*

– Недурно! – заметил майор.

– Не правда ли?

– Вы видели графа?

– Я только что от него.

– И он подтвердил написанное?

– Полностью.

– Вы что-нибудь понимаете в этом?

– По правде говоря, нет.

– Тут кого-то надувают.

– Во всяком случае, не нас с вами?

– Нет, разумеется.

– Ну, тогда...

– Не все ли нам равно, правда?

– Именно это я хотел сказать: доиграем до конца и дружно.

– Идет, вы увидите, что я достоин быть вашим партнером.

– Я ни минуты в этом не сомневался, дорогой отец.

– Вы оказываете мне большую честь, дорогой сын.

Монте-Кристо выбрал эту минуту, чтобы вернуться в гостиную. Услышав его шаги, собеседники бросились друг другу в объятия; так их застал граф.

– Ну что, маркиз? – сказал Монте-Кристо. – По-видимому, вы довольны своим сыном?

– Ах, граф, я задыхаюсь от радости.

– А вы, молодой человек?

– Ах, граф, я сам не свой от счастья.

– Счастливый отец! Счастливое дитя! – сказал граф.

– Одно меня огорчает, – сказал майор, – необходимость так быстро покинуть Париж.

– Но, дорогой господин Кавальканти, – сказал Монте-Кристо, – надеюсь, вы не уедете, не дав мне возможности познакомить вас кое с кем из друзей!

– Я весь к услугам вашего сиятельства, – отвечал майор.

– Теперь, молодой человек, исповедайтесь.

– Кому?

– Да вашему отцу, скажите ему откровенно, в каком состоянии ваши денежные дела.

– Черт возьми, – заявил Андреа, – вы коснулись больного места.

– Слышите, майор? – сказал Монте-Кристо.

– Конечно, слышу.

– Да, но понимаете ли вы?

– Великолепно.

– Он говорит, что нуждается в деньгах, этот милый мальчик.

– А что же я должен сделать?

– Дать их ему.

– Я?

– Да, вы.

Монте-Кристо стал между ними.

– Возьмите, – сказал он Андреа, сунув ему в руку пачку ассигнаций.

– Что это такое?

– Ответ вашего отца.

– Моего отца?

– Да. Ведь вы ему намекнули, что вам нужны деньги?

– Да. Ну и что же?

– Ну и вот. Он поручает мне передать вам это.

– В счет моих доходов?

– Нет, на расходы по обзаведению.

– Дорогой отец!

– Тише! – сказал Монте-Кристо. – Вы же видите, он не хочет, чтобы я говорил, что это от него.

– Я очень ценю его деликатность, – сказал Андреа, засовывая деньги в карман.

– Хорошо, – сказал граф, – а теперь идите!

– А когда мы будем иметь честь снова увидеться с вашим сиятельством? – спросил Кавальканти.

– Да, верно, – сказал Андреа, – когда мы будем иметь эту честь?

– Если угодно, хоть в субботу... да... отлично... в субботу. У меня на вилле в Отейле, улица Фонтен, номер двадцать восемь, будет к обеду несколько человек, и между прочим господин Данглар, ваш банкир. Я вас с ним познакомлю: надо же ему знать вас обоих, раз он будет выплачивать вам деньги.

– В парадной форме? – спросил вполголоса майор.

– В парадной форме: мундир, ордена, короткие панталоны.

– А я? – спросил Андреа.

– Вы совсем просто: черные панталоны, лакированные башмаки, белый жилет, черный или синий фрак, длинный галстук; закажите платье у Блена или Вероника. Если вы не знаете их адреса, Батистен вам скажет. Чем менее претенциозно вы, при ваших средствах, будете одеты, тем лучше. Покупая лошадей, обратитесь к Деведё, а фаэтон закажите у Батиста.

– В котором часу мы можем явиться? – спросил Андреа.

– Около половины седьмого.

– Хорошо, – сказал майор, берясь за шляпу.

Оба Кавальканти откланялись и удалились.

Граф подошел к окну и смотрел, как они под руку переходят двор.

– Вот уж поистине два негодяя! – сказал он. – Какая жалость, что это не на самом деле отец и сын!

Он постоял минуту в мрачном раздумье.

– Поеду к Моррелям, – сказал он. – Кажется, меня душит не столько ненависть, сколько отвращение.

# XIX. Огород, засеянный люцерной

Теперь мы вернемся в огород, смежный с домом г-на де Вильфора, и у решетки, потонувшей в каштановых деревьях, мы снова встретим наших знакомых.

На этот раз первым явился Максимилиан. Это он прижался лицом к доскам ограды и сторожит, не мелькнет ли в глубине сада знакомая тень, не захрустит ли под атласной туфелькой песок аллеи.

Наконец послышались шаги, но вместо одной тени появились две. Валентина опоздала из-за визита г-жи Данглар и Эжени, затянувшегося дольше того часа, когда она должна была явиться на свидание. Тогда, чтобы не пропустить его, Валентина предложила мадемуазель Данглар пройтись по саду, желая показать Максимилиану, что она не виновата в этой задержке.

Моррель так и понял, с быстротой интуиции, присущей влюбленным, и у него стало легче на душе. К тому же, хоть и не приближаясь на расстояние голоса, Валентина направляла свои шаги так, чтобы Максимилиан мог все время видеть ее, и всякий раз, когда она проходила мимо, взгляд, незаметно для спутницы брошенный ею в сторону ворот, говорил ему: «Потерпите, друг, вы видите, что я не виновата».

И Максимилиан запасался терпением, восхищаясь тем контрастом, который являли обе девушки: блондинка с томным взглядом, гибкая, как молодая ива, и брюнетка, с гордыми глазами, стройная, как тополь; разумеется, все преимущества, по крайней мере в глазах Морреля, оказывались на стороне Валентины.

Погуляв полчаса, девушки удалились: Максимилиан понял, что визит г-жи Данглар пришел к концу.

В самом деле, через минуту Валентина вернулась уже одна. Боясь, как бы нескромный взгляд не следил за ее возвращением, она шла медленно; и вместо того чтобы прямо подойти к воротам, она села на скамейку, предварительно, как бы невзначай, окинув взглядом все кусты

и заглянув во все аллеи. Приняв все эти меры предосторожности, она подбежала к воротам.

– Валентина, – произнес голос из-за ограды.

– Здравствуйте, Максимилиан. Я заставила вас ждать, но вы видели, почему так вышло.

– Да, я узнал мадемуазель Данглар, я не думал, что вы так дружны с нею.

– А кто вам сказал, что мы дружим?

– Никто, но мне это показалось по тому, как вы гуляли под руку, как вы беседовали, словно школьные подруги, которые делятся своими тайнами.

– Мы действительно откровенничали, – сказала Валентина, – она призналась мне, что ей не хочется выходить замуж за господина де Морсера, а я ей говорила, каким несчастьем будет для меня брак с господином д'Эпине.

– Милая Валентина!

– Вот почему вам показалось, что мы с Эжени большие друзья, – продолжала девушка. – Ведь говоря о человеке, которого я не люблю, я думала о том, кого я люблю.

– Какая вы хорошая, Валентина, и как много в вас того, чего никогда не будет у мадемуазель Данглар, – того неизъяснимого очарования, которое для женщины то же самое, что аромат для цветка и сладость для плода: ведь и цветку и плоду мало одной красоты.

– Это вам кажется потому, что вы меня любите.

– Нет, Валентина, клянусь вам. Вот сейчас я смотрел на вас обеих, и, честное слово, отдавая должное красоте мадемуазель Данглар, я не понимал, как можно в нее влюбиться.

– Это потому, что, как вы сами говорите, я была тут и мое присутствие делало вас пристрастным.

– Нет… но скажите мне… я спрашиваю просто из любопытства, которое объясняется моим мнением о мадемуазель Данглар…

– И, наверное, несправедливым мнением, хоть я и не знаю, о чем идет речь. Когда вы судите нас, бедных женщин, нам не приходится

рассчитывать на снисхождение.

– Можно подумать, что, когда вы говорите между собою, вы очень справедливы друг к другу!

– Это оттого, что наши суждения почти всегда бывают пристрастны. Но что вы хотели спросить?

– Разве мадемуазель Данглар кого-нибудь любит, что не хочет выходить замуж за господина де Морсера?

– Максимилиан, я уже вам сказала, что Эжени мне вовсе не подруга.

– Да ведь и не будучи подругами, девушки поверяют друг другу свои тайны, – сказал Моррель. – Сознайтесь, что вы расспрашивали ее об этом. А, я вижу, вы улыбаетесь!

– Видимо, вам не очень мешает эта деревянная перегородка?

– Так что же она вам сказала?

– Сказала, что никого не любит, – отвечала Валентина, – что с ужасом думает о замужестве; что ей больше всего хотелось бы вести жизнь свободную и независимую и что она почти желает, чтобы ее отец разорился, тогда она сможет стать артисткой, как ее приятельница Луиза д'Армильи.

– Вот видите!

– Что же это доказывает? – спросила Валентина.

– Ничего, – улыбаясь, ответил Максимилиан.

– Так почему же вы улыбаетесь?

– Вот видите, – сказал Максимилиан, – вы тоже смотрите сюда.

– Хотите, я отойду?

– Нет, нет! Но поговорим о вас.

– Да, вы правы: нам осталось только десять минут.

– Это ужасно! – горестно воскликнул Максимилиан.

– Да, вы правы, я плохой друг, – с грустью сказала Валентина. – Какую жизнь вы из-за меня ведете, бедный Максимилиан, а ведь вы созданы для счастья! Поверьте, я горько упрекаю себя за это.

– Не все ли равно, Валентина: ведь в этом мое счастье! Ведь это вечное ожидание искупают пять минут, проведенных с вами, два слова, слетевшие с ваших уст. Я глубоко убежден, что бог не мог создать два

столь созвучных сердца и не мог соединить их столь чудесным образом только для того, чтобы их разлучить.

– Благодарю, Максимилиан. Продолжайте надеяться за нас обоих, что делает меня почти счастливой.

– Что у вас опять случилось, Валентина, почему вы должны так скоро уйти?

– Не знаю; госпожа де Вильфор просила меня зайти к ней; она хочет сообщить мне что-то, от чего, как она говорит, зависит часть моего состояния. Боже мой, я слишком богата, пусть возьмут себе мое состояние, пусть оставят мне только покой и свободу, – вы меня будете любить и бедной, правда, Моррель?

– Я всегда буду любить вас! Что мне бедность или богатство, лишь бы моя Валентина была со мной и я был уверен, что никто не может ее у меня отнять! Но скажите, это сообщение не может относиться к вашему замужеству?

– Не думаю.

– Послушайте, Валентина, и не пугайтесь, потому что, пока я жив, я не буду принадлежать другой.

– Вы думаете, это меня успокаивает, Максимилиан?

– Простите! Вы правы, я сказал нехорошо. Да, так я хотел сказать вам, что я на днях встретил Морсера.

– Да?

– Вы знаете, что Франц его друг?

– Да, так что же?

– Он получил от Франца письмо; Франц пишет, что скоро вернется.

Валентина побледнела и прислонилась к воротам.

– Господи, – сказала она, – неужели? Но нет, об этом мне сообщила бы не госпожа де Вильфор.

– Почему?

– Почему… сама не знаю… но мне кажется, что госпожа де Вильфор, хоть она открыто и не против этого брака, в душе не сочувствует ему.

– Знаете, Валентина, я, кажется, начну обожать госпожу де Вильфор!

– Не спешите, Максимилиан, – сказала Валентина, грустно улыбаясь.

– Но если этот брак ей неприятен, то, может быть, чтобы помешать ему, она отнесется благосклонно к какому-нибудь другому предложению?

– Не надейтесь на это, Максимилиан; госпожа де Вильфор отвергает не мужей, а замужество.

– Как замужество? Если она против брака, зачем же она сама вышла замуж?

– Вы не понимаете, Максимилиан. Когда я год тому назад заговорила о том, что хочу уйти в монастырь, она, хоть и считала нужным возражать, приняла эту мысль с радостью; даже мой отец согласился – и это благодаря ее увещаниям, я уверена; меня удержал только мой бедный дедушка. Вы не можете себе представить, Максимилиан, как выразительны глаза этого несчастного старика, который любит на всем свете только меня одну и, – да простит мне бог, если я клевещу! – которого люблю только я одна. Если бы вы знали, как он смотрел на меня, когда узнал о моем решении, сколько было упрека в этом взгляде и сколько отчаяния в его слезах, которые текли без жалоб, без вздохов по его неподвижному лицу. Мне стало стыдно, я бросилась к его ногам и воскликнула: «Простите! Простите, дедушка! Пусть со мной будет что угодно, я никогда с вами не расстанусь». Тогда он поднял глаза к небу... Максимилиан, мне, может быть, придется много страдать, но за все страдания меня заранее вознаградил этот взгляд моего старого деда.

– Дорогая Валентина, вы ангел, и я, право, не знаю, чем я заслужил, когда направо и налево рубил бедуинов, – разве что бог принял во внимание, что это неверные, – чем я заслужил счастье вас узнать. Но послушайте, почему же госпожа де Вильфор может не хотеть, чтобы вы вышли замуж?

– Разве вы не слышали, как я только что сказала, что я богата, слишком богата? После матери я унаследовала пятьдесят тысяч ливров годового дохода; мои дедушка и бабушка, маркиз и маркиза де Сен-Меран, оставят мне столько же; господин Нуартье, очевидно, намерен сделать меня своей единственной наследницей. Таким образом, по сравнению со мной мой брат Эдуард беден. Со стороны госпожи де

Вильфор ему ждать нечего. А она обожает этого ребенка. Если я уйду в монастырь, все мое состояние достанется моему отцу, который будет наследником маркиза, маркизы и моим, а потом перейдет к его сыну.

– Странно, откуда такая жадность в молодой, красивой женщине?

– Заметьте, что она думает не о себе, а о своем сыне, и то, что вы ставите ей в вину, с точки зрения материнской любви почти добродетель.

– Послушайте, Валентина, – сказал Моррель, – а если бы вы отдали часть своего имущества ее сыну?

– Как предложить это женщине, которая вечно твердит о своем бескорыстии?

– Валентина, моя любовь была для меня всегда священна, и, как все священное, я таил ее под покровом своего благоговения и хранил в глубине сердца; никто в мире, даже моя сестра, не подозревает об этой любви, тайну ее я не доверил ни одному человеку. Валентина, вы мне позволите рассказать о ней другу?

Валентина вздрогнула.

– Другу? – сказала она. – Максимилиан, мне страшно даже слышать об этом. А кто этот друг?

– Послушайте, Валентина, испытывали ли вы по отношению к кому-нибудь такую неодолимую симпатию, что, видя этого человека в первый раз, вы чувствуете, будто знаете его уже давно, и спрашиваете себя, где и когда его видели, и, не в силах припомнить, начинаете верить, что это было раньше, в другом мире, и что эта симпатия – только проснувшееся воспоминание?

– Да.

– Ну вот, это я испытал в первый же раз, когда увидел этого необыкновенного человека.

– Необыкновенного человека?

– Да.

– И вы с ним давно знакомы?

– Какую-нибудь неделю или дней десять.

– И вы называете другом человека, которого знаете всего неделю? Я думала, Максимилиан, что вы не так щедро раздаете прекрасное имя – друг.

– Логически вы правы, Валентина; но говорите, что угодно, я не откажусь от этого инстинктивного чувства. Я убежден, что этот человек сыграет роль во всем, что со мной в будущем случится хорошего, и мне иногда кажется, что он своим глубоким взглядом проникает в это будущее и направляет его своей властной рукой.

– Так это предсказатель? – улыбаясь, спросила Валентина.

– Право, – сказал Максимилиан, – я порой готов поверить, что он предугадывает… особенно хорошее.

– Познакомьте меня с ним, пусть он мне скажет, найду ли я в любви награду за все мои страдания!

– Мой бедный друг! Но вы его знаете.

– Я?

– Да. Он спас жизнь вашей мачехе и ее сыну.

– Граф Монте-Кристо?

– Да, он.

– Нет, – воскликнула Валентина, – он никогда не будет моим другом, он слишком дружен с моей мачехой.

– Граф – друг вашей мачехи, Валентина? Нет, мое чувство не может до такой степени меня обманывать; я уверен, что вы ошибаетесь.

– Если бы вы только знали, Максимилиан! У нас в доме царит уже не Эдуард, а граф. Мачеха преклоняется перед ним и считает его кладезем всех человеческих познаний. Отец восхищается, – слышите, восхищается им и говорит, что никогда не слышал, чтобы кто-нибудь так красноречиво высказывал такие возвышенные мысли. Эдуард его обожает и, хоть и боится его больших черных глаз, бежит к нему навстречу, как только его увидит, и всегда получает из его рук какую-нибудь восхитительную игрушку; в нашем доме граф Монте-Кристо уже не гость моего отца или госпожи де Вильфор – граф Монте-Кристо у себя дома.

– Ну что же, если все это так, как вы рассказываете, то вы должны были уже почувствовать или скоро почувствуете его магическое влияние. Он встречает в Италии Альбера де Морсера – и выручает его из рук разбойников; он знакомится с госпожой Данглар – и делает ей царский подарок; ваша мачеха и брат проносятся мимо его дома – и его нубиец спасает им жизнь. Этот человек явно обладает даром влиять на окружающее. Я ни в ком не встречал соединения более простых вкусов с большим великолепием. Когда он мне улыбается, в его улыбке столько нежности, что я не могу понять, как другие находят ее горькой. Скажите, Валентина, улыбнулся ли он вам так? Если да, вы будете счастливы.

– Я! – воскликнула молодая девушка. – Максимилиан, он даже не смотрит на меня или, вернее, если я прохожу мимо, он отворачивается от меня. Нет, он совсем не великодушен или не обладает проницательностью, которую вы ему приписываете, и не умеет читать в сердцах людей. Если бы он был великодушным человеком, то, увидав, как я печальна и одинока в этом доме, он защитил бы меня своим влиянием, и если он действительно, как вы говорите, играет роль солнца, то он согрел бы мое сердце своими лучами. Вы говорите, что он вас любит, Максимилиан; а откуда вы это знаете? Люди приветливо улыбаются сильному офицеру пяти футов и шести дюймов ростом, с длинными усами и большой саблей, но они, не задумываясь, раздавят несчастную плачущую девушку.

– Валентина, клянусь, вы ошибаетесь!

– Подумайте, Максимилиан, если бы это было иначе, если бы он обращался со мной дипломатически, как человек, который стремится так или иначе утвердиться в доме, он хоть раз подарил бы меня той улыбкой, которую вы так восхваляете. Но нет, он видит, что я несчастна, он понимает, что не может иметь от меня никакой пользы, и даже не обращает на меня внимания. Кто знает, может быть, желая угодить моему отцу, госпоже де Вильфор или моему брату, он тоже станет преследовать меня, если это будет в его власти? Давайте будем откровенны: я ведь не такая женщина, которую можно вот так, без причины, презирать; вы сами это говорили. Простите меня, –

продолжала она, заметив, какое впечатление ее слова производят на Максимилиана, – я дурная и высказываю вам сейчас мысли, которых сама в себе не подозревала. Да, я не отрицаю, что в этом человеке есть сила, о которой вы говорите, и она действует даже на меня, но, как видите, действует вредно и губит добрые чувства.

– Хорошо, – со вздохом произнес Моррель, – не будем говорить об этом. Я не скажу ему ни слова.

– Я огорчаю вас, мой друг, – сказала Валентина. – Почему я не могу пожать вам руку, чтобы попросить у вас прощения? Но я и сама была бы рада, если бы вы меня переубедили; скажите, что же, собственно, сделал для вас граф Монте-Кристо?

– Признаться, вы ставите меня в трудное положение, когда спрашиваете, что именно сделал для меня граф, – ничего определенного, я это сам понимаю. Мое чувство к нему совершенно бессознательно, в нем нет ничего разумно обоснованного. Разве солнце что-нибудь сделало для меня? Нет. Оно согревает меня, и при его свете я вижу вас, вот и все. Разве тот или иной аромат сделал что-нибудь для меня? Нет. Он просто приятен. Мне больше нечего сказать, если меня спрашивают, почему я люблю этот запах. Так и в моем дружеском чувстве к графу есть что-то необъяснимое, как и в его отношении ко мне. Внутренний голос говорит мне, что эта взаимная и неожиданная симпатия не случайна. Я чувствую какую-то связь между малейшими его поступками, между самыми сокровенными его мыслями и моими поступками и мыслями. Вы опять будете смеяться надо мной, Валентина, но с тех пор как я познакомился с этим человеком, у меня возникла нелепая мысль, что все, что со мной происходит хорошего, исходит от него. А ведь я прожил на свете тридцать лет, не чувствуя никакой потребности в таком покровителе, правда? Все равно, вот вам пример: он пригласил меня на субботу к обеду; это вполне естественно при наших отношениях, так? И что же я потом узнал? К этому обеду приглашены ваш отец и ваша мачеха. Я встречусь с ними, и кто знает, к чему может привести эта встреча? Казалось бы, самый простой случай, но я чувствую в нем нечто необыкновенное: он вселяет в меня какую-то

странную уверенность. Я говорю себе, что этот человек, необычайный человек, который все знает и все понимает, хотел устроить мне встречу с господином и госпожой де Вильфор. Порой даже, клянусь вам, я стараюсь прочесть в его глазах, не угадал ли он мою любовь.

– Друг мой, – сказала Валентина, – я бы сочла вас за духовидца и не на шутку испугалась бы за ваш рассудок, если бы слышала от вас только такие рассуждения. Как, вам кажется, что эта встреча – не случайность? Но подумайте хорошенько. Мой отец, который никогда нигде не бывает, раз десять пробовал заставить госпожу де Вильфор отказаться от этого приглашения, но она, напротив, горит желанием побывать в доме этого необыкновенного набоба и, хоть с большим трудом, добилась все-таки, чтобы он ее сопровождал. Нет, нет, поверьте, на этом свете, кроме вас, Максимилиан, мне не от кого ждать помощи, как только от дедушки, живого трупа, не у кого искать поддержки, кроме моей матери, бесплотной тени!

– Я чувствую, что вы правы, Валентина, и что логика на вашей стороне, – сказал Максимилиан, – но ваш нежный голос, всегда так властно на меня действующий, сегодня не убеждает меня.

– А ваш меня, – отвечала Валентина, – и признаюсь, что если у вас нет другого примера...

– У меня есть еще один, – нерешительно проговорил Максимилиан, – но я должен сам признаться, что он еще более нелеп, чем первый.

– Тем хуже, – сказала, улыбаясь, Валентина.

– А все-таки, – продолжал Моррель, – для меня он убедителен, потому что я человек чувства, интуиции и за десять лет службы не раз обязан был жизнью молниеносному наитию, которое вдруг подсказывает отклониться вправо или влево, чтобы пуля, несущая смерть, пролетела мимо.

– Дорогой Максимилиан, почему вы не приписываете моим молитвам, что пули отклоняются от своего пути? Когда вы там, я молю бога и свою мать уже не за себя, а за вас.

– Да, с тех пор как мы узнали друг друга, – с улыбкой сказал Моррель, – но прежде, когда я еще не знал вас, Валентина?

– Ну, хорошо, злой вы; если вы не хотите быть мне ничем обязанным, вернемся к примеру, который вы сами признаете нелепым.

– Так вот посмотрите в щелку: видите там, под деревом, новую лошадь, на которой я приехал?

– Какой чудный конь! Почему вы не подвели его сюда? Я бы поговорила с ним.

– Вы сами видите, это очень дорогая лошадь, – сказал Максимилиан. – А вы знаете, что мои средства ограниченны, Валентина, и я, что называется, человек благоразумный. Ну так вот, я увидел у одного торговца этого великолепного Медеа, как я его зову. Я справился о цене; мне ответили: четыре с половиной тысячи франков; я, само собой, должен был перестать им восхищаться и ушел, признаюсь, очень огорченный, потому что лошадь смотрела на меня приветливо, ласкалась ко мне и гарцевала подо мной самым кокетливым и очаровательным образом. В тот вечер у меня собрались приятели – Шато-Рено, Дебрэ и еще человек пять-шесть повес, которых вы имеете счастье не знать даже по именам. Вздумали играть в бульот; я никогда не играю в карты, потому что я не так богат, чтобы проигрывать, и не так беден, чтобы стремиться выиграть. Но это происходило у меня в доме, и мне не оставалось ничего другого, как послать за картами.

Когда мы садились играть, приехал граф Монте-Кристо. Он сел к столу, стали играть, и я выиграл – я едва решаюсь вам в этом признаться, Валентина, – я выиграл пять тысяч франков. Гости разошлись около полуночи. Я не выдержал, нанял кабриолет и поехал к этому торговцу. Дрожа от волнения, я позвонил, тот, кто открыл мне дверь, вероятно, принял меня за сумасшедшего. Я бросился в конюшню, заглянул в стойло. О счастье! Медеа мирно жевал сено. Я хватаю седло, сам седлаю лошадь, надеваю уздечку. Медеа подчиняется всему этому с полной охотой. Затем, сунув в руки ошеломленному торговцу четыре с половиной тысячи франков, я возвращаюсь домой – вернее, всю ночь езжу взад и вперед по Елисейским полям. И знаете? В окнах графа горел свет, мне показалось, что я вижу на шторах его тень. Так вот, Валентина,

я готов поклясться, что граф знал, как мне хочется иметь эту лошадь, и нарочно проиграл, чтобы я мог ее купить.

– Милый Максимилиан, – сказала Валентина, – вы, право, слишком большой фантазер… Вы недолго будете меня любить… Человек, который, подобно вам, витает в поэтических грезах, не сможет прозябать в такой монотонной любви, как наша… Но, боже мой, меня зовут… Слышите?

– Валентина, – сказал Максимилиан, – через щелку… ваш самый маленький пальчик… чтоб я мог поцеловать его.

– Максимилиан, ведь мы условились, что будем друг для друга только два голоса, две тени!

– Как хотите, Валентина.

– Вы будете рады, если я исполню ваше желание?

– О да!

Валентина взобралась на скамейку и протянула не мизинец в щелку, а всю руку поверх перегородки.

Максимилиан вскрикнул, вскочил на тумбу, схватил эту обожаемую руку и припал к ней жаркими губами, но в тот же миг маленькая ручка выскользнула из его рук, и Моррель слышал только, как убегала Валентина, быть может, испуганная пережитым ощущением.

# Часть четвертая

# I. Господин Нуартье де Вильфор

Вот что произошло в доме королевского прокурора после отъезда г-жи Данглар и ее дочери, в то время как происходил переданный нами разговор.

Вильфор в сопровождении жены явился в комнату своего отца; что касается Валентины, то мы знаем, где она находилась.

Поздоровавшись со стариком и отослав Барруа, старого лакея, прослужившего у Нуартье больше четверти века, они сели.

Нуартье сидел в большом кресле на колесиках, куда его сажали утром и откуда поднимали вечером; перед ним было зеркало, в котором отражалась вся комната, так что, даже не шевелясь – что, впрочем, было для него невозможно, – он мог видеть, кто к нему входит, кто выходит и что делается вокруг. Неподвижный, как труп, он смотрел живым и умным взглядом на своих детей, церемонное приветствие которых предвещало нечто значительное и необычное.

Зрение и слух были единственными чувствами, которые, подобно двум искрам, еще тлели в этом теле, уже на три четверти готовом для могилы; да и то из этих двух чувств только одно могло свидетельствовать о внутренней жизни, еще теплившейся в этом истукане, и взгляд, выражавший эту внутреннюю жизнь, походил на далекий огонек, который ночью указывает заблудившемуся в пустыне страннику, что где-то есть живое существо, бодрствующее в безмолвии и мраке.

Зато в черных глазах старого Нуартье, с нависшими над ними черными бровями, тогда как его длинные волосы, спадающие до плеч, были совершенно белы, в этих глазах – как бывает всегда, когда тело уже перестает вам повиноваться, – сосредоточились вся энергия, вся воля, вся сила, весь разум, некогда оживлявшие его тело и дух. Конечно, недоставало жеста руки, звука голоса, движений тела, но этот властный взор заменял все. Глаза отдавали приказания, глаза благодарили; это был труп, в котором жили глаза; и ничто не могло быть страшнее подчас, чем мраморное лицо, в верхней половине которого зажигался гнев или

светилась радость. Только три человека умели понимать этот язык несчастного паралитика: Вильфор, Валентина и тот старый слуга, о котором мы уже упомянули. Но так как Вильфор видел своего отца только изредка и лишь тогда, когда это было, так сказать, неизбежно, а когда видел – ничем не старался угодить ему, даже и понимая его, то все счастье старика составляла его внучка. Валентина научилась, благодаря самоотверженности, любви и терпению, читать по глазам все мысли Нуартье. На этот немой и никому другому не понятный язык она отвечала своим голосом, лицом, всей душой, так что оживленные беседы возникали между молодой девушкой и этой бренной плотью, почти обратившейся в прах, которая, однако, еще была человеком огромных знаний, неслыханной проницательности и настолько сильной воли, насколько это возможно для духа, который томился в теле, переставшем ему повиноваться.

Таким образом, Валентине удалось разрешить нелегкую задачу: понимать мысли старика и передавать ему свои; и благодаря этому умению почти не бывало случая, чтобы в обыденных вещах она не угадывала вполне точно желания этой живой души или потребности этого полубесчувственного трупа.

Что касается Барруа, то он, как мы сказали, служил своему хозяину уже двадцать пять лет и так хорошо знал все его привычки, что Нуартье почти не требовалось о чем-либо его просить.

Вильфору не нужна были ничья помощь, чтобы начать с отцом тот странный разговор, для которого он явился. Он сам, как мы уже сказали, отлично знал весь словарь старика, и если он так редко с ним беседовал, то это происходило лишь от полного равнодушия. Поэтому он предоставил Валентине спуститься в сад, отослал Барруа и уселся по правую руку от своего отца, между тем как г-жа де Вильфор села слева.

– Не удивляйтесь, сударь, – сказал он, – что Валентина не пришла с нами и что я отослал Барруа; предстоящая нам беседа не могла бы вестись в присутствии дочери или лакея. Госпожа де Вильфор и я намерены сообщить вам нечто важное.

Во время этого вступления лицо Нуартье оставалось безучастным, тогда как взгляд Вильфора, казалось, хотел проникнуть в самое сердце старика.

– Мы уверены, госпожа де Вильфор и я, – продолжал королевский прокурор своим обычным ледяным тоном, не допускающим каких-либо возражений, – что вы сочувственно встретите это сообщение.

Взгляд старика был по-прежнему неподвижен; он просто слушал.

– Мы выдаем Валентину замуж, – продолжал Вильфор.

Восковая маска не могла бы остаться при этом известии более холодной, чем лицо старика.

– Свадьба состоится через три месяца, – добавил Вильфор.

Глаза старика были все так же безжизненны.

Тут заговорила г-жа де Вильфор.

– Нам казалось, – поспешила она добавить, – что это известие должно вас заинтересовать; к тому же вы, по-видимому, всегда были привязаны к Валентине; нам остается только назвать вам имя молодого человека, который ей предназначен. Это одна из лучших партий, на которые Валентина могла бы рассчитывать; тот, кого мы ей предназначаем и чье имя вам, вероятно, знакомо, хорошего рода и богат, а его образ жизни и вкусы служат для нее порукой счастья. Речь идет о Франце де Кенеле, бароне д’Эпине.

Пока его жена произносила эту маленькую речь, Вильфор буквально впился взглядом в лицо старика. Едва г-жа де Вильфор произнесла имя Франца, как в глазах Нуартье, так хорошо знакомых его сыну, что-то дрогнуло, и между его век, раскрывшихся, словно губы, собирающиеся что-то сказать, сверкнула молния.

Королевский прокурор, знавший об открытой вражде, некогда существовавшей между его отцом и отцом Франца, понял эту вспышку и это волнение; но он сделал вид, будто ничего не заметил, и заговорил, продолжая речь своей жены:

– Вы отлично понимаете, сударь, как важно, чтобы Валентина, которой скоро минет девятнадцать лет, была наконец пристроена. Тем не менее, обсуждая это, мы не забыли о вас и заранее условились, что муж

Валентины согласится если и не жить вместе с вами – это могло бы стеснить молодую чету, – то, во всяком случае, на то, чтобы вы жили вместе с ними; ведь Валентина вас очень любит, и вы, по-видимому, отвечаете ей такой же любовью. Таким образом, ваша привычная жизнь ни в чем не изменится, и разница будет только в том, что за вами будут ухаживать двое детей вместо одного.

Сверкающие глаза Нуартье налились кровью.

Очевидно, в душе старика происходило что-то ужасное; очевидно, крик боли и гнева, не находя себе выхода, душил его, потому что лицо его побагровело и губы стали синими.

Вильфор спокойно отворил окно, говоря:

– Здесь очень душно, поэтому господину Нуартье трудно дышать.

Затем он вернулся на место, но остался стоять.

– Этот брак, – прибавила г-жа де Вильфор, – по душе господину д'Эпине и его родным; их, впрочем, только двое – дядя и тетка. Его мать умерла при его рождении, а отец был убит в тысяча восемьсот пятнадцатом году, когда ребенку было всего два года, так что он зависит только от себя.

– Загадочное убийство, – сказал Вильфор, – виновники которого остались неизвестны; подозрение витало над многими головами, но ни на кого не пало.

Нуартье сделал такое усилие, что губы его искривились, словно для улыбки.

– Впрочем, – продолжал Вильфор, – истинные виновники те, кто знает, что именно они совершили преступление, те, кого при жизни может постигнуть человеческое правосудие, а после смерти правосудие небесное, были бы рады оказаться на нашем месте и иметь возможность предложить свою дочь Францу д'Эпине, чтобы устранить даже тень какого-либо подозрения.

Нуартье овладел собой усилием воли, которого трудно было бы ожидать от беспомощного паралитика.

– Да, я понимаю вас, – ответил его взгляд Вильфору; и в этом взгляде выразились одновременно глубокое презрение и гнев.

На этот взгляд, который он хорошо понял, Вильфор ответил легким пожатием плеч.

Затем он знаком предложил своей жене подняться.

– А теперь, – сказала г-жа де Вильфор, – позвольте откланяться. Угодно ли вам, чтобы Эдуард зашел поздороваться с вами?

Было условлено, что старик выражал свое согласие, закрывая глаза, отказ – миганием, а когда ему нужно было выразить какое-нибудь желание, он поднимал глаза к небу.

Если он желал видеть Валентину, он закрывал только правый глаз.

Если он звал Барруа, он закрывал левый.

Услышав предложение г-жи де Вильфор, он усиленно заморгал.

Госпожа де Вильфор, видя явный отказ, закусила губу.

– В таком случае я пришлю к вам Валентину, – сказала она.

– Да, – отвечал старик, быстро закрывая глаза.

Супруги де Вильфор поклонились и вышли, приказав позвать Валентину, уже, впрочем, предупрежденную, что она днем будет нужна деду.

Валентина, еще вся розовая от волнения, вошла к старику. Ей достаточно было одного взгляда, чтобы понять, как страдает ее дед и как он жаждет с ней говорить.

– Дедушка, – воскликнула она, – что случилось? Тебя расстроили, и ты сердишься?

– Да, – ответил он, закрывая глаза.

– На кого же? на моего отца? нет; на госпожу де Вильфор? нет; на меня?

Старик сделал знак, что да.

– На меня? – переспросила удивленная Валентина.

Старик сделал тот же знак.

– Что же я сделала, дедушка? – воскликнула Валентина.

Никакого ответа; она продолжала:

– Я сегодня не видела тебя; значит, тебе что-нибудь про меня сказали?

– Да, – поспешно ответил взгляд старика.

– Попробую отгадать, в чем дело. Боже мой, уверяю тебя, дедушка... Ах, вот что!.. Господин и госпожа де Вильфор только что были здесь, правда?

– Да.

– И это они сказали тебе то, что рассердило тебя? Что же это может быть? Хочешь, я пойду спрошу их, чтобы знать, за что мне просить у тебя прощения?

– Нет, нет, – ответил взгляд.

– Ты меня пугаешь! Что же они могли сказать?

И она задумалась.

– Я догадываюсь, – сказала она, понижая голос и подходя ближе к старику. – Может быть, они говорили о моем замужестве?

– Да, – ответил гневный взгляд.

– Понимаю, ты сердишься на то, что я молчала. Но, видишь ли, они мне строго-настрого запретили тебе об этом говорить; они и мне ничего не говорили, и я совершенно случайно узнала эту тайну; вот почему я не была откровенна с тобой. Прости, дедушка.

Взгляд, снова неподвижный и безучастный, казалось, говорил: «Меня огорчает не только твое молчание».

– В чем же дело? – спросила Валентина. – Или ты думаешь, что я покину тебя, дедушка, что, выходя замуж, я тебя забуду?

– Нет, – ответил старик.

– Значит, они сказали тебе, что господин д'Эпине согласен на то, чтобы мы жили вместе?

– Да.

– Так почему же ты сердишься?

В глазах старика появилось выражение бесконечной нежности.

– Да, я понимаю, – сказала Валентина, – потому что ты меня любишь?

Старик сделал знак, что да.

– И ты боишься, что я буду несчастна?

– Да.

– Ты не любишь Франца?

Глаза несколько раз подряд ответили:

– Нет, нет, нет.

– Так тебе очень тяжело, дедушка?

– Да.

– Тогда слушай, – сказала Валентина, опускаясь на колени подле Нуартье и обнимая его обеими руками, – мне тоже очень тяжело, потому что я тоже не люблю Франца д'Эпине.

Луч радости мелькнул в глазах деда.

– Помнишь, как ты рассердился на меня, когда я хотела уйти в монастырь?

Под иссохшими веками старика показались слезы.

– Ну так вот, – продолжала Валентина, – я хотела это сделать, чтобы избегнуть этого брака, который приводит меня в отчаяние.

Дыхание старика стало прерывистым.

– Так этот брак очень огорчает тебя, дедушка? Ах, если бы ты мог мне помочь, если бы мы вдвоем могли помешать их планам! Но ты бессилен против них, хотя у тебя такой светлый ум и такая сильная воля; когда надо бороться, ты так же слаб, как и я, даже слабее. Когда ты был силен и здоров, ты мог бы меня защитить, а теперь ты можешь только понимать меня и радоваться или печалиться вместе со мной. Это последнее счастье, которое бог забыл отнять у меня.

При этих словах в глазах Нуартье появилось выражение такого глубокого лукавства, что девушке показалось, будто он говорит:

– Ты ошибаешься, я еще многое могу сделать для тебя.

– Ты можешь что-нибудь для меня сделать, дедушка? – выразила словами его мысль Валентина.

– Да.

Нуартье поднял глаза к небу. Это был условленный между ним и Валентиной знак, выражающий желание.

– Что ты хочешь, дедушка? Я постараюсь понять.

Валентина стала угадывать, высказывая вслух свои предположения, по мере того как они у нее возникали, но на все ее слова старик неизменно отвечал «нет».

– Ну, – сказала она, – прибегнем к решительным мерам, раз уж я так недогадлива!

И она стала называть подряд все буквы алфавита, от А до Н, с улыбкой следя за глазами паралитика; когда она дошла до буквы Н, Нуартье сделал утвердительный знак.

– Так! – сказала Валентина. – То, чего ты хочешь, начинается с буквы Н; значит, мы имеем дело с Н? Ну-с, что же нам от него нужно, от этого Н? На, не, ни, но...

– Да, да, да, – ответил старик.

– Так что но?

– Да.

Валентина принесла словарь и, положив его перед Нуартье на пюпитр, раскрыла его; увидев, что взгляд старика сосредоточился на странице, она начала быстро скользить пальцем сверху вниз, по столбцам.

С тех пор как шесть лет тому назад Нуартье впал в то тяжелое состояние, в котором он теперь находился, она научилась легко справляться с этим делом и угадывала мысль старика так же быстро, как если бы он сам искал в словаре нужное ему слово.

На слове *нотариус* Нуартье сделал ей знак остановиться.

– *Нотариус,*– сказала она, – ты хочешь видеть нотариуса, дедушка?

Нуартье показал, что действительно желает видеть нотариуса.

– Значит, надо послать за нотариусом? – спросила Валентина.

– Да, – показал старик.

– А спешно тебе нужен нотариус?

– Да.

– Надобно, чтобы об этом знал мой отец?

– Да.

– За ним сейчас пошлют. Это все, что тебе нужно?

– Да.

Валентина подбежала к звонку и вызвала лакея, чтобы пригласить к деду господина или госпожу де Вильфор.

– Ты доволен? – спросила Валентина. – Да... еще бы! Не так-то легко было догадаться!

И она улыбнулась деду, как улыбнулась бы ребенку.

В комнату вошел Вильфор, приведенный Барруа.

– Что вам угодно, сударь? – спросил он паралитика.

– Отец, – сказала Валентина, – дедушка хочет видеть нотариуса.

При этом странном, а главное – неожиданном требовании Вильфор обменялся взглядом с паралитиком.

– Да, – показал тот с твердостью, которая ясно говорила, что с помощью Валентины и своего старого слуги, осведомленного теперь о его желании, он готов на борьбу.

– Вы желаете видеть нотариуса? – повторил Вильфор.

– Да.

– Зачем?

Нуартье ничего не ответил.

– Но для чего вам нужен нотариус? – спросил Вильфор.

Взгляд старика оставался неподвижным, немым; это означало: «Я настаиваю на своем».

– Чтобы чем-нибудь досадить нам? – сказал Вильфор. – К чему это?

– Но, однако, – сказал Барруа, готовый с настойчивостью, присущей старым слугам, добиваться своего, – если мой господин желает видеть нотариуса, так, видно, он ему нужен. И я пойду за нотариусом.

Барруа не признавал иных хозяев, кроме Нуартье, и не допускал, чтобы в чем-нибудь противоречили его желаниям.

– Да, я желаю видеть нотариуса, – показал старик, закрывая глаза с таким вызывающим видом, словно он говорил: «Посмотрим, осмелятся ли не исполнить моего желания».

– Если вы так настаиваете, нотариуса приведут, но мне придется извиниться перед ним за себя и за вас, потому что все будет смехотворно.

– Все равно, – сказал Барруа, – я схожу за ним.

И старый слуга удалился торжествуя.

# II. Завещание

Когда Барруа выходил из комнаты, Нуартье лукаво и многозначительно взглянул на внучку. Валентина поняла этот взгляд; понял его и Вильфор, потому что лицо его омрачилось и брови сдвинулись.

Он взял стул и, усевшись против паралитика, приготовился ждать.

Нуартье смотрел на него с полнейшим равнодушием, но уголком глаза он велел Валентине не беспокоиться и тоже оставаться в комнате.

Через три четверти часа Барруа вернулся вместе с нотариусом.

– Сударь, – сказал Вильфор, поздоровавшись с ним, – вас вызвал присутствующий здесь господин Нуартье де Вильфор; общий паралич лишил его движения и голоса, и только мы одни, и то с большим трудом, умудряемся понимать кое-какие обрывки его мыслей.

Нуартье обратил на Валентину свой взгляд, такой серьезный и властный, что она немедленно вступилась:

– Я, сударь, понимаю все, что хочет сказать мой дед.

– Это верно, – прибавил Барруа, – все, решительно все, как я уже сказал по дороге господину нотариусу.

– Разрешите, господа, сказать вам, – обратился нотариус к Вильфору и Валентине, – что это как раз один из тех случаев, когда должностное лицо не может действовать опрометчиво, не навлекая на себя тяжкой ответственности. Для того чтобы акт был законным, нотариус прежде всего должен быть убежден, что он в точности передал волю того, кто ему его диктует. Я же не могу быть уверен в согласии или несогласии клиента, лишенного дара речи; и так как предмет его желания или нежелания будет для меня не ясен ввиду его немоты, то мое участие совершенно бесполезно и было бы противозаконно.

Нотариус собирался удалиться. Еле уловимая торжествующая улыбка мелькнула на губах королевского прокурора.

Со своей стороны Нуартье взглянул на Валентину с таким горестным выражением, что она преградила нотариусу дорогу.

– Сударь, – сказала она, – тот язык, на котором я объясняюсь с моим дедом, настолько легко усвоить, что я в несколько минут могу вас научить так же хорошо понимать его, как понимаю сама. Скажите, что вам нужно для того, чтобы ваша совесть была совершенно спокойна?

– То, что необходимо для законности наших актов, – ответил нотариус, – уверенность в согласии или несогласии. Завещатель может быть болен телом, но он должен быть здрав рассудком.

– Ну так вот, сударь, два знака убедят вас в том, что рассудок моего деда никогда не был более здравым, чем сейчас. Господин Нуартье, лишенный голоса, лишенный движения, закрывает глаза, когда хочет сказать «да», и мигает несколько раз, когда хочет сказать «нет». Теперь вы знаете достаточно, чтобы беседовать с ним; попробуйте же.

Взгляд, брошенный стариком на Валентину, был так полон любви и благодарности, что даже нотариус понял его.

– Вы слышали и поняли все, что сказала ваша внучка, сударь? – спросил нотариус.

Нуартье медленно закрыл глаза и через секунду снова открыл их.

– И вы подтверждаете то, что она сказала? То есть что названные ею знаки именно те, с помощью которых вы передаете другим вашу мысль?

– Да, – показал старик.

– Это вы меня пригласили?

– Да.

– Чтобы составить ваше завещание?

– Да.

– И вы не желаете, чтобы я ушел, не составив этого завещания?

Паралитик быстро заморгал глазами.

– Ну вот, сударь, теперь вы его понимаете? – спросила Валентина. – Ваша совесть может быть спокойна?

Но раньше, чем нотариус успел ответить, Вильфор отвел его в сторону.

– Сударь, – сказал он, – неужели вы считаете, что такое ужасное физическое потрясение, какое перенес господин Нуартье де Вильфор, может не отразиться в сильной степени и на его умственных способностях?

– Меня беспокоит не столько это, – отвечал нотариус, – сколько то, каким образом мы будем угадывать его мысли, чтобы вызывать ответы?

– Вы же сами видите, что это невозможно, – сказал Вильфор.

Валентина и старик слышали этот разговор. Нуартье остановил пристальный и решительный взгляд на Валентине; этот взгляд явно требовал, чтобы она возразила.

– Не беспокойтесь об этом, сударь, – сказала она. – Как бы ни было трудно или, вернее, как бы вам ни казалось трудно понять мысль моего деда, я вам ее раскрою, так что у вас не останется никаких сомнений. Вот уже шесть лет, как я нахожусь около господина Нуартье, и пусть он сам вам скажет, был ли за эти шесть лет хоть один случай, чтобы какое-нибудь его желание осталось у него на сердце, оттого что я не могла его понять?

– Нет, – показал старик.

– Так попробуем, – сказал нотариус, – вы согласны на то, чтобы мадемуазель де Вильфор была вашим переводчиком?

Паралитик сделал знак, что да.

– Отлично! Итак, сударь, чего же вы от меня желаете и какой акт хотите совершить?

Валентина стала называть по порядку буквы алфавита. Когда они дошли до буквы З, красноречивый взгляд Нуартье остановил ее.

– Господину Нуартье нужна буква З, – сказал нотариус, – это ясно.

– Подождите, – сказала Валентина, потом обернулась к деду, – за...

Старик сразу же остановил ее.

Тогда Валентина взяла словарь и на глазах у внимательно наблюдавшего нотариуса стала перелистывать страницы.

– Завещание, – указал ее палец, остановленный взглядом Нуартье.

– Завещание! – воскликнул нотариус. – Это ясно. Господин Нуартье желает составить завещание.

– Да, – несколько раз показал Нуартье.

– Да, это удивительно, сударь, согласитесь сами, – сказал нотариус изумленному Вильфору.

– Действительно, – возразил тот, – и еще удивительнее было бы это завещание, потому что все же я сомневаюсь, чтобы его пункты, слово за словом, могли ложиться на бумагу без искусного подсказывания моей дочери. А Валентина, быть может, слишком заинтересована в этом завещании, чтобы быть подходящим истолкователем никому не ведомых желаний господина Нуартье де Вильфора.

– Нет, нет, нет! – показал паралитик.

– Как! – сказал Вильфор. – Валентина не заинтересована в вашем завещании?

– Нет, – показал Нуартье.

– Сударь, – сказал нотариус, который, в восторге от проделанного опыта, уже готовился рассказывать в обществе все подробности этого живописного эпизода, – сударь, то, что я сейчас только считал невозможным, кажется мне теперь совершенно легким; и это завещание будет просто-напросто тайным завещанием, то есть предусмотренным и разрешенным законом, если только оно оглашено в присутствии семи свидетелей, подтверждено при них завещателем и запечатано нотариусом опять-таки в их присутствии. Времени же оно потребует едва ли многим больше, чем обыкновенное завещание; прежде всего существуют узаконенные формы, всегда неизменные, а что касается подробностей, то их нам укажет главным образом само положение дел завещателя, а также вы, который их вели и знаете их. Впрочем, для того чтобы этот акт явился неоспоримым, мы придадим ему полнейшую достоверность; один из моих коллег послужит мне помощником и, в отступление от обычаев, будет присутствовать при его составлении. Удовлетворит ли это вас, сударь? – продолжал нотариус, обращаясь к старику.

– Да, – ответил Нуартье, радуясь, что его поняли.

«Что он задумал?» – недоумевал Вильфор, которого его высокое положение заставляло быть сдержанным и который все еще не мог понять, куда клонит его отец.

Он обернулся, чтобы послать за вторым нотариусом, которого назвал первый, но Барруа, все слышавший и догадавшийся о желании своего

хозяина, успел уже выйти.

Тогда королевский прокурор распорядился пригласить наверх свою жену.

Через четверть часа все собрались в комнате паралитика, и прибыл второй нотариус.

Оба нотариуса быстро сговорились. Г-ну Нуартье прочитали обычный текст завещания, затем, как бы для того, чтобы испытать его разум, первый нотариус, обратясь к нему, сказал:

– Когда пишут завещание, сударь, то это делают в чью-нибудь пользу.

– Да, – показал Нуартье.

– Имеете ли вы представление о том, как велико ваше состояние?

– Да.

– Я назову вам несколько цифр, постепенно возрастающих, вы меня остановите, когда я дойду до той, которую вы считаете правильной.

– Да.

В этом допросе было нечто торжественное; да и едва ли борьба разума с немощной плотью выступала когда-нибудь так наглядно, – это было зрелище если не возвышенное, как мы чуть было не сказали, то, во всяком случае, любопытное.

Все столпились вокруг Нуартье; второй нотариус уселся за стол и приготовился писать; первый нотариус стоял перед паралитиком и предлагал вопросы.

– Ваше состояние превышает триста тысяч франков, не так ли? – спросил он.

Нуартье сделал знак, что да.

– Оно составляет четыреста тысяч франков? – спросил нотариус.

Нуартье оставался неподвижным.

– Пятьсот тысяч франков?

Та же неподвижность.

– Шестьсот тысяч? семьсот тысяч? восемьсот тысяч? девятьсот тысяч?

Нуартье сделал знак, что да.

– Вы владеете девятьюстами тысячами франков?

– Да.

– В недвижимости? – спросил нотариус.

Нуартье сделал знак, что нет.

– В государственных процентных бумагах?

Нуартье сделал знак, что да.

– Эти бумаги у вас на руках?

При взгляде, брошенном на Барруа, старый слуга вышел из комнаты и через минуту вернулся, неся маленькую шкатулку.

– Разрешите ли вы открыть эту шкатулку?

Нуартье сделал знак, что да.

Шкатулку открыли и нашли в ней на девятьсот тысяч франков билетов государственного казначейства.

Первый нотариус передал билеты, один за другим, своему коллеге; они составляли сумму, указанную Нуартье.

– Все правильно, – сказал он, – вполне очевидно, что разум совершенно ясен и тверд.

Затем, обернувшись к паралитику, он спросил:

– Итак, вы обладаете капиталом в девятьсот тысяч франков, и он приносит вам благодаря бумагам, в которые вы его поместили, около сорока тысяч годового дохода?

– Да, – показал Нуартье.

– Кому вы желаете оставить это состояние?

– Здесь не может быть сомнений, – сказала г-жа де Вильфор. – Господин Нуартье любит только свою внучку, мадемуазель Валентину де Вильфор; она ухаживает за ним уже шесть лет; она своими неустанными заботами снискала любовь своего деда и, я бы сказала, его благодарность; поэтому будет вполне справедливо, если она получит награду за свою преданность.

Глаза Нуартье блеснули, показывая, что г-жа де Вильфор не обманула его, притворно одобряя приписываемые ему намерения.

– Так вы оставляете эти девятьсот тысяч франков мадемуазель Валентине де Вильфор? – спросил нотариус, считавший, что ему остается только вписать этот пункт, но желавший все-таки удостовериться в

согласии Нуартье и дать в нем удостовериться всем свидетелям этой необыкновенной сцены.

Валентина отошла немного в сторону и плакала, опустив голову; старик взглянул на нее с выражением глубокой нежности; потом, глядя на нотариуса, самым выразительным образом замигал.

– Нет? – сказал нотариус. – Как, разве вы не мадемуазель Валентину де Вильфор назначаете вашей единственной наследницей?

Нуартье сделал знак, что нет.

– Вы не ошибаетесь? – воскликнул удивленный нотариус. – Вы действительно говорите нет?

– Нет! – повторил Нуартье. – Нет!

Валентина подняла голову; она была поражена не тем, что ее лишают наследства, но тем, что она могла вызвать то чувство, которое обычно внушает такие поступки.

Но Нуартье глядел на нее с такой глубокой нежностью, что она воскликнула:

– Я понимаю, дедушка, вы лишаете меня только своего состояния, но не своей любви?

– Да, конечно, – сказали глаза паралитика, так выразительно закрываясь, что Валентина не могла сомневаться.

– Спасибо, спасибо! – прошептала она.

Между тем этот отказ пробудил в сердце г-жи де Вильфор внезапную надежду, она подошла к старику.

– Значит, дорогой господин Нуартье, вы оставляете свое состояние вашему внуку Эдуарду де Вильфору? – спросила она.

Было что-то ужасное в том, как заморгал старик; его глаза выражали почти ненависть.

– Нет, – пояснил нотариус. – В таком случае вашему сыну, здесь присутствующему?

– Нет, – возразил старик.

Оба нотариуса изумленно переглянулись; Вильфор и его жена покраснели: один от стыда, другая от злобы.

– Но чем же мы провинились перед вами, дедушка? – сказала Валентина. – Вы нас больше не любите?

Взгляд старика бегло окинул Вильфора, потом его жену и с выражением глубокой нежности остановился на Валентине.

– Послушай, дедушка, – сказала она, – если ты меня любишь, то как же согласовать твою любовь с тем, что ты сейчас делаешь. Ты меня знаешь, ты знаешь, что я никогда не думала о твоих деньгах. К тому же говорят, что я получила большое состояние после моей матери, слишком даже большое. Объясни же, в чем дело?

Нуартье уставился горящим взглядом на руку Валентины.

– Моя рука? – спросила она.

– Да, – показал Нуартье.

– Ее рука! – повторили все присутствующие.

– Ах, господа, – сказал Вильфор, – вы же видите, что все это бесполезно и что мой бедный отец не в своем уме.

– Я понимаю! – воскликнула вдруг Валентина. – Мое замужество, дедушка, да?

– Да, да, да, – три раза повторил паралитик, сверкая гневным взором каждый раз, как он поднимал веки.

– Ты недоволен нами из-за моего замужества, да?

– Да.

– Но это нелепо! – сказал Вильфор.

– Простите, сударь, – сказал нотариус, – все это, напротив, весьма логично и, на мой взгляд, вполне вытекает одно из другого.

– Ты не хочешь, чтобы я вышла замуж за Франца д'Эпине?

– Нет, не хочу, – сказал взгляд старика.

– И вы лишаете вашу внучку наследства за то, что она выходит замуж вопреки вашему желанию? – воскликнул нотариус.

– Да, – ответил Нуартье.

– Так что, не будь этого брака, она была бы вашей наследницей?

– Да.

Вокруг старика воцарилось глубокое молчание.

Нотариусы совещались друг с другом; Валентина с благодарной улыбкой смотрела на деда; Вильфор сжал свои тонкие губы; его жена не могла подавить радость, помимо ее воли выразившуюся на ее лице.

– Но мне кажется, – сказал наконец Вильфор, первым прерывая молчание, – что я один призван судить, насколько нам подходит этот брак. Я один распоряжаюсь рукой моей дочери, я хочу, чтобы она вышла замуж за господина Франца д'Эпине, и она будет его женой.

Валентина, вся в слезах, опустилась в кресло.

– Сударь, – сказал нотариус, обращаясь к старику, – как вы намерены распорядиться вашим состоянием в том случае, если мадемуазель Валентина выйдет замуж за господина д'Эпине?

Старик был недвижим.

– Однако вы намерены им распорядиться?

– Да, – показал Нуартье.

– В пользу кого-нибудь из вашей семьи?

– Нет.

– Так в пользу бедных?

– Да.

– Но вам известно, – сказал нотариус, – что закон не позволит вам совсем обделить вашего сына?

– Да.

– Так что вы распорядитесь только той частью, которой вы можете располагать по закону?

Нуартье остался недвижим.

– Вы продолжаете настаивать на том, чтобы распорядиться всем вашим состоянием?

– Да.

– Но после вашей смерти ваше завещание будет оспорено.

– Нет.

– Мой отец меня знает, сударь, – сказал Вильфор, – он знает, что его воля для меня священна; притом он понимает, что я в моем положении не могу судиться с бедными.

Во взгляде Нуартье светилось торжество.

– Как вы решите, сударь? – спросил нотариус Вильфора.

– Никак; мой отец так решил, а я знаю, что он не меняет своих решений. Мне остается только подчиниться. Эти девятьсот тысяч франков уйдут из семьи и обогатят приюты; но я не исполню каприза старика и поступлю согласно своей совести.

И Вильфор удалился в сопровождении жены, предоставляя отцу изъявлять свою волю, как ему угодно.

В тот же день завещание было составлено; привели свидетелей, оно было прочитано и одобрено стариком, запечатано при всех и отдано на хранение г-ну Дешану, нотариусу семьи Вильфор.

# III. Телеграф

Вернувшись к себе, супруги Вильфор узнали, что в гостиной их ждет приехавший с визитом граф Монте-Кристо; г-жа де Вильфор, слишком взволнованная, чтобы сразу выйти к нему, прошла к себе в спальню; королевский прокурор, более в себе уверенный, прямо направился в гостиную. Но как он ни умел держать себя в руках, как ни владел выражением своего лица, он не был в силах скрыть свою мрачность, и граф, на губах которого сияла лучезарная улыбка, обратил внимание на его озабоченный и угрюмый вид.

– Что с вами, господин де Вильфор? – спросил он после первых приветствий. – Быть может, я явился как раз в ту минуту, когда вы писали какой-нибудь нешуточный обвинительный акт?

Вильфор попытался улыбнуться.

– Нет, граф, – сказал он, – в данном случае жертва – я сам. Это я проиграл дело, а над обвинительным актом работали случай, упрямство и безумие.

– Что вы хотите сказать? – спросил Монте-Кристо с прекрасно разыгранным участием. – У вас в самом деле серьезные неприятности?

– Не стоит и говорить, граф, – сказал Вильфор с полным горечи спокойствием, – пустяки, просто денежная потеря.

– Да, конечно, – ответил Монте-Кристо, – денежная потеря – пустяки, если обладать таким состоянием, как ваше, и таким философским и возвышенным умом, как ваш!

– Поэтому, – ответил Вильфор, – я и озабочен не из-за денег, хотя как-никак девятьсот тысяч франков стоят того, чтобы о них пожалеть или, во всяком случае, чтобы подосадовать. Меня огорчает больше всего эта игра судьбы, случая, предопределения, не знаю, как назвать ту силу, что обрушила на меня этот удар, уничтожила мои надежды на богатство, и, быть может, разрушила будущность моей дочери из-за каприза впавшего в детство старика.

– Да что вы! Как же так? – воскликнул граф. – Девятьсот тысяч франков, вы говорите? Вы правы, эта сумма стоит того, чтобы о ней пожалел даже философ, но кто же вам доставил такое огорчение?

– Мой отец, о котором я вам рассказывал.

– Господин Нуартье? Неужели? Но вы мне говорили, насколько я помню, что он совершенно парализован и утратил все свои способности?

– Да, физические способности, потому что он не в состоянии двигаться, не в состоянии говорить, и, несмотря на это, он мыслит, он желает, он действует, как видите. Я ушел от него пять минут назад; он сейчас занят тем, что диктует двум нотариусам свое завещание.

– Так, значит, он заговорил?

– Нет, но заставил себя понять.

– Каким образом?

– Взглядом; его глаза продолжают жить и, как видите, убивают.

– Мой друг, – сказала г-жа де Вильфор, входя в комнату, – мне кажется, вы преувеличиваете.

– Сударыня... – приветствовал ее поклоном граф.

Госпожа де Вильфор ответила самой очаровательной улыбкой.

– Но что я слышу от господина де Вильфора? – спросил Монте-Кристо. – Что за непонятная немилость?..

– Непонятная, вот именно! – сказал королевский прокурор, пожимая плечами. – Старческий каприз!

– А разве нет способа заставить его изменить решение?

– Нет, есть, – сказала г-жа де Вильфор. – И только от моего мужа зависит, чтобы это завещание было составлено не в ущерб Валентине, а, наоборот, в ее пользу.

Граф, видя, что супруги начали говорить загадками, принял рассеянный вид и стал с глубочайшим вниманием и явным одобрением следить за Эдуардом, подливавшим чернила в птичье корытце.

– Дорогая моя, – возразил Вильфор жене, – вы знаете, что я не склонен разыгрывать у себя в доме патриарха и никогда не воображал, будто судьбы мира зависят от моего мановения. Но все же необходимо, чтобы моя семья считалась с моими решениями и чтобы безумие старика

и капризы ребенка не разрушали давно обдуманных мною планов. Барон д'Эпине был моим другом, вы это знаете, и его сын был бы для нашей дочери наилучшим мужем.

– Так, по-вашему, – сказала г-жа де Вильфор, – Валентина с ним сговорилась?.. В самом деле... она всегда противилась этому браку, и я не удивлюсь, если все, что мы сейчас видели и слышали, окажется просто выполнением заранее составленного ими плана.

– Поверьте, – сказал Вильфор, – что так не отказываются от капитала в девятьсот тысяч франков.

– Она отказалась бы и от мира, ведь она год тому назад собиралась уйти в монастырь.

– Все равно, – возразил Вильфор, – говорю вам, этот брак состоится!

– Вопреки воле вашего отца? – сказала г-жа де Вильфор, пробуя играть на другой струне. – Это не шутка!

Монте-Кристо делал вид, что не слушает, но не пропускал ни одного слова из этого разговора.

– Сударыня, – возразил Вильфор, – я должен сказать, что всегда почитал своего отца, потому что естественное сыновнее чувство соединялось у меня с сознанием его нравственного превосходства; наконец, потому, что отец для нас вдвойне священен: как наш создатель и как наш господин; но не могу же я считать теперь разумным старика, который в память своей ненависти к отцу ненавидит сына; с моей стороны было бы смешно согласовать свое поведение с его капризами. Я не перестану относиться с глубочайшим почтением к господину Нуартье, я безропотно подчиняюсь наложенной им на меня денежной каре, но решение мое останется непреклонным, и общество рассудит, на чьей стороне был здравый смысл. Я выдам замуж мою дочь за барона Франца д'Эпине, так как считаю, что это хороший и почетный брак, и так как в конечном счете я хочу выдать свою дочь за того, кто мне подходит.

– Вот как, – сказал граф, у которого королевский прокурор то и дело взглядом просил одобрения, – вот как! Господин Нуартье, по вашим словам, лишает мадемуазель Валентину наследства за то, что она выходит замуж за барона Франца д'Эпине?

– Вот именно в этом вся причина, – сказал Вильфор, пожимая плечами.

– Во всяком случае, видимая причина, – прибавила г-жа де Вильфор.

– Действительная причина, сударыня. Поверьте, я знаю своего отца.

– Можете вы это понять? – спросила молодая женщина. – Чем, скажите, пожалуйста, господин д'Эпине хуже всякого другого?

– В самом деле, – сказал граф, – я встречал господина Франца д'Эпине; это ведь сын генерала де Кенеля, впоследствии барона д'Эпине?

– Совершенно верно, – ответил Вильфор.

– Он показался мне очаровательным молодым человеком.

– Поэтому я и уверена, что это только предлог, – сказала г-жа де Вильфор. – Старики становятся тиранами в отношении тех, кого они любят; господин Нуартье просто не желает, чтобы его внучка выходила замуж.

– Но, может быть, у этой ненависти есть какая-нибудь причина? – спросил Монте-Кристо.

– Бог мой, откуда же это можно знать?

– Может быть, политическая антипатия?

– Действительно, мой отец и отец господина д'Эпине жили в бурное время, я видел лишь последние дни его, – сказал Вильфор.

– Ваш отец, кажется, был бонапартистом? – спросил Монте-Кристо. – Мне помнится, вы говорили что-то в этом роде.

– Мой отец был прежде всего якобинец, – возразил Вильфор, забыв в своем волнении о всякой осторожности, – и тога сенатора, накинутая на его плечи Наполеоном, изменила лишь его наряд, но не его самого. Когда мой отец участвовал в заговорах, он делал это не из любви к императору, а из ненависти к Бурбонам; самое страшное в нем было то, что он никогда не сражался за неосуществимые утопии, а всегда лишь за действительно возможное, и при этом следовал ужасной теории монтаньяров, которые не останавливались ни перед чем, чтобы достигнуть своей цели.

– Ну вот видите, – сказал Монте-Кристо, – в этом все дело. Нуартье и д'Эпине столкнулись на политической почве. Хотя генерал д'Эпине и служил в войсках Наполеона, но он в душе был роялистом, правда? Ведь это тот самый, что был убит однажды ночью, при выходе из бонапартистского клуба, куда его завлекли в надежде найти в нем собрата?

Вильфор почти с ужасом взглянул на графа.

– Я ошибаюсь? – спросил Монте-Кристо.

– Напротив, – сказала г-жа де Вильфор, – это так и есть; и именно поэтому мой муж, желая изгладить всякое воспоминание о былой вражде, решил соединить любовью двух детей, отцы которых ненавидели друг друга.

– Превосходная мысль! – сказал Монте-Кристо. – Мысль, исполненная милосердия; свет должен рукоплескать ей. В самом деле было бы прекрасно, если бы мадемуазель Нуартье де Вильфор стала называться госпожой Франц д'Эпине.

Вильфор вздрогнул и посмотрел на Монте-Кристо, как бы желая прочесть в глубине его сердца намерение, которое продиктовало ему эти слова.

Но на губах графа играла обычная приветливая улыбка; и на этот раз королевский прокурор, несмотря на всю свою проницательность, опять не увидел ничего, кроме оболочки.

– Поэтому, – продолжал Вильфор, – хотя утрата состояния деда и большое несчастье для Валентины, я все-таки не думаю, чтобы это могло расстроить ее брак. Я не думаю, чтобы господина д'Эпине могла смутить эта денежная потеря; он увидит, что я, пожалуй, стою больше этой суммы и, жертвующий ею ради того, чтобы сдержать свое слово, он примет также в расчет, что Валентина и без того унаследовала после матери большое состояние; оно находится в распоряжении маркиза и маркизы де Сен-Меран, ее деда и бабки с материнской стороны, а они оба ее нежно любят.

– И они заслуживают того, чтобы их любили и за ними ухаживали так же, как это делает Валентина по отношению к господину Нуартье, –

сказала г-жа де Вильфор. – Впрочем, не позже чем через месяц они приедут в Париж, и Валентине после такого оскорбления не к чему будет вечно сидеть с Нуартье, как она сидела до сих пор.

Граф благосклонно внимал нестройным голосам оскорбленного самолюбия и обманутой корысти.

– Я заранее прошу вас простить мне то, что я скажу, – заметил Монте-Кристо после краткого молчания, – но мне кажется, что если господин Нуартье и лишает наследства мадемуазель де Вильфор, виновную в том, что она хочет выйти замуж за человека, отца которого он ненавидел, то он не может сделать подобного упрека нашему милому Эдуарду.

– Ведь правда, граф? – воскликнула г-жа де Вильфор с непередаваемым выражением. – Правда, это несправедливо, чудовищно несправедливо! Бедный Эдуард такой же внук господина Нуартье, как и Валентина, а между тем, если бы она не выходила замуж за Франца д'Эпине, Нуартье оставил бы ей все свое состояние. Наконец, Эдуард – носитель родового имени, и все же Валентина, даже если дед лишит ее наследства, окажется втрое богаче, чем он.

Монте-Кристо не произносил ни слова и только внимательно слушал.

– Знаете, граф, – сказал Вильфор, – не будем больше говорить о семейных неурядицах. Да, правда, мое состояние пойдет на увеличение доходов бедных, а в наше время они-то и являются настоящими богачами. Да, мой отец лишил меня законных надежд, и притом без всякой моей вины; но я поступлю, как человек здравомыслящий, как человек благородный. Я обещал господину д'Эпине доходы с этого капитала – и он их получит, даже если мне ради этого придется пойти на самые тяжкие лишения.

– А все-таки, – возразила г-жа де Вильфор, неотступно возвращаясь к преследовавшей ее мысли, – может быть, лучше посвятить д'Эпине в эту неприятную историю, чтобы он сам возвратил данное ему слово?

– Это было бы большим несчастьем! – воскликнул Вильфор.

– Большим несчастьем? – переспросил Монте-Кристо.

– Разумеется, – сказал несколько спокойнее Вильфор, – расстроившийся, даже из-за денежных недоразумений, брак бросает

тень на невесту; кроме того, всякие старые слухи, которым я хотел положить конец, возникнут снова. Но нет, этого не будет. Господин д'Эпине, если он честный человек, сочтет себя еще более связанным тем, что Валентина лишена наследства, иначе вышло бы, что им руководила только алчность; нет, этого не может быть.

– Я думаю так же, – сказал Монте-Кристо, пристально глядя на г-жу Вильфор, – будь я настолько другом господина де Вильфора, чтобы иметь право давать советы, я сказал бы: так как Франц д'Эпине должен, по-видимому, скоро вернуться, надо повести это дело так, чтобы оно уже не могло расстроиться, словом, я бы начал борьбу, которая может окончиться только к чести господина де Вильфора.

Этот последний встал, видимо очень обрадованный; жена его слегка побледнела.

– Отлично, – сказал Вильфор, – именно это я хотел услышать, и я воспользуюсь вашим советом, – добавил он, подавая руку Монте-Кристо. – Итак, прошу всех в этом доме считать, что то, что здесь произошло сегодня, не имеет никакого значения: наши планы остаются неизменными.

– Сударь, – сказал граф, – смею вас уверить, что как бы ни был несправедлив свет, он оценит вашу решимость; ваши друзья будут гордиться вами, а господин д'Эпине, даже если бы ему пришлось взять мадемуазель де Вильфор без всякого приданого, хотя это и не так, будет счастлив вступить в семью, где умеют подняться до такого самопожертвования, чтобы сдержать свое слово и исполнить свой долг.

С этими словами граф встал и собрался уходить.

– Вы нас покидаете, граф? – сказала г-жа де Вильфор.

– Я принужден это сделать, сударыня, я заехал только напомнить вам ваше обещание быть у меня в субботу.

– Неужели вы могли думать, что мы забудем?

– Вы слишком добры, сударыня, господин де Вильфор занят такими важными и подчас неотложными делами...

– Мой муж дал слово, граф, – сказала г-жа де Вильфор, – а вы могли убедиться, что он верен ему даже в том случае, когда он многое теряет

от этого, здесь же он может быть только в выигрыше.

– Обед состоится в вашем доме на Елисейских полях? – спросил Вильфор.

– Нет, – отвечал Монте-Кристо, – тем ценнее ваша самоотверженность: это будет за городом.

– За городом?

– Да.

– Где же? В окрестностях Парижа?

– У самых ворот, полчаса езды от заставы: в Отейле.

– В Отейле! – воскликнул Вильфор. – Да, правда, жена говорила мне, что вы живете в Отейле, ей ведь оказали помощь в вашем доме. А в каком месте Отейля?

– На улице Фонтен.

– На улице Фонтен? – продолжал Вильфор сдавленным голосом. – Какой номер?

– Двадцать восемь.

– Так это вам продали дом маркиза де Сен-Мерана? – воскликнул Вильфор.

– Маркиза де Сен-Мерана? – спросил Монте-Кристо. – Разве этот дом принадлежал маркизу де Сен-Мерану?

– Да, – отвечала г-жа де Вильфор, – и можете себе представить, граф, какая странность...

– Что именно?

– Вы согласны, что это прелестный дом, не правда ли?

– Очаровательный.

– А мой муж никогда не соглашался поселиться в нем.

– Право, сударь, – сказал Монте-Кристо, – это предубеждение, которого я не могу понять.

– Я не люблю Отейля, – с усилием ответил королевский прокурор.

– Но, надеюсь, я не буду столь несчастлив, – с беспокойством сказал Монте-Кристо, – чтобы эта антипатия лишила меня удовольствия видеть вас у себя.

– Нет, граф... я надеюсь... поверьте, я сделаю все возможное, – пробормотал Вильфор.

– Нет, я не принимаю никаких отговорок, – отвечал Монте-Кристо. – В субботу, в шесть часов, я жду вас, и если вы не приедете, то, знаете, я могу подумать... что с этим домом, уже двадцать лет необитаемым, связано нечто зловещее, какая-нибудь кровавая легенда.

– Я приеду, граф, приеду, – поспешно заявил Вильфор.

– Благодарю вас, – сказал Монте-Кристо. – А теперь разрешите откланяться.

– В самом деле, граф, вы сказали, что принуждены покинуть нас, – сказала г-жа де Вильфор, – и даже как будто собирались сказать, почему именно, но как раз заговорили о другом.

– Право, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – я боюсь сознаться вам, куда я еду.

– Все равно, скажите.

– Я, как настоящий ротозей, собираюсь поехать посмотреть на одну вещь, о которой я нередко мечтал целыми часами.

– Что же это такое?

– Телеграф.

– Телеграф? – повторила г-жа де Вильфор.

– Да, телеграф. Мне иногда приходилось, в яркий день, видеть на краю дороги, на пригорке, эти вздымающиеся кверху черные суставчатые руки, похожие на лапы огромного жука, и, уверяю вас, я всегда глядел на них с волнением. Я думал о том, что эти странные знаки, так четко рассекающие воздух и передающие за триста лье неведомую волю человека, сидящего за столом, другому человеку, сидящему в конце линии за другим столом, вырисовываются на серых тучах или голубом небе только силою желания этого всемогущего властелина; и я думал о духах, сильфах, гномах – словом, о тайных силах, – и смеялся. Но у меня никогда не являлось желания поближе рассмотреть этих огромных насекомых с белым брюшком и тощими черными лапами, потому что я боялся найти под их каменными крыльями маленькое человеческое существо, очень важное, очень

педантичное, напичканное науками, каббалистикой или колдовством. Но в одно прекрасное утро я узнал, что всяким телеграфом управляет несчастный служака, получающий в год тысячу двести франков и созерцающий целый день не небо, как астроном, не воду, как рыболов, не пейзаж, как праздный гуляка, а такое же насекомое с белым брюшком и черными лапами, своего корреспондента, находящегося за четыре или пять лье от него. Тогда мне стало любопытно посмотреть вблизи на эту живую куколку, на то, как она из глубины своего кокона играет с соседней куколкой, дергая одну веревочку за другой.

– И вы едете туда?

– Я еду туда.

– На какой телеграф? Министерства внутренних дел или Обсерватории?

– Ни в коем случае; там я встречу людей, которые пожелают растолковать мне то, чего я не хочу знать, и станут насильно объяснять мне тайну, которой сами не понимают. Черт возьми, я хочу сохранить свои иллюзии относительно насекомых; достаточно того, что я утратил иллюзии относительно людей. Так что я не поеду ни на телеграф министерства внутренних дел, ни на телеграф Обсерватории. Мне нужен телеграф на вольном воздухе, чтобы увидеть без прикрас бедного малого, окаменевшего в своей башне.

– Хоть вы и знатный вельможа, но очень странный человек, – сказал Вильфор.

– Какую линию вы посоветуете мне осмотреть?

– Ту, где сейчас идет самая усиленная работа.

– Отлично. Значит, испанскую?

– Конечно. Хотите письмо от министра, чтобы вам объяснили...

– Нет, нет, – сказал Монте-Кристо, – наоборот, я же говорю, что не хочу понимать. С той минуты, как я что-нибудь пойму, телеграф перестанет существовать для меня и останется только знак, посланный господином Дюшателем или господином де Монталиве и переданный байоннскому префекту в виде двух греческих слов: thle, grajh. А я хочу

оставить во всей их чистоте насекомое с черными лапами и страшное слово и сохранить все мое к ним почтение.

– Так поезжайте, потому что через два часа совсем стемнеет, и вы ничего не увидите.

– Вы меня пугаете! Который из них всего ближе?

– На дороге в Байонну?

– Да, хотя бы на дороге в Байонну.

– Шатильонский.

– А после Шатильонского?

– Кажется, на башне Монлери.

– Благодарю вас, до свидания! В субботу я расскажу вам о своих впечатлениях.

В дверях граф столкнулся с нотариусами, которые только что лишили Валентину наследства и уходили, очень довольные тем, что составили акт, делающий им немалую честь.

# IV. Способ избавить садовода от сонь, поедающих его персики

Не в тот же вечер, как он говорил, а на следующее утро граф Монте-Кристо выехал через заставу Анфер, направился по Орлеанской дороге, миновал деревню Лина, не останавливаясь около телеграфа, который как раз в то время, когда граф проезжал мимо, двигал своими длинными, тощими руками, и доехал до башни Монлери, расположенной, как всем известно, на самой возвышенной точке одноименной долины.

У подножия холма граф вышел из экипажа и по узенькой круговой тропинке, шириной в полтора фута, начал подниматься в гору; дойдя до вершины, он оказался перед изгородью, на которой уже зеленели плоды, сменившие розовые и белые цветы.

Монте-Кристо принялся искать калитку и не замедлил ее найти. Это была деревянная решетка, привешенная на ивовых петлях и запирающаяся посредством гвоздя и веревки. Граф тотчас же освоился с этим механизмом, и калитка отворилась.

Граф очутился в маленьком садике в двадцать шагов длиной и двенадцать шириной; с одной стороны он был окаймлен той частью изгороди, в которой было устроено остроумное приспособление, описанное нами под названием калитки, а с другой примыкал к старой башне, обвитой плющом и усеянной желтыми левкоями и гвоздиками.

Никто бы не сказал, что эта башня, вся в морщинах и цветах, словно бабушка, которую пришли поздравить внуки, могла бы поведать немало ужасных драм, если бы у нее нашелся и голос в придачу к тем грозным ушам, которые старая пословица приписывает стенам.

Через садик можно было пройти по дорожке, посыпанной красным песком и окаймленной бордюром из многолетнего толстого букса, чьи оттенки привели бы в восхищение взор Делакруа, нашего современного Рубенса. Дорожка эта имела вид восьмерки и заворачивала, переплетаясь, так что на пространстве двадцати шагов можно было сделать прогулку в целых шестьдесят. Никогда еще Флоре, веселой и

юной богине добрых латинских садовников, не служили так старательно и так чистосердечно, как в этом маленьком садике.

В самом деле, на двадцати розовых кустах, составлявших цветник, не было ни одного листочка со следами мушки, ни одной жилки, обезображенной зеленой тлей, которая опустошает и пожирает растения на сырой почве. А между тем в саду было достаточно сыро; об этом говорили черная, как сажа, земля и густая листва деревьев. Впрочем, естественную влажность быстро заменила бы искусственная, благодаря врытой в углу сада бочке со стоячей водой, где на зеленой ряске неизменно пребывали лягушка и жаба, которые, вероятно, из-за несоответствия характеров, постоянно сидели друг к другу спиной на противоположных сторонах круга.

При всем том на дорожках не было ни травинки, на клумбах ни одного сорного побега; ни одна модница не холит и не подрезает так тщательно герани, кактусы и рододендроны в своей фарфоровой жардиньерке, как это делал хозяин садика, пока еще незримый.

Закрыв за собой калитку и зацепив веревку за гвоздь, Монте-Кристо остановился и окинул взглядом все это владение.

– По-видимому, – сказал он, – телеграфист держит садовников или сам страстный садовод.

Вдруг он наткнулся на что-то, притаившееся за тачкой, наполненной листьями; это что-то с удивленным восклицанием выпрямилось, и Монте-Кристо очутился лицом к лицу с человечком лет пятидесяти; человечек был занят собиранием земляники, которую он раскладывал на виноградных листьях.

У него были двенадцать виноградных листьев и почти столько же ягод земляники.

Поднимаясь, старичок едва не уронил ягоды, листья и тарелку.

– Собираете урожай? – сказал, улыбаясь, Монте-Кристо.

– Простите, сударь, – ответил старичок, поднося руку к фуражке, – я, правда, не наверху, но я только что сошел оттуда.

– Не беспокойтесь из-за меня, мой друг, – сказал граф, – собирайте ваши ягоды, если это еще не все.

– Осталось еще десять, – сказал старичок, – видите, вот одиннадцать, а у меня их двадцать одна, на пять больше, чем в прошлом году. И неудивительно, весна в этом году стояла теплая, а землянике, сударь, если что нужно, так это солнце. Вот почему вместо шестнадцати, которые были в прошлом году, у меня теперь, как видите, одиннадцать уже сорванных, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать... Боже мой, двух не хватает! Они еще вчера были, сударь, они были здесь, я в этом уверен, я их пересчитал. Это, наверное, сынишка тетки Симон напроказничал. Я видел, как он шнырял здесь сегодня утром! Маленький негодяй, красть в саду! Видно, он не знает, чем это может кончиться!

– Да, это не шутка, – сказал Монте-Кристо. – Но надо принять во внимание молодость преступника и его желание полакомиться.

– Разумеется, – отвечал садовод, – но от этого не легче. Однако еще раз прошу вас извинить меня, сударь; может быть, я заставляю ждать начальника?

И он боязливо разглядывал графа и его синий фрак.

– Успокойтесь, друг мой, – сказал граф, со своей улыбкой, которая, по его желанию, могла быть такой страшной и такой доброжелательной и которая на этот раз выражала одну только доброжелательность, – я совсем не начальник, явившийся вас ревизовать, а просто путешественник; меня привлекло сюда любопытство, и я начинаю даже сожалеть о своем приходе, так как вижу, что отнимаю у вас время.

– Мое время недорого стоит, – возразил, грустно улыбаясь, старичок. – Правда, оно казенное, и мне не следовало бы его расточать; но мне дали знать, что я могу отдохнуть час (он взглянул на солнечные часы, ибо в садике при монлерийской башне имелось все что угодно, даже солнечные часы), видите, у меня осталось еще десять минут, а земляника моя поспела, и еще один день... К тому же, сударь, поверите ли, у меня ее поедают сони.

– Вот чего бы я никогда не подумал, – серьезно ответил Монте-Кристо, – сони – неприятные соседи, раз уж мы не едим их в меду, как это делали римляне.

– Вот как? Римляне их ели? – спросил садовод. – Ели сонь?

– Я читал об этом у Петрония, – ответил граф.

– Неужели? Не думаю, чтобы это было вкусно, хоть и говорят: жирный, как соня. Да и неудивительно, что они жирные, раз они спят весь божий день и просыпаются только для того, чтобы грызть всю ночь. Знаете, в прошлом году у меня было четыре абрикоса; один они испортили. Созрел у меня и гладкокожий персик, единственный, правда, это большая редкость, – ну так вот, сударь, они у него сожрали бок, повернутый к стене; чудный персик, удивительно вкусный! Я никогда такого не ел.

– Вы его съели? – спросил Монте-Кристо.

– То есть оставшуюся половину, понятно. Это было восхитительно. Да, эти господа умеют выбирать лакомые куски. Совсем как сынишка тетки Симон; он уж, конечно, выбрал не самые плохие ягоды! Но в этом году, – продолжал садовод, – будьте спокойны, такого не случится, хотя бы мне пришлось караулить всю ночь, когда плоды начнут созревать.

Монте-Кристо услышал достаточно. У каждого человека есть своя страсть, грызущая ему сердце, как у каждого плода есть свой червь; страстью телеграфиста было садоводство.

Монте-Кристо начал обрывать виноградные листья, заслонявшие солнце, и этим покорил сердце садовода.

– Вы пришли посмотреть на телеграф, сударь? – спросил он.

– Да, если, конечно, это не запрещено вашими правилами.

– Отнюдь не запрещено, – отвечал садовод, – ведь в этом нет никакой опасности: никто не знает и не может знать, что мы передаем.

– Мне действительно говорили, – сказал граф, – что вы повторяете сигналы, которых сами не понимаете.

– Разумеется, сударь, и я этим очень доволен, – сказал, смеясь, телеграфист.

– Почему же?

– Потому что таким образом я не несу никакой ответственности. Я машина, и только, и раз я действую, то с меня ничего больше не спрашивают.

«Черт побери, – подумал Монте-Кристо, – неужели я натолкнулся на человека, который ни к чему не стремится? Тогда мне не повезло».

– Сударь, – сказал садовод, бросив взгляд на свои солнечные часы, – мои десять минут подходят к концу, и я должен вернуться на место. Не желаете ли подняться вместе со мной?

– Я следую за вами.

И Монте-Кристо вошел в башню, разделенную на три этажа; в нижнем находились кое-какие земледельческие орудия – заступы, грабли, лейки, стоявшие у стен, – то было его единственное убранство.

Второй этаж представлял обычное или, вернее, ночное жилье служащего; тут находились скудная домашняя утварь, кровать, стол, два стула, каменный рукомойник да пучки сухих трав, подвешенные к потолку; граф узнал душистый горошек и испанские бобы, чьи зерна старичок сохранял вместе со стручками; все это он, с усердием ученого ботаника, снабдил соответствующими ярлычками.

– Скажите, сударь, много ли времени требуется, чтобы изучить телеграфное дело? – спросил Монте-Кристо.

– Долго тянется не обучение, а сверхштатная служба.

– А сколько вы получаете жалованья?

– Тысячу франков, сударь.

– Маловато.

– Да, но, как видите, дают квартиру.

Монте-Кристо окинул взглядом комнату.

– Не хватает только, чтобы он дорожил своим помещением, – пробормотал он.

Поднялись в третий этаж – тут и помещался телеграф. Монте-Кристо рассмотрел обе железные ручки, с помощью которых чиновник приводил в движение машину.

– Это чрезвычайно интересно, – сказал Монте-Кристо, – но в конце концов такая жизнь должна вам казаться скучноватой?

– Вначале, оттого что все время приглядываешься, сводит шею; но через год-другой привыкаешь; а потом ведь у нас бывают часы отдыха и свободные дни.

– Свободные дни?

– Да.

– Какие же?

– Когда туман.

– Да, верно.

– Это мои праздники; в такие дни я спускаюсь в сад и сажаю, подрезаю, подстригаю, обираю гусениц; в общем, время проходит незаметно.

– Давно вы здесь?

– Десять лет да пять лет сверхштатной службы, так что всего пятнадцать.

– Сколько лет надо прослужить, чтобы получить пенсию?

– Ах, сударь, двадцать пять лет.

– А как велика пенсия?

– Сто экю.

– Бедное человечество! – пробормотал Монте-Кристо.

– Что вы сказали, сударь? – спросил чиновник.

– Я говорю, что все это чрезвычайно интересно.

– Что именно?

– Все, что вы мне показываете... И вы совсем ничего не понимаете в ваших сигналах?

– Совсем ничего.

– И никогда не пытались понять?

– Никогда; зачем мне это?

– Но ведь есть сигналы, относящиеся именно к вам?

– Разумеется.

– Их вы понимаете?

– Они всегда одни и те же.

– И они гласят?..

– «Ничего нового»... «У вас свободный час»... или: «До завтра».

– Да, это сигналы невинные, – сказал граф. – Но посмотрите, кажется, ваш корреспондент приходит в движение?

– Да, верно; благодарю вас, сударь.

– Что же он вам говорит? Что-нибудь, что вы понимаете?

– Да, он спрашивает, готов ли я.

– И вы отвечаете?..

– Сигналом, который указывает моему корреспонденту справа, что я готов, и в то же время предлагает корреспонденту слева, в свою очередь, приготовиться.

– Остроумно сделано, – сказал граф.

– Вот вы сейчас увидите, – с гордостью продолжил старичок, – через пять минут он начнет говорить.

– Значит, у меня в распоряжении целых пять минут, – заметил Монте-Кристо, – это больше, чем мне нужно. Дорогой мой, – сказал он, – разрешите задать вам один вопрос?

– Пожалуйста.

– Вы любите садоводство?

– Страстно.

– И вам было бы приятно иметь сад в две десятины вместо площади в двадцать футов?

– Сударь, я обратил бы его в земной рай.

– Вам плохо живется на тысячу франков?

– Довольно плохо, но как-никак я справляюсь.

– Да, но садик у вас жалкий.

– Вот это верно, садик невелик.

– И к тому же населен сонями, которые все пожирают.

– Да, это мой бич.

– Скажите, что, если бы, на вашу беду, вы отвернулись в ту минуту, когда задвигается ваш корреспондент справа?

– Я бы не видел его сигналов.

– И что случилось бы?

– Я не мог бы их повторить.

– И тогда?

– Тогда меня оштрафовали бы за то, что я по небрежности не повторил их.

– На сколько?

– На сто франков.

– На десятую часть годового жалованья; недурно!

– Что поделаешь! – сказал чиновник.

– Это с вами случалось? – спросил Монте-Кристо.

– Однажды случилось, сударь, когда я делал прививку на кусте желтых роз.

– Ну, а если бы вам вздумалось что-нибудь переменить в сигналах или передать другие?

– Тогда другое дело; тогда меня сместили бы и я лишился бы пенсии.

– В триста франков?

– Да, сударь, в сто экю; так что, вы понимаете, я никогда не сделаю ничего подобного.

– Даже за сумму, равную вашему пятнадцатилетнему жалованью? Ведь об этом стоит подумать, как вы находите?

– За пятнадцать тысяч франков?

– Да.

– Сударь, вы меня пугаете.

– Ну вот еще!

– Сударь, вы хотите соблазнить меня?

– Вот именно. Понимаете, пятнадцать тысяч франков!

– Сударь, позвольте мне лучше смотреть на моего корреспондента справа.

– Напротив, не смотрите на него, а посмотрите на это.

– Что это?

– Как? Вы не знаете этих бумажек?

– Кредитные билеты!

– Самые настоящие; и их здесь пятнадцать.

– А чьи они?

– Ваши, если вы пожелаете.

– Мои! – воскликнул, задыхаясь, чиновник.

– Ну да, ваши, в полную собственность.

– Сударь, мой корреспондент справа задвигался.

– Ну и пусть себе.

– Сударь, вы отвлекли меня, и меня оштрафуют.

– Это вам обойдется в сто франков; вы видите, что в ваших интересах взять эти пятнадцать тысяч франков.

– Сударь, мой корреспондент справа теряет терпение, он повторяет свои сигналы.

– Не обращайте на него внимания и берите.

Граф сунул пачку в руку чиновника.

– Но это еще не все, – сказал он. – Вы не сможете жить на пятнадцать тысяч франков.

– За мной остается еще мое место.

– Нет, вы его потеряете; потому что сейчас вы дадите не тот сигнал, который вам дал ваш корреспондент.

– О, сударь, что вы мне предлагаете?

– Детскую шалость.

– Сударь, если меня к этому не принудят...

– Я именно и собираюсь вас принудить.

И Монте-Кристо достал из кармана вторую пачку.

– Тут еще десять тысяч франков, – сказал он. – С теми пятнадцатью, которые у вас в кармане, это составит двадцать пять тысяч. За пять тысяч вы приобретете хорошенький домик и две десятины земли; остальные двадцать тысяч дадут вам тысячу франков годового дохода.

– Сад в две десятины!

– И тысяча франков дохода.

– Боже мой, боже мой!

– Да берите же!

И Монте-Кристо насильно вложил в руку чиновника эти десять тысяч франков.

– Что я должен сделать?

– Ничего особенного.

– Но все-таки?

– Повторите вот эти сигналы.

Монте-Кристо достал из кармана бумагу, на которой были изображены три сигнала и номера, указывающие порядок, в котором их требовалось

передать.

– Как видите, это не займет много времени.

– Да, но...

– Уж теперь у вас будут гладкокожие персики и все что угодно.

Удар попал в цель: красный от возбуждения и весь в поту, старичок проделал один за другим все три сигнала, данные ему графом, несмотря на отчаянные призывы корреспондента справа, который, ничего не понимая в происходящем, начинал думать, что любитель персиков сошел с ума.

Что касается корреспондента слева, то тот добросовестно повторил его сигналы, которые в конце концов были приняты министерством внутренних дел.

– Теперь вы богаты, – сказал Монте-Кристо.

– Да, – сказал чиновник, – но какой ценой?

– Послушайте, друг мой, – сказал Монте-Кристо, – я не хочу, чтобы вас мучила совесть, поверьте, клянусь вам, вы никому не сделали вреда и только содействовали божьему промыслу.

Чиновник разглядывал кредитные билеты, ощупывал их, считал; он то бледнел, то краснел; наконец, он побежал в свою комнату, чтобы выпить стакан воды, но, не успев добежать до рукомойника, потерял сознание среди своих сухих бобов.

Через пять минут после того, как телеграфное сообщение достигло министерства внутренних дел, Дебрэ приказал запрячь лошадей в карету и помчался к Дангларам.

– У вашего мужа есть облигации испанского займа? – спросил он у баронессы.

– Еще бы! Миллионов на шесть.

– Пусть он продает их по любой цене.

– Это почему?

– Потому что Дон Карлос бежал из Буржа и вернулся в Испанию.

– Откуда вам это известно?

– Да оттуда, – сказал, пожимая плечами, Дебрэ, – откуда мне все известно.

Баронесса не заставила себя упрашивать, она бросилась к мужу; тот бросился к своему маклеру и велел ему продавать по какой бы то ни было цене.

Когда увидели, что Данглар продает, испанские бумаги тотчас упали. Данглар потерял на этом пятьсот тысяч франков, но избавился от всех своих облигаций.

Вечером в «Вестнике» было напечатано:

«Телеграфное сообщение.

Король Дон Карлос, несмотря на установленный за ним надзор, тайно скрылся из Буржа и вернулся в Испанию через каталонскую границу. Барселона восстала и перешла на его сторону».

Весь вечер только и было разговоров, что о предусмотрительности Данглара, успевшего продать свои облигации, об удаче этого биржевика, потерявшего всего лишь пятьсот тысяч франков в такой катастрофе.

А те, кто сохранил свои облигации или купил бумаги Данглара, считали себя разоренными и провели прескверную ночь.

На следующий день в «Официальной газете» было напечатано:

«Вчерашнее сообщение „Вестника“ о бегстве Дон Карлоса и о восстании в Барселоне ни на чем не основано.

Дон Карлос не покидал Буржа, и на полуострове царит полное спокойствие.

Поводом к этой ошибке послужил телеграфный сигнал, неверно понятый вследствие тумана».

Облигации поднялись вдвое против той цены, на которую упали. В общей сложности, считая убыток и упущение возможной прибыли, это составило для Данглара потерю в миллион.

– Однако! – сказал Монте-Кристо Моррелю, находившемуся у него в то время, когда пришло известие о странном повороте на бирже, жертвой которого оказался Данглар. – За двадцать пять тысяч франков я сделал открытие, за которое охотно заплатил бы сто тысяч.

– В чем же заключается ваше открытие? – спросил Максимилиан.

– Я нашел способ избавить одного садовода от сонь, которые поедали его персики.

# V. Призраки

По внешнему виду в отейльском доме не было никакой роскоши, ничего такого, чего можно было бы ожидать от жилища, предназначенного великолепному графу Монте-Кристо. Но эта простота объяснялась желанием самого хозяина: он строго распорядился ничего не менять снаружи; чтобы в этом убедиться, достаточно было взглянуть на внутреннее убранство. В самом деле, стоило только переступить порог, как картина сразу менялась.

Убранством комнат и той быстротой, с которой все было сделано, Бертуччо превзошел самого себя. Как некогда герцог Антенский приказал вырубить в одну ночь целую аллею, которая мешала взору Людовика XIV, так Бертуччо в три дня засадил совершенно голый двор, и прекрасные тополя и клены, привезенные вместе с огромными глыбами корней, затеняли главный фасад дома, перед которым на месте булыжника, заросшего травой, раскинулась лужайка, устланная дерном; пласты его, положенные не далее как утром, образовали широкий ковер; на нем еще блестели после поливки капли воды.

Впрочем, все распоряжения исходили от графа; он сам передал Бертуччо план, где были указаны количество и расположение деревьев, которые следовало посадить, и размеры и форма лужайки, которая должна была заменить булыжник.

В таком виде дом стал неузнаваем, и сам Бертуччо уверял, что не узнает его в этой зеленой раме.

Управляющий не прочь был бы, кстати, изменить кое-что и в саду, но граф строго запретил что бы то ни было там трогать. Бертуччо вознаградил себя тем, что обильно украсил цветами прихожую, лестницы и камины.

Поистине управляющий был одарен необыкновенной способностью выполнять приказания, а хозяин – чудесным умением заставить себе служить. И вот дом, уже двадцать лет никем не обитаемый, еще накануне такой мрачный и печальный, пропитанный тем затхлым запахом,

который можно назвать запахом времени, в один день принял живой облик, наполнился теми ароматами, которые любил хозяин, и даже тем количеством света, которое он предпочитал; едва вступив в него, граф находил у себя под рукой свои книги и оружие, перед глазами – любимые картины, в прихожих – преданных ему собак и любимых певчих птиц; весь этот дом, проснувшийся от долгого сна, словно замок спящей красавицы, жил, пел и расцветал, подобно тем жилищам, которые давно нам милы и в которых, если мы имеем несчастье их покинуть, мы невольно оставляем частицу нашей души.

По двору весело сновали слуги: одни – занятые в кухнях и бегавшие по только что починенным лестницам с таким видом, как будто они всегда жили в этом доме; другие – приставленные к сараям, где экипажи, размещенные по номерам, стояли словно уже полвека, и к конюшням, где лошади, жуя овес, отвечали ржанием своим конюхам, которые разговаривали с ними гораздо почтительнее, чем иные слуги со своими хозяевами.

Библиотека помещалась в двух шкафах, вдоль двух стен, и содержала около двух тысяч томов; целое отделение было предназначено для новейших романов, и появившийся накануне уже стоял на месте, красуясь в своем красном с золотом переплете.

По другую сторону дома, против библиотеки, была устроена оранжерея, полная редких растений в огромных японских вазах; посередине оранжереи, чарующей глаз и обоняние, стоял бильярд, словно час тому назад покинутый игроками, оставившими шары дремать на зеленом сукне.

Только одной комнаты не коснулся волшебник Бертуччо. Она была расположена в левом углу второго этажа, и в нее можно было войти по главной лестнице, а выйти по потайной; мимо этой комнаты слуги проходили с любопытством, а Бертуччо с ужасом.

Ровно в пять часов граф, в сопровождении Али, подъехал к отейльскому дому. Бертуччо ждал его прибытия с тревожным нетерпением; он надеялся услышать похвалу и в то же время опасался увидеть нахмуренные брови.

Монте-Кристо вышел из экипажа, прошел по всему дому и обошел сад, не проронив ни слова и ничем не выказав ни одобрения, ни недовольства.

Только войдя в свою спальню, помещавшуюся в конце, противоположном запертой комнате, он указал рукой на маленький шкафчик из розового дерева, на который обратил внимание уже в первое свое посещение.

– Он годится только для перчаток, – заметил он.

– Совершенно верно, ваше сиятельство, – ответил восхищенный Бертуччо, – откройте его; в нем перчатки.

В других шкафчиках точно так же оказалось именно то, что граф и ожидал в них найти: флаконы с духами, сигары, драгоценности.

– Хорошо! – сказал он наконец.

И Бертуччо удалился, осчастливленный до глубины души, настолько велико и могущественно было влияние этого человека на все окружающее.

Ровно в шесть часов у подъезда раздался конский топот. Это прибыл верхом на Медеб наш капитан спаги.

Монте-Кристо, приветливо улыбаясь, ждал его в дверях.

– Я уверен, что я первый, – крикнул ему Моррель, – я нарочно спешил, чтобы побыть с вами хоть минуту вдвоем, пока не соберутся остальные. Жюли и Эмманюель просили меня передать вам тысячу приветствий. А знаете, у вас здесь великолепно! Скажите, граф, ваши люди хорошо присмотрят за моей лошадью?

– Не беспокойтесь, дорогой Максимилиан, они знают свое дело.

– Ведь ее нужно хорошенько обтереть. Если бы вы видели, как она неслась! Настоящий вихрь!

– Еще бы, я думаю, лошадь, стоящая пять тысяч франков! – сказал Монте-Кристо тоном отца, говорящего со своим сыном.

– Вы о них жалеете? – спросил Моррель со своей открытой улыбкой.

– Я? Боже меня упаси! – ответил граф. – Нет. Мне было бы жаль только, если бы лошадь оказалась плоха.

– Она так хороша, дорогой граф, что Шато-Рено, первый знаток во Франции, и Дебрэ, пользующийся арабскими конями министерства, гонятся за мной сейчас и, как видите, отстают, а за ними мчатся по пятам лошади баронессы Данглар, которые делают не более и не менее как шесть лье в час.

– Так, значит, они сейчас будут здесь? – спросил Монте-Кристо.

– Да. Да вот и они.

И действительно, у ворот, немедленно распахнувшихся, показались взмыленная пара и две тяжело дышащие верховые лошади. Карета, описав круг, остановилась у подъезда в сопровождении обоих всадников.

Дебрэ мигом соскочил с седла и открыл дверцу кареты. Он подал руку баронессе, которая, выходя, сделала движение, не замеченное никем, кроме Монте-Кристо. Но от взгляда графа ничто не могло укрыться; он заметил, как при этом движении мелькнула белая записочка, столь же незаметная, как и сам жест, и с легкостью, говорившей о привычке, перешла из руки г-жи Данглар в руку секретаря министра.

Вслед за женой появился банкир, такой бледный, как будто он выходил не из кареты, а из могилы.

Быстрым, пытливым взглядом, понятным одному только Монте-Кристо, г-жа Данглар окинула двор, подъезд и фасад дома; затем, подавляя легкое волнение, которое, несомненно, отразилось бы на ее лице, если бы это лицо было способно бледнеть, она поднялась по ступеням, говоря Моррелю:

– Сударь, если бы вы были моим другом, я спросила бы вас, не продадите ли вы вашу лошадь.

Моррель изобразил улыбку, больше похожую на гримасу, и взглянул на Монте-Кристо, как бы умоляя выручить его из затруднительного положения.

Граф понял его.

– Ах, сударыня, – сказал он, – почему не ко мне относится ваш вопрос?

– Когда имеешь дело с вами, граф, – отвечала баронесса, – чувствуешь себя не вправе что-либо желать, потому что тогда наверное это получишь. Вот почему я и обратилась к господину Моррелю.

– К сожалению, – сказал граф, – я могу удостоверить, что господин Моррель не может уступить свою лошадь: оставить ее у себя – для него вопрос чести.

– Как так?

– Он держал пари, что объездит Медеа в полгода. Вы понимаете, баронесса, если он расстанется с ней до истечения срока пари, то он не только проиграет его, но будут говорить еще, что он испугался. А капитан спаги, даже ради прихоти хорошенькой женщины – хотя это, на мой взгляд, одна из величайших святынь в нашем мире, – не может допустить, чтобы о нем пошли такие слухи.

– Вы видите, баронесса, – сказал Моррель, с благодарностью улыбаясь графу.

– Притом же, мне кажется, – сказал Данглар с насильственной улыбкой, плохо скрывавшей его хмурый тон, – у вас и так достаточно лошадей.

Было не в обычае г-жи Данглар безнаказанно спускать подобные выходки, однако, к немалому удивлению молодых людей, она сделала вид, что не слышит, и ничего не ответила.

Монте-Кристо, у которого это молчание вызвало улыбку, ибо свидетельствовало о непривычном смирении, показывал баронессе две исполинские вазы китайского фарфора, на них извивались морские водоросли такой величины и такой работы, что, казалось, только сама природа могла создать их такими могучими, сочными и хитроумно сплетенными.

Баронесса была в восхищении.

– Да в них можно посадить каштановое дерево из Тюильри! – сказала она. – Как только ухитрились обжечь такие громадины?

– Сударыня, – сказал Монте-Кристо, – разве можем ответить на это мы, умеющие мастерить статуэтки и стекло тоньше кисеи? Это работа других веков, в некотором роде создание гениев земли и моря.

– Вот как? И к какой примерно эпохе они относятся?

– Этого я не знаю; я слышал только, что какой-то китайский император велел построить особую обжигательную печь; в этой печи обожгли, одну за другой, двенадцать таких ваз. Две из них лопнули в огне; десять остальных спустили в море на глубину трехсот саженей. Море, зная, что от него требуется, обволокло их своими водорослями, покрыло кораллами, врезало в них раковины; на невероятной глубине все это спаяли вместе два столетия, потому что император, который хотел проделать этот опыт, был сметен революцией, и после него осталась только запись, свидетельствующая о том, что вазы были обожжены и спущены на морское дно. Через двести лет нашли эту запись и решили извлечь вазы. Водолазы в особо устроенных приспособлениях начали поиски в той бухте, куда их опустили; но из десяти ваз нашли только три; остальные были смыты и разбиты волнами. Я люблю эти вазы; я воображаю иногда, что в глубину их с удивлением бросали свой тусклый и холодный взгляд таинственные, наводящие ужас бесформенные чудища, каких могут видеть только водолазы, и что мириады рыб укрывались в них от преследования врагов.

Между тем Данглар, равнодушный к редкостям, машинально обрывал один за другим цветы великолепного померанцевого дерева; покончив с померанцевым деревом, он перешел к кактусу, но кактус, не столь покладистый, жестоко уколол его.

Тогда он вздрогнул и протер глаза, словно просыпаясь от сна.

– Барон, – сказал ему, улыбаясь, Монте-Кристо, – вам, любителю живописи и обладателю таких прекрасных произведений, я не смею хвалить свои картины. Но все же вот два Гоббемы, Пауль Поттер, Мирис, два Герарда Доу, Рафаэль, Ван Дейк, Сурбаран и два-три Мурильо, которые достойны быть вам представлены.

– Позвольте! – сказал Дебрэ. – Вот этого Гоббему я узнаю.

– В самом деле?

– Да, его предлагали Музею.

– Там, кажется, нет ни одного Гоббемы? – вставил Монте-Кристо.

– Нет, и, несмотря на это, Музей отказался его приобрести.

– Почему же? – спросил Шато-Рено.

– Ваша наивность очаровательна; да потому, что у правительства нет для этого средств.

– Прошу прощения! – сказал Шато-Рено. – Я вот уже восемь лет слышу это каждый день и все еще не могу привыкнуть.

– Со временем привыкнете, – сказал Дебрэ.

– Не думаю, – ответил Шато-Рено.

– Майор Бартоломео Кавальканти, виконт Андреа Кавальканти! – доложил Батистен.

В высоком черном атласном галстуке только что из магазина, гладко выбритый, седоусый, с уверенным взглядом, в майорском мундире, украшенном тремя звездами и пятью крестами, с безукоризненной выправкой старого солдата – таким явился майор Бартоломео Кавальканти, уже знакомый нам нежный отец.

Рядом с ним шел, одетый с иголочки, с улыбкой на губах, виконт Андреа Кавальканти, точно так же знакомый нам почтительный сын.

Моррель, Дебрэ и Шато-Рено разговаривали между собой: они поглядывали то на отца, то на сына и, естественно, задерживались на этом последнем, тщательнейшим образом изучая его.

– Кавальканти! – проговорил Дебрэ.

– Звучное имя, черт побери! – сказал Моррель.

– Да, – сказал Шато-Рено, – это верно. Итальянцы именуют себя хорошо, но одеваются плохо.

– Вы придираетесь, Шато-Рено, – возразил Дебрэ, – его костюм отлично сшит и совсем новый.

– Именно это мне и не нравится. У этого господина вид, будто он сегодня в первый раз оделся.

– Кто такие эти господа? – спросил Данглар у Монте-Кристо.

– Вы же слышали: Кавальканти.

– Это только имя, оно ничего мне не говорит.

– Да, вы ведь не разбираетесь в нашей итальянской знати; сказать «Кавальканти» – значит сказать «вельможа».

– Крупное состояние? – спросил банкир.

– Сказочное.

– Что они делают?

– Безуспешно стараются его прожить. Кстати, они аккредитованы на ваш банк, они сказали мне это, когда были у меня третьего дня. Я даже ради вас и пригласил их. Я вам их представлю.

– Мне кажется, они очень чисто говорят по-французски, – сказал Данглар.

– Сын воспитывался в каком-то коллеже на юге Франции, в Марселе или его окрестностях как будто. Сейчас он в совершенном восторге.

– От чего? – спросила баронесса.

– От француженок, сударыня. Он непременно хочет жениться на парижанке.

– Нечего сказать, остроумно придумал! – заявил Данглар, пожимая плечами.

Госпожа Данглар бросила на мужа взгляд, который в другое время предвещал бы бурю, но и на этот раз она смолчала.

– Барон сегодня как будто в очень мрачном настроении, – сказал Монте-Кристо г-же Данглар, – уж не хотят ли его сделать министром?

– Пока нет, насколько я знаю. Я скорее склонна думать, что он играл на бирже и проиграл, и теперь не знает, на ком сорвать досаду.

– Господин и госпожа де Вильфор! – возгласил Батистен.

Королевский прокурор с супругой вошли в комнату.

Вильфор, несмотря на все свое самообладание, был явно взволнован. Пожимая ему руку, Монте-Кристо заметил, что она дрожит.

«Положительно, только женщины умеют притворяться», – сказал себе Монте-Кристо, глядя на г-жу Данглар, которая улыбалась королевскому прокурору и целовалась с его женой.

После обмена приветствиями граф заметил, что Бертуччо, до того времени занятый в буфетной, проскользнул в маленькую гостиную, смежную с той, в которой находилось общество.

Он вышел к нему.

– Что вам нужно, Бертуччо? – спросил он.

– Ваше сиятельство не сказали мне, сколько будет гостей.

– Да, верно.

– Сколько приборов?

– Сосчитайте сами.

– Все уже в сборе, ваше сиятельство?

– Да.

Бертуччо заглянул в полуоткрытую дверь.

Монте-Кристо впился в него глазами.

– О боже! – воскликнул Бертуччо.

– В чем дело? – спросил граф.

– Эта женщина!.. Эта женщина!..

– Которая?

– Та, в белом платье и вся в бриллиантах... блондинка!..

– Госпожа Данглар?

– Я не знаю, как ее зовут. Но это она, сударь, это она!

– Кто «она»?

– Женщина из сада! Та, что была беременна! Та, что гуляла, поджидая... поджидая...

Бертуччо замолк, с раскрытым ртом, весь бледный; волосы у него стали дыбом.

– Поджидая кого?

Бертуччо молча показал пальцем на Вильфора, почти таким жестом, каким Макбет указывает на Банко.

– О боже, – прошептал он наконец. – Вы видите?

– Что? Кого?

– Его!

– Его? Господина королевского прокурора де Вильфора? Разумеется, я его вижу.

– Так, значит, я его не убил!

– Послушайте, милейший Бертуччо, вы, кажется, сошли с ума, – сказал граф.

– Так, значит, он не умер!

– Да нет же! Он не умер, вы сами видите; вместо того чтобы всадить ему кинжал в левый бок между шестым и седьмым ребром, как это

принято у ваших соотечественников, вы всадили его немного ниже или немного выше; а эти судейские – народ живучий. Или, вернее, во всем, что вы мне рассказали, не было ни слова правды – это было лишь воображение, галлюцинация. Вы заснули, не переварив как следует вашего мщения, оно давило вам на желудок, и вам приснился кошмар – вот и все. Ну, придите в себя и сосчитайте: господин и госпожа де Вильфор – двое; господин и госпожа Данглар – четверо; Шато-Рено, Дебрэ, Моррель – семеро; майор Бартоломео Кавальканти – восемь.

– Восемь, – повторил Бертуччо.

– Да постойте же! Постойте! Куда вы так торопитесь, черт возьми! Вы пропустили еще одного гостя. Посмотрите немного левей... вот там... господин Андреа Кавальканти, молодой человек в черном фраке, который рассматривает мадонну Мурильо; вот он обернулся.

На этот раз Бертуччо едва не закричал, но под взглядом Монте-Кристо крик замер у него на губах.

– Бенедетто! – прошептал он едва слышно. – Это судьба!

– Бьет половина седьмого, господин Бертуччо, – строго сказал граф, – я распорядился, чтобы в это время был подан обед. Вы знаете, что я не люблю ждать.

И Монте-Кристо вернулся в гостиную, где его ждали гости, тогда как Бертуччо, держась за стены, направился к столовой. Через пять минут распахнулись обе двери гостиной. Появился Бертуччо и, делая над собой, подобно Вателю[48] в Шантильи, последнее героическое усилие, объявил:

– Кушать подано, ваше сиятельство!

Монте-Кристо подал руку г-же де Вильфор.

– Господин де Вильфор, – сказал он, – будьте кавалером баронессы Данглар, прошу вас.

Вильфор повиновался, и все перешли в столовую.

# VI. Обед

Было совершенно очевидно, что, идя в столовую, все гости испытывали одинаковое чувство. Они недоумевали, какая странная сила заставила их всех собраться в этом доме, – и все же, как ни были некоторые из них удивлены и даже обеспокоены тем, что находятся здесь, им бы не хотелось здесь не быть.

А между тем непродолжительность знакомства с графом, его эксцентричная и одинокая жизнь, его никому не ведомое и почти сказочное богатство должны были бы заставить мужчин быть осмотрительными, а женщинам преградить доступ в этот дом, где не было женщин, чтобы их принять. Однако мужчины преступили законы осмотрительности, а женщины – правила приличия: неодолимое любопытство, их подстрекавшее, превозмогло все.

Даже оба Кавальканти – отец, несмотря на свою чопорность, сын, несмотря на свою развязность, – казались озабоченными тем, что сошлись в доме этого человека, чьи цели были им непонятны, с другими людьми, которых они видели впервые.

Госпожа Данглар невольно вздрогнула, увидев, что Вильфор, по просьбе Монте-Кристо, предлагает ей руку, а у Вильфора помутнел взор за очками в золотой оправе, когда он почувствовал, как рука баронессы оперлась на его руку.

Ни один признак волнения не ускользнул от графа; одно лишь соприкосновение всех этих людей уже представляло для наблюдателя огромный интерес.

По правую руку Вильфора села г-жа Данглар, а по левую – Моррель.

Граф сидел между г-жой де Вильфор и Дангларом.

Остальные места были заняты Дебрэ, сидевшим между отцом и сыном Кавальканти, и Шато-Рено, сидевшим между г-жой де Вильфор и Моррелем.

Обед был великолепен; Монте-Кристо задался целью совершенно перевернуть все парижские привычки и утолить еще более любопытство

гостей, нежели их аппетит. Им был предложен восточный пир, но такой, какими могли быть только пиры арабских волшебниц.

Все плоды четырех стран света, какие только могли свежими и сочными попасть в европейский рог изобилия, громоздились пирамидами в китайских вазах и японских чашах. Редкостные птицы в своем блестящем оперении, исполинские рыбы, простертые на серебряных блюдах, все вина Архипелага, Малой Азии и Южной Африки в дорогих сосудах, чьи причудливые формы, казалось, делали их еще ароматнее, друг за другом, словно на пиру, какие предлагал Апиций[49] своим сотрапезникам, прошли перед взорами этих парижан, считавших, что обед на десять человек, конечно, может обойтись в тысячу луидоров, но только при условии, если, подобно Клеопатре, глотать жемчужины или же, подобно Лоренцо Медичи, пить расплавленное золото.

Монте-Кристо видел общее изумление; он засмеялся и стал шутить над самим собой.

– Господа, – сказал он, – должны же вы согласиться, что на известной степени благосостояния только излишество является необходимостью, точно так же, как – дамы, конечно, согласятся – на известной степени экзальтации реален только идеал? Продолжим эту мысль. Что такое чудо? То, чего мы не понимаем. Что всего желаннее? То, что недосягаемо. Итак, видеть непостижимое, добывать недосягаемое – вот чему я посвятил свою жизнь. Я достигаю этого двумя способами: деньгами и волей. Чтобы осуществить свою прихоть, я проявляю такую же настойчивость, как, например, вы, господин Данглар, – прокладывая железнодорожную линию; вы, господин де Вильфор, – добиваясь для человека смертного приговора; вы, господин Дебрэ, – умиротворяя какое-нибудь государство; вы, господин Шато-Рено, – стараясь понравиться женщине; и вы, Моррель, – укрощая лошадь, которую никто не может объездить. Вот, например, посмотрите на этих двух рыб: одна родилась в пятидесяти лье от Санкт-Петербурга, а другая – в пяти лье от Неаполя; разве не забавно соединить их на одном столе?

– Что же это за рыбы? – спросил Данглар.

– Вот Шато-Рено жил в России, он скажет вам, как называется одна из них, – отвечал Монте-Кристо, – а майор Кавальканти, итальянец, назовет другую.

– Это, – сказал Шато-Рено, – по-моему, стерлядь.

– Совершенно верно.

– А это, – сказал Кавальканти, – если не ошибаюсь, минога.

– Вот именно. А теперь, барон, спросите, где ловятся эти рыбы.

– Стерляди ловятся только в Волге, – ответил Шато-Рено.

– Я не слышал, – сказал Кавальканти, – чтобы где-нибудь, кроме озера Фузаро, водились миноги таких размеров.

– Так оно и есть: одна прибыла с Волги, другая с озера Фузаро.

– Не может быть! – воскликнули все гости в один голос.

– Вот это и доставляет мне удовольствие, – сказал Монте-Кристо. – Я, как Нерон, – cupitor impossibilium;[50] ведь вы тоже испытываете удовольствие; эти рыбы, которые на самом деле, может быть, и хуже, чем окунь или лосось, покажутся вам сейчас восхитительными – и все потому, что вам казалось невозможным их достать, а между тем вот они.

– Но каким образом удалось доставить этих рыб в Париж?

– Нет ничего проще. Их привезли в больших бочках, из которых одна выложена речными травами и камышом, а другая – тростником и озерными растениями; их поместили в специально устроенные фургоны; стерлядь прожила так двенадцать дней, а минога восемь, и обе они были живехоньки, когда попали в руки моего повара, который уморил одну в молоке, а другую в вине. Вы не верите, Данглар?

– Во всяком случае, позволяю себе сомневаться, – отвечал Данглар со своей натянутой улыбкой.

– Батистен, – сказал Монте-Кристо, – велите принести сюда вторую стерлядь и вторую миногу, знаете, те, что прибыли в других бочках и еще живы.

Данглар вытаращил глаза; все общество зааплодировало.

Четверо слуг внесли две бочки, выложенные водорослями; в каждой из них трепетала рыба, подобная той, которая была подана к столу.

– Но зачем же по две каждого сорта? – спросил Данглар.

– Потому что одна из них могла заснуть, – просто ответил Монте-Кристо.

– Вы в самом деле изумительный человек! – сказал Данглар. – Что бы там ни говорили философы, хорошо быть богатым.

– А главное – изобретательным, – добавила г-жа Данглар.

– Это изобретение не мое, баронесса; оно было в ходу у римлян. Плиний сообщает, что из Остии в Рим, при помощи нескольких смен рабов, которые несли их на головах, пересылались рыбы из породы тех, которых он называет mulus; судя по его описанию, это дорада. Получить ее живой считалось роскошью еще и потому, что зрелище ее смерти было очень занимательно; засыпая, она несколько раз меняла свой цвет и, подобно испаряющейся радуге, проходила сквозь все оттенки спектра, после чего ее отправляли на кухню. Эта агония входила в число ее достоинств. Если ее не видели живой, ею пренебрегали мертвой.

– Да, – сказал Дебрэ, – но от Остии до Рима не больше восьми лье.

– Это верно, – отвечал Монте-Кристо, – но разве заслуга родиться через тысячу восемьсот лет после Лукулла, если не умеешь его превзойти?

Оба Кавальканти смотрели во все глаза, но благоразумно молчали.

– Это все очень интересно, – сказал Шато-Рено, – но что меня восхищает больше всего, так это быстрота, с которой исполняются ваши приказания. Ведь правда, граф, что вы купили этот дом всего пять или шесть дней тому назад?

– Да, не больше, – сказал Монте-Кристо.

– И я убежден, что за эту неделю он совершенно преобразился; ведь, если я не ошибаюсь, у него был другой вход, и двор был мощеный и пустой, а сейчас это великолепная лужайка, обсаженная деревьями, которым на вид сто лет.

– Что поделаешь, я люблю зелень и тень, – сказал Монте-Кристо.

– В самом деле, – сказала г-жа де Вильфор, – прежде въезд был через ворота, выходившие на дорогу, и в день моего чудесного спасения, я помню, вы ввели меня в дом прямо с улицы.

– Да, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – но потом я предпочел иметь вход, позволяющий мне сквозь ограду видеть Булонский лес.

– В четыре дня, – сказал Моррель. – Это чудо!

– Действительно, – сказал Шато-Рено, – сделать из старого дома совершенно новый – это похоже на чудо. Это был очень старый дом и даже очень унылый. Я помню, моя мать поручила мне осмотреть его, когда маркиз де Сен-Меран решил его продать, года два или три тому назад.

– Маркиз де Сен-Меран? – сказала г-жа де Вильфор. – Так этот дом раньше принадлежал маркизу де Сен-Мерану?

– По-видимому, да, – ответил Монте-Кристо.

– Как по-видимому? Вы не знаете, у кого вы купили этот дом?

– Признаться, нет; всеми этими подробностями занимается мой управляющий.

– Правда, он уже лет десять был необитаем, – сказал Шато-Рено. – Грустно было видеть его закрытые ставни, запертые двери и заросший травою двор. Право, если бы он не принадлежал тестю королевского прокурора, его можно было бы принять за проклятый дом, в котором когда-то совершилось великое преступление.

Вильфор, который до сих пор не дотрагивался ни до одного из стоявших перед ним бокалов необыкновенного вина, взял первый попавшийся и залпом осушил его.

Монте-Кристо минуту молчал; затем, среди безмолвия, последовавшего за словами Шато-Рено, он сказал:

– Странно, барон, но та же самая мысль мелькнула и у меня, когда я вошел сюда в первый раз: этот дом показался мне зловещим, и я ни за что не купил бы его, если бы мой управляющий уже не сделал это за меня. Вероятно, этот мошенник получил некоторую мзду от нотариуса.

– Весьма возможно, – пробормотал Вильфор, пытаясь улыбнуться, – но, поверьте, в этом подкупе я не повинен. Маркиз де Сен-Меран желал, чтобы этот дом, составлявший часть приданого его внучки, был продан, потому что, если бы он еще три-четыре года простоял необитаемым, он окончательно разрушился бы.

На этот раз побледнел Моррель.

– Особенно одна комната, – продолжал Монте-Кристо, – на вид самая обыкновенная, комната как комната, обитая красным штофом, не знаю почему, показалась мне донельзя трагической.

– Почему это? – спросил Дебрэ. – Почему трагической?

– Разве можно дать себе отчет в инстинктивном чувстве? – сказал Монте-Кристо. – Разве не бывает мест, где на вас веет печалью? Почему? – не знаешь сам; благодаря сцеплению воспоминаний, прихоти мысли, переносящей нас в другие времена, в другие места, быть может, не имеющие ничего общего с временем и местом, где мы находимся... И эта комната удивительно напомнила мне комнату маркизы де Ганж[51] или Дездемоны. Но мы кончили обедать, – если хотите, я покажу вам ее, прежде чем мы перейдем в сад пить кофе: после обеда – зрелище.

Монте-Кристо вопросительно посмотрел на своих гостей; г-жа де Вильфор встала, Монте-Кристо сделал то же самое, и все последовали их примеру.

Вильфор и г-жа Данглар остались минуту сидеть, словно прикованные к месту; они смотрели друг на друга безмолвно, похолодев от ужаса.

– Вы слышали? – сказала г-жа Данглар.

– Надо идти, – ответил Вильфор, вставая и подавая ей руку.

Гости, подстрекаемые любопытством, уже разбрелись по всему дому, так как предполагали, что осмотр не ограничится одной только комнатой и что заодно можно будет увидеть и остальные части этих развалин, из которых Монте-Кристо сделал дворец. Поэтому все поспешили в открытые настежь двери. Монте-Кристо подождал двух отставших; потом, когда они, в свою очередь, вышли из столовой, он замкнул шествие, улыбаясь так, что, если бы гости поняли значение его улыбки, она привела бы их в гораздо больший ужас, чем та комната, куда они шли.

Действительно, начали с осмотра всего помещения: жилых комнат, убранных по-восточному, где диваны и подушки заменяли кровати, а трубки и оружие – меблировку; гостиных, увешанных лучшими картинами старых мастеров; будуаров, обитых китайскими тканями

изумительной работы, прихотливых оттенков и фантастических рисунков; наконец, достигли пресловутой комнаты.

В ней не было ничего особенного, если не считать того, что, несмотря на сумерки, она не была освещена и что все в ней было ветхое, тогда как остальные комнаты были заново отделаны.

– Да, здесь в самом деле жутко! – воскликнула г-жа де Вильфор.

Госпожа Данглар пыталась что-то пробормотать, но ее слов никто не расслышал.

Гости обменялись кое-какими замечаниями, сводившимися к тому, что в красной комнате действительно есть что-то зловещее.

– Не правда ли? – сказал Монте-Кристо. – Взгляните только, как странно стоит эта кровать, какие мрачные, кровавые обои! А эти два портрета пастелью, потускневшие от сырости! Разве вам не кажется, что их бескровные губы и испуганные глаза говорят: «Мы видели!»

Вильфор стал мертвенно-бледен, г-жа Данглар в изнеможении опустилась на кушетку возле камина.

– Эрмина, – сказала, улыбаясь, г-жа де Вильфор, – как это у вас хватает духу сидеть на кушетке, на которой, быть может, и совершилось преступление?

Госпожа Данглар поспешно поднялась.

– И это не все, – сказал Монте-Кристо.

– А что же еще? – спросил Дебрэ, от которого не ускользнуло волнение г-жи Данглар.

– Да, что еще? – спросил Данглар. – Признаюсь, пока я не вижу ничего особенного; а вы, господин Кавальканти?

– Ну, – сказал тот, – у нас в Пизе имеется башня Уголино, в Ферраре – темница Тассо, а в Римини – комната Франчески и Паоло.

– Да, но у вас нет этой лесенки, – сказал Монте-Кристо, открывая дверь, скрытую в обоях, – взгляните на нее и скажите, что вы о ней думаете.

– Какая зловещая винтовая лестница! – сказал, смеясь, Шато-Рено.

– В самом деле, – сказал Дебрэ, – не знаю, может быть, это хиосское вино нагоняет такую тоску, но меня этот дом наводит на мрачные мысли.

Что касается Морреля, то с той минуты, как упомянули о приданом Валентины, он был грустен и не произнес ни слова.

– Представьте себе, – сказал Монте-Кристо, – какого-нибудь Отелло или аббата де Ганжа, в темную, бурную ночь спускающегося шаг за шагом по этой лестнице, с какой-нибудь зловещей ношей, которую он спешит укрыть от человеческих глаз, если не от божьего ока?

Госпожа Данглар чуть не упала без чувств на руки Вильфора, который и сам был вынужден прислониться к стене.

– Что с вами, баронесса? – воскликнул Дебрэ. – Как вы побледнели!

– Очень понятно, что с ней, – сказала г-жа де Вильфор, – граф Монте-Кристо рассказывает ужасные вещи, очевидно, желая, чтобы все мы умерли со страху.

– Это верно, – заявил Вильфор. – В самом деле, граф, вы пугаете дам.

– Да что же с вами? – шепотом повторил Дебрэ г-же Данглар.

– Ничего, ничего, – ответила она, делая над собой усилие, – мне просто душно, вот и все.

– Не хотите ли спуститься в сад? – спросил Дебрэ, предлагая г-же Данглар руку и направляясь к потайной лестнице.

– Нет, нет, – сказала она, – уж лучше я останусь здесь.

– Но, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – неужели вы в самом деле испугались?

– Нет, граф, – отвечала г-жа Данглар, – но вы умеете так строить предположения, что фантазия начинает казаться реальностью.

– Ну конечно, – сказал, улыбаясь, Монте-Кристо, – все это просто игра воображения; ведь почему не представить себе, что эта комната – мирная, честная спальня матери семейства; эта кровать с пурпурным пологом – ложе, осчастливленное посещением богини Люцины; а эта таинственная лестница – просто ход, по которому чуть слышно, чтобы не потревожить сна родильницы, спускается врач или кормилица, или сам отец, уносящий заснувшего младенца?..

На сей раз г-жа Данглар, вместо того чтобы успокоиться при виде этой тихой картины, застонала и окончательно лишилась чувств.

– Госпоже Данглар дурно, – запинаясь сказал Вильфор, – не перенести ли ее в экипаж?

– Бог мой! – воскликнул Монте-Кристо. – А я не захватил своего флакона!

– У меня есть свой, – сказала г-жа де Вильфор.

И она передала Монте-Кристо флакон с красной жидкостью, подобной той, благотворное действие которой граф испытал на Эдуарде.

– Вот как!.. – сказал Монте-Кристо, принимая его из рук г-жи де Вильфор.

– Да, – прошептала она, – я последовала вашим указаниям.

– И удачно?

– Мне кажется, да.

Госпожу Данглар тем временем перенесли в смежную комнату.

Монте-Кристо смочил ее губы каплей красной жидкости, и она пришла в себя.

– Какой ужасный сон! – промолвила она.

Вильфор сильно сжал ей руку, чтобы дать ей понять, что это не был сон.

Стали искать Данглара; но, мало склонный к поэтическим переживаниям, он уже давно сошел в сад и беседовал с Кавальканти-старшим о проекте железной дороги между Ливорно и Флоренцией.

Монте-Кристо, казалось, был в отчаянии; он взял г-жу Данглар под руку и провел ее в сад, где они нашли Данглара сидящим за чашкой кофе между отцом и сыном Кавальканти.

– Неужели я в самом деле так напугал вас, сударыня? – сказал Монте-Кристо.

– Нет, граф, но вы сами знаете, мы поддаемся впечатлениям в зависимости от настроения.

Вильфор пытался засмеяться.

– И в таком случае, вы понимаете, – сказал он, – достаточно простого предположения, самого химерического...

– Хотите верьте, хотите нет, – возразил Монте-Кристо, – но я убежден, что в этом доме совершилось преступление.

– Будьте осторожны, – сказала г-жа де Вильфор, – здесь присутствует королевский прокурор.

– Что ж, – ответил Монте-Кристо, – раз все так совпало, я воспользуюсь случаем, чтобы сделать заявление.

– Заявление? – сказал Вильфор.

– Да, при свидетелях.

– Все это чрезвычайно интересно, – сказал Дебрэ, – и если действительно имеется преступление, оно послужит на пользу нашему пищеварению.

– Преступление имеется, – сказал Монте-Кристо. – Прошу вас сюда, господин де Вильфор; чтобы мое заявление было законно, я должен его сделать при надлежащем представителе власти.

Монте-Кристо взял Вильфора под руку и, прижимая к себе в то же время руку г-жи Данглар, повлек королевского прокурора к платану, туда, где тень была всего гуще.

Остальные гости последовали за ними.

– Посмотрите, – сказал Монте-Кристо, – вот здесь, на этом самом месте, – и он топнул ногой, – чтобы дать новые соки старым деревьям, я велел их окопать и засыпать чернозему; и вот мои рабочие, копая, наткнулись на ящичек, или, вернее, на железные части ящичка, среди которых лежал скелет новорожденного младенца. Это уже не фантасмагория, надеюсь?

Монте-Кристо почувствовал, как напрягся локоть г-жи Данглар и как дрогнула рука Вильфора.

– Новорожденного младенца? – повторил Дебрэ. – Черт возьми! Дело, по-моему, становится серьезным.

– Вот видите! – сказал Шато-Рено. – Значит, я не ошибался, когда говорил, что и у домов, как у людей, есть своя душа и свое лицо, на котором отражается их внутренняя сущность. Этот дом был печален, потому что его мучила совесть, а совесть мучила его потому, что он таил преступление.

– Но почему же именно преступление? – возразил Вильфор, делая над собой последнее усилие.

– Как! Заживо похороненный в саду младенец – это, по-вашему, не преступление? – воскликнул Монте-Кристо. – Какое же вы даете название такому поступку, господин королевский прокурор?

– А откуда известно, что его похоронили заживо?

– Зачем же иначе его зарыли здесь? Этот сад никогда не служил кладбищем.

– Как у вас во Франции поступают с детоубийцами? – наивно спросил майор Кавальканти.

– Им попросту отрубают голову, – ответил Данглар.

– Ах, отрубают голову! – повторил Кавальканти.

– Кажется, так. Не правда ли, господин де Вильфор? – спросил Монте-Кристо.

– Да, граф, – ответил тот голосом, в котором уже не было ничего человеческого.

Монте-Кристо понял, что большего не в силах перенести те двое, для кого он приготовил эту сцену; он не хотел заходить слишком далеко.

– А кофе, господа! – сказал он. – Мы про него совсем забыли.

И он провел своих гостей обратно к столу, поставленному посреди лужайки.

– Право, граф, – сказала г-жа Данглар, – мне стыдно признаться в такой слабости, но все эти ужасные истории вывели меня из равновесия; разрешите мне сесть, пожалуйста.

И она упала на стул.

Монте-Кристо поклонился ей и подошел к г-же де Вильфор.

– Мне кажется, госпожа Данглар снова нуждается в вашем флаконе, – сказал он.

Но раньше, чем г-жа де Вильфор успела подойти к своей приятельнице, королевский прокурор уже шепнул г-же Данглар:

– Нам нужно поговорить.

– Когда?

– Завтра.

– Где?

– В моем служебном кабинете… в суде, если вы ничего не имеете против; это, по-моему, самое безопасное место.

– Я приду.

В эту минуту подошла г-жа де Вильфор.

– Благодарю вас, мой друг, – сказала г-жа Данглар, пытаясь улыбнуться, – все прошло, и мне гораздо лучше.

# VII. Нищий

Становилось поздно; г-жа де Вильфор заговорила о возвращении в Париж, чего не посмела сделать г-жа Данглар, несмотря на свое явное недомогание.

Итак, по просьбе своей жены Вильфор первый подал знак к отъезду. Он предложил г-же Данглар место в своем ландо, чтобы его жена могла ухаживать за ней. Данглар, погруженный в интереснейший деловой разговор с Кавальканти, не обращал никакого внимания на происходящее.

Прося у г-жи де Вильфор флакон, Монте-Кристо заметил, как Вильфор подошел к г-же Данглар; и, понимая его положение, догадался о том, что он ей сказал, хотя тот говорил так тихо, что сама г-жа Данглар едва его расслышала.

Ни во что не вмешиваясь, граф дал сесть на лошадей и уехать Моррелю, Дебрэ и Шато-Рено, а обеим дамам отбыть в ландо Вильфора; со своей стороны, Данглар, все более приходивший в восторг от Кавальканти-отца, пригласил его к себе в карету.

Что касается Андреа Кавальканти, то он направился к ожидавшему его у ворот тильбюри с запряженной в него громадной темно-серой лошадью, которую, поднявшись на цыпочки, держал под уздцы чрезмерно англизированный грум.

За обедом Андреа говорил мало; он был очень смышленый юноша и поневоле опасался сказать какую-нибудь глупость в обществе столь богатых и влиятельных людей; к тому же его широко раскрытые глаза не без тревоги останавливались на королевском прокуроре.

Затем им завладел Данглар, который, бросив беглый взгляд на старого чопорного майора и на его довольно робкого сына и сопоставив все эти признаки с радушием Монте-Кристо, решил, что имеет дело с каким-нибудь набобом, прибывшим в Париж, чтобы усовершенствовать светское воспитание своего наследника.

Поэтому он с несказанным благоволением созерцал огромный бриллиант, сверкавший на мизинце майора, ибо майор, как человек осторожный и опытный, опасаясь, как бы не случилось чего-нибудь с его ассигнациями, тотчас же превратил их в ценности. Затем, после обеда, под видом беседы о промышленности и путешествиях, он расспросил отца и сына об их образе жизни; а отец и сын, предупрежденные, что именно у Данглара им будет открыт текущий счет, одному на сорок восемь тысяч франков единовременно, другому – на пятьдесят тысяч ливров ежегодно, были с банкиром очаровательны и преисполнены такой любезности, что готовы были пожать руки его слугам, лишь бы дать выход переполнявшей их признательности.

То уважение – мы бы даже сказали: то благоговение, – которое Кавальканти вызвал в Дангларе, усугублялось еще одним обстоятельством. Майор, верный принципу Горация: nil admirari,[52] удовольствовался, как мы видели, тем, что показал свою осведомленность, сообщив, в каком озере ловятся лучшие миноги. Засим он молча съел свою долю этой рыбы. И Данглар сделал вывод, что такие роскошества – обычное дело для славного потомка Кавальканти, который, вероятно, у себя в Лукке питается форелями, выписанными из Швейцарии, и лангустами, доставляемыми из Бретани тем же способом, каким граф получил миног из озера Фузаро и стерлядей с Волги.

Поэтому он с явной благосклонностью выслушал слова Кавальканти:

– Завтра, сударь, я буду иметь честь явиться к вам по делу.

– А я, сударь, – ответил Данглар, – почту за счастье принять вас.

После этого он предложил Кавальканти, если тот согласен лишиться общества сына, довезти его до гостиницы Принцев.

Кавальканти ответил, что его сын уже давно привык вести жизнь самостоятельного молодого человека, имеет поэтому собственных лошадей и экипажи, и так как сюда они прибыли отдельно, то он не видит, почему бы им не уехать отсюда порознь.

Итак, майор сел в карету Данглара. Банкир уселся рядом, все более восхищаясь здравыми суждениями этого человека о бережливости и аккуратности, что, однако, не мешало ему давать сыну пятьдесят тысяч

франков в год, а для того требовался годовой доход тысяч в пятьсот или шестьсот.

Тем временем Андреа для пущей важности разносил своего грума за то, что тот не подал лошадь к подъезду, а остался ждать у ворот и тем самым вынудил его сделать целых тридцать шагов, чтобы дойти до тильбюри.

Грум смиренно выслушал выговор; чтобы удержать лошадь, нетерпеливо бившую копытом, он схватил ее под уздцы левой рукой, а правой протянул вожжи Андреа, который взял их и занес ногу в лаковом башмаке на подножку.

В это время кто-то положил ему руку на плечо. Он обернулся, думая, что Данглар или Монте-Кристо забыли ему что-нибудь сказать и вспомнили об этом в последнюю минуту.

Но вместо них он увидел странную физиономию, опаленную солнцем, обросшую густой бородой, достойной натурщика, горящие, как уголья, глаза и насмешливую улыбку, обнажавшую тридцать два блестящих белых зуба, острых и жадных, как у волка или шакала.

Голова эта, покрытая седеющими, тусклыми волосами, была повязана красным клетчатым платком; длинное, тощее и костлявое тело было облачено в неимоверно рваную и грязную блузу, и казалось, что при каждом движении этого человека его кости должны стучать, как у скелета. Рука, хлопнувшая Андреа по плечу – первое, что он увидел, – показалась ему гигантской.

Узнал ли он при свете фонаря своего тильбюри эту физиономию, или же просто был ошеломлен ужасным видом этого человека, – мы не знаем; во всяком случае, он вздрогнул и отшатнулся.

– Что вам от меня нужно? – сказал он.

– Извините, почтенный, – ответил человек, прикладывая руку к красному платку, – может быть, я вам помешал, но мне надо вам кое-что сказать.

– По ночам не просят милостыни, – сказал грум, намереваясь избавить своего хозяина от назойливого бродяги.

– Я не прошу милостыни, красавчик, – иронически улыбаясь, сказал незнакомец, и в его улыбке было что-то такое страшное, что слуга отступил, – я только хочу сказать два слова вашему хозяину, который дал мне одно поручение недели две тому назад.

– Послушайте, – сказал, в свою очередь, Андреа достаточно твердым голосом, чтобы слуга не заметил, насколько он взволнован, – что вам нужно? Говорите скорей, приятель.

– Мне нужно... – едва слышно произнес человек в красном платке, – мне нужно, чтобы вы избавили меня от необходимости возвращаться в Париж пешком. Я очень устал, и не так хорошо пообедал, как ты, и едва держусь на ногах.

Андреа вздрогнул, услышав это странное обращение.

– Но чего же вы хотите наконец? – спросил он.

– Хочу, чтобы ты довез меня в твоем славном экипаже.

Андрея побледнел, но ничего не ответил.

– Да, представь себе, – сказал человек в красном платке, засунув руки в карманы и вызывающе глядя на молодого человека, – мне этого хочется! Слышишь, мой маленький Бенедетто?

При этом имени Андреа, по-видимому, стал уступчивее; он подошел к груму и сказал:

– Я действительно давал этому человеку поручение, и он должен дать мне отчет. Дойдите до заставы пешком, там вы наймете кабриолет, чтобы не очень опоздать.

Удивленный слуга удалился.

– Дайте мне по крайней мере въехать в тень, – сказал Андреа.

– Ну, что до этого, я сам провожу тебя в подходящее место; вот увидишь, – сказал человек в красном платке.

Он взял лошадь под уздцы и отвел тильбюри в темный угол, где действительно никто не мог увидеть того почета, который ему оказывал Андреа.

– Это я не ради чести проехаться в хорошем экипаже, – сказал он. – Нет, я просто устал, а кстати, хочу поговорить с тобой о делах.

– Ну, садитесь, – сказал Андреа.

Жаль, что было темно, потому что любопытное зрелище представляли этот оборванец, восседающий на шелковых подушках, и рядом с ним правящий лошадью элегантный молодой человек.

Андреа проехал все селение, не сказав ни слова; его спутник тоже молчал и только улыбался, как будто очень довольный тем, что пользуется таким превосходным способом передвижения.

Как только они проехали Отейль, Андреа осмотрелся, удостоверившись, что их никто не может ни видеть, ни слышать; затем он остановил лошадь и, скрестив руки на груди, повернулся к человеку в красном платке.

– Послушайте, – сказал он, – что вам от меня надо? Зачем вы нарушаете мой покой?

– Нет, ты скажи, мальчик, почему ты мне не доверяешь?

– В чем я не доверяю вам?

– В чем? Ты еще спрашиваешь? Мы с тобой расстаемся на Гарском мосту, ты говоришь мне, что отправляешься в Пьемонт и Тоскану, – и ничего подобного, ты оказываешься в Париже!

– А чем это вам мешает?

– Да ничем; наоборот, я надеюсь, что это будет мне на пользу.

– Вот как! – сказал Андреа. – Вы, значит, намерены на мне спекулировать?

– Ну, зачем такие громкие слова!

– Предупреждаю вас, что это напрасно, дядя Кадрусс.

– Да ты не сердись, малыш; ты сам должен знать, что значит несчастье; ну, а несчастье делает человека завистливым. Я-то воображаю, что ты бродишь по Пьемонту и Тоскане и тянешь лямку чичероне или носильщика; я всей душой жалею тебя, как жалел бы родного сына. Ты же помнишь, я всегда тебя звал сыном.

– Ну, а дальше? Дальше что?

– Ах ты, порох! Потерпи немного.

– Я и так терпелив. Ну, кончайте.

– И вдруг я встречаю тебя у заставы, в тильбюри с грумом, одетого с иголочки. Ты, что же, нашел золотоносную жилу или купил маклерский

патент?

– Значит, вы завидуете?

– Нет, я просто доволен, так доволен, что захотел поздравить тебя, малыш; но я был недостаточно прилично одет, и потому принял меры предосторожности, чтобы не компрометировать тебя.

– Хороши меры предосторожности! – сказал Андреа. – Заговорить со мной при слуге!

– Что поделаешь, сынок; заговорил, когда удалось встретиться. Лошадь у тебя быстрая, экипаж легкий, и сам ты скользкий, как угорь; упусти я тебя сегодня, я бы тебя, пожалуй, уже больше не поймал.

– Вы же видите, я вовсе не прячусь.

– Это твое счастье, я очень бы хотел сказать то же про себя; а вот я прячусь. К тому же я боялся, что ты меня не узнаешь; но ты меня узнал, – прибавил Кадрусс с гаденькой улыбочкой, – это очень мило с твоей стороны.

– Ну, хорошо, – сказал Андреа, – что же вы хотите?

– Ты говоришь мне «вы»; это нехорошо, Бенедетто, ведь я твой старый товарищ; смотри, я стану требовательным.

Эта угроза охладила гнев Андреа; он чувствовал, что вынужден уступить.

Он снова пустил лошадь рысью.

– С твоей стороны нехорошо так обращаться со мной, Кадрусс, – сказал он. – Ты сам говоришь, что мы старые товарищи, ты марселец, я…

– Так ты теперь знаешь, кто ты?

– Нет, но я вырос на Корсике. Ты стар и упрям, я молод и неуступчив. Плохо, если мы начнем угрожать друг другу, нам лучше все решать полюбовно. Чем я виноват, что судьба мне улыбнулась, а тебе по-прежнему не везет?

– Так тебе вправду повезло? Значит, и этот грум, и тильбюри, и платье не взяты напрокат? Что ж, тем лучше! – сказал Кадрусс с блестящими от жадности глазами.

– Ты сам это отлично видишь и понимаешь, раз ты заговорил со мной, – сказал Андреа, все больше волнуясь. – Будь у меня на голове

платок, как у тебя, грязная блуза на плечах и дырявые башмаки на ногах, ты не стремился бы узнать меня.

– Вот видишь, как ты меня презираешь, малыш. Нехорошо! Теперь, когда я тебя нашел, ничто не мешает мне одеться в лучшее сукно. Я же знаю твое доброе сердце: если у тебя два костюма, ты отдашь один мне; ведь я отдавал тебе свою порцию супа и бобов, когда ты уж очень хотел есть.

– Это верно, – сказал Андреа.

– И аппетит же у тебя был! У тебя все еще хороший аппетит?

– Ну, конечно, – сказал, смеясь, Андреа.

– Воображаю, как ты пообедал сейчас у этого князя!

– Он не князь, он только граф.

– Граф? Богатый?

– Да, но не рассчитывай на него; с этим господином не так легко иметь дело.

– Да ты не беспокойся! Твоего графа никто не трогает, можешь оставить его себе. Но, конечно, – прибавил Кадрусс, на губах которого снова появилась та же отвратительная улыбка, – за это тебе придется раскошелиться.

– Ну, сколько же тебе нужно?

– Думаю, что на сто франков в месяц...

– Ну?

– Я смогу существовать...

– На сто франков?

– Плохо, конечно, ты сам понимаешь, но...

– Но?

– На сто пятьдесят франков я отлично устроюсь.

– Вот тебе двести, – сказал Андреа.

И он положил в руку Кадрусса десять луидоров.

– Хорошо, – сказал Кадрусс.

– Заходи к швейцару каждое первое число, и ты будешь получать столько же.

– Ну вот, ты опять меня унижаешь!

– Как так?

– Заставляешь меня обращаться к челяди. Нет, знаешь ли, я хочу иметь дело только с тобой.

– Хорошо, приходи ко мне, и каждое первое число, во всяком случае, пока мне будут выплачивать мои доходы, ты будешь получать свое.

– Ну, ну, я вижу, что не ошибся в тебе. Ты славный малый, хорошо, когда удача выпадает на долю таких людей. А расскажи, каким образом тебе повезло?

– Зачем тебе это знать? – спросил Кавальканти.

– Опять недоверие!

– Нисколько. Я разыскал своего отца.

– Настоящего отца?

– Ну... поскольку он дает мне деньги...

– Постольку ты веришь и уважаешь, правильно. А как зовут твоего отца?

– Майор Кавальканти.

– И он тобой доволен?

– Пока что, видимо, доволен.

– А кто тебе помог разыскать его?

– Граф Монте-Кристо.

– У которого ты сейчас был?

– Да.

– Послушай, постарайся пристроить меня к нему дедушкой, раз он этим занимается.

– Пожалуй, я поговорю с ним о тебе; а пока что ты будешь делать?

– Я?

– Да, ты.

– Очень мило, что ты беспокоишься об этом, – сказал Кадрусс.

– Мне кажется, – возразил Андреа, – раз ты интересуешься мною, я тоже имею право кое о чем спросить.

– Верно... Я сниму комнату в приличном доме, оденусь как следует, буду каждый день бриться и ходить в кафе читать газеты. По вечерам

буду ходить в театр с какой-нибудь компанией клакеров. Вообще приму вид булочника, удалившегося на покой; я всегда мечтал об этом.

– Что ж, это хорошо. Если ты исполнишь свое намерение и будешь благоразумен, все пойдет чудесно.

– Посмотрите на этого Боссюэ!..[53] Ну, а ты кем станешь? Пэром Франции?

– Все возможно! – сказал Андреа.

– Майор Кавальканти, может быть, и пэр... но, к сожалению, наследственность в этом деле упразднена.

– Пожалуйста, без политики, Кадрусс!.. Ну вот, ты получил, что хотел, и мы приехали, а потому вылезай и исчезни.

– Ни в коем случае, милый друг!

– То есть как?

– Посуди сам, малыш; на голове красный платок, сапоги без подметок, никаких документов – и в кармане десять луидоров, не считая того, что там уже было; в общем, ровно двести франков. Да меня у заставы непременно арестуют! Чтобы оправдаться, я должен буду заявить, что это ты дал мне десять луидоров; начнутся дознание, следствие; узнают, что я покинул Тулон, ни у кого не спросясь, и меня погонят по этапу до самого Средиземного моря. И я снова стану просто номер сто шесть, и прощай мои мечты походить на булочника, удалившегося на покой! Ни в коем случае, сынок; я предпочитаю достойно жить в столице.

Андреа нахмурился; мнимый сын майора Кавальканти был, как он сам признался, очень упрям. Он остановил лошадь, быстро огляделся и, пока его взор пытливо скользил по сторонам, рука его точно ненароком опустилась в карман и нащупала курок карманного пистолета.

Но в то же время Кадрусс, ни на минуту не спускавший глаз со своего спутника, заложил руки за спину и тихонько раскрыл длинный испанский нож, который он на всякий случай всегда носил с собой.

Приятели явно были достойны друг друга и поняли это; Андреа мирно извлек руку из кармана и стал поглаживать свои рыжие усы.

– Наконец-то ты заживешь счастливо, дружище Кадрусс, – сказал он.

– Постараюсь сделать все возможное для этого, – ответил трактирщик с Гарского моста, снова складывая нож.

– Ладно, едем в Париж. Но как ты проедешь заставу, не вызывая подозрений? Мне кажется, в таком костюме ты еще больше рискуешь, сидя в экипаже, чем шагая пешком.

– Погоди, – сказал Кадрусс, – сейчас увидишь.

Он надел шляпу Андреа, накинул плащ с большим воротником, оставленный грумом в экипаже, и принял сосредоточенный вид, подобающий слуге из хорошего дома, когда хозяин сам правит лошадью.

– А я что же, так и поеду с непокрытой головой? – сказал Андреа.

– Эка важность! – фыркнул Кадрусс. – Сегодня такой ветер, что у тебя могла слететь шляпа.

– Ладно, – сказал Андреа. – Покончим с этим.

– Да кто ж тебе мешает? – сказал Кадрусс. – Не я, надеюсь?

– Шш... – прошептал Кавальканти.

Заставу миновали благополучно.

Доехав до первой улицы, Андреа остановил лошадь, и Кадрусс спрыгнул на землю.

– Позволь, – сказал Андреа, – а плащ, а моя шляпа?

– Ты же не хочешь, чтобы я простудился, – отвечал Кадрусс.

– А как же я?

– Ты молод, а я уже становлюсь стар; до свидания, Бенедетто!

И он исчез в переулке.

– Увы, – сказал со вздохом Андреа, – неужели на земле невозможно полное счастье?

# VIII. Семейная сцена

Доехав до площади Людовика XV, молодые люди расстались: Моррель направился к бульварам, Шато-Рено – к мосту Революции, а Дебрэ поехал по набережной.

Моррель и Шато-Рено, по всей вероятности, вернулись к своим домашним очагам, как еще до сих пор говорят с трибуны Палаты в красиво построенных речах и на сцене театра улицы Ришелье в красиво написанных пьесах, но Дебрэ поступил иначе. У ворот Лувра он повернул налево, рысью пересек Карусельную площадь, направился по улице Сен-Рок, повернул на улицу Мишодьер и подъехал к дому Данглара как раз в ту минуту, когда ландо Вильфора, завезя его самого с женой в предместье Сент-Оноре, доставило домой баронессу.

Дебрэ, как свой человек в доме, первый въехал во двор, бросил поводья лакею, а сам вернулся к экипажу, помог г-же Данглар сойти и взял ее под руку, чтобы проводить в комнаты.

Как только ворота закрылись и баронесса вместе с Дебрэ очутились во дворе, он сказал:

– Что с вами, Эрмина? Почему вам стало дурно, когда граф рассказывал эту историю, или, вернее, эту сказку?

– Потому, что я вообще отвратительно себя чувствовала сегодня, мой друг, – ответила баронесса.

– Да нет же, Эрмина, – возразил Дебрэ, – я никогда этому не поверю. Наоборот, вы были прекрасно настроены, когда приехали к графу. Правда, господин Данглар был немного не в духе; но я ведь знаю, как мало вы обращаете внимания на его дурное настроение. Кто-то вас расстроил. Расскажите мне, в чем дело, вы же знаете, я не потерплю, чтобы вас обидели.

– Уверяю вас, Люсьен, вы ошибаетесь, – сказала г-жа Данглар, – все дело просто в самочувствии, как я вам сказала, да еще в дурном настроении, которое вы заметили и о котором я не считала нужным вам говорить.

Было очевидно, что г-жа Данглар находится во власти того нервного возбуждения, в котором женщины часто сами не отдают себе отчета, или же что она, как угадал Дебрэ, испытала какое-нибудь скрытое потрясение, в котором не хотела никому сознаться. Дебрэ, привыкший считаться с беспричинной нервозностью, как с одним из элементов женской натуры, перестал настаивать и решил ждать благоприятной минуты, когда можно будет снова задать этот вопрос или когда ей самой вздумается признаться.

У дверей своей спальни баронесса встретила мадемуазель Корнели, свою доверенную камеристку.

– Что делает моя дочь? – спросила г-жа Данглар.

– Весь вечер занималась, а потом легла, – ответила мадемуазель Корнели.

– Но, мне кажется, кто-то играет на рояле?

– Это играет мадемуазель д'Армильи, а мадемуазель Эжени лежит в постели.

– Хорошо, – сказала г-жа Данглар, – помогите мне раздеться.

Вошли в спальню, Дебрэ растянулся на широком диване, а г-жа Данглар вместе с мадемуазель Корнели прошла в свою уборную.

– Скажите, Люсьен, – спросила через дверь г-жа Данглар. – Эжени по-прежнему не желает с вами разговаривать?

– Не я один на это жалуюсь, сударыня, – сказал Люсьен, играя с собачкой баронессы; она признавала его за друга дома и всегда ласкалась к нему. – Помнится, я слышал на днях у вас, как Морсер сетовал, что не может добиться ни слова от своей невесты.

– Это верно, – сказала г-жа Данглар, – но я думаю, что скоро все изменится и Эжени явится к вам в кабинет.

– Ко мне в кабинет?

– Я хочу сказать – в кабинет министра.

– Зачем?

– Чтобы попросить вас устроить ей ангажемент в Оперу. Право, я никогда не видела такого пристрастия к музыке. Для девушки из общества это смешно!

Дебрэ улыбнулся.

– Ну что ж, – сказал он, – пусть приходит, раз вы и барон согласны. Мы устроим ей этот ангажемент и постараемся, чтобы он соответствовал ее достоинствам, хотя мы слишком бедны, чтобы оплачивать такой талант, как у нее.

– Можете идти, Корнели, – сказала г-жа Данглар, – вы мне больше не нужны.

Корнели удалилась, и через минуту г-жа Данглар вышла из уборной в очаровательном неглиже. Она села рядом с Люсьеном и стала задумчиво гладить болонку.

Люсьен молча смотрел на нее.

– Слушайте, Эрмина, – сказал он наконец, – скажите откровенно, вы чем-то огорчены, правда?

– Нет, ничем, – возразила баронесса.

Но ей было душно, она встала, попыталась вздохнуть полной грудью и подошла к зеркалу.

– Я сегодня похожа на пугало, – сказала она.

Дебрэ, улыбаясь, встал, чтобы подойти к баронессе и успокоить ее на этот счет, как вдруг дверь открылась.

Вошел Данглар; Дебрэ снова опустился на диван.

Услышав шум открывающейся двери, г-жа Данглар обернулась и взглянула на своего мужа с удивлением, которое даже не старалась скрыть.

– Добрый вечер, сударыня, – сказал банкир. – Добрый вечер, господин Дебрэ.

По-видимому, баронесса объяснила себе это неожиданное посещение тем, что барон пожелал загладить колкости, которые несколько раз за этот день вырывались у него.

Она приняла гордый вид и, не отвечая мужу, обернулась к Люсьену.

– Почитайте мне что-нибудь, господин Дебрэ, – сказала она.

Дебрэ, которого этот визит сначала несколько встревожил, успокоился, видя невозмутимость баронессы, и протянул руку к книге, заложенной перламутровым ножом с золотой инкрустацией.

– Прошу прощения, – сказал банкир, – но вы утомлены, баронесса, и вам пора отдохнуть; уже одиннадцать часов, а господин Дебрэ живет очень далеко.

Дебрэ остолбенел; и не потому, чтобы тон Данглара не был вежливым и спокойным, – но за этой вежливостью и спокойствием сквозила непривычная готовность не считаться на сей раз с желаниями жены.

Баронесса тоже была изумлена и выразила свое удивление взглядом, который, вероятно, заставил бы ее мужа задуматься, если бы его глаза не были устремлены на газету, где он искал биржевой бюллетень.

Таким образом этот гордый взгляд пропал даром и совершенно не достиг цели.

– Господин Дебрэ, – сказала баронесса, – имейте в виду, что у меня нет ни малейшей охоты спать, что мне о многом надо рассказать вам и что вам придется слушать меня всю ночь, как бы вас ни клонило ко сну.

– К вашим услугам, сударыня, – флегматично ответил Люсьен.

– Дорогой господин Дебрэ, – вмешался банкир, – прошу вас, избавьте себя сегодня от болтовни г-жи Данглар; вы с таким же успехом можете выслушать ее и завтра. Но сегодняшний вечер принадлежит мне, я оставляю его за собой и посвящу его, с вашего разрешения, серьезному разговору с моей женой.

На этот раз удар был такой прямой и направлен так метко, что он ошеломил Люсьена и баронессу; они переглянулись, как бы желая найти друг в друге опору против этого нападения; но непререкаемая власть хозяина дома восторжествовала, и победа осталась за мужем.

– Не подумайте только, что я вас гоню, дорогой Дебрэ, – продолжал Данглар, – вовсе нет, ни в коем случае! Но ввиду непредвиденных обстоятельств мне необходимо сегодня же переговорить с баронессой: это случается не так часто, чтобы на меня за это сердиться.

Дебрэ пробормотал несколько слов, раскланялся и вышел, наталкиваясь на мебель, как Натан в «Аталии».

– Просто удивительно, – сказал он себе, когда за ним закрылась дверь, – до чего эти мужья, которых мы всегда высмеиваем, легко берут над нами верх!

Когда Люсьен ушел, Данглар занял его место на диване, захлопнул книгу, оставшуюся открытой, и, приняв невероятно натянутую позу, тоже стал играть с собачкой. Но так как собачка, не относившаяся к нему с такой симпатией, как к Дебрэ, хотела его укусить, он взял ее за загривок и отшвырнул в противоположный конец комнаты на кушетку.

Собачка на лету завизжала, но, оказавшись на кушетке, забилась за подушку и, изумленная таким непривычным обращением, замолкла и не шевелилась.

– Вы делаете успехи, сударь, – сказала, не сморгнув, баронесса. – Обычно вы просто грубы, но сегодня вы ведете себя, как животное.

– Это оттого, что у меня сегодня настроение хуже, чем обычно, – отвечал Данглар.

Эрмина взглянула на банкира с величайшим презрением. Эта манера бросать презрительные взгляды обычно выводила из себя заносчивого Данглара; но сегодня он, казалось, не обратил на это никакого внимания.

– А мне какое дело до вашего плохого настроения? – отвечала баронесса, возмущенная спокойствием мужа. – Это меня не касается. Сидите со своим плохим настроением у себя или проявляйте его в своей конторе; у вас есть служащие, которым вы платите, вот и срывайте на них свои настроения!

– Нет, сударыня, – отвечал Данглар, – ваши советы неуместны, и я не желаю их слушать. Моя контора – это моя золотоносная река, как говорит, кажется, господин Демутье, и я не намерен мешать ее течению и мутить ее воды. Мои служащие – честные люди, помогающие мне наживать состояние, и я плачу им неизмеримо меньше, чем они заслуживают, если оценивать их труд по его результатам. Мне не за что на них сердиться, зато меня сердят люди, которые кормятся моими обедами, загоняют моих лошадей и опустошают мою кассу.

– Что же это за люди, которые опустошают вашу кассу? Скажите яснее, прошу вас.

– Не беспокойтесь, если я и говорю загадками, то вам не придется долго искать ключ к ним, – возразил Данглар. – Мою кассу опустошают те, кто за один час вынимает из нее пятьсот тысяч франков.

– Я вас не понимаю, – сказала баронесса, стараясь скрыть дрожь в голосе и краску на лице.

– Напротив, вы прекрасно понимаете, – сказал Данглар, – но раз вы упорствуете, я скажу вам, что я потерял на испанском займе семьсот тысяч франков.

– Вот как! – насмешливо сказала баронесса. – И вы обвиняете в этом меня?

– Почему бы нет?

– Я виновата, что вы потеряли семьсот тысяч франков?

– Во всяком случае, не я.

– Раз навсегда сударь, – резко возразила баронесса, – я запретила вам говорить со мной о деньгах; к этому языку я не привыкла ни у моих родителей, ни в доме моего первого мужа.

– Охотно верю, – сказал Данглар, – все они не имели ни гроша за душой.

– Тем более я не могла познакомиться с вашим банковским жаргоном, который мне здесь режет ухо с утра до вечера. Ненавижу звон монет, которые считают и пересчитывают. Не знаю, что может быть противнее, – разве только звук вашего голоса!

– Вот странно, – сказал Данглар. – А я думал, что вы очень даже интересуетесь моими денежными операциями.

– Я? Что за нелепость! Кто вам это сказал?

– Вы сами.

– Бросьте!

– Разумеется.

– Интересно знать, когда это было.

– Сейчас скажу. В феврале вы первая заговорили со мной о гаитийском займе; вы будто бы видели во сне, что в гаврский порт вошло судно и привезло известие об уплате долга, который считали отложенным до второго пришествия. Я знаю, что вы склонны к ясновидению; поэтому я велел потихоньку скупить все облигации гаитийского займа, какие только можно было найти, и нажил четыреста

тысяч франков; из них сто тысяч были честно переданы вам. Вы истратили их, как хотели, я в это не вмешивался.

В марте шла речь о железнодорожной концессии. Конкурентами были три компании, предлагавшие одинаковые гарантии. Вы сказали мне, будто ваше внутреннее чутье подсказывает вам, что предпочтение будет оказано так называемой Южной компании.

Ну, хоть вы и утверждаете, что дела вам чужды, однако, мне кажется, ваше внутреннее чутье весьма изощренно в некоторых вопросах.

Итак, я немедленно записал на себя две трети акций Южной компании. Предпочтение действительно было оказано ей; как вы и предвидели, акции поднялись втрое, и я нажил на этом миллион, из которого двести пятьдесят тысяч франков были переданы вам на булавки. А на что вы употребили эти двести пятьдесят тысяч франков?

– Но к чему вы клоните наконец? – воскликнула баронесса, дрожа от досады и возмущения.

– Терпение, сударыня, я сейчас кончу.

– Слава богу!

– В апреле вы были на обеде у министра, там говорили об Испании, и вы случайно услышали секретный разговор: речь шла об изгнании Дон Карлоса. Я купил испанский заем. Изгнание совершилось, и я нажил шестьсот тысяч франков в тот день, когда Карл Пятый перешел Бидассоу. Из этих шестисот тысяч франков вы получили пятьдесят тысяч экю; они были ваши, вы распорядились ими по своему усмотрению, и я не спрашиваю у вас отчета. Но как-никак в этом году вы получили пятьсот тысяч ливров.

– Ну, дальше?

– Дальше? В том-то и беда, что дальше дело пошло хуже.

– У вас такие странные выражения...

– Они передают мою мысль – это все, что мне надо... Дальше – это было три дня тому назад. Три дня назад вы беседовали о политике с Дебрэ, из его слов вам показалось, что Дон Карлос вернулся в Испанию; тогда я решаю продать свой заем; новость облетает всех, начинается паника, я уже не продаю, а отдаю даром; на следующий день

оказывается, что известие было ложное, и из-за этого ложного известия я потерял семьсот тысяч франков.

– Ну и что же?

– А то, что если я вам даю четвертую часть своего выигрыша, то вы должны мне возместить четвертую часть моего проигрыша; четвертая часть семисот тысяч франков – это сто семьдесят пять тысяч франков.

– Но вы говорите чистейший вздор, и я, право, не понимаю, почему вы ко всей этой истории приплели имя Дебрэ.

– Да потому, что, если у вас, случайно, не окажется ста семидесяти пяти тысяч франков, которые мне нужны, вам придется занять их у ваших друзей, а Дебрэ ваш друг.

– Какая гадость! – воскликнула баронесса.

– Пожалуйста, без громких фраз, без жестов, без современной драмы, сударыня. Иначе я буду вынужден сказать вам, что я отсюда вижу, как Дебрэ посмеивается, пересчитывая пятьсот тысяч ливров, которые вы ему передали в этом году, и говорит себе, что, наконец, нашел то, чего не могли найти самые ловкие игроки: рулетку, в которую выигрывают, ничего не ставя и не теряя при проигрыше.

Баронесса вышла из себя.

– Негодяй, – воскликнула она, – посмейте только сказать, что вы не знали того, в чем вы осмеливаетесь меня сегодня упрекать!

– Я не говорю, что знал, и не говорю, что не знал. Я только говорю: припомните мое поведение за те четыре года, что вы мне больше не жена, я вам больше не муж, и вы увидите, насколько это логично. Незадолго до нашего разрыва вы пожелали заниматься музыкой с этим знаменитым баритоном, который столь успешно дебютировал в Итальянском театре, а я решил научиться танцевать под руководством танцовщицы, так прославившейся в Лондоне. Это мне обошлось, за вас и за себя, примерно в сто тысяч франков. Я ничего не сказал, потому что в семейной жизни нужна гармония. Сто тысяч франков за то, чтобы муж и жена основательно изучили музыку и танцы, – это не так уж дорого. Вскоре музыка вам надоела, и у вас является желание изучать дипломатическое искусство под руководством секретаря министра;

я предоставляю вам изучать его. Понимаете, мне нет дела до этого, раз вы сами оплачиваете свои уроки. Но теперь я вижу, что вы обращаетесь к моей кассе и что ваше образование может мне стоить семьсот тысяч франков в месяц. Стоп, сударыня, так продолжаться не может. Либо дипломат будет давать вам уроки... даром, и я буду терпеть его, либо ноги его больше не будет в моем доме. Понятно, сударыня?

– Это уж слишком, сударь! – воскликнула, задыхаясь, Эрмина. – Это гнусно! Вы переходите все границы!

– Но я с удовольствием вижу, – сказал Данглар, – что вы от меня не отстаете и по доброй воле исполняете заповедь: «Жена да последует за своим мужем».

– Вы оскорбляете меня!

– Вы правы. Прекратим это и поговорим спокойно. Я лично никогда не вмешивался в ваши дела, разве только для вашего блага; последуйте моему примеру. Вы говорите, мои средства вас не касаются? Отлично; распоряжайтесь своими собственными, а моих не умножайте и не умаляйте. Впрочем, может быть, все это просто предательский трюк? Министр взбешен тем, что я в оппозиции, и завидует моей популярности, – может быть, он сговорился с Дебрэ разорить меня?

– Как это правдоподобно!

– Очень даже. Где же это видано... ложное телеграфное известие – вещь невозможная или почти невозможная. Два последних телеграфа подали сигналы, совершенно отличные от остальных... Право, это как будто нарочно для меня сделано.

– Вы же знаете, кажется, – сказала уже более смиренно баронесса, – что этого чиновника прогнали и даже собирались судить; был уже отдан приказ о его аресте, но чиновник скрылся. Его бегство доказывает, что он или сумасшедший, или преступник... Нет, это была ошибка.

– Да, и над этой ошибкой смеются глупцы, она стоит бессонной ночи министру, из-за нее господа государственные секретари марают бумагу, но мне она обходится в семьсот тысяч франков.

– Но послушайте, – вдруг заявила Эрмина, – раз все это, по-вашему, исходит от Дебрэ, почему вы говорите это мне, а не самому Дебрэ?

Почему вы обвиняете мужчину, а ответа спрашиваете у женщины?

– Разве я знаю Дебрэ? – сказал Данглар. – Разве я хочу его знать? Разве я должен знать, что это он дает советы? Разве я желаю им следовать? Разве я играю на бирже? Нет, все это относится к вам, а не ко мне.

– Но раз вам это выгодно...

Данглар пожал плечами:

– До чего глупы женщины! Считают себя гениальными, если им удалось так провести одну или десять любовных интриг, чтобы о них не говорил весь Париж. Но имейте в виду, что даже если бы вы сумели скрыть свои похождения от мужа, – а это проще всего, потому что в большинстве случаев мужья просто не желают видеть, – то и тогда вы были бы лишь жалкой копией половины ваших светских приятельниц. Но и этого нет: я всегда все знал; за шестнадцать лет вы, может быть, сумели скрыть от меня какую-нибудь мысль, но ни одного движения, ни одного поступка, ни одной провинности. Вы восхищались своей ловкостью и были твердо уверены, что обманываете меня, – а что получилось? Благодаря моему притворному неведению среди ваших друзей от де Вильфора до Дебрэ не было ни одного, кто не боялся бы меня. Не было ни одного, кто не считался бы со мной как с хозяином дома, – единственное, чего я от вас требую; наконец, ни один не посмел бы говорить с вами обо мне так, как я сам говорю сейчас. Можете изображать меня отвратительным, но я не позволю вам делать меня смешным, а главное – я категорически запрещаю вам разорять меня.

Пока не было произнесено имя Вильфора, баронесса еще кое-как держалась, но при этом имени она побледнела и, точно движимая какой-то пружиной, встала, протянула руки, словно заклиная привидение, и шагнула к мужу, как бы желая вырвать у него последнее слово тайны, которой он сам не знал или, быть может, из какого-нибудь расчета, гнусного, как почти все расчеты Данглара, не хотел окончательно выдать.

– Вильфор? Что это значит? Что вы хотите сказать?

– Это значит, сударыня, что господин де Наргон, ваш первый муж, не будучи ни философом, ни банкиром, а быть может, будучи и тем и другим и увидав, что не может извлечь никакой пользы из королевского прокурора, умер от горя или гнева, застав вас после девятимесячного отсутствия на шестом месяце беременности. Я груб, я не только знаю это, но горжусь этим; это одно из средств, которыми я достигаю успеха в коммерческих операциях. Почему, вместо того чтобы самому убить, он допустил, чтобы его убили? Потому что у него не было капитала, который требовалось бы защищать. А я принадлежу своему капиталу. По вине моего компаньона Дебрэ я потерял семьсот тысяч франков. Пусть он внесет свою долю убытка, и мы будем продолжать вести дело вместе; или же пусть объявит себя несостоятельным должником этих ста семидесяти пяти тысяч франков и сделает то, что делают банкроты: пусть исчезнет. Да, конечно, я знаю – это очаровательный молодой человек, когда его сведения верны; но если они неверны, то в обществе найдется пятьдесят других, которые стоят больше, чем он.

Госпожа Данглар была уничтожена; все же она сделала последнее усилие, чтобы ответить на этот выпад. Она упала в кресло, думая о Вильфоре, о том, что произошло за обедом, об этой странной цепи несчастий, которые в последние дни одно за другим обрушивались на ее дом, превращая уютный покой ее семейной жизни в неприличные ссоры.

Данглар даже не взглянул на нее, хотя она изо всех сил старалась лишиться чувств. Не сказав больше ни слова, он закрыл за собой дверь спальни и прошел к себе; так что г-жа Данглар, очнувшись от своего полуобморока, могла подумать, что ей приснился дурной сон.

# IX. Брачные планы

На следующий день после этой сцены, в тот час, когда Дебрэ по дороге в министерство обычно заезжал к г-же Данглар, его карета не въехала во двор.

В этот самый час, а именно в половине первого, г-жа Данглар приказала подать экипаж и выехала из дому.

Данглар, спрятавшись за занавеской, следил за этим отъездом, которого он ожидал. Он распорядился, чтобы ему доложили, как только г-жа Данглар вернется, но и к двум часам она еще не вернулась.

В два часа он потребовал лошадей, поехал в Палату и записался в число ораторов, собиравшихся возражать против бюджета.

От двенадцати до двух Данглар безвыходно сидел у себя в кабинете, все более хмурясь, читал депеши, подсчитывал бесконечные цифры и принимал посетителей, в том числе майора Кавальканти, который, как всегда, багровый, чопорный и пунктуальный, явился в условленный накануне час, чтобы покончить свои дела с банкиром.

Выйдя из Палаты, Данглар, во время заседания чрезвычайно волновавшийся и резче, чем когда-либо, нападавший на министерство, сел в свой экипаж и велел кучеру ехать на авеню Елисейских полей, № 30.

Монте-Кристо был дома, но у него кто-то сидел, и он попросил Данглара подождать несколько минут в гостиной.

Пока банкир сидел в ожидании, дверь отворилась и вошел человек в одежде аббата; будучи, по-видимому, короче знаком с хозяином, он не остался ждать, как Данглар, а поклонился ему, прошел во внутренние комнаты и скрылся.

Почти сейчас же та дверь, за которой исчез священник, открылась снова, и появился Монте-Кристо.

– Простите, дорогой барон, – сказал он. – Видите ли, в Париж только что прибыл один из моих добрых друзей, аббат Бузони; вы, вероятно, заметили его, он здесь проходил. Мы давно не видались, и у меня не

хватило духу сразу же с ним расстаться. Надеюсь, вы меня поймете и извините, что я заставил вас ждать.

– Помилуйте, – сказал Данглар, – это так естественно; я попал не вовремя и сейчас же удалюсь.

– Ничего подобного, напротив, присаживайтесь, пожалуйста. Но, боже правый, что это с вами? У вас такой озабоченный вид; вы меня просто пугаете. Опечаленный капиталист подобен комете, он тоже всегда предвещает миру несчастье.

– Дело в том, дорогой граф, что меня уже несколько дней преследуют неудачи, и я все время получаю дурные вести.

– Ужасно! – сказал Монте-Кристо. – Вы опять проиграли на бирже?

– Нет, это я бросил, по крайней мере на некоторое время; на этот раз просто одно банкротство в Триесте.

– Вот как? Вы, вероятно, говорите о банкротстве Джакопо Манфреди?

– Совершенно верно. Представьте себе, человек, который, не помню уже с каких пор, ведет со мной дела на восемьсот—девятьсот тысяч франков ежегодно. Ни разу ни одной задержки, ни одного недочета; человек расплачивался, как князь... который платит. Я авансирую ему миллион, и вдруг этот чертов Джакопо Манфреди приостанавливает платежи!

– В самом деле?

– Неслыханное несчастье. Я выдаю на него переводный вексель на шестьсот тысяч ливров, который возвращается неоплаченным, да кроме того, у меня лежит на четыреста тысяч франков его векселей сроком на конец этого месяца, которые должен оплатить его парижский корреспондент. Сегодня тридцатое, я посылаю за деньгами; не тут-то было, корреспондент скрылся. Считая еще испанскую историю, я славно заканчиваю этот месяц.

– Но разве вы так много потеряли на этой испанской истории?

– Разумеется, у меня вылетело семьсот тысяч франков, ни больше ни меньше.

– Как же вы, черт возьми, так попались? Ведь вы матерый волк.

– Это все жена. Ей приснилось, что Дон Карлос вернулся в Испанию, а она верит снам. Она говорит, что это магнетизм, и когда видит что-нибудь во сне, то уверяет, что все непременно так и будет. Я позволил ей сыграть, как она считает нужным; у нее свои средства и свой собственный маклер. Она сыграла и проиграла. Правда, она играла не на мои деньги, а на свои. Но вы понимаете, когда жена проигрывает семьсот тысяч франков, это немного отзывается и на муже. Как, вы этого не знали? Это было злобой дня.

– Я слышал об этом, но не знал подробностей; к тому же я совершенный профан в биржевых делах.

– Вы совсем не играете?

– Я? Когда же мне играть? Я и так едва справляюсь с подсчетом моих доходов. Мне пришлось бы, кроме управляющего, завести еще конторщика и кассира. Но, кстати, об Испании; мне кажется, баронесса могла не только во сне видеть возвращение Дон Карлоса. Разве об этом не говорилось в газетах?

– Ни на грош.

– Но этот честный «Вестник», кажется, исключение из правила и сообщает только достоверные сведения, телеграфные сообщения.

– Вот это и непонятно, – возразил Данглар. – Ведь известие о возвращении Дон Карлоса было действительно получено по телеграфу.

– Так что за этот месяц, – сказал Монте-Кристо, – вы потеряли примерно миллион семьсот тысяч франков?

– И не примерно, а в точности.

– Черт возьми! Для третьестепенного состояния это жестокий удар, – сочувственно заметил Монте-Кристо.

– То есть как это третьестепенного? – сказал Данглар, несколько обиженный.

– Да, конечно, – продолжал Монте-Кристо, – на мой взгляд, есть три категории богатства: первостепенные состояния, второстепенные и третьестепенные. Я называю первостепенным состоянием такое, которое слагается из ценностей, находящихся под рукой: земли, рудники, государственные бумаги таких держав, как Франция, Австрия и Англия,

если только эти ценности, рудники и бумаги составляют в общем сумму в сто миллионов. Второстепенным состоянием я называю промышленные предприятия, акционерные компании, наместничества и княжества, дающие не более полутора миллионов годового дохода, при капитале не свыше пятидесяти миллионов. Наконец, третьестепенное состояние – это капиталы, пущенные в оборот, доходы, зависящие от чужой воли или игры случая, которым чье-нибудь банкротство может нанести ущерб, которые могут поколебать телеграфное сообщение, случайные спекуляции, – словом, дела, зависящие от удачи, которую можно назвать низшей силой, если ее сравнивать с высшей силой – силой природы; они составляют в общем фиктивный или действительный капитал миллионов в пятнадцать. Ведь ваше положение именно таково, правда?

– Верно, – ответил Данглар.

– Из этого следует, – невозмутимо продолжал Монте-Кристо, – что, если шесть месяцев кряду будут заканчиваться так же, как и этот, третьестепенная фирма окажется при последнем издыхании.

– Ну, уж вы скажете! – протянул Данглар, невесело улыбаясь.

– Скажем, семь месяцев, – продолжал тем же тоном Монте-Кристо. – Скажите, вы когда-нибудь задумывались над тем, что семь раз миллион семьсот тысяч франков – это почти двенадцать миллионов?.. Нет, никогда? И хорошо делали, потому что после таких размышлений уже не станешь рисковать своими капиталами, которые для финансиста все равно что кожа для цивилизованного человека. Мы носим более или менее пышные одежды, и они придают нам вес; но когда человек умирает, у него остается только его кожа. Так и вы, бросив дела, останетесь при вашем действительном состоянии, то есть самое большее при пяти или шести миллионах; ибо третьестепенные состояния представляют, в сущности, только треть или четверть своей видимости, как железнодорожный локомотив – всего лишь более или менее сильная машина, хоть он и кажется огромным в клубах дыма. Ну так вот, из вашего действительного актива в пять миллионов вы только что лишились почти двух; соответственно уменьшилось и ваше фиктивное состояние, ваш кредит; другими словами, дорогой господин Данглар, вам

было сделано кровопускание, которое, если его повторить четыре раза, вызовет смерть. Смотрите, дорогой друг, будьте осторожней! Может быть, вам нужны деньги? Хотите, я вас ссужу?

– Вы все же плохо считаете! – воскликнул Данглар, призывая на помощь всю свою выдержку. – В эту самую минуту моя касса уже наполнена благодаря другим, более удачным спекуляциям. Потеря крови возмещена питанием. Я проиграл битву в Испании, я побит в Триесте, но мой индийский флот, быть может, захватил несколько судов; мои пионеры в Мексике где-нибудь наткнулись на руду.

– Прекрасно, прекрасно! Но шрам остался и при первой же потере начнет кровоточить.

– Нет, потому что я действую наверняка, – продолжал Данглар с пошлым хвастовством шарлатана, у которого вошло в привычку превозносить себя, – чтобы свалить меня, потребовалось бы свержение трех правительств.

– Что ж! Это бывало.

– Гибель всех урожаев.

– Вспомните о семи тучных и семи тощих коровах.

– Или чтобы море ушло от берегов, как во времена Фараона; да ведь морей много, а корабли заменили бы караваны, только и всего.

– Тем лучше, тем лучше, дорогой господин Данглар, – сказал Монте-Кристо, – я вижу, что ошибался и что вы принадлежите к капиталистам второй степени.

– Смею думать, что я могу претендовать на эту честь, – сказал Данглар со своей стереотипной улыбкой, напоминавшей Монте-Кристо маслянистую луну, которую малюют плохие художники, изображая развалины. – Но раз уж мы заговорили о делах, – прибавил он, радуясь поводу переменить разговор, – скажите мне, что, по-вашему, я мог бы сделать для господина Кавальканти?

– Дать ему денег, если он аккредитован на вас и если вы этому кредиту доверяете.

– Еще бы, вполне! Он явился ко мне сегодня утром с чеком на сорок тысяч франков, подписанным Бузони и адресованным на ваше имя, с

вашим бланком на обороте. Вы понимаете, что я ему немедленно отсчитал сорок бумажек.

Монте-Кристо кивнул в знак полного одобрения.

– Но это еще не все, – продолжал Данглар, – он открыл у меня кредит своему сыну.

– Разрешите нескромный вопрос: а сколько он дает сыну?

– Пять тысяч франков в месяц.

– Шестьдесят тысяч в год! Я так и думал, – сказал Монте-Кристо, пожав плечами. – Все Кавальканти ужасные скряги. Что такое для молодого человека пять тысяч франков в месяц?

– Но вы понимаете, что если молодому человеку понадобится лишних несколько тысяч...

– Не давайте ему, отец и не подумает вам их зачесть; вы не знаете итальянских миллионеров: это сущие Гарпагоны. А кто открыл ему этот кредит?

– Банк Фенци, одна из лучших фирм Флоренции.

– Я не хочу сказать, что вам грозят убытки, отнюдь; но все же не выходите из пределов кредита.

– Вы, значит, не слишком доверяете этому Кавальканти?

– Я? Я дам ему под его подпись десять миллионов. Это, по моему распределению, состояние второй степени, дорогой барон.

– А как он прост! Я принял бы его за обыкновенного майора.

– И сделали бы ему честь; вы правы, вид у него не очень внушительный. Когда я его увидел в первый раз, я решил, что это какой-нибудь старый поручик, заплесневевший в своем мундире. Но таковы все итальянцы: они похожи на старых евреев, если не поражают своим великолепием, как восточные маги.

– Сын выглядит лучше, – сказал Данглар.

– Немного робок, пожалуй, но, в общем, вполне приличен. Я за него слегка опасался.

– Почему?

– Потому что, когда вы его у меня видели, это был чуть ли не первый его выезд в свет; по крайней мере мне так говорили. Он путешествовал с

очень строгим воспитателем и никогда не был в Париже.

– Говорят, все эти знатные итальянцы женятся обыкновенно в своем кругу? – небрежно спросил Данглар. – Они любят объединять свои богатства.

– Обыкновенно – да; но Кавальканти большой оригинал и все делает по-своему. Он, несомненно, привез сына во Францию, чтобы здесь его женить.

– Вы так полагаете?

– Уверен в этом.

– И здесь знают о его состоянии?

– Об этом очень много говорят; только одни приписывают ему миллионы, а другие утверждают, что у него нет ни гроша.

– А ваше мнение?

– Мое мнение субъективно, с ним не стоит считаться.

– Но все-таки...

– Видите ли, ведь эти Кавальканти когда-то командовали армиями, управляли провинциями. Я считаю, что у всех этих старых подеста и былых кондотьеров есть миллионы, зарытые по разным углам, о которых знают только старшие в роде, передавая это знание по наследству из поколения в поколение. Поэтому все они желтые и жесткие, как флорины времен Республики, которые они так давно созерцают, что отблеск этого золота лег на их лица.

– Вот именно, – сказал Данглар, – и это тем более верно, что ни у кого из них нет ни клочка земли.

– Или, во всяком случае, очень мало; сам я видел только дворец Кавальканти в Лукке.

– А, у него есть дворец? – сказал, смеясь, Данглар. – Это уже кое-что!

– Да и то он его сдал министру финансов, а сам живет в маленьком домике. Я же сказал вам, что он человек прижимистый.

– Не очень-то вы ему льстите!

– Послушайте, я ведь его почти не знаю; я встречался с ним раза три. Все, что мне о нем известно, я слышал от аббата Бузони и от него самого. Он говорил мне сегодня о своих планах относительно сына и намекнул,

что ему надоело держать свои капиталы в Италии, мертвой стране, и что он не прочь пустить свои миллионы в оборот либо во Франции, либо в Англии. Но имейте в виду, что, хотя я отношусь с величайшим доверием к самому аббату Бузони, я все же ни за что не отвечаю.

– Все равно, спасибо вам за клиента; такое имя украшает мои книги, и мой кассир, которому я объяснил, кто такие Кавальканти, очень гордится этим. Кстати, – спрашиваю просто из любознательности, – когда эти люди женят своих сыновей, дают они им приданое?

– Как когда. Я знал одного итальянского князя, богатого, как золотая россыпь, потомка одного из знатнейших тосканских родов, – так он, если его сыновья женились, как ему нравилось, награждал их миллионами, а если они женились против его воли, довольствовался тем, что давал им тридцать экю в месяц. Допустим, что Андреа женится согласно воле отца; тогда майор, быть может, даст ему миллиона два, три. Если это будет, например, дочь банкира, то он, возможно, примет участие в деле тестя своего сына. Но допустим, что невестка ему не понравится; тогда прощайте: папаша Кавальканти берет ключ от своей кассы, дважды поворачивает его в замке, и вот наш Андреа вынужден вести жизнь парижского хлыща, передергивая карты или плутуя в кости.

– Этот юноша найдет себе баварскую или перуанскую принцессу; он пожелает взять за женой княжескую корону, Эльдорадо с Потоси в придачу.

– Ошибаетесь, эти знатные итальянцы нередко женятся на простых смертных; они, как Юпитер, любят смешивать породы. Но, однако, дорогой барон, что за вопросы вы мне задаете? Уж не собираетесь ли вы женить Андреа?

– Что ж, – сказал Данглар, – это была бы недурная сделка; а я делец.

– Но не на мадемуазель Данглар, я надеюсь? Не захотите же вы, чтобы Альбер перерезал горло бедному Андреа?

– Альбер! – сказал, пожимая плечами, Данглар. – Ну, ему это все равно.

– Разве он не помолвлен с вашей дочерью?

– То есть мы с Морсером поговаривали об этом браке; но госпожа де Морсер и Альбер…

– Неужели вы считаете, что он плохая партия?

– Ну, мне кажется, мадемуазель Данглар стоит не меньше, чем виконт де Морсер!

– Приданое у мадемуазель Данглар будет действительно недурное, я в этом не сомневаюсь, особенно если телеграф перестанет дурить.

– Дело не только в приданом. Но скажите, кстати…

– Да?

– Почему вы не пригласили Морсера и его родителей на этот обед?

– Я его приглашал, но он должен был ехать с госпожой де Морсер в Дьенн; ей советовали подышать морским воздухом.

– Так, так, – сказал, смеясь, Данглар, – этот воздух должен быть ей полезен.

– Почему это?

– Потому что она дышала им в молодости.

Монте-Кристо пропустил эту колкость мимо ушей.

– Но все-таки, – сказал он, – если Альбер и не так богат, как мадемуазель Данглар, зато, согласитесь, он носит прекрасное имя.

– Что ж, на мой взгляд, и мое не хуже.

– Разумеется, ваше имя пользуется популярностью и само украсило тот титул, которым думали украсить его; но вы слишком умный человек, чтобы не понимать, что некоторые предрассудки весьма прочны и их не искоренить, и потому пятисотлетнее дворянство выше дворянства, которому двадцать лет.

– Как раз поэтому, – сказал Данглар, пытаясь иронически улыбнуться, – я и предпочел бы Андреа Кавальканти Альберу де Морсеру.

– Однако, мне кажется, Морсеры ни в чем не уступают Кавальканти, – сказал Монте-Кристо.

– Морсеры!.. Послушайте, дорогой граф, – сказал Данглар, – ведь вы джентльмен, не так ли?

– Надеюсь.

– И к тому же знаток в гербах?

– Немного.

– Ну, так посмотрите на мой; он надежнее, чем герб Морсера.

– Почему?

– Потому что, хотя я и не барон по рождению, я, во всяком случае, Данглар.

– И что же?

– А он вовсе не Морсер.

– Как не Морсер?

– Ничего похожего.

– Что вы говорите!

– Меня кто-то произвел в бароны, так что я действительно барон; он же сам себя произвел в графы, так что он совсем не граф.

– Не может быть!

– Послушайте, – продолжал Данглар. – Морсер мой друг, вернее, старый знакомый вот уже тридцать лет; я, знаете, не слишком кичусь своим гербом, потому что никогда не забываю, с чего я начал.

– Это свидетельствует о великом смирении или о великой гордыне, – сказал Монте-Кристо.

– Ну так вот, когда я был мелким служащим, Морсер был простым рыбаком.

– И как его тогда звали?

– Фернан.

– Просто Фернан?

– Фернан Мондего.

– Вы в этом уверены?

– Еще бы! Я купил у него немало рыбы.

– Тогда почему же вы отдаете за его сына свою дочь?

– Потому что Фернан и Данглар – оба выскочки, добились дворянских титулов, разбогатели и стоят друг друга; а все-таки есть вещи, которые про него говорились, а про меня никогда.

– Что же именно?

– Так, ничего.

– А, понимаю; ваши слова напомнили мне кое-что, связанное с именем Фернана Мондего; я уже слышал это имя в Греции.

– В связи с историей Али-паши?

– Совершенно верно.

– Это его тайна, – сказал Данглар, – и, признаюсь, я бы много дал, чтобы раскрыть ее.

– При большом желании это не так трудно сделать.

– Каким образом?

– У вас, конечно, есть в Греции какой-нибудь корреспондент?

– Еще бы!

– В Янине?

– Где угодно найдется.

– Так напишите вашему корреспонденту в Янине и спросите его, какую роль сыграл в катастрофе с Али-Тебелином француз по имени Фернан.

– Вы совершенно правы! – воскликнул Данглар, порывисто вставая. – Я сегодня же напишу.

– Напишите.

– Непременно.

– И если узнаете что-нибудь скандальное...

– Я вам сообщу.

– Буду вам очень благодарен.

Данглар выбежал из комнаты и бросился к своему экипажу.

# X. Кабинет королевского прокурора

Пока банкир мчится домой, последуем за г-жой Данглар в ее утренней прогулке.

Мы уже сказали, что в половине первого г-жа Данглар велела подать лошадей и выехала из дому.

Она направилась к Сен-Жерменскому предместью, свернула на улицу Мазарини и приказала остановиться у пассажа Нового моста.

Она вышла и пересекла пассаж. Она была одета очень просто, как и подобает элегантной женщине, выходящей из дому утром.

На улице Генего она наняла фиакр и велела ехать на улицу Арле.

Оказавшись в экипаже, она тотчас достала из кармана очень густую черную вуаль и прикрепила ее к своей соломенной шляпке; затем она снова надела шляпку и, взглянув в карманное зеркальце, с радостью убедилась, что можно разглядеть только ее белую кожу и блестящие глаза.

Фиакр проехал Новый мост и с площади Дофина свернул во двор Арле; едва кучер открыл дверцу, г-жа Данглар заплатила ему, бросилась к лестнице, быстро по ней поднялась и вошла в зал Неслышных Шагов.

Утром в здании суда всегда много дел и много занятых людей; а занятым людям некогда разглядывать женщин; и г-жа Данглар прошла весь зал Неслышных Шагов, привлекая к себе не больше внимания, чем десяток других женщин, ожидавших своих адвокатов.

Приемная Вильфора была полна народу; но г-же Данглар даже не понадобилось называть себя; как только она появилась, к ней подошел курьер, осведомился, не она ли та дама, которой господин королевский прокурор назначил прийти, и, после утвердительного ответа, провел ее особым коридором в кабинет Вильфора.

Королевский прокурор сидел в кресле, спиной к двери, и писал. Он слышал, как открылась дверь, как курьер сказал: «Пожалуйте, сударыня», – как дверь закрылась, и даже не шевельнулся; но едва

замерли шаги курьера, он быстро поднялся, запер дверь на ключ, спустил шторы и заглянул во все углы кабинета.

Убедившись, что никто не может ни подсмотреть, ни подслушать его, и, следовательно, окончательно успокоившись, он сказал:

– Благодарю вас, что вы так точны, сударыня.

И он подвинул ей кресло; г-жа Данглар села, ее сердце билось так сильно, что она едва дышала.

– Давно уже я не имел счастья беседовать с вами наедине, сударыня, – сказал королевский прокурор, в свою очередь, усаживаясь в кресло и поворачивая его так, чтобы очутиться лицом к лицу с г-жой Данглар, – и, к великому моему сожалению, мы встретились для того, чтобы приступить к очень тяжелому разговору.

– Однако вы видите, я пришла по первому вашему зову, хотя этот разговор должен быть еще тяжелее для меня, чем для вас.

Вильфор горько улыбнулся.

– Так, значит, правда, – сказал он, отвечая скорее на собственные мысли, чем на слова г-жи Данглар, – значит, правда, что все наши поступки оставляют на нашем прошлом след, то мрачный, то светлый! Правда, что наши шаги на жизненном пути похожи на продвижение пресмыкающегося по песку и проводят борозду! Увы, многие поливают эту борозду слезами!

– Сударь, – сказала г-жа Дангар, – вы понимаете, как я взволнованна, не правда ли? Пощадите же меня, прошу вас. В этой комнате, в этом кресле побывало столько преступников, трепещущих и пристыженных... и теперь здесь сижу я, тоже пристыженная и трепещущая!.. Знаете, мне нужно собрать всю свою волю, чтобы не чувствовать себя преступницей и не видеть в вас грозного судью.

Вильфор покачал головой и тяжело вздохнул.

– А я, – возразил он, – я говорю себе, что мое место не в кресле судьи, а на скамье подсудимых.

– Ваше? – сказала удивленная г-жа Данглар.

– Да, мое.

– Мне кажется, что вы, с вашими пуританскими взглядами, преувеличиваете, – сказала г-жа Данглар, и в ее красивых глазах блеснул огонек. – Чья пламенная юность не оставила следов, о которых вы говорите? На дне всех страстей, за всеми наслаждениями лежит раскаяние; потому-то Евангелие – вечное прибежище несчастных – и дало нам, бедным женщинам, как опору, чудесную притчу о грешной деве и прелюбодейной жене. И, признаюсь, вспоминая об увлечениях своей юности, я иногда думаю, что господь простит мне их, потому что если не оправдание, то искупление, я нашла в своих страданиях. Но вам-то чего бояться? Вас, мужчин, всегда оправдывает свет, а скандал окружает ореолом.

– Сударыня, – возразил Вильфор, – вы меня знаете: я не лицемер, во всяком случае, я никогда не лицемерю без оснований. Если мое лицо сурово, то это потому, что его омрачили бесконечные несчастья; и если бы мое сердце не окаменело, как оно вынесло бы все удары, которые я испытал? Не таков я был в юности, не таков я был в день своего обручения, когда мы сидели за столом, на улице Гран-Кур, в Марселе. Но с тех пор многое переменилось и во мне, и вокруг меня; всю жизнь я потратил на то, что преодолевал препятствия и сокрушал тех, кто вольно или невольно, намеренно или случайно стоял на моем пути и воздвигал эти препятствия. Редко случается, чтобы то, чего пламенно желаешь, столь же пламенно не оберегали другие люди. Хочешь получить от них желаемое, пытаешься вырвать его у них из рук. И большинство дурных поступков возникает перед людьми под благовидной личиной необходимости; а после того как в минуту возбуждения, страха или безумия дурной поступок уже совершен, видишь, что ничего не стоило избежать его. Способ, которым надо было действовать, не замеченный нами в минуту ослепления, оказывается таким простым и легким; и мы говорим себе: почему я не сделал то, а сделал это? Вас, женщин, напротив, раскаяние тревожит редко, потому что вы редко сами принимаете решения; ваши несчастья почти никогда не зависят от вас, вы повинны почти только в чужих преступлениях.

– Во всяком случае, – отвечала г-жа Данглар, – вы должны признать, что если я и виновата, если это я ответственна за все, то вчера я понесла жестокое наказание.

– Несчастная женщина! – сказал Вильфор, сжимая ее руку. – Наказание слишком жестокое, потому что вы дважды готовы были изнемочь под его тяжестью, а между тем...

– Между тем?..

– Я должен вам сказать... соберите все свое мужество, сударыня, потому что это еще не конец.

– Боже мой! – воскликнула испуганная г-жа Данглар. – Что же еще?

– Вы думаете только о прошлом; нет слов, оно мрачно. Но представьте себе будущее, еще более мрачное, будущее... несомненно, ужасное... быть может, обагренное кровью!

Баронесса знала, насколько Вильфор хладнокровен; она была так испугана его словами, что хотела закричать, но крик замер у нее в горле.

– Как воскресло это ужасное прошлое? – воскликнул Вильфор. – Каким образом из глубины могилы, со дна наших сердец встал этот призрак, чтобы заставить нас бледнеть от ужаса и краснеть от стыда?

– Это случайность.

– Случайность! – возразил Вильфор. – Нет, нет, сударыня, случайностей не бывает!

– Да нет же; разве все это не случайность, хотя и роковая? Граф Монте-Кристо случайно купил этот дом, случайно велел копать землю. И разве не случайность, наконец, что под деревьями откопали этого несчастного младенца? Мой бедный малютка, я его ни разу не поцеловала, но столько слез о нем пролила! Вся моя душа рвалась к графу, когда он говорил об этих дорогих останках, найденных под цветами!

– Нет, сударыня, – глухо промолвил Вильфор, – вот то ужасное, что я должен вам сказать: под цветами не нашли никаких останков, ребенка не откопали. Не к чему плакать, не к чему стонать – надо трепетать!

– Что вы хотите сказать? – воскликнула г-жа Данглар, вся дрожа.

– Я хочу сказать, что граф Монте-Кристо, копая землю под этими деревьями, не мог найти ни детского скелета, ни железных частей ящичка, потому что там не было ни того, ни другого.

– Ни того, ни другого? – повторила г-жа Данглар, в ужасе глядя на королевского прокурора широко раскрытыми глазами. – Ни того, ни другого! – повторила она еще раз, как человек, который старается словами, звуком собственного голоса закрепить ускользающую мысль.

– Нет, нет, нет, – проговорил Вильфор, закрывая руками лицо.

– Стало быть, вы не там похоронили несчастного ребенка? Зачем вы обманули меня? Скажите, зачем?

– Нет, там. Но выслушайте меня, выслушайте, и вы пожалеете меня. Двадцать лет, не делясь с вами, я нес это мучительное бремя, но сейчас я вам все расскажу.

– Боже мой, вы меня пугаете! Но все равно говорите, я слушаю.

– Вы помните, как прошла та несчастная ночь, когда вы задыхались на своей постели в этой комнате, обитой красным штофом, а я, почти так же задыхаясь, как вы, ожидал конца. Ребенок появился на свет и был передан в мои руки недвижный, бездыханный, безгласный; мы сочли его мертвым.

Госпожа Данглар сделала быстрое движение, словно собираясь вскочить.

Но Вильфор остановил ее, сложив руки, точно умоляя слушать дальше.

– Мы сочли его мертвым, – повторил он, – я положил его в ящичек, который должен был заменить гроб, спустился в сад, вырыл могилу и поспешно его закопал. Едва я успел засыпать его землей, как на меня напал корсиканец. Передо мной мелькнула чья-то тень, и словно сверкнула молния. Я почувствовал боль, хотел крикнуть, ледяная дрожь охватила мое тело, сдавила горло... Я упал замертво и считал себя убитым. Никогда не забуду вашего несравненного мужества, когда, придя в себя, я подполз, полумертвый к лестнице, и вы, сами полумертвая, спустились ко мне. Необходимо было сохранить в тайне ужасное происшествие; у вас хватило мужества вернуться к себе домой вместе с вашей кормилицей; свою рану я объяснил дуэлью. Вопреки

ожиданию нам удалось сохранить нашу тайну. Меня перевезли в Версаль; три месяца я боролся со смертью; наконец я медленно стал возвращаться к жизни, и мне предписали солнце и воздух юга. Четыре человека несли меня из Парижа в Шалон, делая по шести лье в день. Госпожа де Вильфор следовала за носилками в экипаже. Из Шалона я поплыл по Сене, оттуда по Роне и спустился по течению до Арля; в Арле меня снова положили на носилки, и так я добрался до Марселя. Мое выздоровление длилось полгода; я ничего не слышал о вас, не смел справиться, что с вами. Когда я вернулся в Париж, я узнал, что вы овдовели и вышли замуж за Данглара.

О чем я думал с тех пор, как ко мне вернулось сознание? Все об одном, о трупике младенца. Каждую ночь мне снилось, что он выходит из могилы и грозит мне рукой. И вот, едва возвратясь в Париж, я осведомился; в доме никто не жил с тех пор, как мы его покинули, но его только что сдали на девять лет. Я отправился к съемщику, сделал вид, что мне очень не хочется, чтобы дом, принадлежавший родителям моей покойной жены, перешел в чужие руки, и предложил уплатить неустойку за расторжение договора. С меня потребовали шесть тысяч франков; я был готов заплатить и десять и двадцать тысяч. Деньги были у меня с собой, и договор тут же расторгли; добившись этого, я поскакал в Отейль. Никто не входил в этот дом с той минуты, как я из него вышел.

Было пять часов дня; я поднялся в красную комнату и стал ждать наступления ночи.

Пока я ждал там, все, что я целый год повторял себе в безысходной тревоге, представилось мне еще более грозным.

Этот корсиканец объявил мне кровную месть; он последовал за мной из Нима в Париж, он спрятался в саду и ударил меня кинжалом. И этот корсиканец видел, как я рыл могилу, как хоронил младенца; он мог узнать, кто вы такая, может быть, он это узнал... Что, если он когда-нибудь заставит вас заплатить за сохранение ужасной тайны?.. Для него это будет самой сладкой местью, когда он узнает, что не убил меня своим кинжалом. Поэтому необходимо было, на всякий случай, как можно скорее уничтожить все следы прошлого, уничтожить все его

вещественные улики, достаточно того, что оно всегда будет живо в моей памяти.

Вот для чего я уничтожил договор, для чего прискакал сюда и теперь ждал в этой комнате.

Наступила ночь; я ждал, чтобы совсем стемнело; я сидел без света, от порывов ветра колыхались драпировки, и мне за ними мерещились притаившиеся шпионы; я поминутно вздрагивал, за спиной у меня стояла кровать, мне чудились ваши стоны, и я боялся обернуться. В этом безмолвии я слышал, как бьется мое сердце; оно билось так сильно, что, казалось, моя рана снова откроется; наконец, один за другим замерли все звуки в селении. Я понял, что мне больше нечего опасаться, что никто не увидит и не услышит меня, и я решился спуститься в сад.

Знаете, Эрмина, я не трусливей других. Но когда я снял висевший у меня на груди ключик от лестницы, который нам обоим был так дорог и который вы привесили к золотому кольцу, когда я открыл дверь и увидел, как длинный белый луч луны, скользнув в окно, стелется по витым ступеням, словно привидение, я ухватился за стену и чуть не закричал; мне казалось, что я схожу с ума.

Наконец мне удалось овладеть собой. Я начал медленно спускаться; я не мог только побороть странную дрожь в коленях. Я цеплялся за перила, иначе я упал бы.

Я добрался до нижней двери; за нею оказался заступ, прислоненный к стене. У меня был с собой потайной фонарь; дойдя до середины лужайки, я остановился и зажег его, потом пошел дальше.

Был конец ноября, сад стоял оголенный, деревья, словно скелеты, протягивали длинные, иссохшие руки, опавшие листья и песок шуршали у меня под ногами.

Такой ужас сжимал мое сердце, что, подходя к рощице, я вынул из кармана пистолет и взвел курок. Мне все время мерещилось, что из-за ветвей выглядывает корсиканец.

Я осветил кусты потайным фонарем; там никого не было. Я огляделся: я был совсем один; ни один звук не нарушал безмолвия, только сова кричала пронзительно и зловеще, словно взывая к призракам ночи.

Я повесил фонарь на раздвоенную ветку, которую заметил еще в прошлом году как раз над тем местом, где я тогда выкопал могилу.

За лето здесь выросла густая трава, а осенью никто ее не косил. Все же мне бросилось в глаза одно место, не такое заросшее; было очевидно, что я копал тогда именно здесь. Я принялся за работу.

Наступила наконец минута, которой я ждал уже больше года!

Зато как я надеялся, как старательно рыл, как исследовал каждый комок дерна, когда мне казалось, что заступ на что-то наткнулся! Ничего! А между тем я вырыл яму вдвое больше первой. Я подумал, что ошибся, не узнал места; я осмотрел местность, вглядывался в деревья, старался припомнить все подробности. Холодный, пронизывающий ветер свистел в голых ветках, а с меня градом катился пот. Я помнил, что меня ударили кинжалом в ту минуту, когда я утаптывал землю на могиле; при этом я опирался рукой о ракитник; позади меня находилась искусственная скала, служившая скамьей для гуляющих; и, падая, я рукой задел этот холодный камень. И теперь ракитник был справа от меня и скала позади; я бросился на землю в том же положении, как тогда, потом встал и начал снова копать, расширяя яму. Ничего! Опять ничего! Ящичка не было.

– Не было? – прошептала г-жа Данглар, задыхаясь от ужаса.

– Не думайте, что я ограничился этой попыткой, – продолжал Вильфор, – нет. Я обшарил всю рощу; я подумал, что убийца, откопав ящичек и думая найти в нем сокровище, мог взять его и унести, а потом, убедившись в своей ошибке, мог снова закопать его; но нет, я ничего не нашел. Затем у меня мелькнула мысль, что он мог и не принимать таких мер предосторожности, а попросту забросить его куда-нибудь. В таком случае, чтобы продолжать поиски, мне надо было дождаться рассвета. Я вернулся в комнату и стал ждать.

– О боже мой!

– Как только рассвело, я снова спустился в сад. Первым делом я снова осмотрел рощу; я надеялся найти там какие-нибудь следы, которых мог не заметить в темноте. Я перекопал землю на пространстве в двадцать с лишним футов и на два с лишним фута вглубь. Наемный рабочий за день

не сделал бы того, что я проделал в час. И я ничего не нашел, ровно ничего.

Тогда я стал искать ящичек, исходя из предположения, что его куда-нибудь закинули. Это могло произойти по дороге к калитке; но и эти поиски оказались такими же бесплодными, и, скрепя сердце, я вернулся к роще, на которую тоже не питал больше никаких надежд.

– Было от чего сойти с ума! – воскликнула г-жа Данглар.

– Одну минуту я на это надеялся, – сказал Вильфор, – но это счастье не было дано мне. Все же я собрал все свои силы, напряг свой ум и спросил себя: зачем этот человек унес бы с собой труп?

– Да вы же сами сказали, – возразила г-жа Данглар, – чтобы иметь в руках доказательство.

– Нет, сударыня, этого уже не могло быть; труп не скрывают в течение целого года, его предъявляют властям и дают показания. А ничего такого не было.

– Но что же тогда? – спросила, дрожа, Эрмина.

– Тогда нечто более ужасное, более роковое, более грозное для нас: вероятно, младенец был жив, и убийца спас его.

Госпожа Данглар дико вскрикнула и схватила Вильфора за руки.

– Мой ребенок был жив! – сказала она. – Вы похоронили моего ребенка живым! Вы не были уверены, что он мертв, и вы его похоронили!

Госпожа Данглар выпрямилась во весь рост и стояла перед королевским прокурором, глядя почти с угрозой, стискивая его руки своими тонкими пальцами.

– Разве я мог знать? Ведь это только мое предположение, – ответил Вильфор; его остановившийся взгляд показывал, что этот сильный человек стоит на грани отчаяния и безумия.

– Мое дитя, мое бедное дитя! – воскликнула баронесса, снова падая в кресло и стараясь платком заглушить рыдания.

Вильфор пришел в себя и понял, что, для того чтобы отвратить от себя материнский гнев, ему необходимо внушить г-же Данглар тот же ужас, которым охвачен он сам.

– Ведь вы понимаете, что, если это так, мы погибли, – сказал он, вставая и подходя к баронессе, чтобы иметь возможность говорить еще тише. – Этот ребенок жив, и кто-то знает об этом, кто-то владеет нашей тайной; а раз Монте-Кристо говорит при нас об откопанном ребенке, когда этого ребенка там уже не было, – значит, этой тайной владеет он.

– Боже справедливый! Это твоя месть, – прошептала г-жа Данглар.

Вильфор ответил каким-то рычанием.

– Но ребенок, где ребенок? – твердила мать.

– О, как я искал его! – сказал Вильфор, ломая руки. – Как я призывал его в долгие бессонные ночи! Я жаждал обладать королевскими сокровищами, чтобы у миллионов людей купить их тайны и среди этих тайн разыскать свою! Наконец однажды, когда я в сотый раз взялся за заступ, я в сотый раз спросил себя, что же мог сделать с ребенком этот корсиканец; ведь ребенок – обуза для беглеца; быть может, видя, что он еще жив, он бросил его в реку?

– Не может быть! – воскликнула г-жа Данглар. – Из мести можно убить человека, но нельзя хладнокровно утопить ребенка!

– Быть может, – продолжал Вильфор, – он снес его в Воспитательный дом?

– Да, да, – воскликнула баронесса, – конечно, он там!

– Я бросился в Воспитательный дом и узнал, что в эту самую ночь, на двадцатое сентября, у входа был положен ребенок; он был завернут в половину пеленки из тонкого полотна; пеленка, видимо, нарочно была разорвана так, что на этом куске остались половина баронской короны и буква Н.

– Так и есть, – воскликнула г-жа Данглар, – все мое белье было помечено так; де Наргон был бароном, это мои инициалы. Слава богу! Мой ребенок не умер.

– Нет, не умер.

– И вы говорите это! Вы не боитесь, что я умру от радости? Где же он? Где мое дитя?

Вильфор пожал плечами.

– Да разве я знаю! – сказал он. – Неужели вы думаете, что, если бы я знал, я бы заставил вас пройти через все эти волнения, как делают драматурги и романисты? Увы, я не знаю. За шесть месяцев до того за ребенком пришла какая-то женщина и принесла другую половину пеленки. Эта женщина представила все требуемые законом доказательства, и ей отдали ребенка.

– Вы должны были узнать, кто эта женщина, разыскать ее.

– А что же я, по-вашему, делал? Под видом судебного следствия я пустил по ее следам самых ловких сыщиков, самых опытных полицейских агентов. Ее путь проследили до Шалона; там след потерялся.

– Потерялся?

– Да, навсегда.

Госпожа Данглар выслушала рассказ Вильфора, отвечая на каждое событие то вздохом, то слезой, то восклицанием.

– И это все? – сказала она. – И вы этим ограничились?

– Нет, – сказал Вильфор, – я никогда не переставал искать, разузнавать, собирать сведения. Правда, последние два-три года я дал себе некоторую передышку. Но теперь я снова примусь еще настойчивей, еще упорней, чем когда-либо. И я добьюсь успеха, слышите; потому что теперь меня подгоняет уже не совесть, а страх.

– Я думаю, граф Монте-Кристо ничего не знает, – сказала г-жа Данглар, – иначе, мне кажется, он не стремился бы сблизиться с нами, как он это делает.

– Людская злоба не имеет границ, – сказал Вильфор, – она безграничнее, чем божье милосердие. Обратили вы внимание на глаза этого человека, когда он говорил с нами?

– Нет.

– А вы когда-нибудь смотрели на него внимательно?

– Конечно. Он очень странный человек, но и только. Одно меня поразило: за этим изысканным обедом, которым он нас угощал, он ни до чего не дотронулся, не попробовал ни одного кушанья.

– Да, да, – сказал Вильфор, – я тоже заметил. Если бы я тогда знал то, что знаю теперь, я бы тоже ни до чего не дотронулся; я бы думал, что он собирается нас отравить.

– И ошиблись бы, как видите.

– Да, конечно; но поверьте, у этого человека другие планы. Вот почему я хотел вас видеть и поговорить с вами, вот почему я хотел вас предостеречь против всех, а главное – против него. Скажите, – продолжал Вильфор, еще пристальнее, чем раньше, глядя на баронессу, – вы никому не говорили о нашей связи?

– Никогда и никому.

– Простите мне мою настойчивость, – мягко продолжал Вильфор, – когда я говорю – никому, это значит никому на свете, понимаете?

– Да, да, я прекрасно понимаю, – сказала, краснея, баронесса, – никогда, клянусь вам!

– У вас нет привычки записывать по вечерам то, что было днем? Вы не ведете дневника?

– Нет. Моя жизнь проходит в суете; я сама ее не помню.

– А вы не говорите во сне?

– Я сплю, как младенец. Разве вы не помните?

Краска залила лицо баронессы, и смертельная бледность покрыла лицо Вильфора.

– Да, правда, – произнес он еле слышно.

– Но что же дальше? – спросила баронесса.

– Дальше? Я знаю, что мне остается делать, – отвечал Вильфор. – Не пройдет и недели, как я буду знать, кто такой этот Монте-Кристо, откуда он явился, куда направляется и почему он нам рассказывает о младенцах, которых откапывают в его саду.

Вильфор произнес эти слова таким тоном, что граф вздрогнул бы, если бы мог их слышать.

Затем он пожал руку, которую неохотно подала ему баронесса, и почтительно проводил ее до двери.

Госпожа Данглар наняла другой фиакр, доехала до пассажа, и по ту его сторону нашла свой экипаж и своего кучера, который, поджидая ее,

мирно дремал на козлах.

# XI. Приглашение

В тот же день, примерно в то время, когда г-жа Данглар была на описанном нами приеме в кабинете королевского прокурора, на улице Эльдер показалась дорожная коляска, въехала в ворота дома № 27 и остановилась во дворе.

Дверца коляски отворилась, и из нее вышла г-жа де Морсер, опираясь на руку сына.

Альбер проводил мать в ее комнаты, тотчас же заказал себе ванну и лошадей, а выйдя из рук камердинера, велел отвезти себя на Елисейские поля, к графу Монте-Кристо.

Граф принял его со своей обычной улыбкой. Странная вещь: невозможно было хоть сколько-нибудь продвинуться вперед в сердце или уме этого человека. Всякий, кто пытался, если можно так выразиться, насильно войти в его душу, наталкивался на непреодолимую стену.

Морсер, который кинулся к нему с распростертыми объятиями, увидев его, невольно опустил руки и, несмотря на приветливую улыбку графа, осмелился только на рукопожатие.

Со своей стороны, Монте-Кристо, как всегда, только дотронулся до его руки, не пожав ее.

– Ну, вот и я, дорогой граф, – сказал Альбер.

– Добро пожаловать.

– Я приехал только час тому назад.

– Из Дьеппа?

– Из Трепора.

– Ах да, верно.

– И мой первый визит – к вам.

– Это очень мило с вашей стороны, – сказал Монте-Кристо таким же безразличным тоном, как сказал бы любую другую фразу.

– Ну, скажите, что нового?

– Что нового? И вы спрашиваете об этом у меня, у приезжего?

– Вы меня не поняли; я хотел спросить, сделали ли вы что-нибудь для меня?

– Разве вы мне что-нибудь поручали? – спросил Монте-Кристо, изображая беспокойство.

– Да ну же, не притворяйтесь равнодушным, – сказал Альбер. – Говорят, что существует симпатическая связь, которая действует на расстоянии; так вот, в Трепоре я ощутил такой электрический ток; может быть, вы ничего не сделали для меня, но, во всяком случае, думали обо мне.

– Это возможно, – сказал Монте-Кристо. – Я в самом деле думал о вас, но магнетический ток, коего я был проводником, действовал, признаюсь, помимо моей воли.

– Разве? Расскажите, как это было.

– Очень просто. У меня обедал Данглар.

– Это я знаю; ведь мы с матушкой для того и уехали, чтобы избежать встречи с ним.

– Но он обедал в обществе Андреа Кавальканти.

– Вашего итальянского князя?

– Не надо преувеличивать. Андреа называет себя всего только виконтом.

– Называет себя?

– Вот именно.

– Так он не виконт?

– Откуда мне знать? Он сам себя так называет, так его называю я, так его называют другие, – разве это не все равно, как если бы он в самом деле был виконтом?

– Оригинальные мысли вы высказываете! Итак?

– Что итак?

– У вас обедал Данглар?

– Да.

– И ваш виконт Андреа Кавальканти?

– Виконт Андреа Кавальканти, маркиз – его отец, госпожа Данглар, Вильфор с женой, очаровательные молодые люди – Дебрэ, Максимилиан

Моррель и... кто же еще? Постойте... ах да, Шато-Рено.

– Говорили обо мне?

– Ни слова.

– Тем хуже.

– Почему? Вы ведь, кажется, сами хотели, чтобы о вас забыли, – вот ваше желание и исполнилось.

– Дорогой граф, если обо мне не говорили, то, стало быть, обо мне много думали, а это приводит меня в отчаяние.

– Не все ли вам равно, раз мадемуазель Данглар не была в числе тех, кто о вас там думал? Да, впрочем, она могла думать о вас у себя дома.

– О, на этот счет я спокоен; а если она и думала обо мне, то в том же духе, как я о ней.

– Какая трогательная симпатия! – сказал граф. – Значит, вы друг друга ненавидите?

– Видите ли, – сказал Морсер, – если бы мадемуазель Данглар была способна снизойти к мучениям, которых я, впрочем, из-за нее не испытываю, и вознаградить меня за них, не считаясь с брачными условиями, о которых договорились наши семьи, то я был бы в восторге. Короче говоря, я считаю, что из мадемуазель Данглар вышла бы очаровательная любовница, но в роли жены, черт возьми...

– Недурного вы мнения о своей будущей жене, – сказал, смеясь, Монте-Кристо.

– Ну да, это немного грубо сказано, конечно, но зато верно. А эту мечту нельзя претворить в жизнь, и для того, чтобы достичь известной цели, необходимо, чтобы мадемуазель Данглар стала моей женой, то есть жила вместе со мной, думала рядом со мной, пела рядом со мной, занималась музыкой и писала стихи в десяти шагах от меня, и все это в течение всей моей жизни. От всего этого я прихожу в ужас. С любовницей можно расстаться, но жена, черт возьми, это другое дело, с нею вы связаны навсегда, вблизи или на расстоянии, безразлично. А быть вечно связанным с мадемуазель Данглар, даже на расстоянии, об этом и подумать страшно.

– На вас не угодишь, виконт.

– Да, потому что я часто мечтаю о невозможном.

– О чем же это?

– Найти такую жену, какую нашел мой отец.

Монте-Кристо побледнел и взглянул на Альбера, играя парой великолепных пистолетов и быстро щелкая их курками.

– Так ваш отец очень счастлив? – спросил он.

– Вы знаете, какого я мнения о моей матери, граф: она ангел. Посмотрите на нее: она все еще прекрасна, умна, как всегда, добрее, чем когда-либо. Мы только что были в Трепоре; обычно для сына сопровождать мать – значит оказать ей снисходительную любезность или отбыть тяжелую повинность; я же провел наедине с ней четыре дня, и, скажу вам, я чувствую себя счастливее, свежее, поэтичнее, чем если бы я возил в Трепор королеву Маб или Титанию.

– Такое совершенство может привести в отчаяние; слушая вас, не на шутку захочешь остаться холостяком.

– В этом все дело, – продолжал Альбер. – Зная, что на свете существует безупречная женщина, я не стремлюсь жениться на мадемуазель Данглар. Замечали вы когда-нибудь, какими яркими красками наделяет наш эгоизм все, что нам принадлежит? Бриллиант, который играл в витрине у Марле или Фоссена, делается еще прекраснее, когда он становится нашим. Но если вы убедитесь, что есть другой, еще более чистой воды, а вам придется всегда носить худший, то, право, это пытка!

– О, суетность! – прошептал граф.

– Вот почему я запрыгаю от радости в тот день, когда мадемуазель Эжени убедится, что я всего лишь ничтожный атом и что у меня едва ли не меньше сотен тысяч франков, чем у нее миллионов.

Монте-Кристо улыбнулся.

– У меня уже, правда, мелькала одна мысль, – продолжал Альбер. – Франц любит все эксцентричное; я хотел заставить его влюбиться в мадемуазель Данглар. Я написал ему четыре письма, рисуя ее самыми заманчивыми красками, но Франц невозмутимо ответил: «Я, правда,

человек эксцентричный, но все же не настолько, чтобы изменить своему слову».

– Вот что значит самоотверженный друг: предлагает другому в жены женщину, которую сам хотел бы иметь только любовницей.

Альбер улыбнулся.

– Кстати, – продолжал он, – наш милый Франц возвращается; впрочем, вы его, кажется, не любите?

– Я? – сказал Монте-Кристо. – Помилуйте, дорогой виконт, с чего вы взяли, что я его не люблю? Я всех люблю.

– В том числе и меня... Благодарю вас.

– Не будем смешивать понятий, – сказал Монте-Кристо. – Всех я люблю так, как господь велит нам любить своих ближних, – христианской любовью; но ненавижу я от всей души только некоторых. Однако вернемся к Францу д'Эпине. Так вы говорите, он скоро приедет?

– Да, его вызвал Вильфор. Похоже, что Вильфору так же не терпится выдать замуж мадемуазель Валентину, как Данглару мадемуазель Эжени. Очевидно, иметь взрослую дочь – дело нелегкое; отца от этого лихорадит, и его пульс делает девяносто ударов в минуту до тех пор, покуда он от нее не избавится.

– Но господин д'Эпине, по-видимому, не похож на вас; он терпеливо переносит свое положение.

– Больше того, Франц принимает это всерьез: он носит белый галстук и уже говорит о своей семье. К тому же он очень уважает Вильфоров.

– Вполне заслуженно, мне кажется?

– По-видимому, Вильфор всегда слыл человеком строгим, но справедливым.

– Слава богу, – сказал Монте-Кристо, – вот по крайней мере человек, о котором вы говорите не так, как о бедном Дангларе.

– Может быть, это потому, что я не должен жениться на его дочери, – ответил, смеясь, Альбер.

– Вы возмутительный фат, дорогой мой, – сказал Монте-Кристо.

– Я?

– Да, вы. Но возьмите сигару.

– С удовольствием. А почему вы считаете меня фатом?

– Да потому, что вы так яростно защищаетесь и бунтуете против женитьбы на мадемуазель Данглар. А вы оставьте все идти своим чередом. Может быть, вовсе и не вы первый откажетесь от своего слова.

– Вот как! – сказал Альбер, широко открыв глаза.

– Да не запрягут же вас насильно, черт возьми! Но послушайте, виконт, – продолжал Монте-Кристо другим тоном, – вы всерьез хотели бы разрыва?

– Я дал бы за это сто тысяч франков.

– Ну так радуйтесь. Данглар готов заплатить вдвое, чтобы добиться той же цели.

– Правда? Вот счастье! – сказал Альбер, по лицу которого все же пробежало легкое облачко. – Но, дорогой граф, стало быть, у Данглара есть для этого причина?

– Вот она, гордость и эгоизм! Люди всегда так – по самолюбию ближнего готовы бить топором, а когда их собственное самолюбие уколют иголкой, они вопят.

– Да нет же! Но мне казалось, что Данглар...

– Должен быть в восторге от вас, да? Но как известно, у Данглара плохой вкус, и он в еще большем восторге от другого...

– От кого же это?

– Да я не знаю; наблюдайте, следите, ловите на лету намеки и обращайте все это себе на пользу.

– Так, понимаю. Послушайте, моя мать... нет, вернее, мой отец хочет дать бал.

– Бал в это время года?

– Теперь в моде летние балы.

– Будь они не в моде, графине достаточно было бы пожелать, и они стали бы модными.

– Недурно сказано. Понимаете, это чисто парижские балы; те, кто остается на июль в Париже, – это настоящие парижане. Вы не возьметесь передать приглашение господам Кавальканти?

– Когда будет бал?

– В субботу.

– К этому времени Кавальканти-отец уже уедет.

– Но Кавальканти-сын останется. Может быть, вы привезете его?

– Послушайте, виконт, я его совсем не знаю.

– Не знаете?

– Нет; я первый раз в жизни видел его дня четыре назад и совершенно за него не отвечаю.

– Но вы же принимаете его?

– Я – другое дело; мне его рекомендовал один почтенный аббат, который, может быть, сам был введен в заблуждение. Если вы пригласите его сами – отлично, а мне это неудобно; если он вдруг женится на мадемуазель Данглар, вы обвините меня в происках и захотите со мной драться; наконец, я не знаю, буду ли я сам.

– Где?

– У вас на балу.

– А почему?

– Во-первых, потому что вы меня еще не пригласили.

– Я для этого и приехал, чтобы лично пригласить вас.

– О, это слишком любезно с вашей стороны. Но я, возможно, буду занят.

– Я вам скажу одну вещь, и, надеюсь, вы пожертвуете своими занятиями.

– Так скажите.

– Вас просит об этом моя мать.

– Графиня де Морсер? – вздрогнув, спросил Монте-Кристо.

– Должен вам сказать, граф, что матушка вполне откровенна со мной. И если в вас не дрожали те симпатические струны, о которых я вам говорил, значит, у вас их вообще нет, потому что целых четыре дня мы только о вас и говорили.

– Обо мне? Право, вы меня смущаете.

– Что ж, это естественно: ведь вы – живая загадка.

– Неужели и ваша матушка находит, что я загадка? Право, я считал ее слишком рассудительной для такой игры воображения!

– Да, дорогой граф, загадка для всех, и для моей матери тоже; загадка, всеми признанная и никем не разгаданная; успокойтесь, вы все еще остаетесь неразрешенным вопросом. Матушка только спрашивает все время, как это может быть, что вы так молоды. Я думаю, что в глубине души она принимает вас за Калиостро или за графа Сен-Жермена, как графиня Г. – за лорда Рутвена. При первой же встрече с госпожой де Морсер убедите ее в этом окончательно. Вам это не трудно, ведь вы обладаете философским камнем одного и умом другого.

– Спасибо, что предупредили, – сказал, улыбаясь, граф, – я постараюсь оправдать все ожидания.

– Так что вы приедете в субботу?

– Да, раз об этом просит госпожа де Морсер.

– Это очень мило с вашей стороны.

– А Данглар?

– О, ему уже послано тройное приглашение; это взял на себя мой отец. Мы постараемся также заполучить великого д'Агессо,[54] господина де Вильфора; но на это мало надежды.

– Пословица говорит, что надежду никогда не следует терять.

– Вы танцуете, граф?

– Я?

– Да, вы. Что было бы удивительного, если бы вы танцевали?

– Да, в самом деле, до сорока лет... Нет, не танцую; но я люблю смотреть на танцы. А госпожа де Морсер танцует?

– Тоже нет; вы будете разговаривать, она так жаждет поговорить с вами!

– Неужели?

– Честное слово! И должен сказать вам, что вы первый человек, с которым моя матушка выразила желание поговорить.

Альбер взял свою шляпу и встал; граф пошел проводить его.

– Я раскаиваюсь, – сказал он, останавливая Альбера на ступенях подъезда.

– В чем?

– В своей нескромности. Я не должен был говорить с вами о Дангларе.

– Напротив, говорите о нем еще больше, говорите почаще, всегда говорите, но только в том же духе.

– Отлично, вы меня успокаиваете. Кстати, когда возвращается д'Эпине?

– Дней через пять-шесть, не позже.

– А когда его свадьба?

– Как только приедут господин и госпожа де Сен-Меран.

– Привезите его ко мне, когда он приедет. Хотя вы и уверяете, что я его не люблю, но, право же, я буду рад его видеть.

– Слушаю, мой повелитель, ваше желание будет исполнено.

– До свидания!

– Во всяком случае, в субботу непременно, да?

– Конечно! Я же дал слово.

Граф проводил Альбера глазами и помахал ему рукой. Затем, когда тот уселся в свой фаэтон, он обернулся и увидел Бертуччо.

– Ну, что же? – спросил граф.

– Она была в суде, – ответил управляющий.

– И долго там оставалась?

– Полтора часа.

– А потом вернулась домой?

– Прямым путем.

– Так. Теперь, дорогой Бертуччо, – сказал граф, – советую вам отправиться в Нормандию и поискать то маленькое поместье, о котором я вам говорил.

Бертуччо поклонился, и так как его собственные желания вполне совпадали с полученным приказанием, он уехал в тот же вечер.

# XII. Розыски

Вильфор сдержал слово, данное г-же Данглар, а главное самому себе, и постарался выяснить, каким образом граф Монте-Кристо мог знать о событиях, разыгравшихся в доме в Отейле.

Он в тот же день написал некоему де Бовилю, бывшему тюремному инспектору, переведенному с повышением в чине в сыскную полицию. Тот попросил два дня сроку, чтобы достоверно узнать, у кого можно получить необходимые сведения.

Через два дня Вильфор получил следующую записку:

«Лицо, которое зовут графом Монте-Кристо, близко известно лорду Уилмору, богатому иностранцу, иногда бывающему в Париже и в настоящее время здесь находящемуся; оно также известно аббату Бузони, сицилианскому священнику, прославившемуся на Востоке своими добрыми делами».

В ответ Вильфор распорядился немедленно собрать об этих иностранцах самые точные сведения. К следующему вечеру его приказание было исполнено, и вот что он узнал.

Аббат, приехавший в Париж всего лишь на месяц, живет позади церкви Сен-Сюльпис, в двухэтажном домике; в доме всего четыре комнаты, две внизу и две наверху, и аббат – его единственный обитатель.

В нижнем этаже расположены столовая, со столом, стульями и буфетом орехового дерева, и гостиная, обшитая деревом и выкрашенная в белый цвет, без всяких украшений, без ковра и стенных часов. Очевидно, в личной жизни аббат ограничивается только самым необходимым.

Правда, аббат предпочитает проводить время в гостиной второго этажа. Эта гостиная, или, скорее, библиотека вся завалена богословскими книгами и рукописями, в которые он, по словам его камердинера, зарывается на целые месяцы.

Камердинер осматривает посетителей через маленький глазок, проделанный в двери, и если лица их ему незнакомы или не нравятся, то он отвечает, что господина аббата в Париже нет, чем многие и удовлетворяются, зная, что аббат постоянно разъезжает и отсутствует иногда очень долго.

Впрочем, дома ли аббат, или нет, в Париже он или в Каире, он неизменно помогает бедным, и глазок в дверях служит для милостыни, которую от имени своего хозяина неустанно раздает камердинер.

Смежная с библиотекой комната служит спальней. Кровать без полога, четыре кресла и диван, обитые утрехтским бархатом, составляют вместе с аналоем всю его обстановку.

Что касается лорда Уилмора, то он живет на улице Фонтен-Сен-Жорж. Это один из тех англичан-туристов, которые тратят на путешествия все свое состояние. Он снимает меблированную квартиру, где проводит не более двух-трех часов в день и где лишь изредка ночует. Одна из его причуд состоит в том, что он наотрез отказывается говорить по-французски, хотя, как уверяют, пишет он по-французски прекрасно.

На следующий день после того, как эти ценные сведения были доставлены королевскому прокурору, какой-то человек, вышедший из экипажа на углу улицы Феру, постучал в дверь, выкрашенную в зеленовато-оливковый цвет, и спросил аббата Бузони.

– Господин аббат вышел с утра, – ответил камердинер.

– Я мог бы не удовольствоваться таким ответом, – сказал посетитель, – потому что я прихожу от такого лица, для которого все всегда бывают дома. Но будьте любезны передать аббату Бузони...

– Я же вам сказал, что его нет дома, – повторил камердинер.

– В таком случае, когда он вернется, передайте ему вот эту карточку и запечатанный пакет. Можно ли будет застать господина аббата сегодня в восемь часов вечера?

– Разумеется, сударь, если только он не сядет работать; тогда это все равно, как если бы его не было дома.

– Так я вернусь вечером в назначенное время, – сказал посетитель.

И он удалился.

Действительно, в назначенное время этот человек явился в том же экипаже, но на этот раз экипаж не остановился на углу улицы Феру, а подъехал к самой зеленой двери. Человек постучал, ему открыли, и он вошел.

По той почтительности, с какой встретил его камердинер, он понял, что его письмо произвело надлежащее впечатление.

– Господин аббат у себя? – спросил он.

– Да, он занимается в библиотеке; но он ждет вас, сударь, – ответил камердинер.

Незнакомец поднялся по довольно крутой лестнице, и за столом, поверхность которого была ярко освещена лампой под огромным абажуром, тогда как остальная часть комнаты тонула во мраке, он увидел аббата, в священнической одежде, с покрывающим голову капюшоном, вроде тех, что облекали черепа средневековых ученых.

– Я имею честь говорить с господином Бузони? – спросил посетитель.

– Да, сударь, – отвечал аббат, – а вы то лицо, которое господин де Бовиль, бывший тюремный инспектор, направил ко мне от имени префекта полиции?

– Я самый, сударь.

– Один из агентов парижской сыскной полиции?

– Да, сударь, – ответил посетитель с некоторым колебанием, слегка покраснев.

Аббат поправил большие очки, которые закрывали ему не только глаза, но и виски, и снова сел, пригласив посетителя сделать то же.

– Я вас слушаю, сударь, – сказал аббат с очень сильным итальянским акцентом.

– Миссия, которую я на себя взял, сударь, – сказал посетитель, отчеканивая слова, точно он выговаривал их с трудом, – миссия доверительная как для того, на кого она возложена, так и для того, к кому обращаются.

Аббат молча поклонился.

– Да, – продолжал незнакомец, – ваша порядочность, господин аббат, хорошо известна господину префекту полиции, и он обращается к вам

как должностное лицо, чтобы узнать у вас нечто, интересующее сыскную полицию, от имени которой я к вам явился. Поэтому мы надеемся, господин аббат, что ни узы дружбы, ни личные соображения не заставят вас утаить истину от правосудия.

– Если, конечно, то, что вы желаете узнать, ни в чем не затрагивает моей совести. Я священник, сударь, и тайна исповеди, например, должна оставаться известной лишь мне и божьему суду, а не мне и людскому правосудию.

– О, будьте спокойны, господин аббат, – сказал посетитель, – мы, во всяком случае, не потревожим вашей совести.

При этих словах аббат нажал на край абажура так, что противоположная сторона приподнялась и свет полностью падал на лицо посетителя, тогда как лицо аббата оставалось в тени.

– Простите, сударь, – сказал представитель префекта полиции, – но этот яркий свет режет мне глаза.

Аббат опустил зеленый колпак.

– Теперь, сударь, я вас слушаю. Изложите ваше дело.

– Я перехожу к нему. Вы знакомы с графом Монте-Кристо?

– Вы имеете в виду господина Дзакконе?

– Дзакконе!.. Разве его зовут не Монте-Кристо?

– Монте-Кристо название местности, вернее утеса, а вовсе не фамилия.

– Ну что ж, как вам угодно; не будем спорить о словах и раз Монте-Кристо и Дзакконе одно и то же лицо...

– Безусловно, одно и то же.

– Поговорим о господине Дзакконе.

– Извольте.

– Я спросил вас, знаете ли вы его?

– Очень даже хорошо.

– Кто он такой?

– Сын богатого мальтийского судовладельца.

– Да, я это слышал; так говорят, но вы понимаете, полиция не может довольствоваться тем, что «говорят».

– Однако, – возразил, мягко улыбаясь, аббат, – если то, что «говорят», правда, то приходится этим довольствоваться и полиции точно так же, как и всем.

– Но вы уверены в том, что говорите?

– То есть как это, уверен ли я?

– Поймите, сударь, что я отнюдь не сомневаюсь в вашей искренности; я только спрашиваю, уверены ли вы?

– Послушайте, я знал Дзакконе-отца.

– Вот как!

– Да, я еще ребенком не раз играл с его сыном на верфях.

– А его графский титул?

– Ну, знаете, это можно купить.

– В Италии?

– Повсюду.

– А его богатство, такое огромное, опять-таки, как говорят...

– Вот это верно, – ответил аббат, – богатство действительно огромное.

– А каково оно, по-вашему?

– Да, наверное, сто пятьдесят – двести тысяч ливров в год.

– Ну, это вполне приемлемо, – сказал посетитель, – а то говорят о трех, даже о четырех миллионах.

– Двести тысяч ливров годового дохода, сударь, как раз и составляют капитал в четыре миллиона.

– Но ведь говорят о трех или четырех миллионах в год!

– Ну, этого не может быть.

– И вы знаете его остров Монте-Кристо?

– Разумеется; его знает всякий, кто из Палермо, Неаполя или Рима ехал во Францию морем: корабли проходят мимо него.

– Очаровательное место, как уверяют?

– Это утес.

– Зачем же граф купил его?

– Именно для того, чтобы сделаться графом. В Италии, чтобы быть графом, все еще требуется владеть графством.

– Вы, вероятно, что-нибудь слышали о юношеских приключениях господина Дзакконе?

– Отца?

– Нет, сына.

– Как раз тут я перестаю быть уверенным, потому что именно в юношеские годы я потерял его из виду.

– Он воевал?

– Кажется, он был на военной службе.

– В каких войсках?

– Во флоте.

– Скажите, вы не духовник его?

– Нет, сударь: он, кажется, лютеранин.

– Как лютеранин?

– Я говорю «кажется»; я не утверждаю этого. Впрочем, я думал, что во Франции введена свобода вероисповеданий.

– Разумеется, и нас сейчас интересуют вовсе не его верования, а его поступки; от имени господина префекта полиции я предлагаю вам сказать все, что вам о них известно.

– Его считают большим благотворителем. За выдающиеся услуги, которые он оказал восточным христианам, наш святой отец папа сделал его кавалером ордена Христа – эта награда обычно жалуется только высочайшим особам. У него пять или шесть высоких орденов за услуги, которые он оказал различным государям и государствам.

– И он их носит?

– Нет, но он ими гордится; он говорит, что ему больше нравятся награды, жалуемые благодетелям человечества, чем те, которые даются истребителям людей.

– Так этот господин – квакер?

– Вот именно, это квакер, но, разумеется, без широкополой шляпы и коричневого сюртука.

– А есть у него друзья?

– Да, все, кто его знает, его друзья.

– Однако есть же у него какой-нибудь враг?

– Один-единственный.

– Как его зовут?

– Лорд Уилмор.

– Где он находится?

– Сейчас он в Париже.

– И он может дать мне о нем сведения?

– Очень ценные. Он был в Индии в одно время с Дзакконе.

– Вы знаете, где он живет?

– Где-то на Шоссе-д'Антен; но я не знаю ни улицы, ни номера дома.

– Вы недолюбливаете этого англичанина?

– Я люблю Дзакконе, а он его терпеть не может; поэтому мы с ним в холодных отношениях.

– Как вы думаете, господин аббат, до этого своего приезда в Париж граф Монте-Кристо когда-нибудь бывал во Франции?

– Нет, сударь, это я могу сказать точно. Во Франции он никогда не был и полгода тому назад обратился ко мне, чтобы собрать нужные ему сведения. Я, со своей стороны, не зная, когда сам буду в Париже, направил к нему господина Кавальканти.

– Андреа?

– Нет, Бартоломео, отца.

– Прекрасно, мне остается задать вам только один вопрос, и я требую, во имя чести, человеколюбия и религии, чтобы вы мне ответили без обиняков.

– Я вас слушаю.

– Известно ли вам, для чего граф Монте-Кристо купил дом в Отейле?

– Разумеется, он мне это сам сказал.

– Для чего же?

– С целью устроить больницу для умалишенных, вроде той, которую основал в Палермо барон Пизани. Вы знаете эту больницу?

– Я слышал о ней.

– Это великолепное учреждение.

И при этих словах аббат поклонился посетителю с видом человека, желающего дать понять, что он не прочь снова вернуться к прерванной

работе.

Понял ли посетитель желание аббата, или он исчерпал все свои вопросы, но он встал.

Аббат проводил его до дверей.

– Вы щедро раздаете милостыню, – сказал посетитель, – и хотя вы слывете богатым человеком, я хотел бы предложить вам кое-что для ваших бедных; угодно вам принять мое приношение?

– Благодарю вас, сударь; но единственное, чем я дорожу на свете, это то, чтобы добро, которое я делаю, исходило от меня.

– Но все-таки...

– Это мое непоколебимое решение. Но поищите, сударь, и вы найдете. Увы, на пути у каждого богатого столько нищеты!

Аббат открыл дверь, еще раз поклонился; посетитель ответил на поклон и вышел.

Экипаж отвез его прямо к Вильфору.

Через час экипаж снова выехал со двора и на этот раз направился на улицу Фонтен-Сен-Жорж. У дома № 5 он остановился. Именно здесь жил лорд Уилмор.

Незнакомец писал лорду Уилмору, прося о свидании, которое тот и назначил на десять часов вечера. Представитель господина префекта полиции прибыл без десяти минут десять, и ему было сказано, что лорд Уилмор, воплощенная точность и пунктуальность, еще не вернулся, но непременно вернется ровно в десять часов.

Посетитель остался ждать в гостиной.

Эта гостиная ничем не отличалась от обычных гостиных меблированных домов. На камине – две севрские вазы нового производства; часы с амуром, натягивающим лук; двухстворчатое зеркало, и по сторонам его – две гравюры: на одной изображен Гомер, несущий своего поводыря, на другой – Велизарий, просящий подаяния; серые обои с серым рисунком; мебель, обитая красным сукном с черными разводами, – такова была гостиная лорда Уилмора.

Она была освещена шарами из матового стекла, распространявшими тусклый свет, как будто нарочно приноровленный к утомленному зрению

представителя префекта полиции.

После десятиминутного ожидания часы пробили десять; на пятом ударе открылась дверь, и вошел лорд Уилмор.

Лорд Уилмор был человек довольно высокого роста, с редкими рыжими баками, очень белой кожей и белокурыми, с проседью, волосами. Одет он был с чисто английской эксцентричностью: на нем был синий фрак с золотыми пуговицами и высоким пикейным воротничком, какие носили в 1811 году, белый казимировый жилет и белые нанковые панталоны, слишком для него короткие и только благодаря штрипкам из той же материи не поднимавшиеся до колен.

Первые его слова были:

– Вам известно, сударь, что я не говорю по-французски?

– Я, во всяком случае, знаю, что вы не любите говорить на нашем языке, – ответил представитель префекта полиции.

– Но вы можете говорить по-французски, – продолжал лорд Уилмор, – так как, хоть я и не говорю, но все понимаю.

– А я, – возразил посетитель, переходя на другой язык, – достаточно свободно говорю по-английски, чтобы поддерживать разговор. Можете не стесняться, сударь.

– О! – произнес лорд Уилмор с интонацией, присущей только чистокровным британцам.

Представитель префекта полиции подал лорду Уилмору свое рекомендательное письмо. Тот прочел его с истинно британской флегматичностью; затем, дочитав до конца, сказал по-английски:

– Я понимаю, отлично понимаю.

Посетитель приступил к вопросам.

Они почти совпадали с теми, которые были предложены аббату Бузони. Но лорд Уилмор, как человек, настроенный враждебно к графу Монте-Кристо, был не так сдержан, как аббат, и поэтому ответы получились гораздо более пространными. Он рассказал о молодых годах Монте-Кристо, который, по его словам, десяти лет от роду поступил на службу к одному из маленьких индусских властителей, вечно воюющих с Англией; там-то Уилмор с ним и встретился, и они сражались друг против

друга. Во время этой войны Дзакконе был взят в плен, отправлен в Англию, водворен на блокшив и бежал оттуда вплавь. После этого начались его путешествия, его дуэли, его любовные приключения. В Греции вспыхнуло восстание, и он вступил в греческие войска. Состоя там на службе, он нашел в Фессалийских горах серебряную руду, но никому ни слова не сказал о своем открытии. После Наварина, когда греческое правительство упрочилось, он попросил у короля Оттона привилегию на разработку залежей и получил ее. Оттуда и пошло его несметное богатство; по словам лорда Уилмора, оно приносит графу от одного до двух миллионов годового дохода, но тем не менее может неожиданно иссякнуть, если иссякнет рудник.

– А известно вам, зачем он приехал во Францию? – спросил посетитель.

– Он хочет спекулировать на железнодорожном строительстве, – сказал лорд Уилмор, – кроме того, он опытный химик и очень хороший физик, он изобрел новый вид телеграфа и хочет ввести его в употребление.

– Сколько приблизительно он расходует в год? – спросил представитель префекта полиции.

– Не больше пятисот или шестисот тысяч, – сказал лорд Уилмор, – он скуп.

Было ясно, что в англичанине говорит ненависть, и, не зная, что поставить в упрек графу, он обвиняет его в скупости.

– Известно ли вам что-нибудь относительно его дома в Отейле?

– Да, разумеется.

– Ну, и что же вы знаете?

– Вы спрашиваете, с какой целью он купил его?

– Да.

– Так вот, граф – спекулянт и, несомненно, разорится на своих опытах и утопиях; он утверждает, что в Отейле, поблизости от дома, который он купил, имеется минеральный источник, способный конкурировать с целебными водами Баньерде-Люшона и Котре. В этом доме он собирается устроить Badehaus, как говорят немцы. Он уже раза три

перекопал свой сад, чтобы отыскать пресловутый источник, но ничего не нашел, а потому, вы увидите, в скором времени он скупит все окрестные дома. А так как я на него зол, то я надеюсь, что на своей железной дороге, на своем электрическом телеграфе или на своем ванном заведении он разорится. Я езжу за ним повсюду и намерен насладиться его поражением, которое рано или поздно неминуемо.

– А за что вы на него злы? – спросил посетитель.

– За то, – отвечал лорд Уилмор, – что, когда он был в Англии, он соблазнил жену одного из моих друзей.

– Но если вы на него злы, почему вы не пытаетесь отомстить ему?

– Я уже три раза дрался с графом, – сказал англичанин, – в первый раз на пистолетах, во второй раз на шпагах, в третий раз – на эспадронах.

– И какой же был результат этих дуэлей?

– В первый раз он раздробил мне руку; во второй раз он проткнул мне легкое; а в третий нанес мне вот эту рану.

Англичанин отвернул ворот сорочки, доходивший ему до ушей, и показал рубец, воспаленный вид которого указывал на его недавнее происхождение.

– Так что я на него очень зол, – повторил англичанин, – и он умрет не иначе, как он моей руки.

– Но до этого, по-видимому, еще далеко, – сказал представитель префектуры.

– О, – промычал англичанин, – я каждый день езжу в тир, а через день ко мне приходит Гризье.

Это было все, что требовалось узнать посетителю, вернее, все, что, по-видимому, знал англичанин. Поэтому агент встал, откланялся лорду Уилмору, ответившему с типично английской холодной вежливостью, и удалился.

Со своей стороны, лорд Уилмор, услышав, как за ним захлопнулась наружная дверь, прошел к себе в спальню, в мгновение ока избавился от своих белокурых волос, рыжих бакенбардов, вставной челюсти и рубца

и снова обрел черные волосы, матовый цвет лица и жемчужные зубы графа Монте-Кристо.

Правда, и в дом господина де Вильфора вернулся не представитель префекта полиции, а сам господин де Вильфор.

Обе эти встречи несколько успокоили королевского прокурора, потому что хоть он и не узнал ничего особенно утешительного, но зато не узнал и ничего особенно тревожного.

Благодаря этому он впервые после отейльского обеда более или менее спокойно провел ночь.

# XIII. Летний бал

Стояли самые жаркие июльские дни, когда в обычном течении времени настала в свой черед та суббота, на которую был назначен бал у Морсера.

Было десять часов вечера; могучие деревья графского сада отчетливо вырисовывались на фоне неба, по которому, открывая усыпанную звездами синеву, скользили последние тучи – остатки недавней грозы.

Из зал нижнего этажа доносились звуки музыки и возгласы пар, кружившихся в вихре вальса, а сквозь решетчатые ставни вырывались яркие снопы света.

В саду хлопотал десяток слуг, которым хозяйка дома, успокоенная тем, что погода все более прояснялась, только что отдала приказание накрыть там к ужину.

До сих пор было неясно, подать ли ужин в столовой или под большим тентом на лужайке. Чудное синее небо, все усеянное звездами, разрешило вопрос в пользу лужайки.

В аллеях сада, по итальянскому обычаю, зажигали разноцветные фонарики, а накрытый к ужину стол убирали цветами и свечами, как принято в странах, где хоть сколько-нибудь понимают роскошь стола, – вид роскоши, который в законченной форме встречается реже всех остальных.

В ту минуту, как графиня де Морсер, отдав последние распоряжения, снова вернулась в гостиную, комнаты стали наполняться гостями. Их привлекло не столько высокое положение графа, сколько очаровательное гостеприимство графини; все заранее были уверены, что благодаря прекрасному вкусу Мерседес на этом бале будет немало такого, о чем можно потом рассказать и чему при случае можно даже подражать.

Госпожа Данглар, которую глубоко встревожили описанные нами ранее события, не знала, ехать ли ей к г-же де Морсер; но утром ее карета встретилась с каретой Вильфора. Вильфор сделал знак, экипажи

подъехали друг к другу, и, наклонившись к окну, королевский прокурор спросил:

– Ведь вы будете у госпожи де Морсер?

– Нет, – отвечала г-жа Данглар, – я себя очень плохо чувствую.

– Напрасно, – возразил Вильфор, бросая на нее многозначительный взгляд, – было бы очень важно, чтобы вас там видели.

– Вы думаете? – спросила баронесса.

– Я в этом убежден.

– В таком случае я буду.

И кареты разъехались в разные стороны. Итак, г-жа Данглар явилась на бал, блистая не только своей природной красотой, но и роскошью наряда; она вошла в ту самую минуту, как Мерседес входила в противоположную дверь.

Графиня послала Альбера навстречу г-же Данглар. Он подошел к баронессе, сделал ей по поводу ее туалета несколько вполне заслуженных комплиментов и предложил ей руку, чтобы провести ее туда, куда она пожелает.

При этом Альбер искал кого-то глазами.

– Вы ищете мою дочь? – с улыбкой спросила баронесса.

– Откровенно говоря – да, – сказал Альбер, – неужели вы были так жестоки, что не привезли ее с собой?

– Успокойтесь, она встретила мадемуазель де Вильфор и пошла с ней; видите, вот они идут следом за нами, обе в белых платьях, одна с букетом камелий, а другая с букетом незабудок; но скажите мне...

– Вы тоже кого-нибудь ищете? – спросил, улыбаясь, Альбер.

– Разве вы не ждете графа Монте-Кристо?

– Семнадцать! – ответил Альбер.

– Что это значит?

– Это значит, – сказал, смеясь, виконт, – что вы семнадцатая задаете мне этот вопрос. Везет же графу!.. Его можно поздравить...

– А вы всем отвечаете так же, как мне?

– Ах, простите, я ведь вам так и не ответил. Не беспокойтесь, сударыня; модный человек у нас будет, он удостаивает нас этой чести.

– Были вы вчера в Опере?

– Нет.

– А он там был.

– Вот как? И этот эксцентричный человек снова выкинул что-нибудь оригинальное?

– Разве он может без этого? Эльслер танцевала в «Хромом бесе»; албанская княжна была в полном восторге. После качучи граф продел букет в великолепное кольцо и бросил его очаровательной танцовщице, и она в знак благодарности появилась с его кольцом в третьем акте. А его албанская княжна тоже приедет?

– Нет, нам придется отказаться от удовольствия ее видеть; ее положение в доме графа недостаточно ясно.

– Послушайте, оставьте меня здесь и пойдите поздороваться с госпожой де Вильфор, – сказала баронесса, – я вижу, что она умирает от желания поговорить с вами.

Альбер поклонился г-же Данглар и направился к г-же де Вильфор, которая уже издали приготовилась заговорить с ним.

– Держу пари, – прервал ее Альбер, – я знаю, что вы мне скажете.

– Да неужели?

– Если я отгадаю, вы сознаетесь?

– Да.

– Честное слово?

– Честное слово.

– Вы собираетесь меня спросить, здесь ли граф Монте-Кристо или приедет ли он.

– Вовсе нет. Сейчас меня интересует не он. Я хотела спросить, нет ли у вас известий от Франца?

– Да, вчера я получил от него письмо.

– И что он вам пишет?

– Что он выезжает одновременно с письмом.

– Отлично. Ну, а теперь о графе.

– Граф приедет, не беспокойтесь.

– Вы знаете, что его зовут не только Монте-Кристо?

– Нет, я этого не знал.

– Монте-Кристо – это название острова, а у него есть, кроме того, фамилия.

– Я никогда ее не слышал.

– Значит, я лучше осведомлена, чем вы: его зовут Дзакконе.

– Возможно.

– Он мальтиец.

– Тоже возможно.

– Сын судовладельца.

– Знаете, вам надо рассказать все это вслух, вы имели бы огромный успех.

– Он служил в Индии, разрабатывает серебряные рудники в Фессалии и приехал в Париж, чтобы открыть в Отейле заведение минеральных вод.

– Ну и новости, честное слово! – сказал Морсер. – Вы мне разрешите их повторить?

– Да, но понемножку, не все сразу, и не говорите, что они исходят от меня.

– Почему?

– Потому что это почти подслушанный секрет.

– Чей?

– Полиции.

– Значит, об этом говорилось...

– Вчера вечером у префекта. Вы ведь понимаете, Париж взволновался при виде этой необычайной роскоши, и полиция навела справки.

– Само собой! Не хватает только, чтобы графа арестовали за бродяжничество, ввиду того что он слишком богат.

– По правде говоря, это вполне могло бы случиться, если бы сведения не оказались такими благоприятными.

– Бедный граф! А он знает о грозившей ему опасности?

– Не думаю.

– В таком случае следует предупредить его. Я не премину это сделать, как только он приедет.

В эту минуту к ним подошел красивый молодой брюнет с живыми глазами и почтительно поклонился г-же де Вильфор.

Альбер протянул ему руку.

– Сударыня, – сказал Альбер, – имею честь представить вам Максимилиана Морреля, капитана спаги, одного из наших славных, а главное, храбрых офицеров.

– Я уже имела удовольствие познакомиться с господином Моррелем в Отейле, у графа Монте-Кристо, – ответила г-жа де Вильфор, отворачиваясь с подчеркнутой холодностью.

Этот ответ, и особенно его тон, заставил сжаться сердце бедного Морреля; но его ожидала награда: обернувшись, он увидел в дверях молодую девушку в белом; ее расширенные и, казалось, ничего не выражающие глаза были устремлены на него; она медленно подносила к губам букет незабудок.

Моррель понял это приветствие и с тем же выражением в глазах, в свою очередь, поднес к губам платок; и обе эти живые статуи, с учащенно бьющимися сердцами и с мраморно-холодными лицами, разделенные всем пространством залы, на минуту забылись, вернее, забыли обо всем в этом немом созерцании.

Они могли бы долго стоять так, поглощенные друг другом, и никто не заметил бы их забытья: в залу вошел граф Монте-Кристо.

Как мы уже говорили, было ли то искусственное или природное обаяние, но где бы граф ни появлялся, он привлекал к себе всеобщее внимание. Не его фрак, правда безукоризненного покроя, но простой и без орденов; не белый жилет, без всякой вышивки; не панталоны, облегавшие его стройные ноги, – не это привлекало внимание. Матовый цвет лица, волнистые черные волосы, спокойное и ясное лицо, глубокий и печальный взор, наконец поразительно очерченный рот, так легко выражавший надменное презрение, – вот что приковывало к графу все взгляды.

Были мужчины красивее его, но не было ни одного столь значительного, если можно так выразиться. Все в нем изобличало глубину ума и чувств, постоянная работа мысли придала его чертам,

взгляду и самым незначительным жестам несравненную выразительность и ясность.

А кроме того, наше парижское общество такое странное, что оно, быть может, и не заметило бы всего этого, если бы тут не скрывалась какая-то тайна, позлащенная блеском несметных богатств.

Как бы то ни было, граф под огнем любопытных взоров и градом мимолетных приветствий направился к г-же де Морсер; стоя перед камином, утопавшим в цветах, она видела в зеркале, висевшем напротив двери, как он вошел, и приготовилась его встретить.

Поэтому она обернулась к нему с натянутой улыбкой в ту самую минуту, как он почтительно перед ней склонился.

Она, вероятно, думала, что граф заговорит с ней; он, со своей стороны, вероятно, тоже думал, что она ему что-нибудь скажет; но оба они остались безмолвны, настолько, по-видимому, им казались недостойными этой минуты какие-нибудь банальные слова. И, обменявшись с ней поклоном, Монте-Кристо направился к Альберу, который шел к нему навстречу с протянутой рукой.

– Вы уже видели госпожу де Морсер? – спросил Альбер.

– Я только что имел честь поздороваться с ней, – сказал граф, – но я еще не видел вашего отца.

– Да вот он, видите? Беседует о политике в маленькой кучке больших знаменитостей.

– Неужели все эти господа – знаменитости? – сказал Монте-Кристо. – А я и не знал! Чем же они знамениты? Как вам известно, знаменитости бывают разные.

– Один из них ученый, вон тот, высокий и худой; он открыл в окрестностях Рима особый вид ящерицы, у которой одним позвонком больше, чем у других, и сделал в Академии наук доклад об этом открытии. Сообщение это долго оспаривали, но в конце концов победа осталась за высоким худым господином. Позвонок вызвал много шуму в ученом мире; высокий худой господин был всего лишь кавалером Почетного легиона, а теперь у него офицерский крест.

– Что ж, – сказал Монте-Кристо, – по-моему, отличие вполне заслуженное, так что если он найдет еще один позвонок, то его могут сделать командором?

– Очень возможно, – сказал Альбер.

– А вот этот, который изобрел себе такой странный синий фрак, расшитый зеленым, кто это?

– Он не сам придумал так вырядиться; это виновата Республика: она, как известно, отличалась художественным вкусом и, желая облечь академиков в мундир, поручила Давиду нарисовать для них костюм.

– Вот как, – сказал Монте-Кристо, – так этот господин – академик?

– Уже неделя, как он принадлежит к этому сонму ученых мужей.

– А в чем состоят его заслуги, его специальность?

– Специальность? Он, кажется, втыкает кроликам булавки в голову, кормит мареной кур и китовым усом выдалбливает спинной мозг у собак.

– И поэтому он состоит в Академии наук?

– Нет, во Французской академии.

– Но при чем тут Французская академия?

– Я вам сейчас объясню: говорят...

– Что его опыты сильно двинули вперед науку, да?

– Нет, что он прекрасно пишет.

– Это, наверное, очень льстит самолюбию кроликов, которым он втыкает в голову булавки, кур, которым он окрашивает кости в красный цвет, и собак, у которых он выдалбливает спинной мозг.

Альбер расхохотался.

– А вот этот? – спросил граф.

– Который?

– Третий отсюда.

– А, в васильковом фраке?

– Да.

– Это коллега моего отца. Недавно он горячо выступил против того, чтобы членам Палаты пэров был присвоен мундир. Его речь по этому вопросу имела большой успех; он был не в ладах с либеральной

прессой, но этот благородный протест против намерений двора помирил его с ней. Говорят, его назначили послом.

– А в чем состоят его права на пэрство?

– Он написал две-три комические оперы, имеет пять-шесть акций газеты «Век» и пять или шесть лет голосовал за министерство.

– Браво, виконт! – сказал, смеясь, Монте-Кристо. – Вы очаровательный чичероне, теперь я попрошу вас об одной услуге.

– О какой?

– Вы не будете знакомить меня с этими господами, а если они пожелают познакомиться со мной, вы меня предупредите.

В эту минуту граф почувствовал, что кто-то тронул его за руку; он обернулся и увидел Данглара.

– Ах, это вы, барон! – сказал он.

– Почему вы зовете меня бароном? – сказал Данглар. – Вы же знаете, что я не придаю значения своему титулу. Не то, что вы, виконт; ведь вы им дорожите, правда?

– Разумеется, – отвечал Альбер, – потому что, перестань я быть виконтом, я обращусь в ничто, тогда как вы свободно можете пожертвовать баронским титулом и все же останетесь миллионером.

– Это, по-моему, наилучший титул при Июльской монархии, – сказал Данглар.

– К несчастью, – сказал Монте-Кристо, – миллионер не есть пожизненное звание, как барон, пэр Франции или академик; доказательством могут служить франкфуртские миллионеры Франк и Пульман, которые только что обанкротились.

– Неужели? – сказал Данглар, бледнея.

– Да, мне сегодня вечером привез это известие курьер; у меня в их банке лежало что-то около миллиона, но меня вовремя предупредили, и я с месяц назад потребовал его выплаты.

– Ах, черт, – сказал Данглар. – Они перевели на меня векселей на двести тысяч франков.

– Ну так вы предупреждены; их подпись стоит пять процентов.

– Да, но я предупрежден слишком поздно, – сказал Данглар. – Я уже выплатил по их векселям.

– Что ж, – сказал Монте-Кристо, – вот еще двести тысяч франков, которые последовали…

– Шш, – прервал Данглар, – не говорите об этом… особенно при Кавальканти-младшем, – прибавил банкир, подойдя ближе к Монте-Кристо, и с улыбкой обернулся к стоявшему невдалеке молодому человеку.

Альбер отошел от графа, чтобы переговорить со своей матерью. Данглар покинул его, чтобы поздороваться с Кавальканти-сыном. Монте-Кристо на минуту остался один.

Между тем духота становилась нестерпимой.

Лакеи разносили по гостиным подносы, полные фруктов и мороженого.

Монте-Кристо вытер платком лицо, влажное от пота, но отступил, когда мимо него проносили поднос, и не взял ничего прохладительного.

Госпожа де Морсер ни на минуту не теряла Монте-Кристо из виду. Она видела, как мимо него пронесли поднос, до которого он не дотронулся; она даже заметила, как он отодвинулся.

– Альбер, – сказала она, – обратил ты внимание на одну вещь?

– На что именно?

– Граф ни разу не принял приглашения на обед к твоему отцу.

– Да, но он приехал ко мне завтракать, и этот завтрак был его вступлением в свет.

– У тебя – это не то же, что у графа де Морсера, – прошептала Мерседес, – а я слежу за ним с той минуты, как он сюда вошел.

– И что же?

– Он до сих пор ни к чему не притронулся.

– Граф очень воздержанный человек.

Мерседес печально улыбнулась.

– Подойди к нему и, когда мимо понесут поднос, попроси его взять что-нибудь.

– Зачем это, матушка?

– Доставь мне это удовольствие, Альбер, – сказала Мерседес.

Альбер поцеловал матери руку и подошел к графу.

Мимо них пронесли поднос; г-жа де Морсер видела, как Альбер настойчиво угощал графа, даже взял блюдце с мороженым и предложил ему, но тот упорно отказывался.

Альбер вернулся к матери; графиня была очень бледна.

– Вот видишь, – сказала она, – он отказался.

– Да, но почему это вас огорчает?

– Знаешь, Альбер, женщины ведь странные создания. Мне было бы приятно, если бы граф съел что-нибудь в моем доме, хотя бы только зернышко граната. Впрочем, может быть, ему не нравится французская еда, может быть, у него какие-нибудь особенные вкусы.

– Да нет же, в Италии он ел все что угодно; вероятно, ему нездоровится сегодня.

– А потом, – сказала графиня, – раз он всю жизнь провел в жарких странах, он, может быть, не так страдает от жары, как мы?

– Не думаю; он жаловался на духоту и спрашивал, почему, если уж открыли окна, не открыли заодно и ставни.

– В самом деле, – сказала Мерседес, – у меня есть способ удостовериться, нарочно ли он от всего отказывается.

И она вышла из гостиной.

Через минуту ставни распахнулись; сквозь кусты жасмина и ломоноса, растущие перед окнами, можно было видеть весь сад, освещенный фонариками, и накрытый стол под тентом.

Танцоры и танцорки, игроки и беседующие радостно вскрикнули; их легкие с наслаждением впивали свежий воздух, широкими потоками врывавшийся в комнату.

В ту же минуту вновь появилась Мерседес, бледнее прежнего, но с тем решительным лицом, какое у нее иногда бывало. Она направилась прямо к той группе, которая окружала ее мужа.

– Не удерживайте здесь наших гостей, граф, – сказала она. – Если они не играют в карты, то им, наверное, будет приятнее подышать воздухом в саду, чем задыхаться в комнатах.

– Сударыня, – сказал галантный старый генерал, который в 1809 году распевал: «Отправимся в Сирию», – одни мы в сад не пойдем.

– Хорошо, – сказала Мерседес, – в таком случае я подам вам пример. – И, обернувшись к Монте-Кристо, она сказала: – Сделайте мне честь, граф, и предложите мне руку.

Граф чуть не пошатнулся от этих простых слов; потом он пристально посмотрел на Мерседес. Это был только миг, быстрый, как молния, но графине показалось, что он длился вечность, так много мыслей вложил Монте-Кристо в один этот взгляд.

Он предложил графине руку; она оперлась на нее, вернее, едва коснулась ее своей маленькой рукой, и они сошли вниз по одной из каменных лестниц крыльца, окаймленной рододендронами и камелиями.

Следом за ними, а также и по другой лестнице с радостными возгласами устремились человек двадцать, желающих погулять по саду.

# XIV. Хлеб и соль

Госпожа де Морсер прошла со своим спутником под зеленые своды липовой аллеи, которая вела к теплице.

– В гостиной было слишком жарко, не правда ли, граф? – сказала она.

– Да, сударыня, и ваша мысль открыть все двери и ставни – прекрасная мысль.

Говоря эти слова, граф заметил, что рука Мерседес дрожит.

– А вам не будет холодно в этом легком платье, с одним только газовым шарфом на плечах? – сказал он.

– Знаете, куда я вас веду? – спросила графиня, не отвечая на вопрос.

– Нет, сударыня, – ответил Монте-Кристо, – но, как видите, я не противлюсь.

– В оранжерею, что виднеется там, в конце этой аллеи.

Граф вопросительно посмотрел на Мерседес, но она молча шла дальше, и Монте-Кристо тоже молчал.

Они дошли до теплицы, полной превосходных плодов, которые к началу июля уже достигли зрелости в этой температуре, рассчитанной на то, чтобы заменить солнечное тепло, такое редкое у нас.

Графиня отпустила руку Монте-Кристо и, подойдя к виноградной лозе, сорвала гроздь муската.

– Возьмите, граф, – сказала она с такой печальной улыбкой, что, казалось, на глазах у нее готовы выступить слезы. – Я знаю, наш французский виноград не выдерживает сравнения с вашим сицилианским или кипрским, но вы, надеюсь, будете снисходительны к нашему бедному северному солнцу.

Граф поклонился и отступил на шаг.

– Вы мне отказываете? – сказала Мерседес дрогнувшим голосом.

– Сударыня, – отвечал Монте-Кристо, – я смиренно прошу у вас прощения, но я никогда не ем муската.

Мерседес со вздохом уронила гроздь.

На соседней шпалере висел чудесный персик, выращенный, как и виноградная лоза, в искусственном тепле оранжереи. Мерседес подошла к бархатистому плоду и сорвала его.

– Тогда возьмите этот персик, – сказала она.

Но граф снова повторил жест отказа.

– Как, опять! – сказала она с таким отчаянием в голосе, словно подавляла рыдание. – Право, мне не везет.

Последовало долгое молчание; персик, вслед за гроздью, упал на песок.

– Знаете, граф, – сказала наконец Мерседес, с мольбой глядя на Монте-Кристо, – есть такой трогательный арабский обычай: те, что вкусили под одной крышей хлеба и соли, становятся навеки друзьями.

– Я это знаю, сударыня, – ответил граф, – но мы во Франции, а не в Аравии, а во Франции не существует вечной дружбы, так же как и обычая делить хлеб и соль.

– Но все-таки, – сказала графиня, дрожа и глядя прямо в глаза Монте-Кристо, и почти судорожно схватила обеими руками его руку, – все-таки мы друзья, не правда ли?

Вся кровь прихлынула к сердцу графа, побледневшего, как смерть, затем бросилась ему в лицо и на несколько секунд заволокла его глаза туманом, как бывает с человеком, у которого кружится голова.

– Разумеется, сударыня, – отвечал он, – почему бы нам не быть друзьями?

Этот тон был так далек от того, чего жаждала Мерседес, что она отвернулась со вздохом, более похожим на стон.

– Благодарю вас, – сказала она.

И она пошла вперед.

Они обошли весь сад, не проронив ни слова.

– Граф, – начала вдруг Мерседес, после десятиминутной молчаливой прогулки, – правда ли, что вы много видели, много путешествовали, много страдали?

– Да, сударыня, я много страдал, – ответил Монте-Кристо.

– Но теперь вы счастливы?

– Конечно, – ответил граф, – ведь никто не слышал, чтобы я когда-нибудь жаловался.

– И ваше нынешнее счастье смягчает вашу душу?

– Мое нынешнее счастье равно моим прошлым несчастьям.

– Вы не женаты?

– Женат? – вздрогнув, переспросил Монте-Кристо. – Кто мог вам это сказать?

– Никто не говорил, но вас несколько раз видели в Опере с молодой и очень красивой женщиной.

– Это невольница, которую я купил в Константинополе, дочь князя, которая стала моей дочерью, потому что на всем свете у меня нет ни одного близкого человека.

– Значит, вы живете одиноко?

– Одиноко.

– У вас нет сестры... сына... отца?

– Никого.

– Как вы можете так жить, не имея ничего, что привязывает к жизни?

– Это произошло не по моей вине, сударыня. Когда я жил на Мальте, я любил одну девушку и должен был на ней жениться, но налетела война и умчала меня от нее, как вихрь. Я думал, что она достаточно любит меня, чтобы ждать, чтобы остаться верной даже моей могиле. Когда я вернулся, она была уже замужем. Это обычная история каждого мужчины старше двадцати лет. Быть может, у меня было более чувствительное сердце, чем у других, и я страдал больше, чем страдал бы другой на моем месте, вот и все.

Графиня приостановилась, словно ей не хватило дыхания.

– Да, – сказала она, – и эта любовь осталась лежать камнем на вашем сердце... Любишь по-настоящему только раз в жизни... И вы не виделись больше с этой женщиной?

– Никогда.

– Никогда!

– Я больше не возвращался туда, где она жила.

– На Мальту?

– Да, на Мальту.

– Она и теперь на Мальте?

– Вероятно.

– И вы простили ей ваши страдания?

– Ей – да.

– Но только ей; вы все еще ненавидите тех, кто вас с ней разлучил?

– Нисколько. За что мне их ненавидеть?

Графиня остановилась перед Монте-Кристо; в руке она все еще держала обрывок ароматной грозди.

– Возьмите, – сказала она.

– Я никогда не ем муската, сударыня, – ответил Монте-Кристо, как будто между ними не было никакого разговора на эту тему.

Графиня жестом, полным отчаяния, отбросила кисть винограда в ближайшие кусты.

– Непреклонный! – прошептала она.

Монте-Кристо остался столько же невозмутимым, как если бы этот упрек относился не к нему.

В эту минуту к ним подбежал Альбер.

– Матушка, – сказал он, – большое несчастье!

– Что такое? Что случилось? – спросила графиня, выпрямляясь во весь рост, словно возвращаясь от сна к действительности. – Несчастье, ты говоришь? В самом деле, теперь должны начаться несчастья!

– Приехал господин де Вильфор.

– И что же?

– Он приехал за женой и дочерью.

– Почему?

– В Париж прибыла маркиза де Сен-Меран и привезла известие, что маркиз де Сен-Меран умер на пути из Марселя, на первой остановке. Госпожа де Вильфор была так весела, что долго не могла понять и поверить; но мадемуазель Валентина при первых же словах, несмотря на всю осторожность ее отца, все угадала; этот удар поразил ее, как громом, и она упала в обморок.

– А кем маркиз де Сен-Меран приходится мадемуазель Валентине де Вильфор? – спросил граф.

– Это ее дед по матери. Он ехал сюда, чтобы ускорить брак своей внучки с Францем.

– Ах, вот как!

– Теперь Францу придется подождать. Жаль, что маркиз де Сен-Меран не приходится также дедом мадемуазель Данглар!

– Альбер, Альбер! Ну, что ты говоришь? – с нежным упреком сказала г-жа де Морсер. – Он вас так уважает, граф, скажите ему, что так не следует говорить!

Она отошла на несколько шагов.

Монте-Кристо взглянул на нее так странно, с такой задумчивой и восторженной нежностью, что она вернулась назад.

Она взяла его руку, сжала в то же время руку сына и соединила их.

– Мы ведь друзья, правда? – сказала она.

– Я не смею притязать на вашу дружбу, сударыня, – сказал граф, – но, во всяком случае, я ваш почтительнейший слуга.

Графиня удалилась с невыразимой тяжестью на сердце; она не отошла и десяти шагов, как граф увидел, что она поднесла к глазам платок.

– У вас с матушкой вышла размолвка? – удивленно спросил Альбер.

– Напротив, – ответил граф, – ведь она сейчас при вас сказала, что мы друзья.

И они вернулись в гостиную, которую только что покинули Валентина и супруги де Вильфор.

Моррель, понятно, вышел вслед за ними.

# XV. Маркиза де Сен-Меран

Действительно, в доме Вильфора незадолго перед тем произошла печальная сцена.

После отъезда обеих дам на бал, куда, несмотря на все старания и уговоры, г-же де Вильфор так и не удалось увезти мужа, королевский прокурор по обыкновению заперся у себя в кабинете, окруженный кипами дел; количество их привело бы в ужас всякого другого, но в обычное время их едва хватало на то, чтобы утолить его жажду деятельности.

Но на этот раз дела были только предлогом, Вильфор заперся не для того, чтобы работать, а для того, чтобы поразмыслить на свободе; удалившись в свой кабинет и приказав не беспокоить его, если ничего важного не случится, он погрузился в кресло и снова начал перебирать в памяти все, что за последнюю неделю переполняло чашу его мрачной печали и горьких воспоминаний.

И вот, вместо того чтобы приняться за наваленные перед ним дела, он открыл ящик письменного стола, нажал секретную пружину и вытащил связку своих личных записей; в этих драгоценных рукописях в строгом порядке ему одному известным шифром были записаны имена всех, кто на политическом его поприще, в денежных делах, в судебных процессах или в тайных любовных интригах стал ему врагом.

Теперь, когда ему было страшно, число их казалось несметным; а между тем все эти имена, даже самые могущественные и грозные, не раз вызывали на его лице улыбку, подобную улыбке путника, который, взобравшись на вершину горы, видит у себя под ногами остроконечные скалы, непроходимые пути и края пропастей – все, что он преодолел в своем долгом, мучительном восхождении.

Он старательно возобновил эти имена в своей памяти, внимательно перечитал, изучил, проверил их по своим записям и, наконец, покачал головой.

– Нет, – прошептал он, – ни один из них не ждал бы так долго и терпеливо, чтобы теперь уничтожить меня этой тайной. Иногда, как говорит Гамлет, из-под земли поднимается гул того, что было в ней глубоко погребено, и, словно фосфорический свет, блуждает по воздуху; но эти огни мимолетны и только сбивают с пути. Вероятно, корсиканец рассказал эту историю какому-нибудь священнику, а тот, в свою очередь, говорил о ней. Господин Монте-Кристо услышал ее и чтобы проверить…

– Но на что ему проверять? – продолжал Вильфор после минутного раздумья. – Зачем нужно господину Монте-Кристо, господину Дзакконе, сыну мальтийского арматора, владельцу серебряных рудников в Фессалии, впервые приехавшему во Францию, проверять такой темный, таинственный и бесполезный факт? Из всего, что рассказали мне аббат Бузони и этот лорд Уилмор, друг и недруг, для меня ясно, очевидно и несомненно одно: ни в какое время, ни в каком случае, ни при каких обстоятельствах у меня не могло быть с ним ничего общего.

Но Вильфор повторял себе все это, сам не веря своим словам. Страшнее всего для него было не само разоблачение, потому что он мог отрицать, а то и ответить; его мало беспокоило это «Мене, Текел, Фарес»,[55] кровавыми буквами внезапно возникшее на стене; но он мучительно хотел узнать, кому принадлежит рука, начертавшая эти слова.

В ту минуту, когда он пытался себя успокоить и когда, вместо того политического будущего, которое ему порой рисовалось в честолюбивых мечтах, он, чтобы не разбудить этого так долго спавшего врага, подумывал о будущем, ограниченном семейными радостями, во дворе раздался стук колес. Затем на лестнице послышались медленные старческие шаги, потом рыдания и горестные возгласы, которые так удаются прислуге, когда она хочет показать сочувствие своим господам.

Он поспешно отпер дверь кабинета, и почти сейчас же к нему, без доклада, вошла старая дама с шалью и шляпой в руке. Ее седые волосы обрамляли лоб, матовый, как пожелтевшая слоновая кость, а глаза, которые время окружило глубокими морщинами, опухли от слез.

– О, какое несчастье, – произнесла она, – какое несчастье! Я не переживу! Нет, конечно, я этого не переживу! – И, упав в кресло у самой двери, она разразилась рыданиями.

Слуги столпились на пороге и, не смея двинуться дальше, поглядывали на старого камердинера Нуартье, который, услышав из комнаты своего хозяина весь этот шум, тоже прибежал вниз и стоял позади остальных.

Вильфор, узнав свою тещу, вскочил и бросился к ней.

– Боже мой, сударыня, что случилось? – спросил он. – Почему вы в таком отчаянии? А маркиз де Сен-Меран разве не с вами?

– Маркиз де Сен-Меран умер, – сказала старая маркиза без предисловий, без всякого выражения, словно в каком-то столбняке.

Вильфор отступил на шаг и всплеснул руками.

– Умер!.. – пролепетал он. – Умер так... внезапно?

– Неделю тому назад мы после обеда собрались в дорогу, – продолжала г-жа де Сен-Меран. – Маркиз уже несколько дней прихварывал; но мысль, что мы скоро увидим нашу дорогую Валентину, придавала ему мужества, и, несмотря на свое недомогание, он решил тронуться в путь. Не успели мы отъехать и шести лье от Марселя, как он принял по обыкновению свои пилюли и потом заснул так крепко, что это показалось мне неестественным. Но я не решилась его разбудить. Вдруг я увидела, что лицо его побагровело и жилы на висках как-то особенно вздулись. Все же я не стала его будить; наступила ночь и ничего уже не было видно. Вскоре он глухо, отчаянно вскрикнул, словно ему стало больно во сне, и голова его резко откинулась назад. Я крикнула камердинера, велела кучеру остановиться, я стала будить маркиза, поднесла к его носу флакон с солью, но все было кончено, он был мертв. Я доехала до Экса, сидя рядом с его телом.

Вильфор стоял и слушал, пораженный.

– Вы, конечно, сейчас же позвали доктора?

– Немедленно. Но я уже сказала вам, это был конец.

– Разумеется, но доктор по крайней мере определил, от какой болезни скончался бедный маркиз?

– О господи, конечно, он мне сказал; очевидно, это был апоплексический удар.

– Что же вы сделали?

– Господин де Сен-Меран всегда говорил, что, если он умрет не в Париже, его тело должно быть перевезено в семейный склеп. Я велела его положить в свинцовый гроб и лишь на несколько дней опередила его.

– Бедная матушка! – сказал Вильфор. – Такие хлопоты после такого потрясения, и в вашем возрасте!

– Бог дал мне силы вынести все; впрочем, мой муж сделал бы для меня то же, что я сделала для него. Но с тех пор как я его там оставила, мне все кажется, что я лишилась рассудка. Я больше не могу плакать. Правда, люди говорят, что в мои годы уже не бывает слез, но, мне кажется, пока страдаешь, до тех пор должны быть и слезы. А где Валентина? Ведь мы сюда ехали ради нее. Я хочу видеть Валентину.

Вильфор понимал, как жестоко было бы сказать, что Валентина на балу; он просто ответил, что ее нет дома, что она вышла вместе с мачехой и что ей сейчас дадут знать.

– Сию же минуту, сию же минуту, умоляю вас, – сказала старая маркиза.

Вильфор взял ее под руку и отвел в ее комнату.

– Отдохните, матушка, – сказал он.

Маркиза взглянула на этого человека, напоминавшего ей горячо оплакиваемую дочь, ожившую для нее в Валентине, потрясенная словом «матушка», разразилась слезами, упала на колени перед креслом и прижалась к нему седой головой.

Вильфор поручил ее заботам женщин, а старик Барруа поднялся к своему хозяину, взволнованный до глубины души; больше всего пугает стариков, когда смерть на минуту отходит от них, чтобы поразить другого старика. Затем, пока г-жа де Сен-Меран, все так же на коленях, горячо молилась, Вильфор послал за наемной каретой и сам поехал за женой и дочерью к г-же де Морсер, чтобы отвезти их домой.

Он был так бледен, когда появился в дверях гостиной, что Валентина бросилась к нему с криком:

– Что случилось, отец? Несчастье?

– Приехала ваша бабушка, Валентина, – сказал Вильфор.

– А дедушка? – спросила она, вся дрожа.

Вильфор вместо ответа взял дочь под руку.

Это было как раз вовремя; Валентине сделалось дурно, и она зашаталась; г-жа де Вильфор подхватила ее и помогла мужу усадить в карету, повторяя:

– Как это странно! Кто бы мог подумать! Право, это очень странно!

И огорченное семейство быстро удалилось, набросив свою печаль, как траурный покров, на весь остаток вечера.

Внизу лестницы Валентина встретила поджидавшего ее Барруа.

– Господин Нуартье желает вас видеть сегодня, – тихо сказал он ей.

– Скажите ему, что я зайду к нему, как только повидаюсь с бабушкой, – сказала Валентина.

Своим чутким сердцем она поняла, что г-жа де Сен-Меран всех более нуждалась в ней в этот час.

Валентина нашла свою бабушку в постели. Безмолвные ласки, скорбь, переполняющая сердце, прерывистые вздохи, жгучие слезы – вот единственные подробности этого свидания; при нем присутствовала, под руку со своим мужем, г-жа де Вильфор, полная почтительного сочувствия, по крайней мере наружного, к бедной вдове.

Спустя некоторое время она наклонилась к уху мужа.

– Если позволите, – сказала она, – мне лучше уйти, потому что мой вид, кажется, еще больше огорчает вашу тещу.

Госпожа де Сен-Меран услышала ее слова.

– Да, да, – шепнула она Валентине, – пусть она уходит; но ты останься, останься непременно.

Госпожа де Вильфор удалилась, и Валентина осталась одна у постели своей бабушки, так как королевский прокурор, удрученный этой нежданной смертью, вышел вместе с женой.

Между тем Барруа вернулся наверх к господину Нуартье; тот слышал поднявшийся в доме шум и, как мы уже сказали, послал старого слугу узнать, в чем дело.

По его возвращении взгляд старика, такой живой, а главное такой разумный, вопросительно остановился на посланном.

– Случилось большое несчастье, сударь, – сказал Барруа, – госпожа де Сен-Меран приехала одна, а муж ее скончался.

Сен-Меран и Нуартье никогда не были особенно дружны; но известно, какое впечатление производит на всякого старика весть о смерти сверстника. Нуартье замер, как человек, удрученный горем или погруженный в свои мысли; затем он закрыл один глаз.

– Мадемуазель Валентину? – спросил Барруа.

Нуартье сделал знак, что да.

– Она на балу, вы ведь знаете, она еще приходила к вам проститься в бальном платье.

Нуартье снова закрыл левый глаз.

– Вы хотите ее видеть?

Нуартье подтвердил это.

– За ней, наверное, сейчас поедут к госпоже де Морсер; я подожду ее возвращения и попрошу ее пройти к вам. Так?

– Да, – ответил паралитик.

Барруа подстерег Валентину и, как мы уже видели, лишь только она вернулась, сообщил ей о желании деда.

Поэтому Валентина поднялась к Нуартье, как только вышла от г-жи де Сен-Меран, которая, как ни была взволнована, в конце концов, сраженная усталостью, уснула беспокойным сном.

К ее изголовью придвинули столик, на который поставили графин с оранжадом – ее обычное питье – и стакан.

Затем, как мы уже сказали, Валентина оставила спящую маркизу и поднялась к Нуартье.

Валентина поцеловала деда, и он посмотрел на нее так нежно, что из глаз у нее снова брызнули слезы, которые она считала уже иссякшими.

Старик настойчиво смотрел на нее.

– Да, да, – сказала Валентина, – ты хочешь сказать, что у меня остался добрый дедушка, правда?

Старик показал, что он именно это и хотел выразить своим взглядом.

– Да, это большое счастье, – продолжала Валентина. – Что бы со мной было иначе, господи!

Был уже час ночи; Барруа, которому хотелось спать, заметил, что после такого горестного вечера всем необходим покой. Старик не захотел сказать, что его покой состоит в том, чтобы видеть свое дитя. Он простился с Валентиной, которая действительно от утомления и горя еле стояла на ногах.

На следующий день, придя к бабушке, Валентина застала ее в постели; лихорадка не утихала; напротив, глаза старой маркизы горели мрачным огнем, и она была, видимо, охвачена сильным нервным возбуждением.

– Что с вами, бабушка, вам хуже? – воскликнула Валентина, заметив ее состояние.

– Нет, дитя мое, нет, – сказала г-жа де Сен-Меран, – но я очень ждала тебя. Я хочу послать за твоим отцом.

– За отцом? – спросила обеспокоенная Валентина.

– Да, мне надо с ним поговорить.

Валентина не посмела противоречить желанию бабушки, да и не знала, чем оно вызвано; через минуту в комнату вошел Вильфор.

– Сударь, – начала без всяких околичностей г-жа де Сен-Меран, словно опасаясь, что у нее не хватит времени, – вы мне писали, что намерены выдать нашу девочку замуж?

– Да, сударыня, – отвечал Вильфор, – это даже уже не намерение, это дело решенное.

– Вашего будущего зятя зовут Франц д'Эпине?

– Да, сударыня.

– Его отец был генерал д'Эпине, наш единомышленник? Его, кажется, убили за несколько дней до того, как узурпатор вернулся с Эльбы?

– Совершенно верно.

– Его не смущает женитьба на внучке якобинца?

– Наши политические разногласия, к счастью, прекратились, – сказал Вильфор, – Франц д'Эпине был почти младенец, когда умер его отец; он очень мало знает господина Нуартье и встретится с ним если и без удовольствия, то, во всяком случае, равнодушно.

– Это приличная партия?

– Во всех отношениях.

– И этот молодой человек…

– Пользуется всеобщим уважением.

– Он хорошо воспитан?

– Это один из самых достойных людей, которых я знаю.

В продолжение всего этого разговора Валентина не проронила ни слова.

– В таком случае, сударь, – после краткого размышления сказала г-жа де Сен-Меран, – вам надо поторопиться, потому что мне недолго осталось жить.

– Вам, сударыня! Вам, бабушка! – воскликнули в один голос Вильфор и Валентина.

– Я знаю, что говорю, – продолжала маркиза, – вы должны поспешить, чтобы хоть бабушка могла благословить ее брак, раз у нее нет матери. Я одна у нее осталась со стороны моей бедной Рене, которую вы так скоро забыли, сударь.

– Вы забываете, сударыня, – сказал Вильфор, – что этой бедной девочке была нужна мать.

– Мачеха никогда не заменит матери, сударь! Но это к делу не относится, мы говорим о Валентине; оставим мертвых в покое.

Маркиза говорила все это с такой быстротой и таким голосом, что ее речь становилась похожа на бред.

– Ваше желание будет исполнено, сударыня, – сказал Вильфор, – тем более что оно вполне совпадает с моим, и как только приедет господин д'Эпине…

– Но, бабушка, – сказала Валентина, – так не принято, ведь у нас траур… И неужели вы хотите, чтобы я вышла замуж при таких печальных предзнаменованиях?

– Дитя мое, – быстро прервала старуха, – не говори об этом, эти банальности только мешают слабым душам прочно строить свое будущее. Меня тоже выдали замуж, когда моя мать лежала при смерти, и я не стала от этого несчастной.

– Опять вы говорите о смерти, сударыня! – заметил Вильфор.

– Опять? Все время!.. Говорю вам, что я скоро умру, слышите! Но раньше я хочу видеть моего зятя; я хочу потребовать от него, чтобы он сделал мою внучку счастливой; я хочу прочитать в его глазах, исполнит ли он мое требование; словом, я хочу его знать, да, – продолжала старуха, и лицо ее стало страшным, – я приду к нему из глубины могилы, если он будет не тем, чем должен быть, не тем, чем ему надо быть.

– Сударыня, – возразил Вильфор, – вы должны гнать от себя эти мысли, это почти безумие. Мертвые спят в своих могилах и не встают никогда.

– Да, да, бабушка, успокойтесь! – сказала Валентина.

– А я говорю вам, сударь, что все это не так, как вы думаете. Эту ночь я провела ужасно. Я сама себя видела спящей, как будто душа моя уже отлетела от меня; я старалась открыть глаза, но они сами закрывались; и вот – я знаю, вам это покажется невозможным, особенно вам, сударь, – но, лежа с закрытыми глазами, я увидела, как в эту комнату из угла, где находится дверь в уборную госпожи де Вильфор, тихо вошла белая фигура.

Валентина вскрикнула.

– У вас был жар, сударыня, – сказал Вильфор.

– Можете не верить, но я знаю, что говорю; я видела белую фигуру; и словно господь опасался, что я не поверю одному зрению, я услышала, как стукнул мой стакан, да, да, вот этот самый, на столике.

– Это вам приснилось, бабушка.

– Нет, не приснилось, потому что я протянула руку к звонку, и тень сразу исчезла. Тут вошла горничная со свечой.

– И никого не оказалось?

– Привидения являются только тем, кто должен их видеть; это был дух моего мужа. Так вот, если дух моего мужа приходил за мной, почему мой

дух не явится, чтобы защитить мое дитя? Наша связь, мне кажется, еще сильнее.

– Прошу вас, сударыня, – сказал Вильфор, невольно взволнованный до глубины души, – не давайте воли этим мрачным мыслям; вы будете жить с нами, жить долго, счастливая, любимая, почитаемая, и мы заставим вас забыть...

– Нет, нет, никогда! – прервала маркиза. – Когда возвращается господин д'Эпине?

– Мы ждем его с минуты на минуту.

– Хорошо. Как только он приедет, скажите мне. Надо скорее, скорее. И я хочу видеть нотариуса. Я хочу быть уверенной, что все наше состояние перейдет к Валентине.

– Ах, бабушка, – прошептала Валентина, прикасаясь губами к пылающему лбу старухи, – я этого не вынесу! Боже мой, вы вся горите. Надо звать не нотариуса, а доктора.

– Доктора? – сказала та, пожимая плечами. – Я не больна; я хочу пить, больше ничего.

– Что вы пьете, бабушка?

– Как всегда, оранжад, ты же знаешь. Стакан тут на столике; дай мне его.

Валентина налила оранжад из графина в стакан и передала бабушке с некоторым страхом, потому что до этого самого стакана, по словам маркизы, дотронулся призрак.

Маркиза сразу выпила все.

Потом она откинулась на подушки, повторяя:

– Нотариуса! Нотариуса!

Вильфор вышел из комнаты. Валентина села около бабушки. Она, казалось, сама нуждалась в докторе, которого она советовала позвать маркизе. Щеки ее пылали, она дышала быстро и прерывисто, пульс бился лихорадочно.

Бедная девушка думала о том, в каком отчаянии будет Максимилиан, когда узнает, что г-жа де Сен-Меран, вместо того чтобы стать его союзницей, действует, не зная его, как его злейший враг.

Валентина не раз думала о том, чтобы все сказать бабушке. Она не колебалась бы ни минуты, если бы Максимилиана Морреля звали Альбером де Морсером или Раулем де Шато-Рено. Но Моррель был плебей по происхождению, а Валентина знала, как презирает гордая маркиза де Сен-Меран людей неродовитых. И всякий раз ее тайна, уже готовая сорваться с губ, оставалась у нее на сердце из-за грустной уверенности, что она выдала бы ее напрасно и что, едва эту тайну узнают отец и мачеха, всему настанет конец.

Так прошло около двух часов. Г-жа де Сен-Меран была погружена в беспокойный, лихорадочный сон. Доложили о приходе нотариуса.

Хотя об этом сообщили едва слышно, г-жа де Сен-Меран подняла голову с подушки.

– Нотариус? – сказала она. – Пусть войдет, пусть войдет!

Нотариус был у дверей; он вошел.

– Ступай, Валентина, – сказала г-жа де Сен-Меран, – оставь меня одну с этим господином.

– Но, бабушка...

– Ступай, ступай.

Валентина поцеловала бабушку в лоб и вышла, прижимая к глазам платок.

За дверью она встретила камердинера, который сообщил ей, что в гостиной ждет доктор.

Валентина быстро сошла вниз. Доктор, один из известнейших врачей того времени, был другом их семьи и очень любил Валентину, которую знал с пеленок. У него была дочь почти одних лет с мадемуазель де Вильфор, но рожденная от чахоточной матери, и его жизнь проходила в непрерывной тревоге за эту девочку.

– Ах, дорогой господин д'Авриньи, – сказала Валентина, – мы так ждем вас! Но скажите сначала, как поживают Мадлен и Антуанетт?

Мадлен была дочь доктора, а Антуанетт – его племянница.

Господин д'Авриньи грустно улыбнулся.

– Антуанетт прекрасно, – сказал он, – Мадлен сносно. Но вы посылали за мной, дорогая? Кто у вас болен? Не ваш отец и не госпожа де

Вильфор, надеюсь? А вы сами? Я уж вижу, ваши нервы не оставляют вас в покое. Но все же не думаю, чтобы я тут был нужен, – разве только чтобы посоветовать не слишком давать волю нашему воображению.

Валентина вспыхнула. Д'Авриньи обладал почти чудодейственным даром все угадывать; он был из тех врачей, которые лечат физические боли моральным воздействием.

– Нет, – сказала она, – это бедная бабушка заболела. Вы ведь знаете, какое у нас несчастье?

– Ничего не знаю, – сказал д'Авриньи.

– Это ужасно, – сказала Валентина, сдерживая рыдания. – Скончался мой дедушка.

– Маркиз де Сен-Меран?

– Да.

– Внезапно?

– От апоплексического удара.

– От апоплексического удара? – повторил доктор.

– Да. И бедной бабушкой овладела мысль, что муж, с которым она никогда в жизни не расставалась, теперь зовет ее и что она должна за ним последовать. Умоляю вас, сударь, помогите бабушке!

– Где она?

– У себя в комнате, и там нотариус.

– А как господин Нуартье?

– Все по-прежнему: совершенно ясный ум, но все такая же неподвижность и немота.

– И такая же нежность к вам – правда?

– Да, – сказала со вздохом Валентина, – он очень любит меня.

– Да как же можно вас не любить?

Валентина грустно улыбнулась.

– А что с вашей бабушкой?

– У нее необычайное нервное возбуждение, странный, беспокойный сон; сегодня она уверяла, что ночью, пока она спала, ее душа витала над телом и видела его спящим. Конечно, это бред. Она уверяет, что видела,

как в комнату к ней вошел призрак, и слышала, как он дотронулся до ее стакана.

– Это очень странно, – сказал доктор, – я никогда не слышал, чтобы госпожа де Сен-Меран страдала галлюцинациями.

– Я в первый раз вижу ее в таком состоянии, – сказала Валентина. – Она очень напугала меня сегодня утром; я думала, что она сошла с ума. И вы ведь знаете, господин д'Авриньи, какой уравновешенный человек мой отец, но даже он был, мне кажется, очень взволнован.

– Сейчас посмотрим, – сказал д'Авриньи, – все это очень странно.

Нотариус уже спускался вниз; Валентине пришли сказать, что маркиза одна.

– Поднимитесь к ней, – сказала она доктору.

– А вы?

– Нет, я боюсь. Она запретила мне посылать за вами. И потом, вы сами сказали, я взволнованна, возбуждена и я плохо себя чувствую. Я пройдусь по саду, чтобы немного прийти в себя.

Доктор пожал Валентине руку и пошел к маркизе, а молодая девушка спустилась в сад.

Нам незачем говорить, какая часть сада была излюбленным местом ее прогулок. Пройдясь несколько раз по цветнику, окружавшему дом, сорвав розу, чтобы сунуть ее за пояс или воткнуть в волосы, она углублялась в тенистую аллею, ведущую к скамье, а от скамьи шла к воротам.

И на этот раз Валентина, как всегда, прошлась несколько раз среди своих цветов, но не сорвала ни одного; траур, лежавший у нее на сердце, хотя еще и не отразившийся на ее внешности, отвергал даже это скромное украшение; затем она направилась к своей аллее. Чем дальше она шла, тем яснее ей чудилось, что кто-то зовет ее по имени. Удивленная, она остановилась.

Тогда она ясно расслышала зов и узнала голос Максимилиана.

# XVI. Обещание

Это был действительно Моррель, который со вчерашнего дня был сам не свой. Инстинктом, который присущ влюбленным и матерям, он угадал, что из-за приезда г-жи де Сен-Меран и смерти маркиза в доме Вильфоров должно произойти нечто важное, что коснется его любви к Валентине.

Как мы сейчас увидим, предчувствия не обманули его, и теперь уже не простое беспокойство привело его, такого растерянного и дрожащего, к воротам у каштанов. Но Валентина не знала, что Моррель ее ждет, это не был обычный час его прихода; только чистая случайность или, если угодно, счастливое наитие привело ее в сад.

Увидев его на дорожке, Моррель окликнул ее; она подбежала к воротам.

– Вы здесь, в этот час! – сказала она.

– Да, мой бедный друг, – отвечал Моррель. – Я пришел узнать и сообщить печальные вести.

– Видно, все несчастья обрушились на наш дом! – сказала Валентина. – Говорите, Максимилиан. Но, право, несчастий и так достаточно.

– Выслушайте меня, дорогая, – сказал Моррель, стараясь побороть волнение, чтобы говорить яснее. – Все, что я скажу, чрезвычайно важно. Когда предполагается ваша свадьба?

– Слушайте, Максимилиан, – сказала, в свою очередь, Валентина. – Я ничего не хочу скрывать от вас. Сегодня утром говорили о моем замужестве. Бабушка, у которой я думала найти поддержку, не только согласна на этот брак, она так жаждет его, что ждут только приезда д’Эпине, и на следующий день брачный договор будет подписан.

Тяжкий вздох вырвался из груди Морреля, и он остановил на Валентине долгий и грустный взгляд.

– Да, – сказал он тихо, – ужасно слышать, как любимая девушка спокойно говорит: «Время вашей казни назначено: она состоится через

несколько часов; но что ж делать, так надо, и противиться этому я не буду». Так вот, если, для того чтобы подписать договор, ждут только д'Эпине, если на следующий день после его приезда вы будете ему принадлежать, то, значит, вы будете обручены с ним завтра, потому что он приехал сегодня утром.

Валентина вскрикнула.

– Час назад я был у графа Монте-Кристо, – сказал Моррель. – Мы с ним беседовали: он – о горе, постигшем вашу семью, а я – о вашем горе, как вдруг во двор въезжает экипаж. Слушайте. До этой минуты я никогда не верил в предчувствия, но теперь приходится поверить. Когда я услышал стук этого экипажа, я задрожал. Вскоре я услышал на лестнице шаги. Гулкие шаги командора привели Дон Жуана не в больший ужас, чем эти – меня. Наконец, отворяется дверь: первым входит Альбер де Морсер. Я уже чуть не усомнился в своем предчувствии, чуть не подумал, что ошибся, как вдруг за Альбером входит еще один человек, и граф восклицает: «А, вот и барон Франц д'Эпине!..» Я собрал все свои силы и все мужество, чтобы сдержаться. Может быть, я побледнел, может быть, задрожал; но, во всяком случае, я продолжал улыбаться. Через пять минут я ушел. Я не слышал ни слова из всего, что говорилось за эти пять минут. Я был уничтожен.

– Бедный Максимилиан! – прошептала Валентина.

– И вот я здесь, Валентина. Теперь ответьте мне, – моя жизнь и смерть зависят от вашего ответа. Что вы думаете делать?

Валентина опустила голову; она была совершенно подавлена.

– Послушайте, – сказал Моррель, – ведь вы не в первый раз задумываетесь над тем, в какое положение мы попали; положение серьезное, тягостное, отчаянное. Думаю, что теперь не время предаваться бесплодной скорби; это годится для тех, кто согласен спокойно страдать и упиваться своими слезами. Есть такие люди, и, вероятно, господь зачтет им на небесах их смирение на земле. Но кто чувствует в себе волю к борьбе, тот не теряет драгоценного времени и сразу отвечает судьбе ударом на удар. Хотите вы бороться против злой судьбы, Валентина? Отвечайте, я об этом и пришел спросить.

Валентина вздрогнула и с испугом посмотрела на Морреля. Мысль поступить наперекор отцу, бабушке – словом, всей семье – ей и в голову не приходила.

– Что вы хотите сказать, Максимилиан? – спросила она. – Что вы называете борьбой? Назовите это лучше кощунством! Чтобы я нарушила приказание отца, волю умирающей бабушки? Но это невозможно!

Моррель вздрогнул.

– У вас слишком благородное сердце, чтобы не понять меня, и вы так хорошо понимаете, милый Максимилиан, что вы молчите. Мне бороться! Боже меня упаси! Нет, нет. Мне нужны все мои силы, чтобы бороться с собой и упиваться слезами, как вы говорите. Но огорчать отца, омрачить последние минуты бабушки – никогда!

– Вы совершенно правы, – бесстрастно сказал Моррель.

– Как вы это говорите, боже мой! – воскликнула оскорбленная Валентина.

– Говорю, как человек, который восхищается вами, мадемуазель, – возразил Максимилиан.

– Мадемуазель! – воскликнула Валентина. – Мадемуазель! Какой же вы эгоист! Вы видите, что я в отчаянии, и делаете вид, что не понимаете меня.

– Вы ошибаетесь, напротив, я вас прекрасно понимаю. Вы не хотите противоречить господину де Вильфору, не хотите ослушаться маркизы, и завтра вы подпишете брачный договор, который свяжет вас с вашим мужем.

– Но разве я могу поступить иначе?

– Не стоит спрашивать об этом у меня, мадемуазель. Я плохой судья в этом деле, и мой эгоизм может меня ослепить, – отвечал Моррель; его глухой голос и сжатые кулаки говорили о все растущем раздражении.

– А что вы предложили бы мне, Моррель, если бы я могла принять ваше предложение? Отвечайте же. Суть не в том, чтобы сказать: «Вы делаете плохо». Надо дать совет – что же именно делать.

– Вы говорите серьезно, Валентина? Вы хотите, чтобы я дал вам совет?

– Конечно хочу, Максимилиан, и, если он будет хорош, я приму его. Вы же знаете, как вы мне дороги.

– Валентина, – сказал Моррель, отодвигая отставшую доску, – дайте мне руку в доказательство, что вы не сердитесь на мою вспышку. У меня голова кругом идет, и уже целый час меня одолевают самые сумасбродные мысли. И если вы отвергнете мой совет…

– Но что же это за совет?

– Вот, слушайте, Валентина.

Валентина подняла глаза к небу и вздохнула.

– Я человек свободный, – продолжал Максимилиан, – я достаточно богат для нас двоих. Я клянусь, что, пока вы не станете моей женой, мои губы не прикоснутся к вашему челу.

– Мне страшно, – сказала Валентина.

– Бежим со мной, – продолжал Моррель, – я отвезу вас к моей сестре, она достойна быть вашей сестрой. Мы уедем в Алжир, в Англию или в Америку, или, если хотите, скроемся где-нибудь в провинции и будем жить там, пока наши друзья не сломят сопротивление вашей семьи.

Валентина покачала головой.

– Я так и думала, Максимилиан, – сказала она. – Это совет безумца, и я буду еще безумнее вас, если не остановлю вас сейчас одним словом: невозможно.

– И вы примете свою долю, покоритесь судьбе и даже не попытаетесь бороться с ней? – сказал Моррель, снова помрачнев.

– Да, хотя бы это убило меня!

– Ну что же, Валентина, – сказал Максимилиан, – повторяю, вы совершенно правы. В самом деле я безумец, а вы доказали мне, что страсть ослепляет самые уравновешенные умы. Спасибо вам за то, что вы рассуждаете бесстрастно. Что ж, пусть, решено, завтра вы безвозвратно станете невестой Франца д’Эпине. И это не в силу формальности, которая придумана для комедийных развязок на сцене и называется подписанием брачного договора, нет – но по вашей собственной воле.

– Вы опять меня мучите, Максимилиан, – сказала Валентина, – вы поворачиваете нож в моей ране! Что бы вы сделали, скажите, если бы ваша сестра послушалась такого совета, какой вы даете мне?

– Мадемуазель, – возразил с горькой улыбкой Моррель, – я эгоист, вы это сами сказали. В качестве эгоиста, я думаю не о том, что сделали бы на моем месте другие, а о том, что собираюсь сделать сам. Я думаю о том, что знаю вас уже год; с того дня, как я узнал вас, все мои надежды на счастье были построены на вашей любви; настал день, когда вы мне сказали, что любите меня; с этого дня, мечтая о будущем, я верил, что вы будете моей; в этом была для меня вся жизнь. Теперь я уже ни о чем не думаю; я только говорю себе, что счастье отвернулось от меня. Я надеялся достигнуть блаженства и потерял его. Ведь каждый день случается, что игрок проигрывает не только то, что имеет, но даже то, чего не имел.

Моррель сказал все это совершенно спокойно; Валентина испытующе посмотрела на него своими большими глазами, стараясь, чтобы глаза Морреля не проникли в глубину ее уже смятенного сердца.

– Но все же, что вы намерены делать? – спросила Валентина.

– Я буду иметь честь проститься с вами, мадемуазель. Бог слышит мои слова и читает в глубине моего сердца, он свидетель, что я желаю вам такой спокойной, счастливой и полной жизни, чтобы в ней не могло быть места воспоминанию обо мне.

– О боже! – прошептала Валентина.

– Прощайте, Валентина, прощайте! – сказал с глубоким поклоном Моррель.

– Куда вы? – воскликнула она, протягивая руки сквозь решетку и хватая Максимилиана за рукав; она понимала по собственному волнению, что наружное спокойствие ее возлюбленного не может быть истинным. – Куда вы идете?

– Я позабочусь о том, чтобы не вносить новых неприятностей в вашу семью, и подам пример того, как должен вести себя честный и преданный человек, оказавшись в таком положении.

– Скажите мне, что вы хотите сделать?

Моррель грустно улыбнулся.

– Да говорите же, говорите, умоляю! – настаивала молодая девушка.

– Вы передумали, Валентина?

– Я не могу передумать, несчастный, вы же знаете! – воскликнула она.

– Тогда прощайте!

Валентина стала трясти решетку с такой силой, какой от нее нельзя было ожидать; а так как Моррель продолжал удаляться, она протянула к нему руки и, ломая их, воскликнула:

– Что вы хотите сделать? Я хочу знать! Куда вы идете?

– О, будьте спокойны, – сказал Максимилиан, приостанавливаясь, – я не намерен возлагать на другого человека ответственность за свою злую судьбу. Другой стал бы грозить вам, что пойдет к д'Эпине, вызовет его на дуэль, будет с ним драться... Это безумие. При чем тут д'Эпине? Сегодня утром он видел меня впервые, он уже забыл, что видел меня. Он даже не знал о моем существовании, когда между вашими семьями было решено, что вы будете принадлежать друг другу. Поэтому мне нет до него никакого дела, и, клянусь вам, я не с ним намерен рассчитаться.

– Но с кем же? Со мной?

– С вами, Валентина? Боже упаси! Женщина священна; женщина, которую любишь, – священна вдвойне.

– Значит, с самим собой, безумный?

– Я ведь сам во всем виноват, – сказал Моррель.

– Максимилиан, – позвала Валентина, – идите сюда, я требую!

Максимилиан, улыбаясь своей мягкой улыбкой, подошел ближе; не будь он так бледен, можно было бы подумать, что с ним ничего не произошло.

– Слушайте, что я вам скажу, милая, дорогая Валентина, – сказал он своим мелодичным и задушевным голосом, – такие люди, как мы с вами, у которых никогда не было ни одной мысли, заставляющей краснеть перед людьми, перед родными и перед богом, такие люди могут читать друг у друга в сердце, как в открытой книге. Я не персонаж романа, не меланхолический герой, я не изображаю из себя ни Манфреда, ни Антони. Но, без лишних слов, без уверений, без клятв, я отдал свою

жизнь вам. Вы уходите от меня, и вы правы, я вам уже это сказал и теперь повторяю; но, как бы то ни было, вы уходите от меня и жизнь моя кончилась. Раз вы от меня уходите, Валентина, я остаюсь на свете один. Моя сестра счастлива в своем замужестве; ее муж мне только зять – то есть человек, который связан со мной только общественными условностями; стало быть, никому на свете больше не нужна моя, теперь бесполезная жизнь. Вот что я сделаю. До той секунды, пока вы не повенчаетесь, я буду ждать; я не хочу упустить даже тени тех непредвиденных обстоятельств, которыми иногда играет случай. Ведь в самом деле, за это время Франц д'Эпине может умереть, или в минуту, когда вы будете подходить к алтарю, в алтарь может ударить молния. Осужденному на смерть все кажется возможным, даже чудо, когда речь идет о его спасении. Так вот, я буду ждать до последней минуты. А когда мое несчастье совершится, непоправимое, безнадежное, я напишу конфиденциальное письмо зятю... и другое – префекту полиции, поставлю их в известность о своем намерении, и где-нибудь в лесу, на краю рва, на берегу какой-нибудь реки я застрелюсь. Это так же верно, как то, что я сын самого честного человека, когда-либо жившего во Франции.

Конвульсивная дрожь потрясла все тело Валентины; она отпустила решетку, за которую держалась, ее руки безжизненно повисли, и две крупные слезы скатились по ее щекам.

Моррель стоял перед ней, мрачный и решительный.

– Сжальтесь, сжальтесь, – сказала она, – вы не покончите с собой, ведь нет?

– Клянусь честью, покончу, – сказал Максимилиан, – но не все ли вам равно? Вы исполните свой долг, и ваша совесть будет чиста.

Валентина упала на колени, прижав руки к груди, сердце ее разрывалось.

– Максимилиан, – сказала она, – мой друг, мой брат на земле, мой истинный супруг в небесах, умоляю тебя, сделай, как я: живи страдая. Может быть, настанет день, когда мы соединимся.

– Прощайте, Валентина! – повторил Моррель.

– Боже мой, – сказала Валентина с неизъяснимым выражением, подняв руки к небу, – ты видишь, я сделала все, что могла, чтобы остаться покорной дочерью, я просила умоляла, заклинала, – он не послушался ни моих просьб, ни мольбы, ни слез. Ну, так вот, – продолжала она твердым голосом, вытирая слезы, – я не хочу умереть от раскаяния, я предпочитаю умереть от стыда. Вы будете жить, Максимилиан, и я буду принадлежать вам и никому другому. Когда? в какую минуту? сейчас? Говорите, приказывайте, я готова.

Моррель, который уже снова отошел на несколько шагов, вернулся и, бледный от радости, с просветленным взором, протянул сквозь решетку руки к Валентине.

– Валентина, – сказал он, – дорогой мой друг, так не надо говорить со мной, а если так, то лучше дать мне умереть. Если вы любите меня так же, как я люблю вас, зачем я должен увести вас насильно? Или вы только из жалости хотите оставить меня жить? В таком случае я предпочитаю умереть.

– В самом деле, – прошептала Валентина, – кто один на свете любит меня? Он. Кто утешал меня во всех моих страданиях? Он. На ком покоятся все мои надежды, на ком останавливается мой растерянный взгляд, на ком отдыхает мое истерзанное сердце? На нем, на нем одном. Так вот, ты тоже прав, Максимилиан; я уйду за тобой, я оставлю родной дом, все оставлю... Все! Какая же я неблагодарная, – воскликнула Валентина, рыдая, – я совсем забыла о дедушке!

– Нет, – сказал Максимилиан, – ты не покинешь его. Ты говорила, что господин Нуартье как будто относится ко мне с симпатией; так вот, раньше чем бежать, ты скажешь ему все. Его согласие будет тебе защитой перед богом. А как только мы поженимся, он переедет к нам; у него будет двое внуков. Ты мне рассказывала, как он с тобой объясняется и как ты ему отвечаешь; увидишь, я быстро научусь этому трогательному языку знаков. Клянусь тебе, Валентина, вместо отчаяния, которое нас ожидает, я обещаю тебе счастье!

– Ты видишь, Максимилиан, какую власть ты имеешь надо мной! Я готова поверить в то, что ты мне говоришь, но ведь все это безрассудно.

Отец проклянет меня: я знаю его, знаю его непреклонное сердце, никогда он не простит меня. Вот что, Максимилиан: если хитростью, просьбами, благодаря случаю, не знаю как, – словом, если каким-нибудь образом мне удастся отсрочить свадьбу, вы подождете, да?

– Да, клянусь вам, а вы поклянитесь, что этот ужасный брак не состоится никогда и что, даже если вас силой потащат к мэру, к священнику, вы все-таки скажете – нет.

– Клянусь тебе в этом, Максимилиан, самым святым для меня именем на свете – именем моей матери!

– Тогда подождем, – сказал Моррель.

– Да, подождем, – откликнулась Валентина, у которой от этого слова отлегло на сердце, – мало ли что может спасти нас.

– Я полагаюсь на вас, Валентина, – сказал Моррель. – Все, что вы сделаете, будет хорошо; но если к вашим мольбам останутся глухи, если ваш отец, если госпожа де Сен-Меран потребуют, чтобы д'Эпине явился завтра для подписания этого договора...

– Тогда, Моррель... я дала вам слово.

– Вместо того, чтобы подписать...

– Я выйду к вам, и мы бежим; но до тех пор не будем искушать бога, не будем видеться; ведь это чудо, это промысел божий, что нас еще не застали; если бы узнали, как мы с вами встречаемся, у нас не было бы никакой надежды.

– Вы правы, Валентина; но как я узнаю...

– Через нотариуса Дешана.

– Я с ним знаком.

– И от меня. Я напишу вам, верьте мне. Боже мой, Максимилиан, этот брак мне так же ненавистен, как и вам!

– Спасибо, благодарю вас, Валентина, обожаемая моя! Значит, все решено; как только вы укажете мне час, я примчусь сюда, вы переберетесь через ограду, – это будет не трудно; я приму вас на руки; у калитки огорода вас будет ждать карета, я отвезу вас к моей сестре. Там мы скроемся от всех, или ни от кого не будем прятаться, – как вы пожелаете, – и там мы найдем поддержку в сознании своей правоты и

воли к счастью и не дадим себя зарезать, как ягненка, который защищается лишь вздохами.

– Пусть будет так! – сказала Валентина. – И я тоже скажу вам, Максимилиан: все, что вы сделаете, будет хорошо.

– Милая!

– Ну что, довольны вы своей женой? – грустно сказала девушка.

– Валентина, дорогая, мало сказать: да.

– Все-таки скажите.

Валентина приблизила губы к решетке, и слова ее, вместе с ее нежным дыханием, неслись к устам Морреля, который по другую сторону приник губами к холодной, неумолимой перегородке.

– До свидания, – сказала Валентина, с трудом отрываясь от этого счастья, – до свидания!

– Я получу от вас письмо?

– Да.

– Благодарю, моя дорогая жена, до свидания!

Раздался звук невинного, посланного на воздух поцелуя, и Валентина убежала по липовой аллее.

Моррель слушал, как замирал шелест ее платья, задевающего за кусты, как затихал хруст песка под ее шагами; потом с непередаваемой улыбкой поднял глаза к небу, благодаря его за то, что оно послало ему такую любовь, и в свою очередь удалился.

Он вернулся домой и ждал весь вечер и весь следующий день, но ничего не получил. Только на третий день, часов в десять утра, когда он собирался идти к нотариусу Дешану, он наконец получил по почте записку и сразу понял, что это от Валентины, хотя он никогда не видел ее почерка.

В записке было сказано:

> *«Слезы, просьбы, мольбы ни к чему не привели. Вчера я пробыла два часа в церкви Святого Филиппа Рульского и два часа всей душой молилась богу. Но бог так же неумолим, как и люди, и подписание договора назначено на сегодня в девять часов вечера.*

*Я верна своему слову, как верна своему сердцу, Моррель. Это слово дано вам, и это сердце – ваше!*

*Итак, до вечера, без четверти девять, у решетки.*

*Ваша жена Валентина де Вильфор.*

*P.S. Моей бедной бабушке все хуже и хуже: вчера ее возбуждение перешло в бред; а сегодня ее бред граничит с безумием.*

*Правда, вы будете очень любить меня, чтобы я могла забыть о том, что я покинула ее в таком состоянии?*

*Кажется, от дедушки Нуартье скрывают, что договор будет подписан сегодня вечером».*

Моррель не ограничился сведениями, полученными от Валентины; он отправился к нотариусу, и тот подтвердил ему, что подписание договора назначено на девять часов вечера.

Затем он заехал к Монте-Кристо; там он узнал больше всего подробностей: Франц приезжал к графу объявить о торжественном событии; г-жа де Вильфор, со своей стороны, писала ему, прося извинить, что она его не приглашает; но смерть маркиза де Сен-Мерана и болезнь его вдовы окутывают это торжество облаком печали, и она не решается омрачить ею графа, которому желает всякого благополучия.

Накануне Франц был представлен г-же де Сен-Меран, которая ради этого события встала с постели, но вслед за тем снова легла.

Легко понять, что Моррель был очень взволнован, и такой проницательный взор, как взор графа, не мог этого не заметить; поэтому Монте-Кристо был с ним еще ласковее, чем всегда, – настолько ласков, что Максимилиан минутами был уже готов во всем ему признаться. Но он вспомнил об обещании, которое дал Валентине, и тайна оставалась в глубине его сердца.

За этот день Максимилиан двадцать раз перечитал письмо Валентины. В первый раз она писала ему, и по какому поводу! И всякий раз, перечитывая письмо, он снова и снова клялся себе, что сделает Валентину счастливой. В самом деле, какую власть должна иметь над

человеком молодая девушка, решающаяся на такой отважный поступок! Как самоотверженно должен служить ей тот, для кого она всем пожертвовала! Как пламенно должен ее возлюбленный поклоняться ей! Она для него и королева, и жена, и ему, кажется, мало одной души, чтобы любить ее и благодарить.

Моррель с невыразимым волнением думал о той минуте, когда Валентина придет и скажет ему: «Я пришла, Максимилиан, я ваша».

Он все приготовил для побега: в огороде, среди люцерны, были спрятаны две приставные лестницы; кабриолет, которым Максимилиан должен был править сам, стоял наготове; он не взял с собой слугу, не зажигал фонарей, но он собирался их зажечь на первом же повороте, чтобы из-за чрезмерной осторожности не попасть в руки полиции.

Временами Морреля охватывала дрожь; он думал о минуте, когда будет помогать Валентине перебираться через ограду и почувствует в своих объятиях беспомощную и трепещущую, ту, кому он доныне разве только пожимал руку или целовал кончики пальцев.

Но когда миновал полдень, когда Моррель почувствовал, что близок назначенный час, ему захотелось быть одному. Кровь его кипела, любой вопрос, голос друга раздражал бы его; он заперся у себя в комнате, пытаясь читать; но глаза его скользили по строкам, не видя их; он кончил тем, что отшвырнул книгу и вновь принялся обдумывать подробности побега.

Назначенный час приближался.

Еще не бывало случая, чтобы влюбленный предоставил часовым стрелкам мирно идти своим путем; Моррель так неистово теребил свои часы, что в конце концов они в шесть часов вечера показали половину девятого. Тогда он сказал себе, что пора ехать; хотя подписание договора и назначено в девять, но, по всей вероятности, Валентина не станет дожидаться этого бесполезного акта. Итак, выехав, по своим часам, ровно в половине девятого с улицы Меле, Моррель вошел в свой огород в ту минуту, когда часы на церкви Филиппа Рульского били восемь.

Лошадь и кабриолет он спрятал за развалившуюся лачугу, в которой обычно скрывался сам.

Мало-помалу стало смеркаться, и густая листва в саду слилась в огромные черные глыбы.

Тогда Моррель вышел из своего убежища и с бьющимся сердцем взглянул через решетку; в саду еще никого не было. Пробило половину девятого.

В ожидании прошло еще полчаса. Моррель ходил взад и вперед вдоль ограды и все чаще поглядывал в щель между досками. В саду становилось все темнее; но напрасно искал он во тьме белое платье, напрасно ждал, не послышатся ли в тишине шаги.

Видневшийся за деревьями дом продолжал оставаться неосвещенным, и ничто не указывало, что здесь должно совершиться столь важное событие, как подписание брачного договора.

Моррель вынул свои часы; они показывали три четверти десятого, но почти сейчас же церковные часы, бой которых он уже слышал два или три раза, возвестили об ошибке его карманных часов, пробив половину десятого.

Значит, прошло уже полчаса после срока, назначенного самой Валентиной; она говорила: в девять часов, и скорее даже немного раньше, чем позже.

Для Морреля это были самые тяжелые минуты; каждая секунда ударяла по его сердцу словно свинцовым молотом.

Малейшей шелест листьев, малейший шепот ветра заставлял его вздрагивать, и лоб его покрылся холодным потом; тогда, дрожа с головы до ног, он приставлял лестницу и, чтобы не терять времени, ставил ногу на нижнюю перекладину.

Пока он таким образом переходил от страха к надежде и у него то и дело замирало сердце, часы на церкви пробили десять.

– Нет, – прошептал в ужасе Максимилиан, – немыслимо, чтобы подписание договора тянулось так долго, разве что произошло что-нибудь непредвиденное; ведь я взвесил все возможности, высчитал,

сколько времени могут занять все формальности. Наверное, что-нибудь случилось.

И он то возбужденно шагал взад и вперед вдоль решетки, то прижимался пылающим лбом к холодному железу. Может быть, Валентина, подписав договор, упала в обморок? Может быть, ее схватили, когда она собиралась убежать? Это были единственные предположения, которые допускал Моррель, и оба они приводили его в отчаяние.

Наконец он решил, что силы изменили Валентине уже во время побега и что она лежит без чувств где-нибудь в саду.

– Но, если так, – воскликнул он, быстро взбираясь по лестнице, – я могу потерять ее и буду сам виноват!

Демон, подсказавший ему эту мысль, уже не оставлял его и нашептывал ему на ухо с той настойчивостью, которая в несколько минут силою логических рассуждений превращает догадку в твердую уверенность. Он вглядывался во все сгущавшийся мрак, и ему казалось, что в темной аллее что-то лежит на песке. Моррель решился даже позвать, и ему почудилось, что ветер доносит до него неясные стоны.

Наконец пробило половину одиннадцатого; больше немыслимо было ждать, все могло случиться; в висках у Максимилиана стучало, в глазах стоял туман; он перекинул ногу через ограду и соскочил наземь.

Он был у Вильфора, забрался к нему тайком; он предвидел возможные последствия такого поступка, но не для того он зашел так далеко, чтобы теперь отступить.

Некоторое время он шел вдоль стены, затем, стремительно перебежав аллею, бросился в чащу деревьев.

В один миг он ее пересек. Оттуда, где он теперь стоял, был виден дом.

Тогда Моррель окончательно убедился в том, что уже подозревал, стараясь проникнуть взглядом сквозь чащу сада: вместо ярко освещенных окон, как то полагается в торжественные дни, перед ним была серая масса, окутанная к тому же тенью огромного облака, закрывавшего луну.

Только минутами в трех окнах второго этажа, точно растерянный, метался слабый свет. Эти три окна были окнами комнаты г-жи де Сен-Меран.

Ровно горел свет за красными занавесями. Занавеси эти висели в спальне г-жи де Вильфор.

Моррель все это угадал. Столько раз, чтобы ежечасно следить мыслью за Валентиной, расспрашивал он ее о внутреннем устройстве дома, что, и не видав его никогда, хорошо его знал.

Этот мрак и тишина еще больше испугали Морреля, чем отсутствие Валентины.

Вне себя, обезумев от горя, он решил не останавливаться ни перед чем, лишь бы увидеть Валентину и удостовериться в несчастье, о котором он догадывался, хоть и не знал, в чем оно состоит. Он дошел до опушки рощи и уже собирался как можно быстрее пересечь открытый со всех сторон цветник, как вдруг ветер донес до него отдаленные голоса.

Тогда он снова отступил в кустарник и стоял, не шевелясь, молча, скрытый темнотой.

Он уже принял решение: если это Валентина и если она пройдет мимо одна, он окликнет ее; если она не одна, он по крайней мере увидит ее и убедится, что с ней ничего не случилось; если это кто-нибудь другой, можно будет уловить несколько слов из разговора и разгадать эту все еще непонятную тайну.

В это время из-за туч выглянула луна, и Моррель увидел, как на крыльцо вышел Вильфор в сопровождении человека в черном. Они сошли по ступеням и направились к аллее. Едва они сделали несколько шагов, как в человеке, одетом в черное, Моррель узнал доктора д’Авриньи.

Видя, что они направляются в его сторону, Моррель невольно стал пятиться назад, пока не натолкнулся на ствол дикого клена, росшего посередине кустарника; здесь он принужден был остановиться.

Вскоре песок перестал хрустеть под ногами Вильфора и доктора.

– Да, дорогой доктор, – сказал королевский прокурор, – положительно, господь прогневался на нас. Какая ужасная смерть! Какой

неожиданный удар! Не пытайтесь утешить меня, рана слишком свежа и слишком глубока. Умерла, умерла!

Холодный пот выступил на лбу Максимилиана, и зубы у него застучали. Кто умер в этом доме, который сам Вильфор считал проклятым?

– Дорогой господин де Вильфор, – отвечал доктор таким голосом, от которого ужас Морреля еще усилился, – я привел вас сюда не для того, чтобы утешать, совсем напротив.

– Что вы хотите этим сказать? – испуганно спросил королевский прокурор.

– Я хочу сказать, что за постигшим вас несчастьем, быть может, кроется еще большее.

– О боже! – прошептал Вильфор, сжимая руки. – Что еще вы мне скажете?

– Мы здесь совсем одни, мой друг?

– Да, конечно. Но зачем такие предосторожности?

– Затем, что я должен сообщить вам ужасную вещь, – сказал доктор, – давайте сядем.

Вильфор не сел, а скорее упал на скамью. Доктор остался стоять перед ним, положив ему руку на плечо.

Моррель, похолодев от ужаса, прижал одну руку ко лбу, а другую к сердцу, боясь, что могут услышать, как оно бьется.

«Умерла, умерла!» – отдавался в его мозгу голос его сердца.

И ему казалось, что он сам умирает.

– Говорите, доктор, я слушаю, – сказал Вильфор, – наносите удар, я готов ко всему.

– Разумеется, госпожа де Сен-Меран была очень немолода, но она отличалась прекрасным здоровьем.

В первый раз за десять минут Моррель вздохнул свободно.

– Горе убило ее, – сказал Вильфор, – да, горе, доктор. Она прожила с маркизом сорок лет…

– Дело не в горе, дорогой друг, – отвечал доктор. – Бывает, хоть и редко, что горе убивает, но оно убивает не в день, не в час, не в десять

минут.

Вильфор ничего не ответил; он только впервые поднял голову и испуганно взглянул на доктора.

– Вы присутствовали при агонии? – спросил д'Авриньи.

– Конечно, – отвечал королевский прокурор, – ведь вы же мне шепнули, чтобы я не уходил.

– Заметили вы симптомы болезни, от которой скончалась госпожа де Сен-Меран?

– Разумеется; у маркизы было три припадка, один за другим через несколько минут, и каждый раз с меньшим промежутком и все тяжелее. Когда вы пришли, она начала задыхаться; затем с ней сделался припадок, который я счел просто нервным. Но по-настоящему я стал беспокоиться, когда увидел, что она приподнимается на постели с неестественным напряжением конечностей и шеи. Тогда по вашему лицу я понял, что дело гораздо серьезнее, чем я думал. Когда припадок миновал, я хотел поймать ваш взгляд, но вы не смотрели на меня. Вы считали ее пульс, и уже начался второй припадок, а вы так и не повернулись ко мне. Этот второй припадок был еще ужаснее; те же непроизвольные движения повторились, губы посинели и стали дергаться. Во время третьего припадка она скончалась. Уже после первого припадка я подумал, что это столбняк; вы подтвердили это.

– Да, при посторонних, – возразил доктор, – но теперь мы одни.

– Что же вы собираетесь мне сказать?

– Что симптомы столбняка и отравления растительными ядами совершенно тождественны.

Вильфор вскочил на ноги, но, постояв минуту неподвижно и молча, он снова упал на скамью.

– Господи, доктор, – сказал он, – вы понимаете, что вы говорите?

Моррель не знал, сон ли все это или явь.

– Послушайте, – сказал доктор, – я знаю, насколько серьезно мое заявление и кому я его делаю.

– С кем вы сейчас говорите: с должностным лицом или с другом? – спросил Вильфор.

– С другом, сейчас только с другом. Симптомы столбняка настолько схожи с симптомами отравления растительными веществами, что, если бы мне предстояло подписаться под тем, что я вам говорю, я бы поколебался. Так что, повторяю вам, я сейчас обращаюсь не к должностному лицу, а к другу. И вот другу я говорю: я три четверти часа наблюдал за агонией, за конвульсиями, за кончиной госпожи де Сен-Меран; и я не только убежден, что она умерла от отравления, но могу даже назвать, да, могу назвать тот яд, которым она отравлена.

– Доктор, доктор!

– Все налицо: сонливость вперемежку с нервными припадками, чрезмерное мозговое возбуждение, онемение центров. Госпожа де Сен-Меран умерла от сильной дозы бруцина или стрихнина, которую ей дали, может быть, и по ошибке.

Вильфор схватил доктора за руку.

– О, это невозможно! – сказал он. – Это сон, боже мой, это сон! Ужасно слышать, как такой человек, как вы, говорит такие вещи! Заклинаю вас, доктор, скажите, что вы, может быть, и ошибаетесь!

– Конечно, это может быть, но...

– Но?

– Но я не думаю.

– Доктор, пожалейте меня; за последние дни со мной происходят такие неслыханные вещи, что я боюсь сойти с ума.

– Кто-нибудь, кроме меня, видел госпожу де Сен-Меран?

– Никто.

– Посылали в аптеку за каким-нибудь лекарством, не показав мне рецепта?

– Нет.

– У госпожи де Сен-Меран были враги?

– Я таких не знаю.

– Кто-нибудь был заинтересован в ее смерти?

– Да нет же, господи, нет. Моя дочь – ее единственная наследница; Валентина одна... О, если бы я мог подумать такую вещь, я вонзил бы

себе в сердце кинжал за то, что оно хоть миг могло таить подобную мысль.

– Что вы, мой друг! – в свою очередь, воскликнул д'Авриньи. – Боже меня упаси обвинять кого-нибудь. Поймите, я говорю только о несчастной случайности, об ошибке. Но случайность или нет – факт налицо, он подсказывает моей совести, и моя совесть требует, чтобы я вам громко заявил об этом. Наведите справки.

– У кого? Каким образом? О чем?

– Скажем, не ошибся ли Барруа, старый лакей, и не дал ли он маркизе какое-нибудь лекарство, приготовленное для его хозяина?

– Для моего отца?

– Да.

– Но каким образом могла бы госпожа де Сен-Меран отравиться лекарством, приготовленным для господина Нуартье?

– Очень просто; вы же знаете, что при некоторых заболеваниях лекарствами служат яды; к числу таких заболеваний относится паралич. Месяца три назад, испробовав все, чтобы вернуть господину Нуартье способность двигаться и дар речи, я решил испытать последнее средство. И вот уже три месяца я лечу его бруцином. Таким образом, в последнее лекарство, которое я ему прописал, входит шесть центиграммов бруцина; это количество безвредно для парализованных органов господина Нуартье, который к тому же дошел до него последовательными дозами, но этого достаточно, чтобы убить всякого другого человека.

– Да, но комнаты госпожи де Сен-Меран и господина Нуартье совершенно между собой не сообщаются, и Барруа ни разу не входил в комнату моей тещи. Вот что я вам скажу, доктор. Я считаю вас самым знающим врачом, а главное – самым добросовестным человеком на свете, и во всех случаях жизни ваши слова для меня – светоч, который, как солнце, освещает мне путь. Но все-таки, доктор, все-таки, несмотря на всю мою веру в вас, я хочу найти поддержку в аксиоме: «Errare humanum est».[56]

– Послушайте, Вильфор, – сказал доктор, – кому из моих коллег вы доверяете так же, как мне?

– Почему вы спрашиваете? Что вы имеете в виду?

– Позовите его, я ему передам все, что видел, все, что заметил, и мы произведем вскрытие.

– И найдете следы яда?

– Нет, не яда, я этого не говорю; но мы констатируем раздражение нервной системы, распознаем несомненное, явное удушение, и мы вам скажем: дорогой господин Вильфор, если это была небрежность, следите за вашими слугами; если ненависть – следите за вашими врагами.

– Подумайте, что вы говорите, д'Авриньи! – отвечал подавленный Вильфор. – Как только тайна станет известна кому-нибудь, кроме вас, неизбежно следствие, а следствие у меня – разве это мыслимо! Однако, – продолжал королевский прокурор, спохватываясь и с беспокойством глядя на доктора, – если вы желаете, если вы непременно этого требуете, я это сделаю. В самом деле, быть может, я должен дать этому ход; мое положение этого требует. Но, доктор, вы видите, я совсем убит: навлечь на мой дом такой скандал после такого горя! Моя жена и дочь этого не перенесут. Что касается меня, доктор, то, знаете, нельзя достигнуть такого положения, как мое, занимать двадцать пять лет подряд должность королевского прокурора, не нажив изрядного числа врагов. У меня их немало. Огласка этого дела будет для них торжеством и ликованием, а меня покроет позором. Простите мне эти суетные мысли. Будь вы священником, я не посмел бы вам этого сказать; но вы человек, вы знаете людей: доктор, доктор, вы мне ничего не говорили, да?

– Дорогой господин де Вильфор, – отвечал с волнением доктор, – мой первый долг – человеколюбие. Если бы наука не была здесь бессильна, я спас бы госпожу де Сен-Меран, но она умерла; я должен думать о живых. Похороним эту ужасную тайну в самой глубине сердца. Если чей-нибудь взор проникнет в нее, пусть отнесут мое молчание за счет моего невежества, я согласен. Но вы ищите, ищите неустанно, деятельно, ведь дело может не кончиться одним этим случаем... И когда вы найдете

виновного, если только найдете, я скажу вам: вы судья, поступайте так, как вы считаете нужным!

– Благодарю вас, доктор, благодарю! – сказал Вильфор с невыразимой радостью. – У меня никогда не было лучшего друга, чем вы.

И, словно опасаясь, как бы доктор д'Авриньи не передумал, он встал и увлек его по направлению к дому.

Они ушли.

Моррель, точно ему было мало воздуха, раздвинул обеими руками ветви, и луна осветила его лицо, бледное, как у привидения.

– Небеса явно благосклонны ко мне, но как это страшно! – сказал он. – Но Валентина, бедная! Как она вынесет столько горя?

И, говоря это, он смотрел то на окно с красными занавесями, то на три окна с белыми занавесями.

В окне с красными занавесями свет почти совсем померк. Очевидно, г-жа де Вильфор потушила лампу, и в окне виден был лишь свет ночника.

Зато в другом конце дома открылось одно из окон с белыми занавесями. В ночной тьме мерцал тусклый свет стоящей на камине свечи, и какая-то тень появилась на балконе. Моррель вздрогнул: ему послышалось, что кто-то рыдает.

Неудивительно, что этот сильный, мужественный человек, взволнованный и возбужденный двумя самыми мощными человеческими страстями – любовью и страхом, – настолько ослабел, что поддался суеверным галлюцинациям.

Хоть он и находился в таком скрытом месте, что Валентина никак не могла бы его увидеть, ему показалось, что тень у окна зовет его; это подсказывал ему взволнованный ум и подтверждало его пылкое сердце. Этот обман чувств обратился для него в бесспорную реальность, и, повинуясь необузданному юношескому порыву, он выскочил из своего тайника. Не думая о том, что его могут заметить, что Валентина может испугаться, невольно вскрикнуть и тогда поднимется тревога, он в два прыжка миновал цветник, казавшийся в лунном свете белым и широким, как озеро, добежал до кадок с померанцевыми деревьями,

расставленных перед домом, быстро взбежал по ступеням крыльца и толкнул легко поддавшуюся дверь.

Валентина его не видела; ее поднятые к небу глаза следили за серебряным облаком, плывущим в лазури, своими очертаниями оно напоминало тень, возносящуюся на небо, и взволнованной девушке показалось, что это душа ее бабушки.

Между тем Моррель пересек прихожую и нащупал перила лестницы; ковер, покрывавший ступени, заглушал его шаги; впрочем, Моррель был до того возбужден, что не испугался бы самого Вильфора. Если бы перед ним предстал Вильфор, он знал, что делать: он подойдет к нему и во всем признается, умоляя его понять и одобрить ту любовь, которая связывает его с Валентиной; словом, Моррель совершенно обезумел.

К счастью, он никого не встретил.

Вот когда ему особенно пригодились сведения, сообщенные ему Валентиной о внутреннем устройстве дома; он беспрепятственно добрался до верхней площадки лестницы, и, когда остановился, осматриваясь, рыдание, которое он сразу узнал, указало ему, куда идти. Он обернулся: из-за полуоткрытой двери пробивался луч света и слышался плач. Он толкнул дверь и вошел.

В глубине алькова, покрытая простыней, под которой угадывались очертания тела, лежала покойница; она показалась Моррелю особенно страшной из-за тайны, которую ему довелось узнать.

Около кровати, зарывшись головой в подушки широкого кресла, стояла на коленях Валентина, сотрясаясь от рыданий и заломив над головой стиснутые, окаменевшие руки.

Она отошла от окна и молилась вслух голосом, который тронул бы самое бесчувственное сердце; слова слетали с ее губ, торопливые, бессвязные, невнятные, – такая жгучая боль сжимала ей горло.

Лунный свет, пробиваясь сквозь решетчатые ставни, заставил померкнуть пламя свечи и обливал печальной синевой эту горестную картину.

Моррель не выдержал; он не отличался особой набожностью, нелегко поддавался впечатлениям, но видеть Валентину страдающей, плачущей,

ломающей руки – это было больше, чем он мог вынести молча. Он вздохнул, прошептал ее имя, и лицо, залитое слезами, с отпечатками от бархатной обивки кресла, лицо Магдалины Корреджо обратилось к нему.

Валентина не удивилась, увидев его. Для сердца, переполненного бесконечным отчаянием, не существует более волнений.

Моррель протянул возлюбленной руку.

Валентина вместо всякого объяснения, почему она не вышла к нему, показала ему на труп, простертый под погребальным покровом, и снова зарыдала.

Оба они не решались заговорить в этой комнате. Каждый боялся нарушить это безмолвие, словно где-то в углу стояла сама смерть, повелительно приложив палец к губам.

Валентина решилась первая.

– Как вы сюда вошли, мой друг? – сказала она. – Увы! Я бы сказала вам: добро пожаловать! – если бы не смерть отворила вам двери этого дома.

– Валентина, – сказал Моррель дрожащим голосом, сжимая руки, – я ждал с половины девятого; вас все не было, я встревожился, перелез через ограду, проник в сад; и вот разговор об этом несчастье...

– Какой разговор?

Моррель вздрогнул; он вспомнил все, о чем говорили доктор и Вильфор, и ему почудилось, что он видит под простыней эти сведенные руки, окоченелую шею, синие губы.

– Разговор ваших слуг, – сказал он, – объяснил мне все.

– Но ведь прийти сюда – значило погубить нас, мой друг, – сказала Валентина без ужаса и без гнева.

– Простите меня, – сказал тем же тоном Моррель, – я сейчас уйду.

– Нет, – сказала Валентина, – вас могут встретить, останьтесь здесь.

– Но если сюда придут?

Валентина покачала головой.

– Никто не придет, – сказала она, – будьте спокойны, вот наша защита.

И она указала на очертания тела под простыней.

– А что д’Эпине? Скажите, умоляю вас, – продолжал Моррель.

– Он явился, чтобы подписать договор, в ту самую минуту, когда бабушка испускала последний вздох.

– Ужасно! – сказал Моррель с чувством эгоистической радости, так как подумал, что из-за этой смерти свадьба будет отложена на неопределенное время. Но он был тотчас же наказан за свое себялюбие.

– И что вдвойне тяжело, – продолжала Валентина, – моя бедная, милая бабушка приказала, умирая, чтобы эта свадьба состоялась как можно скорее; господи, она думала меня защитить, и она тоже действовала против меня!

– Слышите? – вдруг проговорил Моррель.

Они замолчали.

Слышно было, как открылась дверь, и паркет коридора и ступени лестницы заскрипели под чьими-то шагами.

– Это мой отец вышел из кабинета, – сказала Валентина.

– И провожает доктора, – прибавил Моррель.

– Откуда вы знаете, что это доктор? – спросила с удивлением Валентина.

– Просто догадываюсь, – сказал Моррель.

Валентина взглянула на него.

Между тем слышно было, как закрылась парадная дверь. Затем Вильфор пошел запереть на ключ дверь в сад, после чего вновь поднялся по лестнице.

Дойдя до передней, он на секунду остановился, по-видимому, не зная, идти ли к себе или в комнату госпожи де Сен-Меран. Моррель поспешно спрятался за портьеру. Валентина даже не шевельнулась, словно ее великое горе вознесло ее выше обыденных страхов.

Вильфор прошел к себе.

– Теперь, – сказала Валентина, – вам уже не выйти ни через парадную дверь, ни через ту, которая ведет в сад.

Моррель растерянно посмотрел на нее.

– Теперь есть только одна возможность и верный выход, – продолжала она, – через комнаты дедушки.

Она поднялась.

– Идем, – сказала она.

– Куда? – спросил Максимилиан.

– К дедушке.

– Мне идти к господину Нуартье?

– Да.

– Подумайте, Валентина!

– Я думала об этом уже давно. У меня на всем свете остался только один друг, и мы оба нуждаемся в нем... Идем же.

– Будьте осторожны, Валентина, – сказал Моррель, не решаясь повиноваться, – будьте осторожны; теперь я вижу, какое безумие, что я пришел сюда. А вы уверены, дорогая, что вы сейчас рассуждаете здраво?

– Вполне, – сказала Валентина, – мне совестно только оставить бедную бабушку, я обещала охранять ее.

– Смерть для каждого священна, Валентина, – сказал Моррель.

– Да, – ответила молодая девушка, – к тому же это ненадолго. Пойдем.

Валентина прошла коридор и спустилась по маленькой лестнице, ведущей к Нуартье. Моррель на цыпочках следовал за ней. На площадке около комнаты они встретили старого слугу.

– Барруа, – сказала Валентина, – закройте за нами дверь и никого не впускайте.

И она вошла первая.

Нуартье все еще сидел в кресле, прислушиваясь к малейшему шуму; от Барруа он знал обо всем, что произошло, и жадным взором смотрел на дверь; он увидел Валентину, и глаза его блеснули.

В походке девушки и в ее манере держаться было что-то серьезное и торжественное. Это поразило старика. В его глазах появилось вопросительное выражение.

– Милый дедушка, – заговорила она отрывисто, – выслушай меня внимательно. Ты знаешь, бабушка Сен-Меран час назад скончалась. Теперь, кроме тебя, нет никого на свете, кто бы любил меня.

Выражение бесконечной нежности мелькнуло в глазах старика.

– Ведь правда, тебе одному я могу доверить свое горе и свои надежды?

Паралитик сделал знак, что да.

Валентина взяла Максимилиана за руку.

– В таком случае, – сказала она, – посмотри хорошенько на этого человека.

Старик испытующе и слегка удивленно посмотрел на Морреля.

– Это Максимилиан Моррель, сын почтенного марсельского негоцианта, о котором ты, наверное, слышал.

– Да, – показал старик.

– Это незапятнанное имя, и Максимилиан украсит его славой, потому что в тридцать лет он уже капитан спаги, кавалер Почетного легиона.

Старик показал, что помнит это.

– Так вот, дедушка, – сказала Валентина, опускаясь на колени перед стариком и указывая на Максимилиана, – я люблю его и буду принадлежать только ему! Если меня заставят выйти замуж за другого, я умру или убью себя.

В глазах паралитика был целый мир взволнованных мыслей.

– Тебе нравится Максимилиан Моррель, правда, дедушка? – спросила Валентина.

– Да, – показал неподвижный старик.

– И ты можешь нас защитить, нас, твоих детей, от моего отца?

Нуартье устремил вдумчивый взгляд на Морреля, как бы говоря: «Это смотря по обстоятельствам».

Максимилиан понял.

– Мадемуазель, – сказал он, – в комнате вашей бабушки вас ждет священный долг; разрешите мне побеседовать несколько минут с господином Нуартье?

– Да, да, именно этого я и хочу, – сказали глаза старика.

Потом он с беспокойством взглянул на Валентину.

– Ты хочешь спросить, как он поймет тебя, дедушка?

– Да.

– Не беспокойся; мы так часто говорили о тебе, что он отлично знает, как я с тобой разговариваю. – И, обернувшись к Максимилиану с очаровательной улыбкой, хоть и подернутой глубокой печалью, она добавила: – Он знает все, что я знаю.

С этими словами Валентина поднялась с колен, придвинула Моррелю стул и велела Барруа никого не впускать; затем нежно поцеловала деда и, грустно простившись с Моррелем, она ушла.

Тогда Моррель, чтобы доказать Нуартье, что он пользуется доверием Валентины и знает все их секреты, взял словарь, перо и бумагу и положил все это на стол, подле лампы.

– Прежде всего, – сказал он, – разрешите мне, сударь, рассказать вам, кто я такой, как я люблю мадемуазель Валентину и каковы мои намерения.

– Я слушаю, – показал Нуартье.

Внушительное зрелище представлял этот старик, казалось бы, бесполезное бремя для окружающих, ставший единственным защитником, единственной опорой, единственным судьей двух влюбленных, молодых, красивых, сильных, едва вступающих в жизнь.

Весь его вид, полный необычайного благородства и суровости, глубоко подействовал на Морреля, и он начал говорить с дрожью в голосе.

Он рассказал, как познакомился с Валентиной, как полюбил ее и как Валентина, одинокая и несчастная, согласилась принять его преданность. Он рассказал о своих родных, о своем положении, о своем состоянии; и не раз, когда он вопросительно взглядывал на паралитика, тот взглядом говорил ему:

– Хорошо, продолжайте.

– Вот, сударь, – сказал Моррель, окончив первую часть своего рассказа, – я поведал вам о своей любви и о своих надеждах. Рассказывать ли теперь о наших планах?

– Да, – показал старик.

– Итак, вот на чем мы порешили.

И он рассказал Нуартье: как ждал в огороде кабриолет, как он собирался увезти Валентину, отвезти ее к своей сестре, обвенчаться с

ней и в почтительном ожидании надеяться на прощение господина де Вильфора.

– Нет, – показал Нуартье.

– Нет? – спросил Моррель. – Значит, так поступать не следует?

– Нет.

– Вы не одобряете этот план?

– Нет.

– Тогда есть другой способ, – сказал Моррель.

Взгляд старика спросил: какой?

– Я отправлюсь к Францу д'Эпине, – продолжал Максимилиан, – я рад, что могу вам это сказать в отсутствие мадемуазель де Вильфор, – и буду вести себя так, что ему придется поступить, как порядочному человеку.

Взгляд Нуартье продолжал спрашивать.

– Вам угодно знать, что я сделаю?

– Да.

– Вот что. Как я уже сказал, я отправлюсь к нему и расскажу ему об узах, связывающих меня с мадемуазель Валентиной. Если он человек чуткий, он сам откажется от руки своей невесты, и с этого часа я до самой своей смерти буду ему преданным и верным другом. Если же он не согласится на это из соображений выгоды или из гордости, нелепой после того, как я докажу ему, что это будет насилием над моей нареченной женой, что Валентина любит меня и никогда не полюбит никого другого, тогда я буду с ним драться, предоставив ему все преимущества, и я убью его, или он убьет меня. Если я его убью, он не сможет жениться на Валентине, если он меня убьет, я убежден, что Валентина за него не выйдет.

Нуартье с величайшей радостью смотрел на это благородное и открытое лицо; оно отражало все чувства, о которых говорил Моррель, и подкрепляло их своим прекрасным выражением, как краски усиливают впечатление от твердого и верного рисунка.

Однако, когда Моррель кончил, Нуартье несколько раз закрыл глаза, что у него, как известно, означало отрицание.

– Нет? – сказал Моррель. – Значит, вы не одобряете этот план, как и первый?

– Да, не одобряю, – показал старик.

– Но что же тогда делать, сударь? – спросил Моррель. – Последними словами госпожи де Сен-Меран было приказание не откладывать свадьбу ее внучки; неужели я должен дать этому свершиться?

Нуартье остался недвижим.

– Понимаю, – сказал Моррель, – я должен ждать.

– Да.

– Но всякая отсрочка погубит нас, сударь. Валентина одна не в силах бороться, и ее принудят, как ребенка. Я чудом попал сюда и узнал, что здесь происходит; я чудом оказался у вас, но не могу же я все-таки рассчитывать, что счастливый случай снова поможет мне. Поверьте, возможен только какой-нибудь из двух выходов, которые я предложил, – простите мне такую самоуверенность. Скажите мне, который из них вы предпочитаете? Разрешите ли вы мадемуазель Валентине довериться моей честности?

– Нет.

– Предпочитаете ли вы, чтобы я отправился к господину д'Эпине?

– Нет.

– Но, господи, кто же тогда окажет нам помощь, которой мы просим у неба?

В глазах старика мелькнула улыбка, как бывало всякий раз, когда ему говорили о небе. Старый якобинец все еще был атеистом.

– Счастливый случай? – продолжал Моррель.

– Нет.

– Вы?

– Да.

– Вы?

– Да, – повторил старик.

– Вы хорошо понимаете, о чем я спрашиваю, сударь? Простите мою настойчивость, но от вашего ответа зависит моя жизнь: наше спасение придет от вас?

– Да.

– Вы в этом уверены?

– Да.

– Вы ручаетесь?

– Да.

И во взгляде, утверждавшем это, было столько твердости, что нельзя было сомневаться в воле, если не во власти.

– О, благодарю вас, тысячу раз благодарю! Но, сударь, если только бог чудом не вернет вам речь и движение, каким образом сможете вы, прикованный к этому креслу, немой и неподвижный, воспротивиться этому браку?

Улыбка осветила лицо старика, странная улыбка глаз на этом неподвижном лице.

– Так, значит, я должен ждать? – спросил Моррель.

– Да.

– А договор?

Глаза снова улыбнулись.

– Неужели вы хотите сказать, что он не будет подписан?

– Да, – показал Нуартье.

– Так, значит, договор даже не будет подписан! – воскликнул Моррель. – О, простите меня! Ведь можно сомневаться, когда тебе объявляют об огромном счастье: договор не будет подписан?

– Нет, – ответил паралитик.

Несмотря на это, Моррель все еще не верил. Это обещание беспомощного старика было так странно, что его можно было приписать не силе воли, а телесной немощи: разве не естественно, что безумный, не ведающий своего безумия, уверяет, будто может выполнить то, что превосходит его силы? Слабый толкует о неимоверных тяжестях, которые он поднимает, робкий – о великанах, которых он побеждает, бедняк – о сокровищах, которыми он владеет, самый ничтожный поселянин в своей гордыне мнит себя Юпитером.

Понял ли Нуартье колебания Морреля, или не совсем поверил высказанной им покорности, но только он пристально посмотрел на

него.

– Что вы хотите, сударь? – спросил Моррель. – Чтобы я еще раз пообещал вам ничего не предпринимать?

Взор Нуартье оставался твердым и неподвижным, как бы говоря, что этого ему недостаточно; потом этот взгляд скользнул с лица на руку.

– Вы хотите, чтобы я поклялся? – спросил Максимилиан.

– Да, – так же торжественно показал паралитик, – я этого хочу.

Моррель понял, что старик придает большое значение этой клятве.

Он протянул руку.

– Клянусь честью, – сказал он, – что прежде, чем предпринять что-либо против господина д'Эпине, я подожду вашего решения.

– Хорошо, – показал глазами старик.

– А теперь, сударь, – спросил Моррель, – вы желаете, чтобы я удалился?

– Да.

– Не повидавшись с мадемуазель Валентиной?

– Да.

Моррель поклонился в знак послушания.

– А теперь, – сказал он, – разрешите вашему сыну поцеловать вас, как вас поцеловала дочь?

Нельзя было ошибиться в выражении глаз Нуартье.

Моррель прикоснулся губами ко лбу старика в том самом месте, которого незадолго перед тем коснулись губы Валентины.

Потом он еще раз поклонился старику и вышел.

На площадке он встретил старого слугу, предупрежденного Валентиной, тот ждал Морреля и провел его по извилистому темному коридору к маленькой двери, выходящей в сад.

Очутившись в саду, Моррель добрался до ворот; хватаясь за ветви растущего рядом дерева, он в один миг вскарабкался на ограду и через секунду спустился по своей лестнице в огород с люцерной, где его ждал кабриолет.

Он сел в него и, совсем разбитый после пережитых волнений, но с более спокойным сердцем вернулся около полуночи на улицу Меле,

бросился в постель и уснул мертвым сном.

# XVII. Склеп семьи Вильфор

Через два дня, около десяти часов утра, у дверей г-на де Вильфора теснилась внушительная толпа, а вдоль предместья Сент-Оноре и улицы де-ла-Пепиньер тянулась длинная вереница траурных карет и частных экипажей.

Среди этих экипажей выделялся своей формой один, совершивший, по-видимому, длинный путь. Это было нечто вроде фургона, выкрашенного в черный цвет; он прибыл к месту сбора одним из первых.

Оказалось, что, по странному совпадению, в этом экипаже как раз прибыло тело маркиза де Сен-Мерана и что все, кто явился проводить одного покойника, будут провожать двух.

Провожающих было немало: маркиз де Сен-Меран, один из самых ревностных и преданных сановников Людовика XVIII и Карла X, сохранил много друзей, и они вместе с теми, кого общественные приличия связывали с Вильфором, составили многолюдное сборище.

Немедленно сообщили властям, и было получено разрешение соединить обе процессии в одну. Второй катафалк, отделанный с такой же похоронной пышностью, был доставлен к дому королевского прокурора, и гроб перенесли с почтового фургона на траурную колесницу.

Оба тела должны были быть преданы земле на кладбище Пер-Лашез, где Вильфор уже давно соорудил склеп, предназначенный для погребения всех членов его семьи. В этом склепе уже лежало тело бедной Рене, с которой теперь, после десятилетней разлуки, соединились ее отец и мать.

Париж, всегда любопытный, всегда приходящий в волнение при виде пышных похорон, в благоговейном молчании следил за великолепной процессией, которая провожала к месту последнего упокоения двух представителей старой аристократии, прославленных своей

приверженностью к традициям, верностью своему кругу и непоколебимой преданностью своим принципам.

Сидя вместе в траурной карете, Бошан, Альбер и Шато-Рено обсуждали эту внезапную смерть.

– Я видел госпожу де Сен-Меран еще в прошлом году в Марселе, – говорил Шато-Рено. – Я тогда возвращался из Алжира. Этой женщине суждено было, кажется, прожить сто лет: удивительно деятельная, с таким цветущим здоровьем и ясным умом. Сколько ей было лет?

– Шестьдесят шесть, – отвечал Альбер, – по крайней мере так мне говорил Франц. Но ее убила не старость, а горе, ее глубоко потрясла смерть маркиза: говорят, что после его смерти ее рассудок был не совсем в порядке.

– Но отчего она, в сущности, умерла? – спросил Бошан.

– От кровоизлияния в мозг как будто или от апоплексического удара. Или это одно и то же?

– Приблизительно.

– От удара? – повторил Бошан. – Даже трудно поверить. Я раза два видел госпожу де Сен-Меран, она была маленькая, худощавая, нервная, но отнюдь не полнокровная женщина. Апоплексический удар от горя – редкость для людей такого сложения.

– Во всяком случае, – сказал Альбер, – какова бы ни была болезнь, которая ее убила, или доктор, который ее уморил, но господин де Вильфор, или, вернее, мадемуазель Валентина, или, еще вернее, мой друг Франц теперь – обладатель великолепного наследства: восемьдесят тысяч ливров годового дохода, по-моему.

– Это наследство чуть ли не удвоится после смерти этого старого якобинца Нуартье.

– Вот упорный дедушка! – сказал Бошан. – Tenacem propositi virum. [57] Он, наверное, побился об заклад со смертью, что похоронит всех своих наследников. И, право же, он этого добьется. Видно, что он тот самый член Конвента девяносто третьего года, который сказал в тысяча восемьсот четырнадцатом году Наполеону:

«Вы опускаетесь, потому что ваша империя – молодой стебель, утомленный своим ростом; обопритесь на республику, дайте хорошую конституцию и вернитесь на поля сражений – и я обещаю вам пятьсот тысяч солдат, второе Маренго и второй Аустерлиц. Идеи не умирают, ваше величество, они порою дремлют, но они просыпаются еще более сильными, чем были до сна».

– По-видимому, – сказал Альбер, – для него люди то же, что идеи. Я только хотел бы знать, как Франц д'Эпине уживется со стариком, который не может обойтись без его жены. Но где же Франц?

– Да он в первой карете, с Вильфором; тот уже смотрит на него как на члена семьи.

В каждом из экипажей, следовавших с процессией, шел примерно такой же разговор: удивлялись этим двум смертям, таким внезапным и последовавшим так быстро одна за другой, но никто не подозревал ужасной тайны, которую во время ночной прогулки д'Авриньи поведал Вильфору.

После часа пути достигли кладбища; день был тихий, но пасмурный, что очень подходило к предстоявшему печальному обряду. Среди толпы, направлявшейся к семейному склепу, Шато-Рено узнал Морреля, приехавшего отдельно в своем кабриолете; он шел один, бледный и молчаливый, по тропинке, обсаженной тисом.

– Каким образом вы здесь? – сказал Шато-Рено, беря молодого капитана под руку. – Разве вы знакомы с Вильфором? Как же я вас никогда не встречал у него в доме?

– Я знаком не с господином де Вильфором, – отвечал Моррель, – я был знаком с госпожой де Сен-Меран.

В эту минуту их догнали Альбер и Франц.

– Не очень подходящее место для знакомства, – сказал Альбер, – но все равно, мы люди не суеверные. Господин Моррель, разрешите представить вам господина Франца д'Эпине, моего превосходного спутника в путешествиях, с которым я ездил по Италии. Дорогой Франц, это господин Максимилиан Моррель, в лице которого я за твое отсутствие приобрел прекрасного друга. Его имя ты услышишь от меня

всякий раз, когда мне придется говорить о благородном сердце, уме и обходительности.

Секунду Моррель колебался. Он спрашивал себя, не будет ли преступным лицемерием почти дружески приветствовать человека, против которого он тайно борется. Но он вспомнил о своей клятве и о торжественности минуты; он постарался ничего не выразить на своем лице и, сдержав себя, поклонился Францу.

– Мадемуазель де Вильфор очень горюет? – спросил Франца Дебрэ.

– Бесконечно, – отвечал Франц, – сегодня утром у нее было такое лицо, что я едва узнал ее.

Эти, казалось бы, такие простые слова ударили по сердцу Морреля. Так этот человек видел Валентину, говорил с ней?

В эту минуту молодому пылкому офицеру понадобилась вся его сила воли, чтобы сдержаться и не нарушить клятву.

Он взял Шато-Рено под руку и быстро увлек его к склепу, перед которым служащие похоронного бюро уже поставили оба гроба.

– Чудесное жилище, – сказал Бошан, взглянув на мавзолей, – это и летний дворец, и зимний. Придет и ваша очередь поселиться в нем, дорогой Франц д'Эпине, потому что скоро и вы станете членом семьи. Я же, в качестве философа, предпочел бы скромную дачку, маленький коттедж – вон там, под деревьями, и поменьше каменных глыб над моим бедным телом. Когда я буду умирать, я скажу окружающим то, что Вольтер писал Пирону. Eo rus,[58] и все будет кончено... Эх, черт возьми, мужайтесь, Франц, ведь ваша жена наследует все.

– Право, Бошан, – сказал Франц, – вы несносны. Вы – политический деятель, и политика приучила вас над всем смеяться и ничему не верить. Но все же, когда вы имеете честь быть в обществе обыкновенных смертных и имеете счастье на минуту отрешиться от политики, постарайтесь снова обрести душу, которую вы всегда оставляете в вестибюле Палаты депутатов или Палаты пэров.

– Ах, господи, – сказал Бошан, – что такое, в сущности, жизнь? Ожидание в прихожей у смерти.

– Я начинаю ненавидеть Бошана, – сказал Альбер и отошел на несколько шагов вместе с Францем, предоставляя Бошану продолжать свои философские рассуждения с Дебрэ.

Семейный склеп Вильфоров представлял собой белый каменный четырехугольник вышиною около двадцати футов; внутренняя перегородка отделяла место Сен-Меранов от места Вильфоров, а у каждой половины была своя входная дверь.

В отличие от других склепов в нем не было этих отвратительных, расположенных ярусами ящиков, в которые, экономя место, помещают покойников, снабжая их надписями, похожими на этикетки; за бронзовой дверью глазам открывалось нечто вроде строгого и мрачного преддверия, отделенного стеной от самой могилы.

В этой стене и находились те две двери, о которых мы только что говорили и которые вели к месту упокоения Вильфоров и Сен-Меранов.

Тут родные могли на свободе предаваться своей скорби, и легкомысленная публика, избравшая Пер-Лашез местом своих пикников или любовных свиданий, не могла потревожить песнями, криками и беготней молчаливое созерцание или полную слез молитву посетителей склепа.

Оба гроба были внесены в правый склеп, принадлежащий семье Сен-Меран; они были поставлены на заранее возведенный помост, который уже готов был принять свой скорбный груз; Вильфор, Франц и ближайшие родственники одни вошли в святилище.

Так как все религиозные обряды были уже совершены снаружи и не было никаких речей, то присутствующие сразу же разошлись: Шато-Рено, Альбер и Моррель отправились в одну сторону, а Дебрэ и Бошан в другую.

Франц остался с Вильфором. У ворот кладбища Моррель под каким-то предлогом остановился; он видел, как они вдвоем отъехали в траурной карете, и счел это плохим предзнаменованием. Он вернулся в город и, хотя сидел в одной карете с Шато-Рено и Альбером, не слышал ни слова из того, что они говорили.

И действительно, в ту минуту, когда Франц хотел попрощаться с Вильфором, тот сказал:

– Когда я опять вас увижу, барон?

– Когда вам будет угодно, сударь, – ответил Франц.

– Как можно скорее.

– Я к вашим услугам; хотите, поедем вместе?

– Если это вас не стеснит.

– Нисколько.

Вот почему будущий тесть и будущий зять сели в одну карету, и Моррель, мимо которого они проехали, не без основания встревожился.

Вильфор и Франц вернулись в предместье Сент-Оноре.

Королевский прокурор, не заходя ни к кому, не поговорив ни с женой, ни с дочерью, провел гостя в свой кабинет и предложил ему сесть.

– Господин д'Эпине, – сказал он, – я должен вам нечто напомнить, и это, быть может, не так уж неуместно, как могло бы показаться с первого взгляда, ибо исполнение воли умерших есть первое приношение, которое надлежит возложить на их могилу. Итак, я должен вам напомнить желание, которое высказала третьего дня госпожа де Сен-Меран на смертном одре, а именно, чтобы свадьба Валентины ни в коем случае не откладывалась. Вам известно, что дела покойницы находятся в полном порядке; по ее завещанию к Валентине переходит все состояние Сен-Меранов; вчера нотариус предъявил мне документы, которые позволяют составить в окончательной форме брачный договор. Вы можете поехать к нотариусу и от моего имени попросить его показать вам эти документы. Наш нотариус – Дешан, площадь Бове, предместье Сент-Оноре.

– Сударь, – ответил д'Эпине, – мадемуазель Валентина теперь в таком горе, быть может, она не пожелает думать сейчас о замужестве? Право, я опасаюсь...

– Самым горячим желанием Валентины будет исполнить последнюю волю бабушки, – прервал Вильфор, – так что с ее стороны препятствий не будет, смею вас уверить.

– В таком случае, – отвечал Франц, поскольку их не будет и с моей стороны, поступайте, как вы найдете нужным; я дал слово и сдержу его не только с удовольствием, но и с глубокой радостью.

– Тогда не к чему и откладывать, – сказал Вильфор. – Договор должен был быть подписан третьего дня, он совершенно готов; его можно подписать сегодня же.

– Но как же траур? – нерешительно заметил Франц.

– Будьте спокойны, – возразил Вильфор, – у меня в доме не будут нарушены приличия. Мадемуазель де Вильфор удалится на установленные три месяца в свое поместье Сен-Меран; я говорю в свое поместье, потому что оно принадлежит ей. Там через неделю, если вы согласны на это, будет без всякой пышности, тихо и скромно, заключен гражданский брак. Госпожа де Сен-Меран хотела, чтобы свадьба ее внучки состоялась именно в этом имении. После свадьбы вы можете вернуться в Париж, а ваша жена проведет время траура со своей мачехой.

– Как вам угодно, сударь, – сказал Франц.

– В таком случае, – продолжал Вильфор, – я попрошу вас подождать полчаса; к тому времени Валентина спустится в гостиную. Я пошлю за Дешаном, мы тут же огласим и подпишем брачный договор, и сегодня же вечером госпожа де Вильфор отвезет Валентину в ее имение, а мы приедем к ним через неделю.

– Сударь, – сказал Франц, – у меня к вам только одна просьба.

– Какая?

– Я хотел бы, чтобы при подписании договора присутствовали Альбер де Морсер и Рауль де Шато-Рено; вы ведь знаете, это мои свидетели.

– Их можно известить в полчаса. Вы хотите сами съездить за ними или мы пошлем кого-нибудь?

– Я предпочитаю съездить сам.

– Так я вас буду ждать через полчаса, барон, и к этому времени Валентина будет готова.

Франц поклонился Вильфору и вышел.

Не успела входная дверь закрыться за ним, как Вильфор послал предупредить Валентину, что она должна через полчаса сойти в гостиную, потому что явятся нотариус и свидетели барона д'Эпине.

Это неожиданное известие взбудоражило весь дом. Г-жа де Вильфор не хотела этому верить, а Валентину оно сразило, как удар грома.

Она окинула взглядом комнату, как бы ища защиты. Она хотела спуститься к деду, но на лестнице встретила Вильфора; он взял ее за руку и отвел в гостиную.

В прихожей Валентина встретила Барруа и бросила на старого слугу полный отчаяния взгляд.

Через минуту после Валентины в гостиную вошла г-жа де Вильфор с маленьким Эдуардом. Было видно, что на молодой женщине сильно отразилось семейное горе; она была очень бледна и казалась бесконечно усталой.

Она села, взяла Эдуарда к себе на колени и время от времени почти конвульсивным движением прижимала к груди этого ребенка, в котором, казалось, сосредоточилась вся ее жизнь.

Вскоре послышался шум двух экипажей, въезжавших во двор. В одном из них приехал нотариус, в другом – Франц и его друзья.

Через минуту все были в сборе.

Валентина была так бледна, что стали заметны голубые жилки на ее висках и у глаз.

Франц был сильно взволнован.

Шато-Рено и Альбер с недоумением переглянулись; только что окончившаяся церемония, казалось им, была не более печальна, чем предстоящая.

Госпожа де Вильфор села в тени, у бархатной драпировки, и, так как она беспрестанно наклонялась к сыну, трудно было понять по ее лицу, что происходило у нее на душе.

Вильфор был бесстрастен, как всегда.

Нотариус со свойственной служителям закона методичностью разложил на столе документы, уселся в кресло и, поправив очки, обратился к Францу:

– Вы и есть господин Франц де Кенель, барон д’Эпине? – спросил он, хотя очень хорошо знал его.

– Да, сударь, – ответил Франц.

Нотариус поклонился.

– Я должен вас предупредить, сударь, – сказал он, – и делаю это от имени господина де Вильфора, что, узнав о предстоящем браке вашем с мадемуазель де Вильфор, господин Нуартье изменил намерение относительно своей внучки и полностью лишил ее наследства, которое должно было к ней перейти. Спешу добавить, – продолжал нотариус, – что завещатель имел право распорядиться только частью своего состояния, а распорядившись всем, открыл возможность оспаривать завещание, и оно будет признано недействительным.

– Да, – сказал Вильфор, – но я заранее предупреждаю господина д’Эпине, что, пока я жив, завещание моего отца не будет оспорено, потому что мое положение не позволяет мне идти на какой бы то ни было скандал.

– Сударь, – сказал Франц, – я очень огорчен, что такой вопрос поднимается в присутствии мадемуазель Валентины. Я никогда не интересовался размерами ее состояния, которое, как бы оно ни уменьшалось, все же гораздо больше моего. Моя семья, желая породниться с господином де Вильфором, считалась единственно с соображениями чести; я же искал только счастья.

Валентина едва заметно кивнула в знак благодарности, между тем как две молчаливые слезы скатились по ее щекам.

– Впрочем, сударь, – сказал Вильфор, обращаясь к своему будущему зятю, – если не считать утраты некоторой доли ваших надежд, в этом неожиданном завещании нет ничего лично для вас оскорбительного; оно объясняется слабостью рассудка господина Нуартье. Мой отец недоволен не тем, что мадемуазель де Вильфор выходит замуж за вас, а тем, что она вообще выходит замуж; он был бы так же огорчен браком Валентины с кем бы то ни было. Старость эгоистична, сударь, а мадемуазель де Вильфор отдавала господину Нуартье все свое время, чего баронесса д’Эпине уже не сможет делать. Прискорбное состояние, в

котором находится мой отец, не позволяет говорить с ним о серьезных делах, которых он по слабоумию не может понять. Я глубоко убежден, что в настоящую минуту он хоть и помнит, что его внучка выходит замуж, но успел забыть даже, как зовут того, кто должен стать ему внуком.

Едва Вильфор договорил и Франц ответил на его слова поклоном, как дверь гостиной открылась и появился Барруа.

– Господа, – сказал он голосом необычно твердым для слуги, который обращается к своим хозяевам в столь торжественную минуту, – господин Нуартье де Вильфор желает немедленно говорить с господином Францем де Кенелем бароном д'Эпине.

Он так же, как и нотариус, во избежание недоразумений, называл жениха полным титулом.

Вильфор вздрогнул, г-жа де Вильфор спустила сына с колен, Валентина встала с места, бледная и безмолвная, как статуя.

Альбер и Шато-Рено обменялись еще более недоумевающим взглядом, чем в первый раз.

Нотариус взглянул на Вильфора.

– Это невозможно, – сказал королевский прокурор, – к тому же господин д'Эпине сейчас не может уйти из гостиной.

– Господин Нуартье, мой хозяин, желает именно сейчас говорить с господином Францем д'Эпине по очень важному делу, – с той же твердостью возразил Барруа.

– Значит, дедушка Нуартье заговорил? – спросил Эдуард со своей обычной дерзостью.

Но эта выходка не вызвала улыбки даже у г-жи де Вильфор, настолько все были озабочены, настолько торжественна была минута.

– Передайте господину Нуартье, что его желание не может быть исполнено, – заявил Вильфор.

– В таком случае господин Нуартье предупреждает, – возразил Барруа, – что он прикажет перенести себя в гостиную.

Изумлению не было границ.

На лице г-жи де Вильфор мелькнуло нечто вроде улыбки.

Валентина невольно подняла глаза к потолку, как бы благодаря небо.

– Валентина, – сказал Вильфор, – пойдите, пожалуйста, узнайте, что это за новая прихоть вашего дедушки.

Валентина быстро направилась к двери, но Вильфор передумал.

– Подождите, – сказал он, – я пойду с вами.

– Простите, сударь, – вмешался Франц, – мне кажется, что раз господин Нуартье посылает за мной, то мне и следует исполнить его желание; кроме того, я буду счастлив засвидетельствовать ему свое почтение, потому что не имел еще случая удостоиться этой чести.

– Ах боже мой! – сказал Вильфор, видимо встревоженный. – Вам, право, незачем беспокоиться.

– Извините меня, сударь, – сказал Франц тоном человека, решение которого неизменно. – Я не хочу упускать этого случая доказать господину Нуартье, насколько он не прав в своем предубеждении против меня, которое я твердо решил побороть, каково бы оно ни было, моей глубокой преданностью.

И, не давая Вильфору себя удержать, Франц, в свою очередь, встал и последовал за Валентиной, которая уже спускалась по лестнице с радостью утопающего, в последнюю минуту ухватившегося рукой за утес.

Вильфор пошел следом за ними.

Шато-Рено и Морсер обменялись третьим взглядом, еще более недоуменным, чем первые два.

# XVIII. Протокол

Нуартье ждал, одетый во все черное, сидя в своем кресле.

Когда все трое, кого он рассчитывал увидеть, вошли, он взглянул на дверь, и камердинер тотчас же запер ее.

– Имейте в виду, – тихо сказал Вильфор Валентине, которая не могла скрыть своей радости, – если господин Нуартье собирается сообщить вам что-нибудь такое, что может воспрепятствовать вашему замужеству, я запрещаю вам понимать его.

Валентина покраснела, но ничего не ответила.

Вильфор подошел к Нуартье.

– Вот господин Франц д'Эпине, – сказал он ему, – вы послали за ним, и он явился по вашему зову. Разумеется, мы уже давно желали этой встречи, и я буду очень счастлив, если она вам докажет, насколько было необоснованно ваше противодействие замужеству Валентины.

Нуартье ответил только взглядом, от которого по телу Вильфора пробежала дрожь.

Потом он глазами подозвал Валентину.

В один миг, благодаря тем способам, которыми она всегда пользовалась при разговоре с дедом, она нашла слово «ключ».

Затем она проследила за взглядом паралитика; взгляд остановился на ящике шкафчика, который стоял между окнами.

Она открыла этот ящик, и действительно там оказался ключ.

Она достала его оттуда, и глаза старика подтвердили, что он требовал именно этого; затем взгляд паралитика указал на старинный письменный стол, уже давно заброшенный, где, казалось, могли храниться разве только старые ненужные бумаги.

– Я должна открыть бюро? – спросила Валентина.

– Да, – показал старик.

– Открыть ящики?

– Да.

– Боковые?

– Нет.

– Средний?

– Да.

Валентина открыла его и вынула оттуда связку бумаг.

– Вам это нужно, дедушка? – спросила она.

– Нет.

Валентина стала вынимать все бумаги подряд; наконец в ящике ничего не осталось.

– Но ящик уже совсем пустой, – сказала она.

Глазами Нуартье показал на словарь.

– Да, дедушка, понимаю, – сказала Валентина.

И она снова начала называть одну за другой буквы алфавита; на «с» Нуартье остановил ее.

Она стала перелистывать словарь, пока не дошла до слова «секрет».

– Так ящик с секретом? – спросила она.

– Да.

– А кто знает этот секрет?

Нуартье перевел взгляд на дверь, в которую вышел слуга.

– Барруа? – сказала она.

– Да, – показал Нуартье.

– Надо его позвать?

– Да.

Валентина подошла к двери и позвала Барруа.

Между тем на лбу у Вильфора от нетерпения выступил пот, а Франц стоял, остолбенев от изумления.

Старый слуга вошел в комнату.

– Барруа, – сказала Валентина, – дедушка велел мне взять из этого шкафчика ключ, открыть стол и выдвинуть вот этот ящик; оказывается, ящик с секретом; вы его, очевидно, знаете; откройте его.

Барруа взглянул на старика.

– Сделайте это, – сказал выразительный взгляд Нуартье.

Барруа повиновался; двойное дно открылось, и показалась пачка бумаг, перевязанная черной лентой.

– Вы это и требуете, сударь? – спросил Барруа.

– Да, – показал Нуартье.

– Кому я должен передать эти бумаги? Господину де Вильфору?

– Нет.

– Мадемуазель Валентине?

– Нет.

– Господину Францу д'Эпине?

– Да.

Удивленный, Франц подошел ближе.

– Мне, сударь? – сказал он.

– Да.

Франц взял у Барруа бумаги и, взглянув на обертку, прочел:

«После моей смерти передать моему другу, генералу Дюрану, который, со своей стороны, умирая, должен завещать этот пакет своему сыну, с наказом хранить его, как содержащий чрезвычайно важные бумаги».

– Что же я должен делать с этими бумагами, сударь? – спросил Франц.

– Очевидно, чтобы вы их хранили в таком же запечатанном виде, – сказал королевский прокурор.

– Нет, нет, – быстро сказали глаза Нуартье.

– Может быть, вы хотите, чтобы господин д'Эпине прочитал их? – сказала Валентина.

– Да, – сказали глаза старика.

– Видите, барон, дедушка просит вас прочитать эти бумаги, – сказала Валентина.

– В таком случае сядем, – с досадой сказал Вильфор, – это займет некоторое время.

– Садитесь, – показал глазами старик.

Вильфор сел, но Валентина только оперлась на кресло деда, и Франц остался стоять перед ними.

Он держал таинственный пакет в руке.

– Читайте, – сказали глаза старика.

Франц развязал обертку, и в комнате наступила полная тишина. При общем молчании он прочел:

– «Выдержка из протокола заседания клуба бонапартистов на улице Сен-Жак, состоявшегося пятого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года».

Франц остановился.

– Пятого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года! В этот день был убит мой отец!

Валентина и Вильфор молчали; только глаза старика ясно сказали: читайте дальше.

– Ведь мой отец исчез как раз после того, как вышел из этого клуба, – продолжал Франц.

Взгляд Нуартье по-прежнему говорил: читайте.

Франц продолжал:

– «Мы, нижеподписавшиеся, Луи-Жак Борепэр, подполковник артиллерии, Этьен Дюшампи, бригадный генерал, и Клод Лешарпаль, директор управления земельными угодьями, заявляем, что четвертого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года с острова Эльба было получено письмо, поручавшее вниманию и доверию членов бонапартистского клуба генерала Флавиена де Кенеля, состоявшего на императорской службе с тысяча восемьсот четвертого года по тысяча восемьсот пятнадцатый год и потому, несомненно, преданного наполеоновской династии, несмотря на пожалованный ему Людовиком Восемнадцатым титул барона д'Эпине, по названию его поместья.

Вследствие сего генералу де Кенелю была послана записка с приглашением на заседание, которое должно было состояться на следующий день, пятого февраля. В записке не было указано ни улицы, ни номера дома, где должно было происходить собрание; она была без подписи, но в ней сообщалось, что если генерал будет готов, то за ним явятся в девять часов вечера.

Заседания обычно продолжались от девяти часов вечера до полуночи.

В девять часов президент клуба явился к генералу; генерал был готов; президент заявил ему, что он может быть введен в клуб лишь с тем условием, что ему навсегда останется неизвестным место собраний и что

он позволит завязать себе глаза и даст клятву не пытаться приподнять повязку.

Генерал де Кенель принял это условие и поклялся честью, что не будет пытаться увидеть, куда его ведут.

Генерал уже заранее распорядился подать свой экипаж; но президент объяснил, что воспользоваться им не представляется возможным, потому что нет смысла завязывать глаза хозяину, раз у кучера они останутся открытыми и он будет знать улицы, по которым едет.

«Как же тогда быть?» – спросил генерал.

«Я приехал в карете», – сказал президент.

«Разве вы так уверены в своем кучере, что доверяете ему секрет, который считаете неосторожным сказать моему?»

«Наш кучер – член клуба, – сказал президент, – нас повезет статс-секретарь».

«В таком случае, – сказал, смеясь, генерал, – нам грозит другое, – что он нас опрокинет».

Мы отмечаем эту шутку как доказательство того, что генерал никоим образом не был насильно приведен на заседание и присутствовал там по доброй воле.

Как только они сели в карету, президент напомнил генералу его обещание позволить завязать ему глаза. Генерал никак не возражал против этой формальности; для этой цели послужил фуляр, заранее приготовленный в карете.

Во время пути президенту показалось, что генерал пытается взглянуть из-под повязки; он напомнил ему о клятве.

«Да, да, вы правы», – сказал генерал.

Карета остановилась у одной из аллей улицы Сен-Жак. Генерал вышел из кареты, опираясь на руку президента, звание которого оставалось ему неизвестно и которого он принимал за простого члена клуба; они пересекли аллею, поднялись во второй этаж и вошли в комнату совещаний.

Заседание уже началось. Члены клубы, предупрежденные о том, что в этот вечер состоится нечто вроде представления нового члена, были в

полном сборе. Когда генерала довели до середины залы, ему предложили снять повязку. Он немедленно воспользовался предложением и был, по-видимому, очень удивлен, увидев так много знакомых лиц на заседании общества, о существовании которого он даже и не подозревал.

Его спросили о его взглядах, но он ограничился ответом, что они должны быть уже известны из писем с Эльбы...»

Франц прервал чтение.

– Мой отец был роялистом, – сказал он, – его незачем было спрашивать о его взглядах, они всем были известны.

– Отсюда и возникла моя связь с вашим отцом, дорогой барон, – сказал Вильфор, – легко сходишься с человеком, если разделяешь его взгляды.

– Читайте дальше, – сказали глаза старика.

Франц продолжал:

– «Тогда взял слово президент и пригласил генерала высказаться обстоятельнее, но господин де Кенель ответил, что сначала желает знать, чего от него ждут.

Тогда генералу огласили то самое письмо с острова Эльба, которое рекомендовало его клубу как человека, на чье содействие можно рассчитывать. Целый параграф этого письма был посвящен возможному возвращению с острова Эльба и обещал новое более подробное письмо по прибытии «Фараона» – судна, принадлежащего марсельскому арматору Моррелю, с капитаном, всецело преданным императору.

Во время чтения этого письма генерал, на которого рассчитывали как на собрата, выказывал, наоборот, все признаки недовольства и явного отвращения.

Когда чтение было окончено, он продолжал безмолвствовать, нахмурив брови.

«Ну что же, генерал, – спросил президент, – что вы скажете об этом письме?»

«Я скажу, – ответил он, – что слишком еще недавно приносил присягу королю Людовику Восемнадцатому, чтобы уже нарушать ее в пользу экс-

императора».

На этот раз ответ был настолько ясен, что убеждения генерала уже не оставляли сомнений.

«Генерал, – сказал президент, – для нас не существует короля Людовика Восемнадцатого, как не существует экс-императора. Есть только его величество император и король, насилием и изменой удаленный десять месяцев тому назад из Франции, своей державы».

«Извините, господа, – сказал генерал, – возможно, что для вас и не существует короля Людовика Восемнадцатого, но для меня он существует: он возвел меня в баронское достоинство и назначил фельдмаршалом, и я никогда не забуду, что обоими этими званиями я обязан его счастливому возвращению во Францию».

«Сударь, – очень серьезно сказал, вставая, президент, – обдумайте то, что вы говорите; ваши слова ясно показывают нам, что на острове Эльба на ваш счет ошиблись и ввели вас в заблуждение. Сообщение, сделанное вам, вызвано тем доверием, которое к вам питали, то есть чувством, для вас лестным. Оказывается, что мы ошибались; титул и высокий чин заставили вас примкнуть к новому правительству, которое мы намерены свергнуть. Мы не будем принуждать вас оказать нам содействие; мы никого не зовем в свои ряды против его совести и воли, но мы принудим вас поступить, как подобает благородному человеку, даже если это и не соответствует вашим намерениям».

«Вы считаете это благородным – знать о вашем заговоре и не раскрыть его! А я считаю это сообщничеством. Как видите, я еще откровеннее вас...»

– Отец, отец, – сказал Франц, прерывая чтение, – теперь я понимаю, почему они тебя убили!

Валентина невольно посмотрела на Франца: молодой человек был поистине прекрасен в своем сыновнем порыве.

Вильфор ходил взад и вперед по комнате.

Нуартье следил глазами за выражением лица каждого и сохранял свой строгий и полный достоинства вид.

Франц снова взялся за рукопись и продолжал:

– «Сударь, – сказал президент, – вас пригласили явиться на заседание, вас не силой сюда притащили; вам предложили завязать глаза, вы на это согласились. Изъявляя согласие на оба эти предложения, вы отлично знали, что мы занимаемся не укреплением трона Людовика Восемнадцатого, иначе нам незачем было бы так заботливо скрываться от полиции. Знаете, это было бы слишком просто – надеть маску, позволяющую проникнуть в чужие тайны, а затем снять эту маску и погубить тех, кто вам доверился. Нет, нет, вы сначала откровенно скажете нам, за кого вы стоите: за случайного короля, который в настоящее время царствует, или за его величество императора».

«Я роялист, – отвечал генерал, – я присягнул Людовику Восемнадцатому, и я останусь верен своей присяге».

Эти слова вызвали общий ропот, и по лицам большинства членов клуба было видно, что они хотели бы заставить господина д'Эпине раскаяться в его необдуманном заявлении. Президент снова встал и водворил тишину.

«Сударь, – сказал он ему, – вы слишком серьезный и слишком рассудительный человек, чтобы не давать себе отчета в последствиях того положения, в котором мы с вами очутились, и самая ваша откровенность подсказывает нам те условия, которые мы должны вам поставить: вы поклянетесь честью никому ничего не сообщать из того, что вы здесь слышали».

Генерал схватился за эфес своей шпаги и воскликнул:

«Если уж говорить о чести, то прежде всего не преступайте ее законов и ничего силой не навязывайте!»

«А вы, сударь, – продолжал президент со спокойствием, едва ли не более грозным, чем гнев генерала, – советую вам, оставьте в покое вашу шпагу».

Генерал обвел присутствующих взглядом, в котором выразилось некоторое беспокойство. Все же он не сдавался; напротив, он собрал все свое мужество.

«Я не дам вам такой клятвы», – сказал он.

«В таком случае, сударь, – спокойно ответил президент, – вам придется умереть».

Господин д'Эпине сильно побледнел; он еще раз окинул взглядом окружающих; некоторые члены клуба перешептывались и искали под своими плащами оружие.

«Генерал, – сказал президент, – не беспокойтесь; вы находитесь среди людей чести, которые испробуют все средства убедить вас, прежде чем прибегнуть к крайности; но, с другой стороны, вы сами это сказали, вы находитесь среди заговорщиков; у вас в руках наша тайна, и вы должны нам ее возвратить».

Многозначительное молчание последовало за этими словами; генерал ничего не ответил.

«Заприте двери», – сказал тогда президент.

Мертвое молчание продолжалось и после этих слов.

Тогда генерал выступил вперед и, делая над собой страшное усилие, сказал:

«У меня есть сын. Находясь среди убийц, я обязан подумать о нем».

«Генерал, – ответил с достоинством председатель собрания, – один человек всегда может безнаказанно оскорбить пятьдесят; это привилегия слабости. Но он напрасно пользуется этим правом. Советую вам, генерал, поклянитесь и не оскорбляйте нас».

Генерал, снова укрощенный превосходством председателя собрания, минуту колебался, наконец, подойдя к столу президента, он спросил:

«Какова формула клятвы?»

«Вот она:

«Клянусь честью никогда не открывать кому бы то ни было то, что я видел и слышал пятого февраля тысяча восемьсот пятнадцатого года, между девятью и десятью часами вечера, и заявляю, что заслуживаю смерти, если нарушу эту клятву».

Генерала, видимо, охватила нервная дрожь, которая в течение нескольких секунд мешала ему что-либо ответить; наконец, превозмогая явное отвращение, он произнес требуемую клятву, но так тихо, что его с трудом можно было расслышать; поэтому некоторые из членов

потребовали, чтобы он повторил ее более громко и отчетливо, что и было исполнено.

«Теперь я хотел бы удалиться, – сказал генерал, – свободен ли я наконец?»

Президент встал, выбрал трех членов собрания, которые должны были ему сопутствовать, и сел с генералом в карету, предварительно завязав ему глаза. В числе этих трех членов находился и тот, который исполнял роль кучера.

Остальные члены клуба молча разошлись.

«Куда вам угодно, чтобы мы отвезли вас?» – спросил президент.

«Куда хотите, лишь бы я был избавлен от вашего присутствия», – ответил господин д'Эпине.

«Сударь, – сказал на это президент, – берегитесь, вы больше не в собрании, вы теперь имеете дело с отдельными людьми; не оскорбляйте их, если не желаете, чтобы вас заставили отвечать за оскорбление».

Но вместо того чтобы понять эти слова, господин д'Эпине ответил:

«В своей карете вы так же храбры, как и у себя в клубе, по той причине, сударь, что четверо всегда сильнее одного».

Президент приказал остановить карету.

Они находились как раз в том месте набережной Орм, где есть лестница, ведущая вниз к реке.

«Почему вы здесь остановились?» – спросил господин д'Эпине.

«Потому, сударь, – сказал президент, – что вы оскорбили человека и этот человек не желает сделать ни шагу дальше, не потребовав у вас законного удовлетворения».

«Еще один способ убийства», – сказал, пожимая плечами, генерал.

«Потише, сударь, – отвечал президент, – если вы не желаете, чтобы я счел вас самого одним из тех людей, о которых вы только что говорили, то есть трусом, делающим себе щит из собственной слабости. Вы один, и один будет биться с вами; вы при шпаге, у меня в трости тоже есть шпага; у вас нет секунданта – один из этих господ будет вашим секундантом. Теперь, если вам угодно, вы можете снять повязку».

Генерал немедленно сорвал платок с глаз.

«Наконец-то я узнаю, с кем имею дело», – сказал он.

Дверца кареты открылась; все четверо вышли...»

Франц снова прервал чтение. Он вытер холодный пот, выступивший у него на лбу; страшно было видеть, как бледный и дрожащий сын читает вслух неизвестные доныне подробности смерти своего отца.

Валентина сложила руки, словно молясь.

Нуартье смотрел на Вильфора с непередаваемым выражением гордости и презрения.

Франц продолжал:

– «Это было, как уже сказано, пятого февраля. В последние дни стоял мороз градусов в пять-шесть, лестница вся обледенела; генерал был высок и тучен, и президент, спускаясь к реке, предоставил ему ту сторону лестницы, где были перила.

Оба секунданта следовали за ним.

Было совсем темно, пространство между лестницей и рекой было мокрое от снега и инея, и перед ними текла река, черная, глубокая, кое-где покрытая плывущими льдинами.

Один из секундантов сходил за фонарем на угольную барку, и при свете этого фонаря осмотрели оружие.

Шпага президента, обыкновенный клинок, какие носят в тросточке, была на пять дюймов короче шпаги его противника и без чашки.

Генерал д'Эпине предложил раздать шпаги по жребию; но президент ответил, что это он вызвал его и, делая вызов, имел в виду, что каждый будет действовать своим оружием.

Секунданты не хотели с этим соглашаться; президент заставил их замолчать.

Фонарь поставили на землю; противники стали по обе его стороны; поединок начался.

В свете фонаря шпаги казались двумя молниями. Люди же были едва видны, настолько было темно.

Генерал считался одним из лучших фехтовальщиков во всей армии. Но он сразу же встретил такой натиск, что отступил; отступая, он упал.

Секунданты думали, что он убит; но его противник, зная, что не ранил его, подал ему руку, чтобы помочь подняться. Это обстоятельство, вместо того чтобы успокоить генерала, еще больше раздражило его, и он, в свою очередь, бросился на противника.

Но его противник не отступал ни на шаг и парировал его выпады. Трижды генерал отступал и трижды снова пытался атаковать.

На третий раз он снова упал.

Все думали, что он опять поскользнулся; однако, видя, что он не встает, секунданты подошли к нему и пытались поставить его на ноги; но тот, кто подхватил его, почувствовал под рукой что-то теплое и мокрое.

Это была кровь.

Генерал, впавший в полуобморочное состояние, пришел в себя.

«А, – сказал он, – против меня выпустили наемного убийцу, какого-нибудь полкового учителя фехтования?»

Президент, ничего ему не ответив, подошел к тому из секундантов, который держал фонарь, и, засучив рукав, показал на своей руке две сквозные раны; затем, распахнув фрак и расстегнув жилет, обнажил бок, в котором также зияла рана.

А между тем он не испустил даже вздоха.

У генерала д'Эпине началась агония, и через пять минут он умер...»

Франц прочел эти последние слова таким глухим голосом, что их едва можно было расслышать; потом он умолк и провел рукой по глазам, точно сгоняя с них туман.

Но после минутного молчания он продолжал:

– «Президент вложил шпагу в тросточку и вновь поднялся по лестнице; кровавый след на снегу отмечал его путь. Не успел он еще дойти до верха лестницы, как услышал глухой всплеск воды: это секунданты бросили в реку тело генерала, удостоверившись в его смерти.

Таким образом, генерал пал в честном поединке, а не в западне, как могли бы уверять.

В удостоверение чего мы подписали настоящий протокол, дабы установить истину, из опасения, что может наступить минута, когда кто-

либо из участников этого ужасного события будет обвинен в предумышленном убийстве или в нарушении законов чести.

Подписано: *Борепэр, Дюшампи, Лешарпаль».*

Когда Франц окончил это столь тягостное для сына чтение, Валентина, бледнея от волнения, вытерла слезы, а Вильфор, дрожащий и забившийся в угол, пытаясь отвратить бурю, умоляюще посмотрел на безжалостного старца.

– Сударь, – сказал д'Эпине, обращаясь к Нуартье, – вам известны все подробности этого ужасного происшествия, вы заверили его подписями уважаемых лиц; и раз вы, по-видимому, интересуетесь мною, хотя этот интерес и проявился пока только в том, что вы причинили мне страдание, не откажите мне в последнем одолжении: назовите имя президента клуба, чтобы я знал наконец кто убил моего отца.

Вильфор, совершенно растерянный, искал ручку двери. Валентина, раньше всех угадавшая, каков будет ответ старика, и не раз видевшая на его предплечье следы двух ударов шпагой, отступила на шаг.

– Во имя неба, мадемуазель, – сказал Франц, обращаясь к своей невесте, – поддержите мою просьбу, чтобы я мог узнать имя человека, который сделал меня сиротой в двухлетнем возрасте!

Валентина стояла молча и не шевелилась.

– Послушайте, – сказал Вильфор, – верьте мне, не будем продолжать этой тяжелой сцены; к тому же имена скрыты умышленно. Мой отец и сам не знает, кто был этот президент, а если и знает, то не сможет вам этого передать; в словаре нет собственных имен.

– Какое несчастье! – воскликнул Франц. – Только одна надежда, которая поддерживала меня, пока я читал, и дала мне силы дочитать до конца, я надеялся по крайней мере узнать имя того, кто убил моего отца! Сударь, сударь, – воскликнул он, обращаясь к Нуартье, – ради бога, сделайте все, что можете... умоляю вас, попытайтесь указать мне, дать мне понять...

– Да! – ответили глаза Нуартье.

– Мадемуазель! – воскликнул Франц. – Ваш дедушка показал, что он может назвать... этого человека... Помогите мне... вы понимаете его...

Нуартье посмотрел на словарь.

Франц с нервной дрожью взял его в руки и назвал одну за другой все буквы алфавита вплоть до Я.

На этой букве старик сделал утвердительный знак.

– Я? – повторил Франц.

Палец молодого человека скользил по словам, но на каждом слове Нуартье делал отрицательный знак.

Валентина закрыла лицо руками.

Тогда Франц вернулся к местоимению «я».

– Да, – показал старик.

– Вы! – воскликнул Франц, и волосы его стали дыбом. – Вы, господин Нуартье? Это вы убили моего отца?

– Да, – отвечал старик, величественно глядя ему в лицо.

Франц без сил упал в кресло.

Вильфор открыл дверь и выбежал из комнаты, потому что ему страстно хотелось задавить ту искру жизни, которая еще тлела в неукротимом сердце старика.

# XIX. Успехи Кавальканти-сына

Тем временем г-н Кавальканти-отец отбыл из Парижа, чтобы вернуться на свой пост, но не в войсках его величества императора австрийского, а у рулетки луккских минеральных вод; он был одним из ее самых ревностных почитателей.

Само собой разумеется, что он с самой добросовестной точностью увез с собой до последнего гроша всю сумму, назначенную ему в награду за его путешествие и за ту величавость и торжественность, с которыми он играл роль отца.

После его отъезда Андреа получил все документы, удостоверяющие, что он действительно имеет честь быть сыном маркиза Бартоломео и маркизы Оливы Корсинари.

Таким образом, он уже более или менее твердо стоял на якоре в парижском обществе, которое так легко принимает иностранцев и относится к ним не сообразно с тем, что они есть, а сообразно с тем, чем они желают быть.

Да и что требуется в Париже от молодого человека? Уметь кое-как говорить, прилично одеваться, смело играть и расплачиваться золотом.

Разумеется, к иностранцу предъявляют еще меньше требований, чем к парижанину.

Итак, недели через две Андреа занимал уже недурное положение; его именовали графом, считали, что у него пятьдесят тысяч ливров годового дохода, и говорили о несметных богатствах его отца, зарытых будто бы в каменоломнях Саравеццы.

Некий ученый, при котором упомянули о последнем обстоятельстве как о непреложном факте, заявил, что видел названные каменоломни, и это придало огромный вес не вполне еще обоснованным утверждениям; отныне они приобрели осязательную достоверность.

Так обстояли дела в том кругу парижского общества, куда мы ввели наших читателей, когда однажды вечером Монте-Кристо заехал с

визитом к г-ну Данглару. Самого Данглара не было дома, но баронесса принимала, и графа спросили, доложить ли о нем; он изъявил согласие.

Со времени обеда в Отейле и последовавших за ним событий г-жа Данглар не могла без нервной дрожи слышать имя графа Монте-Кристо. Если вслед за звуком этого имени не появлялся сам граф, тягостное ощущение усиливалось; напротив, когда граф появлялся, его открытое лицо, его блестящие глаза, его изысканная любезность, даже галантность по отношению к г-же Данглар быстро рассеивали последнюю тень тревоги. Баронессе казалось невозможным, что человек, внешне столь очаровательный, мог питать относительно нее какие-либо дурные намерения; впрочем, даже самые испорченные души не допускают, что возможно зло, не обоснованное какой-нибудь выгодой, бесцельное и беспричинное зло претит, как уродство.

Монте-Кристо вошел в тот будуар, куда мы уже однажды приводили наших читателей и где сейчас баронесса неспокойным взглядом скользила по рисункам, которые ей передала дочь, предварительно посмотрев их вместе с Кавальканти-сыном. Его появление произвело свое обычное действие, и, встревоженная сначала звуком его имени, баронесса встретила его улыбкой.

Он, со своей стороны, одним взглядом охватил всю эту сцену.

Рядом с баронессой, полулежавшей на козетке, сидела Эжени, а перед ней стоял Кавальканти.

Кавальканти, весь в черном, как гетевский герой, в лакированных башмаках и белых шелковых носках со стрелкой, проводил довольно белой и выхоленной рукой по своим светлым волосам, сверкая бриллиантом, который, не устояв перед искушением и невзирая на советы Монте-Кристо, тщеславный молодой человек надел на мизинец.

Это движение сопровождалось убийственными взглядами в сторону мадемуазель Данглар и вздохами, летевшими по тому же адресу, что и взгляды.

Мадемуазель Данглар была верна себе – то есть прекрасна, холодна и насмешлива. Ни один из взглядов, ни один из вздохов Андреа не ускользал от нее; казалось, они ударялись о панцирь Минервы, панцирь,

который, по утверждению некоторых философов, порою облекает грудь Сафо.

Эжени холодно поклонилась графу и воспользовалась завязавшимся разговором, чтобы удалиться в гостиную, предназначенную для ее занятий; оттуда вскоре послышались два громких и веселых голоса, вперемежку со звуками рояля, из чего Монте-Кристо мог заключить, что мадемуазель Данглар обществу его и г-на Кавальканти предпочла общество мадемуазель Луизы д'Армильи, своей учительницы пения.

Между тем граф, который разговаривал с г-жой Данглар и казался очарованным беседой с ней, сразу заметил озабоченность Андреа Кавальканти: тот время от времени подходил к двери послушать музыку и, не решаясь переступить порог, жестами выражал свое восхищение.

Вскоре вернулся домой банкир. Правда, его первый взгляд принадлежал Монте-Кристо, но второй он бросил на Андреа.

Что касается супруги, то он поздоровался с нею точно так, как иные мужья обычно здороваются со своими женами, о чем холостяки смогут составить себе представление лишь тогда, когда будет издано очень пространное описание брачных отношений.

– Разве наши барышни не пригласили вас заняться музыкой вместе с ними? – спросил Данглар Андреа.

– Увы, нет, сударь, – отвечал Андреа с еще более проникновенным вздохом, чем прежние.

Данглар немедленно подошел к двери и распахнул ее.

Присутствующие увидели двух девушек, сидящих за роялем вдвоем на одной табуретке. Они аккомпанировали себе каждая одной рукой – собственная их выдумка, в которой они достигли замечательного искусства.

Мадемуазель д'Армильи, представлявшая в эту минуту вместе с Эжени в рамке открытой двери одну из тех живых картин, которые так любят в Германии, была очень хороша собой, или, вернее, очаровательно мила. Она была маленькая, тоненькая и золотоволосая, как фея, с длинными локонами, падавшими ей на шею, немного слишком длинную, как у мадонн Перуджино, и с подернутыми дымкой усталости глазами.

Говорили, что у нее слабые легкие и что, подобно Антонии из «Кремонской скрипки», она в один прекрасный день умрет во время пения.

Монте-Кристо бросил быстрый любопытный взор в этот гинекей; он в первый раз видел мадемуазель д'Армильи, о которой он так часто слышал в этом доме.

– А что же мы? – спросил банкир свою дочь. – Нас отвергают?

Затем он провел Андреа в гостиную и, случайно или с умыслом, притворил за ним дверь таким образом, что с того места, где сидели Монте-Кристо и баронесса, ничего не было видно; но так как барон прошел туда следом за Андреа, то г-жа Данглар, по-видимому, не обратила на это обстоятельство никакого внимания.

Вскоре граф услышал голос Андреа, поющего под аккомпанемент рояля какую-то корсиканскую песню.

В то время как граф с улыбкой слушал эту песню, забывая Андреа и вспоминая Бенедетто, г-жа Данглар восхищенно рассказывала ему о самообладании ее мужа, который в это утро потерял из-за банкротства какой-то миланской фирмы триста или четыреста тысяч франков.

И в самом деле барон заслуживал восхищения; если бы граф не услышал этого от баронессы или не узнал одним из тех способов, которыми он узнавал все, то по лицу барона он ни о чем бы не догадался.

«Вот как! – подумал Монте-Кристо. – Ему уже приходится скрывать свои потери; еще месяц назад он ими хвастался».

Вслух он сказал:

– Но, сударыня, господин Данглар такой знаток биржи, он всегда сумеет возместить на ней все, что потеряет в другом месте.

– Я вижу, вы разделяете всеобщее заблуждение, – сказала г-жа Данглар.

– Какое заблуждение? – спросил Монте-Кристо.

– Все думают, что господин Данглар играет на бирже, но это неправда.

– Ах, в самом деле, сударыня, я вспоминаю, что господин Дебрэ говорил мне... Кстати, куда это девался господин Дебрэ? Я его не видел

уже дня три-четыре.

– Я тоже, – сказала г-жа Данглар с изумительным апломбом. – Но вы начали что-то говорить и не докончили.

– О чем же я говорил?

– Что Дебрэ говорил вам...

– Да, верно; Дебрэ сказал, что это вы поклоняетесь демону азарта.

– Да, признаюсь, одно время так и было, – сказала г-жа Данглар, – но теперь меня это больше не занимает.

– И напрасно, сударыня. Знаете, ведь судьба изменчива, а в спекуляциях все зависит от удачи и неудачи. Будь я женщиной, да еще женой банкира, как бы я ни верил в счастье своего мужа, я бы непременно составил себе независимое состояние, даже если бы мне для этого пришлось доверить свои интересы незнакомым ему рукам.

Госпожа Данглар невольно вспыхнула.

– Да вот, например, – сказал Монте-Кристо, делая вид, что ничего не заметил, – вы слышали об удачной комбинации, которую вчера проделали с неаполитанскими бонами?

– У меня их нет, – быстро ответила баронесса, – и даже никогда не было; но, право, мы уже достаточно поговорили о бирже, граф; словно мы с вами два маклера. Поговорим лучше об этих несчастных Вильфорах, которых так преследует судьба.

– А что с ними случилось? – спросил Монте-Кристо с полнейшей наивностью.

– Да вы же знаете, господин де Сен-Меран умер через три или четыре дня после своего отъезда, а теперь умерла маркиза, через три или четыре дня после своего приезда.

– Ах да, я слышал об этом, – сказал Монте-Кристо. – Но, как говорит Клавдий Гамлету, это закон природы: отцы их умерли раньше их, и им пришлось их оплакивать; они умрут раньше своих сыновей, и их будут оплакивать их сыновья.

– Но это еще не все.

– Как, не все?

– Нет. Вы знаете, они собирались выдать замуж свою дочь...

– Да, за господина Франца д'Эпине... Разве свадьба расстроилась?

– Говорят, вчера утром Франц вернул им слово.

– Да неужели?.. А какова причина разрыва?

– Неизвестно.

– Что вы говорите, боже милостивый! А как переносит все эти несчастья господин де Вильфор?

– По своему обыкновению – как философ.

В эту минуту возвратился Данглар.

– Что это, – сказала баронесса, – вы оставляете господина Кавальканти одного с вашей дочерью?

– А мадемуазель д'Армильи, – сказал барон, – за кого вы ее считаете?

Затем он обернулся к Монте-Кристо:

– Милейший молодой человек этот князь Кавальканти, правда, граф?.. Только князь ли он?

– За это я не поручусь, – сказал Монте-Кристо. – Мне представили его отца как маркиза, так что он, по-видимому, граф; но мне кажется, он и сам не особенно претендует на княжеский титул.

– Почему же? – сказал банкир. – Если он князь, то ему нечего это скрывать. У каждого свои права. Не люблю, когда отрицают свое происхождение.

– Ну, вы известный демократ, – сказал с улыбкой Монте-Кристо.

– Но послушайте, – сказала баронесса, – в какое положение вы себя ставите, если бы вдруг приехал де Морсер, он застал бы господина Кавальканти в комнате, куда ему, жениху Эжени, никогда не разрешалось входить.

– Вы совершенно верно сказали «вдруг», – возразил банкир. – По совести говоря, мы его так редко видим, что он, можно сказать, действительно появляется у нас только вдруг.

– Словом, если бы он явился и увидел этого молодого человека подле вашей дочери, он мог бы остаться недоволен.

– Недоволен, он? Вы сильно ошибаетесь! Господин виконт не оказывает нам чести ревновать свою невесту, он ее не так сильно любит. Да и что мне за дело, будет он недоволен или нет?

– Однако наши отношения...

– Ах, наши отношения; угодно вам знать, какие у нас с ним отношения? На балу, который давала его мать, он только один раз танцевал с моей дочерью, а господин Кавальканти три раза танцевал с ней, и он этого даже не заметил.

– Господин виконт Альбер де Морсер! – доложил камердинер.

Баронесса поспешно встала. Она хотела пройти в маленькую гостиную, чтобы предупредить дочь, но Данглар удержал ее за руку.

– Оставьте, – сказал он.

Она удивленно взглянула на него.

Монте-Кристо сделал вид, что не заметил этой сцены.

Вошел Альбер: он был очень красив и очень весел. Он непринужденно поклонился баронессе, фамильярно Данглару и дружелюбно Монте-Кристо, потом обернулся к баронессе.

– Позвольте спросить вас, сударыня, – сказал он, – как себя чувствует мадемуазель Данглар?

– Отлично, сударь, – быстро ответил Данглар, – она сейчас занимается музыкой в своей маленькой гостиной вместе с господином Кавальканти.

Альбер остался спокойным и равнодушным; быть может, в нем и шевельнулось что-то вроде досады, но он чувствовал, что Монте-Кристо смотрит на него.

– У господина Кавальканти прекрасный тенор, а у мадемуазель Эжени великолепное сопрано, не говоря уже о том, что она играет на рояле, как Тальберг. Это, должно быть, очаровательный концерт.

– Во всяком случае, они прекрасно спелись, – сказал Данглар.

Альбер, казалось, не заметил этой двусмысленности, настолько грубой, что г-жа Данглар покраснела.

– Я тоже музыкант, – продолжал он, – так по крайней мере утверждали мои учителя; но вот странно, я никогда не мог ни с кем спеться, с сопрано даже меньше, чем с какими-нибудь другими голосами.

Данглар кисло улыбнулся, как бы говоря: «Да рассердись же!»

– Так что вчера, – сказал он, видимо, все-таки надеясь добиться своего, – князь и моя дочь вызвали всеобщее восхищение. Разве вы вчера не были у нас, сударь?

– Какой князь? – спросил Альбер.

– Князь Кавальканти, – отвечал Данглар, упорно величавший Андреа этим титулом.

– Ах, простите, – сказал Альбер, – я не знал, что он князь. Так вчера князь Кавальканти пел вместе с мадемуазель Эжени? Поистине это должно было быть восхитительно, я страшно жалею, что не слышал их. Но я не мог воспользоваться вашим приглашением, мне пришлось сопровождать мою мать к старой баронессе Шато-Рено, где пели немцы.

Затем, после небольшого молчания, он спросил как ни в чем не бывало:

– Могу ли я засвидетельствовать свое почтение мадемуазель Данглар?

– Нет, подождите, умоляю вас, – сказал банкир, останавливая его, – послушайте, эта каватина прелестна, – та, та, та, ти, та, ти, та, та; это восхитительно, сейчас конец... еще секунда; прекрасно! браво, браво, браво!

И банкир принялся неистово аплодировать.

– В самом деле, – сказал Альбер, – это превосходно, нельзя лучше понимать музыку своей родной страны, чем понимает князь Кавальканти. Ведь вы сказали «князь», если не ошибаюсь? Впрочем, если он и не князь, его сделают князем, в Италии это не трудно. Но вернемся к нашим восхитительным певцам. Вам следовало бы доставить нам всем удовольствие, господин Данглар: не предупреждая о том, что здесь есть посторонний, попросите мадемуазель Данглар и господина Кавальканти спеть что-нибудь еще. Так приятно наслаждаться музыкой немного издали, в тени, когда тебя никто не видит и ты сам ничего не видишь, не стесняешь исполнителя; тогда он может свободно отдаться влечению своего таланта и порывам своего сердца.

На этот раз Данглар был сбит с толку хладнокровием Альбера.

Он отвел Монте-Кристо в сторону.

– Ну, что вы скажете о нашем влюбленном? – спросил он.

– По-моему, он довольно холоден, это бесспорно. Но что поделаешь! Вы дали слово!

– Да, конечно, я дал слово; но в чем? Отдать свою дочь человеку, который ее любит, а не человеку, который ее не любит. Посмотрите на него: холоден, как мрамор, надменен, как его отец; будь он хоть богат, будь у него состояние Кавальканти, можно было бы не обращать на это внимания. Говоря откровенно, я еще не спросил мнения дочери; но если бы у нее был хороший вкус...

– Не знаю, – сказал Монте-Кристо, – быть может, симпатия к нему ослепляет меня, но уверяю вас, что виконт де Морсер очень милый молодой человек, который сделает вашу дочь счастливой и который рано или поздно чего-нибудь достигнет; ведь отец его занимает прекрасное положение.

– Гм! – промычал Данглар.

– Вы сомневаетесь?

– Да вот, прошлое... темное прошлое.

– Но прошлое отца не касается сына.

– Совсем напротив!

– Послушайте, не убеждайте себя в этом. Еще месяц назад вы считали Морсера превосходной партией. Поймите, я в отчаянии: ведь это у меня вы познакомились с этим молодым Кавальканти, я его совершенно не знаю, повторяю вам.

– Но я его знаю, – сказал Данглар, – этого вполне достаточно.

– Вы его знаете? Разве вы наводили о нем справки? – спросил Монте-Кристо.

– А разве это так необходимо? Разве с первого взгляда не видно, с кем имеешь дело? Прежде всего он богат.

– Я в этом не уверен.

– Но ведь вы отвечаете за него?

– Это пустяки, пятьдесят тысяч франков.

– Он прекрасно образован.

– Гм! – в свою очередь, промычал Монте-Кристо.

– Он музыкант.

– Все итальянцы музыканты.

– Знаете, граф, вы несправедливы к нему.

– Да, признаюсь, меня огорчает, что, зная ваши обязательства по отношению к Морсерам, он становится поперек дороги, пользуясь тем, что богат.

Данглар рассмеялся.

– Вы слишком строги, – сказал он. – На свете всегда так бывает.

– Однако ведь вы не можете идти на такой разрыв, дорогой господин Данглар; Морсеры рассчитывают на этот брак.

– Разве?

– Безусловно.

– Тогда пусть они объяснятся. Вам бы следовало намекнуть об этом отцу, дорогой граф, ведь вы у них так хорошо приняты.

– Я? Где вы это видели?

– Да хотя бы у них на балу. Помилуйте, графиня, гордая Мерседес, надменная испанка, которая едва удостаивает разговором самых старых друзей, берет вас под руку, выходит с вами в сад, выбирает самые темные закоулки и возвращается только через полчаса.

– Ах, барон, барон, – сказал Альбер, – вы мешаете нам слушать; со стороны такого меломана это просто варварство!

– Ничего, ничего, господин насмешник, – сказал Данглар.

Потом он снова обернулся к Монте-Кристо.

– Вы беретесь сказать это отцу?

– Извольте, если вам так хочется.

– Но на этот раз все должно быть ясно и определенно. Прежде всего он должен у меня просить руки моей дочери, назначить срок, объявить свои денежные условия; словом, либо мы окончательно сговоримся, либо разойдемся совсем; но, понимаете, никаких отсрочек!

– Ну что ж! Он вступит в переговоры.

– Я бы не сказал, что жду этого с особым удовольствием, но все-таки жду; банкир, знаете, должен быть рабом своего слова.

И Данглар вздохнул так же тяжко, как за полчаса перед тем вздыхал Кавальканти-сын.

– Браво, браво, браво! – крикнул Альбер, подражая банкиру и аплодируя только что кончившемуся романсу.

Данглар начал косо посматривать на Альбера, когда ему что-то тихо доложили.

– Я сейчас вернусь, – сказал банкир, обращаясь к Монте-Кристо, – подождите меня; быть может, мне еще придется вам кое-что сообщить.

И он вышел.

Баронесса воспользовалась отсутствием мужа, чтобы открыть дверь в гостиную дочери, и Андреа, сидевший у рояля вместе с мадемуазель Эжени, вскочил, как на пружинах.

Альбер с улыбкой поклонился мадемуазель Данглар, которая, ничуть, видимо, не смутившись, ответила ему обычным холодным поклоном.

Кавальканти явно чувствовал себя неловко; он поклонился Морсеру, и тот ответил на его поклон с самым дерзким видом.

Затем Альбер рассыпался в похвалах голосу мадемуазель Данглар и выразил сожаление, что ему не удалось присутствовать на вчерашнем вечере, по всеобщему мнению столь удачном...

Кавальканти, предоставленный самому себе, отвел в сторону Монте-Кристо.

– Вот что, – сказала г-жа Данглар, – хватит с нас музыки и комплиментов, пойдемте пить чай.

– Идем, Луиза, – сказала мадемуазель Данглар своей подруге.

Все перешли в соседнюю гостиную, где был приготовлен чай.

В ту минуту, когда, следуя английской моде, гости уже оставляли ложки в своих чашках, дверь снова отворилась, и вошел Данглар, видимо очень взволнованный. Монте-Кристо прежде всех заметил это волнение и вопросительно посмотрел на банкира.

– Я сейчас получил письмо из Греции, – сказал Данглар.

– Поэтому вас и вызывали? – спросил граф.

– Да.

– Как поживает король Оттон? – спросил самым веселым голосом Альбер.

Данглар косо взглянул на него и ничего не ответил, а Монте-Кристо отвернулся, чтобы скрыть мелькнувшее на его лице и тотчас же исчезнувшее выражение жалости.

– Мы выйдем вместе, хорошо? – сказал Альбер графу.

– Да, если хотите, – ответил тот.

Альбер не мог понять, чем был вызван взгляд банкира, поэтому он спросил Монте-Кристо, который это отлично понял:

– Вы заметили, как он на меня посмотрел?

– Да, – отвечал граф, – но разве в его взгляде было что-нибудь необычное?

– Еще бы, но что он хотел сказать, упомянув это письмо из Греции?

– Откуда же я могу знать?

– Да мне казалось, что вы имеете некоторое отношение к этой стране.

Монте-Кристо улыбнулся, как улыбаются, когда хотят уклониться от ответа.

– Смотрите, – сказал Альбер, – он направляется к вам; я пойду к мадемуазель Данглар, похвалю ее камею; за это время папаша успеет поговорить с вами.

– Уж если вы хотите хвалить, так по крайней мере похвалите ее голос, – сказал Монте-Кристо.

– Ну нет, это бы всякий сделал.

– Дорогой виконт, – сказал Монте-Кристо, – вы щеголяете своей дерзостью.

Альбер с улыбкой на устах направился к Эжени.

Тем временем Данглар наклонился к уху графа.

– Вы дали мне превосходный совет, – сказал он, – в этих двух словах: «Фернан» и «Янина» заключена ужасная история.

– Да что вы! – сказал Монте-Кристо.

– Да, я вам все расскажу. Но уведите отсюда этого юношу; его общество очень стеснительно для меня сейчас.

– Я так и собирался сделать, мы выйдем вместе; вы по-прежнему хотите, чтобы я направил к вам его отца?

– Более чем когда-либо.

– Хорошо.

Граф кивнул Альберу.

Они оба откланялись дамам и вышли: Альбер с видом полнейшего равнодушия к высокомерию мадемуазель Данглар, а Монте-Кристо – повторив г-же Данглар свой совет, что жене банкира следует быть предусмотрительной и обеспечить свое будущее.

Поле битвы осталось за господином Кавальканти.

# XX. Гайде

Едва лошади графа завернули за угол бульвара, Альбер разразился таким громким смехом, что его нельзя было не заподозрить в искусственности.

– Ну вот, – сказал он графу, – теперь я хочу спросить вас, как спросил король Карл Девятый Екатерину Медичи после Варфоломеевской ночи: хорошо ли я, по-вашему, сыграл свою маленькую роль?

– В каком смысле? – спросил Монте-Кристо.

– Да в смысле водворения моего соперника в доме господина Данглара...

– Какого соперника?

– Как какого? Да Андреа Кавальканти, которому вы покровительствуете!

– Оставьте глупые шутки, виконт; я нисколько не покровительствую Андреа, во всяком случае, не у господина Данглара.

– И я упрекнул бы вас за это, если бы молодой человек нуждался в покровительстве. Но, к счастью для меня, он в этом не нуждается.

– Как, вам разве кажется, что он ухаживает?

– Ручаюсь вам: он закатывает глаза, как воздыхатель, и распевает, как влюбленный; он грезит о руке надменной Эжени. Смотрите, я заговорил стихами! Честное слово, я в этом неповинен. Но все равно, я повторяю: он грезит о руке надменной Эжени.

– Не все ли вам равно, если думают только о вас?

– Не скажите, дорогой граф; обе были со мной суровы.

– Как так обе?

– Очень просто: мадемуазель Эжени едва удостаивала меня ответом, а мадемуазель д'Армильи, ее наперсница, мне вовсе не отвечала.

– Да, но отец обожает вас, – сказал Монте-Кристо.

– Он? Наоборот, он всадил мне в сердце тысячу кинжалов; правда, кинжалов с лезвием, уходящим в рукоятку, какие употребляют на сцене, но сам он их считает настоящими.

– Ревность – признак любви.

– Да, но я не ревную.

– Зато он ревнует.

– К кому? К Дебрэ?

– Нет, к вам.

– Ко мне? Держу пари, что не пройдет недели, как он велит меня не принимать.

– Ошибаетесь, дорогой виконт.

– Чем вы докажете?

– Вам нужны доказательства?

– Да.

– Я уполномочен просить графа де Морсера явиться с окончательным предложением к барону.

– Кем уполномочены?

– Самим бароном.

– Но, дорогой граф, – сказал Альбер так вкрадчиво, как только мог, – ведь вы этого не сделаете, правда?

– Ошибаетесь, Альбер, я это сделаю, я обещал.

– Ну вот, – со вздохом сказал Альбер, – похоже, что вы непременно хотите меня женить.

– Я хочу быть со всеми в хороших отношениях. Но кстати о Дебрэ; я его больше не встречаю у баронессы.

– Они поссорились.

– С баронессой?

– Нет, с бароном.

– Так он что-нибудь заметил?

– Вот это мило!

– А вы думаете, он подозревал? – спросил Монте-Кристо с очаровательной наивностью.

– Ну и ну! Да откуда вы явились, дорогой граф?

– Из Конго, скажем.

– Это еще не так далеко.

– Откуда мне знать нравы парижских мужей?

– Ах, дорогой граф, мужья везде одинаковы; раз вы изучили эту человеческую разновидность в какой-нибудь одной стране, вы знаете всю их породу.

– Но тогда из-за чего Данглар и Дебрэ могли рассориться? Они как будто так хорошо ладили, – сказал Монте-Кристо, снова начиная изображать наивность.

– В том-то и дело, здесь уже начинаются тайны Изиды, а в них я не посвящен. Когда Кавальканти-сын станет членом их семьи, вы его спросите.

Экипаж остановился.

– Вот мы и приехали, – сказал Монте-Кристо, – сейчас только половина одиннадцатого, зайдите ко мне.

– С большим удовольствием.

– Мой экипаж отвезет вас потом домой.

– Нет, спасибо, моя карета должна была ехать следом.

– Да, вот она, – сказал Монте-Кристо, выходя из экипажа.

Они вошли в дом; гостиная была освещена, и они прошли туда.

– Подайте нам чаю, Батистен, – приказал Монте-Кристо.

Батистен молча вышел из комнаты. Через две секунды он вернулся, неся уставленный всем необходимым поднос, который, как это бывает в волшебных сказках, словно явился из-под земли.

– Знаете, – сказал Альбер, – меня восхищает не ваше богатство, – быть может, найдутся люди и богаче вас; не ваш ум, – если Бомарше был и не умнее вас, то, во всяком случае, столь же умен; но меня восхищает ваше умение заставить служить себе – безмолвно, в ту же минуту, в ту же секунду, как будто по вашему звонку угадывают, чего вы хотите, и как будто то, чего вы захотите, всегда наготове.

– В этом есть доля правды. Мои привычки хорошо изучены. Вот сейчас увидите; не угодно ли вам чего-нибудь за чаем?

– Признаться, я не прочь покурить.

Монте-Кристо подошел к звонку и ударил один раз.

Через секунду открылась боковая дверь, и появился Али, неся две длинные трубки, набитые превосходным латакиэ.

– Это прямо чудо, – сказал Альбер.

– Вовсе нет, это очень просто, – возразил Монте-Кристо. – Али знает, что за чаем или кофе я имею привычку курить; он знает, что я просил чаю, знает, что я вернулся вместе с вами, слышит, что я зову его, догадывается – зачем, и так как на его родине трубка – первый знак гостеприимства, то он вместо одного чубука и приносит два.

– Да, конечно, всему можно дать объяснение, и все же только вы один... Но что это?

И Морсер кивнул на дверь, из-за которой раздавались звуки, напоминающие звуки гитары.

– Я вижу, дорогой виконт, вы сегодня обречены слушать музыку; не успели вы избавиться от рояля мадемуазель Данглар, как попадаете на лютню Гайде.

– Гайде! Чудесное имя! Неужели не только в поэмах лорда Байрона есть женщины, которых зовут Гайде?

– Разумеется; во Франции это имя встречается очень редко; но в Албании и Эпире оно довольно обычно; оно означает целомудрие, стыдливость, невинность; такое же имя, как те, которые у вас дают при крещении.

– Что за прелесть! – сказал Альбер. – Хотел бы я, чтобы наши француженки назывались мадемуазель Доброта, мадемуазель Тишина, мадемуазель Христианское Милосердие! Вы только подумайте, если бы мадемуазель Данглар звали не Клэр-Мари-Эжени, а мадемуазель Целомудрие-Скромность-Невинность Данглар! Вот был бы эффект во время оглашения!

– Сумасшедший! – сказал граф. – Не говорите такие вещи так громко. Гайде может услышать.

– Она рассердилась бы на это?

– Нет, конечно, – сказал граф надменным тоном.

– Она добрая? – спросил Альбер.

– Это не доброта, а долг; невольница не может сердиться на своего господина.

– Ну, теперь вы сами шутите! Разве еще существуют невольницы?

– Конечно, раз Гайде моя невольница.

– Нет, правда, вы все делаете не так, как другие люди, и все, что у вас есть, не такое, как у всех! Невольница графа Монте-Кристо! Во Франции – это положение. Притом, как вы сорите золотом, такое место должно приносить сто тысяч экю в год.

– Сто тысяч экю! Бедная девочка имела больше. Она родилась среди сокровищ, перед которыми сокровища «Тысячи и одной ночи» – просто пустяки.

– Так она в самом деле княжна?

– Вот именно, и одна из самых знатных в своей стране.

– Я так и думал. Но как же случилось, что знатная княжна стала невольницей?

– А как случилось, что тиран Дионисий стал школьным учителем? Жребий войны, дорогой виконт, прихоть судьбы.

– А ее происхождение – тайна?

– Для всех – да; но не для вас, дорогой виконт, потому что вы мой друг и будете молчать, если пообещаете, правда?

– Даю вам честное слово!

– Вы слышали историю янинского паши?

– Али-Тебелина? Конечно, ведь мой отец приобрел свое состояние у него на службе.

– Да, правда, я забыл.

– А какое отношение имеет Гайде к Али-Тебелину?

– Она всего-навсего его дочь.

– Как, она дочь Али-паши?

– И прекрасной Василики.

– И она ваша невольница?

– Да.

– Как же так?

– Да так. Однажды я проходил по константинопольскому базару и купил ее.

– Это великолепно! С вами, дорогой граф, не живешь, а грезишь. Скажите, можно попросить вас, хоть это и очень нескромно…

– Я слушаю вас.

– Но раз вы показываетесь с ней, вывозите ее в Оперу…

– Что же дальше?

– Так я могу попросить вас об этом?

– Можете просить меня о чем угодно.

– Тогда, дорогой граф, представьте меня вашей княжне.

– Охотно. Но только при двух условиях.

– Заранее принимаю их.

– Во-первых, вы никогда никому не расскажете об этом знакомстве.

– Отлично. – Альбер поднял руку. – Клянусь в этом!

– Во-вторых, вы ей не скажете ни слова о том, что ваш отец был на службе у ее отца.

– Клянусь в этом.

– Превосходно, виконт; вы будете помнить обе свои клятвы, не правда ли?

– О граф! – воскликнул Альбер.

– Отлично! Я знаю, что вы человек чести.

Граф снова ударил по звонку; вошел Али.

– Предупреди Гайде, – сказал ему граф, – что я приду к ней пить кофе, и дай ей понять, что я прошу у нее разрешения представить ей одного из моих друзей.

Али поклонился и вышел.

– Итак, условимся: никаких прямых вопросов, дорогой виконт. Если вы хотите что-либо узнать, спрашивайте у меня, а я спрошу у нее.

– Условились.

Али появился в третий раз и приподнял драпировку в знак того, что его господин и Альбер могут войти.

– Идемте, – сказал Монте-Кристо.

Альбер провел рукой по волосам и подкрутил усы, а граф снова взял в руки шляпу, надел перчатки и прошел с Альбером в покои, которые, как верный часовой, охранял Али и немного дальше, как пикет, три французские горничные под командой Мирто.

Гайде ждала их в первой комнате, гостиной, широко открыв от удивления глаза; в первый раз к ней являлся какой-то мужчина, кроме Монте-Кристо; она сидела на диване, в углу, поджав под себя ноги и устроив себе как бы гнездышко из великолепных полосатых, покрытых вышивкой восточных шелков. Около нее лежал инструмент, звуки которого выдали ее присутствие. Она была прелестна.

Увидев Монте-Кристо, она приподнялась со своей особенной улыбкой – с улыбкой дочери и возлюбленной; Монте-Кристо подошел и протянул ей руку, которой она, как всегда, коснулась губами.

Альбер остался стоять у двери, захваченный этой странной красотой, которую он видел впервые и о которой во Франции не имели никакого представления.

– Кого ты привел ко мне? – по-гречески спросила девушка у Монте-Кристо. – Брата, друга, просто знакомого или врага?

– Друга, – ответил на том же языке Монте-Кристо.

– Как его зовут?

– Граф Альбер; это тот самый, которого я в Риме вызволил из рук разбойников.

– На каком языке ты желаешь, чтобы я говорила с ним?

Монте-Кристо обернулся к Альберу.

– Вы знаете современный греческий язык? – спросил он его.

– Увы, даже и древнегреческий не знаю, дорогой граф, – сказал Альбер. – Никогда еще у Гомера и Платона не было такого неудачного и, осмелюсь даже сказать, такого равнодушного ученика, как я.

– В таком случае, – заговорила Гайде, доказывая этим, что она поняла вопрос Монте-Кристо и ответ Альбера, – я буду говорить по-французски или по-итальянски, если только мой господин желает, чтобы я говорила.

Монте-Кристо секунду подумал.

– Ты будешь говорить по-итальянски, – сказал он. Затем обратился к Альберу: – Досадно, что вы не знаете ни новогреческого, ни древнегреческого языка, ими Гайде владеет в совершенстве. Бедной девочке придется говорить с вами по-итальянски, из-за того вы, быть может, получите ложное представление о ней.

Он сделал знак Гайде.

– Добро пожаловать, друг, пришедший вместе с моим господином и повелителем, – сказала девушка на прекрасном тосканском наречии, с тем нежным римским акцентом, который делает язык Данте столь же звучным, как язык Гомера. – Али, кофе и трубки!

И Гайде жестом пригласила Альбера подойти ближе, тогда как Али удалился, чтобы исполнить приказание своей госпожи. Монте-Кристо указал Альберу на складной стул, сам взял второй такой же, и они подсели к низкому столику, на котором вокруг кальяна лежали живые цветы, рисунки и музыкальные альбомы.

Али вернулся, неся кофе и чубуки; Батистену был запрещен вход в эту часть дома. Альбер отодвинул трубку, которую ему предложил нубиец.

– Берите, берите, – сказал Монте-Кристо, – Гайде почти так же цивилизованна, как парижанка; сигара была бы ей неприятна, потому что она не выносит дурного запаха; но восточный табак – это благовоние, вы же знаете.

Али удалился.

Кофе был уже налит в чашки; но только для Альбера была все же поставлена сахарница: Монте-Кристо и Гайде пили этот арабский напиток по-арабски, то есть без сахара. Гайде протянула руку, взяла кончиками своих тонких розовых пальцев чашку из японского фарфора и поднесла ее к губам с простодушным удовольствием ребенка, который пьет или ест что-нибудь, что очень любит.

В это время две служанки внесли подносы с мороженым и шербетом и поставили их на два предназначенных для этого маленьких столика.

– Мой дорогой хозяин, и вы, синьора, – сказал по-итальянски Альбер, – простите мне мое изумление. Я совершенно ошеломлен, и есть отчего: передо мной открывается Восток, подлинный Восток, какого я, к сожалению, никогда не видел, но о котором я грезил. И это в самом сердце Парижа! Только что я слышал, как проезжали омнибусы и звенели колокольчики торговцев лимонадом... Ах, синьора, почему я не умею говорить по-гречески! Ваша беседа вместе с этой волшебной

обстановкой – это был бы такой вечер, что я сохранил бы его в памяти на всю жизнь.

– Я достаточно хорошо говорю по-итальянски и могу с вами разговаривать, – спокойно сказала Гайде. – И я постараюсь, чтобы вы чувствовали себя на Востоке, раз он вам нравится.

– О чем мне можно говорить? – шепотом спросил Альбер графа.

– Да о чем угодно: о ее родине, о ее юности, о ее воспоминаниях; или, если вы предпочитаете, о Риме, о Неаполе или о Флоренции.

– Ну, не стоило бы искать общества гречанки, чтобы говорить с ней о том, о чем можно говорить с парижанкой, – сказал Альбер. – Разрешите мне поговорить с ней о Востоке.

– Пожалуйста, дорогой Альбер, это будет ей всего приятнее.

Альбер обратился к Гайде:

– В каком возрасте вы покинули Грецию, синьора?

– Мне было тогда пять лет, – ответила Гайде.

– И вы помните свою родину?

– Когда я закрываю глаза, передо мной встает все, что я когда-то видела. У человека два зрения: взор тела и взор души. Телесное зрение иногда забывает, но духовное помнит всегда.

– А с какого времени вы себя помните?

– Я едва умела ходить; моя мать Василики – имя Василики означает царственная, – прибавила девушка, подымая голову, – моя мать брала меня за руку, и мы обе, закутанные в покрывала, положив в кошелек все золотые монеты, какие у нас были, шли просить милостыню для заключенных; мы говорили: «Благотворящий бедному дает взаймы Господу...»[59] Когда кошелек наполнялся доверху, мы возвращались во дворец, не говоря отцу, все эти деньги, которые нам подавали, принимая нас за бедных, отсылали монастырскому игумену, а он распределял их между заключенными.

– А сколько вам было тогда лет?

– Три года, – сказала Гайде.

– И вы помните все, что делалось вокруг вас, начиная с трехлетнего возраста?

– Все.

– Граф, – сказал шепотом Альбер, – разрешите синьоре рассказать нам что-нибудь из своей жизни. Вы запретили мне говорить с ней о моем отце, но, может быть, она сама что-нибудь о нем расскажет, а вы не можете себе представить, как мне было бы приятно услышать его имя из таких прекрасных уст.

Монте-Кристо обернулся к Гайде и, подняв бровь, чтобы обратить ее особое внимание на то, что он ей скажет, произнес по-гречески:

– Patroz athn, mh onoma prodotou cai prodosian, eip'hmtn.[60]

Гайде тяжело вздохнула, и темное облако легло на ее ясное чело.

– Что вы ей сказали? – шепотом спросил Морсер.

– Я снова предупредил ее, что вы наш друг и что ей незачем таиться от вас.

– Итак, – сказал Альбер, – ваше первое воспоминание – о том, как вы собирали милостыню для заключенных; какое же следующее?

– Следующее? Я вижу себя под сенью сикомор, на берегу озера; его дрожащее зеркало я как сейчас различаю сквозь листву. Прислонившись к самому старому и ветвистому дереву, сидит на подушках мой отец; моя мать лежит у его ног, а я, маленькая, играю белой бородой, спадающей ему на грудь, и заткнутым за пояс кинжалом, рукоять которого осыпана алмазами. Время от времени к нему подходит албанец и говорит ему несколько слов; я не обращаю на них никакого внимания, а отец отвечает, никогда не меняя голоса: «Убейте его» или «Я его прощаю».

– Как странно, – сказал Альбер, – слышать такие вещи из уст молодой девушки не на подмостках театра и говорить себе: это не вымысел. Но как же вам после такого поэтического прошлого, после таких волшебных далей нравится Франция?

– Я нахожу, что это прекрасная страна, – сказала Гайде, – но я вижу Францию такой, как она есть, потому что смотрю на нее глазами взрослой женщины; а моя родина, на которую я глядела глазами ребенка, кажется мне всегда окутанной то лучезарным, то мрачным облаком в зависимости от того, видят ли ее мои глаза милой родиной или местом горьких страданий.

– Вы так молоды, синьора, – сказал Альбер, невольно отдавая дань пошлости, – когда же вы успели страдать?

Гайде обратила свой взор на Монте-Кристо, который, подавая ей неуловимый знак, шепнул:

– Eipe.[61]

– Ничто не накладывает такой отпечаток на душу, как первые воспоминания, а кроме тех двух, о которых я вам сейчас рассказала, все остальные воспоминания моей юности полны печали.

– Говорите, говорите, синьора! – сказал Альбер. – Поверьте, для меня невыразимое счастье слушать вас.

Гайде печально улыбнулась.

– Так вы хотите, чтобы я рассказала и о других своих воспоминаниях? – спросила она.

– Умоляю вас об этом.

– Что ж, хорошо. Мне было четыре года, когда однажды вечером меня разбудила мать. Мы жили тогда во дворце в Янине; она подняла меня с подушек, на которых я спала, и, когда я открыла глаза, я увидела, что она плачет.

Она не сказала мне ни слова, взяла меня на руки и понесла.

Видя ее слезы, я тоже хотела заплакать.

«Молчи, дитя», – сказала она.

Часто бывало, что, несмотря на материнские ласки или угрозы, я, капризная, как все дети, продолжала плакать; но на этот раз в голосе моей бедной матери звучал такой ужас, что я в ту же секунду замолчала.

Она быстро несла меня.

Тут я увидела, что мы спускаемся по широкой лестнице; впереди нас шли, вернее, бежали служанки моей матери, неся сундуки, мешочки, украшения, драгоценности, кошельки с золотом.

Вслед за женщинами шли десятка два телохранителей с длинными ружьями и пистолетами, одетых в тот костюм, который вы во Франции знаете с тех пор, как Греция снова стала независимой страной.

– Поверьте мне, – продолжала Гайде, качая головой и бледнея при одном воспоминании, – было что-то зловещее в этой длинной веренице

рабов и служанок, которые еще не вполне очнулись от сна, – по крайней мере мне они казались сонными, быть может, потому, что я сама не совсем проснулась.

По лестнице пробегали гигантские тени, их отбрасывало колыхающееся пламя смоляных факелов.

«Поспешите!» – сказал чей-то голос из глубины галереи.

Все склонились перед этим голосом, как клонятся колосья, когда над полями проносится ветер.

Я вздрогнула, услышав этот голос.

Это был голос моего отца.

Он шел последним, в своих роскошных одеждах, держа в руке карабин, подарок вашего императора; опираясь на своего любимца Селима, он гнал нас перед собой, как гонит пастух перепуганное стадо.

– Мой отец, – сказала Гайде, высоко подняв голову, – был великий человек, паша Янины; Европа знала его под именем Али-Тебелина, и Турция трепетала перед ним.

Альбер невольно вздрогнул, услышав ее слова, произнесенные с невыразимой гордостью и достоинством.

В глазах девушки сверкнуло что-то мрачное, пугающее, когда она, подобно пифии, вызывающей призрак, воскресила кровавую тень человека, которого ужасная смерть так возвеличила в глазах современной Европы.

– Вскоре, – продолжала Гайде, – шествие остановилось; мы были внизу лестницы, на берегу озера. Мать, тяжело дыша, прижимала меня к груди; за нею я увидела отца, он бросал по сторонам тревожные взгляды.

Перед нами спускались четыре мраморные ступени, у нижней покачивалась лодка.

С того места, где мы стояли, видна была темная громада, подымающаяся из озера; это был замок, куда мы направлялись.

Мне казалось, может быть, из-за темноты, что до него довольно далеко.

Мы сели в лодку. Я помню, что весла совершенно бесшумно касались воды; я наклонилась, чтобы посмотреть на них; они были обернуты

поясами наших паликаров.

Кроме гребцов, в лодке находились только женщины, мой отец, мать, Селим и я.

Паликары остались на берегу и стали на колени в самом низу лестницы, чтобы в случае погони воспользоваться тремя верхними ступенями как прикрытием.

Наша лодка неслась как стрела.

«Почему лодка плывет так быстро?» – спросила я у матери.

«Тише, дитя, – сказала она, – это потому, что мы бежим».

Я ничего не понимала. Зачем бежать моему отцу, такому всемогущему? Перед ним всегда бежали другие, и его девизом было:

*Они ненавидят меня, значит, боятся.*

Но теперь мой отец действительно спасался бегством. После он сказал мне, что гарнизон янинского замка устал от продолжительной службы...

Тут Гайде выразительно взглянула на Монте-Кристо, глаза которого с этой минуты не отрывались от ее лица. И она продолжала медленно, как это делают, когда что-нибудь сочиняют или пропускают.

– Вы сказали, синьора, – подхватил Альбер, который с величайшим вниманием слушал ее рассказ, – что янинский гарнизон устал от продолжительной службы...

– И сговорился с сераскиром Куршидом, которого султан послал, чтобы захватить моего отца. Тогда мой отец, предварительно отправив к султану французского офицера, которому он всецело доверял, решил скрыться в заранее построенной маленькой крепости, которую он называл катафюгион, что означает убежище.

– А вы помните имя этого офицера, синьора? – спросил Альбер.

Монте-Кристо обменялся с Гайде быстрым, как молния, взглядом; Альбер не заметил этого.

– Нет, – сказала она, – я забыла имя; но, может быть, я потом вспомню и тогда скажу вам.

Альбер уже собирался назвать имя своего отца, но Монте-Кристо предостерегающе поднял палец; Альбер вспомнил свою клятву и ничего не сказал.

– Вот к этому убежищу мы и плыли, – продолжала Гайде. – Украшенный арабесками нижний этаж, террасы которого поднимались над самой водой, и второй этаж, выходящий окнами на озеро, вот и все, что видно было, когда подплывали к этому маленькому дворцу.

Но под нижним этажом, входя в глубь острова, тянулось подземелье, огромная пещера. Туда и провели мою мать, меня и наших служанок; там лежали в одной огромной куче шестьдесят тысяч кошельков и двести бочонков; в кошельках было на двадцать пять миллионов золотых монет, а в бочонках тридцать тысяч фунтов пороху.

Около этих бочонков встал Селим, о котором я вам уже говорила, любимец моего отца; день и ночь он стоял на страже, держа в руке копье с зажженным фитилем на конце; ему был дан приказ все взорвать – убежище, телохранителей, пашу, женщин и золото – по первому знаку моего отца.

Я помню, что наши невольницы, зная об этом ужасном соседстве, молились, стонали и плакали дни и ночи напролет.

У меня перед глазами всегда стоит этот молодой воин, бледный, с черными глазами; и, когда ко мне прилетит ангел смерти, я, наверное, узнаю в нем Селима.

Не знаю, сколько времени мы провели так; в те дни я еще не имела представления о времени; иногда, очень редко, мой отец звал нас, мать и меня, на террасу дворца; это были радостные часы для меня: в подземелье я видела только стонущие тени и пылающее копье Селима. Мой отец, сидя у большого отверстия, мрачно вглядывался в далекий горизонт, следя за каждой черной точкой, появлявшейся на глади озера; мать, полулежа возле него, клала голову на его плечо, а я играла у его ног и с детским удивлением, от которого все вокруг кажется больше, чем на самом деле, любовалась отрогами Пинда на горизонте, замками Янины, белыми и стройными, встающими из голубых вод озера, массивами темной зелени, которая издали кажется мхом, лишаями на

горных утесах, а вблизи оказывается гигантскими пиниями и огромными миртами.

Однажды утром мой отец послал за нами; он был довольно спокоен, но бледнее, чем обыкновенно.

«Потерпи еще, Василики, сегодня всему наступит конец; сегодня должен прибыть фирман повелителя, и моя судьба будет решена. Если я получу полное прощение, мы с торжеством вернемся в Янину; если вести будут дурные, мы бежим сегодня же ночью».

«Но если они не дадут нам бежать?» – сказала моя мать.

«Не беспокойся, – сказал, улыбаясь, Али, – Селим со своим пылающим копьем отвечает мне за них. Они очень хотели бы, чтобы я умер, но не с тем, чтобы умереть вместе со мной».

Моя мать отвечала лишь вздохами на эти слова утешения, которые отец говорил не от сердца.

Она приготовила ему воды со льдом, которую он пил не переставая, потому что со времени бегства его снедала жгучая лихорадка; она надушила его седую бороду и зажгла ему трубку, за вьющимся дымом которой он иногда рассеянно следил целыми часами.

Вдруг он сделал такое резкое движение, что я испугалась.

Затем, не отводя взгляда от точки, привлекшей его внимание, он велел подать подзорную трубу.

Моя мать передала ему трубу; лицо ее стало белее гипсовой колонны, к которой она прислонилась.

Я видела, как рука отца задрожала.

«Лодка!.. две!.. три!.. – прошептал он, – четыре!..»

Я помню, как он встал, схватил ружье и насыпал пороху на полку своих пистолетов.

«Василики, – сказал он моей матери, и видно было, как он дрожит, – наступила минута, которая решит нашу участь; через полчаса мы узнаем ответ великого властелина. Спустись с Гайде в подземелье».

«Я не хочу покидать вас, – сказала Василики, – если вам суждена смерть, господин мой, я хочу умереть вместе с вами».

«Идите туда, где Селим!» – крикнул мой отец.

«Прощайте, мой повелитель!» – покорно прошептала моя мать и склонилась, как бы уже встречая смерть.

«Уведите Василики», – сказал мой отец своим паликарам.

Но я, на минуту забытая, подбежала и протянула к нему руки; он увидел меня, нагнулся и прикоснулся губами к моему лбу.

Этот поцелуй был последний, и он поныне горит на моем челе!

Спускаясь, мы видели сквозь виноград террасы лодки: они все росли и, еще недавно похожие на черные точки, казались уже птицами, несущимися по воде.

Тем временем двадцать паликаров, сидя у ног моего отца, скрытые перилами, следили налитыми кровью глазами за приближением этих судов и держали наготове свои длинные ружья, выложенные перламутром и серебром; по полу было разбросано множество патронов; мой отец то и дело смотрел на часы и тревожно шагал взад и вперед.

Вот что осталось в моей памяти, когда я уходила от отца, получив от него последний поцелуй.

Мы с матерью спустились в подземелье. Селим по-прежнему стоял на своем посту; он печально улыбнулся нам. Мы принесли с другого конца пещеры подушки и сели около Селима; когда грозит большая опасность, стремишься быть ближе к преданному сердцу, а я, хоть была совсем маленькая, я чувствовала, что над нами нависло большое несчастье...

Альбер часто слышал – не от своего отца, который никогда об этом не говорил, но от посторонних – о последних минутах янинского визиря, читал много рассказов о его смерти. Но эта повесть, ожившая во взоре и голосе Гайде, эта взволнованная и скорбная элегия потрясла его невыразимым очарованием и ужасом.

Гайде, вся во власти ужасных воспоминаний, на миг замолкла; голова ее, как цветок, склоняющийся пред бурей, поникла на руку, а затуманенные глаза, казалось, еще видели на горизонте зеленеющий Пинд и голубые воды янинского озера, волшебное зеркало, в котором отражалась нарисованная ею мрачная картина.

Монте-Кристо смотрел на нее с выражением бесконечного участия и жалости.

– Продолжай, дитя мое, – сказал он по-гречески.

Гайде подняла голову, словно голос Монте-Кристо пробудил ее от сна, и продолжала:

– Было четыре часа, но, хотя снаружи был ясный, сияющий день, в подземелье стоял густой мрак.

В пещере была только одна светящаяся точка, подобная одинокой звездочке, дрожащей в глубине черного неба: факел Селима.

Моя мать молилась: она была христианка.

Селим время от времени повторял священные слова:

«Велик аллах!»

Все же мать еще сохраняла некоторую надежду. Спускаясь в подземелье, она, как ей показалось, узнала того француза, который был послан в Константинополь и которому мой отец всецело доверял, так как знал, что воины французского султана обычно благородные и великодушные люди. Она подошла поближе к лестнице и прислушалась.

«Они приближаются, – сказала она, – ах, только бы они несли мир и жизнь!»

«Чего ты боишься, Василики? – ответил Селим мягко, ласково и в то же время гордо. – Если они не принесут мира, мы подарим им смерть».

Он оправлял пламя на своем копье, и это движение делало его похожим на Диониса древнего Крита.

Но я, маленькая и глупая, боялась этого мужества, которое мне казалось жестоким и безумным, страшилась этой ужасной смерти в воздухе и пламени.

Моя мать испытывала то же самое, и я чувствовала, как она дрожит.

«Боже мой, мамочка, – воскликнула я, – неужели мы сейчас умрем?»

И, услышав мои слова, невольницы начали еще громче стонать и молиться.

«Сохрани тебя бог, дитя, – сказала мне Василики, – дожить до такого дня, когда ты сама пожелаешь смерти, которой страшишься сегодня».

Потом она едва слышно спросила Селима:

«Какой приказ дал тебе господин?»

«Если он пошлет мне свой кинжал – значит, султан отказывает ему в прощении, и я все взрываю, если он пришлет свое кольцо – значит, султан прощает его, и я сдаю пороховой погреб».

«Друг, – сказала моя мать, – если господин пришлет кинжал, не дай нам умереть такой ужасной смертью; мы подставим тебе горло, убей нас этим самым кинжалом».

«Да, Василики», – спокойно ответил Селим.

Вдруг до нас долетели громкие голоса; мы прислушались; это были крики радости. Наши паликары выкрикивали имя француза, посланного в Константинополь; было ясно, что он привез ответ великого властелина и что этот ответ благоприятен.

– И вы все-таки не помните этого имени? – сказал Морсер, готовый оживить его в памяти рассказчицы.

Монте-Кристо сделал ему знак.

– Я не помню, – отвечала Гайде. – Шум все усиливался; раздались приближающиеся шаги: кто-то спускался в подземелье.

Селим держал копье наготове.

Вскоре какая-то тень появилась в голубоватом сумраке, который создавали у входа в подземелье слабые отблески дневного света.

«Кто ты? – крикнул Селим. – Но кто бы ты ни был, ни шагу дальше!»

«Слава султану! – ответила тень. – Визирь Али получил полное помилование: ему не только дарована жизнь, но возвращены все его сокровища и все имущество».

Моя мать радостно вскрикнула и прижала меня к своему сердцу.

«Постой! – сказал ей Селим, видя, что она уже бросилась к выходу. – Ты же знаешь, я должен получить кольцо».

«Это правда», – сказала моя мать; и она упала на колени и подняла меня к небу, словно моля бога за меня, она хотела, чтобы я была ближе к нему.

И снова Гайде умолкла, охваченная таким волнением, что на ее бледном лбу выступили капли пота, а задыхающийся голос, казалось, не мог вырваться из пересохшего горла.

Монте-Кристо налил в стакан немного ледяной воды и, подавая ей, сказал ласково, но все же с повелительной ноткой в голосе:

– Будь мужественна, дитя мое!

Гайде вытерла глаза и лоб и продолжала:

– Тем временем наши глаза, привыкшие к темноте, узнали посланца паши; это был наш друг.

Селим тоже узнал его, но храбрый юноша не забыл приказ: повиноваться.

«От чьего имени пришел ты?» – спросил он.

«Я пришел от имени нашего господина, Али-Тебелина».

«Если ты пришел от имени Али, тебе должно быть известно, что ты должен передать мне».

«Да, – отвечал посланец, – я и принес тебе его кольцо».

И он поднял руку над головой; но он стоял слишком далеко, и было недостаточно светло, чтобы Селим с того места, где мы стояли, мог различить и узнать предмет, который тот ему показывал.

«Я не вижу, что у тебя в руке», – сказал Селим.

«Подойди, – сказал посланный, – или я подойду к тебе».

«Ни то, ни другое, – отвечал молодой воин, – положи то, что ты мне показываешь, там, где ты стоишь, чтобы на него упал луч света, и отойди подальше, пока я не посмотрю на него».

«Хорошо», – сказал посланный.

И он отошел, положив на указанное ему место то, что держал в руке.

Наши сердца трепетали; нам казалось, что это действительно кольцо. Но было ли это кольцо моего отца?

Селим, не выпуская из рук зажженный факел, подошел, наклонился, озаренный лучом света, и поднял кольцо с земли.

«Кольцо господина, – сказал он, целуя его, – хорошо!»

И повернув факел к земле, он наступил на него ногой и погасил.

Посланец испустил крик радости и хлопнул в ладоши. По этому сигналу вбежали четыре воина сераскира Куршида, и Селим упал, пронзенный пятью кинжалами.

Тогда, опьяненные своим преступлением, хотя еще бледные от страха, они ринулись в подземелье, разыскивая, нет ли где огня, и хватаясь за мешки с золотом.

Тем временем мать схватила меня на руки и, легкая и проворная, побежала по известным только нам переходам к потайной лестнице, ведшей в верхнюю часть убежища, где царила страшная суматоха.

Залы были полны чодоарами Куршида – нашими врагами.

В ту секунду, когда моя мать уже собиралась распахнуть дверь, прогремел грозный голос паши.

Моя мать припала лицом к щели между досками; перед моими глазами случайно оказалось отверстие, и я заглянула в него.

«Что нужно вам?» – говорил мой отец людям, которые держали бумагу с золотыми буквами.

«Мы хотим сообщить тебе волю его величества, – сказал один из них. – Ты видишь этот фирман?»

«Да, вижу», – сказал мой отец.

«Так прочти, он требует твоей головы».

Мой отец ответил раскатами хохота, более страшного, чем всякая угроза. Он все еще смеялся, спуская курки двух своих пистолетов. Грянули два выстрела, и два человека упали мертвыми.

Паликары, лежавшие ничком вокруг моего отца, вскочили и открыли огонь; комната наполнилась грохотом, пламенем и дымом.

В тот же миг и с другой стороны началась пальба, и пули начали пробивать доски рядом с нами.

О, как прекрасен, как величествен был визирь Али-Тебелин, мой отец, среди пуль, с кривой саблей в руке, с лицом, почерневшим от пороха! Как перед ним бежали враги!

«Селим! Селим! – кричал он. – Хранитель огня, исполни свой долг!»

«Селим мертв, – ответил чей-то голос, как будто исходивший со дна убежища, – а ты, господин мой Али, ты погиб!»

В тот же миг раздался глухой залп, и пол вокруг моего отца разлетелся на куски.

Чодоары стреляли сквозь пол. Три или четыре паликара упали, сраженные пулями снизу, и тела их были изрешечены пулями.

Мой отец зарычал, вцепился пальцами в пробоины от пуль и вырвал из пола целую доску.

Но тут из этого отверстия грянуло двадцать выстрелов, и огонь, вырываясь, словно из кратера вулкана, охватил обивку стен и пожрал ее.

Среди этого ужасающего шума, среди этих страшных криков два самых громких выстрела, два самых раздирающих крика заставили меня похолодеть от ужаса. Эти два выстрела смертельно ранили моего отца, и это он дважды закричал так страшно.

И все же он остался стоять, схватившись за окно. Моя мать изо всех сил дергала дверь, чтобы вбежать и умереть вместе с ним, но дверь была заперта изнутри.

Вокруг него корчились в предсмертных судорогах паликары; двое или трое из них, не раненые или раненные легко, выскочили в окна.

И в это время треснул весь пол, разбиваемый ударами снизу. Мой отец упал на одно колено; в тот же миг протянулось двадцать рук, вооруженных саблями, пистолетами, кинжалами, двадцать ударов обрушились зараз на одного человека, и мой отец исчез в огненном вихре, зажженном этими рычащими дьяволами, словно ад разверзся у него под ногами.

Я почувствовала, что падаю на землю: моя мать потеряла сознание.

Гайде со стоном уронила руки на колени и взглянула на графа, словно спрашивая, доволен ли он ее послушанием.

Граф встал, подошел к ней, взял ее за руку и сказал по-гречески:

– Отдохни, милая, и воспрянь духом. Помни, что есть бог, карающий предателей.

– Какая ужасная история, граф, – сказал Альбер, сильно напуганный бледностью Гайде, – я очень упрекаю себя за свое жестокое любопытство.

– Ничего, – ответил Монте-Кристо и, положив руку на опущенную голову девушки, добавил: – У Гайде мужественное сердце, и,

рассказывая о своих несчастьях, она иногда находила в этом облегчение.

– Это оттого, повелитель, что мои несчастья напоминают мне о твоих благодеяниях, – живо сказала Гайде.

Альбер взглянул на нее с любопытством: она еще ничего не сказала о том, что ему больше всего хотелось узнать: каким образом она стала невольницей графа.

В глазах графа и в глазах Альбера Гайде прочла одно и то же желание.

Она продолжала:

– Когда мать моя пришла в себя, мы очутились перед сераскиром.

«Убейте меня, – сказала она, – но пощадите честь вдовы Али».

«Обращайся не ко мне», – сказал Куршид.

«А к кому же?»

«К твоему новому господину».

«Кто же это?»

«Вот он».

– И Куршид указал нам на одного из тех, кто более всего способствовал гибели моего отца, – продолжала Гайде, гневно сверкнув глазами.

– Таким образом, – спросил Альбер, – вы стали собственностью этого человека?

– Нет, – ответила Гайде, – он не посмел оставить нас у себя, он продал нас работорговцам, направлявшимся в Константинополь. Мы прошли всю Грецию и прибыли полумертвые к воротам императорского дворца. Перед дворцом собралась толпа любопытных; она расступилась, давая нам дорогу. Моя мать посмотрела в том направлении, куда были устремлены все взгляды, и вдруг вскрикнула и упала, указывая мне рукой на голову, торчавшую на копье над воротами.

Под этой головой были написаны следующие слова: «Вот голова Али-Тебелина, янинского паши».

Плача, пыталась я поднять мою мать; она была мертва!

Меня отвели на базар; меня купил богатый армянин. Он воспитал меня, дал мне учителей, а когда мне минуло тринадцать лет, продал меня

султану Махмуду.

– У которого, – сказал Монте-Кристо, – я откупил ее, как уже говорил вам, Альбер, за такой же изумруд, как тот, в котором я держу лепешки гашиша.

– О, ты добр, ты велик, мой господин, – сказала Гайде, целуя руки Монте-Кристо, – и я счастлива, что принадлежу тебе!

Альбер был ошеломлен всем, что он услышал.

– Допивайте же свой кофе, – сказал ему граф, – рассказ окончен.

# Часть пятая

# I. Нам пишут из Янины

Франц вышел из комнаты Нуартье такой потрясенный и растерянный, что даже Валентине стало жаль его.

Вильфор, который за все время тягостной сцены пробормотал лишь несколько бессвязных слов и затем поспешно удалился в свой кабинет, получил два часа спустя следующее письмо:

«После того что обнаружилось сегодня, г-н Нуартье де Вильфор едва ли допускает мысль о родственных отношениях между его семьей и семьей Франца д'Эпине. Франц д'Эпине с ужасом думает о том, что г-н де Вильфор, по-видимому, осведомленный об оглашенных сегодня событиях, не предупредил его об этом сам».

Тот, кто видел бы в эту минуту королевского прокурора, согбенного под тяжестью удара, мог бы предположить, что Вильфор этого удара не ожидал; и в самом деле Вильфор никогда не думал, чтобы его отец мог дойти до такой откровенности, вернее, беспощадности. Правда, г-н Нуартье, мало считавшийся с мнением сына, не нашел нужным осведомить его об этом событии, и Вильфор всегда думал, что генерал де Кенель, или, если угодно, барон д'Эпине, погиб от руки убийцы, а не в честном поединке.

Это жестокое письмо всегда столь почтительного молодого человека было убийственно для самолюбия Вильфора.

Едва успел он пройти в свой кабинет, как к нему вошла жена.

Уход Франца, которого вызвал к себе г-н Нуартье, настолько всех удивил, что положение г-жи де Вильфор, оставшейся в обществе нотариуса и свидетелей, становилось все затруднительнее. Наконец она решительно встала и вышла из комнаты, заявив, что пойдет узнать, в чем дело.

Вильфор сообщил ей только, что после происшедшего между ним, Нуартье и д'Эпине объяснения брак Валентины и Франца состояться не может.

Невозможно было объявить это ожидавшим; поэтому г-жа де Вильфор, вернувшись в гостиную, сказала, что с г-ном Нуартье случилось нечто вроде удара, так что подписание договора придется отложить на несколько дней.

Это известие, хоть и совершенно ложное, так странно дополняло два однородных случая в этом доме, что присутствующие удивленно переглянулись и молча удалились.

Тем временем Валентина, счастливая и испуганная, нежно поцеловала беспомощного старика, одним ударом разбившего цепи, которые она уже считала нерасторжимыми, попросила разрешения уйти к себе и отдохнуть. Нуартье взглядом отпустил ее.

Но вместо того чтобы подняться к себе, Валентина, выйдя из комнаты деда, пошла по коридору и через маленькую дверь выбежала в сад. Среди всей этой смены событий сердце ее сжималось от тайной тревоги. С минуты на минуту она ждала, что появится Моррель, бледный и грозный, как Ревенсвуд в «Ламмермурской невесте».

Она вовремя подошла к решетке. Максимилиан увидел, как Франц уехал с кладбища вместе с Вильфором, догадался о том, что должно произойти, и поехал следом. Он видел, как Франц вошел в дом, потом вышел и через некоторое время вновь вернулся с Альбером и Шато-Рено. Таким образом, у него уже не было никаких сомнений. Тогда он бросился в огород, готовый на все и не сомневаясь, что Валентина при первой возможности прибежит к нему.

Он не ошибся; заглянув в щель, он увидел Валентину, которая, не принимая обычных мер предосторожности, бежала прямо к воротам.

Едва увидев ее, он успокоился; едва она заговорила, он подпрыгнул от радости.

– Спасены! – воскликнула Валентина.

– Спасены! – повторил Моррель, не веря своему счастью. – Но кто же нас спас?

– Дедушка. Всегда любите его, Моррель!

Моррель поклялся любить старика всей душой, и ему нетрудно было дать эту клятву, потому что в эту минуту он не только любил его, как

друга или отца, он поклонялся ему, как божеству.

– Но как это произошло? – спросил Моррель. – Что он сделал?

Валентина уже готова была все рассказать, но вспомнила, что за всем этим скрывается страшная тайна, которая принадлежит не только ее деду.

– Когда-нибудь я вам все расскажу, – сказала она.

– Когда же?

– Когда буду вашей женой.

Такими словами можно было заставить Морреля согласиться на все; поэтому он покорно удовольствовался услышанным и даже согласился немедленно уйти, но только при условии, что увидится с Валентиной на следующий день вечером.

Валентина обещала. Все изменилось для нее, и ей было легче поверить теперь, что она выйдет за Максимилиана, чем час тому назад поверить, что она не выйдет за Франца.

Тем временем г-жа де Вильфор поднялась к Нуартье.

Нуартье, как всегда, встретил ее мрачным и строгим взглядом.

– Сударь, – обратилась она к нему, – мне незачем говорить вам, что свадьба Валентины расстроилась, раз все это произошло именно здесь.

Нуартье был невозмутим.

– Но вы не знаете, – продолжала г-жа де Вильфор, – что я всегда была против этого брака и он устраивался помимо меня.

Нуартье посмотрел на свою невестку, как бы ожидая объяснения.

– А так как теперь этот брак, которого вы не одобряли, расторгнут, я являюсь к вам с просьбой, с которой ни мой муж, ни Валентина не могут к вам обратиться.

Нуартье вопросительно посмотрел на нее.

– Я пришла просить вас, – продолжала г-жа де Вильфор, – и только я одна имею на это право, потому что я одна ничего от этого не выигрываю, – чтобы вы вернули своей внучке не любовь, – она всегда ей принадлежала, – но ваше состояние.

В глазах Нуартье выразилось колебание; по-видимому, он искал причин этой просьбы и не находил их.

– Могу ли я надеяться, сударь, – сказала г-жа де Вильфор, – что ваши намерения совпадают с моей просьбой?

– Да, – показал Нуартье.

– В таком случае, сударь, – сказала г-жа де Вильфор, – я ухожу от вас счастливая и благодарная. – И, поклонившись старику, она вышла из комнаты.

На следующий же день Нуартье вызвал нотариуса. Первое завещание было уничтожено и составлено новое, по которому он оставлял все свое состояние Валентине с тем условием, что его с ней не разлучат.

Нашлись люди, которые подсчитали, что мадемуазель де Вильфор, наследница маркиза и маркизы де Сен-Меран и к тому же вернувшая себе милость своего деда, в один прекрасный день станет обладательницей почти трехсот тысяч ливров годового дохода.

Между тем граф Монте-Кристо посетил графа де Морсера, и тот, чтобы доказать Данглару свою готовность, нарядился в парадный генерал-лейтенантский мундир со всеми орденами и велел подать лучший выезд.

Он отправился на улицу Шоссе-д'Антен и велел доложить о себе Данглару, который как раз подводил свой месячный баланс.

В последнее время, чтобы застать Данглара в хорошем расположении духа, лучше было выбирать другую минуту.

При виде старого друга Данглар принял величественный вид и выпрямился в кресле.

Морсер, обычно столь чопорный, старался, напротив, быть веселым и приветливым. Почти уверенный в том, что его предложение будет встречено с радостью, он отбросил всякую дипломатию и сразу приступил к делу.

– Я к вам, барон, – сказал он. – Мы с вами уже давно ходим вокруг да около наших старых планов...

Морсер ждал, что при этих словах лицо барона просияет, потому что именно своему долгому молчанию он приписывал его хмурый вид; но, напротив, как ни странно, это лицо стало еще более бесстрастным и холодным.

Вот почему Морсер остановился на середине своей фразы.

– Какие планы, граф? – спросил банкир, словно не понимая, о чем идет речь.

– Вы большой педант, дорогой барон, – сказал граф. – Я упустил из виду, что церемониал должен быть проделан по всем правилам. Ну что ж, прошу прощения. Ведь у меня один только сын, и так как я впервые собираюсь его женить, то я новичок в этом деле; извольте, я повинуюсь.

И Морсер, принужденно улыбаясь, встал, отвесил Данглару глубокий поклон и сказал:

– Барон, я имею честь просить руки мадемуазель Эжени Данглар, вашей дочери, для моего сына, виконта Альбера де Морсера.

Но вместо того чтобы встретить эти слова благосклонно, как имел право надеяться Морсер, Данглар нахмурился и, не приглашая графа снова сесть, сказал:

– Прежде чем дать вам ответ, граф, мне необходимо подумать.

– Подумать! – возразил изумленный Морсер. – Разве у вас не было времени подумать? Ведь восемь лет прошло с тех пор, как мы с вами впервые заговорили об этом браке.

– Каждый день возникают новые обстоятельства, граф, – отвечал Дангар, – они вынуждают людей менять уже принятые решения.

– Что это значит? – спросил Морсер. – Я вас не понимаю, барон!

– Я хочу сказать, сударь, что вот уже две недели, как новые обстоятельства...

– Позвольте, – сказал Морсер, – зачем нам разыгрывать эту комедию?

– Какую комедию?

– Объяснимся начистоту.

– Извольте.

– Вы виделись с графом Монте-Кристо?

– Я вижу его очень часто, – важно сказал Данглар. – Мы с ним друзья.

– И в одну из последних встреч вы ему сказали, что вас удивляет моя забывчивость, моя нерешительность касательно этого брака.

– Совершенно верно.

– Так вот, как видите, с моей стороны нет ни забывчивости, ни нерешительности, напротив, я явился просить вас выполнить ваше

обещание.

Данглар ничего не ответил.

– Может быть, вы успели передумать, – прибавил Морсер, – или вы меня вызвали на этот шаг, чтобы иметь удовольствие унизить меня?

Данглар понял, что, если он будет продолжать разговор в том же тоне, это может грозить ему неприятностями.

– Граф, – сказал он, – вы имеете полное право удивляться моей сдержанности, я вполне вас понимаю. Поверьте, я сам очень этим огорчен, но меня вынуждают к этому весьма серьезные обстоятельства.

– Все это отговорки, сударь, – возразил граф, – другой на моем месте, быть может, и удовлетворился бы ими; но граф де Морсер – не первый встречный. Когда он является к человеку и напоминает ему о данном слове, а этот человек не желает свое слово сдержать, то он имеет право требовать хотя бы объяснения.

Данглар был трусом, но не хотел казаться им; тон Морсера задел его за живое.

– Объяснение у меня, конечно, имеется, – возразил он.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, что хотя объяснение у меня и имеется, но дать его нелегко.

– Но согласитесь, – сказал Морсер, – что я не могу удовольствоваться вашими недомолвками; во всяком случае, для меня ясно, что вы отвергаете родственный союз между нами.

– Нет, сударь, – ответил Данглар, – я только откладываю свое решение.

– Но не думаете же вы, что я подчинюсь вашей прихоти и буду смиренно ждать, пока вы мне вернете свое благоволение?

– В таком случае, граф, если вам не угодно ждать, будем считать, что наши планы не осуществились.

Граф до боли закусил губу, чтобы не дать воли своему высокомерному и вспыльчивому нраву; он понимал, что при данных обстоятельствах он один окажется в смешном положении. Он направился было к двери, но вдруг раздумал и вернулся.

Тень прошла по его лицу, выражение оскорбленной гордости сменилось признаками смутного беспокойства.

– Послушайте, дорогой Данглар, – сказал он, – мы с вами знакомы не первый год и должны немного считаться друг с другом. Я прошу вас объясниться. Должен же я по крайней мере знать, какое злополучное обстоятельство заставило вас изменить свое отношение к моему сыну.

– Это ни в какой мере не касается лично виконта, вот все, что я могу вам сказать, – отвечал Данглар, к которому вернулась его наглость, когда он увидел, что Морсер несколько смягчился.

– А кого это касается? – побледнев, спросил Морсер изменившимся голосом.

Данглар, от которого не ускользнуло его волнение, посмотрел на него более уверенным взглядом, чем обычно.

– Будьте благодарны мне за то, что я не выражаюсь яснее, – сказал он.

Нервная дрожь, вызванная, вероятно, сдерживаемым гневом, охватила Морсера.

– Я имею право, – ответил он, делая над собой усилие, – и я требую, чтобы вы объяснились. Может быть, вы имеете что-нибудь против госпожи де Морсер? Может быть, вы считаете, что я недостаточно богат? Может быть, мои взгляды не сходны с вашими?..

– Ни то, ни другое, ни третье, – сказал Данглар, – это было бы непростительно с моей стороны, потому что, когда я давал слово, я все это знал. Не допытывайтесь. Я очень сожалею, что так встревожил вас. Поверьте, лучше оставим это. Примем среднее решение: ни разрыв, ни обязательство. Зачем спешить? Моей дочери семнадцать лет, вашему сыну двадцать один. Подождем. Пусть пройдет время, может быть, то, что сегодня нам кажется неясным, завтра станет слишком ясным; бывает, что в один день опровергается самая убийственная клевета.

– Клевета? – воскликнул Морсер, смертельно бледнея. – Так меня оклеветали?

– Повторяю вам, граф, не требуйте объяснений.

– Итак, сударь, я должен молча снести отказ?

– Он особенно тягостен для меня, сударь. Да, мне он тяжелее, чем вам, потому что я надеялся иметь честь породниться с вами, а несостоявшийся брак всегда бросает большую тень на невесту, чем на жениха.

– Хорошо, сударь, прекратим этот разговор, – сказал Морсер.

И, яростно комкая перчатки, он вышел из комнаты.

Данглар отметил про себя, что Морсер ни разу не решился спросить, не из-за него ли самого Данглар берет назад свое слово.

Вечером он долго совещался с несколькими друзьями; Кавальканти, который все время находился с дамами в гостиной, последним покинул его дом.

На следующий день, едва проснувшись, Данглар спросил газеты; как только их принесли, он, отбросив остальные, схватился за «Беспристрастный голос».

Редактором этой газеты был Бошан.

Данглар поспешно сорвал бандероль, нетерпеливо развернул газету, с пренебрежением пропустил передовую и, дойдя до хроники, со злобной улыбкой прочитал заметку, начинавшуюся словами: *Нам пишут из Янины.*

– Отлично, – сказал он, прочитав ее, – вот маленькая статейка о полковнике Фернане, которая, по всей вероятности, избавит меня от необходимости давать какие-либо объяснения графу де Морсеру.

В это же время, а именно в девять часов утра, Альбер де Морсер, весь в черном, застегнутый на все пуговицы, бледный и взволнованный, явился в дом на Елисейских полях.

– Граф вышел с полчаса тому назад, – сказал привратник.

– А Батистена он взял с собой? – спросил Морсер.

– Нет, господин виконт.

– Позовите Батистена, я хочу с ним поговорить.

Привратник пошел за камердинером и через минуту вернулся вместе с ним.

– Друг мой, – сказал Альбер, – прошу простить мою настойчивость, но я хотел лично от вас услышать, действительно ли графа нет дома.

– Да, сударь, – отвечал Батистен.

– Даже для меня?

– Я знаю, насколько граф всегда рад вас видеть, и я никогда не посмел бы поставить вас на одну доску с другими.

– И ты прав, мне нужно его видеть по важному делу. Скоро ли он вернется?

– Думаю, что скоро: он заказал завтрак на десять часов.

– Отлично, я пройдусь по Елисейским полям и в десять часов вернусь сюда; если граф вернется раньше меня, передай, что я прошу его подождать меня.

– Будет исполнено, сударь.

Альбер оставил у ворот графа наемный кабриолет, в котором он приехал, и отправился пешком.

Когда он проходил мимо Аллеи Вдов, ему показалось, что у тира Госсе стоит экипаж графа; он подошел и узнал кучера.

– Граф в тире? – спросил его Морсер.

– Да, сударь, – ответил кучер.

В самом деле, еще подходя к тиру, Альбер слышал выстрелы.

Он вошел. В палисаднике он встретил служителя.

– Простите, господин виконт, – сказал тот, – но не угодно ли вам немного подождать?

– Почему, Филипп? – спросил Альбер; он был завсегдатаем тира, и неожиданное препятствие удивило его.

– Потому что то лицо, которое сейчас упражняется, абонирует весь тир только для себя одного и никогда не стреляет при других.

– И даже при вас, Филипп?

– Вы видите, сударь, я стою здесь.

– А кто заряжает пистолеты?

– Его слуга.

– Нубиец?

– Негр.

– Так и есть.

– Вы знаете этого господина?

– Я пришел за ним; это мой друг.

– В таком случае другое дело. Я скажу ему. – И Филипп, подстрекаемый любопытством, прошел в тир.

Через секунду на пороге появился Монте-Кристо.

– Простите, дорогой граф, что я врываюсь к вам сюда, – сказал Альбер. – Но прежде всего должен вам сказать, что ваши слуги не виноваты: это я сам так настойчив. Я был у вас; мне сказали, что вы отправились на прогулку, но к десяти часам вернетесь завтракать. Я тоже решил до десяти погулять и случайно увидал ваш экипаж.

– Из этого я с удовольствием заключаю, что вы приехали позавтракать со мной.

– Благодарю, мне сейчас не до завтрака; быть может, позже мы и позавтракаем, но только в несколько неприятной компании!

– Что такое, не понимаю?

– Дорогой граф, у меня сегодня дуэль.

– У вас? А зачем?

– Да чтобы драться, конечно!

– Я понимаю, но ради чего? Драться можно по многим поводам.

– Затронута моя честь.

– Это дело серьезное.

– Настолько серьезное, что я приехал к вам просить об одной услуге.

– О какой?

– Быть моим секундантом.

– Дело нешуточное; не будем говорить об этом здесь, поедем ко мне. Али, подай мне воды.

Граф засучил рукава и прошел в маленькую комнатку, где посетители тира обычно мыли руки.

– Войдите, виконт, – шепотом сказал Филипп, – вам будет любопытно взглянуть.

Морсер вошел. На прицельной доске вместо мишени были наклеены игральные карты. Издали Морсеру показалось, что там вся колода, кроме фигур, – от туза до десятки.

– Вы играли в пикет? – спросил Альбер.

– Нет, – отвечал граф, – я составлял колоду.

– Колоду?

– Да, видите, это тузы и двойки, но мои пули сделали из них тройки, пятерки, семерки, восьмерки, девятки и десятки.

Альбер подошел ближе.

В самом деле, по совершенно прямой линии и на совершенно точном расстоянии пули заменили собой отсутствующие знаки и пробили картон в тех метах, где эти знаки должны были быть отпечатаны.

Подходя к доске, Альбер, кроме того, подобрал трех ласточек, которые имели неосторожность пролететь на пистолетный выстрел от графа.

– Черт возьми! – воскликнул он.

– Что поделаешь, дорогой виконт, – сказал Монте-Кристо, вытирая руки полотенцем, которое ему подал Али, – надо же чем-нибудь заполнить свой досуг. Но идемте, я вас жду.

Они сели в карету Монте-Кристо, которая в несколько минут доставила их к воротам дома № 30.

Монте-Кристо провел Морсера в свой кабинет и указал ему на кресло.

Оба сели.

– Теперь поговорим спокойно, – сказал граф.

– Вы видите, что я совершенно спокоен.

– С кем вы собираетесь драться.

– С Бошаном.

– С вашим другом?

– Дерутся всегда с друзьями.

– Но для этого нужна причина.

– Причина есть.

– Что он сделал?

– Вчера вечером в его газете… Да вот прочтите.

Альбер протянул Монте-Кристо газету, и тот прочел:

– *«Нам пишут из Янины.*

До нашего сведения дошел факт, никому до сих пор не известный или, во всяком случае, никем не оглашенный: крепости, защищавшие город, были выданы туркам одним французским офицером, которому визирь Али-Тебелин вполне доверился и которого звали Фернан».

– Ну и что? – спросил Монте-Кристо. – Что вы нашли в этом оскорбительного для себя?

– Как что я нашел?

– Какое вам дело до того, что крепости Янины были выданы офицером по имени Фернан?

– А такое, что моего отца, графа де Морсера, зовут Фернан.

– И ваш отец был на службе у Али-паши?

– То есть он сражался за независимость Греции: вот в чем заключается клевета.

– Послушайте, дорогой виконт, поговорим здраво.

– Извольте.

– Скажите мне, кто во Франции знает, что офицер Фернан и граф де Морсер одно и то же лицо, и кого сейчас интересует Янина, которая была взята, если не ошибаюсь, в тысяча восемьсот двадцать втором или тысяча восемьсот двадцать третьем году?

– Вот это и подло; столько времени молчали, а теперь вспоминают о давно минувших событиях, чтобы вызвать скандал и опорочить человека, занимающего высокое положение. Я наследник отцовского имени и не желаю, чтобы на него падала даже тень подозрения. Я пошлю секундантов к Бошану, в газете которого напечатана эта заметка, и он опровергнет ее.

– Бошан ничего не опровергнет.

– В таком случае мы будем драться.

– Нет, вы не будете драться, потому что он вам ответит, что в греческой армии могло быть полсотни офицеров по имени Фернан.

– Все равно, мы будем драться. Я этого так не оставлю… Мой отец такой благородный воин, такое славное имя…

– А если он напишет: «Мы имеем основания считать, что этот Фернан не имеет ничего общего с графом де Морсером, которого также зовут Фернан?»

– Мне нужно настоящее, полное опровержение; таким я не удовлетворюсь!

– И вы пошлете ему секундантов?

– Да.

– Напрасно.

– Иными словами, вы не хотите оказать мне услугу, о которой я вас прошу?

– Вы же знаете мои взгляды на дуэль; я вам уже высказывал их в Риме, помните?

– Однако, дорогой граф, не далее как сегодня я застал вас за упражнением, которое плохо вяжется с вашими взглядами.

– Дорогой друг, никогда не следует быть исключением. Если живешь среди сумасшедших, надо и самому научиться быть безумным; каждую минуту может встретиться какой-нибудь сумасброд, у которого будет столько же оснований ссориться со мной, как у вас с Бошаном, и из-за невесть какой нелепости он вызовет меня или пошлет мне секундантов, или оскорбит меня публично; такого сумасброда мне поневоле придется убить.

– Стало быть, вы допускаете для себя возможность дуэли?

– Еще бы!

– Тогда почему же вы хотите, чтобы я не дрался?

– Я вовсе не говорю, что вам не следует драться. Я говорю только, что дуэль – дело серьезное и требует размышления.

– А Бошан размышлял, когда оскорбил моего отца?

– Если нет и если он признает это, вам не следует на него сердиться.

– Дорогой граф, вы слишком снисходительны!

– А вы слишком строги. Предположим... вы слышите: предположим... Только не вздумайте сердиться на то, что я вам скажу.

– Я слушаю вас.

– Предположим, что приведенный факт имел место...

– Сын не может допустить предположения, которое затрагивает честь отца.

– В наше время многое допускается.

– Этим и плохо наше время.

– А вы намерены его исправить?

– Да, в том, что касается меня.

– Я не знал, что вы такой ригорист!

– Так уж я создан.

– И вы никогда не слушаетесь добрых советов?

– Нет, слушаюсь, если они исходят от друга.

– Меня вы считаете своим другом?

– Да.

– Тогда раньше, чем посылать секундантов к Бошану, наведите справки.

– У кого?

– Хотя бы у Гайде.

– Вмешивать в это женщину? Что она может сказать мне?

– Заверить вас, скажем, что ваш отец не повинен в поражении и смерти ее отца, и дать вам нужные разъяснения, если бы вдруг оказалось, что ваш отец имел несчастье...

– Я уже вам сказал, дорогой граф, что не могу допустить подобного предположения.

– Значит, вы отказываетесь прибегнуть к этому способу?

– Отказываюсь.

– Решительно?

– Решительно!

– В таком случае последний вам совет.

– Хорошо, но только последний.

– Или вы его не желаете?

– Напротив, я прошу.

– Не посылайте к Бошану секундантов.

– Почему?

– Пойдите к нему сами.

– Это против всех правил.

– Ваше дело не такое, как все.

– А почему вы считаете, что мне следует отправиться к нему лично?

– Потому что в этом случае все останется между вами и Бошаном.

– Я вас не понимаю.

– Это очень ясно: если Бошан будет склонен взять свои слова обратно, вы дадите ему возможность сделать это по доброй воле и в результате все-таки добьетесь опровержения. Если же он откажется, вы всегда успеете посвятить в вашу тайну двух посторонних.

– Не посторонних, а друзей.

– Сегодняшние друзья – завтрашние враги.

– Бросьте!

– А Бошан?

– Итак...

– Итак, будьте осторожны.

– Значит, вы считаете, что я должен сам пойти к Бошану?

– Да.

– Один?

– Один. Если хочешь, чтобы человек поступился своим самолюбием, надо оградить это самолюбие от излишних уколов.

– Пожалуй, вы правы.

– Я очень рад.

– Я поеду один.

– Поезжайте; но еще лучше – не ездите вовсе.

– Это невозможно.

– Как знаете, все же это лучше того, что вы хотели сделать.

– Но если, несмотря на всю осторожность, на все принятые мною меры, дуэль все-таки состоится, вы будете моим секундантом?

– Дорогой виконт, – серьезно сказал Монте-Кристо, – однажды вы имели случай убедиться в моей готовности оказать вам услугу, но сейчас вы просите невозможного.

– Почему?

– Быть может, когда-нибудь узнаете.

– А до тех пор?

– Я прошу вашего разрешения сохранить это в тайне.

– Хорошо. Я попрошу Франца и Шато-Рено.

– Отлично, попросите Франца и Шато-Рено.

– Но если я буду драться, вы не откажетесь дать мне урок фехтования или стрельбы из пистолета?

– Нет, и это невозможно.

– Какой вы странный человек! Значит, вы не желаете ни во что вмешиваться?

– Ни во что.

– В таком случае не будем об этом говорить. До свидания, граф.

Альбер взял шляпу и вышел.

У ворот его дожидался кабриолет; стараясь сдержать свой гнев, Альбер поехал к Бошану; Бошан был в редакции.

Альбер поехал в редакцию.

Бошан сидел в темном, пыльном кабинете, какими всегда были и будут редакционные помещения.

Ему доложили о приходе Альбера де Морсера. Он заставил повторить это имя два раза; затем, все еще не веря, крикнул:

– Войдите!

Альбер вошел.

Бошан ахнул от удивления, увидев своего друга.

Альбер шагал через кипы бумаги, неловко пробираясь между газетами всех размеров, которые усеивали крашеный пол кабинета.

– Сюда, сюда, дорогой, – сказал Бошан, протягивая руку Альберу, – каким ветром вас занесло? Вы заблудились, как Мальчик-с-пальчик, или просто хотите со мной позавтракать? Поищите себе стул; вон там стоит один, рядом с геранью, она одна напоминает мне о том, что лист может быть не только газетным.

– Как раз из-за вашей газеты я и приехал, – сказал Альбер.

– Вы? А в чем дело?

– Я требую опровержения.

– Опровержения? По какому поводу? Да садитесь же!

– Благодарю вас, – сдержанно ответил Альбер с легким поклоном.

– Объясните.

– Я хочу, чтобы вы опровергли одно сообщение, которое затрагивает честь члена моей семьи.

– Да что вы! – сказал Бошан, донельзя изумленный. – Какое сообщение? Этого не может быть.

– Сообщение, которое вы получили из Янины.

– Из Янины?

– Да. Разве вы не понимаете, о чем я говорю?

– Честное слово… Батист, дайте вчерашнюю газету! – крикнул Бошан.

– Не надо, у меня есть.

Бошан прочел:

– *«Нам пишут из Янины»* – и т. д., и т. д.

– Теперь вы понимаете, что дело серьезное, – сказал Морсер, когда Бошан дочитал заметку.

– А этот офицер ваш родственник? – спросил журналист.

– Да, – ответил, краснея, Альбер.

– Что же вы хотите, чтобы я для вас сделал? – кротко сказал Бошан.

– Я бы хотел, Бошан, чтобы вы поместили опровержение.

Бошан посмотрел на Альбера внимательно и дружелюбно.

– Давайте поговорим, – сказал он, – ведь опровержение это очень серьезная вещь. Садитесь, я еще раз прочту заметку.

Альбер сел, и Бошан с большим вниманием, чем в первый раз, прочел строчки, вызвавшие гнев его друга.

– Вы сами видите, – сказал твердо, даже резко Альбер, – в вашей газете оскорбили члена моей семьи, и я требую опровержения.

– Вы… требуете…

– Да, требую.

– Разрешите мне сказать вам, дорогой виконт, что вы плохой дипломат.

– Да я и не стремлюсь быть дипломатом, – возразил Альбер, вставая. – Я требую опровержения этой заметки, и я его добьюсь. Вы мой друг, – продолжал Альбер сквозь зубы, видя, что Бошан надменно поднял голову, – и, надеюсь, вы достаточно меня знаете, чтобы понять мою настойчивость.

– Я ваш друг, Морсер. Но я могу забыть об этом, если вы будете и дальше разговаривать в таком тоне… Но не будем ссориться, пока это

возможно... Вы взволнованы, раздражены... Скажите, кем вам доводится этот Фернан?

– Это мой отец, – сказал Альбер. – Фернан Мондего, граф де Морсер, старый воин, участник двадцати сражений, и его благородное имя хотят забросать грязью.

– Ваш отец? – сказал Бошан. – Это другое дело, я понимаю ваше возмущение, дорогой Альбер... Прочтем еще раз...

И он снова перечитал заметку, на этот раз взвешивая каждое слово.

– Но где же тут сказано, что этот Фернан – ваш отец? – спросил Бошан.

– Нигде, я знаю; но другие это увидят. Вот почему я и требую опровержения этой заметки.

При слове *требую* Бошан поднял глаза на Альбера и, сразу же опустив их, на минуту задумался.

– Вы дадите опровержение? – с возрастающим гневом, но все еще сдерживаясь, повторил Альбер.

– Да, – сказал Бошан.

– Ну слава богу! – сказал Альбер.

– Но лишь после того, как удостоверюсь, что сообщение ложное.

– Как!

– Да, это дело стоит того, чтобы его расследовать, и я это сделаю.

– Но что же тут расследовать, сударь? – сказал Альбер, выходя из себя. – Если вы не верите, что речь идет о моем отце, скажите прямо; если же вы думаете, что речь идет о нем, я требую удовлетворения.

Бошан взглянул на Альбера с присущей ему улыбкой, которой он умел выражать любое чувство.

– Сударь, раз уж вам угодно пользоваться этим обращением, – возразил он, – если вы пришли требовать удовлетворения, то с этого следовало начать, а не говорить со мной о дружбе и о других пустяках, которые я терпеливо выслушиваю уже полчаса. Вам угодно, чтобы мы с вами стали на этот путь?

– Да, если вы не опровергнете эту гнусную клевету!

– Одну минуту! Попрошу вас без угроз, господин Фернан де Мондего виконт де Морсер, я не терплю их ни от врагов, ни тем более от друзей. Итак, вы хотите, чтобы я опроверг заметку о полковнике Фернане, заметку, к которой я, даю вам слово, совершенно непричастен?

– Да, я этого требую! – сказал Альбер, теряя самообладание.

– Иначе дуэль? – продолжал Бошан все так же спокойно.

– Да! – заявил Альбер, повысив голос.

– Ну, так вот мой ответ, милостивый государь, – сказал Бошан, – эту заметку поместил не я, я ничего о ней не знал. Но вы привлекли к ней мое внимание, она меня заинтересовала. Поэтому она останется в неприкосновенности, пока не будет опровергнута или же подтверждена теми, кому ведать надлежит.

– Итак, милостивый государь, – сказал Альбер, вставая, – я буду иметь честь прислать вам моих секундантов; вы с ними условитесь о месте и выборе оружия.

– Превосходно, милостивый государь.

– И сегодня вечером, если вам угодно, или, самое позднее, завтра мы встретимся.

– Нет, нет! Я явлюсь на поединок, когда наступит для этого время, а по моему мнению (я имею право выражать свое мнение, потому что вы меня вызвали), время еще не настало. Я знаю, что вы отлично владеете шпагой, я владею ею сносно; я знаю, что вы из шести три раза попадаете в цель, я – приблизительно так же; я знаю, что дуэль между нами будет серьезным делом, потому что вы храбры, и я... не менее. Поэтому я не желаю убивать вас или быть убитым вами без достаточных оснований. Теперь я сам, в свою очередь, поставлю вопрос, и ка-те-го-ри-чески. Настаиваете ли вы на этом опровержении так решительно, что готовы убить меня, если я его не помещу, несмотря на то что я вам уже сказал и повторяю и заверяю вас своей честью: я ничего об этой заметке не знал, и никому, кроме такого чудака, как вы, никогда и в голову не придет, что под именем Фернана может подразумеваться граф де Морсер?

– Я безусловно на этом настаиваю.

– Ну что же, милостивый государь, я даю свое согласие на то, чтобы мы перерезали друг другу горло, но я требую три недели сроку. Через три недели я вам скажу либо: «Это ложная заметка» и возьму ее обратно; либо: «Это правда», – и мы вынем шпаги из ножен или пистолеты из ящика, по вашему выбору.

– Три недели! – воскликнул Альбер. – Но ведь это три вечности бесчестия для меня!

– Если бы мы оставались друзьями, я бы сказал вам: терпение, друг; вы стали моим врагом, и я говорю вам: а мне что за дело, милостивый государь?

– Хорошо, через три недели, – сказал Альбер. – Но помните, через три недели уже не будет никаких отсрочек, никаких отговорок, которые могли бы вас избавить...

– Господин Альбер де Морсер, – сказал Бошан, в свою очередь, вставая, – я не имею права выбросить вас в окно раньше, чем через три недели, а вы не имеете права заколоть меня раньше этого времени. Сегодня у нас двадцать девятое августа; следовательно, до двадцать первого сентября. А пока, поверьте – и это совет джентльмена, – лучше нам не кидаться друг на друга, как две цепные собаки.

И Бошан, сдержанно поклонившись Альберу, повернулся к нему спиной и прошел в типографию.

Альбер отвел душу на кипе газет, которую он раскидал яростными ударами трости; после чего он удалился, не преминув несколько раз оглянуться в сторону типографии.

Когда Альбер, отхлестав ни в чем не повинную печатную бумагу, проезжал бульвар, яростно колотя тростью по передку своего кабриолета, он заметил Морреля, который, высоко вскинув голову, блестя глазами, бодрой походкой шел мимо Китайских бань, направляясь к церкви Мадлен.

– Вот счастливый человек! – сказал Альбер со вздохом.

На этот раз он не ошибся.

# II. Лимонад

И в самом деле Моррель был очень счастлив.

Старик Нуартье только что прислал за ним, и он так спешил узнать причину этого приглашения, что даже не взял кабриолета, надеясь больше на собственные ноги, чем на ноги наемной клячи; он почти бегом пустился в предместье Сент-Оноре.

Моррель шел гимнастическим шагом, и бедный Барруа едва поспевал за ним. Моррелю был тридцать один год, Барруа – шестьдесят; Моррель был упоен любовью, Барруа страдал от жажды и жары. Эти два человека, столь далекие по интересам и по возрасту, походили на две стороны треугольника: разделенные основанием, они сходились у вершины.

Вершиной этой был Нуартье, пославший за Моррелем и наказавший ему поспешить, что Моррель и исполнял в точности, к немалому отчаянию Барруа.

Прибыв на место, Моррель даже не запыхался: любовь окрыляет, но Барруа, уже давно забывший о любви, был весь в поту.

Старый слуга ввел Морреля через известный нам отдельный ход, запер дверь кабинета, и немного погодя шелест платья возвестил о приходе Валентины.

В трауре Валентина была необыкновенно хороша.

Моррелю казалось, что он грезит наяву, и он готов был отказаться от беседы с Нуартье; но вскоре послышался шум кресла, катящегося по паркету, и появился старик.

Нуартье приветливо слушал Морреля, который благодарил его за чудесное вмешательство, спасшее его и Валентину от отчаяния. Потом вопрошающий взгляд Морреля обратился на Валентину, которая сидела поодаль и робко ожидала минуты, когда она будет вынуждена заговорить.

Нуартье, в свою очередь, взглянул на нее.

– Я должна сказать то, что вы мне поручили? – спросила она.

– Да, – ответил Нуартье.

– Господин Моррель, – сказала тогда Валентина, обращаясь к Максимилиану, пожиравшему ее глазами, – за эти три дня дедушка сказал мне многое из того, что он хотел сообщить вам. Сегодня он послал за вами, чтобы я это вам пересказала. Он выбрал меня своей переводчицей, и я вам все повторю слово в слово.

– Я жду с нетерпением, мадемуазель, – отвечал Моррель, – говорите, прошу вас.

Валентина опустила глаза; это показалось Моррелю хорошим предзнаменованием: Валентина проявляла слабость только в минуты счастья.

– Дедушка хочет уехать из этого дома, – сказала она. – Барруа подыскивает ему помещение.

– А вы, – сказал Моррель, – ведь господин Нуартье вас так любит и вы ему так необходимы?

– Я не расстанусь с дедушкой, – ответила Валентина, – это решено. Я буду жить подле него. Если господин де Вильфор согласится на это, я уеду немедленно. Если же он откажет мне, придется подождать до моего совершеннолетия, до которого осталось десять месяцев. Тогда я буду свободна, независима и...

– И?.. – спросил Моррель.

– ...и, с согласия дедушки, сдержу слово, которое я вам дала.

Валентина так тихо произнесла последние слова, что Моррель не расслышал бы их, если бы не вслушивался с такой жадностью.

– Верно ли я выразила вашу мысль, дедушка? – прибавила Валентина, обращаясь к Нуартье.

– Да, – ответил взгляд старика.

– Когда я буду жить у дедушки, – прибавила Валентина, – господин Моррель сможет видеться со мной в присутствии моего доброго и почитаемого покровителя. Если узы, которые связывают наши, быть может, неопытные и изменчивые сердца, встретят его одобрение и после этого испытания послужат порукой нашему будущему счастью (увы! говорят, что сердца, воспламененные препятствиями, охладевают в

благополучии!), то господину Моррелю будет разрешено просить моей руки, я буду ждать...

– Чем я заслужил, что на мою долю выпало такое счастье? – воскликнул Моррель, готовый преклонить колени перед старцем, как перед богом, и перед Валентиной, как перед ангелом.

– А до тех пор, – продолжала своим чистым и строгим голосом Валентина, – мы будем уважать волю моих родных, если только они не будут стремиться разлучить нас. Словом, и я повторяю это, потому что этим все сказано, мы будем ждать.

– И те жертвы, которые это слово на меня налагает, – сказал Моррель, обращаясь к старику, – я клянусь принести не только покорно, но и с радостью.

– Поэтому, друг мой, – продолжала Валентина, бросив на Максимилиана проникший в самое его сердце взгляд, – довольно безрассудств. Берегите честь той, которая с сегодняшнего дня считает себя предназначенной достойно носить ваше имя.

Моррель прижал руку к сердцу.

Нуартье с нежностью глядел на них. Барруа, стоявший тут же, как человек, посвященный во все тайны, улыбался, вытирая крупные капли пота, выступившие на его плешивом лбу.

– Бедный Барруа, он совсем измучился, – сказала Валентина.

– Да, – сказал Барруа, – ну и бежал же я, мадемуазель; а только господин Моррель, надо отдать ему справедливость, бежал еще быстрее меня.

Нуартье указал глазами на поднос, на котором стояли графин с лимонадом и стакан. Графин был наполовину пуст. Полчаса тому назад из него пил сам Нуартье.

– Выпей, Барруа, – сказала Валентина, – я по глазам вижу, что ты хочешь лимонаду.

– Правду сказать, – ответил Барруа, – я умираю от жажды и с удовольствием выпью стакан за ваше здоровье.

– Так возьми, – сказала Валентина, – и возвращайся сюда поскорее.

Барруа взял поднос, вышел в коридор, и все увидели через приотворенную дверь, как он запрокинул голову и залпом выпил стакан лимонада, налитый ему Валентиной.

Валентина и Моррель прощались друг с другом в присутствии Нуартье, как вдруг на лестнице, ведущей в половину Вильфора, раздался звонок.

Валентина взглянула на стенные часы.

– Полдень, – сказала она, – сегодня суббота; дедушка, это, вероятно, доктор.

Нуартье показал знаком, что он тоже так думает.

– Он сейчас придет сюда; господину Моррелю лучше уйти, не правда ли, дедушка?

– Да, – был ответ старика.

– Барруа! – позвала Валентина. – Барруа, идите сюда!

– Иду, мадемуазель, – послышался голос старого слуги.

– Барруа проводит вас до двери, – сказала Валентина Моррелю. – А теперь, господин офицер, прошу вас помнить, что дедушка советует вам не предпринимать ничего, что могло бы нанести ущерб нашему счастью.

– Я обещал ждать, – сказал Моррель, – и я буду ждать.

В эту минуту вошел Барруа.

– Кто звонил? – спросила Валентина.

– Доктор д'Авриньи, – сказал Барруа, еле держась на ногах.

– Что с вами, Барруа? – спросила Валентина.

Старик ничего не ответил; он испуганными глазами смотрел на своего хозяина и судорожно сжатой рукой пытался за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть.

– Он сейчас упадет! – воскликнул Моррель.

В самом деле, дрожь, охватившая Барруа, все усиливалась; его лицо, искаженное судорогой, говорило о сильнейшем нервном припадке.

Нуартье, видя страдания Барруа, бросал вокруг себя тревожные взгляды, которые ясно выражали все волнующие его чувства.

Барруа шагнул к своему хозяину.

– Боже мой, боже мой, – сказал он, – что это со мной?.. Мне больно... в глазах темно. Голова как в огне. Не трогайте меня, не трогайте!

Его глаза вылезли из орбит и закатились, голова откинулась назад, все тело судорожно напряглось.

Валентина вскрикнула от испуга; Моррель схватил ее в объятия, как бы защищая от неведомой опасности.

– Господин д'Авриньи! Господин д'Авриньи! – закричала Валентина сдавленным голосом. – Сюда, сюда, помогите!

Барруа повернулся на месте, отступил на шаг, зашатался и упал к ногам Нуартье, рукой схватившись за его колено.

– Господин! Мой добрый господин! – кричал он.

В эту минуту, привлеченный криками, на пороге появился Вильфор.

Моррель выпустил полубесчувственную Валентину и, бросившись в глубь комнаты, скрылся за тяжелой портьерой.

Побледнев, как полотно, он с ужасом смотрел на умирающего, словно вдруг увидел перед собой змею.

Нуартье терзался нетерпением и тревогой. Его душа рвалась на помощь несчастному старику, который был ему скорее другом, чем слугой. Страшная борьба жизни и смерти, происходившая перед паралитиком, отражалась на его лице: жилы на лбу вздулись, последние еще живые мышцы вокруг глаз мучительно напряглись.

Барруа, с дергающимся лицом, с налитыми кровью глазами и запрокинутой головой, лежал на полу, хватаясь за него руками, а его окоченевшие ноги, казалось, скорее сломались бы, чем согнулись.

На губах его выступила пена, он задыхался.

Вильфор, ошеломленный, не мог оторвать глаз от этой картины, которая приковала его внимание, как только он переступил порог.

Морреля он не заметил.

Минуту он стоял молча, заметно побледнев.

– Доктор! Доктор! – воскликнул он наконец, кидаясь к двери. – Идите сюда! Скорее!

– Сударыня! – звала Валентина свою мачеху, цепляясь за перила лестницы. – Идите сюда! Идите скорее! Принесите вашу нюхательную соль!

– Что случилось? – сдержанно спросил металлический голос г-жи де Вильфор.

– Идите, идите!

– Да где же доктор? – кричал Вильфор.

Госпожа де Вильфор медленно сошла с лестницы; слышно было, как скрипели деревянные ступени. В одной руке она держала платок, которым вытирала лицо, в другой – флакон с нюхательной солью.

Дойдя до двери, она прежде всего взглянула на Нуартье, который, если не считать вполне естественного при данных обстоятельствах волнения, казался совершенно здоровым; затем взгляд ее упал на умирающего.

Она побледнела, и ее взгляд, если так можно выразиться, отпрянул от слуги и вновь устремился на господина.

– Ради бога, сударыня, где же доктор? – повторил Вильфор. – Он прошел к вам. Вы же видите, это апоплексический удар, его можно спасти, если пустить ему кровь.

– Не съел ли он чего-нибудь? – спросила г-жа де Вильфор, уклоняясь от ответа.

– Он не завтракал, – сказала Валентина, – но дедушка посылал его со спешным поручением. Он очень устал и, вернувшись, выпил только стакан лимонада.

– Почему же не вина? – сказала г-жа де Вильфор. – Лимонад очень вреден.

– Лимонад был здесь, в дедушкином графине. Бедному Барруа хотелось пить, и он выпил то, что было под рукой.

Госпожа де Вильфор вздрогнула. Нуартье окинул ее своим глубоким взглядом.

– У него такая короткая шея! – сказала она.

– Сударыня, – сказал Вильфор, – я спрашиваю вас, где д’Авриньи? Отвечайте, ради бога!

– Он у Эдуарда; мальчик нездоров, – сказала г-жа де Вильфор, не смея дольше уклоняться от ответа.

Вильфор бросился на лестницу, чтобы привести доктора.

– Возьмите, – сказала г-жа де Вильфор, передавая Валентине флакон, – ему, вероятно, пустят кровь. Я пойду к себе, я не выношу вида крови. – И она ушла вслед за мужем.

Моррель вышел из своего темного угла, среди общей тревоги его никто не заметил.

– Уходите скорей, Максимилиан, – сказала ему Валентина, – и не приходите, пока я вас не позову. Идите.

Моррель жестом посоветовался с Нуартье. Нуартье, сохранивший все свое хладнокровие, сделал ему утвердительный знак.

Он прижал к сердцу руку Валентины и вышел боковым коридором.

В это время в противоположную дверь входили Вильфор и доктор.

Барруа понемногу приходил в себя; припадок миновал, он начал стонать и приподнялся на одно колено.

Д'Авриньи и Вильфор перенесли Барруа на кушетку.

– Что нужно, доктор? – спросил Вильфор.

– Пусть принесут воды и эфиру. У вас в доме найдется эфир?

– Да.

– Пусть сбегают за скипидарным маслом и рвотным.

– Бегите скорей! – приказал Вильфор.

– А теперь пусть все выйдут.

– И я тоже? – робко спросила Валентина.

– Да, мадемуазель, прежде всего вы, – резко сказал доктор.

Валентина удивленно взглянула на д'Авриньи, поцеловала деда в лоб и вышла.

Доктор с мрачным видом закрыл за ней дверь.

– Смотрите, смотрите, доктор, он приходит в себя; это был просто припадок.

Д'Авриньи мрачно улыбался.

– Как вы себя чувствуете, Барруа? – спросил он.

– Немного лучше, сударь.

– Вы можете выпить стакан воды с эфиром?

– Попробую, только не трогайте меня.

– Почему?

– Мне кажется, если вы дотронетесь до меня хотя бы пальцем, со мной опять будет припадок.

– Выпейте.

Барруа взял стакан, поднес его к своим посиневшим губам и отпил около половины.

– Где у вас болит? – спросил доктор.

– Всюду; меня сводит судорога.

– Голова кружится?

– Да.

– В ушах звенит?

– Ужасно.

– Когда это началось?

– Только что.

– Сразу?

– Как громом ударило.

– Вчера вы ничего не чувствовали? Позавчера ничего?

– Ничего.

– Ни сонливости? Ни тяжести в желудке?

– Нет.

– Что вы ели сегодня?

– Я ничего еще не ел; я только выпил стакан лимонада из графина господина Нуартье.

И Барруа кивнул головой в сторону старика, который, неподвижный в своем кресле, следил за этой сценой, не упуская ни одного движения, ни одного слова.

– Где этот лимонад? – живо спросил доктор.

– В графине, внизу.

– Где внизу?

– На кухне.

– Хотите, я принесу, доктор? – спросил Вильфор.

– Нет, оставайтесь здесь и постарайтесь, чтобы больной выпил весь стакан.

– А лимонад?..

– Я пойду сам.

Д’Авриньи бросился к двери, отворил ее, побежал по черной лестнице и едва не сбил с ног г-жу де Вильфор, которая также спускалась на кухню.

Она вскрикнула.

Д’Авриньи даже не заметил этого; поглощенный одной мыслью, он перепрыгнул через последние ступеньки, вбежал в кухню и увидел на три четверти пустой графин, стоящий на подносе.

Он ринулся на него, как орел на добычу.

С трудом дыша, он поднялся в первый этаж и вернулся в комнату Нуартье.

Госпожа де Вильфор в это время медленно поднималась к себе.

– Это тот самый графин? – спросил д’Авриньи.

– Да, господин доктор.

– Это тот самый лимонад, который вы пили?

– Наверное.

– Какой у него был вкус?

– Горький.

Доктор налил несколько капель на ладонь, втянул их губами и, подержав во рту, словно пробуя вино, выплюнул жидкость в камин.

– Это он и есть, – сказал он. – Вы его тоже пили, господин Нуартье?

– Да, – показал старик.

– И вы тоже нашли, что у него горький вкус?

– Да.

– Господин доктор, – крикнул Барруа, – мне опять худо! Боже милостивый, сжалься надо мной!

Доктор бросился к больному.

– Где же рвотное, Вильфор?

Вильфор выбежал из комнаты и крикнул:

– Где рвотное? Принесли?

Никто не ответил. Весь дом был охвачен ужасом.

– Если бы я мог ввести ему воздух в легкие, – сказал д’Авриньи, озираясь по сторонам, – может быть, это предотвратило бы удушье.

Неужели ничего нет? Ничего!

– Доктор, – кричал Барруа, – не дайте мне умереть! Я умираю, господи, умираю!

– Перо! Нет ли пера? – спросил доктор.

Вдруг он заметил на столе перо.

Он попытался ввести его в рот больного, который корчился в судорогах; но челюсти его были так плотно сжаты, что не пропускали пера.

У Барруа начался еще более сильный припадок, чем первый. Он скатился с кушетки на пол и лежал неподвижно.

Доктор оставил его во власти припадка, которого он ничем не мог облегчить, и подошел к Нуартье.

– Как вы себя чувствуете? – быстро спросил он шепотом. – Хорошо?

– Да.

– Тяжести в желудке нет?

– Нет.

– Как после той пилюли, которую я вам велел принимать каждое воскресенье?

– Да.

– Кто вам приготовил этот лимонад? Барруа?

– Да.

– Это вы предложили ему выпить лимонаду?

– Нет.

– Господин де Вильфор?

– Нет.

– Госпожа де Вильфор?

– Нет.

– В таком случае, Валентина?

– Да.

Тяжкий вздох Барруа, зевота, от которой заскрипели его челюсти, привлекли внимание д'Авриньи; он поспешил к больному.

– Барруа, – сказал доктор, – в состоянии ли вы говорить?

Барруа пробормотал несколько невнятных слов.

– Сделайте над собой усилие, друг мой.

Барруа открыл налитые кровью глаза.

– Кто готовил этот лимонад?

– Я сам.

– Вы его подали вашему хозяину сразу после того, как приготовили его?

– Нет.

– А где он оставался?

– В буфетной; меня отозвали.

– Кто его принес сюда?

– Мадемуазель Валентина.

А'Авриньи провел рукой по лбу.

– Господи! – прошептал он.

– Доктор, доктор! – крикнул Барруа, чувствуя, что начинается новый припадок.

– Почему не несут рвотное? – воскликнул доктор.

– Вот оно, – сказал, возвращаясь в комнату, Вильфор.

– Кто приготовил?

– Аптекарь, он пришел вместе со мной.

– Выпейте.

– Не могу, доктор, поздно! Сводит горло, я задыхаюсь!.. Сердце... голова... Какая мука!.. Долго я буду так мучиться?

– Нет, мой друг, – сказал доктор, – скоро ваши страдания кончатся.

– Я понимаю! – воскликнул несчастный. – Господи, смилуйся надо мной!

И, испустив вопль, он упал навзничь, как пораженный молнией.

Д'Авриньи приложил руку к его сердцу, поднес зеркало к его губам.

– Ну что? – спросил Вильфор.

– Пусть мне принесут как можно скорее фиалкового сиропу.

Вильфор немедленно спустился в кухню.

– Не пугайтесь, господин Нуартье, – сказал д'Авриньи, – я отнесу больного в соседнюю комнату и пущу ему кровь; такие припадки – ужасное зрелище.

И, взяв Барруа под мышки, он перетащил его в соседнюю комнату; но тотчас же вернулся к Нуартье, чтобы взять остатки лимонада.

У Нуартье был закрыт правый глаз.

– Позвать Валентину? Вы хотите видеть Валентину? Я велю вам ее позвать.

Вильфор поднимался по лестнице; д'Авриньи встретился с ним в коридоре.

– Ну что? – спросил Вильфор.

– Идемте, – сказал д'Авриньи.

И он увел его в комнату, где лежал Барруа.

– Он все еще в обмороке? – спросил королевский прокурор.

– Он умер.

Вильфор отшатнулся, схватился за голову и воскликнул, с непритворным участием глядя на мертвого:

– Умер так внезапно!

– Слишком внезапно, правда? – сказал д'Авриньи. – Но вас это не должно удивлять; господин и госпожа де Сен-Меран умерли так же внезапно. Да, в вашем доме умирают быстро, господин де Вильфор.

– Как! – с ужасом и недоумением воскликнул королевский прокурор. – Вы снова возвращаетесь к этой ужасной мысли?

– Да, сударь, – сказал торжественно д'Авриньи, – она ни на минуту не покидала меня. И чтобы вы убедились в моей правоте, я прошу вас внимательно выслушать меня, господин де Вильфор.

Вильфор дрожал всем телом.

– Существует яд, который убивает, не оставляя почти никаких следов. Я хорошо знаю этот яд, я изучил его во всех его проявлениях, со всеми его последствиями. Действие этого яда я распознал сейчас у несчастного Барруа, как в свое время у госпожи де Сен-Меран. Есть способ удостовериться в присутствии этого яда. Он возвращает синий цвет лакмусовой бумаге, окрашенной какой-нибудь кислотой в красный цвет, и он окрашивает в зеленый цвет фиалковый сироп. У нас нет под рукой лакмусовой бумаги, – но вот несут фиалковый сироп.

В коридоре послышались шаги; доктор приоткрыл дверь, взял из рук горничной сосуд, на дне которого было две-три ложки сиропа, и снова закрыл дверь.

– Посмотрите, – сказал он королевскому прокурору, сердце которого неистово билось, – вот в этой чашке налит фиалковый сироп, а в этом графине остатки того лимонада, который пили Нуартье и Барруа. Если в лимонаде нет никакой примеси и он безвреден, цвет сиропа не изменится; если лимонад отравлен, сироп станет зеленым. Смотрите!

Доктор медленно налил несколько капель лимонада из графина в чашку, и в ту же секунду сироп на дне чашки помутнел; сначала он сделался синим, как сапфир, потом стал опаловым, а из опалового – изумрудным и таким остался.

Произведенный опыт не оставлял сомнений.

– Несчастный Барруа отравлен лжеангустурой или орехом святого Игнатия, – сказал д'Авриньи, – теперь я готов поклясться в этом перед богом и людьми.

Вильфор ничего не сказал. Он воздел руки к небу, широко открыл полные ужаса глаза и, сраженный, упал в кресло.

# III. Обвинение

Д'Авриньи довольно быстро привел в чувство королевского прокурора, казавшегося в этой злополучной комнате вторым трупом.

– Мой дом стал домом смерти! – простонал Вильфор.

– И преступления, – сказал доктор.

– Я не могу передать вам, что я сейчас испытываю, – воскликнул Вильфор, – ужас, боль, безумие.

– Да, – сказал д'Авриньи спокойно и внушительно, – но нам пора действовать; мне кажется, пора преградить путь этому потоку смертей. Лично я больше не в силах скрывать такую тайну, не имея надежды, что попранные законы и невинные жертвы будут отмщены.

Вильфор окинул комнату мрачным взглядом.

– В моем доме! – прошептал он. – В моем доме!

– Послушайте, Вильфор, – сказал д'Авриньи, – будьте мужчиной. Блюститель закона, честь ваша требует, чтобы вы принесли эту жертву.

– Страшное слово, доктор. Принести себя в жертву!

– Об этом и идет речь.

– Значит, вы кого-нибудь подозреваете?

– Я никого не подозреваю. Смерть стучится в вашу дверь, она входит, она идет, не слепо, а обдуманно, из комнаты в комнату, а я иду по ее следу, вижу ее путь. Я верен мудрости древних; я бреду ощупью; ведь моя дружба к вашей семье и мое уважение к вам – это две повязки, закрывающие мне глаза; и вот...

– Говорите, доктор, я готов выслушать вас.

– В вашем доме, быть может в вашей семье, скрывается одно из тех чудовищ, которые рождаются раз в столетие. Локуста и Агриппина жили в одно время, но это исключительный случай, он доказывает, с какой яростью провидение хотело истребить Римскую империю, запятнанную столькими злодеяниями. Брунгильда и Фредегонда – следствие мучительных усилий, с которыми нарождающаяся цивилизация стремилась к познанию духа, хотя бы с помощью посланца тьмы. И все

эти женщины были молоды и прекрасны. На их челе лежала когда-то та же печать невинности, которая лежит и на челе преступницы, живущей в вашем доме.

Вильфор вскрикнул, стиснул руки и с мольбой посмотрел на доктора.

Но тот безжалостно продолжал:

– Ищи, кому преступление выгодно, гласит одна из аксиом юридической науки.

– Доктор! – воскликнул Вильфор. – Сколько раз уже человеческое правосудие было обмануто этими роковыми словами! Я не знаю, но мне кажется, что это преступление…

– Так вы признаете, что это преступление?

– Да, признаю. Что еще мне остается? Но дайте мне досказать. Я чувствую, что я – главная жертва этого преступления. За всеми этими загадочными смертями таится моя собственная гибель.

– Человек, – прошептал д'Авриньи, – самое эгоистичное из всех животных, самое себялюбивое из всех живых созданий! Он уверен, что только для него одного светит солнце, вертится земля и косит смерть. Муравей, проклинающий бога, взобравшись на травинку! А те, кого лишили жизни? Маркиз де Сен-Меран, маркиза, господин Нуартье…

– Как? Господин Нуартье?

– Да! Неужели вы думаете, что покушались на этого несчастного слугу? Нет, как Полоний у Шекспира, он умер вместо другого. Нуартье – вот кто должен был выпить лимонад. Нуартье и пил его; а тот выпил случайно; и хотя умер Барруа, но умереть должен был Нуартье.

– Почему же не погиб мой отец?

– Я вам уже объяснял в тот вечер, в саду, когда умерла госпожа де Сен-Меран: потому что его организм привык к употреблению этого самого яда. Потому что доза, недостаточная для него, смертельна для всякого другого. Словом, потому что никто на свете, даже убийца, не знает, что вот уже год, как я лечу господина Нуартье бруцином, между тем как убийце известно, да он убедился и на опыте, что бруцин – сильнодействующий яд.

– Боже! – прошептал Вильфор, ломая руки.

– Проследите действия преступника: он убивает маркиза...

– Доктор!

– Я готов присягнуть в этом. То, что мне говорили о его смерти, слишком точно совпадает с тем, что я видел собственными глазами.

Вильфор уже не спорил. Он глухо застонал.

– Он убивает маркиза, – повторил доктор, – он убивает маркизу. Это сулит двойное наследство.

Вильфор отер пот, струившийся по его лбу.

– Слушайте внимательно.

– Я ловлю каждое ваше слово, – прошептал Вильфор.

– Господин Нуартье, – безжалостно продолжал д'Авриньи, – в своем завещании отказал все, что имеет, бедным, тем самым обделив вас и вашу семью. Господина Нуартье пощадили, от него нечего было ждать. Но едва он уничтожил свое первое завещание, едва успел составить второе, как преступник, по-видимому, опасаясь, что он может составить и третье, его отравляет. Ведь завещание, если не ошибаюсь, составлено позавчера. Как видите, времени не теряли.

– Пощадите, д'Авриньи!

– Никакой пощады, сударь. У врача есть священный долг, и во имя его он восходит к источникам жизни и спускается в таинственный мрак смерти. Когда преступление совершено и бог в ужасе отвращает свой взор от преступника, долг врача сказать: это он!

– Пощадите мою дочь! – прошептал Вильфор.

– Вы сами назвали ее – вы, отец.

– Пощадите Валентину! Нет, это невозможно. Я скорее обвинил бы самого себя! Валентина, золотое сердце, сама невинность!

– Пощады быть не может, господин королевский прокурор. Улики налицо: мадемуазель де Вильфор сама упаковывала лекарства, которые были посланы маркизу де Сен-Мерану, и маркиз умер.

Мадемуазель де Вильфор приготовила питье для маркизы де Сен-Меран, и маркиза умерла.

Мадемуазель де Вильфор взяла из рук Барруа графин с лимонадом, который господин Нуартье обычно весь выпивает утром, и старик спасся

только чудом.

Мадемуазель де Вильфор – вот преступница, вот отравительница! Господин королевский прокурор, я обвиняю мадемуазель де Вильфор, исполняйте свой долг!

– Доктор, я не спорю, не защищаюсь, я верю вам, но не губите меня, не губите мою честь!

– Господин Вильфор, – продолжал доктор с возрастающей силой, – есть обстоятельства, в которых я отказываюсь считаться с глупыми условностями. Если бы ваша дочь совершила только одно преступление и я думал бы, что она замышляет второе, я сказал бы вам: предостерегите ее, накажите, пусть она проведет остаток жизни где-нибудь в монастыре, в слезах замаливая свой грех. Если бы она совершила второе преступление, я сказал бы вам: слушайте, Вильфор, вот вам яд, от которого нет противоядия, быстрый, как мысль, мгновенный, как молния, разящий, как гром; дайте ей этого яду, поручив душу ее милости божьей, и таким образом спасите свою честь и свою жизнь, ибо она покушается на вас. Я вижу, как она подходит к вашему изголовью с лицемерной улыбкой и нежными словами! Горе вам, если вы не поразите ее первый! Вот что сказал бы я вам, если бы она убила только двух человек. Но она присутствовала при трех агониях, она видела трех умирающих, она опускалась на колени около трех трупов. В руки палача отравительницу, в руки палача! Вы говорите о чести; сделайте то, что я вам говорю, и вы обессмертите ваше имя!

Вильфор упал на колени.

– У меня нет вашей силы воли, – сказал он, – но и у вас ее не было бы, если бы дело шло не о моей дочери, а о вашей.

Д'Авриньи побледнел.

– Доктор, всякий человек, рожденный женщиной, обречен на страдания и смерть; я буду страдать и, страдая, ждать смертного часа.

– Берегитесь, – сказал д'Авриньи, – он не скоро наступит; он настанет только после того, как на ваших глазах погибнут ваш отец, ваша жена, ваш сын, быть может.

Вильфор, задыхаясь, схватил доктора за руку.

– Пожалейте меня, – воскликнул он, – помогите мне... Нет, моя дочь невиновна... Поставьте нас перед лицом суда, и я снова скажу: нет, моя дочь невиновна... В моем доме не было преступления... Я не хочу, вы слышите, чтобы в моем доме было преступление... Потому что если в чей-нибудь дом вошло преступление, то оно, как смерть, никогда не приходит одно. Послушайте, что вам до того, если я паду жертвой убийства?.. Разве вы мне друг? Разве вы человек? Разве у вас есть сердце?.. Нет, вы врач!.. И я вам говорю: нет, я не предам свою дочь в руки палача!.. Эта мысль гложет меня, я, как безумец, готов разрывать себе грудь ногтями!.. Что, если вы ошибаетесь, доктор? Если это кто-нибудь другой, а не моя дочь? Если в один прекрасный день, бледный, как призрак, я приду к вам и скажу: убийца, ты убил мою дочь!.. Если бы это случилось... я христианин, д'Авриньи, но я убил бы себя.

– Хорошо, – сказал доктор после краткого раздумья, – я подожду.

Вильфор недоверчиво посмотрел на него.

– Но только, – торжественно продолжал д'Авриньи, – если в вашем доме кто-нибудь заболеет, если вы сами почувствуете, что удар поразил вас, не посылайте за мной, я не приду. Я согласен делить с вами эту страшную тайну, но не желаю, чтобы стыд и раскаяние поселились в моей душе, вырастали и множились в ней так же, как злодейство и горе в вашем доме.

– Вы покидаете меня, доктор?

– Да, ибо нам дальше не по пути, я дошел с вами до подножия эшафота. Еще одно разоблачение – и этой ужасной трагедии настанет конец. Прощайте.

– Доктор, умоляю вас!

– Все, что я вижу здесь, оскверняет мой ум. Мне ненавистен ваш дом. Прощайте, сударь!

– Еще слово, одно только слово, доктор! Вы оставляете меня одного в этом ужасном положении, еще более ужасном от того, что вы мне сказали. Но что скажут о внезапной смерти несчастного Барруа?

– Вы правы, – сказал д'Авриньи, – проводите меня.

Доктор вышел первым, Вильфор шел следом за ним; встревоженные слуги толпились в коридоре и на лестнице, по которой должен был пройти доктор.

– Сударь, – громко сказал д'Авриньи Вильфору, так, чтобы все слышали, – бедняга Барруа в последние годы вел слишком сидячий образ жизни; он так привык разъезжать вместе со своим хозяином, то верхом, то в экипаже, по всей Европе, что уход за прикованным к креслу больным погубил его. Кровь застоялась, человек он был тучный, с короткой толстой шеей, его сразил апоплексический удар, а меня позвали слишком поздно. Кстати, – прибавил он шепотом, – не забудьте выплеснуть в печку фиалковый сироп.

И доктор, не протянув Вильфору руки, ни словом не возвращаясь к сказанному, вышел из дома, провожаемый слезами и причитаниями слуг.

В тот же вечер все слуги Вильфоров, собравшись на кухне и потолковав между собой, отправились к г-же де Вильфор с просьбой отпустить их. Ни уговоры, ни предложение увеличить жалованье не привели ни к чему; они твердили одно:

– Мы хотим уйти, потому что в этом доме смерть.

И они, невзирая на все просьбы, покинули дом, уверяя, что им очень жаль расставаться с такими добрыми хозяевами и особенно с мадемуазель Валентиной, такой доброй, такой отзывчивой и ласковой.

Вильфор при этих словах взглянул на Валентину.

Она плакала.

И странно: несмотря на волнение, охватившее его при виде этих слез, он взглянул также и на г-жу де Вильфор, и ему показалось, что на ее тонких губах мелькнула мимолетная мрачная усмешка, подобно зловещему метеору, пролетающему среди туч в глубине грозового неба.

# IV. Жилище булочника на покое

Вечером того дня, когда граф де Морсер вышел от Данглара вне себя от стыда и бешенства, вполне объяснимых оказанным ему холодным приемом, Андреа Кавальканти, завитой и напомаженный, с закрученными усами, в туго натянутых белых перчатках, почти стоя в своем фаэтоне, подкатил к дому банкира на Шоссе-д'Антен.

Повертевшись немного в гостиной, он улучил удобную минуту, отвел Данглара к окну и там, после искусного вступления, завел речь о треволнениях, постигших его после отъезда его благородного отца. Со времени этого отъезда, говорил он, в семье банкира, где его приняли, как родного сына, он нашел все, что служит залогом счастья, которое всякий человек должен ставить выше, чем прихоти страсти, а что касается страсти, то на его долю выпало счастье обрести ее в чудных глазах мадемуазель Данглар.

Данглар слушал с глубочайшим вниманием; он уже несколько дней ждал этого объяснения, и когда оно наконец произошло, лицо его в той же мере просияло, в какой оно нахмурилось, когда он слушал Морсера.

Все же раньше, чем принять предложение молодого человека, он счел нужным высказать ему некоторые сомнения.

– Виконт, – сказал он, – не слишком ли вы молоды, чтобы помышлять о браке?

– Нисколько, сударь, – возразил Кавальканти. – В Италии в знатных семьях приняты ранние браки; это обычай разумный. Жизнь так изменчива, что надо ловить счастье, пока оно дается в руки.

– Допустим, – сказал Данглар, – что ваше предложение, которым я очень польщен, будет благосклонно принято моей женой и дочерью, – с кем мы будем обсуждать деловую сторону? По-моему, этот важный вопрос могут разрешить должным образом только отцы на благо своим детям.

– Мой отец человек мудрый и рассудительный; он предвидел, что я, быть может, захочу жениться во Франции; и поэтому, уезжая, он оставил

мне вместе с документами, удостоверяющими мою личность, письмо, в котором он обязуется в случае, если он одобрит мой выбор, выдавать мне ежегодно сто пятьдесят тысяч ливров, считая со дня моей свадьбы. Это составляет, насколько я могу судить, четвертую часть доходов моего отца.

– А я, – сказал Данглар, – всегда намеревался дать в приданое моей дочери пятьсот тысяч франков; к тому же она моя единственная наследница.

– Вот видите, – сказал Андреа, – как все хорошо складывается, если предположить, что баронесса Данглар и мадемуазель Эжени не отвергнут моего предложения. В нашем распоряжении будет сто семьдесят пять тысяч годового дохода. Предположим еще, что мне удастся убедить маркиза, чтобы он не выплачивал мне ренту, а отдал в мое распоряжение самый капитал (это будет нелегко, я знаю, но, может быть, это и удастся); тогда вы пустите наши два-три миллиона в оборот, а такая сумма в опытных руках всегда принесет десять процентов.

– Я никогда не плачу больше четырех процентов, – сказал банкир, – или, вернее, трех с половиной. Но моему зятю я стал бы платить пять, а прибыль мы бы делили пополам.

– Ну и чудно, папаша, – развязно сказал Кавальканти. Врожденная вульгарность по временам, несмотря на все его старания, прорывалась сквозь тщательно наводимый аристократический лоск.

Но, тут же спохватившись, он добавил:

– Простите, барон, – вы видите, уже одна надежда почти лишает меня рассудка; что же, если она осуществится?

– Однако надо полагать, – сказал Данглар, не замечая, как быстро эта беседа, вначале бескорыстная, обратилась в деловой разговор, – существует и такая часть вашего имущества, в которой ваш отец не может вам отказать?

– Какая именно? – спросил Андреа.

– Та, что принадлежала вашей матери.

– Да, разумеется, та, что принадлежала моей матери, Оливе Корсинари.

– А как велика эта часть вашего имущества?

– Признаться, – сказал Андреа, – я никогда не задумывался над этим, но полагаю, что она составляет по меньшей мере миллиона два.

У Данглара от радости захватило дух. Он чувствовал себя, как скупец, отыскавший утерянное сокровище, или утопающий, который вдруг ощутил под ногами твердую почву.

– Итак, барон, – сказал Андреа, умильно и почтительно кланяясь банкиру, – смею ли я надеяться...

– Виконт, – отвечал Данглар, – вы можете надеяться; и поверьте, что если с вашей стороны не явится препятствий, то это вопрос решенный.

– О, как я счастлив, барон! – сказал Андреа.

– Но, – задумчиво продолжал Данглар, – почему же граф Монте-Кристо, ваш покровитель в парижском свете, не явился вместе с вами поддержать ваше предложение?

Андреа едва заметно покраснел.

– Я прямо от графа, – сказал он, – это, бесспорно, очаровательный человек, но большой оригинал. Он вполне одобряет мой выбор; он даже выразил уверенность, что мой отец согласится отдать мне самый капитал вместо доходов с него; он обещал употребить свое влияние, чтобы убедить его; но заявил мне, что он никогда не брал и никогда не возьмет на себя ответственности просить для кого-нибудь чьей-либо руки. Но я должен отдать ему справедливость, он сделал мне честь, добавив, что если он когда-либо сожалел о том, что взял себе это за правило, то именно в данном случае, ибо он уверен, что этот брак будет счастливым. Впрочем, если он официально и не принимает ни в чем участия, он оставляет за собой право высказать вам свое мнение, если вы пожелаете с ним переговорить.

– Прекрасно.

– А теперь, – сказал с очаровательнейшей улыбкой Андреа, – разговор с тестем окончен, и я обращаюсь к банкиру.

– Что же вам от него угодно? – сказал, засмеявшись, Данглар.

– Послезавтра мне следует получить у вас что-то около четырех тысяч франков; но граф понимает, что в этом месяце мне, вероятно, предстоят

значительные траты и моих скромных холостяцких доходов может не хватить; поэтому он предложил мне чек на двадцать тысяч франков, – вот он. На нем, как видите, стоит подпись графа. Этого достаточно?

– Принесите мне таких на миллион, и я приму их, – сказал Данглар, пряча чек в карман. – Назначьте час, который вам завтра будет удобен, мой кассир зайдет к вам, и вы распишетесь в получении двадцати четырех тысяч франков.

– В десять часов утра, если это удобно; чем раньше, тем лучше; я хотел бы завтра уехать за город.

– Хорошо, в десять часов. В гостинице Принцев, как всегда?

– Да.

На следующий день, с пунктуальностью, делавшей честь банкиру, двадцать четыре тысячи франков были вручены Кавальканти, и он вышел из дому, оставив двести франков для Кадрусса.

Андреа уходил главным образом для того, чтобы избежать встречи со своим опасным другом; по той же причине он вернулся домой как можно позже. Но едва он вошел во двор, как перед ним очутился швейцар гостиницы, ожидавший его с фуражкой в руке.

– Сударь, – сказал он, – этот человек приходил.

– Какой человек? – небрежно спросил Андреа, делая вид, что совершенно забыл о том, о ком, напротив, прекрасно помнил.

– Тот, которому ваше сиятельство выдает маленькую пенсию.

– Ах да, – сказал Андреа, – старый слуга моего отца. Вы ему отдали двести франков, которые я для него оставил?

– Отдал, ваше сиятельство. – По желанию Андреа, слуги называли его «ваше сиятельство». – Но он их не взял, – продолжал швейцар.

Андреа побледнел; но так как было очень темно, никто этого не заметил.

– Как? Не взял? – сказал он дрогнувшим голосом.

– Нет; он хотел видеть ваше сиятельство. Я сказал ему, что вас нет дома; он настаивал. Наконец он мне поверил и оставил для вас письмо, которое принес с собой запечатанным.

– Дайте сюда, – сказал Андреа. И он прочел при свете фонаря фаэтона:

«Ты знаешь, где я живу, я жду тебя завтра в десять утра».

Андреа осмотрел печать, проверяя, не вскрывал ли кто-нибудь письмо и не познакомился ли чей-нибудь нескромный взор с его содержанием. Но оно было так хитроумно сложено, что, для того чтобы прочитать его, пришлось бы сорвать печать, а печать была в полной сохранности.

– Хорошо, – сказал Андреа. – Бедняга! Он очень славный малый.

Швейцар вполне удовлетворился этими словами и не знал, кем больше восхищаться, молодым господином или старым слугой.

– Поскорее распрягайте и поднимитесь ко мне, – сказал Андреа своему груму.

В два прыжка он очутился в своей комнате и сжег письмо Кадрусса, причем уничтожил даже самый пепел.

Не успел он это сделать, как вошел грум.

– Ты одного роста со мной, Пьер, – сказал ему Андреа.

– Имею эту честь, – отвечал грум.

– Тебе должны были вчера принести новую ливрею.

– Да, сударь.

– У меня интрижка с одной гризеткой, которой я не хочу открывать ни моего титула, ни положения. Одолжи мне ливрею и дай мне свои бумаги, чтобы я мог в случае надобности переночевать в трактире.

Пьер повиновался.

Пять минут спустя Андреа, совершенно неузнаваемый, вышел из гостиницы, нанял кабриолет и велел отвезти себя в трактир под вывеской «Красная лошадь», в Пикпюсе.

На следующий день он ушел из трактира, так же никем не замеченный, как и в гостинице Принцев, прошел предместье Сент-Антуан, бульваром дошел до улицы Менильмонтан и, остановившись у двери третьего дома по левой руке, стал искать, у кого бы ему, за отсутствием привратника, навести справки.

– Кого вы ищете, красавчик? – спросила торговка фруктами с порога своей лавки.

– Господина Пайтена, толстуха, – отвечал Андреа.

– Бывшего булочника? – спросила торговка.

– Его самого.

– В конце двора, налево, четвертый этаж.

Андреа пошел в указанном направлении, поднялся на четвертый этаж и сердито дернул заячью лапку на двери. Колокольчик отчаянно зазвонил.

Через секунду за решеткой, вделанной в дверь, появилось лицо Кадрусса.

– Ты точен! – сказал он.

И он отодвинул засовы.

– Еще бы! – сказал Андреа, входя.

И он так швырнул свою фуражку, что она, не попав на стул, упала на пол и покатилась по комнате.

– Ну, ну, малыш, не сердись! – сказал Кадрусс. – Видишь, как я о тебе забочусь, вон какой завтрак я тебе приготовил; все твои любимые кушанья, черт тебя возьми!

Андреа действительно почувствовал запах стряпни, грубые ароматы которой были не лишены прелести для голодного желудка; это была та смесь свежего жира и чесноку, которой отличается простая провансальская кухня; пахло и жареной рыбой, а надо всем стоял пряный дух мускатного ореха и гвоздики. Все это исходило из двух глубоких блюд, поставленных на конфорки и покрытых крышками, и из кастрюли, шипевшей в духовке чугунной печки.

Кроме того, в соседней комнате Андреа увидел опрятный стол, на котором красовались два прибора, две бутылки вина, запечатанные одна – зеленым, другая – желтым сургучом, графинчик водки и нарезанные фрукты, искусно разложенные поверх капустного листа на фаянсовой тарелке.

– Ну, что скажешь, малыш? – спросил Кадрусс. – Недурно пахнет? Ты же знаешь, я был хороший повар: помнишь, как вы все пальчики облизывали? И ты первый, ты больше всех полакомился моими соусами и, помнится, не брезговал ими.

И Кадрусс принялся чистить лук.

– Да ладно, ладно, – с досадой сказал Андреа, – если ты только ради завтрака побеспокоил меня, так пошел к черту!

– Сын мой, – наставительно сказал Кадрусс, – за едой люди беседуют; и потом, неблагодарная душа, разве ты не рад повидаться со старым другом? У меня так прямо слезы текут.

Кадрусс в самом деле плакал; трудно было только решить, что подействовало на слезную железу бывшего трактирщика, радость или лук.

– Молчал бы лучше, лицемер! – сказал Андреа. – Будто ты меня любишь?

– Да, представь, люблю, – сказал Кадрусс, – это моя слабость, но тут уж ничего не поделаешь.

– Что не мешает тебе вызвать меня, чтобы сообщить какую-нибудь гадость.

– Брось! – сказал Кадрусс, вытирая о передник свой большой кухонный нож. – Если бы я не любил тебя, разве я согласился бы вести ту несчастную жизнь, на которую ты меня обрек? Ты посмотри: на тебе ливрея твоего слуги, стало быть, у тебя есть слуга; у меня нет слуг, и я принужден собственноручно чистить овощи; ты брезгаешь моей стряпней, потому что обедаешь за табльдотом в гостинице Принцев или в Кафе-де-Пари. А ведь я тоже мог бы иметь слугу и коляску, я тоже мог бы обедать, где вздумается; а почему я лишаю себя всего этого? Чтобы не огорчать моего маленького Бенедетто. Признай по крайней мере, что я прав.

И недвусмысленный взгляд Кадрусса подкрепил эти слова.

– Ладно, – сказал Андреа, – допустим, что ты меня любишь. Но зачем тебе понадобилось, чтобы я пришел завтракать?

– Да чтобы видеть тебя, малыш.

– Чтобы видеть меня, а зачем? Ведь мы с тобой обо всем уже условились.

– Эй, милый друг, – сказал Кадрусс, – разве бывают завещания без приписок? Но прежде всего давай позавтракаем. Садись, и начнем с

сардинок и свежего масла, которое я в твою честь положил на виноградные листья, злючка ты этакий. Но я вижу, ты рассматриваешь мою комнату, мои соломенные стулья, грошовые картинки на стенах. Что прикажешь, здесь не гостиница Принцев!

– Вот ты уже жалуешься, ты недоволен, а сам ведь мечтал о том, чтобы жить, как булочник на покое.

Кадрусс вздохнул.

– Ну, что скажешь? Ведь твоя мечта сбылась.

– Скажу, что это только мечта; булочник на покое, милый Бенедетто, человек богатый, имеет доходы.

– И у тебя есть доходы.

– У меня?

– Да, у тебя, ведь я же принес тебе твои двести франков.

Кадрусс пожал плечами.

– Это унизительно, – сказал он, – получать деньги, которые даются так нехотя, неверные деньги, которых я в любую минуту могу лишиться. Ты сам понимаешь, что мне приходится откладывать на случай, если твоему благополучию придет конец. Эх, друг мой! Счастье непостоянно, как говорил священник у нас... в полку. Впрочем, я знаю, что твое благополучие не имеет границ, негодяй: ты женишься на дочери Данглара.

– Что? Данглара?

– Разумеется, Данглара! Или нужно сказать: барона Данглара? Это все равно, как если бы я сказал: графа Бенедетто! Ведь мы с Дангларом приятели, и не будь у него такая плохая память, ему следовало бы пригласить меня на твою свадьбу... ведь был же он на моей... да, да, да, на моей! Да-с, в те времена он не был таким гордецом; это был маленький служащий у господина Морреля. Не один раз обедал я вместе с ним и с графом де Морсером... Видишь, какие у меня знатные знакомства, и если бы я пожелал их поддерживать, мы с тобой встречались бы в одних и тех же гостиных.

– Ты от зависти совсем заврался, Кадрусс.

– Ладно, Benedetto mio. Я знаю, что говорю. Быть может, в один прекрасный день мы тоже напялим на себя праздничный наряд и скажем у какого-нибудь богатого подъезда: «Откройте, пожалуйста!» А пока садись и давай завтракать.

Кадрусс показал пример и с аппетитом принялся за еду, расхваливая все блюда, которыми он угощал своего гостя. Тот, по-видимому, покорился необходимости, бодро раскупорил бутылки и принялся за буайбес и треску, жаренную в прованском масле с чесноком.

– А, приятель, – сказал Кадрусс, – ты как будто идешь на мировую со своим старым поваром?

– Каюсь, – ответил Андреа, молодой, здоровый аппетит которого на время одержал верх над всеми другими соображениями.

– И что же, вкусно, мошенник?

– Очень вкусно! Не понимаю, как человек, который стряпает и ест такие лакомые блюда, может быть недоволен своей жизнью.

– Видишь ли, – сказал Кадрусс, – все мое счастье отравлено одной мыслью.

– Какой?

– А той, что я живу за счет друга, – я, который всегда честно зарабатывал себе на пропитание.

– Нашел о чем беспокоиться, – сказал Андреа, – у меня хватит на двоих, не стесняйся.

– Нет, право, верь не верь, но к концу каждого месяца меня мучает совесть.

– Полно, Кадрусс!

– Так мучает, что вчера я даже не взял этих двухсот франков.

– Да, ты хотел меня видеть; но разве из-за угрызений совести?

– Именно поэтому. Кроме того, мне пришла мысль.

Андреа вздрогнул; его всегда бросало в дрожь от мыслей Кадрусса.

– Видишь ли, – продолжал тот, – это отвратительно – постоянно жить в ожидании первого числа.

– Эх, – философски заметил Андреа, решив доискаться, куда клонит его собеседник, – разве вся жизнь не проходит в ожидании? А я как

живу? Я просто терпеливо жду.

– Да, потому что, вместо того чтобы ждать какие-то несчастные двести франков, ты ждешь пять или шесть тысяч, а то и десять, а то и двенадцать. Ведь ты у нас хитрец. У тебя всегда водились какие-то кошельки, копилки, которые ты прятал от бедного Кадрусса. К счастью, у этого самого Кадрусса был хороший нюх.

– Опять ты чепуху мелешь, – сказал Андреа, – все о прошлом да о прошлом – к чему это, скажи на милость?

– Тебе только двадцать один год, тебе нетрудно забыть прошлое; а мне пятьдесят, и я волей-неволей возвращаюсь к нему. Но поговорим о делах.

– Наконец-то.

– Будь я на твоем месте...

– Ну?

– Я реализовал бы свой капитал.

– Реализовал?

– Да, я попросил бы деньги за полгода вперед, под тем предлогом, что хочу купить недвижимость и приобрести избирательные права. А получив деньги, я удрал бы.

– Так, так, так, – сказал Андреа, – это, пожалуй, неплохая мысль!

– Милый друг, – сказал Кадрусс, – ешь мою стряпню и следуй моим советам: от этого ты только выиграешь душой и телом.

– А почему ты сам не воспользуешься своим советом? – сказал Андреа. – Почему ты не реализуешь деньги за полгода, даже за год, и не уедешь в Брюссель? Вместо того чтобы изображать бывшего булочника, ты имел бы вид настоящего банкрота. Это теперь модно.

– Но что же я сделаю, имея в кармане тысячу двести франков?

– Какой ты стал требовательный, Кадрусс! – сказал Андреа. – Два месяца назад ты помирал с голоду.

– Аппетит приходит во время еды, – сказал Кадрусс, скаля зубы, как смеющаяся обезьяна или как рычащий тигр. – Поэтому я и наметил себе план, – прибавил он, впиваясь своими белыми и острыми, невзирая на возраст, зубами в огромный ломоть хлеба.

Планы Кадрусса приводили Андреа в еще больший ужас, чем его мысли: мысли были только зародышами, а план уже грозил осуществлением.

– Что же это за план? – сказал он. – Могу себе представить!

– А что? Кто придумал план, благодаря которому мы покинули некое заведение? Как будто я. От этого он не стал хуже, мне кажется, иначе мы с тобой не сидели бы здесь!

– Да я не спорю, – сказал Андреа, – ты иной раз говоришь дело. Но какой же у тебя план?

– Послушай, – продолжал Кадрусс, – можешь ли ты, не выложив ни одного су, добыть мне тысяч пятнадцать франков... нет, пятнадцати тысяч мало, я не согласен сделаться порядочным человеком меньше чем за тридцать тысяч франков.

– Нет, – сухо ответил Андреа, – этого я не могу.

– Ты, я вижу, меня не понял, – холодно и невозмутимо продолжал Кадрусс, – я сказал: не выложив ни одного су.

– Что же ты хочешь? Чтобы я украл и испортил все дело, и твое и мое, и чтобы нас опять отправили кое-куда?

– Что до меня, – сказал Кадрусс, – мне все равно, пусть забирают. Я, знаешь ли, со странностями: я иногда скучаю по товарищам, не то, что ты, сухарь! Ты рад бы никогда с ними больше не встретиться!

Андреа на этот раз не только вздрогнул; он побледнел.

– Брось дурить, Кадрусс, – сказал он.

– Да ты не бойся, Бенедетто, ты мне только укажи способ добыть без всякого твоего участия эти тридцать тысяч франков и предоставь все мне.

– Ладно, я подумаю, – сказал Андреа.

– А пока ты увеличишь мою пенсию до пятисот франков, хорошо? Я, видишь ли, решил нанять служанку.

– Ладно, ты получишь пятьсот франков, – сказал Андреа, – но мне это нелегко, Кадрусс... ты злоупотребляешь...

– Да что там! – сказал Кадрусс. – Ведь ты черпаешь из бездонных сундуков!

По-видимому, Андреа только и ждал этих слов; его глаза блеснули, но тотчас же померкли.

– Это верно, – ответил Андреа, – мой покровитель очень добр ко мне.

– Какой милый покровитель! – сказал Кадрусс. – И он выдает тебе ежемесячно?..

– Пять тысяч франков, – сказал Андреа.

– Столько же тысяч, сколько ты мне обещал сотен, – заметил Кадрусс, – верно говорят, что незаконнорожденным везет. Пять тысяч франков в месяц... Куда же, черт возьми, можно девать столько денег?

– Бог мой! Истратить их недолго, и я, как ты, мечтаю иметь капитал.

– Капитал... понятно... всякий хотел бы иметь капитал.

– А у меня он будет.

– Кто же тебе его даст? Твой князь?

– Да, мой князь; к сожалению, я должен еще подождать.

– Подождать чего? – сказал Кадрусс.

– Его смерти.

– Смерти твоего князя?

– Да.

– Почему это?

– Потому что он упоминает меня в своем завещании.

– Правда?

– Честное слово!

– А сколько?

– Пятьсот тысяч!

– Вон куда хватил!

– Я тебе говорю.

– Быть не может!

– Кадрусс, ты мне друг?

– На жизнь и на смерть.

– Я открою тебе тайну.

– Говори.

– Но только помни...

– Буду нем, как рыба.

– Так вот, мне кажется...

Андреа замолчал и оглянулся.

– Тебе кажется... Да ты не бойся! Мы совсем одни.

– Мне кажется, что я нашел своего отца.

– Настоящего отца?

– Да.

– Не папашу Кавальканти?

– Нет, тот уехал; настоящего, как ты говоришь.

– И этот отец...

– Кадрусс, это граф Монте-Кристо.

– Да что ты!

– Да; тогда, видишь ли, все становится понятным. Он, видимо, не может открыто признать меня, но меня признает старик Кавальканти и получает за это пятьдесят тысяч франков.

– Пятьдесят тысяч франков за то, чтобы стать твоим отцом! Я бы согласился за полцены, за двадцать тысяч, за пятнадцать тысяч. Как же ты не подумал обо мне, неблагодарный?

– Да разве я знал об этом? Все это было устроено, когда мы еще были там.

– Да, верно. И ты говоришь, что в своем завещании...

– Он оставляет мне пятьсот тысяч франков.

– Ты уверен?

– Он сам мне показывал; но это еще не все.

– Существует приписка, как я говорил?

– Вероятно.

– И в этой приписке?

– Он признает меня своим сыном.

– Что за добрый отец, славный отец, достойнейший отец! – воскликнул Кадрусс, подкидывая в воздух тарелку и ловя ее обеими руками.

– Вот видишь! Скажи после этого, что у меня есть от тебя тайны!

– Ты прав; а твое доверие ко мне делает тебе честь. И что же, этот князь, твой отец – богатый человек, богатейший?

– Еще бы. Он сам не знает, сколько у него денег.

– Да не может быть!

– Кому же знать, как не мне; ведь я вхож к нему в любое время. На днях банковский служащий принес ему пятьдесят тысяч франков в бумажнике величиною с твою скатерть; а вчера сам банкир привез ему сто тысяч золотом.

Кадрусс был ошеломлен; в словах Андреа ему чудился звон металла, шум пересыпаемых червонцев.

– И ты вхож в этот дом? – наивно воскликнул он.

– Во всякое время.

Кадрусс помолчал; было ясно, что его занимает какая-то важная мысль.

Вдруг он воскликнул:

– Как бы мне хотелось видеть все это! Как все это должно быть прекрасно!

– Да, правда, – сказал Андреа, – он живет великолепно.

– Ведь он, кажется, живет на Елисейских полях?

– Номер тридцать.

– Номер тридцать? – повторил Кадрусс.

– Да, великолепный особняк, с двором и садом, ты должен знать!

– Очень возможно; но меня интересует не внешний вид, а внутренний; какая, должно быть, там прекрасная обстановка!

– Ты когда-нибудь бывал в Тюильри?

– Нет.

– У него гораздо лучше.

– Скажи, Андреа, должно быть, приятно бывает нагнуться, когда этот добрый Монте-Кристо уронит кошелек?

– Незачем ждать этого, – сказал Андреа, – деньги в этом доме и так валяются, как яблоки в саду.

– Ты бы когда-нибудь взял меня с собой.

– Как же это можно? В качестве кого?

– Ты прав; но у меня от твоих слов слюнки потекли. Я непременно должен это видеть собственными глазами, я уж найду способ.

– Не дури, Кадрусс!

– Я скажу, что я полотер.

– Там всюду ковры.

– Ах, черт! Значит, мне придется только воображать себе все это.

– Поверь, это будет лучше всего.

– Ну, хоть расскажи мне, что там есть?

– Как же я тебе расскажу?

– Ничего нет легче. Дом большой?

– Не большой и не маленький.

– А как расположены комнаты?

– Ну, знаешь, если тебе нужен план, давай бумагу и чернила.

– Сейчас дам! – поспешно заявил Кадрусс.

И он взял со старенького письменного стола лист бумаги, чернила и перо.

– Вот! – сказал Кадрусс. – Изобрази-ка мне это на бумаге, сынок.

Андреа едва заметно улыбнулся, взял перо и приступил к делу.

– При доме, как я уже тебе говорил, есть двор и сад; вот посмотри.

И Андреа начертил сад, двор и дом.

– Ограда высокая?

– Нет, футов восемь или десять, не больше.

– Это большая неосторожность, – сказал Кадрусс.

– Во дворе кадки с померанцевыми деревьями, лужайки, цветники.

– А капканов нет?

– Нет.

– А где конюшни?

– По обе стороны ворот, вот здесь и здесь.

И Андреа продолжал чертить.

– Нарисуй мне нижний этаж, – сказал Кадрусс.

– В нижнем этаже – столовая, две гостиные, бильярдная, прихожая, парадная лестница и внутренняя лестница.

– Окна?

– Окна великолепные, большие, широкие; я думаю, в каждое мог бы пролезть человек твоего роста.

– И на кой черт устраивают лестницы, когда в доме имеются такие окна.

– Что поделаешь? Роскошь!

– А ставни есть?

– Ставни есть, но их никогда не закрывают. Большой оригинал этот граф Монте-Кристо, любит смотреть на небо даже по ночам.

– А где спят слуги?

– У них отдельный дом. Направо от входа есть сарай, где хранятся пожарные лестницы. А над этим сараем комнаты для слуг, у каждого своя, и туда из дома проведены звонки.

– Звонки, черт возьми!

– Ты что?..

– Нет, ничего. Я говорю, звонки штука дорогая; и на что они, скажи на милость?

– Прежде там была собака, которая всю ночь бродила по двору, но ее отвезли в Отейль – знаешь, в тот дом, куда ты приходил?

– Да.

– Я ему вчера еще говорил: «Это очень неосторожно с вашей стороны, граф; ведь когда вы уезжаете в Отейль и увозите с собой всех ваших слуг, в доме никого нет».

«Ну и что же?» – спросил он.

«А то, что вас в один прекрасный день обокрадут».

– И что он ответил?

– Что он ответил?

– Да.

– Он ответил: «Ну и пускай обокрадут».

– Андреа, там, наверное, есть какая-нибудь конторка с западней.

– С какой западней?

– А вот с такой: схватит вора за руку, и тут же музыка начинает играть. Я слышал, что такую показывали на последней выставке.

– Там есть только секретер красного дерева, и в нем всегда торчит ключ.

– И твоего графа не обкрадывают?

– Нет, все его слуги ему очень преданы.

– И какая должна быть прорва денег в этом секретере!

– Там, может быть... впрочем, кто его знает!

– А где он стоит?

– Во втором этаже.

– Нарисуй-ка мне, малыш, заодно примерный план второго этажа.

– Изволь.

И Андреа снова взялся за перо.

– Во втором, видишь ли, есть прихожая, гостиная; направо от гостиной – библиотека и кабинет, налево от гостиной – спальня и будуар. В будуаре и стоит этот самый секретер.

– А окно там есть?

– Два: тут и тут.

И Андреа нарисовал два окна в небольшой угловой комнате, которая примыкала к более просторной спальне графа.

Кадрусс задумался.

– И часто он уезжает в Отейль? – спросил он.

– Раза два-три в неделю, завтра, например, он собирается туда на весь день и будет там ночевать.

– Ты в этом уверен?

– Он пригласил меня туда обедать.

– Ну и жизнь! – сказал Кадрусс. – Дом в городе, дом за городом.

– На то он и богач.

– А ты поедешь к нему обедать?

– Наверное.

– Когда ты у него там обедаешь, ты и ночевать остаешься?

– Как вздумается. Я у графа, как у себя дома.

Кадрусс взглянул на молодого человека таким взглядом, словно хотел вырвать истину из глубины его сердца. Но Андреа вынул из кармана портсигар, выбрал себе «гавану», спокойно закурил ее и стал небрежно пускать кольца дыма.

– Когда тебе угодно получить свои пятьсот франков? – спросил он Кадрусса.

– Да хоть сейчас, если они с тобой.

Андреа достал из кармана двадцать пять луидоров.

– Канареечки, – сказал Кадрусс, – нет, покорно благодарю!

– Ты ими брезгаешь?

– Напротив, я их очень уважаю, но я их не хочу.

– Да ведь ты наживешь на размене, болван: за золотой дают на пять су больше.

– Знаю, а потом меняла велит выследить беднягу Кадрусса, а потом его зацапают, а потом ему придется разъяснять, какие такие арендаторы вносят ему платежи золотом. Не дури, малыш, – давай просто серебро, кругляшки с портретом какого-нибудь монарха. Монета в пять франков у всякого найдется.

– Да не могу же я носить с собой пятьсот франков серебром; мне пришлось бы взять носильщика.

– Ну так оставь их в гостинице, у швейцара, – он честный малый; я схожу за ними.

– Сегодня?

– Нет, завтра; сегодня я занят.

– Ладно; завтра, отправляясь в Отейль, я оставлю их у него.

– Я могу рассчитывать на это?

– Вполне.

– Дело в том, что я заранее хочу сговориться со служанкой.

– Сговаривайся. Но на этом и конец? Ты не будешь больше приставать ко мне?

– Никогда.

Кадрусс стал так мрачен, что Андреа боялся, не придется ли ему обратить внимание на эту перемену. Поэтому он постарался казаться еще веселее и беспечнее.

– С чего ты так развеселился, – сказал Кадрусс, – можно подумать, что ты уже получил наследство!

– Нет еще, к сожалению!.. Но в тот день, когда я получу его...

– Что тогда?

– Одно тебе скажу: тогда я не забуду своих друзей.

– Ну еще бы, с твоей-то памятью!

– Да, я думал, ты будешь с меня деньги тянуть.

– Это я-то! Скажешь тоже! Напротив, я дам тебе добрый совет.

– Какой?

– Оставь здесь это кольцо с бриллиантом. Ты что же хочешь, чтобы нас поймали? Хочешь погубить нас обоих?

– А что такое? – спросил Андреа.

– Да как же? Ты надеваешь ливрею, выдаешь себя за слугу, а оставляешь у себя на пальце бриллиант в пять тысяч франков.

– Чет побери! Ты угадал! Почему ты не поступишь в оценщики?

– Да, уж я знаю толк в бриллиантах; у меня у самого они бывали.

– Ты бы побольше этим хвастал! – сказал Андреа и, ничуть не сердясь, вопреки опасениям Кадрусса, на это новое вымогательство, благодушно отдал ему кольцо.

Кадрусс близко поднес его к глазам, и Андреа понял, что он рассматривает грани.

– Это фальшивый бриллиант, – сказал Кадрусс.

– Да ты шутишь, что ли? – сказал Андреа.

– Не сердись, сейчас проверим.

Кадрусс подошел к окну и провел камнем по стеклу: послышался скрип.

– Confiteor![62] – сказал Кадрусс, надевая кольцо на мизинец. – Я ошибся; но эти жулики ювелиры так ловко подделывают камни, что прямо страшно забираться в ювелирные лавки. Вот еще одно отмирающее ремесло!..

– Ну что, – сказал Андреа, – теперь конец? Что тебе еще угодно? Отдать тебе куртку, а может, заодно и фуражку? Не церемонься, пожалуйста.

– Нет, ты, в сущности, парень хороший. Я больше тебя не держу и постараюсь обуздать свое честолюбие.

– Но берегись, продавая бриллиант, не попади в такую передрягу, какой ты опасался с золотыми монетами.

– Не беспокойся, я не собираюсь его продавать.

«Во всяком случае, до послезавтра», – подумал Андреа.

– Счастливый ты, мошенник, – сказал Кадрусс. – Ты возвращаешься к своим лакеям, к своим лошадям, экипажу и невесте!

– Конечно, – сказал Андреа.

– Я надеюсь, ты мне сделаешь хороший свадебный подарок в тот день, когда женишься на дочери моего друга Данглара?

– Я уже говорил, что это просто твоя фантазия.

– Сколько за ней приданого?

– Да я же тебе говорю...

– Миллион?

Андреа пожал плечами.

– Будем считать, миллион, – сказал Кадрусс, – но сколько бы у тебя ни было, я желаю тебе еще больше.

– Спасибо, – сказал Андреа.

– Это от чистого сердца, – прибавил Кадрусс, расхохотавшись. – Погоди, я провожу тебя.

– Не стоит трудиться.

– Очень даже стоит.

– Почему?

– Потому что у меня замок с маленьким секретом; мне пришло в голову им обзавестись; замок системы Юре и Фише, просмотренный и исправленный Гаспаром Кадруссом. Я тебе сделаю такой же, когда ты будешь капиталистом.

– Благодарю, – сказал Андреа, – я предупрежу тебя за неделю.

Они расстались. Кадрусс остался стоять на площадке лестницы, пока не убедился собственными глазами, что Андреа не только спустился вниз, но и пересек двор. Тогда он поспешно вернулся к себе, тщательно запер дверь и, как опытный архитектор, принялся изучать план, оставленный ему Андреа.

– Мне кажется, – сказал он, – что этот милый Бенедетто не прочь получить наследство; и тот, кто приблизит день, когда ему достанутся в руки пятьсот тысяч франков, будет не худшим из его друзей.

# V. Взлом

На следующий день после того, как происходил переданный нами разговор, граф Монте-Кристо уехал в Отейль вместе с Али, несколькими слугами и лошадьми, которых он хотел испытать.

Еще накануне он и не думал, что поедет, так же как и Андреа. Эта поездка была вызвана главным образом возвращением из Нормандии Бертуччо, который привез новости о доме и о корвете. Дом был вполне готов, а корвет уже неделю стоял на якоре в маленькой бухте со всем своим экипажем из шести человек, исполнил все нужные формальности и мог в любое время выйти в море. Монте-Кристо похвалил Бертуччо за расторопность и предложил ему быть готовым к скорому отъезду, так как намеревался покинуть Францию не позже чем через месяц.

– А пока, – сказал он ему, – возможно, что мне понадобится проехать в одну ночь из Парижа в Трепор; я хочу, чтобы мне были приготовлены на пути восемь подстав, так чтобы я мог сделать эти пятьдесят лье в десять часов.

– Ваше сиятельство уже высказывали это желание, – отвечал Бертуччо, – и лошади готовы. Я их купил и сам разместил в наиболее удобных пунктах, то есть в таких деревнях, где никто обычно не останавливается.

– Отлично, – сказал Монте-Кристо, – я останусь здесь день-два, сообразуйтесь с этим.

Как только Бертуччо вышел из комнаты, чтобы отдать нужные распоряжения, на пороге показался Батистен; он нес письмо на золоченом подносе.

– Вы зачем явились? – спросил граф, увидя, что он весь в пыли. – Я вас, кажется, не звал?

Батистен, не отвечая, подошел к графу и подал ему письмо.

– Очень важное и спешное, – сказал он.

Граф вскрыл письмо и прочел:

«Графа Монте-Кристо предупреждают, что сегодня ночью в его дом на Елисейских полях проникнет человек, чтобы выкрасть документы, которые он считает спрятанными в конторке, стоящей в будуаре; граф Монте-Кристо настолько отважный человек, что не станет вмешивать в это дело полицию, каковое вмешательство могло бы сильно повредить тому, кто сообщает эти сведения. Граф может сам разделаться со взломщиком или через отверстие в стене, отделяющей спальню от будуара, или спрятавшись в самом будуаре. Присутствие многих людей и принятие видимых мер предосторожности, несомненно, остановят злоумышленника, и граф Монте-Кристо упустит возможность узнать врага, случайно обнаруженного тем лицом, которое предупреждает об этом графа и которое, быть может, окажется уже не в состоянии сделать это вторично, если при неудаче этой попытки злоумышленник надумал бы совершить новую».

Первой мыслью, мелькнувшей у графа, было подозрение, что это воровская уловка, грубая западня, что его извещают о небольшой опасности, чтобы отвлечь его внимание от опасности более серьезной. Он уже собирался отослать письмо полицейскому комиссару, невзирая на предупреждение, а может быть, именно благодаря предупреждению своего анонимного доброжелателя, как вдруг у него мелькнула мысль: не встретится ли он действительно с каким-нибудь личным своим врагом, которого только он и может узнать и который в случае необходимости только ему одному и может на что-нибудь пригодиться, как случилось с Фиеско и тем мавром, который хотел его убить.

Мы знаем графа; поэтому нам нечего говорить о том, что это был человек отважный и сильный духом, бравшийся за невозможное с той энергией, которая отличает людей высшего порядка. Вся его жизнь, принятое и неуклонно выполняемое им решение ни перед чем не отступать научили графа черпать неизведанные наслаждения в его битвах против природы, которая есть бог, и против мира, который можно было бы назвать дьяволом.

– Они вряд ли собираются красть у меня документы, – сказал Монте-Кристо, – они хотят убить меня; это не воры, это убийцы. Я вовсе не

желаю, чтобы господин префект полиции вмешивался в мои личные дела. Я, право, достаточно богат, чтобы не отягощать бюджет префектуры.

Граф позвал Батистена, который, подав письмо, вышел из комнаты.

– Немедленно возвращайтесь в Париж, – сказал он, – и привезите сюда всех оставшихся слуг. Они все понадобятся мне здесь.

– Так в доме никого не останется, господин граф? – спросил Батистен.

– Нет, останется привратник.

– Может быть, господин граф примет во внимание, что от привратницкой до дома довольно далеко.

– Ну и что же?

– Могут ведь обокрасть весь дом, и он ничего не услышит.

– Кто может обокрасть?

– Воры.

– Вы осел, сударь. Я предпочитаю, чтобы воры разграбили весь дом, чем терпеть недостаток в прислуге.

Батистен поклонился.

– Вы понимаете, – сказал граф, – привезите сюда всех, до единого, но чтобы в доме все осталось, как обычно, вы только закроете ставни нижнего этажа, вот и все.

– А во втором этаже?

– Вы же знаете, что их никогда не закрывают. Ступайте.

Граф велел сказать, что он пообедает один и что прислуживать ему будет Али.

Он пообедал с обычной умеренностью, а после обеда, приказав Али следовать за собой, вышел через калитку, дошел, как бы прогуливаясь, до Булонского леса, повернул, словно непредумышленно, в сторону Парижа и уже в сумерках очутился напротив своего дома на Елисейских полях.

В доме царила полная тьма; только слабый огонек светился в привратницкой, стоявшей, как и говорил Батистен, шагах в сорока от дома.

Монте-Кристо прислонился к дереву и своим зорким взглядом окинул двойную аллею, прохожих и соседние улицы, чтобы проверить, не подстерегает ли его кто-нибудь. Минут через десять он убедился, что никто за ним не следит.

Тогда он подбежал вместе с Али к калитке, быстро вошел и по черной лестнице, от которой у него был ключ, прошел в свою спальню, не коснувшись ни одной занавеси, так что даже привратник не подозревал, что в дом, который он считал пустым, вернулся его хозяин.

Войдя в спальню, граф дал Али знак остановиться; затем он прошел в будуар и осмотрел его; все было как всегда; секретер стоял на своем месте, ключ торчал в замке. Он дважды повернул ключ, вынул его, подошел к двери спальни, снял скобу задвижки и вышел из будуара.

Тем временем Али принес и положил на стол указанное графом оружие: короткий карабин и пару двуствольных пистолетов, допускающих такой же верный прицел, как пистолеты, из которых стреляют в тире. Вооруженный таким образом, граф держал в своих руках жизнь пяти человек.

Было около половины десятого; граф и Али наскоро закусили ломтем хлеба и стаканом испанского вина; затем граф нажал пружину одной из тех раздвижных филенок, благодаря которым он мог из одной комнаты видеть, что делается в другой. Рядом с ним лежали его пистолеты и карабин, и Али, стоя возле него, держал в руке один из тех арабских топориков, форма которых не изменилась со времен крестовых походов.

В одно из окон спальни, выходившее, как и окно будуара, на Елисейские поля, графу видна была улица.

Так прошло два часа; было совершенно темно, а между тем Али своим острым зрением дикаря и граф благодаря привычке к темноте различали малейшее колебание ветвей во дворе.

Огонек в привратницкой уже давно потух.

Можно было предположить, что нападающие, если действительно предстояло нападение, пройдут по лестнице из нижнего этажа, а не влезут в окно. Монте-Кристо думал, что злоумышленники хотят его убить, а не обокрасть. Следовательно, их целью является его спальня, и

они доберутся до нее или по потайной лестнице, или через окно будуара.

Он поставил Али у двери на лестницу, а сам продолжал наблюдать за будуаром.

На часах Дома Инвалидов пробило без четверти двенадцать; сырой западный ветер донес до них три зловещих удара.

Не успел еще замереть последний стук, как граф уловил со стороны будуара легкий скрип; затем еще и еще; на четвертый раз граф перестал сомневаться. Опытная и твердая рука вырезала алмазом оконное стекло.

Сердце у графа забилось. Как бы ни были люди закалены в тревогах, как бы ни были они готовы встретить грозящую опасность, они всегда чувствуют по ускоренному биению сердца и по легкой дрожи, какая огромная разница между воображением и действительностью, между замыслом и выполнением.

Монте-Кристо знаком предупредил Али; тот, поняв, что опасность надвигается со стороны будуара, подошел ближе к своему хозяину.

Монте-Кристо горел нетерпением узнать, кто его враги и сколько их.

Окно, которое скрипело под алмазом, приходилось как раз напротив отверстия, куда заглядывал граф. Его взгляд остановился на этом окне. Он увидел, что в ночном мраке вырисовывается какая-то еще более темная тень; вслед за тем одно из оконных стекол стало непроницаемым, как будто на него снаружи наклеили лист бумаги, потом стекло треснуло, но не упало. Через проделанное отверстие просунулась рука и стала искать задвижку; секунду спустя окно открылось, и появился человек. Он был один.

– Вот смелый мошенник! – прошептал граф.

В эту минуту Али тихонько тронул его за плечо, он обернулся; Али показывал ему на то окно в спальне, которое выходило на улицу.

Монте-Кристо сделал три шага по направлению к этому окну; он знал изумительную чуткость своего верного слуги. И действительно, он увидел, что от ворот напротив отделился человек и, взобравшись на тумбу, старается разглядеть, что происходит в доме.

– Так, – сказал он, – их двое; один действует, а другой сторожит.

Он дал знак Али не спускать глаз с человека на улице и вернулся к тому, который забрался в будуар.

Взломщик уже вошел в комнату и осторожно двигался, вытянув руки вперед.

Наконец он, по-видимому, освоился с обстановкой; в будуаре были две двери, и он обе запер на задвижки.

Когда он подходил к той, которая вела в спальню, Монте-Кристо подумал, что он собирается войти, и взялся за один из пистолетов; но он услышал лишь шорох задвижки, скользящей в медных петлях. Это была мера предосторожности, и только; ночной посетитель, не зная, что граф позаботился снять скобу, мог теперь чувствовать себя как дома и совершенно спокойно приниматься за работу.

Взломщик неторопливо вытащил из своего широкого кармана какой-то предмет, поставил его на столик, затем подошел к секретеру, нащупал замок и заметил, что вопреки его ожиданиям ключа нет.

Но взломщик был человек предусмотрительный и все предвидел. Граф услышал характерное звяканье: так звякает связка отмычек в руках слесаря, пришедшего отпереть испорченный замок. Воры прозвали их «соловьями», вероятно, потому, что им доставляет удовольствие слушать, как они поют по ночам, со скрипом поворачиваясь в замке.

– Да это просто вор, – разочарованно пробормотал Монте-Кристо.

Но в темноте человек не мог подобрать подходящего инструмента. Тогда он прибег к помощи того предмета, который он поставил на столик; он нажал пружину, и тотчас же луч света, правда слабый, но все же достаточный для того, чтобы видеть, осветил его руки и лицо.

– Вот оно что! – негромко воскликнул Монте-Кристо, изумленно отступая на шаг. – Да ведь это...

Али поднял топорик.

– Стой на месте, – шепотом сказал ему Монте-Кристо, – и положи топор; оружие нам больше не понадобится.

Затем он прибавил несколько слов, еще понизив голос, потому что при вырвавшемся у него изумленном возгласе, хоть и еле слышном, взломщик встрепенулся и застыл в позе античного точильщика.

Выслушав графа, Али на цыпочках отошел от него, подошел к стене алькова и снял с вешалки черное одеяние и треугольную шляпу. Тем временем Монте-Кристо быстро сбросил с себя сюртук, жилет и сорочку; при свете тонкого луча, пробивающегося через щель в филенке, можно было различить на груди у графа гибкую и тонкую кольчугу, какие во Франции, где больше не страшатся кинжалов, уже никто не носит после Людовика XVI, который боялся быть заколотым и которому вместо этого отрубили голову.

Эта кольчуга тотчас же скрылась под длинной сутаной, как волосы графа – под париком с тонзурой; надетая поверх парика треугольная шляпа окончательно превратила графа в аббата.

Между тем взломщик, не слыша больше ни звука, снова выпрямился и, пока Монте-Кристо совершал свое превращение, подошел к секретеру, замок которого начал уже потрескивать под его «соловьем».

– Ладно, ладно, несколько минут ты еще повозишься! – прошептал граф, по-видимому, полагаясь на какой-то секрет в замке, неизвестный взломщику, несмотря на всю его опытность.

И он подошел к окну.

Человек, который взобрался на тумбу, теперь слез с нее и шагал взад и вперед по улице; но странное дело: вместо того чтобы следить за прохожими, которые могли появиться либо со стороны Елисейских полей, либо со стороны предместья Сент-Оноре, он, по-видимому, интересовался лишь тем, что происходило в доме графа, и всячески старался увидеть, что творится в будуаре.

Монте-Кристо вдруг хлопнул себя по лбу, и на его губах появилась молчаливая улыбка.

Он подошел к Али.

– Стой здесь в темноте, – тихо сказал он ему, – и что бы ты ни услышал, что бы ни произошло, не выходи отсюда и не показывайся, пока я тебя не кликну по имени.

Али кивнул головой.

Тогда Монте-Кристо достал из шкафа зажженную свечу и, выбрав минуту, когда вор был всецело поглощен замком, тихонько открыл

дверь, стараясь, чтобы свет падал на его лицо.

Дверь открылась так тихо, что вор ничего не услышал. Но, к его великому изумлению, комната неожиданно осветилась.

Он обернулся.

– Добрый вечер, дорогой господин Кадрусс! – сказал Монте-Кристо. – Что это вы делаете здесь в такой поздний час?

– Аббат Бузони! – воскликнул Кадрусс.

И, не понимая, каким путем очутился здесь этот странный посетитель, раз он закрыл обе двери, он выронил связку отмычек и замер как в столбняке.

Граф стал между Кадруссом и окном, отрезая таким образом перепуганному вору единственный путь отступления.

– Аббат Бузони! – повторил Кадрусс, оторопело глядя на графа.

– Да, аббат Бузони! – сказал Монте-Кристо. – Он самый, и я очень рад, что вы меня узнали, дорогой господин Кадрусс; это доказывает, что у вас хорошая память, потому что, если я не ошибаюсь, мы не виделись уже лет десять.

Это спокойствие, эта ирония, этот властный тон внушили Кадруссу такой ужас, что у него закружилась голова.

– Аббат! – бормотал он, стискивая руки и стуча зубами.

– Итак, вы решили обокрасть графа Монте-Кристо? – продолжал мнимый аббат.

– Господин аббат, – прошептал Кадрусс, тщетно пытаясь проскользнуть мимо графа к окну, – господин аббат, я сам не знаю... поверьте... клянусь вам...

– Вырезанное стекло, – продолжал граф, – потайной фонарь, связка отмычек, наполовину взломанный секретер – все это говорит само за себя.

Кадрусс беспомощно озирался, ища угол, куда бы спрятаться, или щель, через которую можно было бы улизнуть.

– Я вижу, вы все тот же, господин убийца, – сказал граф.

– Господин аббат, раз вы все знаете, вы должны знать, что это не я, это Карконта; это и суд признал: ведь меня приговорили только к

галерам.

– Разве вы уже отбыли свой срок, что опять стараетесь туда попасть?

– Нет, господин аббат, меня освободил один человек.

– Этот человек оказал обществу большую услугу.

– Но я обещал... – сказал Кадрусс.

– Итак, вы бежали с каторги? – прервал его Монте-Кристо.

– Увы, – ответил перепуганный Кадрусс.

– Рецидив при отягчающих обстоятельствах?.. За это, если не ошибаюсь, полагается гильотина. Тем хуже, диаволо, как говорят остряки у меня на родине.

– Господин аббат, я поддался искушению...

– Все преступники так говорят.

– Нужда...

– Бросьте, – презрительно сказал Бузони, – человек в нужде просит милостыню, крадет булку с прилавка, но не является в пустой дом взламывать секретер. А когда ювелир Жоаннес отсчитал вам сорок пять тысяч франков за тот алмаз, который вы от меня получили, и вы убили его, чтобы завладеть и алмазом, и деньгами, вы это тоже сделали из нужды?

– Простите меня, господин аббат, – сказал Кадрусс, – вы меня уже спасли однажды, спасите меня еще раз.

– Не имею особого желания повторять этот опыт.

– Вы здесь один, господин аббат? – спросил Кадрусс, умоляюще складывая руки. – Или у вас тут спрятаны жандармы, готовые схватить меня.

– Я совсем один, – сказал аббат, – и я готов сжалиться над вами, и, хотя мое мягкосердечие может привести к новым бедам, я вас отпущу, если вы мне во всем признаетесь.

– Господин аббат, – воскликнул Кадрусс, делая шаг к Монте-Кристо, – вот уж поистине вы мой спаситель.

– Вы говорите, что вам помогли бежать с каторги?

– Это правда, верьте моему слову, господин аббат!

– Кто?

– Один англичанин.

– Как его звали?

– Лорд Уилмор.

– Я с ним знаком; я проверю, не лжете ли вы.

– Господин аббат, я говорю чистую правду.

– Так этот англичанин вам покровительствовал?

– Не мне, а молодому корсиканцу, с которым мы были скованы одной цепью.

– Как звали этого молодого корсиканца?

– Бенедетто.

– Это только имя.

– У него не было фамилии, это найденыш.

– И этот молодой человек бежал вместе с вами?

– Да.

– Каким образом?

– Мы работали в Сен-Мандрие, около Тулона. Вы знаете Сен-Мандрие?

– Знаю.

– Ну так вот, пока все спали, от полудня до часу...

– Полуденный отдых у каторжников! Вот и жалей их после этого! – сказал аббат.

– А как же, – заметил Кадрусс. – Нельзя все время работать, мы не собаки.

– К счастью для собак, – сказал Монте-Кристо.

– Пока остальные отдыхали, мы немного отошли в сторону, перепилили наши кандалы напильником, который нам передал этот англичанин, и удрали вплавь.

– А что сталось с этим Бенедетто?

– Не знаю.

– Вы должны это знать.

– Нет, право, не знаю. Мы с ним расстались в Гиере.

И чтобы придать больше весу своим уверениям, Кадрусс приблизился еще на шаг к аббату, который продолжал стоять на месте с тем же

спокойным и вопрошающим видом.

– Вы лжете, – властно сказал аббат Бузони.

– Господин аббат!..

– Вы лжете! Этот человек по-прежнему ваш приятель, а может быть, и сообщник.

– Господин аббат!

– На какие средства вы жили с тех пор, как бежали из Тулона? Отвечайте.

– Как придется.

– Вы лжете! – в третий раз возразил аббат еще более властным тоном.

Кадрусс с ужасом посмотрел на графа.

– Вы жили, – продолжал он, – на деньги, которые он вам давал.

– Да, правда, – сказал Кадрусс. – Бенедетто стал сыном знатного вельможи.

– Как же он может быть сыном вельможи?

– Побочным сыном.

– А как зовут этого вельможу?

– Граф Монте-Кристо, хозяин этого дома.

– Бенедетто – сын графа? – сказал Монте-Кристо, в свою очередь, изумленный.

– Да, по всему так выходит. Граф нашел ему подставного отца, граф дает ему четыре тысячи франков в месяц, граф оставил ему по завещанию пятьсот тысяч франков.

– Вот оно что! – сказал мнимый аббат, начиная догадываться в чем дело. – А какое имя носит пока этот молодой человек?

– Андреа Кавальканти.

– Так это тот самый молодой человек, которого принимает у себя мой друг граф Монте-Кристо и который собирается жениться на мадемуазель Данглар?

– Вот именно.

– И вы это терпите, несчастный! Зная его жизнь и лежащее на нем клеймо?

– А с какой стати я буду мешать товарищу? – спросил Кадрусс.

– Верно, это уж мое дело предупредить господина Данглара.

– Не делайте этого, господин аббат!

– Почему?

– Потому что вы этим лишили бы нас куска хлеба.

– И вы думаете, что для того, чтобы сохранить двум негодяям кусок хлеба, я стану участником их плутней, сообщником их преступлений?

– Господин аббат! – умолял Кадрусс, еще ближе подступая к нему.

– Я все скажу.

– Кому?

– Господину Данглару.

– Черта с два! – воскликнул Кадрусс, выхватывая нож и ударяя графа в грудь. – Ничего ты не скажешь, аббат!

К полному изумлению Кадрусса, лезвие не вонзилось в грудь, а отскочило.

В тот же миг граф схватил левой рукой кисть Кадрусса и сжал ее с такой силой, что нож выпал из его онемевших пальцев и злодей вскрикнул от боли.

Но граф, не обращая внимания на его крики, продолжал выворачивать ему кисть до тех пор, пока он не упал сначала на колени, а затем ничком на пол.

Граф поставил ногу ему на голову и сказал:

– Следовало бы размозжить тебе череп, негодяй.

– Пощадите, пощадите! – кричал Кадрусс.

Граф снял ногу.

– Вставай! – сказал он.

Кадрусс встал на ноги.

– Ну и хватка у вас, господин аббат! – сказал он, потирая онемевшую руку. – Ну и силища!

– Молчи! Бог дает мне силу укротить такого кровожадного зверя, как ты. Я действую во имя его, помни это, негодяй. И если я щажу тебя в эту минуту, то только для того, чтобы содействовать промыслу божию.

– Уф! – пробормотал Кадрусс, с трудом приходя в себя.

– Вот тебе перо и бумага. Пиши то, что я тебе продиктую.

– Я не умею писать, господин аббат.

– Лжешь; бери и пиши.

Кадрусс покорно сел и написал:

«Милостивый государь, человек, которого вы принимаете у себя и за которого намереваетесь выдать вашу дочь, – беглый каторжник, бежавший вместе со мной с Тулонской каторги; он значился под № 59, а я под № 58.

Его звали Бенедетто; своего настоящего имени он сам не знает, потому что он никогда не знал своих родителей».

– Подпишись! – продолжал граф.

– Вы хотите погубить меня?

– Если бы я хотел погубить тебя, глупец, я бы отправил тебя в полицию; к тому же, когда эта записка попадет по адресу, тебе, по всей вероятности, уже нечего будет опасаться; подписывайся.

Кадрусс подписался.

– Пиши: Господину барону Данглару, банкиру, улица Шоссе-д'Антен.

Кадрусс надписал адрес.

Аббат взял записку в руки.

– Теперь уходи, – сказал он.

– Каким путем?

– Каким пришел.

– Вы хотите, чтобы я вылез в это окно?

– Ты же влез в него.

– Вы замышляете что-то против меня, господин аббат?

– Дурак, что же я могу замышлять?

– Почему вам не выпустить меня через ворота?

– Зачем будить привратника?

– Господин аббат, скажите мне, что вы не желаете моей смерти.

– Я хочу того, чего хочет господь.

– Но поклянитесь, что вы не убьете меня, пока я буду спускаться.

– Какой же ты трусливый дурак!

– Что вы со мной сделаете?

– Об этом тебя надо спросить. Я пытался сделать из тебя счастливого человека, а ты стал убийцей!

– Господин аббат, – сказал Кадрусс, – попытайтесь в последний раз.

– Хорошо, – сказал граф. – Ты знаешь, что я всегда держу свое слово?

– Да, – сказал Кадрусс.

– Если ты вернешься к себе домой цел и невредим…

– Кого же мне бояться, кроме вас?

– Если ты вернешься домой цел и невредим, покинь Париж, покинь Францию, и, где бы ты ни был, до тех пор пока ты будешь вести честную жизнь, ты будешь получать от меня небольшое содержание; ибо, если ты вернешься домой цел и невредим, то…

– То?.. – спросил дрожащий Кадрусс.

– То я буду считать, что господь простил тебя, и я тоже тебя прощу.

– Вы меня до смерти пугаете! – пробормотал, отступая, Кадрусс.

– Теперь уходи! – сказал граф, указывая Кадруссу на окно.

Кадрусс, еще не вполне успокоенный этим обещанием, вылез в окно и поставил ногу на приставную лестницу. Там он замер, весь дрожа.

– Теперь слезай, – сказал аббат, скрестив руки.

Кадрусс наконец уразумел, что с этой стороны ему ничто не грозит, и стал спускаться.

Тогда граф подошел к окну со свечой в руке, так что с улицы можно было видеть, как человек спускается из окна, а другой ему светит.

– Что вы делаете, господин аббат? – сказал Кадрусс. – А если патруль…

И он задул свечу.

Затем он продолжал спускаться; но совершенно успокоился лишь тогда, когда ступил на землю.

Монте-Кристо вернулся в свою спальню и, окинув быстрым взглядом сад и улицу, увидел сначала Кадрусса, который, спустившись в сад, обошел его и приставил лестницу в противоположном конце ограды, для того чтобы перелезть не там, где он влезал.

Потом, взглянув опять на улицу, он увидел, как поджидавший человек побежал по улице в ту же сторону, что и Кадрусс, и остановился как раз

за тем углом, где тот собрался перелезать.

Кадрусс медленно поднялся по лестнице и, добравшись до последних перекладин, посмотрел через ограду, чтобы убедиться в том, что улица безлюдна.

Не было видно ни души, не слышно было ни малейшего шума.

Часы Дома Инвалидов пробили час.

Тогда Кадрусс уселся верхом на ограду и, подтянув к себе лестницу, перекинул ее через стену; затем принялся снова спускаться, или, вернее, стал съезжать по продольным брусьям с ловкостью, доказывающей, что это упражнение ему не внове.

Но, начав съезжать вниз, он не мог уже остановиться. Хоть он и увидел, уже на полпути, как из-за темного угла выскочил человек; хоть он и увидел, уже касаясь земли, как тот замахнулся на него рукой, но раньше, чем он успел принять оборонительное положение, эта рука с такой яростью ударила его в спину, что он выпустил лестницу с криком:

– Помогите!

Тут же он получил новый удар в бок и упал.

– Убивают! – закричал он.

Противник вцепился ему в волосы и нанес ему третий удар – в грудь.

На этот раз Кадрусс хотел снова крикнуть, но издал только стон, истекая кровью, тремя потоками струившейся из трех ран.

Убийца, увидев, что жертва больше не кричит, приподнял его голову за волосы; глаза Кадрусса были закрыты, рот перекошен. Убийца счел его мертвым, отпустил его голову и исчез.

Тогда Кадрусс, поняв, что он ушел, приподнялся на локте и из последних сил крикнул хриплым голосом:

– Убили! Я умираю! Помогите, господин аббат, помогите!

Этот жуткий крик прорезал ночную тьму. Открылась дверь потайной лестницы, затем калитка сада, и Али и его хозяин подбежали с фонарем.

# VI. Десница господня

Кадрусс все еще звал жалобным голосом:

– Господин аббат, помогите! Помогите!

– Что случилось? – спросил Монте-Кристо.

– Помогите! – повторил Кадрусс. – Меня убили.

– Мы идем, потерпите.

– Все кончено! Поздно! Вы пришли смотреть, как я умираю. Какие удары! Сколько крови!

И он потерял сознание.

Али и его хозяин подняли раненого и перенесли его в дом. Там Монте-Кристо велел Али раздеть его и увидел три страшные раны.

– Боже, – сказал он, – иногда твое мщение медлит; но тогда оно еще более грозным нисходит с неба.

Али посмотрел на своего господина, как бы спрашивая, что делать дальше.

– Отправляйся в предместье Сент-Оноре к господину де Вильфору, королевскому прокурору, и привези его сюда. По дороге разбуди привратника и пошли его за доктором.

Али повиновался и оставил мнимого аббата наедине с Кадруссом, все еще лежавшим без сознания.

Когда несчастный снова открыл глаза, граф, сидя в нескольких шагах от него, смотрел на него с выражением угрюмого сострадания и, казалось, беззвучно шептал молитву.

– Доктора, доктора, – простонал Кадрусс.

– За ним уже послали, – ответил аббат.

– Я знаю, это бесполезно, меня не спасти, но, может быть, он подкрепит мои силы, и я успею сделать заявление.

– О чем?

– О моем убийце.

– Так вы его знаете?

– Еще бы не знать! Это Бенедетто.

– Тот самый молодой корсиканец?

– Он самый.

– Ваш товарищ?

– Да. Он дал мне план графского дома, надеясь, должно быть, что я убью графа и он получит наследство или что граф меня убьет и тогда он от меня избавится. А потом он подстерег меня на улице и убил.

– Я послал сразу и за доктором, и за королевским прокурором.

– Он опоздает, – сказал Кадрусс, – я чувствую, что вся кровь из меня уходит.

– Постойте, – сказал Монте-Кристо.

Он вышел из комнаты и вернулся с флаконом в руках.

Глаза умирающего, страшные в своей неподвижности, во время его отсутствия ни на секунду не отрывались от двери, через которую, он чувствовал, должна была явиться помощь.

– Скорее, господин аббат, скорее! – сказал он. – Я сейчас потеряю сознание.

Монте-Кристо подошел к раненому и влил в его синие губы три капли жидкости из флакона.

Кадрусс глубоко вздохнул.

– Еще... еще... – сказал он. – Вы возвращаете мне жизнь.

– Еще две капли, и вы умрете, – ответил аббат.

– Что же никто не идет? Я хочу назвать убийцу!

– Хотите, я напишу за вас заявление? Вы его подпишете?

– Да... да... – сказал Кадрусс, и глаза его заблестели при мысли об этом посмертном мщении.

Монте-Кристо написал:

«Я умираю от руки убийцы, корсиканца Бенедетто, моего товарища по каторге в Тулоне, значившегося под № 59».

– Скорее, скорее! – сказал Кадрусс. – А то я не успею подписать.

Монте-Кристо подал Кадруссу перо, и тот, собрав все свои силы, подписал заявление и откинулся назад.

– Остальное вы расскажете сами, господин аббат, – сказал он. – Вы скажете, что он называет себя Андреа Кавальканти, что он живет в

гостинице Принцев, что... боже мой, я умираю!

И Кадрусс снова лишился чувств. Аббат поднес к его лицу флакон, и раненый снова открыл глаза.

Жажда мщения не оставляла его, пока он лежал в обмороке.

– Вы все расскажете, правда, господин аббат?

– Все это, конечно, и еще многое другое.

– А что еще?

– Я скажу, что он, вероятно, дал вам план этого дома в надежде, что граф убьет вас. Я скажу, что он предупредил графа письмом; я скажу, что, так как граф был в отлучке, это письмо получил я и что я ждал вас.

– И его казнят, правда? – сказал Кадрусс. – Его казнят, вы обещаете? Я умираю с этой надеждой, так мне легче умереть.

– Я скажу, – продолжал граф, – что он явился следом за вами, что он все время вас подстерегал; что, увидав, как вы вылезли из окна, он забежал за угол и там спрятался.

– Так вы все это видели?

– Вспомни мои слова: «Если ты вернешься домой цел и невредим, я буду считать, что господь простил тебя, и я тоже тебя прощу».

– И вы не предупредили меня? – воскликнул Кадрусс, пытаясь приподняться на локте. – Вы знали, что он меня убьет, как только я выйду отсюда, и вы меня не предупредили?

– Нет, потому что в руке Бенедетто я видел божье правосудие, и я считал кощунством противиться воле провидения.

– Божье правосудие! Не говорите мне о нем, господин аббат. Вы лучше всех знаете, что, если бы оно существовало, некоторые люди были бы наказаны.

– Терпение, – сказал аббат голосом, от которого умирающий затрепетал, – терпение!

Кадрусс, пораженный, взглянул на графа.

– К тому же, – сказал аббат, – господь милостив ко всем, он был милостив и к тебе. Он раньше всего отец, а затем уже судия.

– Так вы верите в бога? – сказал Кадрусс.

– Если бы я имел несчастье не верить в него до сих пор, – сказал Монте-Кристо, – то я поверил бы теперь, глядя на тебя.

Кадрусс поднял к небу сжатые кулаки.

– Слушай, – сказал аббат, простирая руку над раненым, словно повелевая ему верить, – вот что сделал для тебя бог, которого ты отвергаешь в твой смертный час: он дал тебе здоровье, силы, обеспеченный труд, даже друзей – словом, такую жизнь, которая удовлетворила бы всякого человека со спокойной совестью и естественными желаниями. Что сделал ты, вместо того чтобы воспользоваться этими дарами, которые бог столь редко посылает с такой щедростью? Ты погряз в лености и пьянстве и, пьяный, предал одного из своих лучших друзей.

– Помогите! – закричал Кадрусс. – Мне нужен не священник, а доктор; быть может, мои раны не смертельны, я не умру, меня можно спасти!

– Ты ранен смертельно, и не дай я тебе этой жидкости, ты был бы уже мертв. Слушай же!

– Странный вы священник! – прошептал Кадрусс. – Вместо того чтобы утешать умирающих, вы лишаете их последней надежды!

– Слушай, – продолжал аббат, – когда ты предал своего друга, бог, еще не карая, предостерег тебя: ты впал в нищету, ты познал голод. Половину той жизни, которую ты мог посвятить приобретению земных благ, ты предавался зависти. Уже тогда ты думал о преступлении, оправдывал себя в собственных глазах нуждою. Господь явил тебе чудо, из моих рук даровал тебе в твоей нищете богатство, несметное для такого бедняка, как ты. Но это богатство, нежданное, негаданное, неслыханное, кажется тебе уже недостаточным, как только оно у тебя в руках; тебе хочется удвоить его. Каким же способом? Убийством. Ты удвоил его, и господь отнял его у тебя и поставил тебя перед судом людей.

– Это не я, – сказал Кадрусс, – не я хотел убить еврея, это Карконта.

– Да, – сказал Монте-Кристо. – И господь в бесконечном своем милосердии не покарал тебя смертью, которой ты по справедливости

заслуживал, но позволил, чтобы твои слова тронули судей, и они оставили тебе жизнь.

– Как же! И отправили меня на вечную каторгу! Хороша милость!

– Эту милость, несчастный, ты, однако, считал милостью, когда она была тебе оказана. Твое подлое сердце, трепещущее в ожидании смерти, забилось от радости, услышав о твоем вечном позоре, потому что ты, как и все каторжники, сказал себе: с каторги можно уйти, а из могилы нельзя. И ты оказался прав; ворота тюрьмы неожиданно раскрылись для тебя. В Тулон приезжает англичанин, который дал обет избавить двух людей от бесчестия; его выбор падает на тебя и на твоего товарища; на тебя сваливается с неба новое счастье, у тебя есть и деньги, и покой, ты можешь снова зажить человеческой жизнью, – ты, который был обречен на жизнь каторжника; тогда, несчастный, ты искушаешь господа в третий раз. Мне этого мало, говоришь ты, когда на самом деле у тебя было больше, чем когда-либо раньше, и ты совершаешь третье преступление, ничем не вызванное, ничем не оправданное. Терпение господне истощилось. Господь покарал тебя.

Кадрусс слабел на глазах.

– Пить, – сказал он, – дайте пить... я весь горю!

Монте-Кристо подал ему стакан воды.

– Подлец Бенедетто, – сказал Кадрусс, отдавая стакан, – он-то вывернется.

– Никто не вывернется, говорю я тебе... Бенедетто будет наказан!

– Тогда и вы тоже будете наказаны, – сказал Кадрусс, – потому что вы не исполнили свой долг священника... Вы должны были помешать Бенедетто убить меня.

– Я! – сказал граф с улыбкой, от которой кровь застыла в жилах умирающего. – Я должен был помешать Бенедетто убить тебя, после того как ты сломал свой нож о кольчугу на моей груди!.. Да, если бы я увидел твое смирение и раскаяние, я, быть может, и помешал бы Бенедетто убить тебя, но ты был дерзок и коварен, и я дал свершиться воле божьей.

– Я не верю в бога! – закричал Кадрусс. – И ты тоже не веришь в него... ты лжешь... лжешь!..

– Молчи, – сказал аббат, – ты теряешь последние капли крови, еще оставшиеся в твоем теле… Ты не веришь в бога, а умираешь, пораженный его рукой! Ты не веришь в бога, а бог ждет только одной молитвы, одного слова, одной слезы, чтобы простить… Бог, который мог так направить кинжал убийцы, чтобы ты умер на месте, бог дал тебе эти минуты, чтобы раскаяться… Загляни в свою душу и покайся!

– Нет, – сказал Кадрусс, – нет, я ни в чем не раскаиваюсь. Бога нет, провидения нет, есть только случай.

– Есть провидение, есть бог, – сказал Монте-Кристо. – Смотри: вот ты умираешь, в отчаянии отрицая бога, а я стою перед тобой, богатый, счастливый, в расцвете сил, и возношу молитвы к тому богу, в которого ты пытаешься не верить и все же веришь в глубине души.

– Но кто же вы? – сказал Кадрусс, устремив померкнувшие глаза на графа.

– Смотри внимательно, – сказал Монте-Кристо, беря свечу и поднося ее к своему лицу.

– Вы аббат… аббат Бузони…

Монте-Кристо сорвал парик и встряхнул длинными черными волосами, так красиво обрамлявшими его бледное лицо.

– Боже, – с ужасом сказал Кадрусс, – если бы не черные волосы, я бы сказал, что вы тот англичанин, лорд Уилмор.

– Я не аббат Бузони и не лорд Уилмор, – ответил Монте-Кристо. – Вглядись внимательно, вглядись в прошлое, в самые давние твои воспоминания.

В этих словах графа была такая магнетическая сила, что слабеющие чувства несчастного ожили в последний раз.

– В самом деле, – сказал он, – я словно уже где-то видел вас, я вас знал когда-то.

– Да, Кадрусс, ты меня видел, ты меня знал.

– Но кто же вы наконец? И почему, если вы меня знали, вы даете мне умереть?

– Потому что ничто не может тебя спасти, Кадрусс, раны твои смертельны. Если бы тебя можно было спасти, я увидел бы в этом

последний знак милосердия господня, и я бы попытался, клянусь тебе могилой моего отца, вернуть тебя к жизни и раскаянию.

– Могилой твоего отца! – сказал Кадрусс, в котором вспыхнула последняя искра жизни, и приподнялся, чтобы взглянуть поближе на человека, который произнес эту священнейшую из клятв. – Да кто же ты?

Граф не переставал следить за ходом агонии. Он понял, что эта вспышка – последняя; он наклонился над умирающим и остановил на нем спокойный и печальный взор.

– Я... – сказал он ему на ухо, – я...

И с его еле раскрытых губ слетело имя, произнесенное так тихо, словно он сам боялся услышать его.

Кадрусс приподнялся на колени, вытянул руки, отшатнулся, потом сложил ладони и последним усилием воздел их к небу.

– О боже мой, боже мой, – сказал он, – прости, что я отрицал тебя; ты существуешь, ты поистине отец небесный и судья земной! Господи боже мой, я долго не верил в тебя! Господи, прими душу мою!

И Кадрусс, закрыв глаза, упал навзничь с последним криком и последним вздохом.

Кровь сразу перестала течь из ран.

Он был мертв.

– Один! – загадочно произнес граф, устремив глаза на труп, обезображенный ужасной смертью.

Десять минут спустя прибыли доктор и королевский прокурор, приведенные один привратником, другой Али, и были встречены аббатом Бузони, молившимся у изголовья мертвеца.

# VII. Бошан

В Париже целых две недели только и говорили что об этой дерзкой попытке обокрасть графа. Умирающий подписал заявление, в котором указывал на некоего Бенедетто, как на своего убийцу. Полиции было предписано пустить по следам убийцы всех своих агентов.

Нож Кадрусса, потайной фонарь, связка отмычек и вся его одежда, исключая жилет, которого нигде не нашли, были приобщены к делу; труп был отправлен в морг.

Граф всем отвечал, что все это произошло, пока он был у себя в Отейле, и что, таким образом, он знает об этом только со слов аббата Бузони, который, по странной случайности, попросил позволения провести эту ночь у него в доме, чтобы сделать выписки из некоторых редчайших книг, имеющихся в его библиотеке.

Один только Бертуччо бледнел каждый раз, когда при нем произносили имя Бенедетто, но никто не интересовался цветом лица Бертуччо.

Вильфор, призванный на место преступления, пожелал сам заняться делом и вел следствие с тем страстным рвением, с каким он относился ко всем уголовным делам, которые вел лично.

Но прошло уже три недели, а самые тщательнейшие розыски не привели ни к чему; в обществе начинали забывать об этом покушении и об убийстве вора его сообщником и занялись предстоящей свадьбой мадемуазель Данглар и графа Андреа Кавальканти.

Этот брак был почти уже официально объявлен, и Андреа бывал в доме банкира на правах жениха.

Написали Кавальканти-отцу; тот весьма одобрил этот брак, очень жалел, что служба мешает ему покинуть Парму, где он сейчас находится, и изъявил согласие выделить капитал, приносящий полтораста тысяч ливров годового дохода.

Было условлено, что три миллиона будут помещены у Данглара, который пустит их в оборот; правда, нашлись люди, выразившие

молодому человеку свои сомнения в устойчивом положении дел его будущего тестя, который за последнее время терпел на бирже неудачу за неудачей; но Андреа, преисполненный высокого доверия и бескорыстия, отверг все эти пустые слухи и был даже настолько деликатен, что ни слова не сказал о них барону.

Недаром барон был в восторге от графа Андреа Кавальканти.

Что касается мадемуазель Эжени Данглар, – в своей инстинктивной ненависти к замужеству она была рада появлению Андреа, как способу избавиться от Морсера; но когда Андреа сделался слишком близок, она начала относиться к нему с явным отвращением.

Быть может, барон это и заметил; но так как он мог приписать это отвращение только капризу, то сделал вид, что не замечает его.

Между тем выговоренная Бошаном отсрочка приходила к концу. Кстати, Морсер имел возможность оценить по достоинству совет Монте-Кристо, который убеждал его дать делу заглохнуть; никто не обратил внимания на газетную заметку, касавшуюся генерала, и никому не пришло в голову узнать в офицере, сдавшем Янинский замок, благородного графа, заседающего в Палате пэров.

Тем не менее Альбер считал себя оскорбленным, ибо не подлежало сомнению, что оскорбительные для него строки были помещены в газете преднамеренно. Кроме того, поведение Бошана в конце их беседы оставило в его душе горький осадок. Поэтому он лелеял мысль о дуэли, настоящую причину которой, если только Бошан на это согласился бы, он надеялся скрыть даже от своих секундантов.

Бошана никто не видел с тех пор, как Альбер был у него; всем, кто о нем осведомлялся, отвечали, что он на несколько дней уехал.

Где же он был? Никто этого не знал.

Однажды утром Альбера разбудил камердинер и доложил ему о приходе Бошана. Альбер протер глаза, велел попросить Бошана подождать внизу, в курительной, быстро оделся и спустился вниз.

Он застал Бошана шагающим из угла в угол. Увидев его, Бошан остановился.

– То, что вы сами явились ко мне, не дожидаясь сегодняшнего моего посещения, кажется мне добрым знаком, – сказал Альбер. – Ну, говорите скорей, могу ли я протянуть вам руку и сказать: Бошан, признайтесь, что вы были не правы, и останьтесь моим другом. Или же я должен просто спросить вас, какое оружие вы выбираете?

– Альбер, – сказал Бошан с печалью в голосе, изумившей Морсера, – прежде всего сядем и поговорим.

– Но мне казалось бы, сударь, что, прежде чем сесть, вы должны дать мне ответ?

– Альбер, – сказал журналист, – бывают обстоятельства, когда всего труднее – дать ответ.

– Я вам это облегчу, сударь, повторив свой вопрос: берете вы обратно свою заметку, да или нет?

– Морсер, так просто не отвечают: да или нет, когда дело касается чести, общественного положения, самой жизни такого человека, как генерал-лейтенант граф де Морсер, пэр Франции.

– А что же в таком случае делают?

– Делают то, что сделал я, Альбер. Говорят себе: деньги, время и усилия не играют роли, когда дело идет о репутации и интересах целой семьи. Говорят себе: мало одной вероятности, нужна уверенность, когда идешь биться насмерть с другом. Говорят себе: если мне придется скрестить шпагу или обменяться выстрелом с человеком, которому я в течение трех лет дружески жал руку, то я по крайней мере должен знать, почему я это делаю, чтобы иметь возможность явиться к барьеру с чистым сердцем и спокойной совестью, которые необходимы человеку, когда он защищает свою жизнь.

– Хорошо, хорошо, – нетерпеливо сказал Альбер, – но что все это значит?

– Это значит, что я только что вернулся из Янины.

– Из Янины? Вы?

– Да, я.

– Не может быть!

– Дорогой Альбер, вот мой паспорт; взгляните на визы: Женева, Милан, Венеция, Триест, Дельвино, Янина. Вы, надеюсь, поверите полиции одной республики, одного королевства и одной империи?

Альбер бросил взгляд на паспорт и с изумлением посмотрел на Бошана.

– Вы были в Янине? – переспросил он.

– Альбер, если бы вы были мне чужой, незнакомец, какой-нибудь лорд, как тот англичанин, который явился несколько месяцев тому назад требовать у меня удовлетворения и которого я убил, чтобы избавиться от него, вы отлично понимаете, я не взял бы на себя такой труд; но мне казалось, что из уважения к вам я обязан это сделать. Мне потребовалась неделя, чтобы доехать туда, неделя на возвращение; четыре дня карантина и двое суток на месте, – это составило ровно три недели. Сегодня ночью я вернулся, и вот я у вас.

– Боже мой, сколько предисловий, Бошан! Почему вы медлите и не говорите того, чего я жду от вас!

– По правде говоря, Альбер...

– Можно подумать, что вы не решаетесь.

– Да, я боюсь.

– Вы боитесь признаться, что ваш корреспондент обманул вас? Бросьте самолюбие, Бошан, и признайтесь, ведь в вашей храбрости никто не усомнится.

– Совсем не так, – прошептал журналист, – как раз наоборот...

Альбер смертельно побледнел; он хотел что-то сказать, но слова замерли у него на губах.

– Друг мой, – сказал Бошан самым ласковым голосом, – поверьте, я был бы счастлив принести вам мои извинения и принес бы их от всей души; но, увы...

– Но что?

– Заметка соответствовала истине, друг мой.

– Как! Этот французский офицер...

– Да.

– Этот Фернан?

– Да.

– Изменник, который выдал замки паши, на службе у которого состоял...

– Простите меня за то, что я должен вам сказать, мой друг; этот человек – ваш отец!

Альбер сделал яростное движение, чтобы броситься на Бошана, но тот удержал его не столько рукой, сколько ласковым взглядом.

– Вот, друг мой, – сказал он, вынимая из кармана бумагу, – вот доказательство.

Альбер развернул бумагу; то было заявление четырех именитых граждан Янины, удостоверяющее, что полковник Фернан Мондего, полковник-инструктор на службе у визиря Али-Тебелина, выдал Янинский замок за две тысячи кошельков.

Подписи были заверены консулом.

Альбер пошатнулся и, сраженный, упал в кресло.

Теперь уже не могло быть сомнений, фамилия значилась полностью.

После минуты немого отчаяния он не выдержал, все его тело напряглось, из глаз брызнули слезы.

Бошан, с глубокой скорбью глядевший на убитого горем друга, подошел к нему.

– Альбер, – сказал он, – теперь вы меня понимаете? Я хотел лично все видеть, во всем убедиться, надеясь, что все разъяснится в смысле, благоприятном для вашего отца, и что я смогу защитить его доброе имя. Но, наоборот, из собранных мною сведений явствует, что этот офицер-инструктор Фернан Мондего, возведенный Али-пашой в звание генерал-губернатора, не кто иной, как граф Фернан де Морсер; тогда я вернулся сюда, помня, что вы почтили меня своей дружбой, и бросился к вам.

Альбер все еще полулежал в кресле, закрыв руками лицо, словно желая скрыться от дневного света.

– Я бросился к вам, – продолжал Бошан, – чтобы сказать вам: Альбер, проступки наших отцов в наше беспокойное время не бросают тени на детей. Альбер, немногие прошли через все революции, среди которых мы родились, без того, чтобы их военный мундир или судейская мантия

не оказались запятнаны грязью или кровью. Никто на свете теперь, когда у меня все доказательства, когда ваша тайна в моих руках, не может заставить меня принять вызов, который ваша собственная совесть, я в этом уверен, сочла бы преступлением; но то, чего вы больше не вправе от меня требовать, я вам добровольно предлагаю. Хотите, чтобы эти доказательства, эти разоблачения, свидетельства, которыми располагаю я один, исчезли навсегда? Хотите, чтобы эта страшная тайна осталась между вами и мной? Доверенная моей чести, она никогда не будет разглашена. Скажите, вы этого хотите, Альбер? Вы этого хотите, мой друг?

Альбер бросился Бошану на шею.

– Мой благородный друг! – воскликнул он.

– Возьмите, – сказал Бошан, подавая Альберу бумаги.

Альбер судорожно схватил их, сжал их, смял, хотел было разорвать; но, подумав, что, быть может, когда-нибудь ветер поднимет уцелевший клочок и коснется им его лба, он подошел к свече, всегда зажженной для сигар, и сжег их все, до последнего клочка.

– Дорогой, несравненный друг! – шептал Альбер, сжигая бумаги.

– Пусть все это забудется, как дурной сон, – сказал Бошан, – пусть все это исчезнет, как эти последние искры, бегущие по почерневшей бумаге, пусть все это развеется, как этот последний дымок, вьющийся над безгласным пеплом.

– Да, да, – сказал Альбер, – и пусть от всего этого останется лишь вечная дружба, в которой я клянусь вам, мой спаситель. Эту дружбу будут чтить наши дети, она будет служить мне вечным напоминанием, что честью моего имени я обязан вам. Если бы кто-нибудь узнал об этом, Бошан, говорю вам, я бы застрелился; или нет, ради моей матери я остался бы жить, но я бы покинул Францию.

– Милый Альбер! – промолвил Бошан.

Но Альбера быстро оставила эта внезапная и несколько искусственная радость, и он впал в еще более глубокую печаль.

– В чем дело? – спросил Бошан. – Скажите, что с вами?

– У меня что-то сломалось в душе, – сказал Альбер. – Знаете, Бошан, не так легко сразу расстаться с тем уважением, с тем доверием, с той гордостью, которую внушает сыну незапятнанное имя отца. Ах, Бошан! Как я встречусь теперь с отцом? Отклоню лоб, когда он приблизит к нему губы, отдерну руку, когда он протянет мне свою?.. Знаете, Бошан, я несчастнейший из людей. Несчастная моя матушка! – продолжал он, глядя сквозь слезы на портрет графини. – Если она знала об этом, как она должна была страдать!

– Крепитесь, мой друг! – сказал Бошан, беря его за руку.

– Но каким образом попала эта заметка в вашу газету? – воскликнул Альбер. – За всем этим кроется чья-то ненависть, какой-то невидимый враг.

– Тем более надо быть мужественным, – сказал Бошан. – На вашем лице не должно быть никаких следов волнения; носите это горе в себе, как туча несет в себе погибель и смерть, роковую тайну, которую никто не видит, пока не грянет гроза. Друг, берегите ваши силы для той минуты, когда она грянет.

– Разве вы думаете, что это не конец? – в ужасе спросил Альбер.

– Я ничего не думаю, но в конце концов все возможно. Кстати...

– Что такое? – спросил Альбер, видя, что Бошан колеблется.

– Вы все еще считаетесь женихом мадемуазель Данглар?

– Почему вы меня спрашиваете об этом сейчас?

– Потому что, мне кажется, вопрос о том, состоится этот брак или нет, связан с тем, что нас сейчас занимает.

– Как! – вспыхнул Альбер. – Вы думаете, что Данглар...

– Я вас просто спрашиваю, как обстоит дело с вашей свадьбой. Черт возьми, не выводите из моих слов ничего другого, кроме того, что я в них вкладываю, и не придавайте им такого значения, какого у них нет!

– Нет, – сказал Альбер, – свадьба расстроилась.

– Хорошо. – Потом, видя, что молодой человек снова опечалился, Бошан сказал: – Знаете, Альбер, послушайтесь моего совета, выйдем на воздух; прокатимся по Булонскому лесу в экипаже или верхом; это вас

успокоит; потом заедем куда-нибудь позавтракать, а после каждый из нас пойдет по своим делам.

– С удовольствием, – сказал Альбер, – но только пойдем пешком, я думаю, мне будет полезно немного утомиться.

– Пожалуй, – сказал Бошан.

И друзья вышли и пешком пошли по бульвару. Дойдя до церкви Мадлен, Бошан сказал:

– Слушайте, раз уж мы здесь, зайдем к графу Монте-Кристо, он развлечет вас; он превосходно умеет отвлекать людей от их мыслей, потому что никогда ни о чем не спрашивает; а, по-моему, люди, которые никогда ни о чем не спрашивают, самые лучшие утешители.

– Пожалуй, – сказал Альбер, – зайдем к нему, я его люблю.

# VIII. Путешествие

Монте-Кристо очень обрадовался, увидев, что молодые люди пришли вместе.

– Итак, я надеюсь, все кончено, разъяснено, улажено? – сказал он.

– Да, – отвечал Бошан, – эти нелепые слухи сами собой заглохли; и если бы они снова всплыли, я первый ополчился бы против них. Не будем больше говорить об этом.

– Альбер вам подтвердит, – сказал граф, – что я ему советовал то же самое. Кстати, – прибавил он, – вы застали меня за неприятнейшим занятием.

– А что вы делали? – спросил Альбер. – Приводили в порядок свои бумаги?

– Только не свои, слава богу! Мои бумаги всегда в образцовом порядке, ибо у меня их нет. Я разбирал бумаги господина Кавальканти.

– Кавальканти? – переспросил Бошан.

– Разве вы не знаете, что граф ему покровительствует? – сказал Альбер.

– Вы не совсем правы, – сказал Монте-Кристо, – я никому не покровительствую, и меньше всего Кавальканти.

– Он женится вместо меня на мадемуазель Данглар, каковое обстоятельство, – продолжал Альбер, пытаясь улыбнуться, – как вы сами понимаете, дорогой Бошан, повергает меня в отчаяние.

– Как! Кавальканти женится на мадемуазель Данглар? – спросил Бошан.

– Вы что же, с неба свалились? – сказал Монте-Кристо. – Вы, журналист, возлюбленный Молвы! Весь Париж только об этом и говорит.

– И это вы, граф, устроили этот брак? – спросил Бошан.

– Я? Пожалуйста, господин создатель новостей, не вздумайте распространять подобные слухи! Бог мой! Чтобы я да устраивал чей-нибудь брак? Нет, вы меня не знаете; наоборот, я всячески противился этому; я отказался быть посредником.

– Понимаю, – сказал Бошан, – из-за вашего друга Альбера.

– Только не из-за меня, – сказал Альбер. – Граф не откажется подтвердить, что я, наоборот, давно просил его расстроить эти планы. Граф уверяет, что не его я должен благодарить за это; пусть так, мне придется, как древним, воздвигнуть алтарь неведомо кому.

– Послушайте, – сказал Монте-Кристо, – это все так далеко от меня, что я даже нахожусь в натянутых отношениях и с тестем, и с женихом; и только мадемуазель Эжени, которая, по-видимому, не имеет особой склонности к замужеству, сохранила ко мне добрые чувства и благодарность за то, что я не старался заставить ее отказаться от дорогой ее сердцу свободы.

– И скоро эта свадьба состоится?

– Да, невзирая на все мои предосторожности. Я ведь не знаю этого молодого человека; говорят, он богат и из хорошей семьи; но для меня все это только «говорят». Я до тошноты повторял это Данглару, но он без ума от своего итальянца. Я счел даже нужным сообщить ему об одном обстоятельстве, по-моему, еще более важном: этого молодого человека не то подменили, когда он был грудным младенцем, не то его украли цыгане, не то его где-то потерял его воспитатель, не знаю точно. Но мне доподлинно известно, что его отец ничего о нем не знал десять с лишним лет. Что он делал эти десять лет бродячей жизни, бог весть. Но и это предостережение не помогло. Мне поручили написать майору, попросить его выслать документы: вот они. Я их посылаю Дангларам, но, как Пилат, умываю руки.

– А мадемуазель д'Армильи? – спросил Бошан. – Она не в обиде на вас, что вы отнимаете у нее ученицу?

– Право, не могу вам сказать; но, по-видимому, она уезжает в Италию. Госпожа Данглар говорила со мной о ней и просила у меня рекомендательных писем к итальянским импресарио; я дал ей записку к директору театра Валле, который мне кое-чем обязан. Но что с вами, Альбер? Вы такой грустный; уж не влюблены ли вы, сами того не подозревая, в мадемуазель Данглар?

– Как будто нет, – сказал Альбер с печальной улыбкой.

Бошан принялся рассматривать картины.

– Во всяком случае, – продолжал Монте-Кристо, – вы не такой, как всегда. Скажите, что с вами?

– У меня мигрень, – сказал Альбер.

– Если так, мой дорогой виконт, – сказал Монте-Кристо, – то я могу предложить вам незаменимое лекарство, которое мне всегда помогает, когда мне не по себе.

– Какое? – спросил Альбер.

– Перемену мест.

– Вот как? – сказал Альбер.

– Да. Я и сам сейчас очень не в духе и собираюсь уехать. Хотите, поедем вместе?

– Вы не в духе, граф, – сказал Бошан, – почему?

– Вам легко говорить; а вот посмотрел бы я на вас, если бы в вашем доме велось следствие!

– Следствие? Какое следствие?

– А как же, сам господин де Вильфор ведет следствие по делу о моем уважаемом убийце, – это какой-то разбойник, бежавший с каторги, по-видимому.

– Ах да, – сказал Бошан, – я читал об этом в газетах. Кто это такой, этот Кадрусс?

– Какой-то провансалец. Вильфор слышал о нем, когда служил в Марселе, а Данглар даже припоминает, что видел его. Поэтому господин королевский прокурор принял самое горячее участие в этом деле, оно, по-видимому, чрезвычайно заинтересовало и префекта полиции. Благодаря их вниманию, за которое я им как нельзя более признателен, мне уже недели две как приводят на дом всех бандитов, каких только можно раздобыть в Париже и его окрестностях, под предлогом, что это убийца Кадрусса. Если так будет продолжаться, через три месяца в славном французском королевстве не останется ни одного жулика, ни одного убийцы, который не знал бы назубок плана моего дома. Мне остается только отдать им его в полное распоряжение и уехать куда глаза глядят. Поедем со мной, виконт!

– С удовольствием.

– Значит, решено?

– Да, но куда же мы едем?

– Я вам уже сказал, туда, где воздух чист, где шум убаюкивает, где, как бы ни был горд человек, он становится смиренным и чувствует свое ничтожество. Я люблю это уничижение, я, которого, подобно Августу, называют властителем Вселенной.

– Но где же это?

– На море, виконт. Я, видите ли, моряк: еще ребенком я засыпал на руках у старого Океана и на груди у прекрасной Амфитриты; я играл его зеленым плащом и ее лазоревыми одеждами; я люблю море, как возлюбленную, и если долго не вижу его, тоскую по нем.

– Поедем, граф!

– На море?

– Да.

– Вы согласны?

– Согласен.

– В таком случае, виконт, у моего крыльца сегодня будет ждать дорожная карета, в которой ехать так же удобно, как в кровати; в нее будут впряжены четыре лошади. Послушайте, Бошан, в моей карете можно очень удобно поместиться вчетвером. Хотите поехать с нами? Я вас приглашаю.

– Благодарю вас, я только что был на море.

– Как, вы были на море?

– Да, почти. Я только что совершил маленькое путешествие на Борромейские острова.

– Все равно поедем! – сказал Альбер.

– Нет, дорогой Морсер, вы должны понять, что, если я отказываюсь от такой чести, значит, это невозможно. Кроме того, – прибавил он, понизив голос, – сейчас очень важно, чтобы я был в Париже, хотя бы уже для того, чтобы следить за корреспонденцией, поступающей в газету.

– Вы верный друг, – сказал Альбер, – да, вы правы; следите, наблюдайте, Бошан, и постарайтесь открыть врага, который опубликовал

это сообщение.

Альбер и Бошан простились; в последнее рукопожатие они вложили все то, что не могли сказать при постороннем.

– Славный малый этот Бошан! – сказал Монте-Кристо, когда журналист ушел. – Правда, Альбер?

– Золотое сердце, уверяю вас. Я очень люблю его. А теперь скажите, хотя, в сущности, мне это безразлично, – куда мы отправляемся?

– В Нормандию, если вы ничего не имеете против.

– Чудесно. Мы там будем на лоне природы, правда? Ни общества, ни соседей?

– Мы будем наедине с лошадьми для верховой езды, собаками для охоты и с лодкой для рыбной ловли, вот и все.

– Это то, что мне надо; я предупрежу свою мать, а затем я к вашим услугам.

– А вам разрешат? – спросил Монте-Кристо.

– Что именно?

– Ехать в Нормандию.

– Мне? Да разве я не волен в своих поступках?

– Да, вы путешествуете один, где хотите, это я знаю, ведь мы встретились в Италии.

– Так в чем же дело?

– Но разрешат ли вам уехать с человеком, которого зовут граф Монте-Кристо?

– У вас плохая память, граф.

– Почему?

– Разве я не говорил вам, с какой симпатией моя мать относится к вам?

– Женщины изменчивы, сказал Франциск Первый; женщина подобна волне, сказал Шекспир; один был великий король, другой – великий поэт; и уж, наверное, они оба хорошо знали женскую природу.

– Да, но моя мать не просто женщина, а Женщина.

– Простите, я вас не совсем понял.

– Я хочу сказать, что моя мать скупа на чувства, но уж если она кого-нибудь полюбила, то это на всю жизнь.

– Вот как, – сказал, вздыхая, Монте-Кристо, – и вы полагаете, что она делает мне честь относиться ко мне иначе, чем с полнейшим равнодушием?

– Я вам уже говорил и опять повторяю, – возразил Альбер, – вы, видно, в самом деле очень своеобразный, необыкновенный человек.

– Полно!

– Да, потому что моя матушка не осталась чужда тому, не скажу – любопытству, но интересу, который вы возбуждаете. Когда мы одни, мы только о вас и говорим.

– И она советует вам не доверять этому Манфреду?

– Напротив, она говорит мне: «Альбер, я уверена, что граф благородный человек; постарайся заслужить его любовь».

Монте-Кристо отвернулся и вздохнул.

– В самом деле? – спросил он.

– Так что, вы понимаете, – продолжал Альбер, – она не только не воспротивится моей поездке, но от всего сердца одобрит ее, поскольку это согласуется с ее наставлениями.

– Ну, так до вечера, – сказал Монте-Кристо. – Будьте здесь к пяти часам; мы приедем на место в полночь или в час ночи.

– Как? В Трепор?

– В Трепор или его окрестности.

– Вы думаете за восемь часов проехать сорок восемь лье?

– Это еще слишком долго, – сказал Монте-Кристо.

– Да вы чародей! Скоро вы обгоните не только железную дорогу – это не так уж трудно, особенно во Франции, но и телеграф.

– Но так как нам все же требуется восемь часов, чтобы доехать, не опаздывайте.

– Не беспокойтесь, я совершенно свободен – только собраться в дорогу.

– Итак, в пять часов.

– В пять часов.

Альбер вышел. Монте-Кристо с улыбкой кивнул ему головой и постоял молча, погруженный в глубокое раздумье. Наконец, проведя рукой по лбу, как будто отгоняя от себя думы, он подошел к гонгу и ударил по нему два раза.

Вошел Бертуччо.

– Бертуччо, – сказал Монте-Кристо, – не завтра, не послезавтра, как я предполагал, а сегодня в пять часов я уезжаю в Нормандию; до пяти часов у вас времени больше чем достаточно; распорядитесь, чтобы были предупреждены конюхи первой подставы; со мной едет виконт де Морсер. Ступайте.

Бертуччо удалился, и в Понтуаз поскакал верховой предупредить, что карета проедет ровно в шесть часов. Конюх в Понтуазе послал нарочного к следующей подставе, и та, в свою очередь, дала знать дальше; и шесть часов спустя все подставы, расположенные на пути, были предупреждены.

Перед отъездом граф поднялся к Гайде, сообщил ей, что уезжает, сказал – куда и предоставил весь дом в ее распоряжение.

Альбер явился вовремя. Он сел в карету в мрачном настроении, которое, однако, вскоре рассеялось от удовольствия, доставляемого быстрой ездой. Альбер никогда не представлял себе, чтобы можно было ездить так быстро.

– Во Франции нет никакой возможности передвигаться по дорогам, – сказал Монте-Кристо. – Ужасная вещь эта езда на почтовых, по два лье в час, этот нелепый закон, запрещающий одному путешественнику обгонять другого, не испросив на это разрешения; какой-нибудь больной или чудак может загородить путь всем остальным здоровым и бодрым людям. Я избегаю этих неудобств, путешествуя с собственным кучером и на собственных лошадях. Верно, Али?

И граф, высунувшись из окна, слегка прикрикивал на лошадей, а у них словно вырастали крылья; они уже не мчались – они летели. Карета проносилась, как гром, по Королевской дороге, и все оборачивались, провожая глазами этот сверкающий метеор. Али, слушая эти окрики, улыбался, обнажая свои белые зубы, сжимая своими сильными руками

вожжи, и подзадоривал лошадей, пышные гривы которых развевались по ветру. Али, сын пустыни, был в своей стихии и, в белоснежном бурнусе, с черным лицом и сверкающими глазами, окруженный облаком пыли, казался духом самума или богом урагана.

– Вот наслаждение, которого я никогда не знал, – сказал Альбер, – наслаждение быстроты.

И последние тучи, омрачавшие его чело, исчезали, словно уносимые встречным ветром.

– Где вы достаете таких лошадей? – спросил Альбер. – Или вам их делают на заказ?

– Вот именно. Шесть лет тому назад я нашел в Венгрии замечательного жеребца, известного своей резвостью; я его купил уж не помню за сколько; платил Бертуччо. В тот же год он произвел тридцать два жеребенка. Мы с вами сделаем смотр всему потомству этого отца; они все как один, без единого пятнышка, кроме звезды на лбу, потому что этому баловню конского завода выбирали кобыл, как паше выбирают наложниц.

– Восхитительно!.. Но скажите, граф, на что вам столько лошадей?

– Вы же видите, я на них езжу.

– Но ведь не все время вы ездите?

– Когда они мне больше не будут нужны, Бертуччо продаст их; он утверждает, что наживет на этом тысяч сорок.

– Но ведь в Европе даже короли не так богаты, чтобы купить их.

– В таком случае он продаст их любому восточному владыке, который, чтобы купить их, опустошит свою казну и снова наполнит ее при помощи палочных ударов по пяткам своих подданных.

– Знаете, граф, что мне пришло в голову?

– Говорите.

– Мне думается, что после вас самый богатый человек в Европе это господин Бертуччо.

– Вы ошибаетесь, виконт. Я уверен, если вывернуть карманы Бертуччо, не найдешь и гроша.

– Неужели? – сказал Альбер. – Так ваш Бертуччо тоже чудо? Не заводите меня так далеко в мир чудес, дорогой граф, не то, предупреждаю, я перестану вам верить.

– У меня нет никаких чудес, Альбер; цифры и здравый смысл – вот и все. Вот вам задача: управляющий ворует, но почему он ворует?

– Такова его природа, мне кажется, – сказал Альбер, – он ворует, потому что не может не воровать.

– Вы ошибаетесь: он ворует потому, что у него есть жена, дети, потому что он хочет упрочить положение свое и своей семьи, а главное, он не уверен в том, что никогда не расстанется со своим хозяином, и хочет обеспечить свое будущее. А Бертуччо один на свете; он распоряжается моим кошельком, не преследуя личного интереса; он уверен, что никогда не расстанется со мной.

– Почему?

– Потому что лучшего мне не найти.

– Вы вертитесь в заколдованном кругу, в кругу вероятностей.

– Нет, это уверенность. Для меня хороший слуга тот, чья жизнь и смерть в моих руках.

– А жизнь и смерть Бертуччо в ваших руках? – спросил Альбер.

– Да, – холодно ответил Монте-Кристо.

Есть слова, которые замыкают беседу, как железная дверь. Именно так прозвучало «да» графа.

Дальнейший путь совершался с такой же скоростью; тридцать две лошади, распределенные на восемь подстав, пробежали сорок восемь лье в восемь часов.

В середине ночи подъехали к прекрасному парку. Привратник стоял у распахнутых ворот. Он был предупрежден конюхом последней подставы.

Был второй час. Альбера провели в его комнаты. Его ждали ванна и ужин. Лакей, который ехал на запятках кареты, был к его услугам. Батистен, ехавший на козлах, был к услугам графа.

Альбер принял ванну, поужинал и лег спать. Всю ночь его баюкал меланхоличный шум прибоя. Встав с постели, он распахнул стеклянную дверь и очутился на маленькой террасе; впереди открывался вид на

море, то есть на бесконечность, а сзади – на прелестный парк, примыкающий к роще.

В небольшой бухте покачивался на волнах маленький корвет с узким килем и стройным рангоутом; на гафеле развевался флаг с гербом Монте-Кристо: золотая гора на лазоревом море, увенчанная червленым крестом; это могло быть иносказанием имени Монте-Кристо, напоминающего о Голгофе, которую страсти Спасителя сделали горой более драгоценной, чем золото, и о позорном кресте, освященном его божественной кровью, но могло быть и намеком на личную драму, погребенную в неведомом прошлом этого загадочного человека.

Вокруг корвета покачивались несколько шхун, принадлежавших рыбакам соседних деревень и казавшихся смиренными подданными, ожидающими повелений своего короля.

Здесь, как и повсюду, где хоть на два дня останавливался Монте-Кристо, жизнь была налажена с величайшим комфортом; так что она с первой же секунды становилась легкой и приятной.

Альбер нашел в своей прихожей два ружья и все необходимые охотничьи принадлежности. Одна из комнат в первом этаже была отведена под хитроумные снаряды, которые англичане – великие рыболовы, ибо они терпеливы и праздны, – все еще не могут ввести в обиход старозаветных французских удильщиков.

Весь день прошел в этих разнообразных развлечениях, в которых Монте-Кристо не имел себе равного: подстрелили в парке с десяток фазанов, наловили в ручье столько же форелей, пообедали в беседке, выходящей на море, и пили чай в библиотеке.

К вечеру третьего дня Альбер, совершенно разбитый этим времяпрепровождением, казавшимся Монте-Кристо детской забавой, спал в кресле у окна, в то время как граф вместе со своим архитектором составлял план оранжереи, которую он собирался устроить в своем доме. Вдруг послышался стук копыт по каменистой дороге, и Альбер поднял голову: он посмотрел в окно и с чрезвычайно неприятным изумлением увидел на дороге своего камердинера, которого он не взял с собой, чтобы не доставлять Монте-Кристо лишних хлопот.

– Это Флорантен! – воскликнул он, вскакивая с кресла. – Неужели матушка захворала?

И он бросился к двери.

Монте-Кристо проводил его глазами и видел, как он подбежал к камердинеру и как тот, с трудом переводя дух, вытащил из кармана небольшой запечатанный пакет. В этом пакете были газеты и письмо.

– От кого письмо? – быстро спросил Альбер.

– От господина Бошана... – ответил Флорантен.

– Так это Бошан прислал вас?

– Да, сударь. Он вызвал меня к себе, дал мне денег на дорогу, достал мне почтовую лошадь и взял с меня слово, что я без промедлений доставлю вам пакет. Я сделал весь путь в пятнадцать часов.

Альбер с трепетом вскрыл письмо. Едва он прочел первые строчки, как с его губ сорвался крик, и он, весь дрожа, схватился за газету.

Вдруг в глазах у него потемнело, он зашатался и упал бы, если бы Флорантен не поддержал его.

– Бедный юноша! – прошептал Монте-Кристо так тихо, что сам не мог услышать своих слов. – Верно, что грехи отцов падают на детей до третьего и четвертого колена.

Тем временем Альбер собрался с силами и стал читать дальше; потом, откинув волосы с вспотевшего лба, он скомкал письмо и газету.

– Флорантен, – сказал он, – может ваша лошадь проделать обратный путь в Париж?

– Это разбитая почтовая кляча.

– Боже мой! А что было дома, когда вы уезжали?

– Все было довольно спокойно; но когда я вернулся от господина Бошана, я застал графиню в слезах; она послала за мной, чтобы узнать, когда вы возвращаетесь. Тогда я ей сказал, что еду за вами по поручению господина Бошана. Сначала она протянула было руку, словно хотела остановить меня, но, подумав, сказала: «Поезжайте, Флорантен, пусть он возвращается».

– Будь спокойна, – сказал Альбер, – я вернусь, и – горе негодяю!.. Но прежде всего надо уехать.

И он вернулся в комнату, где его ждал Монте-Кристо.

Это был уже не тот человек; за пять минут он неузнаваемо изменился: голос его стал хриплым, лицо покрылось красными пятнами, глаза горели под припухшими веками, походка стала нетвердой, как у пьяного.

– Граф, – сказал он, – благодарю вас за ваше милое гостеприимство, которым я был бы рад и дольше воспользоваться, но мне необходимо вернуться в Париж.

– Что случилось?

– Большое несчастье; разрешите мне уехать, дело идет о том, что мне дороже жизни. Не спрашивайте ни о чем, умоляю вас, но дайте мне лошадь!

– Мои конюшни к вашим услугам, виконт, – сказал Монте-Кристо, – но вы измучаетесь, если проедете весь путь верхом, возьмите коляску, карету, любой экипаж.

– Нет, это слишком долго; и я не боюсь усталости, напротив, она мне поможет.

Альбер сделал несколько шагов, шатаясь, словно пораженный пулей, и упал на стул у самой двери.

Монте-Кристо не видел этого второго приступа слабости; он стоял у окна и кричал:

– Али, лошадь для виконта! Живее, он спешит!

Эти слова вернули Альбера к жизни; он выбежал из комнаты, граф последовал за ним.

– Благодарю вас! – прошептал Альбер, вскакивая в седло. – Возвращайтесь как можно скорее, Флорантен. Нужен ли какой-нибудь пароль, чтобы мне давали лошадей?

– Вы просто отдадите ту, на которой скачете; вам немедленно оседлают другую.

Альбер уже собирался пустить лошадь вскачь, но остановился.

– Быть может, вы сочтете мой отъезд странным, нелепым, безумным, – сказал он. – Вы не знаете, как могут несколько газетных строк довести человека до отчаяния. Вот, прочтите, – прибавил он, бросая графу газету, – но только когда я уеду, чтобы вы не видели, как я краснею.

Он всадил шпоры, которые успели прицепить к его ботфортам, в бока лошади, и та, удивленная, что нашелся седок, считающий, будто она нуждается в понукании, помчалась, как стрела, пущенная из арбалета.

Граф проводил всадника глазами, полными бесконечного сочувствия, и, только после того как он окончательно исчез из виду, перевел свой взгляд на газету и прочел:

«Французский офицер на службе у Али, янинского паши, о котором говорила три недели тому назад газета „Беспристрастный голос“ и который не только сдал замки Янины, но и продал своего благодетеля туркам, назывался в то время действительно Фернан, как сообщил наш уважаемый коллега; но с тех пор он успел прибавить к своему имени дворянский титул и название поместья.

В настоящее время он носит имя графа де Морсера и заседает в Палате пэров».

Таким образом, эта ужасная тайна, которую Бошан хотел так великодушно скрыть, снова встала, как призрак, во всеоружии, и другая газета, кем-то безжалостно осведомленная, напечатала на третий день после отъезда Альбера в Нормандию те несколько строк, которые чуть не свели с ума несчастного юношу.

# IX. Суд

В восемь часов утра Альбер, как вихрь, ворвался к Бошану. Камердинер был предупрежден и провел Морсера в комнату своего господина, который только что принял ванну.

– Итак? – спросил Альбер.

– Итак, мой бедный друг, – ответил Бошан, – я ждал вас.

– Я здесь. Излишне говорить, Бошан, что я уверен в вашей доброте и благородстве и не допускаю мысли, что вы кому-нибудь рассказали об этом. Кроме того, вы меня вызвали сюда, это лишнее доказательство вашей дружбы. Поэтому не станем терять времени на лишние разговоры; вы имеете представление о том, от кого исходит удар?

– Я вам сейчас кое-что сообщу.

– Да, но сначала вы должны изложить мне во всех подробностях, что здесь произошло.

И Бошан рассказал подавленному горем и стыдом Альберу следующее.

Заметка появилась третьего дня утром не в «Беспристрастном голосе», а в другой газете, к тому же правительственной. Бошан сидел за завтраком, когда увидел эту заметку; он немедля послал за кабриолетом и, не кончив завтрака, поспешил в редакцию.

Хотя политические взгляды Бошана и были совершенно противоположны тем, которых придерживался редактор этой газеты, он, как случается подчас и даже нередко, был его закадычным другом.

Когда он вошел, редактор держал в руках номер собственной газеты и с явным удовольствием читал передовую о свекловичном сахаре, им же, по-видимому, и написанную.

– Я вижу у вас в руках номер вашей газеты, дорогой мой, – сказал Бошан, – значит, незачем объяснять, почему я к вам пришел.

– Неужели вы сторонник тростникового сахара? – спросил редактор правительственной газеты.

– Нет, – отвечал Бошан, – этот вопрос меня нимало не занимает; я пришел совсем по другому поводу.

– А по какому?

– По поводу заметки о Морсере.

– Ах, вот что, правда, это любопытно?

– Настолько любопытно, что это пахнет обвинением в диффамации, и еще не известно, каков будет исход процесса.

– Отнюдь нет: одновременно с заметкой мы получили и все подтверждающие ее документы, и мы совершенно уверены, что Морсер промолчит. К тому же мы оказываем услугу родине, изобличая негодяев, недостойных той чести, которую им оказывают.

Бошан смутился.

– Но кто же вас так хорошо осведомил? – спросил он. – Ведь моя газета первая заговорила об этом, но была вынуждена умолкнуть за неимением доказательств; между тем мы больше всего заинтересованы в разоблачении Морсера, потому что он пэр Франции, а мы поддерживаем оппозицию.

– Все очень просто; мы вовсе и не гонялись за сенсацией, она сама свалилась на нас. Вчера к нам явился человек из Янины с обличительными документами; мы не решались выступить с обвинением, но он заявил нам, что в случае нашего отказа статья появится в другой газете. Вы сами знаете, Бошан, что значит интересное сообщение; нам не хотелось упускать случая. Теперь удар нанесен; он сокрушителен и отзовется эхом во всей Европе.

Бошан понял, что ему остается только склонить голову, и вышел в полном отчаянии, решив послать гонца к Альберу.

Но он не мог написать Альберу о событиях, которые разыгрались уже после отъезда гонца. В тот же день в Палате пэров царило большое возбуждение, охватившее всех членов обычно столь спокойного высокого собрания. Все явились чуть ли не раньше назначенного времени и толковали между собой о злосчастном происшествии, которое неизбежно должно было привлечь общественное внимание к одному из наиболее видных членов верхней палаты.

Одни вполголоса читали и обсуждали заметку, другие обменивались воспоминаниями, которые подтверждали сообщенные факты. Граф де

Морсер не пользовался любовью своих коллег. Как все выскочки, он старался поддерживать свое достоинство при помощи крайнего высокомерия. Подлинные аристократы смеялись над ним; люди одаренные пренебрегали им; прославленные воины с незапятнанным именем инстинктивно его презирали. Графу грозила горькая участь искупительной жертвы. На него указал перст всевышнего, и все готовы были требовать заклания.

Только сам граф де Морсер ничего не знал. Он не получал газеты, где было напечатано позорящее сообщение, и все утро писал письма, а потом испытывал новую лошадь.

Итак, он прибыл в обычное время с высоко поднятой головой, надменным взглядом и горделивой осанкой, вышел из своей кареты, прошел по коридорам и вошел в залу, не замечая смущения курьеров и небрежных поклонов своих коллег.

Когда Морсер вошел, заседание уже началось.

Хотя граф, не зная, как мы уже сказали, о том, что произошло, держался так же, как всегда, но выражение его лица и его походка показались всем еще более надменными, чем обычно, и его появление в этот день представилось столь дерзким этому ревниво оберегающему свою честь собранию, что все усмотрели в этом непристойность, иные – вызов, а кое-кто – оскорбление.

Было очевидно, что вся палата горит желанием приступить к прениям.

Изобличающая газета была в руках у всех, но, как всегда бывает, никто не решался взять на себя ответственность и выступить первым. Наконец один из самых почтенных пэров, открытый противник графа де Морсера, поднялся на трибуну с торжественностью, возвещавшей, что наступила долгожданная минута.

Воцарилось зловещее молчание; один только Морсер не подозревал о причине того глубокого внимания, с которым на этот раз встретили оратора, не пользовавшегося обычно такой благосклонностью своих слушателей.

Граф спокойно пропустил мимо ушей вступление, в котором оратор заявлял, что он будет говорить о предмете, столь серьезном, столь

священном и жизненном для Палаты, что он просит своих коллег выслушать его с особым вниманием.

Но при первых же его словах о Янине и полковнике Фернане граф де Морсер так страшно побледнел, что трепет пробежал по рядам, и все присутствующие впились глазами в графа.

Душевные раны незримы, но они никогда не закрываются; всегда мучительные, всегда кровоточащие, они вечно остаются разверстыми в глубинах человеческой души.

Среди гробового молчания оратор прочитал вслух заметку. Раздался приглушенный ропот, тотчас же прекратившийся, как только обличитель вновь заговорил. Он начал с того, что объяснил всю тяжесть взятой им на себя задачи: дело идет о чести графа де Морсера, о чести всей Палаты, и ради того, чтобы оградить их, он и открывает прения, во время которых придется коснуться личных, а потому всегда жгучих вопросов. В заключение он потребовал назначить расследование и произвести его с возможной быстротой, дабы в самом корне пресечь клевету и восстановить доброе имя графа де Морсера, отомстив за оскорбление, нанесенное лицу, так высоко стоящему в общественном мнении.

Морсер был так подавлен, так потрясен этим безмерным и неожиданным бедствием, что едва мог пробормотать несколько слов, устремив на своих коллег помутившийся взор. Это смущение, которое, впрочем, могло иметь своим источником как изумление невинного, так и стыд виновного, вызвало некоторое сочувствие к нему. Истинно великодушные люди всегда готовы проявить сострадание, если несчастье их врага превосходит их ненависть.

Председатель поставил вопрос на голосование, и было постановлено произвести расследование.

Графа спросили, сколько ему потребуется времени, чтобы приготовиться к защите.

Морсер успел несколько оправиться после первого удара, и к нему вернулось самообладание.

– Господа пэры, – ответил он, – что значит время, когда нужно отразить нападение неведомых врагов, скрывающихся в тени

собственной гнусности; немедленно громовым ударом должен я ответить на эту молнию, на миг ослепившую меня; почему мне не дано вместо словесных оправданий пролить свою кровь, чтобы доказать моим собратьям, что я достоин быть в их рядах!

Эти слова произвели благоприятное впечатление.

– Поэтому я прошу, – продолжал Морсер, – чтобы расследование было произведено как можно скорее, и представлю Палате все необходимые документы.

– Какой день угодно вам будет назначить? – спросил председатель.

– С сегодняшнего дня я отдаю себя в распоряжение Палаты, – отвечал граф.

Председатель позвонил.

– Угодно ли Палате, чтобы расследование состоялось сегодня же?

– Да, – был единодушный ответ собрания.

Выбрали комиссию из двенадцати человек для рассмотрения документов, которые представит Морсер. Первое заседание этой комиссии было назначено на восемь часов вечера, в помещении Палаты. Если бы потребовалось несколько заседаний, то они должны были происходить там же, в то же время. Как только было принято это постановление, Морсер попросил разрешения удалиться; ему необходимо было собрать документы, давно уже подготовленные им с присущей ему хитростью и коварством, ибо он всегда предвидел возможность подобной катастрофы.

Бошан рассказал все это Альберу.

Альбер слушал его, дрожа то от гнева, то от стыда; он не смел надеяться, ибо после поездки Бошана в Янину знал, что отец его виновен, и не понимал, как мог бы он доказать свою невиновность.

– А дальше? – спросил он, когда Бошан умолк.

– Дальше? – повторил Бошан.

– Да.

– Друг мой, это слово налагает на меня ужасную обязанность. Вы непременно хотите знать, что было дальше?

– Я должен знать, и пусть уж лучше я узнаю об этом от вас, чем от кого-либо другого.

– В таком случае, – сказал Бошан, – соберите все свое мужество, Альбер; никогда еще оно вам не было так нужно.

Альбер провел рукой по лбу, словно пробуя собственные силы, как человек, намеревающийся защищать свою жизнь, проверяет крепость своей кольчуги и сгибает лезвие шпаги.

Он почувствовал себя сильным, потому что принимал за энергию свое лихорадочное возбуждение.

– Говорите, – сказал он.

– Наступил вечер, – продолжал Бошан. – Весь Париж ждал, затаив дыхание. Многие утверждали, что вашему отцу стоит только показаться, и обвинение рухнет само собой; другие говорили, что ваш отец совсем не явится; были и такие, которые видели, как он уезжал в Брюссель, а кое-кто даже справлялся в полиции, верно ли, что он выправил себе паспорт.

Я должен вам сознаться, что сделал все возможное, чтобы уговорить одного из членов комиссии, молодого пэра, провести меня в залу. Он заехал за мной в семь часов и, прежде чем кто-либо явился, передал меня курьеру, который и запер меня в какой-то ложе. Я был скрыт за колонной и окутан полнейшим мраком; я мог надеяться, что увижу и услышу от слова до слова предстоящую ужасную сцену.

Ровно в восемь все были в сборе.

Господин де Морсер вошел с последним ударом часов. В руках у него были какие-то бумаги, и он казался вполне спокойным; вопреки своему обыкновению держался он просто, одет был изысканно и строго и, по обычаю старых военных, застегнут на все пуговицы.

Его появление произвело наилучшее впечатление: члены комиссии были настроены отнюдь не недоброжелательно, и кое-кто из них подошел к графу и пожал ему руку.

Альбер чувствовал, что все эти подробности разрывают ему сердце, а между тем к его мукам примешивалась и доля признательности; ему

хотелось обнять этих людей, выказавших его отцу уважение в час тяжелого испытания.

В эту минуту вошел курьер и подал председателю письмо.

«Слово принадлежит вам, господин де Морсер», – сказал председатель, распечатывая письмо.

– Граф начал свою защитительную речь, и, уверяю вас, Альбер, – продолжал Бошан, – она была построена необычайно красноречиво и искусно. Он представил документы, удостоверяющие, что визирь Янины до последней минуты доверял ему всецело и поручил ему вести с самим султаном переговоры, от которых зависела его жизнь или смерть. Он показал перстень, знак власти, которым Али-паша имел обыкновение запечатывать свои письма и который он дал графу, чтобы тот по возвращении мог к нему проникнуть в любое время дня или ночи, даже в самый гарем. К несчастью, сказал он, переговоры не увенчались успехом, и когда он вернулся, чтобы защитить своего благодетеля, то нашел его уже мертвым. Но, сказал граф, перед смертью Али-паша, – так велико было его доверие, – поручил ему свою любимую жену и дочь.

Альбер вздрогнул при этих словах, потому что, по мере того как говорил Бошан, в его уме вставал рассказ Гайде, и он вспоминал все, что рассказывала прекрасная гречанка об этом поручении, об этом перстне и о том, как она была продана и уведена в рабство.

– И какое впечатление произвела речь графа? – с тревогой спросил Альбер.

– Сознаюсь, она меня тронула и всю комиссию также, – сказал Бошан.

– Тем временем председатель стал небрежно проглядывать только что переданное ему письмо; но с первых же строк оно приковало к себе его внимание; он прочел его, перечел еще раз и остановил взгляд на графе де Морсере.

«Граф, – сказал он, – вы только что сказали нам, что визирь Янины поручил вам свою жену и дочь?»

«Да, сударь, – отвечал Морсер, – но и в этом, как и во всем остальном, меня постигла неудача. Когда я возвратился, Василики и ее дочь Гайде уже исчезли».

«Вы знали их?»

«Благодаря моей близости к паше и его безграничному доверию ко мне я не раз видел их».

«Имеете ли вы представление о том, что с ними сталось?»

«Да, сударь. Я слышал, что они не вынесли своего горя, а может быть, и бедности. Я не был богат, жизнь моя вечно была в опасности, и я, к великому моему сожалению, не имел возможности разыскивать их».

Председатель нахмурился.

«Господа, – сказал он, – вы слышали объяснение графа де Морсера. Граф, можете ли вы в подтверждение ваших слов сослаться на каких-нибудь свидетелей?»

«К сожалению, нет, – отвечал граф, – все те, кто окружал визиря и встречал меня при его дворе, либо умерли, либо рассеялись по лицу земли; насколько я знаю, я единственный из всех моих соотечественников пережил эту ужасную войну; у меня есть только письма Али-Тебелина, и я представил их вам; у меня есть лишь перстень, знак его воли, вот он; у меня есть еще самое убедительное доказательство, а именно, что после анонимного выпада не появилось ни одного свидетельства, которое можно было бы противопоставить моему слову честного человека и, наконец, моя незапятнанная военная карьера».

По собранию пробежал шепот одобрения; в эту минуту, Альбер, не случись ничего неожиданного, честь вашего отца была бы спасена.

Оставалось только голосовать, но тут председатель взял слово.

«Господа, – сказал он, – и вы, граф, были бы рады, я полагаю, выслушать весьма важного, как он уверяет, свидетеля, который сам пожелал дать показания; после всего того, что нам сказал граф, мы не сомневаемся, что этот свидетель только подтвердит полнейшую невиновность нашего коллеги. Вот письмо, которое я только что получил, желаете ли вы, чтобы я его вам прочел, или вы примете решение не оглашать его и не задерживаться на этом?»

Граф де Морсер побледнел и так стиснул бумаги, что они захрустели под его пальцами.

Комиссия постановила заслушать письмо; граф глубоко задумался и не выразил своего мнения.

Тогда председатель огласил следующее письмо:

«Господин председатель!

Я могу представить следственной комиссии, призванной расследовать поведение генерал-лейтенанта графа де Морсера в Эпире и Македонии, самые точные сведения».

Председатель на секунду замолк.

Граф де Морсер побледнел; председатель окинул слушателей вопросительным взглядом.

«Продолжайте!» – закричали со всех сторон.

Председатель продолжал:

«Али-паша умер при мне, и на моих глазах протекли его последние минуты; я знаю, какая судьба постигла Василики и Гайде; я к услугам комиссии и даже прошу оказать мне честь и выслушать меня. Когда вам вручат это письмо, я буду находиться в вестибюле Палаты».

«А кто этот свидетель, или, вернее, этот враг?» – спросил граф изменившимся голосом.

«Мы это сейчас узнаем, – отвечал председатель. – Угодно ли комиссии выслушать этого свидетеля?»

«Да, да!» – в один голос отвечали все.

Позвали курьера.

«Дожидается ли кто-нибудь в вестибюле?» – спросил председатель.

«Да, господин председатель».

«Кто?»

«Женщина, в сопровождении слуги».

Все переглянулись.

«Пригласите сюда эту женщину», – сказал председатель.

Пять минут спустя курьер вернулся; все глаза были обращены на дверь, и я также, – прибавил Бошан, – разделял общее напряженное ожидание.

Позади курьера шла женщина, с головы до ног закутанная в покрывало. По неясным очертаниям фигуры и по запаху духов под этим

покрывалом угадывалась молодая и изящная женщина.

Председатель попросил незнакомку приоткрыть покрывало, и глазам присутствующих предстала молодая девушка, одетая в греческий костюм; она была необычайно красива.

– Это она! – сказал Альбер.

– Кто она?

– Гайде.

– Кто вам сказал?

– Увы, я догадываюсь. Но продолжайте, Бошан, прошу вас. Вы видите, я спокоен и не теряю присутствия духа, хотя мы, вероятно, приближаемся к развязке.

– Господин де Морсер глядел на эту девушку с изумлением и ужасом, – продолжал Бошан. – Слова, готовые слететь с этих прелестных губ, означали для него жизнь или смерть; остальные были так удивлены и заинтересованы появлением незнакомки, что спасение или гибель господина де Морсера уже не столь занимали их мысли.

Председатель предложил девушке сесть, но она покачала головой. Граф же упал в свое кресло; ноги явно отказывались служить ему.

«Сударыня, – сказал председатель, – вы писали комиссии, что желаете сообщить сведения о событиях в Янине, и заявляли, что были свидетельницей этих событий».

«Это правда», – отвечала незнакомка с чарующей грустью и той мелодичностью голоса, которая отличает речь всех жителей Востока.

«Однако, – сказал председатель, – разрешите мне вам заметить, что вы были тогда слишком молоды».

«Мне было четыре года; но, так как для меня это были события необычайной важности, то я не забыла ни одной подробности, ни одна мелочь не изгладилась из моей памяти».

«Но чем же были важны для вас эти события и кто вы, что эта катастрофа произвела на вас такое глубокое впечатление?»

«Дело шло о жизни или смерти моего отца, – отвечала девушка, – я Гайде, дочь Али-Тебелина, янинского паши, и Василики, его любимой жены».

Скромный и в то же время горделивый румянец, заливший лицо девушки, ее огненный взор и величавость ее слов произвели невыразимое впечатление на собравшихся.

Граф де Морсер с таким ужасом смотрел на нее, словно пропасть внезапно разверзлась у его ног.

«Сударыня, – сказал председатель, почтительно ей поклонившись, – разрешите мне задать вам один вопрос, отнюдь не означающий с моей стороны сомнения, и это будет последний мой вопрос: можете ли вы подтвердить ваше заявление?»

«Да, могу, – отвечала Гайде, вынимая из складок своего покрывала благовонный атласный мешочек, – вот свидетельство о моем рождении, составленное моим отцом и подписанное его военачальниками; вот свидетельство о моем крещении, ибо мой отец дал свое согласие на то, чтобы я воспитывалась в вере моей матери; на этом свидетельстве стоит печать великого примаса Македонии и Эпира; вот, наконец (и это, вероятно, самый важный документ), свидетельство о продаже меня и моей матери армянскому купцу Эль-Коббиру французским офицером, который в своей гнусной сделке с Портой выговорил себе, как долю добычи, жену и дочь своего благодетеля и продал их за тысячу кошельков, то есть за четыреста тысяч франков».

Лицо графа покрылось зеленоватой бледностью, а глаза его налились кровью, когда раздались эти ужасные обвинения, которые собрание выслушало в зловещем молчании.

Гайде, все такая же спокойная, но более грозная в своем спокойствии, чем была бы другая в гневе, протянула председателю свидетельство о продаже, составленное на арабском языке.

Так как считали возможным, что некоторые из предъявленных документов могут оказаться составленными на арабском, новогреческом или турецком языке, то к заседанию был вызван переводчик, состоявший при Палате, за ним послали.

Один из благородных пэров, которому был знаком арабский язык, изученный им во время великого египетского похода, следил глазами за чтением пергамента, в то время как переводчик оглашал его вслух:

«Я, Эль-Коббир, торговец невольниками и поставщик гарема его величества султана, удостоверяю, что получил от французского вельможи графа Монте-Кристо, для вручения падишаху, изумруд, оцененный в две тысячи кошельков, как плату за молодую невольницу-христианку, одиннадцати лет от роду, по имени Гайде, признанную дочь покойного Али-Тебелина, янинского паши, и Василики, его любимой жены, каковая была мне продана тому семь лет, вместе со своей матерью, умершей при прибытии ее в Константинополь, франкским полковником, состоявшим на службе у визиря Али-Тебелина, по имени Фернан Мондего.

Вышеупомянутая покупка была мною совершена за счет его величества султана и по его уполномочию за тысячу кошельков.

Составлено в Константинополе, с дозволения его величества, в год 1247 гиджры.

Подписано: *Эль-Коббир*.

Настоящее свидетельство, для вящего удостоверения его истинности, непреложности и подлинности, будет снабжено печатью его величества, наложение каковой продавец обязуется исходатайствовать».

Рядом с подписью торговца действительно стояла печать падишаха.

За этим чтением и за этим зрелищем последовало гробовое молчание; все, что было живого в графе, сосредоточилось в его глазах, и эти глаза, как бы помимо его воли прикованные к Гайде, пылали огнем и кровью.

«Сударыня, – сказал председатель, – не можем ли мы попросить разъяснений у графа Монте-Кристо, который, насколько мне известно, вместе с вами находится в Париже?»

«Сударь, граф Монте-Кристо, мой второй отец, уже три дня как уехал в Нормандию».

«Но в таком случае, сударыня, – сказал председатель, – кто подал вам мысль сделать ваше заявление, за которое Палата приносит вам благодарность? Впрочем, принимая во внимание ваше рождение и перенесенные вами несчастья, ваш поступок вполне естествен».

«Сударь, – отвечала Гайде, – этот поступок внушили мне почтение к мертвым и мое горе. Хоть я и христианка, но, да простит мне бог, я

всегда мечтала отомстить за моего доблестного отца. И с тех пор как я ступила на французскую землю, с тех пор как я узнала, что предатель живет в Париже, мои глаза и уши были всегда открыты. Я веду уединенную жизнь в доме моего благородного покровителя, но я живу так потому, что люблю тень и тишину, которые позволяют мне жить наедине со своими мыслями. Но граф Монте-Кристо окружает меня отеческими заботами, и ничто в жизни мира не чуждо мне; правда, я беру от нее только отголоски. Я читаю все газеты, получаю все журналы, знаю новую музыку; и вот, следя, хоть и со стороны, за жизнью других людей, я узнала, что произошло сегодня утром в Палате пэров и что должно было произойти сегодня вечером... Тогда я написала письмо».

«И граф Монте-Кристо не знает о вашем письме?» – спросил председатель.

«Ничего не знает, и я даже опасаюсь, что он его не одобрит, когда узнает; а между тем это великий для меня день, – продолжала девушка, подняв к небу взор, полный огня, – день, когда я наконец отомстила за своего отца!»

Граф за все это время не произнес ни слова; его коллеги не без участия смотрели на этого человека, чья жизнь разбилась от благовонного дыхания женщины; несчастье уже чертило зловещие знаки на его челе.

«Господин де Морсер, – сказал председатель, – признаете ли вы в этой девушке дочь Али-Тебелина, янинского паши?»

«Нет, – сказал граф, с усилием вставая, – все это лишь козни моих врагов».

Гайде, не отрывавшая глаз от двери, словно она ждала кого-то, быстро обернулась и, увидя графа, страшно вскрикнула.

«Ты не узнаешь меня, – воскликнула она, – но зато я узнаю тебя! Ты Фернан Мондего, французский офицер, обучавший войска моего благородного отца. Это ты предал замки Янины! Это ты, отправленный им в Константинополь, чтобы договориться с султаном о жизни или смерти твоего благодетеля, привез подложный фирман о полном помиловании! Ты благодаря этому фирману получил перстень паши,

чтобы заставить Селима, хранителя огня, повиноваться тебе! Ты зарезал Селима. Ты продал мою мать и меня купцу Эль-Коббиру! Убийца! Убийца! Убийца! На лбу у тебя до сих пор кровь твоего господина! Смотрите все!»

Эти слова были произнесены с таким страстным убеждением, что все глаза обратились на лоб графа, и он сам поднес к нему руку, точно чувствовал, что он влажен от крови Али.

«Вы, значит, утверждаете, что вы узнали в графе де Морсере офицера Фернана Мондего?»

«Узнаю ли я его! – воскликнула Гайде. – Моя мать сказала мне: „Ты была свободна; у тебя был отец, который тебя любил, ты могла бы стать почти королевой! Вглядись в этого человека, это он сделал тебя рабыней, он надел на копье голову твоего отца, он продал нас, он нас выдал! Посмотри на его правую руку, на ней большой рубец; если ты когда-нибудь забудешь его лицо, ты узнаешь его по этой руке, в которую отсчитал червонцы купец Эль-Коббир!“ Узнаю ли я его! Пусть он посмеет теперь сказать, что он меня не узнает!»

Каждое слово обрушивалось на графа, как удар ножа, лишая его остатка сил; при последних словах Гайде он невольно спрятал на груди свою руку, действительно искалеченную раной, и упал в кресло, сраженный отчаянием.

От виденного и слышанного мысли присутствующих закружились вихрем, как опавшие листья, подхваченные могучим дыханием северного ветра.

«Граф де Морсер, – сказал председатель, – не поддавайтесь отчаянию, отвечайте; перед верховным правосудием Палаты все равны, как перед господним судом; оно не позволит вашим врагам раздавить вас, не дав вам возможности сразиться с ними. Может быть, вы желаете нового расследования? Желаете, чтобы я послал двух членов Палаты в Янину? Говорите!»

Граф ничего не ответил.

Тогда члены комиссии с ужасом переглянулись. Все знали властный и непреклонный нрав генерала. Нужен был страшный упадок сил, чтобы

этот человек перестал обороняться; и все думали, что за этим безмолвием, похожим на сон, последует пробуждение, подобное грозе.

«Ну что же, – сказал председатель, – что вы решаете?»

«Ничего», – глухо ответил граф, поднимаясь с места.

«Значит, дочь Али-Тебелина действительно сказала правду? – спросил председатель. – Значит, она и есть тот страшный свидетель, которому виновный не смеет ответить „нет“? Значит, вы действительно совершили все, в чем вас обвиняют?»

Граф обвел окружающих взглядом, отчаянное выражение которого разжалобило бы тигров, но не могло смягчить судей; затем он поднял глаза вверх, но сейчас же опустил их, как бы страшась, что своды разверзнутся и явят во всем его блеске другое, небесное судилище, другого, всевышнего судью.

И вдруг резким движением он разорвал душивший его воротник и вышел из залы в мрачном безумии; его шаги зловеще отдались под сводами, и вслед за тем грохот кареты, вскачь уносившей его, потряс колонны флорентийского портика.

«Господа, – сказал председатель, когда воцарилась тишина, – виновен ли граф де Морсер в вероломстве, предательстве и бесчестии?»

«Да!» – единогласно ответили члены следственной комиссии.

Гайде оставалась до конца заседания; она выслушала приговор графу, и ни одна черта ее лица не выразила ни радости, ни сострадания.

Потом, опустив покрывало на лицо, она величаво поклонилась членам собрания и вышла той поступью, которой Виргилий наделял богинь.

# X. Вызов

– Я воспользовался общим молчанием и темнотой залы, чтобы выйти незамеченным, – продолжал Бошан. – У дверей меня ждал тот самый курьер, который отворил мне ложу. Он довел меня по коридорам до маленькой двери, выходящей на улицу Вожирар. Я вышел истерзанный и в то же время восхищенный, – простите меня, Альбер, – истерзанный за вас, восхищенный благородством этой девушки, мстящей за своего отца. Да, клянусь, Альбер, откуда бы ни шло это разоблачение, я скажу одно: быть может, оно исходит от врага, но этот враг – только орудие провидения.

Альбер сидел, уронив голову на руки; он поднял лицо, пылающее от стыда и мокрое от слез, и схватил Бошана за руку.

– Друг, – сказал он, – моя жизнь кончена; мне остается не повторять, конечно, вслед за вами, что этот удар мне нанесло провидение, а искать человека, который преследует меня своей ненавистью; когда я его найду, я его убью, или он убьет меня; и я рассчитываю на вашу дружескую помощь, Бошан, если только презрение не изгнало дружбу из вашего сердца.

– Презрение, друг мой? Чем вы виноваты в этом несчастье? Нет, слава богу, прошли те времена, когда несправедливый предрассудок заставлял сыновей отвечать за действия отцов. Припомните всю свою жизнь, Альбер; правда, она очень юна, но не было зари более чистой, чем ваш рассвет! Нет, Альбер, поверьте мне: вы молоды, богаты, уезжайте из Франции! Все быстро забывается в этом огромном Вавилоне, где жизнь кипит и вкусы изменчивы; вы вернетесь туда года через три, женатый на какой-нибудь русской княжне, и никто не вспомнит о том, что было вчера, а тем более о том, что было шестнадцать лет тому назад.

– Благодарю вас, мой дорогой Бошан, благодарю вас за добрые чувства, которые подсказали вам этот совет, но это невозможно. Я высказал вам свое желание, а теперь, если нужно, я заменю слово «желание» словом «воля». Вы должны понять, что это слишком близко

меня касается, и я не могу смотреть на вещи, как вы. То, что, по-вашему, имеет своим источником волю неба, по-моему, исходит из источника менее чистого. Мне представляется, должен сознаться, что провидение здесь ни при чем, и это к счастью, потому что вместо невидимого и неосязаемого вестника небесных наград и кар я найду видимое и осязаемое существо, которому я отомщу, клянусь, за все, что я пережил в течение этого месяца. Теперь, повторяю вам, Бошан, я хочу вернуться в мир людей, мир материальный, и, если вы, как вы говорите, все еще мой друг, помогите мне отыскать ту руку, которая нанесла удар.

– Хорошо! – сказал Бошан. – Если вам так хочется, чтобы я спустился на землю, я это сделаю; если вы хотите начать розыски врага, я буду разыскивать его вместе с вами. И я найду его, потому что моя честь требует почти в такой же мере, как и ваша, чтобы мы его нашли.

– В таком случае, Бошан, мы должны начать розыски немедленно, сейчас же. Каждая минута промедления кажется мне вечностью; доносчик еще не понес наказания; следовательно, он может надеяться, что и не понесет его; но, клянусь честью, он жестоко ошибается!

– Послушайте, Морсер...

– Я вижу, Бошан, вы что-то знаете; вы возвращаете мне жизнь!

– Я ничего не знаю точно, Альбер; но все же это луч света во тьме; и если мы пойдем за этим лучом, он, быть может, выведет нас к цели.

– Да говорите же! Я сгораю от нетерпения.

– Я расскажу вам то, чего не хотел говорить, когда вернулся из Янины.

– Я слушаю.

– Вот что произошло, Альбер. Я, естественно, обратился за справками к первому банкиру в городе; как только я заговорил об этом деле и даже прежде, чем я успел назвать вашего отца, он сказал:

«Я догадываюсь, что вас привело ко мне».

«Каким образом?»

«Нет еще двух недель, как меня запрашивали по этому самому делу».

«Кто?»

«Один парижский банкир, мой корреспондент».

«Его имя?»

«Данглар».

– Данглар! – воскликнул Альбер. – Верно, он уже давно преследует моего несчастного отца своей завистливой злобой; он считает себя демократом, но не может простить графу де Морсеру его пэрства. И этот неизвестно почему не состоявшийся брак… да, это так!

– Расследуйте это, Альбер, только не горячитесь заранее, и если это так…

– Если это так, – воскликнул Альбер, – он заплатит мне за все, что я выстрадал.

– Не увлекайтесь, ведь он уже пожилой человек.

– Я буду считаться с его возрастом так, как он считался с честью моей семьи. Если он враг моего отца, почему он не напал на него открыто? Он побоялся встретиться лицом к лицу с мужчиной!

– Альбер, я не осуждаю, я только сдерживаю вас; будьте осторожны.

– Не бойтесь, впрочем, вы будете меня сопровождать, Бошан; о таких вещах говорят при свидетелях. Сегодня же, если виновен Данглар, Данглар умрет, или умру я. Черт возьми, Бошан, я устрою пышные похороны своей чести!

– Хорошо, Альбер. Когда принимают такое решение, надо немедленно исполнить его. Вы хотите ехать к Данглару? Едем.

Они послали за наемным кабриолетом. Подъезжая к дому банкира, они увидели у ворот фаэтон и слугу Андреа Кавальканти.

– Вот это удачно! – угрюмо произнес Альбер. – Если Данглар откажется принять вызов, я убью его зятя. Князь Кавальканти – как же ему не драться!

Банкиру доложили об их приходе, и он, услышав имя Альбера и зная все, что произошло накануне, велел сказать, что он не принимает. Но было уже поздно, Альбер шел следом за лакеем; он услышал ответ, распахнул дверь и вместе с Бошаном вошел в кабинет банкира.

– Позвольте, сударь! – воскликнул тот. – Разве я уже не хозяин в своем доме и не властен принимать или не принимать, кого мне угодно? Мне кажется, вы забываетесь.

– Нет, сударь, – холодно отвечал Альбер, – бывают обстоятельства, когда некоторых посетителей нельзя не принимать, если не хочешь прослыть трусом, – этот выход вам, разумеется, открыт.

– Что вам от меня угодно, сударь?

– Мне угодно, – сказал Альбер, подходя к нему и делая вид, что не замечает Кавальканти, стоявшего у камина, – предложить вам встретиться со мной в уединенном месте, где нас никто не побеспокоит в течение десяти минут; большего я у вас не прошу; и из двух людей, которые там встретятся, один останется на месте.

Данглар побледнел. Кавальканти сделал движение. Альбер обернулся к нему.

– Пожалуйста, – сказал он, – если желаете, граф, приходите тоже, вы имеете на это полное право, вы почти уже член семьи, а я назначаю такие свидания всякому, кто пожелает явиться.

Кавальканти изумленно взглянул на Данглара, и тот, сделав над собой усилие, поднялся с места и встал между ними. Выпад Альбера против Андреа возбудил в нем надежду, что этот визит вызван не той причиной, которую он предположил вначале.

– Послушайте, сударь, – сказал он Альберу, – если вы ищете ссоры с графом за то, что я предпочел его вам, то я предупреждаю вас, что передам это дело королевскому прокурору.

– Вы ошибаетесь, сударь, – сказал Альбер с мрачной улыбкой, – мне не до свадеб, и я обратился к господину Кавальканти только потому, что мне показалось, будто у него мелькнуло желание вмешаться в наш разговор. А впрочем, вы совершенно правы, я готов сегодня поссориться со всяким; но, будьте спокойны, господин Данглар, первенство остается за вами.

– Сударь, – отвечал Данглар, бледный от гнева и страха, – предупреждаю вас, что, когда я встречаю на своем пути бешеного пса, я убиваю его и не только не считаю себя виновным, но, напротив того, нахожу, что оказываю обществу услугу. Так что, если вы взбесились и собираетесь укусить меня, то предупреждаю вас: я без всякой жалости вас убью. Чем я виноват, что ваш отец обесчещен?

– Да, негодяй! – воскликнул Альбер. – Это твоя вина!

Данглар отступил на шаг.

– Моя вина! Моя? – сказал он. – Да вы с ума сошли! Да разве я знаю греческую историю? Разве я разъезжал по всем этим странам? Разве это я посоветовал вашему отцу продать янинские замки, выдать...

– Молчать! – сказал Альбер сквозь зубы. – Нет, не вы лично вызвали этот скандал, но именно вы коварно подстроили это несчастье.

– Я?

– Да, вы! Откуда пошла огласка?

– Но, мне кажется, в газете это было сказано: из Янины, откуда же еще!

– А кто писал в Янину?

– В Янину?

– Да. Кто писал и запрашивал сведения о моем отце?

– Мне кажется, что никому не запрещено писать в Янину.

– Во всяком случае, писало только одно лицо.

– Только одно?

– Да, и этим лицом были вы.

– Разумеется, я писал: мне кажется, что если выдаешь замуж свою дочь за молодого человека, то позволительно собирать сведения о семье этого молодого человека; это не только право, но обязанность.

– Вы писали, сударь, – сказал Альбер, – отлично зная, какой получите ответ.

– Клянусь вам, – воскликнул Данглар с чувством искренней убежденности, исходившим, быть может, не столько даже от наполнявшего его страха, сколько от жалости, которую он в глубине души чувствовал к несчастному юноше, – мне никогда и в голову бы не пришло писать в Янину. Разве я имел представление о несчастье, постигшем Али-пашу?

– Значит, кто-нибудь посоветовал вам написать?

– Разумеется.

– Вам посоветовали?

– Да.

– Кто?.. Говорите... Сознайтесь...

– Извольте; я говорил о прошлом вашего отца, я сказал, что источник его богатства никому не известен. Лицо, с которым я беседовал, спросило, где ваш отец приобрел свое состояние. Я ответил: в Греции. Тогда оно мне сказало: напишите в Янину.

– А кто вам дал этот совет?

– Граф Монте-Кристо, ваш друг.

– Граф Монте-Кристо посоветовал вам написать в Янину?

– Да, и я написал. Хотите посмотреть мою переписку? Я вам ее покажу.

Альбер и Бошан переглянулись.

– Сударь, – сказал Бошан, до сих пор молчавший, – вы обвиняете графа, зная, что его сейчас нет в Париже и он не может оправдаться.

– Я никого не обвиняю, сударь, – ответил Данглар, – я просто рассказываю, как было дело, и готов повторить в присутствии графа Монте-Кристо все, что я сказал.

– И граф знает, какой вы получили ответ?

– Я ему показал ответ.

– Знал ли он, что моего отца звали Фернан и что его фамилия Мондего?

– Да, я ему давно об этом сказал; словом, я сделал только то, что всякий сделал бы на моем месте, и даже, может быть, гораздо меньше. Когда на следующий день после получения этого ответа ваш отец, по совету графа Монте-Кристо, приехал ко мне и официально просил для вас руки моей дочери, как это принято делать, когда хотят решить вопрос окончательно, я отказал ему, отказал наотрез, это правда, но без всяких объяснений, без скандала. В самом деле, к чему мне была огласка? Какое мне дело до чести или бесчестия господина де Морсера? Это ведь не влияет ни на повышение, ни на понижение курса.

Альбер почувствовал, что краска заливает ему лицо. Сомнений не было, Данглар защищался как низкий, но уверенный в себе человек, говорящий если и не всю правду, то, во всяком случае, долю правды, не по велению совести, конечно, но из страха. Притом, что нужно было

Альберу? Не большая или меньшая степень вины Данглара или Монте-Кристо, а человек, который ответил бы за обиду, человек, который принял бы вызов, а было совершенно очевидно, что Данглар вызова не примет.

И все то, что успело забыться или прошло незамеченным, ясно вставало перед его глазами и воскресало в его памяти. Монте-Кристо знал все, раз он купил дочь Али-паши; а зная все, он посоветовал Данглару написать в Янину. Узнав ответ, он согласился познакомить Альбера с Гайде; как только они очутились в ее обществе, он навел разговор на смерть Али и не мешал Гайде рассказывать (причем, вероятно, в тех нескольких словах, которые он сказал ей по-гречески, он велел ей скрыть от Альбера, что дело идет о его отце); кроме того, разве он не просил Альбера не произносить при Гайде имени своего отца? Наконец, он увез Альбера в Нормандию именно на то время, когда должен был разразиться скандал. Сомнений не было, все это было сделано сознательно, и Монте-Кристо был, несомненно, в заговоре с врагами его отца.

Альбер отвел Бошана в сторону и поделился с ним всеми этими соображениями.

– Вы правы, – сказал тот. – Данглара во всем случившемся касается только грубая, материальная сторона этого дела; объяснений вы должны требовать от графа Монте-Кристо.

Альбер обернулся.

– Сударь, – сказал он Данглару, – вы должны понять, что я еще не прощаюсь с вами; но мне необходимо знать, насколько ваши обвинения справедливы, и, чтобы удостовериться в этом, я сейчас же еду к графу Монте-Кристо.

И, поклонившись банкиру, он вышел вместе с Бошаном, не удостоив Кавальканти даже взглядом.

Данглар проводил их до двери и на пороге еще раз заверил Альбера, что у него нет никакого личного повода питать ненависть к графу де Морсеру.

# XI. Оскорбление

Выйдя от банкира, Бошан остановился.

– Я вам сказал, Альбер, – произнес он, – что вам следует потребовать объяснений у графа Монте-Кристо.

– Да, и мы едем к нему.

– Одну минуту; раньше, чем ехать к графу, подумайте.

– О чем мне еще думать?

– О серьезности этого шага.

– Но разве он более серьезен, чем мой визит к Данглару?

– Да, Данглар человек деловой, а деловые люди, как вам известно, знают цену своим капиталам и потому дерутся неохотно. Граф Монте-Кристо, напротив, джентльмен, по крайней мере по виду; но не опасаетесь ли вы, что под внешностью джентльмена скрывается убийца?

– Я опасаюсь только одного: что он откажется драться.

– Будьте спокойны, – сказал Бошан, – этот будет драться. Я даже боюсь, что он будет драться слишком хорошо, берегитесь!

– Друг, – сказал Альбер с ясной улыбкой, – этого мне и нужно; и самое большое счастье для меня – быть убитым за отца; это всех нас спасет.

– Это убьет вашу матушку!

– Бедная мама, – сказал Альбер, проводя рукой по глазам, – да, я знаю; но пусть уж лучше она умрет от горя, чем от стыда.

– Так ваше решение твердо, Альбер?

– Да.

– Тогда едем! Но уверены ли вы, что мы его застанем?

– Он должен был выехать вслед за мной и, наверное, уже в Париже.

Они сели в кабриолет и поехали на Елисейские поля.

Бошан хотел войти один, но Альбер заметил ему, что, так как эта дуэль несколько необычна, то он может позволить себе нарушить этикет.

Чувство, одушевлявшее Альбера, было столь священно, что Бошану оставалось только подчиняться всем его желаниям; поэтому он уступил и

ограничился тем, что последовал за своим другом.

Альбер почти бегом пробежал от ворот до крыльца. Там его встретил Батистен.

Граф действительно уже вернулся; он предупредил Батистена, что его ни для кого нет дома.

– Его сиятельство принимает ванну, – сказал Батистен Альберу.

– Но после ванны?

– Он будет обедать.

– А после обеда?

– Он будет отдыхать.

– А затем?

– Он поедет в Оперу.

– Вы в этом уверены? – спросил Альбер.

– Совершенно уверен, граф приказал подать лошадей ровно в восемь часов.

– Превосходно, – сказал Альбер, – больше мне ничего не нужно.

Затем он повернулся к Бошану.

– Если вам нужно куда-нибудь идти, Бошан, идите сейчас же; если у вас на сегодняшний вечер назначено какое-нибудь свидание, отложите его на завтра. Вы сами понимаете, я рассчитываю, что вы поедете со мной в Оперу. Если удастся, приведите с собой Шато-Рено.

Бошан простился с Альбером, обещая зайти за ним без четверти восемь.

Вернувшись домой, Альбер послал предупредить Франца, Дебрэ и Морреля, что очень просит их встретиться с ним в этот вечер в Опере.

Потом он прошел к своей матери, которая после всего того, что произошло накануне, велела никого не принимать и заперлась у себя. Он нашел ее в постели, потрясенную разыгравшимся скандалом.

Приход Альбера произвел на Мерседес именно то действие, которого следовало ожидать: она сжала руку сына и разразилась рыданиями. Однако эти слезы облегчили ее.

Альбер стоял, безмолвно склонившись над ней. По его бледному лицу и нахмуренным бровям видно было, что принятое им решение отомстить

все сильнее овладевало его сердцем.

– Вы не знаете, матушка, – спросил он, – есть ли у господина де Морсера враги?

Мерседес вздрогнула; она заметила, что Альбер не сказал: у моего отца.

– Друг мой, – отвечала она, – у людей, занимающих такое положение, как граф, бывает много тайных врагов. Явные враги, как ты знаешь, еще не самые опасные.

– Да, я знаю, и потому надеюсь на вашу проницательность. Я знаю, от вас ничто не ускользает!

– Почему ты мне это говоришь?

– Потому что вы заметили, например, у нас на балу, что граф Монте-Кристо не захотел есть в нашем доме.

Мерседес, вся дрожа, приподнялась на кровати.

– Граф Монте-Кристо! – воскликнула она. – Но какое это имеет отношение к тому, о чем ты меня спрашиваешь?

– Вы же знаете, матушка, что граф Монте-Кристо верен многим обычаям Востока, а на Востоке, чтобы сохранить за собой право мести, никогда ничего не пьют и не едят в доме врага.

– Граф Монте-Кристо наш враг? – сказала Мерседес, побледнев как смерть. – Кто тебе это сказал? Почему? Ты бредишь, Альбер. От графа Монте-Кристо мы видели одно только внимание. Граф Монте-Кристо спас тебе жизнь, и ты сам представил нам его. Умоляю тебя, Альбер, прогони эту мысль. Я советую тебе, больше того, прошу тебя: сохрани его дружбу.

– Матушка, – возразил Альбер, мрачно глядя на нее, – у вас есть какая-то причина щадить этого человека.

– У меня! – воскликнула Мерседес, мгновенно покраснев и становясь затем еще бледнее прежнего.

– Да, – сказал Альбер, – вы просите меня щадить этого человека потому, что мы можем ждать от него только зла, правда?

Мерседес вздрогнула и вперила в сына испытующий взор.

– Как ты странно говоришь, – сказала она, – откуда у тебя такое предубеждение! Что ты имеешь против графа? Три дня тому назад ты гостил у него в Нормандии; три дня тому назад я его считала, и ты сам считал его твоим лучшим другом.

Ироническая улыбка мелькнула на губах Альбера. Мерседес перехватила эту улыбку и инстинктом женщины и матери угадала все; но, осторожная и сильная духом, она скрыла свое смущение и тревогу.

Альбер молчал; немного погодя графиня заговорила снова.

– Ты пришел узнать, как я себя чувствую, – сказала она, – не скрою, друг мой, здоровье мое плохо. Останься со мной, Альбер, мне так тяжело одной.

– Матушка, – сказал юноша, – я бы не покинул вас, если бы не спешное, неотложное дело.

– Что ж делать? – ответила со вздохом Мерседес. – Иди, Альбер, я не хочу делать тебя рабом твоих сыновних чувств.

Альбер сделал вид, что не слышал этих слов, простился с матерью и вышел.

Не успел он закрыть за собой дверь, как Мерседес послала за доверенным слугой и велела ему следовать за Альбером всюду, куда бы тот ни пошел, и немедленно ей обо всем сообщать.

Затем она позвала горничную и, превозмогая свою слабость, оделась, чтобы быть на всякий случай готовой.

Поручение, данное слуге, было нетрудно выполнить. Альбер вернулся к себе и оделся с особой тщательностью. Без десяти минут восемь явился Бошан; он уже виделся с Шато-Рено, и тот обещал быть на своем месте, в первых рядах кресел, еще до поднятия занавеса.

Молодые люди сели в карету Альбера, который, не считая нужным скрывать, куда он едет, громко приказал:

– В Оперу!

Сгорая от нетерпения, он вошел в театр еще до начала спектакля.

Шато-Рено сидел уже в своем кресле; так как Бошан обо всем его предупредил, Альберу не пришлось давать ему никаких объяснений. Поведение сына, желающего отомстить за отца, было так естественно,

что Шато-Рено и не пытался его отговаривать и ограничился заявлением, что он к его услугам.

Дебрэ еще не было, но Альбер знал, что он редко пропускает спектакль в Опере. Пока не подняли занавес, Альбер бродил по театру. Он надеялся встретить Монте-Кристо либо в коридоре, либо на лестнице. Звонок заставил его вернуться, и он занял свое кресло между Шато-Рено и Бошаном.

Но его глаза не отрывались от ложи между колоннами, которая во время первого действия упорно оставалась закрытой.

Наконец, в начале второго акта, когда Альбер уже в сотый раз посмотрел на часы, дверь ложи открылась, и Монте-Кристо, весь в черном, вошел и оперся о барьер, разглядывая зрительную залу; следом за ним вошел Моррель, ища глазами сестру и зятя. Он увидел их в ложе бельэтажа и сделал им знак.

Граф, окидывая взглядом залу, заметил бледное лицо и сверкающие глаза, жадно искавшие его взгляда; он, разумеется, узнал Альбера, но, увидев его расстроенное лицо, сделал вид, что не заметил его. Ничем не выдавая своих мыслей, он сел, вынул из футляра бинокль и стал смотреть в противоположную сторону.

Но, притворяясь, что он не замечает Альбера, граф все же не терял его из виду, и когда второй акт кончился и занавес опустился, от его верного и безошибочного взгляда не ускользнуло, что Альбер вышел из партера в сопровождении обоих своих друзей.

Вслед за тем его лицо мелькнуло в дверях соседней ложи. Граф чувствовал, что гроза приближается, и когда он услышал, как повернулся ключ в двери его ложи, то, хотя он в ту минуту с самым веселым видом разговаривал с Моррелем, он уже знал, чего ждать, и был ко всему готов.

Дверь отворилась.

Только тогда граф обернулся и увидел Альбера, бледного и дрожащего; позади него стояли Бошан и Шато-Рено.

– А-а! Вот и мой всадник прискакал, – воскликнул он с той ласковой учтивостью, которая обычно отличала его приветствие от условной светской любезности. – Добрый вечер, господин де Морсер.

Лицо этого человека, так превосходно собой владевшего, было полно приветливости.

Только тут Моррель вспомнил о полученном им от виконта письме, в котором тот, ничего не объясняя, просил его быть вечером в Опере; и он понял, что сейчас произойдет.

– Мы пришли не для того, чтобы обмениваться любезностями или лживыми выражениями дружбы, – сказал Альбер, – мы пришли требовать объяснений, граф.

Он говорил, стиснув зубы, голос его прерывался.

– Объяснения в Опере? – сказал граф тем спокойным тоном и с тем пронизывающим взглядом, по которым узнается человек, неизменно в себе уверенный. – Хоть я и мало знаком с парижскими обычаями, мне все же кажется, сударь, что это не место для объяснений.

– Однако если человек скрывается, – сказал Альбер, – если к нему нельзя проникнуть, потому что он принимает ванну, обедает или спит, приходится говорить с ним там, где его встретишь.

– Меня не так трудно застать, – сказал Монте-Кристо, – не далее, как вчера, сударь, если память вам не изменяет, вы были моим гостем.

– Вчера, сударь, – сказал Альбер, теряя голову, – я был вашим гостем, потому что не знал, кто вы такой.

При этих словах Альбер возвысил голос, чтобы это могли слышать в соседних ложах и в коридоре; и в самом деле, заслышав ссору, сидевшие в ложах обернулись, а проходившие по коридору остановились за спиной у Бошана и Шато-Рено.

– Откуда вы явились, сударь? – сказал Монте-Кристо, не выказывая никакого волнения. – Вы, по-видимому, не в своем уме.

– У меня достаточно ума, чтобы понимать ваше коварство и заставить вас понять, что я хочу вам отомстить за него, – сказал вне себя Альбер.

– Милостивый государь, я вас не понимаю, – возразил Монте-Кристо, – и, во всяком случае, я нахожу, что вы слишком громко говорите. Я здесь у себя, милостивый государь, здесь только я имею право повышать голос. Уходите! – И Монте-Кристо повелительным жестом указал Альберу на дверь.

– Я заставлю вас самого выйти отсюда! – возразил Альбер, судорожно комкая в руках перчатку, с которой граф не спускал глаз.

– Хорошо, – спокойно сказал Монте-Кристо, – я вижу, вы ищете ссоры, сударь; но позвольте вам дать совет и постарайтесь его запомнить: плохая манера сопровождать вызов шумом. Шум не для всякого удобен, господин де Морсер.

При этом имени ропот пробежал среди свидетелей этой сцены. Со вчерашнего дня имя Морсера было у всех на устах.

Альбер лучше всех и прежде всех понял намек и сделал движение, намереваясь бросить перчатку в лицо графу, но Моррель остановил его руку, в то время как Бошан и Шато-Рено, боясь, что эта сцена перейдет границы дозволенного, схватили его за плечи.

Но Монте-Кристо, не вставая с места, протянул руку и выхватил из судорожно сжатых пальцев Альбера влажную и смятую перчатку.

– Сударь, – сказал он грозным голосом, – я считаю, что эту перчатку вы мне бросили, и верну вам ее вместе с пулей. Теперь извольте выйти отсюда, не то я позову своих слуг и велю им вышвырнуть вас за дверь.

Шатаясь, как пьяный, с налитыми кровью глазами, Альбер отступил на несколько шагов.

Моррель воспользовался этим и закрыл дверь.

Монте-Кристо снова взял бинокль и поднес его к глазам, словно ничего не произошло.

Сердце этого человека было отлито из бронзы, а лицо высечено из мрамора.

Моррель наклонился к графу.

– Что вы ему сделали? – шепотом спросил он.

– Я? Ничего, по крайней мере лично, – сказал Монте-Кристо.

– Однако эта странная сцена должна иметь причину?

– После скандала с графом де Морсером несчастный юноша сам не свой.

– Разве вы имеете к этому отношение?

– Гайде сообщила Палате о предательстве его отца.

– Да, я слышал, что гречанка, ваша невольница, которую я видел с вами в этой ложе, – дочь Али-паши, – сказал Моррель. – Но я не верил.

– Однако это правда.

– Теперь я понимаю, – сказал Моррель, – эта сцена была подготовлена заранее.

– Почему вы думаете?

– Я получил записку от Альбера с просьбой быть сегодня в Опере; он хотел, чтобы я был свидетелем того оскорбления, которое он собирался вам нанести.

– Очень возможно, – невозмутимо сказал Монте-Кристо.

– Но как вы с ним поступите?

– С кем?

– С Альбером.

– Как я поступлю с Альбером, Максимилиан? – сказал тем же тоном Монте-Кристо. – Так же верно, как то, что я вас вижу и жму вашу руку, завтра утром я убью его. Вот как я с ним поступлю.

Моррель, в свою очередь, пожал руку Монте-Кристо и вздрогнул, почувствовав, что эта рука холодна и спокойна.

– Ах, граф, – сказал он, – его отец так его любит!

– Только не говорите мне этого! – воскликнул Монте-Кристо, в первый раз обнаруживая, что он тоже может испытывать гнев. – А то я убью его не сразу!

Моррель, пораженный, выпустил руку Монте-Кристо.

– Граф, граф! – сказал он.

– Дорогой Максимилиан, – прервал его граф, – послушайте, как Дюпрэ очаровательно поет эту арию:

О Матильда, кумир души моей...

Представьте, я первый открыл в Неаполе Дюпрэ и первый аплодировал ему. Браво! Браво!

Моррель понял, что больше говорить не о чем, и замолчал.

Через несколько минут действие кончилось, и занавес опустился. В дверь постучали.

– Войдите, – сказал Монте-Кристо, и в голосе его не чувствовалось ни малейшего волнения.

Вошел Бошан.

– Добрый вечер, господин Бошан, – сказал Монте-Кристо, как будто он в первый раз за этот вечер встречался с журналистом, – садитесь, пожалуйста.

Бошан поклонился, вошел и сел.

– Граф, – сказал он Монте-Кристо, – я, как вы, вероятно, заметили, только что сопровождал господина де Морсера.

– Из чего можно сделать вывод, – смеясь, ответил Монте-Кристо, – что вы вместе обедали. Я рад видеть, господин Бошан, что вы были более воздержанны, чем он.

– Граф, – сказал Бошан, – я признаю, что Альбер был не прав, выйдя из себя, и приношу вам за это свои личные извинения. Теперь, когда я принес вам извинения – от своего имени, повторяю это, – граф, я надеюсь, что вы, как благородный человек, не откажетесь дать мне кое-какие объяснения по поводу ваших сношений с жителями Янины; потом я скажу еще несколько слов об этой молодой гречанке.

Монте-Кристо взглядом остановил его.

– Вот все мои надежды и разрушились, – сказал он смеясь.

– Почему? – спросил Бошан.

– Очень просто; вы все поспешили наградить меня репутацией эксцентричного человека; по-вашему, я не то Лара, не то Манфред, не то лорд Рутвен; затем, когда моя эксцентричность вам надоела, вы портите созданный вами тип и хотите сделать из меня самого банального человека. Вы требуете, чтобы я стал пошлым, вульгарным; словом, вы требуете от меня объяснений. Помилуйте, господин Бошан, вы надо мной смеетесь.

– Однако, – возразил высокомерно Бошан, – бывают обстоятельства, когда честь требует...

– Сударь, – прервал Бошана его странный собеседник, – от графа Монте-Кристо может чего-нибудь требовать только граф Монте-Кристо.

Поэтому, прошу вас, ни слова больше. Я делаю что хочу, господин Бошан, и, поверьте, это всегда прекрасно сделано.

– Сударь, – отвечал Бошан, – так не отделываются от порядочных людей; честь требует гарантий.

– Сударь, я сам – живая гарантия, – невозмутимо возразил Монте-Кристо, но глаза его угрожающе вспыхнули. – У нас обоих течет в жилах кровь, которую мы не прочь пролить, – вот наша взаимная гарантия. Передайте этот ответ виконту и скажите ему, что завтра утром, прежде чем пробьет десять, я узнаю цвет его крови.

– В таком случае, – сказал Бошан, – мне остается обсудить условия поединка.

– Мне они совершенно безразличны, сударь, – сказал граф Монте-Кристо, – и вы напрасно из-за такой малости беспокоите меня во время спектакля. Во Франции дерутся на шпагах или на пистолетах; в колониях предпочитают карабин; в Аравии пользуются кинжалом. Скажите вашему доверителю, что я, хоть и оскорбленный, но, желая быть до конца эксцентричным, предоставляю ему выбор оружия и без споров и возражений согласен на все; на все, вы слышите, на все, даже на дуэль по жребию, что всегда нелепо; но со мной – дело другое; я уверен, что выйду победителем.

– Вы уверены? – повторил Бошан, растерянно глядя на графа.

– Да, разумеется, – сказал Монте-Кристо, пожимая плечами. – Иначе я не принял бы вызова господина де Морсера. Я убью его, так должно быть, и так будет. Прошу вас только дать мне сегодня знать о месте встречи и роде оружия; я не люблю заставлять себя ждать.

– На пистолетах, в восемь часов утра, в Венсенском лесу, – сказал Бошан, не понимая, имеет ли он дело с дерзким фанфароном или со сверхъестественным существом.

– Отлично, сударь, – сказал Монте-Кристо. – Теперь, раз мы обо всем уговорились, разрешите мне, пожалуйста, слушать спектакль и посоветуйте вашему другу Альберу больше сюда не возвращаться; непристойное поведение только повредит ему. Пусть он едет домой и ложится спать.

Бошан ушел в полном недоумении.

– А теперь, – сказал Монте-Кристо, обращаясь к Моррелю, – могу ли я рассчитывать на вас?

– Разумеется, – сказал Моррель, – вы можете мной вполне располагать, граф; но все же...

– Что?

– Мне было бы очень важно, граф, знать истинную причину...

– Другими словами, вы отказываетесь?

– Отнюдь нет.

– Истинная причина? – повторил граф. – Этот юноша сам действует вслепую и не знает ее. Истинная причина известна лишь богу и мне; но я даю вам честное слово, Моррель, что бог, которому она известна, будет за нас.

– Этого достаточно, граф, – сказал Моррель. – Кто будет вашим вторым секундантом?

– Я никого в Париже не знаю, кому мог бы оказать эту честь, кроме вас, Моррель, и вашего зятя, Эмманюеля. Думаете ли вы, что Эмманюель согласится оказать мне эту услугу?

– Я отвечаю за него, как за самого себя, граф.

– Отлично! Это все, что мне нужно. Значит, завтра в семь часов утра у меня?

– Мы явимся.

– Тише! Занавес поднимают, давайте слушать. Я никогда не пропускаю ни одной ноты этого действия. Чудесная опера «Вильгельм Телль»!

# XII. Ночь

Граф Монте-Кристо по своему обыкновению подождал, пока Дюпрэ спел свою знаменитую арию «За мной!», и только после этого встал и вышел из ложи.

Моррель простился с ним у выхода, повторяя обещание явиться к нему вместе с Эмманюелем ровно в семь часов утра.

Затем, все такой же улыбающийся и спокойный, граф сел в карету.

Пять минут спустя он был уже дома.

Но надо было не знать графа, чтобы не услышать сдержанной ярости в его голосе, когда он, входя к себе, сказал Али:

– Али, мои пистолеты с рукоятью слоновой кости.

Али принес ящик, и граф стал заботливо рассматривать оружие, что было вполне естественно для человека, доверяющего свою жизнь кусочку свинца.

Это были пистолеты особого образца, которые Монте-Кристо заказал, чтобы упражняться в стрельбе дома. Для выстрела достаточно было пистона, и, находясь в соседней комнате, нельзя было заподозрить, что граф, как говорят стрелки, набивает себе руку.

Он только что взял в руку оружие и начал вглядываться в точку прицела на железной дощечке, служившей ему мишенью, как дверь кабинета отворилась и вошел Батистен.

Но, раньше чем он успел открыть рот, граф заметил в полумраке за растворенной дверью женщину под вуалью, которая вошла вслед за Батистеном.

Она увидела в руке графа пистолет, увидела, что на столе лежат две шпаги, и бросилась в комнату.

Батистен вопросительно взглянул на своего хозяина.

Граф сделал ему знак, Батистен вышел и закрыл за собой дверь.

– Кто вы такая, сударыня? – сказал граф женщине под вуалью.

Незнакомка окинула взглядом комнату, чтобы убедиться, что они одни, потом склонилась так низко, как будто хотела упасть на колени, и с

отчаянной мольбой сложила руки.

– Эдмон, – сказала она, – вы не убьете моего сына!

Граф отступил на шаг, тихо вскрикнул и выронил пистолет.

– Какое имя вы произнесли, госпожа де Морсер? – сказал он.

– Ваше, – воскликнула она, откидывая вуаль, – ваше, которое, быть может, я одна не забыла. Эдмон, к вам пришла не госпожа де Морсер, к вам пришла Мерседес.

– Мерседес умерла, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – и я больше не знаю женщины, носящей это имя.

– Мерседес жива, и Мерседес все помнит, она единственная узнала вас, чуть только увидела, и даже еще не видев, по одному вашему голосу. Эдмон, по звуку вашего голоса; и с тех пор она следует за вами по пятам, она следит за вами, она боится вас, и ей не нужно было доискиваться, чья рука нанесла удар графу де Морсеру.

– Фернану, хотите вы сказать, сударыня, – с горькой иронией возразил Монте-Кристо. – Раз уж вы начали припоминать имена, припомните их все.

Монте-Кристо произнес имя «Фернан» с такой ненавистью, что Мерседес содрогнулась от ужаса.

– Вы видите, Эдмон, что я не ошиблась, – воскликнула она, – и что я недаром сказала вам: пощадите моего сына!

– А кто вам сказал, сударыня, что я враг вашему сыну?

– Никто! Но все матери – ясновидящие. Я все угадала, я поехала за ним в Оперу, спряталась в ложе и видела все.

– В таком случае, сударыня, вы видели, что сын Фернана публично оскорбил меня? – сказал Монте-Кристо с ужасающим спокойствием.

– Сжальтесь!

– Вы видели, – продолжал граф, – что он бросил бы мне в лицо перчатку, если бы один из моих друзей, господин Моррель, не схватил его за руку.

– Выслушайте меня. Мой сын также разгадал вас; несчастье, постигшее его отца, он приписывает вам.

– Сударыня, – сказал Монте-Кристо, – вы ошибаетесь; это не несчастье, это возмездие. Не я нанес удар господину де Морсеру, его карает провидение.

– А почему вы хотите подменить собой провидение? – воскликнула Мерседес. – Почему вы помните, когда оно забыло? Какое дело вам, Эдмон, до Янины и ее визиря? Что сделал вам Фернан Мондего, предав Али-Тебелина?

– Верно, сударыня, – отвечал Монте-Кристо, – и все это касается только французского офицера и дочери Василики. Вы правы, мне до этого нет дела, и если я поклялся отомстить, то не французскому офицеру и не графу де Морсеру, а рыбаку Фернану, мужу каталанки Мерседес.

– Какая жестокая месть за ошибку, на которую меня толкнула судьба! – воскликнула графиня. – Ведь виновата я, Эдмон, и если вы должны мстить, так мстите мне, у которой не хватило сил перенести ваше отсутствие и свое одиночество.

– А почему я отсутствовал? – воскликнул Монте-Кристо. – Почему вы были одиноки?

– Потому что вас арестовали, Эдмон, потому что вы были в тюрьме.

– А почему я был арестован? Почему я был в тюрьме?

– Этого я не знаю, – сказала Мерседес.

– Да, вы этого не знаете, сударыня, по крайней мере надеюсь, что не знаете. Но я вам скажу. Я был арестован, я был в тюрьме потому, что накануне того самого дня, когда я должен был на вас жениться, в беседке «Резерва» человек по имени Данглар написал это письмо, которое рыбак Фернан взялся лично отнести на почту.

И Монте-Кристо, подойдя к столу, открыл ящик, вынул из него пожелтевшую бумажку, исписанную выцветшими чернилами, и положил ее перед Мерседес.

Это было письмо Данглара королевскому прокурору, которое граф Монте-Кристо, под видом агента фирмы Томсон и Френч, изъял из дела Эдмона Дантеса в кабинете г-на де Бовиля.

Мерседес с ужасом прочла:

«Господина королевского прокурора уведомляет друг престола и веры, что Эдмон Дантес, помощник капитана на корабле „Фараон“, прибывшем сегодня из Смирны, с заходом в Неаполь и Порто-Феррайо, имел от Мюрата письмо к узурпатору, а от узурпатора письмо к бонапартистскому комитету в Париже.

Арестовав его, можно иметь доказательство его преступления, ибо письмо находится при нем, или у его отца, или в его каюте на «Фараоне».

– Боже мой! – простонала Мерседес, проводя рукой по влажному лбу. – И это письмо...

– Я купил его за двести тысяч франков, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – и это недорого, потому что благодаря ему я сегодня могу оправдаться перед вами.

– И из-за этого письма?..

– Я был арестован; это вы знаете; но вы не знаете, сударыня, сколько времени длилось мое заточение. Вы не знаете, что я четырнадцать лет томился в четверти лье от вас, в темнице замка Иф. Вы не знаете, что четырнадцать долгих лет я ежедневно повторял клятву мщения, которую я дал себе в первый день, а между тем мне не было известно, что вы вышли замуж за Фернана, моего доносчика, и что мой отец умер, умер от голода!

Мерседес пошатнулась.

– Боже милосердный! – воскликнула она.

– Но, когда я вышел из тюрьмы, в которой пробыл четырнадцать лет, я узнал все это, и вот почему жизнью Мерседес и смертью отца я поклялся отмстить Фернану и... и я мщу ему.

– И вы уверены, что на вас донес несчастный Фернан?

– Клянусь вам спасением своей души, сударыня, он это сделал. Впрочем, это немногим гнуснее, чем французскому гражданину – продаться англичанам; испанцу по рождению – сражаться против испанцев; офицеру на службе у Али – предать и убить Али. Что по сравнению с этим письмо, которое я вам показал? Уловка влюбленного, которую, я это признаю и понимаю, должна простить женщина,

вышедшая замуж за этого человека, но которую не прощает тот, чьей невестой она была. Французы не отмстили предателю, испанцы не расстреляли предателя, Али, лежа в своей могиле, не наказал предателя; но я, преданный им, уничтоженный, тоже брошенный в могилу, я милостью бога вышел из этой могилы, я перед богом обязан отмстить; я послан им для мести, и вот я здесь.

Несчастная женщина закрыла лицо руками и как подкошенная упала на колени.

– Простите, Эдмон, – сказала она, – простите ради меня, ради моей любви к вам!

Достоинство замужней женщины остановило порыв истерзанного сердца.

Чело ее склонилось почти до самого пола.

Граф бросился к ней и поднял ее.

И вот, сидя в кресле, она своими затуманенными от слез глазами посмотрела на мужественное лицо Монте-Кристо, на котором еще лежал грозный отпечаток страдания и ненависти.

– Не истребить этот проклятый род! – прошептал он. – Ослушаться бога, который повелевает мне покарать его! Нет, не могу!

– Эдмон, – с отчаянием сказала несчастная мать, – боже мой, я называю вас Эдмоном, почему вы не называете меня Мерседес?

– Мерседес! – повторил Монте-Кристо. – Да, вы правы, мне еще сладостно произносить это имя, и сегодня впервые, после стольких лет, оно звучит так внятно на моих устах. Мерседес, я повторял ваше имя со вздохами тоски, со стонами боли, с хрипом отчаяния; я произносил его, коченея от холода, скорчившись на тюремной соломе, я произносил его, изнемогая от жары, катаясь по каменному полу моей темницы. Мерседес, я должен отмстить, потому что четырнадцать лет я страдал, четырнадцать лет проливал слезы, я проклинал; говорю вам, Мерседес, я должен отмстить!

И граф, страшась, что он не устоит перед просьбами той, которую он так любил, призывал воспоминания на помощь своей ненависти.

– Так отмстите, Эдмон, – воскликнула несчастная мать, – но отмстите виновным; отмстите ему, отмстите мне, но не мстите моему сыну!

– В Священном писании сказано, – сказал Монте-Кристо, – «Вина отцов падет на их детей до третьего и четвертого колена». Если бог сказал эти слова своему пророку, то почему же мне быть милосерднее бога?

– Потому, что бог владеет временем и вечностью, а у человека их нет.

Из груди Монте-Кристо вырвался не то стон, не то рычание, и он прижал ладони к вискам.

– Эдмон, – продолжала Мерседес, простирая руки к графу. – С тех пор как я вас знаю, я преклонялась перед вами, я чтила вашу память. Эдмон, друг мой, не омрачайте этот благородный и чистый образ, навеки запечатленный в моем сердце! Эдмон, если бы вы знали, сколько молитв я вознесла за вас богу, пока я еще надеялась, что вы живы, и с тех пор, как поверила, что вы умерли! Да, умерли! Я думала, что ваш труп погребен в глубине какой-нибудь мрачной башни; я думала, что ваше тело сброшено на дно какой-нибудь пропасти, куда тюремщики бросают умерших узников, и я плакала! Что могла я сделать для вас, Эдмон, как не молиться и плакать? Послушайте меня: десять лет подряд я каждую ночь видела один и тот же сон. Ходили слухи, будто вы пытались бежать, заняли место одного из заключенных, завернулись в саван покойника, и будто этот живой труп сбросили с высоты замка Иф; и только услышав крик, который вы испустили, падая на камни, ваши могильщики, оказавшиеся вашими палачами, поняли подмену. Эдмон, клянусь вам жизнью моего сына, за которого я вас молю, десять лет я каждую ночь видела во сне людей, сбрасывающих что-то неведомое и страшное с вершины скалы; десять лет я каждую ночь слышала ужасный крик, от которого просыпалась, вся дрожа и леденея. И я, Эдмон, поверьте мне, как ни тяжка моя вина, я тоже много страдала!

– А чувствовали ли вы, что ваш отец умирает вдали от вас? – воскликнул Монте-Кристо. – Терзались ли вы мыслью о том, что любимая женщина отдает свою руку вашему сопернику, в то время как вы задыхаетесь на дне пропасти?..

– Нет, – прервала его Мерседес, – но я вижу, что тот, кого я любила, готов стать убийцей моего сына!

Мерседес произнесла эти слова с такой силой горя, с таким отчаянием, что при звуке этих слов у графа вырвалось рыдание.

Лев был укрощен; неумолимый мститель смирился.

– Чего вы требуете? – спросил он. – Чтобы я пощадил жизнь вашего сына? Хорошо, он не умрет.

Мерседес радостно вскрикнула; на глазах Монте-Кристо блеснули две слезы, но они тотчас же исчезли; должно быть, бог послал за ними ангела, ибо перед лицом создателя они были много драгоценнее, чем самый роскошный жемчуг Гузерата и Офира.

– Благодарю тебя, благодарю тебя, Эдмон! – воскликнула она, схватив руку графа и поднося ее к губам. – Таким ты всегда грезился мне, таким я всегда любила тебя. Теперь я могу это сказать!

– Тем более, – отвечал Монте-Кристо, – что вам уже недолго любить бедного Эдмона. Мертвец вернется в могилу, призрак вернется в небытие.

– Что вы говорите, Эдмон?

– Я говорю, что, раз вы того хотите, Мерседес, я должен умереть.

– Умереть? Кто это сказал? Кто говорит о смерти? Почему вы возвращаетесь к мысли о смерти?

– Неужели вы думаете, что, оскорбленный публично, при всей зале, в присутствии ваших друзей и друзей вашего сына, вызванный на дуэль мальчиком, который будет гордиться моим прощением как своей победой, неужели вы думаете, что я могу остаться жить? После вас, Мерседес, я больше всего на свете любил самого себя, то есть мое достоинство, ту силу, которая возносила меня над людьми; в этой силе была моя жизнь. Одно ваше слово сломило ее. Я должен умереть.

– Но ведь эта дуэль не состоится, Эдмон, раз вы прощаете.

– Она состоится, сударыня, – торжественно заявил Монте-Кристо, – только вместо крови вашего сына, которая должна была обагрить землю, прольется моя.

Мерседес громко вскрикнула и бросилась к Монте-Кристо, но вдруг остановилась.

– Эдмон, – сказала она, – есть бог на небе, раз вы живы, раз я снова вас вижу, и я уповаю на него всем сердцем своим. В чаянии его помощи я полагаюсь на ваше слово. Вы сказали, что мой сын не умрет, да, Эдмон?

– Да, сударыня, – сказал Монте-Кристо, уязвленный, что Мерседес, не споря, не пугаясь, без возражений приняла жертву, которую он ей принес.

Мерседес протянула графу руку.

– Эдмон, – сказала она, глядя на него полными слез глазами, – как вы великодушны! С каким высоким благородством вы сжалились над несчастной женщиной, которая пришла к вам почти без надежды! Горе состарило меня больше, чем годы, и я ни улыбкой, ни взглядом уже не могу напомнить моему Эдмону ту Мерседес, которой он некогда так любовался. Верьте, Эдмон, я тоже много выстрадала; тяжело чувствовать, что жизнь проходит, а в памяти не остается ни одного радостного мгновения, в сердце – ни единой надежды; но не все кончается с земной жизнью. Нет! Не все кончается с нею, я это чувствую всем, что еще не умерло в моей душе. Я повторяю вам, Эдмон, это прекрасно, это благородно, это великодушно – простить так, как вы простили!

– Вы это говорите, Мерседес, и все же вы не знаете всей тяжести моей жертвы. Что, если бы всевышний, создав мир, оплодотворив хаос, не завершил сотворения мира, дабы уберечь ангела от тех слез, которые наши злодеяния должны были исторгнуть из его бессмертных очей? Что, если бы, все обдумав, все создав, готовый возрадоваться своему творению, бог погасил солнце и столкнул мир в вечную ночь? Вообразите это, и вы поймете – нет, вы и тогда не поймете, что я теряю, расставаясь сейчас с жизнью.

Мерседес взглянула на графа с изумлением, восторгом и благодарностью.

Монте-Кристо опустил голову на дрожащие руки, словно его чело изнемогало под тяжестью его мыслей.

– Эдмон, – сказала Мерседес, – мне остается сказать вам одно только слово.

Граф горько улыбнулся.

– Эдмон, – продолжала она, – вы увидите, что, если лицо мое поблекло, глаза потухли, красота исчезла, словом, если Мерседес ни одной чертой лица не напоминает прежнюю Мерседес, сердце ее все то же!.. Прощайте, Эдмон; мне больше нечего просить у неба... Я снова увидела вас благородным и великодушным, как прежде. Прощайте, Эдмон... Прощайте, да благословит вас бог!

Но граф ничего не ответил.

Мерседес отворила дверь кабинета и скрылась раньше, чем он очнулся от глубокого и горестного раздумья.

Часы Дома Инвалидов пробили час, когда граф Монте-Кристо, услышав шум кареты, уносившей г-жу де Морсер по Елисейским полям, поднял голову.

– Безумец, – сказал он, – зачем в тот день, когда я решил мстить, не вырвал я сердца из своей груди!

# XIII. Дуэль

После отъезда Мерседес дом Монте-Кристо снова погрузился во мрак. Вокруг него и в нем самом все замерло; его деятельный ум охватило оцепенение, как охватывает сон утомленное тело.

– Неужели! – говорил он себе, меж тем как лампа и свечи грустно догорали, а в прихожей с нетерпением ждали усталые слуги. – Неужели это здание, которое так долго строилось, которое воздвигалось с такой заботой и с таким трудом, рухнуло в один миг от одного слова, от дуновения! Я, который считал себя выше других людей, который так гордился собой, который был жалким ничтожеством в темнице замка Иф и достиг величайшего могущества, завтра превращусь в горсть праха! Мне жаль не жизни: не есть ли смерть тот отдых, к которому все стремится, которого жаждут все страждущие, тот покой материи, о котором я так долго вздыхал, навстречу которому я шел по мучительному пути голода, когда в моей темнице появился Фариа? Что для меня смерть? Чуть больше покоя, чуть больше тишины. Нет, мне жаль не жизни, я сожалею о крушении моих замыслов, так медленно зревших, так тщательно воздвигавшихся. Так провидение отвергло их, а я мнил, что они угодны ему! Значит, бог не дозволил, чтобы они исполнились!

Это бремя, которое я поднял, тяжелое, как мир, и которое я думал донести до конца, отвечало моим желаниям, но не моим силам; отвечало моей воле, но было не в моей власти, и мне приходится бросить его на полпути. Так мне снова придется стать фаталистом, мне, которого четырнадцать лет отчаяния и десять лет надежды научили постигать провидение!

И все это, боже мой, только потому, что мое сердце, которое я считал мертвым, оледенело; потому что оно проснулось, потому что оно забилось, потому что я не выдержал биения этого сердца, воскресшего в моей груди при звуке женского голоса!

– Но не может быть, – продолжал граф, все сильнее растравляя свое воображение картинами предстоящего поединка, – не может быть,

чтобы женщина с таким благородным сердцем хладнокровно обрекла меня на смерть, меня, полного жизни и сил! Не может быть, чтобы она так далеко зашла в своей материнской любви, или, вернее, в материнском безумии! Есть добродетели, которые, переходя границы, обращаются в порок. Нет, она, наверное, разыграет какую-нибудь трогательную сцену, она бросится между нами, и то, что здесь было исполнено величия, на месте поединка будет смешно.

И лицо графа покрылось краской оскорбленной гордости.

– Смешно, – повторил он, – и смешным окажусь я... Я – смешным! Нет, лучше умереть.

Так, рисуя себе самыми мрачными красками все то, на что он обрек себя, обещая Мерседес жизнь ее сына, граф повторял:

– Глупо, глупо, глупо – разыгрывать великодушие, изображая неподвижную мишень для пистолета этого мальчишки! Никогда он не поверит, что моя смерть была самоубийством, между тем честь моего имени (ведь это не тщеславие, господи, а только справедливая гордость!) ... честь моего имени требует, чтобы люди знали, что я сам, по собственной воле, никем не понуждаемый, согласился остановить уже занесенную руку и что этой рукой, столь грозной для других, я поразил самого себя; так нужно, и так будет!

И, схватив перо, он достал из потайного ящика письменного стола свое завещание, составленное им после прибытия в Париж, и сделал приписку, из которой даже и наименее прозорливые люди могли понять истинную причину его смерти.

– Я делаю это, господь мой, – сказал он, подняв к небу глаза, – столько же ради тебя, сколько ради себя. Десять лет я смотрел на себя как на орудие твоего отмщения, и нельзя, чтобы и другие негодяи, помимо этого Морсера, Данглар, Вильфор, да и сам Морсер вообразили, будто счастливый случай избавил их от врага. Пусть они, напротив, знают, что провидение, которое уже уготовило им возмездие, было остановлено только силой моей воли; что кара, которой они избегли здесь, ждет их на том свете и что для них только время заменилось вечностью.

В то время как он терзался этими мрачными сомнениями, тяжелым забытьем человека, которому страдания не дают уснуть, в оконные стекла начал пробиваться рассвет и озарил лежащую перед графом бледно-голубую бумагу, на которой он только что начертил эти предсмертные слова, оправдывающие провидение.

Было пять часов утра.

Вдруг до его слуха донесся слабый стон. Монте-Кристо почудился как бы подавленный вздох; он обернулся, посмотрел кругом и никого не увидел. Но вздох так явственно повторился, что его сомнения перешли в уверенность.

Тогда граф встал, бесшумно открыл дверь в гостиную и увидел в кресле Гайде; руки ее бессильно повисли, прекрасное бледное лицо было запрокинуто; она пододвинула свое кресло к двери, чтобы он не мог выйти из комнаты, не заметив ее, но сон, необоримый сон молодости, сломил ее после томительного бдения.

Она не проснулась, когда Монте-Кристо открыл дверь.

Он остановил на ней взгляд, полный нежности и сожаления.

– Она помнила о своем сыне, – сказал он, – а я забыл о своей дочери!

Он грустно покачал головой.

– Бедная Гайде, – сказал он, – она хотела меня видеть, хотела говорить со мной, она догадывалась и боялась за меня... я не могу уйти, не простившись с ней, не могу умереть, не поручив ее кому-нибудь.

И он тихо вернулся на свое место и приписал внизу, под предыдущими строчками:

«Я завещаю Максимилиану Моррелю, капитану спаги, сыну моего бывшего хозяина, Пьера Морреля, судовладельца в Марселе, капитал в двадцать миллионов, часть которых он должен отдать своей сестре Жюли и своему зятю Эмманюелю, если он, впрочем, не думает, что такое обогащение может повредить их счастью. Эти двадцать миллионов спрятаны в моей пещере на острове Монте-Кристо, вход в которую известен Бертуччо.

Если его сердце свободно и он захочет жениться на Гайде, дочери Али, янинского паши, которую я воспитал, как любящий отец, и которая

любила меня, как нежная дочь, то он исполнит не мою последнюю волю, но мое последнее желание.

По настоящему завещанию Гайде является наследницей всего остального моего имущества, которое заключается в землях, государственных бумагах Англии, Австрии и Голландии, а равно в обстановке моих дворцов и домов, и которое, за вычетом этих двадцати миллионов, так же, как и сумм, завещанных моим слугам, равняется приблизительно шестидесяти миллионам».

Когда он дописывал последнюю строку, за его спиной раздался слабый возглас, и он выронил перо.

– Гайде, – сказал он, – ты прочла?

Молодую невольницу разбудил луч рассвета, коснувшийся ее век; она встала и подошла к графу своими неслышными легкими шагами по мягкому ковру.

– Господин мой, – сказала она, с мольбой складывая руки, – почему ты это пишешь в такой час? Почему завещаешь ты мне все свои богатства? Разве ты покидаешь меня?

– Я пускаюсь в дальний путь, друг мой, – сказал Монте-Кристо с выражением бесконечной печали и нежности, – и если бы со мной что-нибудь случилось...

Граф замолк.

– Что тогда?.. – спросила девушка так властно, как никогда не говорила со своим господином.

– Я хочу, чтобы моя дочь была счастлива, что бы со мной ни случилось, – продолжал Монте-Кристо.

Гайде печально улыбнулась и медленно покачала головой.

– Ты думаешь о смерти, господин мой, – сказала она.

– Это спасительная мысль, дитя мое, сказал мудрец.

– Если ты умрешь, – отвечала она, – завещай свои богатства другим, потому что, если ты умрешь... мне никаких богатств не нужно.

И, взяв в руки завещание, она разорвала его и бросила обрывки на пол. После этой вспышки, столь необычайной для невольницы, она без чувств упала на ковер.

Монте-Кристо нагнулся, поднял ее на руки и, глядя на это прекрасное, побледневшее лицо, на сомкнутые длинные ресницы, на недвижимое, беспомощное тело, он впервые подумал, что, быть может, она любит его не только как дочь.

– Быть может, – прошептал он с глубокой печалью, – я еще узнал бы счастье!

Он отнес бесчувственную Гайде в ее комнаты и поручил ее заботам служанок. Вернувшись в свой кабинет, дверь которого он на этот раз быстро запер за собой, он снова написал завещание.

Не успел он кончить, как послышался стук кабриолета, въезжающего во двор. Монте-Кристо подошел к окну и увидел Максимилиана и Эммануэля.

– Отлично, – сказал он, – я кончил как раз вовремя.

И он запечатал завещание тремя печатями.

Минуту спустя он услышал в гостиной шаги и пошел отпереть дверь.

Вошел Моррель.

Он приехал на двадцать минут раньше назначенного времени.

– Быть может, я приехал немного рано, граф, – сказал он, – но признаюсь вам откровенно, что не мог заснуть ни на минуту, как и мои домашние. Я должен был увидеть вас, вашу спокойную уверенность, чтобы снова стать самим собой.

Монте-Кристо был тронут этой сердечной привязанностью и, вместо того чтобы протянуть Максимилиану руку, заключил его в свои объятия.

– Моррель, – сказал он ему, – сегодня для меня прекрасный день, потому что я почувствовал, что такой человек, как вы, любит меня. Здравствуйте, Эммануэль. Так вы едете со мной, Максимилиан?

– Конечно! Неужели вы могли в этом сомневаться?

– А если я не прав...

– Я видел всю вчерашнюю сцену, я всю ночь вспоминал ваше самообладание, и я сказал себе, что, если только можно верить человеческому лицу, правда на вашей стороне.

– Но ведь Альбер ваш друг.

– Просто знакомый.

– Вы с ним познакомились в тот же день, что со мной?

– Да, это верно; но вы сами видите, если бы вы не сказали об этом сейчас, я бы и не вспомнил.

– Благодарю вас, Моррель.

И граф позвонил.

– Вели отнести это к моему нотариусу, – сказал он тотчас же явившемуся Али. – Это мое завещание, Моррель. После моей смерти вы с ним ознакомитесь.

– После вашей смерти? – воскликнул Моррель. – Что это значит?

– Надо все предусмотреть, мой друг. Но что вы делали вчера вечером, когда мы расстались?

– Я отправился к Тортони и застал там, как и рассчитывал, Бошана и Шато-Рено. Сознаюсь вам, что я их разыскивал.

– Зачем же, раз все уже было условлено?

– Послушайте, граф, дуэль серьезная и неизбежная.

– Разве вы в этом сомневались?

– Нет. Оскорбление было нанесено публично, и все уже говорят о нем.

– Так что же?

– Я надеялся уговорить их выбрать другое оружие, заменить пистолет шпагой. Пуля слепа.

– Вам это удалось? – быстро спросил Монте-Кристо с едва уловимой искрой надежды.

– Нет, потому что всем известно, как вы владеете шпагой.

– Вот как! Кто же меня выдал?

– Учителя фехтования, которых вы превзошли.

– И вы потерпели неудачу?

– Они наотрез отказались.

– Моррель, – сказал граф, – вы когда-нибудь видели, как я стреляю из пистолета?

– Никогда.

– Так посмотрите, время у нас есть.

Монте-Кристо взял пистолеты, которые держал в руках, когда вошла Мерседес, и, приклеив туза треф к доске, он четырьмя выстрелами

последовательно пробил три листа и ножку трилистника.

При каждом выстреле Моррель все больше бледнел.

Он рассмотрел пули, которыми Монте-Кристо проделал это чудо, и увидел, что они не больше крупных дробинок.

– Это страшно, – сказал он, – взгляните, Эмманюель!

Затем он повернулся к Монте-Кристо.

– Граф, – сказал он, – ради всего святого, не убивайте Альбера! Ведь у несчастного юноши есть мать!

– Это верно, – сказал Монте-Кристо, – а у меня ее нет.

Эти слова он произнес таким тоном, что Моррель содрогнулся.

– Ведь оскорбленный – вы.

– Разумеется; но что вы этим хотите сказать?

– Это значит, что вы стреляете первый.

– Я стреляю первый?

– Да, я этого добился, или, вернее, потребовал; мы уже достаточно сделали им уступок, и им пришлось согласиться.

– А расстояние?

– Двадцать шагов.

На губах графа мелькнула страшная улыбка.

– Моррель, – сказал он, – не забудьте того, чему сейчас были свидетелем.

– Вот почему, – сказал Моррель, – я только и надеюсь на то, что ваше волнение спасет Альбера.

– Мое волнение? – спросил Монте-Кристо.

– Или ваше великодушие, мой друг; зная, что вы стреляете без промаха, я могу сказать вам то, что было бы смешно говорить другому.

– А именно?

– Попадите ему в руку или еще куда-нибудь, но не убивайте его.

– Слушайте, Моррель, что я вам скажу, – отвечал граф, – вам незачем уговаривать меня пощадить Морсера; Морсер будет пощажен, и даже так, что спокойно отправится со своими друзьями домой, тогда как я...

– Тогда как вы?..

– А это дело другое, меня понесут на носилках.

– Что вы говорите, граф! – вне себя воскликнул Максимилиан.

– Да, дорогой Моррель, Морсер меня убьет.

Моррель смотрел на графа в полном недоумении.

– Что с вами произошло этой ночью, граф?

– То, что произошло с Брутом накануне сражения при Филиппах: я увидел призрак.

– И?..

– И этот призрак сказал мне, что я достаточно жил на этом свете.

Максимилиан и Эмманюель обменялись взглядом; Монте-Кристо вынул часы.

– Едем, – сказал он, – пять минут восьмого, а дуэль назначена ровно в восемь.

Проходя по коридору, Монте-Кристо остановился у одной из дверей, и Максимилиану и Эмманюелю, которые, не желая быть нескромными, прошли немного вперед, показалось, что они слышат рыдание и ответный вздох.

Экипаж был уже подан; Монте-Кристо сел вместе со своими секундантами.

Ровно в восемь они были на условленном месте.

– Вот мы и приехали, – сказал Моррель, высовываясь в окно кареты, – и притом первые.

– Прошу прощения, сударь, – сказал Батистен, сопровождавший своего хозяина, – но мне кажется, что вон там под деревьями стоит экипаж.

Монте-Кристо легко выпрыгнул из кареты и подал руку Эмманюелю и Максимилиану, чтобы помочь им выйти.

Максимилиан удержал руку графа в своих.

– Слава богу, – сказал он, – такая рука должна быть у человека, который, в сознании своей правоты, спокойно ставит на карту свою жизнь.

– В самом деле, – сказал Эмманюель, – вон там прогуливаются какие-то молодые люди и, по-видимому, кого-то ждут.

Монте-Кристо отвел Морреля на несколько шагов в сторону.

– Максимилиан, – спросил он, – свободно ли ваше сердце?

Моррель изумленно взглянул на Монте-Кристо.

– Я не жду от вас признания, дорогой друг, я просто спрашиваю; ответьте мне, да или нет; это все, о чем я вас прошу.

– Я люблю, граф.

– Сильно любите?

– Больше жизни.

– Еще одной надеждой меньше, – сказал Монте-Кристо со вздохом. – Бедная Гайде.

– Право, граф, – воскликнул Моррель, – если бы я вас меньше знал, я мог бы подумать, что вы малодушны.

– Почему? Потому что я вздыхаю, расставаясь с дорогим мне существом? Вы солдат, Моррель, вы должны бы лучше знать, что такое мужество. Разве я жалею о жизни? Не все ли мне равно – жить или умереть, – мне, который провел двадцать лет между жизнью и смертью. Впрочем, не беспокойтесь, Моррель: эту слабость, если это слабость, видите только вы один. Я знаю, что мир – это гостиная, из которой надо уметь уйти учтиво и прилично, раскланявшись со всеми и заплатив свои карточные долги.

– Ну, слава богу, – сказал Моррель, – вот это хорошо сказано. Кстати, вы привезли пистолеты?

– Я? Зачем? Я надеюсь, что эти господа привезли свои.

– Пойду узнаю, – сказал Моррель.

– Хорошо, но только никаких переговоров.

– Будьте спокойны.

Моррель направился к Бошану и Шато-Рено. Те, увидев, что Моррель идет к ним, сделали ему навстречу несколько шагов.

Молодые люди раскланялись друг с другом, если и не приветливо, то со всей учтивостью.

– Простите, господа, – сказал Моррель, – но я не вижу господина де Морсера.

– Сегодня утром, – ответил Шато-Рено, – он послал предупредить нас, что встретится с нами на месте дуэли.

– Вот как, – заметил Моррель.

Бошан посмотрел на часы.

– Пять минут девятого; это еще не поздно, господин Моррель, – сказал он.

– Я вовсе не это имел в виду, – возразил Максимилиан.

– Да вот, кстати, и карета, – прервал Шато-Рено.

По одной из аллей, сходившихся у перекрестка, где они стояли, мчался экипаж.

– Господа, – сказал Моррель, – я надеюсь, вы позаботились привезти с собой пистолеты? Граф Монте-Кристо заявил мне, что отказывается от своего права воспользоваться своими.

– Мы предвидели это, – отвечал Бошан, – и я привез пистолеты, которые я купил с неделю тому назад, предполагая, что они мне понадобятся. Они совсем новые и еще ни разу не были в употреблении. Не желаете ли их осмотреть?

– Раз вы говорите, – с поклоном ответил Моррель, – что господин де Морсер с этими пистолетами не знаком, то мне, разумеется, достаточно вашего слова.

– Господа, – сказал Шато-Рено, – это совсем не Морсер приехал. Смотрите-ка!

В самом деле к ним приближались Франц и Дебрэ.

– Каким образом вы здесь, господа? – сказал Шато-Рено, пожимая обоим руки.

– Мы здесь потому, – сказал Дебрэ, – что Альбер сегодня утром попросил нас приехать на место дуэли.

Бошан и Шато-Рено удивленно переглянулись.

– Господа, – сказал Моррель, – я, кажется, понимаю, в чем дело.

– Так скажите.

– Вчера днем я получил от господина де Морсера письмо, в котором он просил меня быть вечером в Опере.

– И я, – сказал Дебрэ.

– И я, – сказал Франц.

– И мы, – сказали Шато-Рено и Бошан.

– Он хотел, чтобы вы присутствовали при вызове, – сказал Моррель. – Теперь он хочет, чтобы вы присутствовали при дуэли.

– Да, – сказали молодые люди, – это так и есть, господин Моррель, по-видимому, вы угадали.

– Но тем не менее Альбер не едет, – пробормотал Шато-Рено, – он уже опоздал на десять минут.

– А вот и он, – сказал Бошан, – верхом; смотрите, мчится во весь опор, и с ним слуга.

– Какая неосторожность, – сказал Шато-Рено, – верхом перед дуэлью на пистолетах! А сколько я его наставлял!

– И, кроме того, посмотрите, – сказал Бошан, – воротник с галстуком, открытый сюртук, белый жилет; почему он заодно не нарисовал себе кружок на животе – и проще, и скорее!

Тем временем Альбер был уже в десяти шагах от них; он остановил лошадь, спрыгнул на землю и бросил поводья слуге.

Он был бледен, веки его покраснели и припухли. Видно было, что он всю ночь не спал.

На его лице было серьезное и печальное выражение, совершенно ему несвойственное.

– Благодарю вас, господа, – сказал он, – что вы откликнулись на мое приглашение; поверьте, что я крайне признателен вам за это дружеское внимание.

Моррель стоял поодаль; как только Морсер появился, он отошел в сторону.

– И вам также, господин Моррель, – сказал Альбер. – Подойдите поближе, прошу вас, вы здесь не лишний.

– Сударь, – сказал Максимилиан, – вам, быть может, неизвестно, что я секундант графа Монте-Кристо?

– Я так и предполагал. Тем лучше! Чем больше здесь достойных людей, тем мне приятнее.

– Господин Моррель, – сказал Шато-Рено, – вы можете объявить графу Монте-Кристо, что господин де Морсер прибыл и что мы в его распоряжении.

Моррель повернулся, чтобы исполнить это поручение.

Бошан в это время доставал из экипажа ящик с пистолетами.

– Подождите, господа, – сказал Альбер, – мне надо сказать два слова графу Монте-Кристо.

– Наедине? – спросил Моррель.

– Нет, при всех.

Секунданты Альбера изумленно переглянулись; Франц и Дебрэ обменялись вполголоса несколькими словами, а Моррель, обрадованный этой неожиданной задержкой, подошел к графу, который вместе с Эмманюелем расхаживал по аллее.

– Что ему от меня нужно? – спросил Монте-Кристо.

– Право, не знаю, но он хочет говорить с вами.

– Лучше пусть он не искушает бога каким-нибудь новым оскорблением! – сказал Монте-Кристо.

– Я не думаю, чтобы у него было такое намерение, – возразил Моррель.

Граф в сопровождении Максимилиана и Эмманюеля направился к Альберу. Его спокойное и ясное лицо было полной противоположностью взволнованному лицу Альбера, который шел ему навстречу, сопровождаемый своими друзьями.

В трех шагах друг от друга Альбер и граф остановились.

– Господа, – сказал Альбер, – подойдите ближе, я хочу, чтобы не пропало ни одно слово из того, что я буду иметь честь сказать графу Монте-Кристо; ибо все, что я буду иметь честь ему сказать, должно быть повторено вами всякому, кто этого пожелает, как бы вам ни казались странными мои слова.

– Я вас слушаю, сударь, – сказал Монте-Кристо.

– Граф, – начал Альбер, и его голос, вначале дрожавший, становился более уверенным, по мере того как он говорил, – я обвинял вас в том, что вы разгласили поведение господина де Морсера в Эпире, потому что, как бы ни был виновен граф де Морсер, я все же не считал вас вправе наказывать его. Но теперь я знаю, что вы имеете на это право. Не предательство, в котором Фернан Мондего повинен перед Али-пашой,

оправдывает вас в моих глазах, а предательство, в котором рыбак Фернан повинен перед вами, и те неслыханные несчастья, которые явились следствием этого предательства. И потому я говорю вам и заявляю во всеуслышание: да, сударь, вы имели право мстить моему отцу, и я, его сын, благодарю вас за то, что вы не сделали большего!

Если бы молния ударила в свидетелей этой неожиданной сцены, она ошеломила бы их меньше, чем заявление Альбера.

Монте-Кристо медленно поднял к нему глаза, в которых светилось выражение беспредельной признательности. Он не мог надивиться, как пылкий Альбер, показавший себя таким храбрецом среди римских разбойников, пошел на это неожиданное унижение. И он узнал влияние Мерседес и понял, почему ее благородное сердце не воспротивилось его жертве.

– Теперь, сударь, – сказал Альбер, – если вы считаете достаточным те извинения, которые я вам принес, прошу вас – вашу руку. После непогрешимости, редчайшего достоинства, которым обладаете вы, величайшим достоинством я считаю умение признать свою неправоту. Но это признание – мое личное дело. Я поступал правильно по божьей воле. Только ангел мог спасти одного из нас от смерти, и этот ангел спустился на землю не для того, чтобы мы стали друзьями – к несчастью, это невозможно, – но для того, чтобы мы остались людьми, уважающими друг друга.

Монте-Кристо со слезами на глазах, тяжело дыша, протянул Альберу руку, которую тот схватил и пожал чуть ли не с благоговением.

– Господа, – сказал он, – граф Монте-Кристо согласен принять мои извинения. Я поступил по отношению к нему опрометчиво. Опрометчивость – плохой советчик. Я поступил дурно. Теперь я загладил свою вину. Надеюсь, что люди не сочтут меня трусом за то, что я поступил так, как мне велела совесть. Но, во всяком случае, если мой поступок будет превратно понят, – прибавил он, гордо поднимая голову и как бы посылая вызов всем своим друзья и недругам, – я постараюсь изменить их мнение обо мне.

– Что такое произошло сегодня ночью? – спросил Бошан Шато-Рено. – По-моему, наша роль здесь незавидна.

– Действительно, то, что сделал Альбер, либо очень низко, либо очень благородно, – ответил барон.

– Что все это значит? – сказал Дебрэ, обращаясь к Францу. – Граф Монте-Кристо обесчестил Морсера, и его сын находит, что он прав! Да если бы в моей семье было десять Янин, я бы знал только одну обязанность: драться десять раз.

Монте-Кристо, поникнув головой, бессильно опустив руки, подавленный тяжестью двадцатичетырехлетних воспоминаний, не думал ни об Альбере, ни о Бошане, ни о Шато-Рено, ни о ком из присутствующих; он думал о смелой женщине, которая пришла к нему молить его о жизни сына, которой он предложил свою и которая спасла его ценой страшного признания, открыв семейную тайну, быть может, навсегда убившую в этом юноше чувство сыновней любви.

– Опять рука провидения! – прошептал он. – Да, только теперь я уверовал, что я послан богом!

# XIV. Мать и сын

Граф Монте-Кристо с печальной и полной достоинства улыбкой откланялся молодым людям и сел в свой экипаж вместе с Максимилианом и Эмманюелем.

Альбер, Бошан и Шато-Рено остались одни на поле битвы.

Альбер смотрел на своих секундантов испытующим взглядом, который, хоть и не выражал робости, казалось, все же спрашивал их мнение о том, что произошло.

– Поздравляю, дорогой друг, – первым заговорил Бошан, потому ли, что он был отзывчивее других, потому ли, что в нем было меньше притворства, – вот совершенно неожиданная развязка неприятной истории.

Альбер ничего не ответил.

Шато-Рено похлопывал по ботфорту своей гибкой тросточкой.

– Не пора ли нам ехать? – прервал он наконец неловкое молчание.

– Как хотите, – отвечал Бошан, – разрешите мне только выразить Морсеру свое восхищение; он выказал сегодня рыцарское великодушие... столь редкое в наше время!

– Да! – сказал Шато-Рено.

– Можно только удивляться такому самообладанию, – продолжал Бошан.

– Несомненно, во всяком случае, я был бы на это не способен, – сказал Шато-Рено с недвусмысленной холодностью.

– Господа, – прервал Альбер, – мне кажется, вы не поняли, что между графом Монте-Кристо и мной произошло нечто не совсем обычное...

– Нет, нет, напротив, – возразил Бошан, – но наши сплетники едва ли сумеют оценить ваш героизм, и рано или поздно вы будете вынуждены разъяснить им свое поведение, и притом столь энергично, что это может оказаться во вред вашему здоровью и долголетию. Дать вам дружеский совет? Уезжайте в Неаполь, Гаагу или Санкт-Петербург – места спокойные, где более разумно смотрят на вопросы чести, чем в нашем

сумасбродном Париже. А там поусерднее упражняйтесь в стрельбе из пистолета и в фехтовании. Через несколько лет вас основательно забудут, либо слава о вашем боевом искусстве дойдет до Парижа, и тогда мирно возвращайтесь во Францию. Вы согласны со мной, Шато-Рено?

– Вполне разделяю ваше мнение, – сказал барон. – За несостоявшейся дуэлью обычно следуют дуэли весьма серьезные.

– Благодарю вас, господа, – сухо ответил Альбер, – я принимаю ваш совет не потому, что вы мне его дали, но потому, что я все равно решил покинуть Францию. Благодарю вас также за то, что вы согласились быть моими секундантами. Судите сами, как высоко я ценю эту услугу, если, выслушав ваши слова, я помню только о ней.

Шато-Рено и Бошан переглянулись. Слова Альбера произвели на обоих одинаковое впечатление, а тон, которым он высказал свою благодарность, звучал так решительно, что все трое очутились бы в неловком положении, если бы этот разговор продолжался.

– Прощайте, Альбер! – заторопившись, сказал Бошан и небрежно протянул руку, но Альбер, по-видимому, глубоко задумался; во всяком случае, он ничем не показал, что видит эту протянутую руку.

– Прощайте, – в свою очередь, сказал Шато-Рено, держа левой рукой свою тросточку и делая правой прощальный жест.

– Прощайте! – сквозь зубы пробормотал Альбер. Но взгляд его был более выразителен: в нем была целая гамма сдержанного гнева, презрения, негодования.

После того как оба его секунданта сели в экипаж и уехали, он еще некоторое время стоял неподвижно; затем стремительно отвязал свою лошадь от дерева, вокруг которого слуга замотал ее поводья, легко вскочил в седло и поскакал к Парижу. Четверть часа спустя он уже входил в особняк на улице Эльдер.

Когда он спешился, ему показалось, что за оконной занавеской мелькнуло бледное лицо графа де Морсера; он со вздохом отвернулся и прошел в свой флигель.

С порога он окинул последним взглядом всю эту роскошь, которая с самого детства услаждала его жизнь; он в последний раз взглянул на свои картины. Лица на полотнах, казалось, улыбались ему, а пейзажи словно вспыхнули живыми красками.

Затем он снял с дубового подрамника портрет своей матери и свернул его, оставив золоченую раму пустой.

После этого он привел в порядок свои прекрасные турецкие сабли, свои великолепные английские ружья, японский фарфор, отделанные серебром чаши, художественную бронзу с подписями Фешера и Бари; осмотрел шкафы и запер их все на ключ; бросил в ящик стола, оставив его открытым, все свои карманные деньги, прибавив к ним множество драгоценных безделушек, которыми были полны чаши, шкатулки, этажерки; составил точную опись всего и положил ее на самое видное место одного из столов, убрав с этого стола загромождавшие его книги и бумаги.

В начале этой работы его камердинер, вопреки приказанию Альбера не беспокоить его, вошел в комнату.

– Что вам нужно? – спросил его Альбер, скорее грустно, чем сердито.

– Прошу прощения, сударь, – отвечал камердинер, – правда, вы запретили мне беспокоить вас, но меня зовет граф де Морсер.

– Ну так что же? – спросил Альбер.

– Я не посмел отправиться к графу без вашего разрешения.

– Почему?

– Потому что граф, вероятно, знает, что я сопровождал вас на место дуэли.

– Возможно, – сказал Альбер.

– И он меня зовет, наверное, чтобы узнать, что там произошло. Что прикажете ему отвечать?

– Правду.

– Так я должен сказать, что дуэль не состоялась?

– Вы скажете, что я извинился перед графом Монте-Кристо; ступайте.

Камердинер поклонился и вышел.

Альбер снова принялся за опись.

Когда он уже заканчивал свою работу, его внимание привлек топот копыт во дворе и стук колес, от которого задребезжали стекла; он подошел к окну и увидел, что его отец сел в коляску и уехал.

Не успели ворота особняка закрыться за графом, как Альбер направился в комнаты своей матери; не найдя никого, чтобы доложить о себе, он прошел прямо в спальню Мерседес и остановился на пороге, взволнованный тем, что он увидел.

Словно у матери и сына была одна душа: Мерседес была занята тем же, чем был занят Альбер.

Все было убрано; кружева, драгоценности, золотые вещи, белье, деньги были уложены по шкафам, и Мерседес тщательно подбирала к ним ключи.

Альбер увидел эти приготовления; он все понял и, воскликнув: «Мама!» – кинулся на шею Мерседес.

Художник, который сумел бы передать выражение их лиц в эту минуту, создал бы прекрасную картину.

Готовясь к смелому шагу, Альбер не страшился за себя, но приготовления матери испугали его.

– Что вы делаете? – спросил он.

– А что делал ты? – ответила она.

– Но я – другое дело! – воскликнул Альбер, задыхаясь от волнения. – Не может быть, чтобы вы приняли такое же решение, потому что я покидаю этот дом… я пришел проститься с вами.

– И я тоже, Альбер, – ответила Мерседес, – я тоже уезжаю. Я думала, что мой сын будет сопровождать меня, – неужели я ошиблась?

– Матушка, – твердо сказал Альбер, – я не могу позволить вам разделить ту участь, которая ждет меня; отныне у меня не будет ни имени, ни денег; жизнь моя будет трудная, мне придется вначале принять помощь кого-нибудь из друзей, пока я сам не заработаю свой кусок хлеба. Поэтому я сейчас иду к Францу и попрошу его ссудить меня той небольшой суммой, которая, по моим расчетам, мне понадобится.

– Бедный мальчик! – воскликнула Мерседес. – Ты – и нищета, голод! Не говори этого, ты заставишь меня отказаться от моего решения!

– Но я не откажусь от своего, – ответил Альбер. – Я молод, я силен и, надеюсь, храбр; а вчера я узнал, что значит твердая воля. Есть люди, которые безмерно страдали, – и они не умерли, но построили себе новую жизнь на развалинах того счастья, которое им сулило небо, на обломках своих надежд! Я узнал это, матушка, я видел этих людей; я знаю, что из глубины той бездны, куда их бросил враг, они поднялись, полные такой силы и окруженные такой славой, что восторжествовали над своим победителем и сами сбросили его в бездну. Нет, отныне я рву со своим прошлым и ничего от него не беру, даже имени, потому что, поймите меня, ваш сын не может носить имени человека, который должен краснеть перед людьми.

– Альбер, сын мой, – сказала Мерседес, – будь я сильнее духом, я сама бы дала тебе этот совет. Мой слабый голос молчал, но твоя совесть заговорила. Слушайся голоса твоей совести, Альбер. У тебя были друзья – порви на время с ними; но, во имя твоей матери, не отчаивайся! В твои годы жизнь еще прекрасна, и так как человеку с таким чистым сердцем, как твое, нужно незапятнанное имя, возьми себе имя моего отца; его звали Эррера. Я знаю тебя, мой Альбер; какое бы поприще ты ни избрал, ты скоро прославишь это имя. Тогда, мой друг, вернись в Париж, и перенесенные страдания еще больше возвеличат тебя. Но если вопреки моим чаяниям тебе это не суждено, оставь мне по крайней мере надежду; только этой мыслью я и буду жить, ибо для меня нет будущего и за порогом этого дома начинается моя смерть.

– Я исполню ваше желание, матушка, – сказал Альбер, – я разделяю ваши надежды; божий гнев пощадит вашу чистоту и мою невинность... Но раз мы решились, будем действовать. Господин де Морсер уехал из дому с полчаса тому назад; это удобный случай избежать шума и объяснений.

– Я буду ждать тебя, сын мой, – сказала Мерседес.

Альбер вышел из дому и вернулся с фиакром; он вспомнил о небольшом пансионе на улице Св. Отцов и намеревался снять там скромное, но приличное помещение для матери.

Когда фиакр подъехал к воротам и Альбер вышел, к нему приблизился человек и подал ему письмо.

Альбер узнал Бертуччо.

– От графа, – сказал управляющий.

Альбер взял письмо и вскрыл его.

Кончив читать, он стал искать глазами Бертуччо, но тот исчез.

Тогда Альбер, со слезами на глазах, вернулся к Мерседес и безмолвно протянул ей письмо.

Мерседес прочла:

«Альбер!

Я угадал намерение, которое вы сейчас приводите в исполнение, – вы видите, что и я не чужд душевной чуткости. Вы свободны, вы покидаете дом графа и увозите с собой свою мать, свободную, как вы. Но подумайте, Альбер: вы обязаны ей большим, чем можете ей дать, бедный благородный юноша! Возьмите на себя борьбу и страдания, но избавьте ее от нищеты, которая вас неизбежно ждет на первых порах; ибо она не заслуживает даже тени того несчастья, которое ее постигло, и провидение не допустит, чтобы невинный расплачивался за виновного.

Я знаю, вы оба покидаете дом на улице Эльдер, ничего оттуда не взяв. Не допытывайтесь, как я это узнал. Я знаю; этого довольно.

Слушайте, Альбер.

Двадцать четыре года тому назад я, радостный и гордый, возвращался на родину. У меня была невеста, Альбер, святая девушка, которую я боготворил, и я вез своей невесте сто пятьдесят луидоров, скопленных неустанной, тяжелой работой. Эти деньги были ее, я ей их предназначал и, зная, как вероломно море, я зарыл наше сокровище в маленьком садике того дома в Марселе, где жил мой отец, на Мельянских аллеях.

Ваша матушка, Альбер, хорошо знает этот бедный, милый дом.

Не так давно, по дороге в Париж, я был проездом в Марселе. Я пошел взглянуть на этот дом, полный горьких воспоминаний; и вечером, с заступом в руках, я отправился в тот уголок, где зарыл свой клад. Железный ящичек все еще был на том же месте, никто его не тронул; он

зарыт в углу, в тени прекрасного фигового дерева, которое в день моего рождения посадил мой отец.

Эти деньги некогда должны были обеспечить жизнь и покой той женщине, которую я боготворил, и ныне, по странной и горестной прихоти случая, они нашли себе то же применение. Поймите меня, Альбер; я мог бы предложить этой несчастной женщине миллионы, но я возвращаю ей лишь кусок хлеба, забытый под моей убогой кровлей в тот самый день, когда меня разлучили с той, кого я любил.

Вы человек великодушный, Альбер, но, может быть, вас еще ослепляет гордость или обида; если вы мне откажете, если вы возьмете от другого то, что я вправе вам предложить, я скажу, что с вашей стороны жестоко отвергать кусок хлеба для вашей матери, когда его предлагает человек, чей отец, по вине вашего отца, умер в муках голода и отчаяния».

Альбер стоял бледный и неподвижный, ожидая решения матери.

Мерседес подняла к небу растроганный взгляд.

– Я принимаю, – сказала она, – он имеет право предложить мне эти деньги.

И, спрятав на груди письмо, она взяла сына под руку и поступью, более твердой, чем, может быть, сама ожидала, вышла на улицу.

# XV. Самоубийство

Тем временем Монте-Кристо вместе с Эмманюелем и Максимилианом тоже вернулся в город.

Возвращение их было веселое. Эмманюель не скрывал своей радости, что все окончилось так благополучно, и откровенно заявлял о своих миролюбивых вкусах. Моррель, сидя в углу кареты, не мешал зятю изливать свою веселость в словах и молча переживал радость, не менее искреннюю, хоть она и светилась только в его взгляде.

У заставы Трон они встретили Бертуччо; он ждал их, неподвижный, как часовой на посту.

Монте-Кристо высунулся из окна кареты, вполголоса обменялся с ним несколькими словами, и управляющий быстро удалился.

– Граф, – сказал Эмманюель, когда они подъезжали к Пляс-Рояль, – остановите, пожалуйста, карету у моего дома, чтобы моя жена ни одной лишней минуты не волновалась за вас и за меня.

– Если бы не было смешно кичиться своим торжеством, – сказал Моррель, – я пригласил бы графа зайти к нам; но, вероятно, графу тоже надо успокоить чье-нибудь тревожно бьющееся сердце. Вот мы и приехали, Эмманюель, простимся с нашим другом и дадим ему возможность продолжать свой путь.

– Погодите, – сказал Монте-Кристо, – я не хочу лишиться так сразу обоих спутников; идите к вашей прелестной жене и передайте ей от меня искренний привет; а вы, Моррель, проводите меня до Елисейских полей.

– Чудесно, – сказал Максимилиан, – тем более что мне и самому нужно в вашу сторону, граф.

– Ждать тебя к завтраку? – спросил Эмманюель.

– Нет, – отвечал Максимилиан.

Дверца захлопнулась, и карета покатила дальше.

– Видите, я принес вам счастье, – сказал Моррель, оставшись наедине с графом. – Вы не думали об этом?

– Думал, – сказал Монте-Кристо, – потому-то мне и хотелось бы никогда с вами не расставаться.

– Это просто чудо! – продолжал Моррель, отвечая на собственные мысли.

– Что именно? – спросил Монте-Кристо.

– То, что произошло.

– Да, – отвечал с улыбкой граф, – вы верно сказали, Моррель, это просто чудо!

– Как-никак, – продолжал Моррель, – Альбер – человек храбрый.

– Очень храбрый, – сказал Монте-Кристо, – я сам видел, как он мирно спал, когда над его головой был занесен кинжал.

– А я знаю, что он два раза дрался на дуэли, и дрался очень хорошо; как же все это вяжется с сегодняшним его поведением?

– Это ваше влияние, – улыбаясь, заметил Монте-Кристо.

– Счастье для Альбера, что он не военный! – сказал Моррель.

– Почему?

– Принести извинения у барьера! – И молодой капитан покачал головой.

– Послушайте, Моррель! – мягко сказал граф. – Неужели и вы разделяете предрассудки обыкновенных людей? Ведь согласитесь, что если Альбер храбр, то он не мог сделать это из трусости; у него, несомненно, была причина поступить так, как он поступил сегодня, и, таким образом, его поведение скорее всего можно назвать геройским.

– Да, конечно, – отвечал Моррель, – но я скажу, как говорят испанцы: сегодня он был менее храбр, чем вчера.

– Вы позавтракаете со мной, правда, Моррель? – сказал граф, меняя разговор.

– Нет, я расстанусь с вами в десять часов.

– Вы условились с кем-нибудь завтракать вместе?

Моррель улыбнулся и покачал головой.

– Но ведь где-нибудь позавтракать вам надо.

– Я не голоден, – возразил Максимилиан.

– Мне известны только два чувства, от которых человек лишается аппетита, – заметил граф, – горе и любовь. Я вижу, к счастью, что вы в очень веселом настроении, – значит, это не горе… Итак, судя по тому, что вы мне сказали сегодня утром, я позволю себе думать…

– Ну что ж, граф, – весело отвечал Моррель, – я не отрицаю.

– И вы ничего мне об этом не расскажете, Максимилиан? – сказал граф с такой живостью, что было ясно, как бы ему хотелось узнать тайну Морреля.

– Сегодня утром, граф, вы могли убедиться в том, что у меня есть сердце, не так ли?

Вместо ответа Монте-Кристо протянул Моррелю руку.

– Теперь, – продолжал тот, – когда мое сердце уже больше не в Венсенском лесу, с вами, оно в другом месте, и я иду за ним.

– Идите, – медленно сказал граф, – идите, мой друг; но прошу вас, если на вашем пути встретятся препятствия, вспомните о том, что я многое на этом свете могу сделать, что я счастлив употребить свою власть на пользу тем, кого я люблю, и что я люблю вас, Моррель.

– Хорошо, – сказал Максимилиан, – я буду помнить об этом, как эгоистичные дети помнят о своих родителях, когда нуждаются в их помощи. Если мне это понадобится – а очень возможно, что такая минута наступит, – я обращусь к вам за помощью, граф.

– Смотрите, вы дали слово. Так до свидания.

– До свидания.

Они подъехали к дому на Елисейских полях. Монте-Кристо откинул дверцу. Моррель соскочил на мостовую.

На крыльце ждал Бертуччо.

Моррель удалился по авеню Мариньи, а Монте-Кристо быстро пошел навстречу Бертуччо.

– Ну что? – спросил он.

– Она собирается покинуть свой дом, – отвечал управляющий.

– А ее сын?

– Флорантен, его камердинер, думает, что он собирается сделать то же самое.

– Идите за мной.

Монте-Кристо прошел с Бертуччо в свой кабинет, написал известное вам письмо и передал его управляющему.

– Ступайте, – сказал он, – поспешите; кстати, пусть Гайде сообщат, что я вернулся.

– Я здесь, – ответила сама Гайде, которая, услышав, что подъехала карета, уже спустилась вниз и сияла от счастья, видя графа здравым и невредимым.

Бертуччо вышел.

Всю радость нежной дочери, снова увидевшей отца, весь восторг возлюбленной, снова увидевшей любимого, испытала Гайде при этой встрече, которой она ждала с таким нетерпением.

Конечно, и радость Монте-Кристо, хоть и не выказываемая так бурно, была не менее велика; для исстрадавшихся сердец радость подобна росе, падающей на иссушенную зноем землю; сердце и земля впитывают благодатную влагу, но посторонний глаз не заметит этого.

За последние дни Монте-Кристо понял то, что давно уже казалось ему невозможным: на свете есть две Мерседес, он еще может быть счастлив.

Его пылающий радостью взор жадно погружался в затуманенные глаза Гайде, как вдруг открылась дверь.

Граф нахмурился.

– Господин де Морсер! – доложил Батистен, как будто одно это имя служило ему оправданием.

В самом деле лицо графа прояснилось.

– Который? – спросил он. – Виконт или граф?

– Граф.

– Неужели это еще не кончилось? – воскликнула Гайде.

– Не знаю, кончилось ли это, дитя мое, – сказал Монте-Кристо, беря девушку за руки, – но тебе нечего бояться.

– Но ведь этот негодяй...

– Этот человек бессилен против меня, Гайде, – сказал Монте-Кристо, – бояться надо было тогда, когда я имел дело с его сыном.

– Ты никогда не узнаешь, сколько я выстрадала, господин мой, – сказала Гайде.

Монте-Кристо улыбнулся.

– Клянусь тебе могилой моего отца, – сказал он, – если с кем-нибудь и случится несчастье, то, во всяком случае, не со мной.

– Я верю тебе, как богу, господин мой, – сказала молодая девушка, подставляя графу лоб.

Монте-Кристо запечатлел на этом прекрасном, чистом челе поцелуй, от которого забились два сердца, одно стремительно, другое глухо.

– Боже мой, – прошептал граф, – неужели ты позволишь мне снова полюбить?.. Попросите графа де Морсера в гостиную, – сказал он Батистену, провожая прекрасную гречанку к потайной лестнице.

Нам необходимо объяснить причину этого посещения, которого, быть может, и ждал Монте-Кристо, но, наверное, не ждали наши читатели.

Когда Мерседес, как мы уже говорили, производила у себя нечто вроде описи, сделанной и Альбером; когда она укладывала свои драгоценности, запирала шкафы, собирала в одно место ключи, желая все оставить после себя в полном порядке, она не заметила, что за стеклянной дверью в коридор появилось мрачное, бледное лицо. Тот, кто смотрел через эту дверь, не будучи сам увиденным и услышанным, мог видеть и слышать все, что происходило у г-жи де Морсер.

Отойдя от этой двери, бледный человек удалился в спальню и поднял судорожно сжатой рукой занавеску окна, выходящего во двор.

Так он стоял минут десять, неподвижный, безмолвный, прислушиваясь к биению собственного сердца. Ему эти десять минут показались вечностью.

Именно тогда Альбер, возвращаясь с места дуэли, заметил в окне своего отца, подстерегающего его, и отвернулся.

Граф широко раскрыл глаза, он знал, что Альбер нанес Монте-Кристо страшное оскорбление, что во всем мире подобное оскорбление влечет за собою дуэль, в которой одного из противников ожидает смерть. Альбер вернулся живой и невредимый, следовательно, его отец был отмщен.

Непередаваемая радость озарила это мрачное лицо, словно последний луч солнца, опускающегося в затянувшие горизонт тучи, как в могилу.

Но, как мы уже сказали, он тщетно ждал, что Альбер поднимется в его комнаты и расскажет о своем торжестве. Что его сын, идя сражаться, не захотел увидеться с отцом, за честь которого он мстил, это было понятно; но почему, отомстив за честь отца, сын не пришел и не бросился в его объятия?

Тогда-то граф, не имея возможности повидать Альбера, послал за его камердинером. Мы знаем, что Альбер велел камердинеру ничего не скрывать от графа.

Десять минут спустя на крыльце появился граф де Морсер, в черном сюртуке с воротником военного образца, в черных панталонах, в черных перчатках. Очевидно, он уже заранее отдал распоряжения, потому что не успел он спуститься с крыльца, как ему подали карету.

Камердинер сейчас же положил в карету плащ, в который были завернуты две шпаги, затем захлопнул дверцу, сел рядом с кучером.

Кучер ждал приказаний.

– На Елисейские поля, – сказал генерал, – к графу Монте-Кристо. Живо!

Лошади рванулись под ударом бича; пять минут спустя они остановились у дома графа.

Морсер сам открыл дверцу и, еще на ходу, как юноша, выпрыгнул на аллею, позвонил и вошел вместе со своим камердинером в широко распахнутую дверь.

Через секунду Батистен докладывал Монте-Кристо о графе де Морсере, и Монте-Кристо, проводив Гайде, велел провести Морсера в гостиную.

Генерал уже третий раз отмеривал шагами длину гостиной, когда, обернувшись, он увидел на пороге Монте-Кристо.

– А, это господин де Морсер! – спокойно сказал Монте-Кристо. – Мне казалось, я ослышался.

– Да, это я, – сказал граф; губы его дрожали, он с трудом выговаривал слова.

– Мне остается узнать, – сказал Монте-Кристо, – чему я обязан удовольствием видеть графа де Морсера в такой ранний час.

– У вас сегодня утром была дуэль с моим сыном, сударь? – спросил генерал.

– Вам это известно? – спросил граф.

– Да, и мне известно также, что у моего сына были веские причины драться с вами и постараться убить вас.

– Действительно, сударь, у него были на это веские причины. Но все же, как видите, он меня не убил и даже не дрался.

– Однако вы в его глазах виновник бесчестья, постигшего его отца, виновник страшного несчастья, которое обрушилось на мой дом.

– Это верно, сударь, – сказал Монте-Кристо с тем же ужасающим спокойствием, – виновник, впрочем, второстепенный, а не главный.

– Вы, очевидно, извинились перед ним или дали какие-нибудь объяснения?

– Я не дал ему никаких объяснений, а извинился не я, а он.

– Но что же, по-вашему, означает его поведение?

– Скорее всего он убедился, что кто-то другой виновнее меня.

– Кто же?

– Его отец.

– Допустим, – сказал Морсер, бледнея, – но вы должны знать, что виновный не любит, когда ему указывают на его вину.

– Я это знаю... Потому я ждал того, что произошло.

– Вы ждали, что мой сын окажется трусом?! – воскликнул граф.

– Альбер де Морсер далеко не трус, – сказал Монте-Кристо.

– Если человек держит в руке шпагу, если перед ним стоит его смертельный враг и он не дерется – значит, он трус! Будь он здесь, я бы сказал ему это в лицо!

– Сударь, – холодно ответил Монте-Кристо, – я не думаю, чтобы вы явились ко мне обсуждать ваши семейные дела. Скажите все это своему сыну, может быть, он найдет, что вам ответить.

– Нет, нет, – возразил генерал с мимолетной улыбкой, – вы совершенно правы, я приехал не для этого! Я приехал вам сказать, что я тоже считаю вас своим врагом! Я инстинктивно ненавижу вас! У меня такое чувство, будто я вас всегда знал и всегда ненавидел! И раз нынешние молодые люди отказываются драться, то драться надлежит нам... Вы согласны со мной, сударь?

– Вполне; поэтому, когда я сказал вам, что я ждал того, что должно произойти, я имел в виду и ваше посещение.

– Тем лучше... Следовательно, вы готовы?

– Я всегда готов.

– Мы будем биться до тех пор, пока один из нас не умрет, понимаете? – с яростью сказал генерал, стиснув зубы.

– Пока один из нас не умрет, – повторил граф Монте-Кристо, слегка кивнув головой.

– Так едем, секунданты нам не нужны.

– Разумеется, не нужны, – сказал Монте-Кристо, – мы слишком хорошо знаем друг друга!

– Напротив, – сказал граф, – мы совершенно не знаем друг друга.

– Полноте, – сказал Монте-Кристо с тем же убийственным хладнокровием, – что вы говорите! Разве не вы тот самый солдат Фернан, который дезертировал накануне сражения при Ватерлоо? Разве вы не тот самый поручик Фернан, который служил проводником и шпионом французской армии в Испании? Разве вы не тот самый полковник Фернан, который предал, продал, убил своего благодетеля Али? И разве все эти Фернаны, вместе взятые, не обратились в генерал-лейтенанта графа де Морсера, пэра Франции?

– Негодяй, – воскликнул генерал, которого эти слова жгли, как раскаленное железо, – ты коришь меня моим позором перед тем, быть может, как убить меня! Нет, я не хотел сказать, что ты не знаешь меня; я отлично знаю, дьявол, что ты проник в мрак моего прошлого, что ты перечел – не знаю, при свете какого факела, – каждую страницу моей жизни; но, быть может, в моем позоре все-таки больше чести, чем в твоем показном блеске! Да, ты меня знаешь, не сомневаюсь, но я не

знаю тебя, авантюрист, купающийся в золоте и драгоценных камнях! В Париже ты называешь себя графом Монте-Кристо; в Италии – Синдбадом-мореходом; на Мальте – еще как-то, уж не помню. Но я требую, я хочу знать твое настоящее имя, среди этой сотни имен, чтобы выкрикнуть его в ту минуту, когда я всажу шпагу в твое сердце!

Граф Монте-Кристо смертельно побледнел; его глаза вспыхнули грозным огнем; он стремительно бросился в соседнюю комнату, сорвал с себя галстук, сюртук и жилет, накинул матросскую куртку и надел матросскую шапочку, из-под которой ниспадали его черные волосы.

И он вернулся, страшный, неумолимый, и, скрестив руки, направился к генералу. Морсер, удивленный его внезапным уходом, ждал. При виде преобразившегося Монте-Кристо ноги у него подкосились и зубы застучали; он стал медленно отступать и, натолкнувшись на какой-то стул, остановился.

– Фернан, – крикнул ему Монте-Кристо, – из сотни моих имен мне достаточно назвать тебе лишь одно, чтобы сразить тебя; ты отгадал это имя, правда? Ты вспомнил его? Ибо, невзирая на все мои несчастья, на все мои мучения, я стою перед тобой сегодня помолодевший от радости мщения, такой, каким ты, должно быть, не раз видел меня во сне, с тех пор как женился... на Мерседес, моей невесте!

Генерал, запрокинув голову, протянул руки вперед, остановившимся взглядом безмолвно смотрел на это страшное видение; затем, держась за стену, чтобы не упасть, он медленно добрел до двери и вышел, пятясь, испустив один лишь отчаянный, душераздирающий крик:

– Эдмон Дантес!

Затем с нечеловеческими усилиями он дотащился до крыльца, походкой пьяного пересек двор и повалился на руки своему камердинеру, невнятно бормоча:

– Домой, домой!

По дороге свежий воздух и стыд перед слугами помогли ему собраться с мыслями; но расстояние было невелико, а по мере того как граф приближался к дому, отчаяние снова овладевало им.

За несколько шагов от дома граф велел остановиться и вышел из экипажа.

Ворота были раскрыты настежь; кучер фиакра, изумленный, что его позвали к такому богатому особняку, ждал посреди двора; граф испуганно взглянул на него, но не посмел никого расспрашивать и бросился к себе.

По лестнице спускались двое; он едва успел скрыться в боковую комнату, чтобы не столкнуться с ними.

Это была Мерседес, опиравшаяся на руку сына; они вместе покидали дом.

Они прошли совсем близко от несчастного, который, спрятавшись за штофную портьеру, едва не почувствовал прикосновение шелкового платья Мерседес и ощутил на своем лице теплое дыхание сына, говорившего:

– Будьте мужественны, матушка! Идем, идем скорей, мы здесь больше не у себя.

Слова замерли, шаги удалились.

Граф выпрямился, вцепившись руками в штофную занавесь; он старался подавить самое отчаянное рыдание, когда-либо вырывавшееся из груди отца, которого одновременно покинули жена и сын...

Вскоре он услышал, как хлопнула дверца фиакра, затем крикнул кучер, задрожали стекла от грохота тяжелого экипажа; тогда он бросился к себе в спальню, чтобы еще раз взглянуть на все, что он любил в этом мире; но фиакр уехал, и ни Мерседес, ни Альбер не выглянули из его окошка, чтобы послать опустелому дому, покидаемому отцу и мужу последний взгляд прощания и сожаления.

И вот, в ту самую минуту, когда колеса экипажа застучали по камням мостовой, раздался выстрел, и темный дымок вырвался из окна спальни, разлетевшегося от сотрясения.

# XVI. Валентина

Читатели, конечно, догадываются, куда спешил Моррель и с кем у него было назначено свидание.

Расставшись с Монте-Кристо, он медленно шел по направлению к дому Вильфора.

Мы сказали – медленно: дело в том, что у Морреля было еще более получаса времени, а пройти ему надо было шагов пятьсот; но хоть у него и было времени более чем достаточно, он все же поспешил расстаться с Монте-Кристо, потому что ему не терпелось остаться наедине со своими мыслями.

Он твердо помнил назначенный ему час: тот самый, когда Валентина кормила завтраком Нуартье и потому могла быть уверена, что никто не потревожит ее при исполнении этого благочестивого долга. Нуартье и Валентина разрешили ему посещать их два раза в неделю, и он собирался воспользоваться своим правом.

Когда Моррель вошел, поджидавшая его Валентина схватила его за руку и подвела к своему деду. Она была бледна и сильно взволнована.

Ее волнение было вызвано скандалом в Опере: все уже знали (свет всегда все знает) о ссоре между Альбером и Монте-Кристо. В доме Вильфоров никто не сомневался в том, что неизбежным последствием случившегося будет дуэль: Валентина женским чутьем поняла, что Моррель будет секундантом Монте-Кристо, и, зная храбрость Максимилиана, его глубокую привязанность к графу, боялась, что он не ограничится пассивной ролью свидетеля.

Легко поэтому понять, с каким нетерпением спрашивала она о подробностях и выслушивала ответы, и Моррель прочел в глазах своей возлюбленной бесконечную радость, когда она услышала о неожиданно счастливом исходе дуэли.

– А теперь, – сказала Валентина, делая знак Моррелю сесть рядом со стариком и сама усаживаясь на скамеечку, на которой покоились его ноги, – мы можем поговорить и о собственных делах. Вы ведь знаете,

Максимилиан, что дедушка одно время хотел уехать из дома господина де Вильфора и поселиться отдельно.

– Да, конечно, – сказал Максимилиан, – я помню этот план, я весьма одобряю его.

– Так я могу вас обрадовать, Максимилиан, – сказала Валентина, – потому что дедушка опять вернулся к этой мысли.

– Отлично! – воскликнул Максимилиан.

– А знаете, – продолжала Валентина, – почему дедушка хочет покинуть этот дом?

Нуартье многозначительно посмотрел на внучку, взглядом приказывая ей замолчать; но Валентина не смотрела на него; ее взоры и ее улыбка принадлежали Моррелю.

– Чем бы ни объяснялось желание господина Нуартье, я присоединяюсь к нему, – воскликнул Моррель.

– Я тоже, от всей души, – сказала Валентина. – Он утверждает, что воздух предместья Сент-Оноре вреден для моего здоровья.

– А вы знаете, Валентина, – сказал Моррель, – я нахожу, что господин Нуартье совершенно прав; вот уже недели две, как вы, по-моему, не совсем здоровы.

– Да, я нехорошо себя чувствую, – отвечала Валентина, – поэтому дедушка решил сам полечить меня; он все знает, и я вполне ему доверяю.

– Но, значит, вы в самом деле больны? – быстро спросил Моррель.

– Это не болезнь. Мне просто не по себе, вот и все; я потеряла аппетит, и у меня такое ощущение, будто мой организм борется с чем-то.

Нуартье не пропускал ни одного слова Валентины.

– А чем вы лечитесь от этой неведомой болезни?

– Просто я каждое утро пью по чайной ложке того лекарства, которое принимает дедушка; я хочу сказать, что я начала с одной ложки, а теперь пью по четыре. Дедушка уверяет, что это средство от всех болезней.

Валентина улыбнулась, но ее улыбка была грустной и страдальческой.

Максимилиан, опьяненный любовью, молча смотрел на нее; она была очень хороша собой, но ее бледность стала какой-то прозрачной, глаза

блестели сильнее обыкновенного, а руки, обычно белые, как перламутр, казались вылепленными из воска, слегка пожелтевшего от времени.

С Валентины Максимилиан перевел взгляд на Нуартье; тот смотрел своим загадочным, вдумчивым взглядом на внучку, поглощенную своей любовью; но и он, как Моррель, видел эти признаки затаенного страдания, настолько, впрочем, неуловимые, что никто их не замечал, кроме деда и возлюбленного.

– Но ведь это лекарство прописано господину Нуартье? – спросил Моррель.

– Да, оно очень горькое на вкус, – отвечала Валентина, – такое горькое, что после него я во всем, что пью, чувствую горечь.

Нуартье вопросительно взглянул на внучку.

– Право, дедушка, – сказала Валентина, – только что, идя к вам, я выпила сахарной воды и даже не могла допить стакана, до того мне показалось горько.

Нуартье побледнел и показал, что он хочет что-то сказать.

Валентина встала, чтобы принести словарь.

Нуартье с явной тревогой следил за ней глазами.

Кровь прилила к лицу девушки, и щеки ее покраснели.

– Как странно, – весело воскликнула она, – у меня закружилась голова! Неужели от солнца? – И она схватилась за край стола.

– Да ведь нет никакого солнца, – сказал Моррель, которого сильнее беспокоило выражение лица Нуартье, чем недомогание Валентины.

Он подбежал к ней. Валентина улыбнулась.

– Успокойся, дедушка, – сказала она Нуартье, – успокойтесь, Максимилиан. Ничего, все уже прошло; но слушайте, кажется, кто-то въехал во двор?

Она открыла дверь, подбежала к окну в коридоре и сейчас же ввернулась.

– Да, – сказала она, – приехала госпожа Данглар с дочерью. Прощайте, я убегу; иначе за мной придут сюда; вернее, до свидания; посидите с дедушкой, Максимилиан, я обещаю вам не удерживать их.

Моррель проводил ее глазами, видел, как за ней закрылась дверь, и слышал, как она стала подниматься по маленькой лестнице, которая вела в комнату г-жи де Вильфор и в ее собственную.

Как только она ушла, Нуартье сделал знак Моррелю взять словарь.

Моррель исполнил его желание; он под руководством Валентины быстро научился понимать старика.

Однако, так как приходилось всякий раз перебирать алфавит и отыскивать в словаре каждое слово, прошло целых десять минут, пока мысль старика выразилась в следующих словах:

«Достаньте стакан с водой и графин из комнаты Валентины».

Моррель немедленно позвонил лакею, заменившему Барруа, и от имени Нуартье передал ему это приказание.

Через минуту лакей вернулся.

Графин и стакан были совершенно пусты.

Нуартье показал, что желает что-то сказать.

– Почему графин и стакан пусты? – спросил он. – Ведь Валентина сказала, что не допила стакана.

Передача этой мысли словами потребовала новых пяти минут.

– Не знаю, – ответил лакей, – но в комнату мадемуазель Валентины прошла горничная; может быть, это она выплеснула.

– Спросите ее об этом, – сказал Моррель, по взгляду поняв мысль Нуартье.

Лакей вышел и тотчас же вернулся.

– Мадемуазель Валентина заходила сейчас в свою комнату, – сказал он, – и допила все, что осталось в стакане; а из графина все вылил господин Эдуард, чтобы устроить пруд для своих уток.

Нуартье поднял глаза к небу, словно игрок, поставивший на карту все свое состояние.

Затем глаза старика обратились к двери и уже не отрывались от нее.

Валентина не ошиблась, говоря, что приехала г-жа Данглар с дочерью; их провели в комнату г-жи де Вильфор, которая сказала, что примет их у себя; вот почему Валентина и прошла через свою комнату; эта комната

была в одном этаже с комнатой мачехи, и их разделяла только комната Эдуарда.

Гостьи вошли в будуар с несколько официальным видом, очевидно, готовясь сообщить важную новость.

Люди одного круга легко улавливают всякие оттенки в обращении. Г-жа де Вильфор в ответ на торжественность обеих дам также приняла торжественный вид.

В эту минуту вошла Валентина, и приветствия возобновились.

– Дорогой друг, – сказала баронесса, меж тем как девушки взялись за руки, – я приехала к вам вместе с Эжени, чтобы первой сообщить вам о предстоящей в ближайшем будущем свадьбе моей дочери с князем Кавальканти.

Данглар настаивал на титуле князя. Банкир-демократ находил, что это звучит лучше, чем граф.

– В таком случае разрешите вас искренне поздравить, – ответила г-жа де Вильфор. – Я нахожу, что князь Кавальканти – молодой человек, полный редких достоинств.

– Если говорить по-дружески, – сказала, улыбаясь, баронесса, – то я скажу, что князь еще не тот человек, кем обещает стать впоследствии. В нем еще много тех странностей, по которым мы, французы, с первого взгляда узнаем итальянского или немецкого аристократа. Все же у него, по-видимому, доброе сердце, тонкий ум, а что касается практической стороны, то господин Данглар утверждает, что состояние у него грандиозное, он так и выразился.

– А кроме того, – сказала Эжени, перелистывая альбом г-жи де Вильфор, – прибавьте, сударыня, что вы питаете к этому молодому человеку особую благосклонность.

– Мне незачем спрашивать вас, – заметила г-жа де Вильфор, – разделяете ли вы эту благосклонность?

– Ни в малейшей степени, сударыня, – отвечала Эжени с обычной своей самоуверенностью. – Я не чувствую никакой склонности связывать себя хозяйственными заботами или исполнением мужских прихотей, кто бы этот мужчина ни был. Мое призвание быть артисткой и,

следовательно, свободно распоряжаться своим сердцем, своей особой и своими мыслями.

Эжени произнесла эти слова таким решительным и твердым тоном, что Валентина вспыхнула. Робкая девушка не могла понять этой сильной натуры, в которой не чувствовалось и тени женской застенчивости.

– Впрочем, – продолжала та, – раз уж мне суждено выйти замуж, я должна быть благодарна провидению, избавившему меня по крайней мере от притязаний господина де Морсера; не вмешайся провидение, я была бы теперь женой обесчещенного человека.

– А ведь правда, – сказала баронесса с той странной наивностью, которой иногда отличаются аристократки и от которой их не может отучить даже общение с плебеями, – правда, если бы Морсеры не колебались, моя дочь уже была бы замужем за Альбером; генерал очень хотел этого брака, он даже сам приезжал к господину Данглару, чтобы вырвать его согласие; мы счастливо отделались.

– Но разве позор отца бросает тень на сына? – робко заметила Валентина. – Мне кажется, что виконт нисколько не повинен в предательстве генерала.

– Простите, дорогая, – сказала неумолимая Эжени, – виконт недалеко от этого ушел; говорят, что, вызвав вчера в Опере графа Монте-Кристо на дуэль, он сегодня утром принес ему свои извинения у барьера.

– Не может быть! – сказала г-жа де Вильфор.

– Ах, дорогая, – отвечала г-жа Данглар с той же наивностью, которую мы только что отметили, – это наверное так; я это знаю от господина Дебрэ, который присутствовал при объяснении.

Валентина тоже знала все, но промолчала. От дуэли мысль ее перенеслась в комнату Нуартье, где ее ждал Моррель. Погруженная в задумчивость, Валентина уже несколько минут не принимала участия в разговоре; она даже не могла бы сказать, о чем шла речь, как вдруг г-жа Данглар дотронулась до ее руки.

– Что вам угодно, сударыня? – сказала Валентина, вздрогнув от этого прикосновения, словно от электрического разряда.

– Вы больны, дорогая Валентина? – спросила баронесса.

– Больна? – удивилась девушка, проводя рукой по своему горячему лбу.

– Да; посмотрите на себя в зеркало; за последнюю минуту вы четыре раза менялись в лице.

– В самом деле, – воскликнула Эжени, – ты страшно бледна!

– Не беспокойся, Эжени, со мной это уже несколько дней.

И несмотря на все свое простодушие, Валентина поняла, что может воспользоваться этим предлогом, чтобы уйти. Впрочем, г-жа де Вильфор сама пришла ей на помощь.

– Идите к себе, Валентина, – сказала она, – вы в самом деле нездоровы; наши гостьи извинят вас; выпейте стакан холодной воды, вам станет легче.

Валентина поцеловала Эжени, поклонилась г-же Данглар, которая уже поднялась с места и начала прощаться, и вышла из комнаты.

– Бедная девочка, – сказала г-жа де Вильфор, когда дверь за Валентиной закрылась, – она не на шутку меня беспокоит, и я боюсь, что она серьезно заболеет.

Между тем Валентина в каком-то безотчетном возбуждении прошла через комнату Эдуарда, не ответив на злую выходку, которой он ее встретил, и, миновав свою спальню, вышла на маленькую лестницу. Ей оставалось спуститься только три ступени, она уже слышала голос Морреля, как вдруг туман застлал ей глаза, ее онемевшая нога оступилась, перила выскользнули из-под руки, и, припав к стене, она уже не сошла, а скатилась по ступеням.

Моррель стремительно открыл дверь и увидел Валентину, лежащую на площадке.

Он подхватил ее на руки и усадил в кресло.

Валентина открыла глаза.

– Какая я неловкая! – сказала она с лихорадочной живостью. – Я, кажется, разучилась держаться на ногах. Как я могла забыть, что до площадки оставалось еще три ступеньки.

– Вы не ушиблись, Валентина? – воскликнул Моррель.

Валентина окинула взглядом комнату; в глазах Нуартье она прочла величайший испуг.

– Успокойся, дедушка, – сказала она, пытаясь улыбнуться, – это пустяки... у меня просто закружилась голова.

– Опять головокружение! – сказал Моррель, в отчаянии сжимая руки. – Поберегите себя, Валентина, умоляю вас!

– Да ведь все уже прошло, – сказала Валентина, – говорю же я вам, что это пустяки. А теперь послушайте, я скажу вам новость: через неделю Эжени выходит замуж, а через три дня назначено большое пиршество в честь обручения. Мы все приглашены – мой отец, госпожа де Вильфор и я... так по крайней мере я поняла.

– Когда же наконец настанет наша очередь? Ах, Валентина, вы имеете такое влияние на своего дедушку, постарайтесь, чтобы он ответил вам: скоро!

– Так вы рассчитываете на меня, чтобы торопить дедушку и напоминать ему? – отвечала Валентина.

– Да, – воскликнул Моррель. – Ради бога, поспешите. Пока вы не будете моей, Валентина, мне всегда будет казаться, что я вас потеряю.

– Право, Максимилиан, – отвечала Валентина, судорожно вздрогнув, – вы слишком боязливы. Вы же офицер, про которого говорят, что он не знает страха. Ха-ха-ха!

И она разразилась резким, болезненным смехом; руки ее напряглись, голова запрокинулась, и она осталась недвижима.

Крик ужаса, который не мог сорваться с уст Нуартье, застыл в его взгляде.

Моррель понял: нужно звать на помощь.

Он изо всех сил дернул звонок; горничная, находившаяся в комнате Валентины, и лакей, заступивший место Барруа, вместе вбежали в комнату.

Валентина была так бледна, так холодна и неподвижна, что, не слушая того, что им говорят, они поддались царившему в этом проклятом доме страху и с воплями бросились бежать по коридорам.

Госпожа Данглар и Эжени как раз в эту минуту уезжали; они еще успели узнать причину переполоха.

– Я вам говорила! – воскликнула г-жа де Вильфор. – Бедняжка!

# XVII. Признание

В эту минуту послышался голос Вильфора, кричавшего из своего кабинета:

– Что случилось?

Моррель взглянул на Нуартье, к которому вернулось все его хладнокровие, и тот глазами указал ему на нишу, где однажды, при сходных обстоятельствах, он уже скрывался.

Он едва успел схватить шляпу и спрятаться за портьерой. В коридоре уже раздавались шаги королевского прокурора.

Вильфор вбежал в комнату, бросился к Валентине и схватил ее в объятия.

– Доктора! Доктора!.. Д'Авриньи! – крикнул Вильфор. – Нет, я лучше сам поеду за ним. – И он стремглав выбежал из комнаты.

В другую дверь выбежал Моррель.

Его поразило в самое сердце ужасное воспоминание: ему вспомнился разговор между Вильфором и доктором, который он случайно подслушал той ночью, когда умерла г-жа де Сен-Меран; симптомы, хоть и более слабые, были такие же, какие предшествовали смерти Барруа.

И ему почудилось, будто в ушах у него звучит голос Монте-Кристо, сказавшего ему не далее как два часа тому назад:

«Что бы вам ни понадобилось, Моррель, приходите ко мне, я многое могу сделать».

Он стрелой помчался по предместью Сент-Оноре к улице Матиньон, а с улицы Матиньон на Елисейские поля.

Тем временем Вильфор подъехал в наемном кабриолете к дому д'Авриньи; он так резко позвонил, что швейцар открыл ему с перепуганным лицом. Вильфор бросился на лестницу, не в силах вымолвить ни слова. Швейцар знал его и только крикнул ему вслед:

– Доктор в кабинете, господин королевский прокурор!

Вильфор уже вошел, или, вернее, ворвался к доктору.

– Ах, это вы! – сказал д'Авриньи.

– Да, доктор, – отвечал Вильфор, закрывая за собой дверь, – и на этот раз я вас спрашиваю, один ли вы здесь? Доктор, мой дом проклят богом.

– Что случилось? – спросил тот внешне холодно, но с глубоким внутренним волнением. – У вас опять кто-нибудь заболел?

– Да, доктор, – воскликнул Вильфор, хватаясь за голову, – да!

Взгляд д'Авриньи говорил:

«Я это предсказывал».

Он медленно и с ударением произнес:

– Кто же умирает на этот раз? Кто эта новая жертва, которая предстанет перед богом, обвиняя нас в преступной слабости?

Мучительное рыдание вырвалось из груди Вильфора; он схватил доктора за руку.

– Валентина! – сказал он. – Теперь очередь Валентины!

– Ваша дочь! – с ужасом и изумлением воскликнул д'Авриньи.

– Теперь вы видите, что вы ошибались, – прошептал Вильфор, – помогите ей и попросите у страдалицы прощения за то, что вы подозревали ее.

– Всякий раз, когда вы посылали за мной, – сказал д'Авриньи, – бывало уже поздно, но все равно я иду; только поспешим, с вашими врагами медлить нельзя.

– На этот раз, доктор, вам уже не придется упрекать меня в слабости. На этот раз я узнаю, кто убийца, и не пощажу его.

– Прежде чем думать о мщении, сделаем все возможное, чтобы спасти жертву, – сказал д'Авриньи. – Едем.

И кабриолет, доставивший Вильфора, рысью домчал его обратно вместе с д'Авриньи в то самое время, как Максимилиан стучался в дверь Монте-Кристо.

Граф был у себя в кабинете и, очень озабоченный, читал записку, которую ему только что спешно прислал Бертуччо.

Услышав, что ему докладывают о Морреле, который расстался с ним за каких-нибудь два часа перед этим, граф удивленно поднял голову.

Для Морреля, как и для графа, за эти два часа изменилось, по-видимому, многое: он покинул графа с улыбкой, а теперь стоял перед

ним, как потерянный.

Граф вскочил и бросился к нему.

– Что случилось, Максимилиан? – спросил он. – Вы бледны, задыхаетесь!

Моррель почти упал в кресло.

– Да, – сказал он, – я бежал, мне нужно было с вами поговорить.

– У вас дома все здоровы? – сказал граф самым сердечным тоном, не оставлявшим сомнений в его искренности.

– Благодарю вас, граф, – отвечал Моррель, видимо, не зная, как приступить к разговору, – да, дома у меня все здоровы.

– Я очень рад; но вы хотели мне что-то сказать? – заметил граф с возрастающей тревогой.

– Да, – сказал Моррель, – я бежал к вам из дома, куда вошла смерть.

– Так вы от Морсеров? – спросил Монте-Кристо.

– Нет, – отвечал Моррель, – а разве у Морсеров кто-нибудь умер?

– Генерал пустил себе пулю в лоб, – отвечал Монте-Кристо.

– Какое ужасное несчастье! – воскликнул Максимилиан.

– Не для графини, не для Альбера, – сказал Монте-Кристо, – лучше потерять отца и мужа, чем видеть его бесчестие: кровь смоет позор.

– Несчастная графиня! – сказал Максимилиан. – Больше всего мне жаль эту благородную женщину!

– Пожалейте и Альбера, Максимилиан; поверьте, он достойный сын графини. Но вернемся к вам; вы хотели меня видеть; я очень рад, если могу быть вам полезен.

– Да, я пришел к вам в безумной надежде, что вы можете помочь мне в таком деле, где один бог может помочь.

– Говорите же!

– Я даже не знаю, – сказал Моррель, – имею ли я право хоть одному человеку на свете открыть такую тайну, но меня вынуждает рок, я не могу иначе.

И он замолчал в нерешительности.

– Вы знаете, что я вас люблю, – сказал Монте-Кристо, сжимая руку Морреля.

– Ваши слова придают мне смелости, и сердце говорит мне, что я не должен иметь тайн от вас.

– Да, Моррель, сам бог внушил вам это. Скажите же мне все, как вам велит сердце.

– Граф, разрешите мне послать Батистена справиться от вашего имени о здоровье одной особы, которую вы знаете.

– Я сам в вашем распоряжении, что же говорить о моих слугах?

– Я должен узнать, что ей лучше, не то я с ума сойду.

– Хотите, чтобы я позвонил Батистену?

– Нет, я сам ему скажу.

Моррель вышел, позвал Батистена и вполголоса сказал ему несколько слов. Камердинер спешно вышел.

– Ну что? Послали? – спросил Монте-Кристо возвратившегося Морреля.

– Да, теперь я буду немного спокойнее.

– Я жду вашего рассказа, – сказал, улыбаясь, Монте-Кристо.

– Да, я все скажу вам. Слушайте. Однажды вечером я очутился в одном саду; меня скрывали кусты, никто не подозревал о моем существовании. Мимо меня прошли двое; разрешите мне пока не называть их; они разговаривали тихо, но мне было так важно знать, о чем они говорят, что я напряг слух и не пропустил ни слова.

– Начало довольно зловещее, если судить по вашей бледности.

– Да, мой друг, все это ужасно! В этом доме кто-то только что умер; один из собеседников был хозяин дома, другой – врач. И первый поверял второму свои опасения и горести, потому что уже второй раз за этот месяц смерть, быстрая и неожиданная, поражала его дом, словно ангел мщения призвал на него божий гнев.

– Вот что! – сказал Монте-Кристо, пристально глядя на Морреля с неуловимым движением поворачивая свое кресло так, чтобы оказаться в тени, в то время как свет падал прямо на лицо гостя.

– Да, – продолжал Максимилиан, – смерть дважды за один месяц посетила этот дом.

– А что отвечал доктор? – спросил Монте-Кристо.

– Он отвечал... он отвечал, что смерть эта кажется ему неестественной и что ее можно объяснить только одним...

– Чем?

– Ядом!

– В самом деле? – сказал Монте-Кристо с тем легким покашливанием, которое в минуты сильного волнения помогало ему скрыть румянец или бледность, или просто то внимание, с каким он слушал собеседника. – В самом деле, Максимилиан? И вы все это слышали?

– Да, дорогой граф, я все это слышал, и доктор даже прибавил, что, если что-либо подобное повторится, он будет считать себя обязанным обратиться к правосудию.

Монте-Кристо слушал с величайшим спокойствием, быть может, притворным.

– Потом, – продолжал Максимилиан, – смерть нагрянула в третий раз, но ни хозяин дома, ни доктор никому ничего не сказали; теперь смерть, быть может, нагрянет в четвертый раз. Скажите, граф, к чему меня обязывает знание этой тайны?

– Дорогой друг, – сказал Монте-Кристо, – вы рассказываете о случае, о котором знают решительно все. Дом, где вы все это слышали, мне знаком, или по крайней мере я знаю точь-в-точь такой же; там имеется сад, отец семейства, доктор, там одна за другой случились три странные и неожиданные смерти. Взгляните на меня: я не слышал ничьих признаний и тем не менее знаю все это не хуже вас. Но разве меня мучает совесть? Нет, меня это ничуть не касается. Вы говорите: словно ангел мщения призвал божий гнев на этот дом; а кто вам сказал, что это не так? Закройте глаза на преступления, которых не хотят видеть те, кому надлежало бы их видеть. Если в этом доме бог творит свой суд, Максимилиан, то отвернитесь и не мешайте божьему правосудию.

Моррель вздрогнул. Голос графа звучал мрачно, грозно и торжественно.

– Впрочем, – продолжал граф, так резко меняя тон, что казалось, будто заговорил совсем другой человек, – откуда вы знаете, что это должно повториться?

– Это повторилось, граф! – воскликнул Моррель. – Вот почему я здесь.

– Что же я могу сделать, Моррель? Может быть, вы хотите, чтобы я предупредил королевского прокурора?

Монте-Кристо произнес последние слова так выразительно, с такой недвусмысленной интонацией, что Моррель вскочил.

– Граф, – воскликнул он, – вы знаете, о ком я говорю!

– Да, разумеется, мой друг, и я докажу вам это, поставив точки над i, то есть назову всех действующих лиц. Вы гуляли в саду Вильфора; из ваших слов я заключаю, что это было в вечер смерти маркизы де Сен-Меран. Вы слышали, как Вильфор и д'Авриньи беседовали о смерти маркиза де Сен-Мерана и о не менее удивительной смерти маркизы. Д'Авриньи говорил, что предполагает отравление и даже два отравления; и вот вы, на редкость порядочный человек, с тех пор терзаете свое сердце, пытаете совесть, не зная, следует ли вам открыть эту тайну или промолчать. Мы живем не в средние века, дорогой друг, теперь уже нет ни святой инквизиции, ни вольных судей; что вы с ними сделаете? «Совесть, чего ты хочешь от меня?» – сказал Стерн. Полно, друг мой, пусть они спят, если им спится, пусть чахнут от бессонницы, если она их мучает, а сами, бога ради, спите спокойно, благо у вас совесть чиста.

Лицо Морреля страдальчески исказилось; он схватил Монте-Кристо за руку.

– Но ведь это повторилось! Вы слышите?

– Так что же? Пусть, – сказал граф и, удивленный этой непонятной ему настойчивостью, испытующе посмотрел на Максимилиана. – Это семья Атридов; бог осудил их, и они несут свою кару; они сгинут все, как бумажные человечки, которых вырезают дети и которые валятся один за другим, хотя бы их было двести, от дуновения их создателя. Три месяца тому назад умер маркиз де Сен-Меран; спустя несколько дней – маркиза; на днях – Барруа; сегодня – старик Нуартье или юная Валентина.

– Вы знали об этом? – воскликнул Моррель с таким ужасом, что Монте-Кристо вздрогнул, он, который не шевельнулся бы, если бы обрушилась твердь небесная. – Вы знали об этом и молчали?

– Что мне до этого? – возразил, пожав плечами, Монте-Кристо. – Что мне эти люди, и зачем мне губить одного, чтобы спасти другого? Право, я не отдаю предпочтения ни жертве, ни убийце.

– Но я, я! – в исступлении крикнул Моррель. – Ведь я люблю ее!

– Любите? Кого? – воскликнул Монте-Кристо, вскакивая с места и хватая Морреля за руки.

– Я люблю страстно, безумно, я отдал бы всю свою кровь, чтобы осушить одну ее слезу. Вы слышите! Я люблю Валентину де Вильфор, а ее убивают! Я люблю ее, и я молю бога и вас научить меня, как ее спасти!

Монте-Кристо вскрикнул, и этот дикий крик был подобен рычанию раненого льва.

– Несчастный! – воскликнул он, ломая руки. – Ты любишь Валентину! Ты любишь дочь этого проклятого рода!

Никогда в своей жизни Моррель не видел такого лица, такого страшного взора. Никогда еще ужас, чей лик не раз являлся ему и на полях сражения, и в смертоубийственные ночи Алжира, не опалял его глаз столь зловещими молниями.

Он отступил в страхе.

После этой страстной вспышки Монте-Кристо на миг закрыл глаза, словно ослепленный внутренним пламенем; он сделал нечеловеческое усилие, чтобы овладеть собой; и понемногу буря в его груди утихла, подобно тому как после грозы смиряются под лучами солнца разъяренные, вспененные волны.

Это напряженное молчание, эта борьба с самим собой длились не более двадцати секунд.

Граф поднял свое побледневшее лицо.

– Вы видите, друг мой, – сказал он почти не изменившимся голосом, – как господь карает кичливых и равнодушных людей, безучастно взирающих на ужасные бедствия, которые он им являет. С бесстрастным любопытством наблюдал я, как разыгрывается на моих глазах эта мрачная трагедия; подобно падшему ангелу, я смеялся над злом, которое совершают люди под покровом тайны (а богатым и могущественным

легко сохранить тайну), и вот теперь и меня ужалила эта змея, за извилистым путем которой я следил, ужалила в самое сердце!

Моррель глухо застонал.

– Довольно жалоб, – сказал граф, – мужайтесь, соберитесь с силами, надейтесь, ибо я с вами, и я охраняю вас.

Моррель грустно покачал головой.

– Я вам сказал – надейтесь! – воскликнул Монте-Кристо. – Знайте, я никогда не лгу, никогда не ошибаюсь. Сейчас полдень, Максимилиан; благодарите небо, что вы пришли ко мне сегодня в полдень, а не вечером или завтра утром. Слушайте меня, Максимилиан, сейчас полдень, если Валентина еще жива, она не умрет.

– Боже мой! – воскликнул Моррель. – И я оставил ее умирающей!

Монте-Кристо прикрыл глаза рукой.

Что происходило в этом мозгу, отягченном страшными тайнами? Что шепнули этому разуму, неумолимому и человечному, светлый ангел или ангел тьмы?

Только богу это ведомо!

Монте-Кристо снова поднял голову; на этот раз лицо его было безмятежно, как у младенца, пробудившегося от сна.

– Максимилиан, – сказал он, – идите спокойно домой; я приказываю вам ничего не предпринимать, не делать никаких попыток и ничем не выдавать своей тревоги. Ждите вестей от меня; ступайте.

– Ваше хладнокровие меня пугает, граф, – сказал Моррель. – Вы имеете власть над смертью? Человек ли вы? Или вы ангел? бог?

И молодой офицер, никогда не отступавший перед опасностью, отступил перед Монте-Кристо, объятый невыразимым ужасом.

Но Монте-Кристо взглянул на него с такой печальной и ласковой улыбкой, что слезы увлажнили глаза Максимилиана.

– Многое в моей власти, друг мой, – ответил граф. – Идите, мне нужно побыть одному.

Моррель, покоренный той непостижимой силой, которой Монте-Кристо подчинял себе всех окружающих, даже не пытался ей противиться. Он пожал руку графа и вышел.

Но, дойдя до ворот, он остановился, чтобы подождать Батистена, который показался на углу улице Матиньон.

Тем временем Вильфор и д'Авриньи спешно прибыли в дом королевского прокурора. Они нашли Валентину все еще без чувств, и доктор осмотрел больную со всей тщательностью, которой требовали обстоятельства от врача, посвященного в страшную тайну.

Вильфор, не отрывая глаз от лица д'Авриньи, ждал его приговора. Нуартье, еще более бледный, чем Валентина, еще нетерпеливее жаждущий ответа, чем Вильфор, тоже ждал, и все силы его души и разума сосредоточились в его взгляде.

Наконец д'Авриньи медленно проговорил:

– Она еще жива.

– Еще! – воскликнул Вильфор. – Какое страшное слово, доктор!

– Да, я повторяю: она еще жива, и это очень меня удивляет.

– Но она спасена? – спросил отец.

– Да, раз она жива.

В эту минуту глаза д'Авриньи встретились с глазами Нуартье; в них светилась такая бесконечная радость, такая глубокая и всепроникающая мысль, что доктор был поражен.

Он снова опустил в кресло больную, чьи бескровные губы едва выделялись на бледном лице, и стоял неподвижно, глядя на Нуартье, который внимательно следил за каждым его движением.

– Господин де Вильфор, – сказал наконец доктор, – позовите, пожалуйста, горничную мадемуазель Валентины.

Вильфор опустил голову дочери, которую поддерживал рукой, и сам пошел за горничной.

Как только Вильфор закрыл за собой дверь, д'Авриньи подошел к Нуартье.

– Вы желаете мне что-то сказать? – спросил он.

Старик выразительно закрыл глаза; как нам известно, в его распоряжении был только этот единственный утвердительный знак.

– Мне одному?

– Да, – показал Нуартье.

– Хорошо, я постараюсь остаться с вами наедине.

В эту минуту вернулся Вильфор в сопровождении горничной; следом за горничной шла г-жа де Вильфор.

– Что случилось с бедной девочкой? – воскликнула она. – Она только что была у меня; правда, она жаловалась на недомогание, но я не думала, что это так серьезно.

И молодая женщина со слезами на глазах и с чисто материнской нежностью подошла к Валентине и взяла ее за руку.

Д'Авриньи наблюдал за Нуартье; старик широко раскрыл глаза, его щеки побледнели, а лоб покрылся испариной.

– Вот оно что! – невольно сказал себе д'Авриньи, следя за направлением взгляда Нуартье, другими глазами взглянув на г-жу де Вильфор, твердившую:

– Бедной девочке надо лечь в постель. Давайте, Фанни, мы с вами ее уложим.

Д'Авриньи, которому это предложение давало возможность остаться наедине с Нуартье, одобрительно кивнул головой, но строго запретил давать больной что бы то ни было без его предписания.

Валентину унесли; она пришла в сознание, но не могла ни пошевельнуться, ни даже говорить, настолько она была разбита перенесенным припадком. Все же у нее хватило сил взглядом проститься с дедушкой, который смотрел ей вслед с таким отчаянием, словно у него вырывали душу из тела.

Д'Авриньи проводил больную, написал рецепты и велел Вильфору самому поехать в аптеку, лично присутствовать при изготовлении лекарств, привезти их и ждать его в комнате дочери.

Затем, снова повторив свое приказание ничего не давать Валентине, он спустился к Нуартье, тщательно закрыл за собою дверь и, убедившись в том, что никто их не подслушивает, сказал:

– Вы что-нибудь знаете о болезни вашей внучки?

– Да, – показал старик.

– Нам нельзя терять времени; я буду предлагать вам вопросы, а вы отвечайте.

Нуартье показал, что готов отвечать.

– Вы предвидели болезнь Валентины?

– Да.

Д'Авриньи на секунду задумался, затем подошел ближе к Нуартье.

– Простите меня за то, что я сейчас скажу, но ничто не должно быть упущено в том страшном положении, в котором мы находимся. Вы видели, как умирал несчастный Барруа?

Нуартье поднял глаза к небу.

– Вы знаете, от чего он умер? – спросил д'Авриньи, кладя руку на плечо Нуартье.

– Да, – показал старик.

– Вы думаете, что это была естественная смерть?

Подобие улыбки мелькнуло на безжизненных губах Нуартье.

– Так вы подозревали, что Барруа был отравлен?

– Да.

– Вы думаете, что яд, от которого он погиб, предназначался ему?

– Нет.

– Думаете ли вы, что та же рука, которая по ошибке поразила Барруа, сегодня поразила Валентину?

– Да.

– Значит, она тоже погибнет? – спросил д'Авриньи, не спуская с Нуартье пытливого взгляда.

Он ждал действия этих слов на старика.

– Нет! – показал старик с таким торжеством, что самый искусный отгадчик был бы сбит с толку.

– Так у вас есть надежда? – сказал удивленный д'Авриньи.

– Да.

– На что вы надеетесь?

Старик показал глазами, что не может ответить.

– Ах, верно, – прошептал д'Авриньи.

Потом снова обратился к Нуартье:

– Вы надеетесь, что убийца отступится?

– Нет.

– Значит, вы надеетесь, что яд не окажет действия на Валентину?

– Да.

– Вы, конечно, знаете не хуже меня, что ее пытались отравить, – продолжал д'Авриньи.

Взгляд старика показал, что у него на этот счет нет никаких сомнений.

– Почему же вы надеетесь, что Валентина избежит опасности?

Нуартье упорно смотрел в одну точку; д'Авриньи проследил направление его взгляда и увидел, что он устремлен на склянку с лекарством, которое ему приносили каждое утро.

– Ах, вот оно что! – сказал д'Авриньи, осененный внезапной мыслью. – Неужели вы...

Нуартье не дал ему кончить.

– Да, – показал он.

– Предохранили ее от действия яда...

– Да.

– Приучая ее мало-помалу...

– Да, да, да, – показал Нуартье в восторге оттого, что его поняли.

– Вы, должно быть, слышали, как я говорил, что в лекарства, которые я вам даю, входит бруцин?

– Да.

– И, приучая ее к этому яду, вы хотели нейтрализовать действие яда?

Глаза Нуартье сияли торжеством.

– И вы достигли этого! – воскликнул д'Авриньи. – Не прими вы этой предосторожности, яд сегодня убил бы Валентину, убил мгновенно, безжалостно, до того силен был удар; но дело кончилось потрясением, и, во всяком случае, на этот раз Валентина не умрет.

Неземная радость светилась в глазах старика, возведенных к небу с выражением бесконечной благодарности.

В эту минуту вернулся Вильфор.

– Вот лекарство, которое вы прописали, доктор, – сказал он.

– Его приготовили при вас?

– Да, – отвечал королевский прокурор.

– Вы его не выпускали из рук?

– Нет.

Д’Авриньи взял склянку, отлил несколько капель жидкости на ладонь и проглотил их.

– Хорошо, – сказал он, – пойдемте к Валентине, я дам предписания, и вы сами проследите за тем, чтобы они никем не нарушались.

В то самое время, когда д’Авриньи в сопровождении Вильфора входил в комнату Валентины, итальянский священник, с размеренной походкой, со спокойной и уверенной речью, нанимал дом, примыкающий к особняку Вильфора.

Неизвестно, в чем заключалась сделка, в силу которой все жильцы этого дома выехали два часа спустя; но прошел слух, будто фундамент этого дома не особенно прочен и дому угрожает обвал, что не помешало новому жильцу около пяти часов того же дня переехать в него со всей своей скромной обстановкой.

Новый жилец взял его в аренду на три, шесть или девять лет и, как полагается, заплатил за полгода вперед; этот новый жилец, как мы уже сказали, был итальянский священник и звали его синьор Джакомо Бузони.

Немедленно были призваны рабочие, и в ту же ночь редкие прохожие, появлявшиеся в этом конце улицы, с изумлением наблюдали, как плотники и каменщики подводили фундамент под ветхое здание.

# XVIII. Банкир и его дочь

Из предыдущей главы мы знаем, что г-жа Данглар приезжала официально объявить г-же де Вильфор о предстоящей свадьбе мадемуазель Эжени Данглар с Андреа Кавальканти.

Это официальное уведомление как будто доказывало, что все заинтересованные лица пришли к соглашению; однако ему предшествовала сцена, о которой мы должны рассказать нашим читателям.

Поэтому мы просим их вернуться немного назад и утром этого знаменательного дня перенестись в ту пышную золоченую гостиную, которую мы уже описывали и которой так гордился ее владелец, барон Данглар.

По этой гостиной, часов в десять утра, шагал взад и вперед, погруженный в задумчивость и, видимо, чем-то обеспокоенный, сам барон, поглядывая на двери и останавливаясь при каждом шорохе.

Когда в конце концов его терпение истощилось, он позвал камердинера.

– Этьен, – сказал он, – пойдите узнайте, для чего мадемуазель Данглар просила меня ждать ее в гостиной, и по какой причине она заставляет меня ждать так долго.

Дав таким образом волю своему дурному настроению, барон немного успокоился.

В самом деле мадемуазель Данглар, едва проснувшись, послала свою горничную испросить у барона аудиенцию и назначила местом ее золоченую гостиную. Необычайность этой просьбы, а главное – ее официальность немало удивили банкира, который не замедлил исполнить желание своей дочери и первым явился в гостиную.

Этьен вскоре вернулся с ответом.

– Горничная мадемуазель Эжени, – сказал он, – сообщила мне, что мадемуазель Эжени кончает одеваться и сейчас придет.

Данглар кивнул головой в знак того, что он удовлетворен ответом. В глазах света и даже в глазах слуг Данглар слыл благодушным человеком и снисходительным отцом; этого требовала роль демократического деятеля в той комедии, которую он разыгрывал; ему казалось, что это ему подходит; так в античном театре у масок отцов правый угол рта был приподнятый и смеющийся, а левый – опущенный и плаксивый.

Поспешим добавить, что в интимном кругу смеющаяся губа опускалась до уровня плаксивой; так что в большинстве случаев благодушный человек исчезал, уступая место грубому мужу и деспотичному отцу.

– Почему эта сумасшедшая девчонка, если ей нужно со мной поговорить, не придет просто ко мне в кабинет? – бормотал Данглар. – И о чем это ей понадобилось со мной говорить?

Он в двадцатый раз возвращался к этой беспокоившей его мысли, как вдруг дверь отворилась и вошла Эжени, в черном атласном платье, затканном черными же цветами, без шляпы, но в перчатках, как будто она собиралась занять свое кресло в Итальянской опере.

– В чем дело, Эжени? – воскликнул отец. – И к чему эта парадная гостиная, когда можно так уютно посидеть у меня в кабинете?

– Вы совершенно правы, сударь, – отвечала Эжени, знаком приглашая отца сесть, – вы задали мне два вопроса, которые исчерпывают предмет предстоящей нам беседы. Поэтому я вам сейчас отвечу на оба; и вопреки обычаям начну со второго, ибо он менее сложен. Я избрала местом нашей встречи гостиную, чтобы избежать неприятных впечатлений и воздействий кабинета банкира. Кассовые книги, как бы они ни были раззолочены, ящики, запертые, как крепостные ворота, огромное количество кредитных билетов, берущихся неведомо откуда, и груды писем, пришедших из Англии, Голландии, Испании, Индии, Китая и Перу, всегда как-то странно действуют на мысли отца и заставляют его забывать, что в мире существуют более важные и священные вещи, чем общественное положение и мнение его доверителей. Вот почему я избрала эту гостиную, где на стенах висят в своих великолепных рамах, счастливые и улыбающиеся, наши портреты – ваш, мой и моей матери, и всевозможные идиллические пейзажи и умилительные пастушеские

сцены. Я очень верю в силу внешних впечатлений. Быть может, особенно в отношении вас, я и ошибаюсь; но что поделать? Я не была бы артистической натурой, если бы не сохранила еще некоторых иллюзий.

– Отлично, – ответил Данглар, прослушавший эту тираду с невозмутимым хладнокровием, но ни слова в ней не понявший, так как был занят собственными мыслями и старался найти им отклик в мыслях своего собеседника.

– Итак, мы более или менее разрешили второй вопрос, – сказала Эжени, нимало не смущаясь и с той почти мужской самоуверенностью, которая отличала ее речь и движения, – мне кажется, вы вполне удовлетворены моим объяснением. Теперь вернемся к первому вопросу. Вы спрашиваете меня, для чего я просила у вас аудиенции; я вам отвечу в двух словах: я не желаю выходить замуж за графа Андреа Кавальканти.

Данглар подскочил на своем кресле.

– Да, сударь, – все так же спокойно продолжала Эжени. – Я вижу, вы изумлены? Правда, за все время, что идут разговоры об этом браке, я не противоречила ни словом, я была, как всегда, убеждена, что в нужную минуту сумею открыто и решительно воспротивиться воле людей, не спросивших моего согласия. Однако на этот раз мое спокойствие, моя пассивность, как говорят философы, имели другой источник; как любящая и послушная дочь... – легкая улыбка мелькнула на румяных губах девушки, – я старалась подчиниться вашему желанию.

– И что же? – спросил Данглар.

– А то, сударь, – отвечала Эжени, – я старалась изо всех сил, но теперь, когда настало время, я чувствую, что, несмотря на все мои усилия, я не в состоянии быть послушной.

– Однако, – сказал Данглар, который, как человек недалекий, был совершенно ошеломлен неумолимой логикой дочери и ее хладнокровием, свидетельством твердой воли и дальновидного ума, – в чем причина твоего отказа, Эжени?

– Причина? – отвечала Эжени. – Бог мой! Андреа Кавальканти не безобразнее, не глупее и не противнее всякого другого. В глазах людей, которые судят о мужчине по его виду и фигуре, он может даже сойти за

довольно привлекательный образец; я даже скажу, что он меньше мил моему сердцу, чем любой другой, – так могла бы рассуждать институтка, но я выше этого. Я никого не люблю, сударь, вам это известно? И я не вижу, зачем мне без крайней необходимости стеснять себя спутником на всю жизнь. Разве не сказал один мудрец: «Ничего лишнего», и другой: «Все мое несу с собой»? Меня даже выучили этим двум афоризмам по-латыни и по-гречески; один из них принадлежит, если не ошибаюсь, Федру, а другой Бианту. Так вот, дорогой отец, в жизненном крушении – ибо жизнь, это вечное крушение наших надежд – я просто выбрасываю за борт ненужный балласт, вот и все. Я оставляю за собой право остаться в одиночестве и, следовательно, сохранить свою свободу.

– Несчастная! – пробормотал Данглар, бледнея, ибо он знал по опыту, как непреодолимо то препятствие, которое неожиданно встало на его пути.

– Несчастная? – возразила Эжени. – Вот уж нисколько! Ваше восклицание, сударь, кажется мне театральным и напыщенным. Напротив, я счастливая. Скажите, чего мне недостает? Люди находят меня красивой, а это уже кое-что; это обеспечивает мне повсюду благосклонный прием. А я люблю, когда меня хорошо принимают, – приветливые лица не так уродливы. Я не глупа, одарена известной восприимчивостью, благодаря чему я извлекаю для себя из жизни все, что мне нравится, как делает обезьяна, когда она разгрызает орех и вынимает ядро. Я богата, ибо вы обладаете одним из самых крупных состояний во Франции, а я ваша единственная дочь, и вы не столь упрямы, как театральные отцы, которые лишают дочерей наследства за то, что те не желают подарить им внучат. К тому же предусмотрительный закон отнял у вас право лишить меня наследства, по крайней мере полностью, так же как он отнял у вас право принудить меня выйти замуж. Таким образом, красивая, умная, блещущая талантами, как выражаются в комических операх, и богатая! Да ведь это счастье, сударь! А вы называете меня несчастной.

Видя дерзкую, высокомерную улыбку дочери, Данглар не сдержался и повысил голос. Но под вопросительным взглядом Эжени, удивленно

нахмурившей красивые черные брови, он благоразумно отвернулся и тотчас же овладел собой, укрощенный железной рукой осторожности.

– Все это верно, – улыбаясь, ответил он, – ты именно такая, какой себя изображаешь, дочь моя, за исключением одного пункта; я не хочу прямо назвать его, а предпочитаю, чтобы ты сама догадалась.

Эжени взглянула на Данглара, немало удивленная, что у нее оспаривают право на одну из жемчужин венца, который она так гордо возложила на свою голову.

– Ты превосходно объяснила мне, – продолжал банкир, – какие чувства вынуждают такую дочь, как ты, отказаться от замужества. Теперь моя очередь сказать тебе, какие побуждения заставили такого отца, как я, настаивать на твоем замужестве.

Эжени поклонилась не как покорная дочь, которая слушает своего отца, но как противник, который готов возражать.

– Когда отец предлагает своей дочери выйти замуж, – продолжал Данглар, – у него всегда имеется какое-нибудь основание желать этого брака. Одни обуреваемы той навязчивой мыслью, о которой ты только что говорила, – то есть хотят продолжать жить в своих внуках. Скажу сразу, что этой слабостью я не страдаю; к семейным радостям я довольно равнодушен. Я могу в этом сознаться дочери, которая достаточно философски смотрит на вещи, чтобы понять это равнодушие и не считать его преступлением.

– Прекрасно, – сказала Эжени, – будем говорить откровенно, так гораздо лучше.

– Ты сама видишь, – сказал Данглар, – что, не разделяя в целом твоего пристрастия к излишней откровенности, я все же прибегаю к ней, когда этого требуют обстоятельства. Итак, я продолжаю. Я предложил тебе мужа не ради твоего счастья, потому что, по совести говоря, я меньше всего думал в ту минуту о тебе. Ты любишь откровенность – надеюсь, это достаточно откровенно. Просто мне было необходимо, чтобы ты как можно скорее вышла замуж за этого человека ввиду некоторых коммерческих соображений.

Эжени подняла брови.

– Дело обстоит именно так, как я имею честь тебе докладывать; не прогневайся, ты сама виновата. Поверь, я вовсе не по своей охоте вдаюсь в эти финансовые расчеты в разговоре с такой артистической натурой, которая боится войти в кабинет банкира, чтобы не набраться неприятных и непоэтичных впечатлений.

Но в этом кабинете банкира, – продолжал он, – в который позавчера ты, однако, вошла, чтобы получить от меня тысячу франков, которую я ежемесячно даю тебе на булавки, – да будет тебе это известно, моя дорогая, можно научиться многому, что пригодилось бы даже молодым особам, не желающим выходить замуж. Например, там можно узнать – и, щадя твои чувствительные нервы, я охотно скажу тебе это здесь, в гостиной, – что для банкира кредит – что душа для тела: кредит поддерживает его, как дыхание оживляет тело, и граф Монте-Кристо прочел мне однажды на этот счет лекцию, которую я никогда не забуду. Там можно узнать, что, по мере того как исчезает кредит, тело банкира превращается в труп, и в очень непродолжительном будущем это произойдет с тем банкиром, который имеет честь быть отцом столь логично рассуждающей дочери.

Но Эжени, вместо того чтобы согнуться под ударом, гордо выпрямилась.

– Вы разорились! – сказала она.

– Ты очень точно выразилась, дочь моя, – сказал Данглар, сжимая кулаки, но все же сохраняя на своем грубом лице улыбку бессердечного, но неглупого человека. – Да, я разорен.

– Вот как! – сказала Эжени.

– Да, разорен! Итак, поведана убийственная тайна, как сказал поэт. А теперь выслушай, дочь моя, каким образом ты можешь помочь этой беде – не ради меня, но ради себя самой.

– Вы плохой психолог, сударь, – воскликнула Эжени, – если воображаете, что эта катастрофа очень огорчает меня.

Я разорена? Да не все ли мне равно? Разве у меня не остался мой талант? Разве я не могу, подобно Пасте, Малибран или Гризи, обеспечить себе то, чего вы, при всем вашем богатстве, никогда не могли бы мне

дать: сто или сто пятьдесят тысяч ливров годового дохода, которыми я буду обязана только себе? И вместо того чтобы получать их, как я получала от вас эти жалкие двенадцать тысяч франков, вынося хмурые взгляды и упреки в расточительности, я буду получать эти деньги, осыпанная цветами, под восторженные крики и рукоплескания. И даже не будь у меня моего таланта, в который вы, судя по вашей улыбке, не верите, разве мне не останется моя страсть к независимости, которая мне дороже всех сокровищ мира, дороже самой жизни?

Нет, я не огорчена за себя, я всегда сумею устроить свою судьбу; у меня всегда останутся мои книги, мои карандаши, мой рояль, все это стоит недорого, и это я всегда сумею приобрести. Быть может, вы думаете, что я огорчена за госпожу Данглар; но и этого нет, если я не заблуждаюсь, она приняла все меры предосторожности, и грозящая вам катастрофа ее не заденет; я надеюсь, что она в полной безопасности, – во всяком случае, не заботы обо мне мешали ей упрочить свое состояние; слава богу, под предлогом того, что я люблю свободу, она не вмешивалась в мою жизнь.

Нет, сударь, с самого детства я видела все, что делалось вокруг меня; я все слишком хорошо понимала, и ваше банкротство производит на меня не больше впечатления, чем оно заслуживает; с тех пор как я себя помню, меня никто не любил; тем хуже! Естественно, что и я никого не люблю; тем лучше! Теперь вы знаете мой образ мыслей.

– Следовательно, – сказал Данглар, бледный от гнева, вызванного отнюдь не оскорбленными чувствами отца, – следовательно, ты упорствуешь в желании довершить мое разорение?

– Довершить ваше разорение? Я? – сказала Эжени. – Не понимаю.

– Очень рад, это дает мне луч надежды; выслушай меня.

– Я слушаю, – сказала Эжени, пристально глядя на отца; ему пришлось сделать над собой усилие, чтобы не опустить глаза под властным взглядом девушки.

– Князь Кавальканти, – продолжал Данглар, – хочет жениться на тебе и при этом согласен поместить у меня три миллиона.

– Очень мило, – презрительно заявила Эжени, поглаживая свои перчатки.

– Ты, кажется, думаешь, что я собираюсь воспользоваться твоими тремя миллионами? – сказал Данглар. – Ничуть не бывало, эти три миллиона должны принести по крайней мере десять. Я и еще один банкир добились железнодорожной концессии; это единственная отрасль промышленности, которая в наше время дает возможность мгновенного баснословного успеха, подобно тому, который имел некогда Лоу у наших добрых парижан, у этих ротозеев-спекулянтов, со своим фантастическим Миссисипи. По моим расчетам, достаточно владеть миллионной долей рельсового пути, как некогда владели акром целины на берегах Огайо. Это – помещение денег под залог, что уже прогресс, так как взамен своих денег получаешь пятнадцать, двадцать, сто фунтов железа. Ну так вот, через неделю, считая от сегодняшнего дня, я должен внести в счет своей доли четыре миллиона! Эти четыре миллиона, как я уже сказал, принесут десять или двенадцать.

– Но когда я позавчера была у вас, о чем вы так хорошо помните, – возразила Эжени, – я видела, как вы инкассировали, – так, кажется, говорят? – пять с половиной миллионов; вы даже показали мне эти две облигации казначейства и были несколько изумлены, что бумаги такой ценности не ослепили меня, как молния.

– Да, но эти пять с половиной миллионов не мои и являются только доказательством доверия, которым я пользуюсь; моя репутация демократа снискала мне доверие Управления приютов, и эти пять с половиной миллионов принадлежат ему; во всякое другое время я, не задумываясь, воспользовался бы ими, но сейчас всем известно, что я понес большие потери и, как я уже сказал, я теряю свой кредит. В любую минуту Управление приютов может потребовать свой вклад, и если окажется, что я пустил его в оборот, мне придется объявить себя банкротом. Я не против банкротства, но банкротство должно обогащать, а не разорять. Если ты выйдешь замуж за Кавальканти и я получу его три миллиона, или даже если люди просто будут думать, что я их получу, кредит мой немедленно восстановится. Тогда мое состояние упрочится и

я, наконец, вздохну свободно, ибо вот уже второй месяц меня преследует злой рок, и я чувствую, что бездна разверзается у меня под ногами. Ты меня поняла?

– Вполне. Вы отдаете меня под залог трех миллионов.

– Чем выше сумма, тем более это лестно; ее размеры определяют твою ценность.

– Благодарю вас, сударь. Еще одно слово; обещаете ли вы мне пользоваться только номинально вкладом господина Кавальканти, но не трогать самого капитала? Я говорю об этом не из эгоизма, но из щепетильности. Я согласна помочь вам восстановить ваше состояние, но не желаю быть вашей сообщницей в разорении других людей.

– Но ведь я тебе говорю, – воскликнул Данглар, – что с помощью этих трех миллионов...

– Считаете ли вы, что вы можете выпутаться, не трогая этих трех миллионов?

– Я надеюсь, но опять-таки при том условии, что этот брак состоится.

– Вы можете выплатить Кавальканти те пятьсот тысяч франков, которые вы обещали мне в приданое?

– Он получит их, как только вы вернетесь из мэрии.

– Хорошо!

– Что значит хорошо?

– Это значит, что я даю свою подпись, но оставляю за собой право распоряжаться своей особой.

– Безусловно.

– В таком случае – хорошо; я заявляю вам, сударь, что готова выйти замуж за господина Кавальканти.

– Но что ты думаешь делать?

– Это уж моя тайна. В чем же было бы мое преимущество перед вами, если я, узнав вашу тайну, открыла бы вам свою?

Данглар закусил губу.

– Итак, ты согласна, – сказал он, – сделать все официальные визиты?

– Да, – ответила Эжени.

– И подписать через три дня договор?

– Да.

– В таком случае я, в свою очередь, скажу тебе: хорошо! – И Данглар взял руку дочери и пожал ее.

Но странное дело – отец при этом рукопожатии не решился сказать: «Благодарю тебя», – а дочь даже не улыбнулась отцу.

– Наши переговоры окончены? – спросила Эжени, вставая.

Данглар кивнул, давая понять, что говорить больше не о чем.

Пять минут спустя под руками мадемуазель д'Армильи зазвучал рояль, а мадемуазель Данглар запела проклятие Брабанцио Дездемоне.

Как только ария была окончена, вошел Этьен и доложил Эжени, что лошади поданы и баронесса ждет ее.

Мы уже присутствовали при том, как обе дамы побывали у Вильфоров, откуда они вышли, чтобы ехать дальше с визитами.

# XIX. Брачный договор

Прошло три дня после описанной нами сцены, и настал день, назначенный для подписания брачного договора между мадемуазель Эжени Данглар и Андреа Кавальканти, которого банкир упорно продолжал называть князем. Было около пяти часов вечера, свежий ветерок шелестел листвой в садике перед домом Монте-Кристо; граф собирался выехать, и поданные ему лошади били копытами землю, едва сдерживаемые кучером, уже четверть часа сидевшим на козлах. В это время в ворота быстро въехал элегантный фаэтон, с которым мы уже несколько раз встречались, хотя бы, например, в известный нам вечер в Отейле; из него не вышел, а скорее выпрыгнул на ступени крыльца Андреа Кавальканти, такой блестящий, такой сияющий, как будто и он собирался породниться с княжеским домом.

Он с обычной фамильярностью осведомился о здоровье графа и, легко взбежав на второй этаж, столкнулся на площадке лестницы с ним самим.

При виде посетителя граф остановился. Но Андреа Кавальканти взял разгон, и его уже ничто не могло остановить.

– Здравствуйте, дорогой граф! – сказал он Монте-Кристо.

– А, господин Андреа! – сказал тот своим обычным полунасмешливым тоном. – Как поживаете?

– Чудесно, как видите. Тысячу вещей надо вам сказать. Но прежде всего скажите, вы собирались выехать или только что вернулись?

– Собираюсь выехать.

– В таком случае, чтобы не задерживать вас, я, если разрешите, сяду к вам в коляску, а Том будет следовать за нами.

– Нет, – сказал с неуловимо презрительной улыбкой граф, отнюдь не желавший показываться в обществе этого молодого человека, – я предпочитаю выслушать вас здесь, дорогой господин Андреа; в комнате разговаривать удобнее, и нет кучера, который на лету подхватывает ваши слова.

И граф вошел в маленькую гостиную второго этажа, сел и, закинув ногу на ногу, пригласил гостя тоже сесть.

– Вам известно, дорогой граф, – сказал Андреа, весь сияя, – что обручение назначено на сегодня; в девять часов вечера у моего тестя подписывают договор.

– Вот как! – ответил Монте-Кристо.

– Как, разве это для вас новость? И разве Данглар не уведомил вас?

– Как же, – сказал граф, – я вчера получил письмо, но, насколько помню, там не указан час.

– Вполне возможно; мой тесть, должно быть, рассчитывал, что это всем известно.

– Ну что ж, поздравляю, господин Кавальканти, – сказал Монте-Кристо, – вы делаете хорошую партию; к тому же мадемуазель Данглар очень недурна собой.

– О да, – скромно ответил Кавальканти.

– А главное, она очень богата; так я по крайней мере слышал, – сказал Монте-Кристо.

– Вы думаете, она очень богата?

– Несомненно, говорят, что Данглар скрывает по меньшей мере половину своего состояния.

– А он сознается в пятнадцати или двадцати миллионах, – сказал Андреа, и глаза его блеснули от радости.

– И кроме того, – прибавил Монте-Кристо, – он еще собирается заняться одной денежной операцией, довольно обычной в Соединенных Штатах и в Англии, но совершенно новой во Франции.

– Да, я знаю, вы говорите о железнодорожной концессии, которую он только что получил?

– Вот именно. По общему мнению, он наживет на этом по крайней мере десять миллионов.

– Десять миллионов! Вы думаете? Это великолепно! – сказал Кавальканти, опьяняясь металлическим звоном этих золотоносных слов.

– Не говоря уже о том, – продолжал Монте-Кристо, – что все это состояние достанется вам; это вполне справедливо, раз мадемуазель

Данглар единственная дочь. Впрочем, ваше собственное состояние, как мне говорил ваш отец, немногим меньше состояния вашей невесты. Но оставим эти денежные вопросы. Знаете, господин Андреа, я нахожу, что вы очень быстро и ловко повели это дело.

– Да, недурно, – сказал Андреа, – я прирожденный дипломат.

– Ну что ж, вы и будете дипломатом: дипломатии, знаете, нельзя выучиться, – для этого нужно чутье... Так ваше сердце в плену?

– Боюсь, что да, – отвечал Андреа тем тоном, которым на подмостках Французского театра Альцесту отвечают Дорант или Валер.

– И вам отвечают взаимностью?

– Очевидно, раз за меня выходят замуж, – сказал Андреа, победоносно улыбаясь. – Но все же не следует забывать об одном существенном обстоятельстве.

– О каком же?

– О том, что мне в этом деле необыкновенно помогли.

– Да что вы!

– Несомненно.

– Обстоятельства?

– Нет, вы.

– Я? Да, полно князь, – сказал Монте-Кристо, подчеркивая титул. – Что такого мог я для вас сделать? Разве недостаточно было вашего имени, вашего общественного положения и ваших личных достоинств?

– Нет, – отвечал Андреа, – что бы вы ни говорили, граф, я продолжаю утверждать, что то место, которое вы занимаете в свете, сделало больше, чем мое имя, мое общественное положение и мои личные достоинства.

– Вы глубоко заблуждаетесь, сударь, – сказал Монте-Кристо, почувствовав коварный намек в словах Андреа, – я начал вам покровительствовать только после того, как узнал о богатстве и положении вашего уважаемого отца. Кому я обязан удовольствием быть с вами знакомым? Ведь я никогда не видел ни вас, ни вашего достойного родителя! Двум моим друзьям, лорду Уилмору и аббату Бузони. Что побудило меня – не говорю ручаться за вас, а ввести вас в общество?

Имя вашего отца, столь известное и уважаемое в Италии; лично вас я не знаю.

Спокойствие графа, его непринужденность заставили Андреа понять, что его в данную минуту держит сильная рука и что ему не так легко будет избавиться от этих тисков.

– Скажите, граф, – спросил он, – мой отец в самом деле так богат?

– По-видимому, да, – отвечал Монте-Кристо.

– А вы не знаете – деньги, которые я должен внести Данглару, уже прибыли?

– Я получил уведомление.

– Значит, три миллиона...

– Три миллиона в пути, по всей вероятности.

– И я их получу?

– Мне кажется, – ответил граф, – что до сих пор вы получали все, что вам было обещано!

Андреа был до того изумлен, что на минуту даже задумался.

– В таком случае, сударь, – сказал он, помолчав, – мне остается обратиться к вам с просьбой, и, надеюсь, вы меня поймете, даже если она и будет вам неприятна.

– Говорите, – сказал Монте-Кристо.

– Благодаря моему состоянию я познакомился со многими людьми, у меня, по крайней мере сейчас, куча друзей. Но, вступая в такой брак, перед лицом всего парижского общества, я должен опереться на человека с громким именем, и если меня поведет к алтарю не рука моего отца, то это должна быть чья-нибудь могущественная рука; а мой отец не приедет, ведь правда?

– Он дряхл, и его старые раны ноют, когда он путешествует.

– Понимаю. Так вот, я и обращаюсь к вам с просьбой.

– Ко мне?

– Да, к вам.

– С какой же, бог мой?

– Заменить его.

– Как, дорогой мой! После того как я имел удовольствие часто беседовать с вами, вы еще так мало меня знаете, что обращаетесь ко мне с подобной просьбой? Попросите у меня взаймы полмиллиона, и хотя подобная ссуда довольно необычна, но, честное слово, вы меня этим меньше стесните. Я уже, кажется, говорил вам, что граф Монте-Кристо, даже когда он участвует в жизни здешнего общества, никогда не забывает правил морали, более того – предубеждений Востока. У меня гарем в Каире, гарем в Смирне и гарем в Константинополе, и мне быть посаженым отцом! Ни за что!

– Так вы отказываетесь?

– Наотрез. И будь вы моим сыном, будь вы моим братом, я бы все равно вам отказал.

– Какая неудача! – воскликнул разочарованный Андреа. – Но что же мне делать?

– У вас сотня друзей, вы же сами сказали.

– Да, но ведь вы ввели меня в дом Данглара.

– Ничуть! Восстановим факты; вы обедали вместе с ним у меня в Отейле, и там вы сами с ним познакомились; это большая разница.

– Да, но моя женитьба... вы помогли...

– Я? Да ни в малейшей мере, уверяю вас, вспомните, что я вам ответил, когда вы явились ко мне с просьбой сделать от вашего имени предложение; нет, я никогда не устраиваю никаких браков, милейший князь, это мой принцип.

Андреа закусил губу.

– Но все-таки, – сказал он, – вы там будете сегодня?

– Там будет весь Париж?

– Разумеется.

– Ну, значит, и я там буду, – сказал граф.

– Вы подпишете брачный договор?

– Против этого я ничего не имею; так далеко мои предубеждения не простираются.

– Что делать! Если вы не желаете согласиться на большее, я должен удовлетвориться тем, на что вы согласны. Но еще одно слово, граф.

– Пожалуйста.

– Дайте мне совет.

– Это не шутка! Совет – больше, чем услуга.

– Такой совет вы можете мне дать, это вас ни к чему не обязывает.

– Говорите.

– Приданое моей жены равняется пятистам тысячам ливров?

– Эту цифру мне назвал сам барон Данглар.

– Должен я взять его или оставить у нотариуса?

– Вот как принято поступать: при подписании договора оба нотариуса уславливаются встретиться на следующий день или через день; при этой встрече они обмениваются приданым, в чем и выдают друг другу расписку; затем, после венчания, они выдают все эти миллионы вам как главе семьи.

– Дело в том, – сказал Андреа с плохо скрытым беспокойством, – что мой тесть как будто собирается поместить наши капиталы в эту пресловутую железнодорожную концессию, о которой вы мне только что говорили.

– Так что же! – возразил Монте-Кристо. – Этим способом, – так по крайней мере все уверяют, – ваши капиталы в течение года утроятся. Барон Данглар хороший отец и умеет считать.

– В таком случае, – сказал Андреа, – все прекрасно, если не считать, конечно, вашего отказа, который меня огорчает до глубины души.

– Не приписывайте его ничему другому, как только вполне естественной в подобном случае щепетильности.

– Что делать, – сказал Андреа, – пусть будет по-вашему. До вечера!

– До вечера.

И, невзирая на едва ощутимое сопротивление Монте-Кристо, губы которого побелели, хоть и продолжали учтиво улыбаться, Андреа схватил руку графа, пожал ее, вскочил в свой фаэтон и умчался.

Оставшееся до вечера время Андреа употребил на разъезды и визиты, которые должны были возбудить у его друзей желание появиться у банкира во всем своем великолепии, ибо он ослеплял их обещаниями предоставить им те самые волшебные акции, которые в ближайшие

месяцы вскружили всем голову и которые пока что были в руках Данглара.

Вечером, в половине девятого, парадная гостиная Дангларов, примыкающая к этой гостиной галерея и три остальные гостиные этого этажа были переполнены раздушенной толпой, привлеченной отнюдь не симпатией, но непреодолимым желанием быть там, где можно увидеть нечто новое.

Член Академии сказал бы, что званые вечера суть цветники, привлекающие к себе непостоянных бабочек, голодных пчел и жужжащих шмелей.

Нечего и говорить, что гостиные ослепительно сияли множеством свечей, золоченая резьба и штофная обивка стен были залиты потоками света, и вся эта безвкусная обстановка, говорившая только о богатстве, красовалась во всем своем блеске.

Мадемуазель Эжени была одета с самой изысканной простотой: белое шелковое платье, затканное белыми же цветами, белая роза, полускрытая в ее черных как смоль волосах, составляли весь ее наряд, не украшенный ни одной драгоценностью.

Только бесконечная самоуверенность, читавшаяся в ее взгляде, противоречила этому девственному наряду, который сама она находила смешным и пошлым.

В нескольких шагах от нее г-жа Данглар беседовала с Дебрэ, Бошаном и Шато-Рено. По случаю торжественного дня Дебрэ снова появился в этом доме, но на положении рядового гостя, без каких-либо особых привилегий.

Данглар, окруженный депутатами и финансистами, излагал им новую систему налогов, которую он намеревался провести в жизнь, когда силою обстоятельств правительство будет вынуждено призвать его на пост министра.

Андреа, взяв под руку одного из самых элегантных завсегдатаев Оперы, излагал ему не без развязности – так как для того, чтобы не казаться смущенным, ему приходилось быть наглым – свои планы на будущее и рисовал ту утонченную роскошь, которую он, обладая ста

семьюдесятью пятью тысячами годового дохода, собирался привить парижскому свету.

Вся остальная толпа гостей перекатывалась из гостиной в гостиную волнами бирюзы, рубинов, изумрудов, опалов и бриллиантов.

Как всегда, наиболее пышно разодеты были пожилые женщины, а дурнушки упорнее всех выставляли себя напоказ. Если и попадалась прекрасная белая лилия или нежная благоухающая роза, то ее надо было искать где-нибудь в уголке, за спиной мамаши в чалме или тетки, увенчанной райской птицей.

Среди этой толкотни, жужжания, смеха поминутно раздавались голоса лакеев, выкрикивавших имена, известные в мире финансов, уважаемые в военных кругах или знаменитые в литературе; тогда легкое колыхание толпы отдавало дань вновь прибывшему.

Но если иные имена и обладали привилегией волновать это людское море, то сколько было таких, которые встречали полное равнодушие или презрительное зубоскальство.

В ту минуту, когда на золотом циферблате стрелка массивных часов, изображающих спящего Эндимиона, показывала девять и колокольчик, точный выразитель механической мысли, пробил девять раз, раздалось имя графа Монте-Кристо, и, словно пронизанная электрической искрой, вся толпа повернулась лицом к дверям.

Граф был, по своему обыкновению, в простом черном фраке; белый жилет обрисовывал его широкую грудь; черный воротник казался особенно черен, столь резко он оттенял мужественную бледность лица; единственная драгоценность – часовая цепочка – была так тонка, что едва выделялась золотой нитью на белом пике жилета.

У дверей в тот же миг образовался круг.

Граф сразу заметил в одном конце гостиной г-жу Данглар, в другом – Данглара, а напротив дверей – мадемуазель Эжени.

Он начал с того, что подошел к баронессе, которая разговаривала с г-жой де Вильфор, явившейся в одиночестве, потому что Валентина все еще не оправилась от болезни, затем сквозь расступившуюся перед ним

толпу гостей к Эжени, которую поздравил в таких сухих и сдержанных выражениях, что гордая артистка была поражена.

Рядом с ней стояла Луиза д'Армильи; она поблагодарила графа за рекомендательные письма, которые он ей дал для поездки в Италию и которыми она, по ее словам, собиралась немедленно воспользоваться.

Расставшись с девушками, он обернулся и увидел Данглара, подошедшего пожать ему руку.

Исполняя все требования этикета, Монте-Кристо остановился, окидывая окружающих уверенным взглядом, с тем особым выражением, присущим людям известного круга и имеющим в обществе вес, которое словно говорит: «Я сделал все, что нужно; пусть теперь другие выполняют свои обязанности по отношению ко мне».

Андреа, находившийся в смежной гостиной, почувствовал по движению толпы присутствие Монте-Кристо и поспешил навстречу графу.

Он нашел его окруженным плотным кольцом гостей; к его словам жадно прислушивались, как всегда бывает, когда человек говорит мало и ничего не говорит попусту.

В эту минуту вошли нотариусы и разложили свои испещренные каракулями бумаги на бархатной скатерти, покрывавшей стол золоченого дерева, приготовленный для подписания договора.

Один из нотариусов сел, другой остался стоять.

Предстояло оглашение договора, который должны были подписать присутствующие на торжестве – другими словами, пол-Парижа.

Все сели – вернее, женщины сели в кружок, тогда как мужчины, более равнодушные к «энергичному стилю», как говорил Буало, обменивались замечаниями по поводу лихорадочного возбуждения Андреа, внимательной сосредоточенности Данглара, невозмутимости Эжени и той легкомысленной веселости, с которой баронесса относилась к этому важному делу.

Договор был прочитан при всеобщем молчании. Но как только чтение было окончено, в гостиных снова поднялся гул голосов, вдвое громче прежнего. Эти огромные суммы, эти миллионы, которыми блистало

будущее молодой четы, и в довершение всего устроенная в особой комнате выставка приданого и бриллиантов невесты, поразили воображение завистливой толпы.

В глазах молодых людей красота мадемуазель Данглар возросла вдвое, и в этот миг она для них затмевала солнце.

Что касается женщин, то они, разумеется, хоть и завидовали миллионам, но считали, что их собственная красота в них не нуждается.

Андреа, окруженный друзьями, осыпаемый поздравлениями и льстивыми речами, начинавший и сам верить в действительность этого сна, почти потерял голову.

Нотариус торжественно взял в руку перо, поднял его над головой и сказал:

– Господа, приступим к подписанию договора.

Первым должен был подписать барон, затем уполномоченный Кавальканти-отца, затем баронесса, затем брачащиеся, как принято выражаться на том отвратительном языке, которым исписывается гербовая бумага.

Барон взял перо и подписал; вслед за ним уполномоченный.

Баронесса подошла к столу под руку с г-жой де Вильфор.

– Друг мой, – сказала она мужу, беря в руки перо, – какая досада. Неожиданный случай, имеющий отношение к убийству и ограблению, жертвой которого едва не стал граф Монте-Кристо, лишил нас присутствия господина де Вильфора.

– Ах, боже мой! – сказал Данглар таким тоном, каким сказали бы: «Вот уж мне все равно!»

– Боюсь, – сказал, подходя к ним, Монте-Кристо, – не являюсь ли я невольной причиной этого отсутствия.

– Вы, граф? Каким образом? – сказала, подписывая, г-жа Данглар. – Если так, берегитесь, я вам этого никогда не прощу.

Андреа насторожился.

– Но право, я здесь ни при чем, – сказал граф, – и я докажу вам это.

Все обратились в слух: Монте-Кристо собирался говорить, а это бывало не часто.

– Вы, вероятно, помните, – сказал граф среди всеобщего молчания, – что именно у меня в доме умер этот несчастный, который забрался ко мне, чтобы меня ограбить, и, выходя от меня, был убит, как предполагают, своим сообщником?

– Да, – сказал Данглар.

– Чтобы оказать ему помощь, его раздели, а его одежду бросили в угол, где ее и подобрали следственные власти; они взяли куртку и штаны, но забыли жилет.

Андреа заметно побледнел и стал подбираться ближе к двери; он видел, что на горизонте появилась туча, и опасался, что она сулит бурю.

– И вот сегодня этот злополучный жилет нашелся, весь покрытый кровью и разрезанный против сердца.

Дамы вскрикнули, и иные из них уже приготовились упасть в обморок.

– Мне его принесли. Никто не мог догадаться, откуда взялась эта тряпка; мне единственному пришло в голову, что это, по всей вероятности, жилет убитого. Вдруг мой камердинер, осторожно и с отвращением исследуя эту зловещую реликвию, нащупал в кармане бумажку и вытащил ее оттуда; это оказалось письмо, адресованное – кому бы вы думали? Вам, барон.

– Мне? – воскликнул Данглар.

– Да, представьте, вам; мне удалось разобрать ваше имя, сквозь кровь, которой эта записка была запачкана, – отвечал Монте-Кристо среди возгласов изумления.

– Но каким же образом это могло помешать господину де Вильфору приехать? – спросила, с беспокойством глядя на мужа, г-жа Данглар.

– Очень просто, сударыня, – отвечал Монте-Кристо, – этот жилет и это письмо являются тем, что называется уликой; я отослал и то, и другое господину королевскому прокурору. Вы понимаете, дорогой барон, в уголовных делах всего правильнее действовать законным порядком; быть может, здесь кроется какой-нибудь преступный умысел против вас.

Андреа пристально посмотрел на Монте-Кристо и скрылся во вторую гостиную.

– Очень возможно, – сказал Данглар, – ведь, кажется, этот убитый – бывший каторжник?

– Да, – отвечал граф, – это бывший каторжник, по имени Кадрусс.

Данглар слегка побледнел; Андреа выбрался из второй гостиной и перешел в переднюю.

– Но что же вы не подписываете? – сказал Монте-Кристо. – Я вижу, мой рассказ всех взволновал, и я смиренно прошу за это прощения у вас, баронесса, и у мадемуазель Данглар.

Баронесса, только что подписавшая договор, передала перо нотариусу.

– Князь Кавальканти, – сказал нотариус, – князь Кавальканти, где же вы!

– Андреа, Андреа! – крикнуло несколько молодых людей, которые уже настолько сдружились со знатным итальянцем, что называли его по имени.

– Позовите же князя, доложите ему, что его ждут для подписи! – крикнул Данглар одному из лакеев.

Но в ту же самую минуту толпа гостей в ужасе хлынула в парадную гостиную, словно в комнате появилось страшное чудовище, quaerens quem devoret.[63]

И в самом деле было от чего попятиться, испугаться, закричать.

Жандармский офицер, расставив у дверей каждой гостиной по два жандарма, направлялся к Данглару, предшествуемый комиссаром в шарфе.

Госпожа Данглар вскрикнула и лишилась чувств.

Данглар, который испугался за себя (у некоторых людей совесть никогда не бывает вполне спокойной), явил своим гостям искаженное страхом лицо.

– Что вам угодно, сударь? – спросил Монте-Кристо, делая шаг навстречу комиссару.

– Кого из вас, господа, – спросил полицейский комиссар, не отвечая графу, – зовут Андреа Кавальканти?

Единый крик изумления огласил гостиную.

Стали искать, стали спрашивать.

– Но кто же он такой, этот Андреа Кавальканти? – спросил окончательно растерявшийся Данглар.

– Беглый каторжник из Тулона.

– А какое преступление он совершил?

– Он обвиняется в том, – заявил комиссар невозмутимым голосом, – что убил некоего Кадрусса, своего товарища по каторге, когда тот выходил из дома графа Монте-Кристо.

Монте-Кристо бросил быстрый взгляд вокруг себя.

Андреа исчез.

# XX. Дорога в Бельгию

Тотчас же после замешательства, которое вызвало в доме Данглара неожиданное появление жандармского офицера и последовавшее за этим разоблачение, просторный особняк опустел с такой быстротой, как если бы среди присутствующих появилась чума или холера; через все двери, по всем лестницам устремились гости, спеша удалиться или, вернее, сбежать; это был один из тех случаев, когда люди и не пытаются говорить банальные слова утешения, которые при больших катастрофах так тягостно выслушивать из уст даже лучших друзей.

Во всем доме остались только сам Данглар, который заперся у себя в кабинете и давал показания жандармскому офицеру; перепуганная г-жа Данглар, в знакомом нам будуаре; и Эжени, которая с гордым и презрительным видом удалилась в свою комнату вместе со своей неразлучной подругой Луизой д'Армильи.

Что касается многочисленных слуг, еще более многочисленных в этот вечер, чем обычно, так как, по случаю торжественного дня, были наняты мороженщики, повара и метрдотели из Кафе-де-Пари, то, обратив на хозяев весь свой гнев за то, что они считали для себя оскорблением, они толпились в буфетной, в кухнях, в людских и очень мало интересовались своими обязанностями, исполнение которых, впрочем, само собою прервалось.

Среди всех этих различных людей, взволнованных самыми разнообразными чувствами, только двое заслуживают нашего внимания: это Эжени Данглар и Луиза д'Армильи. Невеста, как мы уже сказали, удалилась с гордым и презрительным видом, походкой оскорбленной королевы, в сопровождении подруги, гораздо более взволнованной, чем она сама. Придя к себе в комнату, Эжени заперла дверь на ключ, а Луиза бросилась в кресло.

– О боже мой, какой ужас! – сказала она. – Кто бы мог подумать? Андреа Кавальканти обманщик... убийца... беглый каторжник...

Губы Эжени искривились насмешливой улыбкой.

– Право, меня преследует какой-то рок, – сказала она. – Избавиться от Морсера, чтобы налететь на Кавальканти!

– Как ты можешь их равнять, Эжени!

– Молчи, все мужчины подлецы, и я счастлива, что могу не только ненавидеть их; теперь я их презираю.

– Что мы будем делать? – спросила Луиза.

– Что делать?

– Да.

– То, что собирались сделать через три дня… Мы уедем.

– Ты все-таки хочешь уехать, хотя свадьбы не будет?

– Слушай, Луиза. Я ненавижу эту светскую жизнь, размеренную, расчерченную, разграфленную, как наша нотная бумага. К чему я всегда стремилась, о чем мечтала – это о жизни артистки, о жизни свободной, независимой, где надеешься только на себя и только себе обязана отчетом. Оставаться здесь? Для чего? Чтобы через месяц меня опять стали выдавать замуж? За кого? Может быть, за Дебрэ? Об этом одно время поговаривали. Нет, Луиза, нет; то, что произошло сегодня, послужит мне оправданием; я его не искала, я его не просила; сам бог мне его посылает, и я его приветствую.

– Какая ты сильная и храбрая! – сказала хрупкая белокурая девушка своей черноволосой подруге.

– Разве ты меня не знала? Ну вот что, Луиза, поговорим о наших делах. Дорожная карета…

– К счастью, уже три дня как куплена.

– Ты велела ее доставить на место?

– Да.

– А наш паспорт?

– Вот он!

Эжени с обычным хладнокровием развернула документ и прочла: «Господин Леон д’Армильи, двадцать лет, художник, волосы черные, глаза черные, путешествует вместе с сестрой».

– Чудесно! Каким образом ты достала паспорт?

– Когда я просила графа Монте-Кристо дать мне рекомендательные письма к директорам театров в Риме и Неаполе, я сказала ему, что боюсь ехать в женском платье; он вполне согласился со мной и взялся достать мне мужской паспорт; через два дня я его получила и сама приписала: «Путешествует вместе с сестрой».

– Таким образом, – весело сказала Эжени, – нам остается только уложить вещи; вместо того чтобы уехать в вечер свадьбы, мы уедем в вечер подписания договора, только и всего.

– Подумай хорошенько, Эжени.

– Мне уже больше не о чем думать; мне надоели вечные разговоры о повышении, понижении, испанских фондах, гаитийских займах. Подумай, Луиза, вместо всего этого чистый воздух, свобода, пение птиц, равнины Ломбардии, каналы Венеции, дворцы Рима, берег Неаполя. Сколько у нас всего денег?

Луиза вынула из письменного стола запертый на замок бумажник и открыла его: в нем было двадцать три кредитных билета.

– Двадцать три тысячи франков, – сказала она.

– И по крайней мере на такую же сумму жемчуга, бриллиантов и золотых вещей, – сказала Эжени. – Мы с тобой богаты. На сорок пять тысяч мы можем жить два года, как принцессы, или четыре года вполне прилично. Но не пройдет и полгода, как мы нашим искусством удвоим этот капитал. Вот что, ты бери деньги, а я возьму шкатулку; таким образом, если одна из нас вдруг потеряет свое сокровище, у другой все-таки останется половина. А теперь давай укладываться!

– Подожди, – сказала Луиза; она подошла к двери, ведущей в комнату г-жи Данглар, и прислушалась.

– Чего ты боишься?

– Чтобы нас не застали врасплох.

– Дверь заперта на ключ.

– Нам могут велеть открыть ее.

– Пусть велят, а мы не откроем.

– Ты настоящая амазонка, Эжени.

И обе девушки энергично принялись укладывать в чемодан все то, что они считали необходимым в дороге.

– Вот и готово, – сказала Эжени, – теперь, пока я буду переодеваться, закрывай чемодан.

Луиза изо всех сил нажимала своими маленькими белыми ручками на крышку чемодана.

– Я не могу, – сказала она, – у меня не хватает сил, закрой сама.

– Я и забыла, что я Геркулес, а ты только бледная Омфала, – сказала, смеясь, Эжени.

Она надавила коленом на чемодан и до тех пор напрягала свои белые и мускулистые руки, пока обе половинки не сошлись и Луиза не защелкнула замок. Когда все это было проделано, Эжени открыла комод, ключ от которого она носила с собой, и вынула из него теплую дорожную накидку.

– Видишь, – сказала она, – я обо всем подумала; в этой накидке ты не озябнешь.

– А ты?

– Ты знаешь, мне никогда не бывает холодно; кроме того, этот мужской костюм...

– Ты здесь и переоденешься?

– Разумеется.

– А успеешь?

– Да не бойся же, трусишка; все в доме поглощены скандалом. А кроме того, никто не станет удивляться, что я заперлась у себя. Подумай, ведь я должна быть в отчаянии!

– Да, конечно, можно не беспокоиться.

– Ну, помоги мне.

И из того же комода, откуда она достала накидку, она извлекла полный мужской костюм, начиная от башмаков и кончая сюртуком, и запас белья, где не было ничего лишнего, но имелось все необходимое. Потом, с проворством, которое ясно указывало, что она не в первый раз переодевалась в платье другого пола, Эжени обулась, натянула

панталоны, завязала галстук, застегнула доверху закрытый жилет и надела сюртук, красиво облегавший ее тонкую и стройную фигуру.

– Как хорошо! Правда, очень хорошо! – сказала Луиза, с восхищением глядя на нее. – Но твои чудные косы, которым завидуют все женщины, как ты их запрячешь под мужскую шляпу?

– Вот увидишь, – сказала Эжени.

И, зажав левой рукой густую косу, которую с трудом охватывали ее длинные пальцы, она правой схватила большие ножницы, и вот в этих роскошных волосах заскрипела сталь, и они тяжелой волной упали к ногам девушки, откинувшейся назад, чтобы предохранить сюртук.

Затем Эжени срезала пряди волос у висков; при этом она не выказала ни малейшего сожаления, напротив, ее глаза под черными как смоль бровями блестели еще ярче и задорнее, чем всегда.

– Ах, твои чудные волосы! – с грустью сказала Луиза.

– А разве так не во сто раз лучше? – воскликнула Эжени, приглаживая свои короткие кудри. – И разве, по-твоему, я так не красивее?

– Ты красавица, ты всегда красавица! – воскликнула Луиза. – Но куда же мы теперь направимся?

– Да хоть в Брюссель, если ты ничего не имеешь против; это самая близкая граница. Мы проедем через Брюссель, Льеж, Аахен, поднимемся по Рейну до Страсбурга, проедем через Швейцарию и спустимся через Сен-Готар в Италию. Ты согласна?

– Ну разумеется.

– Что ты так смотришь на меня?

– Ты очаровательна в таком виде; право, можно подумать, что ты меня похищаешь.

– Черт возьми, так оно и есть!

– Ты, кажется, браниться научилась, Эжени?

И обе девушки, которым, по общему мнению, надлежало заливаться слезами, одной из-за себя, другой из любви к подруге, покатились со смеху и принялись уничтожать наиболее заметные следы беспорядка, оставленного их сборами.

Потом, потушив свечи, зорко осматриваясь, насторожив слух, беглянки открыли дверь будуара, выходившую на черную лестницу, которая вела прямо во двор. Эжени шла впереди, взявшись одной рукой за ручку чемодана, который за другую ручку едва удерживала обеими руками Луиза. Двор был пуст. Пробило полночь. Привратник еще не ложился. Эжени тихонько прошла вперед и увидела, что почтенный страж дремлет, растянувшись в кресле. Она вернулась к Луизе, снова взяла чемодан, который поставила было на землю, и обе, прижимаясь к стене, вошли в подворотню. Эжени велела Луизе спрятаться в темном углу, чтобы привратник, если бы ему вздумалось открыть глаза, увидел только одного человека, а сама стала так, чтобы свет фонаря падал прямо на нее.

– Откройте! – крикнула она звучным контральто, стуча в стеклянную дверь.

Привратник, как и ожидала Эжени, встал с кресла и даже сделал несколько шагов, чтобы взглянуть, кто это выходит; но, увидев молодого человека, который нетерпеливо похлопывал тросточкой по ноге, он поспешил дернуть шнур. Луиза тотчас же проскользнула в приотворенные ворота и легко выскочила наружу. Эжени, внешне спокойная, хотя, вероятно, ее сердце и билось учащеннее, чем обычно, в свою очередь, вышла на улицу.

Чемодан они передали проходившему мимо посыльному и, дав ему адрес – улица Виктуар, дом № 36, – последовали за этим человеком, чье присутствие успокоительно действовало на Луизу, что касается Эжени, то она была бесстрашна, как Юдифь или Далила.

Когда они прибыли к указанному дому, Эжени велела посыльному поставить чемодан на землю, расплатилась с ним и, постучав в ставень, отпустила его.

В доме, куда пришли беглянки, жила скромная белошвейка, с которой они заранее условились; она еще не ложилась и тотчас же открыла.

– Мадемуазель, – сказала Эжени, – распорядитесь, чтобы привратник выкатил из сарая карету, и пошлите его на почтовую станцию за

лошадьми. Вот пять франков, которые я просила вас передать ему за труды.

– Я восхищаюсь тобой, – сказала Луиза, – и даже начинаю уважать тебя.

Белошвейка с удивлением на них посмотрела; но так как ей было обещано двадцать луидоров, то она ничего не сказала.

Четверть часа спустя привратник вернулся и привел с собой кучера и лошадей, которые немедленно были впряжены в карету; чемодан привязали сзади.

– Вот подорожная, – сказал кучер. – По какой дороге поедем, молодой хозяин?

– По дороге в Фонтенбло, – сказала Эжени почти мужским голосом.

– Как? Что ты говоришь? – спросила Луиза.

– Я заметаю след, – сказала Эжени, – эта женщина, которой мы заплатили двадцать луидоров, может нас выдать за сорок; когда мы выедем на Бульвары, мы велим ехать по другой дороге.

И она, почти не касаясь подножки, вскочила в карету.

– Ты, как всегда, права, Эжени, – сказала Луиза, усаживаясь рядом с подругой.

Четверть часа спустя кучер, уже изменив направление по указанию Эжени, проехал, щелкая бичом, заставу Сен-Мартен.

– Наконец-то мы выбрались из Парижа! – сказала Луиза, с облегчением вздыхая.

– Да, моя дорогая, и похищение удалось на славу, – отвечала Эжени.

– Да, и притом без насилия, – сказала Луиза.

– Это послужит смягчающим вину обстоятельством, – отвечала Эжени.

Слова эти потерялись в стуке колес по мостовой Ла-Виллет.

У Данглара больше не было дочери.

# Часть шестая

# I. Гостиница «Колокол и бутылка»

Оставим пока мадемуазель Данглар и ее приятельницу на дороге в Брюссель и вернемся к бедному Андреа Кавальканти, так злополучно задержанному в его полете за счастьем.

Этот Андреа Кавальканти, несмотря на свой юный возраст, был малый весьма ловкий и умный.

Поэтому при первом волнении в гостиной он, как мы видели, стал понемногу приближаться к двери, прошел две комнаты и скрылся.

Мы забыли упомянуть о маленькой подробности, которая между тем не должна быть пропущена; в одной из комнат, через которые прошел Кавальканти, были выставлены футляры с бриллиантами, кашемировые шали, кружева валансьен, английские ткани – словом, весь тот подбор соблазнительных предметов, одно упоминание о котором заставляет трепетать сердца девиц и который называют приданым.

Проходя через эту комнату, Андреа доказал, что он малый не только весьма умный и ловкий, но и предусмотрительный, и доказал это тем, что захватил наиболее крупные из выставленных драгоценностей.

Снабженный этим подспорьем, Андреа почувствовал, что ловкость его удвоилась, и, выпрыгнув в окно, ускользнул от жандармов.

Высокий, сложенный, как античный атлет, мускулистый, как спартанец, Андреа бежал целых четверть часа, сам не зная, куда он бежит, только чтобы отдалиться от того места, где его чуть не схватили.

Свернув с улицы Мон-Блан и руководимый тем чутьем, которое приводит зайца к норе, а вора – к городской заставе, он очутился в конце улицы Лафайет.

Задыхаясь, весь в поту, он остановился.

Он был совершенно один; слева от него простиралось пустынное поле Сен-Лазар, а направо – весь огромный Париж.

– Неужели я погиб? – спросил он себя. – Нет – если я проявлю большую энергию, чем мои враги. Мое спасение стало просто вопросом расстояния.

Тут он увидел фиакр, едущий от предместья Пуассоньер; хмурый кучер с трубкой в зубах, по-видимому, держал путь к предместью Сен-Дени.

– Эй, дружище! – сказал Бенедетто.

– Что прикажете? – спросил кучер.

– Ваша лошадь устала?

– Устала! Как же! Целый день ничего не делала. Четыре несчастных конца и двадцать су на чай, всего семь франков, и из них я должен десять отдать хозяину.

– Не хотите ли к семи франкам добавить еще двадцать?

– С удовольствием, двадцатью франками не брезгают. А что нужно сделать?

– Вещь нетрудная, если только ваша лошадь не устала.

– Я же вам говорю, что она полетит, как ветер, скажите только, в какую сторону ехать.

– В сторону Лувра.

– А, знаю, где наливку делают.

– Вот именно, требуется попросту нагнать одного моего приятеля, с которым я условился завтра поохотиться в Шапель-ан-Серваль. Он должен был ждать меня здесь в своем кабриолете до половины двенадцатого; сейчас – полночь; ему, должно быть, надоело ждать, и он уехал один.

– Наверное.

– Ну так вот, хотите попробовать его нагнать?

– Извольте.

– Если мы его не нагоним до Бурже, вы получите двадцать франков; а если не нагоним до Лувра – тридцать.

– А если нагоним?

– Сорок, – сказал Андреа, который одну секунду колебался, но решил, что, обещая, он ничем не рискует.

– Идет! – сказал кучер. – Садитесь!

Андреа сел в фиакр, который быстро пересек предместье Сен-Дени, проехал предместье Сен-Мартен, миновал заставу и въехал в бесконечную Ла-Виллет.

Нелегко было нагнать этого мифического приятеля; все же время от времени у запоздалых прохожих и в еще не закрытых трактирах Кавальканти справлялся о зеленом кабриолете и пегой лошади, а так как по дороге в Нидерланды проезжает немало кабриолетов и из десятка кабриолетов девять зеленых, то справки сыпались на каждом шагу.

Все видели этот кабриолет, он был не больше как в пятистах, двухстах или ста шагах впереди, но когда его наконец нагоняли, оказывалось, что это не тот.

Один раз их самих обогнали; это была карета, уносимая вскачь парой почтовых лошадей.

«Вот бы мне эту карету, – подумал Кавальканти, – пару добрых коней, а главное – подорожную!»

И он глубоко вздохнул.

Это была та самая карета, которая увозила мадемуазель Данглар и мадемуазель д'Армильи.

– Живей, живей! – сказал Андреа. – Теперь уже мы, должно быть, скоро его нагоним.

И бедная лошадь снова пустилась бешеной рысью, которой она бежала до самой заставы, и, вся в мыле, домчалась до Лувра.

– Я вижу, – сказал Андреа, – что не нагоню приятеля и только заморю вашу лошадь. Поэтому лучше мне остановиться. Вот вам ваши тридцать франков, а я переночую в «Рыжем коне» и займу место в первой свободной почтовой карете. Доброй ночи, друг.

И Андреа, сунув в руку кучера шесть монет по пять франков, легко спрыгнул на мостовую.

Кучер весело спрятал деньги в карман и шагом направился к Парижу. Андреа сделал вид, будто идет в гостиницу «Рыжий конь», он постоял у дверей, прислушиваясь к замирающему стуку колес, и, двинувшись дальше, гимнастическим шагом прошел два лье.

Тут он отдохнул; он находился, по-видимому, совсем близко от Шапель-ан-Серваль, куда, по его словам, он и направлялся.

Не усталость принудила Андреа Кавальканти остановиться, а необходимость принять какое-нибудь решение и составить план

действий.

Сесть в дилижанс было невозможно, нанять почтовых также невозможно. Чтобы путешествовать тем или другим способом, необходим паспорт.

Оставаться в департаменте Уазы, то есть в одном из наиболее видных и наиболее охраняемых департаментов Франции, было опять-таки невозможно, особенно для человека, искушенного, как Андреа, по уголовной части.

Андреа сел на край канавы, опустил голову на руки и задумался.

Десять минут спустя он поднял голову; решение было принято.

Он испачкал пылью пальто, которое он успел снять с вешалки в передней и надеть поверх фрака, и, дойдя до Шапель-ан-Серваль, уверенно постучал в дверь единственной местной гостиницы.

Хозяин отворил ему.

– Друг мой, – сказал Андреа, – я ехал верхом из Морфонтена в Санлис, но моя лошадь с норовом, она заартачилась и сбросила меня. Мне необходимо прибыть сегодня же ночью в Компьень, иначе моя семья будет очень беспокоиться; найдется ли у вас лошадь?

У всякого трактирщика всегда найдется лошадь, плохая или хорошая.

Трактирщик позвал конюха, велел ему оседлать Белого и разбудил своего сына, мальчика лет семи, который должен был сесть позади господина и привести лошадь обратно.

Андреа дал трактирщику двадцать франков и, вынимая их из кармана, выронил визитную карточку.

Эта карточка принадлежала одному из его приятелей по Кафе-де-Пари, так что трактирщик, подняв ее после отъезда Андреа, остался при убеждении, что он дал свою лошадь графу де Молеону, улица Сен-Доминик, 25; то были фамилия и адрес, значившиеся на карточке.

Белый бежал не быстрой, но ровной и упорной рысью; за три с половиной часа Андреа проехал девять лье, отделявших его от Компьеня; на ратуше било четыре часа, когда он выехал на площадь, где останавливаются дилижансы.

В Компьене имеется прекрасная гостиница, о которой помнят даже те, кто останавливался в ней только один раз.

Андреа, разъезжая по окрестностям Парижа, однажды в ней ночевал; он вспомнил о «Колоколе и бутылке», окинул взглядом площадь, увидел при свете фонаря путеводную вывеску и, отпустив мальчика, которому отдал всю имевшуюся у него мелочь, постучал в дверь, справедливо рассудив, что у него впереди еще часа четыре и что ему не мешает подкрепиться хорошим ужином и крепким сном.

Ему отворил слуга.

– Я пришел из Сен-Жан-о-Буа, я там обедал, – сказал Андреа. – Я рассчитывал на дилижанс, который проезжает в полночь, но я заблудился, как дурак, и целых четыре часа кружил по лесу. Дайте мне одну из комнат, которые выходят во двор, и пусть мне принесут холодного цыпленка и бутылку бордо.

Слуга ничего не заподозрил; Андреа говорил совершенно спокойно, держа руки в карманах пальто, с сигаретой во рту; платье его было элегантно, борода подстрижена, обувь безукоризненна; он имел вид запоздалого горожанина.

Пока слуга готовил ему комнату, вошла хозяйка гостиницы; Андреа встретил ее самой обворожительной улыбкой и спросил, не может ли он получить 3-й номер, который он занимал в свой последний приезд в Компьень; к сожалению, 3-й номер оказался занят молодым человеком, путешествующим с сестрой.

Андреа выразил живейшее огорчение и утешился только тогда, когда хозяйка уверила его, что 7-й номер, который ему приготовляют, расположен совершенно так же, как и 3-й. Грея ноги у камина и беседуя о последних скачках в Шантильи, он ожидал, пока придут сказать, что комната готова.

Андреа недаром вспомнил о комнатах, выходящих во двор; двор гостиницы «Колокол», с тройным рядом галерей, придающих ему вид зрительной залы, с жасмином и ломоносом, вьющимися, как естественное украшение, вокруг легких колоннад, – один из самых прелестных дворов, какой только может быть у гостиницы.

Цыпленок был свежий, вино старое, огонь весело потрескивал; Андреа сам удивился, что ест с таким аппетитом, как будто ничего не произошло.

Затем он лег и тотчас же заснул неодолимым сном, как засыпает человек в двадцать лет, даже когда у него совесть нечиста.

Впрочем, мы должны сознаться, что, хотя Андреа и мог бы чувствовать угрызения совести, он их не чувствовал.

Вот каков был план Андреа, вселивший в него такую уверенность.

Он встанет с рассветом, выйдет из гостиницы, добросовестнейшим образом заплатив по счету, доберется до леса, поселится у какого-нибудь крестьянина под предлогом занятий живописью, раздобудет одежду дровосека и топор, сменит облик светского льва на облик рабочего; потом, когда руки его почернеют, волосы потемнеют до свинцового гребня, лицо покроется загаром, наведенным по способу, которому его когда-то научили товарищи в Тулоне, он проберется лесом к ближайшей границе, шагая ночью, высыпаясь днем в чащах и оврагах и приближаясь к населенным местам лишь изредка, чтобы купить хлеба.

Перейдя границу, он превратит бриллианты в деньги, стоимость их присоединит к десятку кредитных билетов, которые он на всякий случай всегда имел при себе, и у него, таким образом, наберется как-никак пятьдесят тысяч ливров, что на худой конец не так уж плохо.

Вдобавок он очень рассчитывал на то, что Данглары постараются рассеять молву о постигшей их неудаче.

Вот что, помимо усталости, помогло Андреа так быстро и крепко заснуть.

Впрочем, чтобы проснуться возможно раньше, Андреа не закрыл ставней, а только запер дверь на задвижку и оставил раскрытым на ночном столике свой острый нож, прекрасный закал которого был им испытан и с которым он никогда не расставался.

Около семи часов утра Андреа был разбужен теплым и ярким солнечным лучом, скользнувшим по его лицу.

Во всяком правильно работающем мозгу господствующая мысль, а таковая всегда имеется, засыпает последней и первая озаряет пробуждающееся сознание.

Андреа не успел еще вполне открыть глаза, как господствующая мысль уже овладела им и подсказывала ему, что он спал слишком долго.

Он соскочил с кровати и подбежал к окну.

По двору шел жандарм.

Жандарм вообще одно из самых примечательных явлений в мире, даже для самых безгрешных людей; но для пугливой совести, имеющей основания быть таковой, желтый, синий и белый цвет его мундира – самые зловещие цвета на свете.

– Почему жандарм? – спросил себя Андреа. И тут же сам себе ответил, с той логикой, которую читатель мог уже подметить в нем: – Нет ничего странного в том, что жандарм пришел в гостиницу; но пора одеваться.

И он оделся с быстротой, от которой его не отучил лакей за несколько месяцев светской жизни, проведенных им в Париже.

– Ладно, – говорил Андреа, одеваясь, – я подожду, пока он уйдет; а когда он уйдет, я улизну.

С этими словами он, уже одетый, осторожно подошел к окну и вторично поднял кисейную занавеску.

Но не только первый жандарм не ушел, а появился еще второй синий, желтый и белый мундир у единственной лестницы, по которой Андреа мог спуститься, между тем как третий, верхом, с ружьем в руке, охранял единственные ворота, через которые он мог выйти на улицу.

Этот третий жандарм был в высшей степени знаменателен, поэтому перед ним теснились любопытные, плотно загораживая ворота.

«Меня ищут! – было первой мыслью Андреа. – Ах, черт!»

Он побледнел и беспокойно осмотрелся.

Его комната, как и все комнаты этого этажа, имела выход только на наружную галерею, открытую всем взглядам.

«Я погиб!» – было его второй мыслью.

В самом деле, для человека в положении Андреа арест означал суд, приговор, смерть – смерть без пощады и без отлагательств.

Он судорожно сжал голову руками.

В этот миг он чуть с ума не сошел от страха.

Но вскоре в вихре мыслей, бушевавших в его голове, блеснула надежда; слабая улыбка тронула его побледневшие губы.

Он оглядел комнату; все, что ему было нужно, оказалось на письменном столе: перо, чернила и бумага.

Он обмакнул перо в чернила и рукой, которую он принудил быть твердой, написал на первой странице следующие строки:

«У меня нет денег, чтобы заплатить по счету, но я честный человек. Я оставляю в залог эту булавку, которая в десять раз превышает мой долг. Пусть мне простят мое бегство: мне было стыдно».

Он вынул из галстука булавку и положил ее на листок.

Затем, вместо того чтобы оставить дверь запертой, он отпер задвижку, даже приотворил дверь, как будто, уходя, он забыл ее прикрыть, влез в камин, как человек, привыкший к такого рода гимнастике, притянул к себе бумажный экран, изображавший Ахилла у Деидамии, замел ногами свои следы на золе и начал подниматься по изогнутой трубе, представлявшей последний путь к спасению, на который он еще мог рассчитывать.

В это самое время первый жандарм, замеченный Андреа, поднимался по лестнице в сопровождении полицейского комиссара, лестницу охранял второй жандарм, который, в свою очередь, мог ожидать поддержки от жандарма, караулившего у ворот.

Вот каким обстоятельствам Андреа был обязан этим визитом, которого он с таким трудом старался избежать.

С раннего утра парижский телеграф заработал во всех направлениях, и во всех окрестных городах и селениях, тотчас же извещенных, были подняты на ноги власти и брошена вооруженная сила на розыски убийцы Кадрусса.

Компьень, королевская резиденция, Компьень, излюбленное место охот, Компьень, гарнизонный город, кишит чиновниками, жандармами и полицейскими комиссарами; тотчас же по получении телеграфного приказа начались облавы, и так как гостиница «Колокол и бутылка» – первая гостиница в городе, то, естественно, начали с нее.

К тому же согласно донесению часовых, которые в эту ночь охраняли ратушу – а ратуша примыкает к гостинице «Колокол», – в эту гостиницу ночью прибыло несколько приезжих.

Часовой, который сменился в шесть часов утра, припомнил даже, что, как только он занял пост, то есть в самом начале пятого, он увидел молодого человека на белой лошади, с крестьянским мальчиком позади; молодой человек спешился на площади и, отпустив мальчика с лошадью, постучался в «Колокол», куда его и впустили.

На этого позднего путника и пало подозрение.

Этот путник был не кто иной, как Андреа.

На основании этих данных полицейский комиссар и жандармский унтер-офицер и направились к двери Андреа.

Дверь оказалась приотворенной.

– Ого, – сказал жандарм, старая лиса, искушенная во всяческих уловках, – плохой признак – открытая дверь! Я предпочел бы видеть ее запертой на три замка!

И в самом деле, записка и булавка, оставленные Андреа на столе, подтверждали или, вернее, указывали на печальную истину.

Андреа сбежал.

Мы говорим «указывали», потому что жандарм был не из тех людей, которые довольствуются первым попавшимся объяснением.

Он осмотрелся, заглянул под кровать, откинул штору, открыл шкафы и, наконец, подошел к камину.

Благодаря предусмотрительности Андреа на золе не осталось никаких следов.

Но как-никак это был выход, а при данных обстоятельствах всякий выход должен был стать предметом тщательного обследования. Поэтому жандарм велел принести хвороста и соломы; он сунул все это в трубу камина, словно заряжая мортиру, и поджег.

Пламя загудело в трубе, густой дым рванулся в дымоход и столбом взвился к небу, но преступник не свалился в камин, как того ожидал жандарм.

Андреа, с юных лет воюя с обществом, стоил любого жандарма, будь этот жандарм даже в почтенном чине унтер-офицера; предвидя испытание огнем, он выбрался на крышу и прижался к трубе.

У него даже мелькнула надежда на спасение, когда он услышал, как унтер-офицер громко крикнул обоим жандармам:

– Его там нет!

Но, осторожно вытянув шею, он увидел, что жандармы, вместо того чтобы уйти, как это было бы естественно после такого заявления, напротив, удвоили внимание.

Он, в свою очередь, посмотрел вокруг: ратуша, внушительная постройка XVI века, возвышалась вправо от него, как мрачная твердыня; и из ее окон можно было рассмотреть все углы и закоулки крыши, на которой он притаился, как долину с высокой горы.

Андреа понял, что в одном из этих окон немедленно появится голова жандарма.

Если его обнаружат, он погиб; бегство по крышам не сулило ему никакой надежды на успех.

Тогда он решил спуститься, не тем путем, как поднялся, но путем сходным.

Он поискал трубу, из которой не шел дым, дополз до нее и нырнул в отверстие, никем не замеченный.

В ту же минуту в ратуше отворилось окошко и показалась голова жандарма.

С минуту голова оставалась неподвижной, подобно каменным изваяниям, украшающим здание; потом с глубоким разочарованным вздохом скрылась.

Спокойный и величавый, как закон, который он представлял, унтер-офицер прошел, не отвечая на вопросы, сквозь толпу и вернулся в гостиницу.

– Ну что? – спросили оба жандарма.

– А то, ребята, – отвечал унтер-офицер, – что разбойник, видно, в самом деле улизнул от нас рано утром; но мы пошлем людей в сторону Вилле-Котре и к Нуайону, обшарим лес и настигнем его непременно.

Не успел почтенный блюститель закона произнести с чисто унтер-офицерской интонацией это энергичное слово, как крики ужаса и отчаянный трезвон колокольчика огласили двор гостиницы.

– Ого, что это такое? – воскликнул жандарм.

– Видно, кто-то торопится не на шутку! – сказал хозяин. – Из какого номера звонят?

– Из третьего.

– Беги, Жан.

В это время крики и трезвон возобновились с удвоенной силой.

Слуга кинулся к лестнице.

– Нет, нет, – сказал жандарм, останавливая его, – тому, кто звонил, требуются, по-моему, не ваши услуги, а мы ему услужим сами. Кто стоит в третьем номере?

– Молодой человек, который приехал с сестрой сегодня ночью на почтовых и потребовал номер с двумя кроватями.

В третий раз раздался тревожный звонок.

– Сюда, господин комиссар! – крикнул унтер-офицер. – Следуйте за мной, в ногу!

– Постойте, – сказал хозяин, – в третий номер ведут две лестницы: наружная и внутренняя.

– Хорошо, – сказал унтер-офицер, – я пойду по внутренней, это по моей части. Карабины заряжены?

– Так точно.

– А вы наблюдайте за наружной лестницей и, если он вздумает бежать, стреляйте; это важный преступник, судя по телеграмме.

Унтер-офицер вместе с комиссаром тотчас же исчезли на внутренней лестнице, провожаемые гудением толпы, взволнованной его словами.

Вот что произошло.

Андреа очень ловко спустился по трубе на две трети, но здесь сорвался и, несмотря на то что упирался руками в стенки, спустился быстрее, а главное – с большим шумом, чем хотел.

Это было еще полбеды, будь комната пустая; но, к сожалению, она была обитаема.

Две женщины спали в одной кровати. Шум разбудил их.

Они посмотрели в ту сторону, откуда послышался шум, и увидели, как в отверстии камина показался молодой человек.

Страшный крик, отдавшийся по всему дому, испустила одна из этих женщин, блондинка, в то время как другая, брюнетка, ухватилась за звонок и подняла тревогу, дергая что было сил.

Злой рок явно преследовал Андреа.

– Ради бога! – воскликнул он, бледный, растерянный, даже не видя, к кому обращается. – Не зовите, не губите меня! Я не сделаю вам ничего дурного.

– Андреа, убийца! – крикнула одна из молодых женщин.

– Эжени! Мадемуазель Данглар! – прошептал Андреа, переходя от ужаса к изумлению.

– На помощь! На помощь! – закричала мадемуазель д'Армильи и, выхватив звонок из опустившихся рук Эжени, зазвонила еще отчаяннее.

– Спасите меня, за мной гонятся, – взмолился Андреа. – Сжальтесь, не выдавайте меня!

– Поздно, они уже на лестнице, – ответила Эжени.

– Так спрячьте меня. Скажите, что испугались без причины. Вы отведете подозрение и спасете мне жизнь.

Обе девушки, прижавшись друг к другу и закутавшись в одеяло, молча, со страхом и отвращением внимали этому молящему голосу.

– Хорошо, – сказала Эжени, – уходите той же дорогой, которой пришли; уходите, несчастный, мы ничего не скажем.

– Вот он! Вот он! Я его вижу! – крикнул голос за дверью.

Голос принадлежал унтер-офицеру, который заглянул в замочную скважину и увидел Андреа с умоляюще сложенными руками.

Сильный удар прикладом выбил замок, два других сорвали петли; выломанная дверь упала в комнату.

Андреа бросился к другой двери, выходившей на внутреннюю галерею, и открыл ее.

Стоявшие на галерее жандармы вскинули свои карабины.

Андреа замер на месте; бледный, слегка откинувшись назад, он судорожно сжимал в руке бесполезный нож.

– Бегите же! – крикнула мадемуазель д'Армильи, в сердце которой возвращалась жалость, по мере того как проходил страх. – Бегите!

– Или убейте себя! – сказала Эжени с видом весталки, подающей в цирке знак гладиатору прикончить поверженного противника.

Андреа вздрогнул и взглянул на девушку с улыбкой презрения, говорящей о том, что его низкой душе непонятны величайшие жертвы, которых требует неумолимый голос чести.

– Убить себя? – сказал он, бросая нож. – Зачем?

– Но вы же сами сказали, – воскликнула Эжени Данглар, – вас приговорят к смерти, вас казнят как последнего преступника!

– Пустяки, – отвечал Кавальканти, скрестив руки, – на то имеются друзья!

Унтер-офицер подошел к нему с саблей в руке.

– Ну, ну, – сказал Кавальканти, – спрячьте саблю, приятель, к чему столько шуму, раз я сдаюсь!

И он протянул руки. На него тотчас же надели наручники. Девушки с ужасом смотрели на это отвратительное превращение: у них на глазах человек сбрасывал личину светскости и снова становился каторжником.

Андреа обернулся к ним с наглой улыбкой.

– Не будет ли каких поручений к вашему отцу, мадемуазель Эжени? – сказал он. – Как видно, я возвращаюсь в Париж.

Эжени закрыла лицо руками.

– Не смущайтесь, – сказал Андреа, – я на вас не в обиде, что вы помчались за мной вдогонку... Ведь я был почти что вашим мужем.

И с этими словами Андреа вышел, оставив беглянок, сгоравших от стыда, подавленных пересудами присутствующих.

Час спустя, обе в женском платье, они садились в свою дорожную карету.

Чтобы оградить их от посторонних взглядов, ворота гостиницы заперли, но когда ворота открылись, им все-таки пришлось проехать

сквозь строй любопытных, которые, перешептываясь, провожали их насмешливыми взглядами.

Эжени опустила шторы, но, если она ничего не видела, она все слышала, и насмешки долетали до ее ушей.

– Отчего мир не пустыня! – вскричала она, бросаясь в объятия подруги; ее глаза сверкали той яростью, которая заставляла Нерона жалеть, что у римского народа не одна голова и что нельзя ее отсечь одним ударом.

На следующий день они прибыли в Брюссель и остановились в Отель де Фландр.

Андреа еще накануне был заключен в тюрьму Консьержери.

# II. Закон

Мы видели, как благополучно мадемуазель Данглар и мадемуазель д'Армильи совершили свой побег; все были слишком заняты своими собственными делами, чтобы думать о них.

Пока банкир, с каплями холодного пота на лбу, видя перед собой призрак близкого банкротства, выводит огромные столбцы своего пассива, мы последуем за баронессой, которая, едва придя в себя после сразившего ее удара, поспешила к своему постоянному советчику, Люсьену Дебрэ.

Баронесса с нетерпением ждала брака дочери, чтобы освободиться наконец от обязанности опекать ее, что, при характере Эжени, было весьма обременительно; по молчаливому соглашению, на котором держится семейная иерархия, мать может надеяться на беспрекословное послушание дочери лишь в том случае, если она неизменно служит ей примером благоразумия и образцом совершенства.

Надо сказать, что г-жа Данглар побаивалась проницательности Эжени и советов мадемуазель д'Армильи: от нее не ускользали презрительные взгляды, которыми ее дочь награждала Дебрэ. Эти взгляды, казалось ей, свидетельствовали о том, что Эжени известна тайна ее любовных и денежных отношений с личным секретарем министра. Однако будь баронесса более проницательна, она поняла бы, что Эжени ненавидит Дебрэ вовсе не за то, что в доме ее отца он служит камнем преткновения и поводом для сплетен; просто она причисляла его к категории двуногих, которых Диоген не соглашался называть людьми, а Платон иносказательно именовал животными о двух ногах и без перьев.

Таким образом, с точки зрения г-жи Данглар – а к сожалению, на этом свете каждый имеет свою точку зрения, мешающую ему видеть точку зрения другого, – было весьма печально, что свадьба дочери не состоялась, – не потому, что этот брак был подходящим, удачным и мог составить счастье Эжени, но потому, что этот брак дал бы г-же Данглар полную свободу.

Итак, как мы уже сказали, она бросилась к Дебрэ, Люсьен, как и весь Париж, присутствовал на торжестве у Дангларов и был свидетелем скандала. Он поспешно ретировался в клуб, где его друзья уже беседовали о событии, составлявшем в этот вечер предмет обсуждения для трех четвертей города-сплетника, именуемого столицей мира.

В то время как г-жа Данглар, вся в черном, под густой вуалью, поднималась по лестнице, ведущей в квартиру Дебрэ, несмотря на уверения швейцара, что его нет дома, Люсьен спорил с приятелем, старавшимся доказать ему, что после разразившегося скандала он, как друг дома, обязан жениться на мадемуазель Эжени Данглар и на ее двух миллионах.

Дебрэ слабо защищался, как человек, который вполне готов дать себя убедить; эта мысль не раз приходила в голову ему самому; но, зная Эжени, зная ее независимый и надменный нрав, он время от времени восставал, утверждая, что этот брак невозможен, и вместе с тем невольно дразнил себя грешной мыслью, которая, если верить моралистам, вечно обитает даже в самом честном и непорочном человеке, прячась в глубине его души, как сатана за крестом. Чаепитие, игра, беседа – как мы видим, занимательна, потому что она касалась столь важных вопросов, – продолжались до часу ночи.

Тем временем г-жа Данглар, проведенная лакеем Люсьена в маленькую зеленую гостиную, ожидала, трепещущая, не снимая вуали, среди цветов, которые она прислала утром и которые Дебрэ, к чести его будь сказано, разместил и расправил с такой заботливостью, что бедная женщина простила ему его отсутствие.

Без двадцати двенадцать г-жа Данглар, устав напрасно ждать, взяла фиакр и поехала домой.

Дамы известного круга имеют то общее с солидно устроившимися гризетками, что они никогда не возвращаются домой позже полуночи.

Баронесса вернулась к себе с такими же предосторожностями, с какими Эжени только что покинула отцовский дом; с бьющимся сердцем она неслышно поднялась в свою комнату, смежную, как мы знаем, с комнатой Эжени.

Она так боялась всяких пересудов. Она так твердо верила – и по крайней мере за это она была достойна уважения – в чистоту дочери и в ее верность родительскому дому!

Вернувшись к себе, она подошла к дверям Эжени и прислушалась, но, не уловив ни малейшего звука, попыталась войти; дверь была заперта. Госпожа Данглар решила, что Эжени, устав от тягостных волнений этого вечера, легла в постель и заснула.

Она позвала горничную и расспросила ее.

– Мадемуазель Эжени, – отвечала горничная, – вернулась в свою комнату с мадемуазель д'Армильи; они вместе пили чай, а затем отпустили меня, сказав, что я им больше не нужна.

С тех пор горничная не выходила из буфетной и думала, как и все, что обе девушки у себя в комнате.

Таким образом, г-жа Данглар легла без тени какого-либо подозрения; слова горничной рассеяли ее тревогу о дочери.

Чем больше она думала, тем яснее для нее становились размеры катастрофы; это был уже не скандал, но разгром; не позор, но бесчестие.

Тогда г-жа Данглар невольно вспомнила, как она была безжалостна к Мерседес, которую из-за мужа и сына недавно постигло такое же несчастье.

«Эжени погибла, – сказала она себе, – и мы тоже. Эта история в том виде, как ее будут преподносить, погубит нас, потому что в нашем обществе смех наносит страшные, неизлечимые раны».

– Какое счастье, – прошептала она, – что бог наделил Эжени таким странным характером, который всегда так пугал меня!

И она подняла глаза к небу, благодаря провидение, которое неисповедимо направляет грядущее и недостаток, даже порок обращает на благо человеку.

Затем ее мысль преодолела пространство, как птица, распластав крылья, перелетает пропасть, и остановилась на Кавальканти.

Этот Андреа оказался негодяем, вором, убийцей; и все же чувствовалось, что он недурно воспитан; он появился в свете как

обладатель крупного состояния, покровительствуемый уважаемыми людьми.

Как разобраться в этой путанице? Кто поможет найти выход из этого ужасного положения?

Дебрэ, к которому она бросилась в первом порыве как женщина, ищущая поддержки у человека, которого она любит, мог только дать ей совет; нужно было обратиться к кому-то более могущественному.

Тогда баронесса вспомнила о Вильфоре.

Вильфор распорядился арестовать Кавальканти; Вильфор безжалостно внес смятение в ее семью, словно он был ей совсем чужой.

– Нет, – поправила она себя, – королевский прокурор не бессердечный человек – он представитель правосудия, раб своего долга; честный и стойкий друг, который хотя и безжалостной, но уверенной рукой нанес скальпелем удар по гнойнику; он не палач, а хирург; он сделал все, чтобы честь Дангларов не пострадала от позора, которым покрыл себя этот погибший юноша, представленный ими обществу в качестве будущего зятя.

Раз Вильфор, друг семьи Данглар, действовал так, то нельзя было предположить, чтоб он мог что-либо знать заранее и потворствовать происка м Андреа.

Таким образом, поведение Вильфора начало представляться баронессе в новом свете, и она его истолковала в желательном для себя смысле.

Но на этом королевский прокурор должен остановиться; завтра она поедет к нему и добьется от него если не нарушения служебного долга, то, во всяком случае, всей возможной снисходительности.

Баронесса воззовет к прошлому; она воскресит его воспоминания; она будет умолять во имя грешной, но счастливой поры их жизни; Вильфор замнет дело или хотя бы даст Кавальканти возможность бежать – для этого ему достаточно обратить взор в другую сторону: карая преступление, он поразит только тень преступника заочным приговором.

Успокоившись на этом, она заснула.

На следующий день, в десять часов утра, она встала и, не вызывая горничной, никому не показываясь, оделась с той же простотой, как и накануне, вышла из дому, дошла до улицы Прованс, наняла фиакр и велела везти себя к дому Вильфора.

Уже целый месяц этот проклятый дом имел зловещий вид чумного барака; часть комнат была закрыта снаружи и изнутри, ставни открывались лишь на короткое время, чтобы впустить свежий воздух, и тогда в окне появлялась испуганная голова лакея; потом окно захлопывалось, как могильная плита, и соседи перешептывались:

– Неужели сегодня опять вынесут гроб из дома королевского прокурора?

Госпожа Данглар содрогнулась при виде этого мрачного дома; она вышла из фиакра; колени ее подгибались, когда она позвонила у запертых ворот.

Только после того как она в третий раз дернула колокольчик, чей зловещий звук словно вторил всеобщей печали, появился привратник и чуть-чуть приоткрыл калитку.

Он увидел женщину, светскую даму, элегантно одетую, и, несмотря на это, ворота оставались едва приотворенными.

– Да откройте же! – сказала баронесса.

– Раньше скажите, кто вы, сударыня? – спросил привратник.

– Кто я? Да вы меня отлично знаете.

– Мы теперь никого не знаем, сударыня.

– Да вы с ума сошли, любезный! – воскликнула баронесса.

– От кого вы?

– Нет, это уж слишком!

– Сударыня, простите, но так приказано; ваше имя?

– Баронесса Данглар. Вы меня сто раз видели.

– Возможно, сударыня; а теперь скажите, что вам угодно?

– Какая дерзость! Я пожалуюсь господину де Вильфору.

– Сударыня, это не дерзость, это осторожность: сюда входят только по записке господина д’Авриньи или после доклада господину королевскому прокурору.

– Так вот, у меня как раз дело к королевскому прокурору.

– Спешное дело?

– Очевидно, раз я все еще здесь. Но довольно: вот моя карточка, передайте ее вашему хозяину.

– Вы подождете, пока я вернусь?

– Да, идите.

Привратник закрыл ворота, оставив г-жу Данглар на улице.

Правда, баронесса ждала недолго; вскоре ворота открылись настолько, что она могла войти; как только она вошла, ворота за ней захлопнулись.

Войдя во двор, привратник, не спуская глаз с ворот, вынул из кармана свисток и свистнул.

На крыльце показался лакей Вильфора.

– Сударыня, извините этого честного малого, – сказал он, идя навстречу баронессе, – но так ему приказано, и господин де Вильфор поручил мне сказать вам, что он не мог поступить иначе.

Во дворе стоял впущенный с теми же предосторожностями поставщик, и один из слуг осматривал его товары.

Баронесса взошла на крыльцо; она чувствовала себя глубоко потрясенной этой скорбью, которая усугубляла ее собственную печаль, и в сопровождении лакея, ни на миг не терявшего ее из виду, вошла в кабинет королевского прокурора.

Как ни была озабочена г-жа Данглар тем, что привело ее сюда, но встреча, оказанная ей всей этой челядью, показалась ей до того возмутительной, что она начала с жалоб.

Но Вильфор медленно поднял голову и посмотрел на нее с такой грустной улыбкой, что жалобы замерли у нее на устах.

– Простите моим слугам страх, который я не могу поставить им в вину; заподозренные, они сами стали подозрительными.

Госпожа Данглар часто слышала в обществе разговоры о паническом страхе, царившем в доме Вильфора, но она никогда не поверила бы, что это чувство могло дойти до такой крайности, если бы не убедилась в этом воочию.

– Так вы тоже несчастны? – спросила она.

– Да, сударыня, – ответил королевский прокурор.

– И вам жаль меня?

– Искренне жаль, сударыня.

– Вы понимаете, почему я пришла?

– Вы пришли поговорить со мной о том, что случилось в вашем доме?

– Это ужасное несчастье, сударь.

– То есть неприятность.

– Неприятность! – воскликнула баронесса.

– Сударыня, – отвечал королевский прокурор с невозмутимым своим спокойствием, – я теперь называю несчастьем только то, что непоправимо.

– Неужели вы думаете, что это забудется?

– Все забывается, сударыня; ваша дочь выйдет замуж завтра, если не сегодня, через неделю, если не завтра. А что касается жениха мадемуазель Эжени, то я не думаю, чтобы вы о нем жалели.

Госпожа Данглар посмотрела на Вильфора, изумленная этим почти насмешливым спокойствием.

– К другу ли я пришла? – спросила она со скорбным достоинством.

– Вы же знаете, что да, – ответил Вильфор, и щеки его покрылись легким румянцем.

Ведь это заверение напоминало об иных событиях, чем те, которые волновали обоих в эту минуту.

– Тогда будьте сердечнее, дорогой Вильфор, – сказала баронесса, – обращайтесь со мной, как друг, а не как судья, я глубоко несчастна, не говорите мне, что я должна быть веселой.

Вильфор поклонился.

– За последние три месяца у меня создалась эгоистическая привычка, сударыня, – сказал он. – Когда я слышу о несчастьях, я вспоминаю свои собственные несчастья, это сравнение приходит мне на ум даже помимо моей воли. Вот почему рядом с моими несчастьями ваши несчастья кажутся мне простыми неприятностями; вот почему рядом с моим

трагическим положением ваше положение представляется мне завидным; но вас это сердит, оставим это. Итак, вы говорили, сударыня?..

– Я пришла узнать у вас, мой друг, – продолжала баронесса, – что ждет этого самозванца.

– Самозванца? – повторил Вильфор. – Я вижу, сударыня, вы, как нарочно, то преуменьшаете, то преувеличиваете. Андреа Кавальканти, или вернее, Бенедетто – самозванец? Вы ошибаетесь, сударыня: Бенедетто – самый настоящий убийца.

– Сударь, я не спорю против вашей поправки; но чем суровее вы покараете этого несчастного, тем тяжелее это отзовется на нашей семье. Забудьте о нем ненадолго, не преследуйте его, дайте ему бежать.

– Поздно, сударыня, я уже отдал приказ.

– В таком случае, если его арестуют... Вы думаете, его арестуют?

– Я надеюсь.

– Если его арестуют (а я слышу со всех сторон, что тюрьмы переполнены), оставьте его в тюрьме.

Королевский прокурор покачал головой.

– Хотя бы до тех пор, пока моя дочь не выйдет замуж! – воскликнула баронесса.

– Невозможно, сударыня; правосудие имеет свой порядок.

– Даже для меня? – сказала баронесса полушутя, полусерьезно.

– Для всех, – ответил Вильфор, – и для меня, как для других.

– Да... – сказала баронесса, не поясняя словами той мысли, которая вызвала это восклицание.

Вильфор посмотрел на нее своим испытующим взглядом.

– Я знаю, что вы хотите сказать, – продолжал он, – вы намекаете на распространившиеся по городу ужасные слухи, что смерть, которая вот уже третий месяц облекает в траур мой дом, смерть, от которой чудом спаслась Валентина, – не случайная смерть.

– Я совсем об этом не думала, – поспешно сказала г-жа Данглар.

– Нет, вы об этом думали, сударыня, и это справедливо, потому что вы не могли не подумать об этом и не сказать себе: ты, карающий

преступления, отвечай: почему вокруг тебя преступления совершаются безнаказанно?

Баронесса побледнела.

– Вы себе это говорили, не правда ли, сударыня?

– Да, сознаюсь.

– Я вам отвечу.

Вильфор пододвинул свое кресло к стулу г-жи Данглар; затем, опершись обеими руками о письменный стол, голосом, глуше обычного, заговорил:

– Есть преступления, которые остаются безнаказанными, потому что преступники неизвестны, и вместо виновного мог бы пострадать невинный. Но как только эти преступники будут обнаружены, – и Вильфор протянул руку к большому распятию, висевшему против его стола, – как только они будут обнаружены, – повторил он, – богом живым клянусь, кто бы они ни были, они умрут! Теперь, после клятвы, которую я дал и которую я сдержу, осмельтесь просить у меня пощады этому негодяю!

– Но уверены ли вы, сударь, – возразила г-жа Данглар, – что он такой уж преступник, как это говорят?

– Вот его дело: Бенедетто приговорен к пяти годам каторги за подлог в шестнадцать лет, – как видите, молодой человек подавал надежды, – потом побег, потом убийство.

– Да кто он... этот несчастный?

– Кто знает! Бродяга, корсиканец.

– Никто его не признал?

– Никто, его родители неизвестны.

– А этот человек, который приезжал из Лукки?

– Такой же мошенник, как и он; его сообщник, быть может.

Баронесса умоляюще сложила руки.

– Вильфор! – сказала она своим самым нежным и вкрадчивым голосом.

– Ради бога, сударыня, – отвечал королевский прокурор с твердостью, даже несколько сухо, – никогда не просите у меня пощады виновному!

Кто я? Закон. Разве у закона есть глаза, чтобы видеть вашу печаль? Разве у закона есть уши, чтобы слышать ваш нежный голос? Разве у закона есть память, чтобы отозваться на ваши кроткие мысли? Нет, сударыня, закон повелевает, и когда закон повелел, он разит.

Вы мне скажете, что я живое существо, а не кодекс; человек, а не книга. Посмотрите на меня, сударыня, посмотрите вокруг меня; разве люди видели во мне брата? Они любили меня? Щадили меня? Просил ли кто-нибудь пощады Вильфору и даровал ли ему кто-нибудь пощаду? Нет, еще раз нет! Гонимый, вечно гонимый!

А вы, женщина, сирена, смотрите на меня своим чарующим взором, который напоминает мне то, из-за чего я должен краснеть. Да, краснеть за то, о чем вы знаете, и, быть может, не только за это.

Но с тех пор как сам я пал ниже, чем другие, быть может, – с тех пор я срываю с людей одежды, чтобы найти гнойник, и нахожу его всегда; скажу больше: я нахожу его с радостью, с восторгом, этот знак человеческой слабости или человеческой злобы!

Ибо каждый человек и каждый преступник, которого я караю, кажется мне живым доказательством, лишним доказательством того, что я не гнусное исключение! Увы! Все люди злы, сударыня; докажем это и поразим злодея.

Вильфор произнес последние слова с исступленной яростью, почти свирепо.

– Но вы говорите, – возразила г-жа Данглар, делая последнюю попытку, – что этот молодой человек – бродяга, сирота, всеми брошенный?

– Тем хуже; вернее, тем лучше. Провидение сделало его таким, чтобы некому было оплакивать его.

– Вы нападаете на слабого, сударь!

– Убийца – слабый?

– Его позор пятнает мой дом.

– А разве мой дом не отмечен смертью?

– Вы безжалостны к другим, – воскликнула баронесса. – Так запомните мои слова: к вам тоже будут безжалостны.

– Пусть так! – сказал Вильфор, угрожающим жестом простирая руки к небу.

– Хотя бы отложите дело этого несчастного, если его арестуют, до следующей сессии; пройдет полгода, и все забудется.

– Нет, – сказал Вильфор, – у меня еще пять дней впереди; следствие закончено; пяти дней для меня больше чем достаточно; и разве вы не понимаете, сударыня, что и мне тоже надо забыться? Когда я работаю, а я работаю день и ночь, бывают минуты, что я ничего не помню, а когда я ничего не помню, я счастлив, как счастливы мертвецы; но все же это лучше, чем страдание.

– Но ведь он скрылся; дайте ему убежать. Бездействие – самый легкий способ проявить милосердие.

– Ведь я вам сказал, что уже поздно; телеграф уже на рассвете передал приказ, и теперь...

– Сударь, – сказал входя камердинер, – депеша из министерства внутренних дел.

Вильфор схватил конверт и торопливо его вскрыл.

Госпожа Данглар содрогнулась от ужаса, Вильфор затрепетал от радости.

– Арестован! – воскликнул Вильфор. – Его задержали в Компьене; все кончено.

Госпожа Данглар встала; лицо ее было бледно.

– Прощайте, сударь, – холодно сказала она.

– Прощайте, сударыня, – отвечал королевский прокурор, почти радостно провожая ее до дверей.

Потом он вернулся к письменному столу.

– Так! – сказал он, ударяя рукой по депеше. – У меня есть подлог, три кражи, два поджога, мне не хватало только убийства, вот и оно; сессия будет отличная.

# III. Видение

Как говорил королевский прокурор г-же Данглар, Валентина все еще была больна.

Обессиленная, она не вставала с постели; о бегстве Эжени, об аресте Андреа Кавальканти, вернее – Бенедетто, и о предъявленном ему обвинении в убийстве она узнала у себя в комнате, из уст г-жи де Вильфор.

Но Валентина была так слаба, что рассказ этот не произвел на нее того впечатления, которое, вероятно, произвел бы, будь она здорова.

К странным мыслям и мимолетным призракам, рождавшимся в ее больном мозгу или проносящимся перед ее глазами, только прибавилось еще несколько неясных мыслей, несколько смутных образов, да и те вскоре изгладились, вытесненные собственными ощущениями.

Днем Валентину еще связывало с действительностью присутствие Нуартье, который требовал, чтобы его кресло переносили в комнату внучки, и там проводил весь день, не спуская с больной отеческого взора; Вильфор, вернувшись из суда, проводил час или два с отцом и дочерью.

В шесть часов Вильфор удалялся к себе в кабинет; в восемь часов приходил д’Авриньи, приносил сам микстуру, приготовленную для Валентины на ночь, затем уносили Нуартье.

Сиделка, приглашенная доктором, заменяла всех и уходила лишь в десять или одиннадцать часов, когда Валентина засыпала.

Уходя, она отдавала ключ от комнаты Валентины самому Вильфору, так что в комнату больной можно было пройти только из спальни г-жи де Вильфор, через комнату маленького Эдуарда.

Каждое утро Моррель приходил к Нуартье справиться о здоровье Валентины, как ни странно, с каждым днем он казался все спокойнее.

Прежде всего Валентина, хотя она все еще была в сильном нервном возбуждении, чувствовала себя с каждым днем лучше; а потом разве

Монте-Кристо не сказал ему, когда он прибежал к нему сам не свой, что если через два часа Валентина не умрет, то она спасена?

И вот Валентина жива, и уже прошло четыре дня.

Нервное возбуждение, о котором мы говорили, не покидало Валентину даже во сне, или, вернее, в той дремоте, которая вечером овладевала ею; тогда, в ночной тишине, при тусклом свете ночника, который теплился на камине, под алебастровым колпачком, перед нею проходили тени, населяющие комнаты больных и колеблемые порывистыми взмахами незримых крыльев лихорадки.

Тогда ей чудились то мачеха с грозно сверкающим взором, то Моррель, простирающий к ней руки, то люди, почти чужие ей, как граф Монте-Кристо; даже мебель, казалось ей в бреду, оживала и двигалась по комнате. И так продолжалось часов до трех ночи, когда ею овладевал свинцовый сон, не покидавший ее уже до утра.

Вечером того дня, когда Валентина узнала о бегстве Эжени и об аресте Бенедетто, после ухода Вильфора, д'Авриньи и Нуартье, как только на церкви Св. Филиппа Рульского пробило одиннадцать, сиделка поставила возле больной приготовленное питье и, затворив дверь, направилась в буфетную, где, содрогаясь, слушала рассказы о мрачных событиях, третий месяц волновавших умы прислуги королевского прокурора. И в это самое время в тщательно запертой комнате Валентины разыгралась неожиданная сцена.

После ухода сиделки прошло около десяти минут.

Валентина уже час лежала в лихорадке, возвращавшейся к ней каждую ночь, и в ее мозгу, независимо от ее воли, продолжалась упорная, однообразная и неумолимая работа, беспрестанно и бесплодно воспроизводя все те же мысли и порождая все те же образы.

И вдруг в таинственном, неверном свете ночника Валентине почудилось, что книжный шкаф, стоявший в углублении стены у камина, медленно и бесшумно открылся.

В другое время Валентина схватилась бы за звонок и позвала бы на помощь, но она была в полузабытьи, и ничто ее не удивляло.

Она понимала, что видения, окружавшие ее, – порождение ее бреда; ведь утром от всех этих ночных призраков, исчезавших с первыми лучами солнца, не оставалось и следа.

Из шкафа вышел человек.

Валентина так привыкла к лихорадочным видениям, что не испугалась; она только широко раскрыла глаза, надеясь увидеть Морреля.

Видение приблизилось к кровати, затем остановилось, словно прислушиваясь.

В этот миг луч ночника скользнул по лицу ночного посетителя.

– Нет, не он, – прошептала она.

И, уверенная в том, что это сон, она стала ждать, чтобы этот человек, как бывает во сне, исчез или принял другой облик.

Она прощупала себе пульс и, слыша его частые удары, вспомнила, что эти назойливые видения исчезают, если выпить немного микстуры; освежающий напиток, приготовленный доктором, которому Валентина жаловалась на лихорадку, понижал жар и прояснял сознание; всякий раз, когда она его пила, ей на некоторое время становилось легче.

Валентина протянула дрожащую от слабости руку, чтобы взять стакан с хрустального блюдца; но видение быстро шагнуло к кровати и остановилось так близко от Валентины, что она услышала его дыхание и даже почувствовала прикосновение его руки.

Никогда еще призраки, посещавшие Валентину, не были столь похожи на действительность; она начала понимать, что все это наяву, что рассудок ее не помрачен, и содрогнулась.

Прикосновение, которое она почувствовала, остановило ее протянутую руку.

Валентина медленно отняла ее.

Тогда видение, от которого она не могла отвести глаз и которое, впрочем, внушало ей скорее доверие, чем страх, взяло стакан, подошло к ночнику и посмотрело на питье, словно определяя его прозрачность и чистоту.

Но того беглого исследования, по-видимому, оказалось достаточно.

Этот человек, или, вернее, призрак, ибо он ступал так легко, что ковер совершенно заглушал его шаги, зачерпнул ложкой немного напитка и проглотил.

Валентина смотрела на происходящее с глубочайшим изумлением.

Она все еще надеялась, что видение сейчас исчезнет и уступит место другому, но таинственный гость, вместо того чтобы рассеяться, как тень, подошел к ней и, подавая ей стакан, сказал взволнованным голосом:

– Теперь можете пить!..

Валентина вздрогнула.

В первый раз призрак говорил с ней, как живой человек.

Она хотела крикнуть.

Человек приложил палец к губам.

– Граф Монте-Кристо! – прошептала она.

По испугу, отразившемуся в глазах девушки, по дрожи ее рук, по тому, как она поспешно натянула на себя одеяло, видно было, что последние сомнения готовы отступить перед очевидностью; вместе с тем присутствие Монте-Кристо у нее в комнате, в такой час, его таинственное, фантастическое, необъяснимое появление через стену казалось невозможным ее потрясенному рассудку.

– Не пугайтесь, не зовите, – сказал граф, – пусть в сердце вашем не остается ни тени подозрения, ни искры беспокойства: человек, которого вы видите перед собой (вы правы, Валентина, на сей раз это не призрак), – самый нежный отец и самый почтительный друг, о каком вы могли бы мечтать.

Валентина не отвечала; этот голос, подтверждавший, что перед ней не призрак, а живой человек, внушал ей такой страх, что она боялась присоединить к нему свой голос; но ее испуганный взгляд говорил: если ваши намерения чисты, зачем вы здесь?

Со своей необычайной проницательностью Монте-Кристо мгновенно понял все, что происходило в сердце девушки.

– Послушайте меня, – сказал он, – вернее, посмотрите на меня, на мои воспаленные глаза, на мое лицо, еще более бледное, чем всегда;

четыре ночи я ни на миг не сомкнул глаз, четыре ночи я вас сторожу, оберегаю, охраняю для вашего Максимилиана.

Радостный румянец залил щеки больной; имя, произнесенное графом, уничтожило последнюю тень недоверия.

– Максимилиан!.. – повторяла Валентина, так сладостно ей было произносить это имя. – Максимилиан! Так он вам во всем признался?

– Во всем. Он сказал мне, что ваша жизнь – его жизнь, и я обещал ему, что вы будете жить.

– Вы ему обещали, что я буду жить?

– Да.

– Вы говорили, что охраняете, оберегаете меня. Разве вы доктор?

– Да, и поверьте, лучшего вам не могло бы послать небо.

– Вы говорите, что не спали ночей, – сказала Валентина. – Где же вы были? Я вас не видела.

Граф указал рукой на книжный шкаф.

– За этой дверью, – сказал он, – она выходит в соседний дом, который я нанял.

Валентина отвернулась, вся вспыхнув от стыда и негодования.

– Сударь, – сказала она с неподдельным ужасом, – ваш поступок – беспримерное безумие, а ваше покровительство весьма похоже на оскорбление.

– Валентина, – сказал он, – в эти долгие бессонные ночи единственное, что я видел, это – кто к вам входит, какую пищу вам готовят, какое питье вам подают; и когда питье казалось мне опасным, я входил, как вошел сейчас, опорожнял ваш стакан и заменял яд благотворным напитком, который вместо смерти, вам уготованной, вливал в вас жизнь.

– Яд! Смерть! – воскликнула Валентина, думая, что она опять во власти лихорадочного бреда. – О чем вы говорите, сударь?

– Тише, дитя мое, – сказал Монте-Кристо, снова приложив палец к губам, – да, я сказал: яд, да, я сказал: смерть; и я повторяю: смерть. Но выпейте это. – Граф вынул из кармана флакон с красной жидкостью и

налил несколько капель в стакан. – Выпейте это и потом ничего уже больше не пейте всю ночь.

Валентина протянула руку; но, едва коснувшись стакана, испуганно отдернула ее.

Монте-Кристо взял стакан и, отпив половину, подал его Валентине, которая, улыбнувшись, проглотила остальное.

– Я узнаю вкус моего ночного напитка, – сказала она. – Он всегда освежает мне грудь и успокаивает ум. Благодарю вас, сударь.

– Вот как вы прожили четыре дня, Валентина, – сказал граф. – А как жил я? Какие жестокие часы я здесь провел! Какие ужасные муки я испытывал, когда видел, как наливают в ваш стакан смертоносный яд! Как я дрожал, что вы его выпьете прежде, чем я успею выплеснуть его в камин!

– Вы говорите, сударь, – продолжала Валентина в невыразимом ужасе, – что вы пережили тысячу мук, видя, как наливают в мой стакан смертоносный яд? Но тогда, значит, вы видели и того, кто его наливал?

– Да.

Валентина приподнялась на постели; и, прикрывая грудь, бледнее снега, вышитой сорочкой, еще влажной от холодного пота лихорадки, спросила:

– Вы видели?

– Да, – повторил граф.

– Это ужасно, сударь; вы хотите заставить меня поверить в какие-то адские измышления. Как, в доме моего отца, в моей комнате, на ложе страданий, меня продолжают убивать? Уйдите, сударь, вы смущаете мою совесть, вы клевещете на божественное милосердие, это немыслимо, этого быть не может!

– Разве вы первая, кого разит эта рука, Валентина? Разве вы не видели, как погибли маркиз де Сен-Меран, маркиза де Сен-Меран, Барруа? Разве не погиб бы и господин Нуартье, если бы то лекарство, которым его пользуют уже три года, не предохраняло его, побеждая яд привычкой к яду?

– Боже мой, – сказала Валентина, – так вот почему дедушка последнее время требует, чтобы я пила все то, что он пьет?

– И у этих напитков горький вкус, как у сушеной апельсиновой корки?

– Да, да!

– Теперь мне все понятно! – сказал Монте-Кристо. – Он знает, что здесь отравляют, и, может быть, даже знает кто. Он начал вас приучать – вас, свое любимое дитя, – к убийственному снадобью, и действие этого снадобья было ослаблено. Вот почему вы еще живы, – чего я никак не мог себе объяснить, – после того как четыре дня тому назад вас отравили ядом, который обычно беспощаден.

– Но кто же убийца, кто отравитель?

– Теперь я вас спрошу: видели вы, чтобы кто-нибудь входил ночью в вашу комнату?

– Да. Часто мне казалось, что я вижу какие-то тени; вижу, как тени подходят, удаляются, исчезают; но я их принимала за видения, и сегодня, когда вы вошли, мне долго казалось, что я брежу или вижу сон.

– Так вы не знаете, кто посягает на вашу жизнь?

– Нет, – сказала Валентина, – кто может желать моей смерти?

– Сейчас узнаете, – сказал Монте-Кристо, прислушиваясь.

– Каким образом? – спросила Валентина, со страхом озираясь по сторонам.

– Потому что сейчас у вас нет лихорадки, нет бреда, потому что сознание ваше прояснилось, потому что бьет полночь, а это час убийц.

– Господи! – сказала Валентина, проводя рукой по влажному лбу.

Медленно и уныло пробило полночь, и каждый удар молотом падал на сердце девушки.

– Валентина, – продолжал граф, – соберите все свои силы, подавите в груди биение сердца, сдержите крик в груди, притворитесь спящей, и вы увидите.

Валентина схватила графа за руку.

– Я слышу шум, – сказала она, – уходите!

– Прощайте, или, вернее, до свидания, – отвечал граф.

И с грустной, отеческой улыбкой, от которой сердце девушки преисполнилось благодарности, граф неслышными шагами направился к нише, где стоял шкаф.

Но прежде чем закрыть за собой дверцу, он обернулся к Валентине.

– Ни движения, ни слова, – сказал он, – пусть думают, что вы спите; иначе вас могут убить раньше, чем я подоспею.

И, произнеся это страшное наставление, граф исчез за дверью, бесшумно закрывшейся за ним.

# IV. Локуста

Валентина осталась одна; двое других часов, отставáвших от часов Филиппа Рульского, тоже друг за другом пробили полночь. Потом все затихло, и только изредка доносился далекий стук колес.

Все внимание Валентины сосредоточилось на часах в ее комнате, маятник которых отбивал секунды.

Она принялась считать секунды и заметила, что ее сердце бьется вдвое скорее.

Но она все еще сомневалась; кроткая Валентина не могла поверить, что кто-то желает ее смерти. За что? С какой целью? Что она сделала дурного, чтобы нажить себе врагов?

Она не могла и думать о сне.

Единственная страшная мысль терзала ее: на свете есть человек, который пытался ее убить и опять попытается это сделать.

Что, если на этот раз, видя, что яд бессилен, убийца, как сказал Монте-Кристо, прибегнет к стали? Что, если граф не успеет помешать ему? Что, если это ее последние минуты, и она больше не увидит Морреля?

При этой мысли Валентина похолодела от ужаса и была готова позвонить и позвать на помощь.

Но ей казалось, что сквозь дверь книжного шкафа она видит глаза Монте-Кристо; она не могла не думать об этих глазах и не знала, поможет ли ей когда-нибудь чувство благодарности забыть о тягостном стыде, вызванном нескромной заботливостью графа.

Так прошло двадцать минут, двадцать вечностей; потом еще десять минут; наконец, часы зашипели и громко ударили один раз.

В этот миг еле слышное поскрипывание ногтем о дверцу шкафа дало знать Валентине, что граф бодрствует и советует ей бодрствовать тоже.

И сейчас же с противоположной стороны, где была комната Эдуарда, скрипнул паркет; Валентина насторожилась и замерла, затаив дыхание; щелкнула ручка, и дверь отворилась. Валентина едва успела откинуться на подушку и прикрыть локтем лицо.

Она вся дрожала, сердце ее сжималось от невыразимого ужаса. Он ждала.

Кто-то подошел к кровати и коснулся полога.

Валентина собрала все свое мужество и начала дышать ровно, как спящая.

– Валентина! – тихо позвал чей-то голос.

Девушка вся затрепетала, но не ответила.

– Валентина! – повторил голос.

Молчание: Валентина обещала графу не просыпаться.

И Валентина услышала почти неуловимый звук жидкости, льющейся в стакан, из которого она недавно пила.

Тогда она осмелилась приоткрыть веки и взглянуть из-под руки.

Женщина в белом пеньюаре наливала в ее стакан какую-то жидкость из флакона.

В это короткое мгновение Валентина, вероятно, задержала дыхание или шевельнулась; женщина испуганно остановилась и нагнулась к постели, проверяя, спит ли она. Это была г-жа де Вильфор.

Валентина, узнав мачеху, так сильно задрожала, что дрожь передалась кровати.

Госпожа де Вильфор прижалась к стене и, спрятавшись за полог, молча, внимательно следила за малейшим движением Валентины.

Девушка вспомнила предостережение Монте-Кристо; ей показалось, что в руке мачехи блеснуло лезвие длинного, острого ножа.

Тогда Валентина огромным усилием воли заставила себя закрыть глаза; и это движение, такое несмелое и обычно столь нетрудное, оказалось почти непосильным; любопытство, жажда узнать правду не давали векам сомкнуться.

Между тем г-жа де Вильфор, успокоенная тишиной, в которой опять слышалось ровное дыхание Валентины, решила, что девушка спит. Она снова протянула руку и, полускрытая пологом, сдвинутым к изголовью кровати, вылила в стакан Валентины остаток жидкости из флакона.

Затем она удалилась так тихо, что Валентина не слышала ее движений.

Она только видела, как исчезла рука, изящная округлая рука красивой двадцатипятилетней женщины, льющая смерть.

Невозможно выразить, что пережила Валентина за те полторы минуты, которые провела в ее комнате г-жа де Вильфор.

Слабое царапанье по шкафу вывело девушку из оцепенения.

Она с усилием приподняла голову.

Дверца бесшумно отворилась, и снова появился граф Монте-Кристо.

– Что же, – спросил он, – вы еще сомневаетесь?

– Боже мой! – прошептала Валентина.

– Вы видели?

– Да!

– Вы узнали?

Валентина застонала.

– Да, – сказала она, – но я не могу поверить.

– Вы предпочитаете умереть и тем самым убить Максимилиана?

– Боже мой, боже мой! – повторяла Валентина; ей казалось, что она сходит с ума. – Но разве я не могу уйти из дому, убежать?..

– Валентина, рука, которая вас преследует, настигнет вас повсюду; золото купит ваших слуг, и смерть будет ждать вас во всех обличьях: в глотке воды из ручья, в плоде, сорванном с дерева.

– Но ведь вы сами сказали, что дедушка приучил меня к яду.

– Да, к одному яду, и притом в малой дозе; но яд переменят или усилят дозу.

Он взял стакан и омочил губы.

– Так и есть! – сказал он. – Вас хотят отравить уже не бруцином, а простым наркотиком. Я узнаю вкус спирта, в котором его растворили. Если бы вы выпили то, что госпожа де Вильфор налила сейчас в этот стакан, Валентина, вы бы погибли!

– Господи! – воскликнула девушка. – Но за что она меня преследует?

– Неужели вы так чисты сердцем, так далеки от всякого зла, что еще не поняли?

– Нет, – сказала Валентина, – я ей ничего не сделала.

– Да ведь вы богаты, Валентина, у вас двести тысяч ливров годового дохода, и эти двести тысяч вы отнимаете у ее сына.

– Но как же это? Ведь это не ее деньги, они достались мне от моих родных.

– Разумеется. Вот почему и умерли маркиз и маркиза де Сен-Меран: нужно было, чтобы вы получили после них наследство; вот почему, в тот день, когда господин Нуартье сделал вас своей наследницей, он был приговорен; вот почему и вы, в свою очередь, должны умереть, Валентина; тогда ваш отец наследует после вас, а ваш брат, став единственным сыном, наследует после отца.

– Эдуард, бедный мальчик! И все эти преступления совершаются из-за него!

– Наконец вы поняли!

– Боже, только бы все это не пало на него!

– Вы ангел, Валентина.

– А дедушку, значит, пощадили?

– Решили, что после вашей смерти его имущество все равно перейдет к вашему брату, если только дед не лишит его наследства, и что в конце концов преступление это было бы бесполезно, а потому особенно опасно.

– И в уме женщины мог зародиться такой план! Боже, боже мой!

– Вспомните Перуджу, виноградную беседку в Почтовой гостинице и человека в коричневом плаще, которого ваша мачеха расспрашивала об аква-тофана. Уже тогда этот адский замысел зрел в ее мозгу.

– Ах, граф, – воскликнула девушка, заливаясь слезами, – если так, я обречена!

– Нет, Валентина, нет! Я все предвидел, и ваш враг побежден, ибо он разгадан; нет, вы будете жить, Валентина, жить – чтобы любить и быть любимой; чтобы стать счастливой и дать счастье благородному сердцу; но для этого вы должны всецело довериться мне.

– Приказывайте, граф, что мне делать?

– Принять то, что я вам дам.

– Видит бог, – воскликнула Валентина, – будь я одинока, я предпочла бы умереть.

– Вы не скажете никому ни слова, даже вашему отцу.

– Но мой отец непричастен к этому злодеянию, правда, граф? – сказала Валентина, умоляюще сложив руки.

– Нет, но ваш отец, человек искушенный в изобличении преступников, должен был предполагать, что все эти смерти у вас в доме неестественны. Ваш отец сам должен был вас охранять, он должен был быть в этот час на моем месте; он сам должен был выплеснуть эту жидкость; сам должен был уже подняться против убийцы. Призрак против призрака, – прошептал он, заканчивая свою мысль.

– Я сделаю все, чтобы жить, граф, – сказала Валентина, – потому что есть два человека на свете, которые так меня любят, что умрут, если я умру: дедушка и Максимилиан.

– Я буду их охранять, как охранял вас.

– Скажите, что я должна делать, – спросила Валентина. – Господи, что со мной будет? – шепотом прибавила она.

– Что бы с вами ни произошло, Валентина, не пугайтесь; если вы будете страдать, если вы потеряете зрение, слух, осязание, не страшитесь ничего; если вы очнетесь и не будете знать, где вы, не бойтесь, хотя бы вы проснулись в могильном склепе, в гробу; соберитесь с мыслями и скажите себе: в эту минуту меня охраняет друг, отец, человек, который хочет счастья мне и Максимилиану.

– Боже, неужели так нужно?

– Может быть, вы предпочитаете выдать вашу мачеху?

– Нет, нет, лучше умереть!

– Вы не умрете, Валентина. Что бы с вами ни произошло, обещайте мне не роптать и надеяться!

– Я буду думать о Максимилиане.

– Я люблю вас, как родную дочь, Валентина; я один могу вас спасти, и я вас спасу.

Валентина молитвенно сложила руки – она чувствовала, что только бог может поддержать ее в этот страшный час. Она шептала бессвязные

слова, забыв о том, что ее плечи прикрыты только длинными волосами и что сквозь тонкое кружево пеньюара видно, как бьется ее сердце.

Граф осторожно дотронулся до ее руки, натянул ей на плечи бархатное одеяло и сказал с отеческой улыбкой:

– Дитя мое, верьте моей преданности, как вы верите в милость божью и в любовь Максимилиана.

Валентина взглянула на него благодарно и кротко, словно послушный ребенок.

Тогда граф вынул из жилетного кармана изумрудную бонбоньерку, открыл золотую крышечку и положил на ладонь Валентины пилюлю величиною с горошину.

Валентина взяла ее и внимательно посмотрела на графа; на лице ее неустрашимого защитника сиял отблеск божественного могущества и величия. Взгляд Валентины вопрошал.

– Да, – сказал Монте-Кристо.

Валентина поднесла пилюлю к губам и проглотила ее.

– До свидания, дитя мое, – сказал он. – Теперь я попытаюсь уснуть, ибо вы спасены.

– Идите, – сказала Валентина, – я вам обещаю не бояться, что бы со мной ни случилось.

Монте-Кристо долго смотрел на девушку, которая понемногу засыпала, побежденная действием наркотика.

Затем он взял стакан, отлил три четверти в камин, чтобы можно было подумать, что Валентина пила из него, поставил его опять на ночной столик, потом подошел к книжному шкафу и исчез, бросив последний взгляд на Валентину; она засыпала безмятежно, как ангел, покоящийся у ног создателя.

# V. Валентина

Ночник продолжал гореть на камине, поглощая последние капли масла, еще плававшие на поверхности воды; уже краснеющий круг окрашивал алебастровый колпачок, уже потрескивающий огонек вспыхивал последними искрами, ибо и у неживых предметов бывают предсмертные судороги, которые можно сравнить с человеческой агонией; тусклый, зловещий свет бросал опаловые отблески на белый полог постели Валентины.

Уличный шум затих и воцарилось жуткое безмолвие.

И вот дверь из комнаты Эдуарда отворилась, и лицо, которое мы уже видели, отразилось в зеркале, висевшем напротив; то была г-жа де Вильфор, пришедшая посмотреть на действие напитка.

Она остановилась на пороге, прислушалась к треску ночника, единственному звуку в этой комнате, которая казалась необитаемой, и затем тихо подошла к ночному столику, чтобы взглянуть, пуст ли стакан.

Он был еще на четверть полон, как мы уже сказали.

Госпожа де Вильфор взяла его, вылила остатки в камин и помешала золу, чтобы жидкость лучше впиталась; затем старательно выполоскала стакан, вытерла своим платком и поставила на прежнее место.

Она долго не решалась подойти к кровати и посмотреть на Валентину.

Этот мрачный свет, безмолвие, темные чары ночи, должно быть, нашли отклик в кромешных глубинах ее души; отравительница страшилась своего деяния.

Наконец она собралась с духом, откинула полог, склонилась над изголовьем и посмотрела на Валентину.

Девушка не дышала; легчайшая пушинка не заколебалась бы на ее полуоткрытых, неподвижных губах, ее веки подернулись лиловой тенью и слегка припухли, и ее длинные темные ресницы осеняли уже пожелтевшую, как воск, кожу.

Госпожа де Вильфор долго смотрела на это красноречивое в своей неподвижности лицо; наконец отважилась и, приподняв одеяло,

приложила руку к сердцу девушки.

Оно не билось.

Трепет, который она ощутила в пальцах, был биением ее собственного пульса; она вздрогнула и отняла руку.

Рука Валентины свесилась с кровати; рука эта, от плеча до запястья, казалась изваянной Жерменом Пилоном; но кисть была слегка искажена судорогой, и тонкие пальцы, оцепенев, застыли на красном дереве кровати.

Лунки ногтей посинели.

У госпожи де Вильфор не оставалось сомнений: все было кончено; страшное дело, последнее из задуманных ею, наконец свершилось.

Отравительнице нечего было больше делать в этой комнате; она, не выпуская полога из рук, осторожно попятилась, видимо, страшась шума собственных шагов по ковру; она была заворожена зрелищем смерти, которое таит в себе неодолимое обаяние, пока смерть еще не разложение, а только неподвижность, пока она еще таинство, а не тлен.

Минуты проходили, а г-жа де Вильфор все не могла выпустить полог, который она простерла, как саван, над головой Валентины. Она платила дань раздумью, а раздумье преступника – муки совести.

Ночник затрещал громче.

Госпожа де Вильфор вздрогнула и выпустила полог.

В ту же секунду ночник погас, и комната погрузилась в непроглядный мрак.

И в этом мраке вдруг ожили часы и пробили половину пятого.

Преступница, затрепетав, ощупью добралась до двери и вернулась к себе с каплями холодного пота на лбу.

Еще два часа комната оставалась погруженной во тьму.

Затем понемногу ее залил бледный свет, проникая сквозь ставни; он стал ярче и вернул предметам краски и очертания.

Вскоре на лестнице раздалось покашливание, и в комнату Валентины вошла сиделка с чашкой в руках.

Отцу, возлюбленному первый взгляд сказал бы: Валентина умерла; но для этой наемницы Валентина только спала.

– Так, – сказала она, подходя к ночному столику, – она выпила часть микстуры, стакан на две трети пуст.

Затем она подошла к камину, развела огонь, села в кресло и, хотя она только что встала с постели, воспользовалась сном Валентины, чтобы еще немного подремать.

Она проснулась, когда часы били восемь.

Удивленная непробудным сном больной, испуганная свесившейся рукой, которой спящая так и не шевельнула, сиделка подошла к кровати и только тогда заметила похолодевшие губы и остывшую грудь.

Она хотела поднять руку Валентины, но закоченевшая рука была так неподатлива, что сиделка поняла все.

Она в ужасе вскрикнула и бросилась к двери.

– Помогите! – закричала она. – Помогите!

– Что случилось? – ответил снизу голос д'Авриньи. Это был час его ежедневного визита.

– Что случилось? – послышался голос Вильфора, быстро выходящего из кабинета. – Доктор, вы слышите, зовут на помощь?

– Да, да, – отвечал д'Авриньи, – идем, идем скорее к Валентине.

Но прежде чем подоспели отец и доктор, слуги, находившиеся в комнатах и коридорах того же этажа, уже вошли и, увидев Валентину, бледную и неподвижную на кровати, в отчаянии ломали руки.

– Позовите госпожу де Вильфор, разбудите госпожу де Вильфор, – кричал королевский прокурор, стоя на пороге, которого он, казалось, не смел переступить.

Но слуги, не отвечая, смотрели на д'Авриньи, который вошел в комнату, бросился к Валентине и приподнял ее.

– И эта!.. – прошептал он, опуская ее. – О господи, когда же конец?!

Вильфор вбежал в комнату.

– Боже мой, что вы сказали, – отчаянно крикнул он. – Доктор!.. Доктор!..

– Я сказал, что Валентина умерла, – торжественно и сурово ответил д'Авриньи.

Вильфор рухнул на колени, как подкошенный, уронив голову на постель Валентины.

При словах доктора, при возгласе отца охваченные паникой слуги выбежали вон с глухими проклятиями; на лестницах и в коридорах были слышны их торопливые шаги, затем громкий шум во дворе; потом все стихло; все, от первого до последнего, бежали из проклятого дома.

Тогда г-жа де Вильфор в накинутом на плечи пеньюаре приподняла портьеру; она остановилась на пороге, притворяясь удивленной и стараясь выдавить несколько непокорных слезинок.

Вдруг она побледнела и, вытянув руки, подскочила к ночному столику.

Она увидела, что д'Авриньи нагнулся и внимательно рассматривает стакан, который она своими руками опорожнила в эту ночь.

В стакане было ровно столько жидкости, сколько она выплеснула в золу камина.

Если бы дух Валентины встал перед ней, отравительница была бы не так потрясена.

Этот цвет – цвет напитка, который она налила Валентине в стакан и который Валентина выпила; этот яд не может обмануть глаза д'Авриньи, и д'Авриньи внимательно его рассматривает; это чудо, которое сотворил бог, дабы вопреки всем уловкам убийцы остался след, доказательство, улика преступления.

Пока г-жа де Вильфор стояла неподвижно, как воплощение страха, а Вильфор, припав лицом к постели умершей, не видел ничего вокруг, д'Авриньи подошел к окну. Еще раз тщательно рассмотрев содержимое стакана, он обмакнул в жидкость кончик пальца.

– Это уже не бруцин, – прошептал он, – посмотрим, что это такое!

Он подошел к одному из шкафов, превращенному в аптечку, и, вынув из серебряного футляра склянку с азотной кислотой, налил несколько капель в опаловую жидкость, тотчас же окрасившуюся в кроваво-красный цвет.

– Так! – сказал д'Авриньи с отвращением судьи, перед которым открывается истина, и с радостью ученого, разрешившего сложную задачу.

Госпожа де Вильфор оглянулась по сторонам; глаза ее вспыхнули, потом погасли; она, шатаясь, нащупала рукою дверь и скрылась.

Через минуту послышался шум падающего тела.

Но никто не обратил на это внимания. Сиделка следила за действиями доктора, Вильфор пребывал все в том же забытьи.

Один д'Авриньи проводил глазами г-жу де Вильфор и заметил ее поспешный уход.

Он приподнял портьеру, и через комнату Эдуарда его взгляд проник в спальню; г-жа де Вильфор без движения лежала на полу.

– Ступайте туда, – сказал он сиделке, – г-же де Вильфор дурно.

– Но мадемуазель Валентина? – проговорила она с запинкой.

– Мадемуазель Валентина не нуждается больше в помощи, – сказал д'Авриньи, – она умерла.

– Умерла! Умерла! – стонал Вильфор в пароксизме душевной муки, тем более раздирающей, что она была неизведанной, новой, неслыханной для этого стального сердца.

– Что я слышу! Умерла? – воскликнул третий голос. – Кто сказал, что Валентина умерла?

Вильфор и доктор обернулись. В дверях стоял Моррель, бледный, потрясенный, страшный.

Вот что произошло.

В обычный час, через маленькую дверь, ведущую к Нуартье, явился Моррель.

Против обыкновения, дверь не была заперта; ему не пришлось звонить, и он вошел.

Он постоял в прихожей, зовя прислугу, чтобы кто-нибудь проводил его к Нуартье.

Но никто не откликался; слуги, как известно, покинули дом.

Моррель не имел особых поводов к беспокойству: Монте-Кристо обещал ему, что Валентина будет жить, и до сих пор это обещание не было нарушено. Каждый вечер граф приносил ему хорошие вести, подтверждаемые на следующий день самим Нуартье.

Все же это безлюдье показалось ему странным; он позвал еще раз, в третий раз; та же тишина.

Тогда он решил подняться.

Дверь Нуартье была открыта, как и остальные двери.

Первое, что бросилось ему в глаза, был старик, сидевший в кресле, на своем обычном месте; он был очень бледен, и в его расширенных глазах застыл испуг.

– Как вы поживаете, сударь? – спросил Моррель, не без замирания сердца.

– Хорошо, – показал старик, – хорошо.

Но его лицо выражало все большую тревогу.

– Вы чем-то озабочены, – продолжал Моррель, – позвать кого-нибудь из слуг?

– Да, – показал Нуартье.

Моррель стал звонить изо всех сил; но, сколько он ни дергал за шнур, никто не подходил.

Он повернулся к Нуартье; лицо старика становилось все бледнее и тревожнее.

– Боже мой! – сказал Моррель. – Почему никто не идет? Еще кто-нибудь заболел?

Глаза Нуартье, казалось, готовы были выскочить из орбит.

– Да что с вами? – продолжал Моррель. – Вы меня пугаете! Валентина?

– Да! Да! – показал Нуартье.

Максимилиан открыл рот, но не мог вымолвить ни слова; он зашатался и прислонился к стене.

Затем он указал рукой на дверь.

– Да! Да! Да! – показал старик.

Максимилиан бросился к маленькой лестнице и спустился по ней в два прыжка, между тем как Нуартье, казалось, кричал ему глазами:

– Скорей, скорей!

Моррель в одну минуту пробежал несколько комнат, пустых, как и весь дом, и достиг комнаты Валентины.

Ему не пришлось отворять дверь, она была раскрыта настежь.

Первое, что он услышал, было рыдание. Он увидел, как в тумане, черную фигуру, стоявшую на коленях и зарывшуюся в беспорядочную груду белых покрывал. Страх, смертельный страх пригвоздил его к порогу.

И тут он услышал голос, который говорил:

– Валентина умерла, – и другой, который отозвался, как эхо:

– Умерла! Умерла!

# VI. Максимилиан

Вильфор поднялся, почти стыдясь того, что его застали в припадке такого отчаяния.

Должность грозного обвинителя, которую он занимал в течение двадцати пяти лет, сделала из него нечто большее или, быть может, меньшее, чем человек.

Его взгляд, в первый миг растерянный и блуждающий, остановился на Максимилиане.

– Кто вы, сударь? – сказал он. – Откуда вы? Так не входят в дом, где обитает смерть. Уйдите!

Моррель не двигался, он не мог оторвать глаз от ужасного зрелища: от смятой постели и бледного лица на подушках.

– Уходите! Слышите? – крикнул Вильфор.

Д'Авриньи тоже подошел, чтобы заставить Максимилиана уйти.

Тот окинул безумным взором Валентину, обоих мужчин, комнату, хотел, по-видимому, что-то сказать, наконец, не находя ни слова, чтобы ответить, несмотря на вихрь горестных мыслей, проносившихся в его мозгу, он схватился за голову и бросился к выходу; Вильфор и д'Авриньи, на минуту отвлеченные от своих дум, посмотрели ему вслед и обменялись взглядом, который говорил:

«Это сумасшедший».

Но не прошло и пяти минут, как лестница заскрипела под тяжелыми шагами, и появился Моррель, который, с нечеловеческой силой подняв кресло Нуартье, внес старика на второй этаж.

Дойдя до площадки, Моррель опустил кресло на пол и быстро вкатил его в комнату Валентины.

Все это он проделал с удесятеренной силой исступленного отчаяния.

Но страшнее всего было лицо Нуартье, когда Моррель подвез его к кровати Валентины; на этом лице напряженно жили одни глаза, в них сосредоточились все силы и все чувства паралитика.

И при виде этого бледного лица с горящим взглядом Вильфор испугался.

Всю жизнь, всякий раз, как он сталкивался со своим отцом, происходило что-нибудь ужасное.

– Смотрите, что они сделали! – крикнул Моррель, все еще опираясь одной рукой на спинку кресла, которое он подкатил к кровати, а другой указывая на Валентину. – Смотрите, отец!

Вильфор отступил на шаг и с удивлением смотрел на молодого человека, ему почти незнакомого, который называл Нуартье своим отцом.

Казалось, в этот миг вся душа старика перешла в его налившиеся кровью глаза; жилы на лбу вздулись, синева, вроде той, которая заливает кожу эпилептиков, покрыла шею, щеки и виски; этому внутреннему взрыву, потрясающему все его существо, не хватало только крика.

Этот крик словно выступал из всех пор, страшный в своей немоте, раздражающий в своей беззвучности.

Д’Авриньи бросился к старику и дал ему понюхать спирту.

– Сударь, – крикнул тогда Моррель, схватив недвижную руку паралитика, – меня спрашивают, кто я такой и по какому праву я здесь. Вы знаете, скажите им, скажите!

Рыдания заглушили его голос.

Прерывистое дыхание сотрясало грудь старика. Это возбуждение было похоже на начало агонии.

Наконец слезы хлынули из глаз Нуартье, более счастливого, чем Моррель, который рыдал без слез. Старик не мог наклонить голову и лишь закрыл глаза.

– Скажите, что я был ее женихом, – продолжал Моррель. – Скажите, что она была моим другом, моей единственной любовью на свете! Скажите им, что ее бездыханный труп принадлежит мне!

И он бросился на колени перед постелью, судорожно вцепившись в нее руками.

Видеть этого большого, сильного человека, раздавленного горем, было так мучительно, что д’Авриньи отвернулся, чтобы скрыть волнение;

Вильфор, не требуя больше объяснений, покоренный притягательной силой, которая влечет нас к людям, любившим тех, кого мы оплакиваем, протянул Моррелю руку.

Но Максимилиан ничего не видел; он схватил ледяную руку Валентины и, не умея плакать, глухо стонал, сжимая зубами край простыни.

Несколько минут в этой комнате слышались только рыдания, проклятия и молитвы.

И все же один звук господствовал над всем: то было хриплое, страшное дыхание Нуартье. Казалось, при каждом вдохе рвались жизненные пружины в его груди.

Наконец Вильфор, владевший собой лучше других и как бы уступивший на время свое место Максимилиану, решился заговорить.

– Сударь, – сказал он, – вы говорите, что вы любили Валентину, что вы были ее женихом. Я не знал об этой любви, о вашем сговоре; и все же я, ее отец, прощаю вам это; ибо, я вижу, ваше горе велико и неподдельно.

Ведь и мое горе слишком велико, чтобы в душе у меня оставалось место для гнева.

Но вы видите, ангел, который сулил вам счастье, покинул землю; ей не нужно больше земного поклонения, ныне она предстала перед творцом: проститесь же с ее бренными останками, коснитесь в последний раз руки, которую вы ждали, и расстаньтесь с ней навсегда. Валентине нужен теперь только священник, который ее благословит.

– Вы ошибаетесь, сударь, – воскликнул Моррель, подымаясь на одно колено, и его сердце пронзила такая боль, какой он никогда еще не испытывал, – вы ошибаетесь. Валентина умерла, но она умерла такой смертью, что нуждается не только в священнике, но и в мстителе! Посылайте за священником, господин де Вильфор, а мстителем буду я!

– Что вы хотите сказать, сударь! – пробормотал Вильфор. Полубезумный выкрик Морреля заставил его содрогнуться.

– Я хочу сказать, что в вас – два человека, сударь! – продолжал Моррель. – Отец довольно плакал – пусть выступит королевский прокурор.

Глаза Нуартье сверкнули; д’Авриньи подошел поближе.

– Я знаю, что говорю, сударь, – продолжал Моррель, читая по лицам присутствующих их чувства, – и вы знаете не хуже моего, то, что я скажу: Валентину убили!

Вильфор опустил голову; д’Авриньи подошел еще на шаг; Нуартье утвердительно опустил веки.

– В наше время, – продолжал Моррель, – живое существо, даже не такое юное и прекрасное, как Валентина, не может умереть насильственной смертью без того, чтобы не потребовали отчета в его гибели. Господин королевский прокурор, – закончил Моррель с возрастающим жаром, – здесь нет места жалости! Я вам указываю на преступление, ищите убийцу!

И его неумолимый взгляд вопрошал Вильфора, который, в свою очередь, искал взгляда то Нуартье, то д’Авриньи.

Но вместо того чтобы поддержать Вильфора, отец и доктор ответили ему таким же непреклонным взглядом.

– Да! – показал старик.

– Верно! – сказал д’Авриньи.

– Вы ошибаетесь, сударь, – проговорил Вильфор, пытаясь побороть волю трех человек и свое собственное волнение, – в моем доме не совершается преступлений; меня разит судьба, меня тяжко испытует бог, но у меня никого не убивают!

Глаза Нуартье сверкнули; д’Авриньи открыл рот, чтобы возразить.

Моррель протянул руку, призывая к молчанию.

– А я вам говорю, что здесь убивают! – сказал он негромко, но грозно.

Я вам говорю, что это уже четвертая жертва за четыре месяца!

Я вам говорю, что четыре дня тому назад уже пытались отравить Валентину, но это не удалось благодаря предосторожности господина Нуартье!

Я вам говорю, что дозу удвоили или переменили яд, и на этот раз злодеяние удалось!

Я вам говорю, что вы это знаете так же хорошо, как и я, потому что господин д’Авриньи вас об этом предупредил и как врач, и как друг.

– Вы бредите, сударь, – сказал Вильфор, тщетно пытаясь освободиться от захлестнувшей его петли.

– Я брежу? – воскликнул Моррель. – В таком случае я обращаюсь к самому господину д'Авриньи. Спросите у него, сударь, помнит ли он слова, произнесенные им в вашем саду, перед этим домом в вечер смерти госпожи де Сен-Меран; тогда вы оба, думая, что вы одни, говорили об этой трагической смерти; вы ссылаетесь на судьбу, вы несправедливо обвиняете бога, но судьба и бог участвовали в этой смерти только тем, что создали убийцу Валентины!

Вильфор и д'Авриньи переглянулись.

– Да, да, припомните, – сказал Моррель, – вы думали, что эти слова были сказаны в тишине и одиночестве, затерялись во мраке, но они достигли моих ушей.

Конечно, после этого вечера, видя преступную снисходительность господина де Вильфора к своим близким, я должен был все раскрыть властям. Я не был бы тогда одним из виновников твоей смерти, Валентина, любимая! Но виновник превратится в мстителя; это четвертое убийство очевидно для всякого, и если отец твоей покинет тебя, Валентина, клянусь тебе, я сам буду преследовать убийцу!

И словно природа сжалилась, наконец, над этим сильным человеком, готовым сломиться под натиском собственной силы, – последние слова Морреля замерли в его гортани, из груди его вырвалось рыдание, непокорные слезы хлынули из глаз, он покачнулся и с плачем вновь упал на колени у кровати Валентины.

Тогда настала очередь д'Авриньи.

– Я разделяю чувства господина Морреля и тоже требую правосудия, – сказал он громко. – У меня сердце разрывается от мысли, что моя малодушная снисходительность поощрила убийцу!

– Боже мой! – еле слышно прошептал Вильфор.

Моррель поднял голову и, читая в глазах старика, горящих нечеловеческим пламенем, сказал:

– Смотрите, господин Нуартье хочет говорить.

– Да, – показал Нуартье с выражением особенно ужасным, потому что все способности этого несчастного, беспомощного старика были сосредоточены в его взгляде.

– Вы знаете убийцу? – спросил Моррель.

– Да, – ответил Нуартье.

– И вы нам укажете его? – воскликнул Максимилиан. – Мы слушаем! Господин д'Авриньи, слушайте!

Глаза Нуартье улыбнулись несчастному Моррелю грустно и нежно, одной из тех улыбок, которые так часто радовали Валентину.

Затем, как бы приковав глаза собеседника к своим, он перевел взгляд на дверь.

– Вы хотите, чтобы я вышел? – горестно воскликнул Моррель.

– Да, – показал Нуартье.

– Пожалейте меня!

Глаза старика оставались неумолимо устремленными на дверь.

– Но потом мне можно будет вернуться? – спросил Максимилиан.

– Да.

– Я должен выйти один?

– Нет.

– Кого же я должен увести? Господина де Вильфора?

– Нет.

– Доктора?

– Да.

– Вы хотите остаться с господином де Вильфором?

– Да.

– А он поймет вас?

– Да.

– Будьте спокойны, – сказал Вильфор, радуясь, что следствие будет вестись с глазу на глаз, – я отлично понимаю отца.

Хотя он говорил это с почти радостным выражением, зубы его громко стучали.

Д'Авриньи взял Максимилиана под руку и увел его в соседнюю комнату.

Тогда во всем доме воцарилось молчание, более глубокое, чем молчание смерти.

Наконец через четверть часа послышались нетвердые шаги, и Вильфор появился на пороге гостиной, где находились д'Авриньи и Моррель, один – погруженный в задумчивость, другой – задыхающийся от горя.

– Идемте, – сказал Вильфор.

И он подвел их к Нуартье.

Моррель внимательно посмотрел на Вильфора.

Лицо королевского прокурора было мертвенно-бледно; багровые пятна выступили у него на лбу; его пальцы судорожно теребили перо, ломая его на мелкие куски.

– Господа, – сдавленным голосом сказал он д'Авриньи и Моррелю, – дайте мне честное слово, что эта ужасная тайна останется погребенной в наших сердцах!

У тех вырвалось невольное движение.

– Умоляю вас!.. – продолжал Вильфор.

– А что же виновник!.. – сказал Моррель. – Убийца!.. Отравитель!..

– Будьте спокойны, сударь, правосудие совершится, – сказал Вильфор. – Мой отец открыл мне имя виновного; мой отец жаждет мщения, как и вы, но он, как и я, заклинает вас хранить преступление в тайне. Правда, отец?

– Да, – твердо показал Нуартье.

Моррель невольно отшатнулся с жестом ужаса и недоверия.

– Сударь, – воскликнул Вильфор, удерживая Морреля за руку, – вы знаете, мой отец непреклонный человек и если он обращается к вам с такой просьбой, значит, он верит, что Валентина будет страшно отмщена. Правда, отец?

Старик сделал знак, что да.

Вильфор продолжал:

– Он меня знает, а я дал ему слово. Можете быть спокойны, господа; я прошу у вас три дня, это меньше, чем у вас попросил бы суд; и через три дня мщение, которое постигнет убийцу моей дочери, заставит содрогнуться самое бесчувственное сердце. Правда, отец?

При этих словах он скрипнул зубами и потряс мертвую руку старика.

– Обещание будет исполнено, господин Нуартье? – спросил Моррель; д'Авриньи взглядом спросил о том же.

– Да! – показал Нуартье с мрачной радостью в глазах.

– Так поклянитесь, господа, – сказал Вильфор, соединяя руки д'Авриньи и Морреля, – поклянитесь, что вы пощадите честь моего дома и предоставите мщение мне.

Д'Авриньи отвернулся и неохотно прошептал «да», но Моррель вырвал руку из рук Вильфора, бросился к постели, прижался губами к холодным губам Валентины и выбежал вон с протяжным стоном отчаяния.

Как мы уже сказали, все слуги исчезли.

Поэтому Вильфору пришлось просить д'Авриньи взять на себя все те многочисленные и сложные хлопоты, которые влечет за собой смерть в наших больших городах, особенно смерть при таких подозрительных обстоятельствах.

Что касается Нуартье, то было страшно смотреть на это недвижимое горе, это окаменелое отчаяние, эти беззвучные слезы.

Вильфор заперся в своем кабинете; д'Авриньи пошел за городским врачом, обязанность которого – свидетельствовать смерть и которого выразительно именуют «доктором мертвых».

Нуартье не захотел расставаться с внучкой.

Через полчаса д'Авриньи вернулся со своим собратом; дверь с улицы была заперта, и, так как привратник исчез вместе с остальными слугами, Вильфор сам пошел отворить.

Но у комнаты Валентины он остановился; у него не было сил снова войти туда.

Оба доктора вошли одни.

Нуартье сидел у кровати, бледный, как сама покойница, недвижимый и безмолвный, как она.

Доктор мертвых подошел к постели с равнодушием человека, который полжизни проводит с трупами, откинул с лица девушки простыню и приоткрыл ей губы.

– Да, – сказал д’Авриньи со вздохом, – бедная девушка мертва, сомнений нет.

– Да, – коротко ответил доктор мертвых, снова закрывая простыней лицо Валентины.

Нуартье глухо захрипел.

Д’Авриньи обернулся; глаза старика сверкали.

Д’Авриньи понял, что он хочет видеть свою внучку; он подошел к кровати, и, пока второй врач полоскал в хлористой воде пальцы, которые коснулись губ умершей, он открыл это спокойное и бледное лицо, похожее на лицо спящего ангела.

Слезы, выступившие на глазах Нуартье, сказали д’Авриньи, как глубоко благодарен ему несчастный старик.

Доктор мертвых написал свидетельство тут же в комнате Валентины, на краю стола, и, совершив эту последнюю формальность, вышел, провожаемый д’Авриньи.

Вильфор услышал, как они спускались с лестницы, и вышел из своего кабинета.

Сказав несколько слов благодарности доктору, он обратился к д’Авриньи.

– Теперь нужен священник, – сказал он.

– Есть какой-нибудь священник, которого вы хотели бы пригласить? – спросил д’Авриньи.

– Нет, – отвечал Вильфор, – обратитесь к ближайшему.

– Ближайший, – сказал городской врач, – это итальянский аббат, поселившийся в доме рядом с вами. Хотите, проходя мимо, я его попрошу?

– Будьте добры, д’Авриньи, – сказал Вильфор, – пойдите с господином доктором. Вот ключ, чтобы вы могли входить и выходить, когда вам нужно. Приведите священника и устройте его в комнате моей бедной девочки.

– Вы хотите с ним поговорить?

– Я хочу побыть один. Вы меня простите, правда? Священник должен понимать все страдания, тем более страдания отца.

Вильфор вручил д’Авриньи ключ, поклонился еще раз городскому врачу и, вернувшись к себе в кабинет, принялся за работу.

Есть люди, для которых работа служит лекарством от всех зол.

Выйдя на улицу, оба врача заметили человека в черной сутане, стоящего на пороге соседнего дома.

– Вот тот, о ком я вам говорил, – сказал доктор мертвых.

Д’Авриньи подошел к священнику.

– Сударь, не согласитесь ли вы оказать услугу несчастному отцу, потерявшему только что дочь, королевскому прокурору де Вильфору?

– Да, сударь, – отвечал священник с сильным итальянским акцентом, – я знаю, смерть поселилась в его доме.

– Тогда мне незачем говорить вам, какого рода помощи он от вас ожидает.

– Я шел предложить свои услуги, сударь, – сказал священник, – наше назначение – идти навстречу нашим обязанностям.

– Это молодая девушка.

– Да, знаю; мне сказали слуги, я видел, как они бежали из дома. Я узнал, что ее имя Валентина, и я уже молился за нее.

– Благодарю вас, – сказал д’Авриньи, – и раз вы уже приступили к вашему святому служению, благоволите его продолжить. Будьте возле усопшей, и вам скажет спасибо безутешная семья.

– Иду, сударь, – отвечал аббат, – и смею сказать, что не будет молитвы горячей, чем моя.

Д’Авриньи взял аббата за руку и, не встретив Вильфора, затворившегося у себя в кабинете, проводил его к покойнице, которую должны были облечь в саван только ночью.

Когда они входили в комнату, глаза Нуартье встретились с глазами аббата; вероятно, Нуартье увидел в них что-то необычайное, потому что взгляд его больше не отрывался от лица священника.

Д’Авриньи поручил попечению аббата не только усопшую, но и живого, и тот обещал д’Авриньи помолиться о Валентине и позаботиться о Нуартье.

Обещание аббата звучало торжественно; и для того, должно быть, чтобы ему не мешали в его молитве и не беспокоили Нуартье в его горе, он, едва д’Авриньи удалился, запер на задвижку не только дверь, в которую вышел доктор, но и ту, которая вела к г-же де Вильфор.

# VII. Подпись Данглара

Утро настало пасмурное и унылое.

Ночью гробовщики исполнили свою печальную обязанность и зашили лежащее на кровати тело в саван – скорбную одежду усопших, которая, что бы ни говорили о всеобщем равенстве перед смертью, служит последним напоминанием о роскоши, любимой ими при жизни.

Этот саван был не что иное, как кусок тончайшего батиста, купленный Валентиной две недели тому назад.

Нуартье еще вечером перенесли из комнаты Валентины в его комнату; против всяких ожиданий, старик не противился тому, что его разлучили с телом внучки.

Аббат Бузони пробыл до утра и на рассвете ушел, никому не сказав ни слова.

В восемь часов приехал д'Авриньи; он встретил Вильфора, который шел к Нуартье, и отправился вместе с ним, чтобы узнать, как старик провел ночь.

Они застали его в большом кресле, служившем ему кроватью; старик спал спокойным, почти безмятежным сном.

Удивленные, они остановились на пороге.

– Посмотрите, – сказал д'Авриньи Вильфору, – природа умеет успокоить самое сильное горе; конечно, никто не скажет, что господин Нуартье не любил своей внучки, и, однако, он спит.

– Да, вы правы, – с недоумением сказал Вильфор, – он спит, и это очень странно: ведь из-за малейшей неприятности он способен не спать целыми ночами.

– Горе сломило его, – отвечал д'Авриньи.

И оба, погруженные в раздумье, вернулись в кабинет королевского прокурора.

– А вот я не спал, – сказал Вильфор, указывая д'Авриньи на нетронутую постель, – меня горе не может сломить; уже две ночи я не ложился; но зато посмотрите на мой стол: сколько я написал в эти два

дня и две ночи!.. Сколько рылся в этом деле, сколько заметок сделал на обвинительном акте убийцы Бенедетто!.. О работа, моя страсть, мое счастье, мое безумие, ты одна можешь победить все мои страдания! – И он судорожно сжал руку д'Авриньи.

– Я вам нужен? – спросил доктор.

– Нет, – сказал Вильфор, – только возвращайтесь, пожалуйста, к одиннадцати часам, в двенадцать часов состоится... вынос... Боже мой, моя девочка, моя бедная девочка!

И королевский прокурор, снова становясь человеком, поднял глаза к небу и вздохнул.

– Вы будете принимать соболезнования?

– Нет, один мой родственник берет на себя эту тягостную обязанность. Я буду работать, доктор; когда я работаю, все исчезает.

И не успел доктор дойти до двери, как королевский прокурор снова принялся за свои бумаги.

На крыльце д'Авриньи встретил родственника, о котором ему говорил Вильфор, личность незначительную как в этой повести, так и в семье, одно из существ, которые от рождения предназначены играть в жизни роль статиста.

Одетый в черное, с крепом на рукаве, он явился в дом Вильфора с подобающим случаю выражением лица, намереваясь его сохранить, пока требуется, и немедленно сбросить после церемонии.

В одиннадцать часов траурные кареты застучали по мощеному двору, и предместье Сент-Оноре огласилось гулом толпы, которая одинаково жадно смотрит и на радости, и на печали богачей и бежит на пышные похороны с той же торопливостью, что и на свадьбу герцогини.

Понемногу гостиная, где стоял гроб, наполнилась посетителями; сначала явились некоторые наши старые знакомые – Дебрэ, Шато-Рено, Бошан, потом все знаменитости судебного, литературного и военного мира; ибо г-н де Вильфор, не столько даже по своему общественному положению, сколько в силу личных достоинств, занимал одно из первых мест в парижском свете.

Родственник стоял у дверей, встречая прибывающих, и для равнодушных людей, надо сознаться, было большим облегчением увидеть равнодушное лицо, не требовавшее лицемерной печали, притворных слез, как это полагалось бы в присутствии отца, брата или жениха.

Те, кто был знаком между собой, подзывали друг друга взглядом и собирались группами. Одна такая группа состояла из Дебрэ, Шато-Рено и Бошана.

– Бедняжка, – сказал Дебрэ, невольно, как, впрочем, и все, платя дань печальному событию, – такая богатая! Такая красивая! Могли бы вы подумать об этом, Шато-Рено, когда мы пришли... давно ли?.. да три недели, месяц тому назад самое большое... подписывать ее брачный договор, который так и не был подписан?

– Нет, признаться, – сказал Шато-Рено.

– Вы ее знали?

– Я говорил с ней раза два на балу у госпожи де Морсер; она мне показалась очаровательной, только немного меланхоличной. А где мачеха, вы не знаете?

– Она проведет весь день у жены этого почтенного господина, который нас встречал.

– Кто он такой?

– Это вы о ком?

– Да господин, который нас встречал. Он депутат?

– Нет, – сказал Бошан, – я осужден видеть наших законодателей каждый день, и эта физиономия мне неизвестна.

– Вы упомянули об этой смерти в своей газете?

– Заметка не моя, но она наделала шуму, и я сомневаюсь, чтобы она была приятна Вильфору. Насколько я знаю, в ней сказано, что если бы четыре смерти последовали одна за другой в каком-нибудь другом доме, а не в доме королевского прокурора, то королевский прокурор был бы, наверное, более взволнован.

– Но доктор д'Авриньи, который лечит и мою мать, говорит, что Вильфор в большом горе, – заметил Шато-Рено.

– Кого вы ищете, Дебрэ?

– Графа Монте-Кристо.

– Я встретил его на Бульваре, когда шел сюда. Он, по-видимому, собирается уезжать; он ехал к своему банкиру, – сказал Бошан.

– Его банкир – Данглар? – спросил Шато-Рено у Дебрэ.

– Как будто да, – отвечал личный секретарь с некоторым смущением, – но здесь не хватает не только Монте-Кристо. Я не вижу Морреля.

– Морреля? А разве он с ними знаком? – спросил Шато-Рено.

– Мне кажется, он был представлен только госпоже де Вильфор.

– Все равно, ему бы следовало прийти, – сказал Дебрэ, – о чем он будет говорить вечером? Эти похороны – злоба дня. Но тише, помолчим; вот министр юстиции и исповеданий; он почтет себя обязанным обратиться с маленьким спичем к опечаленному родственнику.

И молодые люди подошли к дверям, чтобы услышать «спич» министра юстиции и исповеданий.

Бошан сказал правду: идя на похороны, он встретил Монте-Кристо, который ехал к Данглару, на улицу Шоссе-д'Антен.

Банкир из окна увидел коляску графа, въезжающую во двор, и вышел ему навстречу с грустным, но приветливым лицом.

– Я вижу, граф, – сказал он, протягивая руку Монте-Кристо, – вы заехали выразить мне сочувствие. Да, такое несчастье посетило мой дом, что, увидав вас, я даже задал себе вопрос, не пожелал ли я несчастья этим бедным Морсерам, – это оправдало бы пословицу: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Но нет, честное слово, я не желал Морсеру зла; быть может, он был немного спесив для человека, начавшего с пустыми руками, как и я, обязанного всем самому себе, как и я; но у всякого свои недостатки. Будьте осторожны, граф: людям нашего поколения... впрочем, простите, вы не нашего поколения, вы – человек молодой... Людям моего поколения не везет в этом году: свидетель тому – наш пуританин, королевский прокурор, который только что потерял дочь. Вы посмотрите: у Вильфора странным образом погибает вся семья;

Морсер опозорен и кончает самоубийством; я стал посмешищем из-за этого негодяя Бенедетто и вдобавок...

– Что вдобавок? – спросил граф.

– Увы, разве вы не знаете?

– Какое-нибудь новое несчастье?

– Моя дочь...

– Мадемуазель Данглар?

– Эжени нас покидает.

– Да что вы!

– Да, дорогой граф. Ваше счастье, что у вас нет ни жены, ни детей!

– Вы находите?

– Еще бы!

– И вы говорите, что мадемуазель Эжени...

– Она не могла перенести позора, которым нас покрыл этот негодяй, и попросила меня отпустить ее путешествовать.

– И она уехала?

– В прошлую ночь.

– С госпожой Данглар?

– Нет, с одной нашей родственницей... Но как-никак мы потеряли нашу дорогую Эжени; сомневаюсь, чтобы с ее характером она согласилась когда-нибудь вернуться во Францию!

– Что поделаешь, дорогой барон, – сказал Монте-Кристо, – все эти семейные горести – катастрофа для какого-нибудь бедняка, у которого ребенок – единственное богатство, но они не так страшны для миллионера. Что бы ни говорили философы, деловые люди всегда докажут им противное; деньги утешают во многих бедах, а вы должны утешиться скорее, чем кто бы то ни было, если вы верите в целительную силу этого бальзама; вы – король финансов, точка пересечения всех могущественных сил.

Данглар искоса взглянул на графа, стараясь понять, смеется ли он, или говорит серьезно.

– Да, – сказал он, – если богатство утешает, я должен быть утешен: я богат.

– Так богаты, дорогой барон, что ваше богатство подобно пирамидам; если бы хотели их разрушить, то не посмели бы; а если бы посмели, то не смогли бы.

Данглар улыбнулся доверчивому простодушию графа.

– Кстати, когда вы вошли, я как раз выписывал пять бумажек; две из них я уже подписал; разрешите мне подписать три остальные?

– Пожалуйста, дорогой барон, пожалуйста.

Наступило молчание, слышно было, как скрипело перо банкира; Монте-Кристо разглядывал раззолоченную лепку потолка.

– Испанские? – сказал Монте-Кристо. – Или гаитийские, или неаполитанские?

– Нет, – отвечал Данглар, самодовольно посмеиваясь, – чеки на предъявителя, чеки на Французский банк. Вот, граф, – прибавил он, – вы – император финансов, если я – король; часто вам случалось видеть такие вот клочки бумаги стоимостью по миллиону?

Монте-Кристо взял в руку, словно желая их взвесить, пять клочков бумаги, горделиво переданных ему Данглaром, и прочел:

«Господин директор банка, благоволите уплатить предъявителю сего за мой счет один миллион франков. Барон Данглар».

– Один, два, три, четыре, пять, – сказал Монте-Кристо, – пять миллионов! Черт возьми, вот так размах, господин Крез!

– Вот как я делаю дела! – сказал Данглар.

– Это удивительно, особенно если эта сумма, в чем я, впрочем, не сомневаюсь, будет уплачена наличными.

– Так оно и будет, – сказал Данглар.

– Хорошо иметь такой кредит; в самом деле, только во Франции видишь такие вещи; пять клочков бумаги, которые стоят пять миллионов; нужно видеть это, чтобы поверить.

– А вы сомневаетесь?

– Нет.

– Вы это говорите таким тоном... Хотите, доставьте себе удовольствие: пойдите с моим доверенным в банк, и вы увидите, как он выйдет оттуда с облигациями казначейства на ту же сумму.

– Нет, право, это слишком любопытно, – сказал Монте-Кристо, складывая все пять чеков, – я сам произведу опыт. Мой кредит у вас был на шесть миллионов; я взял девятьсот тысяч франков, за вами остается пять миллионов сто тысяч. Я беру ваши клочки бумаги, которые я принимаю за валюту при одном взгляде на вашу подпись, и вот вам общая расписка на шесть миллионов, которая уравнивает наши счеты. Я приготовил ее заранее, так как должен сознаться, что мне очень нужны деньги сегодня.

И, кладя чеки в карман, он другой рукой протянул банкиру расписку.

Молния, упавшая у ног Данглара, не поразила бы его большим ужасом.

– Как же так? – пролепетал он. – Вы берете эти деньги, граф? Но, простите, эти деньги я должен приютам, это вклад, и я обещал уплатить сегодня.

– А, это другое дело, – сказал Монте-Кристо. – Мне не нужны непременно эти чеки, заплатите мне какими-нибудь другими ценностями; я их взял просто из любопытства, чтобы иметь возможность рассказывать повсюду, что без всякого предупреждения, не попросив у меня и пяти минут отсрочки, банк Данглара выплатил мне пять миллионов наличными. Это было бы великолепно! Но вот ваши чеки; повторяю, дайте мне что-нибудь другое.

Он подал чеки Данглару, и тот, смертельно бледный, протянул было руку, как коршун протягивает когти сквозь прутья клетки, чтобы вцепиться в мясо, которое у него отнимают.

Но вдруг он спохватился, сделал над собой усилие и сдержался. Затем он улыбнулся, и его искаженное лицо смягчилось.

– Впрочем, – сказал он, – ваша расписка – это те же деньги.

– Ну, конечно! Будь вы в Риме, Томсон и Френч платили бы вам по моей расписке с той же легкостью, с какой вы сами сделали это сейчас.

– Извините меня, граф, извините.

– Так я могу оставить эти деньги себе?

– Да, да, оставьте, – сказал Данглар, отирая вспотевший лоб.

Монте-Кристо положил чеки обратно в карман, причем лицо его ясно говорило:

«Что ж, подумайте; если вы раскаиваетесь, еще не поздно».

– Нет, нет, – сказал Данглар, – оставьте эти чеки себе. Но, вы знаете, мы, финансисты, очень щепетильны. Я предназначал эти деньги приютам, и мне казалось, что я их обкрадываю, если не плачу именно этими чеками, как будто деньги не все одинаковы. Простите меня! – И он громко, но нервически рассмеялся.

– Прощаю, – любезно сказал Монте-Кристо, – и кладу деньги в карман. – И он сложил чеки в свой бумажник.

– Но у вас остается еще сто тысяч франков? – сказал Данглар.

– О, пустяки! – сказал Монте-Кристо. – Лаж, вероятно, составляет приблизительно ту же сумму; оставьте ее себе, и мы будем квиты.

– Вы говорите серьезно, граф?

– Я никогда не шучу с банкирами, – отвечал Монте-Кристо с серьезностью, граничащей с гордостью.

И он направился к двери как раз в ту минуту, когда лакей докладывал:

– Господин де Бовиль, главный казначей Управления приютов.

– Вот видите, – сказал Монте-Кристо, – я пришел как раз вовремя, чтобы воспользоваться вашими чеками; их берут нарасхват.

Данглар снова побледнел и поспешил проститься с графом.

Монте-Кристо обменялся церемонным поклоном с г-ном де Бовилем, который дожидался в приемной и был тотчас же после ухода графа введен в кабинет Данглара.

На лице графа, всегда таком серьезном, мелькнула мимолетная улыбка, когда в руке у казначея приютов он увидел бумажник.

У дверей его ждала коляска, и он велел тотчас же ехать в банк.

Тем временем Данглар, подавляя волнение, шел навстречу своему посетителю.

Нечего и говорить, что на его губах застыла приветливая улыбка.

– Здравствуйте, дорогой кредитор, – сказал он, – потому что я бьюсь об заклад, что ко мне является именно кредитор.

– Вы угадали, барон, – отвечал Бовиль, – в моем лице к вам являются приюты: вдовы и сироты моей рукой просят у вас подаяния в пять миллионов.

– А еще говорят, что сироты достойны сожаления! – сказал Данглар, продолжая шутку. – Бедные дети!

– Вот я и пришел от их имени, – сказал Бовиль. – Вы должны были получить мое письмо вчера...

– Да.

– Вот и я, с распиской в получении.

– Дорогой де Бовиль, – сказал Данглар, – ваши вдовы и сироты, если вы ничего не имеете против, будут добры подождать двадцать четыре часа, потому что граф Монте-Кристо, который только что отсюда вышел... ведь вы с ним встретились, правда?

– Да, так что же?

– Так вот, Монте-Кристо унес их пять миллионов!

– Как так?

– Граф имел у меня неограниченный кредит, открытый римским домом Томсон и Френч. Он попросил у меня сразу пять миллионов, и я дал ему чек на банк; там я держу свои деньги; вы понимаете, я боюсь, что, если я потребую у управляющего банком десять миллионов в один день, это может ему показаться весьма странным. В два дня – другое дело, – добавил Данглар с улыбкой.

– Да что вы! – недоверчиво воскликнул Бовиль. – Пять миллионов этому господину, который только что вышел отсюда и еще раскланялся со мной, как будто я с ним знаком?

– Быть может, он вас знает, хотя вы с ним и не знакомы. Граф Монте-Кристо знает всех.

– Пять миллионов!

– Вот его расписка. Поступите, как апостол Фома: посмотрите и потрогайте.

Бовиль взял бумагу, которую ему протягивал Данглар, и прочел:

«Получил от барона Данглара пять миллионов сто тысяч франков, которые, по его желанию, будут ему возмещены банкирским домом Томсон и Френч в Риме».

– Все верно! – сказал он.

– Вам известен дом Томсон и Френч?

– Да, – сказал Бовиль, – у меня была с ним однажды сделка в двести тысяч франков; но с тех пор я больше ничего о нем не слышал.

– Это один из лучших банкирских домов в Европе, – сказал Данглар, небрежно бросая на стол взятую им из рук Бовиля расписку.

– И на его счету было пять миллионов только у вас? Да это какой-то набоб, этот граф Монте-Кристо!

– Я уж, право, не знаю, кто он такой, но у него было три неограниченных кредита: один у меня, другой у Ротшильда, третий у Лаффита; и, как видите, – небрежно добавил Данглар, – он отдал предпочтение мне и оставил сто тысяч франков на лаж.

Бовиль выказал все признаки величайшего восхищения.

– Нужно будет его навестить, – сказал он. – Я постараюсь, чтобы он основал у нас какое-нибудь благотворительное заведение.

– И это дело верное; он одной милостыни раздает больше, чем на двадцать тысяч франков в месяц.

– Это замечательно! Притом я ему поставлю в пример госпожу де Морсер и ее сына.

– В каком отношении?

– Они пожертвовали все свое состояние приютам.

– Какое состояние?

– Да их собственное, состояние покойного генерала де Морсера.

– Но почему?

– Потому, что они не хотели пользоваться имуществом, приобретенным такими низкими способами.

– Чем же они будут жить?

– Мать уезжает в провинцию, а сын поступает на военную службу.

– Скажите, какая щепетильность! – воскликнул Данглар.

– Я не далее как вчера зарегистрировал дарственный акт.

– И сколько у них было?

– Да не слишком много, миллион двести тысяч с чем-то. Но вернемся к нашим миллионам.

– Извольте, – сказал самым естественным тоном Данглар. – Так вам очень спешно нужны эти деньги?

– Очень; завтра у нас кассовая ревизия.

– Завтра! Почему вы это сразу не сказали? До завтра еще целая вечность! В котором часу ревизия?

– В два часа.

– Придите в полдень, – сказал с улыбкой Данглар.

Бовиль в ответ только кивнул головой, теребя свой бумажник.

– Или вот что, – сказал Данглар, – можно сделать лучше.

– Что именно?

– Расписка графа Монте-Кристо – это те же деньги; предъявите эту расписку Ротшильду или Лаффиту; они тотчас же ее примут.

– Несмотря на то что им придется рассчитываться с Римом?

– Разумеется; вы только потеряете тысяч пять-шесть на учете.

Казначей подскочил.

– Ну нет, знаете; я лучше подожду до завтра. Как вы это просто говорите!

– Прошу прощения, – сказал Данглар с удивительной наглостью, – я было подумал, что вам нужно покрыть небольшую недостачу.

– Что вы! – воскликнул казначей.

– Это бывает у нас, и тогда приходится идти на жертвы.

– Слава богу, нет, – сказал Бовиль.

– В таком случае до завтра; согласны, мой дорогой?

– Хорошо, до завтра; но уж наверное?

– Да вы шутите! Пришлите в полдень, банк будет предупрежден.

– Я приду сам.

– Тем лучше, я буду иметь удовольствие увидеться с вами.

Они пожали друг другу руки.

– Кстати, – сказал Бовиль, – разве вы не будете на похоронах бедной мадемуазель де Вильфор? Я встретил процессию на Бульваре.

– Нет, – ответил банкир, – я еще немного смешон после этой истории с Бенедетто и прячусь.

– Напрасно; чем вы виноваты?

– Знаете, мой дорогой, когда носишь незапятнанное имя, как мое, становишься щепетилен.

– Все сочувствуют вам, поверьте, и особенно жалеют вашу дочь.

– Бедная Эжени! – произнес Данглар с глубоким вздохом. – Вы знаете, что она постригается?

– Нет.

– Увы, к несчастью, это так. На следующий день после скандала она решила уехать с подругой-монахиней; она хочет поискать какой-нибудь строгий монастырь в Италии или Испании.

– Это ужасно!

И господин де Бовиль удалился, выражая свои соболезнования несчастному отцу.

Но едва он вышел, как Данглар с выразительным жестом, о котором могут составить себе представление только те, кто видел, как Фредерик играет Робер-Макера,[64] воскликнул:

– Болван!!!

И, пряча расписку Монте-Кристо в маленький бумажник, добавил:

– Приходи в полдень! В полдень я буду далеко!

Затем он запер двери на ключ, опорожнил все ящики своей кассы, собрал тысяч пятьдесят кредитными билетами, сжег кое-какие бумаги, другие положил на видное место и сел писать письмо; кончив его, он запечатал конверт и надписал:

«Баронессе Данглар».

– Вечером я сам положу его к ней на туалетный столик, – пробормотал он.

Затем он достал из ящика стола паспорт.

– Отлично, – сказал он, – действителен еще на два месяца.

# VIII. Кладбище Пер-Лашез

Бовиль в самом деле встретил похоронную процессию, провожавшую Валентину к месту последнего упокоения.

Погода была хмурая и облачная; ветер, еще теплый, но уже гибельный для желтых листьев, срывал их с оголяющихся ветвей и кружил над огромной толпой, заполнявшей Бульвары.

Вильфор, истый парижанин, смотрел на кладбище Пер-Лашез как на единственное, достойное принять прах одного из членов парижской семьи; все остальные кладбища казались ему слишком провинциальными, какими-то меблированными комнатами смерти. Только на кладбище Пер-Лашез покойник из хорошего общества был у себя дома.

Здесь, как мы видели, он купил в вечное владение место, на котором возвышалась усыпальница, так быстро заселившаяся всеми членами его первой семьи.

Надпись на фронтоне мавзолея гласила: «Семья Сен-Меран и Вильфор», – такова была последняя воля бедной Рене, матери Валентины.

Итак, пышный кортеж от предместья Сент-Оноре продвигался к Пер-Лашез. Пересекли весь Париж, прошли по предместью Тампль, затем по наружным Бульварам до кладбища. Более пятидесяти собственных экипажей следовало за двадцатью траурными каретами, а за этими пятьюдесятью экипажами более пятисот человек шли пешком.

Это были почти все молодые люди, которых как громом поразила смерть Валентины; несмотря на ледяное веяние века, на прозаичность эпохи, они поддавались поэтическому обаянию этой прекрасной, непорочной, пленительной девушки, погибшей в цвете лет.

Когда процессия приближалась к заставе, появился экипаж, запряженный четырьмя резвыми лошадьми, которые сразу остановились; их нервные ноги напряглись, как стальные пружины: приехал граф Монте-Кристо.

Граф вышел из коляски и смешался с толпой, провожавшей пешком похоронную колесницу.

Шато-Рено заметил его; он тотчас же оставил свою карету и присоединился к нему. Бошан также покинул свой наемный кабриолет.

Граф внимательно осматривал толпу; он, видимо, искал кого-то. Наконец он не выдержал.

– Где Моррель? – спросил он. – Кто-нибудь из вас, господа, знает, где он?

– Мы задавали себе этот вопрос еще в доме покойной, – сказал Шато-Рено, – никто из нас его не видел.

Граф замолчал, продолжая оглядываться.

Наконец пришли на кладбище.

Монте-Кристо зорко оглядел рощи тисов и сосен и вскоре перестал беспокоиться; среди темных грабин промелькнула тень, и Монте-Кристо, должно быть, узнал того, кого искал.

Все знают, что такое похороны в этом великолепном некрополе: черные группы людей, рассеянные по белым аллеям; безмолвие неба и земли, изредка нарушаемое треском ломающихся веток или живой изгороди вокруг какой-нибудь могилы; скорбные голоса священников, которым вторит то там, то здесь рыдание, вырвавшееся из-за груды цветов, где поникла женщина с молитвенно сложенными руками.

Тень, которую заметил Монте-Кристо, быстро пересекла рощу за могилой Элоизы и Абеляра, поравнялась с факельщиками, шедшими во главе процессии, и вместе с ними подошла к месту погребения.

Все взгляды скользили с предмета на предмет.

Но Монте-Кристо смотрел только на эту тень, почти не замеченную окружающими.

Два раза граф выходил из рядов, чтобы посмотреть, не ищет ли рука этого человека оружия, спрятанного в складках одежды.

Когда кортеж остановился, в этой тени узнали Морреля; бледный, со впалыми щеками, в наглухо застегнутом сюртуке, судорожно комкая шляпу в руках, он стоял, прислонясь к дереву, на холме, возвышавшемся

над мавзолеем, так что мог видеть все подробности предстоящего печального обряда.

Все совершилось согласно обычаям. Несколько человек – как всегда, наименее опечаленные – произнесли речи. Одни оплакивали эту безвременную кончину; другие распространялись о скорби отца; нашлись и такие, которые уверяли, что Валентина не раз просила у г-на де Вильфора пощады виновным, над чьей головой он заносил меч правосудия; словом, не жалели цветистых метафор и прочувствованных оборотов, переиначивая на все лады стансы Малерба и Дюперье.

Монте-Кристо ничего не слышал; он видел лишь Морреля, чье спокойствие и неподвижность представляли страшное зрелище для того, кто знал, что совершается в его душе.

– Посмотрите! – сказал вдруг Бошан, обращаясь к Дебрэ. – Вон Моррель! Куда это он залез?

И они показали на него Шато-Рено.

– Какой он бледный, – сказал тот, вздрогнув.

– Ему холодно, – возразил Дебрэ.

– Нет, – медленно произнес Шато-Рено, – по-моему, он потрясен. Максимилиан – человек очень впечатлительный.

– Да нет же! – сказал Дебрэ. – Ведь он почти не был знаком с мадемуазель де Вильфор. Вы сами говорили.

– Это верно. Все же, я помню, на балу у госпожи де Морсер он три раза танцевал с ней; знаете, граф, на том балу, где вы произвели такое впечатление.

– Нет, не знаю, – ответил Монте-Кристо, не замечая даже, на что и кому он отвечает, до того он был занят Моррелем, у которого покраснели щеки, как у человека, старающегося не дышать.

– Речи кончились, прощайте, господа, – вдруг сказал Монте-Кристо.

И он подал сигнал к разъезду, исчезнув сам, причем никто не заметил, куда он направился.

Церемония похорон кончилась, присутствующие пустились в обратный путь.

Один Шато-Рено поискал Морреля глазами; но пока он провожал взглядом удаляющегося графа, Моррель покинул свое место, и Шато-Рено, так и не найдя его, последовал за Дебрэ и Бошаном.

Монте-Кристо вошел в кусты, и спрятавшись за широкой могилой, следил за каждым движением Морреля, который приближался к мавзолею, покинутому любопытными, а потом и могильщиками.

Моррель медленно посмотрел вокруг себя; в то время как его взгляд был обращен в противоположную сторону, Монте-Кристо незаметно подошел еще на десять шагов.

Максимилиан опустился на колени.

Граф, пригнувшись, с расширенными, остановившимися глазами, весь в напряжении, готовый броситься по первому знаку, продолжал приближаться к нему.

Моррель коснулся лбом каменной ограды, обеими руками ухватился за решетку и прошептал:

– Валентина!

Сердце графа не выдержало звука его голоса; он сделал еще шаг и тронул Морреля за плечо.

– Вы здесь, мой друг, – сказал он. – Я вас искал.

Монте-Кристо ожидал жалоб, упреков – он ошибся.

Моррель взглянул на него и с наружным спокойствием ответил:

– Вы видите, я молился!

Монте-Кристо испытующим взглядом окинул Максимилиана с ног до головы.

Этот осмотр, казалось, успокоил его.

– Хотите, я вас отвезу в город? – предложил он Моррелю.

– Нет, спасибо.

– Не нужно ли вам чего-нибудь?

– Дайте мне молиться.

Граф молча отошел, но лишь для того, чтобы укрыться в новом месте, откуда он по-прежнему не терял Морреля из виду; наконец он встал, отряхнул пыль с колен и пошел по дороге в Париж, ни разу не обернувшись. Он медленно прошел на улицу Ла-Рокет.

Граф, отослав свой экипаж, дожидавшийся у ворот кладбища, шел в ста шагах позади Максимилиана.

Максимилиан пересек канал и по Бульварам достиг улицы Меле.

Через пять минут после того, как калитка закрылась за Моррелем, она открылась для Монте-Кристо.

Жюли была в саду и внимательно наблюдала, как Пенелон, очень серьезно относившийся к своей профессии садовника, нарезал черенки бенгальских роз.

– Граф Монте-Кристо! – воскликнула она с искренней радостью, которую выражал обычно каждый член семьи, когда Монте-Кристо появлялся на улице Меле.

– Максимилиан только что вернулся, правда? – спросил граф.

– Да, он, кажется, пришел, – сказала Жюли, – Но, прошу вас, позовите Эммануэля.

– Простите, сударыня, но мне сейчас необходимо пройти к Максимилиану, – возразил Монте-Кристо, – у меня к нему чрезвычайно важное дело.

– Тогда идите, – сказала она, провожая его своей милой улыбкой, пока он не исчез на лестнице.

Монте-Кристо быстро поднялся на третий этаж, где жил Максимилиан; остановившись на площадке, он прислушался: все было тихо.

Как в большинстве старинных домов, занимаемых самим хозяином, на площадку выходила всего лишь одна застекленная дверь.

Но только в этой застекленной двери не было ключа.

Максимилиан заперся изнутри; а через дверь ничего нельзя было увидеть, потому что стекла были затянуты красной шелковой занавеской.

Беспокойство графа выразилось ярким румянцем – признак необычайного волнения у этого бесстрастного человека.

– Что делать? – прошептал он.

На минуту он задумался.

– Позвонить? – продолжал он. – Нет! Иной раз звонок, чей-нибудь приход ускоряют решение человека, который находится в таком

состоянии, как Максимилиан, и тогда в ответ на звонок раздается другой звук.

Монте-Кристо вздрогнул с головы до ног, и так как его решения всегда бывали молниеносны, то он ударил локтем в дверное стекло, и оно разлетелось вдребезги; он поднял занавеску и увидел Морреля, который сидел у письменного стола с пером в руке и резко обернулся при звоне разбитого стекла.

– Это ничего, – сказал граф, – простите, ради бога, дорогой друг; я поскользнулся и попал локтем в ваше стекло; раз уж оно разбилось, я этим воспользуюсь и войду к вам. Не беспокойтесь, не беспокойтесь.

И, протянув руку в разбитое стекло, граф открыл дверь.

Моррель встал, явно раздосадованный, и пошел навстречу Монте-Кристо, не столько чтобы принять его, сколько чтобы загородить ему дорогу.

– Право же, в этом виноваты ваши слуги, – сказал Монте-Кристо, потирая локоть, – у вас в доме паркет натерт, как зеркало.

– Вы не поранили себя? – холодно спросил Моррель.

– Не знаю. Но что вы делали? Писали?

– Я?

– У вас пальцы в чернилах.

– Да, я писал, – отвечал Моррель, – это со мной иногда случается, хоть я и военный.

Монте-Кристо сделал несколько шагов по комнате. Максимилиан не мог не впустить его; но он шел за ним.

– Вы писали? – продолжал Монте-Кристо, глядя на него пытливо-пристальным взглядом.

– Я уже имел честь сказать вам, что да, – отвечал Моррель.

Граф бросил взгляд кругом.

– Положив пистолеты возле чернильницы? – сказал он, указывая Моррелю на оружие, лежавшее на столе.

– Я отправляюсь путешествовать, – отвечал Максимилиан.

– Друг мой! – сказал Монте-Кристо с бесконечной нежностью.

– Сударь!

– Дорогой Максимилиан, не надо крайних решений, умоляю вас!

– У меня крайние решения? – сказал Моррель, пожимая плечами. – Почему путешествие – это крайнее решение, скажите, пожалуйста?

– Сбросим маски, Максимилиан, – сказал Монте-Кристо. – Вы меня не обманете своим деланным спокойствием, как я вас не обману моим поверхностным участием. Вы ведь сами понимаете, что, если я поступил так, как сейчас, если я разбил стекло и ворвался в запертую дверь к своему другу, – значит, у меня серьезные опасения, или, вернее, ужасная уверенность. Моррель, вы хотите убить себя.

– Что вы! – сказал Моррель, вздрогнув. – Откуда вы это взяли, граф?

– Я вам говорю, что вы хотите убить себя, – продолжал граф тем же тоном, – и вот доказательство.

И, подойдя к столу, он приподнял белый листок, положенный молодым человеком на начатое письмо, и взял письмо в руки.

Моррель бросился к нему, чтобы вырвать письмо.

Но Монте-Кристо предвидел это движение и предупредил его; схватив Максимилиана за кисть руки, он остановил его, как стальная цепь останавливает приведенную в действие пружину.

– Вы хотели убить себя, Моррель, – сказал он. – Это написано здесь черным по белому!

– Так что же! – воскликнул Моррель, разом отбросив свое показное спокойствие. – А если даже и так, если я решил направить на себя дуло этого пистолета, кто мне помешает?

У кого хватит смелости мне помешать?

Когда я скажу: все мои надежды рухнули, мое сердце разбито, моя жизнь погасла, вокруг меня только тьма и мерзость, земля превратилась в прах, слышать человеческие голоса для меня пытка.

Когда я скажу: дать мне умереть, это – милосердие, ибо если вы не дадите мне умереть, я потеряю рассудок, я сойду с ума.

Когда я это скажу, когда увидят, что я говорю это с отчаянием и слезами в сердце, кто мне ответит: «Вы не правы!» Кто мне помешает перестать быть несчастнейшим из несчастных?

Скажите, граф, уж не вы ли осмелитесь на это?

– Да, Моррель, – сказал твердым голосом Монте-Кристо, чье спокойствие странно контрастировало с волнением Максимилиана. – Да, я.

– Вы! – воскликнул Моррель, с возрастающим гневом и укоризной. – Вы обольщали меня нелепой надеждой, вы удерживали, убаюкивали, усыпляли меня пустыми обещаниями, когда я мог бы сделать что-нибудь решительное, отчаянное и спасти ее или хотя бы видеть ее умирающей в моих объятиях; вы хвалились, будто владеете всеми средствами разума, всеми силами природы; вы притворяетесь, что все можете, вы разыгрываете роль провидения, и вы даже не сумели дать противоядия отравленной девушке! Нет, знаете, сударь, вы внушили бы мне жалость, если бы не внушали отвращение!

– Моррель!

– Да, вы предложили мне сбросить маску; так радуйтесь, что я ее сбросил. Да, когда вы последовали за мной на кладбище, я вам еще отвечал по доброте душевной; когда вы вошли сюда, я дал вам войти... Но вы злоупотребляете моим терпением, вы преследуете меня в моей комнате, куда я скрылся, как в могилу, вы приносите мне новую муку – мне, который думал, что исчерпал их уже все... Так слушайте, граф Монте-Кристо, мой мнимый благодетель, всеобщий спаситель, вы можете быть довольны: ваш друг умрет на ваших глазах!..

И Моррель с безумным смехом вторично бросился к пистолетам.

Монте-Кристо, бледный, как привидение, но с мечущим молнии взором, положил руку на оружие и сказал безумцу:

– А я повторяю: вы не убьете себя!

– Помешайте же мне! – воскликнул Моррель с последним порывом, который, как и первый, разбился о стальную руку графа.

– Помешаю!

– Да кто вы такой, наконец! Откуда у вас право тиранически распоряжаться свободными и мыслящими людьми? – воскликнул Максимилиан.

– Кто я? – повторил Монте-Кристо. – Слушайте. Я единственный человек на свете, который имеет право сказать вам: Моррель, я не хочу,

чтобы сын твоего отца сегодня умер!

И Монте-Кристо, величественный, преображенный, неодолимый, подошел, скрестив руки, к трепещущему Максимилиану, который, невольно покоренный почти божественной силой этого человека, отступил на шаг.

– Зачем вы говорите о моем отце? – прошептал он. – Зачем память моего отца соединять с тем, что происходит сегодня?

– Потому что я тот, кто спас жизнь твоему отцу, когда он хотел убить себя, как ты сегодня; потому что я тот, кто послал кошелек твоей юной сестре и «Фараон» старику Моррелю; потому что я Эдмон Дантес, на коленях у которого ты играл ребенком.

Потрясенный, Моррель, шатаясь, тяжело дыша, сделал еще шаг назад; потом силы ему изменили, и он с громким криком упал к ногам Монте-Кристо.

И вдруг в этой благородной душе совершилось внезапное и полное перерождение: Моррель вскочил, выбежал из комнаты и кинулся на лестницу, крича во весь голос:

– Жюли! Эмманюель!

Монте-Кристо хотел броситься за ним вдогонку, но Максимилиан скорее дал бы себя убить, чем выпустил бы ручку двери, которую он закрывал перед графом.

На крики Максимилиана в испуге прибежали Жюли и Эмманюель в сопровождении Пенелона и слуг.

Моррель взял их за руки и открыл дверь.

– На колени! – воскликнул он голосом, сдавленным от слез. – Вот наш благодетель, спаситель нашего отца, вот…

Он хотел сказать: «Вот Эдмон Дантес!»

Граф остановил его, схватив за руку.

Жюли припала к руке графа, Эмманюель целовал его, как бога-покровителя; Моррель снова стал на колени и поклонился до земли.

Тогда этот железный человек почувствовал, что сердце его разрывается, пожирающее пламя хлынуло из его груди к глазам; он склонил голову и заплакал.

Несколько минут в этой комнате лились слезы и слышались вздохи, этот хор показался бы сладостным даже возлюбленнейшим ангелам божьим.

Жюли, едва придя в себя после испытанного потрясения, бросилась вон из комнаты, спустилась этажом ниже, с детской радостью вбежала в гостиную и приподняла стеклянный колпак, под которым лежал кошелек, подаренный незнакомцем с Мельянских аллей.

Тем временем Эмманюель прерывающимся голосом говорил Монте-Кристо:

– Ах, граф, ведь вы знаете, что мы так часто говорим о нашем неведомом благодетеле, знаете, какой благодарностью и каким обожанием мы окружаем память о нем. Как вы могли так долго ждать, чтобы открыться? Право, это было жестоко по отношению к нам и, я готов сказать, по отношению к вам самим!

– Поймите, друг мой, – сказал граф, – я могу называть вас так, потому что, сами того не зная, вы мне друг вот уже одиннадцать лет; важное событие заставило меня раскрыть эту тайну, я не могу сказать вам какое. Видит бог, я хотел всю жизнь хранить эту тайну в глубине своей души; Максимилиан вырвал ее у меня угрозами, в которых, я уверен, он раскаивается.

Максимилиан все еще стоял на коленях, немного поодаль, припав лицом к креслу.

– Следите за ним, – тихо добавил Монте-Кристо, многозначительно пожимая Эмманюелю руку.

– Почему? – удивленно спросил тот.

– Не могу объяснить вам, но следите за ним.

Эмманюель обвел комнату взглядом и увидел пистолеты Морреля.

Глаза его с испугом остановились на оружии, и он указал на него Монте-Кристо, медленно подняв руку до уровня стола.

Монте-Кристо наклонил голову.

Эмманюель протянул было руку к пистолетам.

Но граф остановил его.

Затем, подойдя к Моррелю, он взял его за руку; бурные чувства, только что потрясавшие сердце Максимилиана, сменились глубоким оцепенением.

Вернулась Жюли, она держала в руке шелковый кошелек; и две сверкающие радостные слезинки катились по ее щекам, как две капли утренней росы.

– Вот наша реликвия, – сказала она, – не думайте, что я ею меньше дорожу с тех пор, как мы узнали, кто наш спаситель.

– Дитя мое, – сказал Монте-Кристо, краснея, – позвольте мне взять этот кошелек; теперь, когда вы узнали меня, я хочу, чтобы вам напоминало обо мне только дружеское расположение, которого вы меня удостаиваете.

– Нет, нет, умоляю вас, – воскликнула Жюли, прижимая кошелек к сердцу, – ведь вы можете уехать, ведь придет горестный день, и вы нас покинете, правда?

– Вы угадали, – отвечал, улыбаясь, Монте-Кристо, – через неделю я покину эту страну, где столько людей, заслуживавших небесной кары, жили счастливо, в то время как отец мой умирал от голода и горя.

Сообщая о своем отъезде, Монте-Кристо взглянул на Морреля и увидел, что слова «Я покину эту страну» не вывели Морреля из его летаргии; он понял, что ему предстоит выдержать еще последнюю битву с горем друга; и, взяв за руки Жюли и Эмманюеля, он сказал им отечески мягко и повелительно:

– Дорогие друзья, прошу вас, оставьте меня наедине с Максимилианом.

Жюли это давало возможность унести драгоценную реликвию, о которой забыл Монте-Кристо.

Она поторопила мужа.

– Оставим их, – сказала она.

Граф остался с Моррелем, недвижным, как изваяние.

– Послушай, Максимилиан, – сказал граф, властно касаясь его плеча, – станешь ли ты наконец опять человеком?

– Да, я опять начинаю страдать.

Граф нахмурился; казалось, он был во власти тяжкого сомнения.

– Максимилиан! – сказал он. – Такие мысли недостойны христианина.

– Успокойтесь, мой друг, – сказал Максимилиан, подымая голову и улыбаясь графу бесконечно печальной улыбкой. – Я не стану искать смерти.

– Итак, – сказал Монте-Кристо, – нет больше пистолетов, нет больше отчаяния?

– Нет, ведь у меня есть нечто лучшее, чем дуло пистолета или острие ножа, чтобы излечиться от моей боли.

– Бедный безумец!.. Что же это такое?

– Моя боль; она сама убьет меня.

– Друг, выслушай меня, – сказал Монте-Кристо с такой же печалью. – Однажды, в минуту отчаяния, равного твоему, ибо оно привело к тому же решению, я, как и ты, хотел убить себя; однажды твой отец, в таком же отчаянии, тоже хотел убить себя.

Если бы твоему отцу в тот миг, когда он приставлял дуло пистолета ко лбу, или мне, когда я отодвигал от своей койки тюремный хлеб, к которому не прикасался уже три дня, кто-нибудь сказал: «Живите! Настанет день, когда вы будете счастливы и благословите жизнь», – откуда бы ни исходил этот голос, мы бы встретили его с улыбкой сомнения, с тоской неверия. А между тем сколько раз, целуя тебя, твой отец благословлял жизнь, сколько раз я сам...

– Но вы потеряли только свободу, – воскликнул Моррель, прерывая его, – мой отец потерял только богатство, а я потерял Валентину!

– Посмотри на меня, Максимилиан, – сказал Монте-Кристо с той торжественностью, которая подчас делала его столь величавым и убедительным. – У меня нет ни слез на глазах, ни жара в крови, мое сердце не бьется уныло. А ведь я вижу, что ты страдаешь, Максимилиан, ты, которого я люблю, как родного сына. Разве это не говорит тебе, что страдание – как жизнь: впереди всегда ждет неведомое. Я прошу тебя, и я приказываю тебе жить, ибо я знаю: будет день, когда ты поблагодаришь меня за то, что я сохранил тебе жизнь.

– Боже мой, – воскликнул молодой человек, – зачем вы это говорите, граф? Берегитесь! Быть может, вы никогда не любили?

– Дитя! – ответил граф.

– Не любили страстно, я хочу сказать, – продолжал Моррель. – Поймите, я с юных лет солдат; я дожил до двадцати девяти лет, не любя, потому что те чувства, которые я прежде испытывал, нельзя назвать любовью; и вот в двадцать девять лет я увидел Валентину; почти два года я ее люблю, два года я читал в этом раскрытом для меня, как книга, сердце, начертанные рукой самого бога совершенства девушки и женщины.

Граф, Валентина для меня была бесконечным счастьем, огромным, неведомым счастьем, слишком большим, слишком полным, слишком божественным для этого мира; и если в этом мире оно мне не было суждено, то без Валентины для меня на земле остаются только отчаяние и скорбь.

– Я вам сказал: надейтесь, – повторил граф.

– Берегитесь, повторяю вам, – сказал Моррель, – вы стараетесь меня убедить, а если вы меня убедите, я сойду с ума, потому что стану думать, что увижусь с Валентиной.

Граф улыбнулся.

– Мой друг, мой отец! – воскликнул Моррель в исступлении. – Берегитесь, повторяю вам в третий раз! Ваша власть надо мной меня пугает; берегитесь значения ваших слов, глаза мои оживают, и сердце воскресает; берегитесь, ибо я готов поверить в сверхъестественное!

Я готов повиноваться, если вы мне велите отвалить камень от могилы дочери Иаира, я пойду по волнам, как апостол, если вы сделаете мне знак идти; берегитесь, я готов повиноваться.

– Надейся, друг мой, – повторил граф.

– Нет, – воскликнул Моррель, падая с высоты своей экзальтации в пропасть отчаяния, – вы играете мной, вы поступаете, как добрая мать, вернее – как мать-эгоистка, которая слащавыми словами успокаивает больного ребенка, потому что его крик ей докучает.

Нет, я был не прав, когда говорил, чтобы вы остерегались; не бойтесь, я так запрячу свое горе в глубине сердца, я сделаю его таким далеким, таким тайным, что вам даже не придется ему соболезновать. Прощайте, мой друг, прощайте.

– Напротив, Максимилиан, – сказал граф, – с нынешнего дня ты будешь жить подле меня, мы уже не расстанемся, и через неделю нас уже не будет во Франции.

– И вы по-прежнему говорите, чтобы я надеялся?

– Я говорю, чтобы ты надеялся, ибо знаю способ тебя исцелить.

– Граф, вы меня огорчаете еще больше, если это возможно. В постигшем меня несчастье вы видите только заурядное горе, и вы надеетесь меня утешить заурядным средством – путешествием.

И Моррель презрительно и недоверчиво покачал головой.

– Что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? – отвечал Монте-Кристо. – Я верю в свои обещания, дай мне попытаться.

– Вы только затягиваете мою агонию.

– Итак, малодушный, – сказал граф, – у тебя не хватает силы подарить твоему другу несколько дней, чтобы он мог сделать попытку?

Да знаешь ли ты, на что способен граф Монте-Кристо?

Знаешь ли ты, какие земные силы мне подвластны?

У меня довольно веры в бога, чтобы добиться чуда от того, кто сказал, что вера движет горами!

Жди же чуда, на которое я надеюсь, или...

– Или, – повторил Моррель.

– Или берегись, Моррель, я назову тебя неблагодарным!

– Сжальтесь надо мной!

– Максимилиан, слушай: мне очень жаль тебя. Так жаль, что если я не исцелю тебя через месяц, день в день, час в час, запомни мои слова: я сам поставлю тебя перед этими заряженными пистолетами или перед чашей яда, самого верного яда Италии, более верного и быстрого, поверь мне, чем тот, который убил Валентину.

– Вы обещаете?

– Да, ибо я человек, ибо я тоже хотел умереть, и часто, даже когда несчастье уже отошло от меня, я мечтал о блаженстве вечного сна.

– Так это верно, вы мне обещаете, граф? – воскликнул Максимилиан в упоении.

– Я не обещаю, я клянусь, – сказал Монте-Кристо, подымая руку.

– Вы даете слово, что через месяц, если я не утешусь, вы предоставите мне право располагать моей жизнью, и, как бы я ни поступил, вы не назовете меня неблагодарным?

– Через месяц, день в день, Максимилиан; через месяц, час в час, и число это священно, – не знаю, подумал ли ты об этом? Сегодня пятое сентября. Сегодня десять лет, как я спас твоего отца, который хотел умереть.

Моррель схватил руку графа и поцеловал ее; тот не противился, словно понимая, что достоин такого поклонения.

– Через месяц, – продолжал Монте-Кристо, – ты найдешь на столе, за которым мы будем сидеть, хорошее оружие и легкую смерть; но взамен ты обещаешь мне ждать до этого дня и жить?

– Я тоже клянусь! – воскликнул Моррель.

Монте-Кристо привлек его к себе и крепко обнял.

– Отныне ты будешь жить у меня, – сказал он, – ты займешь комнаты Гайде: по крайней мере сын заменит мне мою дочь.

– А где же Гайде? – спросил Моррель.

– Она уехала сегодня ночью.

– Она покинула вас?

– Нет, она ждет меня... Будь же готов переехать ко мне на Елисейские поля и дай мне выйти отсюда так, чтобы меня никто не видел.

Максимилиан склонил голову, послушный, как дитя или как апостол.

# IX. Дележ

В доме на улице Сен-Жермен-де-Пре, который Альбер де Морсер выбрал для своей матери и для себя, весь второй этаж, представляющий собой отдельную небольшую квартиру, был сдан весьма таинственной личности.

Это был мужчина, лица которого даже швейцар ни разу не мог разглядеть, когда тот входил или выходил; зимой он прятал подбородок в красный шейный платок, какие носят кучера из богатых домов, ожидающие своих господ у театрального подъезда, а летом сморкался как раз в ту минуту, когда проходил мимо швейцарской. Надо сказать, что вопреки обыкновению за этим жильцом никто не подглядывал: слух, будто под этим инкогнито скрывается весьма высокопоставленная особа с большими связями, заставлял уважать его тайну.

Являлся он обыкновенно в одно и то же время, изредка немного раньше или позже; но почти всегда, зимой и летом, он приходил в свою квартиру около четырех часов и никогда в ней не ночевал.

Зимой, в половине четвертого, молчаливая служанка, смотревшая за квартирой, топила камин; летом, в половине четвертого, та же служанка подавала мороженое.

В четыре часа, как мы уже сказали, являлся таинственный жилец.

Через двадцать минут к дому подъезжала карета; из нее выходила женщина в черном или темно-синем, с опущенной на лицо густой вуалью, проскальзывала, как тень, мимо швейцарской и легкими, неслышными шагами поднималась по лестнице.

Ни разу не случилось, чтобы кто-нибудь спросил ее, куда она идет.

Таким образом, ее лицо, так же как и лицо незнакомца, было неизвестно обоим привратникам, этим примерным стражам, быть может, единственным в огромном братстве столичных швейцаров, которые были способны на такую скромность.

Разумеется, она подымалась не выше второго этажа. Она негромко стучала условным стуком; дверь отворялась, затем плотно закрывалась –

и все.

При выходе из дома – тот же маневр, что и при входе. Незнакомка выходила первой, все так же под вуалью, и садилась в карету, которая исчезала то в одном конце улицы, то в другом, спустя двадцать минут выходил незнакомец, зарывшись в шарф или прикрыв лицо платком, и тоже исчезал.

На другой день после визита Монте-Кристо к Данглару и похорон Валентины таинственный жилец пришел не в четыре часа, как всегда, а около десяти часов утра.

Почти тотчас же, без обычного перерыва, подъехала наемная карета, и дама под вуалью быстро поднялась по лестнице.

Дверь открылась и снова закрылась.

Но раньше чем дверь успела закрыться, дама воскликнула:

– Люсьен, друг мой!

Таким образом, швейцар, поневоле услышав это восклицание, впервые узнал, что его жильца зовут Люсьеном; но так как это был примерный швейцар, то он дал себе слово не говорить этого даже своей жене.

– Что случилось, дорогая? – спросил тот, чье имя выдали смятение и поспешность дамы под вуалью. – Говорите скорее.

– Могу я положиться на вас?

– Конечно, вы же знаете. Но что случилось? Ваша записка повергла меня в полное недоумение. Такая поспешность, неровный почерк... Успокойте же меня или уж испугайте совсем!

– Случилось вот что! – сказала дама, устремив на Люсьена испытующий взгляд. – Данглар сегодня ночью уехал.

– Уехал? Данглар уехал? Куда?

– Не знаю.

– Как! Не знаете? Так он уехал совсем?

– Очевидно. В десять часов вечера он поехал на своих лошадях к Шарантонской заставе; там его ждала почтовая карета; он сел в нее со своим лакеем и сказал нашему кучеру, что едет в Фонтенбло.

– Ну так что ж? А вы говорите...

– Подождите, мой друг. Он оставил письмо.

– Письмо?

– Да. Прочтите.

И баронесса протянула Дебрэ распечатанное письмо.

Прежде чем начать читать, Дебрэ немного подумал, словно стараясь отгадать, что окажется в письме, или, вернее, словно хотел, что бы в нем ни оказалось, заранее принять решение.

Через несколько секунд он, по-видимому, на чем-то остановился и начал читать.

Вот что было в этом письме, приведшем г-жу Данглар в такое смятение:

*– «Сударыня и верная наша супруга».*

Дебрэ невольно остановился и посмотрел на баронессу, которая густо покраснела.

– Читайте! – сказала она.

Дебрэ продолжал:

*– «Когда вы получите это письмо, у вас уже не будет мужа! Не впадайте в чрезмерную тревогу; у вас не будет мужа, как не будет дочери; другими словами, я буду на одной из тридцати или сорока дорог, по которым покидают Францию.*

*Вы ждете от меня объяснений, и так как вы женщина, вполне способная их понять, то я вам их и даю.*

*Слушайте же:*

*Сегодня от меня потребовали уплаты пяти миллионов, что я и выполнил; почти непосредственно вслед за этим потребовался еще один платеж, в той же сумме; я отложил его на завтра; сегодня я уезжаю, чтобы избегнуть этого завтрашнего дня, который был бы для меня слишком неприятным.*

*Вы это понимаете, не правда ли, сударыня и драгоценнейшая супруга?*

*Я говорю: «вы понимаете», потому что вы знаете мои дела не хуже моего; вы знаете их даже лучше, чем я, ибо, если бы потребовалось объяснить, куда девалась добрая половина моего состояния, еще недавно довольно приличного, то я не мог бы этого сделать, тогда как вы, я уверен, прекрасно справились бы с этой задачей.*

*Женщины обладают безошибочным чутьем, у них имеется алгебра собственного изобретения, при помощи которой они вам могут объяснить любое чудо. А я знал только свои цифры и перестал понимать что бы то ни было, когда мои цифры меня обманули.*

*Случалось ли вам восхищаться стремительностью моего падения, сударыня?*

*Изумлялись ли вы сверкающему потоку моих расплавленных слитков?*

*Я, признаться, был ослеплен поразившей меня молнией; будем надеяться, что вы нашли немного золота под пеплом.*

*С этой утешительной надеждой я и удаляюсь, сударыня и благоразумнейшая супруга, и моя совесть ничуть меня не укоряет за то, что я вас покидаю; у вас остаются друзья, упомянутый пепел и, в довершение блаженства, свобода, которую я спешу вам вернуть.*

*Все же, сударыня, здесь будет уместно сказать несколько слов начистоту.*

*Пока я надеялся, что вы действуете на пользу нашего дома, в интересах нашей дочери, я философски закрывал глаза; но так как вы в этот дом внесли полное разорение, я не желаю служить фундаментом чужому благополучию.*

*Я взял вас богатой, но мало уважаемой.*

*Простите мне мою откровенность; но так как, по всей вероятности, я говорю только для нас двоих, то я не вижу оснований что-либо приукрашивать.*

*Я приумножал наше богатство, которое в течение пятнадцати с лишним лет непрерывно возрастало, до того часа, пока неведомые и непонятные мне самому бедствия не обрушились на меня и не*

*обратили его в прах, и притом, смело могу сказать, без всякой моей вины.*

*Вы, сударыня, старались приумножить только свое собственное состояние, в чем и преуспели, я в этом убежден.*

*Итак, я оставляю вас такой, какой я вас взял: богатой, но мало уважаемой.*

*Прощайте.*

*Я тоже, начиная с сегодняшнего дня, буду заботиться только о себе.*

*Верьте, я очень признателен вам за пример и не премину ему последовать.*

*Ваш преданный муж барон Данглар».*

* * *

В продолжение этого длинного и тягостного чтения баронесса внимательно следила за Дебрэ; она заметила, что он, несмотря на все свое самообладание, раза два менялся в лице.

Кончив, он медленно сложил письмо и снова задумался.

– Ну что? – спросила г-жа Данглар с легко понятной тревогой.

– Что, сударыня? – машинально повторил Дебрэ.

– Что вы думаете об этом?

– Думаю, что у Данглара были подозрения, сударыня.

– Да, конечно; но неужели это все, что вы имеете мне сказать?

– Я вас не понимаю, – сказал Дебрэ с ледяной холодностью.

– Он уехал! Уехал совсем! Уехал, чтобы не возвращаться!

– Не верьте этому, баронесса, – сказал Дебрэ.

– Да нет же, он не вернется; я его знаю, этот человек непоколебим, когда затронуты его интересы. Если бы он считал, что я могу быть ему полезна, он увез бы меня с собой. Он оставляет меня в Париже, – значит,

наша разлука входит в его планы; а если так, она бесповоротна, и я свободна навсегда, – добавила г-жа Данглар с мольбой в голосе.

Но Дебрэ не ответил и оставил ее с тем же тревожным вопросом во взгляде и в душе.

– Что же это? – сказала она наконец. – Вы молчите?

– Я могу только задать вам один вопрос: что вы намерены делать?

– Я сама хотела спросить вас об этом, – сказала г-жа Данглар с сильно бьющимся сердцем.

– Так вы спрашиваете у меня совета?

– Да, совета, – упавшим голосом отвечала г-жа Данглар.

– В таком случае, – холодно проговорил Дебрэ, – я вам советую отправиться путешествовать.

– Путешествовать! – прошептала г-жа Данглар.

– Разумеется. Как сказал Данглар, вы богаты и вполне свободны. Мне кажется, после двойного скандала – несостоявшейся свадьбы мадемуазель Эжени и исчезновения Данглара – вам совершенно необходимо уехать из Парижа.

Нужно только, чтобы все знали, что вы покинуты, и чтобы вас считали бедной; жене банкрота никогда не простят богатства и широкого образа жизни.

Чтобы достигнуть первого, вам достаточно остаться в Париже еще две недели, повторяя всем и каждому, что Данглар вас бросил, и рассказывая вашим близким подругам, как это произошло; а уж они разнесут это повсюду.

Потом вы выедете из своего дома, оставите там свои бриллианты, откажетесь от своей доли в имуществе, и все будут превозносить ваше бескорыстие и петь вам хвалы.

Тогда все будут знать, что вы покинуты, и все будут считать, что вы остались без средств; я один знаю ваше финансовое положение и готов представить вам отчет, как честный компаньон.

Баронесса, бледная, сраженная, слушала эту речь с ужасом и отчаянием, тогда как Дебрэ был совершенно спокоен и равнодушен.

– Покинута! – повторила она. – Вы правы, покинута!.. Никто не усомнится в моем одиночестве!

Это были единственные слова, которыми эта женщина, такая гордая и так страстно любящая, могла ответить Дебрэ.

– Но зато вы богаты, даже очень богаты, – продолжал он, вынимая из бумажника какие-то бумаги и раскладывая их на столе.

Госпожа Данглар молча смотрела, стараясь унять бьющееся сердце и удержать слезы, которые выступили у нее на глазах. Но, наконец, чувство собственного достоинства взяло верх. И если ей и не удалось унять биение сердца, то она не пролила ни одной слезы.

– Сударыня, – сказал Дебрэ, – мы с вами стали компаньонами почти полгода тому назад. Вы внесли сто тысяч франков. Это было в апреле текущего года.

В мае начались наши операции. В мае мы реализовали четыреста пятьдесят тысяч франков. В июне прибыль достигла девятисот тысяч. В июле мы прибавили к этому еще миллион семьсот тысяч франков; вы помните, это был месяц испанских бумаг.

В августе, в начале месяца, мы потеряли триста тысяч франков; но к пятнадцатому числу мы отыгрались, а в конце месяца взяли реванш; я подвел итог нашим операциям с мая по вчерашний день. Мы имеем актив в два миллиона четыреста тысяч франков, то есть миллион двести тысяч на долю каждого.

– Затем, – продолжал Дебрэ, перелистывая свою записную книжку с методичностью и спокойствием биржевого маклера, – мы имеем восемьдесят тысяч франков сложных процентов на эту сумму, оставшуюся у меня на руках.

– Но откуда эти проценты? – перебила баронесса. – Ведь вы никогда не пускали эти деньги в оборот.

– Прошу прощения, сударыня, – холодно сказал Дебрэ, – я имел от вас полномочия пустить их в оборот, и я воспользовался этим.

Итак, на вашу долю приходится сорок тысяч франков процентов, да еще первоначальный взнос в сто тысяч франков, – иначе говоря, миллион триста сорок тысяч франков. При этом, сударыня, всего лишь

третьего дня я позаботился обратить вашу долю в деньги; видите, я словно предчувствовал, что мне придется неожиданно дать вам отчет.

Деньги ваши здесь: половина кредитными билетами, половинами чеками на предъявителя. Они именно здесь: мой дом казался мне недостаточно надежным, и я считал, что нотариусы не умеют молчать, а недвижимость кричит еще громче, чем нотариусы; наконец, вы не имеете права ничем владеть, помимо имущества, принадлежащего вам сообща с вашим супругом; вот почему я хранил эту сумму – отныне единственное ваше богатство – в тайнике, вделанном в этот шкаф; для большей верности я сделал его собственноручно.

– Итак, сударыня, – продолжал Дебрэ, отпирая сначала шкаф, затем тайник, – вот восемьсот тысячефранковых билетов; видите, они переплетены, как толстый альбом; я присоединяю к нему купон ренты в двадцать пять тысяч франков; остается около ста десяти тысяч франков, – вот чек на предъявителя на моего банкира. А так как мой банкир не Данглар, то можете быть спокойны, чек будет оплачен.

Госпожа Данглар машинально взяла чек на предъявителя, купон ренты и пачку кредитных билетов.

Разложенное здесь, на столе, это огромное богатство казалось просто кучкой ничтожных бумажек.

Госпожа Данглар, с сухими глазами, подавляя рыдания, положила альбом в ридикюль, спрятала купон ренты и чек в свой кошелек и, бледная, безмолвная, ждала ласкового слова, которое утешило бы ее в том, что она так богата.

Но она ждала напрасно.

– Теперь, сударыня, – сказал Дебрэ, – вы прекрасно обеспечены – у вас что-то около шестидесяти тысяч ливров годового дохода – сумма, огромная для женщины, которой нельзя будет жить открыто еще по меньшей мере год.

Вы можете позволить себе любую прихоть, какая придет вам в голову; к тому же, если ваша доля покажется вам недостаточной по сравнению с тем, чего вы лишились, вы можете обратиться к моей доле, сударыня, и я

готов вам предложить, – взаимообразно, разумеется, – все, что я имею, то есть миллион шестьдесят тысяч франков.

– Благодарю вас, сударь, – отвечала баронесса, – вы сами понимаете, что моя доля – это гораздо больше, чем нужно несчастной женщине, которая уже не рассчитывает – во всяком случае, на долгое время – появляться в обществе.

Дебрэ удивился, но овладел собой и сделал жест, который можно было истолковать как наиболее вежливое выражение мысли: «Как угодно!»

Госпожа Данглар, быть может, все еще на что-то надеялась, но когда она увидела этот беспечный жест и уклончивый взгляд Дебрэ, а также глубокий поклон и многозначительное молчание, которые затем последовали, она подняла голову, отворила дверь и без гнева, без содрогания, но и не колеблясь, бросилась на лестницу, даже не кивнув тому, кто давал ей так уйти.

– Пустяки! – сказал Дебрэ, когда она ушла. – Все это одни разговоры; она останется в своем доме, будет читать романы и играть в ландскнехт, раз уже не может играть на бирже.

И, взяв опять свою записную книжку, он принялся старательно вычеркивать суммы, которые он выплатил.

– Мне остается миллион шестьдесят тысяч франков, – сказал он. – Как жаль, что умерла мадемуазель де Вильфор! Это была бы для меня во всех отношениях подходящая жена.

И флегматично, как всегда, он стал ждать, пока после ухода г-жи Данглар пройдет двадцать минут, чтобы выйти самому.

В течение этих двадцати минут Дебрэ производил подсчеты, положив часы перед собой.

Любознательный бес, которого всякое безудержное воображение создало бы более или менее удачно, если бы Лесаж не завоевал первенства своим шедевром – Асмодей, поднимающий кровли домов, чтобы заглянуть внутрь, – увидел бы занимательное зрелище, если бы в ту минуту, когда Дебрэ производил свои подсчеты, он снял крышу скромного дома на улице Сен-Жермен-де-Пре.

Над той комнатой, где Дебрэ поделил с г-жой Данглар два с половиной миллиона, была другая комната, обитатели которой тоже нам знакомы и заслуживают нашего внимания.

В этой комнате находились Мерседес и Альбер.

Мерседес сильно изменилась за последние дни; не потому, чтобы во времена своего богатства она окружала себя кичливой пышностью и стала неузнаваема, как только приняла более скромный облик; и не потому, чтобы она дошла до такой бедности, когда приходится облекаться в наряд нищеты; нет, Мерседес изменилась потому, что взгляд ее померк и губы больше не улыбались, потому что неотступная гнетущая мысль владела ее некогда столь живым умом и лишала ее речь былого блеска.

Не бедность притупила ум Мерседес; не потому, что она была малодушна, тяготила ее эта бедность. Покинув привычную сферу, Мерседес затерялась в чуждой среде, как человек, который, выйдя из ярко освещенной залы, вдруг попадает во мрак. Она казалась королевой, которая переселилась из дворца в хижину и не узнает самое себя, глядя на тюфяк, заменяющий ей пышное ложе, и на глиняный кувшин, который сама должна ставить на стол.

Прекрасная каталанка, или, если угодно, благородная графиня, утратила свой гордый взгляд и прелестную улыбку, потому что видела вокруг только унылые предметы: стены, оклеенные серыми обоями, которые обычно предпочитают расчетливые хозяева, как наименее маркие; голый каменный пол; аляповатую мебель, режущую глаз своей убогой роскошью; словом – все то, что оскорбляет взор, привыкший к изяществу и гармонии.

Госпожа де Морсер жила здесь с тех пор, как покинула свой дом; у нее кружилась голова от этой вечной тишины, как у путника, подошедшего к краю пропасти; она заметила, что Альбер то и дело украдкой смотрит на нее, стараясь прочесть ее мысли, и научилась улыбаться одними губами, и эта застывшая улыбка, не озаренная нежным сиянием глаз, походила на отраженный свет, лишенный живительного тепла.

Альбер тоже был подавлен и смущен; его тяготили остатки роскоши, которые мешали ему освоиться с его новым положением; он хотел бы выйти из дому без перчаток, но его руки были слишком белы; он хотел бы ходить пешком, но его башмаки слишком ярко блестели.

И все же эти два благородных и умных существа, неразрывно связанные узами материнской и сыновней любви, понимали друг друга без слов и могли обойтись без околичностей, неизбежных даже между близкими друзьями, когда речь идет о материальной основе нашей жизни.

Словом, Альбер мог сказать своей матери, не испугав ее:

– Матушка, у нас больше нет денег.

Мерседес никогда не знала подлинной нищеты; в молодости она часто называла себя бедной; но это не одно и то же; нужда и нищета – синонимы, между которыми целая пропасть.

В Каталанах Мерседес нуждалась в очень многом, но очень многое у нее было. Сети были целы – рыба ловилась; а ловилась рыба – были нитки, чтобы чинить сети.

Когда нет близких, а есть только любовь, которая никак не касается житейских мелочей, думаешь только о себе и отвечаешь только за себя.

Тем немногим, что у нее было, Мерседес делилась щедро со всеми, теперь у нее не было ничего, а приходилось думать о двоих.

Близилась зима; у графини де Морсер калорифер с сотнями труб согревал дом от передней до будуара; теперь Мерседес нечем было развести огонь в этой неуютной и уже холодной комнате; ее покои утопали в редкостных цветах, ценившихся на вес золота, – а теперь у нее не было даже самого жалкого цветочка.

Но у нее был сын...

Пафос отречения, быть может, чрезмерный, до сих пор возвышал их над прозой жизни.

Пафос – это почти экзальтация; а экзальтация возносит душу над всем земным.

Но экзальтация первого порыва угасла, и мало-помалу пришлось спуститься из страны грез в мир действительности.

После многих бесед об идеальном настало время поговорить о житейском.

– Матушка, – говорил Альбер в ту самую минуту, когда г-жа Данглар спускалась по лестнице, – подсчитаем наши средства, я должен знать итог, чтобы составить план действий.

– Итог: нуль, – сказала Мерседес с горькой улыбкой.

– Нет, матушка. Итог – три тысячи франков, и на эти три тысячи я намерен прекрасно устроиться.

– Дитя! – вздохнула Мерседес.

– Дорогая матушка, – сказал Альбер, – к сожалению, я истратил достаточно ваших денег, чтобы знать им цену. Три тысячи франков – это колоссальная сумма, и я построил на ней волшебное здание вечного благополучия.

– Ты шутишь, мой друг. И разве мы принимаем эти три тысячи франков? – спросила Мерседес, краснея.

– Но ведь это уже решено, мне кажется, – сказал Альбер твердо, – мы их принимаем, тем более что у нас их нет, потому что, как вам известно, они зарыты в саду маленького дома на Мельянских аллеях в Марселе. На двести франков мы с вами поедем в Марсель.

– На двести франков! – сказала Мерседес. – Что ты говоришь, Альбер!

– Да, я навел справки и на почтовой станции, и в пароходной конторе и произвел подсчет. Вы заказываете себе место до Шалона в почтовой карете; видите, матушка, вы будете путешествовать, как королева.

Альбер взял перо и написал:

Карета..... 35... фр.
Пароход от Шалона до Лиона..... 36... фр.
Пароход от Лиона до Авиньона..... 16... фр.
От Авиньона до Марселя..... 37... фр.
Дорожные расходы..... 50... фр.
Итого..... 114... фр.

– Положим, сто двадцать, – добавил Альбер, улыбаясь. – Какой я щедрый, правда, матушка?

– А ты, бедный мальчик?

– Я? Вы же видите, я оставил себе восемьдесят франков. Молодой человек не нуждается в стольких удобствах; к тому же опытный путешественник.

– В собственной карете и с лакеем.

– Всеми способами, матушка.

– Хорошо, – сказала Мерседес, – но где взять двести франков?

– Вот они, а вот и еще двести. Я продал часы за сто франков и брелоки за триста. Подумайте только! Брелоки оказались втрое дороже часов. Старая история: излишества всегда стоят дороже всего! Теперь мы богаты: вместо ста четырнадцати франков, которые вам нужны на дорогу, у вас двести пятьдесят.

– Но здесь тоже нужно заплатить?

– Тридцать франков, но я их плачу из моих ста пятидесяти. Это решено. И так как мне, в сущности, нужно на дорогу только восемьдесят франков, то я просто утопаю в роскоши. Но это еще не все. Что вы на это скажете, матушка?

И Альбер вынул из записной книжечки с золотой застежкой – давняя прихоть, или, быть может, нежное воспоминание об одной из таинственных незнакомок под вуалью, что стучались у маленькой двери, – Альбер вынул из записной книжки тысячефранковый билет.

– Что это? – спросила Мерседес.

– Тысяча франков, матушка. Самая настоящая.

– Но откуда они у тебя?

– Выслушайте меня, матушка, и не волнуйтесь.

И Альбер, подойдя к матери, поцеловал ее в обе щеки, потом отстранился и поглядел на нее.

– Вы даже не знаете, матушка, какая вы красавица! – произнес он с глубоким чувством сыновней любви. – Вы самая прекрасная, самая благородная женщина на свете!

– Дорогой мальчик! – сказала Мерседес, тщетно стараясь удержать слезу, повисшую у нее на ресницах.

– Честное слово, вам оставалось только стать несчастной, чтобы моя любовь превратилась в обожание.

– Я не несчастна, пока у меня есть сын, – сказала Мерседес, – и не буду несчастной, пока он со мной.

– Да, – сказал Альбер, – но в том-то и дело. Вы помните, что мы решили?

– Разве мы решили что-нибудь? – спросила Мерседес.

– Да, мы решили, что вы поселитесь в Марселе, а я уеду в Африку, где вместо имени, от которого я отказался, я заслужу имя, которое я принял.

Мерседес вздохнула.

– Со вчерашнего дня я зачислен в спаги, – добавил Альбер, пристыженно опуская глаза, ибо он сам не знал, сколько доблести было в его унижении, – я решил, что мое тело принадлежит мне и что я могу его продать; со вчерашнего дня я заменяю другого. Я, что называется, продался, и притом, – добавил он, пытаясь улыбнуться, – по-моему, дороже, чем я стою: за две тысячи франков.

– И эта тысяча? – сказала, вздрогнув, Мерседес.

– Это половина суммы; остальное я получу через год.

Мерседес подняла глаза к небу с выражением, которого никакие слова не могли бы передать, и две слезы медленно скатились по ее щекам.

– Цена его крови! – прошептала она.

– Да, если меня убьют, – сказал, смеясь, Альбер. – Но уверяю вас, матушка, что я намерен яростно защищать свою жизнь; никогда еще мне так не хотелось жить, как теперь.

– Боже мой! – вздохнула Мерседес.

– И потом, почему вы думаете, что я буду убит? Разве Ламорсьер, этот южный Ней, убит? Разве Шангарнье убит? Разве Бедо убит? Разве Моррель, которого мы знаем, убит? Подумайте, как вы обрадуетесь, матушка, когда я к вам явлюсь в расшитом мундире! Имейте в виду, я рассчитываю быть неотразимым в этой форме, я выбрал полк спаги из чистого щегольства.

Мерседес вздохнула, пытаясь все же улыбнуться: эта святая женщина терзалась тем, что ее сын принял на себя всю тяжесть жертвы.

– Итак, матушка, – продолжал Альбер, – у вас уже есть верных четыре с лишним тысячи франков; на эти четыре тысячи вы будете жить безбедно два года.

– Ты думаешь? – сказала Мерседес.

Эти слова вырвались у нее с такой неподдельной болью, что их истинный смысл не ускользнул от Альбера; сердце его сжалось, и он нежно взял руку матери в свою.

– Да, вы будете жить! – сказал он.

– Я буду жить, – воскликнула Мерседес, – но ты не уедешь, Альбер?

– Уеду, матушка, – сказал Альбер спокойным и твердым голосом, – вы слишком любите меня, чтобы заставить меня вести подле вас праздную и бесполезную жизнь. К тому же я уже подписал контракт.

– Ты поступишь согласно своей воле, мой сын, а я – согласно воле божьей.

– Нет, не согласно моей воле, матушка, но согласно разуму и необходимости. Мы оба узнали, что такое отчаяние. Что теперь для вас жизнь? Ничто. Что такое жизнь для меня? Поверьте, матушка, безделица, не будь вас; ибо, клянусь, не будь вас, эта жизнь оборвалась бы в тот день, когда я усомнился в своем отце и отрекся от его имени! И все же я буду жить, если вы обещаете мне надеяться; а если вы поручите мне заботу о вашем будущем счастье, то это удвоит мои силы. Тогда я пойду к алжирскому губернатору – это честный человек, настоящий солдат, – я расскажу ему свою печальную повесть, попрошу его время от времени посматривать в мою сторону, и, если он сдержит слово, если он увидит, чего я стою, то либо я через полгода вернусь офицером, либо не вернусь вовсе. Если я вернусь офицером – ваше будущее обеспечено, матушка, потому что у меня хватит денег для нас обоих; к тому же мы оба будем гордиться моим новым именем, потому что это ваше настоящее имя. Если я не вернусь... тогда, матушка, вы расстанетесь с жизнью, если не захотите жить, и тогда наши несчастья кончатся сами собой.

– Хорошо, – отвечала Мерседес, – ты прав, сын мой, докажем людям, которые смотрят на нас и подстерегают наши поступки, чтобы судить нас, докажем им, что мы достойны сожаления.

– Отгоните мрачные мысли, матушка! – воскликнул Альбер. – Поверьте, мы счастливы, во всяком случае, можем быть счастливы. Вы мудрая и кроткая; я стал неприхотлив и, надеюсь, благоразумен. Я на службе, – значит, я богат; вы в доме господина Дантеса – значит, вы найдете покой. Попытаемся, матушка, прошу вас!

– Да, попытаемся, потому что ты должен жить, мой сын. Ты должен быть счастлив, – отвечала Мерседес.

– Итак, матушка, наш дележ окончен, – с напускной непринужденностью сказал Альбер. – Мы можем сегодня же уехать. Я закажу вам место.

– А себе?

– Мне еще нужно остаться дня на два, на три; это начало разлуки, нам надо к ней привыкнуть. Мне необходимо получить рекомендации, навести справки относительно Алжира; я догоню вас в Марселе.

– Хорошо, едем! – сказала Мерседес, накинув на плечи единственную шаль, которую она взяла с собой и которая случайно оказалась очень дорогой шалью из черного кашемира. – Едем!

Альбер наскоро собрал свои бумаги, позвал хозяина, заплатил ему тридцать франков, подал матери руку и вышел с ней на улицу.

Впереди них кто-то спускался, он услышал шуршание шелкового платья о перила и обернулся.

– Дебрэ! – прошептал Альбер.

– Морсер, вы? – сказал секретарь министра, останавливаясь.

Любопытство взяло у Дебрэ верх над желанием сохранить инкогнито; к тому же его и так узнали. В самом деле забавно было встретить в этом никому не ведомом меблированном доме человека, чья несчастная участь наделала столько шума в Париже.

– Морсер! – повторил Дебрэ. Но, заметив в полутьме лестницы еще стройную фигуру г-жи де Морсер, закутанную в шаль, он добавил с улыбкой: – Ах, простите, Альбер! Не смею мешать вам.

Альбер понял мысль Дебрэ.

– Матушка, – сказал он, обращаясь к Мерседес, – это господин Дебрэ, секретарь министра внутренних дел, мой бывший друг.

– Почему бывший? – пролепетал Дебрэ. – Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, господин Дебрэ, – продолжал Альбер, – что у меня больше нет друзей и я не должен их иметь. Я вам очень благодарен за то, что вы были так любезны и узнали меня.

Дебрэ поднялся на две ступени и крепко пожал руку Альбера.

– Поверьте, дорогой, – сказал он со всей теплотой, на какую был способен, – я глубоко сочувствую постигшему вас горю и я всегда в вашем распоряжении.

– Благодарю вас, сударь, – сказал, улыбаясь, Альбер, – но в нашем несчастье мы еще достаточно богаты, чтобы ни к кому не обращаться за помощью; мы покидаем Париж, и после всех дорожных расходов у нас еще останется пять тысяч франков.

Дебрэ покраснел, потому что у него в бумажнике лежал миллион; и, как ни был чужд поэзии его трезвый ум, он невольно подумал, что в одном и том же доме, еще недавно, находились две женщины, из которых одна, заслуженно опозоренная, уходила нищей, унося под своей накидкой полтора миллиона, тогда как другая, несправедливо униженная, но величественная в своем несчастье, обладая жалкими грошами, чувствовала себя богатой.

Это сравнение заставило его забыть о своих рыцарских побуждениях – наглядность примера сразила его, он пробормотал несколько общих фраз и быстро спустился по лестнице.

В этот день чиновники министерства, его подчиненные, немало натерпелись из-за его дурного настроения.

Но зато вечером он стал владельцем прекрасного дома на бульваре Мадлен, приносящего пятьдесят тысяч годового дохода.

На другой день, в пять часов вечера, когда Дебрэ подписывал купчую, г-жа де Морсер, обменявшись нежным поцелуем с сыном, села в почтовый дилижанс.

На антресолях почтового двора Лаффит, за одним из полукруглых окон, стоял человек; он видел, как Мерседес садилась в карету, видел, как отъезжал дилижанс, видел, как удалялся Альбер.

Тогда он провел рукой по отягченному сомнениями челу и сказал:

– Как мне возвратить этим двум невинным то счастье, которое я у них отнял? Бог мне поможет!

# X. Львиный ров

Одно из отделений тюрьмы Ла-Форс, то, где содержатся наиболее тяжкие и наиболее опасные преступники, называется отделением св. Бернара.

Обитатели тюрьмы, на своем образном языке, прозвали его Львиным рвом – вероятно, потому, что у тамошних заключенных имеются зубы, которыми они подчас грызут решетку, а иногда и сторожей.

Это тюрьма в тюрьме. Стены здесь двойной толщины; каждый день тюремщик тщательно осматривает массивные решетки, а по геркулесову сложению, по холодному, проницательному взгляду сторожей видно, что здесь подбирали таких людей, которые могли бы управлять своими подданными, держа их в страхе и повиновении.

Двор отделения окружен высокими стенами, по которым скользят косые лучи солнца, когда оно решается заглянуть в эту бездну нравственного и физического уродства. Здесь бродят вечно озабоченные, угрюмые, бледные, как тени, люди, над которыми занесен меч правосудия.

По двое, по трое, а чаще в одиночестве стоят они или сидят, прислонясь к той стене, которую больше всего согревает солнце, и то и дело поглядывают на ворота, которые открываются только тогда, когда вызывают кого-либо из жителей этого мрачного обиталища или же когда швыряют в эту яму новый кусок окалины, извергнутый горнилом, именуемым обществом.

Отделение св. Бернара имеет свою особую приемную; это длинное помещение, разделенное пополам двумя решетками, расположенными параллельно в трех футах одна от другой, чтобы посетитель не мог пожать заключенному руку или что-нибудь ему передать. Эта приемная темна, сыра и во всех отношениях отвратительна – особенно если подумать о тех страшных признаниях, которые просачивались сквозь эти решетки и покрыли ржавчиной их железные прутья.

А между тем это место, как оно ни ужасно, – это рай, где могут снова насладиться желанным обществом близких людей, чьи дни сочтены; ибо из Львиного рва выходят лишь для того, чтобы отправиться к заставе Сен-Жак, или на каторгу, или в одиночную камеру.

По описанному нами сырому, холодному двору прогуливался, засунув руки в карманы, молодой человек, на которого обитатели Рва поглядывали с большим любопытством.

Его можно было бы назвать элегантным, если бы его платье не было в лохмотьях; тонкое, шелковистое сукно, совершенно новое, легко принимало прежний блеск под рукой арестанта, когда он его разглаживал, чтобы придать ему свежий вид.

С таким же старанием застегивал он батистовую рубашку, значительно изменившую свой цвет за то время, что он сидел в тюрьме, и проводил по лакированным башмакам кончиком носового платка, на котором были вышиты инициалы, увенчанные короной.

Несколько обитателей Львиного рва следили с видимым интересом за тем, как этот арестант приводил в порядок свой туалет.

– Смотри, князь прихорашивается, – сказал один из воров.

– Он и без того очень хорош, – отвечал другой, – будь у него гребень и помада, он затмил бы всех господ в белых перчатках.

– Его фрак был, как видно, новехонек, а башмаки так и блестят. Даже лестно, что к нам такая птица залетела; а наши жандармы – сущие разбойники. Изорвать такой наряд!

– Говорят, он прожженный, – сказал третий. – Пустяками не занимался... Такой молодой и уже из Тулона! Не шутка!

А предмет этого чудовищного восхищения, казалось, упивался отзвуками этих похвал, хотя самих слов он разобрать не мог.

Закончив свой туалет, он подошел к окошку тюремной лавочки, возле которого стоял, прислонясь к стене, сторож.

– Послушайте, сударь, – сказал он, – ссудите меня двадцатью франками, я вам их скоро верну; вы ничем не рискуете – ведь у моих родных больше миллионов, чем у вас грошей... Ну пожалуйста. С двадцатью франками я смогу перейти на платную половину и купить

себе халат. Мне страшно неудобно быть все время во фраке. И что это за фрак для князя Кавальканти!

Сторож пожал плечами и повернулся к нему спиной. Он даже не засмеялся на эти слова, которые бы многих развеселили. Этот человек и не того наслушался – вернее, он слышал всегда одно и то же.

– Вы бездушный человек, – сказал Андреа, – погодите, вы у меня дождетесь, вас выгонят.

Сторож обернулся и на этот раз громко расхохотался.

Арестанты подошли и обступили их.

– Говорю вам, – продолжал Андреа, – на эту ничтожную сумму я смогу одеться и перейти в отдельную комнату; мне надо принять достойным образом важного посетителя, которого я жду со дня на день.

– Верно! Верно! – заговорили заключенные. – Сразу видно, что он из благородных.

– Вот и дайте ему двадцать франков, – сказал сторож, прислонясь к стене другим своим широчайшим плечом. – Разве вы не обязаны сделать это для товарища?

– Я не товарищ этим людям, – гордо сказал Андреа, – вы не имеете права оскорблять меня.

Арестанты переглянулись и глухо заворчали; буря, вызванная не столько словами Андреа, сколько замечанием сторожа, начала собираться над головой аристократа.

Сторож, уверенный, что сумеет усмирить ее, когда она чересчур разыграется, давал ей пока волю, желая проучить назойливого просителя и скрасить каким-нибудь развлечением свое долгое дежурство.

Арестанты уже подступили к Андреа; иные говорили:

– Дать ему башмака!

Эта жестокая шутка заключается в том, что товарища, впавшего в немилость, избивают не башмаком, а подкованным сапогом.

Другие предлагали вьюн – еще одна забава, состоящая в том, что платок наполняют песком, камешками, медяками, когда таковые имеются, скручивают его и колотят им жертву, как цепом, по плечам и по голове.

– Выпорем этого франта! – раздавались голоса. – Выпорем его благородие!

Но Андреа повернулся к ним, подмигнул, надул щеку и прищелкнул языком – знак, по которому узнают друг друга разбойники, вынужденные молчать.

Это был масонский знак, которому его научил Кадрусс.

Арестанты узнали своего.

Тотчас же платки опустились; подкованный сапог вернулся на ногу к главному палачу. Раздались голоса, заявляющие, что этот господин прав, что он может держать себя, как ему заблагорассудится, и что заключенные хотят показать пример свободы совести.

Волнение улеглось. Сторож был этим так удивлен, что тотчас же схватил Андреа за руки и начал его обыскивать, приписывая эту внезапную перемену в настроении обитателей Львиного рва чему-то, наверное, более существенному, чем личное обаяние.

Андреа ворчал, но не сопротивлялся.

Вдруг за решетчатой дверью раздался голос надзирателя:

– Бенедетто!

Сторож выпустил свою добычу.

– Меня зовут! – сказал Андреа.

– В приемную! – крикнул надзиратель.

– Вот видите, ко мне пришли. Вы еще узнаете, милейший, можно ли обращаться с Кавальканти, как с простым смертным!

И Андреа, промелькнув по двору, как черная тень, бросился в полуоткрытую дверь, оставив своих товарищей и самого сторожа в восхищении.

Его в самом деле звали в приемную, и этому нельзя не удивляться, как удивлялся и сам Андреа, потому что из осторожности, попав в тюрьму Ла-Форс, он вместо того чтобы писать письма и просить помощи, как делают все, хранил стоическое молчание.

«У меня, несомненно, есть могущественный покровитель, – рассуждал он. – Все говорит за это: внезапное счастье, легкость, с которой я преодолел все препятствия, неожиданно найденный отец, громкое имя,

золотой дождь, блестящая партия, которая меня ожидала. Случайная неудача, отлучка моего покровителя погубили меня, но небесповоротно. Благодетельная рука отстранилась на минуту; она снова протянется и подхватит меня на краю пропасти. Зачем мне предпринимать неосторожные попытки? Мой покровитель может от меня отвернуться. У него есть два способа прийти мне на помощь: тайный побег, купленный ценою золота, и воздействие на судей, чтобы добиться моего оправдания. Подождем говорить, подождем действовать, пока не будет доказано, что я всеми покинут, а тогда...»

У Андреа уже готов был хитроумный план: негодяй умел бесстрашно нападать и стойко защищаться.

Невзгоды тюрьмы, лишения всякого рода были ему знакомы. Однако мало-помалу природа, или, вернее, привычка, взяла верх. Андреа страдал оттого, что он голый, грязный, голодный; терпение его истощалось.

Таково было его настроение, когда голос надзирателя позвал его в приемную.

У Андреа радостно забилось сердце. Для следователя это было слишком рано, а для начальника тюрьмы или доктора – слишком поздно; значит, это был долгожданный посетитель.

За решеткой приемной, куда ввели Андреа, он увидел своими расширенными от жадного любопытства глазами умное, суровое лицо Бертуччо, который с печальным удивлением смотрел на решетки, на дверные замки и на тень, движущуюся за железными прутьями.

– Кто это? – с испугом воскликнул Андреа.

– Здравствуй, Бенедетто, – сказал Бертуччо своим звучным грудным голосом.

– Вы, вы! – отвечал молодой человек, в ужасе озираясь.

– Ты меня не узнаешь, несчастный? – спросил Бертуччо.

– Молчите! Да молчите же! – сказал Андреа, который знал, какой тонкий слух у этих стен. – Ради бога, не говорите так громко!

– Ты бы хотел поговорить со мной с глазу на глаз? – спросил Бертуччо.

– Да, да, – сказал Андреа.

– Хорошо.

И Бертуччо, порывшись в кармане, сделал знак сторожу, который стоял за стеклянной дверью.

– Прочтите! – сказал он.

– Что это? – спросил Андреа.

– Приказ отвести тебе отдельную комнату и разрешение мне видеться с тобой.

Андреа вскрикнул от радости, но тут же сдержался и сказал себе:

«Опять загадочный покровитель! Меня не забывают! Тут хранят какую-то тайну, раз хотят говорить со мной в отдельной комнате. Они у меня в руках… Бертуччо послан моим покровителем!..»

Сторож поговорил со старшим, потом открыл решетчатые двери и провел Андреа, который от радости был сам не свой, в комнату второго этажа, выходившую окнами во двор.

Комната, выбеленная, как это принято в тюрьмах, выглядела довольно веселой и показалась узнику ослепительной; печь, кровать, стул и стол составляли пышное ее убранство.

Бертуччо сел на стул, Андреа бросился на кровать.

Сторож удалился.

– Что ты мне хотел сказать? – спросил управляющий графа Монте-Кристо.

– А вы? – спросил Андреа.

– Говори сначала ты.

– Нет уж, начинайте вы, раз вы пришли ко мне.

– Пусть так. Ты продолжал идти по пути преступления: ты украл, ты убил.

– Если вы меня привели в отдельную комнату только для того, чтобы сообщить мне это, то не стоило трудиться. Все это я знаю. Но есть кое-что, чего я не знаю. Об этом и поговорим, если позволите. Кто вас прислал?

– Однако вы торопитесь, господин Кавальканти!

– Да, я иду прямо к цели. Главное, без лишних слов. Кто вас прислал?

– Никто.

– Как вы узнали, что я в тюрьме?

– Я давно тебя узнал в блестящем наглеце, который так ловко правил тильбюри на Елисейских полях.

– На Елисейских полях!.. Ага, «горячо», как говорят в детской игре!.. На Елисейских полях!.. Так, так, поговорим о моем отце, хотите?

– А я кто же?

– Вы, почтеннейший, вы мой приемный отец... Но не вы же, я полагаю, предоставили в мое распоряжение сто тысяч франков, которые я промотал в пять месяцев; не вы смастерили мне знатного итальянского родителя; не вы ввели меня в свет и пригласили на некое пиршество, от которого у меня и сейчас слюнки текут. Помните, в Отейле, где было лучшее общество Парижа и даже королевский прокурор, с которым я, к сожалению, не поддерживал знакомства, а мне оно было бы теперь весьма полезно; не вы ручались за меня на два миллиона, перед тем как я имел несчастье быть выведенным на чистую воду... Говорите, уважаемый корсиканец, говорите...

– Что ты хочешь, чтобы я сказал?

– Я тебе помогу. Ты только что говорил об Елисейских полях, мой почтенный отец-кормилец.

– Ну и что же?

– А то, что на Елисейских полях живет один господин, и очень богатый.

– В доме которого ты украл и убил?

– Кажется, да.

– Граф Монте-Кристо?

– Ты сам его назвал, как говорит Расин... Так что же, должен ли я броситься в его объятия, прижать его к сердцу и вскрикнуть, как Пиксерекур: «Отец! Отец!»

– Не шути, – строго ответил Бертуччо, – пусть это имя не произносится здесь так, как ты дерзнул его произнести.

– Вот как! – сказал Андреа, несколько озадаченный торжественным тоном Бертуччо. – А почему бы и нет?

– Потому что тот, кто носит это имя, благословен небом и не может быть отцом такого негодяя, как ты.

– Какие грозные слова…

– И грозные дела, если ты не поостережешься.

– Запугиваете? Я не боюсь… я скажу…

– Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с мелюзгой вроде тебя? – сказал Бертуччо так спокойно и уверенно, что Андреа внутренне вздрогнул. – Уж не думаешь ли ты, что имеешь дело с каторжниками или с доверчивыми светскими простаками?.. Бенедетто, ты в могущественной руке; рука эта согласна отпустить тебя, воспользуйся этим. Не играй с молниями, которые она на миг отложила, но может снова схватить, если ты сделаешь попытку помешать ее намерениям.

– Кто мой отец?.. Я хочу знать, кто мой отец… – упрямо повторил Андреа. – Я погибну, но узнаю. Что для меня скандал? Только выгода… известность… реклама, как говорит журналист Бошан. А вам, людям большого света, вам скандал всегда опасен, несмотря на ваши миллионы и герб… Итак, кто мой отец?

– Я пришел, чтобы назвать тебе его.

– Наконец-то! – воскликнул Бенедетто, и глаза его засверкали от радости.

Но тут дверь отворилась, и вошел тюремщик.

– Простите, сударь, – сказал он, обращаясь к Бертуччо, – но заключенного ждет следователь.

– Сегодня последний допрос, – сказал Андреа управляющему. – Вот досада!

– Я приду завтра, – отвечал Бертуччо.

– Хорошо, – сказал Андреа. – Господа жандармы, я в вашем распоряжении… Пожалуйста, сударь, оставьте десяток экю в конторе, чтобы мне выдали все, в чем я тут нуждаюсь.

– Будет сделано, – отвечал Бертуччо.

Андреа протянул ему руку, но Бертуччо не вынул руки из кармана и только позвенел в нем монетами.

– Я это и имел в виду, – с кривой улыбкой заметил Андреа, совершенно подавленный странным спокойствием Бертуччо.

«Неужели я ошибся? – подумал он, садясь в большую карету с решетками, которую называют „корзинкой для салата“. – Увидим!»

– Прощайте, сударь, – сказал он, обращаясь к Бертуччо.

– До завтра! – ответил управляющий.

# XI. Судья

Читатели, наверное, помнят что аббат Бузони остался вдвоем с Нуартье в комнате Валентины и что старик и священник одни бодрствовали подле умершей.

Быть может, христианские увещевания аббата, его проникновенное милосердие, его убедительные речи вернули старику мужество; после того, как священник поговорил с ним, у Нуартье вместо прежнего отчаяния появилось какое-то бесконечное смирение, странное спокойствие, немало удивлявшее тех, кто помнил его глубокую привязанность к Валентине.

Вильфор не видел старика со дня смерти дочери. Весь дом был обновлен: для королевского прокурора был нанят другой лакей, для Нуартье – другой слуга; в услужение к г-же де Вильфор поступили две новые горничные; все вокруг, вплоть до швейцара и кучера, были новые люди; они словно стали между хозяевами этого проклятого дома и окончательно прервали и без того уже холодные отношения, существовавшие между ними. К тому же сессия суда открывалась через три дня, и Вильфор, запершись у себя в кабинете, лихорадочно и неутомимо подготовлял обвинение против убийцы Кадрусса. Это дело, как и все, к чему имел отношение граф Монте-Кристо, наделало много шуму в Париже. Улики не были бесспорны: они сводились к нескольким словам, написанным умирающим каторжником, бывшим товарищем обвиняемого, которого он мог оговорить из ненависти или из мести; уверенность была только в сердце королевского прокурора; он пришел к внутреннему убеждению, что Бенедетто виновен, и надеялся, что эта трудная победа принесет ему радость удовлетворенного самолюбия, которая одна еще сколько-нибудь оживляла его оледеневшую душу.

Следствие подходило к концу благодаря неустанной работе Вильфора, который хотел этим процессом открыть предстоявшую сессию; и ему приходилось уединяться более чем когда-либо, чтобы уклониться от бесчисленных просьб о билетах на заседание.

Кроме того, прошло еще так мало времени с тех пор, как бедную Валентину опустили в могилу, скорбь в доме была еще так свежа, что никого не удивляло, если отец так сурово отдавался исполнению долга, который помогал ему забыть свое горе.

Один лишь раз, на следующий день после того, как Бертуччо вторично пришел к Бенедетто, чтобы назвать ему имя его отца, в воскресенье, Вильфор увидел мельком старика Нуартье; утомленный работой, Вильфор вышел в сад и, мрачный, согбенный под тяжестью неотступной думы, подобно Тарквинию, сбивающему палкой самые высокие маковые головки, сбивал своей тростью длинные увядающие стебли штокроз, возвышавшиеся вдоль аллей, словно призраки прекрасных цветов, благоухавших здесь летом.

Уже несколько раз доходил он до конца сада, до памятных читателю ворот у пустующего огорода, и возвращался тем же шагом все по той же аллее, как вдруг его глаза невольно обратились к дому, где шумно резвился его сын.

И вот в одном из открытых окон он увидел Нуартье, который велел подкатить свое кресло к этому окну, чтобы погреться в последних лучах еще теплого солнца; мягкий свет заката озарял умирающие цветы вьюнков и багряные листья дикого винограда, вьющегося по балкону.

Взгляд старика был прикован к чему-то, чего Вильфор не мог разглядеть. Этот взгляд был полон такой исступленной ненависти, горел таким нетерпением, что королевский прокурор, умевший схватывать все выражения этого лица, которые он так хорошо знал, отошел в сторону, чтобы посмотреть, на кого направлен этот уничтожающий взгляд.

Тогда он увидел под липами с почти уже обнаженными ветвями г-жу де Вильфор, сидевшую с книгой в руках; время от времени она прерывала чтение, чтобы улыбнуться сыну или бросить ему обратно резиновый мячик, который он упрямо кидал из гостиной в сад.

Вильфор побледнел – он знал, чего хочет старик.

Вдруг взгляд Нуартье перенесся на сына, и Вильфору самому пришлось выдержать натиск этого огненного взора, который, переменив направление, говорил уже о другом, но столь же грозно.

Госпожа де Вильфор, не ведая о внутреннем огне взглядов над ее головой, только что поймала мячик и знаками подзывала сына прийти за ним, а заодно и за поцелуем; но Эдуард заставил себя долго упрашивать, потому что материнская ласка казалась ему, вероятно, недостаточной наградой за труды; наконец он уступил, выпрыгнул в окно прямо на клумбу гелиотропов и китайских астр и подбежал к г-же де Вильфор. Г-жа де Вильфор поцеловала его в лоб, и ребенок, с мячиком в одной руке и пригоршней конфет в другой, побежал обратно.

Вильфор, повинуясь неодолимой силе, словно птица, завороженная взглядом змеи, направился к дому; по мере того как он приближался, глаза Нуартье опускались, следя за ним, и огонь его зрачков словно жег самое сердце Вильфора. В этом взгляде он читал жестокий удар и беспощадную угрозу. И вот Нуартье медленно поднял глаза к небу, словно напоминая о забытой клятве.

– Знаю, сударь, – ответил Вильфор. – Потерпите. Потерпите еще один день; я помню свое обещание.

Эти слова, видимо, успокоили Нуартье, и он отвел взгляд.

Вильфор порывисто расстегнул душивший его ворот, провел дрожащей рукой по лбу и вернулся в свой кабинет.

Ночь прошла, как обычно, все в доме спали; один Вильфор, как всегда, не ложился и работал до пяти часов утра, просматривая последние допросы, снятые накануне следователями, сопоставляя показания свидетелей и внося еще больше ясности в свой обвинительный акт, один из самых убедительных и блестящих, какие он когда-либо составлял.

Наутро, в понедельник, должно было состояться первое заседание сессии. Вильфор видел, как забрезжило это утро, бледное и зловещее, и в его голубоватом свете на бумаге заалели строки, написанные красными чернилами. Королевский прокурор прилег на несколько минут; лампа догорала; он проснулся от ее потрескивания и заметил, что пальцы его влажны и красны, словно обагренные кровью.

Он открыл окно; длинная оранжевая полоса пересекала небо и словно разрезала пополам стройные тополя, выступавшие черными силуэтами

на горизонте. Над заброшенным огородом, по ту сторону ворот, высоко взлетел жаворонок и залился звонкой утренней песней.

На Вильфора пахнуло рассветной прохладой, и мысли его прояснились.

– День суда настал, – сказал он с усилием, – сегодня меч правосудия поразит всех виновных.

Его взгляд невольно обратился к окну Нуартье, к тому окну, где он накануне видел старика.

Штора была спущена.

И все же образ отца был для него так жив, что он обратился к этому темному окну, словно оно было отворено и из него смотрел грозный старик.

– Да, – прошептал он, – да, будь спокоен!

Опустив голову, он несколько раз прошелся по кабинету, потом, не раздеваясь, бросился на диван – не столько чтобы уснуть, сколько чтобы дать отдых телу, окоченевшему от усталости и от бессонной ночи за письменным столом.

Понемногу все в доме проснулись; Вильфор из своего кабинета слышал, один за другим, привычные звуки, из которых слагается повседневная жизнь: хлопанье дверей, дребезжание колокольчика г-жи де Вильфор, зовущей горничную, первые возгласы Эдуарда, который пробудился радостный и веселый, как пробуждаются в его годы.

Вильфор, в свою очередь, тоже позвонил. Новый камердинер вошел и подал газеты.

Вместе с газетами он принес чашку шоколада.

– Что это? – спросил Вильфор.

– Шоколад.

– Я не просил. Кто это позаботился обо мне?

– Госпожа де Вильфор. Она сказала, что вам надо подкрепиться, потому что сегодня слушается дело убийцы Бенедетто и вы будете много говорить.

И камердинер поставил на стол у дивана, как и остальные столы заваленный бумагами, золоченую чашку.

Затем он вышел.

Вильфор мрачно посмотрел на чашку, потом вдруг взял ее нервным движением и залпом выпил шоколад. Казалось, он надеялся, что этот напиток смертоносен, и призывал смерть, чтобы избавиться от долга, исполнить который для него было тяжелее, чем умереть. Затем он встал и принялся ходить по кабинету, с улыбкой, которая ужаснула бы того, кто ее увидел.

Шоколад оказался безвреден.

Когда настал час завтракать, Вильфор не вышел к столу.

Камердинер снова вошел в кабинет.

– Госпожа де Вильфор велела напомнить, что пробило одиннадцать часов и что заседание назначено в двенадцать...

– Ну и что же? – спросил Вильфор.

– ...и спрашивает, поедет ли она вместе с вами?

– Куда?

– В суд.

– Зачем?

– Ваша супруга говорит, что ей очень хочется присутствовать на этом заседании.

– Ах, ей этого хочется! – сказал Вильфор зловещим тоном.

Камердинер отступил на шаг.

– Если вы желаете ехать один, я так и передам, – сказал он.

Вильфор молчал, нервно царапая ногтями бледную щеку.

– Передайте госпоже де Вильфор, – ответил он наконец, – что я хочу с ней поговорить и прошу ее подождать меня у себя.

– Слушаю, сударь.

– А потом придете побрить меня.

– Сию минуту.

Камердинер вышел, потом вернулся, побрил Вильфора и одел во все черное.

Затем он доложил:

– Госпожа де Вильфор сказала, что она вас ждет.

– Я иду.

И Вильфор с папками под мышкой, со шляпой в руке направился к комнатам жены.

У дверей он остановился и отер пот со лба.

Затем он открыл дверь.

Госпожа де Вильфор сидела на оттоманке, нетерпеливо перелистывая журналы и брошюры, которые Эдуард рвал на куски, даже не давая матери их дочитать.

Она была готова к выезду; руки были в перчатках, шляпа лежала на кресле.

– А, вот и вы, – сказала она естественным и спокойным голосом. – Боже мой, до чего вы бледны! Вы опять работали всю ночь? Почему вы не пришли позавтракать с нами? Ну что же, берете вы меня с собой или я поеду одна с Эдуардом?

Госпожа де Вильфор, как мы видим, задала множество вопросов, но Вильфор стоял перед ней неподвижный, немой, как изваяние.

– Эдуард, – сказал он наконец, повелительно глядя на ребенка, – поди поиграй в гостиной, мне нужно поговорить с твоей матерью.

Госпожа де Вильфор вздрогнула; холодная сдержанность мужа и его решительный тон испугали ее.

Эдуард поднял голову, посмотрел на мать и, видя, что она не подтверждает приказ Вильфора, продолжал резать головы своим оловянным солдатикам.

– Эдуард, – крикнул Вильфор так резко, что мальчик вскочил. – Ты слышишь? Ступай!

Ребенок, не привыкший к такому обращению, весь побледнел, трудно было бы сказать – от злости или от страха.

Отец подошел к нему, взял его за локоть и поцеловал в лоб.

– Иди, дитя мое, иди! – сказал он.

Эдуард вышел.

Вильфор подошел к двери и запер ее на задвижку.

– Боже мой, – сказала г-жа де Вильфор, стараясь прочесть мысли мужа; на губах ее появилось подобие улыбки, которая тотчас же застыла под бесстрастным взглядом Вильфора. – Боже мой, что случилось?

– Сударыня, где вы храните яд, которым вы обычно пользуетесь? – отчетливо и без всяких предисловий произнес королевский прокурор.

Госпожа де Вильфор вся затрепетала, точно жаворонок, над которым коршун суживает свои смертоносные круги.

Хриплый, надтреснутый звук – не крик и не вздох – вырвался из груди побледневшей до синевы г-жи де Вильфор.

– Я... я вас не понимаю, – тихо сказала она.

Она хотела встать, но силы изменили ей, и она снова упала на подушки оттоманки.

– Я вас спрашиваю, – продолжал Вильфор спокойным голосом, – где вы прячете яд, которым вы отравили моего тестя маркиза де Сен-Мерана, мою тещу, Барруа и мою дочь Валентину?

– Что вы говорите, сударь? – воскликнула г-жа де Вильфор, ломая руки.

– Ваше дело не спрашивать, а отвечать.

– Мужу или судье? – пролепетала г-жа де Вильфор.

– Судье, сударыня!

Страшное зрелище являла эта женщина, смертельно бледная, трепещущая, с отчаянием во взоре.

– О сударь... – прошептала она.

И это было все.

– Вы мне не отвечаете, сударыня! – воскликнул грозный обвинитель. Потом он добавил, с улыбкой, еще более ужасной, чем его гнев: – Правда, вы и не отпираетесь!

Она сделала движение.

– Да вы и не могли бы отрицать свою вину, – добавил Вильфор, простирая к ней руку, – вы совершили все эти преступления с беспримерным коварством, которое, однако, могло обмануть только пристрастных к вам людей. Начиная со смерти маркизы де Сен-Меран я уже знал, что в моем доме есть отравитель; д'Авриньи предупредил меня об этом; после смерти Барруа, да простит меня бог, мои подозрения пали на ангела! Даже когда нет явного преступления, подозрение всегда тлеет в моей душе; но после смерти Валентины у меня уже не оставалось

сомнений, сударыня, и не только у меня, но и у других; таким образом, ваше преступление, известное теперь двоим, подозреваемое многими, станет гласным; и, как я вам уже сказал, сударыня, с вами говорит теперь не муж, а судья!

Госпожа де Вильфор закрыла лицо руками.

– Не верьте внешним признакам, умоляю вас, – прошептала она.

– Неужели вы так малодушны? – воскликнул с презрением Вильфор. – Правда, я всегда замечал, что отравители малодушны. Ведь у вас хватило мужества видеть, как умирали два старика и невинная девушка, отравленные вами?

– Сударь!

– Неужели вы так малодушны? – продолжал Вильфор с возрастающим жаром. – Ведь вы считали минуты четырех агоний, вы осуществили ваш адский замысел, вы готовили ваше гнусное зелье с таким изумительным искусством и уверенностью! Вы все так прекрасно рассчитали, как же вы забыли о том, куда вас может привести разоблачение ваших преступлений? Этого не может быть; вы, наверное, приберегли самый сладостный, самый быстрый и самый верный яд, чтобы избегнуть заслуженной кары... Вы это сделали, я надеюсь?

Госпожа де Вильфор заломила руки и упала на колени.

– Я вижу, вы сознаетесь, – сказал он, – но признание, сделанное судьям, признание, сделанное в последний миг, когда отрицать уже невозможно, – такое признание ни в какой мере не может смягчить кару.

– Кара? – воскликнула г-жа де Вильфор. – Вы уже второй раз произносите это слово!

– Конечно. Уж не потому ли, что вы четырежды виновны, думали вы избежать ее? Уж не потому ли, что вы жена того, кто требует этой кары, думали вы, что она минует вас? Нет, сударыня! Отравительницу, кто бы она ни была, ждет эшафот, если только, повторяю, отравительница не позаботилась приберечь для себя несколько капель самого верного яда.

Госпожа де Вильфор дико вскрикнула, и безобразный, всепоглощающий ужас исказил ее черты.

– Не бойтесь, я не требую, чтобы вы взошли на эшафот, – сказал королевский прокурор, – я не хочу вашего позора, он был бы и моим позором; напротив, вы должны были понять из моих слов, что вы не можете умереть на эшафоте.

– Нет, я не поняла; что вы хотите сказать? – еле слышно пролепетала несчастная.

– Я хочу сказать, что жена королевского прокурора не захочет запятнать своей низостью безупречное имя и не обесчестит своего мужа и сына.

– Нет, о нет!

– Этим вы совершите доброе дело, сударыня, и я благодарен вам.

– Благодарны? За что?

– За то, что вы сейчас сказали.

– Что я сказала? Я не знаю, не помню, Боже мой!

И она вскочила, страшная, растрепанная, с пеной на губах.

– Вы мне не ответили на вопрос, который я вам задал, когда вошел сюда: где яд, которым вы обычно пользуетесь?

Госпожа де Вильфор судорожно стиснула руки.

– Нет, нет, вы этого не хотите! – вырвался из ее груди вопль.

– Я не хочу только одного, сударыня, – чтобы вы погибли на эшафоте, слышите? – отвечал Вильфор.

– Сжальтесь!

– Я хочу, чтобы правосудие свершилось. Мой долг на земле – карать, – добавил он со сверкающим взглядом. – Всякой другой женщине, будь она даже королева, я послал бы палача, но к вам я буду милосерден. Вам я говорю: сударыня, ведь вы приберегли несколько капель вашего самого нежного, самого быстрого и самого верного яда?

– Пощадите, оставьте мне жизнь!

– Она все-таки была малодушна! – сказал Вильфор.

– Вспомните, я ваша жена!

– Вы отравительница!

– Во имя неба!

– Нет.

– Ради вашей былой любви ко мне!

– Нет, нет!

– Ради нашего ребенка! Ради ребенка оставьте мне жизнь.

– Нет, нет, нет; если я вам оставлю жизнь, вы, быть может, когда-нибудь убьете и его.

– Я? Я убью моего сына? – вскрикнула эта безумная мать, бросаясь к Вильфору. – Убить моего Эдуарда? Ха-ха-ха!

И дикий, демонический хохот, хохот помешанной огласил комнату и оборвался хриплым стоном.

Госпожа де Вильфор упала на колени.

Вильфор подошел к ней.

– Помните, сударыня, – сказал он, – что, если к моему возвращению правосудие не свершится, я сам вас изобличу и сам арестую.

Она слушала, задыхаясь, сраженная, уничтоженная, казалось, одни глаза еще жили на этом лице.

– Вы поняли? – сказал Вильфор. – Я иду в залу суда требовать смертной казни для убийцы... Если, возвратившись, я застану вас живой, вы проведете эту ночь в Консьержери.

Госпожа де Вильфор глубоко вздохнула и без сил опустилась на ковер.

В королевском прокуроре, казалось, проснулась жалость, его взгляд смягчился, и, слегка наклонив голову, он медленно произнес:

– Прощайте, сударыня!

Это слово, как нож гильотины, обрушился на г-жу де Вильфор.

Она потеряла сознание.

Королевский прокурор вышел и, притворив дверь, дважды повернул ключ в замке.

# XII. Сессия

Дело Бенедетто, как его называли в судебном мире и в светском обществе, вызвало огромную сенсацию. Завсегдатай Кафе-де-Пари, Гентского бульвара и Булонского леса, мнимый Кавальканти за те два-три месяца, что он жил в Париже и блистал в свете, завел множество знакомств.

Газеты сообщали немало подробностей о его парижской жизни и о его жизни на каторге; все это возбуждало живейшее любопытство, особенно среди тех, кто лично знал князя Андреа Кавальканти, все они были готовы пойти на все, лишь бы увидеть на скамье подсудимых господина Бенедетто, убийцу своего товарища по каторге.

Для многих Бенедетто был если не жертвой правосудия, то, во всяком случае, жертвой судебной ошибки; г-на Кавальканти-отца знали в Париже, и все были уверены, что он появится и выручит из беды своего славного отпрыска. На многих, никогда не слышавших о пресловутой венгерке, в которой он предстал перед графом Монте-Кристо, произвели немалое впечатление величавая внешность, рыцарский облик и светское обращение старого патриция, который, надо сознаться, в самом деле имел вид истого вельможи, пока он молчал и не вдавался в арифметические вычисления.

Что касается самого подсудимого, то многие помнили его таким любезным, красивым и щедрым, что они предпочитали видеть во всем случившемся козни какого-нибудь врага, как это иной раз и случается в мире, где богатство дает власть творить добро и зло и наделяет людей поистине неслыханным могуществом.

Итак, все стремились попасть на заседание суда: одни – чтобы насладиться зрелищем, другие – чтобы потолковать о нем. С семи часов утра у дверей собралась толпа, и за час до начала заседания зала суда была уже переполнена избранной публикой.

В дни громких процессов, до выхода судей, а нередко даже и после этого, зала суда весьма напоминает гостиную, где сошлись знакомые,

которые то подходят друг к другу, если не боятся, что займут их места, то обмениваются знаками, если их разделяет слишком много зрителей, адвокатов и жандармов.

Стоял один из тех чудесных осенних дней, которые вознаграждают нас за дождливое и слишком короткое лето; тучи, которые утром заслоняли солнце, рассеялись как по волшебству, и теплые лучи озаряли один из последних, один из самых ясных дней сентября.

Бошан – король прессы, для которого всюду готов престол, – лорнировал публику. Он заметил Шато-Рено и Дебрэ, которые только что заручились расположением полицейского и убедили его стать позади них, вместо того чтобы заслонять их, как он был вправе сделать. Достойный блюститель порядка чутьем угадал секретаря министра и миллионера; он выказал по отношению к своим знатным соседям большую предупредительность и даже разрешил им пойти поболтать с Бошаном, обещая посторожить их места.

– И вы пришли повидаться с нашим другом? – сказал Бошан.

– Ну как же! – отвечал Дебрэ. – Наш милейший князь! Черт возьми, вот они какие, итальянские князья!

– Человек, чьей генеалогией занимался сам Данте, чей род восходит к «Божественной комедии»!

– Висельная аристократия, – флегматично заметил Шато-Рено.

– Вы думаете, он будет осужден? – спросил Дебрэ Бошана.

– Мне кажется, это у вас надо спросить, – ответил журналист, – вам лучше знать, какое настроение у суда; видели вы председателя на последнем приеме министра?

– Видел.

– Что же он вам сказал?

– Вы удивитесь.

– Так говорите скорее; я так давно не удивлялся.

– Он мне сказал, что Бенедетто, которого считают чудом ловкости, титаном коварства, просто-напросто мелкий жулик, весьма недалекий и совершенно недостойный тех исследований, которые после его смерти будут произведены над его френологическими шишками.

– А он довольно сносно разыгрывал князя, – заметил Бошан.

– Только на ваш взгляд, Бошан, потому что вы ненавидите бедных князей и всегда радуетесь, когда они плохо ведут себя; но меня не проведешь: я, как ищейка от геральдики, издали чую настоящего аристократа.

– Так вы никогда не верили в его княжеский титул?

– В его княжеский титул? Верил... Но в его княжеское достоинство – никогда.

– Недурно сказано, – заметил Бошан, – но уверяю вас, что для всякого другого он вполне мог сойти за князя... Я его встречал в гостиных у министров.

– Много ваши министры понимают в князьях! – сказал Шато-Рено.

– Коротко и метко, – засмеялся Бошан. – Разрешите мне вставить это в мой отчет?

– Сделайте одолжение, дорогой Бошан, – отвечал Шато-Рено, – я вам уступаю мое изречение по своей цене.

– Но если я говорил с председателем, – сказал Дебрэ Бошану, – то вы должны были говорить с королевским прокурором?

– Это было невозможно; вот уже неделя, как Вильфор скрывается от всех; да это и понятно после целой цепи странных семейных несчастий, завершившихся столь же странной смертью его дочери...

– Странной смертью? Что вы хотите сказать, Бошан?

– Вы, конечно, разыгрываете неведение под тем предлогом, что все это касается судебной аристократии, – сказал Бошан, вставляя в глаз монокль и стараясь удержать его.

– Дорогой мой, – заметил Шато-Рено, – разрешите сказать вам, что в искусстве носить монокль вам далеко до Дебрэ. Дебрэ, покажите Бошану, как это делается.

– Ну, конечно, я не ошибся, – сказал Бошан.

– А что?

– Это она.

– Кто она?

– А говорили, что она уехала.

– Мадемуазель Эжени? – спросил Шато-Рено. – Разве она уже вернулась?

– Нет, не она, а ее мать.

– Госпожа Данглар?

– Не может быть, – сказал Шато-Рено, – на десятый день после побега дочери, на третий день после банкротства мужа!

Дебрэ слегка покраснел и взглянул в ту сторону, куда смотрел Бошан.

– Да нет же, – сказал он, – эта дама под густой вуалью какая-нибудь знатная иностранка, может быть, мать князя Кавальканти; но вы, кажется, хотели рассказать что-то интересное, Бошан?

– Я?

– Да. Вы говорили о странной смерти Валентины.

– Ах да; но почему не видно госпожи де Вильфор?

– Бедняжка! – сказал Дебрэ. – Она, вероятно, перегоняет мелиссу для больниц или составляет помады для себя и своих приятельниц. Говорят, она тратит на эту забаву тысячи три экю в год. В самом деле, почему же ее не видно? Я бы с удовольствием повидал ее, она мне очень нравится.

– А я ее не терплю, – сказал Шато-Рено.

– Почему это?

– Не знаю. Почему мы любим? Почему ненавидим? Я ее не выношу потому, что она мне антипатична.

– Или, может быть, инстинктивно.

– Может быть... Но вернемся к вашему рассказу, Бошан.

– Неужели, господа, – продолжал Бошан, – вы не задавались вопросом, почему так обильно умирают у Вильфоров?

– Обильно? Это недурно сказано, – заметил Шато-Рено.

– Это выражение встречается у Сен-Симона.

– А факт – у Вильфора; так поговорим о Вильфоре, – сказал Дебрэ, – вот уже три месяца они не выходят из траура; позавчера со мной об этом говорила «сама», по случаю смерти Валентины.

– Кто такая «сама»? – спросил Шато-Рено.

– Жена министра, разумеется!

– Прошу прощения, – заметил Шато-Рено, – я к министру не езжу, предоставляю это делать князьям.

– Раньше вы метали искры, барон, теперь вы мечете молнии; сжальтесь над нами, не то вы испепелите нас, как новоявленный Юпитер.

– Умолкаю, – сказал Шато-Рено, – но сжальтесь и вы надо мной и не дразните меня.

– Послушайте, Бошан, довольно отвлекаться, я уже сказал, что «сама» позавчера просила у меня разъяснений на этот счет, скажите мне, что вы знаете, я ей передам.

– Итак, господа, – сказал Бошан, – если в доме обильно умирают – мне нравится это выражение, – то это значит, что в доме есть убийца.

Его собеседники встрепенулись; им самим уже не раз приходила в голову эта мысль.

– Но кто же убийца? – спросили они.

– Маленький Эдуард.

Шато-Рено и Дебрэ расхохотались; Бошан, нисколько не смутившись, продолжал:

– Да, господа, маленький Эдуард, феноменальный ребенок, – убивает не хуже взрослого.

– Это шутка?

– Вовсе нет; я вчера нанял лакея, который только что ушел от Вильфоров; обратите на это внимание.

– Обратили.

– Завтра я его уволю, потому что он непомерно много ест, чтобы вознаградить себя за пост, который он со страху там на себя наложил. Так вот, этот прелестный ребенок будто бы раздобыл склянку с каким-то снадобьем, которым он время от времени потчует тех, кто ему не угодил. Сначала ему не угодили дедушка и бабушка де Сен-Меран, и он налил им по три капли своего эликсира – трех капель вполне достаточно; затем славный Барруа, старый слуга дедушки Нуартье, который иногда ворчал на милого шалунишку; милый шалунишка налил и ему три капли своего эликсира; то же самое случилось с несчастной Валентиной,

которая, правда, на него не ворчала, но которой он завидовал; он и ей налил три капли своего эликсира, и ей, как и другим, пришел конец.

– Бросьте сказки рассказывать, – сказал Шато-Рено.

– А страшная сказка, правда? – сказал Бошан.

– Это нелепо, – сказал Дебрэ.

– Вы просто боитесь смотреть правде в глаза, – возразил Бошан. – Спросите моего лакея, или, вернее, того, кто завтра уже не будет моим лакеем; об этом говорил весь дом.

– Но что это за эликсир? Где он?

– Мальчишка его прячет.

– Где он его взял?

– В лаборатории у своей матери.

– Так его мамаша держит в лаборатории яды?

– Откуда мне знать? Вы допрашиваете меня, как королевский прокурор. Я повторяю то, что мне сказали, и только; я вам называю свой источник; большего я не могу сделать. Бедный малый от страха ничего не ел.

– Это невероятно!

– Да нет же, дорогой мой, тут нет ничего невероятного; помните, в прошлом году этот ребенок с улицы Ришелье, который забавлялся тем, что втыкал своим братьям и сестрам, пока они спали, булавку в ухо? Молодое поколение развито не по летам.

– Бьюсь об заклад, что сами вы не верите ни одному своему слову, – сказал Шато-Рено. – Но я не вижу графа Монте-Кристо, неужели его здесь нет?

– Он человек пресыщенный, – заметил Дебрэ, – да ему и неприятно было бы показаться здесь; ведь эти Кавальканти его надули; говорят, они явились к нему с фальшивыми аккредитивами, так что он потерял добрых сто тысяч франков, которыми ссудил их под залог княжеского достоинства.

– Кстати, Шато-Рено, – спросил Бошан, – как поживает Моррель?

– Я заходил к нему три раза, – отвечал Шато-Рено, – но о нем ни слуху, ни духу. Однако сестра его, по-видимому, о нем не тревожится;

она сказала, что тоже дня три его не видела, но уверена, что с ним ничего не случилось.

– Ах да, ведь граф Монте-Кристо и не может быть здесь, – сказал Бошан.

– Почему это?

– Потому что он сам действующее лицо в этой драме.

– Разве он тоже кого-нибудь убил? – спросил Дебрэ.

– Нет, напротив, это его хотели убить. Известно, что этот почтеннейший Кадрусс был убит своим дружком Бенедетто как раз в ту минуту, когда он выходил от графа Монте-Кристо. Известно, что в доме графа нашли пресловутый жилет с письмом, из-за которого брачный договор остался неподписанным. Вы видели этот жилет? Вот он там, на столе, весь в крови, – вещественное доказательство.

– Вижу, вижу!

– Тише, господа, начинается. По местам!

Все в зале шумно задвигались; полицейский энергичным «гм!» подозвал своих протеже, а появившийся в дверях судебный пристав тем визгливым голосом, которым пристава отличались еще во времена Бомарше, провозгласил:

– Суд идет!

# XIII. Обвинительный акт

Судьи уселись среди глубокой тишины; присяжные заняли свои места; Вильфор, предмет особого внимания, мы бы даже сказали – восхищения, опустился в свое кресло, окидывая залу спокойным взглядом.

Все с удивлением смотрели на его строгое, бесстрастное лицо, которое ничем не выдавало отцовского горя. Этот человек, которому чужды были все человеческие чувства, почти внушал страх.

– Введите обвиняемого, – сказал председатель.

При этих словах все взоры устремились на дверь, через которую должен был войти Бенедетто.

Вскоре дверь отворилась, и появился обвиняемый.

На всех он произвел одно и то же впечатление, и никто не обманулся в выражении его лица.

Его черты не носили отпечатка того глубокого волнения, от которого кровь приливает к сердцу и бледнеет лицо. Руки его – одну он положил на шляпу, другую засунул за вырез белого пикейного жилета – не дрожали; глаза были спокойны и даже блестели. Едва войдя в залу, он стал осматривать судей и публику и дольше, чем на других, остановил взгляд на председателе и особенно на королевском прокуроре.

Рядом с Андреа поместился его адвокат, защитник по назначению (Андреа не захотел заниматься подобного рода мелочами, которым он, казалось, не придавал никакого значения), молодой блондин, с покрасневшим лицом, во сто крат более взволнованный, чем сам подсудимый.

Председатель попросил огласить обвинительный акт, составленный, как известно, искусным и неумолимым пером Вильфора.

Во время этого долгого чтения, которое для всякого другого было бы мучительно, внимание публики сосредоточилось на Андреа, переносившем это испытание с душевной бодростью спартанца.

Никогда еще, быть может, Вильфор не был так лаконичен и красноречив; преступление было обрисовано самыми яркими красками; все прошлое обвиняемого, постепенное изменение его внутреннего облика, последовательность его поступков, начиная с весьма раннего возраста, были представлены со всей той силой, какую мог почерпнуть из знания жизни и человеческой души возвышенный ум королевского прокурора.

Одной этой вступительной речью Бенедетто был навсегда уничтожен в глазах общественного мнения еще до того, как его покарал закон.

Андреа не обращал ни малейшего внимания на эти грозные обвинения, которые одно за другим обрушивались на него. Вильфор часто смотрел в его сторону и, должно быть, продолжал психологические наблюдения, которые он уже столько лет вел над преступниками, но ни разу не мог заставить Андреа опустить глаза, как ни пристален и ни упорен был его взгляд.

Наконец обвинительный акт был прочитан.

– Обвиняемый, – сказал председатель, – ваше имя и фамилия?

Андреа встал.

– Простите, господин председатель, – сказал он ясным и звонким голосом, – но я вижу, что вы намерены предлагать мне вопросы в таком порядке, в каком я затруднился бы на них отвечать. Я полагаю, и обязуюсь это доказать немного позже, что я могу считаться исключением среди обычных подсудимых. Прошу вас, разрешите мне отвечать, придерживаясь другого порядка; при этом я отвечу на все вопросы.

Председатель удивленно взглянул на присяжных, те взглянули на королевского прокурора.

Публика была в недоумении.

Но Андреа это, по-видимому, ничуть не смутило.

– Сколько вам лет? – спросил председатель. – На этот вопрос вы ответите?

– И на этот вопрос, и на остальные, господин председатель, когда придет их черед.

– Сколько вам лет? – повторил судья.

– Мне двадцать один год, или, вернее, мне исполнится двадцать один год через несколько дней, так как я родился в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое сентября тысяча восемьсот семнадцатого года.

Вильфор, что-то записывавший, при этих словах поднял голову.

– Где вы родились? – продолжал председатель.

– В Отейле, близ Парижа, – отвечал Бенедетто.

Вильфор вторично посмотрел на Бенедетто и побледнел, словно увидел голову Медузы.

Что же касается Бенедетто, то он грациозно отер губы вышитым концом тонкого батистового платка.

– Ваша профессия? – спросил председатель.

– Сначала я занимался подлогами, – невозмутимо отвечал Андреа, – потом воровство, а недавно стал убийцей.

Ропот, или, вернее, гул негодования и удивления, пронесся по зале; даже судьи изумленно переглянулись, а присяжные явно были возмущены цинизмом, которого трудно было ожидать от светского человека.

Вильфор провел рукою по лбу; его бледность сменилась багровым румянцем; вдруг он встал, растерянно озираясь; он задыхался.

– Вы что-нибудь ищете, господин королевский прокурор? – спросил Бенедетто с самой учтивой улыбкой.

Вильфор ничего не ответил и снова сел или, вернее, упал в свое кресло.

– Может быть, теперь, обвиняемый, вы назовете себя? – спросил председатель. – То вызывающее бесстыдство, с которым вы перечислили свои преступления, именуя их своей профессией и даже как бы гордясь ими, само по себе достойно того, чтобы во имя нравственности и уважения к человечеству суд вынес вам строгое осуждение; но, вероятно, вы преднамеренно не сразу назвали себя; вам хочется оттенить свое имя всеми своими титулами.

– Просто невероятно, господин председатель, – кротко и почтительно сказал Бенедетто, – как верно вы угадали мою мысль; вы совершенно правы, именно с этой целью я просил вас изменить порядок вопросов.

Изумление достигло предела; в словах подсудимого уже не слышалось ни хвастовства, ни цинизма; взволнованная аудитория почувствовала, что из глубины этой черной тучи сейчас грянет гром.

– Итак, – сказал председатель, – ваше имя.

– Я вам не могу назвать свое имя, потому что я его не знаю; но я знаю имя моего отца, и это имя я могу назвать.

У Вильфора потемнело в глазах; по лицу его струился пот, руки судорожно перебирали бумаги.

– В таком случае, назовите имя вашего отца, – сказал председатель.

В огромной зале наступила гробовая тишина; все ждали затаив дыхание.

– Мой отец – королевский прокурор, – спокойно ответил Андреа.

– Королевский прокурор! – изумленно повторил председатель, не замечая исказившегося лица Вильфора.

– Да, а так как вы хотите знать его имя, я вам скажу: его зовут де Вильфор!

Крик негодования, так долго сдерживаемый из уважения к суду, вырвался, как буря, изо всех уст; даже судьи не сразу подумали о том, чтобы призвать к порядку возмущенную публику. Возгласы, брань, обращенные к невозмутимому Бенедетто, угрожающие жесты, окрики жандармов, гоготанье той низкопробной части публики, которая во всяком сборище оказывается на поверхности в минуты замешательства и скандала, – все это продолжалось добрых пять минут, пока судьям и приставам не удалось водворить тишину.

Среди общего шума слышен был голос председателя, восклицавшего:

– Вы, кажется, издеваетесь над судом, обвиняемый? Вы дерзко выставляете напоказ перед вашими согражданами такую безмерную испорченность, которая даже в наш развращенный век не имеет себе равной!

Человек десять суетились вокруг королевского прокурора, поникшего в своем кресле, утешая его, ободряя, уверяя в преданности и сочувствии.

В зале восстановилась тишина, только в одном углу еще волновались и шушукались.

Говорили, что какая-то женщина упала в обморок; ей дали понюхать соль, и она пришла в себя.

Во время этой суматохи Андреа с улыбкой повернулся к публике; потом, изящно опершись рукой на дубовые перила скамьи, заговорил:

– Господа, видит бог, что я не думаю оскорблять суд и производить в этом уважаемом собрании ненужный скандал. Меня спрашивают, сколько мне лет, – я говорю; меня спрашивают, где я родился, – я отвечаю; меня спрашивают, как мое имя, – на это я не могу ответить: у меня его нет, потому что мои родители меня бросили. Но зато я могу назвать имя своего отца; и я повторяю, моего отца зовут де Вильфор, и я готов это доказать.

В голосе подсудимого чувствовалась такая уверенность, такая сила убеждения, что всеобщий шум сменился тишиной. Все взгляды обратились на королевского прокурора. Вильфор сидел немой и неподвижный, словно жизнь покинула его.

– Господа, – продолжал Андреа, – я должен объяснить свои слова и подтвердить их доказательствами.

– Но вы показали на следствии, что вас зовут Бенедетто, – гневно воскликнул председатель, – вы заявили, что вы сирота и что ваша родина – Корсика.

– Я показал на следствии то, что считал нужным показать; я не хотел, чтобы мне помешали – а это неминуемо бы случилось, – торжественно объявить мою тайну во всеуслышание.

Итак, я повторяю: я родился в Отейле, в ночь с двадцать седьмого на двадцать восьмое сентября тысяча восемьсот семнадцатого года, я – сын королевского прокурора господина де Вильфора. Угодно вам знать подробности? Я их сообщу.

Я родился во втором этаже дома номер двадцать восемь по улице Фонтен, в комнате, обтянутой красным штофом. Мой отец взял меня на руки, сказал моей матери, что я умер, завернул меня в полотенце, помеченное буквами Э. и Н., и отнес в сад, где зарыл в землю живым.

Трепет пробежал по толпе, когда она увидела, что вместе с уверенностью подсудимого возрастало смятение Вильфора.

– Но откуда вам известны эти подробности? – спросил председатель.

– Сейчас объясню, господин председатель. В сад, где закопал меня мой отец, в эту самую ночь проник один корсиканец, который его смертельно ненавидел и уже давно подстерегал его, чтобы учинить вендетту. Этот человек, спрятавшись в кустах, видел, как мой отец зарывал в землю ящик, и тут же ударил его ножом; затем, думая, что в этом ящике спрятано какое-нибудь сокровище, он разрыл могилу и нашел меня еще живым. Он отнес меня в Воспитательный дом, где меня записали под номером пятьдесят седьмым. Три месяца спустя его сестра приехала за мной из Рольяно в Париж, заявила, что я ее сын, и увезла меня с собой. Вот почему, родившись в Отейле, я вырос на Корсике.

Наступила тишина, такая глубокая, что, если бы не взволнованное дыхание тысячи людей, можно было бы подумать, будто зала пуста.

– Дальше, – сказал председатель.

– Конечно, – продолжал Бенедетто, – я мог бы жить счастливо у этих добрых людей, любивших меня, как сына, но мои порочные наклонности взяли верх над добродетелями, которые мне старалась привить моя приемная мать. Я вырос во зле и дошел до преступления. Однажды, когда я проклинал бога за то, что он сотворил меня таким злым и обрек на такую ужасную судьбу, мой приемный отец сказал мне:

«Не богохульствуй, несчастный! Бог не во гневе сотворил тебя! В твоем преступлении виноват твой отец, а не ты; твой отец обрек тебя на вечные муки, если бы ты умер, и на нищету, если бы ты чудом вернулся к жизни».

С тех пор я перестал проклинать бога, я проклинал моего отца; вот почему я произнес здесь те слова, которые вызвали ваш гнев, господин председатель, и которые так взволновали это почтенное собрание. Если это еще новое преступление, то накажите меня, но если я вас убедил, что со дня моего рождения моя судьба была мучительной, горькой, плачевной, то пожалейте меня!

– А кто ваша мать? – спросил председатель.

– Моя мать считала меня мертвым; она ни в чем не виновата передо мной. Я не хотел знать имени моей матери, я его не знаю.

Пронзительный крик, перешедший в рыдание, раздался в том углу залы, где сидела незнакомка, только что очнувшаяся от обморока.

С ней сделался нервный припадок, и ее унесли из залы суда; когда ее подняли, густая вуаль, закрывавшая ее лицо, откинулась, и окружающие узнали баронессу Данглар.

Несмотря на полное изнеможение, на шум в ушах, на то, что мысли мешались в его голове, Вильфор тоже узнал ее и встал.

– Доказательства! – сказал председатель. – Обвиняемый, помните, что это нагромождение мерзостей должно быть подтверждено самыми неоспоримыми доказательствами.

– Вы требуете доказательств? – с усмешкой сказал Бенедетто.

– Да.

– Взгляните на господина де Вильфора и скажите, нужны вам еще доказательства?

Вся зала повернулась в сторону королевского прокурора, который зашатался под тяжестью этой тысячи вперившихся в него глаз; волосы его были растрепаны, лицо исцарапано ногтями.

Ропот прошел по толпе.

– У меня требуют доказательств, отец, – сказал Бенедетто, – хотите, я их представлю?

– Нет, – хрипло прошептал Вильфор, – это лишнее.

– Как лишнее? – воскликнул председатель. – Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, – произнес королевский прокурор, – что напрасно я пытался бы вырваться из смертельных тисков, которые сжимают меня; да, я в руке карающего бога! Не нужно доказательств! Все, что сказал этот человек, правда.

Мрачная, гнетущая тишина, от которой волосы шевелились на голове, тишина, какая предшествует стихийным катастрофам, окутала своим свинцовым покровом всех присутствующих.

– Что вы, господин де Вильфор, – воскликнул председатель, – вы во власти галлюцинаций! Вам изменяет разум! Легко понять, что такое неслыханное, неожиданное, ужасное обвинение могло помрачить ваш рассудок; опомнитесь, придите в себя!

Королевский прокурор покачал головой. Зубы его стучали, как в лихорадке, в лице не было ни кровинки.

– Ум мой ясен, господин председатель, – сказал он, – страдает только тело. Я признаю себя виновным во всем, что этот человек вменяет мне в вину; я возвращаюсь в свой дом, где буду ждать распоряжений господина королевского прокурора, моего преемника.

И, произнеся эти слова глухим, еле слышным голосом, Вильфор нетвердой походкой направился к двери, которую перед ним машинально распахнул дежурный пристав.

Зала безмолвствовала, потрясенная этим страшным разоблачением и не менее страшным признанием – трагической развязкой загадочных событий, которые уже две недели волновали высшее парижское общество.

– А еще говорят, что в жизни не бывает драм, – сказал Бошан.

– Признаюсь, – сказал Шато-Рено, – я все-таки предпочел бы кончить, как генерал Морсер: пуля в лоб – просто удовольствие по сравнению с такой катастрофой!

– К тому же она убивает, – сказал Бошан.

– А я-то хотел жениться на его дочери! – сказал Дебрэ. – Хорошо сделала бедная девочка, что умерла!

– Заседание суда закрыто, – сказал председатель, – дело откладывается до следующей сессии. Назначается новое следствие, которое будет поручено другому лицу.

Андреа, все такой же спокойный и сильно поднявшийся во мнении публики, покинул залу в сопровождении жандармов, которые невольно выказывали ему уважение.

– Ну-с, что вы на это скажете, милейший? – сказал Дебрэ полицейскому, суя ему в руку золотой.

– Признают смягчающие обстоятельства, – отвечал тот.

# XIV. Искупление

Вильфор шел к выходу; все расступались перед ним. Всякое великое горе внушает уважение, и еще не было примера, даже в самые жестокие времена, чтобы в первую минуту люди не посочувствовали человеку, на которого обрушилось непоправимое несчастье. Разъяренная толпа может убить того, кто ей ненавистен; но редко случается, чтобы люди, присутствующие при объявлении смертного приговора, оскорбили несчастного, даже если он совершил преступление.

Вильфор прошел сквозь ряды зрителей, стражи, судейских чиновников и удалился, сам вынеся себе обвинительный приговор, но охраняемый своей скорбью.

Бывают трагедии, которые люди постигают чувством, но не могут охватить разумом; и тогда величайший поэт – тот, у кого вырвется самый страстный и самый искренний крик. Этот крик заменяет толпе целую повесть, и она права, что довольствуется им, и еще более права, если признает его совершенным, когда в нем звучит истина.

Впрочем, трудно было бы описать то состояние оцепенения, в котором Вильфор шел из суда, тот лихорадочный жар, от которого билась каждая его артерия, напрягался каждый нерв, вздувалась каждая жила и который терзал миллионом терзаний каждую частицу его бренного тела.

Только сила привычки помогла Вильфору дотащиться до выхода; он сбросил с себя судейскую тогу не потому, что этого требовали приличия, но потому, что она давила и жгла ему плечи тяжким бременем, как мучительное одеяние Несса.

Шатаясь, дошел он до двора Дофина, нашел там свою карету, разбудил кучера, сам открыл дверцу и упал на сиденье, указывая рукой в сторону предместья Сент-Оноре.

Лошади тронули.

Страшной тяжестью обрушилось на него воздвигнутое им здание его жизни; он был раздавлен этим обвалом; он еще не предвидел последствий, не измерял их; он их только чувствовал; он не думал о

букве закона, как думает хладнокровный убийца, толкуя хорошо знакомую ему статью.

Бог вошел в его сердце.

– Боже! – безотчетно шептали его губы. – Боже!

За постигшей его катастрофой он видел только руку божью.

Карета ехала быстро. Вильфор, откинувшийся на сиденье, почувствовал, что ему мешает какой-то предмет.

Он протянул руку: это был веер, забытый г-жой де Вильфор и завалившийся между спинкой и подушками; вид этого веера пробудил в нем воспоминание, и это воспоминание сверкнуло, как молния во мраке ночи.

Вильфор вспомнил о жене...

Он застонал, как будто в сердце ему вонзилось раскаленное железо.

Все время он думал только об одном своем несчастье, и вдруг перед его глазами второе, не менее ужасное.

Его жена! Он только что стоял перед нею как неумолимый судья; он приговорил ее к смерти; и она, пораженная ужасом, раздавленная стыдом, убитая раскаянием, которое он пробудил в ней своей незапятнанной добродетелью, – она, несчастная, слабая женщина, беззащитная перед лицом этой неограниченной, высшей власти, быть может, в эту самую минуту готовилась умереть!

Уже час прошел с тех пор, как он вынес ей приговор; и в эту минуту она, должно быть, вспоминала все свои преступления, молила бога о пощаде, писала письмо, униженно умоляя своего безупречного судью о прощении, которое она покупала ценою жизни.

Вильфор глухо застонал от бешенства и боли и заметался на атласных подушках кареты.

– Эта женщина стала преступницей только потому, что прикоснулась ко мне! – воскликнул он. – Я – само преступление! И она заразилась им, как заражаются тифом, холерой, чумой!.. И я караю ее!.. Я осмелился ей сказать: раскайся и умри... я! Нет, нет, она будет жить... она пойдет со мной... Мы скроемся, мы покинем Францию, мы будем скитаться по земле, пока она будет носить нас. Я говорил ей об эшафоте! Великий

боже! Как я смел произнести это слово! Ведь меня тоже ждет эшафот!.. Мы скроемся... Да, я покаюсь ей во всем: каждый день я буду смиренно повторять ей, что я такой же преступник... Союз тигра и змеи! О жена, достойная своего мужа!.. Она должна жить, ее злодеяние должно померкнуть перед моим!

И Вильфор порывисто опустил переднее стекло кареты.

– Скорей, скорей! – крикнул он таким голосом, что кучер привскочил на козлах.

Испуганные лошади вихрем помчались к дому.

– Да, да, – твердил Вильфор, – эта женщина должна жить, она должна раскаяться и воспитать моего сына, моего несчастного мальчика. Он один вместе с этим словно железным стариком пережил гибель моей семьи! Она любила сына; ради него она пошла на преступление. Никогда не следует терять веру в сердце женщины, любящей своего ребенка; она раскается, никто не узнает, что она преступница. Все злодеяния, совершенные в моем доме и о которых уже шепчутся в свете, со временем забудутся, а если и найдутся недоброжелатели, которые о них вспомнят, я возьму вину на себя. Одним, двумя, тремя больше – не все ли равно! Моя жена возьмет все наше золото, а главное – сына, и бежит прочь от этой бездны, куда, кажется, вместе со мною готов низринуться весь мир. Она будет жить, она будет счастлива, ибо вся ее любовь принадлежит сыну, а сын останется с ней. Я совершу доброе дело; от этого душе станет легче.

И королевский прокурор вздохнул свободно.

Карета остановилась во дворе его дома.

Вильфор спрыгнул с подножки на ступени крыльца; он видел, что слуги удивлены его быстрым возвращением. Ничего другого он на их лицах не прочел; никто не заговорил с ним; перед ним, как всегда, расступились, и только.

Он прошел мимо комнаты Нуартье и сквозь полуотворенную дверь заметил две неясные тени, но не задумался над тем, кто посетитель его отца; тревога подгоняла его.

«Здесь все как было», – подумал он, поднимаясь по маленькой лестнице, которая вела к комнатам его жены и пустой комнате Валентины.

Он запер за собой дверь на площадку.

– Пусть никто не входит сюда, – сказал он, – я должен говорить с ней без помехи, повиниться перед ней, сказать ей все...

Он подошел к двери, взялся за хрустальную ручку, дверь подалась.

– Не заперта! – прошептал он. – Это хороший знак!

И он вошел в маленькую гостиную, где по вечерам стелили постель для Эдуарда; хотя мальчик и учился в пансионе, он каждый вечер возвращался домой; мать ни за что не хотела разлучаться с ним.

Вильфор окинул взглядом комнату.

– Никого, – сказал он, – она у себя в спальне.

Он бросился к двери.

Но эта дверь была заперта.

Он остановился, весь дрожа.

– Элоиза! – крикнул он.

Ему послышалось, что кто-то двинул стулом.

– Элоиза! – повторил он.

– Кто там? – спросил голос его жены.

Ему показалось, что этот голос звучал слабее обычного.

– Откройте, откройте, – крикнул Вильфор, – это я!

Но несмотря на повелительный и вместе тревожный тон этого приказания, никто не открыл.

Вильфор вышиб дверь ногой.

На пороге будуара стояла г-жа де Вильфор с бледным, искаженным лицом и смотрела на мужа пугающе неподвижным взглядом.

– Элоиза! – воскликнул он. – Что с вами? Говорите!

Она протянула к нему бескровную, цепенеющую руку.

– Все исполнено, сударь, – сказала она с глухим хрипом, который словно разрывал ей гортань. – Чего вы еще хотите?

И она, как подкошенная, упала на ковер.

Вильфор подбежал к ней, схватил ее за руку. Рука эта судорожно сжимала хрустальный флакон с золотой пробкой.

Госпожа де Вильфор была мертва.

Вильфор, обезумев от ужаса, попятился к двери, не отрывая глаз от трупа.

– Эдуард! – вскричал он вдруг. – Где мой сын? – И он бросился из комнаты с воплем: – Эдуард, Эдуард!

Этот крик был так страшен, что со всех сторон сбежались слуги.

– Мой сын! Где мой сын? – спросил Вильфор. – Уведите его, чтобы он не видел...

– Господина Эдуарда нет внизу, сударь, – ответил камердинер.

– Он, должно быть, в саду, бегите за ним!

– Нет, сударь; госпожа де Вильфор полчаса тому назад позвала его к себе; господин Эдуард прошел к ней и с тех пор не выходил.

Ледяной пот выступил на лбу Вильфора, ноги его подкосились, мысли закружились в мозгу, как расшатанные колесики испорченных часов.

– Прошел к ней! – прошептал он. – К ней!

И он медленно побрел обратно, вытирая одной рукой лоб, а другой держась за стену.

Он должен войти в эту комнату и снова увидеть тело несчастной.

Он должен позвать Эдуарда, разбудить эхо этой комнаты, превращенной в гроб; заговорить здесь – значило осквернить безмолвные могилы.

Вильфор почувствовал, что язык не повинуется ему.

– Эдуард! Эдуард! – пролепетал он.

Никакого ответа; где же мальчик, который, как сказали слуги, прошел к матери и не вышел от нее?

Вильфор сделал еще шаг вперед.

Труп г-жи де Вильфор лежал перед дверью в будуар, где только и мог быть сын; труп словно сторожил порог; в открытых, остановившихся глазах, на мертвых губах застыла загадочная усмешка.

За приподнятой портьерой виднелись ножка рояля и угол дивана, обитого голубым атласом.

Вильфор сделал еще несколько шагов вперед и на диване увидел своего сына.

Ребенок, вероятно, заснул.

Несчастного охватила невыразимая радость; луч света озарил ад, где он корчился в нестерпимой муке.

Он перешагнет через труп, войдет в комнату, возьмет ребенка на руки и бежит с ним, далеко-далеко.

Это был уже не прежний Вильфор, который в своем утонченном лицемерии являл образец цивилизованного человека; это был смертельно раненный тигр, который ломает зубы, в последний раз сжимая страшную пасть.

Он боялся уже не предрассудков, а призраков. Он отступил на шаг и перепрыгнул через труп, словно это был пылающий костер.

Он схватил сына на руки, прижал его к груди, тряс его, звал по имени; мальчик не отвечал. Вильфор прильнул жадными губами к его лицу, лицо было холодное и мертвенно-бледное; он ощупал окоченевшее тело ребенка, приложил руку к его сердцу: сердце не билось.

Ребенок был мертв.

Вчетверо сложенная бумажка упала на ковер.

Вильфор, как громом пораженный, опустился на колени, ребенок выскользнул из его безжизненных рук и покатился к матери.

Вильфор поднял листок, узнал руку своей жены и жадно пробежал его.

Вот что он прочел:

«Вы знаете, что я была хорошей матерью: ради своего сына я стала преступницей.

Хорошая мать не расстается со своим сыном!»

Вильфор не верил своим глазам. Вильфор не верил своему рассудку. Он подполз к телу Эдуарда и еще раз осмотрел его с тем вниманием, с каким львица разглядывает своего мертвого львенка.

Из его груди вырвался душераздирающий крик.

– Бог! – простонал он. – Опять бог!

Вид обеих жертв ужасал его, он чувствовал, что задыхается в одиночестве, в этой пустоте, заполненной двумя трупами.

Еще недавно его поддерживала ярость, тот великий дар сильных людей, его поддерживало отчаяние, последняя доблесть погибающих, побуждавшая Титанов брать приступом небо, Аякса – грозить кулаками богам.

Голова Вильфора склонилась под непосильным бременем; он поднялся с колен, провел дрожащей рукой по слипшимся от пота волосам; он, никогда не знавший жалости, в изнеможении побрел к своему престарелому отцу, чтобы хоть кому-то поведать свое горе, перед кем-то излить свою муку.

Он спустился по знакомой вам лестнице и вошел к Нуартье.

Когда Вильфор вошел, Нуартье со всем вниманием и дружелюбием, какое только мог выразить его взгляд, слушал аббата Бузони, спокойного и хладнокровного, как всегда.

Вильфор, увидав аббата, поднес руку ко лбу. Прошлое нахлынуло на него, словно грозная волна, которая вздымает больше пены, чем другие.

Он вспомнил, как он был у аббата через два дня после обеда в Отейле и как аббат явился к нему в день смерти Валентины.

– Вы здесь, сударь! – сказал он. – Вы всегда приходите вместе со смертью!

Бузони выпрямился, увидев искаженное лицо Вильфора, его исступленный взгляд, он понял, что скандал в зале суда уже разразился; о дальнейшем он не знал.

– Я приходил молиться у тела вашей дочери, – отвечал Бузони.

– А сегодня зачем вы пришли?

– Я пришел сказать вам, что вы заплатили мне свой долг сполна. Отныне я буду молить бога, чтобы он удовольствовался этим, как и я.

– Боже мой, – воскликнул Вильфор, отступая на шаг, – этот голос... вы не аббат Бузони!

– Нет.

Аббат сорвал с себя парик с тонзурой, тряхнул головой, и длинные черные волосы рассыпались по плечам, обрамляя его мужественное лицо.

– Граф Монте-Кристо! – воскликнул ошеломленный Вильфор.

– И даже не он, господин королевский прокурор, вспомните, поройтесь в своей памяти.

– Этот голос! Где я его слышал?

– Вы его слышали в Марселе, двадцать три года тому назад, в день вашего обручения с Рене де Сен-Меран. Поищите в своих папках с делами.

– Вы не Бузони? Вы не Монте-Кристо? Боже мой, так это вы мой враг – тайный, неумолимый, смертельный! Я причинил вам какое-то зло в Марселе, горе мне!

– Да, ты угадал, – сказал граф, скрестив руки на груди. – Вспомни, вспомни!

– Но что же я тебе сделал? – воскликнул Вильфор, чьи мысли заметались на том пороге, где разум и безумие сливаются в тумане, который уже не сон, но еще не пробуждение. – Что я тебе сделал? Говори!

– Ты осудил меня на чудовищную, медленную смерть, ты убил моего отца, ты вместе со свободой отнял у меня любовь и вместе с любовью – счастье!

– Да кто же ты? Кто?

– Я призрак несчастного, которого ты похоронил в темнице замка Иф. Когда этот призрак вышел из могилы, бог скрыл его под маской графа Монте-Кристо и осыпал его алмазами и золотом, чтобы доныне ты не узнал его.

– Я узнаю тебя, узнаю! – произнес королевский прокурор. – Ты...

– Я Эдмон Дантес!

– Ты Эдмон Дантес! – вскричал королевский прокурор, хватая графа за руку. – Так идем!

И он повлек его к лестнице. Удивленный Монте-Кристо последовал за ним, не зная, куда его ведет королевский прокурор, и предчувствуя новое несчастье.

– Смотри, Эдмон Дантес! – сказал Вильфор, указывая графу на трупы жены и сына. – Смотри! Ты доволен?

Монте-Кристо побледнел, как смерть; он понял, что в своем мщении преступил границы; он понял, что теперь он уже не смеет сказать: «Бог за меня и со мною».

Ужас оледенил его душу; он бросился к ребенку, приподнял ему веки, пощупал пульс и, схватив его на руки, выбежал с ним в комнату Валентины и запер за собой дверь.

– Мой сын! – закричал Вильфор. – Он похитил тело моего сына! Горе, проклятие, смерть тебе!

И он хотел ринуться за Монте-Кристо, но как во сне его ноги словно вросли в пол, глаза его едва не вышли из орбит, скрюченные пальцы все глубже впивались в грудь, пока из-под ногтей не брызнула кровь, жилы на висках вздулись, череп готов был разорваться под напором клокочущих мыслей, и море пламени затопило мозг.

Это оцепенение длилось несколько минут, и, наконец непроглядный мрак безумия поглотил Вильфора.

Он вскрикнул, дико захохотал и бросился вниз по лестнице.

Четверть часа спустя дверь комнаты Валентины отворилась, и на пороге появился граф Монте-Кристо.

Он был бледен, взор его померк, грудь тяжело дышала; черты его всегда спокойного благородного лица были искажены страданием.

Он держал в руках ребенка, которого уже ничто не могло вернуть к жизни.

Монте-Кристо стал на одно колено, благоговейно опустил ребенка на ковер подле матери и положил его голову к ней на грудь.

Потом он встал, вышел из комнаты и, встретив на лестнице одного из слуг, спросил:

– Где господин Вильфор?

Слуга молча указал рукой на сад.

Монте-Кристо спустился с крыльца, пошел в указанном направлении и среди столпившихся слуг увидел Вильфора, который, с заступом в руках, ожесточенно рыл землю.

– Нет, не здесь, – говорил он, – нет, не здесь.

И рыл дальше.

Монте-Кристо подошел к нему и едва слышно, почти смиренно произнес:

– Вы потеряли сына, сударь, но у вас осталась...

Вильфор, не слушая, перебил его.

– Я найду его, – сказал он, – не говорите мне, что его здесь нет, я его найду, хоть бы мне пришлось искать его до Страшного суда.

Монте-Кристо отшатнулся.

– Он сошел с ума! – сказал он.

И, словно страшась, что на него обрушатся стены этого проклятого дома, он выбежал на улицу, впервые усомнившись – имел ли он право поступать так, как поступил.

– Довольно, довольно, – сказал он, – пощадим последнего!

Придя домой, Монте-Кристо застал у себя Морреля; он бродил по комнатам, как безмолвный призрак, который ждет назначенного ему богом часа, чтобы вернуться в свою могилу.

– Приготовьтесь, Максимилиан, – сказал ему с улыбкой Монте-Кристо, – завтра мы покидаем Париж.

– Разве вам здесь больше нечего делать? – спросил Моррель.

– Нечего, – отвечал Монте-Кристо, – боюсь, что я и так сделал слишком много.

# XV. Отъезд

События последних недель взволновали весь Париж. Эмманюель и его жена, сидя в маленькой гостиной на улице Мелe, обсуждали их с вполне понятным недоумением; они чувствовали какую-то связь между тремя внезапными и непредвиденными катастрофами, поразившими Морсера, Данглара и Вильфора.

Максимилиан, который пришел их навестить, слушал их или, вернее, присутствовал при их беседе, погруженный в ставшее для него привычным равнодушие.

– Право, Эмманюель, – говорила Жюли, – кажется, будто эти люди, еще вчера такие богатые, такие счастливые, строя свое богатство и свое счастье, забыли заплатить дань злому року; и вот, совсем как в сказке Перро, вдруг явилась злая фея, которую не пригласили на свадьбу или на крестины, чтобы отомстить за эту забывчивость.

– Какой разгром! – говорил Эмманюель, думая о Морсере и Дангларе.

– Какое горе! – говорила Жюли, думая о Валентине, которую женское чутье не позволяло ей назвать вслух в присутствии брата.

– Если их покарал бог, – говорил Эмманюель, – значит, он – высшее милосердие – не нашел в прошлом этих людей ничего, что заслуживало бы смягчения кары; значит, эти люди были прокляты.

– Ты судишь слишком смело, Эмманюель, – сказала Жюли. – Если бы в ту минуту, когда мой отец уже держал в руке пистолет, кто-нибудь сказал, как ты сейчас: «Этот человек заслужил свою участь», – разве он не ошибся бы?

– Да, но бог не допустил, чтобы наш отец погиб, как не допустил, чтобы Авраам принес в жертву своего сына; как и патриарху, он послал нам ангела, который остановил смерть на полпути.

Едва он успел произнести эти слова, как раздался звон колокольчика.

Это привратник давал знать о посетителе.

Почти тотчас же отворилась дверь, и на пороге появился граф Монте-Кристо.

Жюли и Эмманюель встретили его радостными возгласами.

Максимилиан поднял голову и снова опустил ее.

– Максимилиан, – сказал граф, делая вид, что не замечает его холодности, – я приехал за вами.

– За мной? – переспросил Моррель, как бы очнувшись от сна.

– Да, – сказал Монте-Кристо, – ведь решено, что вы едете со мной, и я предупредил вас еще вчера, чтобы вы были готовы.

– Я готов, – сказал Максимилиан, – я зашел проститься с ними.

– А куда вы едете, граф? – спросила Жюли.

– Сначала в Марсель, сударыня.

– В Марсель? – повторила Жюли.

– Да, и я похищаю вашего брата.

– Граф, верните его нам исцеленным, – сказала Жюли.

Моррель отвернулся, чтобы скрыть краску, залившую его лицо.

– А вы заметили, что он болен? – спросил граф.

– Да, и я боюсь, не скучно ли ему с нами.

– Я постараюсь его развлечь, – сказал граф.

– Я к вашим услугам, сударь, – сказал Максимилиан. – Прощайте, дорогие мои; прощай, Эмманюель, прощай, Жюли!

– Как, ты уже прощаешься? – воскликнула Жюли. – Разве вы сейчас едете? а вещи? а паспорта?

– Всегда легче расстаться сразу, – сказал Монте-Кристо, – я уверен, что Максимилиан обо всем уже позаботился, как я его просил.

– Паспорт у меня есть, а вещи мои уложены, – очень тихо и спокойно сказал Моррель.

– Отлично, – сказал, улыбаясь, Монте-Кристо, – вот что значит военная точность.

– И вы нас так и покинете? – сказала Жюли. – Уже сейчас? Вы не подарите нам ни дня, ни даже часа?

– Мой экипаж у ворот, сударыня; через пять дней я должен быть в Риме.

– Но разве Максимилиан едет в Рим? – спросил Эмманюель.

– Я еду туда, куда графу угодно будет меня везти, – сказал с грустной улыбкой Максимилиан. – Я принадлежу ему еще на месяц.

– Почему он это говорит с такой горечью, граф?

– Ваш брат едет со мной, – мягко сказал граф, – поэтому не тревожьтесь за него.

– Прощай, сестра! – повторил Максимилиан. – Прощай, Эмманюель!

– У меня сердце разрывается, когда я вижу, какой он стал безразличный ко всему, – сказала Жюли. – Ты что-то от нас скрываешь, Максимилиан.

– Вот увидите, – сказал Монте-Кристо, – он вернется к вам веселый, смеющийся и радостный.

Максимилиан бросил на Монте-Кристо почти презрительный, почти гневный взгляд.

– Едем! – сказал граф.

– Но раньше, чем вы уедете, граф, – сказала Жюли, – я хочу высказать вам все то, что прошлый раз...

– Сударыня, – возразил граф, беря ее руки в свои, – все, что вы мне скажете, будет меньше того, что я могу прочесть в ваших глазах, меньше того, что вам говорит ваше сердце и что мое сердце слышит. Мне бы следовало поступить, как благодетелю из романа, и уехать, не повидавшись с вами; но такая добродетель выше моих сил, потому что я человек слабый и тщеславный; я радуюсь, когда встречаю нежный, растроганный взор моих ближних. Теперь я уезжаю, и я даже настолько себялюбив, что говорю вам: не забывайте меня, друзья мои, – ибо, вероятно, мы с вами больше никогда не увидимся.

– Никогда больше не увидимся! – воскликнул Эмманюель, между тем как крупные слезы покатились по щекам Жюли. – Никогда больше не увидим вас! Так вы не человек, а божество, которое спустилось на землю, чтобы сотворить добро, а теперь возвращается на небо?

– Не говорите этого, – поспешно возразил Монте-Кристо, – никогда не говорите, друзья мои; боги не совершают зла, боги останавливаются там, где хотят остановиться; случай не властен над ними, напротив, они

сами повелевают случаем. Нет, Эмманюель, я человек, и ваше восхищение столь же кощунственно, сколь не заслужено мною.

И граф, с сожалением покидая этот мирный дом, где обитало счастье, прильнул губами к руке Жюли, бросившейся в его объятия, и протянул другую руку Эмманюелю; потом кивнул Максимилиану, все такому же безучастному и удрученному.

– Верните моему брату радость! – шепнула Жюли на ухо графу.

Монте-Кристо пожал ей руку, как одиннадцать лет тому назад, на лестнице, ведущей в кабинет арматора Морреля.

– Вы по-прежнему верите Синдбаду-мореходу? – спросил он ее, улыбаясь.

– Да.

– В таком случае ни о чем не печальтесь, уповайте на бога.

Как мы уже сказали, у ворот ждала почтовая карета; четверка резвых лошадей, встряхивая гривами, нетерпеливо била копытами о землю.

У крыльца ждал Али, задыхающийся, весь в поту, словно после долгого бега.

– Ну что, – спросил его по-арабски граф, – был ты у старика?

Али кивнул головой.

– И ты развернул перед ним письмо, как я тебе велел?

Невольник снова склонил голову.

– И что же он сказал или, вернее, что же он сделал?

Али повернулся к свету, чтобы его господин мог его лучше видеть, и, старательно и искусно подражая мимике старика, закрыл глаза, как это делал Нуартье, когда хотел сказать: да.

– Отлично, он согласен, – сказал Монте-Кристо, – едем!

Едва он произнес это слово, лошади рванулись, и из-под копыт брызнул целый дождь искр.

Максимилиан молча забился в угол.

Прошло полчаса; вдруг карета остановилась: граф дернул за шелковый шнурок, привязанный к пальцу Али.

Нубиец соскочил с козел, отворил дверцу, и граф вышел.

Ночь сверкала звездами. Монте-Кристо стоял на вершине холма Вильжюиф, на плоской возвышенности, откуда виден весь Париж, похожий на темное море, в котором, как фосфоресцирующие волн, переливаются миллионы огней; да, волны, но более бурные, неистовые, изменчивые, более яростные и алчные, чем волны разгневанного океана, не ведающие покоя, вечно сталкивающиеся, вечно вспененные, вечно губительные!..

По знаку графа экипаж отъехал на несколько шагов, и он остался один.

Скрестив руки, Монте-Кристо долго смотрел на это горнило, где накаляются, плавятся и отливаются все мысли, которые, устремляясь из этой клокочущей бездны, волнуют мир. Потом, насытив свой властный взор зрелищем этого Вавилона, который очаровывает и благочестивых мечтателей, и насмешливых материалистов, он склонил голову и молитвенно сложил руки.

– Великий город, – прошептал он, – еще и полгода не прошло, как я ступил на твою землю. Я верю, что божья воля привела меня сюда, и я покидаю тебя торжествующий; тайну моего пребывания в твоих стенах я доверил богу, и он единый читал в моем сердце; он единый знает, что я ухожу без ненависти и без гордыни, но не без сожалений; он единый знает, что я не ради себя и не ради суетных целей пользовался дарованным мне могуществом. Великий город, в твоем трепещущем лоне обрел я то, чего искал; как терпеливый рудокоп, я изрыл твои недра, чтобы извлечь из них зло; теперь мое дело сделано; назначение мое исполнено; теперь ты уже не можешь дать мне ни радости, ни горя. Прощай, Париж, прощай!

Он еще раз, подобно гению ночи, окинул взором обширную равнину; затем, проведя рукой по лбу, сел в карету, дверца за ним захлопнулась, и карета исчезла по ту сторону холма в вихре пыли и стуке колес.

Они проехали два лье, не обменявшись ни единым словом. Моррель был погружен в свои думы; Монте-Кристо долго смотрел на него.

– Моррель, – сказал он наконец, – вы не раскаиваетесь, что поехали со мной?

– Нет, граф; но расстаться с Парижем...

– Если бы я думал, что счастье ждет вас в Париже, я бы не увез вас оттуда.

– В Париже покоится Валентина, и расстаться с Парижем – значит вторично потерять ее.

– Максимилиан, – сказал граф, – друзья, которых мы лишились, покоятся не в земле, но в нашем сердце, так хочет бог, дабы они всегда были с нами. У меня есть два друга, которые всегда со мной; одному я обязан жизнью, другому – разумом. Их дух живет в моем сердце. Когда меня одолевают сомнения, я советуюсь с этими друзьями, и если мне удалось сделать немного добра, то лишь благодаря их советам. Прислушайтесь к голосу вашего сердца, Моррель, и спросите его, хорошо ли, что вы так неприветливы со мной.

– Друг мой, – сказал Максимилиан, – голос моего сердца полон скорби и сулит мне одни страдания.

– Слабые духом всегда все видят через траурную вуаль; душа сама создает свои горизонты; ваша душа сумрачна, это она застилает ваше небо тучами.

– Быть может, вы и правы, – сказал Максимилиан.

И он снова впал в задумчивость.

Путешествие совершалось с той чудесной быстротой, которая была во власти графа; города на их пути мелькали, как тени; деревья, колеблемые первыми порывами осеннего ветра, казалось, мчались им навстречу, словно взлохмаченные гиганты, и мгновенно исчезали. На следующее утро они прибыли в Шалон, где их ждал пароход графа; не теряя ни минуты, карету погрузили на пароход: путешественники взошли на борт.

Пароход был создан для быстрого хода; он напоминал индейскую пирогу; его два колеса казались крыльями, и он скользил по воде, словно перелетная птица; даже Морреля опьянило это стремительное движение, и временами развевавший его волосы ветер едва не разгонял тучи на его челе.

По мере того как они отдалялись от Парижа, лицо графа светлело, прояснялось, от него исходила почти божественная ясность. Он казался

изгнанником, возвращающимся на родину.

Скоро их взорам открылся Марсель, белый, теплый, полный жизни Марсель, младший брат Тира и Карфагена, их наследник на Средиземном море; Марсель, который, становясь старше, все молодеет. Для обоих были полны воспоминаний и круглая башня, и форт Св. Николая, и ратуша, и гавань с каменными набережными, где они оба играли детьми.

По обоюдному желанию, они вышли на улице Каннебьер.

Какой-то корабль уходил в Алжир; тюки, пассажиры, заполнявшие палубу, толпа родных и друзей, прощания, возгласы и слезы – зрелище, всегда волнующее, даже для тех, кто видит его ежедневно, – вся эта сутолока не могла отвлечь Максимилиана от мысли, завладевшей им с той минуты, как нога его ступила на широкие плиты набережной.

– Смотрите, – сказал он, беря Монте-Кристо под руку, – вот на этом месте стоял мой отец, когда «Фараон» входил в порт; вот здесь этот честнейший человек, которого вы спасли от смерти и позора, бросился в мои объятия; я до сих пор чувствую на лице его слезы; и плакал не он один, многие плакали, глядя на нас.

Монте-Кристо улыбнулся.

– Я стоял там, – сказал он, указывая на угол одной из улиц.

Не успел он договорить, как в том направлении, куда он указывал, раздался горестный стон, и они увидели женщину, которая махала рукой одному из пассажиров отплывающего корабля. Лицо ее было скрыто вуалью; Монте-Кристо следил за ней с таким волнением, что Моррель не мог бы не заметить этого, если бы его взгляд не был устремлен на палубу.

– Смотрите! – воскликнул Моррель. – Этот молодой человек в военной форме, который машет рукой, это Альбер де Морсер!

– Да, – сказал Монте-Кристо, – я тоже узнал его.

– Как? Вы ведь смотрели в другую сторону.

Граф улыбнулся, как он всегда улыбался, когда не хотел отвечать.

И глаза его снова обратились на женщину под вуалью; она исчезла за углом.

Тогда он обернулся.

– Дорогой друг, – сказал он Максимилиану, – нет ли у вас здесь какого-нибудь дела?

– Я навещу могилу отца, – глухо ответил Максимилиан.

– Хорошо, ступайте и ждите меня там; я приду туда.

– Вы уходите?

– Да... мне тоже нужно посетить святое для меня место.

Моррель слабо пожал протянутую руку графа, затем грустно кивнул головой и направился в восточную часть города.

Монте-Кристо подождал, пока Максимилиан скрылся из глаз, и пошел к Мельянским аллеям, где стоял тот скромный домик, с которым наши читатели познакомились в начале нашего повествования.

Дом этот все так же осеняли ветвистые деревья аллеи, служившей местом прогулок марсельцам; он весь зарос диким виноградом, оплетающим своими черными корявыми стеблями его каменные стены, пожелтевшие под пламенными лучами южного солнца. Две стертые каменные ступеньки вели к входной двери, сколоченной из трех досок, которые ежегодно расходились, но не знали ни глины, ни краски, и терпеливо ждали осеннюю сырость, чтобы снова сойтись.

Этот дом, прелестный, несмотря на свою ветхость, веселый, несмотря на свой невзрачный вид, был тот самый, в котором некогда жил старик Дантес. Но старик занимал мансарду, а в распоряжение Мерседес граф предоставил весь дом.

Сюда и вошла женщина в длинной вуали, которую Монте-Кристо видел на пристани; в ту минуту, когда он показался из-за угла, она закрывала за собой дверь, так что едва он ее настиг, как она снова исчезла.

Он хорошо был знаком с этими стертыми ступенями; он лучше всех знал, как открыть эту старую дверь; щеколда поднималась при помощи гвоздя с широкой головкой.

И он вошел, не постучавшись, не предупредив никого о своем приходе, вошел, как друг, как хозяин.

За домом находился залитый солнечным светом и теплом маленький садик, тот самый, где в указанном месте Мерседес нашла деньги, которые граф положил туда якобы двадцать четыре года назад; с порога входной двери были видны первые деревья этого садика.

Переступив этот порог, Монте-Кристо услышал вздох, похожий на рыдание; он взглянул в ту сторону, откуда донесся вздох, и среди кустов виргинского жасмина с густой листвой и длинными пурпурными цветами увидел Мерседес; она сидела на скамье и плакала.

Она откинула вуаль и, одна под куполом небес, закрыв руками лицо, дала волю рыданиям и вздохам, которые она так долго сдерживала в присутствии сына.

Монте-Кристо сделал несколько шагов; под его ногой захрустел песок.

Мерседес подняла голову и испуганно вскрикнула.

– Сударыня, – сказал граф, – я уже не властен дать вам счастье, но я хотел бы принести вам утешение; примете ли вы его от меня, как от друга?

– Да, я очень несчастна, – сказала Мерседес, – одна на свете... У меня остался только сын, и он меня покинул.

– Он хорошо сделал, сударыня, – возразил граф, – у него благородное сердце. Он понял, что каждый человек должен принести дань отечеству; одни отдают ему свой талант, другие свой труд; одни отдают свои бессонные ночи, другие – свою кровь. Оставаясь с вами, он растратил бы около вас свою ставшую бесполезной жизнь, и он не мог бы примириться с вашими страданиями. Бессилие озлобило бы его; борясь со своими невзгодами, которые он сумеет обратить в удачу, он станет сильным и могущественным. Дайте ему воссоздать свое и ваше будущее, сударыня; смею вас уверить, что оно в верных руках.

– Счастьем, которое вы ему пророчите и которое я от всей души молю бога ему даровать, мне уж не придется насладиться, – сказала бедная женщина, грустно качая головой. – Столько разбито во мне и вокруг меня, что я чувствую себя на краю могилы. Вы хорошо сделали, граф, что помогли мне возвратиться туда, где я была так счастлива; умирать надо там, где знал счастье.

– Ваши горькие слова, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – жгут мне сердце, жгут тем сильнее, что вы справедливо ненавидите меня; я виновник всех ваших страданий, почему вы, вместо того чтобы обвинять, не жалеете меня? Вы причинили бы мне еще горшую боль...

– Ненавидеть вас, обвинять вас, Эдмон? Ненавидеть, обвинять человека, который пощадил жизнь моего сына, – ведь правда, у вас было жестокое намерение отнять у господина де Морсера сына, которым он так гордился? Взгляните на меня, и вы увидите, есть ли в моем лице хоть тень укора.

Граф поднял свой взор и остановил его на Мерседес, которая протягивала ему обе руки.

– Взгляните на меня, – продолжала она с бесконечной грустью, – красота моя померкла, и в моих глазах уже нет блеска, прошло то время, когда я приходила с улыбкой к Эдмону Дантесу, который ждал меня там, у окна мансарды, где жил его старый отец... С тех пор протекло много тягостных дней, они вырыли пропасть между мной и прошлым. Обвинять вас, Эдмон, вас ненавидеть, мой друг? Нет! Я себя ненавижу и себя обвиняю! Я во всем виновата, – воскликнула она, сжимая руки. – Как жестоко я наказана!.. У меня была вера, невинность, любовь – эти три дара, которыми небо наделяет ангелов, а я, несчастная, я усомнилась в боге!

Монте-Кристо молча протянул ей руку.

– Нет, мой друг, – сказала она, мягко отнимая свою руку, – не дотрагивайтесь до меня. Вы меня пощадили, а между тем из всех, кого вы покарали, я одна не заслуживала пощады. Все остальные действовали из ненависти, алчности, себялюбия; я же – из малодушия. У них была цель, а я – я испугалась. Нет, не пожимайте мою руку, Эдмон; я чувствую, вы хотите сказать мне доброе слово, – не нужно, поберегите его для другой, я его недостойна. Взгляните, – она совсем откинула вуаль, – мои волосы поседели от горя; мои глаза пролили столько слез, что они окружены лиловыми тенями; лоб мой избороздили морщины. А вы, Эдмон, все такой же молодой, красивый, гордый. Это оттого, что в вас была вера, в вас было мужество, вы уповали на бога, и бог поддержал

вас. А я была малодушна, я отреклась; господь меня покинул – и вот что стало со мной.

Мерседес зарыдала; сердце ее разрывалось от боли воспоминаний.

Монте-Кристо взял ее руку и почтительно поцеловал; но она сама почувствовала, что в этом поцелуе не было огня, словно он был запечатлен на мраморной руке святой.

– Есть такие обреченные жизни, – продолжала она, – первая же ошибка разбивает все их будущее. Я вас считала умершим, и я должна была тоже умереть; что пользы, что я в сердце своем неустанно оплакивала вас? В тридцать девять лет я стала старухой – и только. Что пользы, что, единственная из всех узнав вас, я спасла жизнь моему сыну? Разве не должна я была спасти также человека, которого я выбрала себе в мужья, как бы ни велика была его вина? А я дала ему умереть. Больше того! Я сама приблизила его смерть своим бездушием, своим презрением, не думая, не желая думать о том, что он из-за меня стал клятвопреступником и предателем! Что пользы, наконец, что я приехала с моим сыном сюда, раз я его покинула, отпустила его одного, отдала его смертоносной Африке? Да, я была малодушна! Я отреклась от своей любви, и, как все отступники, я приношу несчастье тем, кто окружает меня.

– Нет, Мерседес, – сказал Монте-Кристо, – вы не должны судить себя так строго. Вы благородная, святая женщина, вы обезоружили меня силой своего горя; но за мной, незримый, неведомый, гневный, стоял господь, чьим посланным я был, и он не захотел остановить брошенную мною молнию. Клянусь богом, пред которым я уже десять лет каждый день повергаюсь ниц, призываю его в свидетели, что я пожертвовал вам своей жизнью и, вместе с жизнью, всеми своими замыслами! Но, Мерседес, и я говорю это с гордостью, я был нужен богу, и он вернул меня к жизни. Вдумайтесь в прошлое, вдумайтесь в настоящее, постарайтесь предугадать будущее и скажите: разве я не орудие всевышнего? В самых ужасных несчастьях, в самых жестоких страданиях, забытый всеми, кто меня любил, гонимый теми, кто меня не знал, я прожил половину жизни; и вдруг, после заточения, одиночества,

лишений – воздух, свобода, богатство; богатство столь ослепительное, волшебное, столь неимоверное, что я должен был поверить, что бог посылает мне его для великих деяний. С тех пор я нес это богатство как служение; с тех пор меня уже ничто не прельщало в этой жизни, в которой вы, Мерседес, порой находили сладость; я не знал ни часа отдыха; какая-то сила влекла меня вперед; словно я был огненным облаком, проносящимся по небу, чтобы испепелить проклятые богом города. Подобно тем отважным капитанам, которые снаряжают свой корабль в тяжелый путь, в опасный поход, я собирал припасы, готовил оружие, приучал свое тело к самым тяжким испытаниям, приучал душу к самым сильным потрясениям, чтобы моя рука умела убивать, мои глаза – созерцать страдания, мои губы – улыбаться при самых ужасных зрелищах; из доброго, доверчивого, не помнящего зла я сделался мстительным, скрытным, злым или, вернее, бесстрастным, как глухой и слепой рок. Тогда я вступил на уготованный мне путь, я пересек пространство, я достиг цели; горе тем, кого я встретил на своем пути.

– Довольно, – сказала Мерседес, – довольно, Эдмон! Поверьте, что если я, единственная из всех, вас узнала, то я одна могла и понять вас. И если бы вы встретили меня на своем пути и разбили, как стеклянный сосуд, я и тогда не могла бы не восхищаться вами, Эдмон! Как между мной и прошлым лежит пропасть, так лежит пропасть между вами и остальными людьми; и всего мучительнее для меня сравнивать вас с другими; ибо нет никого на свете равного вам, никого, кто был бы подобен вам. Теперь проститесь со мной, Эдмон, и расстанемся.

– Раньше чем мы расстанемся, скажите мне, что я могу для вас сделать, Мерседес? – спросил Монте-Кристо.

– Я хочу только одного, Эдмон; чтобы мой сын был счастлив.

– Молите бога, который один держит в своей руке жизнь людей, чтобы он отвел от него смерть; об остальном я позабочусь.

– Благодарю вас, Эдмон.

– А вы, Мерседес?

– Мне ничего не нужно, я живу меж двух могил; одна – это могила Эдмона Дантеса, уже давно умершего; я его любила! Моим поблекшим

губам не пристало произносить это слово, но мое сердце ничего не забыло, и ни за какие блага мира я бы не отдала эту память сердца. В другой могиле лежит человек, которого Эдмон Дантес убил; я оправдываю это убийство, но мой долг молиться за убитого.

– Ваш сын будет счастлив, – повторил граф.

– Тогда и я буду счастлива, насколько это для меня возможно.

– Но... все же... как вы будете жить?

Мерседес печально улыбнулась.

– Если я скажу, что буду жить здесь так, как прежняя Мерседес, трудом, вы этому не поверите; теперь я умею только молиться, но мне и нет необходимости работать; зарытый вами клад нашелся в том самом месте, которое вы указали; люди будут любопытствовать, кто я, что я здесь делаю, на какие средства я живу, но не все ли мне равно! Это касается только бога, вас и меня.

– Мерседес, – сказал граф, – я говорю это вам не в укор, но вы принесли слишком большую жертву, отказавшись от всего того состояния, которое приобрел граф де Морсер и половина которого принадлежит вам по праву.

– Я догадываюсь о том, что вы хотите мне предложить, но я не могу этого принять, Эдмон, мой сын мне не позволил бы.

– Поэтому я и не осмелюсь ничего сделать для вас, не заручившись одобрением Альбера. Я узнаю его желания и подчинюсь им. Но если он согласится на то, что я предлагаю сделать, вы не воспротивитесь?

– Вы должны знать, Эдмон, что я уже не в силах рассуждать; я не способна принимать решений, кроме единственного – никогда ничего не решать. Господь наслал на меня бури, которые сломили мою волю. Я бессильна в его руках, как воробей в когтях орла. Раз я еще живу – значит, такова его воля.

– Берегитесь, сударыня, – сказал Монте-Кристо, – не так поклоняются богу! Бог требует, чтобы его понимали и разумно принимали его могущество; вот почему он и дал нам свободную волю.

– Нет! – воскликнула Мерседес. – Не говорите так! Если бы я думала, что бог дал мне свободную волю, что спасло бы меня от отчаяния?

Монте-Кристо слегка побледнел и опустил голову, подавленный страстной силой этого горя.

– Вы не хотите сказать мне: до свидания? – произнес он, протягивая ей руку.

– Напротив, я говорю вам: до свидания, – возразила Мерседес, торжественно указывая ему на небо, – вы видите, во мне еще живет надежда.

И, пожав дрожащей рукой руку графа, Мерседес бросилась на лестницу и скрылась.

Тогда Монте-Кристо медленно вышел из дома и снова направился к гавани.

Но Мерседес не видела, как он удалялся, хоть и стояла у окна мансарды, где жил старик Дантес. Глаза ее искали вдали корабль, уносивший ее сына в открытое море.

Правда, губы ее невольно чуть слышно шептали:

– Эдмон! Эдмон!

# XVI. Прошлое

Граф с щемящей тоской в сердце вышел из этого дома, где он оставил Мерседес, которую, быть может, видел в последний раз.

После смерти маленького Эдуарда в Монте-Кристо произошла глубокая перемена. Он шел долгим, извилистым путем мщения, и, когда достиг вершины, бездна сомнения внезапно разверзлась перед ним.

Более того, разговор с Мерседес пробудил в его душе такие воспоминания, которые он жаждал побороть.

Монте-Кристо был не из тех людей, которые подолгу предаются меланхолии: это пища для заурядного ума, черпающего в ней мнимую оригинальность, но она пагубна для сильных натур. Граф сказал себе, что если он сомневается и чуть ли не порицает себя, значит, в его расчеты вкралась какая-то ошибка.

«Я неверно сужу о прошлом, – говорил он себе, – я не мог так грубо ошибиться. Неужели я поставил себе безумную цель? Неужели я десять лет шел по ложному пути? Неужели зодчему довольно было одного часа, чтобы убедиться в том, что создание рук его, в которое он вложил все свои надежды, если и не невозможно, то по меньшей мере кощунственно?

Я не могу допустить этой мысли, она сведет меня с ума.

Прошлое представляется мне в ложном свете, потому что я смотрю на него слишком издалека. Когда идешь вперед, прошлое, подобно пейзажу, исчезает по мере того, как проходишь мимо. Я словно поранил себя во сне; я вижу кровь, я чувствую боль, но не помню, как получил эту рану.

Ты, возрожденный к жизни, богатый сумасброд, грезящий наяву, всемогущий провидец, всесильный миллионер, возвратись на мгновение к мрачному зрелищу жалкой и голодной жизни, пройди снова тот путь, на который тебя обрекла судьба, куда тебя привело злосчастье, где тебя ждало отчаяние; слишком много алмазов, золота и наслаждения сверкает на поверхности того зеркала, в которое Монте-Кристо смотрит

на Дантеса; спрячь эти алмазы, запятнай это золото, сотри эти лучи; богач, вспомни бедняка; свободный, вспомни узника; воскресший, вспомни мертвеца».

Погруженный в такие думы, Монте-Кристо шел по улице Кессари. Это была та самая улица, по которой двадцать четыре года назад его везла безмолвная стража, эти дома, теперь веселые и оживленные, были в ту ночь темны и молчаливы.

– Это те же дома, – шептал Монте-Кристо, – но только тогда была ночь, а сейчас светлый день; солнце все освещает и всему придает радостный вид.

Он спустился по улице Сен-Лоран на набережную и подошел к Управлению порта; здесь его тогда посадили в баркас.

Мимо шла лодка под холщовым тентом; Монте-Кристо окликнул лодочника, и тот поспешил к нему, предвидя щедрое вознаграждение.

Погода была чудесная, прогулка восхитительная. Солнце, алое, пылающее, спускалось к горизонту, воспламеняя волны; по морю, гладкому, как зеркало, иногда пробегала рябь – это рыба, преследуемая невидимым врагом, выскакивала из воды, ища спасения в чуждой стихии; вдали скользили белые и легкие, как чайки, рыбачьи лодки, направляющиеся в Мартиг, и торговые суда, везущие груз на Корсику или в Испанию.

Но граф не замечал ни безоблачного неба, ни скользящих лодок, ни все заливающего золотого света. Завернувшись в плащ, он вспоминал одну за другой все вехи своего страшного пути: одинокий огонек, светившийся в Каталанах, грозный силуэт замка Иф, указавший ему, куда его везут, борьбу с жандармами, когда он хотел броситься в море, свое отчаяние, когда он почувствовал себя побежденным, и холод ружейного дула, приставленного к виску.

И мало-помалу, подобно высохшим за лето ручьям, которые, когда надвигаются осенние тучи, понемногу наполняются влагой и начинают оживать капля за каплей, граф Монте-Кристо ощутил, как в груди его, капля за каплей, начинает сочиться желчь, некогда заливавшая сердце Эдмона Дантеса.

Для него с этой минуты не было больше ни ясного неба, ни легких лодок, ни золотого сияния; небо заволоклось траурными тучами, а когда перед ним вырос черный гигант, носящий имя замка Иф, он вздрогнул, словно увидел призрак смертельного врага.

Они были у цели. Граф невольно отодвинулся на самый конец лодки, хотя лодочник самым приветливым голосом повторил ему:

– Приехали, сударь.

Монте-Кристо вспомнил, как на этом самом месте, по этой скалистой тропе волокла его стража и как его подгоняли острием штыка.

Некогда этот путь показался Дантесу бесконечным; Монте-Кристо нашел его очень коротким; каждый взмах весла вместе с брызгами воды рождал миллионы мыслей и воспоминаний.

Со времени Июльской революции замок Иф уже не был тюрьмой; он превратился в сторожевой пост, назначением которого было препятствовать провозу контрабанды; у ворот стоял привратник, поджидая посетителей, приезжающих осматривать этот памятник Ужаса, ставший теперь просто достопримечательностью.

Монте-Кристо знал это и все же, когда он вошел под эти своды, спустился по темной лестнице, когда его провели в подземелье, которое он пожелал осмотреть, мертвенная бледность покрыла его чело, и леденящий холод пронизал его сердце.

Граф спросил, не осталось ли здесь какого-нибудь старого тюремщика времен Реставрации; но все они ушли на пенсию или заняли другие должности.

Привратник, который водил его, был здесь только с 1830 года.

Его провели в его собственную темницу.

Он снова увидел тусклый свет, проникавший сквозь узкую отдушину, увидел место, где стояла кровать, теперь уже унесенная, а за кроватью, хоть и заделанное, но выделявшееся своими более светлыми камнями отверстие, пробитое аббатом Фариа.

Монте-Кристо почувствовал, что у него подгибаются ноги; он пододвинул деревянный табурет и сел.

– Что рассказывают об узниках этого замка, если не считать Мирабо? – спросил граф. – Существуют ли какие-нибудь предания об этих мрачных подземельях, глядя на которые даже не веришь, что люди могли заточить сюда живого человека?

– Да, сударь, – отвечал привратник, – об этой самой камере мне рассказывал тюремщик Антуан.

Монте-Кристо вздрогнул. Этот Антуан был его тюремщиком. Он почти забыл его имя и черты его лица, но когда это имя было названо, он его увидел, как живого: бородатое лицо, темную куртку и связку ключей, звяканье которых он, казалось, еще слышал.

Граф обернулся, и ему почудилось, что Антуан стоит в глубине коридора, казавшегося еще более мрачным при свете факела, который держал привратник.

– Если угодно, я расскажу, – предложил привратник.

– Да, расскажите, – отвечал Монте-Кристо.

И он прижал руку к сердцу, чтобы унять его неистовый стук, со страхом готовясь выслушать повесть о самом себе.

– Расскажите, – повторил он.

– В этой самой камере, – начал привратник, – тому уже много лет, жил один арестант, человек очень опасный, говорят, а главное – очень отчаянный. В те же годы здесь находился еще один заключенный, священник, но тот был смирный; он, бедняга, помешался.

– Помешался? – повторил Монте-Кристо. – А на чем?

– Он всем предлагал миллионы, если его выпустят.

Монте-Кристо поднял глаза к небу, но не увидел его: между ним и небесным сводом была каменная преграда. Он подумал о том, что между глазами тех, кому аббат Фариа предлагал сокровища, и этими сокровищами преграда была не меньшая.

– Могли заключенные видеться друг с другом? – спросил Монте-Кристо.

– Нет, сударь, это было строжайше запрещено; но они обошли это запрещение и пробили ход из одной камеры в другую.

– А кто из них пробил ход?

– Молодой, понятно, – сказал привратник, – он был ловкий и сильный, а бедный аббат был уже стар, да и мысли у него путались.

– Слепцы!.. – прошептал Монте-Кристо.

– Словом, – продолжал привратник, – молодой пробил ход; чем? – бог знает, но пробил. Вот поглядите, следы и сейчас еще видны. – И он приблизил к стене факел.

– Да, вижу, – сказал граф глухим от волнения голосом.

– Потом они начали ходить друг к другу. Сколько времени это продолжалось? Никому не известно. Потом старик заболел и умер. Как вы думаете, что сделал молодой?

– Расскажите.

– Он перенес покойника к себе, положил его на свою кровать, лицом к стене, вернулся в пустую камеру, заделал отверстие и залез в мешок мертвеца. Что вы на это скажете?

Монте-Кристо закрыл глаза и снова почувствовал на своем лице прикосновение грубого холста, еще пропитанного смертным холодом.

– Он, видите ли, думал, – продолжал привратник, – что в замке Иф мертвецов хоронят и, понятное дело, не тратятся на гробы; и он рассчитывал вылезти из-под земли, но, на его беду, в замке был другой обычай: мертвых не хоронили, а просто привязывали к ногам ядро и кидали в море; так было и на этот раз. Нашего молодца бросили в море; на другой день в постели нашли настоящего мертвеца, и все открылось; сторожа, которые бросили мешок в море, рассказали то, о чем не решались сказать раньше: когда мешок полетел вниз, они услышали ужасный крик, который тотчас же заглушила вода.

Граф тяжело дышал, сердце его мучительно сжималось.

– Нет! – прошептал он. – Нет! Я сомневался только потому, что начал забывать: но здесь раны моего сердца снова открылись, и я снова жажду мщения.

– А об этом узнике больше ничего не известно? – спросил он.

– Ничего, как есть ничего: понимаете, либо он упал плашмя с высоты пятидесяти футов и убился насмерть...

– Вы сказали, что ему привязали к ногам ядро, он должен был упасть стоймя.

– Либо он упал стоймя, – продолжал привратник, – и тогда ядро потащило его на дно, где он и остался, бедняга!

– Вам жаль его?

– Правду говоря, жаль, хоть он в море был, как дома.

– Почему?

– Да говорят, что этот несчастный парень был прежде моряком, которого посадили в тюрьму за бонапартизм.

– Истина, – прошептал граф, – по воле бога ты всплываешь над водами и над пламенем! Память о бедном моряке еще жива, о его горькой судьбе рассказывают у очага, и все вздрагивают, когда он рассекает воздух и погружается в морскую пучину.

– А его имя вы знаете? – вслух спросил граф.

– Откуда же? – спросил сторож. – Он значился просто под номером тридцать четыре.

– Вильфор! Вильфор! – пробормотал Монте-Кристо. – Вот что ты, должно быть, твердил себе, когда мой призрак тревожил твои бессонные ночи.

– Угодно вам продолжать осмотр, сударь? – спросил привратник.

– Да, покажите мне камеру сумасшедшего аббата.

– Номера двадцать седьмого?

– Да, номера двадцать семь, – повторил Монте-Кристо.

И ему показалось, что он снова слышит голос аббата Фариа, который, в ответ на просьбу назвать себя, через стену крикнул ему этот номер.

– Идемте.

– Подождите, – сказал Монте-Кристо, – мне хочется получше осмотреть эту темницу.

– Это очень кстати, – сказал привратник, – я забыл взять ключ от той камеры.

– Сходите за ним.

– Я оставлю вам факел.

– Нет, возьмите его с собой.

– Но вы останетесь впотьмах.

– Я отлично вижу в темноте.

– Скажите! Совсем как он.

– Как кто?

– Номер тридцать четыре. Говорят, он так привык к темноте, что заметил бы булавку в самом темном углу своей камеры.

– Ему потребовалось десять лет, чтобы дойти до этого, – прошептал граф.

Проводник ушел, унося с собой факел.

Граф сказал правду: не прошло и нескольких секунд, как он стал все различать в темноте, словно при дневном свете. Тогда он осмотрелся, тогда он по-настоящему узнал свою темницу.

– Да, – сказал он, – вот камень, на котором я сидел. Вот след моих плеч на стене! Вот следы моей крови, они остались здесь с того дня, когда я хотел разбить себе голову об стену!.. Вот цифры... я помню их... я начертал их однажды, когда высчитывал годы моего отца, гадая, застану ли я его еще в живых, и годы Мерседес, гадая, будет ли она еще свободна... Когда я кончил этот подсчет, у меня мелькнула надежда... Я не предвидел ни голода, ни измены!

И горький смех вырвался у него из груди. Как во сне, перед ним мелькнули похороны отца... Мерседес, идущая к алтарю!

На другой стене ему бросилась в глаза надпись. Она все еще отчетливо белела на зеленоватой стене:

«Боже, – прочитал Монте-Кристо, – сохрани мне память».

– Да, да, – воскликнул он, – вот единственная молитва моих последних лет в этой темнице. Я уже не молил о свободе, я молил о памяти, я боялся сойти с ума и все забыть; боже, ты сохранил мне память, и я ничего не забыл. Благодарю тебя, господи!

В эту минуту на стенах заиграл свет факела; это спускался привратник.

Монте-Кристо пошел ему навстречу.

– Идите за мной, – сказал тот.

Подземным коридором они прошли к другой двери.

В камере аббата воспоминания снова нахлынули на Монте-Кристо.

Прежде всего ему бросился в глаза вычерченный на стене меридиан, при помощи которого аббат Фариа вычислял время; потом он заметил остатки кровати, на которой умер несчастный узник. Вместо ужаса, который он испытал в собственной темнице, здесь графа охватило нежное и теплое чувство, чувство бесконечной благодарности, и на его глаза навернулись слезы.

– Вот здесь жил сумасшедший аббат, – сказал его проводник, – вот оттуда приходил к нему сосед. – И он указал на пролом, который с этого конца остался незаделанным. – По цвету камней, – продолжал он, – один ученый узнал, что заключенные ходили друг к другу лет десять. Не очень-то весело они, бедные, провели эти десять лет!

Дантес вынул из кармана несколько золотых и протянул их тому человеку, который, совсем его не зная, дважды пожалел его.

Привратник взял деньги, но, при свете факела он увидел, что посетитель вместо нескольких мелких монет дал ему неожиданно большую сумму.

– Сударь, – сказал он, – вы ошиблись.

– В чем?

– Вы дали мне золото.

– Знаю.

– Знаете?

– Да.

– Вы даете мне эти золотые?

– Да.

– И я могу оставить их себе, по совести?

– И по чести, – сказал граф, цитируя Гамлета.

Привратник изумленно посмотрел на него.

– Сударь, – сказал он, боясь поверить своему счастью, – я не понимаю, чем я заслужил такую щедрость.

– Очень просто, мой друг, – сказал граф, – я сам был моряком, и ваш рассказ меня очень заинтересовал.

– Раз уж вы так щедры, сударь, – сказал проводник, – то я вам кое-что предложу.

– Что вы можете мне предложить? Раковины, плетеные корзиночки? Нет, благодарю.

– Нет, нет, сударь; это имеет отношение к моему рассказу.

– Неужели? – живо воскликнул граф. – Что же это?

– Дело было так, – сказал привратник. – Я подумал себе: в камере, где человек провел пятнадцать лет, всегда можно что-нибудь найти; и я начал выстукивать стены.

– Верно, – воскликнул Монте-Кристо, вспомнив тайники аббата.

– После долгих розысков, – продолжал привратник, – я заметил, что у изголовья кровати и под очагом камень звучит гулко.

– Да, – сказал Монте-Кристо.

– Я вынул камни и нашел...

– Веревочную лестницу, инструменты? – воскликнул граф.

– Откуда вы знаете? – удивленно спросил привратник.

– Я не знаю, я просто догадался, – сказал граф, – обычно в тайниках тюремных камер находят именно такие вещи.

– Да, сударь, – сказал проводник, – веревочную лестницу, инструменты.

– Они у вас? – воскликнул Монте-Кристо.

– Нет, сударь; все это я продал посетителям; но у меня еще осталось кое-что.

– Что же именно? – нетерпеливо спросил граф.

– Какая-то книга, написанная на полосках холста.

– Как! – воскликнул Монте-Кристо. – У тебя есть эта книга?

– Может быть, это и не книга, – сказал привратник, – но, во всяком случае, она у меня.

– Сбегай за ней, мой друг, – сказал граф, – и если это то, что я думаю, ты не пожалеешь.

– Бегу, сударь.

И привратник вышел.

Тогда Монте-Кристо опустился на колени перед остатками этой кровати, которую смерть обратила для него в алтарь.

– О мой второй отец, – сказал он, – ты, которому я обязан свободой, знаниями, богатством; ты, подобно высшему существу владевший тайной добра и зла; если в глубине могилы от нас останется нечто, что откликается на голос живущих на земле; если после преображения плоти нечто живое еще носится там, где мы много любили или много страдали, то заклинаю тебя, благородное сердце, высокий разум, проникновенная душа, во имя отеческой любви, которой ты меня подарил, во имя сыновней преданности, которую я питал к тебе, единым словом, знаком, откровением развей мои сомнения, ибо, если они не сменятся верой, они обратятся в раскаяние.

Граф склонил голову и сложил руки.

– Извольте, сударь, – раздался голос позади.

Монте-Кристо вздрогнул и обернулся.

Привратник протягивал ему полоски холста, на которых аббат Фариа запечатлел все сокровища своего знания. Это была рукопись его обширного труда о государственной власти в Италии.

Граф схватил ее, и его взгляд прежде всего упал на эпиграф: он прочел:

«Ты вырвешь у дракона зубы и растопчешь львов, – сказал господь».

– Вот ответ! – воскликнул он. – Благодарю тебя, отец, благодарю.

И, вынув из кармана бумажник, в котором лежало десять тысячефранковых билетов, он сказал:

– Возьми.

– Это мне?

– Да, но с условием, что ты не раскроешь его, пока я не уеду.

И, спрятав на груди вновь обретенную им реликвию, которая была для него дороже всех сокровищ мира, он выбежал из подземелья и прыгнул в лодку.

– В Марсель! – сказал он.

Лодка тронулась. Монте-Кристо устремил взгляд на угрюмый замок.

– Горе тем, – сказал он, – кто заточил меня в эту мрачную темницу, и тем, кто забыл, что я в ней заточен!

Плывя мимо Каталан, граф отвернулся; и, закрыв лицо плащом, он прошептал женское имя.

Победа была полная: граф поборол и второе сомнение. Имя, которое он произнес с нежностью, почти с любовью, было имя Гайде.

Сойдя на берег, Монте-Кристо направился к кладбищу, где его ждал Моррель.

Он тоже, десять лет тому назад, благоговейно искал на этом кладбище могилу, но искал ее напрасно. Он, возвращавшийся во Францию миллионером, не мог отыскать могилы своего отца, умершего от голода.

Правда, старик Моррель велел поставить на ней крест, но крест упал, и могильщик употребил его на дрова, как обычно поступают могильщики со всеми обломками, валяющимися на кладбищах.

Достойный арматор оказался счастливее; он скончался на руках у своих детей и был похоронен ими подле его жены, отошедшей в вечность за два года до него.

Две широкие мраморные плиты, на которых были вырезаны их имена, покоились рядом в тени четырех кипарисов, обнесенные железной решеткой.

Максимилиан стоял, прислонившись к дереву, устремив на могилы невидящий взгляд.

Казалось, он обезумел от горя.

– Максимилиан, – сказал ему граф, – смотреть надо не сюда, а туда! – И он указал на небо.

– Умершие всюду с нами, – сказал Моррель, – вы сами говорили мне это, когда увозили из Парижа.

– Максимилиан, – сказал граф, – по дороге вы сказали, что хотели бы провести несколько дней в Марселе; ваше желание не изменилось?

– У меня нет больше желаний, граф; но мне кажется, что мне легче будет ждать здесь, чем где бы то ни было.

– Тем лучше, Максимилиан, потому что я покидаю вас и увожу с собой ваше слово, не правда ли?

– Я могу забыть его, граф, – сказал Моррель.

– Нет, вы его не забудете, потому что вы прежде всего человек чести, Моррель, потому что вы клялись, потому что вы еще раз поклянетесь.

– Граф, сжальтесь надо мной! Я так несчастен!

– Я знал человека, который был еще несчастнее вас, Моррель.

– Это невозможно.

– Жалкое человеческое тщеславие, – сказал Монте-Кристо. – Каждый считает, что он несчастнее, чем другой несчастный, который плачет и стонет рядом с ним.

– Кто может быть несчастнее человека, который лишился единственного, что он любил и чего желал на свете?

– Слушайте, Моррель, – сказал Монте-Кристо, – и сосредоточьте на минуту свои мысли на том, что я вам скажу. Я знал человека, который жил так же, как и вы, построил все свои мечты о счастье на любви к одной женщине. Этот человек был молод, у него был старик отец, которого он любил, невеста, которую он обожал; должна была состояться свадьба. Но вдруг прихоть судьбы, из тех, что заставили бы усомниться в благости божьей, если бы бог впоследствии не открывал нам, что все в мире служит его единому промыслу, как вдруг эта прихоть судьбы отняла у него свободу, возлюбленную, будущее, которое он уже считал своим (так как он, несчастный слепец, видел только настоящее), и бросила его в темницу.

– Из темницы выходят через неделю, через месяц, через год, – заметил Моррель.

– Он пробыл в ней четырнадцать лет, Моррель, – сказал граф, кладя ему руку на плечо.

Моррель вздрогнул.

– Четырнадцать лет! – прошептал он.

– Четырнадцать лет, – повторил граф. – У него также за эти долгие годы бывали минуты отчаяния; он, так же как и вы, Моррель, считал себя несчастнейшим из людей и хотел убить себя.

– И что же? – спросил Моррель.

– И вот в последнюю минуту господь послал ему спасение в образе человека, ибо господь больше не являет чудес; быть может, сначала он и

не понимал бесконечной благости божьей (нужно время, чтобы глаза, затуманенные слезами, вновь стали зрячими); но он все-таки решил терпеть и ждать. Настал день, когда он чудом вышел из могилы, преображенный, богатый, могущественный, полубог; его первый порыв был пойти к отцу. Его отец умер.

– Мой отец тоже умер, – сказал Моррель.

– Да, но ваш отец умер на ваших руках, любимый, счастливый, почитаемый, богатый, дожив до глубокой старости; его отец умер нищим, отчаявшимся, сомневающимся в боге; и когда спустя десять лет после его смерти сын искал его могилу, самая могила исчезла, и никто не мог ему сказать: здесь покоится сердце, которое тебя так любило.

– Боже! – сказал Моррель.

– Этот сын был несчастнее вас, Моррель, он не знал даже, где искать могилу своего отца.

– Но у него оставалась женщина, которую он любил, – сказал Моррель.

– Вы ошибаетесь, Моррель; эта женщина...

– Умерла? – воскликнул Максимилиан.

– Хуже; она изменила ему; она вышла замуж за одного из гонителей своего жениха. Вы видите, Моррель, что этот человек был еще более несчастлив в своей любви, чем вы!

– И бог послал этому человеку утешение? – спросил Моррель.

– Он послал ему покой.

– И этот человек может еще познать счастье?

– Он надеется на это, Максимилиан.

Моррель молча поник головой.

– Я сдержу свое слово, – сказал он, протягивая руку Монте-Кристо, – но только помните...

– Пятого октября, Моррель, я жду вас на острое Монте-Кристо. Четвертого в Бастии вас будет ожидать яхта «Эврo»; вы назовете себя капитану, и он отвезет вас ко мне. Решено, Максимилиан?

– Решено, граф, я сдержу слово. Но помните, что пятого октября...

– Вы ребенок, Моррель, вы еще не понимаете, что такое обещание взрослого человека... я уже двадцать раз повторял вам, что в этот день, если вы все еще будете жаждать смерти, я помогу вам. Прощайте.

– Вы покидаете меня?

– Да, у меня есть дело в Италии; я оставляю вас одного наедине с вашим горем, наедине с этим ширококрылым орлом, которого бог посылает своим избранникам, чтобы он вознес их к его ногам; история Ганимеда, Максимилиан, не сказка, но аллегория.

– Когда вы уезжаете?

– Сейчас; меня уже ждет пароход, через час я буду далеко; вы меня проводите до гавани?

– Я весь в вашем распоряжении, граф.

– Обнимите меня.

Моррель проводил графа до гавани; уже дым, словно огромный султан, вырываясь из черной трубы, подымался к небесам. Пароход вскоре отчалил, и через час, как и сказал Монте-Кристо, тот же султан беловатого дыма, едва различимый, вился на восточном краю горизонта, где уже сгущался сумрак близкой ночи.

# XVII. Пеппино

В то самое время, как пароход графа исчезал за мысом Моржион, путешественник, ехавший на почтовых по дороге из Флоренции в Рим, только что оставил позади маленький городок Аквапенденте. Он ехал так быстро, как только можно было, не вызывая подозрений.

Он был в сюртуке или, вернее, в пальто, чрезвычайно от дороги потрепавшемся, но на котором красовалась еще совсем свежая ленточка Почетного легиона; такая же ленточка была продета и в петлицу его костюма. Не только по этому признаку, но и по тому, как он произносил слова, когда обращался к кучеру, этот человек, несомненно, был француз. Доказательством того, что он родился в стране универсального языка, служило еще и то, что по-итальянски он знал только принятые в музыке слова, которые, как «goddam» Фигаро, могут заменить собой все тонкости любого языка.

– Allegro! – говорил он кучеру при каждом подъеме.

– Moderato! – твердил он при каждом спуске.

А только одному богу известно, сколько подъемов и спусков на пути из Флоренции в Рим, если ехать через Аквапенденте!

Кстати сказать, эти два слова немало смешили тех, к кому он обращался.

Перед лицом Вечного города, то есть доехав до Сторты, откуда уже виден Рим, путешественник не испытал того чувства восторженного любопытства, что заставляет каждого чужестранца привстать в экипаже, чтобы увидеть знаменитый купол Святого Петра, который видишь прежде всего, подъезжая к Риму.

Нет, он только вынул из кармана бумажник, а из бумажника сложенный вчетверо листок, который он с почтительной осторожностью развернул и затем снова сложил, сказав всего-навсего:

– Отлично, она здесь.

Экипаж миновал ворота дель-Пополо, свернул налево и остановился у гостиницы «Лондон».

Маэстро Пастрини, наш старый знакомый, встретил путешественника на пороге, со шляпой в руке.

Путешественник вышел из экипажа, заказал хороший обед и спросил адрес банкирского дома Томсон и Френч, который немедленно был ему указан, так как это был один из самых известных банкирских домов Рима.

Он помещался на Банковской улице, недалеко от собора Святого Петра.

В Риме, как и всюду, прибытие почтовой кареты привлекает всеобщее внимание. Несколько юных потомков Мария и Гракхов, босоногие, с продранными локтями, но подбоченясь одной рукой и живописно закинув другую за голову, рассматривали путешественника, карету и лошадей; к этим уличным мальчишкам, юным гражданам Вечного города, присоединилось с полсотни зевак, верноподданных его святейшества, из тех, которые от нечего делать плюют с моста Святого Ангела в Тибр, любуясь на расходящиеся по воде круги, – когда в Тибре есть вода.

А так как римские уличные мальчишки и зеваки, более в этом отношении счастливые, чем парижские, понимают все языки и в особенности французский, то они слышали, как путешественник спросил себе номер, заказал обед и, наконец, осведомился об адресе банкирского дома Томсон и Френч.

Поэтому, когда приезжий вышел из гостиницы в сопровождении неизбежного чичероне, от кучки любопытных отделился человек и, не замеченный путешественником, а также, по-видимому, и его проводником, пошел за ним на некотором расстоянии, выслеживая его с такой ловкостью, которая сделала бы честь парижскому сыщику.

Француз так спешил посетить банкирский дом Томсон и Френч, что не захотел ждать, пока заложат лошадей, и экипаж должен был догнать его по дороге или ожидать у дверей банка.

По дороге экипаж его не нагнал.

Француз вошел в банк; проводник остался ждать в передней, где сразу же вступил в разговор с несколькими лицами без определенных занятий

или, вернее, занимающимися чем попало, которые в Риме всегда слоняются возле банков, церквей, развалин, музеев и театров.

Одновременно с французом вошел и тот человек, который отделился от кучки любопытных; француз позвонил у дверей конторы и прошел в первую комнату; его тень последовала за ним.

– Могу я видеть господ Томсона и Френча? – спросил приезжий.

По знаку конторщика, важно восседавшего в первой комнате, подошел служитель.

– Как прикажете доложить? – спросил он, собираясь показать чужестранцу дорогу.

– Барон Данглар, – отвечал путешественник.

– Пожалуйте.

Открылась дверь; служитель и барон исчезли за ней.

Человек, вошедший вслед за Дангларом, сел на скамейку для ожидающих.

Минут пять конторщик продолжал писать; все эти пять минут сидевший на скамейке человек хранил глубокое молчание и полную неподвижность.

Наконец конторщик перестал скрипеть пером; он поднял голову, внимательно посмотрел кругом и, удостоверившись, что они одни, сказал:

– А-а, это ты, Пеппино?

– Да! – лаконически ответил тот.

– Ты почуял, что этот толстяк чего-нибудь стоит?

– На этот раз нашей заслуги тут нет, нас предупредили.

– Так ты знаешь, зачем он сюда явился?

– Еще бы! Он явился за деньгами; остается узнать, какова сумма.

– Сейчас узнаешь, дружок.

– Отлично; только уж, пожалуйста, не врать, как прошлый раз!

– Ты это про что? Про англичанина, который на днях получил три тысячи скудо?

– Нет, при нем в самом деле оказались три тысячи скудо, мы их нашли. Я говорю о том русском князе.

– А что?

– А то! Ты сказал нам про тридцать тысяч ливров, а мы нашли только двадцать две.

– Видно, плохо искали.

– Его обыскивал сам Луиджи Вампа.

– Значит, он либо заплатил долги…

– Русский?

– …либо истратил эти деньги.

– Ну, не может быть.

– Не может быть, а наверное; но дай я схожу на мой наблюдательный пункт, а то француз покончит дело, и я не узнаю точную сумму.

Пеппино кивнул головой и, вынув из кармана четки, принялся бормотать молитвы, а конторщик прошел в ту же дверь, за которой исчезли служитель и барон.

Не прошло и десяти минут, а конторщик вернулся сияющий.

– Ну что? – спросил его Пеппино.

– Alerte! alerte![65] – сказал конторщик. – Сумма-то кругленькая!

– Миллионов пять, шесть?

– Да; так ты знал?

– По расписке его сиятельства графа Монте-Кристо?

– Ты разве знаешь графа?

– И с кредитом на Рим, Венецию и Вену?

– Верно! – воскликнул конторщик. – Откуда ты все это знаешь?

– Я ведь сказал тебе, что нас заранее предупредили.

– Зачем же ты спрашивал меня?

– Чтобы увериться, что это тот самый человек.

– Это он и есть… Пять миллионов. Недурно, Пеппино?

– Да.

– У нас с тобой никогда столько не будет!

– Как-никак, – философски заметил Пеппино, – кое-что перепадет и нам.

– Тише! Он идет.

Конторщик снова взялся за перо, а Пеппино за четки; и когда дверь отворилась, один писал, а другой молился.

Показались сияющий Данглар и банкир, который проводил его до дверей.

Вслед за Дангларом спустился по лестнице и Пеппино.

Как было условлено, у дверей банкирского дома Томсон и Френч ждала карета. Чичероне – личность весьма услужливая – распахнул дверцу.

Данглар вскочил в экипаж с легкостью двадцатилетнего юноши.

Чичероне захлопнул дверцу и сел на козлы рядом с кучером.

Пеппино поместился на запятках.

– Вашему сиятельству угодно осмотреть собор Святого Петра? – осведомился чичероне.

– Для чего? – спросил барон.

– Да чтобы посмотреть.

– Я приехал в Рим не для того, чтобы смотреть, – отвечал Данглар; затем прибавил про себя, со своей алчной улыбкой: «Я приехал получить».

И он ощупал свой бумажник, в который он только что положил аккредитив.

– В таком случае ваше сиятельство направляется?..

– В гостиницу.

– В отель Пастрини, – сказал кучеру чичероне.

И карета понеслась с быстротой собственного выезда.

Десять минут спустя барон уже был у себя в номере, а Пеппино уселся на скамью у входа в гостиницу, предварительно шепнув несколько слов одному из упомянутых нами потомков Мария и Гракхов; потомок стремглав понесся по дороге в Капитолий.

Данглар был утомлен, доволен и хотел спать. Он лег в постель, засунув бумажник под подушку, и уснул.

Пеппино спешить было некуда; он сыграл с носильщиками в «морра», проиграл три скудо и, чтобы утешиться, выпил бутыль орвиетского вина.

На другое утро Данглар проснулся поздно, хоть накануне и лег рано; уже шесть ночей он спал очень плохо, если даже ему и удавалось заснуть.

Он плотно позавтракал и, равнодушный, как он и сам сказал, к красотам Вечного города, потребовал, чтобы ему в полдень подали почтовых лошадей.

Но Данглар не принял в расчет придирчивости полицейских и лени станционного смотрителя.

Лошадей подали только в два часа пополудни, а чичероне доставил визированный паспорт только в три.

Все эти сборы привлекли к дверям маэстро Пастрини изрядное количество зевак.

Не было также недостатка и в потомках Мария и Гракхов.

Барон победоносно проследовал сквозь толпу зрителей, величавших его «сиятельством» в надежде получить на чай.

Ввиду того что Данглар, человек, как известно, весьма демократических взглядов, всегда до сих пор довольствовался титулом барона и никогда еще не слышал, чтобы его называли сиятельством, был этим очень польщен и роздал десяток серебряных монет всему этому сброду, готовому за второй десяток величать его «высочеством».

– По какой дороге мы поедем? – спросил по-итальянски кучер.

– На Анкону, – ответил барон.

Пастрини перевел и вопрос, и ответ, и лошади помчались галопом.

Данглар намеревался заехать в Венецию и взять там часть своих денег, затем проехать из Венеции в Вену и там получить остальное.

Он хотел обосноваться в этом городе, который ему хвалили как город веселья.

Не успел он проехать и трех лье по римской равнине, как начало смеркаться; Данглар не предполагал, что он выедет в такой поздний час, иначе бы он остался; он осведомился у кучера, далеко ли до ближайшего города.

– Non capisco![66] – ответил кучер.

Данглар кивнул головой, что должно было означать: отлично!

И карета покатила дальше.

«На первой станции я остановлюсь», – сказал себе Данглар.

Данглара еще не покинуло вчерашнее хорошее расположение духа, к тому же он отлично выспался. Он развалился на мягких подушках превосходной, с двойными рессорами английской кареты; его мчала пара добрых коней; он знал, что до ближайшей станции семь лье. Чем занять свои мысли банкиру, который только что весьма удачно обанкротился?

Минут десять Данглар размышлял об оставшейся в Париже жене, еще минут десять о дочери, странствующей по свету в обществе мадемуазель д'Армильи; затем он посвятил десять минут своим кредиторам и планам, как лучше употребить их деньги; наконец, за отсутствием каких-либо других мыслей, закрыл глаза и уснул.

Впрочем, иногда, разбуженный особенно сильным толчком, Данглар на минуту открывал глаза; каждый раз он убеждался, что мчится все с той же быстротой по римской равнине, усеянной развалинами акведуков, которые кажутся гранитными великанами, окаменевшими на бегу. Но ночь была холодная, темная, дождливая, и было гораздо приятнее дремать в углу кареты, чем высовывать голову в окно и спрашивать, скоро ли они приедут, у кучера, который только и умел отвечать, что: «Non capisco!»

И Данглар снова засыпал, говоря себе, что он всегда успеет проснуться, когда доедет до почтовой станции.

Карета остановилась; Данглар решил, что он наконец достиг желанной цели.

Он открыл глаза и посмотрел в оконное стекло, предполагая, что приехал в какой-нибудь город или по меньшей мере деревню; но он увидел только одинокую хибарку и трех-четырех человек, бродивших около нее, как тени.

Данглар ожидал, что доставивший его на эту станцию кучер подойдет и спросит следуемую ему плату; он думал воспользоваться сменой кучеров, чтобы расспросить нового; но лошадей перепрягли, а за платой

никто не явился. Очень удивленный, Данглар открыл дверцу; но чья-то сильная рука тут же ее захлопнула, карета покатила дальше.

Ошеломленный, банкир окончательно проснулся.

– Эй! – крикнул он кучеру. – Эй! Mio caro![67]

Эти слова Данглар помнил с тех времен, когда его дочь распевала дуэты с князем Кавальканти.

Но mio caro ничего не ответил.

Тогда Данглар опустил окно.

– Эй, приятель! Куда это мы едем? – сказал он, высовываясь.

– Dentro la testa! – крикнул строгий и властный голос.

Данглар понял, что Dentro la testa означает: убери голову. Как мы видим, он делал быстрые успехи в итальянском языке.

Он повиновался, хоть и не без некоторого беспокойства; это беспокойство возрастало с минуты на минуту, и в скором времени в его мозгу вместо той пустоты, которую мы отметили в начале его путешествия и следствием которой явилась его дремота, зашевелилось множество мыслей, как нельзя более способных обострить внимание путника, а тем более путника в положении Данглара.

В окружающем мраке глаза его приобрели ту зоркость, которая обычно сопровождает первые минуты сильных душевных волнений и которая от напряжения впоследствии притупляется. Раньше чем испугаться, человек видит ясно; от испуга у него в глазах двоится, а после испуга мутится.

Данглар увидел, что у правой дверцы скачет человек, закутанный в плащ.

«Должно быть, жандарм, – сказал он себе. – Неужели французская полиция сообщила обо мне по телеграфу папским властям?»

Он решил положить конец неизвестности.

– Куда вы меня везете? – спросил он.

– Dentro la testa! – угрожающе повторил тот же голос.

Данглар обернулся к левому окну.

И у левого окна скакал верховой.

– Я попался, – вздрогнув, пробормотал Данглар.

И он откинулся в глубь кареты, но уже не для того, чтобы вздремнуть, а чтобы собраться с мыслями.

Немного погодя взошла луна.

Из глубины кареты Данглар бросил взгляд на равнину и снова увидел те огромные акведуки, каменные призраки, которые он уже заметил раньше; но только теперь они были уже не с правой стороны, а с левой.

Он понял, что карета повернула и что его везут обратно в Рим.

– Я погиб! – прошептал он. – Они добились моей выдачи.

Карета продолжала нестись с ужасающей скоростью. Прошел томительный час, каждый новый призрак на его пути с несомненностью подтверждал беглецу, что его везут обратно. Наконец он увидел какую-то темную громаду, и ему показалось, что карета налетит на нее. Но лошади повернули и поехали вдоль этой темной громады; то была стена укреплений, опоясывающих Рим.

– Что такое? – пробормотал Данглар. – Мы не въезжаем в город; значит, это не полиция арестовала меня. Боже милостивый! Неужели...

Волосы зашевелились у него на голове.

Он вспомнил рассказы о римских разбойниках, которым не верили в Париже; вспомнил, как Альбер де Морсер развлекал ими г-жу Данглар и Эжени в те времена, когда он должен был стать зятем одной из них и мужем другой.

– Неужели грабители! – пробормотал он.

Вдруг колеса застучали по чему-то более твердому, чем песчаная дорога. Данглар собрался с духом и выглянул; его память, полная подробностей, которые описывал Альбер, подсказала ему, что он находится на Аппиевой дороге.

Налево, в низине, виднелась круглая выемка.

Это был цирк Каракаллы.

По приказанию человека, скакавшего справа, карета остановилась.

В то же время с левой стороны открылась дверца.

– Scendi![68] – приказал чей-то голос.

Данглар немедленно вышел из экипажа; он еще не мог говорить по-итальянски, но уже понимал все.

Барон, ни жив ни мертв, оглянулся по сторонам.

Его окружали четыре человека, не считая кучера.

– Die qua,[69] – сказал один из этих четырех, спускаясь по тропинке, которая вела в сторону от Аппиевой дороги среди неровных бугров римской равнины.

Данглар беспрекословно последовал за своим вожатым и, даже не оборачиваясь, чувствовал, что остальные трое идут за ним по пятам.

Однако ему показалось, что эти люди, подобно занимающим посты часовым, останавливаются, один за другим, через равные промежутки.

Пройдя таким образом минут десять, в продолжение которых он не обменялся ни единым словом со своим вожатым, Данглар очутился между небольшим холмиком и зарослью высокой травы; три безмолвно стоящих человека образовали треугольник, в центре которого находился он сам.

Он хотел заговорить, но язык не слушался его.

– Avanti![70] – сказал тот же резкий и повелительный голос.

На этот раз Данглар понял превосходно; ибо слово было подкреплено делом; шедший сзади него человек так сильно его толкнул, что он налетел на провожатого.

Этим провожатым был наш друг Пеппино, который двинулся сквозь высокую траву по такой извилистой тропинке, что только куницы да ящерицы могли бы счесть ее проторенной дорогой.

Пеппино остановился перед невысокой скалой, поросшей густым кустарником; в расщелину этой скалы он скользнул в точности так же, как в феериях проваливаются в люки чертенята.

Голос и жест человека, шедшего по пятам Данглара, вынудили банкира последовать этому примеру. Сомнений больше не было: парижский банкрот попал в руки римских разбойников.

Данглар повиновался, как человек, не имеющий выбора и от страха ставший отважным. Невзирая на свое брюшко, плохо приспособленное для того, чтобы пролезать в расщелины скал, он протиснулся вслед за Пеппино, зажмурив глаза, съехал на спине вниз и стал на ноги.

Коснувшись земли, открыл глаза.

Ход был широкий, но совершенно темный. Пеппино, уже не скрывавшийся теперь, когда он был у себя дома, высек огонь и зажег факел.

Вслед за Данглaром спустились еще два человека, образовав арьергард, и, подталкивая его, если ему случалось остановиться, привели его по отлогому ходу к мрачному перекрестку.

Белые стены, с высеченными в них ярусами гробниц, словно глядели черными, бездонными провалами глаз, подобных глазницам черепа.

Стоявший здесь часовой взял карабин наперевес.

– Кто идет? – спросил он.

– Свой, свой! – сказал Пеппино. – Где атаман?

– Там, – ответил часовой, показывая через плечо на высеченную в скале залу, свет из которой проникал в коридор сквозь широкие сводчатые отверстия.

– Славная добыча, атаман, – сказал по-итальянски Пеппино.

И, схватив Данглара за шиворот, он подвел его к отверстию вроде двери, через которое проходили в залу, служившую, очевидно, жилищем атамана.

– Это тот самый человек? – спросил атаман, погруженный в чтение жизнеописания Александра, составленного Плутархом.

– Тот самый, атаман.

– Отлично; покажи мне его.

Исполняя это невежливое приказание, Пеппино так стремительно поднес факел к лицу Данглара, что тот отшатнулся, опасаясь, как бы огонь не опалил ему брови.

Отвратительный страх искажал черты этого смертельно бледного лица.

– Он устал, – сказал атаман, – укажите ему постель.

– Эта постель, наверное, просто гроб, высеченный в скале, – прошептал Данглар, – сон, который ждет меня, – это смерть от одного из кинжалов, что блестят там в темноте.

В самом деле, в глубине огромной залы приподнимались со своих подстилок из сухих трав и волчьих шкур товарищи человека, которого

Альбер де Морсер застал за чтением «Записок Цезаря», а Данглар – за жизнеописанием Александра.

Банкир глухо застонал и последовал за своим проводником; он не пытался ни кричать, ни молить о пощаде. У него больше не было ни сил, ни воли, ни желаний, ни чувств; он шел потому, что его заставляли идти.

Он споткнулся о ступеньку, понял, что перед ним лестница, инстинктивно нагнулся, чтобы не удариться лбом, и очутился в какой-то келье, высеченной прямо в скале.

Келья была чистая и притом сухая, хоть она и находилась глубоко под землей.

В одном углу была постлана постель из сухих трав, покрытых козьими шкурами.

Данглар, увидев это ложе, почел его за лучезарный символ спасения.

– Слава тебе, господи! – прошептал он. – Это в самом деле постель.

Второй раз в течение часа он призывал имя божие, чего с ним не случалось уже лет десять.

– Ессо,[71] – сказал проводник.

И, втолкнув Данглара в келью, он закрыл за ним дверь.

Заскрипел засов; Данглар был в плену.

Впрочем, и не будь засова, надо было быть святым Петром и иметь провожатым ангела господня, чтобы проскользнуть мимо гарнизона, занимавшего катакомбы Сан-Себастьяно и расположившегося вокруг своего предводителя, в котором читатели, несомненно, уже узнали знаменитого Луиджи Вампа.

Данглар также узнал этого разбойника, в существование которого он отказывался верить, когда Альбер пытался познакомить с ним парижан. Он узнал не только его, но также и келью, в которой был заключен Морсер и которая, по всей вероятности, предназначалась для иностранных гостей.

Эти воспоминания вернули Данглару спокойствие. Если разбойники не убили его сразу, значит, они вообще не намерены его убивать.

Его захватили, чтобы ограбить, а так как при нем всего несколько золотых, то за него потребуют выкуп.

Он вспомнил, что Морсера оценили приблизительно в четыре тысячи экю; а поскольку он считал, что обладает гораздо более внушительной внешностью, чем Морсер, то мысленно решил, что за него потребуют выкуп в восемь тысяч экю.

Восемь тысяч экю составляют сорок восемь тысяч ливров.

А у него около пяти миллионов пятидесяти тысяч франков. С такими деньгами можно выпутаться из любого положения.

Итак, почти не сомневаясь, что он выпутается, ибо еще не было примера, чтобы за человека требовали выкуп в пять миллионов пятьдесят тысяч франков, Данглар растянулся на своей постели и, поворочавшись с боку на бок, заснул со спокойствием героя, чье жизнеописание изучал Луиджи Вампа.

# XVIII. Прейскурант Луиджи Вампа

После всякого сна, за исключением того, которого страшился Данглар, наступает пробуждение.

Данглар проснулся.

Парижанину, привыкшему к шелковым занавесям и стенам, обитым мягкими тканями, и смолистому запаху дров, потрескивающих в камине, к ароматам, исходящим от атласного полога, пробуждение в меловой пещере должно казаться дурным сном.

Коснувшись козьих шкур своего ложа, Данглар, вероятно, подумал, что попал во сне к самоедам или лапландцам.

Но в подобных обстоятельствах достаточно секунды, чтобы превратить сомнения в самую твердую уверенность.

«Да, да, – вспомнил он, – я в руках разбойников, о которых нам рассказывал Альбер де Морсер».

Прежде всего он глубоко вздохнул, чтобы убедиться, что он не ранен, он вычитал это в «Дон Кихоте», единственной книге, которую он кое-как прочел и из которой кое-что запомнил.

«Нет, – сказал он себе, – они меня не убили и даже не ранили; но, может быть, они меня ограбили?»

И он стал поспешно исследовать свои карманы. Они оказались в полной неприкосновенности; те сто луидоров, которые он оставил себе на дорогу из Рима в Венецию, лежали по-прежнему в кармане его панталон, а бумажник, в котором находился аккредитив на пять миллионов пятьдесят тысяч франков, все еще лежал в кармане его сюртука.

«Странные разбойники! – сказал он себе. – Они мне оставили кошелек и бумажник! Я правильно решил вчера, когда ложился спать; они потребуют за меня выкуп. Скажите пожалуйста, и часы на месте! Посмотрим, который час».

Часы Данглара, шедевр Брегета, которые он накануне, перед тем как пуститься в путь, тщательно завел, прозвонили половину шестого утра.

Иначе Данглар не мог бы определить время, так как в его келью дневной свет не проникал.

Потребовать от разбойников объяснений? Или лучше терпеливо ждать, пока они сами заговорят с ним? Последнее показалось ему более осторожным; Данглар решил ждать.

Он ждал до полудня.

В продолжение всего этого времени у его двери стоял часовой. В восемь часов утра часовой сменился.

Данглару захотелось взглянуть, кто его сторожит.

Он заметил, что лучи света – правда, не дневного, а от лампы – проникали сквозь щели между плохо пригнанными досками двери; он подошел к одной из этих щелей в ту самую минуту, когда разбойник угощался водкой из бурдюка, от которого исходил запах, показавшийся Данглару отвратительным.

– Тьфу! – проворчал он, отступив в глубь своей кельи.

В полдень любитель водки был сменен другим часовым. Данглар и тут полюбопытствовал взглянуть на своего нового сторожа; он опять придвинулся к щели.

На этот раз он увидел атлетически сложенного парня, настоящего Голиафа, с выпученными глазами, толстыми губами, приплюснутым носом; густые космы рыжих волос спадали ему на плечи, извиваясь, как змеи.

«Этот больше похож на людоеда, чем на человеческое существо, – подумал Данглар, – слава богу, я слишком стар и жестковат; дряблый, невкусный толстяк».

Как видите, Данглар еще был способен шутить.

В эту самую минуту, как бы для того, чтобы доказать, что он отнюдь не людоед, страж уселся против двери, вытащил из своей котомки ломоть черного хлеба, несколько луковиц и кусок сыру и начал жадно поглощать все это.

– Черт знает что, – сказал Данглар, наблюдая сквозь щели за обедом разбойника. – Не понимаю, как можно есть такую гадость.

И он уселся на козьи шкуры, запахом своим напоминавшие ему водку, которую пил первый часовой.

Но как ни крепился Данглар, а тайны естества непостижимы; иной раз голодному желудку самая неприхотливая снедь кажется весьма соблазнительной.

Данглар внезапно ощутил, что его желудок пуст; страж показался ему не таким уж уродливым, хлеб не таким уж черным, а сыр менее высохшим.

К тому же сырые луковицы, отвратительная пища дикаря, напомнили ему соусы робер и подливки, которые в совершенстве стряпал его повар, когда Данглару случалось сказать ему: «Денизо, приготовьте мне сегодня что-нибудь остренькое».

Он встал и постучал в дверь.

Часовой поднял голову.

Данглар снова постучал.

– Che cosa?[72] – спросил разбойник.

– Послушайте, приятель, – сказал Данглар, барабаня пальцами по двери, – по-моему, пора бы позаботиться и обо мне!

Но либо великан не понял его, либо ему не было дано соответствующих распоряжений, только он снова принялся за свой обед.

Данглар почувствовал себя уязвленным и, не желая больше иметь дело с таким неучем, снова улегся на козьи шкуры и не проронил больше ни слова.

Прошло еще четыре часа; великана сменил другой разбойник. Данглар, которого уже давно мучил голод, тихонько встал, снова приник к дверной щели и узнал смышленую физиономию своего провожатого.

Это был Пеппино, который, по-видимому, решил провести свое дежурство поуютнее: он уселся напротив двери и поставил у ног глиняный горшок, полный горячего душистого турецкого гороха, поджаренного на сале.

Рядом с горшком Пеппино поставил корзиночку с веллетрийским виноградом и бутылку орвиетского вина.

Положительно, Пеппино был гурман.

При виде этих аппетитных приготовлений у Данглара потекли слюнки.

«Посмотрим, – сказал себе пленник, – может быть, этот окажется сговорчивее».

И он легонько постучал в дверь.

– Иду, иду, – сказал разбойник по-французски, ибо, бывая в гостинице Пастрини, он научился этому языку.

Он подошел и отпер дверь.

Данглар узнал в нем того человека, который так неистово кричал ему: «Убери голову!» Но теперь было не до упреков; наоборот, он скорчил самую любезную мину и сказал с самой вкрадчивой улыбкой:

– Простите, сударь, но разве мне не дадут пообедать?

– Как же, как же! – воскликнул Пеппино. – Неужели вы, ваше сиятельство, голодны?

– Это «неужели» бесподобно! – пробормотал Данглар. – Вот уже сутки, как я ничего не ел. Ну, разумеется, сударь, – прибавил он громко, – я голоден и даже очень.

– И ваше сиятельство желает покушать?

– Немедленно, если только возможно.

– Ничего нет легче, – сказал Пеппино, – здесь можно получить все, что угодно; конечно, за деньги, как это принято у всех добрых христиан.

– Само собой! – воскликнул Данглар. – Хотя, по правде говоря, если вы держите людей в заключении, вы должны были бы по меньшей мере кормить их.

– Нет, ваше сиятельство, – возразил Пеппино, – у нас это не принято.

– Это довод неосновательный, но не будем спорить, – отвечал Данглар, который надеялся любезным обращением умилостивить своего тюремщика. – Так велите подать мне обед.

– Сию минуту, ваше сиятельство; что вам угодно?

И Пеппино поставил свою миску наземь, так что шедший от нее пар ударил Данглару прямо в ноздри.

– Заказывайте, – сказал он.

– Разве у вас тут есть кухня? – спросил банкир.

– Как же? Конечно, есть. И великолепная!

– И повара?

– Превосходные!

– В таком случае цыпленка, или рыбу, или какую-нибудь дичь; все равно что, только дайте мне поесть.

– Все, что будет угодно вашему сиятельству; итак, скажем, цыпленка?

– Да, цыпленка.

Пеппино выпрямился и крикнул во все горло:

– Цыпленка для его сиятельства!

Голос Пеппино еще отдавался под сводами, как уже появился юноша, красивый, стройный и обнаженный до пояса, словно античный рыбоносец; он нес на голове серебряное блюдо с цыпленком, не придерживая его руками.

– Как в Кафе-де-Пари, – пробормотал Данглар.

– Извольте, ваше сиятельство, – сказал Пеппино, беря блюдо из рук молодого разбойника и ставя его на источенный червями стол, который вместе с табуреткой и ложем из козьих шкур составлял всю меблировку кельи.

Данглар потребовал вилку и нож.

– Извольте, ваше сиятельство, – сказал Пеппино, протягивая ему маленький ножик с тупым концом и деревянную вилку.

Данглар взял в одну руку нож, в другую вилку и приготовился резать птицу.

– Прошу прощения, ваше сиятельство, – сказал Пеппино, кладя руку на плечо банкиру, – здесь принято платить вперед; может быть, гость останется недоволен.

«Это уж совсем не как в Кафе-де-Пари, – подумал Данглар, – не говоря уже о том, что они, наверное, обдерут меня; но не будем скупиться. Я всегда слышал, что в Италии жизнь дешева; вероятно, цыпленок стоит в Риме каких-нибудь двенадцать су».

– Вот возьмите, – сказал он и швырнул Пеппино золотой.

Пеппино подобрал монету. Данглар занес нож над цыпленком.

– Одну минуту, ваше сиятельство, – сказал Пеппино, выпрямляясь, – ваше сиятельство еще не все мне уплатили.

– Я так и думал, что они меня обдерут как липку! – пробормотал Данглар.

Но он решил не противиться этому вымогательству.

– Сколько же я вам еще должен за эту тощую курятину? – спросил он.

– Ваше сиятельство дали мне в счет уплаты луидор.

– Луидор в счет уплаты за цыпленка?

– Разумеется, в счет уплаты.

– Хорошо... Ну, а дальше?

– Так что ваше сиятельство должны мне теперь только четыре тысячи девятьсот девяносто девять луидоров.

Данглар вытаращил глаза, услышав эту чудовищную шутку.

– Презабавно, – пробормотал он, – презабавно!

И он снова хотел приняться за цыпленка, но Пеппино левой рукой удержал его и протянул правую ладонью вверх.

– Платите, – сказал он.

– Что такое? Вы не шутите? – сказал Данглар.

– Мы никогда не шутим, ваше сиятельство, – возразил Пеппино, серьезный, как квакер.

– Как, сто тысяч франков за этого цыпленка!

– Вы не поверите, ваше сиятельство, как трудно выводить птицу в этих проклятых пещерах.

– Все это очень смешно, – сказал Данглар, – очень весело, согласен. Но я голоден, не мешайте мне есть. Вот еще луидор для вас, мой друг.

– В таком случае за вами теперь остается только четыре тысячи девятьсот девяносто восемь луидоров, – сказал Пеппино, сохраняя то же хладнокровие, – немного терпения, и мы рассчитаемся.

– Никогда, – сказал Данглар, возмущенный этим упорным издевательством. – Убирайтесь к черту, вы не знаете, с кем имеете дело!

Пеппино сделал знак, юноша проворно убрал цыпленка. Данглар бросился на свою постель из козьих шкур. Пеппино запер дверь и вновь принялся за свой горох с салом.

Данглар не мог видеть, что делает Пеппино, но разбойник так громко чавкал, что у пленника не оставалось сомнений в том, чем он занят.

Было ясно, что он ест, и притом ест шумно, как человек невоспитанный.

– Болван! – выругался Данглар.

Пеппино сделал вид, что не слышит; и, не повернув даже головы, продолжал есть с той же невозмутимой медлительностью.

Данглару казалось, что его желудок бездонен, как бочка Данаид; не верилось, что он когда-нибудь может наполниться.

Однако он терпел еще полчаса; но надо признать, что эти полчаса показались ему вечностью.

Наконец он встал и снова подошел к двери.

– Послушайте, сударь, – сказал он, – не томите меня дольше и скажите мне сразу, чего от меня хотят.

– Помилуйте, ваше сиятельство, это вы скажите, что вам от нас угодно? Прикажите, и мы исполним.

– В таком случае прежде откройте мне дверь.

Пеппино открыл дверь.

– Я хочу есть, черт возьми! – сказал Данглар.

– Вы голодны?

– Вы это и так знаете.

– Что угодно скушать вашему сиятельству?

– Кусок черствого хлеба, раз цыплята так непомерно дороги в этом проклятом погребе.

– Хлеба? Извольте! – сказал Пеппино. – Эй, хлеба! – крикнул он.

Юноша принес маленький хлебец.

– Пожалуйста! – сказал Пеппино.

– Сколько? – спросил Данглар.

– Четыре тысячи девятьсот девяносто восемь луидоров. Вы уже заплатили вперед два луидора.

– Как! За один хлебец сто тысяч франков?

– Сто тысяч франков, – ответил Пеппино.

– Но ведь сто тысяч франков стоит цыпленок!

– У нас нет прейскуранта, у нас на все одна цена. Мало вы съедите или много, закажете десять блюд или одно – цена не меняется.

– Вы опять шутите! Это нелепо, это просто глупо! Лучше скажите сразу, что вы хотите уморить меня голодом, и дело с концом.

– Да нет же, ваше сиятельство, это вы хотите уморить себя голодом. Заплатите и кушайте.

– Чем я заплачу, скотина? – воскликнул вне себя Данглар. – Ты, кажется, воображаешь, что я таскаю сто тысяч франков с собой в кармане?

– У вас в кармане пять миллионов пятьдесят тысяч франков, ваше сиятельство, – сказал Пеппино, – это составит пятьдесят цыплят по сто тысяч франков штука и полцыпленка за пятьдесят тысяч франков.

Данглар задрожал, повязка упала с его глаз; это, конечно, была шутка, но теперь он ее понял.

Надо, впрочем, сказать, что теперь он не находил ее такой уж плоской, как раньше.

– Послушайте, – сказал он, – если я вам дам эти сто тысяч франков, будем ли мы с вами в расчете? Смогу я спокойно поесть?

– Разумеется, – заявил Пеппино.

– Но как я вам их дам? – спросил Данглар, облегченно вздыхая.

– Ничего нет проще; у вас текущий счет в банкирском доме Томсон и Френч, на Банковской улице в Риме; дайте мне чек на их банк на четыре тысячи девятьсот девяносто восемь луидоров; ваш банкир его примет.

Данглар хотел по крайней мере сохранить видимость доброй воли; он взял перо и бумагу, которые ему подал Пеппино, написал записку и подписался.

– Вот вам чек на предъявителя, – сказал он.

– А вот вам цыпленок.

Данглар со вздохом разрезал птицу; она казалась ему очень постной по сравнению с такой жирной суммой.

Что касается Пеппино, то он внимательно прочитал бумажку, опустил ее в карман и снова принялся за турецкий горох.

# XIX. Прощение

На следующий день Данглар снова почувствовал голод; воздух в этой пещере как нельзя более возбуждал аппетит; пленник думал, что в этот день ему не придется тратиться: как человек бережливый, он припрятал половину цыпленка и кусок хлеба в углу своей кельи.

Но не успел он поесть, как ему захотелось пить; он совершенно не принял этого в расчет.

Он боролся с жаждой до тех пор, пока не почувствовал, как его иссохший язык прилипает к нёбу.

Тогда, не в силах больше противиться сжигавшему его огню, он позвал.

Часовой отпер дверь; лицо его было незнакомо узнику.

Данглар решил, что лучше иметь дело со старым знакомым. Он стал звать Пеппино.

– Я здесь, ваше сиятельство, – сказал разбойник, явившись с такой поспешностью, что Данглару это показалось хорошим предзнаменованием, – что вам угодно?

– Пить, – сказал пленник.

– Вашему сиятельству должно быть известно, – заявил Пеппино, – что вино в окрестностях Рима неимоверно дорого.

– В таком случае дайте мне воды, – отвечал Данглар, пытаясь отразить удар.

– Ах, ваше сиятельство, вода еще большая редкость, чем вино: сейчас такая ужасная засуха!

– Я вижу, все начинается сызнова! – сказал Данглар.

И он улыбался, делая вид, что шутит, хотя на висках его выступил пот.

– Послушайте, мой друг, – сказал он, видя, что Пеппино все так же невозмутим, – я прошу у вас стакан вина; неужели вы мне в нем откажете?

– Я уже вам говорил, ваше сиятельство, – серьезно отвечал Пеппино, – что мы не торгуем в розницу.

– В таком случае дайте мне бутылку.

– Какого?

– Подешевле.

– Цена на все вина одна.

– А какая?

– Двадцать пять тысяч франков бутылка.

– Скажите лучше, что вы хотите меня ограбить? – воскликнул Данглар с такой горечью в голосе, что только Гарпагон мог бы оценить ее по достоинству. – Это будет проще, чем сдирать с меня шкуру по частям.

– Возможно, что таково намерение начальника, – сказал Пеппино.

– Начальника? А кто он?

– Вас к нему водили позавчера.

– А где он?

– Здесь.

– Могу я повидать его?

– Ничего нет проще.

Не прошло и минуты, как перед Дангларом предстал Луиджи Вампа.

– Вы меня звали? – спросил он пленника.

– Это вы, сударь, начальник тех, кто доставил меня сюда?

– Да, ваша милость. А что?

– Какой выкуп вы за меня требуете?

– Да просто те пять миллионов, которые у вас с собой.

Данглар почувствовал, как ледяная рука стиснула его сердце.

– Это все, что у меня есть, сударь, это остаток огромного состояния; если вы отнимете их у меня, то отнимите и жизнь.

– Нам запрещено проливать вашу кровь.

– Кто вам запретил?

– Тот, кому мы повинуемся.

– Значит, вы кому-то повинуетесь?

– Да, начальнику.

– Мне казалось, что вы и есть начальник.

– Я начальник этих людей; но у меня тоже есть начальник.

– А этот начальник тоже кому-нибудь повинуется?

– Да.

– Кому же?

– Богу.

Он задумался.

– Не понимаю, – сказал Данглар.

– Возможно.

– Этот самый начальник и приказал вам так со мной обращаться?

– Да.

– С какой целью?

– Этого я не знаю.

– Но ведь когда-нибудь мой кошелек иссякнет?

– Вероятно.

– Послушайте, – сказал Данглар, – хотите миллион?

– Нет.

– Два миллиона?

– Нет.

– Три миллиона?.. Четыре?.. Ну, хотите четыре? Я вам их отдаю с условием, что вы меня выпустите.

– Почему вы предлагаете нам четыре миллиона за то, что стоит пять? – сказал Вампа. – Это ростовщичество, господин банкир, вот как я это понимаю.

– Берите все! Все, слышите! – воскликнул Данглар. – И убейте меня!

– Успокойтесь, ваша милость; не надо горячиться, а то у вас появится такой аппетит, что вы начнете проедать по миллиону в день; будьте бережливы, черт возьми!

– А когда у меня не хватит денег, чтобы платить вам? – воскликнул Данглар вне себя.

– Тогда вы будете голодать.

– Голодать? – сказал Данглар, бледнея.

– Вероятно, – флегматично ответил Вампа.

– Но ведь вы говорите, что не хотите убивать меня?

– Да.

– И дадите мне умереть с голоду?

– Это не одно и то же.

– Так нет же, негодяи, – воскликнул Данглар, – я обману ваши подлые расчеты! Если уж мне суждено умереть, то чем скорее, тем лучше, мучьте меня, пытайте меня, убейте, но моей подписи вы больше не получите!

– Как вашей милости будет угодно, – сказал Вампа.

И он вышел из кельи.

Данглар, рыча от бешенства, бросился на козьи шкуры. Кто были эти люди?

Кто был их невидимый начальник? Какие у них намерения? И почему все могут от них откупиться, а он один не может?

Да, конечно, смерть, быстрая, насильственная смерть – лучший способ обмануть расчеты его жестоких врагов, которые, видимо, наметили его жертвой какого-то непонятного мщения.

Но умереть!

Быть может, впервые за всю долгую жизнь Данглар думал о смерти, и призывая ее и в то же время страшась, настала минута взглянуть в лицо неумолимому призраку, который таится во всяком живом существе, говорящем себе при каждом биении сердца: «Ты умрешь!»

Данглар походил на дикого зверя, которого травля возбуждает, затем приводит в отчаяние и которому силою отчаяния иногда удается спастись.

Он подумал о побеге. Но окружавшие его стены были толще скалы, у единственного выхода из кельи сидел человек и читал, а за спиной этого человека двигались взад и вперед тени, вооруженные карабинами.

Его решимости хватило только на два дня, после чего он потребовал пищи и предложил за нее миллион.

Ему подали великолепный ужин и взяли предложенный миллион.

С этого времени жизнь несчастного пленника стала беспрерывным отступлением. Он так исстрадался, что не в силах был больше страдать, и исполнял все, чего от него требовали; прошло двенадцать дней, и вот, пообедав, не хуже, чем во времена своего преуспеяния, он подсчитал, сколько выдал чеков; оказалось, что у него остается всего лишь пятьдесят тысяч.

Тогда в нем произошла странная перемена: он, который отдал пять миллионов, решил спасти последние пятьдесят тысяч франков; он решил вести жизнь, полную лишений, лишь бы не отдавать этих пятидесяти тысяч; в мозгу его мелькали проблески надежды, близкие к безумию. Он, который уже так давно забыл бога, стал думать о нем; он говорил себе, что бог иногда творит чудеса; пещера может разрушиться, папские карабинеры могут открыть это проклятое убежище и явиться к нему на помощь; тогда у него еще останется пятьдесят тысяч франков, а пятидесяти тысяч франков достаточно для того, чтобы не умереть с голоду, и он со слезами молил бога оставить ему эти пятьдесят тысяч франков.

Он провел так три дня, и все три дня имя божье было непрерывно если не в сердце у него, то по крайней мере на устах; по временам у него бывали минуты бреда, ему казалось, что он видит через окно, как в бедной комнатке на жалкой постели лежит умирающий старик. Этот старик тоже умирал с голоду.

На четвертый день Данглар был уже не человек, но живой труп; он подобрал все до последней крошки от своих прежних обедов и начал грызть циновку, покрывавшую каменный пол.

Тогда он стал молить Пеппино, как молят ангела-хранителя, дать ему поесть; он предлагал ему тысячу франков за кусочек хлеба.

Пеппино молчал.

На пятый день Данглар подтащился к двери.

– Вы не христианин! – сказал он, поднимаясь на колени. – Вы хотите уморить человека, брата вашего перед богом!

«Где все мои друзья!» – пробормотал он.

И он упал ничком.

Потом поднялся и в исступлении крикнул:

– Начальника! Начальника!

– Я здесь! – внезапно появляясь, сказал Вампа. – Что вам угодно?

– Возьмите мое последнее золото, – пролепетал Данглар, протягивая свой бумажник, – и оставьте меня жить здесь, в этой пещере; я уже не прошу свободы, я только прошу оставить мне жизнь.

– Вы очень страдаете? – спросил Вампа.

– Да, я жестоко страдаю!

– А есть люди, которые страдали еще больше.

– Этого не может быть!

– Но это так! Те, кто умер с голоду.

Данглар вспомнил того старика, которого он во время своих галлюцинаций видел в убогой каморке, на жалкой постели.

Он со стоном припал лбом к каменному полу.

– Да, правда, были такие, которые еще больше страдали, чем я, но это были мученики.

– Вы раскаиваетесь? – спросил чей-то мрачный и торжественный голос, от которого волосы Данглара стали дыбом.

Своим ослабевшим зрением он пытался вглядеться в окружающее и увидел позади Луиджи человека в плаще, полускрытого тенью каменного столба.

– В чем я должен раскаяться? – едва внятно пробормотал Данглар.

– В содеянном зле, – сказал тот же голос.

– Да, я раскаиваюсь, раскаиваюсь! – воскликнул Данглар.

И он стал бить себя в грудь исхудавшей рукой.

– Тогда я вас прощаю, – сказал неизвестный, сбрасывая плащ и делая шаг вперед, чтобы встать на освещенное место.

– Граф Монте-Кристо! – в ужасе воскликнул Данглар, и лицо его, уже бледное от голода и страданий, побледнело еще больше.

– Вы ошибаетесь, я не граф Монте-Кристо.

– Кто же вы?

– Я тот, кого вы продали, предали, обесчестили; я тот, чью невесту вы развратили, тот, кого вы растоптали, чтобы подняться до богатства; я тот, чей отец умер с голоду по вашей вине. Я обрек вас на голодную смерть, и все же вас прощаю, ибо сам нуждаюсь в прощении, я – Эдмон Дантес!

Данглар вскрикнул и упал к его ногам.

– Встаньте, – сказал граф, – я дарую вам жизнь; ваши сообщники не были столь счастливы; один сошел с ума, другой мертв! Оставьте себе ваши пятьдесят тысяч франков, я их вам дарю; а пять миллионов,

которые вы украли у сирот, уже возвращены. А теперь ешьте и пейте, сегодня вы мой гость. Вампа, когда этот человек насытится, он свободен.

Данглар, пока граф не удалился, продолжал лежать ничком; когда он поднял голову, он увидел только исчезавшую в проходе смутную тень, перед которой склонились разбойники.

Вампа исполнил приказание графа, и Данглару были поданы лучшие плоды и лучшее вино Италии; затем его посадили в его почтовую карету, провезли по дороге и высадили у какого-то дерева.

Он просидел под ним до утра, не зная, где он.

Когда рассвело, он увидел поблизости ручей; ему хотелось пить, и он подполз к воде.

Наклонившись, чтобы напиться, он увидел, что волосы его поседели.

# XX. Пятое октября

Было около шести часов вечера; опаловый свет, пронизываемый золотыми лучами осеннего солнца, падал с неба на голубые волны моря.

Дневной жар понемногу спадал, и уже веял тот легкий ветерок, что кажется дыханием самой природы, просыпающейся после знойного полуденного сна; сладостное дуновение, которое освежает берега Средиземного моря и несет от побережья к побережью аромат деревьев, смешанный с терпким запахом моря.

По этому огромному озеру, простирающемуся от Гибралтара до Дарданелл и от Туниса до Венеции, скользила в первой вечерней дымке легкая, стройная яхта. Казалось, это скользит по воде распластавший крылья лебедь. Она неслась стремительная и грациозная, оставляя позади себя фосфоресцирующий след.

Последние лучи солнца угасли на горизонте; но, словно воскрешая ослепительные вымыслы античной мифологии, его нескромные отблески еще вспыхивали на гребнях волн, выдавая тайну Амфитриты; пламенный бог укрылся на ее груди, и она тщетно пыталась спрятать возлюбленного в лазурных складках своего плаща.

Яхта быстро неслась вперед, хотя казалось, ветер был так слаб, что не растрепал бы и локоны на девичьей головке.

На баке стоял человек высокого роста, с бронзовым цветом лица и смотрел неподвижным взглядом, как навстречу ему приближается земля, темным конусом выступавшая из волн, подобно исполинской каталонской шляпе.

– Это и есть Монте-Кристо? – задумчиво и печально спросил путешественник, по-видимому, распоряжавшийся маленькой яхтой.

– Да, ваша милость, – отвечал капитан, – мы у цели.

– Мы у цели! – прошептал путешественник с какой-то непередаваемой грустью. Затем он тихо прибавил: – Да, здесь моя пристань.

И он снова погрузился в думы; на губах его появилась улыбка печальнее слез.

Спустя несколько минут на берегу вспыхнул слабый, тотчас же погасший свет, и до яхты донесся звук выстрела.

– Ваша милость, – сказал капитан, – с берега нам подают сигнал; хотите сами на него ответить?

– Какой сигнал? – спросил тот.

Капитан показал рукой на остров: к вершине его поднимался одинокий белесый дымок, расходящийся в воздухе.

– Да, да! – сказал путешественник, как бы очнувшись от сна. – Хорошо.

Капитан подал ему заряженный карабин; путешественник взял его, медленно поднял и выстрелил.

Не прошло и десяти минут, как уже спустили паруса и бросили якорь в пятистах шагах от небольшой пристани. На волнах уже качалась шлюпка с четырьмя гребцами и рулевым; путешественник спустился в нее, но вместо того чтобы сесть на корме, покрытой для него голубым ковром, скрестил руки и остался стоять.

Гребцы ждали команды, приподняв весла, словно птицы, которые сушат свои крылья.

– Вперед! – сказал путешественник.

Четыре пары весел разом, без всплеска, опустились в воду; и шлюпка, уступая толчку, понеслась стрелой.

Через минуту они уже были в маленькой бухте, расположенной в расселине скал, и шлюпка врезалась в песчаное дно.

– Ваша милость, – сказал рулевой, – двое гребцов перенесут вас на берег.

Путешественник ответил на это предложение жестом полного безразличия, спустил ноги за борт и соскользнул в воду, которая дошла ему до пояса.

– Напрасно вы это, ваша милость, – пробормотал рулевой, – хозяин будет нас бранить.

Путешественник, не отвечая, пошел к берегу, следом за двумя матросами, выбиравшими наиболее удобный грунт.

Шагов через тридцать они добрались до суши; путешественник отряхнулся и стал озираться, стараясь угадать, в какую сторону его поведут, потому что уже совсем стемнело.

Едва он повернул голову, как на плечо ему легла чья-то рука и раздался голос, от звука которого он вздрогнул.

– Добро пожаловать, Максимилиан, – сказал этот голос, – вы точны, благодарю вас.

– Это вы, граф! – воскликнул Моррель и стремительно, почти радостно сжал обеими руками руку Монте-Кристо.

– Как видите, я так же точен, как вы; но вы промокли, дорогой мой; вам надо переодеться, как сказала бы Калипсо Телемаху. Идемте, здесь для вас приготовлено жилье, где вы забудете и усталость, и холод.

Монте-Кристо заметил, что Моррель обернулся; он немного подождал.

В самом деле, Моррель удивился, что привезшие его люди ничего с него не спросили и скрылись прежде, чем он успел им заплатить. Он услышал удары весел по воде: шлюпка возвращалась к яхте.

– Вы ищете своих матросов? – спросил граф.

– Да, они уехали, а ведь я не заплатил им.

– Не беспокойтесь об этом, Максимилиан, – сказал, смеясь, Монте-Кристо, – у меня с моряками договор, по которому доставка на мой остров товаров и путешественников происходит бесплатно. Я абонирован, как говорят в цивилизованных странах.

Моррель с удивлением посмотрел на графа.

– Вы здесь совсем другой, чем в Париже, – сказал он.

– Почему?

– Здесь вы смеетесь.

Чело Монте-Кристо сразу омрачилось.

– Вы правы, Максимилиан, я забылся, – сказал он, – встреча с вами – счастье для меня, и я забыл, что всякое счастье преходяще.

– Нет, нет, граф! – воскликнул Моррель, снова сжимая руки своего друга. – Напротив, смейтесь, будьте счастливы и докажите мне вашим

равнодушием, что жизнь тяжела только для тех, кто страдает. Вы милосердны, вы добры, вы великодушны, и вы притворяетесь веселым, чтобы вселить в меня мужество.

– Вы ошибаетесь, Моррель, – сказал Монте-Кристо, – я в самом деле чувствовал себя счастливым.

– Так вы забыли обо мне, тем лучше.

– Почему?

– Вы ведь знаете, мой друг, что я, как гладиатор, приветствующий в цирке великого императора, говорю вам: «Идущий на смерть приветствует тебя».

– Так вы не утешились? – спросил Монте-Кристо, бросая на него загадочный взгляд.

– Неужели вы могли подумать, что это возможно? – с горечью сказал Моррель.

– Поймите меня, Максимилиан, – сказал граф. – Вы не считаете меня пошляком, бросающим слова на ветер? Я имею право спрашивать, утешились ли вы, ибо для меня человеческое сердце не имеет тайн. Посмотрим же вместе, что скрыто в самой глубине вашего сердца. Терзает ли его по-прежнему нестерпимая боль, от которой содрогается тело, как содрогается лев, ужаленный москитом? Мучит ли по-прежнему та палящая жажда, которую может утолить только могила, то безутешное горе, которое выбрасывает человека из жизни и гонит его навстречу смерти? Быть может, в вашем сердце просто иссякло мужество, уныние погасило в нем последний луч надежды, и оно, утратив память, уже не в силах более плакать? Если так, если у вас больше нет слез, если вам кажется, что ваше сердце умерло, если у вас нет иной опоры, кроме бога, и ваш взгляд обращен только к небу, тогда, друг мой, вы утешились, вам не на что больше сетовать.

– Граф, – отвечал Моррель кротко и в то же время твердо, – выслушайте меня, как человека, который перстом указывает на землю, а глаза возводит к небу. Я пришел к вам, чтобы умереть в объятиях друга. Конечно, есть люди, которых я люблю: я люблю свою сестру, люблю ее мужа; но мне нужно, чтобы в последнюю минуту кто-то улыбнулся мне и

раскрыл сильные объятия. Жюли разразилась бы слезами и упала в обморок; я увидел бы ее страдания, а я довольно уже страдал; Эмманюель стал бы отнимать у меня пистолет и поднял бы крик на весь дом. Вы же, граф, дали мне слово, и так как вы больше, чем человек, и я считал бы вас божеством, если бы вы не были смертны, вы проводите меня тихо и ласково к вратам вечности.

– Друг мой, – сказал граф, – у меня остается еще одно сомнение: может быть, вы так малодушны, что рисуетесь своим горем?

– Нет, граф, взгляните на меня: все просто, и во мне нет малодушия, – сказал Моррель, протягивая графу руку, – мой пульс не бьется ни чаще, ни медленнее, чем всегда. Я дошел до конца пути; дальше я не пойду. Вы называете себя мудрецом – и вы говорили мне, что надо ждать и надеяться; а вы знаете, к чему это привело? Я ждал целый месяц – это значит, что я целый месяц страдал! Человек – жалкое и несчастное создание: я надеялся, сам не знаю на что, на что-то неизведанное, немыслимое, безрассудное! На чудо... но какое? Один бог это знает, бог, омрачивший наш разум безумием надежды. Да, я ждал; да, я надеялся; и за те четверть часа, что мы беседуем, вы, сами того не зная, истерзали мне сердце, потому что каждое ваше слово доказывало мне, что для меня нет больше надежды. Как ласково, как нежно убаюкает меня смерть!

Моррель произнес последние слова с такой страстной силой, что граф вздрогнул.

– Граф, – продолжал Моррель, видя, что Монте-Кристо не отвечает. – Пятого сентября вы потребовали от меня месячной отсрочки. Я согласился... Друг мой, сегодня пятое октября. – Моррель посмотрел на часы. – Сейчас девять часов; мне осталось жить еще три часа.

– Хорошо, – отвечал Монте-Кристо, – идем.

Моррель машинально последовал за графом и даже не заметил, как они вошли в пещеру.

Он почувствовал под ногами ковер; открылась дверь, воздух наполнился благоуханием, яркий свет ослепил глаза. Моррель

остановился в нерешительности: он боялся этой расслабляющей роскоши.

Монте-Кристо дружески подтолкнул его к столу.

– Почему нам не провести оставшиеся три часа, как древние римляне, – сказал он. – Приговоренные к смерти Нероном, своим повелителем и наследником, они возлежали за столом, увенчанные цветами, и вдыхали смерть вместе с благоуханием гелиотропов и роз.

Моррель улыбнулся.

– Как хотите, – сказал он, – смерть всегда смерть: забвение, покой, отсутствие жизни, а следовательно, и страданий.

Он сел за стол; Монте-Кристо сел напротив него.

Это была та самая сказочная столовая, которую мы уже однажды описали; мраморные статуи по-прежнему держали на головах корзины, полные цветов и плодов.

Войдя, Моррель рассеянно оглядел комнату и, вероятно, ничего не увидел.

– Я хочу задать вам вопрос, как мужчина мужчине, – сказал он, пристально глядя на графа.

– Спрашивайте.

– Граф, – продолжал Моррель, – вы владеете всем человеческим знанием, и мне кажется, что вы явились из другого, высшего и более мудрого мира, чем наш.

– В ваших словах, Моррель, есть доля правды, – сказал граф с печальной улыбкой, которая его так красила, – я сошел с планеты, имя которой – страдание.

– Я верю каждому вашему слову, даже не пытаясь проникнуть в его скрытый смысл, граф; вы сказали мне – живи, и я продолжал жить; вы сказали мне – надейся, и я почти надеялся. Теперь я спрашиваю вас, как если бы вы уже познали смерть: граф, это очень мучительно?

Монте-Кристо глядел на Морреля с отеческой нежностью.

– Да, – сказал он, – конечно, это очень мучительно, если вы грубо разрушаете смертную оболочку, которая упорно не хочет умирать. Если вы искромсаете свое тело неприметными для глаза зубьями кинжала,

если вы глупой пулей, всегда готовой сбиться с пути, продырявите свой мозг, столь чувствительный к малейшему прикосновению, то вы будете очень страдать и отвратительно расстанетесь с жизнью; в час предсмертных мук она вам покажется лучше, чем купленный такой ценой покой.

– Понимаете, – сказал Моррель, – смерть, как и жизнь, таит в себе и страдания, и наслаждения; надо лишь знать ее тайны.

– Вы глубоко правы, Максимилиан. Смотря по тому, приветливо или враждебно мы встречаем ее, смерть для нас либо друг, который нежно убаюкивает нас, либо недруг, который грубо вырывает нашу душу из тела. Пройдут тысячелетия, и наступит день, когда человек овладеет всеми разрушительными силами природы и заставит их служить на благо человечеству, когда людям станут известны, как вы сказали, тайны смерти; тогда смерть будет столь же сладостной и отрадной, как сон в объятиях возлюбленной.

– И если бы вы пожелали, граф, вы сумели бы так умереть?

– Да.

Моррель протянул ему руку.

– Теперь я понимаю, – сказал он, – почему вы назначили мне свидание здесь, на этом одиноком острове, посреди океана, в этом подземном дворце, в этом склепе, которому позавидовал бы фараон; потому что вы меня любите, граф, правда? Любите настолько, что хотите, чтобы я умер такой смертью, о какой вы сейчас говорили: смертью без мучений, смертью, которая позволила бы мне угаснуть, произнося имя Валентины и пожимая вам руку.

– Да, вы угадали, Моррель, – просто ответил граф, – этого я хочу.

– Благодарю вас; мысль, что завтра я уже не буду страдать, сладостна моему истерзанному сердцу.

– Вы ни о чем не жалеете? – спросил Монте-Кристо.

– Нет! – отвечал Моррель.

– Даже и обо мне? – спросил граф с глубоким волнением.

Моррель молчал; его ясный взгляд вдруг затуманился, потом загорелся непривычным блеском; крупная слеза покатилась по его щеке.

– Как! – сказал граф. – Вам еще жаль чего-то на земле и вы хотите умереть?

– Умоляю, ни слова больше, граф, – сказал Моррель упавшим голосом, – довольно вам мучить меня.

Граф подумал, что Моррель слабеет.

И в душе его вновь ожило ужасное сомнение, которое он уже однажды поборол в замке Иф.

«Я хочу вернуть этому человеку счастье, – сказал он себе, – я хочу бросить это счастье на чашу весов, чтобы она перетянула ту чашу, куда я нагромоздил зло. Что, если я ошибся, и этот человек не настолько несчастлив, чтобы заслужить счастье? Что станется тогда со мной? Ведь только вспоминая добро, я могу забыть о зле».

– Послушайте, Моррель, – сказал он, – ваше горе безмерно, я знаю; но вы веруете в бога и не захотите погубить свою душу.

Моррель печально улыбнулся.

– Граф, – возразил он, – я не любитель красивых слов, но, клянусь вам, моя душа больше мне не принадлежит.

– Вы знаете, Моррель, что я один на свете, – сказал Монте-Кристо. – Я привык смотреть на вас, как на сына: и чтобы спасти своего сына, я готов пожертвовать жизнью, а богатством и подавно.

– Что вы хотите сказать?

– Я хочу сказать, Моррель, что вы решили расстаться с жизнью, потому что вам незнакомы наслаждения, которые она сулит тому, кто очень богат. У меня около ста миллионов, я вам дарю их; с таким состоянием вы можете достигнуть всего, чего только пожелаете. Если вы честолюбивы, перед вами открыты все поприща. Переверните мир, измените его лицо, предавайтесь любым безумствам, совершайте преступления, но живите!

– Вы дали мне слово, граф, – холодно отвечал Моррель и взглянул на свои часы, – уже половина двенадцатого.

– Моррель! Подумайте! У меня на глазах, в моем доме!

– Тогда отпустите меня, – мрачно сказал Максимилиан, – не то я подумаю, что вы меня любите не ради меня, а ради себя. – И он

поднялся.

– Хорошо, – сказал Монте-Кристо, и лицо его просветлело, – я вижу, ваше решение непреклонно, да, вы глубоко несчастны, и, как вы сами сказали, исцелить вас могло бы только чудо; садитесь же, Моррель, и ждите.

Моррель повиновался; тогда Монте-Кристо встал, подошел к запертому шкафу, ключ от которого он носил при себе на золотой цепочке, и достал оттуда серебряный ларчик искусной чеканки, по углам которого были изваяны четыре стройные женские фигуры, изогнутые в горестном порыве, словно ангелы, тоскующие о небе.

Он поставил ларчик на стол.

Затем, открыв его, он вынул золотую коробочку, крышка которой откидывалась при нажиме на скрытую пружину.

Коробочка была наполнена тестообразным маслянистым веществом; отблеск золота и драгоценных камней, украшавших коробочку, мешал разглядеть его цвет.

Оно отливало лазурью, пурпуром и золотом.

Граф зачерпнул золоченой ложечкой немного этого вещества и протянул Моррелю, устремив на него испытующий взгляд.

Теперь стало видно, что вещество это зеленоватого цвета.

– Вот что вы просили у меня, – сказал он. – Вот что я вам обещал.

– Прежде чем умереть, – сказал Максимилиан, беря ложечку из рук Монте-Кристо, – я хочу поблагодарить вас от всего сердца.

Граф взял другую ложку и второй раз зачерпнул из золотой коробочки.

– Что вы делаете, друг? – спросил Моррель, хватая его за руку.

– Да простит меня бог, Моррель, – улыбаясь, ответил граф, – но, право, жизнь надоела мне не меньше, чем вам, и раз уж мне представляется такой случай...

– Остановитесь! – воскликнул Максимилиан. – Вы любите, вы любимы, вы не утратили надежды – не делайте этого! Это было бы преступлением! Прощайте, мой благородный, великодушный друг; я расскажу Валентине обо всем, что вы для меня сделали.

И медленно, но без колебаний, только сжимая левой рукой руку графа, Моррель с наслаждением проглотил таинственное вещество.

Оба замолчали. Али, безмолвный и внимательный, принес табак, кальяны, подал кофе и удалился.

Мало-помалу потускнели лампы в руках статуй, и Моррелю стало казаться, что аромат курений ослабевает.

Монте-Кристо, сидя напротив, смотрел на него из полумрака, и Моррель различал только его блестящие глаза.

Бесконечная слабость охватила Максимилиана; кальян выпал у него из рук; предметы теряли очертания и цвет; его затуманенному взору казалось, будто в стене напротив раскрываются какие-то двери и завесы.

– Друг, – сказал он, – я чувствую, что умираю; благодарю.

Он сделал усилие, чтобы в последний раз протянуть графу руку, но рука бессильно повисла.

Тогда ему почудилось, что Монте-Кристо улыбается, но не той странной, пугающей улыбкой, которая порой приоткрывала ему тайны этой бездонной души, а с тем ласковым сочувствием, с каким отцы смотрят на безрассудства своих детей.

В то же время граф словно вырос; он казался почти великаном на фоне красной обивки стен; его черные волосы были откинуты назад, и он стоял, гордый и грозный, подобно ангелу, который встретит грешников в день Страшного суда.

Моррель, ослабевший, сраженный, откинулся в кресле; сладостная истома разлилась по его жилам. Все преобразилось в его сознании, как меняются пестрые узоры в калейдоскопе.

Полулежа, обессиленный, задыхающийся, Моррель уже не чувствовал в себе ничего живого, кроме единственной грезы: ему казалось, что он несется на всех парусах к тому смутному бреду, которым начинается иная безвестность, именуемая смертью.

Он снова попытался протянуть руку графу, но на этот раз рука даже не пошевельнулась; он хотел сказать последнее прости, но отяжелевший язык был недвижим, словно камень, замыкающий гробницу.

Его утомленные глаза невольно закрылись, но сквозь сомкнутые веки ему мерещился неясный образ, и он его узнал, несмотря на темноту.

Это был граф; он подошел к одной из дверей и открыл ее.

И в ту же минуту ослепительный свет, сиявший в соседней комнате, или, вернее, в сказочном замке, озарил залу, где Моррель предавался своей сладостной агонии.

На пороге, разделявшем эти две залы, появилась женщина дивной красоты.

Бледная, с нежной улыбкой, она казалась ангелом милосердия, заклинающим ангела мщения.

«Небо открывается мне? – подумал Максимилиан, приподымая веки. – Этот ангел похож на того, которого я потерял».

Монте-Кристо указал девушке на кресло, где лежал Моррель.

Она приблизилась к нему, сложив руки, с улыбкой на устах.

– Валентина! – крикнул Моррель из глубины души.

Но с его губ не слетело ни звука; и, словно вложив все свои силы в этот немой крик, он глубоко вздохнул и закрыл глаза.

Валентина бросилась к нему.

Губы Морреля еще раз шевельнулись.

– Он вас зовет, – сказал граф. – Вас зовет из глубины своего сна тот, кому вы вверили свою судьбу и с кем смерть едва не разлучила вас. Но к счастью, я был на страже, и я победил смерть! Валентина, отныне ничто на земле не должно вас разлучить, ибо, чтобы соединиться с вами, он бросился в могилу. Не будь меня, вы бы умерли оба; я возвращаю вас друг другу; да зачтет мне господь эти две жизни, которые я спас!

Валентина схватила руку Монте-Кристо и, в порыве безмерной радости, поднесла ее к губам.

– Да, благодарите меня! – сказал граф. – Неустанно повторяйте мне, что я дал вам счастье! Вы не знаете, как мне нужна эта уверенность!

– Я благодарна вам от всей души, – сказала Валентина, – Если вы не верите в мою искренность, спросите Гайде. Пусть моя возлюбленная сестра Гайде скажет вам, что с тех пор, как мы покинули Францию,

только ее рассказы о вас помогали мне терпеливо ждать счастливого часа, который ныне засиял для меня.

– Так вы любите Гайде? – спросил Монте-Кристо с волнением, которое он тщетно пытался скрыть.

– От всей души!

– Слушайте, Валентина, – сказал граф, – я буду просить вас об одной милости.

– Меня, боже мой! Неужели я буду так счастлива?..

– Да. Вы назвали Гайде вашей сестрой; пусть она в самом деле станет вашей сестрой, Валентина; воздайте ей за все, чем вы считаете себя обязанной мне: берегите ее и вы и Моррель, ибо, – голос графа стал едва слышен, – отныне она одна на свете...

– Одна на свете! – повторил голос позади графа. – Почему?

Монте-Кристо обернулся.

Перед ним стояла Гайде, бледная, похолодевшая, и смотрела на него со смертельным испугом.

– Потому что с завтрашнего дня, дочь моя, ты будешь свободна, – отвечал граф, – и займешь то положение, которое тебе подобает; потому что я не хочу, чтобы моя судьба омрачала твою. Дочь великого паши, я возвращаю тебе богатства и имя твоего отца.

Гайде побледнела, подняла свои прозрачные руки, подобно деве, вручающей себя богу, и спросила голосом, глухим от слез:

– Так ты покидаешь меня, господин мой?

– Ты молода, Гайде, ты прекрасна; забудь самое имя мое и будь счастлива.

– Хорошо, – сказала Гайде, – твои приказания будут исполнены, господин мой: я забуду твое имя и буду счастлива. – И она отступила к двери.

– Боже мой! – вскричала Валентина, поддерживая отяжелевшую голову Морреля. – Разве вы не видите, как она бледна, как она страдает?

Гайде сказала душераздирающим голосом:

– Зачем ему понимать меня? Он господин, а я невольница, и он вправе ничего не замечать.

Граф содрогнулся при звуке этого голоса, который коснулся самых тайных струн его сердца; его глаза встретились с глазами Гайде и не выдержали их огня.

– Боже мой! – сказал Монте-Кристо. – Неужели то, что ты позволил мне заподозрить, правда? Так ты не хотела бы расстаться со мной, Гайде?

– Я молода, – кратко ответила она, – я люблю жизнь, которую ты сделал для меня такой сладостной, и мне было бы жаль умереть.

– А если я тебя покину, Гайде…

– Я умру, господин мой!

– Так ты любишь меня?

– Он спрашивает, люблю ли я его! Валентина, скажи ему, любишь ли ты Максимилиана!

Граф почувствовал, что его сердцу становится тесно в груди; он протянул руки, и Гайде, вскрикнув, бросилась в его объятия.

– Да, я люблю тебя! Я люблю тебя, как любят отца, брата, мужа! Я люблю тебя, как жизнь. Я люблю тебя, как бога, потому что ты для меня самый прекрасный, самый лучший, самый великий из людей!

– Пусть твое желание исполнится, мой ангел, – сказал граф. – Богу, который воскресил меня и дал мне победу над моими врагами, не угодно, чтобы моя победа завершилась раскаянием; я хотел покарать себя, а бог хочет меня простить. Так люби же меня, Гайде! Кто знает? Быть может, твоя любовь поможет мне забыть то, что я должен забыть.

– О чем ты говоришь, господин? – спросила девушка.

– Я говорю, Гайде, что одно твое слово научило меня большему, чем вся моя мудрость, накопленная за двадцать лет. У меня на свете осталась только ты, Гайде, ты одна привязываешь меня к жизни, ты одна можешь дать мне страдание, ты одна можешь дать мне счастье!

– Слышишь, Валентина? – воскликнула Гайде. – Он говорит, что я могу дать ему страдание, когда я готова жизнь отдать за него!

Граф глубоко задумался.

– Неужели я провижу истину? – сказал он наконец. – О боже, пусть награда или возмездие, я принимаю свою судьбу. Идем, Гайде, идем…

И, обняв гибкий стан девушки, он пожал Валентине руку и удалился.

Прошло около часа; Валентина, безмолвно, едва дыша, с остановившимся взглядом, все еще сидела подле Морреля. Наконец она почувствовала, что сердце его забилось; еле уловимый вздох вылетел из полураскрытых губ, и легкая дрожь, предвестница возврата к жизни, пробежала по всему его телу.

Наконец глаза его открылись, но взгляд его был неподвижен и невидящ; потом к нему вернулось зрение, ясное, отчетливое; вместе со зрением вернулось и сознание, а вместе с сознанием – скорбь.

– Я все еще жив! – воскликнул он с отчаянием. – Граф обманул меня!

И он порывисто схватил со стола нож.

– Друг, – сказала Валентина со своей пленительной улыбкой, – очнись и взгляни на меня.

Моррель громко вскрикнул и, лепеча бессвязные слова, не веря себе, словно ослепленный небесным видением, упал на колени.

На другой день, в первых лучах рассвета, Моррель и Валентина, найдя дверь пещеры открытой, вышли на воздух. Они гуляли под руку по берегу моря, и Валентина рассказывала Моррелю, как Монте-Кристо появился в ее комнате, как он ей все открыл, как он дал ей воочию убедиться в преступлении и, наконец, как он чудом спас ее от смерти, между тем как все считали ее умершей.

В утренней лазури неба еще мерцали последние звезды.

Вдруг Моррель заметил в тени скал человека, который словно ждал знака, чтобы подойти; он указал на него Валентине.

– Это Джакопо, – сказала она, – капитан яхты.

И она сделала ему знак подойти.

– Вы хотите нам что-то сказать? – спросил Моррель.

– Я должен передать вам письмо от графа.

– От графа! – повторили они в один голос.

– Да, прочтите.

Моррель вскрыл письмо и прочел:

*«Дорогой Максимилиан!*

*У берега вас ждет фелука. Джакопо доставит вас в Ливорно, где господин Нуартье поджидает свою внучку, чтобы благословить ее перед тем, как она пойдет с вами к алтарю. Все, что находится в этой пещере, мой дом на Елисейских полях и моя вилла в Трепоре – свадебный подарок Эдмона Дантеса сыну его хозяина, Морреля. Надеюсь, мадемуазель де Вильфор не откажется принять половину этого подарка, ибо я умоляю ее отдать парижским беднякам состояние, которое она наследует после отца, сошедшего с ума, и после брата, скончавшегося вместе с ее мачехой в сентябре этого года.*

*Попросите ангела, охраняющего отныне вашу жизнь, Моррель, не забывать в своих молитвах человека, который, подобно сатане, возомнил себя равным богу и который понял со всем смирением христианина, что только в руке божьей высшее могущество и высшая мудрость. Быть может, эти молитвы смягчат раскаяние, которое я уношу в своем сердце.*

*Вам, Моррель, я хочу открыть тайну искуса, которому я вас подверг: в этом мире нет ни счастья, ни несчастья, то и другое постигается лишь в сравнении. Только тот, кто был беспредельно несчастлив, способен испытать беспредельное блаженство. Надо возжаждать смерти, Максимилиан, чтобы понять, как хороша жизнь.*

*Живите же и будьте счастливы, мои нежно любимые дети, и никогда не забывайте, что, пока не настанет день, когда господь отдернет пред человеком завесу будущего, вся человеческая мудрость будет заключена в двух словах:*

***Ждать и надеяться.***

*Ваш друг* ***Эдмон Дантес,***

*граф* ***Монте-Кристо****».*

Слушая это письмо, сообщавшее ей о безумии отца и о смерти брата, о чем она узнавала впервые, Валентина побледнела, горестный вздох вырвался из ее груди, и молчаливые, но жгучие слезы заструились по ее лицу; счастье досталось ей дорогой ценой.

Моррель с беспокойством посмотрел кругом.

– Право, граф слишком далеко заходит в своей щедрости, – сказал он. – Валентина вполне удовольствуется моим скромным состоянием. Где граф? Проводите меня к нему, мой друг.

– Взгляните, – сказал Джакопо.

Они обратили взгляд туда, куда указывал моряк, и вдали, на темно-синей черте, отделявшей небо от моря, они увидели белый парус, не больше крыла морской чайки.

– Уехал! – воскликнул Моррель. – Прощай, мой друг, мой отец!

– Уехала! – прошептала Валентина. – Прощай, Гайде! Прощай, сестра!

– Кто знает, увидимся ли мы еще когда-нибудь! – сказал Моррель, отирая слезу.

– Друг мой, – отвечала Валентина, – разве не сказал нам граф, что вся человеческая мудрость заключена в двух словах:

***Ждать и надеяться!***

# Примечания

## 1

У кого компаньон, у того хозяин *(ит.)*.
Вернуться

## 2

Posada – дом *(исп.)*.
Вернуться

## 3

Оружие да уступит тоге *(лат.)*.
Вернуться

## 4

Мы поем глухим *(лат.)*.
Вернуться

## 5

Когда вез пастух… *(лат.)* (Гораций. Оды, I, 15).
Вернуться

## 6

Везешь к горю ты горькому… *(лат.)* (Гораций. Оды, I, 15).
Вернуться

## 7

Войны, ужасные войны *(лат.)*.
Вернуться

## 8

Цепкий *(лат.)*.
Вернуться

## 9

Так и ты побежишь, задыхаясь… *(лат.)* (Гораций. Оды, I, 15).
Вернуться

## 10

Муж справедливый и твердый в решеньях… *(лат.)* (Гораций. Оды, III, 3).
Вернуться

## 11

Джон Мартин – английский художник (1789–1854).
Вернуться

## 12

«Сочтено, взвешено, разделено» *(библ.)*.
Вернуться

## 13

Приток Роны.
Вернуться

## 14

Феррада – провансальский праздник по случаю таврения быков; тараск – сказочное чудовище.
Вернуться

## 15

Непостоянство, имя твое – женщина! (Шекспир. Гамлет, акт 1, сц. 2).
Вернуться

## 16

Cocles *(лат.)* – одноглазый: прозвище древнеримского героя Горация Коклеса.
Вернуться

## 17

В третьем этаже *(ит.)*.
Вернуться

## 18

Прозвище известного благотворителя Эдма Шампьона (1764–1852).
Вернуться

## 19

Горный Старец – Хасан-ибн-Сабба, – отправляя на подвиги своих «фидави» (то есть обреченных), опьянял их гашишем (откуда их название – хашишины, ассасины).

Вернуться

## 20

Moccoletto *(um.)* – огарок. Во время карнавала принято ходить по улицам со свечами.

Вернуться

## 21

Abettatore *(um.)* – сдатчик чего-либо внаймы или напрокат.

Вернуться

## 22

Пусть умер бы! (Корнель. Гораций)

Вернуться

## 23

Клянусь Бахусом! *(um.)*

Вернуться

## 24

Borgo – местечко *(um.)*.

Вернуться

## 25

Название древнеримского фонтана.
Вернуться

## 26

Живущий за рекой Тибр.
Вернуться

## 27

Убит обухом *(ит.)*.
Вернуться

## 28

Обезглавлен *(ит.)*.
Вернуться

## 29

Еще бы *(фр.)*.
Вернуться

## 30

Можно? *(ит.)*
Вернуться

## 31

Господа французы *(ит.)*.
Вернуться

## 32

Кушать подано *(ит.)*.
Вернуться

## 33

Дидье – герой драмы В. Гюго «Марион де Лорм» (1831).
Вернуться

## 34

Так называют среднее сословие.
Вернуться

## 35

Теперь я верю в итальянских разбойников *(англ.)*.
Вернуться

## 36

*«Если в шесть часов утра четыре тысячи пиастров не будут в моих руках, в семь часов графа Альбера не будет в живых...*

*Луиджи Вампа».*

Вернуться

## 37

Поднимитесь! *(ит.)*

Вернуться

## 38

То есть убили.
Вернуться

## 39

Благословенный *(ит.)*.
Вернуться

## 40

Председатели парижского парламента в XVII веке.
Вернуться

## 41

Pede Poena claudo (Гораций. Оды, III, 2) – хромоногая (то есть медлительная) кара *(лат.)*.
Вернуться

## 42

Дважды за одно не отвечают *(лат.)*.
Вернуться

## 43

Brucea ferruginea. – *Примеч. автора.*
Вернуться

## 44

Антуан Галлан (1646–1715) – французский востоковед, переводчик «Тысячи и одной ночи».

Вернуться

## 45

Французские физиологи.

Вернуться

## 46

Деньги и святость – половина и половина *(ит.)*.

Вернуться

## 47

как жаль *(ит.)*.

Вернуться

## 48

Главный повар принца Конде, который заколол себя шпагой, увидев, что опаздывает рыба, заказанная к королевскому столу.

Вернуться

## 49

Гастроном времен Августа и Тиберия.

Вернуться

## 50

Искатель невозможного *(лат.)*.
Вернуться

## 51

Маркиза де Ганж, бесчеловечно убитая в 1667 году братьями своего мужа, кавалером и аббатом де Ганж.
Вернуться

## 52

Ничему не удивляться *(лат.)*.
Вернуться

## 53

Знаменитый проповедник XVII века.
Вернуться

## 54

Знаменитый судебный деятель XVIII века.
Вернуться

## 55

Согласно Библии, слова, появившиеся на стене во время пира Валтасара и предвещавшие конец его царствованию.
Вернуться

## 56

Человеку свойственно ошибаться *(лат.)*.
Вернуться

## 57

Муж, упорный в своих намерениях *(лат.)*.
Вернуться

## 58

Еду в деревню *(лат.)*.
Вернуться

## 59

Притчи, XIX.
Вернуться

## 60

Дословно: «Отца судьбу, но не имя предателя и не предательство, поведай нам».
Вернуться

## 61

Расскажи *(греч.)*.
Вернуться

## 62

Каюсь! *(лат.)*
Вернуться

## 63

Ища, кого пожрать *(лат.)*.
Вернуться

## 64

«Робер Макер» – популярная в свое время комедия Бенжамена Антье и Фредерика Леметра (1834).
Вернуться

## 65

Внимание! *(ит.)*
Вернуться

## 66

Не понимаю! *(ит.)*
Вернуться

## 67

Мой милый! *(ит.)*
Вернуться

## 68

Выходите! *(ит.)*

Вернуться

## 69

Сюда *(um.)*.
Вернуться

## 70

Вперед! *(um.)*
Вернуться

## 71

Вот *(um.)*.
Вернуться

## 72

В чем дело? *(um.)*
Вернуться